Журнал русской словесности и мысли

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»

Санкт-Петербург

N17

Июнь 2025

Толстый литературно-философский журнал «Невский проспект»
Учредитель и главный редактор Николаев А.В.
Адрес редакции: Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. А, оф. 138
Электронный адрес: vl_classik@mail.ru
Сайт: https://nevsky-prospekt-journal.ru/
Формат 175х265. Тираж 200 экз. Подписано в печать 11.05.2025. Заказ №1030767
Отпечатано в типографии «www.dariknigi.ru», Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47/710

N17:

Большая проза

Александр Ломтев
ПУТЕШЕСТВИЕ С АНГЕЛОМ
Роман в рассказах
и отвлеченных рассуждениях 3 стр.

Зоя Донгак
ДУША ШАМАНА
Сказание
Книга II. КРАСНАЯ ТУВА 62 стр.

Алексей Григоренко
ЛЕШЕК МАРШАЛОК
Сказ о том, как воссоединилась с Россией
Украина козацкая и как сгинула
Речь Посполитая панская
Роман-размышление
Главы 22-25 138 стр.

Вячеслав Нескоромных
ЕСАУЛ МАРТЫНОВ
Камчатская героика империи 185 стр.

Сергей Криворотов
ВНЕ ПРОТЯЖЕНИЯ
Из практики реаниматора 207 стр.

Александр Жданов
МОЛНИЯ НЕ БЬЕТ В КАШТАН
Начальные главы романа о том,
как жил-был прусский Тильзит
и стал русским Советском 259 стр.

Малая проза

Сергей Юдин
СВАДЬБА В БРЮГГЕ
Антиутопия библейского Содома
на грани реальности 274 стр.

Юлия Пучкова
ЛЮБОВЬ. Религиозная история 285 стр.

Николай Полотнянко
МИЛЛИОН + НОС + ТЕМНАЯ СИЛА +
СТЕКЛЯННЫЙ ГРАФИНЧИК
Рассказы с чертовщинкой 297 стр.

Александр Муленко
КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТРЕЛОК +
БИПЛАН НА БРЕЮЩЕМ ПОЛЕТЕ
Два рассказа 328 стр.

Иван Образцов
НАБЛЮДАТЕЛИ. Рассказ 339 стр.

Дмитрий Игнатов
ОН. ОНА. ОСЕНЬ. Рассказ 345 стр.

Александр Балтин
ОНТОЛОГИЯ АНТОНА + МИТЬКА И САШКА
и др. рассказы 354 стр.

Ольга Борисова
КАЛИНОВКА И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
Выборка из книги рассказов 366 стр.

К 80-летию Победы

Теодор Гальперин
В МИРНОЕ ВРЕМЯ + ПОСЛЕ БИТВЫ +
ИРИНКА-ВАЛЕНТИНКА
Тематический триптих рассказов 387 стр.

Михаил Востриков
ОПЕРАЦИЯ «ШАХЕД» + ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ «РАЗБОЙНИКА» ЖЕНЬКИ +
НУ, ЗА ПОБЕДУ!
Тематический триптих рассказов 401 стр.

Сергей Кириллов
ЯЗЫК. Рассказ 412 стр.

Вячеслав Нескоромных
ВЕРА ИГНАТИЯ. Рассказ 417 стр.

Алёна Кубарева
ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ В БЛАГОДАТИ
СТОЯЛИ НЕМЦЫ. Рассказ 420 стр.

Мемуаристика

Елена Тершукова
КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ УМНЫМИ
Семейная хроника
родины детства 423 стр.

Детская литература

Светлана Сорока
МАРИНКА-ПОЛОВИНКА +
НЕ УЛЕТАЙ, ВЬЮРОК!.. + ЛЯГУШОНОК +
ЛЕТИ, ЛЕТИ, МАЙСКИЙ ЖУК! + ЗНАТОК
и др. рассказы 442 стр.

Философия

Алексей Николаев
ДУХ. Философия духа
§4. Теоремы души
Логические теоремы 41-45 454 стр.

Откуда авторы:
Александр Ломтев — Саров, Зоя Донгак — Кызыл/Москва, Алексей Григоренко — Москва, Вячеслав Нескоромных — Красноярск, Сергей Криворотов — Астрахань, Александр Жданов — Советск (Калининградская обл.), Сергей Юдин — Москва, Юлия Пучкова — Москва, Николай Полотнянко — Ульяновск, Александр Муленко — Новотроицк (Оренбургская обл.), Иван Образцов — Барнаул, Дмитрий Игнатов — Воронеж, Александр Балтин — Москва, Ольга Борисова — Самара, Теодор Гальперин — Санкт-Петербург, Михаил Востриков — Санкт-Петербург, Сергей Кириллов — Советск (Калининградская обл.), Алена Кубарева — Москва, Елена Тершукова — Санкт-Петербург, Светлана Сорока — Клин, Алексей Николаев — Санкт-Петербург

Александр ЛОМТЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ С АНГЕЛОМ

Роман в рассказах и отвлечённых рассуждениях

Часть I. ПУТЕШЕСТВИЕ С АНГЕЛОМ

Лирическое повествование с философскими отступлениями по поводу и без

Кому суждено быть повешенным — не утонет. Я тонул раз восемь. Первый раз — когда мне было лет шесть. На тёмной воде речки Сатис лежал первый звонкий прозрачный лёд, и ребятня с соседних улиц, перепрыгивая через узкие извилистые промоины вдоль берегов, скользила по этому ненадёжному льду, испытывая восторг вперемежку со страхом. Это называлось «зыбить». За старшими ребятишками перебрался на лёд и я. Скользя по зыбкому ледяному стеклу, я чувствовал, как оно прогибается и потрескивает, но страха не испытывал. В промоинах, словно в древних зеркалах, отражалась старая колокольня.

На всю жизнь врезалась в память эта картина: белые берега, чёрные точёные ветви деревьев, голубой лёд с прозрачно-чёрными промоинами заберегов и разноцветные фигурки катающихся по ненадёжному зеркалу. Эту картину я увидел значительно позднее, но сразу узнал её — «Охотники на снегу» Брейгеля. Зима глазами ребёнка — свет, контраст, прозрачность пространства и безмятежность...

А потом я заметил красивую льдинку у самого обреза льда, потянулся за ней и оказался в чёрной ледяной воде...

На берег меня выволок подросток из соседнего дома, а выволочку мне устроил отец. Но засыпая, растёртый самогонкой и напоенный чаем с малиной, вдруг радостно вспомнил, что, пока не подошла помощь, я сам держался на воде, барахтая руками и ногами.

Потом, летом, я, точно так же барахтая конечностями, сам научился плавать. А ведь мне положено было бы бояться воды...

ПОЧЕМУ?

Полустёртое подростковое воспоминание. Мы с другом Юркой Рыжовым едем на мопедах по горячему летнему асфальту, вокруг буйствующие разнотравьем луга, деревня весело дымит субботними баньками.

Натужно ревя двигателем, нас обгоняет старенький бензовоз. В кабине трое — двое мужчин и молодая женщина. Женщина в цветастом платье смотрит на нас с иронической улыбкой, и мы как по команде поддаём газу, стараясь не отстать от машины.

Какое-то время мы идём вровень, переглядываясь с весёлой женщиной. Дорога идёт круто в гору, и бензовоз еле ползёт, так что мы даже чуть вырываемся вперёд. У самой вершины холма мой мопед вдруг зачихал, и мы тут же отстали. Бензовоз пропал за горой.

И вдруг прямо перед нами звучит оглушительный взрыв! Над горой поднимается клуб чёрного дыма. Наддав газу, мы выезжаем наверх и видим перевернувшийся горящий бензовоз и мёртвых людей рядом. Медленно, словно во сне, мы подошли поближе. На обгоревшей траве лежала женщина. Платье сгорело, сгорели волосы, и на голом коричневом черепе отсвечивало бликом солнце.

Юрка вдруг бросился к ближайшим кустам — его буквально вывернуло наизнанку. А я стоял над трупами в чёрной траве, словно оглушённый, и одна мысль не давала мне покоя: как это — только что молодая весёлая женщина улыбалась мне, и ветру в окно, и солнцу, радовалась жизни, и вдруг — раз! — и всё для неё остановилось, всё теперь под знаком «было», и она теперь только «была» и никогда не «будет». И что было бы, если бы мы не отстали от бензовоза, если бы не забарахлил мой мопед?..

— Вот как это так, — говорил вечером на сеновале, где мы заночевали, Юрка. — Вот живёт человек, живёт — и что? Ну, хоть что-нибудь остаётся?

Теперь он точно знает ответ. Он погиб в автокатастрофе где-то под Москвой. Но мне не расскажет, весточки не подаст. А может быть, и подаёт какие-то знаки, да я не вижу, не понимаю?

Утро. Свежая после ночного дождичка тополиная листва. Двухэтажные домики с наличниками рядом с хрущёвскими пятиэтажками — Арзамас. Хорошо, когда тебе чуть за двадцать, когда лето, когда ворох надежд и ни одной потери за плечами. Даже бредущий к ближайшей пивной алкоголик в майке и спортивном трико с пузырями на коленях не раздражает глаза.

Ты бежишь, запыхавшись, к автобусной остановке и чувствуешь, что успеваешь на автобус, на который надо успеть, чтобы не опоздать на первую пару в родной пед имени Гайдара. Тётка, ведущая старославянский, почему-то жутко тебя невзлюбила, и опоздать никак нельзя.

И вот когда на всех парах ты подлетаешь к автобусной двери и готов привычно ввинтиться в пассажирскую кашу, что-то холодно коснулось сердца и заставило резко остановиться. Гражданка, бежавшая следом, толкнув плечом, ворвалась в салон, дверь со скрипом захлопнулась, и автобус, газанув, медленно тронулся.

А ты поплёлся в институт пешком.

...На перекрёстке в квартале от института автобус лежал на боку. Уткнувшись в него мёртвым быком, стоял КамАЗ. В брюхе автобуса что-то покрякивало и взбулькивало, пахло горячим маслом, бензином и палёной резиной. Уже выла где-то приближающаяся скорая, уже разворачивалась поперёк улицы гаишная машина. Сидел, прислонившись к жёлтой крыше автобуса, оглушённый водитель, прохожие помогали окровавленным пассажирам выбираться в разбитые окна наружу. Тётку, обогнавшую тебя на остановке, вытащили без сознания — рука неестественно вывернута, лицо в крови. Плач, стон, крики, тёмные неприятные пятна на асфальте...

В институте ты ничего не видел и ничего не слышал. Всё думал: почему я не сел в автобус? Почему?

Потом, десять лет спустя, когда на порогах грузинской речки Алазани что-то заставит тебя направить свой плот к берегу, ты, стоя у трёхметрового кипящего водопада, задашь тот же вопрос: почему?

И ещё позже, двадцать лет спустя, тот же вопрос будешь задавать себе, рассматривая обломки упавшего вертолёта. Вертолёта, на который ты опоздал. Почему?

Но возможно, что главный вопрос ты задашь себе за секунду до смертного часа, когда уже абсолютно точно будешь знать, что твой земной путь закончен, что душа твоя вот-вот покинет то место, в котором обитала всю твою жизнь. Когда поймёшь вдруг, что ничто не важно и важно абсолютно всё, что всё, что ты делал и ценил, оценивать теперь не тебе, что всё, что у тебя было, — было дано тебе на время, взаймы, и теперь сроки займа истекли... И какой вопрос белой молнией сверкнёт тогда в твоём гаснущем сознании? Может быть, — почему?!

Наташка. Что осталось в памяти? Кудрявые волосы, белые зубы на фоне тёмного от загара лица. Крепкие стройные ноги, от взгляда на которые сладко ныло в груди и тяжелело в животе. И всё?

Крыша огромного сарая (такие сараи ещё были тогда в городе, и на чердаках некоторых из них даже доживали ещё свой век голубятни с турманами, «павлинами» и обычными сизарями), лето, запах тополиной смолы и твёрдое ощущение бесконечности

жизни. Из слухового окна тянуло сырым тленом. Сарай предназначался к сносу, и уже сорваны с ветхих дверей замки, вывезены заплесневелые банки с вареньем, крытые промасленной бумагой, замотанной суровыми нитками (подумать только: был мир, в котором ещё не существовали полиэтиленовые крышки!), кадки с прокисшей капустой опростаны в трёхлитровые «баллоны», перепрятано по иным кладовым всё ценное, с точки зрения скупого и скучного взрослого мира. Но осталось ещё очень много гораздо более ценного в глазах двенадцатилетних мальчишки и девчонки.

Наташка ловко пробиралась среди балок чердака, переступала через коробки, забытые тюки, пружины издохшего матраса и, время от времени оборачиваясь, блестела в сумрак белыми зубами.

Косые лучи света, падающие на бесценную рухлядь из прорех в крыше, делали чердак похожим на трюм забытого парусника или подвал старинного замка.

— Смотри!

(Стеклянный шар, в котором, словно в неведомом мире, в чужом измерении, плавал уменьшенный и перевёрнутый наш. И два подростка глядели в этот мир и видели себя маленьких и перевёрнутых.)

— Смотри!

(Коробка, набитая фантиками. Целая коллекция шуршащих одёжек «Мишек на Севере», «Красных маков» и «Раковых шеек».)

А это наш закуток. Вот знакомые велосипедные эмблемы, приколоченные отцом к стене, вот забытый гранитный валун — гнёток к капустной кадке, вот...

Вот в старой тяжёлой раме под мутным стеклом фотография бабушки с дедушкой. Дедушка совсем чужой, незнакомый усатый мужчина. То ли он сгинул где-то на фронтах Первой мировой, о которой в голове смутные образы, перепутавшиеся сразу и с Наполеоном, и с Александром Невским, и с Чапаем. То ли замёрз, возвращаясь в родную деревню с заработков и не дойдя до крыльца ста метров.

Бабушка... Бабушка лежит в моей комнате уже несколько лет. В доме пахнет лекарствами и ещё чем-то особенным, для чего нет слов и о чём не рассказать.

Иногда она достаёт из-под подушки конфетку, подзывает меня и тайком даёт, жарко шепча на ухо: «Ты мой любимый». Я любимый! И нет такой просьбы, в которой можно было бы отказать. Сбегать в аптеку, поправить подушку, рассказать, о чём полушёпотом говорили давеча мама с папой на кухне... А потом — приоткрытая дверь, младший брат у бабушкиной постели, конфетка из-под подушки и тот же шёпот: «Ты мой любимый!» Словно отобрали что-то очень важное и дорогое! Вот и пусть валяется эта фотография с бабушкой тут, пусть до конца света смотрит усатый дедушка на кованый рассохшийся сундук с нафталиновым тряпьём и мышиными гнездами.

Бабушка лежит на своей кровати и упорно смотрит в сумеречный угол комнаты, за шкафом. Она видит там то, что не видят все остальные.

— Мама, что ты?

— Вон она стоит, за мной пришла.

— Кто?

— Смерть.

Страшное нечто — Смерть — приходит к бабушке всё чаще. А убежать, скрыться бабушка не может — ноги её не ходят уже много лет. Как это: ноги — не ходят?!

Наташкины ноги стройны, загорелы, и только светлые чёрточки заживших царапин виднеются на крепких икрах. Глаза Наташки сверкнули падучей звездой. Она кинулась к валявшемуся в куче хлама голубому глобусу и полетела вниз. Я бросился за ней, почувствовал, что пол чердака уходит из-под ног, успел царапнуть рыжий бок Африки, больно ударился о какой-то угол и пришёл в себя уже в погребе. Ниже лететь было некуда.

Наташка передёрнула голыми плечами:

— Как в могиле! — загорелая кожа её подёрнулась гусиными пупырышками.

Мы смотрели вверх, в четырёхугольный лаз, и надеялись, что деревянная лестница из погреба ещё не совсем сгнила. Но лестница, почувствовав, что сарай брошен и она уже больше никому не нужна, тихо истлела. Пришлось мне подсаживать Наташку («Тише ты, сандалей по уху!»), а потом она вытягивала меня с помощью остатка хоккейной клюшки. Ссадин на коленях прибавилось, но жить было весело...

Ах, как тепло на белом свете! Это же так ясно любому выбравшемуся из сырого погреба. Как мягко светит солнце, склонившееся над самой крышей (а вот только что было утро!), как знакомы запахи дома.

А у дома люди, среди которых почему-то много совсем чужих. И мама в чёрном платке.

— Мам, а что?

— Бабушка умерла...

ГОЛОС

Старая монастырская стена. Тёмно-красный кирпич с аккуратными, вылизанными временем серыми прослойками цемента (в который, согласно преданиям, добавляли яичный желток для особой крепости; это сколько ж нужно было яиц!), железные скобы, источенные дождями, ветрами и солнцем, труха под коленками и затхлый воздух — так, должно быть, пахнет само время. Запах времени, запах веков, запах сухого мха на месте старых дождевых протёков, запах чистой пыли.

Мне десять лет, я ползу по какому-то каменному проходу в толще монастырской стены, светя себе маленьким квадратным фонариком, и размышляю: когда же здесь последний раз ступала нога человека? Точнее — живот. Когда этих камней последний раз касался живот ползущего человека? Мне и в голову не приходило, что взрослый человек в эту каменную трубу просто не пролезет. Я верил, что ход ведет меня или к кладу, или к забытым манускриптам, или, на худой конец, к прикованному к стене скелету в монашеском истлевшем одеянии.

За мной, сопя и тихо переругиваясь, ползут мои приятели, мои дворовые братья. Пацаны, с которыми я облазил всё, что можно облазить, мастерил «поджиги» — самодельные пистолеты, которые на десятый выстрел взрываются в руке, разворачивая ствол цветочными лепестками, ловил туманными утрами окушков в заводях Сатиса и через понедельник начинал новую жизнь с обязательной зарядкой, обливанием холодной водой и с секцией то бокса, то борьбы, то авиамоделизма...

В поисках тайного штаба для нашей тайной организации мы не могли не добраться до монастырских построек, и мы до них добрались.

С «лицевой» стороны монастырь выглядел вполне светско: театр (там, где раньше стояла рака с мощами святого Серафима Саровского), хозяйственный магазин (храм Всех Святых), телевышка (колокольня) и тому подобные госучреждения. Но «с изнанки» монастырь ещё хранил свою отрешённость от меняющейся жизни, берёг свою пыльную рухлядь — тайны, легенды и загадки. Какие-то заколоченные окна, тёмные железные, намертво запертые двери, чёрные провалы и пробоины в толстенных стенах, забранные массивными решётками отверстия. Вот одну такую решётку, прочную на вид, но хлипкую на деле, нам и удалось выдрать. И открыть путь в брюхо монастыря — к забытым манускриптам, к скелету, прикованному к стене, к сокровищам саровских монахов...

Застрял я на пятом повороте. Ползи я помедленнее — наверное, заметил бы, что ход постепенно сужается, и не сунулся бы за этот, пятый, угол. Но меня гнало вперёд предчувствие чего-то необычного, волшебного, что вот-вот, не за этим поворотом, так за следующим, должно встретиться, высветиться в неярком кружке света.

Я вдруг почувствовал, что монастырь сжал меня в своих объятиях. Не то чтобы враждебно, но и не ласково. Словно кошка, играющая с живой ещё мышкой. Выступающий из стены кирпич упёрся мне в ребро. Я ясно понял, что мне не только не добраться до сокровищ, но и не выбраться из этой каменной западни вообще!

От ужаса я вдруг как бы выпал из действительности, перестав воспринимать время, голоса друзей, понукавших меня к движению, свет фонарика, мне даже показалось, что я перестал дышать. Я уже предчувствовал, каким диким голосом сейчас заору, как буду биться и дёргаться, пытаясь вырваться из душащей меня каменной трубы, сдирая кожу на локтях и коленках, мотая головой с выпученными глазами и распяленным в крике ртом. Случись это — я точно не выбрался бы живым из каменной ловушки.

Но за секунду до этого, на мгновенье раньше подкатывающей волны смертельной паники, я вдруг ясно и чётко услышал голос. Был ли это голос ангела или голос второго «я» моего подсознания — не знаю, да тогда я об этом и не думал, конечно. Я уже не помню, что сказал мне этот голос, но был он спокоен, добр, и чувствовалась в нём какая-то сильнейшая убеждённость. Я снова начал видеть и слышать и совершенно спокойным голосом сказал вдруг затихшим сзади друзьям:

— Я застрял.

— А чё делать?

— Не знаю... Полежу немного. Попробуйте потянуть меня за ноги.

Ничего не получалось. Я извивался, как червь под лопатой, я выкручивался как уж, я пытался согнуть коленки в обратную сторону, перевернуться на спину, хотя бы на бок. Напрасно! Я сидел, как пробка в старинной, заплесневелой бутылке. Ничего не получалось!

Но ужаса не было, волна паники ушла и не возвращалась. Какое-то время я просто лежал, спокойно дышал поднявшейся от возни пылью и разглядывал песок, тонким слоем покрывавший камни хода. Я увидел, что свет фонарика начал тускнеть — садились батарейки. И вдруг со всей ясностью представил себе, как лежу тут один, и я —

это уже не я, а белый, обглоданный крысами и временем скелет, и между гладким черепом и кирпичами стены поблёскивает паутина. Я неожиданно сильно вспотел. Это, может быть, и спасло меня. Тихо-тихо, сантиметр за сантиметром, изгибаясь так, как изогнуться в принципе вроде бы и невозможно, я протискивал своё тело назад. Я вдруг почувствовал такую радость, что у меня застучало в висках, и я хотел рвануться вон из этой дыры во всю силу. И тут снова услышал где-то внутри черепа голос: «Спокойно!»

Когда я выбрался на божий свет, чумазые, все в красной кирпичной пыли дружки, конечно же, спросили:

— Ну, как?

И я, конечно же, ответил:

— А, ерунда! — но руки старался спрятать. Они дрожали.

А про голос я сразу же забыл, словно ничего и не слышал, ведь это были времена, когда Бога не было, а значит, не могло быть и ангелов...

Все мы в этом мире паломники — во времени и в пространстве. Одному судьба дарит длинное-длинное путешествие во времени, другому времени отпущено немного, зато перемещений в пространстве — на троих. А кто-то и времён перевидел достаточно, и по пространству поперемещался вволю. Мой дед, например, прожил без малого девяносто лет, а в пространстве пропутешествовал из российской глубинки до Западной Европы. Где в гимнастёрке с винтовкой, где в пёстрой колонне военнопленных...

Сначала ты не замечаешь течения времени. Но вдруг останавливаешься и с удивлением осознаёшь: тебе уже есть что вспомнить! Путешествие во времени перенесло тебя из века в век, через три политических строя, через правление пяти генеральных секретарей и трёх президентов, по пути следования ты застал первый полёт человека в космос и первый телевизор, комету Галлея и землетрясение в Крыму, антиельцинский путч и появление в быту шариковых ручек и полиэтиленовых пакетов... А скитания в пространстве позволили увидеть тебе Аландские острова в северных морях и Остров свободы в южных, приливы и отливы Белого моря и бескрайние плоскости Средней Азии, исток былинной Волги и разноцветные скалы не менее былинного Урала...

Все эти перемещения во времени и пространстве, как и положено в любом маломальски серьёзном путешествии, были сопряжены с приключениями, встречами и опасностью для жизни. Жить, как известно, вообще вредно — умереть можно. И ты вдруг остро осознаёшь, что и твоё путешествие могло — очень даже могло! — прерваться. И не раз. Но что-то не дало переступить тебе крайней черты. Ты не утонул и никого не убил, не погиб в автокатастрофе и не ограбил банк, не свалился со скалы и никого не предал.

Ну, бывало, врал, но не в главном, попадал в передряги, но отделывался лёгкой кровью, терял друзей и близких, но что-то давало тебе силы для житейского оптимизма и даже юмористического отношения к судьбе...

И к сорока годам ты вдруг почувствовал тоненькую ниточку, протянувшуюся от души куда-то в непознаваемое. И вдруг с тайным волнением понял, куда ведёт эта ниточка, когда старенькая бабушка сказала после очередной передряги, из которой ты вышел с двумя царапинами (одной на теле, другой на душе): «Ангел тебя хранит!..»

И не сказать, что ты с тех пор всегда помнил об этой ниточке. Но время от времени лёгкое подёргивание её ощущал и останавливался. Останавливался как раз в тот момент, когда собирался без надобности соврать или выйти из подъезда как раз под падающую сосульку...

Путешествовать с ангелом за плечами не легче — хоть во времени, хоть в пространстве. Потому что не можешь иногда что-то сделать, а иногда не можешь что-то не сделать. Потому что ангел хранит тебя, но и ты должен хранить своего ангела...

ПАЛОМНИЦА

Автобус притормозил на повороте; она, покряхтывая от стреляющей боли в ногах, сошла на ледяную обочину и осмотрелась. Увидела указатель с надписью «Источник» и побрела туда, куда указывала стрелка.

Дорога оказалась ровной, укатанной, идти было довольно легко, и, если бы не боль в отёкших ногах, ходьба эта доставила бы ей удовольствие. Остался позади посёлок, по бокам потянулся лесок, а мысли в голове приняли привычное направление. Ей немного за сорок, но любой встретивший её на этой дороге сказал бы о ней «старуха». И что самое невыносимое, старухой она чувствовала себя и в душе. Глупым рефреном звучала в мозгу строчка: «я чужая на этом празднике жизни...» И когда мимо, взвивая

снежную пыль, пронеслась, поблёскивая тёмными стёклами, машина, душа её наполнилась привычной злобой: вот они, короли жизни, — удачливые, жирненькие, наглые человечки! Сволочи! Никогда не остановятся, не подвезут, не помогут. Умирать будешь на дороге — не заметят...

Она почувствовала, как забилось сердце и кровь прилила к голове. Пришлось остановиться и перевести дух. Эти приступы тёмной злобы на людей, на жизнь, на постоянную несправедливость всё чаще накатывали на неё, и она понимала, что это плохо, но сил бороться не было. Да и была в этом какая-то непонятная сладость, утешение, оправдание... Даже когда, поддавшись уговорам подруги, отправилась она к Серафиму, впервые за десять лет оставив Москву, злоба иногда подкатывала к сердцу. Куда ты попёрлась! Ладно бы, истинно верующая была, ладно бы, самой захотелось. С больными ногами по поездам да автостанциям. На сухомятке... Да ладно уж, заставишь тебя, если сама не захочешь... А стукнуло сердечко-то, когда к Серафимовым мощам приложилась. Стукнуло...

Дорога обогнула ещё один посёлок, от которого через редколесье тянуло печным дымком и навозцем, вывела из перелеска, и впереди показалось открытое пространство, а дальше — берег реки и тёмная полоса леса над ним. Идти осталось всего ничего.

Она остановилась и долго смотрела на открытое пространство. Десять лет назад она захохотала бы, вздумай кто-нибудь в её родном проклятом НИИ предсказать ей, что она вот так, согбенной паломницей, пойдёт к мощам какого-то святого, а потом ещё и к источнику — купаться зимой! Ах, жизнь! Что ты делаешь...

У берега реки дорога заканчивалась большой расчищенной автостоянкой. От неё змеилась тропинка. К деревянной сказочной избушке, к большой, в деревянном окладе, иконе Серафима, к игрушечной часовенке, к роднику в бревенчатом колодце и купальням. Чёрная вода масляно поблёскивала в белых снежных берегах, и жутковато было думать, что сейчас придётся в неё окунуться...

У тропинки стояло двое коренастых, круглолицых парней. В тёплых полушубках, в солдатских высоких ботинках, румяные, с реденькими русыми бородками и хитроватыми глазками. Они улыбались, притоптывали на морозце и, как только она подошла, затянули:

— Под-а-ай Христа ради...

Чёрная волна нахлынула на сердце, и она заскрипела зубами, проходя мимо и сдерживаясь, чтобы злоба не выхлеснулась в ругательства. Лбы здоровые! Да на вас пахать можно, а вы у больной старухи милостыню выпрашиваете, сволочи! Вон рожи-то сытые как на морозе разрумянились блинами, шакалы!

Она, зажмурив глаза, миновала нищих, но что-то заставило её обернуться, и она едва не задохнулась от возмущения: парни достали из сумки большие румяные пироги с мясом и начали их аппетитно уплетать. Запах мяса и лука — вот что заставило её оглянуться. Парни, поймав её горящий взгляд, смутились, спрятали пироги за спину и отвернулись...

Оставшись в одной ночной рубашке и поджимая пальцы на враз озябших ногах, она вспоминала, что нужно сделать и как, и всё никак не решалась коснуться этой чёрной страшной воды.

В ту секунду, как вода сомкнулась над её головой, белая молния ударила где-то между веками и глазным яблоком. Дыхание остановилось, и остановилось сердце, и она поняла, что значит «обожгло холодом». И ничего не осталось в этой изношенной, тяжёлой оболочке под названием тело. Да и в голове ничего не осталось, кроме возгласа «ох!» И второй раз, и третий, и мокрые уже горячие ступеньки из купальни, и ледяная вода из ковшика через онемевшие зубы. И горячая дрожь сквозь махровое полотенце, и вдруг — зыбкое тепло волнами. И постепенно приходящее на своё место сознание, словно после обморока...

...Не торопясь, шла она по тропинке к дороге, ничего не понимая и ничего не чувствуя. Давешние нищие, увидев её, сдержанно посторонились, переставая жевать и пряча свои пироги.

И вдруг она поймала себя на мысли, что картинка эта не вызвала у неё, как давеча, того удушающего раздражения, какое вызвала бы где-нибудь в мешанине московского столпотворения. И даже подумалось как-то так, как раньше ей, городской учёной даме, и не думалось. То ли «вот охальники!», то ли «ах вы, барбосы»...

Парни, словно почувствовав её настроение, уже не таясь, откровенно уплетали свои пироги, теряя на жидкие бородёнки белые крошки, посмеиваясь, толкаясь и притоптывая расхристанными башмаками. А она обернулась, перекрестилась ещё раз на часовенку, на крутой берег и тёмную воду, на икону Серафима и легко зашагала по гладкой похрустывающей дороге. Солнце клонилось за острые верхушки елей, тренькала где-то последняя синица, из недалёкой деревеньки доносился крик петуха и по-

тявкиванье собаки. Она на ходу закрывала глаза, и казалось, что тела нет, и нет боли, и нет груза прожитых лет, а есть одна только душа, лёгкая и омытая, которая светлым облачком плывёт себе над этим русским снегом, среди этой зимней красоты в звенящем морозном воздухе, и ничегошеньки ей не надо.

Моё путешествие началось в глухой российской глубинке, в селе с названием Пуза. Была зима, народ в селе готовился к Новому году, потом предстояло перегулять Рождество, потом осилить старый Новый год и Крещенье. Времена стояли холодные и очень снежные. Поэтому на свет я появился на большой русской печке, которую по этому случаю хорошенько протопили, отмыли и застелили чем-то крахмально чистым. Когда раздался мой первый крик и путешествие во времени для меня началось, дед сказал:

— На печке родился, всю жизнь печалиться будет.

На что бабушка возразила:

— Горячим будет!

В какой-то степени правы оказались оба...

Когда народ отгулял всё положенное, когда прочистили дороги и отошёл мороз, меня повезли в моё первое путешествие в пространстве — в соседнее село, в ЗАГС для регистрации факта рождения. И тут выяснилось, что время рождения все запомнили по-разному. Дед утверждал, что я родился до Нового года, бабка — что после, тётка клялась, что двадцать пятого декабря. В итоге поступили просто — вычислили среднее арифметическое, и получилось двадцать девятое декабря.

А через три месяца моё путешествие во времени чуть было не прервалось. Я заболел полиомиелитом, меня парализовало, и единственным моим утешением в дальнейшем было лишь то, что этой болезнью переболел и президент США Рузвельт, которому это не помешало стать великим человеком, а стало быть, не должно помешать в жизни и мне.

Почему именно я выжил тогда, когда каждый второй умирал? Может быть, ангел помог мне потому, что надеялся, что я сделаю в будущем несколько добрых поступков и они перевесят те неправедные дела, которые я, как каждый грешник на этой земле, позволю себе. А может, вовсе и не меня сберёг ангел, а кого-то из моих потомков, понадобящихся миру неизвестно где и непонятно когда...

Лечить меня повезли в соседний город — Саров. И мне кажется, хотя этого не может быть, что я помню это путешествие. Ранняя весна, в берёзовых перелесках заливаются неведомые птахи, пахнет свежей смолой и половодьем. Под скрипучими колёсами телеги проплывает жёлтая песчаная колея, а из-за спины возничего виднеется тугой, в лёгкой испарине, рыжий круп и длинный нечёсаный хвост коняги.

Мы ехали в город Саров, которого не было. Был город Арзамас-75. Секретный город за колючей проволокой, в котором «страна ковала свой ядерный щит». Или меч? Одним словом, переместившись на десяток вёрст с севера на юг, я из допотопного коровьего колхоза попал в ядерный центр, в гнездилище российской науки, где лучшие мозги страны из ничего ткали нечто... О том, что саровский монастырь знаменит был жизнью святого Серафима Саровского, в те времена не вспоминалось. И лишь дед однажды, почти украдкой, показал мне литографию со стариком, кормящим в глухом лесу огромного медведя, и сказал:

— У вас в Сарове батюшка Серафим чудеса творил...

Но в те годы я был правоверным пионером и ничего не понял, пахнуло только в душу чем-то допотопным и древним...

БАБУШКИ ГУСЕВЫ

Странно быть человеком полудеревенским-полугородским. Родился в деревне, жил в городе, все школьные каникулы — тоже деревня, но всё же для деревенских ты — городской. А в городской жизни так теплы деревенские воспоминания...

Ах, как сладко просыпаться от прикосновения тёплого солнечного луча, косо пробивающегося из-за голубой занавески сквозь разросшуюся на подоконнике герань. Пахнет дымом дедушкиной махорки, бабушка позвякивает чем-то у шестка, в ногах на одеяле потягивается и зевает во всю красную пасть серый полосатый котище, взмыкивает стадо на слободе. Сон уже ушёл, но так хорошо понежиться ещё на пахучем соломенном тюфяке, расстеленном прямо на полу. Братья и сёстры ещё спят, уткнувшись в фуфайки, положенные в головах вместо подушек (где же бабушке набрать столько подушек на ораву внучат!), тикают ходики, и жужжит где-то первая утренняя муха. Но вот поднимается возня, раздаётся хихиканье и первый голос:

— Баушк, молочка парного нету?

— Как же нету, есть, вставайте...

И вот она — пол-литровая кружища тёплого, только что от коровки, густого молока. А там — крыльцо, уже нагретое солнцем, а там улица с тёплой мягкой пылью под босыми ногами (и цыпки на ступнях), и лес, и пруд, и чужие сады с недозрелыми яблоками (почему-то в чужих садах яблоки слаще и поспевают быстрее). А захотелось есть — бежишь в избу, отрезаешь ломоть от чёрного, бабушкиной выпечки, каравая, потом на огород, за желтоватым огурцом (мыть не надо, достаточно вытереть о штаны), и сидишь, похрустывая огурцом и наблюдая полёт ласточек, слушая чивканье воробьёв-пудиков за наличниками, или болтаешь с двоюродными братьями про фонарик, который есть «у одного знакомого» и который «берёт до Москвы»...

Бабушки Гусевы жили на выселках, у пруда. Зимой старшие сёстры брали меня с собой «к бабушкам Гусевым на сказки». «Сказки» были про Иисуса, про Боженьку (долгое время я думал, что Боженька — она), про рай и ад. Горела керосиновая лампа, мерцали в углу иконные лики, потрескивали поленья в печи-голландке, десяток ребятишек лакомились нехитрым гостинцем — калёные орешки и семечки, сушёные яблоки, какое-нибудь печево, а бабушки сплетали и сплетали в замысловатое кружево старинные непонятные слова. Я слушал, жевал вкуснющие орехи, ничего не понимал, но слушал и слушал...

Бабушки Гусевы не ходили на выборы. Ранним утром в этот день они собирали узелки с провизией и уходили в лес, поскольку очень боялись участкового милиционера, который как-то напугал их тем, что силой погонит на избирательный участок.

В лесу они шли на святое место (одни говорили, что там расстреляли монашек Дивеевского монастыря, другие — что дезертиров) и весь день усердно молились.

Старшая бабушка была знахаркой. К зиме все сени и чердак их избы увешаны были травяными вениками и связками кореньев. Тёмными вечерами на печке старшие братья пугали младших, рассказывая, что бабки — колдуют. Младшая бабушка была на подхвате.

Однажды старшая бабушка уехала по делам в райцентр, а в это время к ним пришел за помощью тракторист — болит живот, нету мо чи, а таблетки фельдшерицы не помогают! Младшая бабушка, нисколько не задумавшись, решила ему поставить банки. Уложила на лавку и, не найдя медицинских баночек, решила, что сойдут и обычные — литровые. Сначала мужик ещё терпел, но, когда фиолетовые пузыри на его животе вздулись с кулак, он заорал благим матом и заметался по горнице, сшибая банки об углы. А потом бежал по слободе, мелькая пёстрым, как у леопарда, животом.

Скандал замяла старшая бабушка. Она смазала трактористу пострадавшие места каким-то снадобьем, а от боли в животе дала настойку. Через день тракторист уже сам смеялся над своим злоключением. Младшая бабушка уж больше не бралась за лечение...

Про бабушек Гусевых рассказывали замечательную легенду.

Посчитав, что жить ей осталось недолго, старшая бабушка заказала себе гроб. Деревенский плотник выполнил заказ и привёз изделие в избу. Гроб, по оценке бабушек и приглашённых по этому случаю подружек, был хорош — «как огурчик».

Плотник, удовлетворённый деньгами и стаканом самогонки на травах, ушёл домой, а гроб старушечьим собранием было решено опробовать. Старшую бабушку обрядили, как полагается в таких скорбных случаях, и она забралась в домовину...

А надо сказать, что раз в полгода в село из Сарова приезжал фотограф-калымщик. Фотографировал желающих, а потом привозил фотографии. Одна из старушек и предложила: а вот бы позвать фотографа да и сфотографировать будущую покойницу — вот она сама и увидит, как хорошо она будет выглядеть на похоронах! Все согласились, и, пока старшую бабушку прихорашивали в гробу, младшая сбегала за фотографом.

Как только фотограф вошёл, старшая бабушка замерла. Фотограф привычно пощёлкал аппаратом, спросил, сколько нужно снимков, и объявил:

— Привезу через неделю. Давайте червонец.

И тут старшая бабушка открыла глаза и строго спросила:

— Эт что ж так дорого? В прошлом годе пять платили!

Фотограф упал в обморок, и только с полведра колодезной воды привели его в чувство. Он молча схватил фотоаппарат, выбежал из дома и, говорят, в Пузе больше не показывался...

Было ли это на самом деле или нет — не знаю. Но одна история с участием старшей бабушки произошла со мной лично и, стало быть, была точно.

Я объелся малины и одновременно перегрелся на солнце (целый день читал книгу в малиннике у дяди). Поднялась температура, открылась рвота, страшно заболела голова. Фельдшерица, как назло, уехала. Дед кинулся было искать машину, чтобы везти меня в райцентр, но бабка предложила сначала сводить меня к бабушке Гусевой. Я уж был сознательным подростком, правоверным пионером и в здоровом виде ни за что бы не пошёл. А тут сил сопротивляться не было, я был приведён к знахарке и усажен

на стул.

Горела лампада, поблёскивали окладами иконы, бабушка Гусева плескала мне в лицо водой из желтоватого стакана и что-то шептала, шептала, шептала...

Я вымученно, но всё же, стараясь быть ироничным, снисходительно ухмылялся и размышлял о том, как у нас в деревне всё-таки ещё тёмен народ!

— Ну, ладно, идите! — вдруг сказала бабушка Гусева и чуть не вытолкала нас с бабушкой на крыльцо. В суматохе она сунула мне в ладони горсть орехов и сказала: — Что ж ты к нам совсем перестал ходить? — и, пока я мялся, придумывая вежливую ложь, улыбнулась: — Большой стал, стесняешься...

Мы сошли с крыльца, и я остолбенел: боли не было! Абсолютно! Только лёгкая усталость. Дома померили температуру — нормально!

Ночью я лежал без сна и пытался вспомнить, что же она там шептала, бабушка Гусева, какие там разволшебные слова?..

Уже значительно позже, когда я работал в сельской районной газете, совсем старенькая бабушка Гусева сказала мне:

— Ты мальчик добрый, скажу тебе тот заговор, помнишь?..

Слова заговора «от болей в голове, в зубах и животе» я натвердо помню и сейчас...

Что гонит тебя из дому, человек? Чего ты ищешь в краю далёком? Какой парус манит тебя в дальние страны? А найдя то, что искал, успокоишься ли, или новый парус поманит тебя неведомо куда неизвестно зачем? В детстве ты с друзьями-подростками пытался на плоту сбежать на далёкую и прекрасную Кубу, помогать Фиделю Кастро и Эрнесто Че Геваре строить райский коммунизм на отдельно взятом Острове свободы. Случай это или закономерность, что спустя тридцать лет ты оказался на острове твоей детской мечты?

Случай или закономерность твоё путешествие в Среднюю Азию, которая снилась тебе когда-то? Но вот ты здесь, ты объездил её всю от Каракалпакии до границ с Афганистаном... Что приводит тебя туда, куда ты попадаешь — твоя воля, твои мечты (мысли, мечты и идеи материализуются) или слепой случай?

КУБА

Жарко. Очень жарко. Нет и семи утра, а уже нечем дышать! И чего его понесло на эту Кубу? Ну, пальмы, ну, океан, ну, Гавана... Сидел бы сейчас в тенёчке на бережку родного Чёрного моря, потягивал бы красное винцо только из холодильника. Василий Иванович шёл по песку, даже сквозь подошвы сандалий ощущая, как тот наливается жаром. Нет, потом, дома в компании за пивком забавно будет похвалиться, что вот, мол... Можно даже приврать, что самого Фиделя видел... Но эта жара! Василий Иванович оплывал потом и чувствовал себя скользким обмылком в горячей сауне. На окраине посёлка было посвежее, с океана дул бриз, и жара была не так тягостна. Ветерок трепал лохматые головы пальм, шелестели невысокие апельсиновые деревца, несильный прибой лизал длинный белый пляж. Позади остались и белые бунгало турцентра, и обшарпанные домишки обслуги; на самом краю посёлка, совсем недалеко от берега шелестела сухим пальмовым листом на пологой крыше старая деревянная хижина. Увидев удобно гнутый океанскими ветрами ствол неведомого дерева, Василий Иванович присел на него передохнуть и невольно залюбовался. Океан блистал из края в край, над горизонтом стояли огромные башни облаков, далеко за хижиной тянулась тёмно-зелёная гряда вычурных, словно слепленных по эскизам Сальвадора Дали, холмов Пинар-дель-Рио, да и сама хижина была тут так к месту, так хорошо вписывалась в пейзаж, что Василий Иванович забыл про жару и всё смотрел, смотрел, не мог насмотреться. «Понимаю Хемингуэя», — пробормотал он про себя и устыдился, такой надуманной и ненужной показалась собственная мысль. Неожиданно дверь домишка отворилась, и на широкий, выбеленный солнцем и морским ветром порог вышли двое. Молодой темнокожий парень и темнокожая, но ближе к цвету кофе с молоком, девушка. Хижина была такая дряхлая, что трудно было предположить, что она жилая, скорее уж для антуража, для туристов сохранённая тут, на берегу. Но двое, похоже, здесь жили. Василия Ивановича они за изогнутой веткой не видели, он же их видел очень ясно. Пара была хороша! Стройные, высокие, гибкие... Василий Иванович хотел встать и потихоньку уйти — и не смог. Прикипел взглядом. Парень в шортах и драной майке сел, улыбаясь, на крыльцо, опершись мускулистым плечом о столбик, поддерживающий навес, а девушка в просторном цветастом балахоне, смеясь, что-то говорила ему и ерошила кудрявую голову. Вдруг девушка скрылась в тёмном дверном проёме, потом появилась вновь и, протянув парню вынесенный флакон, сбросила балахон. У Василия Ивановича остановилось дыхание. Чёрт, как хороша! — стиснул он зубы. А парень, плеснув из флакона в ладони, принялся натирать девушке ноги, отчего те заблестели и

залоснились. Он натирал молодое упругое тело, болтал что-то, блестя белыми зубами, а девушка весело смеялась, закидывая пышно-кудрявую голову. Василий Иванович весь как-то отсырел изнутри, сердце сладко заныло, невыразимая грусть вперемешку с чем-то томительно-тянущим стала заполнять его большое грузное тело. Отчего-то вспомнилась жена, но не такой, которую он оставил час назад в бунгало спящей и во сне похрапывающей с открытым ртом, а молодой студенткой, смеющейся вот так же беспечно и легко с запрокидыванием головы. Парень, в конце концов, поднялся и, подобрав цветастый балахон, скрылся в темноте хижины, девушка потянулась, крикнула ему что-то в дверной проём и, всё ещё посмеиваясь, ушла за ним. Василий Иванович медленно побрёл к турцентру. Весь день он был так тих и задумчив, что жена забеспокоилась — не заболел ли? Но рассказать он ей ничего не мог. Разве такое расскажешь?

Дом был одноэтажный, невысокий, но какой-то объёмный, кубастый. Перед домом развесил ветви старый, корявый грецкий орех. Под орехом уютно примостился круглый стол с красивой мраморной столешницей, в центре которой в мраморном углублении цвели незабудки. Вкруг стола — столетние скамейки. Было Первое мая. Мы маршировали в потешной демонстрации перед трибуной — большим крыльцом-верандой, выкрикивали дурацкие лозунги и радовались жизни.

— Да здравствует Первое мая — самое первое мая в мире! — кричал с «трибуны» командир.

— Ура-а-а! — подхватывали мы нестройно, но громко.

— Ура-а-а, — вежливо, вполголоса, тянули из-под ореха хозяева дома — грузины.

— Гав-гав-гав! — неодобрительно тявкала из-под крыльца собака.

— Да здравствует дружба русского и грузинского народов! — хитро поглядывая на хозяев, выкрикнул командир. — Ура!

— Ура-а-а! — дружно подхватили из-под ореха седые, но крепкие и широкоплечие виноградари.

— Ура-а-а! — до хрипа в горле орали мы.

— Гав-гав-гав! — включалась под крыльцом собака.

Где-то вверху громыхнуло, с гор полыхнуло ледяным ветром. Мгновенно потемнело, и на дом, на орех, на красивый стол под орехом полоснуло ливнем. Рыча и гикая, мы ринулись в дом, и хозяева-грузины, смеясь как дети, затопали по крыльцу вслед за нами. В доме нас уже ждал накрытый невидимыми женщинами праздничный стол. И какой стол! Какая-то неведомая скатерть-самобранка развернула на потемневших от времени досках все свои яства: мясо, дразнящее аппетитной поджаристой корочкой, овощи, зелень, пахнущая утренней росой, лугом и какими-то неведомыми джунглями, сочные фрукты (откуда в мае?!). В изящных жёлто-коричневых кувшинах взбулькивало при малейшем прикосновении знаменитое кахетинское вино...

Дождевые струи звенели оконными стёклами, гремел гром, шумела где-то рядом непоседливая Алазани, и уже не верилось, что всего полдня назад мы неслись по этой реке сквозь пороги и коряги, и командир орал, срывая голос: «Табань!» Порог исхлестал нас водой, унёс весло и продырявил днище, залив одежду и палатки. Но ночевать на берегу этой ночью нам не придётся: к берегу подошли молчаливые люди с прибрежного виноградника и, молча взяв наши вещи, привели нас к этому дому.

Вино разогрело кровь, развеселило.

— Хочу лобио! — сказала Ирина.

Хозяева недоуменно переглянулись. Она хочет лобио?! Огромный Али, смущённо моргая редкими ресницами, принёс из кладовой фасоли в полиэтиленовом мешочке.

— Приготовить?

Ирина заливисто рассмеялась:

— А я думала, что лобио — это такие длинные булки!

— Не-ет! Это лаваши. Хлеб! — восторженно завопил Али. Он смеялся и не мог остановиться. — Ошибка! Лаваши — хлеб! Лобио — фасоль!..

— А тосты? Как же тосты? — крикнул Игорь. Игорь — знаток и любитель обстоятельных застолий.

— Нужен... это... главный за столом, — поднявшись, сказал высокий, худой и очень жилистый старик по имени Гогия.

— Тамада! — догадался Игорь. Игорь — знаток застольных обычаев всех народов во все времена.

— Правильно, тамада! — рявкнул Али.

— Гав-гав-гав! — отозвалась из-под крыльца собака.

— Гра-ах! — трахнуло молнией за окном.

— Дзин-н-нь! — отозвались на столе кувшины.

Пахло сухой овечьей шерстью, пахло столетним деревом, тянуло из дверей снеговым ветром с горной гряды и фиалками с ближних склонов. И все это обволакивал

запах терпкого красного вина и грустная, «на заказ» песня про мёртвую девочку Сулико.

А потом самый старый грузин за столом — Северьян — высоко поднял руку со стаканом, и все поняли: сейчас будет тост.

— ...И вот президент американской страны, — торжественным глухим голосом говорил Северьян, — и вот президент запретил своим ребятам-спортсменам ехать к нам в Москву на олимпиаду. Эх, Картер, подумал я, это не поступок мужчины! Любой правитель, любой человек, стоящий у власти, должен быть мудрым! Куда девалась мудрость у правителя американской страны? — Северьян нахмурился и немного помолчал, сосредоточенно глядя в окно. Потом встрепенулся: — Так вот, хочу выпить за то, чтобы в далёкой американской стране люди посмотрели на своего президента и поняли: не нужен им такой правитель!

Вот как говорил Северьян, а может, ещё лучше.

Он сделал бокалом замысловатое движение и поставил его на стол. Мы все поставили стаканы на стол. Игорь судорожно сглотнул слюну. Встал Гогия — второй по возрасту старик и поднял стакан. Он тоже ругал Картера, отчаянно размахивал руками и хмурил брови. В заключение он ещё более замысловато крутанул стаканом и поставил его на стол. Мы все поставили стаканы на стол. Игорь тоскливо вздохнул. Вино издевательски подмигивало ему розовыми бликами.

Потом говорил огромный Али. Он плохо говорил по-русски, и Гогия переводил нам то, что мы плохо поняли.

— Это называется «алаверды», — склонившись ко мне, прошептала мне многозначительно Ирина. — Обычай такой...

Даже Игорь, забыв о вине, произнёс длинную запутанную речь, которая начиналась: «Ещё вчера мы ничего друг о друге не знали...» — и заканчивалась словами «за урожай!»...

Речь Игоря хозяев потрясла, они подняли стаканы и... произнесли длиннейшие ответные тосты...

Мы ели мясо, пили вино и слушали грустные грузинские песни. Словно живой орган, словно рокот далёкой лавины, словно гул алазанских порогов. А потом Али танцевал лезгинку, а Игорёк кричал ему:

— Нет, нет, не так, Али! Лезгинку танцуют не так! — кричал Игорь — знаток национальных танцев.

А в углу весело трещала красными углями печка-буржуйка, весело звенела гитара, и все были веселы и счастливы...

Накрапывал уставший дождик, пахло цветами. Мы лежали на душистых соломенных матрасах, укрывшись жёсткими чёрными бурками. За окном, сквозь темень ночи, посверкивали дальние зарницы, высвечивая на мгновенье гребни гор. Не спалось, я встал и вышел на крыльцо. Али, завернувшись в бурку, сидел на ступеньках. Он печально глядел в темноту, вздыхал и беззвучно шевелил по-детски толстыми губами.

— Завтра вы уходите, — сказал он вдруг и укрыл меня полой своей бурки.

«Может быть, мы не чужие? — помимо воли всплыло в моей голове. — Может быть, в душах этих виноградарей навсегда останется память о нас, останутся кусочки наших душ. Но тогда и кусочки виноградарских душ должны пустить корни в наших сердцах, должны прорасти в нас ростками человеческой любви и братства».

«Это вино!» — объяснил я себе внезапное философствование.

Али обнимал меня, как брата, и тихо пел мне грузинские песни, прихлопывая по коленке широкой ладонью. И узловатость пальцев его тёмной руки напоминала мне узловатость виноградной лозы. Али тихонько напевал мне по-грузински, а я вторил ему как мог по-русски, и в темноту Кахетии улетала странная песня с хитросплетеньем русских и грузинских слов...

Пронзительно-свежим утром мы собирали рюкзаки, а старики-виноградари стояли у стола под орехом и молча смотрели. Гогия неторопливо расставлял на круглом столе тарелки. Нужно позавтракать на дорогу.

Я паковал рюкзак, поглядывал на стариков и знал уже, что никогда больше не попаду сюда, не услышу голосов Али, Северьяна и Гогии, но и не забуду ни их, ни этого дома с угрюмой собакой под крыльцом, ни печки с красным пламенем внутри, ни запаха фиалок вперемешку с кахетинским красным вином...

Мы молча взялись за вёсла, скрипнула последний раз галька под сапогом, царапнуло днище о камень. Алазани подхватила плот и, шлёпая его по бокам, понесла...

— Смотрите! — крикнула вдруг Ирина.

Из-за поворота выплыл зелёный бок горы, и на фоне ровных строчек виноградника мы увидели знакомые фигуры. Медленно и неуверенно Ирина махнула им рукой. И старики виноградари замахали нам в ответ. И мы махали им на прощанье и кричали:

— Проща-а-айте!

Между нами и берегом тянулась и всё увеличивалась сверкающая солнечная дорожка, и там, где она упиралась в берег, на зелёном склоне стояли старики и всё махали и махали нам вслед. И мы махали до тех пор, пока река не сделала поворот. И только тогда в сердце мягкой щемящей нотой пропела струна расставания...

МИККИ-МИККИ!

Мы жили в маленькой светлой комнатке. Печка, стол, две кровати да табурет. Улочка, на которой стоял хозяйский дом, в одну сторону извилисто скатывалась к узенькой маленькой — собаке по колено — речке Темерник. В другую — вылезала на холм, с которого был виден весь Ростов, а за крышами, деревьями скверов и церквями проглядывала полоска полноводного Дона.

Мы жили вдвоём. Волей командировок и секретарей отделов кадров, направивших нас к одной «квартиросдатчице», мы на несколько месяцев оказались соседями, а пожалуй, и друзьями.

Друг приехал с Севера и, глядя на ростовскую зиму, то вздыхал, то ругался. Он всё ждал, что подуют северные ветры и вместо нудного дождичка, вместо постоянной слякоти повалит, наконец, снег и ударят морозы. Но зима не приходила.

— Как они здесь живут? — негодовал якут, впервые оказавшийся значительно южнее своего Якутска. — Ни на лыжах побегать, ни на охоту сходить! Слякоть да слякоть... бр-р...

Вечерами мы сидели в комнатке и разговаривали. Об охоте, о преимуществах и недостатках лодки-долблёнки, о ружьях, о громадных щуках якутских озёр и загадочном звере росомахе. Гудела кусками горящего угля печка, слякотно посвистывал ветер за окном, скрипели о стекло голые ветки алычи, и разговор, словно пряжа, вился и вился за самую полночь...

Весна наступила стремительно и неожиданно. Она трогала душу моего приятеля, словно струну гитары, всеми своими проявлениями. Первыми листочками, проклюнувшимися из толстых почек, тонкими стрелками изумрудных травинок, пробившихся сквозь жухлую прошлогоднюю траву, голубым небом и веснушчатыми от первого солнечного пригрева девчонками. Он не спал ночами, слушая, как в саду орут до одури соловьи и ошалевшие коты. Вечерами он вытаскивал меня на улицу дышать апрельским ветром. Его неудержимо тянуло домой.

— Гусиная охота, — говорил он, зажмурив глаза, — это... это...

Мы шагали по извилистым улочкам пригородного Ростова. Мы шли мимо больших, старых домов, мимо маленьких домишек, теряющихся за заборами и садами. Друг тащил меня то к оживившемуся Темернику, то к разлившемуся Дону, то в старый заброшенный сквер. Этими бесцельными походами он душил тоску по весне своего края, по весне Севера.

Он не горазд был на разговоры — мой друг из Якутии. Но всё было написано на его лице, всё было сказано движениями его рук. Весна — это...

Он трогал первые клейкие тополиные листики, не мигая глядел на садящееся в ломаную линию крыш солнце, оглядывался вслед длинноногим веснушчатым девчонкам в лёгоньких платьицах.

— Микки! Микки!

На краю сквера красивая стройная девушка в джинсах и пушистом свитере тревожно глядела в крону тополя и звала:

— Микки, Микки! Вернись, глупыш!

— Удрал? — остановившись у тополя, спросил прохожий.

— Удрал! — в голосе девушки послышалась обида.

Прохожий покачал головой и пошёл дальше.

— Девушка, — сказал мой друг, задрав голову и задумчиво глядя на птицу, — девушка, а может, не стоит? Может, лучше пусть летит он к себе в Африку. Весна ведь. Весной всем куда-нибудь хочется.

— Его вороны заклюют, — жалобно ответила девушка. — Он всю жизнь в клетке сидел, на воле пропадёт. Микки, Микки, иди сюда!

Микки сидел на веточке и глядел на нас то левой, то правой бусиной глаза. Он не знал, что такое ворона и почему надо опасаться кошки. Все инстинкты его угасли в клетке, как угасает у городского человека чувство природы. Он чувствовал себя первооткрывателем, Вольной Птицей.

— Нужно согнать его с дерева, — сказала девушка, — тогда он сядет на землю. Летает он плохо.

Друг неуклюже полез на дерево. Там, где он живёт, деревьев почти нет. Попугай с интересом следил за собственным спасением. Но оказалось, что Микки не так уж и плохо летает. Отчаянно трепеща крылышками, он взлетел на крышу большого — в

пол-улицы — пятиэтажного дома и пропал из виду.

— Ну, всё, — тихо вздохнула девушка, — там же кошки... Пропал Микки...

— Спокойно, — бодро сказал друг, — надо туда залезть. А вы тут побудьте, — обернулся он к девушке.

Со двора мы обнаружили пожарную лестницу. Весь дом был во флигельках, пристроечках, кругом карнизы и карнизики, лестницы и лесенки, балконы и множество разнокалиберных окон.

И мы начали восхождение.

На втором этаже нас с балкона облаяла лохматая собачонка.

Из флигелька на третьем оглушил басами трубач.

На четвёртом на нас накинулась с руганью древняя как смерть старуха. Кто-то увлёк её в тёмную глубину комнаты, а она, отбиваясь, дребезжала:

— А шо они по нашей лестнице лазють! По крыше небось шастать будут, потекёть!

— Наверх? — спросил нас из окна на пятом седенький, толстенький старичок.

— Наверх!

— Ну-ну...

После пятого была дверца на чердак. Чердак был огромен и гулок. Под ногами что-то хрустело, на лицо липла невидимая паутина, а по углам шуршали крыльями голуби. Было время птенцов, и сквозь шуршанье слышался писк. Вдалеке призывно светлело слуховое окно — выход на крышу. Спотыкаясь о какие-то балки, стукаясь головами о стропила, мы брели на свет. По крыше что-то постукивало и шуршало, доносились сладковатые запахи тлена и гнили. «Пахнет кладбищем и кладом», — образовалось почему-то в голове.

— Ой! — приглушённо вскрикнул друг. — Смотри!

На тёмной просмолённой балке лежал череп. Белый с тёмными провалами глазниц и сатирически-зубастой ухмылкой, он глядел куда-то в темноту чердака и усмехался чему-то ему одному известному.

— Вот это да! — прошептал друг. — Откуда? Настоящий?

Я потрогал череп.

— Может, мальчишки затащили, утащили в школе из кабинета анатомии и приволокли сюда.

— Зачем? — поднял брови друг.

Там, где он рос, мальчишки не играют в «штабы» и «сокровища». Зачем? А может, и не мальчишки, дом-то старый. Чёрт его знает, какая тут история. Друг смотрел на череп, а я вдруг вспомнил историю его приезда в Ростов. В Москве его встретили знакомые из Якутска и, сажая на ростовский поезд, объяснили: ехать от вокзала к месту назначения нужно на седьмом трамвае. Он вышел с вокзала, подошёл к трамвайным путям и голосовал перед каждым седьмым проезжающим трамваем. Так он голосовал, останавливая «Уралы» и вездеходы, когда добирался из своего посёлка в Якутск. Но трамваи не останавливались...

— Микки, Микки! — услышали мы приглушённый крик и, вспомнив про попугая, двинулись дальше. С лесенки слухового окна с шумом взлетел незамеченный нами голубь, и мы вздрогнули. Друг покосился назад, туда, где белело пятнышко ухмыляющегося черепа.

Мы выбрались на свет. Крыша была словно всхолмленное плоскогорье. Кругом взгорбки слуховых окон, скаты, антенны, какие-то штыри, провода, трубы. Вдали гряды других крыш, ещё дальше серебряная полоса Дона.

— Микки, Микки! — позвали мы, вглядываясь в необъятную ширь кирпично-красного плоскогорья.

Мы бродили среди антенн и труб, слуховых окон и всё звали и звали беглого попугая. Друг присел на плоский горбик слухового окна и, подперев щёку, уставился на горизонт. Крыши горбились чёрным силуэтом, тёмно-синее, уже почти фиолетовое, небо книзу розовело, наливалось красной бахромой, редкие облачка играли невообразимыми красками.

— Так не бывает! — вырвалось у меня. Друг помолчал и тихо спросил:

— А ты северное сиянье видел?

Когда солнце окончательно скрылось за крышами и буйство красок сошло на нет, мы отправились вниз. На чердаке стало совсем темно, и мы едва отыскали нужную дверцу.

— Вниз? — спросил нас старичок с пятого этажа.

— Вниз!

— Ну-ну...

На четвёртом и третьем окна светились голубым. Там сидели у телевизоров. Собачка со второго, как старым знакомым, повиляла нам хвостом.

Красивой девушки в джинсах и свитере нигде не было.

— Ушла, — вздохнул друг.
— Может, Микки вернулся.
— А может, и нет...

...Я уезжал первым. Друг разглядывал меня сквозь мутное вагонное стекло, словно рыбку в аквариуме. Мы договорились, что я приеду к нему в посёлок на весеннюю гусиную охоту, но сердце подсказывало, что мы больше не увидимся. И сердце не обмануло. Зимой мне сообщили, что он провалился в полынью, сумел выбраться на берег, но не дошёл до посёлка, замёрз в тундре...

Вагон дёрнулся. Потянулись донские плавни. Вечер... Неясный вагонный свет, приглушённые вагонные разговоры, табачный дым в тамбуре. Я уснул, и приснился мне зелёно-голубой попугай Микки. Он сидел на плече у моего друга и весело подмигивал мне чёрной бусинкой глаза...

Пристанционный посёлок носил романтичное название Оазис. Но ничего от настоящего оазиса в нём не было. Пыль, чахлые деревья над арыками, низенькие дома с плоскими крышами. На крышах валуны — чтобы не снесло кровлю в осенние ветра.

Перрон и часть убогого вокзальчика освещена неоновыми фонарями, всё остальное тонет в синем мраке. Я присел на скамейку на берегу арыка и отгородился от мира стеной воспоминаний. Три недели в пустыне, а память, бессовестно обманывая, утверждает — полжизни. Пески, корявый саксаул, невероятное озеро Сарыкамыш, окружённое Каракумами. Синее среди жёлтого...

...Машина скрылась с глаз, а пыль ещё долго висела в горячем воздухе. И, словно по следу, я пошёл за этой пылью вслед пропавшей машине. Я шёл налегке — всю поклажу забрали с собой друзья, удалявшиеся сейчас от меня со скоростью восемьдесят километров в час на почтовом фургоне, водитель которого наотрез отказался брать лишнего пассажира. Я шёл по горячей бетонке, щурился от неистового солнца, всем телом ощущая великую сушь Каракумов, и время от времени оглядывался: не идёт ли попутка.

Что я сделал глупость, оставшись в пустыне один, я понял только через два часа, когда вспомнил, что сегодня воскресенье и рассчитывать на случайную машину практически невозможно. Не сказать, что я испугался, но тревога поселилась где-то под сердцем и не уходила. Я был один в центре огромного светло-жёлтого круга. Я шагал, и уходили назад белёные придорожные столбики, и обглоданные кости саксауловых кустов уплывали назад, но всё равно я оставался всё там же — в центре заколдованного раскалённого круга. Час, другой, третий — всё тот же жёлтый круг и всё та же жара. Ни глотка воды, ни полтени вокруг, кроме собственной под самыми ногами. И мысли путаются от жары, и язык превратился в наждак, и нечем плюнуть на дорогу: какого чёрта так влип!

Как глупо... Упадёшь, закроешь глаза, и только дня через два на тебя, распухшего и расклёванного пустынными стервятниками, наткнётся почтовый фургон или «Урал» геологов...

Как просто человеку умереть. Сутки без воды в сорокапятиградусную жару — и конец. Или, например, мороз... Мороженое... Эскимо на палочке... Сливочный пломбир... Белое и сладкое смазывает пересохшее горло, холодит пергаментные лёгкие. Музыка, фонтан в сиреневом городском сквере, три мокрые бронзовые фигуры с земным шаром, поднятым в голубое небо на вытянутых руках. Нарядные люди... Присесть вот тут у столбика, отдохнуть, помечтать...

В самую последнюю секунду я увидел, что прямо там, куда я собирался сесть, поднял жало огромный (как мне показалось тогда) скорпион. Это встряхнуло меня ещё минут на двадцать. А потом, когда я готов был окончательно и бесповоротно упасть, мне повезло. Прямо под насыпью сохранился кусочек арыка, опушённый густой осочной зеленью. Я пал в мутноватую с прозеленью воду и пил не отрываясь, пока вода не полилась из горла обратно в арык. Я лежал на песке, брызгал на себя водой, набранной в футболку, и, остывая, смотрел в воду. Вся она кишела мелкой живностью, но меня совершенно не трогало, что часть этой живности кишела теперь в моём животе...

И снова я шёл по дороге, и снова било беспощадное солнце, и уже через пятнадцать минут я был сух, словно и не было никакого арыка...

И перебежал дорогу тушканчик. И ползла вдоль дороги гюрза. И было большое искушенье убить черепаху и, разломав панцирь, выпить у неё кровь. А солнце прикипело к зениту и не хотело уходить на закат...

Когда я увидел дом и зелень вокруг дома и услышал лай невидимой собаки, я решил, что это мираж. Но дом был. И были люди, которые, подкладывая мне кусочки дыни и подливая огненного чая, качали головой и цокали языками:

— Пешком от самого поворота?! Среди дня?! Да как же шофёр тебя не предупредил — это ж верная гибель...

А потом в синеющих сумерках я лежал на мягком топчане, поставленном прямо под открытым небом у дома, и смотрел на горизонт. Там, в немыслимой дали, вдруг налился оранжевым светом непонятный шар, внутри которого червячком извивался ослепительно белый проблеск. Хозяева дома сидели рядом, у костерка, но ни один не указал в ту сторону, не воскликнул — смотрите-ка! И я решил, что у меня бред. Шар поднимался всё выше и выше, и я не запомнил того мгновения, когда он поднялся в мой сон...

Утром оказалось, что я видел пуск очередного космического корабля. Здесь к этому уже привыкли и не обращают внимания...

Кожа на моих щеках сгорела до костей, зато питьё из арыка сошло мне с рук, никакой дизентерии. Днём я уже обнимался с друзьями и купался в ослепительно синем Сарыкамыше. А ещё через день местные рыбаки взяли нас с собой на острова... Мы плыли на моторке по бескрайней синеве. Два часа в огромном синем круге. Пеликаны, словно мини-гидросамолёты, взлетали при нашем приближении, била водой крупная неведомая рыба, показывались и пропадали жёлто-зелёные островки... И давешняя дорога уже уходила в нереальное. Только мазь на обгоревших щеках ещё доказывала реальность случившегося...

...Сквозь редкие ветви прямо в лицо сияли неправдоподобные звёзды. Только в пустыне можно увидеть такие. От арыка приятно тянуло сыростью, кто-то попискивал в кустах, пахло чем-то пряным и сладким. На станции Оазис тоскливо вскрикивал маневровый паровозик.

— Пойдем угрей ловить.

Я обернулся. В отблесках вокзального света он выглядел странно. Рваная тельняшка, безразмерные брюки, подтянутые потрескавшимся лакированным ремнём. Коротко стриженные волосы — торчком.

— Пойдем, поезд только под утро. И наловить успеем, и пожарить.

В руках палка с примотанной на конец вилкой и матерчатая сумка, подозрительно оттопырившая бок и подрагивавшая. Бич. Бывший интеллигентный человек. Он всё время живёт так, как я могу позволить себе жить только во время отпуска. Сколько ему лет? Время оставило на нём массу отметин — морщины, шрамы, синие письмена татуировок... У таких людей физический возраст никогда не совпадает с истинным, с тем, который несмываемым отпечатком ложится на душу...

Он вдруг повернулся, замер и резко наклонился над арыком. Мелькнул блик по чёрной воде, плеснуло, завозилось, и что-то мокрое и длинное шмякнулось с конца палки в сумку... Он улыбнулся, и я разглядел корявые останки зубов...

Я не пошёл за ним вдоль арыка, только проводил взглядом его полосатую спину. И потом долго об этом жалел. Мы хотим приключений, тянемся к необычному, но когда оно приходит, пасуем...

ДЕНЬ СБИТЫХ СОБАК

Пастухов нервно барабанил пальцами по баранке руля и вполголоса ругался. Свя зных мыслей при этом в голове не было. Так, крутилась какая-то мешанина из мутных, под стать октябрьскому дню, обрывков, фраз и отдельных слов. Пастухова «кинули». Событие, надо сказать, довольно рядовое. Раньше не кидали, что ли. Да и сам ли он не химичил... Вообще-то то, что сумма, пропавшая для его кармана, была не фатальна, не давало повода для излишней нервозности и горечи. Но то ли груз накопившегося давил, то ли хроническая усталость, присущая людям, коллекционирующим банкноты, всё сильнее давила на душу, но волна злости и раздражения вдруг накатывала так, что он принимался тихо, но энергично и злобно материться. Ещё оставалась небольшая возможность повернуть дело в свою пользу, и этим матом Пастухов настраивал себя на жёсткий разговор.

На обочине забелело, и, снизив скорость, Пастухов увидел валявшуюся в жухлой траве большую светло-серую собаку. Не было видно ни крови, ни явных повреждений, но сразу было ясно: собака сбита машиной и мертва. «Мертвее мёртвой», — всплыло в голове. Почему-то эта собака застряла в мыслях. Вот жила, жила, бегала по своим собачьим делам, радовалась выдранному в схватке обглоданному мослу, хозяин, может быть, был у неё... Вполне мог быть — шерсть гладкая, ошейник, кажется, на шее...

Шоссе, тускло поблёскивая мокрым асфальтом, уходило то влево, то вправо, то поднималось на холмы, то ныряло в ложбины. И мысль так же плавно, хоть и бессвязно, плыла сама по себе, однако, словно привязанная, всё крутилась вокруг сбитой собаки.

Показался город, и внимание Пастухова само собой переключилось на предстоящий разговор.

«Я ему скажу...» — внушал себе Пастухов и представлял, что и как скажет. Он накручивал себя, накручивал, злил, словно жокей вожжами лошадь перед стартом, и боялся признаться, что в глубине души копошится маленький червячок, дырявящий фундамент его злости, желания и энергии: «Надоело. Штукой больше, штукой меньше... Баксы, баксы, а жизнь уходит...»

А как хорошо, как уютно было в солнечном советском детстве! Утром будила его сирень, роняя в распахнутое мамой окно отцветшие лепестки сиреневых гроздей, и тонкий, но пронзающий всё пространство крик толстой тётки в белом халате: «Молоко-о-о-э!» Звенел крышкой бидон, соседка Лариска летела наперегонки к перекрёстку, где к тележке молочницы уже выстроилась недлинная очередь женщин в халатах и мужчин в майках и трико.

А впереди только хорошее. Пришкольный лагерь и поход в «Октябрь» на «Неуловимых», а перед «Неуловимыми» смешной «Фитиль», а ещё перед — обязательное эскимо.

И вдруг... Как в книжке с приключениями. И вдруг! Белая соседская болонка — Кучум — на асфальте, а по улице чёрная «Волга» со свистом и шелестом шин. Удар — и болонка, визжа, полетела в траву газона. А очередь на несколько длинных секунд (пока билось в судорогах белое тельце) замерла. А потом отмерла, и кто-то сказал:

— Добегалась.

А кто-то промолвил:

— Должно быть, Сахарова повезли.

А кто-то торопился:

— Три литра, без сдачи...

И ночью ему снились неуловимые, мчавшиеся за чёрной «Волгой», размахивая саблями и маузерами. К осени соседи завели себе ризеншнауцера, а когда у них спрашивали про Кучума, они небрежно отвечали:

— Под машину Сахарова попала...

Собака выскочила из-за кустов так неожиданно, что только автоматизм, выработанный долгими годами постоянной езды на машине, позволил в последнюю долю секунды ударить по педали тормоза, и машина, визжа резиной, клюнула носом прямо у бока застывшей от ужаса собаки. Секунду большая пегая псина стояла перед капотом, а потом прыгнула в сторону и бросилась через дорогу.

— Уф-ф-ф! — выдохнул Пастухов и слабо улыбнулся: надо же, чудом не задавил, просто чудом. Волна непонятной радости поднялась в груди. Почему-то подумалось, что теперь всё получится, что тягомотина убогого дня порвана и...

Из-за поворота резко и почти бесшумно вывернул джип, и Пастухов вдруг увидел, как собака, нелепо подпрыгнув, застыла на радиаторе машины. Только после этого услышал звук глухого удара и уже краем глаза увидел, как собака отлепилась от хромированной решётки, упала под колёса, и оттуда брызнуло кровью и ещё чем-то...

Минут пять Пастухов сидел неподвижно, не обращая внимания на сигналы объезжающих его машин, повернув голову и тупо глядя на пегое с красным пятно на асфальте. Потом тяжело со стоном вздохнул, показал поворот, развернулся и, аккуратно объехав собачий труп, поехал назад...

Странная штука — возраст. Человек всё тот же от рождения до смерти. Один и тот же человек, но в пять лет, и в двадцать пять, и в сорок пять — это совершенно разные люди. Никогда в сорок пять не испытаешь того счастья даже от покупки самой «навороченной» машины, которое испытал в пять лет, когда тебе подарили простого беспородного щенка. Бросаешь взгляд через плечо на себя, умирающего от горя после ссоры с первой своей любовью, и удивляешься — неужели это я?!

Кто-то стареет, а кто-то мудреет, кто-то до старости щенок. И кто скажет — что лучше?

Старый человек не тот, что живёт долго, а тот, которому жить осталось мало. Вот только как узнать — сколько осталось? Ты знаешь, что умрёшь. Точно знаешь, но где-то на самом донышке души куколкой ночного мотылька трепыхается надежда. Ты будешь жить долго. Ты будешь жить после смерти. А что там, после?

В каком-то смысле мы все уже умерли. Ведь умер — это когда чего-то больше не будет для тебя ни-ко-гда. Никогда не будет для меня кометы Галлея. Она скрылась с глаз, махнув на прощанье лохматым газовым хвостом, и появится теперь только через сотни лет, что значит для меня — никогда. Не встречу я Новый 2999 год, и это значит, что я уже умер для этого года. Друг Юрка никогда не придёт в гости и не позвонит, поскольку давно уже лежит под могильной плитой где-то в Подмосковье. Мне не полететь туристом в космос — никогда...

ОСТАНОВКА

Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут все по-прежнему. Только деревья стали повыше, а стволы их потолще, а дорога, что была проезжей, теперь брошена, и поворотный круг — конечная автобуса 3 «а» — почти зарос полынью и крапивой. И что это нас тянет в места, связанные с детством, словно убийцу на место преступления? К этим дворам, скамейкам и сиреневым купинам за облезлыми штакетниками, к этим тропинкам, среди миллионов следов которых давно стерлись наши следы; никто и ничто нас здесь не помнит и не ждет, но память никак не желает смириться с потерей.

...Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у таблички «Остановка», и двери с шипеньем удава открывались. Если кондуктором была Матрёновна — полусумасшедшая пожилая тётка, — пассажиров ждало небольшое развлечение: Матрёновна бросалась открывать автоматические двери руками, поскольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери за специальный рычаг должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери теперь открываются сами, она все равно бросалась их раздвигать и тужилась и сердилась: вот, сволочь, тугие какие!

Если пойти вот этой совсем ветхой асфальтовой дорожкой, придешь к реке. В реку и сейчас смотрится старая колокольня. Правда, теперь вместо телеантенны над ней крест, а неподалеку вместо зеленых финских домиков среди сосен поднялись над зелеными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону, придешь к синему штакетнику детского садика, куда, собственно говоря, и водил меня каждое утро отец... Ни детского садика, ни тем более штакетника теперь нет. Все-таки меняемся не только мы, но и те места, что казались нам когда-то незыблемо вечными.

«Санька, на какую букву начинается слово «остановка»? На «о». А почему же на табличке написано «а»? Действительно, почему? Дурак, потому что «автобус», вот почему! А-а...»

Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпьями кудрявилась кое-где по жестяной плоскости, но при желании все еще можно было разглядеть неверные очертания большой буквы «А». Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над которой шатром смыкались ветви кленов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой, мхом, ежами и еще чем-то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой листвы под ветром свиристели невидимые птицы. И мне все время хотелось туда, в этот зеленый призрачный сумрак, но отец упрямо вел меня мимо тропинки, мимо окраинных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада...

— И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуару, а в лес...

Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды: ребятишки играют на площадке — кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из-за большого зеленого экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помечтать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы, и они, опершись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая меня, азартно шепчутся громким полушепотом.

— А шофер еще обратил внимание, чего это она с утра в лес, если и детский садик в другую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод. Да и девочка маленькая совсем еще.

— Ну, и...

— Ну, и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но вот, видимо, предчувствие у него какое-то...

— Ну, ну...

— Ну, смотрит, а она вся не своя, возвращается одна, садится в автобус с вытаращенными глазами и сидит, как мумия.

— А шофер?

— А шофер выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке-то; смотрит, а там... — мне становится холодно в моей июльской сирени. — А там девочка-то и висит на дереве повешенная!

— Боженьки ж вы мои!

— Но он ее успел снять, пока она еще не до самой смерти задохлась. Легонькая, шейку-то ей не до конца затянуло...

— Я бы этой злыдне все зенки повыцарапала — родное дитя повесить! Это что ж за времена настали...

— Нагуляла она девочку-то безмужняя, вот, говорит, люди вокруг, родня попреками и довели. Говорит, и сама отравиться потом хотела. Правда — и таблетки какие-то при ней вроде бы нашли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, веревочку на шейку повязала, играть, говорит, будем, а сама пропала...

— Да-а-а...

Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мертв, оглушенный свистящим дуэтом воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что-то другое, чего не знал до сих пор; что-то большое, грозное и неумолимое. Наверное, я впервые почувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная мама может...

У стояка, к которому крепилась табличка остановки, прямо через отверстие большого колесного диска, врытого вместо станины, проросла рябина, может быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в ее листве, и уцелело от исчезновения в недрах «цветмета». Асфальт тротуаров тут и там пробила всесильная зелень, от поветшавших, но сохранившихся еще финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене зелени не было даже намека на живописную тропинку, уводившую когда-то мое воображение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер по-прежнему шумит и шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад, и будет шуметь через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, об этой пропавшей тропинке, о девочке и ее несчастной матери, но и обо мне самом-то некому будет вспомнить...

Текучее время жизни, течёт и меняет ландшафты нашего сознания... Вроде бы ещё недавно ты обращал внимание то на блеск, то на трещины и шероховатости жизни, покупаясь на этот блеск, как на блесну, и сдирая об эти шероховатости младенческую кожу наивности. А уже как-то незаметно для себя понял, что блеск этот — мишура новогодней ёлки: блестит, но не злато, не серебро... И вдруг ловишь себя на мысли, что жизнь ухитряется быть одновременно и чрезвычайно простой, и невероятно сложной штукой. Вдруг начинаешь удивляться малым совпадениям и искать в них глубокий смысл. Которого там нет?

— Привези мне из Греции божью коровку, — попросила знакомая, узнав, что я собираюсь в Грецию. Знакомая собирала игрушки и сувениры в виде божьих коровок. Ни в одном магазине или магазинчике я так и не нашёл ничего похожего. Но в первый же день, когда я нежился в волнах ласкового Эгейского моря, прямо передо мной в прозрачную воду упала божья коровка! Классический вариант — кирпично-красная с крапинками по блестящим крылышкам. Подгребая одной рукой, я «довёз» её до ближайшего буйка, посадил сохнуть на бок красного шара и поплыл к берегу. И несколько дней мне этот пустяк не давал покоя. Глупое совпадение, мелочь, пустяк. Или знак?..

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Он возвращался...

Виктор Иванович любил возвращаться. Даже больше, чем уезжать. Багажник «десятки», задние сиденья завалены подарками в ярких, пёстрых упаковках, колёса наматывают последние километры серой с тенями сосен поперёк трассы. Голова легка и свободна от всяких дел, а душу греет ожидание встречи. Ожидание давно заведённого ритуала. Сначала — дом. Потом — работа. Потом — друзья... Тебя могут не замечать полгода, с тобой могут поссориться по пустяку и перед отъездом даже не проводить, но когда ты возвращаешься издалека после долгого отъезда, тебе всегда рады... Хоть ненадолго...

Под ровное урчанье мотора на полупустой трассе так хорошо думается, припоминаются приятные моменты прошлых встреч.

Виктор Иванович уже увидел знакомый изгиб дороги, из-за которого вот-вот покажется дальняя заводская труба и сахарные кубики многоэтажек, уже сладко заныло под ложечкой, и теплая радость подкатила к горлу...

Встречная «Волга» вдруг как-то странно осела на левое колесо и медленно, медленно, медленно — как будто не секунды, а долгие минуты отделяли её от «десятки», — высекая по асфальту фонтаны белых искр, поползла на встречную полосу. Виктор Иванович видел, что успеет вывернуть руль и его выбросит на гладкую обочину, но он словно превратился в каменное изваяние. И мысли застыли белым холодным гипсом, и не было никакого движения ни в теле, ни в голове, только холод, холод, и вдруг резкое ускорение времени, белая вспышка, какой-то моментальный грохот... и покой...

Словно кто-то вне Виктора Ивановича слышал: «Быстрее, быстрее... Сюда... Готовьтесь... Подключаем...» Словно кто-то вне Виктора Ивановича видел белые силуэты, блеск склянок, трубок, разноцветные какие-то огоньки.

Он ощущал, что лежит на столе, что в воздухе пахнет зубоврачебным кабинетом, что вокруг него что-то происходит. Он не ощущал своего тела, но ощущал всё вокруг.

Это продолжалось и продолжалось, пока кто-то не сконцентрировал его внимание. Виктор Иванович увидел кого-то, стоящего рядом с ним, но почему-то не мешающего суетящимся вокруг людям.

«Вы спокойны, — услышал внутри себя Виктор Иванович. — И вы меня слушаете».

И он действительно был спокоен и слушал незнакомца.

«Вы уже догадались, кто я».

Виктор Иванович не знал, как назвать незнакомца. Пришелец? Ангел?..

«Посланец», — подумал Виктор Иванович.

«Посланец, — согласился незнакомец. — Вы не должны были попасть в эту аварию. Вы ведь знаете, что всё должно случаться вовремя...»

Виктор Иванович вдруг понял, что он действительно всё это время знал и помнил, но не думал об этом, и что он действительно не готов был попасть в эту аварию...

«Так вот — случилось то, что случилось, дальнейшее будет зависеть от вас».

«Моя воля вместо воли случая?» — спросил кто-то внутри Виктора Ивановича.

«Нет, воля, но уже не ваша и не наша, — ответил посланец. — Если у вас здесь есть ещё что-то важное... Вы поймете...»

Словно туманом затянуло Посланца, сверкающую никелем и стеклом операционную, утонули в вязкой вате голоса... И выплыла вроде бы внутри сознания комната в знакомой квартире, неслышные знакомые звуки, запахи, вещи. Он почувствовал дуновение духов, герани, крепкого кофе и не по-земному удивился: как можно ощущать запахи, не ощущая их? Как можно вообще что-то понимать и видеть? И почему он чувствует, не чувствуя? Кто он теперь и что он такое? Всё это нагнало на него такую волну противоречивых ощущений, что он чуть не захлебнулся в этой волне. Но не захлебнулся.

— Дурашка, он приедет сегодня к вечеру, ненадолго, в пятницу опять в командировку, так что у нас с тобой ещё неделя...

Весёлый голос жены разом погасил бурю захлестнувших было ощущений... Виктор Иванович непонятным для себя образом понял, что голос доносится из спальни, и опять же непонятным образом оказался там. То, что он там увидел и почувствовал, в другое время заставило бы застучать неимоверно сердце, он, очевидно, страшно разгневался бы или, наоборот, пал духом, или... Одним словом, измена жены не оставила бы его равнодушным. А тут — ни единого облачка злобы, печали или сожаления... Будто давным-давно ему всё известно, известно и безразлично... Стало понятно быстрое охлаждение жены после его возвращений, её раздражительность, частые отлучки...

Работа... Вот что давало ему жизнь в последние годы. Работа занимала его целиком, в ней находил он утешение, радость и ту боль, которая говорила ему: ты жив, ты нужен, без тебя не могут...

...В офисе пили чай и судачили о нём. И вновь — никаких чувств, никакого волнения. Хотя то, что о нём говорилось людьми, которых он считал близкими и преданными, должно было бы повергнуть его в шок, поднять волну противоречивых чувств. Его обманывали? Ну так что ж, бывает... Его предавали?.. Случается...

Он вдруг понял, что всё его рвение, весь надрыв в работе, в ЕГО деле — лишь ширма, за которой он прятался от чего-то другого... И если бы семейная жизнь сложилась иначе, он, может быть, иначе относился бы и к работе...

Посланец был неправ, у него ничего не было...

Эта мысль не вызвала внутри Виктора Ивановича ни боли, ни досады, ни сожалений...

Сын... Он даже не надеялся, что нужен собственному сыну. В грязноватой двухкомнатной квартирке, как всегда, полумрак, накурено, сын лениво переругивается с женой... Виктор Иванович вдруг понял, что через полгода они разведутся, женщина бросится под машину, а его некогда любимый Николенька запьёт... Внучка от всего этого сильно заболеет. Внучка, тихая и испуганная частыми скандалами шестилетняя девочка, чистенькая, ладненькая, всегда в обновках — и всё же какая-то лишняя, — играла в своей комнатке. И, играя, прислушивалась к застенным раздражённым голосам. Виктор Иванович ощутил июльское тепло, вдохнул запах земляники, почувствовал босыми ногами тёплую землю укатанного просёлка, услышал голосок внучки... Прошлым летом они вдвоём ездили в родную деревеньку Виктора Ивановича, вернее, на то место, где некогда стояла деревенька. Они бродили знакомыми тропками, заходили в полуразрушенные временем и «укрупнением» дома, и Виктор Иванович рассказывал внучке всё, что ещё помнил сам. Про деда, про деревню, про ночное... В одном из домов из чёрной щели между половыми досками у их ног выползла гадюка. Внучка закричала так, что испугался и сам Виктор Иванович. Одной рукой он подхватил маленькое, со страшно бьющимся сердцем тельце, а другой — полусгнивший ух-

ват и бил, бил, бил по извивающейся змее до тех пор, пока не превратил её в месиво...

...Уплыл летний зной, пропали запахи и звуки, и сквозь голубой холодный туман удалялись печальные глаза внучки. И тут где-то глубоко-глубоко в груди слабым огоньком замерцала боль. Она едва трепетала, словно свеча на ветру, каждую секунду готовая погаснуть, но не гасла, а постепенно разрасталась и разрасталась. Исчез голубой туман, исчезли в тумане печальные глаза, появились и пропали холодные голоса, принадлежащие белым людям, склонившимся над ним, тонко улыбнулся незнакомец-Посланец. Только боль всё плотнее заполняла то ли то, что называется душой, то ли избитое, покорёженное тело, то ли всю его жизнь...

Боль наплывала, пульсировала, билась в жилах и делала всё остальное несущественным. Боль заполняла сознание и белыми молниями пронизывала тело...

Он возвращался...

Память словно океан. Так же глубока и непостижима... Что хранит она в изумрудно-тёмных глубинах? Тебе кажется, что ты давно составил инвентарный список своих воспоминаний и можешь небольшим усилием воскресить в воображении всё, что было. Но вдруг очередная волна запаха, дуновение ветра, солнечный луч сквозь зелёную крону, шелест сухих листьев выплёскивают на берег сознания то, чего не было и в помине в твоём инвентарном списке. Словно давно вымершую кистепёрую рыбу латимерию. Вот она лежит перед тобой, ещё подрагивая, поблёскивая вековым панцирем, и ты, открыв рот, смотришь, как капают с неё голубоватые холодные капли...

Однажды в сутолоке городской суеты потянет вдруг смолистым горячим воздухом и запахом пригоревшего молока, зашелестит песчаной струйкой, и ты сидишь на ступеньках какого-то тёмного барака ярким солнечным днём где-то на окраине города.

Тебе три года. Ты, скорее, ощущаешь себя, чем осознаёшь (не зря говорят, что в этом возрасте ребёнок ещё знает язык птиц и зверей, понимает мурлыканье кошки и знает значение ветра). Ты очень заинтересован петухом, который деловито ходит по большому песчаному двору перед бараком в сетчатой тени сосен. Пахнет плавящейся на солнце сосновой смолой, из дверей доносится запах слегка подгоревшего на плите молока, которое кипятит для тебя «няня Зина» — старуха-пенсионерка из соседней комнаты...

Петух яркий, рыжий, с хвостом, отливающим синим и зелёным, и этим он жутко нравится тебе. Хочется взять его в руки, хочется прижать его и погладить. Но у него острый, крепкий клюв и длинные острые шпоры на жёлтых крепких ногах, и тебе страшновато. Ты ещё не знаешь, что так будет всю жизнь...

Сосны, какие-то кусты у забора-штакетника, песок, мелкой пылью разлетающийся из-под сильных лап петуха, сосновый дух и солнце... Ты и представить себе не мог, что помнишь это. И когда прошелестят заключительные листы жизни, когда придёт пора расстаться со всем, что нажил, не об этом ли захочется тебе рассказать в первую очередь Тому, кто возьмет тебя за руку, чтобы повести дальше. Ты захочешь рассказать Ему всё от начала до конца. Но вдруг поймёшь, что этого не требуется, что это лишнее, что твоя память — это Его память, что Он знает всю твою жизнь лучше, чем ты сам...

Часть II. НЕ БОЙСЯ

Онтология смерти

Над крестами гроб с покойничком летает,
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят...
И тишина...

К/ф «Неуловимые мстители»

Пустыня раскинулась совершенно ровным палевым кругом, гладко расходящимся к горизонту, и лишь два серых валуна слегка нарушали холодную идеальность плоскости. Арсений сидел на одном из валунов и силился вспомнить, кто он, как попал сюда и зачем. Путешествие? Катастрофа? Может быть, сон? В голове кружил свои галактики первозданный космос; то тут, то там вспыхивали сверхновые, возникали чёрные дыры и белёсыми кометами проносились редкие неуловимые мысли, возникая неизвестно откуда и пропадая неизвестно куда.

И отчего-то пахло бензином. Хотя если кто-то спросил бы Арсения, что такое бензин, он, пожалуй, не смог бы ответить. Отчего-то возникло слово «амнезия». А-а, понял Арсений, что-то случилось, я потерял память и поэтому не знаю, кто я и где. Вдруг раздался свист ветра в крыльях, и он увидел, как из низкого тёмно-индигового и отчего-то

тоже совершенно плоского неба вынырнул и спланировал вниз человек с огромными крыльями за спиной. Он был тёмен, и крылья его были черны. Человек опустился в двух шагах от валуна, на котором сидел Арсений, подошёл неторопливо, едва касаясь земли босыми ногами, и молча сел на соседний валун.

Сколько они просидели так, разглядывая друг друга? Может, минуту, а может, час. Арсений перестал чувствовать течение времени.

— Я Ангел Смерти, — сказал, наконец, человек с крыльями таким неземным голосом, что у Арсения колоколом загудела голова, зашлось дыхание и заколотилось сердце. Арсений почувствовал, что Ангел заглянул к нему в душу, окинул взглядом космос его мозга и в одно мгновенье всё про него понял. Он понял даже то, что сам Арсений не в силах был осознать, хотя пытался из всех сил. Они помолчали, и холод, заполнивший было душу Арсения, потихоньку просочился наружу, руки потеплели, и сердце забилось ровнее. Ангел пошевелился, словно устраиваясь поудобнее, и начал:

— Эпикур сказал: «Смерть для человека — ничто, так как когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, а когда смерть присутствует, мы не существуем».

Железная логика этого изречения Арсению была ясна давно. Он вдруг вспомнил, что всегда, ну, положим, с раннего детства интересовался этим вопросом. Но отчего разговор коснулся смерти?

— Некоему вельможе бросился в ноги раб, — продолжал между тем Ангел, глядя в глаза Арсению, словно наблюдая за его реакцией. — Он рассказал, что встретил на базаре Смерть, которая грозила ему пальцем. Раб умолял господина, чтобы тот дал ему коня, на котором он смог бы спастись от Смерти, бежав в город Самарру. Вельможа дал рабу коня, и тот умчался. Через некоторое время вельможа и сам встретил на базаре Смерть и спросил: «Зачем ты испугала моего раба? Зачем грозила ему пальцем?» — «Я его не пугала, — ответила Смерть. — Просто я очень удивилась, встретив его в этом городе, потому что в этот вечер мне предстоит с ним свидание в Самарре...»

Ангел усмехнулся и внимательно посмотрел на Арсения.

Ночь. Звонок в дверь. Хозяин спрашивает:
— Кто там?
— Это я, смерть твоя!
— Ну и что?
— Да вот, собственно говоря, и всё...

— От смерти не убежишь, правда? — и он шевельнул чёрными крыльями.

Да уж, мысленно согласился Арсений. А главное — это самая непостижимая и самая притягательная загадка. Вот ты есть в этом мире, что-то делаешь, на что-то влияешь, кто-то тебя любит или ненавидит. И вдруг — тебя нет! Просто нет, и всё! И как прикажете с этим жить? Как к этому относиться?

Арсению припомнился вдруг душный жаркий день на Кубе. Шумной группой они шли по узким улочкам колониального городка, пока не вышли к большому старинному кладбищу. Экскурсовод — полненькая, но очень энергичная негритянка — вывела их к китайскому сектору и, указав на кумачовый транспарант над воротами, спросила, кто отгадает, что на нём написано? И когда кто-то явно в шутку сказал: «Добро пожаловать», — удивилась: действительно: «Добро пожаловать!» Это восточное отношение к смерти, сказала она, ТАМ лучше, чем здесь, и нужно радоваться, попадая ТУДА.

Не может быть, ещё подумал Арсений, чтобы китаец не боялся смерти. Наверное, боится, просто народная философия, вся культура бытия учит его относиться к смерти как к явлению неизбежному, но необходимому и даже полезному.

Арсений вспомнил историю двух братьев-вьетнамцев, которую рассказали ему когда-то в школе. Она произвела на него неизгладимое впечатление. Один из братьев был партизаном, французы поймали его и повели на расстрел. К конвоиру подошёл второй брат и стал упрашивать, чтобы ему разрешили поменяться с братом местами. «У того много детей, большие долги, и семья не сможет отдать их; а я бездетный и никому ничего не должен», — говорил он. И охранники на свой страх и риск разрешили. И пойманного отпустили, а невиновного расстреляли.

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
— Ку...
— А что же так ма...

Ангел молчал. Арсений закрыл глаза, и в памяти его всплыли картины молодых лет, когда он бродил с ружьецом по глухим лесам тощего Нечерноземья. Там, в забытых Богом деревеньках, запущенных властями и обойдённых временем, разговаривая со старыми людьми, Арсений в какой-то момент понял, что многие из этих девяностолет-

них стариков и старух смерти не только не боятся, но, случается, и призывают её. «Уж дальше и жить-то незачем, — говорила ему одна бабушка, сгорбленная и сморщенная, словно печёное яблоко, когда сидели они у окна её домика, за которым буйствовала сирень, и Арсению, молодому и весёлому, совсем не думалось о печальном. — И я всем в тягость, и мне житьё в тягость. Все мои подружки уж давно ТАМ».

«Какая-то старорежимная бабушка», — подумал тогда Арсений, и пройдёт немало лет, когда логика атеизма станет не такой уж бесспорной, и беседуя со священником небольшой сельской церковки, он вдруг осознает всю глубину и непоколебимую значимость той бабушкиной «старорежимной» философии...

Ангел Смерти, словно подхватив поток его мыслей, заговорил:

— Вы знаете цену всему. Вы знаете всё обо всём. Вы мните себя хозяевами жизни, венцом природы! Но, как дети, боящиеся темноты, стараетесь не заглядывать в тёмный чулан философии смерти. Вы НИЧЕГО не знаете о ней, а страх — неизвестность и ожидание. Ожидание неизвестно чего. Всю жизнь обстоятельства, родители, окружающие, общество учат вас всему — от умения ходить и говорить до умения врать, лечить и убивать. Не учат только умирать. А древние бабушки в затерянных деревеньках застали ещё те времена, когда учили. Человек и тогда, конечно, боялся смерти, зато он знал: ТАМ — его существование продолжится и ТАМ — хорошо...

Но мир всё больше отстраняется от философии души, освещавшей человеческий путь и помогавшей достойно уйти из жизни, а взамен...

Жил, жил — и что?

Да вот, собственно говоря, и всё...

У Арсения перехватило дыхание. Да что же такое происходит? Откуда-то из глубины сознания проклёвывался вопрос, который он никак не решался себе задать: умер я, что ли?!

Ангел Смерти тем временем достал из складок одеяний книгу и, листая её, продолжил:

— Люди думают: нет иной жизни, кроме земной. И это страшно. И чтобы заглушить страх — смеются. И вот новые атеисты новых времён легко и непринуждённо говорят о таинстве смерти. Ангел разгладил страницы и, сложив губы в ироническую усмешку, прочитал: «Утром просыпается и видит, что с ним что-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не даёт. И пульс у него не бьётся, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее поднести к ротику. Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался... Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок... Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скушанное крымское яблочко...»

Наверняка смерть будет чем-то похожа на утро понедельника.

Мимо, гудя мотором, проехал невидимый грузовик, послышался скрип тормозов, и через секунду раздался возбуждённый голос: «Смотри-ка, смотри...» Арсений повертел головой, но, кроме плоскостей неба и пустыни да Ангела, внимательно наблюдающего за ним, вокруг ничего не было.

Ангел, словно ничего не услышав, перелистнул несколько страниц:

— Или вот: «В комнату влетел свежий ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах».

Ангел помолчал минутку, давая Арсению подумать над прочитанным.

— Но отсмеявшись и встав на самом краю, вы замираете с трепещущим сердцем, как — уже?! И в ужасе цепляясь немеющими руками за предсмертную простыню, напряжённо глядите туда, куда нельзя проникнуть взором — что ТАМ?!

Ангел вытянул руку с книгой, и книга исчезла. Но вместо неё тут же появилась другая. Открыв её, как показалось Арсению, наугад, Ангел принялся читать: «Кто там? — спроси он дрогнувшим голосом... То был некто, обладающий способностью проникать сквозь стены, не прикасаясь к замкам. А когда он пригляделся, то увидел, что это была смерть... — Погоди, смерть! Ещё не настал мой час. Я должен умереть во сне, в полутьме своего кабинета, как предсказала мне в незапамятные времена слепая гадалка...» Но смерть отвечала: «Нет, генерал. Это произойдёт здесь, сейчас! Вы умрёте босой, в одежде нищего, которая на вас...» И он умер так, как сказала смерть, умер тогда, когда меньше всего хотел этого, когда после стольких лет бесплодных иллюзий и самообмана стал догадываться, что люди не живут, а существуют, чёрт подери, что самой долгой и деятельной жизни хватает лишь на то, чтобы научиться жить — в самом конце!»

Ангел кашлянул, выводя Арсения из состояния завороженности:

— Ты читал это — Габриэль Гарсиа Маркес, «Осень патриарха». Но что ты думал, читая это? Понимал ли, что читаешь? И что теперь думает об этом сам Маркес ТАМ? Как считаешь?

Что он думает? Как раз в те дни, в советские ещё времена, когда Арсений читал эту вещь, приятель рассказал ему о своём начальнике. Начальник — Очень Большой Человек — умирал. Неизлечимая болезнь. У постели семья, друзья, сослуживцы. За спиной полная трудов и заслуженных наград жизнь. Впереди... Несгибаемый коммунист, правоверный атеист вдруг жутко испугался смерти. И чем больше вокруг него хлопотали, тем тяжелее ему становилось; душевная боль перерастала в боль физическую, и не действовало никакое болеутоляющее. Стыдясь себя и своего страха, на ухо другу признался он, что покоя ему не даёт память об уничтожении храма, за которое он ратовал и в котором принял участие много лет назад. Трезвый, жёсткий, смелый, в общем-то, человек прошептал, что мерещится ему всякая нечисть! Под страшным секретом привели к нему священника и оставили одних. О чём они говорили, никто, конечно, не знает, но умер Большой Начальник со спокойной улыбкой на устах.

Стук в дверь. Хозяин открывает. На пороге маленькая, косенькая, хроменькая девочка в драном балахоне с капюшоном и сломанной косой в руках.

— Ты кто?

— Я смерть твоя!

— ?!

— Да, такая вот несуразная, нелепая смерть...

Кто просто жил — тот просто умирает. Эту формулу Арсений неосознанно вывел ещё в детстве.

Ночь. Старая дедова изба. Арсений с братьями на пышущей жаром русской печке в полудрёме согревается после катания с ледяной горы. Из-за занавески видно, как в «передней» гости разливают бледно-молочный самогон в старые зеленоватые гранёные стаканы. На столе картошка, капустка, грибки, круглый ржаной хлеб, от которого дед время от времени отрезает большим ножом косые ломти. И разговор...

— Вот он и говорит: тоска что-то на душе, даже самогону неохота.

— Да, маялся, эт точно...

— Да-а... И вот пришёл из баньки, повеселел вроде...

— Да, баня она кого хошь развеселит...

— Да ты слушай! Пришёл, кваску попил, лёг на кровать и помер.

— Да-а-а...

Арсений знал этого дядьку. Здоровяк-шофёр возил его несколько раз в поле к комбайну старшего брата с обедом в узелке. Арсений представил себе, как он, здоровый, розовый после бани, приходит домой, пьёт ядрёный деревенский квас (с подбородка падают янтарные капли), ложится на кровать и вдруг превращается в покойника. Из живого становится мёртвым. Как раз тем летом похоронили бабушку, и Арсений уже знал, как выглядят покойники, как человека хоронят и как приходят поминки. С тех пор рисовая каша с изюмом ассоциировалась у него с этим печальным обрядом.

А разговор цепляет одну смерть за другой. Этого задавило бревном, другой утонул, третий попал под поезд. Вспомнили и дядю Арсения, который в пургу сбился с пути, долго плутал вокруг деревни и замёрз насмерть в двух шагах от забора соседского сада.

И чего это взрослые будто бы смакуют подробности, словно это доставляет им какое-то болезненное удовольствие.

Может быть, подумал Арсений, очнувшись от воспоминаний, это нормально — memento mori?

Арсений вдруг обратил внимание, что плоское небо и такая же плоская пустыня начали менять цвета и странно загибаться краями друг к другу. Появился горизонт, которого — Арсений только теперь это осознал — раньше не было. Небо и пустыня слились в один целый кокон, и этот кокон начал сжиматься. Он сжимался всё стремительнее, и, не успев испугаться, Арсений сам превратился в кокон. Перед глазами (перед какими, ведь у кокона не было глаз?!) поплыли разноцветные очень чёткие идеально ровные геометрические фигуры, их сменили ослепительные, гипнотизирующие круги, непонятные — похоже, компьютерные — символы. Арсений вдруг осознал, что не дышит! Но как это может быть?! А что такое дышать? Это втягивание воздуха в лёгкие. Но что такое «лёгкие» и что такое «воздух»?

И в этот момент Арсений осознал с кристальной ясностью: обман! Вся жизнь обман! Нет никакого воздуха, никаких лёгких, нет никакого «я» и никакого мира. Есть лишь компьютерная программа, а вся жизнь — лишь упорядоченное движение электронов.

Страх сжал сердце Арсения (но какое сердце может быть у компьютерной

программы?), страх перерос в ужас ожидания неминуемого небытия: сейчас, вот-вот сейчас кто-то могущественно несуществующий (Бог?) щёлкнет кнопкой, и сознание Арсения начнёт стремительно меркнуть, сощёлкнется в узкую белую линию, которая превратится в ослепительную точку — и всё!

Арсений почувствовал, как ужас переродился в сильнейшее разочарование, потом его объяла невыносимая печаль, которая неожиданно вылилась в злость. И эта злость, неизвестно где находившаяся (Арсения-то не было), остановила панику. Арсений с облегчением почувствовал, что снова дышит, что у него есть тело, что Ангел Смерти по-прежнему сидит перед ним на сером валуне и внимательно за ним наблюдает.

Всё вошло в норму, только отсутствия горизонта Арсений никак не мог понять, да застрял на дне сознания вопрос: так жизнь действительно реальна или просто кто-то передумал пока нажимать кнопку «выкл»?..

Стук в дверь. Хозяин открывает дверь, а на пороге маленькая — с голубя смерть. Маленькая, но страшная, с косой, в чёрном балахоне и капюшоне. Хозяин схватился за сердце, но смерть замахала руками:

— Да не бойся, не бойся, я не к тебе, к твоей канарейке.

Они посидели молча, и когда сердце Арсения стало биться ровнее, Ангел поменял книгу на новую и прочитал:

— «Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стёкла. Тут в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?..» Ещё раз, и последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно».

Арсений открыл глаза и увидел, что сидит в тесной комнатушке медпункта; вокруг него военные; все смотрят в маленький экран переносного телевизора. Где-то за спинами на белой кушетке на жёстком солдатском байковом одеяле (в медпункте очень жарко) постанывает раненый человек. Арсений не видел его, но знал, что это горбоносый крепкий с зелёными глазами и многодневной щетиной чеченец. Живот его перебинтован, и на белой марле проступили желтоватые и розовые пятна.

На экране телевизора развалины кирпичного дома, похоже, многоэтажки. Бородатые люди в зелёных повязках на головах, камуфляжной форме и с автоматами в руках окружили невысокого белобрысого мужчину в летней форме с лейтенантскими погонами. Арсений непонятно как знает, что плёнка, которую они смотрят, каким-то образом связана с раненым человеком, постанывающим за спиной.

Тем временем камуфляжники на экране спрашивают что-то у пленного, показывают в камеру его документы, заставляют его раздеться и разуться. Пленник, не торопясь, явно затягивая время, снимает ботинки, и всё время что-то говорит извиняющимся тоном людям с автоматами. Автоматчики улыбаются в ответ, но улыбки эти напоминают Арсению оскал кошки, играющей с полуобморочной мышкой. Арсений заметил вдруг среди бородачей кого-то в длинном хитоне и с крыльями за спиной, но похоже его не видят ни автоматчики, ни пленный, ни люди, смотрящие телевизор. Взгляд существа с крыльями напряжён и печален. Арсений понимает, что сейчас произойдёт, и всё же, когда бородачи отходят от пленного и раздаются выстрелы, он вздрагивает. Босой пленный падает. Раздаётся ещё несколько выстрелов, и после каждого босые ноги убитого нелепо дёргаются. Один из стрелявших подходит к трупу и бросает ему на грудь раскрытый паспорт. Камера неровно наезжает, и Арсений видит фотографию молодого человека и надпись: «Зайцев Игорь Валентинович».

Арсений задумался: «Странный кошмар. Как это связано со мной?» — силился понять он.

— Всему своё время, — басовым колоколом прогудел голос Ангела Смерти. И Арсений снова увидел вокруг всё ту же палевую пустыню, уходящую в бесконечность и нигде не соединяющуюся с низким небом.

«А может быть, то, что снится нам в страшных кошмарах, — это предсказание будущего или, может быть, проекция того, что происходит прямо сейчас в каких-то других, параллельных мирах? — подумал он. — Да может быть, и не в иных мирах, а здесь, на земле, где-нибудь за тысячу вёрст отсюда».

Чувство, которое он только что испытал, показалось ему знакомым. Да, тот сон... Странный сон... Гостиница, длинный темноватый коридор неизвестно в каком городе, непонятно в каком году. Зима? Осень? За окнами серое утро. Арсений шёл по этому коридору, а навстречу шла улыбающаяся незнакомая женщина. Арсений улыбнулся в ответ, но вдруг поразился, поняв, что улыбка встречной — коварно-злобная и совершенно жуткая. Арсений силится перестать улыбаться и не может. Он входит в ванную

комнату, запирает за собой дверь на шпингалет, поворачивается к зеркалу и, заледенев, видит отражение стоящей у него за спиной страшно ухмыляющейся женщины! Но он же запер дверь! Арсений с бьющимся сердцем обернулся — никого! И тут неведомая сила агрессивно и жестоко принялась ломать и душить его. Весь в холодном поту Арсений сопротивлялся из последних сил и только твердил про себя: главное, не сойти с ума, главное, не сойти с ума!

В какой-то момент он осознал, что борьба идёт не физическая, что это душа его борется с чем-то, чему нет ни названия, ни определения, ни описания. И когда Арсений понял, что легче умереть, чем потерять душу, — он проснулся...

Он и до сих пор уверен, что Нечто во сне или в каком-то другом измерении (уж очень это было не похоже на сон) пыталось отобрать у него жизнь; и если бы он не справился, утром его нашли бы в постели мёртвым... Или безнадёжно свихнувшимся.

«О, чёрт! — испугался вдруг Арсений. — Я же сошёл с ума! Вот в чём дело. Лежу в палате какой-нибудь психушки, а сам галлюцинирую. Как там — не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума? Да, это, пожалуй, всё объясняет. И Ангела, и эту пустыню...»

Врывается мужик к соседу — весь взмыленный, бледный, руки трясутся.
— Будь другом, дай закурить!
— Так ты же бросил три года назад.
— Закуришь тут поневоле — Смерть только что постучалась в двери.
— Что-то ты подозрительно живым выглядишь.
— Да она за наждачным бруском заходила — коса затупилась.

А может быть, это лимб? Что ему известно о лимбе? Это ни ад, ни рай, а нечто между. Тоска начала сосать его сердце: ведь отсюда же теперь ни за что не выбраться. Но почему лимб, почему? Он же не католик.

И почему пахнет бензином? Почему слышны звуки машин и — сквозь вату — людские голоса? Ангел их, интересно, слышит?

Может быть, и слышал, но вида не подавал, полистал очередную книжку и, расправив лист, прочитал:

— «Смерть — это робот, управляющий миром действия. Смерть безмолвна, у неё нет рта. Смерть никогда ничего не выражала. Но в ней есть нечто заманчивое, некое послевкусие. Только тот, кто вроде меня открыл рот и сказал: «Да, да, да», — и ещё раз: «Да!» — способен встретить смерть без страха, с распростёртыми объятиями. Смерть как вознаграждение — да! Смерть в результате свершения — да! Смерть в венце и на щите — да!»

«Интересно, — подумал Арсений, — Генри Миллер, написавший эти полубезумные строки, сегодня, уже оказавшись ТАМ, по-прежнему готов подписаться под ними?»

— Когда-нибудь ты сам у него это спросишь, — улыбнулся Ангел. — Но ещё не скоро...

Раз не скоро, значит, не умер, решил Арсений. Всё же сошёл с ума? Интересно: сумасшествие равно смерти? Ведь личность-то разрушается... Или это другое состояние? Сколько было гениальных сумасшедших, но были ли они при этом самими собой — вот в чём вопрос!

Вот, например, двоюродная тётка — Марякльна. Звали-то её, конечно, Марья Яковлевна, но так уж повелось, что торопливая родня, не размениваясь, слила имя и отчество в одно прозвище — Марякльна — и всё. Работала она в психбольнице. Уж давно... И вот была, была, а потом пропала. Арсений знал её мало и даже не поинтересовался — куда делась. И только потом рассказали ему, как было дело. Был у них там один буйный. И как-то так вышло, что только Марякльне его удавалось успокаивать. Уж чем она его взяла — неизвестно, только тот даже стал вроде как в себя приходить. Марякльна упросила главврача, чтобы ему разрешили в общий холл выходить и даже гулять изредка. А весной он ее в дровяном сарае зарубил. Рассказывали, что пришел в общую комнату с топором, а с лезвия кровь капает. Стоит, глаза ясные, как бы даже веселые, вроде как доброе дело какое сделал... Потом, правда, дошло, что ли, до него, буянить начал, кричал жутко, рыдал. Но недолго мучился, однажды ночью порвал на лоскуты простыню, да и повесился...

Говорят, когда Марякльну нашли, она еще живая была. И вроде еле дышала уже, и голова в крови, а глаза ясные, и вроде как не больно ей совсем. Не судите, говорит, его, он хороший, больной только...

Арсений передёрнулся. Нет, уж лучше посох и сума. Всё же страшная штука — смерть. Или не страшная? Ему припомнился сумрак вечерней избы, иконы, поблескивающие серебряной фольгой окладов в танцующем свете свечей. Старенький священник, прихлёбывая, попивает крепкий душистый чай с неведомыми травами и отвечает

на наивные воспитанного в атеизме Арсения вопросы.

— Вот если ты христианин, значит, должен помнить свой сметный час — и вовеки не согрешишь. Перед смертью все твои богатства, кроме духовных, — тлен и ничто. Знаешь, как в народе говорится — гроб карманов не имеет. А смерть — не горе. Смерть — для нас живых печаль об ушедшем, но для усопшего рождение к новой жизни.

Потрескивает фитилёк лампадки, пахнет ржаным хлебом, травами и лампадным маслом. Старый человек с улыбкой смотрит Арсению в глаза:

— Смерти не бойся.

— Да я и не боюсь...

— И хорошо.

Ангел тонко и холодно улыбнулся, спросил громовым голосом:

— Так не боишься?

Словно ледяным ветром повеяло в лицо, сердце снова забилось со страшной силой. «Так не боюсь? — замирая от страха, спросил Арсений сам себя. — И почему он спрашивает меня об этом? И зачем мы так долго — час? день? год? — беседуем о смерти? Экзамен? Чистилище? Бред?»

Отчего-то ещё сильнее запахло бензином.

На вопрос: «Как вы хотели бы умереть?» — было получено много разных ответов. И только один из более сотни опрошенных ответил: «Никак»...

Ангел встал, расправил складки хитона, засмеялся и взмахнул невероятными крыльями, отчего стало ещё холоднее. Пустыня вдруг начала стремительно белеть, и Арсений почувствовал холод снега. Ангел оторвался от земли и, поднимаясь в небо, закричал громовым голосом:

— Не бойся! Не бойся, но помни! Очнись, парень, очнись!..

— Очнись, парень, слышишь, очнись! — голос из громового превратился в обычный мужской человеческий, и Арсений почувствовал, что кто-то трясёт его за плечо.

Солнце било в глаза, капала со лба кровь, в голове гудел колокол. Снег залетал в расплющенное окно автобуса, завалившегося на бок под откос шоссе. Пахло пропитавшим снег бензином. Из-за переднего сиденья торчала рука со скрюченными в последней судороге пальцами. Рядом застыла в нелепой позе женщина с открытыми, но слепыми глазами и оскаленным в немом крике ртом. Человек в зимней куртке и сваливающейся ушанке тащил Арсения за рукав из разбитого автобуса:

— Очнись, парень, очнись. Бензин разлился, может полыхнуть.

Автокатастрофа! И Арсений всё вспомнил.

В эту командировку он очень не хотел ехать. И ему самому было это странно, ведь он любил поездки, любил новые места и встречи. Недаром бабка называла его порой Шатун Гулящий. А тут надавило что-то на сердце, навалилась депрессия, впору отказаться. Только как откажешься — работа. Пришлось ехать. Арсений ясно вспомнил, как автобус весело летел по зимнему шоссе, как сверкало солнце в инее белых берёз и пушистых лиственниц. Он даже повеселел и начал получать удовольствие от поездки. А в какой-то момент увидел в лобовом стекле «Икаруса» мчащийся навстречу грузовик, потом заснеженные деревья придорожной лесопосадки, странным образом переворачивающиеся кронами вниз, и очнулся, сидя на валуне в странной пустыне...

— Ну, парень, повезло тебе, — гудел над ухом мужчина, помогая Арсению взобраться на обочину. — Четыре трупа вокруг тебя, а тебе только бровь поцарапало. Ну, повезло.

Арсений стоял, в оцепенении смотрел, как одни люди вытаскивают из покорёженного брюха автобуса других людей, слышал, как кто-то кричал, кто-то кого-то звал; и никак не мог прийти в себя. Он почувствовал на себе взгляд и обернулся. На противоположной обочине шоссе стоял высокий человек в длинном — почти до пят — чёрном пальто, пристально смотрел на него и слегка улыбался. Он оглядывал Арсения, словно хотел в чём-то убедиться.

Незнакомая женщина подошла к Арсению и принялась платком вытирать кровь на его лице, а когда отошла и Арсений обернулся, человека в чёрном уже не было.

Снег падал из лёгких редких облаков и сверкал на солнце, мороз пощипывал лицо. Но Арсений не замечал этого. Мысли его медленно плыли одна за другой. Наверное, это правильно, что мы не знаем, когда и как умрём. Наверное, это правильно, что мы не знаем заранее, что ТАМ. Может быть, только это и делает нас людьми. Но как же хочется верить, что душа ТАМ по-прежнему жива. Потому что если это так, то есть надежда на прощение. Есть надежда на то, что тот, кого ты обидел, не понял, кому не

помог, видит твои запоздалые мучения, чувствует их и — сочувствует? А может быть, и прощает?

Поскрипывая затоптанным снегом, Арсений неторопливо побрёл к автобусу, который подогнали, чтобы забрать пострадавших. Он сидел в холодном кресле, смотрел на суету за окном и думал о том, что хоть всё и пойдёт в его жизни по-прежнему, что-то в нём самом будет иным. Он никогда не забудет слов Ангела: «Не бойся!», но не забудет и о кнопке с надписью: «Выкл.».

Часть III. ИЧКЕРИАДА

Забытый сценарий не снятого фильма

В кадре панорама гор. Снежные вершины, белые покатые поля, темные острые зубцы ельников внизу. Звенящая тишина. И вдруг эту тишину распарывают резкие залпы.

Гр-р-рах! Гр-р-рах! Гр-р-рах!

В кадре улица горного селения. Люди лишь на секунду оторвались от своих повседневных дел, привычно прислушиваясь к эху, шарахнувшемуся по ущелью.

У одинокого дома на склоне горы рядом с тропой, ведущей к перевалу, взлетела в воздух и рассыпалась на куски крыша, а по снегу покатилось окровавленное тело.

Из близкого перелеска на тропу вышла группа вооруженных людей и направилась к разбитому дому. Вскоре они встали над разметавшимся в снегу трупом.

Камера наплывает на отдельно стоящую скалу, и мы видим, что над самым обрывом стоят два существа. Одно в темных одеждах, и крылья за его спиной иссиня-черные, похожие на ястребиные; другое в чем-то светлом, и крылья у него мягкие и белоснежные.

Темное существо смотрит на результаты взрыва и труп, чернеющий на снегу, с кривой усмешкой, белое — с болью и состраданием. Черный берет белого за руку, и они взмывают ввысь, исчезая в глубоком горном небе...

...По экрану плывут титры на фоне пейзажей Северного Кавказа с высоты птичьего полета. Глуховато, словно издалека, звучит песня «Ой, ты степь широ-о-о-окая...» Камера опускается, появляется дорога, по дороге едет армейский «Урал». В кадре кабина «Урала». В кабине двое: молоденький водитель в форме рядового российской армии и пассажир лет сорока с лишним в темно-зеленой куртке с сумкой на коленях. Пассажир смотрит в лобовое стекло на проплывающие мимо разбитые дома, разрушенные фермы, сгоревшие деревья и машины на обочинах. Изредка вынимает из нагрудного кармана блокнот и с трудом — «Урал» бросает на ухабах — что-то пишет в него. За кадром голос:

Почему дорога всегда настраивает на философский лад, на воспоминания и размышления? Тянется и тянется тряское время, и сознание уходит в другое измерение, и другие картины встают перед глазами, пробиваясь сквозь дорожные пейзажи. И ты словно ведешь бесконечный дневник. Дневник событий, дневник впечатлений и встреч, дневник собственной жизни...

Когда-то я вел настоящий дневник. Школьная «общая» тетрадь в сорок восемь листов под красной клеенчатой обложкой. Все как положено: день такой-то, случилось то-то, пришла в голову такая-то мысль... А потом тетрадка была неосторожно забыта на столе, и мама прочитала глубокомысленные и подробные рассуждения о титьках двадцатилетней соседки Наташки... С тех пор самый откровенный и подробный дневник я аккуратно веду исключительно в собственной голове. Как говорил герой одного популярного некогда фильма, «пишу на подкорку». И теперь все, что когда бы то ни было записано в этот дневник, никогда не сотрется из моей памяти. Правда, увы, он перестанет существовать вместе с памятью, когда умрет мозг... Если только не существует какая-то всеобщая глобальная память мира, и тогда все записанное станет маленькой частицей этого мега-дневника...

Никого и никогда не интересовало, что мой отец — чеченец. Были советские времена, была дружба народов, и если какая-то национальность и вызывала повышенный интерес, то это евреи. Но в нашем дворе, упакованном в небольшой квартал небольшого военного городка, в свою очередь встроенного в глухой мордовский лес, евреев не было. И совершенно никого не волновало, что в моем свидетельстве о

рождении написано: «чеченец», а отчество мое — Арбиевич. И звали меня соседские пацаны не Мовсар, как записано в метрике, а Миша.

Отец бросил мать, когда я был совсем маленьким. По какой причине они развелись, почему отец уехал на родину и отчего мать не сорвалась за ним, хотя, как я понимаю сейчас, любила, — не знаю.

Все же какое-то неудобство с отчеством, словно соринка в глазу, беспокоило временами. То новому учителю нужно было под внимательным взглядом одноклассников повторить отчество Ар-би-е-вич, то диалог бабушки с матерью зацепится за слух. На безобидный бабушкин окрик: «У-у, басурман!» — мамино строгое: «Мама!»

Тогда в дневнике, еще писанном на клетчатых страницах, появилось: «Вот у евреев национальность записывается по матери. И если бы у нас, русских, так же, я был бы русский. А лучше вообще без национальности. Человек, он и есть человек. Просто человек — и все!»

А потом был юнкоровский кружок, который вела литераторша Ирэна Фаддеевна, которая сказала: «Люди делятся на тех, кто любит слушать и читать, и на тех, кто любит писать и рассказывать. Ты — из вторых...» И, естественно, — факультет журналистики...

Иногда по факультетскому коридору проходил сам Затурский и, заметив меня, благосклонно кивал. Ему понравилось конкурсное сочинение, написанное мной на вступительных, и он выделял меня среди прочих. Было задание написать какую-нибудь стилизацию, и я, сам не знаю отчего, выбрал псевдокитайский стиль.

СОЧИНЕНИЕ,
написанное героем фильма
при поступлении на факультет журналистики МГУ

«В Краю Заходящей Луны жил древний обычай: каждый житель страны, когда ему исполнится двадцать лет, был обязан посадить рядом с жилищем дерево. А росли в этой стране деревья только двух видов — дзен и зинь. Чтобы вырастить дерево дзен, нужно посадить семечко в хорошо удобренную яму, долго поливать росток и выхаживать молодое деревце, оберегая его от тли и утренних зимних туманов. И живет дерево дзен долго — несколько человеческих жизней. Дерево зинь вырастить очень легко: ткнул в землю прутик, полил разок, и через несколько дней на прутике проклюнутся почки. Но растет это дерево всего лет двадцать. Ствол его загнивает в сердцевине, ветви начинают сохнуть, и вскоре только корявый пень торчит на месте цветущего дерева...

Каждую весну император Страны Заходящей Луны объезжал свои владения и любовался цветеньем деревьев дзен и зинь. А через год или два юношей, посадивших дерево зинь, забирали в императорскую армию, а тех, что посадили дерево дзен, оставляли дома.

Никто из жителей страны не догадывался о связи между тем, какое дерево посажено и какая судьба ждет юношу. И только император знал о том, что существует старинный закон, повелевающий правителю именно так решать судьбу своих подданных. Если юноша сажает дерево зинь, значит, он не думает о своих потомках и ему все равно, каков будет итог его делам, его жизни. Стало быть, ему место в армии, где и не надо задумываться о дальнем, поскольку жизнь может быть прервана в любом ближайшем сражении... Те же, кто сажают дерево дзен, строят не только свою жизнь, но и жизнь своих потомков, а значит, и жизнь страны...

Весело шумят под солнцем и дождем по всей Стране Заходящей Луны молодые пышные деревья зинь, но возвышаются над ними то тут, то там огромные, высокие деревья дзен, и когда загнившие деревья зинь падают под ударами меча времени, деревья дзен продолжают давать тень и прохладу...»

А потом была суматошная, веселая и нервная работа в захолустном городке, в маленькой районной газетке. Временами я вспоминал об отце. И как-то незаметно убедил себя в том, что нужно ехать на Кавказ. Для начала в Грозный, есть же там справочная служба. Однако поездка все откладывалась и откладывалась. А потом случилась Перестройка...

И вдруг привычная, уютная жизнь кончилась. Быстро прошла весенняя эйфория перемен, схлынули митинги, витиеватые речи с обновленных трибун, жаркое лето дикого, но озаренного надеждами на лучшее, рынка. И наступила холодная неприглядная осень отрезвления. Горящий Белый дом, нищие по подземным переходам и война в Чечне...

Подмосковье. Военный аэродром. В брюхе огромного «Ила» камуфляжные люди с

оружием, в центре — полевая кухня, закреплённая тросами, тюки, рюкзаки и сумки, ящики... Самолёт, натужно взревев, сделал пологий разворот над аэродромом, и в иллюминаторе показались ряды толстобрюхих «Илов», похожих на жирных осенних гусей на краю сентябрьского седоватого от первого инея поля. В кадре двое на соседних чашках жёстких металлических сидений военного «борта» — лет тридцати старший лейтенант внутренних войск и штатский в зелёной с массой карманов куртке — постарше. Облака в иллюминаторе закрыли землю, и двое оторвались от иллюминаторов.

— Журналист? Первый раз в Чечню? — спрашивает военный.

— Да. Нет, — отвечает штатский в зелёной куртке. — В смысле: «да» — журналист и «нет» — не первый раз.

— И я — «нет», — он достаёт из огромной серой сумки, стоящей у ног, яблоко и фляжку, наливает в колпачок чайного цвета жидкость и подаёт спутнику. — За удачу!

Журналист пьёт, закусывает половинкой яблока, протянутой ему военным, на глаза его набегает слеза. Сразу видно, что человек он не шибко пьющий.

— Знаешь, каждый мужик должен побывать на войне! — вдруг очень убеждённо говорит лейтенант.

— Почему? — откликается журналист, ожидая, что военный заведет разговор о долге, о Родине и патриотизме, скажет привычное «есть такая профессия...»

Но лейтенант сказал:

— Чтобы ценили своих жен. Я там спать ложусь и считаю — еще на один день ближе к жене. Я ее там знаешь как люблю!.. Ну, вернёшься, пройдет полгода, привыкнешь, как-то все притрется. Но все равно... Кто под пулями вдали от семьи, от жены походил...

БЛОК-ПОСТ

(Граница Чеченской республики. Поздний вечер)

— Ну вот, значит, дружили русский Иван и чеченец Беслан...

В блиндаже сумрак, тонкими пластами плавает белесый сигаретный дым, за узкими бойницами вечерняя синева стремительно, как это всегда бывает в горах, сгущается в непроглядную ночь. Прапорщик-контрактник Зыков заводит уже десятую, пожалуй, байку. Слушателей в блиндаже человек семь. Кто ест, кто возится с вещами, кто, напрягая глаза, пытается читать затертое письмо при свете маленькой коптилки, мерцающей на самодельном столе. На голой железной кровати в углу ворочается старлей, застрявший по пути на вертолетную площадку на ночь глядя. Зыкова и слушают, и не слушают, и уж враки его всерьез не воспринимают, но ему, похоже, все равно, и он плетет и плетет свой незамысловатый монолог, блестя золотым зубом, торчащим на самом видном месте.

— Да-а-а, и вот пошли они как-то на охоту — Иван впереди, Беслан сзади. Вдруг чеченец обгоняет русского и говорит: «Впереди не ходи, ходи сзади». — «Почему?!» — русский спрашивает. «Убить могу!»

— Городишь ты... — пробормотал с кровати старлей.

— И не горожу, это мне реальный осетин в Моздоке реально рассказывал. Чего ему врать? Да-а-а, и вот как-то позвал Беслан Ивана в гости с ночевкой. Среди ночи просыпается Иван, а над ним стоит Беслан с ножом: «Уходи, Иван, домой и не приходи больше, кровь будет!» Так вот и закончилась дружба Ивана с Бесланом...

Зыков посмотрел в бойницу, где стало совсем черно:

— Что-то тихо сегодня.

Раздался приглушенный толстыми стенами голос часового, а потом и ответный возглас, и в помещение вошел солдат. Он поставил автомат к другим, выстроившимся у стены, и завалился на нары.

— Поставь на предохранитель, — сказал ему Зыков.

— Да ладно!

— Я говорю: поставь на предохранитель!

— Солдат кряхтя, нехотя поднялся, щелкнул предохранителем.

— Дурак, это ж примета такая верная — чтобы раньше времени не началось...

— Да-а-а, а вот еще про Шаманова рассказывают. Показывают ему Минводы, ну, вот достопримечательности разные, ключи эти знаменитые, памятники всякие, а потом говорят: «А сейчас мы проходим мимо винного погребка, который любил посещать Лермонтов». А Шаманов в ответ: «Какого же черта мы проходим мимо!?»

Зыков подождал, но никто не засмеялся и он, нимало не смутившись, продолжил:

— Вот мне недавно капитан в Ханкале рассказал. Объявилась в Грозном старуха-чеченка, Фатима, что ли. Вот если какой солдат или офицер с ней поговорит или там имя свое назовет, то через день-другой или пропадет без вести, или погибнет...

— Ты еще про волчьи ямы расскажи, — проворчал кто-то иронично из темного угла.

— Что за ямы? — заинтересовался задремавший было солдатик.

Зыков оживился, получив заинтересованного слушателя:

— А это такая вот страннейшая штука. Научились «чехи» такие ямы делать, что если над ней пройдет рядовой — хоть в полном снаряжении, — ничего не будет. А если офицер или вот наш брат прапор шагнет, то сразу провалится, и уж если повезет, то только руки-ноги поломает, а не повезет, то и сразу насмерть. Там колья и обломки сабель, прутки железные...

Старлей снова завозился на скрипучей койке:

— И что ты городишь, бойца пугаешь.

— А чего ему бояться, он же рядовой. Эт нам с вами бояться надо...

Тут кто-то невидимый в темном углу блиндажа подал голос:

— Я когда из Моздока возвращался, мне знакомый танкист рассказал. Вроде как вокруг Грозного ездит танк-призрак без экипажа, появляется то тут, то там и вступает в бои против чеченцев. Танк этот вроде как еще в первую чеченскую сожгли вместе с экипажем. Вот они теперь и мстят...

— Ну, насчет танка не знаю, — вглядываясь в темноту, ответил старлей, а вот за самолетом-призраком недавно целая охота объявлена была. Оказалось, какой-то левый «кукурузник» по ущельям летал, «духам» продукты и боеприпасы доставлял. Летал низко, радары его то видят, то нет — настоящий призрак.

— Сбили?

— Нет. Видно, понял, что охотятся за ним, и пропал.

Зыков, недовольный, что не он ведет разговор, вмешался:

— Это все фигня! А вот у меня друг фээсбэшник, рассказывал, что почти все пленные «чехи» говорят, будто перед атакой на их позициях появляются старцы в белых одеждах и с кривыми саблями в руках, и если за старцем идти, то ни одна пуля не тронет!

Старлей, громко, с подвывом зевнув, снова подал голос:

— А вполне возможно. От наркоты привидеться может не то что старец, а и сам Аллах!

Зыков как бы согласно промолчал, и в блиндаже повисла зыбкая тишина. Маялся огонек коптилки, где-то капало, плавали в сумраке медленные пелены дыма.

Тишина настаивалась, словно чай. Наконец заскрипел койкой старлей. Сказал задумчиво:

— Если бы я сочинял роман, я бы в этом месте написал: «В мертвой тишине откуда-то со стороны дальнего хребта невидимым сверчком прострекотал крупнокалиберный пулемет...»

— В каком месте? — встрепенулся вдруг Зыков.

Немного помедлив, старлей пояснил кратко:

— В заднем!

Зыков помолчал и снова заблестел золотым зубом:

— А вот еще мне подполковник из сорок шестой рассказывал. Шли они колонной из Гудермеса, ну и напоролись на засаду. И вот, значит, лежат за бээмпэшками, перестреливаются. И вдруг этому подполковнику друг кричит: «Уходи оттуда скорее!» Ну, он вскочил, пробежку сделал и закатился в канаву. А в то место, где он лежал, из гранатомета ка-ак жахнет! Да-а-а, а друг-то этот, который крикнул, еще полгода назад как погиб! Да-а-а...

Послушав тишину, повисшую во тьме, Зыков спросил:

— Кныш, спишь, что ли? Серега... Зюзя... Товарищ старший лейтенант... Притворяетесь!

Но тишина, неотвратимо густея, плавала в блиндаже.

Зыков прищурился:

— Ну, как хотите, а я самое интересное хотел рассказать.

Но тишина все плотнее отделяла страдающего бессонницей Зыкова, словно в вату укутывая и блиндаж, и спящих в нем людей, и темноту за бойницами. Даже тихая капель незаметно прекратилась. И Зыков уснул-таки с открытыми глазами, словно загипнотизированный трепетом огонька в светильнике и тишиной.

И в этой мертвой тишине откуда-то со стороны дальнего хребта невидимым сверчком прострекотал крупнокалиберный пулемет...

ВАСЕНЬКА

(Кафе «Омар Хайям» на трассе Моздок – Грозный)

Лежать Васеньке было почти удобно. Развилка корней, плавно выгибающихся к стволу, ровно легла под спину, а голова покойно пристроилась на выемке в столетней коре дерева. И если бы не странная слабость и проступающий через ткань куртки холод, было бы совсем уютно.

Дорога в этом месте круто поворачивала и уходила в черное ночное пространство. Если бы не движенье, она просто утонула бы в черноте. Но по асфальту прерывистой чередой тянулись огни: к Васеньке белые и желтые, от Васеньки — красные и оранжевые. Там подальше трасса шла в гору, и редкая гирлянда мерцающих огней, слегка извиваясь, шла вверх и пропадала во тьме, словно утекала в невидимый тоннель. Васенька знал, если подняться, из-за горизонта сквозь ветви придорожных деревьев покажется дрожащая россыпь алмазов — огни «приграничного» городка и большого КПП. В это дрожащее в ночи озеро огоньков и вела дорога.

Васенька любил ночную трассу. Ночью не было видно придорожной грязи, не было на обочинах случайных людей, лишних звуков и лишнего движения. Ночью водители, останавливавшиеся в кафе со странным названием «Омар Хайям», были задумчивее, сдержаннее и добрее. Ночью ритм жизни становился размеренным и не таким суетливо-суматошным, как днем. И хотя мать каждый раз ругалась, когда Васенька уходил от кафе к трассе, он постоянно бегал к этому повороту, чтобы посмотреть, как огненный змей очередной автоколонны все ползет и ползет к своему мерцающему в ночи озеру.

Сегодня едва не случилось то, чего так боялась мать. Из-за поворота на обочину вывернул показавшийся Васеньке в ночи громадным грузовик и, кренясь, пошел к кювету. Видно, задремавший за рулем водитель едва-едва вывернул эту махину на трассу, а Васенька в самый последний момент успел прыгнуть к придорожному дереву. Грузовик пролетел так близко и так быстро, что Васеньку словно приподняло воздушной волной. В лицо пахнуло маслом, бензином, разогретым железом вперемешку с запахом горящей резины, вихрем пронеслось облако жухлой листвы, взметнувшейся за горящими габаритами. Через мгновенье грузовик исчез в веренице огней, а Васенька привалился к дереву и все никак не мог отойти от испуга. Он чувствовал такую слабость в ногах, что даже и не пытался встать.

— Вот сейчас посижу немного, и пойду к «Омару», — чтобы хоть как-нибудь приободриться, сказал он сам себе вслух и глубоко вздохнул.

Он представил себе, как придет в кафе, горящее разноцветными огнями, как Толстая Дунька крикнет ему из-за стойки:

— Опять на трассу шлялся, вот вернется мать, я ей расскажу, — а потом она кивнет на дальний столик в самом темном углу «Омара» и добавит: — Иди, там твой дружок приехал, Димедролыч. Я вам там кой-чего припасла...

И он пойдет к столику, за которым, упершись острыми локтями в стол, то ли задумавшись, то ли задремав, сидит Димедролыч. Никто не знал, сколько этому худому, высокому человеку лет, откуда он, где живет и как оказался в «Омаре». Знали только, что он уж много лет работал на большую чеченскую семью, что настоящее отчество его — Дормидонтович, но и оно с легкой руки местного бесшабашного авторитета, который требовал, чтобы его называли эмиром, Герки, трансформировалось в Димедролыча. Почуяв Васеньку, Димедролыч встрепенется и обязательно что-нибудь вытащит из кармана, который по всем понятиям должен бы быть дырявым, но был цел. И появлялись из этого кармана иногда весьма странные вещи. Однажды он вытащил оттуда красивую губную гармошку, вручил ее Васеньке и, сказав лишь одно слово «учись!», весь вечер молча пил. В другой раз из кармана появилась совсем новенькая книжка, на обложке которой было написано «Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества». Читал Васенька плохо и поначалу хотел обменять книжку на что-нибудь у Толстой Дуньки, но как-то незаметно для себя начал читать и читал до тех пор, пока не дошел до слов «...ибо тем родам человеческим, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды». Книжка кончилась, почти ничего в ней Васенька не понял, но какой-то пряный вкус во рту, какие-то странные звуки в ушах, какие-то непонятные желания терзали его потом несколько дней. Книжку он спрятал под матрас, на котором они с матерью спали в задней комнате, и все время хотел перечитать и почему-то не решался.

Однажды, когда мать уехала в очередной рейс, Димедролыч взял Васеньку в Грозный. Они долго добирались то на попутном «Урале», то на разбитом «ПАЗике», а от поворота на Ханкалу их даже посадили на попутный БТР. В Грозном они пешком добрались до какого-то подземного проезда недалеко от площади «Минутка», и там Димедролыч, стоя у обшарпанной стены и нацепив на нос черные очки, виртуозно играл

на своей скрипке. В шляпу, которую Димедролыч никогда не носил, летели монеты и бумажки. Если в кучку денег вдруг вертляво приземлялся доллар, брошенный увешанным аппаратурой иностранным корреспондентом, Димедролыч мгновенно его подхватывал и, задрав штанину, прятал в носок.

Грозный Васеньке не понравился. Большие, холодные, ободранные снарядными осколками и пулями дома, какие-то чужие, молчаливые люди, драчливые чеченские дети, непонятная Васеньке жизнь...

— Ты че, пацан? — высунулось из притормозившей иномарки носатое, усатое полузнакомое лицо. — Смотри, блин, замерзнешь...

«Да, пора идти, — подумал Васенька. — Мать, может быть, уже вернулась...»

Когда мать возвращалась трезвой, она привозила ему какой-нибудь «гостинец», кормила, отводила в душ, а потом они лежали на своем матрасе на чистой простыне и тихо разговаривали. Мать подробно описывала ему поездку: с кем и на какой машине ездила, что видела, какой на этот раз попался дальнобойщик или военный.

Иногда она приезжала в разодранном платье, с синяком под глазом и ссадинами на теле. В такие дни она уходила в душ одна, потом молча ложилась спать и не вставала сутками. Васенька носил ей еду и чай, но она лежала, уткнувшись в стенку, и еда могла простоять нетронутой целый день...

Чаще мать приезжала пьяной и веселой. Она засовывала в Васенькины карманы какие-то мятые деньги, громко смеялась и требовала у Толстой Дуньки выпивки «на всех». Потом, правда, смех обязательно переходил в бурные рыдания; обливаясь слезами, мать обнимала Васеньку и рассказывала ему, как они хорошо жили раньше. Какая шикарная у них была квартира, была своя машина и даже дача за городам. И один раз они даже ездили на море, «на курорт». Что такое курорт, Васенька себе слабо представлял, но кое-что из туманных материнских рассказов словно брезжило у него в памяти: какие-то янтарные шторы на окнах, белая блестящая ванна и женское смеющееся лицо, обрамленное седыми волосами. Бабушка... Что произошло потом и почему они с матерью оказались в «Омаре Хайяме», он не помнил, а мать не рассказывала. Как не рассказывала даже в пьяном бреду, кто и где его отец. И видя, как мать уезжает то с военными на БТРе, то с водителем какой-нибудь громадной фуры, Васенька решил, что отец его, скорее всего, дальнобойщик.

Дальнобойщики ему нравились, хотя попадались среди них всякие.

Давно, когда он был еще маленьким, один толстый лысый водитель КамАЗа дал ему пирог, и Васенька, откусив кусок, вдруг почувствовал, что рот его разрывается на тысячу кусочков и горит огнем. Сквозь слезы, заглатывая воздух, он смотрел на ржущего шофера, а тот показывал ему жгучий перец, который засунул в пирог. Сжалившись, он подал наконец стакан воды, Васенька с жадностью глотнул, но и тут был подвох: в стакане оказалась водка.

Толстая Дунька увела его на матрас, сунула в руки стакан ледяного сока, и сквозь стенку он приглушенно слышал, как она скандалила с толстым дальнобойщиком...

Но вообще дальнобойщики были людьми веселыми и добрыми. Васенька часто сидел около них и слушал их разговоры о машинах, об авариях, о войне, бандитах и бабах. Зачем нужны бабы, Васенька узнал довольно рано, поскольку в заднюю комнату частенько заходили отдохнуть пропахшие бензином и перегретым железом мужчины, и нередко к ним приходили женщины, днями и ночами крутившиеся у «Омара»...

В свои года Васенька не знал многое из того, что знает всякий домашний городской мальчишка, но и знал он такое, чего не знает иной взрослый человек, живущий по кругу: «работа, семья, друзья, работа...»

Подвыпив, Димедролыч часто говорил ему: «Пока у тебя есть цель — ты человек!»

У Васеньки в жизни было несколько целей: накопить денег на свой КамАЗ, «сдать на права», уехать из Чечни и разыскать отца. Из историй, увиденных им по телевизору в зале «Омара», он узнал, что это вполне возможно и даже очень вероятно. Мало того, в этих историях потерянные в детстве отец, мать или брат были рядом, но не знали об этом, и только счастливый случай открывал правду... Часто, лежа по ночам один на своем матрасе и глядя на проплывающие по потолку полосы света от пролетающих мимо «Омара» фар, Васенька мечтал о том, как на одной из запыленных шикарных фур приедет к нему потерянный отец...

Словно сквозь сон увидел Васенька, как к обочине, вывалившись из потока огней, подкатила обшарпанная скорая. Из нее вышли люди, и невыспавшийся красноглазый доктор в мятом халате наклонился над ним.

С милицейского «УАЗика» направили к дереву свет фары, и доктор сквозь прорехи в куртке увидел что-то синеватое и скользко-красное, а в полуразорванных штанинах джинсов белую торчащую кость. Васенька почувствовал, что его трогают за руку,

расстегивают куртку.

Пожилой милиционер-чеченец вопросительно смотрел на доктора, и тот, повернувшись, наконец, без слов покачал головой. Милиционер сразу ушел куда-то в тень, и Васенька услышал его голос и голос Толстой Дуньки:

— Василий Купцов. Нету отца-то, а мать-то уехала только что, ах ты Боже ж мой... — и Дунька заплакала...

Васенька вдруг увидел, как, аккуратно объехав скорую, к обочине прижался огромный и весь расцвеченный огнями, словно в рекламе кока-колы, грузовик с эмблемой «Мерседес» на радиаторе. Сердце Васеньки застучало, когда в кабине грузовика загорелся свет и веселый большой человек с водительского кресла призывно махнул ему рукой. Васенька почувствовал вдруг необычную легкость и, наконец, поднялся. Он легко открыл дверцу и полез в кабину. Он сразу все понял: Отец приехал за ним! Отец положил теплую сильную руку на Васенькину голову и одними глазами спросил: ну, едем?

Ни милиционер, ни доктор, ни Толстая Дунька, ни даже только что подбежавший, страшно запыхавшийся Димедролыч не видели разноцветного грузовика. Они видели, что Васенька вдруг улыбнулся, легко вздохнул и закрыл глаза.

Грузовик взревел, трубно прогремел клаксоном и, сорвавшись с места, влился в огненный поток проходившей колонны...

В эту секунду душа Васенькина отлетела...

В рай, разумеется.

Когда едешь одной и той же дорогой в пятый, и седьмой, и десятый раз, многое перестаешь замечать. То, как нервно оживлены бойцы и офицеры за минуту перед тем, как колонна тронется из «отстойника» в сторону Чечни, то, какими взглядами провожают колонну остающиеся, как в полудреме придерживаются за «Зинку» — зенитную установку — бойцы в кузове «Урала», как изрешечены пулевыми дырками дорожные знаки по обочинам. Перестаешь ждать нежданных выстрелов из проплывающего за окном перелеска... Зато начинаешь видеть то, чего не замечал раньше.

В бегущем мимо поселке рядом с разрушенным домом спрятался за высокий забор из красного кирпича роскошный особняк с иномаркой, выглядывающей из-за ворот. И сразу мысли: как же так — война, разруха, а вот такой дворец... На окраине поселка отара овец и чеченский пацаненок с прутиком в руках провожает с нечитаемым выражением глаз нашу колонну. И другой поворот в дорожных раздумьях: что этот пацаненок вспомнит через десять, через двадцать лет о сегодняшнем дне? Полные тетки в темных платках с сумками и узелками у безымянного перекрестка дожидаются попутного автобуса, совсем как где-нибудь у нас в российской картофельной глубинке. Ребятишки гоняют мяч во дворе наново покрашенной школы. На растяжке над дорогой порванный ветром призыв «Все на референ...» И хочется верить, что мир вот он — в двух шагах.

Но... На горизонте, на фоне сиреневого хребта хищной стрекозой покажется вдруг боевой вертолет, выписывающий над чем-то или над кем-то круги, мелькнет на обочине табличка «Мины», переведешь взгляд на тарахтящий впереди БТР и понимаешь: еще нет, еще всякое может случиться...

Дорога тянется и тянется под вой колонны, взбирается на холмы, петляет по улочкам поселков, взбирается на взорванные, а потом восстановленные горбатые узкие мосты-калеки через Сунжу, через Аргун, через быстрые безымянные речушки.

Путешествие на раздолбанном «Урале» по раздолбанным дорогам, как ни странно, настраивает на философский лад. Полуразрушенный дом, сгоревшая легковушка в кювете, брошенное, поросшее бурьяном поле — опять и опять наводит нить мысли на все те же вопросы, на которые почти невозможно ответить. Почему так легко было вывести из состояния покоя целый народ, почему так просто люди взялись за оружие и начали стрелять во вчерашних соседей? Почему так быстро озлобились, пришли в дикое первобытное состояние? И чего добились? И как жить дальше, если обе стороны думают о нанесенных обидах и во всем винят друг друга? А как быть тем, в чьих жилах течёт кровь двух народов?..

В кадре панорама небольшой вертолетной площадки. Два вертолета застыли большими зелеными беременными стрекозами. У края площадки на скамейке сгорбился журналист. Он пишет что-то в свой блокнотик. Часовой у вертолетов с любопытством поглядывает на него, шагая под застывшими винтами.

Голос за кадром:

Что заставляет людей перемещаться по свету? Никто не знает. Снова и снова все новые Ясоны и Одиссеи отчаливают от своих берегов. Отчаливали и будут

отчаливать, пока существует хомо сапиенс. Каждый за своим золотым руном надежд, денег, славы, в результате расчета или в порыве безумства, по приказу тоски или гордыни. Все эти причины — правда, но не вся правда.

Какое золотое руно в который раз поманило меня на Кавказ из повседневного спокойствия в надрывающую душу беду? Поехал ли я за новыми ощущениями, чтобы отдраить, отскоблить потускневшее восприятие жизни, за новой философией, которой требовала душа, или позвало меня в этот опасный путь банальное журналистское честолюбие, или всё же вновь и вновь убегаю от самого себя и тайных своих желаний, которых и сам не понимаю, в затаенной надежде встретить отца — не знаю. Сам ли я принял такое решение или неведомый император, разглядев мое дерево зинь, заставил меня отправиться в путь, — не знаю...

Наверное, это формула жизни: «Человечество — вечный странник, который забыл, откуда идет, не знает — куда, и его все время мучит вопрос: зачем?»

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

(Ханкала – аэропорт «Северный» – Итум-Кала)

Солнце уходило за отдаленную гряду гор, и надежда на прилет вертушки таяла с той же скоростью, с какой таял день. Небольшой дощатый сарай, над выходом из которого была кое-как прибита табличка «Аэропорт Ханкала», пустел. Народ — все больше военный, камуфляжный, — потеряв надежду на вылет, разбредался по своим расположениям.

— Вот так всегда, — ворчал пожилой полковник, нервно расхаживая по сараю, — из Моздока прилетишь моментально, а тут обязательно застрянешь!

Во время перелета из Моздока полковник весело и громко рассказывал старые анекдоты и то и дело прикладывался к фляжке, в которой, кажется, булькал коньяк. В который раз он выходил на площадку и спрашивал у перронного, так будет вертолет или нет? И в который раз перронный пожимал плечами — а кто ж его знает, должно быть, будет... А может, и нет...

Почти стемнело, когда в сарае кроме меня остались лишь полковник да двое контрактников, пристроившихся на неструганой скамеечке. Один из них был совсем молод, худ, нервен и пьян, а второй постарше — круглый, как мячик, подвижный, веселый и почти трезвый.

Пьяный контрактник уже полчаса разговаривал то ли с кем-то нам невидимым, то ли со всем миром сразу. Он рубил ладонью воздух и, пристально глядя себе под ноги, доказывал:

— Никто не скажет правду! Воруют крысы тыловые амуницию? Воруют! Торгуют оружием? Торгуют! Они, сволочи, карманы набивают, а мы — под пули!

— Ну, Витя, — сочувственно успокаивал его второй контрактник, — это уж давно известно, кому война, а кому мать родна. А раз уж назвался груздем — бери автомат и под пули! Но, Витя, пуля дура, а ты молодец! Домой жив-здоров едешь, к дочке.

— У меня знаешь какая дочка! Я как узнал, что она родилась, сразу жене позвонил, сказал — Анюта! Они Жанной хотели. Я сказал: Анюта! Блин! — он вдруг вцепился в ворот приятеля: — Я за дочку знаешь! Я всем чеченам глотку перегрызу! И этим крысам тыловым. Мне новая «разгрузка» положена, камуфляжка положена? Положена! Где она?!

Вдруг он обмяк, завалился на плечо круглому и затих. В дверном проеме сарая показалась первая звезда.

Когда надежда на вертушку истаяла, как огонек последней спички, в черном небе раздался рокот, и скоро на площадку опустилась грузная, словно бы уставшая за день, серо-зеленая стрекоза.

Открылась дверца, грязный механик выглянул, замахал рукой:

— Быстрей, быстрей! Полетные листы приготовить! Бегом!

Едва последний пассажир — кажется, это был пьяный контрактник Витя — забрался во чрево вертушки, механик захлопнул дверь.

Вертолет задрожал, завибрировал и резко пошел вперед и вверх.

— Ну что ж, вручаем свои жизни в руки славных пилотов! — стараясь перекричать вой двигателя, нарочито торжественно провозгласил полковник и приложился к фляжке.

— Да нет, — возразил ему механик. — Жизни свои вы сейчас вручили кое-кому повыше! — и показал пальцем вверх.

— Пожалуй, — легко согласился полковник.

Буквально через несколько минут под нами разлилось мерцающее море огней. Это в каждом дворе пригородов Грозного горели газовые факелы. Когда матросы

Магеллана, проходя южным проливом, увидели костры индейцев, они назвали ту землю Огненной. Настоящая Огненная земля — подумалось мне — здесь! Вертолет летел вдоль цепи холмов, на которых багрово полыхали пламенем газовые вышки, и сполохи этих огней метались по бортам вертолета, по кассетам с НУРСами, по лицам пассажиров. А в затемненной кабине вертолетчиков, словно угли затягивающегося пеплом костра, мерцали красные огоньки приборов. Я пробрался к кабине, крикнул вопросительно обернувшемуся пилоту:

— Бывает, что вертолет ночью обстреливают?

— Случается, но мы тогда не церемонимся, засекаем, откуда стреляли, заходим на цель и — НУРСами!

Нас не обстреляли, и вскоре вертушка благополучно встала на бетонные плиты грозненского аэропорта «Северный».

Пассажиры как по команде потрусили было к разбитому зданию аэропорта, но механик прокричал в спины:

— Мужики, не ходите туда, там растяжек полно, смотрите, все поотрывает.

— А где же? — обернулся пожилой полковник.

— Да вон прямо у забора, в кустиках!

В Итум-Калу мы должны были вылететь на рассвете, а остаток ночи предстояло провести в палатке КПП охраны аэропорта.

Перед сном я сидел на краю летного поля, разглядывал красивую линию холмов по ту сторону взлеток, неясные силуэты раскромсаных самолетов «дудаевской авиации» и невольно прислушивался к разговору, доносящемуся от КПП:

— Я ему говорю, сынок, не спи на посту! «Духи» налетят, пискнуть не успеешь, вырежут всех... Они ведь какие приходят — совсем ничего не понимают, здесь только учатся. Пацаны...

Неожиданно черный силуэт холмов прорезала тонкая линия сигнальной ракеты. Донесся выстрел. Потом другой. Потом раздались автоматные очереди.

Я обернулся. Неясные фигуры на КПП спокойно пыхали цигарками.

А за аэродромом разгорался настоящий бой, послышались взрывы, и вдруг пламя осветило далекую, словно сложенную из спичек, нефтяную вышку. К небу потянулся багровый дымок. И так же неожиданно, как началось, все мгновенно стихло...

Остаток ночи я сквозь сон прислушивался к тишине, мне все казалось, что где-то идет бой и доносятся выстрелы. Но это трещали сырые поленья в железной печке-буржуйке.

Утром в Итум-Кале мы забрали раненого. Ковыляя на обмороженных ногах, он забрался в хвостовую часть «вертушки», пристроился в темном углу на патронных «цинках» и всю дорогу молчал, посверкивая воспаленными глазами, как пума из клетки. Он чем-то неуловимым отличался не только от меня — штатской сошки, но и от камуфляжных военных. От него исходило скрытое напряжение, непонятная тревога и угроза. Но был другой...

На экране — утро. Блок пост. Крупным планом лицо солдата с прикрытыми глазами. Камера отъезжает, и мы видим, что солдат дремлет стоя, привалившись спиной к серому бетону блок-поста. Меж стволов ближнего леса плавает туман. Вдали возникает звук мотора, солдат вздрагивает, вскидывает на плечо автомат и вразвалку бредет к полосатому шлагбауму...

Смятую гильзу от «калашникова» я поднял с обочины дороги на Джалку, где оказался вместе с отрядом инженерной разведки. Колонна остановилась у блокпоста томских омоновцев: здесь сказали, что следующий участок несколько дней подряд простреливался из раскинувшегося вокруг леса, и командир отряда решал, как проходить участок.

Я вертел латунную гильзу и размышлял о том, где сейчас может быть пуля, вылетевшая из этой гильзы. Вбита ли она в сырой ствол какого-нибудь дерева в этом лесу или бессильно увязла в земляной кочке на излете своей смертельной трассы, а может быть, застряла в черепе человека, и останки этого человека тлеют потихоньку в гуще того же леса.

И тут меня кольнуло чувство дежавю. Словно я уже стоял вот так, взвешивая в ладони знак смерти и рассуждая о жизни и о судьбе.

Да, это было. Пыльная дорога на границе Каракумов, развалины старой крепости Куня Ургенч, а у меня в руках только что найденный бронзовый наконечник стрелы. И те же мысли: возможно, этот безобидный кусочек металла оборвал тысячу лет назад чью-то жизнь. Были пыльные брежневские годы, мир казался незыблемым и устойчивым, словно плоская земля в докосмические времена, и размышления мои были

хоть и печальными, но отвлеченно-философскими, ведь не было еще даже Афганистана.

А теперь грусть снизошла на мою душу: человечество карабкается из тьмы звериного к свету, но по пути вместо примитивного наконечника стрелы придумало пулю со смещенным центром тяжести. Чтобы пуля, попав в тело ближнего, не вылетела из него слишком поспешно, а причинила как можно больше вреда и страданий...

Отряд выдвинулся на трассу, разделился пополам, и автоматчики с колена тщательно обстреляли в обе стороны придорожный лес. Пули сбивали ближние ветки, рикошетом уходили в пеньки и кочки, автоматный треск эхом отдавался с полян и просек, и во все стороны летели горячие желтые гильзы.

Окончив обстрел, мы, давя ботинками стреляные гильзы, двинулись дальше. Лес промолчал...

ПОДВИГ

(Палатка пресс-службы. Ханкала)

Подполковник допил чай, вытер клетчатым платком вспотевший лоб, отодвинул блюдечко с печеньем и взялся за телефонную трубку. Из толстой папки он вытянул листок, и пока его соединяли с абонентом, пробежался взглядом по ровным, аккуратным строчкам.

— Ну, что — продолжим? Диктую. Стрелять начали неожиданно. Минуту назад было совершенно тихо, село Ноцы-Юрт не спеша выплывало из-за поворота дороги, мелькали среди пятен снега замерзшие домики... Что-что?

Подполковник, прижав к уху трубку плечом, придвинул к себе папку.

— Да, действительно, в октябре. Ну, пиши: ...среди желтой листвы тополей мелькали домики под красными черепичными крышами. И вдруг посыпался дождь из пуль. Он усиливался, нарастал, и колонна, попавшая под него, оказалась совершенно беззащитной на открытом полотне дороги. По рации передали приказ командира группы старшего лейтенанта Егоршина: «Поворачиваем назад». Кавычки. Тире. Назад так назад, буркнул водитель, разворачивая боевую машину. Черт, откуда же они вылезли? Ну, с прямой речью сам разберешься, да? Я просто диктую, а ты потом набело все проверишь.

Подполковник прокашлялся и продолжил диктовку:

— Так, дальше. От спокойствия не осталось и следа. Тишина кончилась. БТР шел первым, за ним, не отставая, двигалась колонна. Машины, которые на шоссе обычно растягиваются, сейчас шли «на минимуме», и из каждой непрерывно стреляли. Иван Кропочев буквально сросся с пулеметом, а в голове у него крутилась мысль: «Ну, надо же, ведь чувствовал!» Из-под обстрела им удалось уйти довольно быстро и без потерь. Это было странно. Бандиты не стали их преследовать. Почему? Это стало ясно буквально через пару минут. Справа от дороги неожиданно застрочили пулеметы. Боевиков было много, и атаковали они из отличного укрытия — узкого оврага, отделенного от шоссе невысоким, но плотным земляным валом. Гаденыши. Сержант Налоян, перезаряжая автомат, сидел под открытым люком. Далеко... Так мы их не достанем. Марченко, не ответив, повел машину вправо к оврагу, навстречу пулям, которые сразу полетели гуще. Наверное, боевикам стало не по себе: они не ожидали от экипажа такой дерзкой атаки. Весь огонь сразу переключился на БТР, его буквально... Подожди!

Рядом звенел второй телефон, и подполковник, отложив одну трубку, снял с аппарата другую:

— Да, товарищ генерал. Да, диктую. Так точно. Виноват, товарищ генерал, только вчера получил указание, а документы лишь утром сегодня... Есть! Обязательно... Есть!

Подполковник положил трубку и вновь взял первую:

— Горячев звонил, торопил. Ну, давай дальше. Его буквально поливали пулями. Главное, было дать колонне уйти. После этого можно уходить самим. Во время коротких пауз между выстрелами Иван слышал, как перекликаются по рации машины, и пытался понять, все ли они миновали зону обстрела. Посмотреть он не мог — для этого нужно было оторваться от пулемета. То, что произошло в следующую секунду, заставило его мысли оборваться: машину страшно тряхнуло, потом еще раз. Какая это ерунда — выбоины на дороге — в сравнении со взрывом гранаты, попавшей в корпус. Он оглох и ослеп, мир превратился в вертящуюся красную пустоту. Машина горела — граната попала в двигатель, БТР стоял на месте. В первую секунду Ивану показалось, что в живых остался он один. Сослуживцы лежали скорчившись и не шевелились. В дыму их почти не было видно. Глухо застонал Марченко, очнулся Налоян. Вылезайте. Карпочев с огромным усилием сел. Я прикрою...

Полковник еще раз откашлялся, хлебнул остывшего чая.

— Когда ребята выбрались из машины, Иван снова начал стрелять. Перед глазами

все плыло, по ноге струилась кровь, форма промокла насквозь, и очертания оврага, в котором залегли боевики, все время раздваивались в глазах. Несколько раз он терял сознание, приходил в себя и опять хватался за пулемет. Пламя охватило почти всю машину, и Иван чувствовал, как постепенно раскаляется корпус бронетранспортера. Боевики окружили машину со всех сторон и безостановочно палили по ней, стараясь оборвать и без того непрочную и короткую жизнь стрелка. Пулемет умолк. Иван огляделся в поисках патронов. Их больше не было. Кольцо бандитов вокруг горящей машины сужалось. Был только один шанс не погибнуть в огне — сдаться в плен. Он принял другое решение: не сдаваться. Подпустив боевиков вплотную к БТР, спецназовец взорвал гранату. Тут поставь многоточие и с новой строки тоже — многоточие. И дальше: в родное село Иван вернулся «грузом-200». Его провожало в последний путь все село, и не раз в этот день звучало слово «герой». Он действительно погиб героем, а теперь получил и почетное звание «Герой России». Посмертно.

Подполковник отодвинул листок, вновь вытер платком лоб, а заодно прошелся и по влажным глазам.

— Заголовок? Давай так: «Главная дорога его жизни». Пойдет? Не забудь десяток экземпляров на родину. Родителям там, в школу... Подпись как обычно — подполковник такой-то, пресс-центр, Ханкала. Как обычно...

В кадре угол казармы: двухъярусная железная кровать, завешенная темным байковым одеялом, шаткий поцарапанный стол, на столе тусклая лампа без плафона и трехлитровая банка с настоявшимся чаем. На стене фотографии из «Плейбоя» — обнаженные девицы. За столом сидит журналист и, время от времени ненадолго задумываясь, что-то пишет в блокноте. Вот он снова остановился, задумался, камера наезжает на его глаза, и становится ясно, что он сейчас не здесь, что он видит совсем не беспечных девушек из журнала, а нечто совсем другое. Слышен гул двигателя БТРа, звук шагов по мелкой щебенке, громкий голос: «Приехали! Сергеев и Васькин выдвигаются к перекрестку, вы двое за дом...» Словно с высоты птичьего полета, мы видим город, потом его часть, улицу, квартал, дом...

Дом был разбит, искорежен, раскурочен. Выше пятого этажа от него остался лишь скелет, и через окна просвечивало небо. И все же в нем теплилась жизнь. На втором этаже, на балконе — цветы в горшочках, цветастый ковер на перилах, на высоком столике самовар. У самовара русский седенький старичок — сидит, пьет из блюдечка чай и смотрит вниз. Разглядывая эту невероятную картину, я едва не грохнулся на груду кирпичей и торчащую из нее арматуру.

— Аккуратней, корреспондент! — придержал меня за рукав майор в набитой автоматными магазинами и гранатами «разгрузке». — Так недолго и шею свернуть.

— Здэся, здэся! — махнула нам от подъезда полная чеченка в темных одеждах и черном платке. — Здэся она.

Бабушка лежала на покосившемся козырьке над подъездом, и сразу было понятно, что упала она с пятого этажа, из окна с белыми тюлевыми шторами, которые, свисая из оконного проема, слегка колыхались под ветром.

Милиционер-чеченец выбрался из окна подъезда на козырек и склонился над мертвой старушкой, а мы с майором и его бойцами начали осторожно подниматься на пятый этаж. Жилой на площадке оказалась лишь одна квартира. Двери остальных трех были выломаны, а изнутри доносился нежилой запах плесени и тления.

В квартире, если не смотреть в окно, где торчали остовы домов на противоположной стороне улицы, не было ничего примечательного. Диван, круглый стол, сервант, какие-то фарфоровые безделушки и вязаные салфетки. Чисто, аккуратно и бедно. Ничем не отличалось от жилища какой-нибудь одинокой пенсионерки, скажем, в Арзамасе. Догнавший нас милиционер, бегло оглядев квартиру, сказал, вопросительно глядя на майора:

— Следов взлома и борьбы нету.

Потом подошел к столу. На столе лежал листок бумаги, исписанный мелким корявым почерком. Сначала листок прочитал майор, потом чеченский милиционер. Потом майор протянул листок мне:

— На, читай, корреспондент.

Я едва разобрал почерк:

«Главному Имаму и Прокурору
Чеченской социалистической республики,
и копия президенту
нашей России В.В.Путину

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый товарищ Иммам!

Мы живем на пятом этаже в г.Грозный. Без сына, но с внучкой. И вот ни с того, ни с сего с нами перестали здороваться. Я по этому поводу высказалась на кухне нелестно (на кухне, так как у нас все прослушивается), но они это услышали, и это у них было запланировано. А все это разработал неизвестный мне по кличке Большой Человек. Все это делалось, чтобы сжить меня со свету и завладеть моей квартирой и всем. И все это делалось так, чтоб никто не видел и не слышал. И у меня за спиной хрюкали, а я не мусульманка и вообще не верующая, я ветеран Отечественной войны. А последние пять-шесть лет стуки над головой. День и ночь без перерыва. И они на протяжении многих лет уводят мою внучку неизвестно зачем и неизвестно куда, а я не сплю ночи, переживаю. С этой помощью Большой Человек заставлял меня говорить. Что говорить, кому говорить, зачем — мне никто не объяснил.

Внучка решила, что это связано со мной, и пришла домой и стала драться со мной, говоря, что защищает Большого Человека. А я неправа. И они неопытную еще несовершеннолетнюю девочку затянули в грязную историю. Ее научили курить, не приходить домой, свели с неблагополучной компанией. Подтверждением тому служит: один друг повесился, другого убили (она говорила, что это ее друзья), ее сделали нескромной, в полном смысле этого слова. И еще стуки. Я на кухню — стук, я в ванную — стук, я лягу на кровати — стук над головой, поменяю место — стук над головой. В результате при помощи отсутствия внучки по ночам и бесконечных стуков и в результате бессонных ночей мне растерзали нервную систему, подорвали здоровье и искалечили последние годы жизни.

Возможно, мои ноги отяжелели из-за того, что я не систематически лечу атеросклероз, я постараюсь это проверить. Да и уже проверила. Когда я пила луковый сок с медом, который я заменяла сахаром, если он был, то ноги мои стали согреваться и стало лучше (легче) ходить.

Все это использует в своих целях Большой Человек, о чем мне сказали, когда приходили за внучкой. При помощи обмана и издевательств БЧ и его соратники обмывают свои грязные шкуры. Мне 80 лет, я инвалид Отечественной войны, я имею право на спокойную жизнь.

Продолжаю про внучку. Когда она училась в 11 классе, она ходила на подготовительные курсы по математике для поступления в ВУЗ. А бандиты забирали у нее деньги и заставляли ее врать.

Этот Большой Человек и все кубло его соратников — очень опасные люди, и нигде от них нет спасения, и все соседи это знают и поэтому не здороваются со мной и только по ночам дают мне хлеб и сахар.

Он знает, где его кубло держит мою внучку, и только высшая власть может все это прекратить и дать мне дожить спокойно старость. И с внучкой. Уж раз нельзя с сыном. Прошу мне помочь и выполнить мою просьбу.

Уважаемые товарищи Иммам и Прокурор! Письмо не подписываю по известным причинам.

Вся надежда только на Вас!»

Мы оставили милиционера в квартире дописывать свой протокол, а сами спустились во двор, где у подъезда собралась небольшая толпичка народа. Бабушку уже сняли с козырька, положили на носилки и прикрыли белой простыней. Полная чеченка рассказала:

— Еще когда правил Дудаев, еще дом был цел. Все еще жили, правда, из русских только две семьи остался — на втором Иваныч, у него никого нет, и вот на пятом бабушка, его сын и вот внучка. Ночью к ним пришли, сына убили, а внучку прямо на глазах у бабушки из... обесчестили и увезли куда-то. Потом бабушку увезла милиция, милиция ходила по подъезду расспрашивала, но никто ж ничего не видел... А через месяц бабушка вернулась. Мы ему помогали, хлеба давали, она лук в баночках сажал, гуманитарку иногда привозили... За ней приезжали, чтоб в Россию увезти, да она не поехала, говорит, буду внучку дожидаться...

БТР дернулся и, набирая скорость, покатил по улице мимо серых декораций к фильму «Сталинградская битва», мимо сгоревших и поваленных деревьев, лихо уворачиваясь от снарядных выбоин в асфальте. Я оглянулся и, увидев белые занавески на пятом этаже удалявшегося дома, совершенно глупо подумал: как же она их стирала-то в таких условиях...

ФУГАС

(Окраина города Грозный)

Хорошо, что я этого не видел. Я приехал к софринцам через пару дней после того взрыва. И мне показали лишь останки перекореженного БТРа, завалившегося в огромную воронку посреди улицы. Брюхо БТРа было разворочено, словно его проткнули снизу большим толстым гарпуном. Посиневшая от жара броня лепестками смотрела прямо в небо, поскольку верха у машины попросту не было.

Капитан, рассказывавший мне, что он увидел через полчаса после взрыва, смотрел в сторону.

— Фильмы ужасов — тьфу! Когда на броне полчеловека, еще живого... А кожа на черепе вся свезена так, что глаз на месте щеки, а носа нет... И пузыри изо рта... Красные...

Капитан курил и смотрел в сторону глазами раненой собаки.

Глаза раненой собаки я вспомнил на этой окраине Грозного.

У моего приятеля Валерки не было отца. Но был отчим. Отчим моего друга детства Валерки был веселым, заводным дядькой. Учил нас стрелять из старенькой двустволь-ной «тулки», возил на охоту. Страшно ругался матом, но любимая приговорка у него была вполне безобидной, удивляясь или сердясь, Валеркин отчим говорил с оттяжкой на согласных — «у, к-коз-за м-мать!»

Мы ехали ночью по асфальтовому шоссе на мотоцикле «Иж» с коляской, орали что-то друг другу, стараясь перекричать треск мотора и свист ветра. Был июнь, пахло травой и близкой речкой. На повороте отчим затормозил так резко, что я чуть не разбил себе зубы о край коляски.

В свете фары мы увидели посреди дороги лежащего на боку пса. Это был большой, красивый гончак. Крупная породистая голова, хорошие уши, четкий окрас, крепкие лапы... Но брюхо гончака было распорото от грудины до самого низа живота. Внутренности вывалились на асфальт и еще дымились на ночной прохладе. Ослепленный светом фары, пес не видел нас, но, конечно, чувствовал. Он еще выше поднял голову и слабо шевельнул хвостом. Отчим заглушил двигатель, вытащил из коляски жестянку, которую возил для червей на рыбалку, вытряхнул из нее сор. Потом достал мятую фляжку с водой и, поставив перед псом жестянку, налил в нее воду. Пес принялся жадно лакать, разбрызгивая прозрачные капли, от которых серый асфальт тут же потемнел. Мы с Валеркой, словно завороженные, смотрели, как отчим вынул из ремонтной сумки молоток и зашел за спину гончаку.

Гончак перестал лакать воду, оглянулся на отчима, а потом посмотрел на нас. Он понимал, что погибает, но непонятная, неведомо на что опирающаяся надежда плавала в оливковых глазах собаки. И эта бесполезная надежда больше всего и царапала душу, дергала непонятный нерв, вызывавший внутренний стон сочувствия. Отчим наклонился и резким точным движением ударил гончака по затылку. Пес мгновенно уронил голову в жестянку. Отчим аккуратно взял труп за ошейник и основание хвоста и перетащил на обочину. Потом ногой пнул туда и жестянку. Бросив в коляску фляжку, завел мотоцикл, и мы поехали дальше.

Уже глубокой ночью, лежа с нами на сеновале, совсем пьяный отчим повторял нам в кромешной темноте:

— Он сейчас в раю. У зверей есть свой рай. Не такой, конечно, как у нас. Свой звериный. Но рай. И он сейчас в раю, к-коз-за мать!..

Вечером мы с капитаном выпили в его кубрике при казарме водки. Потом капитан ушел и оставил меня вдвоем с солдатиком, выполнявшим при нем что-то вроде обязанностей ординарца.

Солдатик кормил меня ужином, заваривал крепкий чай и развлекал беседой.

— Товарищ журналист, а вы верующий?

— У меня преподаватель на журфаке был. Он говорил: «Журналист — человек, развращенный фактом. Ему трудно просто поверить. Ему нужны доказательства».

— Понятно... Значит, ни во что не верите?

— Почему же, в некоторые вещи верить обязательно надо, иначе жить не стоит.

— Например.

— Например — хороших людей всегда больше. Даже когда их меньше.

— Это как у Булгакова? Добрые люди?

— А ты читал?

— Читал, а что ж... Я много читаю.

— Ну вот. Все люди изначально хорошие. Обстоятельства и слабость портят их.

— Не-ет, товарищ корреспондент. Люди от природы злые. Вся жизнь показывает: злые. Он, человек, может вроде быть добрым, но это только если у него ничего не отнимается. От излишества. Вот обратите внимание — даже клыки у человека, как и у обыкновенного зверя, прорезаются раньше зубов мудрости. Сначала клыки, чтоб нападать, рвать, убивать, а только уж потом — зубы мудрости... Вот мне на днях доктор рассказал. Случай. Ничего не придумано, доктор суровый, врать не будет. Мальчишку одного чеченского — лет тринадцать — завербовали фугасы взрывать и мины-ловушки ставить.

— Как это — фугасы взрывать?

— Ну, ночью боевики ставят у дороги фугас радиоуправляемый, а пульт мальчишке отдают. Утром идет колонна, а пацан сидит где-нибудь невдалеке, кто его заподозрит в чем. Ну, колонна дойдет до фугаса, он на кнопочку нажимает — и конец! Ну, а мина-ловушка — это совсем просто. Ему дадут пакет или вещь какую, а он ее где-то в людном месте, поближе к военному объекту, «потеряет». Нагнется неопытный солдат посмотреть, что в пакете — и готов. Ну вот. За работу ему, конечно, платили. Долларами. Он, можно сказать, семью содержал на этот заработок, да еще откладывал. И вот, видимо, как-то ошибся ихний минер. Пацан сам подорвался. Ноги ему оторвало. Ну, его, понятно, не в официальную больницу повезли — к своему врачу. Врач говорит, мол, чтобы операцию под нормальные протезы сделать, нужно в Грузию пацана вывозить. Значит, деньги нужны большие — и на перевозку, ну, там погранцам заплатить, водителю, связному и за операцию, конечно... Короче, достали они все накопленные за фугасы доллары, а их не берут. Оказалось, почти все — фальшивые. В общем, доктор этого пацана в Моздок возил вместе с нашими солдатиками ранеными, ходить ему теперь всю жизнь на наших корявых советских протезах. Доктор говорит, когда узнал, кого повезет, думал: «Задушу гаденыша!» А как увидел его... Глаза, говорит, такие... Молчит и смотрит, доктор говорит, словно нет вокруг никого. Сквозь все смотрит и молчит. Доктор говорит, даже страшно стало... Не-ет, товарищ корреспондент, люди злые.

Солдатик налил мне очередную кружку чая, щедро долил в глубокую алюминиевую тарелку сгущенки. Не забыл и про себя. На толстый ломоть белого хлеба намазал погуще и смачно жевал нехитрое солдатское лакомство.

— Почитать есть что-нибудь? — спросил я солдата.

— Да вот какую-то хрень с гуманитаркой прислали.

Я взял книжку с оторванной обложкой и открыл наугад. На странице, очевидно, в качестве эпиграфа было начертано:

«Пока свет с вами,
Веруйте в свет,
Да будете сынами света.
И.Н. 12,36»

В кадре рыночная площадь в одном из районов Грозного. С краю расположилась полевая кухня, окруженная в основном женщинами и детьми. На площадь влетает БТР, с которого ссаживается целый десант журналистов. Слышна английская речь. Увидев иностранных журналистов, чеченцы, стоявшие в очереди за гуманитарной похлебкой и буханкой хлеба, окружили телевизионщиков, слышны выкрики: «Все разворовали...» «Геноцид чеченского народа...» «Русские захватчики...» «Преступления...»

Но когда чеченки отпустили журналистов и вернулись к МЧСовским полевым кухням, к журналистам робко приблизились русские старики. Говорили они гораздо тише чеченцев: «Они же нас резали, как овец...» «У них в каждом доме рабы были...» «Они же раньше с кинжалами ходили, а теперь с автоматами...» «Это они сейчас мирные жители, а ночью мины ставят...»

Камера наплывает на журналиста с микрофоном и чеченского милиционера перед ним. Милиционер говорит:

— А Грозный восстанавливать не надо — только деньги разворуют! У нас в роду свой пророк был. Так вот он еще пятьдесят лет назад сказал: «Город на проклятом месте стоит. Он пропадет, и через пятьдесят лет люди будут ходить по кустам и говорить: здесь был Грозный!» Тут нефть добывать надо. Знаешь, здесь в туалете нефть пробивается...

Кадр меняется: журналист стоит на колене, перед ним замызганная чеченская девочка лет пяти испуганно прижимает к груди буханку хлеба.

Голос за кадром:

Этот чеченский милиционер совсем не похож на чеченца в обобщенно-привычном представлении. Рыжеватый, глаза голубые, совсем не горбоносый, да и размер носа весьма посредственный. Из какого, он сказал, тейпа?..

...Я нашел фотографию отца случайно, в комоде, под слежавшимся, пахнущим сме-

сью крахмала и нафталина бельем. Мне было лет шесть, и я ни черта не запомнил. Запомнил только, как мать молча отобрала эти черно-белые снимки с красивыми резными зубчиками по полям и, не отвечая на мои вопросы, унесла. Может быть, отец жил здесь, в Грозном. Ходил на работу, может быть, женился, и у меня есть неизвестные мне братья и сестры. Наверное, был членом партии, может быть, был передовиком производства. Что он делал, когда к власти пришел Дудаев? Помнил ли он про свою оставленную в мордовских лесах любовь? Взял ли в руки автомат или уехал от войны куда подальше?

Почему, чьей волей непрочные нити людских судеб сплетаются и расплетаются в полотне жизни? Кто превращает размеренное светлое житье в серый хаос войны и беспорядка? Стоял себе красивый белый южный город, жили в нем люди, дружили, влюблялись, в гости друг к другу ходили. Что же произошло? Почему так легко раскачалось в человеке звериное, почему с такой легкостью вчерашний милый добрый человек — душа компании — выплескивает в мир всю свою нетерпимость, зависть, жадность и злобу...

БУДНИ

(Военная комендатура в Аргуне)

В кубрике доктора Самкова чисто и уютно. Стеллажи с медикаментами, топчан, две железные кровати, в углу газовая печка. Меня привели к нему вечером «на подселение», и он спокойно указал мне на кровать:

— Спать будете здесь...

Утром в лазарет заскочил командир разведчиков Макс, похвастался доктору:

— Мы уже железа в свою комнату натаскали!

— Зачем?

— Заниматься. Повышать свою физическую немощь!

Доктор тоже озабочен натаскиванием в свой медкубрик всяческого «железа». Все, что может пригодиться в хозяйстве, тут же попадает в поле зрения доктора и приспосабливается под дело. Веревочка? Пойдет и веревочка. Полочка? Тем более пригодится. И «жилье» доктора в считанные дни стало самым уютным, чистым и приспособленным для жизни и для работы в комендатуре. Может, и поэтому тоже сюда любят забежать «на огонек» офицеры.

Однажды вечером доктор организовал для меня просмотр видеоматериалов, изъятых у боевиков. Удивительно, с какой скрупулезностью боевики фиксировали каждый теракт, каждую смерть.

Вот по экрану телевизора ползет российский БТР с бойцами на броне. Молодые веселые лица, мирный горный пейзаж... Взрыв — и люди, словно тряпичные куклы, разлетаются в разные стороны, а автоматные трассы, протянувшиеся откуда-то из-за спины снимающего, добивают уцелевших. Вот другой сюжет. Молодой пленный офицер. Лейтенантик. Крупным планом его лицо, лицо человека, предчувствующего смерть, но надеющегося на чудо. Боевики улыбаются, шутят, похлопывают пленного по плечам. Разговаривают между собой, вроде как советуются:

— Может, отпустим парня, смотри, какой молодой. Жена, наверное, молодая, ребёнок. Есть жена-ребёнок?

— Есть, — силится улыбнуться офицер, — он всё ещё надеется. Хотя нам, глядящим сейчас на экран, ясно, что с ним играют, как кошка с мышкой.

И чуда не произошло, звучат выстрелы, и человек падает. А оператор крупным планом показывает его паспорт...

— Я ведь тоже однажды чуть не погиб, — словно бы нехотя, под впечатлением увиденного, рассказал доктор. — Куда-то торопился и вдруг споткнулся буквально на ровном месте. Упал, и тут же сзади просвистело, и прямо передо мной пуля в землю! Если бы стоял, был бы убит...

По вечерам, выключив свет, мы с доктором слушали поселившегося за печкой сверчка. Гуденье огня, красные блики из приоткрытой дверцы, сверчок — просто мирная идиллия. Если бы не выстрелы за стеной и далекие взрывы.

Одним таким вечером доктор Самков сказал:

— Завтра пойдём в лазарет, познакомлю вас с боевиком...

Его звали Мовсар. Захватили раненым в боевой стычке. Одну пулю, попавшую в живот, доктор вытащил, а вторую еще предстояло удалить. Боевик лежал в лазарете комендатуры, он уже пришёл в себя, и мы пили с ним чай с карамельками и печеньем и тихо разговаривали.

— Ну, забрали-то меня насильно, дали пистолет Стечкина, и в первом же бою ранили.

— Все они так говорят, — проворчал контрактник, которого приставили стражем к раненому. — Мол, нигде не был, ни в чём не участвовал, не виноватая я... — пока мы разговаривали, контрактник чистил автомат. Одна из деталей очищалась с трудом и, заметив это, Мовсар, мимоходом повернувшись к нему, мимоходом сказал:

— Это надо не тряпочкой чистить, а песочком.

Тут же в лазарете повисла тишина. Каждый подумал: откуда же человек, не державший в руках оружия, знает такие тонкости?

Мовсар и сам понял, что «прокололся».

Про войну говорить не хотелось, и разговор зашёл о горском гостеприимстве. Мовсар оживился.

— Теперь всё не так. Если ты в Чечню приезжаешь, даже если в гости, за тобой сразу начинают смотреть. Если у солидного, уважаемого человека гостишь — тебе бояться нечего. Если у простого какого-нибудь — украдут. Могут потом продать, или заставить работать, или будут выкуп требовать у родственников, а если что — так и убить могут.

— А мулла — уважаемый человек, слушаются его?

— Конечно, уважаемый, обязательно слушаются...

— Ну, а вот если мулла скажет боевикам: бросайте оружие, живите мирно...

— Его убьют сразу. Такое мулла не должен говорить. Уже были случаи — убивали...

— Мовсар, если бы тебя раненого не федералы захватили, а свои унесли, где бы ты сейчас был?

— Скорее всего, в Панкиси, в Грузии. Я там уже был однажды, раненых сопровождал.

— И как же вы туда добирались?

— Просто, по дороге. Пограничникам заплатили и проехали. Если большая машина или автобус — сто долларов с человека, если легковушка — двести за всю машину. Автоматы-пулеметы мы с собой не везли, а вот гранату, пистолет или кинжал можно было с собой брать, нас не обыскивали...

— А грузинским пограничникам платили?

— Зачем? Они нас боятся. Там чеченцев больше, чем грузин, мы там хозяева...

— Мовсар, неужели ты всерьез веришь, что вы победите российскую армию?

— Вашу армию ваши же политики победят... А вообще-то, надоело все это... Если из этой истории выпутаюсь, уеду...

— Куда?

— К дяде, в Воронеж уеду, у него там свое дело...

...Три дня я мотался по окрестностям Грозного, ночевал где придётся, страшно устал и заработал бессонницу. Вернувшись под крыло Самкова, я не выдержал:

— Доктор, третью ночь заснуть не могу, выручайте...

Доктор оживился, поставил чайник, он явно рад тому, что я вновь развеял его одиночество. Под сип старого чайника он пошарил на полках и, найдя искомое, аккуратно ссыпает мне в ладонь пару таблеток из стеклянного пузырька и всё время говорит.

— Наши в Мескер ездили, «самовар» взорвали.

Мескер — это Мескер-Юрт, поселок на трассе Аргун — Шали, а «самовар» — подпольный минизавод по перегонке нефти в бензин. Этот паленый бензин продают на Кавказе по всем дорогам и рынкам с нагловато наивными надписями: «бензин из Волгограда» или «ростовский». Покупатели понимают, что бензин местный, продавцы понимают, что покупатели понимают, но все делают вид, что никто ничего не понимает — и милиция, и власти. Одни боятся, другие просто «имеют».

— Закладывают они заряд, Антон из разведроты рассказал, подходит к ним мужик, говорит, даю сто тысяч — и вы взрываете что-нибудь другое, а «самовар» не трогаете. Наши говорят, ну в шутку, поторговаться: «Мало». Он: «Сколько?» Наши: «Миллион». Он подумал и говорит: «Нет, дорого». А что ему, ему проще в другом месте новый «самовар» поставить. Там же нефть — в метре под поверхностью земли. Яму выкопай — наутро в ней нефть скопится... Они мне вчера принесли сувенир, — доктор бросил на стол красную «корочку», — удостоверение правительства Чеченской республики.

Я раскрыл удостоверение, прочитал: «Заместитель министра республики Чечня. Министерство здравоохранения».

— Главное — удостоверение настоящее, — доктор поднял вверх указательный палец, — но изъяли его у молодого парнишки, который на такую должность попасть никак не мог. Так при проверке и оказалось. Однако кто, как и когда выдал удостоверение молодому проходимцу, не выяснили. Да и не выяснят... О! А не желаете с рабами побеседовать? — вспоминает доктор. — Только что наши освободили, из-под Дуба-Юрта, что ли, доставили...

Дохлебав чай с пересушенным печеньем, мы вышли из медпункта.

— За один раз двенадцать человек освободили, — делился доктор по дороге. — Из небольшого, в общем-то, аула. Я бы вот этих правозащитников, которые за чеченов, сюда на экскурсию возил бы... Пусть бы посмотрели... Остальных уже отправили, а эти двое колонны или борта ожидают.

Они сидели на табуретках в «камбузе» и чистили картошку. Заросшие, прокалённые солнцем, с выпирающими скулами, в солдатских бушлатах и армейских же «берцах». Один постарше, лет пятидесяти, второй довольно молодой. Картофельная шелуха из-под их ножей медленным серпантином опускалась в один бак, а очищенная картофелина летела в другой — с прозрачной водой... «Рабы» — повторял я про себя, и так и эдак примеряя слово на этих небритых мужиков совершенно рязанского вида. Рабы... Слово легко вызывало ассоциацию с учебником по истории — за какой там класс? — с фильмом про Спартака, но никак не ложилось на этих доходяг...

Я включаю диктофон, и из динамика раздается глуховатый голос:

— Примерно двенадцать лет назад я приехал в Минводы на заработки, ну, на «шабашку». С бригадой. Потом бригада распалась, и я начал искать другую работу. Подошел ко мне мужчина, солидный, в галстуке. Говорит, мол, надо помочь построить дом тестю, зарплату хорошую пообещал. Я согласился. Привезли меня в село, стал я строить дом. А потом мне говорят, что еще один надо построить. Денег не дают, документы отобрали. А потом война началась. Я раз ушел, обратился в милицию, ну, меня прежнему хозяину и вернули. У хозяина две жены и четырнадцать детей. Все взрослые, все с высшим образованием, культурные. Сам хозяин — ветеринар. Korda я убежал, он меня хотел избить, но я ему пригрозил, что закопал у дома мины и снаряды, и если хоть пальцем тронет, взорву весь род к черту. В общем, меня не били. Но других били, голодом морили, перепродавали, убивали, бывало... Я как из рабства освободился. Остановилась колонна армейская, а чеченцев поблизости не было, я к офицеру подкрался и говорю, так, мол, и так, освобождайте. Он попросил подождать, поскольку сил было маловато и могло все кровопролитием кончиться. А недели через две — БТРы, вертолеты, автоматчики цепью по дворам, ну, и нас двенадцать человек освободили (вообще-то, по моим подсчетам, в селе двадцать пять наших было)... Теперь вот жду «борта» на большую землю. Родные-то меня уж, наверное, похоронили. Двенадцать лет, шутка ли...

Мне вдруг представляется ситуация совершенно в стиле индийской мелодрамы или дворовой песни «про сына прокурора». Меня похищают боевики, чтобы требовать выкупа, и вдруг выясняется, что отрядом бандитов, похитивших меня, является мой ненайденный родной отец. Что было бы дальше, я, как ни старался, представить себе не мог...

ИВА

(Железнодорожная ветка близ Ханкалы)

Поезд давно никуда не двигался. Он годами стоял на ржавых рельсах, которые прямой линией пересекали Пластилиновую долину. Пластилиновой долину в районе Ханкалы называли за глинистую тяжелую почву, после каждого дождя превращавшуюся в вязкое, липкое месиво. А когда стояла сухая жара, над долиной стояли клубы мелкой пыли. В плацкартных вагонах поезда устроили импровизированную гостиницу для журналистов. Утром по одному и группами они разъезжались по чеченским городкам и воинским частям, а к вечеру возвращались в свои вагоны на ночлег.

Едва солнце уходило за неровную цепь дальних холмов, по вагонам проходил комендант и проверял, плотно ли занавешены окна со стороны степи. Оттуда по ночам постреливали. В некоторых стеклах ветер насвистывал в аккуратные дырки пулевых отверстий и колыхал байковые одеяла, выполнявшие роль светомаскировки.

— За насыпь не ходите, — с неустанностью попугая то и дело повторял комендант, — там мины. Позавчера там коза подорвалась...

Каждый вечер в купе, где мы бытовали вдвоем с норвежским телевизионщиком Мортоном, приходила молоденькая чешская журналистка Ива и затевала разговор на «политические темы». А главной темой для нее была «Пражская весна».

— Русские — плёхо, — убеждала нас Ива. — Русским Европа никогда не простит подавления Праги, никогда! Русские и Чечню подавляют! Федералы — плёхо! Чечня борется за свободу, а русский солдат их погнетает!

— Угнетает, — флегматично поправлял ее Мортон.

Иногда к нам присоединялся пожилой полковник из военной многотиражки и военный обозреватель из еврейской иерусалимской газеты.

— Ну и как вы тут с чеченцами? — спрашивал еврей полковника.

— Да вот уж лет триста воюем, а вы как там со своими террористами?

— А мы пока лет пятьдесят...

— Вы не должны сочувствовать русским, — обижалась на еврея Ива. — Вы должны быть за свободу Чечни! Федералы плёхо себя ведут! Пригнетают чеченцев, убивают мирных жители!

— А чеченцы федералов шашлыком кормят? — подавал иногда голос и я. — Знаешь, сколько русских людей гниет сейчас в чеченских зинданах?

— Нисколько! — вскидывалась Ива. — Это пропаганда «Московского комсомольца», русские газеты врут! Пропаганда!

— Не наигралась еще, — ворчал потихоньку норвежец, — делит еще мир на хороших и плохих... Ничего, с возрастом это проходит...

— Не проходит! — упрямилась Ива. — Россия дикая страна, всем плёхо делает. И украинских патриотов Россия пригнетает!

— Угнетает... Я, кстати, не так давно работал на Западной Украине, — оживился норвежец, — послушал я речи местных националистов, послушал и сразу стал русский шовинист...

Мы пили коньяк, закусывали тушенкой и говорили, говорили, говорили свои «политические разговоры». Иногда в ночи раздавался взрыв, или выстрел, или длинная очередь. Мы на секунду смолкали, прислушиваясь, и снова выпивали, закусывали и разговаривали...

Незадолго до отъезда Иву взяли на «зачистку». Это, конечно, было против правил. Даже хуже, риск был слишком велик, но полковник отчего-то решил рискнуть. «Зачищали» аул по наводке «федерального чеченца». Предполагалось освободить трех-четырех рабов. В ауле в пятьдесят дворов из каменных сараев и земляных ям — зинданов — вызволили двадцать пять отощавших, завшивленных, заросших щетиной пленных. И старых, украденных еще до начала войны, и молодых, взятых в плен солдатиков. Среди освобожденных оказалось и три женщины. Битые, регулярно насилованные, в обносках, они затравленно жались к военным, до тех пор пока их не привезли в Ханкалу. Всю дорогу они плакали и рассказывали, рассказывали о том, что с ними произошло, как их обманом вывезли в Чечню, как продавали и перепродавали...

В тот вечер Ива к нам не пришла. Она лежала на второй полке своего купе и тихо плакала.

— Не надо ее трогать, — останавливал норвежец сердобольных коллег, — пусть поплачет, это полезно, у ней сердце открылось...

Солнце пробилось сквозь корявые ветви старого дерева и согрело мир. Совсем низко пророкотал вертолет, и с веток дерева с паническим писком брызнули в разные стороны воробьи.

— Пойдемте к Вахе, пивка купим! — позвал старлей-разведчик журналиста, дремавшего на солнышке возле штаба, главный вход которого украшал столб с подвешенной желтой латунной гильзой от снаряда. Старлей подошел и постучал ногтями по желтой поверхности, и она отозвалась едва слышимым звоном. Журналист потянулся и, поднимаясь, спросил:

— Кто этот Ваха?

— Торговец. Всякую мелочь военным людям продает — лимонад, пиво, зажигалки, сигареты, фотопленку, ну, все, что надо...

— Маркитант, значит.

— Кто-кто? — не понял не слишком начитанный старлей.

Они прошли КПП, пробрались через кирпичные завалы во дворе полуразрушенного дома и подошли к почти целому зданию, в нескольких квартирах которого явно кто-то обитал.

Дверь квартиры открыла жена Вахи — чеченка с черными живыми, но какими-то настороженно испуганными глазами. Увидев штатского, почему-то еще больше смутилась. Ее взрослый сын прямо в прихожей начал доставать товар — бутылки с водой, печенье, шоколад, сигареты. Пока он выставлял все это на стол, журналист по привычке быстро и незаметно оглядел жилище — обычная обстановка обычной квартиры. Но запах беспокойства вмешивался в привычные жилые запахи и, казалось, исходил от самого дыхания жильцов. Или это чудилось, из-за того что понятно было — спокойной эта семья просто не может быть?..

Ваха показался в коридорчике всего один раз. Пристально посмотрел на пришедших, кивнул головой, что-то сказал жене по-чеченски и скрылся в глубине квартиры.

— Вот уйдет завтра отсюда бригада — и послезавтра семью Вахи вырежут! — убежденно сказал старлей, выходя из изуродованного подъезда. И, помолчав, добавил:

— А может, медаль ваххабитскую дадут!

— Почему это?

— А может, он не просто так рядом с разведчиками ошивается. Он же знает, что за сотрудничество с «федералами» духи целые семьи вырезают, а все равно не уезжает, торгует. Понимаете, ошибается человек, который решил, что в войне он третья сторона, тут сразу оказываешься между молотом и наковальней...

Старлей прямо от КПП убежал в казарму, а журналист вновь примостился на скамеечке перед штабом и достал блокнот...

Этот Ваха и его семья так напоминали всех тех, кого я видел в последние дни, тех, кто пытался не замечать войны. Кто не хотел участвовать в этой непонятной, кровавой и мало кому действительно нужной междоусобице. Как тот несчастный начальник милиции в Аргуне, которого в дудаевские времена держал в сыром зиндане нынешний мэр города, ставленник Кадырова. «Я был за Россию, — говорил он, — и за это меня преследовали. Теперь те, кто преследовал — официальная власть. А когда Аргун обстреливали, дочка говорила: папа, если твои русские хорошие, почему же они в нас стреляют?..»

Подлое время для чеченцев, не захотевших стрелять в своих бывших соседей. Им не доверяют русские, их ненавидят боевики, а они живут, старательно ожидая мира, живут назло судьбе между молотом и наковальней... Между жизнью и смертью. Между смертью и смертью...

ТЕРАКТ

(Время мусульманского поста. Окраина Урус-Мартана)

Ночь. Печальная луна сквозь черные ветви раскидистого дерева внимательно смотрела на двоих, скорчившихся в небольшом овражке на куче валежника. Они пробрались на окраину поселка еще засветло и теперь дожидались, когда совсем стемнеет и погаснут огни в ближайших домах.

Пожилой был одет пестро, но тепло и добротно, на втором — молодом еще совсем пареньке — новенькая камуфляжная форма, черная вязаная шапочка с зеленой полосой, высокие армейские ботинки. Он то и дело с нескрываемым удовольствием трогал портупею, скашивал карие глаза на большой армейский нож в серых пластиковых ножнах, на ребристый отблеск гранат на поясе.

Бородатый, мерно покачиваясь, говорил:

— Все из-за того, что забыли обычаи предков. Из-за того, что забыли Аллаха, жениться и замуж за русских выходить стали, перестали уважать старых... Вот сейчас — пост, а что ты делаешь, кушаешь днем, пиво пил! Называют себя правоверными, а сами сало едят, тьфу!..

— Дядя Арби, разве дело в посте...

— Молчи и слушай. Пост для правоверного — свят. Нет поста — нет веры! Пост — долг, пост — твое благочестие. Во время поста ни есть, ни пить, ни курить, ни к женщине подходить нельзя.

— Дядя Арби, так ведь война же, до поста ли. Поесть бы сытно. Да в живых остаться. Да в руки федералов не попасть...

— Молчи и слушай. Именно в военное время и необходим пост. Именно сейчас и надо поститься. Все время, чтобы тело не мешало духу.

— Что же Аллах не помогает нам. Сколько лет русских прогнать не можем.

— Молчи и слушай. Богохульствуем, лжем, за деньгами гоняемся! Один раз соврал — и словно не постился...

Пожилой замолчал и обернулся на огни поселка. Там залаяли собаки, натужно загудел невидимый двигатель, по домам, заборам и деревьям пролетел свет фар.

— Коробочка пошла, — совсем другим тоном пробормотал бородатый. — Куда бы это в ночь, спецоперация, что ли?

— Это не коробочка, — возразил молодой, — это восьмиколесный. А правда, что позавчера Ахмет в Аргуне восьмиколесный в ромашку превратил?

— Правда. Два двухсотых и семь трехсотых. Ну и у Ахмета один убыл в санаторий.

— Один трехсотый — это ничего.

— Да...

Заметно похолодало. Огни в поселке гасли один за другим, стих лай, и на округу опустилась полночная тишина. На синем снегу четко чернели тени, пар от дыхания уходил в темноту невесомыми облачками. Тот, что моложе, завозился на валежнике и спросил:

— Дядя Арби, а ведь в пост и оружие нельзя в руки брать, а мы на задании. Сейчас убивать будем...

— Неверные не люди. Аллах их не знает... Пора.

Они поднялись, младший поправил на спине тяжелый, по-видимому, рюкзак. Они выбрались из овражка и, держась теней деревьев, направились в сторону поселка. Через минуту скрип снега затих, и силуэты ушедших полностью слились с чернотой перелеска. Ночная птица вскрикнула где-то в переплетении ветвей, луна посветлела и поднялась выше на небосводе, и сонная тишина вновь запеленала землю.

Минут через двадцать в поселке ярко полыхнуло, и на мгновенье синий снег стал белым, а потом разом стало еще темней. Через секунду донесся звук оглушительного взрыва, и почти сразу раздался стрекот пулемета, к которому присоединилось более тонкое, похожее на звук швейной машинки, стрекотанье автоматов...

Луна
ликом безучастного Будды,
ликом страдающего Христа,
ликом печального Аллаха
смотрела сквозь редкие облака на эту сумасшедшую землю, где только что одни люди погубили других людей...

Панорама разбитого завода на окраине Грозного. Бесснежная чеченская зима. Армейские палатки среди развалин, бронетехника, большие темные кирпичные корпуса, заложенные мешками с песком окна. Камера наплывает на один из корпусов. В кадре темная, закопченная комната. В ней четыре железные кровати. В углу гудит газовым пламенем черная железная печка, посреди комнаты стол. На столе водка, закуска, вокруг стола четверо — трое военных и журналист в толстом черном свитере. В комнате тепло, но журналист никак не может согреться после многочасовой езды на ледяной броне БТРа.

Журналист пишет, а веселый краснощекий майор диктует:

— «Гуманоид» — офицер по работе с личным составом, ну, по-прежнему — замполит.

Военные — еще один майор и полковник — захихикали.

— «Фэйсы», — продолжал диктовать майор, — это сотрудники ФСБ. «Финик» — финансист. «Коробочка» — танк. «Самовар» — левый, то есть незаконный нефтеперегонный заводик.

— Кстати! — перебил майора полковник. — Мы вчера один такой рванули недалеко здесь. Так когда мы заряд закладывали, подъезжает к нам мужичок — чеченец. Говорит, мол, сколько хотите, чтоб не взрывать. Я говорю: сто тысяч долларов. Он подумал и говорит: не-ет, ребята, говорит, проще новый построить. Хотите двадцать тысяч?..

— Дальше: «шайтан-труба» — это гранатомет. «Санаторий» — госпиталь. «Карандаш» — солдат...

— Пушечное мясо они, а не карандаши, — вновь вмешался полковник. И, помолчав, добавил: — Они, солдатики, мясо и кровь армии. А мы, офицеры, ее мозг.

— Мозг армии, — не согласился второй, до этого молчавший майор, — главнокомандующий, а генералы — мозжечок...

— А офицеры? — недовольно, но с показной иронией спросил полковник.

— А офицеры — рефлексы армии. Все — от старлея до полковника — нервная система.

— Ну, тогда я знаю, кто в этом организме прапорщики, — встрял в систематизацию первый майор.

— Поручик Ржевский — молчать! — крикнул полковник, и снова все засмеялись...

Когда водка была допита, второй майор ушел, предупредив, чтоб его не ждали.

Журналист и оставшийся майор легли — журналист листал в постели дневник, майор шелестел газетой. Полковник долго ходил по комнате.

— Маловато мы, ребята, отметили! — наконец сказал он. — Может, у кого еще есть?

— Не осталось, товарищ полковник, — отозвался майор, журналист промолчал.

Полковник был здесь чужим, присланным из центральной комендатуры надзирать за законностью обращения с задержанными, его недолюбливали, и он это чувствовал. Он походил еще немного по комнате, повздыхал и, наконец, вышел...

Полковник вернулся поздно ночью. Тяжело шагая, отфыркиваясь и спотыкаясь о каждую ступеньку, он добрался до комнаты. Не включая света, едва видимый в отблесках красного огня из печурки, разделся и грузно свалился в кровать. Кровать недовольно заскрипела, и начавший было засыпать журналист с ужасом увидел, как полковник достал из-за кровати свой автомат, вставил рожок и передернул затвор. Майор на соседней кровати затаил дыхание.

— А то мало ли что, — невнятно пробормотал полковник и, положив автомат на

пол, снова повалился в постель. Через минуту он уже храпел. Журналист увидел, как майор осторожно выскользнул из кровати, подобрался к койке полковника и аккуратно поднял автомат. Отсоединив рожок, он выбросил патрон из ствола и положил автомат на место...

Заметив, что журналист не спит, тихо сказал:

— Вот так почти каждую ночь. Дошел до того, что ходит по солдатским палаткам и клянчит выпить. Офицеры уж с ним стараются не кушать вместе...

Он хотел еще сказать, что такие вот, мол, позорят армию и офицерство, что таких гнать надо, что от них ничего, кроме вреда и разложения, но как-то почувствовал, что ничего говорить не надо, что журналист и сам все это понимает и чувствует.

Сон ушел, и журналист долго лежал с открытыми глазами, вспоминая и переживая все, что видел и слышал за последние дни.

ГУМАНОИД

Офицера по работе с личным составом за глаза звали Гуманоидом. И почему-то недолюбливали. Может быть, потому, что считали его должность бесполезной, а может быть, просто характер у человека был нехороший. Не знаю.

Гуманоид увидел меня вечером в офицерской комнате, которую по-моряцки называли кают-компанией, и подошёл.

— Вы ведь утром с нашими в инженерку на Джалку ходили? — спросил он.

— Ходил.

— И как?

— Да ничего, тихо...

— Вот, посмотрите сообщение, — и протянул листок.

Листочек, распечатанный на полусдохшем принтере, гласил: *«На автотрассе Аргун — Гудермес в районе пос. Джалка саперы инженерной разведки Шумиловской бригады и комендатуры Аргуна обнаружили взрывное устройство, закрепленное на дереве. Обнаруженное устройство уничтожено — расстреляно из автоматов с безопасного расстояния». Под одним сообщением второе: «На подходе к Джалке обнаружен самодельный фугас, выполненный из шести подствольных гранат ВОГ-25, замаскированный на придорожной обочине. Фугас уничтожен на месте накладным зарядом взрывчатки».*

— Это вот он к чему? — спросил, ни к кому не обращаясь, командир разведчиков Володя, когда Гуманоид вышел. — Показать, что мы прошляпили, что ли? Сам-то хоть бы раз в инженерку сходил...

— Да нет, — возразил кто-то, — это он намекал, что штатских с собой в разведку брать не нужно. Риск, мол...

— Кто бы его спросил, — пробурчал Володя.

Мы принялись пить чай с пряниками, а когда Гуманоид снова заглянул в кают-компанию, предложили и ему...

Уже в полусне мне привиделось только что взорванное здание мэрии, машины скорой помощи и МЧС, носилки с убитыми и ранеными. Толпа вокруг оцепления бурлила и шумела, плакала чеченка в черном платке, бледные бойцы оцепления напряженно вглядывались в бородатые лица, мелькавшие в толпе среди женских лиц. И показалось, что мелькнуло в толпе полузабытое, а может, просто придуманное детской памятью лицо отца с фотокарточки. «А ведь я наполовину чеченец, — неожиданно признался я сам себе. — Выходит, русский во мне победил чеченца... А если бы я жил с отцом?..»

РУСИК

Утром корреспондент «Русского вестника» Степан Соболев вышел из казармы на плац и почувствовал легкое свежее дуновение со стороны гор. Неужто с дальней снежной гряды натянет облаков и прольется наконец-то дождь? У комендатуры в кружок стояли разведчики. Бритый затылок Макса весело поблескивал на солнце. В ногах у ребят круглился мяч. Степан удивился: в футбол? С утра? Побрел через пыльный плац к ним, узнать, когда ожидается вертушка. Уже подходя, почувствовал: что-то произошло. Даже на вечно невозмутимом Максе лица не было. Чуть не спросил, что случилось, но вовремя опустил взгляд на мяч. Его сразу прошиб пот: из асфальта плаца торчала голова! Вид такой, словно человек закопан в землю. Да только плац — асфальтовый, не закопаешь. Тут только дошло — голова отрезана. Степан сделал полукруг и увидел лицо — это был Русик. Русик смотрел на стоящих вокруг него широко открытыми удивленными глазами. Он смотрел и словно бы спрашивал: неужели такое могло случиться со мной?!..

* * *

Полковник уехал в Моздок, и Степан упросился с ребятами в инженерную разведку. Стояла страшная жара, но на инженерную разведку все ходили в полной экипировке и в бронниках. Что такое пройти несколько десятков километров по пыльной горной дороге за БТРом под палящим солнцем — это не объяснить, это надо почувствовать. Журналисту ещё хорошо, у него под бронником была только легкая рубашка с коротким рукавом — ни разгрузки с гранатами-патронами, ни аптечки, ни НЗ, ни автомата. Да и пешком он шёл только по поселку, а потом Макс его брал на броню БТРа. Но даже смотреть на бредущий в знойном пыльном мареве отряд было тошно. И только Русику все нипочем. Поджарый, неутомимый и подвижный, как ртуть, он, дай ему волю, пробежал бы весь маршрут вдвое быстрее всего отряда.

Буквально с первых часов знакомства Степан невольно постоянно их сравнивал. Макс и званием постарше, и покрупнее, явно сильнее и крепче. Русик — легкий, сухой, нервно подвижный, на вид хилый. Однако как раз именно он отчего-то казался опасным. «Как бритва» — как-то сразу сложилось в голове определение. Из-за имени Степан поначалу решил было, что Русик татарин или кавказец, тем более что и внешностью он был явно не рязанский парень, но оказалось — русский, и даже крещеный, и даже крестик не снимая носил под тельняшкой. А имя — на имени, как оказалось, настояла бабушка-интеллигентка, большая любительница Пушкина. Хорошо еще, не Рогдай — пошучивал Русик.

Как человек штатский корреспондент Соболев всегда думал, что на БТРе ехать комфортнее, чем на БМПшке, ну — тут резиновые дутые колеса, а там железные гусеницы. Как сказал, услышав его некомпетентное мнение, Макс — отнюдь. Еще по ровной дороге и на небольшой скорости — туда-сюда, а по разбитому пути и на скорости — не приведи Бог, всю душу вытряхнет... Впрочем, инженерная разведка дело нескорое. БТР ползет не шибко быстро, саперы со щупами и миноискателями должны обшарить все обочины, кинолог с собакой проверить все подозрительное. Закладка может оказаться и в дренажной трубе, и в небрежно брошенной автопокрышке, и в безобидной, на первый взгляд, коробке из-под телевизора...

И вот что странно, едешь по Грозному и думаешь: какое гиблое место, кругом скелеты домов, и из-за каждого в любую секунду может ахнуть выстрел, и ты грохнешься о пыльную землю, перестав существовать. А выберешься за пригород на равнину — снова неладно, торчишь, как три тополя на Плющихе, видно тебя со всех сторон, словно голого. Из любого овражка хоть за полкилометра тебя снайпер может — щелк! И все... Едешь на броне — боишься стрелка, едешь внутри — броня вроде! — так думаешь про гранатометчика или фугас... Ну, ладно журналист недельку побудет, адреналинчику хлебнёт от городского сплина и отбыл, а ребятишкам вот этим, что, растрюхав сухие от жара губы, бредут за БТРом, им полгода, изо дня в день...

Как все-таки это странно: огромная страна живет себе обычной мирной жизнью, люди нервничают в пробках в больших городах, доят коров и копаются на огородах в полупустых деревнях, смотрят на пролетающие поезда в пристанционных поселках, торгуют, пишут диссертации, добывают нефть, ловят рыбу и скучают в офисах, ходят в кино, в гости, жарят на даче шашлыки, вечерами смотрят сериалы, пьют водку, ругаются и любят друг друга, а тут — война. Застыло в самом зените сухое чеченское солнце, ползет над холмами жидкий черный дым от нефтяной вышки, редкие порывы ветра скрипят жестью разбитой крыши развалин придорожного дома, время сгущается и оглушает напряженной тишиной ожидания. Ничего не случается, но может. Может. Может случиться. Конечно, и в каком-нибудь Козельске люди умирают. В том числе и неестественной, преждевременной смертью. И все же это какая-то другая смерть...

Русик ничего странного в этой войне не видел. Ну, еще одно проявление человеческой сущности («сучности», как он говорил). Человеку одинаково естественно любить ближнего своего и ненавидеть. Жизнь такова, какова она есть. И все! Русику даже нравилась война, тут всё на виду — и трусость, и храбрость, и ум, и хитрость, и подлость, и широта души... Уж лучше, чем в колхозе корячиться на разваливающемся тракторе за гроши или быть бесправной шестеркой с незаконной «пушкой» у какого крутого держателя кучки ларьков в Урюпинске. Если ты человек — в армии не пропадешь. А что дальше? А что об этом думать? Что будет, то и будет...

В тот день маршрут дался как-то особенно тяжко. Виной ли тому был уже несколько дней сухой тяжестью наливающийся зной или сразу несколько взрывов, прогремевших в последние дни, — неведомо, но когда отряд подтянулся к ВОПу, все тут же молча расселись кто где — вдоль бруствера, на скамейке у землянки, на броне

БТРа. Солдатик выволок из землянки бачок с прохладным компотом, и все принялись жадно пить. Пили до тех пор, пока в животах не забулькало. Ясно было, что все это через полчаса на обратном пути выйдет обильным потом, но все равно пили. И Макс не стал делать замечания.

ВОП — взводный опорный пункт, небольшая «земляная» крепость на склоне горы у шоссе. На шоссе милицейский блокпост, а бойцы опорного пункта прикрывают его. Здесь все утоплено в землю: ходы сообщения, палатки, блиндажи, станковый гранатомет и даже баня, и столовая, и «качалка» с самодельными штангами и гантелями. Бойцам здесь жить, конечно, тревожнее, с одной стороны, но с другой — проще, все свои, всё своё, подальше от придирчивого начальства.

Степан забрался в тенек блиндажа, присел на патронный ящик у амбразуры. Отсюда хорошо просматривался и Грозный, и пригород, и степные склоны предгорий с чадящими черным дымом нефтяными вышками, и пустые пыльные проселки, бессмысленной паутиной опутавшие окрестности.

— Стреляют редко, боятся. Блокпост иногда ночью обстреливают. Весной одного убили. Но, в общем, не так, как раньше... — совсем молоденький солдат-срочник со снайперской винтовкой в руках, словно на занятиях, старательно отвечал на вопросы корреспондента, не забывая оглядывать окрестности.

Уже когда отряд уходил с ВОПа, один из солдатиков окликнул Русика:

— Русик, забрал бы ты от нас Борьку, лает всю ночь, и так на нервах, так еще и не выспаться! Да и крыс еще дохлых везде напихает... Забери его в Грозный, там, может, к кому прибьется.

— А зачем заводили, если не нужен? О чем думали, разве не знаете, что мы в ответе за тех, кого приручили, бездари окопные?

— Да кто ж его заводил, он сам из поселка прибег, там жителей никого не осталось, вот он и приблудился к нам. Надоел хуже редьки, мы прогоняем, а он не идет...

— Так он у вас чеченский засланец? Шпионит тут?

— Ну, вроде того...

Русик присел на корточки, позвал: «Борька, Борька».

Пес в надежде на нежданный кусок, виляя хвостом, подбежал. Русик приобнял его за шею, плавно вынул откуда-то нож, сделал резкое движение и, быстро поднявшись, отшагнул, а Борька с бьющей из горла струей крови повалился в пыль, захрипел, заскреб лапами. Кровь впиталась в пыль и моментально почернела.

Все молчали. Когда пес вытянулся и затих, Русик поднял с бруствера какую-то ветошку и вытер нож.

— Ну, что, — как ни в чем не бывало, сказал он, — чего стоим, кого ждем? — и тронулся к БТРу.

Уже на подходе к пригороду сказал несколько ошарашенному Степану:

— Это я не по злобе. Это самый простой способ решения проблемы...

Ночью все сидели на «офицерской половине» и пили коньяк из странных металлических стаканчиков.

— Это колпачки от мин, — заметив, как Степан разглядывает «посуду», сказал Русик. И пообещал: — У меня есть штук шесть, я вам подарю... Фронтовой сервиз...

Снаружи густела южная непроглядная темень. Окна занавешены «от снайперов», и вентилятор гонял по комнате теплый, тяжелый воздух, создавая видимость прохлады.

У дверей, вздыхая и шаркая сапогами, маялся часовой.

— Хорош вздыхать! — прикрикнул на него Макс. — Сменяться будешь, налью рюмашку, — и, оборачиваясь к Степану, — вот читайте, — выложил из папки листовки боевиков, расценки за убитых «федералов»: рядовой — два барана, полковник — десять, фугас поставить — сто долларов, БТР подбить — пятьсот... Что такое сто долларов в Грозном, где нет работы и не на что существовать? Любой чеченский подросток возьмет мину и или подорвет русского солдата, или подорвется сам... А это на память, — Максим выложил на стол тяжелый кусок рубчатого металла — осколок от фугаса. — Этот ничью жизнь не прервал... А вот с помощью этой штуки, — чёрный футляр от аудиокассеты, начиненный электроникой, — как раз такие фугасы и взрывают. Вот тут замыкается цепь, и... Насмотрелся я на подорвавшихся.

Максим щелкнул крошечным тумблером, и прибор принялся тикать и мигать миниатюрным датчиком.

Разговор за столом гудит сразу во всех направлениях, и чем меньше в бутылках жидкости, тем громче слова и жестче темы. Кто-то вдруг вспомнил, как Русик выследил и поймал снайпершу.

— Русик, ты правда ее трахнул?

— Правда. Красивая была. Была бы уродиной, я ее там же и оставил бы. С дыркой в голове.

Снайперов ненавидят все. Примерно так же, как боевики ненавидят контрактников и лётчиков.

— Мы иногда выходим на радиочастоты боевиков, а они иногда на наши частоты, — вклинился в разговор уже сонный, обычно молчаливый радист. — Вот на днях вышла на нашу частоту женщина, по говору хохлушка, и говорит, мол, Ваня, готовься, я на тебе скоро доллары заработаю! Но и она, сука, знает, что живой ей в плен лучше не попадаться...

Почему-то женщин-снайперш ненавидят особой ненавистью. Видно, из-за того, что обидно здоровому, сильному мужику умереть от пули слабой бабы, к тому же стреляющей в тебя из ниоткуда и в любой момент. Да еще и стреляющей в тебя, словно в мишень в тире — за долларовый приз...

— Они ведь почему в снайперши идут, — втолковывал Степану радист. — Они всю жизнь в спорте, в стрелковом там или в биатлоне. И все время на пятых да на десятых местах, а годы идут, а профессии нет, а гордость заедает, да и к жизни вольной привычка. А тут деньги, большие деньги. Ну и ломаются. Русские даже встречаются. По убеждению-то мало, в основном из-за денег, профессионалки...

Ночью пошел-таки дождь. Казалось бы, под стук капель о стекло, под шелест мокрой листвы за окном, в наступившей наконец прохладе спаться должно было бы особенно уютно. Но — не спалось. Вертелся в черном космосе мозга хоровод непрошеных мыслей — ни о чем и обо всем разом. Отчего-то не шла из головы история со снайпершей. Представлялось, как все это было. Пыльная, с запахом пороха комната в разрушенной многоэтажке, переломанная ударом тяжелого ботинка винтовка с оптическим прицелом, грязный полосатый матрас в углу, худой полуголый Русик, испуганные глаза женщины, ожидающей смерти, прерывистое дыхание и крестик, мерно качающийся над ней...

Потом в который раз серыми змеями поползли из дальних закоулков души старые вопросы. Вопросы, ответа на которые никогда не найти. Зачем война? Зачем жизнь? Зачем ты приехал сюда? Что изменится в мире от того, что ты малоизвестный миру Степан Соболев из не так чтобы уж очень читаемого «Русского вестника» две недели проведёшь среди этих ребят, под этим чужим солнцем? Кто тебе — Макс, Русик и другие? Кто ты им? Штатский дядька, приехавший на войну то ли за славой, то ли за деньгами, то ли из-за наивной романтики городского интеллигента? И хотя они довольно быстро приняли Степана как своего, он понимал — между ними невидимая стенка. Он здесь — но не с ними...

Отчего-то захотелось посмотреть на крестик. Степан вытянул его за черный шнурок, поднял к глазам. Поблескивая в лунном отсвете неплотной светомаскировки, алюминиевый Сын Божий раскинул руки на кипарисовой перекладине, и Степан смотрел на него, а он, может быть, смотрел на Степана. Почему же он, Степан, ничего не чувствовал этого? Почему не приходят к нему долгожданные ответы? Зачем брошен он куском мыслящего мяса в этот дикий круговорот человеческой глупости, тупости и злобы? И зачем?..

Утром в дверь просунулся Русик с трехлитровой банкой прохладного компота:

— Вас полковник просит подойти. Вернулся из Моздока... Вот попейте... После вчерашнего...

В Моздок Степан с Русиком должны были лететь вместе, но накануне из Ханкалы в часть на зеленом бронированном УАЗике приехал «финик» — капитан-финансист, привез ведомости, какие-то документы, и вечером Русик отпросился с ним в Ханкалу, чтобы в Моздок добираться уже оттуда.

— У меня там кореш, сто лет не виделись! — канючил он у Макса, и тот, в конце концов, сдался. Отпустил:

— Только не пить у меня, не пить! Хотя бы не до свинского визгу...

— Не увидимся, наверное, уже, — Русик приобнял Степана на чеченский манер — плечо к плечу — и, сунув в руки сверток с обещанными «стаканчиками», прыгнул в УАЗик. — Газетку со своими очерками пришлите обязательно!

УАЗик стрельнул синим выхлопом и сорвался, попылил по проселку в сторону Ханкалы.

— И чего он с «фиником» сорвался, — недовольно пробурчал вдогонку Макс, — утром вертушка, полетел бы, как белый человек, и без лишнего риска...

* * *

Русик смотрел широко открытыми удивленными глазами. Степан почувствовал, что немного сошел с ума. Что все они, пожалуй, немного сошли с ума. Да что там, вся

земля слегка тронулась. Отчего-то на память пришло древнее азиатское поверье: если у верблюда в глазах человек отражается по пояс, значит, верблюд молодой, если во весь рост — старый верблюд. В глазах у Русика они отражались всей группой, хотя Русику не было еще и тридцати. Он смотрел и словно бы спрашивал: неужели такое могло случиться со мной?!..

Из комендатуры в сопровождении коменданта вышел боец с полиэтиленовым пакетом. Он нагнулся над головой и застыл. Все поняли, что он никак не может решить, как положить голову в пакет. Взять за волосы? Он положил пакет на плац и, видимо, хотел вкатить голову в пакет, но представил себе это и снова застыл. Наконец, словно очнувшись, Макс присел на корточки, аккуратно приподнял голову ладонями и осторожно опустил ее в пакет. Комендант с солдатом ушли, а остальные постояли немного, тупо глядя на темное пятно на асфальте, и побрели к казарме.

— Ночью подбросили, почему-то к мечети, — ни к кому конкретно не обращаясь, сказал Макс.

Часа через два над казармой затарахтела вертушка, следующим утром в Моздоке корреспонденту «Русского вестника» Степану Соболеву повезло попасть на случайный борт, и в тот же день он уже шагал по беспечно-деловой Москве. В переходе метро взгляд его зацепил наклеенный в спешке плакатик СПС: «Вместе остановим войну!» Плакатик этот, как ни странно, не вызвал у Степана совершенно никаких эмоций. В голове его было пусто. Совершенно пусто...

Колонну обстреляли на полпути между Ханкалой и Аргуном. Ехали быстро, и когда на обочине неожиданно взорвался фугас, почти все соколки просвистели уже за кузовом. На «Урал» тут же полились автоматные очереди. Сыпался песок из пробитых мешков, летела щепа от деревянных бортов машины, с треском рвался брезент, с дребезгом разлетелось зеркало заднего вида. Все бросились на дно кузова. Откуда бьют — непонятно, кажется, из зарослей вдоль недальнего оврага. По броне шедшего следом БТРа гулко бумкнула гаранта из «подствольника», но, видимо, без ущерба для машины и экипажа, поскольку БТР, наконец, ответил огнём пулемёта. А через минуту низко над дорогой пронёсся вертолёт, стреляя по зарослям и оврагу.

И вдруг всё стихло. Вертолёт кружил над оврагом. Все молча поднялись с пола кузова. Водитель проверил двигатель, тормоза, всё оказалось целым, и через минуту колонна тронулась дальше. В Аргуне возбуждённый прапорщик всё время повторял:

— Ни одного двухсотого, представляешь? Ни одного двухсотого! И даже не ранило никого!

МАКС

О том, что в кубрике по работе с личным составом связисты установили спутниковую связь, Макс узнал самым последним. Вернувшись из техразведки, он не пошел вместе со всеми в баньку, а просто завалился с книжкой в койку — вот и пропустил важную весть. И вот теперь он стоял крайним в очереди к тщедушному связисту-срочнику, а стрелка глуповатых в военном помещении ходиков с гирьками-шишками неумолимо отсекала последние часы вечера 31 декабря, с аппетитом съедая время, в которое можно еще дозвониться до родных. Все курили, все слегка нервничали, связь то и дело «падала», на везунчика, быстро дозвонившегося до родной квартиры, смотрели со странной смесью сочувствия и нетерпения — ну все-все, закругляйся... В трубку все орали одни и те же слова с одними и теми же интонациями, оно и понятно — Новый год. Правда, когда один из совсем молоденьких контрактников, засуетившись, пожелал собственной жене «счастья в семейной и личной жизни», все с удовольствием поржали.

Гуманоид — подполковник, зам командира по работе с личным составом, проходя мимо, дружески похлопал Макса по плечу, фальшиво посочувствовав:

— Похоже, не успеете, товарищ капитан. Без десяти «ноль-ноль» отключаемся. Строжайше... Но, может, еще повезет.

Макс тайно недолюбливал Гуманоида, после того как тот раздул дело о растяжке, которую по собственной инициативе полез снимать Максов новичок-срочник на первой же своей инженерке. Макс, конечно, недосмотрел, но ведь и парень отделался легкой контузией и мелкой сечкой на лице и руках; основной заряд осколков принял на себя и выдержал броник, который за полчаса до этого Макс буквально силком заставил надеть солдатика...

Гирька ходиков опускалась все ниже к полу, и вместе с ней опускалось настроение в хвосте очереди.

Макс дозвониться не сумел, выпил из «стаканчика» от мины спирта, предложенного Гуманоидом, и пошел в расположение. Вот-вот ребята поднимут стаканы с водкой и коньяком, закусят, потом выйдут на защищенный бруствером пятачок расположения

и начнут шмалять из автоматов и ракетниц в сырое чеченское небо с криво повисшим узким серпом луны. Но Макса охватила грусть, и он не торопился, бредя потихоньку вдоль укрытий, привычно стараясь держаться в тени.

В лунном просвете между бетонным забором и БТРом его и засек чеченский снайпер. Раздался выстрел, и Макс упал. Тут же со всех сторон раздалась и новогодняя канонада. Особенно усердствовали уральские милиционеры, стосковавшиеся на полубумажной работе в окрестных комендатурах. Макс полежал на холодном бетоне, решил, что снайпер засел на втором этаже школы, что темнела метрах в пятистах. Подумал, что надо бы по-быстренькому зачистить ее, и сам себе возразил — поздно. Чеченца, а может, и не чеченца, может быть, белокурой прибалтийской бывшей биатлонистки уже давно нет в пустой школе. Потом ползком пробрался в тень БТРА и, пригнувшись, добежал до расположения.

Он еще успел к третьему тосту, пострелял вместе со всеми в чужой, совсем не новогодний, пахнущий акацией космос, поорал в эту глухую тьму «ура», пообнимался с тельняшечными распаренными и сентиментальными корешами.

Уснул Макс счастливым и всю ночь разговаривал с женой по телефону. Утром он вышел на плац, нашел след от снайперской пули на бетонном блоке, но так и не понял, отчего снайпер промахнулся...

В таких местах поневоле начинаешь думать: что такое судьба. Слепой случай? Предопределённость? Результат неведомых обстоятельств, случаем сведённых в одну точку в одно время? Чего только тут не наслушаешься по этому поводу. Потом полистаешь блокнот и наткнёшься на чей-то рассказ, записанный на коленке в минуту ожидания попутной колонны ли, бронепоезда или вертолёта:

«Довелось мне как-то во вторую чеченскую отправиться в Аргун — вместе с приятелем, который вез гуманитарный груз. Летели транспортным бортом из Нижнего, а в Моздоке нас уже ждал вертолет. И вот вместо полета по прямой самолет начал залетать то в Москву, то в Ростов-на-Дону, и мы с приятелем начали нервничать: опоздаем на вертолет. А это значит, что придется пилить в Аргун либо бронепоездом, либо, что еще хуже, автоколонной.

Мне-то еще ничего: весь груз фотоаппарат, да диктофон, да минимум личных вещей, а у спутника моего груз. Летим, смотрим на облака и нервничаем: опоздаем — не опоздаем?

Опоздали. Сидим в Моздоке на взлетке в окружении коробок и ящиков, думаем с тоской, что придется здесь заночевать. И вдруг — суета, беготня, нас зовут на перрон (место взлета вертолета); появилась возможность улететь на попутной вертушке. Какая-то комиссия срочно вылетает в Аргун.

Мы обрадовались, быстренько погрузились и только тут в полете из разговора с офицерами узнали, что летят они на ЧП. Вертолет, который нас не дождался, упал и разбился на подлете к Аргуну... У останков того вертолета мы с приятелем молча постояли, сфотографировались, поневоле думая, «а что было бы...»

На обратном пути лететь нам пришлось ночью и в отвратительных метеоусловиях. Приятель, хватаясь за пулеметную турель, клацая зубами, сказал мне в середине полета:

— Даю зарок: если благополучно долетим — брошу курить!

Но выполнить зарок не смог, не бросил курево. Поэтому, когда мы с ним в очередной раз добирались до Грозного и оказалось, что вертолета не будет, а ехать придется на бронепоезде, приятель мой очень, очень радовался...»

МАЛЬЧИК

(Юго-восточная окраина Грозного)

Что это? Нужно проснуться, просто нужно проснуться. Какая невыносимая темнота. И тишина. Словно тебя закопали глубоко в землю. Как давит... Что это? Просто нужно проснуться, и всё кончится...

...Они встретились на обычном месте. Со скамейки возле полуразрушенного дома и поваленного забора хорошо просматривались и глухой проулок, и редкие в последних осенних листьях заброшенные сады, и сквозь них — дальние улицы.

Бородатый был спокоен, но всё же время от времени вытягивал шею и, как гриф, которого мальчик видел по телевизору, быстро осматривался.

— Короче, смотри, говорил он, приоткрыв довольно поношенную спортивную сумку, тут немного по-другому, чем в прошлые разы. Запоминай, вот провода. Вот это — клеммы. Короче, перед тем как идти, вот этот провод с узелком присоединяешь к вот этой клемме, а вот этот, без узелка, вот к этой. Запомни. Запомнил?

— Запомнил.

— Теперь смотри, — бородатый вынул из-за пазухи карту, развернул, показал, — короче, вот этот перекресток узнаёшь? Знаешь?

— Знаю.

— Тут у самой дороги, прямо на тротуаре упавшая опора бетонная. Ты приходишь рано утром. Вот тут за зданием, там люк приоткрытый, прячешь сумку, сам сидишь вот тут на втором этаже. Понял?

— Понял-понял...

— Короче, проходит инженерка, ты спускаешься, берёшь сумку, идёшь к опоре и сидишь. Сумку поставишь перед опорой. Перед, понял? Не за. Короче, увидишь колонну, открываешь сумку, и вот этот верньер, вот эту ручку, видишь? — поворачиваешь на четыре щелчка по часовой стрелке. На четыре. По часовой. Запомнил? На четыре, по часовой. Так. И уходишь. Короче, вот за прошлый раз, — бородатый вытащил из-за пазухи завёрнутую в пластик пачку. Застегнул сумку, поднялся. — Посиди минут пять и уходи. Сумку дома не держи.

— Знаю.

Солнце силилось выбраться из руин, но пока лишь сумело подкрасить розовым восточный край Грозного. Мальчик вышел из дома и, слегка скособочившись под тяжестью сумки на остром плече, побрёл к знакомому перекрёстку. Ничего сложного в этом не было. Сумка, конечно, была тяжеловата, но и нести было недалеко.

Всё было, как всегда. Бородатый всё понятно описал: вот перекрёсток, вот дом, вот люк приоткрытый. Мальчик просунул под крышку сумку и по засыпанной штукатуркой и осколками кирпича лестнице вбежал на второй этаж. В одной из комнат нашёл шаткую табуретку и сел у окна. Сначала услышал гул БМП, потом увидел, как машина медленно выползла из-за угла. Перед ней и за ней по обеим сторонам улицы шли сапёры. Один с собакой на длинном поводке. Собака суетливо рыскала по сторонам, иногда нетерпеливо дёргая поводок, подбегала к скамейкам, перевёрнутым урнам, брошенным автопокрышкам. Задержалась у остова сгоревшей легковушки и вдруг подняла морду на окна дома. Мальчик испуганно отпрянул, сердце его сильно забилось. Однако, когда через минуту он осторожно выглянул наружу, инженерка уже миновала его дом, БМП, чадя солярным дымом, удалялась, а собака всё так же шныряла в развалинах. Мальчик глубоко вздохнул.

Когда гула и лязга гусениц БМП стало не слышно, мальчик спустился вниз. Теперь всё самое простое. Он выволок сумку из-под крышки люка, донёс её до поваленной опоры, сел на прохладный ещё бетон поставил сумку меж колен и чуть расстегнул молнию.

Солнце приподнялось над корявыми остовами многоэтажек, и из центра Грозного стали доноситься неясные звуки городской жизни. Мальчик задумался, потом начал задрёмывать и едва не прозевал появление колонны. Быстро распахнув сумку, он проверил, надёжно ли подсоединены провода, двумя пальцами крепко взялся за верньер... И вдруг замер: по часовой — это как? Вправо или влево? Он тут только сообразил, что у него никогда не было часов со стрелкой. Были дешёвые электронные, а потом и вообще не было, зачем, если есть мобильный? Он попробовал вспомнить настенные, которые висели у них дома до войны, но он был тогда маленьким, и вспоминался не циферблат со стрелками, а большой блестящий маятник, на который он мог завороженно смотреть часами.

Колонна приближалась. Вправо или влево? Он посмотрел на небо за развалинами — солнце всходило слева и, поднимаясь, уходило направо. Вправо. Сердце больно стукнуло, мальчик повернул ручку на четыре щелчка.

Что это? — подумал мальчик. Темнота была такой плотной, а тишина такой громкой, что давило на глазные яблоки и барабанные перепонки. Что это? Мальчик ничего не мог понять. Он дома? Проспал?! Почему так темно? Так темно не бывает даже в самой тёмной комнате, так тихо не бывает даже в самую тихую ночь. Что это?

Нужно проснуться, подумал мальчик, нужно обязательно проснуться. Такие сны уже снились ему. Нужно оставить фугас и быстро уходить, а он не может, ноги не слушаются, секунды тают, приближается колонна, он уже различает лица солдат, один из них смотрит прямо на него и недобро усмехается. Нужно бежать! Но ноги налились свинцом и словно приковали его к горячей земле... Он просыпался в холодном поту. Сейчас нужно снова проснуться, нужно проснуться. Но темнота и тишина наваливались бесформенной массой и душили, и сознание таяло, таяло...

Что это? Мальчик попробовал пошевелиться. Темнота была всё такой же непробиваемой. Но тишины не было. В ушах стоял гул, и сквозь этот гул он различал голоса,

дребезжанье стекла, шаги. И ещё появился запах. Незнакомый... Что это?

«Смотри-ка, кажется, очнулся». Мальчик насторожился. Кто это, хотел спросить, но не смог. «Как думаешь, может, ещё...» — «Не надо, видишь, боли он пока не чувствует. Начнёт стонать — уколем». — «Да, блин, не повезло парнишке». — «Зато нашим повезло». — «Да, нашим повезло». — «И куда он теперь, без рук, без ног. Слепой». — «Знаешь, а мне плевать, куда он теперь без рук, без ног». — «Так-то оно так, а всё же... Сколько ему, лет двенадцать-тринадцать?» — «А мне плевать, сколько ему. Сколько бы ни было». — «Так-то оно так, а всё же...»

В голове мальчика стало чисто и ясно, исчез гул, он почувствовал своё тело. Он попробовал пошевелить руками и ногами, но не смог. Попробовал подать голос, но не смог. Ему показалось, что он заперт в собственном теле, как в глухой темнице, в мешке, в тесной пустоте. Он всё понял. Он хотел забиться, закричать, зарыдать во весь голос. Но не смог...

Он был пьян. Той степенью опьянения, когда говорить человек еще может, но слушают ли его собутыльники, уже безразлично. Поэтому я ему верил... Он смотрел в вагонное окно, не видя ни придорожных деревьев, размазанно пролетающих мимо, ни пустых переездов с мигающими семафорами, ни дальних колоколенок; и тихо рассказывал:

— В районе Гудермеса попали мы в засаду. Ссыпались с БМПшек, начали отстреливаться. Я прижался к гусенице, постреливаю, а сам о дочке думаю, увижу ли еще... Пулемет над головой грохочет, радист кричит в микрофон, подмогу вызывает, боевики все ближе, уже лица разглядеть можно. Совсем тревожно мне стало, и тут слышу, кричит мне земляк — Виталич, майор наш уральский: «Беги в кювет! Беги быстро!» Я рванул, скатился в кювет, не успел голову поднять, как в ту самую гусеницу, за которой я прятался, граната из подствольника ка-ак даст! Не уйди я оттуда секундой раньше — конец бы мне непременно! Но ужас-то весь в чем? В том, что Виталича еще в первую чеченскую убило, и похоронен он у меня на глазах в родной деревеньке... Вот так... Историю эту только двум-трем близким друзьям рассказал; а так, молчу, подумают — сочиняю... А ведь правда, понимаешь? Веришь?!..

Я верил, верил...

РЫЖИЙ БОЙ

(Старопромысловский район Грозного)

Официально его звали Рыжий Бой. Но хозяйка, в зависимости от настроения или ситуации, звала то Боем, то Рыжим, а то и просто Рыжиком. Ему исполнилось шесть лет — то есть он был взрослым солидным псом породы немецкая овчарка. Солидной была у него и работа. Каждое утро вместе с хозяйкой и несколькими бойцами он выходил на сырые декабрьские улицы полуразрушенного города и искал Зло. Зло пахло резко и неприятно, но каждый раз, обнаружив опасную железную штуку, Бой радовался, поскольку хозяйка хвалила его за это, ласкала и совала в пасть что-нибудь вкусненькое. А для собаки нет ничего радостнее, чем радость хозяина да лакомство из его рук.

Зла было много. Каждый день то в придорожных кустах, то в брошенной покрышке от автомобильного колеса, то в водосточной трубе под асфальтом пес натыкался на знакомый резкий запах.

Вечерами он лежал на подстилке подальше от горячей печки и в полудреме присматривал за хозяйкой. В небольшой закуток, что был отведен специально для них, то и дело заглядывали гости. Это были люди в такой же, как у хозяйки, пятнистой одежде, в сапогах, и пахло от них так же, как от хозяйки — сапогами, порохом, сигаретами. Хозяйка, как истая «собачница», не курила, и в закуточке своем курить запрещала, но запах сигаретного дыма, пропитавший всю казарму, пробивался и сюда, заставляя пса порой громко чихать.

Чаще других приходил большой добродушный разведчик Володя. Он обязательно приносил для Боя кусок колбасы или немного картошки с тушенкой в алюминиевой миске. И бой не рычал на него, когда тот слишком уж льнул к хозяйке.

Они смотрели маленький телевизор, пили чай и разговаривали.

— У меня койка сломалась, — говорил Володя, — и мне теперь негде спать. Можно я у тебя заночую? Выручишь?

— У прапорщика Ивановой переночуй, у нее кровать шире.

— Значит, не разрешаешь? А я-то думал, мы друзья, думал, на тебя можно положиться.

— Я сама решаю, кто может на меня положиться, а кто будет лежать в сторонке, — кокетничала хозяйка.

Иногда по ночам она потихоньку разговаривала с Боем. Бой не понимал слов, но чувствовал, что хозяйка грустит, он подходил и лизал ее руку, свесившуюся с постели.

— Вот ты один меня и любишь, — говорила хозяйка, ласково шевеля шкуру за собачьими ушами. — Ты один меня понимаешь... А он... Даже сюда не пишет.

Она доставала из сумки, стоявшей под койкой, листочек бумаги, долго смотрела на него, и из уголка ее глаза тянулась соленая дорожка.

Если бы Бой умел писать, он написал бы замечательную повесть о людях. О том, как они сбиваются в стаи и стреляют друг в друга, о том, как одни люди командуют другими, как разрушают дома, а вечерами пьют прозрачную резко пахнущую воду и тоскливо воют хором что-то протяжное о нескладной своей судьбе. О том, как видел однажды во дворе казармы отрубленную человеческую голову, которую принесли из мечети какие-то темные бородатые старики. О том, что от Зла пахнет не только смертоносной взрывчаткой, но и человеческими руками.

А жизнь текла и текла — кормежка за кормежкой, маршрут за маршрутом, день за днем...

В тот день с самого утра Рыжий Бой почувствовал необъяснимое беспокойство, и собачье его сердце стучало неуверенно, то быстрее, то медленнее. Что-то ныло в груди, совсем не хотелось есть, и хозяйка, заметив это, даже пощупала песий нос.

Они вышли в город, когда кое-где еще плавал бледный утренний туман. Бой повеселел и бодро бежал впереди, обнюхивая дорогу, придорожные канавы и все, что встречалось на пути.

Они вышли на улицу, параллельно которой шел большой многоэтажный дом. Почти все перекрытия внутри здания обрушились, и дом был похож на останки затонувшего «Титаника», пролежавшего в океане сто лет. Черные остатки обгоревших деревьев, словно кораллы, торчали вокруг, а сквозь окна и пробоины были видны пустые, выеденные временем внутренности каменного остова. И где-то там, в гулких пустотах здания, затаился чужой человек...

...Совсем рассвело. Уже пора было уходить, когда снайпер заметил на улице отряд. Его внимание сразу привлекла внимание девушка с собакой на длинном поводке. «Так-так! Это интересно, — деловито подумал снайпер. — Это стоящая цель...» Он устроился поудобнее и, глядя сквозь оптический прицел, задумался.

Снайпер решал задачу. У него было время только на один выстрел. Можно было застрелить или девчонку, или собаку. Он переводил перекрестье прицела то на собаку, то на хозяйку и никак не мог выбрать. Наконец, разглядев погоны на плечах девушки и решив, что звание маловато, остановился на собаке. Но когда палец уже начал свое плавное давление на курок, неожиданно для себя снайпер перевел прицел на девушку. Хлопнул выстрел, винтовка дернулась, и, отрываясь от окуляра прицела, снайпер успел увидеть падающую фигурку. Он бросился бежать и лишь через несколько секунд, когда уже был в относительной безопасности, услышал тарахтенье автоматов, крики и возбужденный собачий лай...

Рыжий Бой стоял над хозяйкой и лизал ее остывающее лицо. А поодаль из-за кирпичных куч и бетонных блоков солдаты в остервенении палили по пустому дому.

Уже на следующий день Боя передали другому хозяину. И Бой принял его и снова каждый день выходил на улицы разбитого города искать Зло. Но по ночам ему иногда снилась прежняя хозяйка, он слышал ее веселый голос и чувствовал тепло рук...

Утро. Камера наплывает на грязноватый плац, на который тарахтя влетела БМПшка и, лихо развернувшись, застыла у комендатуры. С брони спрыгивают люди в камуфляже. Один в штатском выбирается из чрева машины. Журналист в зеленой куртке, стоявший на краю плаца, идет навстречу человеку в штатском:

— Володя, ты?!

— О-о! Вот так встреча! А ты-то здесь как оказался?

Человек из БМПшки обнимает журналиста в зеленой куртке. Они идут к комендатуре, разговаривая на ходу:

— Помнишь девяносто третий?..

Девяносто третий. Осень. Москва. У Белого дома, словно в последнюю минуту перед сильной грозой, тягучая пустота. Тоскливая настороженность в глазах бронежилетных милиционеров и омоновцев, нервозность в глазах прохожих (особенно идущих в сторону БД). В переулках — автобусы с людьми в камуфляжке.

Хлопнул выстрел, и редкие прохожие вздрогнули — кто-то присел, кто-то шарахнулся к стене. Но тут же отлегло: автомобильный выхлоп, пока еще не

стреляют...

За квартал до Белого дома дорогу перегородило оцепление. Перед оцеплением кучка пожилых людей. Я предъявил журналистское удостоверение и прошел мимо заграждений. Сзади услышал:

— По какому праву задерживаете? Жидов-писак пропускаете, а трудового человека задерживаете!..

Навстречу в расстегнутой кожанке слегка растрепанный и деловой Невзоров тащит за собой помощника с телекамерой поближе к оцеплению и кричит через головы солдат:

— Эй, папаша! Пройди сюда!

— Дак ведь не пускают!

— Ты, главное, попробуй, а мы снимем!

Папаша идет на солдат, его останавливают, а Невзоров кричит:

— Активней, активней прорывайся. А вы чего там стоите, давайте за ним!

— А если дубинкой? — говорит стоящий рядом с ним милиционер.

— Фашист! — отвечает Невзоров.

В двух шагах от оцепления стоит на коленях монахиня в черном и истово молится.

— О чем молишься, мамаша?! — кричит молодой омоновец.

— О том, чтобы твоя кровь не пролилась, — серьезно ответила женщина...

Но кровь пролилась. Третьего октября всеобщая нервозность достигла предела, и на миг показалось, что над Москвой пахнуло зловонным дыханьем Гражданской войны. И тем, и другим казалось, что «калашников» в руках — ключ к окончательному решению всех проблем. Четвертого октября танки обстреляли Белый дом. Пятого выводили пленных, выносили трупы. Шестого октября премьер-министр Черномырдин отрапортовал: «Кровавый мятеж подавлен... Ростки политического раскола вырваны с корнем...»

РОЖДЕСТВО

(Одна из воинских частей в районе Шали)

Ворота казармы — переоборудованный под казарму авторемонтный гараж темнел огромной глыбой — смотрели на невысокий каменный забор. За забором какое-то южное разлапистое дерево. За деревом темный силуэт мечети с полумесяцем над острием минарета. За минаретом в разрывах черных в ночи облаков — яркие чеченские звезды.

Полковник присел на скамеечку у ворот и долго смотрел на эти непривычно развернутые созвездия. Влажный ветер овевал его лицо, странно было вдыхать январской ночью весенние водянистые запахи, ощущать под ногами пожухлую, заиндевелую, но зеленую траву.

Невольно вспомнилось о доме.

Там, в заснеженной Мордовии, мороз градусов в двадцать, снег вкусно скрипит под ногами, в избах пахнет не убранными еще елками, светит на взгорке тусклыми стрельчатыми окнами сельская церковка...

Полковник задумался, закурил. Из темноты раздалось:

— Извините, товарищ полковник, здесь не стоит курить, — часовой потоптался в ночи, скрытый воротами, и добавил, — лучше зайти за угол. Или прикройте сигаретку фуражкой.

— Что так?

— Тут у нас балуются чечены по ночам. Стреляют иногда с крыши школы... Могут по огоньку выстрелить...

Полковник прикрыл рубиновый огонек цигарки. Вгляделся в звездную россыпь и разглядел перевернутый ковш Малой Медведицы. На кончике хвоста созвездия мерцала Полярная звезда. Где-то под ней, за две тысячи километров, стоит, может быть, сейчас у калитки старенький отец, курит пахучую, если не сказать вонючую, папиросу (где он их только берет?!), смотрит на этот же огонек в небесах и думает о сыне, о нем, полковнике.

Полковник машинально поднес руку к груди, нащупал медный крестик и медальончик. Крестик ему надел на шею еще накануне первой чеченской отец. Медальончик вложила в карман куртки мать. На медальончике очень тонкий красивый рисунок — ангел с большими сильными крыльями, а на обороте надпись, которую он запомнил наизусть: «Святый Ангеле хранителю, моли Бога о мне».

Полковник представил себе, как поблескивает освещенный звездным светом крест над маковкой церкви. Как темными тенями идут к ней люди, закутанные в полушубки, фуфайки и цветастые мордовские платки. А в самом храме сейчас пахнет воском, ла-

даном, горящими в церковной печурке березовыми дровами. Словно наяву, всплыли из тьмы лица односельчан, смутно тронутые неверным, но теплым и уютным светом желтых восковых свечек.

А под утро, затемно еще, побегут от двора ко двору малые ребятишки, в деревне это почему-то называлось — «славить». Бывало, и он вместе со старшими братьями, еще полусонный, со слипающимися глазами, входил в чужие натопленные избы и затягивал: «Христос ражда-а-ается — славите! Христос с небес — срящите...» А в конце, как научили его братья, тонким звонким голоском кричал: «Открывай сундучок, доставай пятачок!»

И умильные хозяйки ему как самому маленькому давали денежку не медную, а «беленькую». И утром они бежали в «чапок» — деревенский магазинчик — и покупали на собранное всякой всячины: и конфет, и печенья, и вместо дешевого «Буратино» по его настоянию покупали небывалого вкуса «крем-соду».

Полковник увидел под ногами смятую банку «кока-колы» и улыбнулся...

Ночную тишину вдруг распорола близкая автоматная очередь. Потом другая. Над казармой высветилась трасса пулеметной очереди. Полковник вскочил со скамейки, но часовой из темноты спокойным голосом сказал:

— Все нормально, товарищ полковник, это челябинский ОМОН хулиганит. Рождество справляет.

Полковник глянул на наручные «командирские» — светящаяся большая стрелка показывала две минуты первого.

— С Рождеством Христовым! — повернулся полковник в сторону часового.

— Ага! — донеслось из темноты.

«Ага!» — передразнил про себя солдата полковник.

Челябинцы веселились вовсю, даже саданули пару раз из «подствольника». Приехав перед самым Новым годом в расположение, полковник сходил в гости и к соседям. У казармы челябинцев стояла новогодняя «елка» — невысокая акация, украшенная банками из-под пива, потемневшими банановыми шкурками, конфетными фантиками, стреляными гильзами и бинтами. На самом видном месте висели привязанные к веткам за длинные хвосты три или четыре дохлые крысы...

Стрельба над поселком усилилась, но быстро стихла. И тишина от этого стала еще глубже и осязаемей.

Полковник вспомнил вдруг один день «из советских времен», когда он еще молодым старлеем приехал к родителям в отпуск. В тот день он пришел домой и с порога сказал матери:

— Мам, завтра к нам в гости командир приедет, порыбалить, так ты иконы-то пока убери куда-нибудь с вида. Сказал и вдруг ощутил такую же вот глубокую, почти осязаемую тишину.

По поводу религии они никогда не спорили. Сам он, как и положено коммунисту, — не верил. Мать была искренне верующей. Отец на эту тему помалкивал, так сказать, держал нейтралитет.

И он никак не ожидал, что мать может так отреагировать на такую пустяшную, с его точки зрения, просьбу.

«Сынок, — сказала она тогда, — вот ты военный. К примеру, не дай Бог, попал в плен. Так ты партийную свою книжечку выкинешь, что ли?» Ответить ему было нечего.

Приехавший «порыбалить» замполит иконы заметил, но ничего не сказал, советов убрать не давал, да и ни разу потом об этом не вспомнил... Недавно полковник встретил этого замполита уже в чине генерала на открытии дивизионной церкви...

Полковник встал, потянулся, хрустнув суставами, и медленно пошел к воротам. Часовой явно замешкался. С одной стороны, он знал, что идет полковник, и можно было бы промолчать. С другой стороны, положено спросить пароль. «Черт их знает, начальство!» — подумал второпях боец и все же тихо сказал:

— Стой, три!

— Пять! — дал отзыв полковник и услышал из черноты ворот:

— Проходи!

— Молодец, — похвалил он часового, проходя в казарму.

В кубрике, где его поселили на несколько дней командировки, в железной печурке гудело пламя газовой горелки. Когда полковник перестал ворочаться, устраиваясь на железной солдатской койке, в тишине застрекотал сверчок. Громкое стрекотанье сверчка на мгновенье перекрыл далекий взрыв, слегка приглушенный каменной стеной, а потом в тишине вновь только гудело пламя, и пел сверчок.

Полковник открыл глаза и увидел над собой голубое небо, косы берез, яркий цвет люпина, услышал где-то рядом стрекот кузнечика и понял, что ему снится сон...

Утром он поедет с отрядом местной милиции и бойцами бригады «на происшествие» в Мескр-Юрт. Инженерная разведка обнаружит там труп чеченца, и ему вместе с чеченским следователем придется складывать в полиэтиленовый мешок куски тела, поскольку убили чеченца с помощью привязанной к голове динамитной шашки. Потом на БМПшке отправится в Ханкалу, где пересядет на бронепоезд, идущий в Моздок, и, если ничего не произойдет, через сутки будет сидеть в транспортном самолете, который поднимется в ночное небо, направив нос на слабо мерцающую Полярную звезду.

В кадре большая комната, на стенах карты, на стеллажах зеленые каски, бронежилеты, сигнальные ракеты, книги. Посреди комнаты стол. За столом несколько бойцов и журналист, перебирающий сумку, явно отбирая только самое необходимое. Бойцы молчат.

Очень подвижный деятельный майор-«гуманоид» бегает по комнате, ставит чайник, достает консервы, печенье и, не переставая, говорит:

— Вот, предположим, ты умер. Положили тебя в гроб. Лежишь ты день. Лежишь неделю. Месяц лежишь. Год... И такая тоска тебя возьмет, что ты без дела лежишь... Вот тогда локти будешь кусать, и что спал помногу, и что ленился, и что не спешил...

Журналист отобрал, наконец, нужное, переложил в сумку поменьше и застыл, не слыша больше майора. За кадром его голос:

Я мог бы уехать в Моздок вместе с полковником и через пару дней сидел бы уже в своем кабинете в редакции и снова корпел над очередным «чеченским очерком». *Но старый знакомый ф*ээсбэшник пристроил меня в группу, которая выдвигалась в горы на проверку сообщения местных жителей о проходе отряда боевиков через полузаброшенное горное селение. Местные опасались, что один из домов заминирован.

ЛОВУШКА

(Поселок в горах выше ущелья «Волчьи ворота»)

«Хрум-хрум-хрум» — хрустит под ногами влажный, подтопленный горным солнцем снег. «Киа-киа!» — печально кричит над головами какая-то горная птица, едва различимая в синеве.

Второй час небольшой отряд саперов поднимается по горной тропе к селенью, прилепившемуся у скал недалеко от перевала. Оттуда, из аула, на блокпост в Аргунском ущелье пришел обросший черной с проседью бородой старик и рассказал о чужих людях, появлявшихся несколько раз в заброшенном доме, стоящем на отшибе.

Они, задыхаясь от быстрого подъема, остановились наконец у каменной низкой ограды одиноко стоящего на склоне горы дома. Прислушались.

— Сынок, — подал, наконец, голос Макс. — Иди аккуратно, ничего не трогай, чуть что подозрительное — зови меня. А вы, — обратился он к журналисту в зеленой куртке, — постойте пока здесь, во двор не суйтесь. Окей?

Журналист достал из сумки небольшой фотоаппарат, наблюдая, как отряд рассыпается вокруг дома, а один из бойцов идет внутрь.

Ему нравился Макс. Спокойный, уверенный в себе командир. Никогда не закричит на солдата, может хорошо выпить, но не становится назойливым и неприятным, не навязывается, но и никогда не откажется помочь.

Однажды на разминировании дома один из его «сынков», по неопытности и в глупом кураже, вопреки команде, полез снимать «растяжку». «Растяжка» оказалась с ловушкой, но понял это солдатик только тогда, когда, уже зажимая в ладони гранату, услышал щелчок другой, спрятанной рядом. Солдатик остолбенел, и Макс мгновенно успел представить себе, как мальчишку изрешетят осколки, но случилось чудо. Ни один осколок не попал в бойца. Большую часть железа принял на себя бронежилет, остальное улетело «в молоко». Контуженый солдат с опаленной черной физиономией на деревянных ногах подошел к Максу и громко, как глухой, сказал: «Простите!» — «Не делай так больше, сынок», — только и смог ответить Макс.

Как-то Макс показал ему собственную коллекцию ловушек, обезвреженных им и его «сынками» за год командировки. Куда только не прячут смерть одни люди для других. В сигаретную пачку, в сотовый телефон, в фонарик, в детскую игрушку, в кассету для плеера. Каких только хитростей не придумают. Одни срабатывают от звука, другие от прикосновения, третьи от включения. Последняя мода — световое реле. Пока в подвале темно, килограммы взрывчатки лежат безобидным пластилином. Но вот че-

ловек входит в темноту и машинально зажигает свет. И в одну секунду на месте дома вырастает махровый черно-красный цветок взрыва...

Историю со взорвавшейся «растяжкой» журналист в голове уже расписал и так и эдак и даже представлял, как она будет выглядеть на газетной полосе. Читатель любит такую военную экзотику со счастливым концом.

Правда, с годами ему стало казаться, что «хэппи энд» в его жизни хоть и случался во всех неприятных ситуациях, все же в целом «по жизни» это больше исключение, чем правило. Невольно вспомнилась весна, когда четырнадцатилетним пацаном попал в полынью и едва выжил, сбросив с набухших шерстяных носков огромные болотные сапоги. Вспомнил, как лежал обессилевший на истаявшем снегу у берега реки и не мог надышаться сырым мартовским воздухом, и хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Потом отчего-то сразу всплыл в памяти теракт на Дубровке. Он стоял тогда, теребя в руках блокнот, с одной стороны оцепления и не знал, что в эту самую минуту с другой стороны, в холле театра стоит перед людьми в масках его знакомый, земляк, ходивший с ним по тем же улицам, разговаривавший с теми же людьми, смотревшим те же фильмы в «Октябре». Но ему уже не выйти оттуда живым. И лишь случай развел их по разные стороны оцепления. Он ведь тоже собирался на «Норд-Ост», да отложил «культпоход» на следующий вечер... М-м-да, никому неведомо, что, в общем-то, и к лучшему, когда ему прощаться с нажитыми годами...

Хищная птица резко и тоскливо прокричала из темного ельника, зеленым шершавым языком спускавшегося со склона, и задумавшийся журналист вздрогнул.

Он посмотрел по сторонам. Темные строения аула невдалеке, серебристые вершины гор, девственные поля снежных склонов, кудрявое облако над головой. Здесь бы на горных лыжах...

— Порядок! — Макс выглянул из двери дома и махнул рукой. — Пошли перекусим!

Журналист спрятал в сумку фотоаппарат и, с наслаждением вдыхая сладкий горный воздух, пошел к дому. Изнутри слышался смех и звук вспарываемых ножами консервов. Макс, улыбнувшись, кивнул подходившему:

— Ерунда, пустяковый фугас. Покушаем, взорвем на пустыре...

Уже у самой двери журналист вдруг остановился, потому что остановилось сердце, и голос в голове крикнул: «Не надо!» Он не успел сообразить, что «не надо», потому что что-то горячее, неумолимое и грозное бросилось на него из дома и разбило сознание...

В кадре на дальнем плане панорама заснеженных гор. На переднем плане полуразрушенный дом, над которым еще вьется темная гарь. Еще ближе — разметавшееся на снегу тело в зеленой куртке.

Голос за кадром:

Взрывом меня отбросило от дома, и я понял, что умираю. Но неизбежность происходящего не испугала и не огорчила меня. Я только почувствовал, что сейчас произойдет что-то очень важное, и это важное — не моя смерть. Раздались голоса, заскрипел снег, и надо мной склонились бородатые люди. Лица их были черными, ввалившиеся глаза блестели лихорадочным огнем. Еще возбужденные боем, они дышали злобой. Один из них склонился надо мной, вынул из моего кармана удостоверение и удивленно воскликнул:

— Журналист! Мовсар Арбиевич Ахмаев...

Другой, постарше, вдруг словно бы поперхнулся, вырвал из его руки удостоверение и внимательно всмотрелся в фотокарточку с синей четвертинкой печати на плече.

Вот оно — главное! — понял я.

Человек опустил безвольно руку, и удостоверение упало в снег. Человек медленно пошел в сторону, вытаскивая из-за пояса пистолет.

— Ты что, дядя Арби! — раздался голос, но его тут же перекрыл оглушительный пистолетный выстрел...

В кадре остолбеневшие от неожиданности вооруженные люди. Они молча смотрят на два распростертых в снегу тела. Вдруг откуда-то сверху спустились, кружа и танцуя в едва заметных дуновениях ветра, два легких пера. Черное скользнуло на лицо застрелившегося боевика, застыв рядом с дыркой в черепе, из которой тягуче сочится кровь. Белое легло на разорванную осколками куртку журналиста...

Титры.
За кадром на фоне восточной мелодии звучит православная молитва.

К о н е ц

Зоя ДОНГАК

ДУША ШАМАНА

Сказание

(Журнальный вариант)

Книга II. КРАСНАЯ ТУВА[1]

Водой очищаются части тела, сердце очищается истиной,
душа — священным учением, а ум очищается познанием.
Манава-дхармашастра, глава V, 109

Картина 1. «МЫ ВМЕСТЕ – ЕДИНЫ, ОГОНЬ»

Седоволосая, кареглазая Севил, бабушка Холурааша, одетая в выцветший шыва-тон[2], очищала шкуру барана ножом-скребком после забоя. Она уселась на кошму на траве возле юрты и, вытянув ноги, ступнями удерживала часть шкуры, разложив её на ногах мездрой вверх. Другую часть шкуры протягивала через грань эдирээ[3], разрыхляя поверхность мездры. После обработки эдирээ, Севил на согнутом в колене бедре тщательно очищала ножом всю шкуру. Так мяла и мяла, пока та не становилась мягкой. Наконец сама себе убедительно сказала:

— Хватит мять шкуру. Не зря говорят: тонкая кожа рвётся, тонкая кость ломается.

Как опытный мастер по выделке шкур и шитья одежды, Севил знала, что для изготовления одной шубы для Холурааша требуется семь шкур взрослых баранов. Когда к ней подошла чернобровая, с длинными косами, миловидная сноха Анай, Севил показала ей шкуру:

— На грудь и спину идут шкуры с самой густой и тёплой шерстью. Рукава и передние полы делают из тонких и лёгких шкур с укороченным ворсом.

— Я хочу быстрее научиться у вас шить, — сказала Анай.

— Кто любит труд, тот любит жизнь. Научу. Пойдем в юрту, Анай, я покажу тебе уже выделанные шкуры, — внимательно осматривая и ощупывая шерсть, Севил выбрала из семи шкур те, что пойдут на изготовление рукавов, пол и иных частей шубы. — В народе говорят: мягкость кожи зависит от выделки, ход коня — от хозяина, — Севил шила шубы близким много раз, была знакома с запросами внука Холурааша. При раскрое измеряла шкуру пальцами рук, объясняя Анай:

— Длина шубы для нормального человека — шесть карыш[4]. Ширина большой полы

---

[1] Книга I дилогии «Душа шамана» опубликована в №2 «Невского проспекта» в сентябре 2021.

[2] Шыва-тон – летняя верхняя одежда, халат с удлиненной левой полой, прикрывающей короткую правую. Одна из пуговиц пришивалась у воротника, другая – у левой подмышки, чтобы тон, запахиваясь, полностью закрыл грудь.

[3] Эдирээ – палка с гребнеобразной гранью.

[4] Карыш – расстояние между вытянутыми кончиками большого и среднего пальца руки.

шубы в подоле — пять карыш, ширина малой полы в подоле — три карыш.

— А длина рукава какой должна быть? — спросила Анай.

— Длина рукава — четыре карыш. Ширина рукава в манжете — один карыш и четыре илиг[1]. Шуба должна быть свободна, ничем не сковывать движения человека.

— Чтобы человек мог свободно поднять и развести в стороны обе руки, вот так, да?

— Да. На одежде охотника во время выстрела не должно быть ни одной складки на рукавах и отворотах, потому что складка может случайно задеть тетиву лука.

Вошёл подтянутый, смуглый, чернобровый Холурааш с добытым тарбаганом после удачной охоты. Его черные глаза сияли. Он был одет в косулью куртку и штаны из козлиных шкур. На левом боку его к поясу были прикреплены сдвоенные деревянные ножны с большим охотничьим ножом для разделывания туши животного и маленьким ножом, используемым во время еды.

— А вот и хозяин будущей шубы, — обрадовалась Анай, — да ещё не с пустыми руками!

— Шубу мне шьёте?

— Тебе, тебе, Холурааш, — ответила Севил.

Холурааш, улыбаясь, пропел:

Если спинка халата порвется,
Заплату пришьет моя бабушка.
Если верх рукава порвется,
Искусно починит моя бабушка.

— Я уже многому научила Анай. Не всякие глаза красоту разглядят, не всякие руки красоту сотворят, но твоя жена молодчина, быстро учится шить.

— О, это очень хорошо!

— Теперь твоя жена займется починкой твоей одежды и петь будешь: «Мастерица-искусница моя Анай».

Сели пить кирпичный чай, сваренный с молоком и солью. Пили с сыром и поджаренным пшеном, с пенками. Летом молоко густое, поэтому покрывается толстым слоем ореме (пенки). Холурааш очень любил пенки с кипяченого молока.

Наполнив курительную трубку табаком, Севил закурила. Выкуренную трубку из красной таволги положила за пазуху тона, где хранятся кисет с табаком. Холурааш и Анай ушли в свою юрту, а уставшая за полдня за обработкой шкур Севил осталась одна. Глаза Севил наполнились слезами. Сердце её болело. Она тосковала по умершей Чинчи, казалось, будто бы с собой та унесла и её часть. Утешала мысль о том, что чуму пережили, сын и внук здоровы, люди идут к ним за помощью как к шаманам.

В юрте, где ей пел один лишь огонь, в сладком полузабытьи она обратилась к сурку:

— Тарбаган, ты бродил по степи, по пещерам, бегал вместе с реками, скользил по камням, тебе известна была великая тайна чёрной смерти, что обрушилась на нас и исчезла.

Мёртвый тарбаган с остекленевшими глазами ответил бы Севил, если бы мог ожить и заговорить: «Ты узнаешь о том, что случилось после чёрной смерти. До сих пор скорбишь по Чинчи? Не надо».

Шёл 1912 год — год Благородной Мыши. После пробуждения природы, появления травы, листьев, вскрытия рек наконец-то наступило лето. Вот-вот должны были начать перекочевку аалы. После таяния снегов прошли проливные дожди, воды в реках и озёрах ничуть не поубавилось. Богачи, недовольные вынужденной задержкой с перегоном скота на летние пастбища, ворчали, что небо отсырело. Как всегда, при перекочёвках первыми снимались бедняки на быках богача, затем уже переезжал сам бай.

В одно прекрасное утро семейство шамана Конгура приступило к работе, требующей терпения и сноровки — к стрижке овец. После завершения стрижки Конгур, Холурааш, Севил, Анай высушили овечью шерсть, отделив белую от черной.

— Лучший войлок для юрты — войлок белого цвета, — укладывая шерсть по цвету, сказал Конгур. — О, здесь много шерсти черного и коричневого цвета! Тогда сделаем двухцветный войлок.

Белую шерсть отложили на войлок, необходимый для юрты, а чёрную — на одежду, теплые носки и потник для лошадей.

Период цветения чадан-кат[2] удобен не только тем, что начались длинные, жаркие дни, но и тем, что араты, спустившись с зимних горных стоянок, собирались в местах обильных трав по берегам рек. В это время легко ухаживать за скотом, хищники

[1] Илиг — мера длины, равная толщине среднего пальца руки.

[2] Чадан-кат — многолетнее травянистое растение. Стебель короткий, по три больших скрученных листа, в середине которых несколько белых цветков. Цветет в июне, ягоды созревают в июле-августе. Ягоды собирали и сушили в тени, заваривали как чай.

не представляют опасности, поэтому отару пасли дети, освобождая взрослых для хозяйственных работ.

В этот жаркий солнечный день коренастый, широкогрудый Конгур, отец Холурааша, собрав аратов для совершения обряда окуривания, «кормления» духов-хозяев родной земли у подножия горы, недалеко от реки, устраивал большой жертвенник — священный очаг.

Поверх каменной кучи шаман Конгур клал калбак даш — большой, плоский, овальной формы, с углублением в виде чаши камень сана, на который сыпал угли, золу, разжигал костер и произносил:

— Верховных покровителей отблагодарим жертвой, проведем в их честь дагылга[1].

Конгур бросал в костер кусочки мяса, обернутые салом, кусочки курдюка, артыш-можжевельник, подливал топленое масло, напевая:

О, священный дух воды!
Милости просим у тебя!
Сжигаю жертвенный сан,
С молоком поклоняюсь тебе,
Чтоб защитил мой народ,
Чтоб род мой не оборвался,
Чтоб наш лес разрастался,
Не высыхали реки, родник.

За ним и другие бросали и сжигали принесенную жертвенную пищу. От курящего артыша вокруг распространялся своеобразный приятный запах. Это «чыттыг сан» — сан с запахом.

Когда разгорался большой костер, люди выстраивались лицом к костру перед жертвенником. Конгур плескал в огонь чай, разбрызгивал его тос-караком (ложкой-девятиглазкой) на все четыре стороны вокруг сана — сначала на восток, потом по направлению движения солнца.

Молились, разостлав полы тонов, как бы зазывая в них всё хорошее. Каждый шептал молитвенные слова: «пусть лето принесет богатство и сытость», «пусть злой чёрт-аза никого не берёт», «пусть скот растёт без потерь», «пусть я буду жив-здоров».

Шаман Конгур славил год Мыши, говорил, что будет он с обильным молоком и зверем.

Люди после дагылга возвращались умиротворенными.

К обеду около юрты Холурааша собрались араты перерабатывать шерсть. Кто-то из них затянул песню:

Свалявшаяся шерсть овцы
Заставит вас размахивать прутом.
Кончик шерстобитного прута
Разорвёт шерсть жёлтой овцы...

Высушенную шерсть Севил и Анай укладывали слоями: темную — с одной, белую — с другой, лицевой, стороны.

Выбрав ровный, покрытый чистой травой участок на берегу реки, Холурааш на землю положил три конские шкуры, мездровой частью вверх, волосом к земле. Конские шкуры не имели большой ценности, из-за чего они активно не использовались в хозяйстве арата. В центр, под шкуру, Холурааш положил «подушку» из старого войлока, чтобы получилась покатая поверхность.

— Мне нужно обработать шерсть двухсот овец[2]. Поможете. С другом — веселее, в дружбе — сильнее, — сказал Конгур.

Валяние войлока являлось серьезным поводом для сбора соседей и родственников, способствуя поддержанию добрососедских отношений. Обычно через день все собирались вновь на другой стоянке. Вся процедура производства войлока повторялась.

На шкуры, прибитые небольшими деревянными колышками, выложили шерсть. Вокруг сидевшие восемь человек, по два с каждой стороны, наносили удары палками (саваш[3]), выбивая шерсть. В трёх группах каждый использовал две палки.

Подняв правую руку с палкой, Холурааш приказал:

— А ну-ка, раз, два, три, ден-ден.

Затем все одновременно делали удар, после удара кончик палки слегка приподнимался, после чего палку выдергивали движением на себя, чтобы не разбросать шерсть.

---

[1] Дагылга – коллективное моление.

[2] Для изготовления полного комплекта войлока для одной юрты требовалась шерсть около 200 овец тувинской породы.

[3] Саваш – прямая палка из тальника толщиной в палец, длиной 1-1,2 метра.

Как гласит пословица, в песне душа раскрывается, талант в труде проявляется, — чтобы поддержать ритм, облегчить труд, взбивая шерсть, пели:

Я не сплю на чужой стоянке:
Есть у меня Монгун-Тайга.
Не ищу я чужую невесту:
Есть у меня диво-подруга.
Раз, два, три! Хак-ла хак!

Не покинет меня жеребёнок,
Его ноги крепки с рождения.
Не уходит мой милёнок,
Силён он прозорливостью.
Раз, два, три! Хак-ла хак!

Голос Холурааша выбивался, был громче, мелодичнее.

Каждой группой долго наносились удары палкой с песней. Вначале удары наносились палками попеременно, а под конец — одновременно двумя палками, аккуратно вынимая их после удара.

Холурааш быстро собирал взбитую шерсть от краев к центру, сворачивал в рулон. Слушая его, все оживлялись, работа шла бойко. Готовую шерсть убирали, на её место выкладывали очередную грязную шерсть. После чаепития выбивальщики делились: женщины и дети шли выкладывать шерсть, валять войлок, мужчины продолжали взбивать остатки шерсти.

Раскладкой шерсти занимались Севил и Анай, так как эта работа требовала постоянного внимания и чувствительных рук. Несмотря на волдыри на пальцах рук, полученные во время стрижки, они аккуратно уложили шерсть так, чтобы при сваливании не образовалось бугров или ям.

Для сваливания шерсть необходимо поливать кипятком, из-за чего Холурааш же успевал и сбегать к реке, где грел воду на костре в трёх котлах, и передать ведро Анай. Руки их сталкивались, глаза вспыхивали, жена стыдливо опускала глаза, краснела. Через сито, сплетенное из веток, Анай поливала шерсть горячей водой.

Время от времени Севил подносила всем чай. Отхлебнув глоток, Холур возвращал пиалу бабушке и с помощью аратов наматывал войлок вместе с подстилкой на бревно. Затем он к концам бревна привязал веревки. Запрыгнув на лошадей, дети катали валик из войлока по траве.

— Если войлок не катать, то он будет рыхлым, неплотным, — сказала Севил.

После скатывания войлок сушили на солнце. К вечеру работу по очистке шерсти и скатывание войлока завершали. Взрослые усаживались пировать — дук дою[1]. Дети верхом на конях продолжали докатывать остатки войлока.

Холурааш с Анай угощали приглашённых на работу людей лучшими блюдами и предварительно приготовленной аракой.

— После работы еда вкуснее. Угощайтесь, пожалуйста, — приблизив деспи с едой, самому пожилому арату Конгур подносил пиалу, доверху наполненную аракой, как бы говоря: пусть у тебя будет много молока. При этом он старался не пролить ни капли. «Не проливать белой пищи» — наказ предков он с детства не нарушал.

Все начали просить сказителя Сурунмаа Шожал исполнить сказку. Он начал спокойно:

Шыяанам!
В древнее прежнее время,
Неизвестно когда именно,
Эа, в какое-то время
В краю, где гора Монгун-Тайга,
Жил-был охотник Хунан-Кара.
Однажды он охотился
В устье слияния двух рек —
Быстрых рек Мугур и Каргы —
Охотился бедовый Хунан-Кара.
На проталине у костра вечером
Он слышит: сзади кто-то идёт.
Ближе подойдя, спросил:
«Говорят, ты прекрасный охотник,
А в шахматы умеешь играть?»
Оглянулся охотник — никого не видно.

[1] Дук дою – вечернее застолье по случаю окончания обработки шерсти.

«Не очень-то хорошо играю,
Шахмат нет. Как сыграем?» — он ответил.
«У меня есть шахматы», — кто-то сказал.
Впереди охотника появились шахматы.
«Ну, давай начнём?» — спросил невидимый.
«Конечно начнём!» — сказал Хунан-Кара.
Уверенно пешкой походил.
Человечья рука встречный ход сделала.
Хунан-Кара, задумавшись, взял ладью.
Теперь появились руки с плечами
И сделали опять встречный ход...
В конце концов выиграл охотник.
Тогда появился мужчина с медным носом,
С огромными полосатыми глазами.
«И в шахматы играешь отлично,
И охотишься очень хорошо.
За что тебе подарю вола», — сказав,
Злой дух бесследно испарился.
На другое самое ранее утро
Хунан-Кара на охоту пошел
И убил, к счастью, косулю.
Каждый день охотился там,
Где убил косулю, и ему везло.

— Сказке конец. Благодарю, мои дети, за внимание!

После сказки старика настала очередь Конгура. Конгур, главным делом которого было врачевание, рассказывал, как он недавно побывал по приглашению во Внешней Монголии:

— В Монголии я оказал посильную помощь арату. Побывав там, я пришел к выводу: жадность и требовательность маньчжуров[1] безмерна особенно по отношению к Туве.

— Наш край знаменит своими ценными мехами. За албан[2] маньчжуры взыскивали с меня по три лучших соболя натурой, — пожаловался знаменитый охотник Калдар, одетый в облезлую куртку из козьих шкур, поношенную сурковую шапку, штаны из выделанной косульей кожи, мягкие идики[3].

— Помимо государственной подати — албана — баи берут всё, что могут, в свою пользу или в пользу своих чиновников, — рассказывал с досадой немногословный арат Опан.

— Ламы, населяющие монастыри, тоже живут за счёт поборов с тружеников-аратов, а как нам быть? — спросил подтянутый, черноглазый табунщик Сенгээ.

— А при неуплате налогов, при всяком протесте маньчжуры подвергают нас страшным эрии-шаагай — девяти пыткам[4], — сказал скромный арат Хевек. — Чиновник не насытится поборами. Богатый бедного не жалеет.

Балдып, очевидец судилища, рассказывал, как маньчжуры и местные чиновники подвергали пыткам упорствующих аратов, неплательщиков налога, обвинённых в краже скота.

— И по сей день, если я слышу отдаленный вопль, мучительно и живо всё встаёт перед глазами. Бедных аратов приводили к богачу с руками, связанными тонкими кожаными ремешками, и начинали допрашивать: «Скажи, за что тебе связали

---

[1] Тува была окончательно завоевана маньчжурами в 1758 г. Она входила в состав Китайской империи и управлялась маньчжурской Дайцинской династией. В то время Тува носила данное ей маньчжурами название Урянхай. По принятии халха-монголами маньчжурского подданства пекинские богдыханы ввели во Внешней Монголии и Туве военно-административный строй, превратив бывшие княжеские уделы в военные единицы – кожууны. В управлении страной маньчжуры полагались на ханов и нойонов, находившихся в рабской зависимости от них. Цзянь-цзюни через своих вассалов выколачивали из народа подати.

[2] Албан – налог в виде шкурок ценных зверей – соболя, белки, выдры, снежного барса, рыси; албан отнимал у аратов больше трети их годового дохода.

[3] Мягкие идики – сапоги из шкур косули с подошвой из толстой бычьей шкуры.

[4] Когда Тува находилась под маньчжурским гнётом – под господством Циньской династии, существовал ханский закон, согласно которому были установлены девять пыток. Они применялись в отношении тех тувинцев, которые попали под подозрение в воровстве, неуплате налогов или вели борьбу против китайских оккупантов и их местных приспешников. Не каждый мог перенести такие мучения – девять пыток. Многие оставались на всю жизнь калеками. Но были запреты во время пыток. Не били женщин по ягодицам. Задержанных тувинских женщин подвергали семи видам пыток из девяти. По законам тот, кто не сознался в преступлении и стойко выдержал все пытки, считался невиновным. Тогда он и весь его род освобождался от налогов.

руки?» — спрашивал чиновник. «Не знаю, господин», — отвечал арат. «Подвергайте этого преступника девяти пыткам!» — приказывал чиновник. Исполнители приказа хлестали беспощадно арата тонкими прутьями. Причем чиновник и исполнители были очень рады, если арат начинал кричать и стонать.

— А я видел, как хлестали жертву по щекам ремнём шаагай. Также видел четырёхгранную палку манзы, которой били людей по ногам. Когда бай взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука — и я сам точно падал, — говорил разгневанный арат Озук. — Ещё сажали на острые камешки, сыпали конский волос в глаза, били кнутом сто раз.

— Я видел пытку саспылгой: палки вставляли между пальцами арата и, закручивая верёвку, давили ими на пальцы; также втыкали шило под ногти человека и сжигали сухой трут на спине арата. Невыносимые вопли людей, замученных девятью пытками, до сих пор звучат и в моих ушах, — вспомнил с волнением старик Опан.

— А по вечерам я слышал, как обвиняемые с донгу[1] на шее между собой очень тихо разговаривали: «Когда тебя сечь будут, ты, гляди, не сжимайся. Вдвойне больней, когда тело сожмёшь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было. И не надувайся, дыши вовсю или кричи. Ты это помни!»

Холурааша охватила волна злости, и со стиснутыми зубами он вымолвил:

— Какие причудливые, изощрённые пытки может придумать человек для человека!

Он знал, что зимой в прошлом году арат Калдар после пыток остался без рук за неуплату налога. Калдара привязали к внутренней стенке юрты, топили печь-суугу. Затем, перевязав руки около кистей тонким ремнём, высунули наружу через проделанные в кошме дырки и на кулаки лили воду. Кулаки очень скоро замерзли на морозе, превратившись в два куска льда. Чиновник нойона попросту отколол их от рук ударом палки...

Недалеко от юрты Чондан затянул песню:

Волку, сожравшему моего коня,
Сломать бы клыки.
Баю, избившему моего отца,
Выколоть бы глаза.

Араты слушали песню внимательно и сочувственно:

— Так это же сирота Чондан, у которого скончался отец от девяти пыток.

Хотя меня часто били шаагай,
Я никогда не сдавался.
Хотя на меня надевали донгу,
Я никогда не унижался.

Араты удивлённо переглянулись и наперебой воскликнули:

— Это кайгал[2] Комбу поёт! Он не сознался в преступлении и стойко выдержал все пытки. Комбу теперь невиновный, и весь его род освобождён от налогов.

В юрту зашёл старец Бадарчы. Поздоровавшись, похвалил всех:

— Ага, славно поработали для переработки шерсти в войлок. На ветвистом дереве птицы гнездятся, в доброй юрте народ собирается, — закончив чаепитие, поглаживая реденькую бородку, нюхал табак и, повернувшись к кайгалу-табунщику Сенгээ, спросил: — Не зря говорят: ветреное место узнают по деревьям, удалого молодца — по глазам. Расскажи-ка, молодец мой, кого встречал, что видел?

Ободренный его приветливыми словами, обеспокоенный Сенгээ с горящими глазами громко ответил:

— Из города Улясутай прибыли в Овюр маньчжуры, чтобы устроить суд над тувинскими аратами. Они приехали с караваном навьюченных верблюдов. Из-за огромных тюков, навешенных с обеих сторон на верблюдов, торчали только длинные шеи. Раньше я думал, что любой маньчжур-китаец — это богач или торговец, что у каждого за пазухой звенит серебро.

— Что, не так? — спросил арат Озук.

— У них тоже есть батраки, как у наших богачей. Грузчики, караванщики, ямщики, повара, прислуга. Кого только нет. Батраки носят короткие тон-халаты, сшитые из ткани и кож, выделанных из шкур косули и домашней козы. Состоятельные маньчжуры носят халаты из шёлка, а на макушке шапки сверкает шарик[3], — продолжил рассказ Сенгээ.

[1] Донгу – деревянный хомут.
[2] Кайгал – удалой молодец.
[3] Шарик – чиновное отличие правителя. Чангы или чейзен (глава управления) носил на шапке каменный шарик синий, хунду (старшина) – белый фарфоровый, чалан (чиновник особых поручений) – синий стеклянный, бижээчи (писарь) и бошка (десятник) – медный шарик.

— Как вели себя?

— Вели себя вызывающе, самодовольно, как будто на своей родине.

Услышав это известие, араты вскочили, вспрыгнули на коней и поскакали к своим юртам. Предусмотрительные араты, пытаясь избежать лишних хлопот, торопились откочевать подальше от аала, так как в их обязанности входило обеспечение жильём и пищей китайских чиновников, приезжающих для выколачивания податей из бедного народа. Араты не желали прислуживать грабителям.

Даже богачи, когда приходила весть о приезде чиновников из Китая[1], стремились куда-нибудь перекочевать, им не очень-то хотелось делать подношения, подарки, тем более что ценность зависела от статуса и чина. Особенно спешили поменять место кочевья те, у кого были красивые дочери или молодые жены. Опасно оставаться неподалеку от похотливых и вечно пьяных непрошеных гостей.

Холурааш вспомнил, как стал свидетелем несправедливости: китайский купец за большого быка, приведённого аратом Комбу на продажу, отпустил материи длиной, равной расстоянию от рогов быка до его хвоста. Получалось, что бык был отдан задаром. Араты давали купцу за иголку ягнёнка, за зеркало — барана, за плитку чая — бычка...

Китайские купцы предпочитали «торговлю в долг», так как по обычаю, установленному самими купцами, если покупатель не мог расплатиться в срок, его долг удваивался. Двойной долг арату отдать было ещё труднее, и он попадал в кабалу.

Как-то араты собрались в юрте Холурааша.

— Вы, наверное, помните, как проходил суд над храбрецами алдан-дургунами[2], которые посмели восстать? — с гордостью, но не скрывая сожаления, спросил Конгур.

— Как не помнить?! Помним, конечно! — заверили друг за другом араты. — Их всех поймали, увезли на Улаастай, долго мучили.

— Им всем отрубили головы. А потом эти головы шестидесяти беглецов привезли в Урянхай и развесили на шестах на перекрестках дорог, чтоб напугать народ, — сказал старик Опан. — О Боже, пронеси мимо нас эти жуткие времена.

— Алдан-дургуны — не беглецы, а богатыри. Шубу не надевая — замерзнешь, прошлого не зная — споткнёшься, верно в народе говорят, — сказал Конгур. — Бедный нищете не покорится, богатый золотом не насытится.

Всё чаще поминалось в разговорах, что предводитель шестидесяти богатырей Самбажык не был убит, а скрылся в стране русских и вот теперь собирается возвратиться в родные края. Почему же возвращение Самбажыка связывали со страной Орус? Да потому, что там, в стране русских, прогремела революция 1905 года, и отзвуки её докатились, хоть и с большим опозданием, до Урянхая. Под непосредственным влиянием первой русской революции в 1911 году вспыхнула революция в Китае, а поскольку Монголия и Урянхай находились под властью Китая, то и араты стали поднимать головы.

Однажды утром, словно свист плети, пронёсся слух по Монгун-Тайге:

— Китайские лавки грабят!

— Где грабят?

— В Овюре, также в Оюннарском и Салчакском хошунах...

Никто толком ничего не знал, но слухи были достоверными.

«Зачем мы грабим китайских купцов? — размышлял Холурааш. — Конечно, из-за того, что они жадные. Так им и надо! За бесценок скупают у аратов скот и пушнину, забирают у народа последнее».

Борьба против маньчжуров перекинулась из Китая во Внешнюю Монголию, а оттуда — в приграничные с Монголией районы Урянхая. Началось с малого — араты разгромили торговые фактории китайской фирмы Бо-Янь-боу в Эрзине и Тес-Хеме. Это встревожило не только купцов-китайцев и тувинских феодалов, но и чиновников белого царя в России.

Ни верховный правитель Тувы амбын-нойон Комбу-Доржу, ни главный хемчикский бай Буян-Бадыргы не знали, что ещё до этих событий иркутский генерал-губернатор докладывал царю: «Неудовольствие урянхов китайским режимом быстро растёт и может перейти в открытое восстание». Но тувинские чиновники не могли не почуять ветерка из монгольских степей, занявшегося от вихря в России.

---

[1] Приезд чиновников из Китая грозил возрастанием тяжести повинностей. Предоставление лошадей, вьючных сарлыков, ямщиков, юрт и провианта зависило от ранга чиновников.

[2] Восстание алдан дургун – шестидесяти богатырей – народное восстание в Туве в 1883-1885 годы. Алдан-дургуны – оскорблённые тиранством беглецы, смелые до отчаянности люди, выносливые, сильные, легко переносящие жару, холод и поездки с опасными переправами через бурные реки и через высокие горные перевалы, прирождённые охотники, борцы-богатыри против тиранов. Они же – угонщики табунов.

В пору сбора волчьей травы[1] года Мыши под вечер к юрте Конгура прискакал гонец:

— Война! Пусть Холурааш собирается.

Не сразу разобравшись, о чём прокричал гонец, Конгур собрался было выйти навстречу ему, но не дошёл и до порога, когда услышал удаляющийся топот копыт.

Севил, услышав слова гонца, заплакала и запричитала:

— Что я такое сделала? Едва пережили чуму и смерть Чинчи, теперь война. Всё проходит через мою юрту...

Холурааш направился к всезнающему Очуру. Нет места, где бы он не побывал, у него глаза зоркие, уши всё слышат, язык подвешен ладно. Не одному Холураашу пришло в голову наведаться к Очуру. Собралось у него порядочно народу, и разговор шёл, видать, давно. Среди аратов выделялись широкоплечий Сойту и коренастый Комбуй из рода Хертек. Про таких, как эти два арата, говорят: если встанет, то высок, если схватит, то силен.

Часто в разговоре аратов повторялось одно слово — Хомду (Кобдо). Слово это в последнее время на все лады склоняли по тувинской земле. Холурааш ни о чём не расспрашивал, только слушал. И дождался в конце концов, когда всё для него стало ясно.

— Монгольские араты попросили, чтобы мы помогли им выгнать маньчжуров из Хомду, — сказал Очур.

— Помогать надо, — согласился Холурааш. — Скот скоту пара, арат арату друг. А далеко этот город Хомду?

— Далеко.

— А что бы ты сказал, если бы тебе предложили ехать на войну? — спросил Холурааш.

— Пришлось бы ехать.

— Почему?

— Потому, что просят монгольские араты.

— Верно, Очур. Правильно ты рассуждаешь. Вот так бы и объяснили людям... А то прискакал, проорал: «Война!» — и думай что хочешь...

Из Монгун-Тайги в Кобдо решили добровольно ехать трое: Сойту, Холурааш и Комбуй. Возвратившись домой, Холурааш успокоил своих:

— Монгольские араты попросили помочь. Мужчине нужно порох нюхать, а не дно пиалы. Война — мужская доля. А помирают на войне не все.

— Ручьи сольются — река, люди соединятся — сила. Надо ехать! — сказал Конгур.

Разговоры о войне поутихли, но тут же вспыхнули с новой силой, пошли разные слухи. Одни говорили, что всех, кого будут отправлять, полностью снарядят баи. Другие говорили, что сами богачи воевать не поедут, им про войну услышать только — языки побелеют от страха, зато каждый бай, чтобы самому на войну не ехать, должен снарядить пятерых аратов. Разные ходили слухи... На сборы дали десять дней.

— Полностью снарядят баи? Они этого не сделают. Самим надо готовиться. Нужно готовить одежду, пищу, коня и оружие, — сказал Конгур.

— Что из пищи лучше брать и как перевозить? — спросил Холурааш у отца.

— Воины и охотники всегда перемещались верхом на конях, пищу перевозили в таалын (перемётной сумке). Удобная вещь — таалын: перекинул через седло, привязал, — покуривая трубку, объяснил Конгур. Достав курут (сушёный сыр), одно ведро далгана (перемолотого ячменя), смешанного с двумя пиалами рассыпчатого сушеного творога, и топлёное масло в прокопчённом желудке барана, Конгур сказал: — На первый месяц этого хватит. Твой любимый кара-кадык приготовим.

— Всё это помещается в таалын? — удивился Холурааш.

— Да, сынок. Я на охоту больше месяца беру хенме (высушенное мясо быка). Оно умещается в сушеной сердечной сумке вола.

Севил подарила внуку когээржик (кожаную фляжку) емкостью до 10 литров, она сама шила её из кожи, и сказала:

— В нём будешь перевозить в седле воду, кумыс и другие напитки. От встрясок в седле вода хорошо перемешивается с ааржы. Этот кисловатый напиток прекрасно утоляет жажду и частично голод. Сейчас приготовлю сыр для длительного хранения. Он долго не портится.

В это время Анай на очаге нагревала котел с ореме — со сливками молока сарлыка. Вот образовалась смесь из сливок с остатками молочного белка в виде белых хлопьев. Чтобы очистить топленое масло от этих белков, Анай добавила в него немного далган

[1] Волчья трава – «казак трава». Траву собирали во второй половине лета, с появлением ягод, сушили в тени. Отваром из травы лечили гастриты. Трава входит в состав мази, применяемой для лечения ран.

с уургене (растение — живородная гречишка) — получился чокпек, то есть каракадык. Далган связывает белковую взвесь, которая оседает на дно котла. Масло Анай аккуратно слила, а смесь, осевшую на дне, собрала в прокопченный желудок барана. Вот и готов кара-кадык.

Севил слегка нагрела в котле молоко сарлыка. Затем, постоянно мешая, влила небольшой струйкой хойтпак (типа простокваши). Как только белковая масса свернулась, удалила сыворотку, сняла котел с огня и начала мять сырную массу черпаком на стенке котла, выжимая из массы остатки сыворотки. Затем сырную массу обезвоживала под прессом в мешке (таар), придав ей форму квадрата, и оставила на некоторое время. После того как сыр под грузом затвердеет, вынимала его и укладывала на деревянную доску в тени под кроватью на хранение.

Вечером Анай около юрты разводила костер в ямке, на дне которой лежали камни, собранные у реки. Конгур с Холураашем ножом разделывали по суставам тушу барана, стараясь снять все мясо с костей. Нарезали мясо удлиненными ремешками толщиной в два илиг (толщина двух пальцев). Пока они разделывали мясо, Анай на костре готовила пищу. Затем всё мясо нанизывали на шампуры. После того как костёр прогорел, над ямой разложили шампуры с мясом.

— Раскалённые камни будут долго хранить тепло, так мясо за ночь высушится, сынок, — сказал Конгур.

Наутро Холурааш собрал всё и уложил в переметные сумки. Теперь одна надежда на своего вороного коня Дас-Кара.

— Я боюсь. Мой конь выдержит ли?

— Конечно. Конь способен перевезти и тебя, и таалын. Самое главное — оружие! Подумай, что тебе нужно брать, — сказал Конгур.

— Лук со стрелами, нож, ружьё, что ли? — спросил Холурааш.

— В первую очередь, бери наше охотничье ружье. Пригодится и лук. Всадник, вооружённый луком, верхом на резвом скакуне в ближнем бою имеет преимущество перед противником, вооруженным холодным оружием.

— Луком вооружается воин, рассчитывающий только на свои силы, а я...

— Ну ладно, оставим лук со стрелами. В сложном положении ты рассчитывай только на себя. И запомни, за твоей спиной твоя бабушка, я, Анай.

— Ну как мой кош бижек[1]? — Холурааш прохаживался перед отцом с большим ножом в ножнах из рога, заткнутым за пояс сзади, справа налево.

— Хорошо! — выняв из ножен большой нож, Конгур проверил его лезвие. — Нож нужен острый, а слово — меткое.

Нож имел стальной клинок длиной чуть более ширины талии Холурааша. Отец подарил сыну свой кестик — малый нож. Этот клинок с тонким, очень острым стальным лезвием использовался как бритва, им снимали шкурки с меховых зверей, кастрировали животных, выполняли шорные работы. Затем Конгур достал из чехла старинное ружьё с нарезным стволом, самодельным цевьем и маленьким прикладом. Спереди к ружью была приделана пара сошек.

— Оперев на сошки ружьё, твой дед метко посылал в цель маленькие свинцовые пульки. Жаль, свинца не достать, — Конгур поставил ружье на сошки, нащупал рожок, заправленный порохом, и присоединил его к охотничьей сумке. — В рожке имеется запасная пуля. Ею зверя, тем более человека, не убьешь, разве что раненого прикончишь, — привычным движением наполнил из рожка порохом черную метку, подсыпал на полку, выждал мгновение. — Настала пора выстрелить, но не выстрелю, пули жалко. А теперь одежду проверим.

Холурааш был одет в короткий халат, сшитый из выделанной шкуры косули. Халат так скроен, что облегчает посадку в седло. Холурааш оборачивал шелковый пояс красного цвета поверх халата по-своему: вначале один конец пояса, обернув вокруг талии, фиксировал сбоку простым узлом, дважды обернув одну часть ткани вокруг другой. Опора, сформированная поясом, позволяла защитить позвоночник при верховой езде, также легко переносить резкие толчки и удары.

Холурааш носил безрукавку из шкур рыси мехом внутрь, отороченную по краю полоской шкурок козлят, и довурзак (шапку полукруглой формы) из выделанной шкуры тарбагана.

Бабушка сшила внуку новый хевенек — плащ с рукавами. Он обрадовался, примерив:

— Очень мне подходит и легче, чем моя другая одежда.

— Хевенек шила из ягнячьей шерсти осенней подстрижки, — с гордостью сказала довольная Севил.

Холурааш носил штаны из выделанной кожи косули. К штанам Анай сшила угдешки

[20] Кош бижек – большой нож.

(штанины из кожи козы) со швом с внешней стороны. Угдешки защищают ноги наездников от дождя, снега, от ударов о стволы деревьев и от колючего кустарника. Их надевают поверх сапог и штанов. Они крепятся к брючному ремню шнурками из кожи.

Обут был Холурааш в кадыг идик — жесткие сапоги с поднятыми вверх носками. Эта обувь предназначена для облегчения разного рода действий на скаку и защиты ног от оружия противника. Голенища сапог из толстой, твердой кожи снижают нагрузку на голеностопный сустав. Вздернутый носок сапога в сочетании со связанными под брюхом коня стременами служил для наилучшего удержания всадника верхом на коне, уберегал от опрокидывания назад на круп коня в случае захвата арканом, также позволял выполнять глубокие наклоны и повороты в обе стороны на скаку. Носили сапоги со стельками из сарыг-сиген — травы, растущей на южных склонах гор, а зимой их носили с кидис ук — войлочными чулками.

В пеших переходах, на стоянках Холурааш переобувался в чымчак идик — мягкие сапоги, изготовленные из мягкой выделанной кожи с подошвой из толстой кожи, взятой из шкур с шейной части быков. В летнее время мягкие сапоги он носил, особым образом обернув ногу сухой травой.

Предварительно совершив камлание, Конгур вытащил из выдвижного ящика сундучка камни чат[1] в специальном кошеле из шкур.

— Для того, чтобы вызвать жару, камень чат нагревают над пламенем или углями, после чего кладут куда-либо, предварительно завернув в шерсть или войлок. Чтобы разогнать тучи и непогоду, чат кладут на раскрытую ладонь и дуют «через него» в разные стороны, как бы раздувая тучи. Если хотят вызвать дождь, то кратковременно подвешивают камень на шнурке над поверхностью вод ручья. Если хотят вызвать ливни, за которыми следует наводнение, то кладут камень в горный ручей. Обнаружив такой камень, брать его просто так нельзя. Если это сделать без камлания, то он принесет несчастье человеку. Теперь, после моего камлания, ты можешь взять камни. Они должны защитить тебя, Сойту, Комбуя от пуль. Бери лекарства. Бери довук[2], сушеную плазму, струю кабарги, панты[3]. Довук слегка утоляет голод. Струю кабарги, панты применяют для быстрого восстановления сил.

Высушенную плазму Холурааш положил в небольшой мешочек из шкуры козы.

Сушеную плазму готовили так. Осенью, с наступлением холодов, во время забоя скота на зиму собирали конскую кровь, сливали её в деревянные вёдра, давали отстояться. Через некоторое время кровь расслаивается, сверху собирается плазма светло-жёлтого цвета, внизу — густая тёмно-красная масса. Аккуратно собрав плазму, сливали её в сосуд и сушили, оставив в деревянном корыте на некоторое время в юрте.

— Перед употреблением плазму разведи в тёплой воде либо употребляй в сухом виде, положив несколько крупинок в рот. Плазма, хвост маралухи помогут в случае переутомления и голода, — напомнил Конгур.

Хвост добытой маралухи сразу отделяли вместе со шкурой, сбривали шерсть острым ножом и сушили, подвесив под потолком в юрте.

— Отрезай небольшую пластинку ткани хвоста маралухи и, тщательно прожевав, глотай. Ткань хвоста маралухи также толкут в ступе, полученный порошок смешивают с тёплой водой и пьют. Вечером не пей чай из золотого корня. Из-за сильного прилива энергии трудно будет уснуть — учащается сердцебиение.

В таалын Холурааш положил: довук, хвост маралухи, струю кабарги, желчь тарбагана, когти медведя, хая чугу (мумие), панты, разные травы и корни, среди которых он особенно ценил золотой корень и волчью траву. И положил ещё курут — особый вид сушеного творога.

Перед самым отъездом в Хомду Конгур обратился к Холураашу:

— В бою кровь льется, в горах ветер дует. Ты у меня многому научился. Многое знаешь, как лекарь. Но ты слишком раздёрган, на себя не похож.

— Переживаю из-за войны, отец.

На берегу реки, на необычном месте Конгур развёл невысокий костёр, длиной около кулаш, шириной пядь. Холурааш, искупавшись в холодной воде, спросил:

— Что теперь?

---

[1] Камни чат – небольшие камни белого и голубоватого цвета длиной 2 или 3 илиг, напоминавшие изделие из стекла с тремя гранями, обладающими магическими свойствами.

[2] Довук – коленная чашечка животного. Во время длительных переходов или ожиданий в засаде, чтобы не выдать своего присутствия дымом костра при приготовлении пищи, воины и охотники сосали вареную коленную чашечку барана.

[3] Панты – неокостеневшие рога марала. Добыв весной марала, срезали панты. Сняв с рогов тонкую шкуру, рубили на куски длиной 15-20 см и сушили. Высушенные куски рубили на тонкие пластинки. Когда наступала усталость, но необходимо было продолжать движение, воин брал пластинку высушенных пантов в рот и сосал во время движения. Это придавало силы.

— Перешагивай огонь десять раз.

Холурааш шагал через костёр с юга на север. Обойдя по солнцу, шагал снова, приговаривая:

Сожги, съешь болезни и наветы,
Которые горят.
Отгони те, которые не горят.
Мы вместе — едины, огонь.

После купания в холодной воде и последующего шагания через костёр Холурааш успокоился, стал уверенным в себе.

Время отъезда настало. Холурааш подумал: «Времени не скажешь: подожди. Половодью не скажешь: постой».

— Будь бодрым в пути, — поучала внука бабушка в дорогу. — В Чаданском хурээ помолись от моего имени за мертвых и живых. Не будь одиноким, с друзьями будь. Наглость человека валит, скромность окрыляет.

— Будь осторожным в пути, — наказывал сыну Конгур перед дальней дорогой. — У тебя много друзей. Вернёшься в Монгун-Тайгу и увидишь ещё нас. Это время уступит место новому времени.

— Береги себя! — черёмуховые глаза любимой Анай заблестели.

Анай повернулась к мужу спиной и стала смотреть на гору Монгун-Тайга. Тогда Холурааш вспомнил свою маму перед отъездом в целебный источник и подумал: «Как похожа Анай на маму!» Когда она повернулась, увидел мокрое от слёз лицо. Нежно проговорил:

— Не надо, Анай!

— Не беспокойся за меня, — в глазах жены ещё стояли слёзы, но она уже улыбалась. — Всё будет хорошо. Ты вернешься к нам.

— Какие родители, такие и дети, — сказала напоследок Севил. — Не могут они плохими людьми стать. Войлок растягивается, человек растет. Ты, Холурааш, мужчиной становишься.

Он уже вставил ногу в стремя, когда отец нашёл прощальные слова:

— У птицы — гнездо, у человека — родина. Тебя твоя родина Монгун-Тайга будет ждать. Вернёшься к нам.

Холурааш тронул коня, прощаясь:

— Священная моя Биче-Монгун-Тайга, я сегодня уезжаю на войну, моя прекрасная земля. Жди меня. Я вернусь с победой!

Конгур провожал сына песней каргыраа[1]. При его пении сын слышал такой звук, как будто скалы гудят, гремят, разрушаются, и подумал: «Вот откуда в каргыраа очень ощутимы мощь и величие гор». Эпическое пение отца вдохновляло сына на победу.

Картина 2. ДОРОГА В ЧАДАН

Холурааш и два монгун-тайгинских арата, Сойту и Комбуй, посланных на войну, ехали верхом на своих конях. Сойту и Комбуй выехали из родных мест впервые и смотрели вперёд. В сердце Холурааш питал надежду: «В этой войне мы победим!»

Растерев зелёные листья можжевельника между пальцами, он любил вдыхать его сильный, необычайный запах и думать о неведомых странах. Заливалась кукушка. Холурааш подозвал спутников и достал из-за пазухи тона кожаный мешочек, затянутый шнурком. Вытащил из него волшебные камни и положил их на ладони Сойту и Комбуя.

— Это волшебные камни, оберегающие вас от пуль, храните их в надежном месте, — сказал сын шамана.

Миновали крутые перевалы и бурные реки. На горизонте распахнулись широкие дали. На лошадях переправились вброд через реку Каргы и направились к перевалу Саадак — небольшой седловине на бурой стене хребта Цаган-Шибэту. Постепенно они достигли подножия хребта и вошли в глубокую лощину. Перебрались с травянистых склонов хребта на голые скалы из выветрившегося песчаника, по которым пологими витками была проложена тропа. Наконец-то достигли седловины перевала Саадак и увидели по обе стороны тропы на самом перевальном гребне две большие кучи камней с жердями — оваа. Всадники слезли с коней, любуясь красотами родной земли. Разминая ноги, с наслаждением вдыхали чистый, богатый горными ароматами воздух. Разбрызгали молоко из когээржика, разбросали кусочки еды по ходу солнца, прося милости у хозяев гор. Каждый привязал к жердям волосы из гривы своего коня.

На вопрос Сойту:

[1] Каргыраа – стиль горлового эпического пения.

— Откуда взялось название перевала Саадак? — Холурааш ответил:

— Говорят, что название Саадак связано с колчаном, охотничьей сумкой, оставленной на этом перевале одним охотником. Но если посмотреть на перевал со стороны, то он выглядит, как саадак — лук со всеми принадлежностями.

Отсюда, с вершины перевала, хорошо были видны соседние хребты: Танну-Ола — на востоке и Сайлыг-Хем — на западе, на границах Алтая.

— Ваши близкие соседи — с Алтая. Вы, наверное, хорошо говорите по-алтайски? — спросил Комбуй.

— С алтайцами не только дружим, но и становимся сватами, кровными родственниками. Алтайский язык мне как родной, — с гордостью ответил друзьям Холурааш.

— А мои родственники в Шегетей дружно живут в соседстве с монголами, вместе пасут отары, общаются по-монгольски, — сказал Комбуй.

Хребет Цаган-Шибету, на котором они стояли, был соединительным звеном и шел параллельно западным отрогам Танну-Ола. Прямо к югу от них возвышалась великолепная белоснежная Монгун-Тайга.

Сделали небольшой привал на гребне. Укрылись за скалами от резкого, холодного ветра. Отдохнув, начали спуск, ведя лошадей шагом. Тропинка сперва шла по альпийским лугам, потом начали попадаться отдельные лиственницы. Чем ниже они спускались, тем чаще стояли деревья, и очутились в настоящем лесу, сплошным покровом одевавшем крутой северный склон хребта. Тропинка спускалась то по крутым откосам, обходя неустойчивые осыпи, то пересекая уютные лесные полянки и ручьи, с шумом устремляющиеся вниз. Постепенно оказались на дне глубокого ущелья и поехали по течению протекавшей в нем бурной речки. Глухая теснина была очень живописна. Вся она заросла густым лесом, и путники ехали у самой воды под раскидистыми ветвями лиственниц.

Теснина вывела их в более широкое ущелье. По его дну текла горная речка, вдвое шире той, по течению которой они спускались. Переправившись на другой берег, устроили большой привал, чтобы идти дальше без промедлений до остановки на ночь. После привала начали подниматься лесом, на этот раз вверх по течению реки, к которой привела их узкая теснина. Теперь продвигались быстрее — верхом.

Размашистым шагом шли лошади лесом и лугами по берегу реки, всё выше и выше к перевалу. Иногда лес раздвигался, и раскрывались просторы богатых горных пастбищ. Чем ближе продвигались они к перевалу, тем больше лес уступал место лугам. На заходе солнца путники выбрали место на краю последней рощи, дальше видны были только луга.

Вечер выдался чудесный — тихий, солнечный и теплый. В ласковых лучах заходящего солнца золотились верхушки огромных лиственниц, а еще выше горели багровыми отсветами уходящие в небо крутые откосы Танды-Уула. Голубым столбом поднимался дым костра, для которого совсем не нужно было экономить топливо, как в юртах. Скоро погасли вершины гор, стерлись краски далей, и в наступившей темноте еще теснее сомкнулись вокруг костра освещенные его отблесками могучие стволы деревьев. После ужина и чая, полной грудью надышавшись за день воздухом гор и лесов, они заснули мирным сном.

Среди ночи, ворочаясь с одного бока на другой, сквозь сон Сойту слышал, что будто идет дождь. Не успев разобраться, он снова уснул. Его разбудил громкий голос Холурааша:

— Кошмар! Нет, вы только посмотрите — что вокруг делается...

Комбуй и Сойту, проснувшись, увидели белые мохнатые деревья на краю необозримого полярного простора. Всё вокруг них — лес, луга и склоны ущелья — все было занесено толстым слоем свежего снега. Легли спать летом, а проснулись среди зимы. Они знали, что летом такое случается в Монгун-Тайге.

С наступлением утра снег, лежащий на ветвях деревьев, начал подтаивать. Сверху на них лились струйки воды, то и дело падали холодные мокрые лепешки снега. Путники бродили в поисках сухих веток и коры по мокрым, заваленным снегом кустам. С трудом разожгли костер. Такой обильный снегопад гораздо хуже внезапного ливня. Всё вокруг промокло насквозь.

На завтрак и утренние сборы ушло больше времени, чем обычно. Наконец, взгромоздив на мокрых лошадей вьюки, они влезли на седла — именно влезли, потому что «вскочить в седло» в промокших одеждах и обуви было абсолютно невозможно.

Смешавшись с грязью, талый снег превратил тропу в сплошное болото, в котором вязли копыта лошадей. В особенно трудных местах приходилось спускаться с седла и проводить лошадей в обход, не выпуская повода.

С перевала дул леденящий ветер, серые тучи грязными клочьями неслись над головами, все вокруг было суровым и унылым. Безотрадными казались в это утро заснеженные леса и горы. Еще вчера окружавшая природа была такой приветливой

и радостной.

Дойдя до верховьев ущелья, они попали в настоящее царство зимы. Стало еще холоднее, но обрадовались этому, потому что выпавший за ночь снег здесь не таял. Шагали, проваливаясь по колено в сугробах. Разметаемый ветром сухой снег струился по дну ущелья и шуршал, как мелкий колючий песок. Но всё-таки это было лучше, чем скользкая снежная жижа, которую они преодолели с трудом.

Мимо черневших на склонах скал они начали круто подниматься вверх к перевалу. Всякие признаки дороги здесь исчезли под глубоким покровом снега. Холурааш, взявший на себя роль проводника, кое-как находил петли и повороты тропинки. На подъеме всем пришлось спешиться и карабкаться все выше и выше. Стараясь не отстать от идущего впереди, Сойту и Комбуй упрямо лезли вверх, стремясь равномерно дышать и прятать лицо от порывов ветра. Наконец, они дошли до крутого обрыва. Холурааш остановился в раздумье. Комбуй, к которому он обратился за советом, только пожал плечами и ничего не ответил.

— Ходил здесь всего один раз летом, тогда снега не было, — сказал Холурааш.

Понурив головы, сгрудившись в кучу, лошади стояли на краю обрыва, спуститься с которого могла бы только птица. Все молчали. В такое время мысль работает лихорадочно в поисках единственно правильного и возможного выхода. Холурааш подумал: «Я так не блуждал, снег, метель заставили».

— Мы заблудились. Не зря говорят: не хочешь заблудиться — по сторонам посматривай, не хочешь ошибиться — других людей расспрашивай. Надо поискать знаки — пирамидки на камнях. А для этого нужно вернуться назад, — Холурааш решительно повел спутников обратно.

Всматриваясь в следы, он вел их по валунам и снежным ямам, через ледяные ручьи и сугробы, пока они не очутились в том углу плато, по которому кружили еще до того, как спустился туман. Им казалось, что прошло много времени. Теперь туман развеяло ветром, снова началась пурга. Подождав, пока все соберутся в одном месте, Холурааш попросил Сойту не отходить от лошадей ни на шаг и, взяв с собой Комбуя, пошел на разведку.

Сквозь сетку летящего со всех сторон снега Сойту видел, как Холурааш и Комбуй, взявшись за руки, перебираются через завалы, занесенные снегом. Они шли по широкому кругу, в центре которого виднелась группа лошадей и Сойту. То и дело останавливались около больших валунов и руками разгребали наметы снега на их верхушках. Иногда оглядывались, чтобы не потерять Сойту с лошадьми из виду, и снова шли дальше. Наконец, из белесой мглы, в которой Сойту едва различал два темных движущихся пятнышка, донесся голос Холурааша:

— Сойту, сюда подходи! Есть знак!

Когда Сойту приблизился, торжествующие Холурааш и Комбуй показали ему целых три знака — маленькие, явно сложенные руками человека пирамидки камней в снегу на больших валунах. Это, действительно, были приметные знаки, выложенные на перевальной тропе. Они указывали им направление. Выход с плато был найден, и, не теряя времени, они двинулись туда.

Холурааш ехал впереди на своем коне и время от времени нагайкой сбивал с валунов снег. Верность направления подтверждали каменные пирамидки под снегом. Втроем поднялись на острый гребень, перевалили его и спустились в укрытую от ветра лощину, сделали небольшую остановку, покурили. Потом снова шагали по снегу или ехали верхом, поочередно. Теперь, когда дорога была найдена, почувствовали, что окоченели.

Снегопад прекратился, всадники двигались в туманной мгле, осевшей на вершины облаков. Постепенно туман стал редеть и принял золотистый оттенок. Неожиданно вышли на кромку облачной завесы — на снежное поле, залитое светом солнца, яркость которого, после блуждания в сумраке бурана, показалось необычной. Далеко впереди, во всю ширь горизонта, перед ними открылась обширная лесная долина реки Барлык. Смотрели на первую открывшуюся им землю: над лесами сияло голубое небо. Из зимы они снова шагнули в лето.

Проваливаясь в глубокий, растопленный солнечными лучами снег, всадники спустились на зеленую лужайку под грядой скал и, наконец, вздохнули полной грудью. Невдалеке, немного ниже луговины, начинался лес. Однако добраться до леса оказалось не так-то просто. На спуске по луговине они попали в согру — болото, встречающееся в горах. Холурааш вспомнил: «Согра, как в перевальных котловинах Алтая, у линии вечных снегов».

О том, что они забрели в согру, узнали только тогда, когда лошадь Холурааша, шедшая первой, провалилась передними ногами в глубокую яму, оказавшуюся на безобидной на вид зеленой лужайке, покрытой низкорослой травой. Холурааш едва не вылетел из седла через голову лошади. Вслед за тем лошадь Сойту сделала вдруг

отчаянный скачок, поскользнулась на скрытом в предательском болоте валуне и чуть было не опрокинулась на бок. Опасность согры была именно в этих скрытых в болоте округлых камнях, лежащих в напитанной водой траве, на каменной «подкладке». Неудачный шаг на согре может грозить человеку или лошади переломом ноги. Чтобы не рисковать, они немедленно свернули и обошли согру стороной, сделав большой крюк.

Опушка леса, до которой они в конце концов добрались, была еще слегка припудрена снегом и не располагала к привалу. Сделали его значительно ниже, под кедрами. Глухой таежный лес окружал их со всех сторон, спускаясь по склонам долины реки Тоолайлыг. Согревшись и отдохнув после блужданий по плато, они продолжали путь вниз по лесистой долине Тоолайлыга.

Тропинка, теперь опять заметная и хорошо утоптанная, шла мрачным заболоченным северным лесом среди лиственниц, кедров и елей. Изумрудные ковры мхов покрывали землю, сгнившие пни и поваленные стволы старых деревьев. Зеленый рассеянный свет пробивался сквозь кроны лесных гигантов, смягчая контуры скал, скрадывая формы и краски. В лесу стояла торжественная тишина. Ехали молча, стараясь на крутых спусках придерживать лошадей, чтобы не натолкнуться на деревья.

Постепенно слух стал различать какой-то равномерный, глухой шум. Он становился все громче, все яснее, лесные заросли раздвинулись, и они вышли на заросший кустарником берег реки Тоолайлыг.

— Почему реку называют Тоолайлыг? — полюбопытствовал Сойту.

— Здесь можно встретить много диких зайцев, потому и назвали Тоолайлыг. На самом деле ведь Тоолайлыг — родина зайцев, — улыбаясь, ответил Холурааш. Как раз в это время заяц метнулся из кустов и понесся прямо, прижав уши. — За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий видный след. Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его тотчас бы нашли по следу и поймали; но заяц труслив, и трусость спасает его.

— Каким образом трусость спасает его? — спросил Сойту.

— Заяц ходит ночью по полям и лесам без страха и прокладывает прямые следы; но как только приходит утро, враги его просыпаются: заяц начинает слышать то лай собак, то голоса охотников, то треск волка по лесу и начинает от страху метаться из стороны в сторону. Проскачет вперёд, испугается чего-нибудь — и побежит назад по своему следу. Ещё услышит что-нибудь — и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. Опять стукнет что-нибудь — снова заяц повернётся назад и вновь поскачет в сторону. Когда светло станет, он ляжет. Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двойным следам и далёким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить. Он только всего боится.

Тропа упиралась в воду и снова, на другом берегу, уходила в лес. Поперек их пути по крутому, заваленному камнями руслу с ревом неслась бурная горная река. Это был первый серьезный брод.

Во время верховой переправы лошадь Сойту замешкалась на середине реки, и ее едва не унесло течением. Увидев, что река тащит лошадь по дну к гряде скал, с которых струи Тоолайлыга срывались водопадом, Холурааш пустил своего коня в реку и, ухватив потерявшую равновесие лошадь за гриву, снова рванул коня к берегу. Этот рывок решил дело, и вьючная лошадь с Сойту, найдя под ногами грунт, выбралась на берег.

После переправы они продолжали спуск лесом по долине Тоолайлыга. Постепенно лес стал заметно редеть, и крутая узкая тропинка превратилась в полого спускающуюся колесную дорогу. По этой дороге продвигались довольно быстро. Когда в лесу погасли красноватые лучи солнца, выехали на лесную опушку. Перед ними расстилалась широкая зеленая долина реки Барлык.

Сумерки уже окутали дали голубоватой пеленой, сделали неразличимыми контуры окружающих долину гор, но вблизи все было еще ясно видно. Они ехали шагом, осматриваясь по сторонам, чтобы выбрать место для ночлега. Вдруг Холурааш остановил лошадь и сполз с седла на землю. Он нагнулся и воскликнул:

— Да ведь это менги чечээ (эдельвейс). Вот уж не думал встретить их здесь, в долине, да еще в таком количестве...

И в самом деле, везде вокруг них в траве светлели пушистые звездочки эдельвейсов. С малых лет Холурааш познавал законы тайги. Одним из первых воспоминаний детства живёт в нём встреча с чудом — эдельвейсом. Он навсегда сохранил воспоминание в душе своей, а с ним и душевную открытость чуду.

Искать место для ночлега долго не пришлось. Проехав еще около ста шагов, увидели ровную площадку на берегу реки, с трёх сторон окруженную лесом.

— Для костра в нашей юрте я собираю инек-мыяа (сухая коровья лепёшка), коржен (кизяк), а здесь так много сухих дров, что можно всю ночь жечь костёр, — обрадовался

весёлый Сойту.

На опушке было такое количество сухого, смолистого бурелома, что в этот вечер зажгли большой костер. Пламя ярко осветило стену лиственничного леса и мягкую просторную лужайку, усеянную эдельвейсами. Вокруг костра соорудили козлы из длинных жердей и развесили на них насквозь промокшую одежду. Как приятно сидеть у веселого огня, рассыпающего вокруг тысячи сверкающих искр, греться и забывать оставшееся позади мрачное плато перевала.

Проснувшись, увидели необычайно роскошную долину Барлыка в такое тихое, солнечное утро. Во всю ее ширь по зеленым лугам живописно разбросаны маленькие рощи и отдельные кудрявые деревья. Особенно очаровало сочетание луга с лесом. Далеко на юге, в верховьях реки, ярко выделяясь на безоблачном синем небе, сияли снега хребта Танды-Уула. Оттуда полноводный Барлык нес свои струи, сверкавшие в переливах золотых бликов.

Все выше поднималось по небосводу солнце, природа просыпалась. Позавтракав, стали собираться — до Чадана предстоял еще далекий путь.

Скоро «долина эдельвейсов», как они окрестили эту местность, осталась позади. Ехали все по тому же берегу реки, направляясь к главной переправе вброд через Барлык. Впереди, справа и слева, открывались виды один привлекательнее другого. Перед ними лежала долина Барлыка.

Время от времени они пересекали ручьи и маленькие речки — притоки Барлыка, текущие в тени густой уремы. В этих боковых долинках тут и там виднелись юрты аратов, приютившиеся на краю лугов, и стада на зеленых склонах.

Потом дорога свернула к реке — к главному броду. Барлык был гораздо шире той реки, через которую они переправлялись накануне, но он не летел с такой бешеной стремительностью по крутому руслу среди скалистых обрывов — течение его было спокойнее. Однако тут возникло другое затруднение — Барлык оказался значительно глубже. Для того чтобы попасть на пологий участок противоположного берега, нужно войти в поток не напротив этого места, а гораздо выше. Понятно, что, пока лошадь будет плыть до другого берега, течение отнесет ее далеко вниз.

Холурааш вспомнил переправу через Барлык с Шавар-Бады и прошептал:

— Оршээ хайыракан! (О, боже!) Похоже, что нам нужно переправляться через реку кипящей лавы...

Покрикивая на лошадей, всадники направились в круговерть реки. Сквозь шум воды слышался грохот катившихся по дну камней. На этот раз переправа происходила гораздо медленнее. Дожидаясь своей очереди, Сойту сидел на берегу и смотрел, как, все время борясь с течением, лошади Холурааша и Комбуя, также и его конь пересекали реку.

Когда пришла очередь замыкающих, Холурааш приехал за Сойту.

— Сойту, подними ноги выше и держи их на уровне седла! — сказал Холурааш, когда Сойту уселся позади него.

Положение Сойту на лошади стало еще более неустойчивым. Холурааш направил коня в реку, и медленный их переход начался. В сверкании и суматохе бликов и золотистых огней движение казалось еще более медленным. Они достигли середины реки. Вода поднималась все выше и выше и дошла до седла. Еще немного, и она сомкнется над лошадью.

С берега донесся крик. Сквозь струи воды, бьющие в лицо, Сойту увидел Комбуя. Тот стоял с арканом в руке на самом краю манящего берега, готовый помочь им...

Воля всадника переборола упрямство коня. Направляемый сильной рукой Холурааша конь бросился в бурлящий поток. Однако рывок был таким сильным, что конь тяжело осел в воде на передние ноги. Издавая пронзительные крики, Холурааш тянул за повод, задирал коню голову выше поверхности воды, не давая ни секунды передышки. Конь бил ногами, вздымая столбы брызг и пены.

Был момент, когда конь, видимо, оторвался от дна и поплыл, но в следующее мгновение Сойту почувствовал толчок, и седло высоко поднялось из воды — Холурааш отправил коня на отмель. Через несколько секунд три друга обнялись на желанном берегу.

— Испугавшись за вас, я сразу схватился за аркан! — все повторял Комбуй, не выпуская их из объятий.

Последнее препятствие на пути к Чадану было преодолено. Теперь ехали по долине Барлыка, по лужайкам и перелескам.

И вот позади верховья Барлыка и Тоолайлыга — самые гористые, крутые места Монгун-Тайги. Эти реки таят внутри себя исполинские силы и весной при таянии снега и ледников обретают такую мощь и бурный нрав, что огромные валуны, размером с корову, катятся по их руслу вниз, как щебенка, издавая страшный грохот и рокот, создавая на своем пути каменные завалы и груды причудливых нагромождений, за-

крывая некоторые перевалы.

Проскакали через степь в Саглах. По дороге проезжали красивые места: природа ведь всегда нарядна — и в дни тревоги, и в дни надежд.

Прибыли в Чадан.

Чадан — центр двух Даа и Бээзи кожуунов. Большая часть деревни состояла из юрт, а в деревянных домах жили только китайские и русские купцы. Даже чиновники кожуунного правления отбывали службу в юртах. Деревня и в обычное время бывала многолюдной. Когда же Чадан определили пунктом сбора тувинского войска, народу в нём сразу прибавилось в несколько раз.

Человек, впервые очутившийся тут, тем более если он приезжал из глухой, отдалённой Монгун-Тайги, просто шалел от шума и суеты. Взад-вперёд скачут всадники, лают собаки, ревёт скот. Хоть уши затыкай!

Самое сильное впечатление производили, конечно, буддийские храмы Верхнего и Нижнего Хурээ — знаменитого чаданского монастыря. Невысокие здания, казалось, взмывают к небу. Ярко раскрашенные, вздернутые кверху углы легких крыш походили на ламские шапки. На самой верхушке крыши торчала медная шишка, словно на шапке у чиновника, на всех четырёх углах тоже было по шишке. Рядом с хурээ было много построек, где жили и учились молодые ламы. По всей опушке привязаны лошади на арканах. Самые знатные баи расположились близко к хурээ, во дворе, а беднота — в лесу. Во дворе хурээ находилось много лам, у каждого через плечо была повязана широкая красная лента, а конец её замотан вокруг пояса.

Холурааш, Сойту, Комбуй вместе с толпой продвигались всё дальше, вглубь хурээ. Там стоял густой дым от разных благовонных курений, из этого дыма на людей глядели страшные рожи зверей с разинутыми пастями. Некоторые золотые изображения сверкали. Люди, проходя, стукались об этих идолов лбами, стукнулся и Холурааш. Что творилось в его душе — объяснить невозможно: страх и любопытство, волнение и недоумение. Он забыл бабушкину просьбу помолиться за живых и мёртвых.

Теперь люди шли между рядами лам, подставляя головы, а ламы ударяли по ним книгой-судуром — молитвенником, тарелкой — что у кого было в руках. По голове Холурааша ударили судуром. Этот религиозный обычай должен обеспечить человеку удачу во всех делах.

Холурааш из-за спин людей увидел впереди толпы высокую колесницу, запряжённую людьми. На ней — носилки, покрытые пологом из жёлтого шёлка, оттуда высовывалась голова ламы, который важно оглядывал народ. Перед колесницей шагал целый оркестр — двое с длинными-предлинными трубами, концы которых были положены на плечи впереди идущих. Трубы издавали низкие звуки — точно кричал рассерженный верблюд-самец. За трубами шествовали ещё четверо лам с кларнетами. Кларнеты пели нежными приятными голосами.

Народ шёл с поднятыми ко лбу ладонями, кланяясь. Из-за этого все натыкались на впереди идущих, толкались. Когда колесница достигла южной части двора хурээ, она повернула и объехала двор по солнцу.

Потом начался обрядовый танец. В нём участвовали важный главный чёрт и чертенята, а после был танец живых богинь — дарийги. Роли богинь исполняли мужчины в нарядных костюмах и в масках красивых женских лиц. Ярко выделялись их разноцветные халаты, расшитые шапки, обувь из разноцветной кожи и сукна. Танец под приятную музыку напомнил Холураашу цветы, покачиваемые ветром, или молодые побеги цветущей ивы. Эти танцы — самое прекрасное из того, что он до сих пор видел.

Но молитвенные колеса, изображения драконов, рогатые маски и прочие атрибуты храмов вызывали страх.

Однако куда больше страшил и повергал в ужас, пожалуй, настоятель монастыря, главный его служитель Чамзы-Камбы. Он являлся родным братом Хайдып Угер-даа — приемного отца Буян-Бадыргы, правителя Даа кожууна. Странные вещи проповедовал Чамзы-Камбы, призывая не подниматься против китайцев, не грабить их. В противном случае, утверждал он, худо будет ослушникам, не попадут они в верхний мир, не найдут божьего колодца и не выберутся из бездны... Это по его наущению прибывшие в Чадан араты все дни, пока шло формирование войска, днём и ночью стерегли китайские лавки. Они ещё не знали о том, что китайцы ютились у правителя Даа кожууна Буян-Бадыргы, рассчитывая на его помощь, чтоб в Монголию прорваться, а там и в Китай к себе улизнуть. Тувинские нойоны вместе с Буян-Бадыргы рассчитывали сами поживиться кое-чем, и как эти китайцы дойдут благополучно до маньчжурского хана — у них опять власть в руках будет...

— Что же это получается? — удивлялись араты. — Едем на войну против маньчжуров-китайцев, а сами караулим китайских купцов!

«Действительно, что же это получается?» — сам себе задавая вопрос, удивлялся и Холурааш.

Командиры-чиновники напускали на себя важность и строгость:

— Таков указ Богды-хана.

И всё. И не вздумай ослушаться. Те, которые осмелились сказать слово против, выразить сомнение, сразу отведали палок.

С каждым днём прибывало всё больше и больше людей. Их распределяли по двум отрядам: в приказное, государственное — чарлык шериг, куда брали преимущественно чиновников и их родню, и в добровольческое — сузук шериг, состоявшее исключительно из аратской бедноты.

Холурааш, Сойту, Комбуй попали в добровольческое войско, где близко познакомились со многими аратами. Особенно им понравился пожилой арат Сулдем из рода кыргысов из Улуг-Хемского Барыка. Без дела будущих воинов не держали. Старшие чиновники во главе Санаа-мээреном обучали пешему и конному строю, правилам наступления, ружейным артикулам. Стрелять не учили, потому что, по рассуждению командиров, каждый тувинец — охотник, стрелять умеет и промаху не даст, к тому же берегли патроны.

Здоровым и крепким, главным образом из чарлык шериг, выдали китайские берданы. Добровольцам и старикам вообще ничего не досталось. Хорошо, что они со своими кремневками приехали. А кое-кто оказался и вовсе без оружия. Холурааш про себя подумал: «Отец был прав. К счастью, своё ружьё мне отдал».

Как положено, несли караульную службу. Писцы отмечали, кому на какой пост заступать, и показывали, что надлежит охранять. Настало дежурство Холурааша. Он выпил чай из золотого корня, чтоб не спать, а всю ночь ходить. Ему вручили две обглоданные бараньи лопатки. Привязанные к поясу, они при ходьбе стукали одна о другую, и это свидетельствовало о том, что часовой исправно несёт службу. Так и ходил Холурааш всю ночь напролет, позвякивая костями. Если не слыхать стука, значит, неладное случилось — или посторонний кто-то явился, или заснул часовой, или, того хуже, убили его. При появлении неизвестного часовой обязан был задержать его, а в случае необходимости даже стрелять. За все десять суток, однако, что происходил сбор войска, ни одного происшествия не случилось.

К трём монгун-тайгинским аратам под команду Очур-бошки добавили ещё шестерых «добровольцев».

Картина 3. ВЗЯТИЕ КОБДО

В день сбора ягод чадан-кат (в начале седьмого месяца) года Мыши войско Даа и Бээзи кожуунов выступило из Чадана. Оглушительный рев монастырских труб и раковин, крики провожающих, ржание коней — всё создавало тревожную и торжественную обстановку. Войско под командованием Санаа-мээрена двинулось вдоль реки Чадан по направлению на Хондергей.

На полпути в Овур соединились с отрядами Оюннаровского и Салчакского кожуунов. Теперь в чарлык войске стало больше четырехсот человек под командой Санаа-мээрена. Во главе добровольческого войска поставили Дамбыя, сына Борбаанака из рода кыргысов. Без чинов и званий, из бедной семьи, молодой Дамбый был прирожденным командиром, смелым, ловким, изворотливым.

Чиновное войско, хорошо обеспеченное и вооружённое, состоявшее из людей с хорошим достатком, не шло ни в какое сравнение с разношерстными добровольцами. Свысока, презрительно смотрели чарлыки на аратов. На привалах чарлык войска писари составляли счета, описи оружия, списки участников похода по чинам и именам, чтобы не упустить их грядущих подвигов. А до сузук-шериг мало кому было дело. Подумаешь — араты! Пусть себе воюют...

Дандыгай-чалан отправил с гонцом донесение амбын-нойону Урянхая Комбу-Доржу:

«*Вам, генерал-министр, направившему нас своим указом на западную границу, чтобы восторжествовал там мир и спокойствие, почтительно докладываю. Отправленные Вашим повелением серебро и товары поделены между воинами следующим образом: каждому воину — по одному лану, чиновникам-командирам — по пять лан, командующим — мне и Санаа мээрену — по десять. Молимся за Ваше благополучие и выражаем нашу благодарность*».

Приблизились к монгольскому Улангому, где несколько сот вооруженных маньчжуров укрылись в деревянной крепости. Из Кобдо в Улангом для укрепления обороны привезли пушку величиной с хунан боо — трехгодовалого бычка. До тувинцев дошел слух, что только от одного выстрела из пушки поблизости не останется ничего живого и мертвого, даже земля расплавится. Некоторые чиновники-командиры чарлык-шериг заколебались.

— Надо обойти Улангом и двигаться прямо на Хомду. Там соединимся с монгола-

ми, вернемся и ударим по крепости вместе с ними, — настаивали они.

— Убоявшись одной пушки в Улангоме, что будем делать с десятком пушек в Хомду? — резонно возражали араты и требовали наступать.

В споре прошел вечер. Перевесило мнение большинства: на рассвете решили атаковать.

Маньчжуры выставили своё устрашающее орудие напоказ, у самых ворот в крепость, на телеге. Вид пушки действительно внушал ужас. Толстенный ствол нацелен прямо на лагерь тувинцев. Зияющее жерло — что пещера в скале. Никто не видывал ничего подобного. С гордым видом вокруг пушки расхаживали часовые, уверенные в своей неуязвимости.

Около полуночи Очур-бошка сообщил своим подчиненным:

— Санаа-мээрен и Дандыгай-чалан приказали сегодня ночью уничтожить пушку маньчжуров.

— Нам приказали? — переспросили араты.

— Приказали сузук-шериг. Херик-бошка сказал, что его араты справятся, и взял всё на себя.

Никто не осмеливался ни согласиться, ни возразить. Уничтожить такую махину! Да кто и как с нею справится?

Из сузук войска опытный охотник, пожилой арат Сулдем сказал:

— Я попробую.

Раз Сулдем сказал, никто и спорить не стал. Засобирались все сразу.

— Много людей не надо. Заметят, хуже будет.

— А как справишься с часовыми?

— И льва можно хитростью взять...

Старик попросил достать несколько больших кусков свинца. Херик-бошка, уже уверенный в успехе, сам отправился в чарлык войско и приволок с десяток слитков в кулак величиной каждый.

— Годится, — сказал Сулдем и попросил аратов: — Сделайте их круглыми.

Араты во главе с Холураашем начали округлять куски свинца. Бошка места себе не находил. Ему казалось, что время тянется слишком медленно, что Сулдем нарочно не торопится. А старик меж тем, присев на одно колено, преспокойно потягивал трубочку у костра.

— Я даже белку в чаще не спешу стрелять, — произнес он, когда бошка начал донимать его.

— Скоро светать будет! — чуть не лопался от злости бошка.

— Торопливая муха в молоке тонет, — отозвался Сулдем. Наконец, он поднялся. Взял в руку один из свинцовых шаров, подбросил: — Пойдет! — выбрал двоих аратов в спутники.

— Идем! — Херик-бошка увязался за ними. — Лучше бы пороху взять да взорвать, — ворчал он.

— Порох — пустой дым, — невозмутимо ответил Сулдем.

Отъехали. Тьма — глаз выколи.

— Сулдем прав, самый крепкий сон сейчас, — шепнул аратам Холурааш. — Когда ждёшь, кажется, время идет долго.

...Вот араты с Сулдемом, Херик-бошка вернулись.

— Ну как? — кинулись к Сулдему араты.

— Всё в порядке, — не останавливаясь, бросил старик и пошел к костру. Стряхнув пыль с заношенного тона, сообщил: — Пушка стоит на месте. Страшенная! В дуло свободно человечья голова залезет. А тяжелая — с места не сдвинуть.

Войско было уже на ногах. К сузукам подъехал Санаа-мээрен в шапке с зеленым шариком и пятиглазым одага.

— Пушка уничтожена?

Херик-бошка ответил уклончиво:

— Должно быть, господин...

— Должно быть, должно быть! Головой ответишь! Могли других послать.

— Не беспокойтесь, господин, — бошка почтительно сложил руки и низко поклонился.

Санаа-мээрен обжег бошку холодным взглядом и хлестнул плетью коня. Когда Херик-бошка поднял голову, на нем лица не было. Будто на том свете побывал.

Холурааш верил, что арат Сулдем положил свинцовые шарики в дуло пушки.

И вот сигнал:

— В атаку!

Впереди пешие сузуки, за ними на конях чарлык войско. Плотной стеной шли прямо на ворота крепости, туда, где, как и накануне, стояла устрашающе огромная пушка. Завидев тувинцев, маньчжуры ничуть не встревожились. Лишь несколько

человек возились у пушки: судьбу сражения предстояло решить этому оружию. Огня они не открывали, подпускали противника поближе. Тувинцы тоже не стреляли — пули всё равно не долетели бы до крепости.

Херик-бошка время от времени косился на Сулдема, но тот, держа кремневку наготове, преспокойно шагал вперёд. Осталось не больше сотни шагов. Кое-кто из чарлыков не выдержал — над головами впереди идущих засвистели пули. Выстрелы подстегнули воинов, они побежали и стали быстро приближаться к воротам. Только теперь всполошились маньчжуры. Один, стоявший у пушки, поднял пылающий факел, прикрепленный к шесту, поднес к фитилю. Ворота в пятидесяти шагах!..

Позади пушки повалил дым, и почти сразу раздался оглушительный взрыв, которым вдребезги разнесло толстенный ствол. У всех аратов одна дума: «Вот молодец Сулдем! Свинцовые шарики в дуле пушки рванули!»

Маньчжуры ринулись в крепость. Несколько человек остались лежать у развороченного орудия. Санаа-мээрен подскакал к сузукам. На красном его лице сияла радость.

— Молодец, бошка! — крикнул он.

Лишившись главного своего преимущества, маньчжуры не смогли оказать сопротивления и без выстрела оставили крепость — через потайные ворота ускакали в Хомду. Ни один тувинец не пострадал. Первая победа далась легко. Успех воодушевил войско. Но героем дня стал не Сулдем, а Херик-бошка.

Самодовольно расхаживая по оставленной маньчжурами крепости, командиры жадно поглядывали на брошенные в лавках товары, на раскиданные всюду вещи. После Улангома седельные сумы подчиненных чиновников-командиров изрядно потяжелели.

Крепость Хомду — не чета улангомской! С четырех сторон окружают ее высокие стены, а по углам — четырехгранные башни, на которых установлены пушки, такие же точно как в Улангоме, широкогорлые чугунные страшилища. Трое крепких ворот, охраняемых из бойниц в ограде. Лишь с северной стороны ворот нет, там к стене примыкает монастырь.

Город Кобдо возник лет полтораста назад, когда маньчжуры захватили Джунгарию. Они построили свой город невдалеке от теперешнего Кобдо, но восставшие монголы разрушили его. То, что произошло впоследствии, передает легенда.

Однажды люди увидели, что на том месте, где сейчас находится Кобдо, стоит памятник Гэсэр-хану[1]. Удивившись, перенесли его обратно в разрушенный город. На следующее утро памятник чудесным образом опять очутился там, откуда его унесли. Так повторялось до тех пор, пока рядом с памятником не стали строить Кобдо.

В городе-крепости, кроме китайских купцов, было несколько русских факторий со зданием русского консульства и немного монголов, а также крупный, хорошо вооруженный гарнизон под командованием маньчжурского амбына. Всего за прочными стенами Кобдо насчитывалось до двух тысяч человек.

После объединения монгольского и тувинского войск кольцо вокруг крепости замкнулось. За несколько дней, проведенных возле Кобдо, Холурааш нагляделся на всякие диковины. Особенно любопытной оказалась торжественная встреча войсками одного из монгольских полководцев, старшего ламы Джалханзы гегена — богатейшего бая и влиятельного человека в Монголии. Там, где готовились встретить гегена, расставили множество белых юрт и шатров. В самую большую юрту набилось невиданное количество лам всех мастей и рангов.

Едва дождавшись гонцов, старшие чиновники и высокопоставленные ламы выехали навстречу гегену. Возле белого парадного шатра столпились воины. И вот, окруженный телохранителями и свитой встречающих, прискакал на сером коне Джалханза геген. Подхваченный под руки, по узкому проходу сквозь расступившуюся толпу он направился к предназначенной для приема юрте. Держа в руках тяжелый судур (молитвенник), Джалханза благословлял им лам, распростершихся ниц, и каждого, кто оказывался на его пути. Толстенная божественная книжища гулко ударяла по обнаженным головам, сообщая жаждущим этого священного прикосновения частицу высочайшей благодати. Дошла очередь и до Холурааша. От удара массивного судура голова закружилась и заложило уши. Пока он приходил в себя, геген уже переступил порог юрты.

Сквозь распахнутую дверь видно было, как Джалханза снял с себя желтую безрукавку, оранжевый халат и остался в красной рубахе и штанах, которые ламе носить не положено. Затем он опустился на лежанку и облокотился на шелковую

[1] Героический эпос «Гэсэр» – великое произведение в культурном наследии народов Центральной Азии. Эпос посвящен борьбе просвещённого правителя Абай Гэсэр-хана против сил зла и социальной несправедливости.

подушку. Перед ним стоял низенький столик, на котором, как на божнице, возвышалось несколько бронзовых будд и медных курильниц. Тут же внесли угощение. Два прислужника расположились по обе стороны гегена. Один принимал блюда, другой ловко подхватывал с них кушанья и направлял в рот высокородному Джалханзе. Геген жевал, глотал, открывал рот для очередного яства, позволял утирать себе губы и успевал при этом разговаривать с почтительно вытянувшимися перед ним чиновниками, военачальниками и ламами. И ничего в этом обжоре божественного не было.

По-всякому представлял себе Холурааш гегена — чуть ли не как бога, как самого высокого военного начальника, верховного ламу, но такую лживость ламы стерпеть не мог и стал протискиваться сквозь толпу прочь.

В палатке, окруженной аратами, хвастался Очур-бошка:

— Сам геген благословил меня судуром! Теперь я на войне не погибну.

Араты с почтением и не без зависти пялили на него глаза. Холурааш помалкивал. В одном был согласен — тяжел судур, ничего не скажешь! Следов, правда, не оставляет, но бьет чувствительно.

Фактическим главнокомандующим монгольского войска был Дамби-Джамцан. Этот и выглядел настоящим генералом, и вел себя не в пример гегену. Его никто не видел в окружении подобострастных чиновников. Не было при нем пышной свиты и телохранителей.

Степи были полны легенд о Дамби-Джамцане. В начале девятисотых годов в Монголии был известен Дамби-Джамцан, называвший себя внуком Амыр-Санаа[1], поднявшего в 1756 году восстание против маньчжур. Он утверждал, что явился с высокой целью освободить свой народ от власти чужеземцев, и собирал войско для борьбы. Ему верили и шли под его знамена, потому что памятно было в народе имя прославленного героя Амыр-Санаа. Маньчжурам удалось схватить Дамби-Джамцана. Его привезли в Улясутай. Проверили, и оказалось, что он — самозванец, калмык из Астрахани. Поскольку он был к тому же подданным Российской империи, его передали русским властям.

Через десять лет Монголию снова облетело знакомое имя. Теперь Дамби-Джамцана чаще называли Чаа-Лама — Новым ламой или Чаа-Богдо. Он тоже считал себя перевоплощенным Амыр-Санаа, его внуком. Он тоже призывал монголов изгнать из страны маньчжуров. Ему тоже поверили. Его поставили во главе войска. Забегая вперед, скажем, что и этот Дамби-Джамцан был схвачен и изобличен как самозванец, но это произошло уже в 1914 году. Пока же Чаа-Лама был на вершине славы.

Здоровый, сильный, с горящими глазами и исковерканным носом, отчего он слегка гнусавил, Дамби-Джамцан выглядел моложе своих сорока лет. Судя по всему, немало повидал он на своем веку, разного насмотрелся. Смотрелся он эффектно: из-под ламской безрукавки виднелся стоячий воротник русского офицерского френча. На ногах — русские сапоги. Сбоку — маузер. Чаа-Лама свободно владел китайским, монгольским, тибетским и русским языками.

Ни Дамби-Джамцан, ни, тем более, Джалханза геген не сыграли той роли, какая выпала на долю молодого полководца Маскаржапа, ставшего душой и вождем объединенного монгольско-тувинского войска. Молодой человек неполных тридцати лет, Маскаржап занимал скромную должность в Кобдинском правлении. Когда начались выступления против маньчжур, он возглавил отряд, в котором не насчитывалось и двухсот бойцов, совершил несколько дерзких нападений на гарнизон. Не присваивая себе ни громких имен, ни высоких титулов, Маскаржап отвагой своей, простотой в общении с людьми, ясностью целей сразу завоевал симпатии. Интересы аратов — тувинских и монгольских — были для него самым главным в развернувшейся борьбе. Жил он в простой, продымленной юрте, словно простой арат. Всегда у него была толчея, всегда весело. Но стоило Маскаржапу появиться перед войском, это был совсем другой человек — собранный, суровый, требовательный.

Джалханза и Дамби-Джамцан решили взять Кобдо осадой, измором. А Маскаржап был против. Он знал, что на помощь осажденному гарнизону идет подкрепление из Синьцзяна. Он настаивал на немедленном штурме. Но кто бы стал его слушать! Кто был Маскаржап против таких важных особ!

Первые дни осады проходили довольно мирно, если не считать редких перестрелок и еще более редких вылазок разведчиков, во время которых уничтожали друг у друга часовых. Так продолжалось до тех пор, пока во всеуслышание не заговорили об

[1] Амыр-Санаа (1722-1757) – один из ойратских владетельных князей, последний хан Дзунгарии (1753-1757), родовое владение которого находилось в Тарбагатае. Он был одним из претендентов на царский трон Дзунгарского (Ойратского) ханства, в чей состав входила и Тува. В 1756 году возглавил антиманьчжурскую борьбу. Умер, по русским сведениям, в возрасте 35 лет вблизи Тобольска в России.

идущих на выручку кобдинскому гарнизону подкреплениях. Вот тут Дамби-Джамцан повел себя достойно потомка Амыр-Санаа. Оставив войско на Маскаржапа, он пошел с отрядом навстречу маньчжурам и разбил их наголову. Маньчжуры потеряли только убитыми полтораста человек. У монголов жертв почти не было. Они захватили много трофейного оружия. Слава Дамби-Джамцана загремела громче после этого боя.

— Чаа-Ламу и тех, кто с ним идет, пули не берут. Два или три человека, которые погибли, сами виноваты, не надо было им отбиваться от своих, — говорили монголы.

Осада Кобдо продолжалась. Как ни воодушевила монголов и тувинцев удачная вылазка Дамби-Джамцана, днем все очевиднее становилось, что топтаться у стен Кобдо бессмысленно. Маньчжуры за прочными стенами крепости чувствовали себя в полной безопасности и могли преспокойно дожидаться более сильной помощи из Синьцзяна.

2 августа 1912 года осажденные с середины июля монголами и тувинцами маньчжуры обстреляли здание русского консульства в Кобдо. Этот инцидент послужил предлогом для монгольского командования направить амбыну Пу Жуню с пленным маньчжуром ультиматум о немедленной сдаче города и крепости в течение трех дней. Командующий объединенным монгольско-тувинским войском через русского консула в Кобдо предложил маньчжурам капитулировать. Но амбын Пу Жунь отклонил предложение.

Именно обстрел русского консульства стал началом перехода от осады города к Кобдинскому сражению. Из-за того, что нет артиллерии, решено сделать подкопы. За три ночи вырыли под стенами яму величиной в три юрты. Ещё в двух местах были сделаны подкопы, в которые закатили бочки с порохом. В одном месте это сделали урянхайцы, а в другом — монголы.

— Дамбый, храбрый воин, тихо, как змея, оползи ночью вал и ров, по арканам посылай воинов на стены, — приказал Маскаржап.

Штурм назначили на ранний рассвет. Вечером накануне объявили, что будет командовать сам Джалханза геген. Очур-бошка был в восторге от этого сообщения.

Тувинцев поставили против главного входа, сильнее всего укрепленного.

И вот занялся рассвет. На небе — ни облачка. Тишина.

Один за другим прогремели взрывы. В час Дракона шестого дня восьмого месяца года Мыши началось генеральное сражение под Кобдо. Древний клич вырвался из тысячи глоток:

— Ур-р-ра-а-а-гх!

Во вселенной нет сил, что могли бы сейчас остановить тувинских и монгольских воинов. Их будут насквозь пронзать острыми ножами, опрокидывать вместе с лестницами, раскалывать им головы надвое мечами, но подымутся по другим лестницам другие, и маньчжуров не хватит, чтобы умертвить всех.

Маньчжуры не выдержали натиска и отошли от главных ворот. Слева и справа на меньшие ворота и разломы в стенах наступали монголы.

— Ур-р-ра-а-а-гх!

Маскаржап носился на лихом скакуне впереди сузуков, подбадривал их:

— Удальцы урянхаи! Вы горные барсы, без потерь вывели нас к самым воротам! Вы храбрейшие в бою!

Никаких следов главнокомандующего Джалханзы гегена пока что не обнаруживалось.

— Геген восседает на горе Шара-Суме и руководит боем из монастыря, — сказал Очур-бошка Холураашу. — У него девятикратный бинокль.

Ни на вершине горы, ни у ее подножия гегена не было, но воины верили, что Джалханза действительно руководит ими. Темные люди!

К тувинцам прискакал удалой Маскаржап. Он поспевал всюду.

— Молодец, Дамбый! — кричал он. — Молодцы, урянхайцы! Наша страна принадлежит только нам! Нападайте на маньчжуров!

Сражение переместилось на городские улицы. Сойту упал около памятника Гэсер-Хана. Лошадь с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками понеслась по улицам, вскидывая задними ногами. Холурааш бежал к раненному Сойту, когда почувствовал, что ему обожгло подбородок. Земля под ногами покрылась кровью. Сделав несколько неуверенных шагов, Холурааш упал на спину. Ему показалось, что на него опрокинулось небо.

Очнувшись, потрогал себя: кровоточащая рана на лице в области подбородка, кости целы. «А где камешки? Они должны были защитить». Потрогав камень в кошеле из шкуры горного козла, напротив сердца, обрадовался: «Он спас меня от пули! Спасибо, мудрый отец!» Повернулся на бок, встал, прижав ладонь к кровоточащей ране в области подбородка. Пошёл к Сойту. Друг был убит, около него лежал выпавший кожаный мешочек с камнем. «Если бы мешочек с камнем не выпал...» — подумал с горечью Холурааш.

Подъехал командир сузук-шериг Дамбый:

— Ты же ведь лекарь-шаман. Иди помогай раненым.

Раненых перевозили способом доженик: двум оседланным коням связывали кольца удил, шеи и хвосты, затем между лошадьми закрепляли носилки, сделанные из двух жердей, связанных между собой арканом крест-накрест в виде сетки. Раненого клали на носилки, лошадей вел всадник, сидящий на третьем коне. Первым делом шаман принялся окуривать дымом можжевельника всех раненых.

Кобдо пал. Почти пятьсот маньчжурских солдат были убиты, около шестисот, вместе с амбыном, сдались в плен. Амбына затем под охраной препроводили в Ургу. Монголы и тувинцы и на этот раз отделались малой кровью.

Свежие раны Холурааш промывал мочой или арага-аржааном[1], заливал жиром сурка. Но жир не всегда был под рукой, поэтому зачастую он использовал свежую смолу хвойных деревьев, говоря: «Если дерево лечит свои раны смолой, то она способна помочь и человеку». Высохшая смола на деревьях — это саат, а свежая, жидкая — чук. Для лечения ран Холурааш использовал чук. Смолу он собирал, надрезав ножом кору на стволе дерева, и хранил в кульках, скрученных из куска бересты и зашпиленных с краю надрезанной щепкой.

Смолу наносил тонким слоем на рану и сверху завязывал бересту. Со снятой бересты отделял два слоя — внешний и внутренний, оставляя тонкий, почти прозрачный внутренний слой из середины. Сверху накладку из бересты покрывал своеобразным «бинтом» также из бересты. Для «бинта» со ствола березы бересту снимал по спирали, предварительно сделав надрез ножом. Снятую бересту варил в пересоленной воде, после чего она становилась прочной и эластичной.

Обычно вначале рану он промывал собственной мочой, до появления крови. Фиксировал любым подручным средством — кожаным ремешком, тут же сплетенной веревочкой из волокон крапивы, конопли или размочаленного корня ели, лиственницы, кедра. Употреблял жир сурков-тарбаганов, добытых только глубокой осенью. Для лечения гнойных ран Холурааш использовал мазь, которая останавливает гниение и обладает способностью «вытягивать» пули. Состав мази: 1 часть пихтовой смолы + 2 части топлёного масла или медвежьего жира + 1 часть женской особи казак травы бору оъду (с синими шишками). Все три компонента клали в сосуд и, постоянно помешивая, грели на медленном огне. Как только появлялся дым, мазь снимали, охлаждали и накладывали на рану.

Шаман, сын шамана, знал, что раненые волки, уйдя от погони, ищут траву бору оъду, обнаружив, едят ее, после чего выздоравливают. Волчью траву готовил заранее — летом, сушил в тени. Брал одну часть высушенной травы, заливал холодной водой и готовил из нее вытяжку. Траву держал в горячей воде до тех пор, пока большая часть влаги не испарялась, на дне образовывался густой, кашеобразный раствор — один компонент для мази. Все три компонента помещал в сосуд и, постоянно помешивая, грел на медленном огне. Обычно варил в чашах на углях, отодвинув их немного в сторону от костра. Как только появлялся дым, мазь снимал, охлаждал и накладывал на рану.

Для лечения гнойных ран, сопровождавшихся омертвением ткани, использовал личинок мух. Личинку клал на рану, ждал, пока она объест омертвевшую ткань. Как только личинка съедала ткань, убирал личинку, затем наносил мазь из смолы, жира, волчьей травы.

Однажды бойцам с переломами костей давал пить высушенную кровь козерога и мумие, разведя их в теплой воде, один боец спросил:

— Почему зубы слипаются?

— От крови козерога слипаются. Она способствует быстрому срастанию сломанных костей, — объяснил Холурааш.

При наличии пуль в ранах вначале Холурааш пытался их извлечь. Если не удавалось, то оставлял и просто лечил открытые раны. Бойцу с ожогом он рекомендовал лечение мазью из птичьих яиц. Для изготовления мази собирал свежие яйца, разбивал их в сосуд, ставил на медленный огонь и, постоянно помешивая, содержимое сжигал до состояния угольков. После почернения начинает выделяться масло, которое собирал, охлаждал и наносил тонким слоем на место ожога.

Взятый город сильно пострадал. Камня на камне не осталось от китайских лавок и домов торговцев. Монголы особенно радовались уничтожению долговых книг. Русские фактории и жилища с их обитателями никто не тронул. В честь победы был

[1] Арага-аржаан — молочная водка, полученная после повторной перегонки араки, в которую перед применением закладывали несколько веточек артыш-можжевельника и добавляли целебные минеральные источники.

объявлен праздник: скачки, стрельба из лука и, главное, борьба.

Участники штурма были щедро награждены. Маскаржапу дали звание Хатан-Батора, а Дамби-Джамцану — Дошкун-нойона. Не удостоился новых титулов лишь Джалханзы геген, объявившийся откуда-то после боя. Тувинское войско наградили священным шелковым знаменем. За геройство, проявленное в сражениях при Улангоме и Кобдо сузуками, их командира Дамбыя провозгласили героем Урянхая.

Мелким чиновникам повысили или присвоили звания. Поклонившись знамени, новоиспеченные чейзены, чангы и хунду прикрепили к шапкам шарики. Сыновьям погибших были отправлены пестрые шарики — свидетельства присвоения наследственного звания тайши. Пестрый шарик Сойту отдали Холураашу, чтоб он передал его родителям.

За умение взрывать крепостные ворота и пушки были награждены из сумона Чааты бойкий Кыйан — ружьём, Донгак Хорлуу — обувью с толстыми подошвами, загнутыми вверх носками и длинными голенищами на войлочной подкладке. За достойное руководство бойцами-добровольцами из Бээзи кожууна наградили винтовкой сказителя Тулуш Баазанай, который от радости запел:

Доблестные сузук войска,
Храбрейшие уранхайцы!
Маньчжуров в шивээ Хомду
С честью победили уранхайцы.
В соседях страну Монголию
От ига освободили тувинцы.
Сегодня славит в земле Хомду
Мой звонкий хомус нашу победу.

Первое место в беге занял Кыргыс Кызыл-оол, которому присвоили почётное звание «Улан-Баадыр». На соревновании по стрельбе Курлуг-Анчы стрелял из лука в мишень без единого промаха, тем самым ещё раз доказав, что он меткий стрелок. Награждая Курлуг-Анчы, Маскыржап торжественно объявил:

— Своей отличной стрельбой по взрывным кувшинчикам, выставленным вокруг крепости Хомду, ты обеспечил нам доступ в крепость. Также за достойное руководство воинами своего сумона присваивается Курлуг-Анчы звание «мээрен».

После стрельбы состоялся хуреш — национальная борьба с участием сто двадцати восьми атлетически сложенных борцов. Из тувинцев в пятом туре среди восьми борцов отличился силач Опей, которому присудили звание «Бошка», наградили винтовкой и ягнячьей шубой — мерлушкой. Первое место в хуреше занял борец Кудерек из Тес-Хема, которого наградили лошадью с седлом, с серебряными уздечками и бляхами. Урянхайцы ликовали: «Самый почётный приз — первое место в борьбе у нас! Силу и ловкость — лучшие качества мужчины проявил наш Кудерек!»

В скачках на дистанции чуть меньше сорока километров все три первых места заняли монгольские лошади, привыкшие к местным рыхлым и песчаным почвам. Резвых и выносливых лошадей урянхайцы тоже имели, проскакать сорок километров во весь мах на бешеной скорости урянхайцам не в диковинку, но их лошади привыкли к более твёрдой земле, а здесь просто вязли в песках.

Удалой Маскаржап направился встретить маньчжурские войска, ожидавшиеся осажденным гарнизоном Кобдо, но сражение не состоялось. Россия признала автономию Монголии, и ее активное вмешательство вынудило пекинские власти отозвать войска. Всё произошло следующим образом.

В Пекине князь Кудашев — русский посол в Китае — передал президенту Китайской республики Юань Шикаю от имени русского правительства послание, в котором говорилось, что Монголия в настоящее время находится под защитой Российской империи. В случае военного вмешательства во внутренние дела Монголии со стороны Китая Россия примет незамедлительные меры по выполнению своих обязательств. Поэтому президент Китая отменил выход из Синьцзяна крупного военного отряда, готового к отправке в Монголию.

Отпраздновав победу, тувинские воины повернули домой. Холурааш и Комбуй ехали, оглядываясь в ту сторону, где похоронен Сойту. Холураашу было грустно, оттого что на монгольской земле похоронены земляки и среди них Сойту. Лишь увидев перед собой синие-синие горы родной земли, Холурааш успокоился. Сердце его наполнилось радостью. «Скоро увижу отца, бабушку, жену, родственников, весь народ моей Монгун-Тайги... Как хорошо, что я жив и мой конь жив!»

Ехали домой. Ехали и пели хоомей — эпическое пение. Пела и душа Холурааша.

Картина 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОНГУН-ТАЙГУ

В Овуре Холурааш и Комбуй тепло расстались с однополчанами. Миновав Саглынскую степь, всадники обрадовались, увидев верховья Тоолайлыга и Барлыка, где заблудились во время метели и чуть не утонули.

Вот и родная Монгун-Тайга. Холурааш подумал, что прежнее название горы Монге-Денгер-Хайыракан (по-монгольски, Монге-Хайрхан-Уула) с вечными ледниками, наверное, связано с желанием умилостивить духов гор ласковым обращением.

Следуя вдоль реки Тоолайлыг, друзья ехали по тропе, прижимающейся к скале, обходили по топям каменные россыпи, много раз переправляясь через бурные речки, впадающие в Тоолайлыг.

— Почему эту реку называют Димзе? — спросил Комбуй.

— Был случай, когда караванщики-китайцы с тюками табака не смогли перейти через русло реки, покрытое наледью; они сумели перенести груз, посыпав скользкое место табаком «дунзе». С той поры эту реку стали называть Димзе, — ответил Холурааш.

— А почему Димзе вместо Дунзе?

— Наверное, китайцы буквы «у» и «н» не могли выговорить.

Русло реки Димзе пролегало среди скал и ущелий, перейти с одного крутого берега на другой можно было только по перешейку Арта-Халыыр, что значит: Перепрыгивать. Перекинув через перешеек свое снаряжение и оружие, охотники с разбегу перепрыгивали глубокую и быструю речку Димзе с отлогими, каменистыми берегами. Это было настолько опасное место, что приближающихся к нему предупреждал человек с хирилээш-жужжалкой[1] — будьте начеку! Холурааш мог и не услышать крик человека, но внезапное беспокойство коня заставило его внимательно осмотреться и обнаружить подающего сигнал.

— Молодец, Дас-Кара, мой умный конь! Ты первый услышал хирилээш! Не зря отец мне говорил: конь — друг мужчины.

Тувинцы говорят: встающего рано утром человека, трудолюбивого, ждет дорогая добыча — конь с седлом.

Подросток с жужжалкой указал им малозаметную тропинку, по которой можно идти дальше.

Холурааш и Комбуй раньше не знали о жужжалке, но знали: когда кричат вороны, сороки, бурундуки, сурки — это сигнал тревоги охотнику о появлении незваного гостя, возможной добычи — косуль, волков, медведей. Однажды на охоте Холураашу показалось, что круживший над ним ворон словно подсказывает, куда нужно идти: то улетит далеко вперед, то вернётся назад. Он осторожно двинулся за птицей и вышел прямо на архара.

Также он знал, что по мере прогревания солнцем с половины дня до ночи теплый воздух поднимается из долин в горы. Наступил вечер. На заходе солнца небо окрасилось в красный цвет.

— Теперь «запах снижается»[2], — сказал Холурааш. — Завтра будет ясная погода.

— Как узнал про погоду? — удивился Комбуй.

— Если вечером, на заходе солнца, небо окрашено в красный цвет, то завтра будет ясная погода. Я научился у бабушки и отца узнавать прогноз погоды на год, на сезон, на месяц и на сутки.

При заходе солнца отблески солнечных лучей отражались на горах, как радуга. В предгорье паслись овцы, козы, чуть в стороне от них ходило стадо сарлыков. Где-то там, вдалеке, всадник мчался за стадом. В нижней части горы в обрамлении густых кедрачей путники увидели юрту.

— Нам некуда торопиться. Зайдем в юрту, — предложил Комбуй.

Он был всегда уравновешен, спокоен; про таких говорят: «умный волк».

Залаяли собаки. Выбежавший из юрты мальчишка успокоил собак и с интересом смотрел на всадников.

— Кто там приехал? — послышался женский голос. — Пригласи их в юрту, Довук.

Мужчины слезли с коней, привязали их к коновязи и переступили порог юрты.

— Амыр менди! — приветствовали они хозяев, слегка поклонившись.

— Амыр менди! — вежливо отвечали хозяева. — Благополучно ли прибыли?

— Здоров ли ваш скот? Избавлены ли от джута, от всякого зверя?

— Какие новости у вас?

---

[1] Хирилээш-жужжалка – двух- либо однолопастной пропеллер с отверстиями посередине, в которые продевался шнурок из кожи или конского волоса, служивший приводом. Назначение – привлечь внимание человека, находящегося вне досягаемости голоса.

[2] «Запах снижается» – это означает: в вечернее время поток воздуха движется сверху вниз.

И только после этой обязательной церемонии перешли к разговору:

— Мы из Хомду. Помогли монгольским аратам выгнать маньчжуров-китайцев. Теперь едем домой.

— Поздравляем вас с победой!

Холурааш обратил внимание на мальчика, который выбежал им навстречу, а теперь с интересом прислушивался к разговору взрослых.

— Что случилось? — спросил Холурааш, глядя на мальчика, прижимающего к телу руку.

— Он упал с лошади и ушибся.

— Теперь смотришь из юрты за скотом? — спросил Комбуй, наблюдая через хараача-дымоход за козами, пасущимися на крутых склонах.

— Да, — ответил с улыбкой мальчик Довук.

— Можно мальчика обследовать и оказать помощь? — спросил Холурааш.

— Конечно. Здесь нам не к кому обращаться, — согласился отец.

— Мой друг лечил раненых в Хомду и вам тоже окажет помощь, — объяснил Комбуй. — Холурааш из рода Иргитов — сын известного шамана Монгун-Тайги.

После обследования подростка Холурааш сказал:

— У мальчика плечевой вывих правой руки. Будем вправлять.

В подмышечную область вывихнутой руки Холурааш вложил небольшую круглую чурку. Комбуй зафиксировал больного, удерживая одной рукой за подбородок, другой за затылок. Холурааш сел на ширтек в земляном полу со стороны вывихнутой руки. Обеими руками он удерживал больного за запястье и держал вывихнутую руку в одном положении. Ногой Холурааш упирался в чурку, засунутую в подмышечную область. Затем плавным усилием ноги нажал в сторону сустава руки стопой до характерного звука. После установки на место больную руку зафиксировал в согнутом положении к туловищу.

— У меня снова две руки. Спасибо вам! — с волнением поблагодарил мальчик своего лекаря.

— Рана на суставе сто дней заживает, Довук. Резких движений не делать. Береги руку! — наказывал Холурааш.

Обрадованные родители угощали лекаря и его друга чаем, вкусной едой. Несмотря на отказ Холурааша, они подарили ему белую овечку с черной головой с рыженьким ягненком. Холурааш и Комбуй продолжили путь.

По бокам ровных и крутых скалистых берегов Димзе с глубокой древности пробиты кочевые тропы. Они настолько узки, что, бывало, во время перекочевки не только конь или вьючный сарлык-вол со снаряжением, но и люди срывались вниз и разбивались. Поэтому на самых узких и опасных участках по краям тропинок были установлены страховочные столбики.

О крутых и трудных тропах Тоолайлыга пели песни:

Со скал Тоолайлыга, где пасутся козероги,
Не свались с кручины, мой милый друг.
В отрогах Тоолайлыга, где пасутся архары,
Не заблудись в дебрях, мой милый друг.

Одна невестка по имени Дуукай, привезенная из Хемчика в Монгун-Тайгу, увидев здешние места, пела удрученно:

Рядом посмотришь — крутая скала,
Так и захочется домой...
Вперед посмотришь — дремучий лес,
Остается лишь горевать.

В основе песен лежали правдивые истории о сбежавшей от грозного мужа невестке. Она пела эту песню о Суур-Тайге, Кожечей, что в Тоолайлыге. В честь беглянки назвали маленький утес в Барлыгском Улуг-Шыне, через который как раз пробирались Холурааш и Комбуй.

В верховьях Барлыка и Тоолайлыга они встретили множество ущелий, солнцепеков, наслоений, полян с редкой горной травой, альпийских лугов в окружении крутых скал. Здесь испокон веков жили родоплеменные союзы донгаков, иргитов, хомушку, салчаков, саая (саайа), кара-салов и ооржаков — их предки и потомки.

— Мне бабушка говорила, что хемчикские кайгалы — алдан-дургуны, восставшие в конце XIX века, пробирались на запад Тувы через крутые перевалы верховий Тоолайлыга, где мы сейчас едем.

— Действительно так? — спросил Комбуй.

— Да, — ответил Холурааш и поведал о том, что он знал от бабушки: — Есть живой свидетель Донгак Балчымай с кличкой Шугул. Он видел одного кайгала, спустивше-

гося на аркане вниз по крутой скале и спасшегося в Тоолайлыге от дозорных казаков после трудного побега. В одной притче говорится: алдан-дургуны, переправившись через реку Шын по нижнему руслу, сушили свою одежду и конское снаряжение на чайлаге Кара-Дыте в аале Кара-Чейзена Донгака. Всю ночь трапезничали, пили араку, пели песни и были дорогими гостями у того богача. Тогда одному из шестидесяти беглецов — Ээрен-Хоо — каким-то образом удалось скрыться от карателей. Был он хромой, не по годам седой. Из-за того что от его правой щеки через губу пролёг кривой рваный шрам, когда он улыбался, лицо его становилось уродливым и суровым. Один его глаз был проколот, а обмороженные пальцы рук усохли до костей. На отрогах горы Арзайты в местечке Алдыы-Кара-Суг Монгун-Тайги беглец с трудом построил себе убогий шалаш из бересты и дёрна. Там и прятался от злых глаз, иногда выходил к юртам аратов за подаянием и с ними общался: «Да, на этот раз мы побеждены. Но смерть шестидесяти беглецов рождает месть. Нас бьют! Нас вешают! Но вот придёт время, и за нас чужеземцам-маньчжурам наши потомки покажут! Они их выгонят из Урянхая!» Военный клич Ээрен-Хоо, рождённый израненным телом и бесстрашием вдохновлял батраков-аратов на борьбу с угнетателями. Араты поддерживали Ээрен-Хоо: «Никто не забывает отомстить — ни малые дети-сироты, ни бесприютные подростки-парни, ни юноши, которых жизнь заставляет воображать себя мужчинами — хотя все они подавлены смертью отцов и тяжестью работы...» Женщины со слезами прибегали на холмы опознавать мужей, отцов, сыновей, братьев на шестах с черепами. А иные: «Оршээ, хайыракан! (О, Боже!)» — отводили глаза от страшного, завораживающего светлячка, который таился в стеклянных зрачках. А через несколько месяцев печальным утром Ээрен-Хоо, лёжа возле своего шалаша, обрёл покой, чтобы предстать перед Богом. Как в народе говорят: в юрте рождён, под скалой погребен. Добрые люди, похоронив его под скалой, дали этому месту в Монгун-Тайге новое название: Ээрен-Хоолуг-Кара-Суг — Черная речка с Ээрен-Хоо. Об отшельнике сложили песню:

Я стал косулей с годовалым козлёнком,
Не могущей перейти Эйлиг-Хем.
Я стал одиноким Ээрен-Хоо,
Который не мог видеть лиц своих друзей.

Поодаль, у подножия гор, рассыпались белые и черные юрты. Недалеко от юрт паслись овцы, козы, сарлыки, табуны разношерстных коней. Конюхи с гиканьем скакали, размахивая арканами, и следили, чтобы кони разных табунов не смешались или не приближались к косякам кобылиц с жеребятами.

К Холураашу и Комбую прискакал молодой арат и пригласил в свою юрту, где находилась его жена с новорожденным ребенком.

— Как только я услышал о вправлении вывиха у соседского мальчика, я поскакал за вами и догнал. Помогите жене, пожалуйста, — просил арат.

В колыбели, подвешенной к тонким и гибким стропилам, удерживающим крышу юрты, мирно спал малыш. Первое время после рождения дети, находившиеся в подвешенной колыбели, растут спокойными, меньше плачут. Качание в колыбели напоминает новорожденному малышу чрево матери.

— Помимо спокойного характера, в колыбели ребенок приобретает и хорошее здоровье, — улыбаясь, сказал Холурааш.

— Только плохо, что вот полдня не могу кормить ребенка грудью, — пожаловалась жена арата.

Спросив разрешения хозяина, Холурааш обследовал горячую, красного цвета, воспаленную грудь женщины. Обнаружив мастит у молодой матери, он вытащил из таалына лапу медведя с когтями. Особый, магический, вид массажа Холурааш практиковал с помощью когтей хищных зверей. Он всегда носил с собой коготь медведя.

— Вот лапа медведя, с помощью которой я буду делать массаж. Это совсем не больно. Не бойтесь! — успокаивая больную, с легким нажимом шаман провёл когтями медведя несколько раз по груди.

Холурааш сопровождал свои действия заговорами, одновременно забрызгивая слюной. Ощущая воздействие брызг слюны, женщина удивилась: ведь ожидала чего угодно, кроме плевка. Но Холурааш не плевался, а действовал испытанным методом: он знал, что после такого своеобразного массажа мастит действительно исчезает. Его отец Конгур для оказания на больного «шокирующего воздействия» раскалял в огне клинок ножа, затем брал раскаленный докрасна нож, лизал его языком и тут же брызгал слюной в больное место. Выполняя эту процедуру, требовал от близких людей спокойствия. Слюна использовалась как наиболее доступное средство, имевшееся в распоряжении шамана. Такой способ лечения сводился к внушению, этим он и был хорош: больной выздоравливал от того, что задействовал собственные ресурсы,

приобретя уверенность в исцелении.

— В народе говорят: от сомнений болеют, уверенность лечит, — на прощание сказал Холурааш. — Будьте уверены в своём выздоровлении.

И снова в путь.

Холурааш наказывал другу, как в первый раз, придерживать коня, быть начеку, потому что в верховьях Барлыка и Тоолайлыга есть множество островерхих скал и отрогов, где человеку трудно пройти: лишь один неверный шаг — и можно сорваться в бездонную расщелину, где даже орёл пролетает далеко внизу. Там внизу протекающие бурные и могучие реки сверху всадникам кажутся маленькими ручейками, а их шум и рокот не слышен на вершине высоких гор. Здесь нельзя разговаривать, кашлять: могут сорваться снежные лавины и снести всё на своем пути. Холураашу показалось, что отсюда можно достать рукой до неба, а облака ходят совсем рядом, как огромные белые караваны.

Он снова обратился к Комбую:

— В ненастье и ураган даже горные козлы здесь не чувствуют себя в безопасности и спускаются вниз. Такие вот места в верховьях Барлыка. Сейчас расскажу о борце родом из верховий Барлыка Саая Дагба Дешкиевиче. Он был огромный телом. Его широкая грудь выделялась среди сотен людей. В верховьях Барлыка ненастная погода, ветры и ураганы иногда продолжаются и зимой, и летом. Однажды, когда его юрта стояла в Поштуг-Белдире рядом с другими, средь бела дня налетел сильный ветер, стал срывать с юрт войлок, начал валить их, чуть не унося. Тогда Дагба выскочил из своей юрты и, хватая огромные валуны с бычка, стал носить к юртам, укрепляя их. Потом борцы с Каргы и Монголии, говорят, едва отрывали эти камни от земли.

— Вот силач! — восхищался Комбуй.

— О, Саая Дагба он такой! На праздниках как в Монголии, так и в Туве не один раз побеждал или занимал призовые места в хуреш. Однажды монголы пригласили его на юбилей какого-то сумона, и там Дагба, легко поборов своих первых соперников, в финале остался с самым сильным монгольским борцом этого аймака. Дагба, применив свой надёжный приём, заготовленный на тот случай ещё дома, схватил своего противника обеими руками за шею, словно тисками, и резко с поворотом повалил его вниз, монгол тут же дал знак, что сдаётся. Затем, кое-как освободившись от железных рук Дагбы, сказал секундантам: «Нет, я не буду больше бороться с этим дурным сыном Дешки». Тогда монголам пришлось объявить Дагбу победителем состязания и одарить его дорогими подарками.

— Какой молодец!

— Об этом с большой радостью и гордостью поведал его постоянный тренер Насык (прозвище Чеди-Моюн), который готовил Дагбы к борцовским турнирам и поединкам. Родная младшая сестра Дагбы — Чыпсынмаа — тоже не хрупкая, дородная, высокая девушка, под стать своему брату. Она легко поднимала двухгодовалую телку или две барбы с ячменём (огромные мешки по 50 кг) соединяла узловыми подпругами и легко перекидывала на вьюк высоких волов. Её муж Узун-оол стоя кое-как снимает полный казан с очага двумя руками, а Чыпсынмаа сидя берёт в руку тряпочку и одной рукой поднимает казан, снимая с огня... Однажды во время дойки сарлыков не давал доить корову один бычок. Тогда Чыпсынмаа взяла бычка за рога, повалила на спину, вонзив рога в землю. Отпустила его только после дойки.

— О, какая сильная женщина! Даже среди мужчин таких силачей мало.

— Пьяные мужчины местечек Барлык-Бажы и Тоолайлыг боятся её, так как мужчин в нетрезвом виде не раз проучила, показав свою силу и характер.

...Всадники не могли надивиться красотой и чистотой родниковых вод, вытекающих из расщелин скал и образующих целый каскад поющих водопадов.

По руслам горных рек редки кедры и тополя, зато очень густы лиственничные леса. Обильно растёт дикий лук, можжевельник и все виды горных трав. Здесь столько дикорастущих горных цветов, что вся земля от края до края покрыта живым цветастым ковром, ступить некуда! Здесь веяло ароматом трав и растений.

— Вот ты из рода Иргит. Почему не просто Иргиты, а Каксаан-Иргиты? — спросил Комбуй.

— В детстве я спрашивал у мамы: почему мы Каксаан-Иргиты? Она мне отвечала: Каксаан-Иргит означает бай Иргиты — богатые Иргиты; приготовленное мясо на зиму не успевали съесть, и к весне оставшееся мясо начинало портиться, из-за этого стали называть нас Каксаан-Иргит. Я с детства помню, что, действительно, было у нас во все времена много скота. Да еще после охоты или рыбной ловли остается мясо в достаточном количестве.

За разговорами всадники не заметили, как приблизились к верховьям Барлыка. Они увидели толпу людей около двух юрт. Подъехав, узнали, что празднуют кылбык-дой — первую стрижку волос ребёнка. По тувинскому обычаю, когда ребёнку исполняется

три года, ему впервые стригут волосы. До трёх лет даже волосинку нельзя тронуть — считалось грехом. Это был семейный праздник, на который приглашены близкие родственники, друзья, чтобы познакомить их с новым членом общества. Только с этого момента он считался полноправным человеком.

Оказывается, Холурааша, как лекаря, вправившего вывих плеча и лечившего мастит, здесь уже знают. Как победителей на войне, их посадили на почётное место. Перед ними постелили белую кошму, поставили деревянное корыто с горой бараньего мяса, а возле когээржик с аракой.

Дедушка первым взял с сундука ножницы и торжественно проговорил:

— Родной мой внук, расти крепким, живи так же долго, как я. Дарю тебе свою серую кобылу с жеребёнком Сылдыс-Шокар, вовремя оседлай скакуна! Дай мне понюхать твою головку.

Понюхав волосы внука, старик отрезал с левого виска первый клочок волос и торжественно передал отцу. Тот принял эту прядку, завернул в хадак и передал матери. Дедушку посадили рядом с гостями на почётное место. Начали угощать мясом и ханом — кровяной колбасой. Хозяин разливал араку, начиная с деда. Потом к ребенку подошла бабушка и сказала:

— Я тоже даю тебе белую козу с белым козленком, дай и мне понюхать твою головку.

Понюхав головку, отрезала несколько волосиков и подала матери.

— Дети — дар высших сил. Чем их больше, тем лучше. Овечку тебе даю самую плодовитую, белую с черной головой, а ягненка рыженького. Расти их, малыш, на доброе здоровье! Вырастай крепким и умным! — понюхав головку, Холурааш передал отрезанные волосы отцу и добавил: — Скот забирайте в юрте родителей Довука.

Все склонялись и нюхали головку, после чего каждый отрезал понемногу волос, говорил благопожелания. Все щедро дарили скот.

Холурааш помнил, что его остриженные волосы мать хранила, как священную вещь, в специальном мешочке, через несколько дней его стригли по-настоящему. Затем родители спустя некоторое время забрали подаренный ему скот.

Все стали просить мастера хоомея (эпического пения) Хурен-оола Кара-Сал петь. Он стал петь хоомей:

Река быстриной несравненная, мой Барлык,
Ты — место общения родственных людей.
Вдоль русла твоего сорок-пятьдесят переправ,
Разливаешься с высоких гор, мой Барлык.
Когда говоришь: «Благослови! Отступи!» —
Благословляет меня, отступает от меня мой Барлык,
Поросший молодыми зелеными тальниками.
На вершине Кара-Туруга
Стрела моя с оперением ворона.
На макушке Ээр-Туруга
Стрела моя с оперением орла.

Слушая такое пение, женщины не могли сдержать слез от волнения, а Холурааш принял его восторженно. Плачут потому, что Хурен-оол, исполняя хоомей, изливал от души свои чувства любви, радости и печали о родной земле своему народу. Он владел оригинальным исполнением хоомея всех пяти стилей.

Попрощавшись, снова поскакали.

Там находятся самые высокие перевалы Тувы — Саадак, Коге-Даваа, Сыын-Баштыг. Когда, взойдя на верхушку Барлыка Оргу-Кызыл, осматриваешься кругом, то вдали ясно виднеются хребты монгольских гор Чингилик и Каргыраа, огромное озеро Убсу-Нур. Про эти места в старину монгун-тайгинцы пели:

С хребтов Чингилика — сидеть бы да изучать.
С хребтов Каргыраа — сидеть бы да рассматривать.

Среди деревьев сочно зеленели полянки, покрытые травой, на которой хотелось растянуться, как на войлочном ковре. Через маленькую рощу по лужайкам протекал тихий, прозрачный ручей. В кристально чистой воде отражались берега ручья, покрытые изумрудным травяным покровом, как шелковистым плюшем. Ничто не нарушало тишины. Из-под копыт лошадей изредка взлетали бабочки и крупная саранча с черно-красными крыльями.

Неожиданно в этой тишине родился звук. Он напомнил монотонное мелодичное гудение волынки. Это Комбуй, ехавший позади Холурааша, пел хоомей, постепенно выпуская воздух из глубины гортани. Песня Комбуя, лишённая слов, была полна настроения. Параллельно песне Комбуя возник сыгыт — высокий эпический напев. Пел Холурааш. Его голос звучал непрерывной мелодией, как чистая певучая флейта. В об-

разы суровой природы ворвались мотивы радости, солнца, светлые краски дня. Голоса обоих певцов то слышались по отдельности, то сливались и звучали в унисон.

Их вдохновил Хурен-оол — настоящий мастер эпического пения. Это своеобразное пение, наверное, зародилось в сумеречных просторах степей, было создано одинокими всадниками, день за днем меряющими копытами своих коней огромные расстояния по долинам и хребтам необъятной Родины. Есть такое предание: юноша-сирота в течение трёх лет жил у подножия скалы; однажды юноша сидел и издавал звуки, подражая гудению, исходящему из скалы; ветер донес этот звук до людей, и они назвали это пение хоомей.

Эпическое пение завораживает, удивляет и даже пугает. Если ты слышишь пение вечером, то иногда кажется, что где-то там, в степи, кто-то кого-то зовет, плачет о чем-то, чего не вернешь. Утреннее пение совсем другое, оно будит степь; эхо, отражаясь от гор, раскатисто и требовательно говорит солнцу: поднимайся, мы уже проснулись!

А может быть, пение зародилось как подражание голосу верблюдицы. Когда верблюжонок умирает, верблюдица скачет, издает хриплые звуки, плачет в течение трех лет, возвращаясь на место гибели детеныша.

Монгун-Тайга — самый высокогорный район в Туве. Здесь часто исполняется даг каргыраазы — горное эпическое пение. В ушах Холурааша снова зазвенело пение каргыраа отца — музыка гор.

Миновали крутые перевалы и бурные реки.

— Можно узнать прогноз погоды на год? — спросил Комбуй.

— Можно, наблюдая за природой. Например, если осенью листва желтеет на тополе снизу вверх по стволу, то следующий год будет благополучным. Если желтеет сверху вниз, то предстоящая зима будет морозной, а год в целом холодным. Погода повторяется через шесть месяцев. Если снег выпал в середине января, то в середине июля будет дождь. Если в определенный день зимой был буран, то в день через шесть месяцев будет ветрено. Погоду на предстоящий месяц сообщает луна. По лунному календарю в месяце 30 дней. Месяц становится видимым на новолуние, 3-го числа каждого месяца. Дед мне говорил: чтобы увидеть месяц 2-го числа, необходимо взобраться на высокую гору. 14-го — луна красного цвета; 15-го — бордово-красного цвета, совершенно округлая, самого большого размера; 16-го — розового цвета; 22-го — луна повернулась в другую сторону. Если на новолуние месяц стоит вертикально, прямо, то будет хороший месяц, без резких изменений погоды, а если «опрокинется на спину», с наклоном в правую от смотрящего человека сторону, то осадков не будет, будет ветер, холод, жара. Если «наклонилась вперед», будут осадки: снег, дождь. 5-8, 15-18, 25-28 числа каждого месяца по лунному календарю обязательно происходят изменения погоды.

...Скоро их родной край. Холурааш думал. Родина — это место, где ты родился. Юрта, в которой твои ещё молодые мама, папа радовались твоему появлению на свет, любили тебя и друг друга. Это всё, что окружало тебя с первых дней жизни. Запахи детства. Холурааш понял, что не может без родных жить, надо скорее повидать их. Холурааша ждала жена. Ждал его и отец, и бабушка, ждали друзья, родственники. Ждала его и Биче-Монгун-Тайга, он бережно носил её в своем сердце, как бы боясь растопить ледники. Родной край жил в нём, сверкал белоснежными ледниками, напоминая пропитанный можжевельником запах детства. Ему мнилось, будто родной перевал опускался-поднимался, словно манил его. Он слышал обращенное к себе приветствие: «Здравствуй, моё дитя!»

Смерть Сойту его расстроила. И вот он готов «без оглядки, бешеной рысью скакать» к его родителям. От выпитой араки в юрте, где отмечали кылбык-дой, болела голова. «Что сказать родителям Сойту?» — думал Холурааш. Сойту ведь был таким молодым, очень весёлым человеком, хорошо пел. Они не смогут поверить, что их сын погиб. Тоска сжала сердце, не заметил, как слезы полились из глаз. Даже на войне не плакал, а тут вдруг такое. Легкое дуновение ветра чётко напомнило давно прошедшие дни. Щемящее чувство утраты пронзило душу.

С Комбуем расстался в Шегетее. Чем ближе аал, тем сильнее стучало сердце Холурааша. Не зря говорят: в юрте — разговоры, в дороге — песни. Пел он, обращаясь к своей лошади:

Мой весёлый нрав, мои песни,
Хоомей мой тебя взбодрили ли?
Не потому ли так бодро,
Быстро скачешь ты, мой конь.

Пел он о своей жене:

Анай-карам стала глубокой любовью,
Сердцем и душою, плотью, печенью и аортой,

Моим огнивом и ножом.
Готов отдать жене свою кровь,
Свои стремена и аркан.

Ему казалось, что любовь сделала его лучше.

И вот Холурааша с радостью встретили любимая собака Мойнак, Анай, отец и бабушка. На его душе стало так светло. Правда, что в гостях хорошо, но дома лучше.

В связи с приездом Холурааша в юрте Конгура собралось очень много народу. В переднем углу перед сундуком постелили белую кошму, поставили деревянное корыто с горой бараньего мяса, а возле — два когээржика с аракой.

— Как съездили? Как воевали? Все ли живы? — на вопросы едва успевал отвечать Холурааш.

— Самое удивительное — ехали на войну против маньчжуров, а сами караулили китайских купцов в Чадане, — сообщил Холурааш.

— Что же это получается? — возмущались араты.

— Те, которые осмелились сказать слово против, выразить сомнение, сразу отведали палок.

Начали раскладывать мясо по деревянным чашкам. Конгур разливал из когээржика араку, начиная с самого почётного старца, меткого охотника Успун. Разговор стал веселее и громче. Присутствующие поочередно спрашивали и хвалили Холурааша.

Анай мешала чай, зачерпывая полный ковш и вновь выливая в чашу, чтобы осела гуща. Потом добавила соль, молоко сарлыка к чаю. Разлила чай по деревянным чашкам, и все принялись пить, громко причмокивая. Разговор на время прекратился.

На следующее утро Холурааш вскочил на коня. Севил вышла из юрты с ведерком молока и стала разбрызгивать его тос-караком (кропильной ложкой) вслед внуку.

Вскоре он выехал на большой перевал. Холурааш соблюдал обычаи своего народа. Слез с лошади, посидел возле оваа. Разбрызгал молоко из когээржика, разбросал кусочки еды по ходу солнца, прося милости у хозяина перевала. Привязал к жердям волосы из гривы своего коня.

А дальше как на ладони монгун-тайгинская земля. Путник спустился с пригорка рысью. Было прохладно. Под вечер подъехал к аалам, расположенным на лугу в устье реки Моген-Бурен. Как только пронеслась весть, что приехал Холурааш из Хомду, в аале все всполошились — взрослые и дети готовились к встрече дорогого гостя. Вскоре Холурааш сидел в юрте родителей Сойту. Он подробно им рассказывал:

— Первая победа в Улангоме далась легко благодаря арату Сулдему. Он незаметно ночью положил в дуло пушки свинцовые шарики. А город Кобдо взяли долгой осадой, победа досталась с большим трудом. Из Монгун-Тайги храбро сражался ваш сын Сойту. Он погиб от сквозного пулевого ранения в сердце. Жаль, что у него выпал кожаный кошель с волшебным камнем. За проявленную храбрость, за геройство, проявленное в сражениях при Улангоме и Кобдо ваш сын посмертно награжден пестрым шариком. Это свидетельство присвоения наследственного звания тайши, — поклонившись старикам, Холурааш прикрепил к шапке этот шарик. Они ждали своего сына с войны. Но не все мечты сбываются. Холурааш успокаивал их: — Не только вы, но многие потеряли своих близких на войне. Крепитесь, дорогие мои!

Холурааш думал, что после разгрома маньчжуров начнет жить по-другому: разживется скотиной побольше, перестанет с отцом ездить на охоту. Но, приехав, он застал картину более мрачную, чем прежде: из двухсот овец, которыми они жили, осталось около трех десятков; сарлыков, правда, прибавилось на две дойные головы, и теперь их было десять; шесть коней, три козы. Для монгун-тайгинских иргитов это была среднего достатка семья. Все араты работали на богачей. «Наш урянхайский край стал нищий, только богачи процветают», — думал сын шамана.

Картина 5. КУНДУКАЙ

Горы Монгун-Тайги, имевшие плоские вершины, покрытые вечными снегами и ледниками, считались обиталищем добрых и злых духов, признавались священными. По мнению монгун-тайгинцев, хребты и горы выполняли функцию своеобразного оберега. Они призывали хозяев местности направить свои милости в их сторону. В честь духов гор, для их умилостивления воздвигались особо почитаемые оваа (алтари).

Холурааш и Комбуй в Бай-Оваа приехали в праздник коллективного моления — дагылга — в честь верховных покровителей Биче-Монгун-Хайыракана. Такое моление — залог жизненного благополучия каждой семьи, поэтому каждый спешил отблагодарить духов жертвой. Главное, конечно, — ее хозяйственная полезность. Для моления были приглашены монгольские, алтайские ламы, сидевшие на ковриках. Одеты они

были в светло-оранжевые халаты с очень широкими рукавами. Ярко-красные полоски материи были наброшены на плечи. Их концы, спускаясь вниз, превращались в пояса.

Как трудно сосчитать камни на берегах реки Моген-Бурен, иголки на лиственнице, так трудно было сосчитать людей, собравшихся на празднике. Холурааш обрадовался, увидев друзей с Алтая, из Монголии, с ними свободно общался на алтайском и монгольском языках.

Монгун-тайгинцы роднились не только друг с другом, но и с монголами, но чаще с алтайцами, более близкими по сказкам, обычаям и особенно по языку. Роднившиеся менялись конями, халатами, ножами, кнутами. Если у обоих были ружья, то менялись и ружьями. Нюхали головы друг друга, обнимались, приговаривая: «Отныне мы становимся кровными сыновьями одной матери, одного отца. Отныне будем жить как кровные братья». Потом побратим сообщал своей семье: «Я присягнул Солнцу, Луне, священной Монгун-Тайге. Я присягнул Холураашу из рода Иргит. Вы должны чтить мою присягу». Обычай побратимства свидетельствует о духовной близости тувинцев и их соседей.

...Наступило время самых ярких и дорогих сердцу каждого тувинца зрелищ — время хуреш — национальной борьбы богатырей. Любимые народом борцы-богатыри Кундукай, Калчан-оол, Дагбы, Мырза, братья Докур сидели напротив в ожидании поединков. Заждались и болельщики, расположившиеся кругом на зеленом лугу. Посреди круга были постелены войлочные ковры. На них — ширээ, щедро уставленные вкусной едой, и когээржики с кумысом и аракой. Это место было подготовлено для высокопоставленных чиновников.

Поединки борцов начинались не сразу. Соблюдались традиционные ритуалы. Сначала выкликали имена знаменитых борцов, приглашали их на поле, они исполняли девиг — ритуальный танец орла. Увидев среди них любимого богатыря Кундукая, Холурааш очень обрадовался. Ему с детства нравилась национальная борьба. После победы над байским сыном Суге в борьбе за честь невесты Анай во время ойтулааша (ночных игр) Холурааш еще больше полюбил хуреш. Гордился такими борцами, как Кундукай.

Время от времени выбегали секунданты.

— Прошу выпустить соперника моего борца Кундукая, одним видом своим пугающего горе-слабаков, кидающего за спину борцов кичливых. Сильны его предки, народом не забытые. Ловкостью и богатырской силой прославился он сам. Вот он — Кундукай, уставший ждать поединка, — начал один крикун-секундант.

Ему ответил секундант соперника:

— Прошу повременить немножко: ведь борцовские доспехи не налезают на моего гиганта. Он велик, как гора...

Потянулись к поляне для хуреша зрители. По одну сторону расположилась вся знать — ближе к судьям, по другую — народ. Возле судей уселся Хурен-оол из рода кара-салов из Барлыка. Когда опередил их? Он тихо наигрывал на игиле, гриф которого был украшен искусно вырезанной конской головой, и пел песню-хоомей, призывающую силачей к честной борьбе.

— Хурен-оол Кара-Сал всегда на хуреш приходит петь и играть. До самой последней схватки игил из рук не выпускает. Кончится борьба, и он умолкнет, но прежде скажет извечное: «Это время уходит, новое настает», — объяснял Комбуй Холураашу.

При восхвалении борцов Холурааш вспомнил сказку бабушки о поединке борцов: «Богатыри, разойдясь в разные стороны света, начали девиг — ритуальный танец. Когда Саратай-Моге подпрыгивая пошёл, а Бокту-Кириш — навстречу ему прыжками, черная земля задрожала, земля с травами заколыхалась. А как сошлись оба богатыря, кругом пошли: готовясь схватиться, вокруг друг друга обходят. И вот — «кап-шак!» — схватились. Девяносто дней — три месяца — не отпускают друг друга. Боктуг-Кириш Саратая-Моге за обе подмышки схватил, крутил, крутил... До окраин весь мир обойдя, закинул на лопатки свои и на зеленый бугор швырнул: синее небо содрогнулось, черная земля задрожала...»

На том празднике победил богатырь Кундукай, одолев монгольских, алтайских и местных борцов. Снова Хурен-оол пел хоомей. В заключительной песне славил свой народ, благословил родную землю.

Как победителю, Кундукаю преподнесли мясо барана с курдюком, большую фляжку-когээржик с аракой. Разрезав курдюк полосками, он угощал народ, выпивая араку, благословил родной край, свой народ, после чего, поклонившись, танцевал девиг — танец орла.

Только собрался поскакать на коне Кундукай в сторону своего аала, из толпы, где сидели алтайские, монгольские, казахские гости, вышел завистливый чиновник-монгол и всенародно объявил:

— Какой гордый и величественный борец Кундукай! Приглашаю его на праздник

в наш сумон Монголии.

По приглашению чиновника-монгола на торжественное молебствие в одном сумоне Монголии поехали тувинские борцы во главе с Кундукаем. Их сопровождал Холурааш. В пути Кундукай рассказал Холураашу о борцах Монгун-Тайги:

— Борец Калчан-оол выше меня ростом, шире в груди. Когда он подъехал к юрте старушки Дончук, араты бросали аркан на шею коня. При попытке коня перепрыгнуть через загон, Калчан-оол, схватив коня за ногу, обратно перебросил в загон. Старушка закричала взволнованно: «Аа богда! Вот это силища! Ведь это не коза и не овца, так бросать, мой сынок». Затем вынесла деревянное ведерко с молоком из юрты, плескала тос-караком в борца, разбрызгивала его на все четыре стороны по ходу солнца. Вот другой случай. При перекочёвке навьюченный юртой вол-сарлык при подъеме в гору не мог идти дальше. Поднять его не сумели. Тогда Калчан-оол перебросил юрту на плечи, пошел пешком в гору. Люди не успели глазом моргнуть — ни разу не отдыхавший силач с тяжелым грузом оказался на вершине горы.

— Что знаете о борцах Допур и Бораш? — спросил, стесняясь, Калчан-оол, прервав разговор о его силе.

— О них знает вся Монгун-Тайга, к концу борьбы-хуреш остаются только двое — Допур и Бораш, — ответил Холурааш. — Силы их равны, и они очень долго борются. Иногда даже перепрыгивая через сидящих зрителей, борются полдня. Не дождавшись конца поединка, многие уходят домой.

Летнее стойбище силача Допур находится в верховьях реки Тоолайты. Хотя рядом много озёр, но рыбачит он всё лето только в озере Борбак-Хол. Холурааш помнит, что озеро Борбак-Хол теперь земляки называют Допур-холу — озеро Допура.

Наконец прибыли в сумон Монголии. Отдав должное божествам, ламы разрешили приступить к священной трапезе. Рассевшимся вокруг костра начали подавать пищу. Чиновникам тащили самое жирное, самое вкусное. Подошел к концу пир. Наступила очередь состязаний: борьбы-хуреша и конных скачек. Засуетились борцы. Опытные, как Кундукай, с достоинством, солидно готовились к схваткам, натягивали содаки, разминались, а начинающие суетливо носились в предвкушении схваток. Деловито переговаривались секунданты с судьями. Вот они начали рассаживать силачей на поляне для хуреша, а вокруг по одну сторону расположились богачи — ближе к судям, по другую — простой народ.

Началась борьба. Пара сменялась парой. Страсти накалялись. Свою схватку в первом туре тувинский борец Калчан-оол выиграл шутя. Секундант выкликнул имя Кундукая. Он сделал несколько прыжков, напоминающих девиг (танец орла). «Сначала победить надо, — подумал он. — танец никуда не денется». Попался ему высокий и здоровенный парень-монгол.

— Силач мой устает ждать! — вопил секундант.

Кундукай старался подобраться к ногам соперника, но это ему никак не удавалось. Холурааш увидел, что его земляк очутился внизу. Противник всей силой давил на него. У Кундукая перехватило дыхание. Стало жарко. Со всех сторон что-то кричали, подсказывали, советовали. Кундукай ничего не слышал. Ему было не до того. Подобравшись, выровнял дыхание и зорко следил за соперником, горделиво ожидавшим сопротивления. Тот был уверен в своей победе. Кундукай ждал лишь, чтобы парень переставил ногу. Улучив момент, набрал полные легкие воздуха и распрямился. Противник не ожидал. Мелькнули в воздухе его длинные ноги. Под шум и крики толпы Кундукай припечатал противника к земле.

Вот теперь, широко раскинув руки в стороны, Кундукай запарил подобно орлу. Его осыпали кусочками сыра. Подбежал Холурааш и похлопал земляка по ягодицам, попытался подражать танцу орла. Народ развеселился.

Волнение у Кундукая прошло. Он спокойно побеждал одного соперника за другим. Каждая выигранная им схватка все сильнее вдохновляла Холураша. Секунданты изо всех сил так старались перетасовать пары, чтобы сильнейшие оказывались против Кундукая. Это злило его и раззадоривало.

— Держись, Кундукай! — шепнул ему Холурааш. — Смотри, сын Монгун-Тайги, не подведи!

И вот остались на поле боя двое. Им дали передышку, а толпа свистела, орала до хрипоты.

— Выводите противника силача Хорлуу! — завопил секундант. — Силачу ждать надоело!

— Выводите противника силача Кундукая! — подхватил второй секундант.

— Наш силач в содак-шудак[1] не умещается. У него шудак от натуги трещит!

А схватки по существу и не было. Борцы только сошлись, и Хорлуу уже валялся

[1] Содак-шудак – костюм для национальной борьбы.

на земле. Кундукая подхватили на руки и начали подбрасывать над толпой. Вырвав победу и снова насолив правителю монгольского сумона, Кундукай стал дожидаться приза. У всех на языке только и было: «Кундукай! Кундукай!»

Сюда правитель со слугами тащили самую жирную баранину с курдюком, прожаренное просо со сметаной в огромной тарелке, чайник с чаем. Не жалели араки. Силач узнал того правителя, который обещал перекормить его. Кундукай, с достоинством поклонившись, поздоровался с ним.

— Я видел в Монгун-Тайге, как ты славно боролся и стал победителем. И сегодня тоже победил, угощайся! — сказал монгольский чиновник.

— Не за награду боролся, а за мужскую честь, — гордо сказал силач.

Кундукай угощался как мог, лил в себя араку. Как в тот раз, Кундукай и здесь победил: совсем трезвый, он сделал несколько легких прыжков танца орла. Широко раскинув руки в стороны, гордо запарил подобно орлу. Завистливый чиновник-монгол как-то виновато обратился к Кундукаю:

— Здоров ты и силён, как бык. И аппетит отменный. Желаю от души дальнейших успехов! — положив шарф на шею, подарил шёлк.

Кундукай из очень бедной семьи. Ростом невысок, но сбит плотно, подтянутый, жилистый, крепок на ноги, изворотлив. Несмотря на трудную жизнь, не сломался. К нему всегда шли люди за добрым словом. Ведь всем так необходима доброта и честность. Его скромность, тактичность подтверждает такой случай. На одном поединке из 64-х борцов в Бай-Оваа, где присутствовал и Холурааш, на поляне осталась последняя пара: Кундукай и борец-казах.

— Почему только тувинцы побеждают? У Кундукая поджилки трясутся! — орал силач-казах, понося на чем свет стоит противника и применяя силы против правил борьбы-хуреш.

В конце молебствия и к концу борьбы-хуреш алтайцы, монголы и тувинские чиновники поскакали по аалам. Кундукай чувствовал себя свободным и гордым, но не смог так нагло поступить, как силач-казах. Он думал о дружбе тувинского и казахского народов. Скромность Кундукая задела за живое, и казах вообще обнаглел — бил куда попало, делал пинки, мотал головой.

— Казах боится камня. Принесите камней! — закричал старик-тувинец.

Всадники-тувинцы поскакали в гору за камнями. Тем временем силач Кундукай старался отвлечь противника, не применяя силу, скромно сопротивляясь, но временами давал сдачи. Вот и возвратились всадники с камнями с кулак. Начали бросать камни, не слезая с лошадей. Увидев, как падают камни около него, борец-казах испугался, вскочил на коня и поскакал домой. Оглянувшись назад, он увидел, как тувинские борцы, широко раскинув руки в стороны, гордо парят девиг, подобно орлу, вокруг Бай-Оваа.

Тувинцы с древних пор ценили камни: ожук-даш, кодурер-даш, инек-даш, оваа-дажы, сан салыр-даш... Инек-даш — валун. Сан салыр-даш — большой плоский овальной формы с углублением в виде чаши камень. Оваа-дажы — большие кучи камней с жердями на перевалах. Горевший посреди юрты костёр сменил ожук, подставками которого служили три камня — ожук-даш, стоявшие, как три брата с равными плечами, то есть на одном уровне плечами. Холурааш с детства помнил об этом загадку: три чёрных козла бодаться не осмелятся.

Картина 6. РОТ ЗЕМЛИ

В Биче-Монгун-Тайге, где высятся цепи гор Кара-Даг с вершинами Кара-Кожагары, есть загадочное место Чер-Аксы — Рот Земли. После захода солнца в этом месте слышны смех, пение и разговоры невидимых людей. Однажды скотовод-алтаец Буурулдай в зимовье Дедир-Аас сказал Холураашу:

— Если слишком много умерших душ спускается с гор и рек в Чер-Аксы, то его хозяин кричит: «Тойган-тойган! Бойган-бойган! Больше мест нет! Не надо сюда спускаться!» — и ещё добавил: — Когда приближаешься к Чер-Аксы, слышатся различные мелодии: будто хором кукуют кукушки, или коршуны издают звуки, похожие на ржание лошадей, или будто хор девушек поет чарующие песни, или мальчики играют на игил.

Местечко Чер-Аксы давно интересовало Холурааша. Он внимательно, подолгу смотрел на высокие горы Кара-Дага. Договорившись с другом Бады, они направились к подземным пещерам Кара-Дага, чтобы найти пещеру Чер-Аксы. Прямо перед ними возвышались горы — высокие и неприступные. Крутые, острые вершины нескончаемой стеной тянулись с севера на восток, и нигде между ними не видно было прохода. Друзья страстно мечтали преодолеть эту несокрушимую преграду. Присев отдохнуть в камнях, они видели, как пробегают вдали архары и козероги, снежный

барс показался из-за скалистого выступа. Волнение овладело Холураашем. Как хотелось ему преодолеть пространство, отделяющее от добычи! Вздохнув, он поднялся и зашагал вверх по течению, сопровождаемый Бады.

Скоро они очутились перед тёмным углублением в скале, откуда с шумом вырывалась река. Летучие мыши метнулись в темноту, испуганные появлением людей. Путники шли по мрачным переходам вдоль течения подземной реки, перепрыгивая через ямы и расселины. Добрались до того места, где глухая каменная стена преграждала путь. Бады зажег одну из захваченных с собой смолистых веток. Яркое пламя озарило высокую стену, и они увидели в каменной стене зияющую широкую трещину. Подойдя к краю трещины, заметили, что проход достаточно широк, чтобы пропустить человека.

Холурааш протиснулся в черневшую перед ним каменную щель. Бады последовал за ним. Скоро проход сделался узким и низким, из-за чего протискивались между камнями, пробирались почти ползком. Воздух был жарким и спертым, дышать становилось всё трудней. Вдруг острый выступ скалы преградил им путь. Холурааш выхватил из-за пояса кош-бижек (большой нож) и ударил им по скалистому выступу со всей силы. Скала пошатнулась, и друзья поняли, что её можно сдвинуть с места. Бады, воткнув свой факел в расселину стены, стал помогать Холураашу. Скала зашаталась сильнее. Толкнули её изо всех сил. Раздался треск, посыпались камни. Скала покачнулась, послышался глухой звук падения тяжелой глыбы. Путь был свободен.

Передохнув немного, путники двинулись дальше. Проход постепенно расширялся. Вскоре Холурааш и Бады смогли выпрямиться во весь рост. Дышать стало легче. Наконец очутились в обширной пещере. Холурааш бросился вперед, но вскоре темнота вынудила его остановиться. Задержка была недолгой, Бады добрался до Холурааша со своим факелом, они почти бегом двинулись дальше. Скоро впереди забрезжил слабый свет, усиливавшийся, по мере того как друзья приближались к нему. Внезапно очутились у выхода из пещеры. Перед ними тянулся узкий коридор, образованный двумя отвесными гранитными стенами. Вверху, высоко над головами, виднелась полоска ослепительного синего неба. Узкое ущелье, затерянное в глубине горного массива, мало чем отличалось от подземного лабиринта, из которого они только что выбрались. Холураашу не терпелось увидеть поскорей открытое пространство. После краткого отдыха снова двинулись в путь.

День уже клонился к вечеру, когда наконец добрались до выхода из ущелья. Перед ними простирался горный луг. Справа и слева грозно высились горы. Огромный гриф медленно парил в вышине под облаками, озаренными вечерним солнцем. От понимания, что прошли сквозь гору, путники были сильно взволнованы. Они слышали биение своих сердец и пение птиц: кукуют кукушки, коршуны ржут, как лошади, как сказал скотовод-алтаец Буурулдай. Это неведомая земля неудержимо влекла их к себе.

— Наконец-то мы нашли то, что искали, и нужно быть внимательными к настоящему моменту, — с радостью сказал Холурааш.

— Почему говоришь о настоящем времени? — спросил Бады.

— Когда поймаешь себя на мыслях о том, что нужно сделать или что произошло и может произойти, — плавно вернись в настоящий момент.

— А что важнее?

— Важнее, что происходит прямо сейчас: наши действия, события.

— Я глубоко вдыхаю свежий воздух. Чувствую прикосновение ветра. Слышу пение птиц.

— Вот-вот. Надо жить осознанно, Бады, наслаждаться жизнью.

Наступил период самых длинных летних дней — чылапча-паш тигер ой. Лето набрало силу. Откуковали кукушки, налились животворными силами травы. Конгур, Севил, Анай и Холурааш с утра до вечера гнули спины в работе.

Рано утром Севил и Анай, подоив своих сарлыков, жертвовали парное молоко, разбрызгивая его тос-караком (кропильной ложкой) в сторону Верхнего Мира, где находятся Луна, Солнце, звёзды, планеты и Млечный путь. Они ожидали от него благословения.

Брызгая парное молоко, Анай всегда произносила возвышенные благопожелания:

О, моя белая Луна! О, мое светлое Солнце!
О, мои серебряные звезды! О, мои золотистые планеты!
О, мой дугообразный Млечный Путь!
Ожидаю от вас счастье и благополучие!

— Когда жертвуешь парное молоко для Верхнего мира, будет большая удача, — одобряла сноху Севил.

Конгур ладил арканы для баев. Холурааш пас отару. Севил мяла и выделывала

кожи. Сноха Анай помогала ей насучить ниток жильных, напрясть шерсти и пошить одежонку для семьи. У старухи по-прежнему ломило в висках, ныли суставы ног, болели руки. Выматываясь от работы, Севил принималась ругать Конгура, что не смог спасти Чинчи от чумы. Конгур не спорил, не оправдывался. Поджимал губы и занимался своим делом, помалкивал. Разве женщину переубедишь?

— Ну, у ламы разговор долог, даже хромая овца уковыляла! — сказал Конгур. — Пора чай вскипятить.

А про себя думал: «Как хорошо, что Холурааш с Бады прошли сквозь гору и нашли эту пещеру. Не зря я их предупредил: пока об этом никому не говорить. Пещера пригодится нам самим в тяжелое время».

Картина 7. ВОССТАНИЕ АРАТОВ

Фрагмент 1. «Как измерить боль от удара»

У скупого богача-соседа Кара-бай стойбище чёрное, потому что у него много скота, выбившего кругом траву. Холурааш знал, что пастухи бая — дети его бедных родственников, он ничего не платил им. Пастухи, как и другие работники бая, пасли байский скот за право доения, то есть за молоко этого же скота. Сам бай жил, как «почка в сале», как «табак в кисете», чем богаче, тем жаднее. Ему всегда и всюду был почёт, везде угощали. О скупом бае быстро распространялась дурная слава, ему желали разорения со словами: «Высохнуть бы безрыбному озеру, разориться бы вредному баю».

Арат Опан думал о детях и своём человеческом достоинстве. Он пел:

Волей человека богач правит.
Как измерить муки неволи?
Головой лошади бич правит.
Как измерить боль от удара?

Холурааша волновала эта песня о безысходности положения арата, о его зависимости от бая.

— Хоть ты беден, а душой богат. Бедняк умнее бая, — поддерживал арата Холурааш. — Бай не понимает, что его сила в народе. Когда у кедра корня нет, то нет и шишек; когда у народа силы нет, то нет и бая.

Маньчжурское правительство за исправное отправление должности жаловало крупных чиновников отличительным знаком — одага. К их шапкам прикрепляли пучок павлиньих перьев, продетых через серебряную или стеклянную трубочку. Об этом пели: «*Из Улясутая (Пекина) шёлк-улаан привозят, получишь в подарок связанный шёлк*»; «*Остроязычный господин ярко-синюю чинзе приколол*». Подразумевалась взятка — подкуп тувинских чиновников.

На берегу устья реки Моген-Бурен и озера Нуурук-Хол Монгун-Тайги поставили острую байза, знак — демдек и шест — урук. Наступать на них, трогать их запрещалось. Потеря байза воспринималась как беда. За нарушение этого запрета следовало наказание. Где байза, там и ортээл — ямская станция. Несравненно тяжелее была ортээльная (ямская) повинность. Она состояла в обеспечении конями чиновников, везущих в Улясутай государственный албан — налог, взимавшийся при обслуживании торговых караванов.

Во второй половине XIX века наезды маньчжурских чиновников участились. Конкуренция с российскими купцами на пушном рынке усилила вмешательство цинских властей во внутренние дела Урянхая. Естественно, участились и вызовы аратов для исполнения ямской повинности.

Однажды на станцию Чеди-Тей (Семь холмов) у озера Нуурук-Хол приехал Холурааш сменить дядю Балдыпа. Войдя потихоньку в юрту бая, Холурааш приветствовал всех. На что богачу приветствия молодца! «Почитаешь, но они не ценят почтения. Ох, эти баи». Богач Кара-Чейзен уверен в себе и нескончаемости своей власти. Бай думает о богатстве — хан, хоть богатый, золотом не насытится.

Сопровождая маньчжурских чургаанов и монгольских чиновников, Холурааш чуть не падал от усталости, прислуживая им. Тёмно-гнедые кони, сарлыки-волы под грузным вьюком изнурялись на хребте Саадак, на перевале Чолдак-Арт, продуваемом ветрами. Холурааш скучал по родным, тосковал в одиночестве, разговаривал даже с ивами.

В молитвах аратов лучшее будущее связывалось с освобождением от национального гнёта:

Пусть от императора Эжена посол не приходит, тело не изнуряет.
Пусть из Китая враг не приходит и сына и дочь не уводит.

Хотя караульная служба тяготила его, надолго разлучала с родными людьми и кочевьями, он терпеливо дослужился до смены. Вместо него приехал соратник Комбуй. Холурааш благополучно вернулся в свой аал.

Фрагмент 2. Красный вихрь

В ясный день вдоль дороги около аала рода Хертеков долго кружил Кызыл Казыргы — Красный вихрь. Это значит: Аза-Куу — Серый чёрт, превратившийся в Красный вихрь, — предупреждал, что он скоро унесет жизнь самого старшего человека в аале. Каждый человек по возможности должен уклоняться от удара Красного вихря.

Для того чтобы угроза Красного вихря миновала, старейшина аала приглашал известного в округе шамана Саая Улуг-Ак оглу Чувекей, который своим камланием предотвращал угрозу Аза-Куу. Шаман Чувекей, который вышел из племени албыс, имел связь с Дээр хайыракан — небесным божеством, с чер ээзи — духами земли. Холурааш узнал об этом от сестры шамана Акаа — дочери Манная из рода Саая — и поскакал в аал рода Хертеков. Он не забывал слова отца: «Учись не только у меня, но и у других шаманов».

Ночью он поднялся на перевал и увидел, как у корней лиственницы загорелся огонь. Подумал, что это костёр, и пошел к тому месту. Каково же было его удивление, когда не обнаружил ни костра, ни людей. Пошёл дальше. Отойдя немного, оглянулся и снова увидел огонь, а рядом с ним бегающие огоньки. Вернулся. Подойдя к корням лиственницы, увидел там бурое от времени седло. И тут же услышал загадочные звуки: плач младенца, колыбельную женщины и трубный голос мужчины. А бурое седло снова исчезло.

Холурааш вспомнил, что отец рассказывал ему о том, что когда-то на этом перевале ударом молнии был убит молодой парень. Его тело уничтожили хищные птицы и дикие звери. Осталось седло. С тех пор это бурое седло появляется перед глазами людей в ночное время. «Да, чего только удивительного не происходит в жизни человека», — подумал сын шамана.

Наконец-то прибыл в аал Хертеков. Камлание началось с алгыша:

В аал рода Хертеков меня пригласили.
Моя гора, Великая Монгун-Хайыракан,
Обращаюсь к тебе: «Оог?» — спросите.
Моя малая гора, Монгун-Хайыракан,
Обращаюсь к тебе: «Ааг?» — спросите.
Я — брызги мочи рода Саая.
Кровь Каксаанов во мне течёт!
Река бурная Моген-Бурен,
Верхние, Нижние Сайырлары,
Мои сестры — Шегетейи,
Великая, Малая Деспеннери!
Золотые, серебряные вершины,
Задние, передние мои хребты,
Дайте нам чистый воздух,
Чистую воду аржаанов.
Очищаю себя дымом можжевельника.
Пусть уходит дальше,
Исчезает любая болезнь.

Шаманская мистерия захватывала Холурааша.

Глаза ваши зоркие,
Уши ваши чуткие,
Нюх ваш отличный,
Чутьё ваше тонкое,
Прошу вас вызвать счастье
И благополучие!
Кожа козерога служит
Обтяжкой моего бубна.
Тонкая её кожа лучше звучит.
Пусть звенит мой бубен
До небес Кудайлар:
Тук-тук-тук-тук, так-так-так-так!
Всем телом дрожу, упаду в обморок.
Звени моя колотушка.
Исполняю песнопение.

Я — шаман небесный.
Меня зовут Чувекей.

Шаман легко разговаривал с божеством Неба и хозяином Земли и потому знал, где блуждает душа человека. В этих алгышах (песнях) шаман нашел причину ухода души старика — Куу-Аза, превратившегося в Красный вихрь. Чувекей сумел возвратить хозяину потерянную душу в виде волоса. После того как вернулась душа к больному, тот выздоровел. Араты обрадовались — жизнь пожилого человека спасена.

Шаман Саая Чувекей был ещё чуве дужурер хам — шаманом, который доставал то, чего нет. Например, во время камлания он может достать табак, чай или давно потерянную вещь: аркан, огниво, кольцо...

Когда кончался табак, соседи непременно обращались к нему. Камлание проводилось при всех. С наступлением рассвета через хараача (верхнее отверстие в юрте) в бубен падала целая пачка табака, которую шаман дарил всем присутствующим, но сам его не курил. Говорили, что если он будет курить этот табак, его шаманская сила иссякнет.

Холурааш вернулся в свой аал. Там дядя Балдып рассказывал о своих путешествиях:

— Я был в Саянских хребтах, где есть Эргек-Дыргак-Тайга (дословно: Большой палец с ногтем).

— В высоких Саянских горах есть тайга с именем Большой палец с ногтем? — переспросил Холурааш.

— Да, — уверенно ответил Балдып.

Все просили его рассказать об Эргек-Дыргак-Тайга, после чего он поведал:

— В седую древность в Саянских хребтах со стороны Черного неба вниз прилетел страшный ураган. Люди и звери покинули эти места. Могучие деревья попадали с вывернутыми корнями. Один шаман небесного происхождения своим даром сумел приостановить удары страшного урагана. Но порыв ветра вырвал колотушку из правой руки шамана. «Пусть Саянские хребты останутся родиной моих предков. Пусть мой народ останется хозяином этой земли!» — камлал шаман. Страшный ураган и смелый шаман продолжили жестокий поединок. И ладонь левой руки шамана превратилась в ущелье. Десять пальцев шамана превратились в десять горных вершин. Ладонь левой руки, держащая рукоятку бубна, превратилась в большой плоский камень. Большой палец левой руки шамана остановил полёт большого плоского камня, прилетевшего со стороны Черного неба. Ноготь большого пальца шамана превратился в вечный снег. Так погиб шаман небесного происхождения, но осталась вечно живой его душа. Вот откуда с седых времён пошло название Эргек-Дыргак-Тайга, над которой пролетает только лишь черный орёл, — закончил Балдып и добавил: — В верховьях Улуг-Хема и Бии-Хема уже очень давно поселились русские, а в других кожуунах несколько лет назад. Народ стоящий, есть чему у них поучиться, — Балдып показал ружьё: — Выменял за двадцать белок у одного бородатого русского купца.

— Это дешево, у китайцев дороже, чем у русских, — заметил Конгур.

— Чем торгуют русские?

— Русские привозят с собой чай, табак, скобяные товары, посуду. Столица Урянхайского края теперь — Хем-Белдири[1].

Прежде Урянхай считался границей мира, за которой нет ни земель, ни людей. И другое говорили: будто за горами-перевалами находится таинственная Шамбала. Давно позабылись сказки. Не только в Сибири прознали про Урянхайский край и населяющих его людей.

Фрагмент 3. «Мыкылая больше нет»

1917 год с самого начала заявил о себе тревожными вестями из России. В Урянхай стали проникать новые слова и понятия. Даже араты наслышаны были о Ленине, о большевиках. Все более настойчиво распространявшиеся слухи не миновали и Монгун-Тайгу. Облетело известие, в которое и поверить было невозможно: в Петрограде — хувискаал (революция), царя больше нет. От аала к аалу передавали: «Нет больше Ак хаана (Белого царя)!» Не могло не наделать переполоха такое известие.

Что ни день — новые слухи, один другого невероятнее. В Монгун-Тайге такой суматохи не было с той поры, когда против маньчжуров в поход на Хомду собирали аратов. Тогда люди знали, куда, зачем и против кого пойдут, а тут попробуй разберись...

— Ак хаана — царя Мыкылая больше нет! Россия на две части разделилась! Одну часть красной называют, другую — белой.

[1] Хем-Белдири – столица Урянхайского края, которая находилась на слиянии двух рек – Каа-Хема и Пий-Хема.

Вести-новости совсем с толку сбили не только простых аратов, но и чиновников Монгун-Тайги. Ничего они не могут понять, ни в чем не могут разобраться. Что они в своей Монгун-Тайге способны изменить, когда весь мир перевернулся. Думают, что лучше переждать, перетерпеть, затаиться. Себя бы спасти, свою власть, свои права...

У аратов — другие разговоры. Им терять нечего. Старым тувинским законам больше не бывать, значит, пыток не будет, шаагаями наказывать не станут? Плохо верится. Не только в Монгун-Тайге — по всему Урянхаю тревожно, неясно, смутно. Со всех сторон подстерегали беды.

Весной восемнадцатого года в Урянхайском крае были образованы первые Советы. Комиссара Временного правительства Турчанинова[1] арестовали и выслали в Усинск. Но всего три месяца с небольшим просуществовала советская власть в Урянхайском крае.

— В Минусинске красные!..

— В Минусинске белые!..

— В Танну-Туве тоже революция будет. Всех нойонов прогонят. Самим аратам власть дадут!..

— У белых вместо царя главный нойон Кулунчак[2]...

Недолго продержались в Хем-Белдире красные — жаль! Вот кто за бедняков. Вот с кем у аратов одна дорога. А кулунчаки эти — хуже бандитов...

То радость, то горе, то тревога, то надежда.

Ожили нойоны. Ожил и двухэтажный особняк в центре Хем-Белдири — воротился в свою резиденцию Турчанинов, представлявший теперь в Танну-Туве власть Колчака. У Хем-Белдири теперь другое название — Белоцарск. Белогвардейцы, обозлившись на свой народ, издевались над аратами, несли в Урянхай разруху.

Широко разинули пасть китайцы под руководством Янь Ши-Чао, назначенного комиссаром Урянхая, — вот-вот проглотят. Правитель Даа кожууна Буян-Бадыргы, правители салчаков, маады, чооду и глава Бейси хошуна Чымба пока твердо держались России. Темные араты не знали об установлении протектората России и о провозглашении независимости Тувы.

— Есть о чем поговорить, над чем задуматься. Как нам быть? По-моему, наше присоединение к царской России в 1914 году было ошибкой. Пока люди в России решают, кто из них белый, а кто красный, может, нам стоит быстрей отделиться? — начал Чымба нойон.

— Отделимся, а что потом будет? — прервал говорившего Буян-Бадыргы. — Зачем спешить? Без покровительства и защиты большого и сильного иностранного государства Урянхай не может быть. Пока не стоит метаться и спешить отделяться от России. Лучше — выяснить ситуацию в России, отправить нашего представителя в Омск, чтобы он встретился с Колчаком.

В конце концов решили объединить чиновников двух кожуунов, призвать их жить в мире и согласии.

— Содунам-Балчыр и Тонмут с давних пор противились присоединению к России. Они и сейчас поддерживают связи с Монголией и Китаем, — объяснил Буян-Бадыргы.

Также принято соглашение: под руководством Лопсан Чамзы камбы-ламы отправить в Омск к адмиралу Колчаку представителей из Тувы. Чтоб никто не заподозрил его, обставил свою поездку так, будто по своим церковным делам куда-то направился. С желтым флагом над обозом, с четками в руках. Через три дня в Хем-Белдире он был принят комиссаром Турчаниновым. Тот дал камбы в сопровождающие двух своих переводчиков — Самойлова и Шурова. Еще через три дня Чамзы уже плыл на плоту вниз по Енисею.

За двадцать дней, проведенных в Омске, камбы четырежды был принят адмиралом Колчаком. На последней встрече ему торжественно вручили орден Святой Анны 2-й степени, выдали на расходы для предотвращения мятежей и на нужды желтой религии двадцать тысяч серебром. В честь Лопсана Чамзы был дан обед с участием чиновников адмирала, министров правительства. На нем был зачитан указ о назначении Лопсана Чамзы верховным духовным руководителем Тувы. Тут же Чамзы камбы сообщили, что адмиралом пожалованы ему личный легковой автомобиль и моторная лодка.

Из Красноярска Чамзы камбы разъезжал на собственном авто. Но дальше Минусинска ни его, ни сопровождавших его лиц из-за мятежей не пустили. В Верхнеудинске у бурятов камбы перезимовал. Только по весне смог он верхом на конях кружным путем через Монголию добраться в Самагалтай. Но из-за сражения в Тарлашкыне ему пришлось поворачивать обратно. Только в середине шестого месяца,

---

[3] Турчанинов – комиссар Временного правительства, опираясь на казачий отряд и реакционных тувинских феодалов, всеми мерами старался подавить революционное движение в Туве.

[4] Кулунчак – Колчак.

сделав еще немалый крюк на Улясутай и Кобдо, камбы достиг Хондергея. В Чадане шли бои с белыми, из-за чего он искал убежища в хурээ Барлыка, но и тут Чамзы не повезло. Пока он, вконец измотанный и издерганный, тащился до Барлыка, восставшие араты прогнали оттуда колчаковских заступников.

Пока Чамзы камбы искал покровительства у Колчака, пока скитался на обратном пути из Омска, многое переменилось в Туве. Сюда все сильнее и сильнее проникали новые идеи из России, все больше аратов начинали разбираться в событиях, понимать, что к чему. Даже среди тех, кто поначалу радовался захвату власти колчаковцами, наступило отрезвление. Простой народ искал защиты у красных, сам поднимался на борьбу с истинными своими врагами.

Чадан, расположенный на стыке многих дорог, как перед походом в Хомду, становился центром освободительного движения. Араты Монгун-Тайги, Шеми, Хондергея, Чыргакы, Барума — всего Хемчика поднялись против колчаковщины. Красное пламя восстания быстро разгоралось и в других кожуунах. Тут и там возникали по всей Туве ещё разрозненные и малочисленные отряды патриотов, смело выступавших против белогвардейцев.

Осенью 1919 года через перевал Саадак в местечко Чангыс-Доргун Монгун-Тайги, к аалу Балчыра, прискакал взвод белогвардейцев. Они с ходу открыли огонь по юртам. Жители аала по слухам знали о белогвардейском терроре. Все с испугу убежали в горы. Белые застрелили несколько баранов, стали варить мясо. Балчыр в это время прискакал на своем вороном коне в Каргы-Бажы к Уртунаю и сообщил о случившемся. Эта весть быстро распространилась по близлежащим аалам. Из Тоолайлыга прибыли на сбор Чакшагар, Намгай-оол, Комбу-Сурун, из Каргынского рода Саая — Узун-Анарат, Чивен-Дарган, Белек, Биче-оол и еще десять человек, два сына старика Уртунай — Очур и Шожал, братья Дурной-Анарат, Дадарык, Сайын-Хоо, Дугур и другие. Отряд аратов выбрал своим командиром сына Улуг-кадай (Большой бабы) Уртуная.

Араты поднялись на вершину горы Бурээ. Оттуда долина реки Каргы была видна как на ладони. Командир Уртунай приказал пятнадцатилетним подросткам Шогжалу и Намгай-оолу собрать араку с юрт. Шустрые мальчишки весь вечер до наступления ночи собирали араку с близлежащих юрт, которую налили в когээржики — кожаные фляшки. Перекинув на лошади таалын (переметные сумы) со всеми фляшками с аракой, всадники поехали в аал, занятый белогвардейцами. Когда они приблизились, прибежали три солдата с ружьями и кричали на непонятном языке. Тогда Шогжал стал жестикулировать, показавыя на фляшки:

— Здесь арака, угощаем, пейте!

Солдаты попробовали араку, обрадовались, забрали все фляшки.

С наступлением ночи араты спустились по холмику в Доргуне, приблизились к аалу Балчыра. Были слышны пьяные песни и смех. Араты условились с трех сторон подкрасться, снять часовых и перестрелять или пленить белогвардейцев. Те, не ожидая встретить достойного врага в лице простых пастухов, ели мясо, пили араку в юрте Балчыра и были за считанные секунды частью отстреляны, а частью пленены. Но в скоротечном бою пал командир тувинского отряда Уртунай.

Эта весна для монгун-тайгинцев оказалась нелегкой. Мужчины с верховыми лошадьми ушли из аалов. Белогвардейцы, вытесненные из Монголии народной революцией, вторглись в Туву. Как волки, метались они в жажде мести.

Холурааш присоединился к партизанам Овюра во главе с Донгаком Хенче-Кара, которого знал с Кобдинского сражения. Они наносили удары колчаковцам, нападая на них в неожиданных местах. Отряд Хенче-Кары встретился в верховье Хондергея с бойцами Чурмит-Дажы Сат. В одном месте дорога превращалась в кочевую тропу, проходившую по ущелью, настолько узкую, что даже всадник едва проезжал по ней. Над ущельем возвышалась древняя крепость. Местные жители называли это местечко Шивээ.

Лагерь белых расположился на небольшой поляне над ущельем. Командирам было поставлено пять юрт. Палатки солдат стояли возле леса. Однажды ранним утром, когда солнце только проглянуло на востоке, партизаны бросились в атаку на белых, не давая им опомниться. Белые бежали. В лагере находился полицейский инспектор Урянхайского края Александр Днепров. Он спасся бегством и в своем рапорте в полицейский департамент Омского правительства сообщил:

«Войска, посланные на защиту этой страны, забыли о своей присяге. Ни бдительности, ни боевой готовности — полный развал. Когда начали стрелять местные пастухи, солдаты, испугавшись, оставили оружие, погибших и раненых и бесславно удрали. Такая же обстановка и в других воинских подразделениях. В Чадане я видел, как шли группами в Чаа-Холь командиры и солдаты, удравшие от оборванных

сойотов. Власти кожууна, особенно Буян-Бадыргы, показали свою слабость. Нойон, оставив свой пост, скрылся в неизвестном направлении. Его супруга и приближенные уехали вместе с ним. Говорили, что нойон убыл в Монголию. Я не сомневаюсь, что Буян-Бадыргы и его приближенные встали на сторону мятежников-сойотов».

Шла гражданская война. Несколько лет тувинский народ пребывал в состоянии смуты. То в одном, то в другом уголке Урянхая завязывалась перестрелка, гибли люди. Араты не успели взять власть, а красные партизаны были за Саянами. Царило безвластие в Монгун-Тайге.

Фрагмент 4. «Святой бандит»

Холурааш подкрался к своему аалу, словно волк. В юрте Конгура араты ведут беседу. Холурааш вошел в юрту и включился в разговор:

— После победы над колчаковцами под Чаданом Хемчик был освобожден от белых. У нас отсутствовало общее руководство. Под разными предлогами араты стали разбредаться по аалам. У того жена вот-вот родить должна, у второго овцы не стрижены. Большинство вспомнило, что пора перекочевок подошла... Причин хватало.

— А вас не заботило, что повсюду шатались недобитые беляки?

— Тогда об этом не думали, — ответил Холурааш.

— Нойоны и баи с радостью воспользовались вашим успехом и снова ухватились за свои права, — подытожил Конгур.

— Самая большая моя ошибка — спутался с бандитами Аскак-Чотчу.

— Кто такой Аскак-Чотчу? Как он выглядит?

— Аскак-Чотчу — монгольский лама. Он объявился из Нижнего хурээ Чадана. На нем было орхимжо[1]. У него вислые усы, голый череп, большая голова на тонкой шее, длинные руки, блудливые, бегающие глаза. На его поясе с двух боков висит по маузеру, за спиной — винтовка. К тому же говорун Аскак-Чотчу отменный и речами своими может кого угодно сбить с толку.

— Что именно он говорит? — спросил арат Чондан.

— «Я освобожу вас от гнета колчаковцев. Народ Тувы должен быть свободным. Идите смело за мной! Мы обретем свободу и счастье. Небо над нами будет чистое. Боги благословляют нас...» — закатывая глаза, вещал он. Когда спросил его один арат: «Вы же священный лама. Вам нельзя даже вошь убить, не то что человека», — он ответил: «Я ученик самого гегена! Мой учитель сказал: «Русские — в русской земле, монголы — в монгольской, тувинцы — в тувинской земле должны размножаться». — «Правильно! — кричали араты. — Белых солдат мы сами прогнали. С кем теперь будем воевать, учитель?» — «На тувинской земле будут жить только тувинцы. Не будем богов гневить. Те, кто пойдут за мной, и на том свете не пропадут. Весь народ Танну-Тувы от Хемчика до верховьев Улуг-Хема будет меня благодарить», — вещал Аскак-Чотчу.

— Кое-кого из аратов Аскак-Чотчу все же сбил с толку своими речами?

— Да. Среди них и я. Мы потянулись за ним. Под его командой мы отправились по Шеми и Чыргакы. Через Кызыл-Мажалык вышли к Кара-Дашу. Незадолго перед тем эти места нами были полностью очищены от белых.

— Зачем снова поехали туда, если там белых нет? — спросил Конгур.

— Это всё Аскак-Чотчу. Он кричал: «Я ученик самого гегена!» — и приказал выгнать из Кара-Даша русских крестьян. Дома велел сжечь. Плакали дети... Так погано я себя никогда не чувствовал.

— От такого зверя надо было уходить, — кричали араты.

— Уйти из этой банды я не смог. Дезертиров Аскак-Чотчу стрелял без пощады.

— Где еще был?

— От Кара-Даша Аскак-Чотчу двинулся через Сесеге на Чаа-Холь. В Чаа-Холь Аскак-Чотчу ворвался со стрельбой. Небольшое село запылало со всех сторон. Пожары в Шагонаре, грабежи в Белдир-Кежиге, насилия и убийства открыли глаза нам. Бессмысленная жестокость ламы отрезвила меня и некоторых аратов.

— Куда баи смотрели? Почему его не остановили?

— Аскак-Чотчу поддерживали настоятели хурээ и нойоны. Он был им нужен и полезен.

— Почему?

— Потому, что он сбивал с толку бедноту. Он восстанавливал одних аратов против других, а всех вместе — против русских поселенцев.

— Какие хитрые баи! Аскак-Чотчу был их оружием.

— Святой бандит исчез так же внезапно, как и появился. А я с тяжелым сердцем ехал и думал: зачем с бандитами спутался? Стыдно вспоминать! Теперь я среди

[1] Орхимжо – оранжевый халат с перекинутой через плечо красной лентой.

партизан Овюра во главе с Донгаком Хенче-Кара. Его знаю со времен битвы за Кобдо.

— Где сейчас Аскак-Чотчу?

— Говорят, он примкнул к монголам. Пока колчаковцы держались прочно, ожидавшие поживы отряды монгольских феодалов под руководством Маскаржапа и китайского генерала Янь Ши-чао вели себя смирно...

— Максаржап? Тот самый, что водил тувинцев в Хомду в 1912 году? — перебил сына Конгур.

— Да, тот самый, — ответил Холурааш и продолжил: — Но как только обнаружились признаки шаткости режима верховного правителя, как только начали подниматься против белогвардейцев араты, те и другие ринулись в Туву, словно на кусок мяса собаки и волки. Китайцы и монголы на правах хозяев насильно вербовали лучших тувинских стрелков с западных кожуунов. Тувинские нойоны и чиновники бегали между этими всесильными сторонами, поджимая хвосты, словно шакалы, стараясь угодить и тем, и другим.

Прискакал на коне Балдып, спешился и вошел в юрту Конгура. Тот Балдып, который умертвил грозу Монгун-Тайги — Кок-Бору. После обвинения по доносу лжесвидетеля Балдып за семь дней принял четыре вида пыток, но не сдался. Холурааш помнит дядю после этих пыток. У Балдыпа вместо головы был поставленный на плечи котел без носа, с кровяными белками вместо глаз. Кожа на ногах полопалась, источая кровавый гной. У лодыжек была видна голая кость — мышцы и кожа были сорваны кандалами. Бабушка плакала: «И он всё живой!» Лечили его разными средствами: зарезали козу и обложили еще горячим нутряным жиром. Варили разные коренья, готовили мази, делали всякие примочки и кормили густым холодцом, считая, что это очень питательно. Изуродованный Балдып не только не стонал, но даже находил в себе силы для шуток. Не минуло и месяца, как дядя начал ходить и даже садиться на спокойного коня. Балдып всё выдержал и еще сильнее возненавидел баев.

— Скажи нам, Балдып, где был зимой? — стали расспрашивать Балдыпа араты.

— Зимой друг Тараачы позвал меня к себе, когда неподалеку от озера Убса-Нур расположился со своей армией русский белый генерал. Нам, кочевникам отроду, жалко было вьючных лошадей: у некоторых железное оружие оказывалось прямо на голой спине и боках, стирая их едва ли не до кости. С армией в обозе шли женщины, дети и старухи с лицами, дочерна обмороженными. Многие были в коротких овчинных шубах, на головах лисьи малахаи, на ногах стоптанные, рваные башмаки, валенки, просто куски войлока или овчины, обмотанные вокруг ступни.

— Эти голодные и раздетые люди по аалам не ходили?

— Сначала они просили теплую одежду и обувь на обмен, потом по пустым юртам пошли. Араты всполошились, стали уносить в тайгу и зарывать кошмы, шубы, обувь, меха, угонять скот.

— Долго стояла армия?

— Долго стояла. Начались болезни, люди умирали. Даже баи шептались: как избавиться от нашествия белых?

— Чем всё кончилось?

— На помощь пришел наш храбрец Тараачы. Он появился у белых на хорошем коне с серебряной сбруей, в одежде большого чиновника и сумел уговорить генерала напасть на красных. Генерал поверил Тараачы — его армия от холода все равно за зиму погибла бы. Кругом говорили: «Озеро Убса-Нур дымится, значит, скоро начнется такой мороз, от которого птица к ветке примерзает, а у коров рога лопаются». Белые двинулись в Элегест в сопровождении Тараачы. Он нарочно путал дорогу. Когда они вышли к Суг-Бажы, со всех сторон замелькали конники. Красные напали на белых и перебили или пленили.

Фрагмент 5. Белоцарский бой

За спиной Колчака набирала силы Степно-Баджейская Советская республика и партизанская армия Кравченко и Щетинкина. Колчак отправил против них карателей. В июне девятнадцатого армия партизан начала отступать. Решили идти через Саяны в Урянхай, чтобы там собраться с силами и вернуться назад или через Монголию выйти на соединение с частями Красной армии.

Обойдя Минусинск, занятый колчаковцами, партизаны шли в Урянхай. На три тысячи бойцов — шесть пулеметов. Много раненых. А маршрут — врагу не пожелаешь. Несколько раз вброд и вплавь пересекли Ус — быструю горную реку, петляющую по склонам. Наконец, армия Щетинкина-Кравченко вступила в пределы Тувы. Тепло, сердечно встречали красных партизан араты. Целыми обозами везли им продовольствие.

Маленький Хем-Белдир, названный после присоединения к России Урянхайского

края Белоцарском, не мог вместить партизанскую армию. По этой причине Манский полк расквартировали в Усинске, Канский — в Туране. Они прикрывали тылы армии. Остальные части расположились в Белоцарске и вокруг него. В баджейские полки влилось около пятисот человек из жителей поселений у подножья Танну-Ола. Среди красных партизан был и дядя Холурааша Балдып.

Вблизи появился отряд белых с пушками и пулеметами под командой есаула Бологова. Он прежде служил в Урянхайском крае, хорошо знал тамошние места и был уверен в легкой победе. Ему удалось с ходу отрезать в Усинске Манский полк, захватить Туран и вынудить канцев без боя отойти в Белоцарск.

Пришлось спешно занимать оборону. Рыть окопы вдоль берега Енисея помогали и жители города, и араты. Выше Белоцарска окопался Манский полк, сумевший скорым маршем через тайгу вырваться из окружения. На берегу залегли бойцы Тальского полка. У переправы канцы приготовились первыми принять удар колчаковцев. А на подступах к городу проходил рубеж Ачинского полка.

В жаркий день 29 августа колчаковцы под прикрытием пулеметного огня форсировали Енисей на лодках, не считаясь с потерями. Партизаны отошли на южную окраину Белоцарска, следуя замыслу командования. Отряд Бологова ворвался в город. Опьяненные мнимым успехом, белогвардейцы занялись разбоем и празднованием победы. Есаул телеграфировал в Омск об окончательном разгроме жалких остатков красных банд. Но красные сидели в засаде. Под вечер грянул знаменитый Белоцарский бой.

Балдыпу казалось, что над ним раскалывается синее небо. Сверху сыпались куски раскаленного железа, свистели пули, заставляя вжимать голову в плечи.

— Вперед! — раздался зычный голос второго командира красных партизан Щетинкина.

Привстав на стременах, он размахивал маузером. Конь плясал под ним, шарахаясь от взрывов, поднимался на дыбы, но крепкая рука Щетинкина уверенно держала повод. Партизаны пошли на штурм города. Застигнутые в расплох, колчаковцы стали в панике отходить к берегу Енисея. Первым прыгнул в лодку есаул. Когда все было кончено, улицы Белоцарска и берег Енисея были усеяны трупами белогвардейцев числом больше тысячи. Около трехсот колчаковцев попали в плен.

Комиссар края Турчанинов в сопровождении шести солдат убежал в сторону Тоджи. В глухой тайге Биче-О-Хема солдаты убили Турчанинова, прикарманили его деньги и ушли в Иркутскую губернию. Помощник Турчанинова Казанцев с несколькими солдатами бежал через хребет Омул в Минусинск. Начальник полиции Днепров вместе с судьей Фамуловым пытались уплыть на плотах вниз по Улуг-Хему, но араты Урбун-Кашпала с партизанской группой Тулуш Чулдума уничтожили плоты с белыми.

Красные партизаны потеряли в Белоцарском сражении всего тридцать семь бойцов. Их похоронили на высоком берегу Енисея, отсалютовав им залпом из орудий, захваченных у белогвардейцев. Отсюда, с высокого берега, было хорошо видно, как сливаются Бий-Хем с Каа-Хемом, образуя Улуг-Хем — Великую реку — Енисей.

К самой воде спускалась тополиная роща, сбегали кусты черемухи. От воды тянуло свежим влажным ветерком. Подавляя рыдания, Балдып прощался с павшими:

— Пусть седой Улуг-Хем бережет ваш вечный покой...

Тем временем монгольские войска стояли лагерем неподалеку от Белоцарска. После победы над китайцами под нажимом монгольских феодалов Маскаржап несколько изменил своё доброе отношение к Туве, и понадобилось время, чтобы этот славный воин окончательно перешел на сторону революции и стал одним из ближайших соратников Сухэ-Батора.

Монгольские части имели задачу не допустить красных партизан в Танну-Туву, не оказывая в то же время поддержки белым отрядам. Армия Щетинкина и Кравченко оказалась значительно крупнее, чем предполагалось, и ввязываться в прямое столкновение было бы рискованно. Маскаржап выжидал исхода Белоцарского боя и после сокрушительного разгрома белогвардейцев разрешил красным партизанам проход через территорию Монголии на Туркестан для соединения с частями Красной армии, вместе с которыми они должны были возвратиться в Сибирь и рассчитаться с Колчаком. Но воспользоваться разрешением монгольского командующего не пришлось: партизаны пошли другим путем.

После ухода партизан недобитые колчаковцы подняли голову. Из Монголии приглядывались к Урянхайскому краю Унгерн и Бакич. С установлением в Монголии китайской власти неограниченные полномочия получил генерал Янь Ши-чао. Ему были подчинены и монгольские войска. Но революционый перелом в Туве свершился и был необратимым. В мае 1920 года возник крупный партизанский отряд под командованием Сергея Кочетова. К нему потянулись тувинские араты. Среди них оказался и Балдып,

который однажды в юрте Конгура поведал землякам о Белоцарском бое.

Войска генерала Ян Ши-чао продвинулись из Чадана и местечка Даг-Ужу под Шагонаром вверх по Улуг-Хему и расположились у горы Оттук-Даш. Там проходила главная дорога в западные кожууны Урянхайского края. Справа — река, слева — неприступные горы. Фактически китайцы разрезали Туву надвое. Из Оттук-Даша было совсем близко до города Красного (Кызыла), как стали называть Белоцарск, и до партизанской столицы — Атамановки[1]. Янь Ши-чао подчинил себе отряды, сформированные русскими купцами и «кулаками», и остатки колчаковцев, включая насильственно мобилизованных аратов.

Китайцу предложил переговоры особоуполномоченный Сибирского революционного комитета Иннокентий Сафьянов[2]. Тувинцы его называли Экендеем. В условленное время 28 октября на переговоры никто не явился. Тувинцы любили Экендея и не выдали его, когда за поимку Экендея белогвардейцы обещали 10 ящиков зеленого чая[3] и 10 кип далембы.

Фрагмент 6. Великий Всетувинский хурал

Сафьянов приехал в Чадан и встретился с хемчикским нойоном Буян-Бадыргы из рода Монгушов. Договорились провести местный хурал в Чадане с целью обсудить будущее Урянхая и подготовить Великий Всетувинский хурал.

Местный хурал состоялся и решил: открыть точки советской торговли в Шагонаре, в местечке Чанагаш, где река Чадаана соединяется с рекой Хемчик, и в Чыдыг-Кара-Суге, что в долине Хемчика. Это очень обрадовало аратов, так как ликвидировались торговые точки китайских и русских купцов, у которых араты брали товары в кредит и рассчитывались скотом и пушниной. Теперь установили единую цену на товары и разрешили расчеты бумажными и металлическими советскими рублями. Сафьянов объявил, что советская сторона обеспечит организационную подготовку Великого хурала, где представители западных кожуунов примут участие в создании проекта конституции будущего тувинского государства.

— Главный красный чиновник Экендей приехал на Хемчик. Он знает тувинский язык, — распространились слухи. — Экендей будет выступать перед народом. Кто хочет слушать его, пусть приезжает в Чадан.

25 июня 1921 года в местечке Ортаа-Дыт, что между Алдыы-Хурээ и Устуу-Хурээ, утро подвигалось к рассвету, поляна наполнилась птичьими песнями, шелестом листвы тополей, ив, лиственниц. Видно, как птица поёт на сучке, и каждое пёрышко дрожит у неё от усилия. Холураашу казалось, что в это утро жаворонки, журавли, гуси, турпаны, кукушки пели, стараясь выговорить общее всем, единое прекрасное слово: «Здравствуйте!»

На поляне, что на берегу Чаданы, собрался народ. Появился русский человек среднего возраста и богатырского телосложения, с черной пышной бородой. Постелили ширтеки, на которых сели Сафьянов, его товарищи, нойоны и чиновники двух кожуунов. Араты шептали: «Экендей, Экендей». Каждому хотелось поближе пробраться и посмотреть на Экендея. Буян-Бадыргы поднял руку:

— Тише, тише! Сядьте в круг. К нам приехал высокоуважаемый гость, посланец великой русской страны товарищ Экендей.

Сафьянов встал:

— Дорогие граждане, товарищи, мои земляки! — начал он на чистом тувинском языке. Многие араты захохотали от восхищения, что перед ними русский человек без акцента говорит по-тувински. — Не-ет, не думайте, что я ошибаюсь. Я же ваш настоящий земляк. Ведь я вырос среди аратов. А сейчас я выполняю задание советского правительства.

Сафьянов передал братский привет аратам Даа и Бээзи кожуунов от народа России и от его революционной власти. Говорил увлеченно и убедительно о том, что происходило в России, о революции, о Ленине, о том, что все люди должны быть равными и принимать участие в управлении страной и что тувинскому народу предстоит создать свое независимое государство и строить новую жизнь.

---

[1] Атамановка – Суг-Бажы, ныне село Кочетово Тандинского кожууна Республики Тыва.

[2] Сафьянов И.Г. (1875-1954) – крупный политический деятель, внесший большой вклад в создание Тувинской Народной Республики. Сын богатого купца Георгия Сафьянова. В 1920 году как представитель советского правительства в Туве Иннокентий Сафьянов (Экендей) на десятом хурале выступил с докладом «Тува в прошлом и настоящем времени» и добился восстановления договора 1918 года между русским и тувинским народами. 4.01.1921 на заседании ЦК РКП(б) Экендей предложил помочь тувинскому народу в создании национальной республики. По его же предложению Белоцарск переименован в Кызыл, по-русски – Красный.

[3] Полпачки чая тогда стоили годовалого быка.

В местном хурале участвовало около восьмидесяти аратов и до сорока чиновников. Хурал подтвердил правильность выбранного Тувой пути. Чиновники впервые вынуждены были уступить воле представителей народа.

Держал на хурале слово и гун-нойон Буян-Бадыргы. Он признал, что злоупотреблял властью, и клятвенно заверял аратов, что впредь такого не повторится. Араты спрашивали себя: «Слыханное ли дело?»

Учитывая военную угрозу со стороны монгольских феодалов и недобитых белогвардейцев, хурал обратился к командованию Красной армии и красных партизан с просьбой провести боевой поход вдоль южных границ Танну-Тувы, чтобы остудить горячие головы врагов.

В помощь хемчикским аратам был собран партизанский отряд под командой Экендея. К отряду примкнули пятьдесят вооруженных тувинских всадников. Среди них и Балдып. Араты Хемчика, Улуг-Хема и Чаа-Холя предоставили участникам похода лучших коней и продовольствие. Над колоннами развевались алые знамена и полотнища с лозунгами: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы Востока, соединяйтесь!», «Свободу угнетенным народам!», «Да здравствует мировая революция!»

Как отличался этот поход от всех предыдущих! Как гордо шагал Балдып! Шла по Туве армия освободителей, армия народа. Всюду с радостью встречали бойцов Красной армии и красных партизан. Всюду помогали вылавливать и ликвидировать скрывавшихся белогвардейцев. И всюду с воодушевлением встречали весть о скором созыве Всетувинского Великого хурала.

Завершился этот поход в монгольском городе Улангоме, где когда-то тувинские араты брали штурмом крепость. Красный поход всколыхнул аратские массы. Повсюду развернулась подготовка к Великому хуралу под централизованным руководством Экендея-Иннокентия Сафьянова. Он неустанно вел разъяснительную работу среди кочевых аратов, вкладывая в головы главную идею: «Урянхайский народ сам должен решить свою судьбу».

Даже самый быстрый скакун не сможет опередить слухи. Молва о созыве Великого хурала, первого в истории Урянхая народного форума, распространилась с неимоверной быстротой. От аала к аалу, от юрты к юрте летела весть: 13 августа 1921 года в селе Атамановка начнет работу Всетувинский Великий хурал.

У коренных жителей Суг-Бажы (Атамановки) русские крестьяне-переселенцы учились разводить скот. В подавляющем большинстве это были политические ссыльные. Они построили первые деревянные жилые дома в Атамановке, распахали землю и жили в дружбе с тувинцами.

Восточнее Элегеса виден Чал-Кежиг. Эта река течёт с севера Суг-Бажы. Около караганников с белых юрт доносятся детские голоса. Юрты, домики. Лошади, коровы, овцы, козы, свиньи. Куры с петухами. Чёрные собаки с длинными хвостами. За юртами поют турпаны, гуси, журавли. Из-под земли журчит ручей, из-за чего этому месту дано название Суг-Бажы. В сторону Улуг-Хема течёт река Межегей. Недалеко от Межегея высится гора Могай. После дождей вдоль горы Могай начинают блестеть серебряные сабли — это змеи, из-за чего гору ещё называют Чыланныг — Змеиная. С гор Танды стремительно бегущие реки Улуг-Шанган и Биче-Шанган издалека напоминают две полоски тёмного леса.

Со всей Тувы съехались люди в Суг-Бажы на Великий хурал, одетые в яркие шелковые национальные халаты. Князей и чиновников сопровождали слуги и коневоды. Всего было триста делегатов. Среди них более двухсот простых аратов. На возвышенном месте села стоял дом Сергея Кочетова, украшенный красным знаменем и лозунгами. Рядом с ним — множество белых юрт для делегатов.

В повестке Великого хурала — двадцать шесть вопросов, в том числе, о провозглашении Урянхая народной республикой, об утверждении Конституции, о налаживании дружественных связей между народами Урянхая, Советской России и Монголии. Собравшихся приветствовали Сафьянов — от Сибревкома, Чугунов — от Красной армии, Стрелков — от русского населения Тувы, Кочетов — от красных партизан. Был избран президиум в составе четырех князей, семи чиновников и секретаря — помощника Амбын-нойона Дарыма. Монгуш Буян-Бадыргы был единогласно избран председателем хурала. Председатель революционного комитета края Стрелков, представитель секретариата Коминтерна Востока Цивенджап, заведующий отделением русского посольства Павел Медведев выступили с докладами о международном положении.

Феодалы попытались протащить свою линию, кое-кто выступал против народной республики. Лопсан мээрен из Тоджи заявил, что тоджинцы будут подчиняться Монголии. Его поддержал Шагдыржап, аргументируя тем, что тувинцы и монголы одного происхождения, значит, Туву надо присоединить к Монголии. Но как ни

противились феодалы, Всетувинский Великий хурал принял постановление о провозглашении Урянхая народной республикой. А по предложению Сафьянова съезд единогласно решил закрепить за Урянхаем официальное название Танды-Тыва — Танну-Тува, впоследствии — Тува.

После провозглашения Народной Республики Танну-Тува, первого государства аратов в центре азиатского материка, возник вопрос, где будет столица и за счет чего будет функционировать правительство. Делегаты хурала понимали, что без помощи Советской России народная республика невозможна. Экендей объявил:

— Из имеющихся зданий в городе Кызыл будет выделено два дома в подарок правительству Тувы. Берем обязательство оказать вам помощь силами наших плотников в строительстве жилых домов и зданий для учреждений республики.

— Скоро зима, а у нас нет дров. Как быть? Для служебных лошадей нужны корма, овёс и сено, — обратился к делегации России Буян-Бадыргы.

Краевой революционный совет взял обязательство заготовить 300 кубометров дров для правительства ТНР, обеспечить лошадей овсом и сеном, помочь в строительстве конского двора и ежегодно, до стабилизации финансового положения в республике, безвозмездно обеспечивать правительство ТНР мукой в объеме 500 пудов.

Первая Конституция Танну-Тувы была самой короткой — всего 22 параграфа. Тувинцы согласились с предложением русской делегации об отмене пыток, и в Конституцию был включён параграф: «Наказание палками, заковывание в колодки и пытки при допросе заменяются штрафами и принудительными работами». Важнейший пункт Конституции гласил: «Республика Танну-Тува Улус является свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах государством народа Танну-Тува. В международных отношениях республика выступает под покровительством Советской России»[1].

Заключительное слово взял председатель хурала Буян-Бадыргы:

— Уважаемые делегаты! Выражаю огромную благодарность Советской России, русским делегатам во главе с Экендеем за оказанную нам помощь, именно за провозглашение Танну-Тувы народной республикой. Да здравствует Танды-Тыва Улус Республика!

Так новое солнце взошло над Тувой.

Картина 8. СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Холурааш стоял, прижавшись к двери юрты, пытаясь услышать, что творится внутри. Луна и звезды вместе с ним ждали рождения человека.

— Ребенок родился! Родился мой внук! — с радостью закричала Севил. Холурааш вбежал в юрту. Севил завернула ребёнка в пелёнку и вручила Холураашу: — Его зовут Успун-Доржу, в честь моего деда.

— Хорошо, пусть будет Успун-Доржу, — согласился Холурааш.

Когда отпал пуповинный остаток, Анай положила его в подушечку и зашила со всех сторон, по углам сделала бахрому. Затем подушечку с кончиком пуповины пришила к дужке колыбели. Так заведено: сколько раз рожала женщина — столько подушечек свисало с дужек. У Анай — пока одна подушка.

Прошло три года. Успун-Доржу начал разговаривать. Анай каждый день рассказывала сыну, что можно делать, а чего нельзя:

— Когда старшие входят в юрту, молодые должны вставать в знак уважения. Детям нельзя проходить впереди взрослых. Ребенок не должен вмешиваться в разговоры взрослых. Детям не положено прямо называть старших по имени. Когда взрослый человек дает детям гостинец, то они должны принимать обеими руками. Дети не должны бросать что-либо в реку или в посуду с молоком. Дети не должны рвать цветы. Детям нельзя баловаться при гостях.

Перед сном Успун-Доржу всегда просил мать:

— Хочу сказку!

Анай рассказывала сказки, пока сын не уснёт:

— *Сказка про Беляка-шамана. Снег начал жаловаться на головные боли, слабость и стал таять. Снег просил зверей, чтоб помогли ему. Все звери, кроме Беляка-зайца, отказались помочь. Заяц вызвался в помощники потому, что его тёплая белая шуба была белее снега. Если снега не будет, то жизнь зайца окажется на волоске от смерти. Поэтому Беляк каждый вечер камлал, кричал, шаманил:*

[1] 14 сентября 2021 г. правительство Советской России в торжественном послании приветствовало тувинский народ с освобождением и установлением братской дружбы с русским народом и заявило о своем признании права тувинского народа на самоопределение, также подтвердило свои гарантии всемерной помощи народу Тувы в хозяйственном и культурном строительстве.

Пусть в утро-вечер голова твоя не болит. Тот-тот-тот!
Хотя точно не знаю, но благословляю. Тот-тот-тот!
В вечер-утро голова пусть не болит. Тот-тот-тот!
В будущем я не знаю, что будет. Тот-тот-тот!
Однажды к вечеру во время камлания Беляк посмотрел на себя и заметил, что его шуба стала серой. Тогда он стал камлать и кричать:
Пусть снег с горы спускается. Тот-тот-тот!
Пусть в черной земле нежится. Тот-тот-тот!
Пусть будет вода в каналах-канавах. Тот-тот-тот!
Пусть будет напитком для всех живых. Тот-тот-тот!
Беляк побежал в ту сторону, я пришла с песней домой, а снег совсем растаял.

Успун-Доржу рос. Шли годы. Однажды под конец зимы началась эпидемия быжар-дымаа — оспы.

Зимовье аала Конгура стояло на верховьях Хем-Бажы. Соседей по зимовке было много. Конгур поехал по вызову к больному. Его не было больше десяти дней. Наступил очередной вечер. Вся семья ждёт Конгура. Темна зимняя ночь, как в норе — никакого просвета. Если выйти из юрты — самого себя не увидишь. Телки, сарлыки, овцы и козы давно разбрелись по своим местам. В юрте слышно, как блеют овцы, шумно вздыхают сарлыки. Залаяла собака. Приехал Конгур, медленно спешился, кое-как привязал коня к коновязи. Зашел в юрту. Там сидели Холурааш, Анай с сыном, Севил около очага. По кровле юрты бегали блики огня от костра в очаге. Как волчий глаз, светился огонек на конце трубки бабушки.

— Я заболел. Эта болезнь, как чума, очень заразная. Мама, ты оставайся, а вы все идите в свою юрту, готовьтесь к поездке. Из России приехали доктора и делают тувинцам прививки против быжар-думаа.

— Всем оспу прививают? — спросил Холурааш.

— Конечно, всем. После прививок эпидемия потухает, говорят. Люди не врут, когда говорят, что русские врачи могучие.

Холурааш с женой и сыном ушли в свою юрту.

— Почему так долго тебя не было? — спросила Севил.

— Я не мог оставить больных. Они жаловались на головную боль, озноб, слабость, боли в мышцах, пояснице. И ещё сыпь. Эта сыпь на лице, туловище, конечностях. Когда оспины нагнаиваются, зуд в коже усиливается, больному хуже и хуже.

На другой день Холурааш и несколько соседей отправились к врачу. Он взял себе в седло сына Успун-Доржу. Дочка соседей Долума села сзади Анай. Прибыли на поляну перед утесом, а на ней дом.

— Ох, как у них много окон, все светятся, прямо глаза режет!

Лошади всхрапывали, сопротивлялись, не хотели идти к дому.

— Русским пахнет! — вскрикнула Долума и ухватилась за нос.

— Ш-ш, замолчи, так не говорят! Это лекарства так пахнут.

Холурааш тоже почувствовал какие-то запахи, они напоминали ему приятные запахи лета, богородской травы и еще чего-то.

Из дома выбежала молоденькая русская девушка в белой одежде, сказала по-тувински:

— Манаар, манаар! Бичии манаар! — еще что-то добавила по-русски и, точно овца копытцами, стуча острыми каблучками, убежала назад. Люди зашептались:

— Какая она миленькая. И говорит по-тувински.

Все выходившие из дому натягивали рукав на оголенную руку. Одна женщина выбежала в слезах, из открывшейся двери слышался отчаянный рев ребенка, будто его кнутом секли.

Холурааш сказал сыну:

— Сынок, докажи всем, что ты у меня храбрец!

Успун-Доржу пошел за отцом, а сердце его так прыгало, что, казалось, сейчас выскочит через рот. На табуретке в комнате, куда они вошли, сидел мужчина в белом халате, а белая красивенькая девушка подошла к Успун-Доржу, ласково улыбаясь, обняла мальчика за плечи и подвела к орус-эмчи — русскому доктору. Врач потер белым пушком руку Успун-Доржу, сильно запахло чем-то, похожим немного на запах пихты. Тогда он стал не очень сильно царапать по руке маленьким железным ножичком, остался серенький след. Затем из стеклянной иглы капнул на поцарапанные места три капли воды. Успун-Доржу стоял и ждал, когда же врач начнет резать его. Но этого так и не случилось. Девушка завязала руку тонкой белой материей и погладила по голове:

— Ваш ребенок эр-хей — молодец!

Вернулись в аал. Холурааш вошел в юрту отца. То место, где стояло ложе отца, было

занавешено белой кошмой. Конгур лежал не на кровати, а на полу, на подстеленной кошме, а лицо его было накрыто шелковым хадаком.

— Ах, беда, беда! — причитала бабушка. — Ах, лучше бы на его месте лежала я...

Севил, словно верблюдица, потерявшая детеныша, так протяжно плакала, что хотелось куда-нибудь спрятаться. Вспомнились слова отца: «Из всего сделанного мною значимо только то, что было сделано ради других. В этом подлинный смысл жизни, сынок, — быть полезным другим». И вот он лежит, и ничто его не поднимет. Погасший огонь вспыхнет, а умерший человек не встанет.

Конгура завернули в тонкую белую выделанную кожу, согнутые ноги не стали распрямлять. Вынесли, положили на войлок-волокушу. Севил произнесла прощальные слова, окропляя молоком последний путь умершего сына.

До кладбища Конгура, ушедшего за кызыл-дус, провожали семеро мужчин. Усопшего повезли не очень далеко от аала — в местечко Доргун к большому кусту караганника, к навесам. Положили тело на войлок, под голову — плоский камень, укрыли белой выделанной тонкой кожей сарлыка. Так и оставили на открытом месте. По предсмертному наказу, бубен шамана прикрепили к навесам. Мужчины, проводившие усопшего в последний путь, завернули рукава и ушанки внутрь и отправились домой, ни разу не оглянувшись. Вблизи юрт помыли руки водой с можжевельником.

Поминальный ужин проходил в печали и молчании, которое нарушила Севил своим рассказом:

— У человека объединены два духа. Когда человек живой, то у него имеется один дух. А когда он умрёт, то его дух живёт до сорока девяти дней в том месте, где стоит его юрта. Этого невидимого человека, то есть духа умершего, близкие совсем не замечают. Самое страшное для духа, когда близкие плачут. Слёзы близких, словно льдинки града, бьют по нему. Вот пройдёт сорок девять дней, тогда умерший человек думает про себя: «Что со мной случилось? Почему мои близкие меня не замечают, не обращают на меня внимания? Я умер, что ли?» Умерший человек походит по золе, а там нет следов его ног. «Раз следов моих ног нет, значит, я умер». Осознав это, чистый дух умершего человека отправляется в Верхний мир, а его серый дух уходит в землю. Вот так двойной дух человека разъединяется по смерти».

На другой день Холурааш пас отару недалеко от кладбища. Араты говорили ему: «Когда наступает ночь, там слышится звон шаманских бубнов». Холурааш решил проверить слухи и ночью пошел на старое кладбище в Доргуне, где похоронены мать и отец. Сначала он услышал звон одного бубна, затем — второго, а потом один за другим начали звенеть другие бубны, создавая самые разные мелодии вокруг кладбища. Волнение овладело Холураашем: это умершие души вызывают звон бубнов. Он быстро пошел к аалу.

Картина 9. ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Люди шли за помощью к Холураашу как к потомственному шаману, сыну шамана.

Как-то вечером Холурааш молился у себя в юрте, Анай доила сарлыка. В юрту вошли мать с сыном. Женщина рассказала историю сына. Парень по имени Дамдын был, что называется, дурачком. Он работал сторожем, но начальник уволил его, сказав матери: «Слабоумные нам не нужны». Мать добавила в этой связи, что сын нечаянно спилил дерево в святом месте, после чего последние полгода ему снится один и тот же дурной сон, наутро он встает невыспавшимся и раздражительным, жалуясь на головные боли.

Шаман возложил ладони на голову молодого человека и прочитал про себя лечебные молитвы. Заметил шишку в затылочной области.

— Кто-то ударил по голове?

— Да, мой начальник, когда бывал пьян, бил меня по голове чем под руку подвернётся.

— Травма головы — основная причина недомоганий Дамдына, усугубленная чувством вины за то, что спилил дерево в святом месте. Я постараюсь вам помочь, — шаман уложил парня на кровать и, глядя ему в глаза, говорил: — Я считаю до трёх. На цифре три твои глаза закроются, и ты погрузишься в глубокий сон. Но во сне ты будешь слышать мой голос и погружаться всё глубже и глубже. Раз! Смотри мне в глаза, веки моргают, они тяжелеют. Два! Мои слова благотворно действуют на тебя. Веки наливаются свинцом, в глазах появляется лёгкое напряжение и растёт. Твои глаза начинают утомляться. Они утомляются всё сильнее. Веки продолжают тяжелеть, они слипаются. Глазам хочется закрыться. Три! Закрывай глаза. Выравнивай голову. Слушай мой голос. Отбрось все посторонние мысли. Дыши спокойно, равномерно, глубоко, — Дамдын впал в глубокий транс. Убедившись в этом, шаман стал разматывать ленту времени Дамдына назад. Он говорил: — Туман сновидений окутал твою голову, а лента

времени начинает разматываться назад. Время побежало назад, года побежали назад. Лента времени размоталась до точки, когда тебе 18 лет, ты идёшь по аалу и у тебя хорошее настроение. Я хотел бы знать: этот аал тебе знаком? Ты можешь говорить, и ты говоришь легко и свободно. Я слушаю тебя, Дамдын, — тот ответил, что идёт по аалу Салчаков. — Хорошо, очень хорошо. Посмотри на небо, оно ясное или в облаках?

— Голубое.

— Хорошо. Лента времени продолжает разматываться назад. Теперь тебе двенадцать. Где находишься?

— В чайлагской школе.

— Посмотри, кто сидит рядом с тобой?

— Мальчик.

— Как его зовут?

— Калдар.

Шаман продолжал отматывать ленту времени до тех пор, пока Дамдын не оказался у мамы в матке. Тогда шаман начал разговор с его глубинным разумом:

— Глубокоуважаемый разум Дамдына, я хочу, чтобы, когда Дамдын родится, вырастет и ему будет полных 25 лет, ты сжёг раковое образование на затылке Дамдына. Сколько дней понадобится для исчезновения рака? Один месяц? Или 10 дней? Я слушаю тебя, глубокоуважаемый разум Дамдына.

Последовал ответ из уст Дамдына:

— 15 дней.

— Я благодарю тебя, глубокоуважаемый глубинный разум Дамдына.

Дамдын открыл глаза.

Через 14 дней шаман навестил подопечного по месту жительства. Мать показала место, где Дамдын спилил лиственницу, под кроной которой шумел родник. Тувинцы считали лиственницу символом силы. Шаман разложил дрова для костра особым способом, положил на дрова еду, приготовленную Тараа, матерью Дамдына. Попросил её сесть поближе к огню и научил, что нужно говорить во время обряда: просить хозяина здешних мест вернуть разум её сыну.

Костёр разгорался, шаман потихоньку начал бить в свой бубен, оживляя огонь: по мере того как огонь становился сильнее, звуки бубна тоже усиливались и произносились громче молитвы. Эхо уносило эти звуки в горы. Холурааш кружился и бил в бубен, обходя мать и Дамдына со всех сторон. Шаман общался с хозяином этого места и просил вернуть разум человеку, простив ему вину. Хозяин местности согласился. Камлание близилось к концу, огонь угасал, удары колотушкой становились тише, молитвы произносились почти шёпотом. Шаман отошёл в сторонку, положил бубен и привязал колотушку на плетёную змейку своего костюма. Поклонился огню, взял тос-карак (обрядовую ложку с девятью углублениями) и брызнул с молитвами на четыре стороны из неё молоком. Бросил также на четыре стороны пшена, шепча свои молитвы. Сделал три глотка из пиалы с молоком, брызнул чуть-чуть в угасавший огонь и передал пиалу матери, она тоже отпила ровно три глотка и подала чашку сыну, придерживая её, чтобы он нечаянно не уронил. Затем шаман вылил часть молока в огонь, а остатки брызнул на закат солнца. И снова поклонился огню. Сделал вокруг него три круга. Вслед за ним прошли мать и сын. Мать держала руку сына в своей руке, помогая ему держать ладонь над огнём и прося, чтоб здоровье вернулось к нему. Шаман усадил их на место, а сам стал смотреть духовным взором, как хозяин места простил Дамдына с условием, чтобы взамен спиленного дерева тот посадил новое деревце. Шаман передал этот наказ матери.

— Завтра утром ваш сын будет в порядке, только не будите его, пусть он проснётся сам.

Все вместе они подошли к роднику, умылись и положили туда немного еды. Потом вошли в юрту и беседовали. Вечером мать уложила сына в кровать и проводила шамана домой. Наутро Дамдын проснулся, чувствуя себя исцеленным, и рассказал матери, что ему приснился странный сон, будто кто-то приходил к нему и разговаривал, а он не хотел просыпаться, боясь, что его безумие вернётся.

— Не беспокойся, сынок, болезнь больше не вернётся. Так сказал шаман Холурааш. Давай выкорчуем корни спиленного дерева и посадим новое.

Так и сделали. Через пару недель нарост на затылке исчез. Дамдын стал нормальным.

Картина 10. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТУВЕ

Тувинскую Народную Республику возглавил Монгуш Буян-Бадыргы. Его заместителем стал Ананды. В 1922 году в Кызыл переехало из Турана первое правительство ТНР, Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии (ЦК ТНРП), исполком Русской самоуправляющейся трудовой колонии (РСТК) и райбюро РКП (б).

В столице было больше юрт, чем домов. И Буян-Бадыргы, и Ананды жили в юртах неподалеку от правительственного здания.

В первые годы правительство приняло меры по реставрации старых и строительству новых буддийских монастырей. Было построено более 20 храмов. Десятки лам учились в Тибете и Монголии. Был проведен всетувинский форум лам. Детишки аратов начали учиться в монастырях. Так было до 1929 года.

Не хватало учителей и врачей, хотя открывались школы и медпункты. Правительство ТНР обратилось за помощью к России и Монголии. Началась подготовка тувинских кадров за рубежом. В 1924 году первая группа юношей и девушек отправилась на учебу в Монголию, затем в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) в Москву. Дети аратов стали учиться в Ленинграде, Иркутске, Улан-Удэ, Ойрот-Туре и других городах России. Там подготовили специалистов для сельского хозяйства, учителей, медработников. А военные кадры воспитывались в училищах Томска и Тамбова.

Наступил тревожный 1929 год. В соответствии со специальным решением Центрального комитета Тувинской народно-революционной партии (ЦК ТНРП) была объявлена чистка её рядов. Если во властных органах попадались люди, в прошлом богатые, их исключали из партии, увольняли и объявляли врагами народа, в чье число попал и Буян-Бадыргы. Два месяца работала комиссия по партийной чистке, переезжая из сумона в сумон.

На VIII съезде ТНРП решили конфисковать имущество феодалов, чтобы навсегда сломить их. Хурал принял план хозяйственного и культурного строительства. Постановил создать тувинскую письменность, укреплять братскую дружбу с Советским Союзом и идти по пути марксизма-ленинизма.

В столице Тувы разгорелся острый спор по поводу того, какой алфавит положить в основу будущей тувинской письменности. Одни предлагали — русский, другие — латинский. В русском алфавите не было букв, передающих три специфических звука тувинской речи, похожих на русские «о», «н», «у». Нашлись специалисты, в совершенстве владевшие русским и тувинским языками, и разработали тувинский алфавит на основе кириллицы. Но одновременно был создан тувинский алфавит на латинской основе. За это дело взялся лама Верхнего Чаданского хурээ Лопсан-Чимит Монгуш, получивший высшее образование в Тибете.

28 июня 1930 года вышел Декрет о тувинской государственной письменности на основе новотюркского латинизированного алфавита[1]. Во всех городах, кожуунных центрах и сумонах были созданы курсы ликвидации неграмотности. Так началась культурная революция в Туве. Стала формироваться тувинская интеллигенция. Появилась первая газета «Тувагийн унэн». Также стала выходить на русском языке газета «Тувинская правда».

Как молния с облачного неба, как огонь по сухому сену, распространилась в народе весть: вновь появилась тыва бижик! Так называлась давно вышедшая из употребления древнетюркская руническая письменность, бывшая в ходу в Туве после покорения «лесных народов» старшим сыном Чингис-хана Джучи (1207). Тыва бижик — этими волшебными словами были околдованы каждый кожуун, сумон, арбан, каждое стойбище, каждый аал и юрта... от мала до велика. Говорили: «Бижик — это значит видеть глазами слова, которые слышат ушами. Вот в чем волшебство».

Заволновались араты Монгун-Тайги. Собирались группами, удивлялись, обсуждали:

— Трудно ли выучиться бижик?

— Говорят, девять лет надо.

— Моя бедная головушка не выдержит!

Работа по внедрению тувинской письменности забурлила, словно молоко в котле. Учителей готовили на специальных курсах в Кызыле и Шагонаре. В селах открылись пункты ликвидации безграмотности (ликпункты), красные уголки. Каждый аал, стойбище стали школой. Учителя выезжали в арбаны, аалы, юрты. Летом 1931 года появились чайлаг школалары — кочевые школы на летних пастбищах. Они помещались в юртах. Занятия проводились под открытым небом.

— Надо же, тувинская письменность появилась! Буду изучать тыва бижик. Буду читать и писать на родном языке! — с радостью сообщил жене Холурааш.

— Неграмотный как немой. Учись, Холур, потом и нас научишь. Без знаний и утро ночь, — горячо поддержала мужа Анай.

Однажды Холурааш и Амыр прибыли на летнее стойбище аала Опана. Башкы (учи-

[1] Через 11 лет, 16 июля 1941 года, был введен новый алфавит на кириллице из 36 букв, 33 из которых полностью совпадали с буквами русского алфавита, а дополнительные три передавали особые звуки тувинского языка, похожие на русские «о», «н» и «у».

тель) Седен отрывал по листку из тетради и раздавал аратам с маленьким карандашом. Каждый учитель мог получить лишь один карандаш, который аккуратно делился на несколько частей. Опоздавшим аратам не хватало карандашей. Но голь на выдумки хитра. Араты брали деревянную дощечку, одну её сторону обмазывали маслом и посыпали чистой золой, потом заостряли палочку в виде карандаша.

Учитель писал на листочках задания, а ученики старались «изобразить» то, что требовалось. Холуру, который даже не слышал о карандаше и бумаге, было непривычно держать их в руках. Учитель говорил:

— Смотрите, вот значки. Каждый знак имеет свое значение, как тавро на лошадях. Люди, взглянув на тавро, знают, кто хозяин лошадь.

— У лошади Комбуя из рода Хертеков тавро в виде топора...

— Вот-вот. Значки надо узнавать так же, как тавро. Сегодня заучим для начала пять, — Седен касался палочкой то одного, то другого знака и тянул нараспев: — А-а-а. Э-э-э. И-и-и. О-о-о. У-у-у.

Все повторяли за ним:

— А-а-а. Э-э-э. И-и-и. О-о-о. У-у-у, — и писали.

По поручению старосты сумона самые активные араты кормили учащихся по очереди. К обеду добровольно пришедшие повара кипятили на большом чугунном котле воду и кричали:

— Учащиеся! Вода вскипела, варите мясо!

Все развязывали свои узелки с мясом: говядина, баранина, козлятина, конина. Холур с Амыром приносили мясо дичи, свои куски помечали палочками и бросали в кипящий котёл.

Днем учитель учил детей и стариков, а вечером при свете лучины или костра учил тех, кто днём был занят на работе. Ночью спали на кошме юрты, не снимая одежды. Пока Амыр спал, Холурааш и там учился.

— Редкий человек бижик выучит, наверное, дарга?

— Не надо говорить, что редкий человек выучит. Азбуку выучить легко. Она создана людьми для людей, — улыбаясь, ответил башкы Седен.

Молодая девушка, стесняясь, спросила:

— Это труднее, чем простегивать войлок, дарга?

— Сколько дней ты стегаешь войлочный ковер?

— Примерно месяц.

— Я в кожууне учился десять дней. Теперь читаю и пишу. Ведь всего тридцать букв. Почему бы человеку не запомнить за день где-то пять-шесть букв? Ведь вы наизусть знаете поголовье своего скота.

Выходит, любой учащийся, одолевший букварь, мог называть себя башкы — учителем. Каждый выучившийся грамоте учил остальных.

— Хо-о! — удивилась девушка, — Тогда есть смысл.

— Ничего трудного. Вы все скоро станете грамотными. Без письменности не сможем построить новую жизнь. Да здравствует тувинская письменность! Араты, давайте учиться тыва бижик!

Седовласый старик покачал головой:

— Наш дарга умный, черт!

— Как называется вот эта буква, похожая на колечко? — спросила молоденькая Биче-кыс.

— Это «о».

— А вон та, как червячок?

— Это «з».

— А у этой и хвост есть, дарга?

Араты замеялись.

— Без хвоста никто не бывает. Лошадь, корова, овца, коза. У верблюда короткий хвост. Вот буква «у» — тоже с хвостиком.

— А буквы тоже бывают маленькими и большими, как хвосты?

— Конечно. Все в мире делится на маленькое и большое. Так и буквы.

— А вот ягненок, у которого на брюшке чокпек — какая эта буква?

— Это маленькая «а».

— Как называется буква, похожая на верхнее отверстие юрты?

— «О».

— А эта, похожая на брошенный аркан?

— «Р». И числа тоже есть.

Араты учились не только писать, но еще и арифметике. Этот предмет назывался — тумен бойдус. Седен начертил цифры до десяти. Араты сгрудились возле него и молча изучали.

— Эта цифра остра, как копье, — сказал Холурааш.

— Это цифра один.
— А это что за цифры, похожие на петли?
— Та, что вниз петлей — цифра шесть, вверх петлей — девять.
— А цифра, круглая, как колечко?
— Это ноль.
— А это что за цифра, похожая на лебедя, сидящего на воде?
— Это цифра два.
— А цифра, похожая на муравья?
— Это восемь.
— Вообще-то нетрудно запомнить буквы и цифры, — переговаривались араты. — Давайте учиться.

Люди помогали друг другу, старались не отстать. За два месяца тридцать человек разного возраста, среди них Холурааш и Амыр, усвоили алфавит, научились читать по слогам, сносно писать. На уроках башкы рассказывал аратам также о разных странах мира, объяснял цели и задачи революционной партии. Учеба походила на путешествие в сказку.

Перед отъездом в красную юрту привезли газету. Холурааш увидел знакомый портрет. Водя пальцем по буквам подписи, прочел: Ленин. Не веря, еще раз прочел имя человека, который дал счастье аратам. Первые изданные на тувинском языке книги — это «Букварь» и «Учитель Ленин».

Уходя, учитель сказал:

— Я иду учить людей на другой чабанской стоянке. Дальше учитесь дома сами и учите других.

Холурааш приехал в свой аал и стал учить других тому, чему научился сам. Приготовил деревянные дощечки, палочки, большие листы фанеры, на которых можно писать буквы. Араты к нему обращались, как к учителю Седену: «Дарга». Дарга Холурааш, как и башкы Седен, учил сразу пяти буквам. Палочкой указывал на значок на листе фанеры и тянул нараспев:

— А-а-а. Э-э-э. И-и-и. О-о-о. У-у-у...

Холурааш применял метод — сравнивать начертание букв и цифр с животными, предметами, птицами. Весело и быстро араты запоминали уроки по методу Холурааша.

У аратов не было ни бумаги, ни карандашей, поэтому, чтобы закрепить знания, писали, где возможно: на плоских камнях, на деревьях, кошарах, шкурках животных, на влажной земле, на белом снегу между аалами.

Ученики Холурааша загадывали друг другу загадки:

— На войлочный ковер высыпалось просо, но все по рядам. Что это?
— Буквы на бумаге.

Вместе пели:

Октября хувискаал
К нам пришла из России.
Как избавиться от гнета,
Показал арат русский.

Со временем в продаже появились дешевые и яркие ситцы, бумага и карандаши. Соседние юрты и аалы начали писать письма друг другу. Парни пишут, чтобы попросить на время коня. Женщины пишут, чтобы попросить кусок чая. Анай пишет Холураашу: «Шлю тебе горячий привет! Несмотря на дальнее расстояние, эта белая бумага станет моим лицом, этот черный карандаш — моим языком...»

Картина 11. ШАМАН – ВРАГ НАРОДА

Революционные процессы шли в аалах, сумонах, юртах и меняли вековые традиции. В аале Холурааша была создана коммуна. Секретарь Монгун-Тайгинского комитета партии Долдаш собрал аратов аала, холодно оглядел сидящих на лугу людей и спросил:

— Тут есть такие, кто носили чинзе (шишки) или шаманили? — араты молчали. Голова Холурааша вздрогнула после вопроса дарги Долдаша. Он не посмел поднять глаза на народ. Долдаш добавил: — В коммуну не должен войти ни один феодал, чиновник, лама, шаман. Это указание сверху.

Холурааш тихо встал и пошел прочь. Придя домой, лег на кровать, повернувшись лицом к стене юрты. «Что я плохого сделал? Как потомственный шаман, лечил людей. Теперь об этом совсем забыли», — думал он. Зашла бабушка Севил:

— Ты заболел, внук?

— В коммуну не должен войти шаман. Приносил пользу народу, а сейчас никому не нужен.

— Не забывай народную мудрость, Холурааш: не унывай, когда трудно; не спеши,

когда круто.

— Не всякий горбатый — верблюд.

— Без коммуны проживем. Не увидев горы, не откидывай полы. Не увидев воды, не снимай сапоги. Время покажет.

Холураашу вспомнилось, как недавно он был в Чадане по вызову к больному и заглянул в Верхний хурээ — прославленный чаданский монастырь. Деревянные ворота были распахнуты и поскрипывали от ветра. По двору, шурша, скользили смятые, порванные листы священных книг, разрубленные шашкой статуэтки. Ни во дворе, ни в избах, где жили ламы, не было ни души. Двери всюду сорваны с петель или косо висят, отвечая жалобным скрипом на порывы ветра. Холурааш растерянно озирался: «Кто это сделал?»

Дверь юрты открылась, и вошел Успун-Доржу, который был уже совсем взрослый. Холурааш сказал сыну и бабушке:

— Меня очень беспокоит то, что начали разрушать храмы-монастыри и арестовывать лам и шаманов. Меня тоже могут арестовать. Если такое случится, то вы слишком не переживайте. Все знают, что я шаман потомственный. Шила в мешке не утаишь. Отнеси мой бубен в пещеру Чер-Аксы, сын.

— Сделаю, папа, как ты сказал.

— Повторяю тебе, сынок, что мне наказывал мой отец: не забывай, кто ты и откуда ты.

— В незнакомых аалах спрашивают меня: «Откуда родом? Чей сын?» Услышав ответ, люди хвалят деда и тебя, отец, что вы много людей вылечили, трудные роды принимали.

— Ой, молодец, Успун-Доржу! Войлок растягивается, человек растет, — похвалила правнука Севил.

— Я горжусь своими предками. А что еще самое главное? — спросил сын.

— Главное — это душа человека, сын. Душа человеческая — это дух и мысль. Прежде всего надо быть человечным.

— Как узнать это человечное?

— Ты живешь среди людей. У каждого свои человеческие заботы, тревоги, мысли, переживания. Уважай это в каждом и научишься быть человечным. У тебя будут свои дети. Учить и воспитывать детей — значит учить человечности. Умей жалеть и любить, сынок, и закаляй волю. Надо тонко чувствовать три вещи: «можно», «нельзя» и «надо». Кто чувствует эти вещи, тот имеет чувство долга. Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой.

— Что такое Родина?

— Родина — это земля твоих предков. Люби ее, как мать. Родине больно, как матери, если сын стал плохим человеком. Плохой — это ленивый, бессердечный, слабовольный, лицемерный, нечестный человек. Запомни, сынок: от работы убежишь — в нужду попадешь, от знаний убежишь — ошибку совершишь.

С мая 1931 года в Тувинской Народной Республике проводилась конфискация собственности баев и их депортация с родовых территорий в другие кожууны. Бывшие батраки приехали в аал бая Кара-Чейзен и стали описывать скот. Пьяный чейзен бросал им ядовитые слова:

— Что это, вы, паршивцы, выдумали? Разве вас, нищих, не я поил и кормил?

— Не забудьте, чейзен, пословицу: валежник, и тот когда-нибудь перевернется. Вот и пришло наше время.

— Вот как залаяли собаки, кормленные мной.

Жена чейзена пальцы кусает, чтобы не зареветь. Кроме составителей описи скота, пришли составители описи имущества. Они переписывали всё, что было в юрте.

— Шкуры сурка, лисьи и волчьи шкуры... — перечислял Балдып, наслаждаясь испугом баев. — Сквозь ноздри продета веревочка. Висят связанные десятками. Ой, много! Шелка и мануфактура китайская, шубы, шапки... Седла, серебром отделанные... Если отсюда что-то пропадет, то вам плохо придется, — пригрозил Балдып. — Все это добро конфискуется государством.

Баи уничтожали свое добро, прятали его, женили несовершеннолетних детей и делили между ними скот.

Отобранный скот распределяли по аалам для выпаса. Потом его стали отдавать по десять голов бедным. Возникло много вопросов, от которых болела голова сумонного и арбанного начальства. Некоторые бедняки, заслышав о выдаче скота, забивали своих коров и овец на мясо, чтобы получить дармовых. Но постановление правительства, предписывавшее строго учитывать количество скота у населения, выполнялось неукоснительно. Поэтому такие хитроумные перехитрили самих себя и остались ни с чем. В целом оказалось, что в Монгун-Тайге мало кто нуждался в дополнительном

скоте, поэтому государственный скот распределяли по дворам для выпаса. Позже он стал «скотом госэконома». Стада созданных в Туве первых государственных сельскохозяйственных предприятий — «госэкономов» — состояли из байского скота.

Все богатые люди были высланы в другие кожууны.

В аале Холурааша описали все имущество и скот. Холураашу оставили двух сарлыков, десять голов мелкого скота (овец и коз) и одного бычка. Потомственный шаман ко всему относился спокойно, никому не перечил. Но однажды ночью пришли вооруженные люди во главе с секретарем комитета партии Долдашем и увели Холурааша.

Успун-Доржу вышел из юрты. На фоне темного неба вокруг бесновалась шальная метель. Среди воя метели Успун-Доржу услышал голос отца, услышал не ухом, а сердцем: «Родина — это земля твоих предков, сынок. Береги ее, как мать».

Конфисковали всё имущество Холурааша вместе с юртой, забрали скот, коня Эмдик-Ой, семье оставили одного сарлыка-вола, десяток овец и коз.

— Бабушка, как же мы будем жить без отца, без юрты? — спросил Успун-Доржу.

— Ничего, Успун-Доржу. На свете ничего не бывает гладко. Запомни пословицу: деревья ветер волнует, правду народ подымает. Отец вернется.

— Моего коня Эмдик-Ой забрали. Меня как сына «врага народа» исключили из чайлагской школы.

— Не унывай. Отец тебя научил читать. Учись дальше самостоятельно всему, не поскользнешься и на месте не будешь стоять. Не грусти, что забрали вашу юрту. У меня будете жить. Назло всему надо выжить. Однажды время станет другим.

Как вчера, Успун-Доржу помнит отца, сжимающего свои камни в переплетенных пальцах рук. Камней было 41. Вот что-то шепчет над ними, раскладывает и перекладывает в три ряда, меняя расположение по своей особой системе. О результатах гадания отец говорил иносказательно, кто мог понять — понимал. Был непревзойденным мастером по гаданию на бараньей лопатке. К нему стояла очередь из людей, потерявших скот.

Хорурааш лечил людей собственными снадобьями. Рано утром отец с сыном собирали травы с росой. Перед тем как брать траву, шаман сперва благословлял ее нужными словами и пробовал корень травы. «От любой болезни в природе непременно существует растение. Надо только знать какое и уметь его приготовить», — утверждал он.

А вот лежат добытые и обработанные отцом сушёная кровь горного дикого козла, желчь кабана, мумиё, кабарговая струя, жир и желчь тарбагана, коготь медведя. Успун-Доржу вспомнил, как с отцом ездили за тарбаганами. Жир тарбагана (сурка) применяется при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, для заживления ран, а желчь — при заболеваниях полости рта, горла, глаз, желудочно-кишечного тракта, суставов.

Успун-Доржу вспомнил, как однажды на охоте отец с вершины горы указал в ту сторону, где бежали два волка: один матёрый, другой молодой. Молодой нёс на спине зарезанного козлёнка, держа зубами за ногу. Матёрый волк бежал позади. Успун-Доржу вместе с Мойнаком бросился спасать козлёнка. Увидев собаку и людей, старый волк догнал молодого, выхватил у него козлёнка, перекинул себе на спину, и оба волка прибавили ходу и скрылись из глаз. Отец тогда сказал: «Волк очень умный. Когда пришла беда, старый оставил ученье и сам взял козлёнка».

Как-то раз обидели Успун-Доржу, отец спросил: «Обидели? Теперь думаешь о мести? — и тут же добавил: — Сколько зла тебе причинил человек, столько же добра ты должен сделать ему».

Когда Успун-Доржу сказал прабабушке: «Ненавижу Долдаша, арестовавшего папу», — та ответила: «Забудь о нём. Ведь отец учил тебя спокойно относиться к обидчикам».

Картина 12. ОГНЕННАЯ ТЕЛЕГА И ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

До аала Холурааша доходили какие-то странные слухи, будто бы в Чадане, в Овуре появились огненные телеги. Это автомобили и трактора.

— Я их своими глазами видел, эти огненные телеги! — похвалялся Хаважык, сын охотника. Анай и Севил подойники побросали, слушали с открытыми ртами, ахали и всплескивали руками. Слушал и Успун-Доржу, хотя делал вид, что занят своей ступкой, в которой толок тарау (ячмень). — Копыта у этих телег точно брюхо огромного удава. Протянул я руку, чтобы потрогать, а она как пыхнет жаром!

— И-ий! — завизжала Анай. — И правда огненные!

— Огненные! — кивал Хаважык. — Внутри в ней, как в кипящем чайнике — пыхтит, свистит.

— А ты не врешь, парень? — спросила мудрая Севил. — Где это видано, чтобы телега пыхтела, будто живая?

— Я вру? — у Хаважыка от возмущения даже уши покраснели. — Да спросите жену Чамбала, она вам порасскажет! Она говорила, что русские посадили Чамбала на огненную телегу прокатиться. И его начало после рвать.

— Ай, беда-беда, страх какой! — причитали напуганные женщины.

— Днем, когда огненная телега подбежала к юрте Баву, лошади и сарлыки в загоне перепугались, проломили изгородь и умчались в степь.

— И никого в аале не было, чтобы их перехватить? — заахала Анай.

— Одна старуха в юрте была, и та от страха шубой накрылась и лежала как мертвая, — нашелся Хаважык.

— Бедная, — пожалела Севил.

— Ты все услышал, мальчик? — глядя на Успун-Доржу, спросил Хаважык.

Тот промолчал, сглотнув обиду. Как он завидовал сейчас Хаважыку, его нарядному халату, хорошему коню под ним, тому, что он старше его и свободен. Ему очень хотелось увидеть огненную телегу!

Приехал Балдып.

— Огненную телегу вы видели? — спросила Анай у него.

— Конечно видел.

— Возьмите с собой меня, дедушка, очень хочу увидеть огненную телегу, — попросил Успун-Доржу.

— Хорошо. Птенец оперится — всюду полетает, ребенок вырастет — везде побывает. Я возьму тебя. Конь для Успун-Доржу есть?

— Ни одного коня нам не оставили.

Пока Успун-Доржу трудился, Балдып попросил коня у друга. Дальние родственники, соседи дали на временное пользование седло, потник, аркан, конские путы, уздечку, недоуздок.

— У подножия Большой Монгун-Тайги на берегу реки Мугур находится аал твоей двоюродной бабушки Севил — моей тезки. Она из рода Каксаан-Иргитов, вышла замуж за Бурушкака из рода Салчаков. Обязательно заезжайте к ним, Балдып. С их детьми познакомитесь, — покуривая трубку, сказала Севил. — Близки вершины двух гор, а не сойдутся, далеко два человека, а встретятся.

Путники отправились в дорогу верхом на лошадях. От ожидания таинственного Успун-Доржу радовался, тихонько напевал:

Ум одинокий покоя не знает —
Все потому, что других обгоняет.
Горный поток остановки не знает —
Все потому, что излуки срезает.
Человек родится не конным, а пешим,
Не вдвоем с подружкой, а одиноким...

Балдып ехал молча, и Успун-Доржу тоже замолк.

Мягким зеленым ковром расстилались сочные травы, луга тянулись бесконечной чередой. Сколько вокруг чудесных полевых цветов: голубых, оранжевых, фиолетовых! Небольшие чистые речушки неслись вниз с горных вершин, покрытых ледниками. Оттуда тянуло прохладой, и было приятно ощущать ветерок и подставлять ему грудь и щеки. Как хорошо жить здесь под этим бездонным синим небом, под этим щедрым золотым солнцем, среди запахов лугов и гор! Сердце замирало в восторге, Успун-Доржу был счастлив.

Показалась Большая Монгун-Тайга со сверкающими ледниками. Путники увидели аал на берегу реки Мугур — аал Бурушкака Салчак и Севила Каксаан-Иргит. Здесь стояли три юрты, словно три ножки ожук — очага. Залаяли собаки. Быстро спешившись, привязали коней к коновязи. Балдып стащил с седла таалын — перекидную суму. Зашли в юрту.

— Амыр менди! — дедушка и бабушка протянули Балдыпу и Успун-Доржу руки ладонями вниз, а они поздоровались ладонями вверх.

— Кто вы? Откуда? — внимательно разглядывая гостей, спросил хозяин юрты.

— Это сын Холурааша Успун-Доржу из рода Каксаан-Иргитов, а я его дедушка Балдып. Едем из Моген-Бурена Биче Монгун-Тайги.

— На отца похож. Войлок растягивается, человек растет. Значит, вы родственники моей жены. Молодцы, что приехали. Сейчас познакомитесь с нашими детьми. Дружите с ними. Дружба силу множит, опора крепость даёт. Любовь братьев крепче скалы.

— Гостю — честь, а хозяевам — гостинцы, — вытаскивая из таалына вареное мясо, когээржик (фляжку) с аракой, материю, — сказал Балдып.

— О, дадайым! Что это у вас такое? — обрадовалась подаркам хозяйка Севил, тезка прабабушки Успун-Доржу.

— Так и знал, что гость будет: с утра у жены нижнюю губу дергало.

Маленькая, шустрая Севил никогда не перечила мужу:

— Да, я говорила. Но я не ждала сына Холурааша с дедушкой, — Севил налила гостям чаю, подала обеими руками, подвинула еду. — Проголодались, наверное, ешьте. Я сбегаю к соседям, — и проворно вышла.

Бурушкак поинтересовался:

— По каким делам приехали?

— Познакомиться с родственниками, да еще внуку огненную телегу показать хочу.

— Об огненной телеге и у нас говорят. Такому молодцу, конечно, надо показать.

Вернулась Севил, достала пиалы и подала мужу:

— Соседей позвала, придут сейчас. Наши дети там играют в кажык и шахматы.

Вскоре вошли старик со старухой, бодрые такие. Севил засуетилась:

— Айт, проходите на дор, — (почетное место), — кому, как не вам, занимать его, — за руку провела сперва старика, затем старуху. — А дети почему не пришли?

— Потом придут.

Бурушкак бережно разлил араку, первую пиалу подал жене. Она, по обычаю намочив указательный палец, побрызгала аракой на четыре стороны и в огонь. Потом пустила пиалу по кругу, каждый пригубил вино, последним выпил хозяин. Балдыпу и Успун-Доржу налили отдельно, но они отказались.

Открылась дверь. Вошла молодежь. Все несмело поздоровались. Хозяин юрты представил их:

— Это старший сын Метпээ с женой Кулак. Дочери Сенмит и Ошку-Саар. Сыновья Хунан, Молдурга, Бызаа. А Биче-оол пасет отару.

— Из Моген-Бурена приехали мои родственники Каксаан-Иргиты — сын Холурааша Успун-Доржу и его дедушка Балдып, — сказала Севил.

— Вот и познакомились. Пожилые остаются в юрте, а молодые идите в соседнюю юрту, там поиграйте, — строго сказал Бурушкак.

Все молодые вышли из юрты подышать свежим воздухом. Вечер был ясен и прохладен. Ветер доносил с гор приятный запах, отдающий смолой и диким луком. Все вошли в юрту.

— Почему вас всех назвали именами животных? — поинтересовался Успун-Доржу.

— Все так спрашивают. Это всё папа, — ответил Бызай-оол. — Я теленок. Хунан — теленок яка на третьем году. Это Молдурга — теленок яка на втором году. Ошку-Саар — козодойка. Она на самом деле любит коз доить.

— А я ревсомолка, — сказала симпатичная Сенмит.

— Так даже хорошо, вас ни с кем не спутаешь. Что с рукой? — спросил Успун-Доржу у Молдургы.

— В детстве повредил руку, так и срослась.

Начали играть в кажык и шахматы. Успун-Доржу первую партию проиграл Хунану, но вторую — выиграл. Вдруг сверкнула молния, послышался отдаленный удар грома, и вскоре дождь лил как из ведра.

Все легли спать на кошме вокруг остывающего очага в юрте.

Проснувшись утром, Успун-Доржу удивился. В юрте, кроме него, никого не было. Он осторожно встал, оделся и вышел из юрты. В безоблачном небе солнце играло золотыми лучами так ярко, что Успун-Доржу невольно зажмурился. А природа ликовала после ночного дождя. Поля и луга были как умытые. Качали головками под ветерком степные цветы, взмывали в небо жаворонки. Где-то далеко расползались последние клочья тумана. У подножия горы на широком лугу паслись отары овец, стада сарлыков, табуны лошадей.

В соседней юрте бабушка уже давно сварила чай и поставила чайник около очага, чтобы не остыл. Завтрак был готов. Старики, видимо, встали рано.

— Зайдите к нам в юрту и попейте нашего чайку, — навстречу Балдыпу вышла невестка Кулак и пригласила гостей. — Проходите на почетное место!

Они сели у очага на кошме. Кулак налила в пиалы душистый зеленый чай с молоком сарлыка и подала обеими руками поочередно гостям. Поставила перед ними сыр-быштак, ааржы — сушеный творог, свежее ореме — пенки, далган — прожаренную ячменную муку.

Она забросала их вопросами: как живут родители с бабушкой, как здоровье?..

После беседы и угощения путники попрощались и двинулись дальше.

— Скоро увидишь огненную телегу, — сказал Балдып.

Впереди клубится пыль. Цокают копыта лошадей, кричат всадники. Перед скачущими людьми движется какое-то животное из железа, оно кашляет, пыхтит,

чихает, скрипит, из него идет дым! Точно как рассказывал Хаважык.

— Что за чудовище такое? — спросил Успун-Доржу у Балдыпа.

— Это огненная телега — трактор.

В кабине сидит смеющийся человек, крутит черную баранку. Успун-Доржу увидел морду огненной телеги: выпучены горящие глаза, закушена зубами железная перекладина, пышут жаром шершавые ноздри. Телега на ходу дымит.

Но вот трактор остановился, все смолкло. Из груди чудовища вылез человек. Жители аала облепили трактор. Маленькие дети расплакались. Путники спешились, подошли к трактору. Успун-Доржу принюхался — пахнет жженым копытом. Ощупал «сердце» трактора, отдёрнул руку — ой, как горячо! А колеса у чудовища — точно рога у матерого горного барана, спина — плоская.

Один старик восхитился:

— Четыре лапы, два глаза!

Старуха заглянула под трактор и, увидев, как оттуда капает вода, известила людей:

— Дети мои, да это женщина!

Народ восхищался и любовался трактором: весь из железа, из маленькой трубы идет дым. Тракторист выглядел настоящим молодцом. Одет он был в комбинезон, длинные сапоги.

— Это огненная телега? — спрашивали люди.

— Да, это огненная телега — трактор. Чай не успеешь сварить, как он обработает поле, где может поместиться отара овец, — объяснял тракторист.

— Интересно, как этот зверь будет пахать?

Попинав колеса, тракторист проверил сзади два плуга, сел на сиденье, завел машину, газанул, мотор взревел.

— Дорогу! — закричал.

Трактор тронулся с места. Всадники и пешие бросились вслед за ним.

Успун-Доржу размышлял: «Будет, что рассказать дружкам, бабушке и маме».

— Ты понял, Успун-Доржу, что трактор нужен для земледелия?

— Да. Но основное богатство Монгун-Тайги — скот: овцы, козы, сарлыки, лошади. Там земледелием никто не занимается.

— С тобой согласен. Из-за сурового климата в Монгун-Тайге земледелием не занимаются. Но время покажет. У нас тоже огненные телеги появятся.

Путники продолжили свой путь до Кызыла.

— Кызыл — центр всех кожуунов и округов, там находятся все главные руководители аратской партии. У меня есть красный партийный билет. Меня вызвали, — сказал Балдып. — Остановимся на ночлег у моих знакомых русских.

До Кызыла было два дня пути. Показалась деревня. Спешились у избы. Их приняли с радостью. После чаепития хозяин пригласил гостей в баню.

Отродясь не бывал Успун-Доржу в бане, знать не знал, что это за штука такая. Балдып привел его в темную, жаркую и душную избу, велел раздеваться. Там нагишом уже мылся хозяин. По велению дяди, стесняясь, Успун-Доржу снял с себя одежонку. Дядя намылил его с головы до ног, обдал из шайки теплой водой. Глаза дерет, но ладно, надо терпеть. Едва стерпел Успун-Доржу все это и решил, что мученьям его пришел конец. Не тут-то было!

— Ты куда? — окликнул его Балдып и, ухватив за руку, поволок за собой в другую половину бани, плотно прикрытую дверью. Там, за дверью, нечем было дышать и куда-то под самый потолок вели ступени. Жар, пар — ничего не видать. Балдып с другом затащили Успун-Доржу за самый верх.

— Дедушка, помираю! — взмолился Успун-Доржу и попытался сползти вниз.

— Лежи! — удержал его Балдып и давай хлестать веником...

Вышел Успун-Доржу из бани — чудно! Теплынь, солнце светит, а его холодит. Да хорошо так, приятно. И легкость во всем теле, будто похудел сразу. И одежда вроде свободней стала. Лег в землянке на топчан — и вставать неохота. Словно на качелях качает. И в сон клонит. А ничего, однако, штучка-то эта — баня. Не заметил, как и заснул...

— Вставай! — вернул его к действительности голос деда. — Едем в Кызыл.

Жена русского крестьянина позвала путников к столу, нарезала большими ломтями белый хлеб и свиное сало. Сало Успун-Доржу показалось очень соленым, зато чай со смородиновым вареньем пил с удовольствием. Угостившись на славу, они засобирались. Друг деда вынес им две большие ковриги. Успун-Доржу взял в руки одну — хлеб был еще горячий.

К вечеру следующего дня подъехали к Кызылу. Успун-Доржу, вглядевшись, различил два двухэтажных здания среди серенькых домиков, юрты, кусты караганника, столбы с проволокой.

— Пойдем прямо в дом ЦК, — сказал Балдып. Вошли в здание. — Амыр-ла! — улы-

баясь, Балдып протянул руку человеку, сидевшему за столом.

В комнате было тепло. В углу стояла огромная, до потолка, черная бочка. Дежурный подошел к ней и, прикоснувшись ладонями, предложил:

— Погрейтесь. Закоченели, наверно?

Балдып обнял бочку. Успун-Доржу прижался к ней спиной. Бочка была горячая.

— Что за странный свет? — показывая на пузырек на шнурке, спросил Успун-Доржу.

— Это и есть электричество, — объяснил Балдып. В пузырьке не было масла, огонек сиял сам по себе, не мерцая. — Пошли в столовую.

Следуя за Балдыпом между столами, за которыми сидели чисто одетые люди, Успун-Доржу с удивлением оглядывался. Сели за свободный стол. Молодая, красиво одетая женщина принесла им две тарелки горячего супа. Балдып взял стоящую на столе маленькую табакерку, потряс над своей тарелкой, оттуда закапало что-то густое, желтое.

— О, вот это самое подходящее угощение для того, кто замерз! — он принялся с удовольствием хлебать суп. Успун-Доржу последовал примеру деда — потряс табакеркой над тарелкой. Но едва он проглотил первую ложку, как чуть не подскочил:

— Что это за суп? Рот обжег!

— Это «харчиса». Хорошее лекарство от простуды, весь мороз выгонит.

Преодолевая жжение во рту, Успун-Доржу принялся глотать суп, не в силах сдержать слез.

— Ноги у меня уже запылали, вот так снадобье! Как бы не сгореть от него совсем. О-ох! — застонал он, вытирая слезу, катившуюся по щеке.

Убрав тарелки, женщина принесла им мяса, приправленного пшеном и луком, и еще по два стакана горячего чая. Балдып и в мясо стал трясти желтую глину из табакерки, но Успун-Доржу сказал, что с него, пожалуй, хватит.

— Пойдем смотреть дириг чурук[1], — сказал Балдып и повел племянника в ойнаар-бажын[2].

Они вошли в комнату, где сидело много народу, а на стене висело белое большое полотно. Все переговаривались. Заработал электродвижок. Погас свет. Белое полотно ярко засветилось, оттуда помчалась конница. В одну секунду Успун-Доржу нагнулся, закрыл голову руками, чтобы спастись от копыт бешено скачущих лошадей. Послышался дружный смех зрителей. Опустив руки, приоткрыл глаза и увидел, что все сидят, как сидели, только он струсил. Балдып ему шепнул:

— Сейчас смотри, неопасно.

После кино Балдып нашел Кочетова:

— Сергей Кузьмич, моего Холурааша арестовали. Как узнать, что с ним?

— Это тот родственник, который присутствовал на Великом хурале?

— Да. Как шаман, он только пользу людям приносил.

— Сейчас спрошу у знакомого дарги. Ты не ходи со мной. Если узнают, что ты его родственник, то тебя тоже посадят в тюрьму. Время такое, понимаешь? — Кочетов вскоре вернулся и сообщил: — Твой родственник-шаман Холурааш ждет суда в тюрьме Кызыла, а после суда его отправят за пределы Тувы.

— Можно ему передать еду?

— Можно. Давай мне, я отнесу.

Балдып с племянником пустились в обратный путь путь.

Холурааш в это время ждал в тюрьме своей участи. Поначалу каждый день его вызывали на допрос.

— А ну-ка, покажи этих албысов-шулбусов — чертей и духов своих!.. Ты почему обманывал народ, пудрил людям мозги?

— Я не обманывал. Я лечил людей, принимал роды.

— Ты хотел возвратить феодальный порядок? Хотел обратить вспять хувискаал в Туве?

— Нет, дарга. Я поддерживал и поддерживаю хувискаал — революцию.

— Ты хотел присоединить Туву к Японии?..

Картина 13. ТУВА РЕВСОМОЛЬСКАЯ

В конце августа в Монгун-Тайге начинало холодать. «Араты уже перекочевали, наверное, на кузег (осенние пастбища)», — подумал Успун-Доржу. Ему казалось, что совсем недавно в середине июня монгун-тайгинские араты перегоняли скот на чайлаг (летние пастбища). Вместе со всеми он ликовал. Как не радоваться новым впечатлениям, конным путешествиям по берегам рек и в горах, скачкам, состязаниям

[1] Дирит чурук – живые картины (кино).

[2] Ойнаар-бажын – дом игр (клуб).

в национальной борьбе (хуреш) и бросании аркана! Переселение с одного пастбища на другое — с чайлага на кузег, а затем — кыштаг (зимнее стойбище), чазаг (весеннее стойбище) диктовалось самой природой. Каждая перекочевка была праздником для жителей аала. У всех было приподнятое настроение в связи с надеждой на лучшие пастбища. Холурааш говорил: «Скот за лето хорошо нагуляет и войдет в зиму упитанным». Горные травы способствовали нагулу скота, он прибавлял в весе. А рядом со стоянками скотоводов, на вершине горы были вечные ледники. Тут же паслись дикие животные: горные козлы, архары, полярные куропатки, было очень много косуль. Здесь же и рысь, и ирбиш — снежный барс.

В высокогорьях Монгун-Тайги лёд никогда не тает. Его многолетние толщи образуют ледники и снежники. Особенно когда солнце сияет вовсю, от красоты сверкающих ледников перехватывает дыхание. Когда долго смотришь на них, то замечаешь, как образуются длинные ледовые реки. Нижние концы горного ледника тают, давая начало рекам. С высоких хребтов многочисленные роднички с веселым журчанием, сливаясь в небольшие горные речки, шумно, наперегонки сбегают вниз. Одна из таких рек — Мугур. Река Мугур, текущая по горным склонам Монгун-Тайги, сливаясь с рекой Каргы, впадает в озеро Нуурук-Хол на границе Монголии.

Близкие аалы объехал посыльный, оповещая, что молодежь созывается на собрание в Бай-Оваа. Успун-Доржу пришел пешком к назначенному месту. Возле коновязи стояло много лошадей и быков. Прибывшие на собрание расселись на поляне. Многие были разодеты, точно на праздник. Председатель из ЦК и местные командиры ревсомола расположились в центре лужайки, остальные — кольцом вокруг них.

— Смотрите! — услышал Успун-Доржу шепот возле себя. — Вот тот, без косы, по-русски который пострижен, это и есть дарга из ЦК. А рядом с ним — наш, из кожууна.

Оба ревсомольских вожака были молодые славные парни, в русских хромовых сапогах и шелковых красивых халатах. Девушки хихикали, поглядывая на них, и подталкивали друг друга локтями. Оба были коротко подстрижены, без косы. Успун-Доржу потрогал свою толстую косу за спиной. Коса у мужчины, а тем более у женщины — это украшение. Девушки заплетали волосы в одну косу, которую свободно опускали за спину, в ее конец вплетались чалан-кара — мягкие шелковые черные нити с бусинками. Выйдя замуж, женщина заплетала две или три косы, закрепляя их чавага — серебряной прямоугольной заколкой с орнаментальными насечками и бусами.

Дарга из ЦК говорил сначала по-монгольски, потом повторил по-тувински. Слова у него лились складно и быстро, точно вода из родника, но Успун-Доржу ничего не понял. Следом выступил монгун-тайгинский дарга. Говорил он понятней, хотя и не так складно:

— У нас в Монгун-Тайге есть много молодежи, которую можно принять в Революционный союз молодежи, — сказал в заключение и начал перечислять поименно. Успун-Доржу не услышал своего имени.

— Член ревсомола должен не щадить жизни в борьбе за дело аратской революционной партии. До умов и сердец призван он донести учение Маркса, Энгельса и Ленина и смело говорить правду, — сказал дарга из ЦК.

— А девушек примут в ревсомол? — выкрикнула Минчеймаа из рода Хертеков и спряталась за спины подруг.

Дарга ответил, что при аратской власти женщина имеет равные права с мужчинами, и призвал девушек вступать в ревсомол.

— Кто будет учить грамоте ревсомольцев? — спросил Хаважык.

— Кто заплатит за учебу? — спросил Успун-Доржу.

— Вы назвали наше правительство аратским. Почему же у нас правят богатые, знатного происхождения?

— Ой, халак! Ой, Эжен! — послышались со всех сторон испуганные возгласы.

Успун-Доржу почувствовал, что весь вспотел и дрожит от волнения.

— Дельные вопросы задали, — ответил дарга из ЦК. — На учебу будут посылать в Кызыл самых лучших ревсомольцев. Для ликвидации неграмотности партия организует в районных, сумонных центрах кружки. Сейчас не хватает грамотных людей из простонародья, чтобы полностью заменить старых чиновников из знати.

Через какое-то время после собрания в аалах участились свадьбы. Если раньше подбор жениха и невесты, церемонии сватовства длились годами, то теперь отдавали девушку быстро за любого, кто посватается.

— Надо женить, чтобы скот разделить поскорее, а то за лишний скот большой налог будут брать, — на свадьбе, захмелев, матери выдавали тайные горести. — Ой, оммани! Все четыре свадебные церемонии забыты! Даже на три косы доченьке волосы не переплели, так торопились. Вытолкнули, словно паршивого козленка из стада. Видно, несчастливой родилась она, раз такая долюшка ей выпала. Ни с одним парнем

даже не переглянулась, никто её, горемыки, рукой не коснулся...

Случалось, что у невесты не всегда и своя лошадь находилась, чтобы ехать к жениху. Это раньше сочли бы великим позором, а сейчас девушку, точно попутный груз, посадят за седло отца или матери — и вся свадебная процессия.

— Да, — соглашалась мать другой, такой же наспех сосватанной невесты, — по чужому выбору замуж идти — светлого солнца не видеть, в аду жить. Сколько соленой воды из глаз она, бедная, прольет...

Люди не знали, откуда такая напасть пришла. Пошли слухи о причине свадебной эпидемии. Говорили, что всех парней и девушек будут посылать в Кызыл учиться в школе письменности и счета. Там молодежь стыд теряет, всех заставляют на занятиях чуть ли не голыми сидеть. Оттуда возвращаются без кос. Из Кызыла путь для молодежи лежит в Россию, а там едят змей и лягушек, точно дикие. «О-ох, беда-беда!..»

Однажды Успун-Доржу пошел пешком в аал Минчеймыы из рода Хертеков. Он скучал по ней. Они познакомились в чайлагской школе и дружили. Теперь она стала ревсомолкой. Приблизившись к ее аалу, Успун-Доржу увидел, что Минчеймаа пасет отару.

— Амыр-ла, Минчей! — радостно поздоровался Успун-Доржу.

— Амыр-ла! — улыбнулась в ответ Минчеймаа. — Как ушел с чайлагской школы, тебя не видела.

— Не ушел, а выгнали меня.

— И ты пригорюнился?.. Мне без тебя скучно.

— Как учиться мне дальше?

— Ты приходи, когда мы учимся. Сквозь стену юрты всё слышно. То, что будем писать, я тебе после занятий буду показывать.

— Я так и сделаю.

Вдруг его плечи обвили ласковые руки Минчеймы — Успун-Доржу почувствовал тяжесть серебряных колец и услышал, как звенят серебряные сережки-колокольчики.

— Какие вопросы задавали тебе для вступления в ревсомол, Минчей?

— Например: «С чего ты просишься в ревсомол? Что такое классовая борьба? Сколько человек ты обучила грамоте?»

— На все вопросы ответила?

— «Как быть с этим человеком?» — спросил после моих ответов председатель хурала у собравшихся. Кто-то сказал: «На вопросы отвечает хорошо. Сама грамотная и других учила грамоте. Можно ее принять». Остальные согласились и приняли меня.

— Без тебя мне одиноко, моя ревсомолка. Покажи свой ревсомольский билет.

Из-за пазухи тона Минчеймаа вытащила бумагу с таинственными знаками. Успун-Доржу посоветовал завернуть билет в бересту и зашить в пазуху тона:

— Так твой билет не потеряется и не истлеет от того, что ты без конца прикасаешься к нему пальцами.

— Умница! Ты всегда дельные советы даешь.

Успун-Доржу каждый день стал приходить в чайлагскую школу к началу урока. Не заходя в юрту, он подслушивал объяснения учителя за юртой и запоминал. После занятий в условленном месте поджидал Минчейму. Домашнее задание делали вместе.

Однажды при подслушивании его застала Чучак, дочь Улара Хертека:

— Меня тоже исключили из школы. Моего отца увели под конвоем и расстреляли, всё имущество, весь скот забрали. Потом умерли мои братья и мама. Меня полуживую нашел охотник Сурунмаа Хертек и привез в свою юрту. Приемные родители меня на ноги поставили, дали мне новое имя Ошку, отправили учиться в чайлагскую школу. Но дарга Долдаш Донгак выяснил, что я дочь «контры» Улара Хертека, и меня исключили из школы.

— Моего отца Холурааша тоже забрал Долдаш.

— Я знаю твоего отца. Он приходил к нам тайно несколько раз и оказывал помощь. Мои приемные родители хвалили его.

Горя, какого довелось хлебнуть Чучак-Ошку, с лихвой хватило бы на десятерых. Успун-Доржу подумал, что ему легче, чем ей.

Аресты невинных людей продолжались. Родственники, друзья, знакомые расстрелянных или осужденных третировались, изгонялись из учебных заведений и лишались работы. Но при этом теперь каждый арат имел хорошего скакуна, сарлыка с молоком к чаю, десяток овец и коз. Люди досыта наедались и могли справить хорошую одежду. Все это, говорили араты, появилось у нас благодаря народной революции, заботе партии и правительства. Араты были преданы делу хувискаала — революции. Они это слово понимали как свободу и послушно повиновались начальству, собирались на сходки и хуралы — собрания. Хуралов было много, они следовали один за другим.

Однажды по аалам разнеслась весть: в сумоне будет хурал молодежи. Успун-Доржу

отправился на собрание. Вот вышел вперед молодой человек — ревсомольский вожак из ЦК в русских хромовых сапогах, коротко подстриженный, без косы.

— Того, кто не согласится отрезать косу, мы не будем считать хувискаалчы — революционером. Он пережиток позорного прошлого, противник нового порядка. Все парни и девушки, считающие себя хувискаалчы, обязаны расстаться с косами. Кто первый? — спросил вожак и взял со стола ножницы. Наступило гробовое молчание.

— Дадайым ай[1]! Что это такое, а? — послышался тихий шепот.

— Наверное, придется начать с членов революционного союза молодежи, — развернув список членов ячейки, вожак стал называть имена и род.

У первой подошедшей девушки полетела коса — девичья краса и гордость. Затем — у второй, третьей. Красивые чавага и чалан-кара с бусами отбрасывались в кучу вместе с косами. Девушки плакали. Успун-Доржу узнавал их: месяц назад эти девушки хихикали, подталкивали друг друга локтями, поглядывая на подстриженных ревсомольских вожаков. А теперь они плакали. А лысые парни с удивлением оглядывали друг друга.

Услышав имя Минчеймыы, Успун-Доржу похолодел. Вот подошла Минчеймаа. Какая она красивая с толстой косой и вплетенной в косу чалан-кара. Полетела ее коса, ее волосы встали дыбом. Минчеймаа заплакала навзрыд.

Собрание закончилось разведением костра и сжиганием «пережитков феодализма». В воздухе стоял запах паленых волос. А юный дарга из ЦК продолжал гнуть свою линию:

— Все участники этого хурала по приезде домой должны организовать стрижку кос у своих родителей. Надо выбросить все статуэтки божеств. Ни один хувискаалчы не должен молиться бургану. Если кто оставит себе бургана в юрте, он будет считаться классовым врагом, понятно вам?

Успун-Доржу пошел за плачущей Минчеймой и успокаивал:

— Не плачь, Минчей. Волосы быстро растут. У тебя снова будет коса.

— Зря вступила в ревсомол. Хоть мою чалан-кару отдали бы...

— Это собрание совсем бесполезное. Коса у мужчины, а тем более у женщины — это украшение, а не пережиток. Я так считаю.

— Я согласна.

— Мама мне показывала думаалай — свадебное головное покрывало, очень нарядное, роскошное. На нем было много украшений и бус. Мама мне рассказывала, что приехала в наш аал на белом коне: седло и сбруя украшены серебром, на ней был красивейший халат, личико закрывало думаалай.

— Я видела невесту из богатой семьи. Шелковые нити ее думаалая с бусинками касались гривы коня, ярко сверкая на солнце и переливаясь всеми цветами радуги. По твоим рассказам, твоя мама похожа на нее.

— Мой отец тогда стал победителем поединка с байским сыном Суге за честь матери во время ойтулааша. Ты не представляешь, какая свадьба у них была! Моя мама на белом коне и сваты на лошадях прибыли, трижды объехали юрту по ходу солнца. Повели нарядную маму в юрту дедушки. Он подносил чашу с молоком невесте и напутствовал: «Будь достойной хозяйкой этого аала».

— Твоя мама выпила молоко?

— Конечно. После таких напутствий как же не выпить. Моя бабушка открывала думаалай, нюхала, а затем целовала лоб моей мамы. На свадьбе веселились, пели частушки, разгадывали загадки, играли в шахматы...

— Это не то, что сейчас происходит.

«Милая моя Минчей...» — подумал Успун-Доржу, и отчего-то его сердце щемило так сильно, что еле дышал.

Картина 14. «НАРОД – ОДЕЯЛО»

Вокруг рваной юрты на войлочных подстилках всё завалено кожами да шкурами. Перебирая их, Севил и Анай откладывали в одну сторону те, которые идут на арканы, в другую — для пошива перемётной сумы. Отдельно складывали те, что пойдут на одежду. Рядом с труженицами Успун-Доржу. Без него бы не справились. Он помогал и мять шкуры, и выделывать их. Парню уже девятнадцать, со сверстниками не водится, по чужим аалам не шляется, а как исключили из летней школы, без нужды даже в соседнюю юрту не зайдет.

Однажды не успели закончить выделывать шкуры к вечеру. А шкурки надо мять влажными, отложишь ненадолго — высохнет, весь труд насмарку. Спать хочется, но Успун-Доржу мнет и мнет и на маму смотрит. В середине ночи он не выдержал, заснул.

[1] Дадайым ай! - Ой, как страшно! Страх-то какой!

Бабушка тоже заснула. Анай так и не прилегла. Шкуры выделала, а там уже рассвет.

Успун-Доржу удивлялся трудолюбию мамы. Анай могла и лошадь объездить, и ночью пуститься в поиски отары овец, возвращающихся с пастбища, и пригнать их. «Кто я? Буду ли похож на своих родителей?» — думал Успун-Доржу. «Без корней дерево не растет, без истории человек не живет», — говорила мудрая прабабушка. Успун-Доржу гордился ею. В роду Севил мужчин было мало, и ей самой приходилось справляться с хозяйством. Говорили, что она была отличным табунщиком. У нее был дар подчинять себе животных.

Дедушка Балдып сам видел, как мужчины тщетно пытались объездить молодого коня, конь брыкался и норовил укусить, никто к нему не мог подступиться. Севил подошла, прикрыла коню глаза рукой, ласково погладила по шее, и животное было покорено.

Однажды тувинские конокрады увели лошадей у монголов и прогнали табун через Моген-Бурен в Каргы. Монголы выследили воров, но поймать не смогли и в отместку увели попавшихся по пути бабушкиных лошадей. Севил взяла в напарники Балдыпа и кинулась вдогонку. Оказалось, что ее лошадей увели пять братьев. Отличались они крутым нравом и были скоры на расправу. Севил приехала, когда самих братьев в аале не было. Были их старенькие родители, которые попытались отговорить от намерения вернуть свой скот. Но Севил и слушать не стала: отбила своих лошадей и вернулась домой.

Не раз ей приходилось и по ночам охранять табун лошадей от волков. «Не страшно было, бабушка?» — «Страшно, конечно. Особенно зимой, когда морозные, бесконечно длинные ночи приходилось проводить, не слезая с коня, в темноте палить из ружья. Страшно, особенно если одна...» Успун-Доржу не верилось. Севил была тихая, скромная, незаметная.

Однажды он спросил:

— Что такое природа, бабушка?

— Природа — весь окружающий человека мир с животными и растениями.

— А для рыбы природа — это река или озеро?

— Да. У каждого живого существа есть своя «юрта». Каждое живое существо, даже травинка, веточка, принимает в себя дух вечного неба — октаргай. Он проникает в каждый сосудик, оживляет его.

Очаг в юрте горит весело, в чугунной чаше потрескивает желтое просо, становится коричневатым. Спокойный по характеру Успун-Доржу держит в руках деревянную мутовку и перемешивает тараа — зерно. Дым ест глаза, щёки пылают огнём, но он терпит, перемешивает, вдыхает вкуснейший запах жареного зерна. Вдруг он почувствовал, что со дна раскаленного котла идёт дым. Неужели пережарил? Просяные зернышки начали лопаться от жара и вылетать из чаши. Так и есть. Мать первая учуяла дым, проворно вскочила:

— Ой, халак, ой, беда! А ну, дай мне скорей! — вырвала из рук сына мутовку, высыпала почерневшее зерно в деревянное корытце. — Да ну тебя! Сколько раз я тебе говорила, не берись, если не умеешь. Лучше погляди за козлятами и ягнятами.

Успун-Доржу опрометью бросился из юрты. Увидел табун лошадей. Нахлынули воспоминания.

Он запомнил ту счастливую весну, когда на празднике трёхлетия ему дедушка подарил гнедого жеребенка. Вместе с ним рос жеребенок Эмдик-Ой. Отец обучал сына всему: как поймать хариуса или подбить на лету куропатку, как укротить скакуна или заставить его лечь, чтобы нагрузить мешками с зерном. Эмдик-Ой стал занимать призовые места на скачках. После того как Холурааша увели вооруженные люди, коня тоже назвали «контрой» и конфисковали. Затосковал тогда Успун-Доржу и вспоминал: вот гнедой жеребенок на тонких, длинных ногах тянется к соскам матери, его глаза крупные, милые, доверчивые, вот годовик с блестящими боками, вот скачет иноходью, как и его мать. Холурааш, знаток лошадей, знал все их особенности.

«Никогда я не видывал белой лошади, которая не была бы кроткой. Ну, а вороная лошадь всегда упряма, как осел, и зла, как бес. Дай ей когти — она справится даже с барсом. Твой конь с норовом, поэтому зовем его Эмдик-Ой, — говорил отец. — Конь, сынок, это половина мужчины. Даже если с голоду будешь умирать или замерзать в степи, конь тебя вывезет и спасёт от голода. Возьмешь немного крови из вены на ноге, дашь отдохнуть ему — с голоду не умрешь сам, и не пропадете оба. Это самый близкий друг человека, цени его».

Успун-Доржу узнал, что конфискованного Эмдик-Оя отдали семье бедного арата Кодур-оола из рода Иргитов в сумоне Хурен-Тайга. Чтобы увидеть своего коня хоть одним глазом, Успун-Доржу поехал туда. Решил познакомиться с членами семьи, чтобы

разрешили побыть с конём. Вот и юрта Кодур-оола и Хорлуу Иргитов. У них было шестеро детей, а самый младший Маадыр-оол. Получив разрешение взрослых побыть с Эмдик-Оем, Успун-Доржу отправился в сторону холма, где паслись овцы, козы и табун лошадей.

— Эмдик-Ой! — радостно закричал Успун-Доржу.

— И-ий-хо-о! — заржал Эмдик-Ой, узнав голос хозяина, и бежал, бежал к нему своей иноходью, хвост и грива развевались.

По морде Эмдик-Оя скатывались слезы. Успун-Доржу застыл и тоже со слезами на глазах смотрел на своего замечательного Эмдик-Оя. С любовью гладил его морду и место с клеймом Холурааша в виде подковы. Обнимал за шею.

Успун-Доржу подружился с Маадыр-оолом, который был потомственным стрелком, с малых лет учился охотиться. Успун-Доржу рассказывал новому другу об Эмдик-Ое, о его быстроте, о его поступи и чутье.

— Мой Эмдик-Ой с черной гривой и блестящими зеленоватыми глазами никогда не сбивался с иноходи в галоп, Маадыр-оол.

— Кто такой иноходец? Я охотник, мало общаюсь с лошадьми.

— Ты еще не знаешь коня? Иноходец — конь, который в беге один шаг делает одновременно двумя левыми ногами, другой — двумя правыми.

— Вот как?

Успун-Доржу, как когда-то его отец, наставлял коренастого, невысокого Маадыр-оола:

— Лошадь, Маадыр-оол, всегда умеет отыскать дорогу к лучшему пастбищу. Даже если с голоду будешь умирать или замерзать в степи, Эмдик-Ой тебя вывезет. Запомни, Маадыр-оол, это самый близкий друг человека, цени его.

Началось строительство деревянных домов, в первую очередь школы[1]. Однажды Успун-Доржу проснулся от непонятного грохота. Казалось, что земля трясется под тяжестью шагающих по ней великанов. Выглянув из юрты, он увидел, в чем дело. Мимо юрты, рысью взбираясь на склон речной террасы, бежали черные лохматые быки-сарлыки, погоняемые всадниками. На их горбах были укреплены толстые бревна, связанные по два верхними концами, а нижние концы бревен с грохотом волочились по земле, поднимая облако пыли. Животные ровной рысцой бежали в гору. Успун-Доржу вспомнил про начавшееся строительство деревянных домов и понял, что происходит.

При заготовке строительной древесины учитывалось благосостояние каждого аала, сколько в нем волов и работников. Аал Холурааша имел одного вола. Успун-Доржу дали задание привести четыре бревна. Дарга объяснил ему, что лесина должна быть длиной около шести кулаш[2], тонкий конец бревна — узун карыш[3] и четыре илиг.

— Хоть ночуй в тайге, но к сроку бревно доставь, — сказал Кечил.

Как и все араты, Успун-Доржу выбирал в тайге дерево, валил его, очищал «добела» кору, делал отверстие на тонком конце, продевал в него аркан и тащил волоком в Бай-Оваа на своем воле. И радовался:

— Бабушка, это будет настоящая школа из брёвен!

Вот засветились свежей древесиной стены. В комнатах было светло, пахло смолой. Одна комната — жилая для учителя, другая — ученический класс. Тридцать ребят пришли в новую школу. Их родители по очереди один раз в месяц кормили всех учеников, становясь снабженцами и поварами. Готовились к этому дню очень серьезно, чтобы не ударить в грязь лицом.

Появились учебники на тувинском языке, изданные в Москве. Стали строить школы-интернаты. Успун-Доржу прочитал в газете: «Кочевой образ жизни тувинцев диктует необходимость создания школ-интернатов, где дети могли бы учиться и жить в течение всего учебного процесса...»

Однажды Балдып, вернувшись из Кызыла, где был делегатом X Великого хурала, собрал народ и сообщил:

— Началась война. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Тува на стороне Советского Союза.

— У нас с русскими одна дорога. С их помощью тувинский народ строит новую счастливую жизнь, — сказал арат Кечил.

— Отдаю своего единственного лучшего коня Красной армии. Если потребуется, отдам и жизнь для общей победы, — сказал арат Опан.

[1] До революции в Туве не было школ, а было 5000 лам, 20 монастырей, 800 шаманов. Только два процента народа знало монгольскую грамоту.

[2] Кулаш – расстояние между кончиками средних пальцев рук, вытянутых в стороны.

[3] Узун карыш – пядь.

Успун-Доржу известил своих домашних:

— Война, мама и бабушка! Дедушка Балдып перед народом речь держал. Придется нам вола отдавать фронту.

— Успун-Доржу, ты заметил наши лиственницы, прогнувшиеся от сильных ветров?

— Да, бабушка, они совсем прогнулись от ветров.

— Вот ты тоже, как лиственница, должен всё вынести, не падая.

Севил и Анай шили безрукавки, варежки для аратов, уходящих на войну. Посоветовавшись с бабушкой, Анай отдала фронту единственного сарлыка — вола. Успун-Доржу читал им газеты с новостями. Из газет они узнали о телеграмме Сталина тувинцам: «Победа советского народа в борьбе против немецко-фашистских завоевателей также является победой братского тувинского народа».

В Тоолайлыге обустроили склад. Оттуда отправлялись на фронт дары тувинцев Красной армии: шерсть, кожа, топленое масло, теплая одежда, сшитая руками женщин, пушнина, мясо.

Летом 1942 года приехали военные из Красноярска за лошадьми для Красной армии. Огромное количество коней со всех концов Тувы согнали в Кызыл. Среди них был и Эмдик-Ой. Ржание, топот, крики табунщиков были слышны за километры. 50 тысяч боевых коней араты сами перегоняли до железнодорожной станции в Абакан. Метпээ Салчак говорил, что, когда грузили коней в вагоны, каким-то образом Эмдик-Ой выскочил из вагона и поскакал в сторону Тувы. Кое-как его поймали и погрузили обратно в вагон.

Каждая семья внесла свою лепту в фонд помощи фронту. Бабушка Хорлуу безвозмездно передала 270 голов скота и много акша (денег). О ней написал поэт Степан Сарыг-оол поэму «Хорлуу кадай». Семья Салчака Ховутуевича Кара-оола отдала весь свой скот: 20 коров, 70 овец, семь лошадей. Много скота сдали и другие.

Успун-Доржу прочитал в газете «Шын»: «2 апреля 1942 года на действующий фронт был отправлен первый эшелон — 53 вагона подарков фронту, собранных населением ТНР. Для их доставки была отправлена делегация во главе с генеральным секретарем ЦК партии С.К. Тока. Она прибыла на Западный фронт 22 апреля. В глухом лесу в двухэтажном доме их тепло встретил улыбающийся легендарный полководец генерал армии Г.К. Жуков и сказал: «О-о, мы же знакомы, я помню, как вы были гостем на Великом хурале в Монголии». С. Тока вручил прославленному генералу орден республики. Г.К. Жуков рассказал гостям об обороне Москвы и высоко оценил материальную помощь тувинского народа Красной армии».

Не только молодые тувинцы, но и тувинки просились на фронт добровольцами, но правительство СССР в 1941 году не дало согласия на участие малочисленного народа ТНР в войне. Да ведь к тому же многие тувинцы еще не знали русского языка.

До войны монгун-тайгинцы получали зерно в Хемчике. Теперь там всё отправляли на фронт. Пришлось самим выращивать зерновые на скудных почвах. Ведь кругом камни, скалы, песок — «лунный пейзаж». Летом даже в июле может выпасть снег. Ветры, дожди, можно месяцами не видеть солнца. Но жить надо. Весной 1943 года араты сумонов Каргы, Моген-Бурен, Хурен-Тайга, объединившись, решили посеять ячменя на 200 гектарах в степи Чеди-Тей (Семь горок). Распахали и посеяли.

Сторожить урожай назначили мастера горлового пения хоомейжи Кара-Сала Хурен-оола. Он поставил свою кибитку поближе к полю. Каждое утро восходил на горки Чеди-Тей, осматривался, прогонял блудную скотину, верблюдов от посевов, охранял гнездившихся поблизости даг кастары — горных красных гусей, пел аратам и соседям-монголам свой хоомей — горловые эпические песни, рассказывал сказки.

В то лето особенно хорошо поработали поливальщики, и к концу лета, по сравнению с 1942 годом, вырос отличный для этих мест урожай ячменя. До уборки оставались считанные дни. Вдруг однажды вечером в конце августа со стороны Каргы и Мугура надвинулась тёмная туча, подул сильный ветер, подняв вдоль степи густую пыльную завесу, послышался громкий шорох ударявшихся о землю градин, словно беспрестанно гремел гром. Как раз в это время подъехал к Чеди-Тею Успун-Доржу из Бай-Оваа, чтобы посмотреть выросший ячмень, и увидел, как за считанные минуты весь урожай был уничтожен градом. Остались лишь сломанные стебельки.

Хурен-оол, как сумасшедший, бегал по полю и рыдал, кричал в небеса: «Ах, что вы делаете? Как жалко моего зерна! Что мне, подол подставлять или полы расправлять, чтобы спасти урожай?» С чем можно сравнить глубину его горя? Пожалуй, ни с чем. Да, слепа природа и бывает так глупа, что не зря Хурен-оол поднял свой голос на небеса. Успун-Доржу подумал, что Хурен-оол не только красиво пел, но и умел гневно кричать, когда у него душа болела.

Погоревав вместе с Хурен-оолом, Успун-Доржу поехал в Мугур-Аксы. С горы

узрел за поселком широкую долину Каргы и стену хребта Цаган-Шибету, отделяющую Монгун-Тайгу от бассейна Хемчика. Сам поселок Мугур-Аксы был расположен на просторной степной площадке на мысу, образованном слиянием рек Мугура и Каргы. Проезжая мимо Кара-Дага, Успун-Доржу увидел бревенчатые домики с маленькими окнами, раскиданные по пустынной степи под необъятным небосводом. Приблизившись, заметил, что домики свободно разбросаны вокруг центральной площади, где находилось районное отделение связи с громадной деревянной мачтой радиостанции. В поселке не было улиц и между домами не было заборов. В центре — школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт и районные учреждения. «Ого! Какой поселок! Ведь в 1936 году здесь был только майгын-бажын — торговая палатка», — подумал Успун-Доржу.

Послышался сигнал сирены. Площадь заполнила молодежь.

— Смирно! — раздалась команда.

Оказалось, это военные учения. Успун-Доржу с интересом наблюдал и после занятий подошел к командиру с вопросом:

— Можно мне учиться с вами военному делу?

— Присоединяйся с завтрашнего дня.

Успун-Доржу окликнула красивая смуглянка Сенмит: черные кудрявые волосы, румяные щеки, блестящие карие глаза под ровными дугами черных бровей. Она еще красивее становилась, когда улыбалась, обнажив белые зубы. Сенмит носила летнюю девичью одежду: зеленый шыва тон (летний халат), тюбетейкообразную шапку довурзак, обувь кадыг идик.

— Из Мугура сестру Сенмит помнишь? — спросила она.

— Такую красавицу-сестру я запомнил. Ты дочь моей бабушки Севил из рода Каксаан-Иргитов?

— Да. Значит, запомнил.

— У тебя очень красивая одежда. Сама шьёшь?

— Этот шыва тон сама шила, ношу весной и летом как повседневную одежду. Чтобы не показывать швы, обязательно пришиваю подкладочный материал.

Когда Успун-Доржу присмотрелся, то заметил, что подкладка халата пришита к основе вертикальными мелкими стежками, которые с трудом можно было разглядеть.

— Мама и бабушка тоже шьют одежду. Но я не обращал внимания на такие тонкости шитья.

— Успун-Доржу, шыва тон носят и женщины, и мужчины, и дети, и пожилые люди. Так что надо обращать внимание на тонкости шитья и на цвет материала.

— Говорят, что скоро запретят нашу традиционную одежду.

— Тогда что будем надевать?

— Орус (русскую) одежду будешь шить.

Выехав из поселка Мугур-Аксы, к обеду Успун-Доржу приблизился к Ак-Адыру. Ак-Адыр — это река, берущая начало с ледников Монгун-Тайги, бегущая между двумя высочайшими хребтами, впадающая в земли Монголии. Летом река становится совсем мелкой. Из-за отсутствия деревьев скотоводы разжигают костёр кизяком и инек мыяа — сухими коровьими «лепёшками». У подножия гор из-за множества норок ступить некуда, а сами тарбаганы спокойно сидят, как ступки. Скот за лето становится жирным, упитанным. Араты четвёртого арбана сумона Хурен-Тайга проводили летний нагул скота в местечках Ак-Адыр, Керзи, Харагайты.

Подъехав к Бугуту-скале, Успун-Доржу очень удивился отсутствию двух юрт, в которые заходил проездом в Мугур-Аксы. Приехал в аал семьи Сорунзан и Чызыкай в отрогах гор Шулуусту и там услышал о случившейся беде:

— Позавчера вечером в сумерках, — рассказывал старик Сорунзан, — со стороны хребта Кара-Хажыы налетел шквальный ветер со штормовым дождем. И вдруг резко поднялись воды двух маленьких речушек — Кошкарлыг, Бырааты. По руслу реки Ак-Адыр на летнем стойбище находились три аала с восьмью юртами. Так вот, устремившиеся с гор вниз водные массы двух речушек, объединившись в русле Ак-Адыра, образовали сплошную водную стену и шквалом обрушились на мирно спавшие юрты. Водная масса, говорят, выглядела как огромный жёлтый шар, скатившийся с такой скоростью, что даже от одной его ударной воздушной волны перехватывало дыхание. Увидев с высокой местности плывущие по воде горящие ещё керосиновые лампы из юрт, я побежал туда.

Включился в разговор Монге, племянник Сорунзана:

— Я выбежал из юрты и увидел, как в пригорок, где пряталась скотина, впилась молния. Раздался оглушительный треск. Запахло кремнёвыми искрами. Гроза разрасталась, везде гремело и сверкало. Ливень хлестал, усиливаясь. Я бросился к пригорку. Оглянулся назад: волны, как тёмные верблюды с большими тюками, унесли мои юрты. Это было страшно по-настоящему. Даже дышать стало нечем, так густо

лилась вода. Меня звали жена, родители: «Монге, Монге!» Я до сих пор слышу их крики, плач дочери Сайдай. Ринулся к реке. Долго бежал. Внезапно дождь перестал лить. Иду по течению реки. Волна смыла и юрту Шожалов. Дед, баба, старший сын Санаа стояли около кошары и плакали: «11-летнего сына Дадарык река унесла». Вместе с ними продолжил искать своих близких. У валуна на берегу заметил хана — решетки юрты. Чиркнул спичкой, а там лежит моя жена. Поднял её, уже мёртвую... — заплакал Монге.

— Тогда всю ночь люди искали родных, — произнес Сорунзан.

— Затем нашел родителей, — продолжил свой рассказ Монге. — А дочери нет. Вдруг услышал, вроде кто-то позвал меня с пригорка. Посмотрев вверх, заметил дядю Сорунзана, держащего ребёнка. Поднялся, хватаясь за скалы, спрашиваю: «Жива?» Дочь жива. Обнял её, поцеловал, а она начала сосать мой язык. Только тогда я успокоился. Дядя позвал нас к себе, вот так и живем теперь здесь.

— Такой счастливый ребенок! Как не стукнулась о валуны? Ведь по течению проплыла более 30 километров от стоянки своей юрты, — удивлялся Сорунзан. — У валуна в кошме она лежала. Нашел ее, услышав плач.

Наутро к месту катастрофы прискакали на лошадях заместитель сумонной управы Иргит Седип и строитель Кара-Сал Сандык. Увидев страшное зрелище на берегу Ак-Адыр, ужаснулись, ведь их юрты находятся за горой, на берегу реки Керзи. Поднявшись на гору, заставляли друг друга: «Сначала смотри ты!», «Нет, сначала ты!»

Волна смела с лица земли шесть юрт с людьми, всю скотину, ягнят, телят, коня с коновязи. Погибло восемь человек. По руслу рек погибло огромное количество сурков, сусликов и другой живности. Похоронили останки погибших на ровной, солнечной возвышенности недалеко от этих мест, а пострадавшим оказали посильную помощь в приобретении жилища, утвари, одежды и скота. Тувинская поговорка гласит: «Народ — одеяло». Люди не оставили в беде пострадавших: приютили, согрели, укрыли от беды.

В каждой юрте читали газеты. Успун-Доржу по просьбе близких вслух читает газету «Шын»: «16 марта 1943 года делегация Тувы на подмосковном аэродроме «Чкаловский» передала командиру 133-го истребительного авиационного полка ВВС Красной армии майору Т.Ф. Амельченко 10 истребителей Як-7Б, построенных на средства тувинского народа. В августе 1943 года — пятый эшелон из 52 вагонов. Всего фронту доставлено 369 вагонов подарков. И.В. Сталин направил пять телеграмм с выражением благодарности тувинскому народу. Саны-Шири Ооржак был в составе делегации из Тувы в Советский Союз».

Бывший батрак, плохо говорящий по-русски арат Саны-Шири Ооржак отдал фронту 15 овец и коз, трех лошадей, вола. Его наградили Орденом Республики и поручили сопровождать «кызыл коъш» — «красный обоз»: подарки для фронта. Сопровождать «красные обозы» до фронта доверяли самым лучшим. Этого права из Монгун-Тайги удостоился передовой скотовод Саны-Шири Ооржак. О нём написал поэму «Саны-Моге» (изменив имя Саны-Шири на Саны-Моге) народный писатель Тувы Степан Сарыг-оол. Успун-Доржу наизусть знал эту поэму о тяжелой дореволюционной жизни мальчика-батрака Саны-Шири, о переменах в его жизни благодаря Октябрьской революции, о перековке арата в передового скотовода, в борца с пережитками прошлого. В детстве Саны-Шири видел горе и жестокость баев, его молодое сердце жаждало лучшей доли. Прежняя жизнь породила в нем ненависть и отвращение к богатеям.

Успун-Доржу посчастливилось побывать на встрече с Саны-Шири Ооржаком. Он смотрел на опалённое знойным солнцем и обожжённое морозами лицо скотовода, на огрубевшие в труде его руки и думал, что от самого сердца тувинского народа написаны строки в поэме «Саны-Моге». Запомнил его вдохновенный рассказ с прибаутками:

— Возглавлял нашу делегацию Салчак Тока Калбак-Хорекович. Я очень обрадовался чабану из Дзун-Хемчикского района Ынаажык, с которым познакомился на Хурале животноводов. Он лучше меня говорил по-русски. По совету Салчака Тока я и Ынаажык надели фуражки, голубого и темно-синего цвета ховенниг тон (простеганная одежда на вате). По росту, по одежде мы были похожи, из-за чего Ынаажыку дали прозвище «Ынаа-Шири», а мне — «Саны-Шири». О, если бы вы увидели эту железную дорогу! Днём и ночью поезд бежит, временами кричит-воет. Иногда останавливается, но выйти из вагона я очень боялся, так как около поезда в толпе можно потеряться. Когда вышел один наш русский сосед, я испугался, но он быстро возвратился с горячими грибными пирожками. Когда мы приехали в Москву, нас тепло встретили работники посольства Тувы, русские начальники и военные люди, довезли нас до многоэтажного здания гостиницы. Там везде стоят такие высокие дома, как горы в Тоолайлыге и Барлык-Бажы. И москвичи, как я заметил, не ходят спокойно, а бегают. Не посмотрев Москву

как следует, мы срочно поехали в действующую 6-ю армию Западного фронта. По пути видели разрушенные города и посёлки. А сколько людей умерло! Один Бог знает. Я увидел столько горя, что мне хочется сказать людям: не надо войны. Как хорошо, что в нашей Туве всё спокойно, никакой войны нет. Пусть так и будет! Мы приехали в военную часть, стоявшую в лесу. Перед строем солдат слово взял сначала командир, затем С. Тока, в конце речи воскликнул: «Ура!» Солдаты подхватили: «Ура-а!» Когда вручали подарки солдатам, надо было по-русски что-то сказать, а я не умею по-русски, сказал какому-то бойцу по-тувински: «Эрес-дидим дайылдаш, оглум, тиилелге дээш бурунгаар!» (Борись отважно, сынок, за победу вперёд!) Он как будто понял мои слова, руку пожал и обнял меня. О, как крепко обнял он меня! Бедный мой мальчик, чей-то сын. Сейчас, может быть. жив, а может быть, убит. Потом нам показывали, как стреляют из пушки. «От нашего имени этой пулей будут стрелять», — объявил Тока и на длинной пуле пушки вдоль дарга написал по-тувински: «Смерть немецким фашистам!» «Закройте наглухо уши, откройте рты!» — перевел Тока нам слова русского командира, после чего пушка выстрелила. Земля и небо загремели, такой грохот. Там, где упала пуля пушки, ничего живого не останется, наверное.

Успун-Доржу вместе с Бавуу и Маадыр-оолом решил пойти на войну добровольцем, но ему отказали как сыну шамана-контры. Бавуу и Маадыр-оола ожидали решения после проверки. Они дети бедных аратов, выросшие в юртах, в семьях пастухов. Их заявления отправили в правительство — в Кызыл. Осенью пришел положительный ответ. Их родители даже не знали, что сыновья просились на фронт.

— Едем бить фашистов, гадов! А то они и на Туву нападут, — сообщил родным Маадыр-оол.

— Маадыр-оол, мой и твой конь Эмдик-Ой на фронте с начала войны. Если встретишь коня-контру там, то передай ему мой привет, — сказал другу Успун-Доржу.

— Если встречусь с ним, обязательно твой привет передам.

Родственники отобрали для Бавуу и Маадыр-оола лучших коней. Окурили артышом-можжевельником добровольцев и коней.

— Бейте фашистов и возвращайтесь с победой!

Бавуу Салчак и Маадыр-оол отправились на фронт из Кызыла 1 сентября 1943 года. Из них двоих с войны вернулся Бавуу и рассказывал землякам:

«29 января 1944 года на подступах к украинскому селу Деражно на Волыни тувинский гвардейский полк получил приказ взять этот населенный пункт. 31 января в четыре часа утра мы ворвались в Деражно на своих тувинских лошадях. Тогда погибли двое — Тюлюш Сенгин и Монгуш Сат. Пленный немецкий офицер на допросе сказал, что тувинцев немцы называют «шварце тод», что значит «черная смерть», и очень боятся солдат из «дикой дивизии», прибывшей из Сибири и состоящей из свирепых азиатов. Незадолго до этого в наш 31-й кавалерийский полк были зачислены десять девушек-добровольцев. Капитан Кечил-оол доложил командиру полка, что все девушки обучены стрельбе и джигитовке. Комполка Ефим Абрамович Попов прошел перед строем и, удивленно хмыкнув, остановился перед хрупким подростком: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Юная тувинка подтянулась, но смущенно молчала. «Она плохо знает русский», — объяснил Кечил-оол. «Ну и ну! — Попов глянул на заместителя. — Её и всех барышень — на кухню. У меня кавалерийский полк». Кечил-оол перевел слова командира. Тувинка птицей взлетела на коня и пустила его с места в галоп. Перемахнула придорожную канаву, выхватила клинок, взмахнула, и срубленные с кустов ветки уткнулись в снег. Бросив поводья, сорвала с плеча карабин, звонко прокричала по-тувински: «Видите шишку на вершине сосны?» — перевел Кечил-оол. Прогремел выстрел. Шишка разлетелась на мелкие щепки. Тувинка Ооржак Байлак вернулась в строй. «Все у вас такие, капитан?» — командир Попов не скрывал восхищения. «Все, товарищ гвардии полковник. Дети гор и степей, с детства в седле». — «Приказ отменяю! Эскадрон тувинских добровольцев в полном составе зачислить в полк»... Маадыр-оол воевал храбро. Было в действиях Маадыр-оола на поле боя что-то шаманское, от ритуала камлания. Ведь он охотник, а его самая старшая сестра Хандынмаа — шаманка. Поверх сапог надевал бродни, сплетенные из конского волоса, чтобы ступать бесшумно. Умел быть незаметным, маскироваться, сливаться с окружающим миром. При освобождении города Ровно Маадыр-оол был ранен, но поля боя не покинул и принял к исполнению приказ: «Восстановить прерванную связь!» Маадыр-оол с добровольцем Хомушку Эртинеевичем Чудуруком успели соединить провода одной линии и принялись за вторую, когда рядом взорвалась мина. После сражения нашли Маадыр-оола и с трудом отсоединили пальцы его рук, намертво вцепившиеся в провода. Сослуживцы и жители Ровно говорили: «Какой герой тувинец! Низкий поклон и вечная память великому сыну Тувы!» Маадыр-оол с почестями похоронен на кладбище Ровно. Он вспоминал родную Монгун-Тайгу,

свое заветное местечко, где любил ловить хариусов. Вспоминал, как играл с сестрами Дугер, Тас-Уруг во время Шагаа...»

Как-то летом 1944 года в Монгун-Тайге распространился слух: в Кызыле летает в воздухе ужар-хеме — летающая лодка, самолет. Успун-Доржу горячо желал прикоснуться к сказке, посмотреть на «лодку», парящую в небе, как птица.

— Человек не Бог, как он может подняться в воздух? — люди задавали друг другу вопросы. — Из чего сделана эта летающая лодка?

— Наверное, она создана из бумаги, железо ведь тяжелее воздуха, — кто-то отвечал.

— Сын Мургуулчу Хунан-оол отправился на курсы летчиков еще в 1938 году. Может, он в Монгун-Тайгу прилетит на ужар-хеме?

«Летающая лодка» летела от перевала Саадак, летела низко над землей, и Успун-Доржу увидел летчика.

— Это прилетел Хунан-оол! Наш Хунан-оол! — закричали люди.

Самолет сделал круг над поселком Мугур-Аксы и приземлился. Народ повалил на поле к месту посадки. Оказалось, что это прилетел действительно Хунан-оол. Из маленького двухместного винтомоторного самолета вылез Кара-Сал Мургуулчу оглу Хунан-оол и принялся забивать в землю колья, а потом, как скакуна к коновязи, привязал к ним самолет. Успун-Доржу удивленно смотрел на молодого и крепкого парня, который сошел с «летающей лодки» и, как обычный человек, ходил по земле.

— Экии! (Здравствуйте!) Как долетел? — с летчиком здоровались люди, трогали руками «летающую лодку».

— Экии! Вот ужар-хеме — самолёт! — улыбался Хунан-оол.

— Как на перевале Саадак?

— На перевале, как всегда, погода непостоянная. Когда ветер начал кидать моего небесного коня из стороны в сторону, он начал клевать носом вниз — еле-еле выровнял.

Заметив, что крылья самолета немного потерты, араты в догадку говорили:

— Наверное, он в смерти побывал.

В 1938 году правительство Тувы приняло решение открыть курсы летчиков в Кызыле при Тувинском авиаотряде, и со всех концов Тувы по призыву ревсомола стали набирать молодежь по конкурсу на курсы. Среди ста претендентов был и Хунан-оол. Отбор проводили командир Тувинского авиаотряда майор Василий Дагбаевич Кидиспей и первый секретарь Тувинского революционного союза молодежи Иргит Ужун оглу Бадра. Хунан-оол прошел конкурс с отметкой «отлично».

Около самолета Успун-Доржу увидел сестру Сенмита с молодым человеком.

— Успун-Доржу, познакомься с моим женихом.

— Я — Шомбул Кыргыс Сундуевич, зоотехник.

— Я — Успун-Доржу Холурааш оглу Иргит. Скажите, друзья, из какого рода Хунан-оол? — спросил Успун-Доржу.

— Деда Хунан-оола по отцу звали Хонай, и он жил в верховьях Барлыка. А его бабушка Допураш Чапаевна Ооржак — родная старшая сестра знаменитого в Туве сказителя Чанчы-Хоо Ооржака, — ответила Сенмит. — Хонай и Допураш произвели на свет девять сыновей и одну дочку. Мургуулчу был четвертым сыном. Его братья — Шагаанчап, Хорек (отец Дамбы Бурбуй-оола), Хурен-оол Кара-Сал по кличке Хертеш-Кара, удививший монголов-дорбетов своим горловым пением. В такой дружной и большой семье родился и вырос Хунан-оол.

Шомбул был одет в шаровары, свитер, черный пиджак и серую вязаную шапку. На вид ему было лет 30. У него был прямой открытый взгляд, светившийся умом и добротой. Со своими светло-каштановыми волосами, с сине-голубыми глазами был больше похож на русского, чем на тувинца. Среднего роста, сухощавый, жилистый, без единого грамма лишнего жира. Посадка его головы и неторопливые, плавные движения говорили о чувстве собственного достоинства. Мягкая улыбка Шомбула и вся манера держать себя внушали к нему уважение. Успун-Доржу он сразу понравился.

Молодая пара пригласила его к себе в гости. Сына «контры» не каждый пригласит.

Занимали они маленькую комнату в бараке. В комнате кровать, стол и две табуретки. После ужина за пиалой душистого крепкого чая Шомбул поведал историю своей жизни в Монгун-Тайге. Он был сыном неграмотного арата-бедняка, учился в чайлагской школе в Тарлаге Пий-Хемского района. В школе Шомбул научился держать в руке карандаш, причесывать волосы, мыться с мылом, чистить зубы, освоил основы грамоты, арифметики, географии, истории и естествознания, правила поведения в быту и в общежитии. После школы поступил в сельскохозяйственное училище в городе Ойрот-Тура (ныне Горноалтайск). Получил специальность зоотехника и сам выбрал для работы этот отдаленный животноводческий район, где его знания были нужнее. Теперь хочет поступить институт, стать дипломированным специалистом в

своей профессии, которую считает самой интересной на свете. А еще он альпинист. Обучаясь в Ойрот-Туре, в 1938 году в команде советских альпинистов покорил высочайшую вершину Алтая — гору Кадын-Башы Белуха, 4506 метров.

— А на Монгун-Тайгу не поднимался?

— Много раз, когда ездил в командировки по кочевьям, я смотрел с разных сторон на эту гору. Есть поверье, что каждого, кто на нее взойдет, духи сейчас же сбросят в пропасть. Но однажды я с двумя товарищами, одевшись потеплее, отправились к Монгун-Тайге, чтобы на нее взобраться. Оставили коней у подножья и полезли по скалам, а как добрались до снега, увидели, что не сможем одолеть гору. Ноги в сапогах скользили по снегу, одежда была слишком тяжелой, метель слепила глаза — не видно было, куда идти. Пришлось вернуться. Старики смеялись над нами, говорили, это духи нас с горы согнали.

— Ничего, в другой раз подниметесь. Когда я был маленьким, нас, ребят, старшие пугали разными духами и сами их боялись не меньше, — вспомнил Успун-Доржу, выслушав рассказ Кыргыса про поверье, связанное с горой «Страшного медведя», как раньше Монгун-Тайгу звали. — Самым страшным из духов считался странствующий черт. Говорили, он живет в песчаных местах и охотится на людей. Мужчине черт представляется красавицей, женщине — красавцем. Спереди у него обыкновенный вид, а сзади — видны все внутренности. По поверью, странствующий черт поселяется внутри человека, овладев им, и доводит до гибели.

Вернувшись домой, Успун-Доржу прочитал в газете «Шын» указ Президиума Верховного совета СССР о принятии Танну-Тувинской Народной Республики в состав СССР. Это событие стало всенародным праздником. Араты стали гражданами великого государства. Газета «Шын» напечатала стихотворение Степана Сарыг-оола «Я — гражданин Советского Союза». Алексей Чыргал-оол написал музыку к стихам, и вся Советская Тува запела эту песню. Звучала она и в Монгун-Тайге:

Пусть слышат все: и недруг наш, и друг —
Тувинца песнь свободную, как сокол.
Идем мы, глядя с гордостью вокруг,
Впервые вскинув голову высоко.

Во тьме мы жили, словно взаперти,
Но сброшен гнёт — постыдная обуза,
И горд любой из нас произнести:
«Я — гражданин Советского Союза!»

Теперь мы стали частью той страны,
Той солнечной, незыблемой державы,
Которой вражьи козни не страшны,
Где всем дано на труд и счастье право.

Закон советский нас теперь хранит,
Закон, где слово каждое священно.
Тверды в своем единстве, как гранит,
За партией идем мы неизменно.

Мы с ней дойдем до сказочных высот,
Где солнце незакатное сияет...
И нет певца счастливее, чем тот,
Кто этот путь орлиный воспевает!

Вышло постановление Совета министров Российской Федерации о мерах по содействию социально-экономическому развитию Тувинской автономной области. В нем указано: во всех районных центрах откроются средние школы, а в селах семилетки. Учителей для новых школ и врачей для больниц не хватало, и потому со всех концов Советского Союза по приглашению или по распределению прибыли в Туву педагоги и врачи, а также специалисты из сфер культуры, торговли, финансов.

В Мугур-Аксы приехала фельдшер Феодосия Федоровна, по национальности хакаска, и заведовала районной амбулаторией. Ее сарлычиха паслась вместе с аратским стадом и стояла в общем загоне. Каждое утро Феодосия Федоровна ходила ее доить.

Заведующим отделением связи в Мугур-Аксы был специалист русской национальности. Женщины-активистки Мугур-Аксы во главе с инструктором райкома партии Севила Чымба обустроили в поселке ясли.

Коренное население начало понимать и говорить по-русски.

Тувинцы с нетерпением ждали конца войны и земляков с фронта. По утрам на занятиях по военному делу пели песню: *«Вставай, страна огромная...»* Все пели с таким чувством и верой, что эта песня поможет победить врага и приблизит конец войны.

И вот настал май 1945 года. Радио, телефона тогда в сумоне Моген-Бурен не было. В солнечный теплый день прискакал нарочный верхом на лошади из райцентра Мугур-Аксы, размахивал флагом и кричал: «Ура! Победа!» Все побежали за ним и тоже кричали: «Ура! Война кончилась, война кончилась!» Сколько было радости!

Вечером люди жгли на поляне костры, варили мясо, хан — бухгалтер Настык-Доржу — специально выделил для такого дня барана. Пели от души. Всех ребятишек по очереди катали на коне. Тем, кто лучше споет, дарили подарки. 9 мая 1945 года остался для Успун-Доржу самым незабываемым днем в жизни.

Картина 15. 25-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ

После Великой Отечественной войны в Туве началась коллективизация. Араты спорили:

— Что будет, если я не стану колхозником и не сдам скот в колхоз?

— Все равно заберут, а тебя как противника советской власти посадят в тюрьму.

— Не поеду я ни в какой колхоз, пропади он пропадом! Неизвестно еще, что это такое.

— Постой-постой, ты что это говоришь? Все только и твердят про колхоз. А ты... Лучше идти в колхоз...

Скот был обобществлен. Те араты, кому нечего было сдать в «общий котел», все равно становились колхозниками. После создания колхоза араты спорили о том, где лучше строить центральную усадьбу, кто будет строить дома. Прошло немного времени, и на пустырях, где не было ни кола, ни двора, запели пилы, летели щепки, весело звенели топоры, пахло досками, стружкой, запах смолы устойчиво стоял в воздухе. Каждый мужчина становился плотником. Строительный лес свозили конной и воловьей тягой. Как и все жители сумона Моген-Бурен, Успун-Доржу тоже помогал на стройке. В готовые дома заселялись араты, прикочевавшие из верховий рек.

— Всю жизнь жил в юрте, пас скот в горах. Жил самостоятельно, ни от кого не зависел. И дальше буду жить в юрте, дом мне не нужен, — сказал арат Опан, которого заставили переехать из юрты в дом.

«Конечно, — думал Успун-Доржу, — старика Опана можно понять. Ведь и мне бабушка говорила: не оставляй землю предков!» Дело в том, что каждый род жил целым аалом где-нибудь на берегу реки или под горой, на зимнике или на чайлаге — летней стоянке. Называлось это место именем знаменитого предка — «стойбище Иргитов», «зимник Конгура». Место принадлежало одному этому роду, в течение многих десятилетий несколько поколений жили только там. Потому и говорили: «земля предков». Народ пошел в колхозы, но понятие «земли предков» осталось. Некоторые араты, не желая оставлять землю предков, откладывали переезд и переход на оседлую жизнь. Были и такие, как Опан, которые вовсе отказывались оставлять насиженные места. Таких силой заставляли вселяться в дома.

Построили баню. Успун-Доржу обрадовался — он по опыту знал, что такое русская баня. На общем собрании колхоза приняли постановление, обязывающее каждого жителя ходить в баню. Кто не будет, того накажут. Создали комиссию во главе с председателем женсовета Борбак-кыс. Она должна контролировать исполнение решения.

Старик Чуглур наотрез отказался ходить в баню:

— Что это я буду перед всем миром голый ходить?

Дарга Борбак-кыс приняла жесткие меры: два дюжих парня привели деда в баню. Там как раз мылся Успун-Доржу, который стал объяснять деду:

— Не бойся, дедушка. После бани такая благодать появится! Если часто будешь ходить, то твои старые кости вообще не будут болеть.

— Правда? — заинтересовался дед. — У меня постоянно болят спина и шея.

И стал дед Чуглур каждое воскресенье исправно ходить в баню. Вдруг в бане испортилась печь, и долго не получалось её наладить. Прошел месяц, другой. Успун-Доржу предложил деду Чуглуру обратиться к даргаларам. Дед явился к председателю и поставил вопрос ребром:

— Почему вы закрыли баню? Не схожу в баню, не попарюсь — болит спина, шея. Скорее открывайте!

В средение лета 1946 года Успун-Доржу с дядей Балдыпом перегнали отару овец

высоко в горы. Там прохладно, овцы спокойно нагуливали жир.

О, как переменчива погода Монгун-Тайги! Утром горит яркое и спокойное солнце, всё затоплено солнечным половодьем, даже в тени воздух кажется золотистым. Кругом свежо, тихо, ласково. К обеду подул ветер, заворочался гром, хотя половина неба затоплена солнцем. Небо потемнело. Хлынул дождь. Могучий гром летал грозно и широко во все стороны из туч. Жёлтые молнии далеко вокруг освещали землю. Но вот гроза ушла на север. После обеда солнце снова улыбается, а небо ясное-ясное, синеголубое. Успун-Доржу вспомнил, как отец говорил: «Как прекрасен этот наш мир!»

Подошла очередь Успун-Доржу пасти овец. Овцы спокойно паслись у подножия горы. Звучали голоса певчих птиц, цвело множество трав, цветов. Все вокруг вызывало переживания, составляющие чувство родины.

Вдруг с высокой горы вниз скатился камень. Успун-Доржу почувствовал, что причиной какой-то зверь. Посматривая на отару, стал спускаться. Овцы чего-то испугались и побежали. Успун-Доржу побежал за ними, оглядываясь, и заметил красивого зверя с пятнами на боку. Увидев человека, зверь побежал на гору, там разлегся и посматривал вокруг. На месте, где паслись овцы, неподвижно лежала одна овца. Ружья у Успун-Доржу не было, и он быстро пригнал отару в аал.

— Какой-то большой кот убил нашу овцу, забрался повыше и стережет свою добычу.

Балдып вскочил на коня и поскакал туда. Вернувшись, сообщил, что зверь наелся и убежал. Зверя зовут ирбиш (он же ирбис: снежный барс).

— Ирбиш перебежал дорогу на левую сторону или на правую? — спросили Анай и бабушка почти одновременно.

— На левую, — ответил Успун-Доржу.

— Тебе повстречался очень редкий зверь, который не попадается даже заядлым охотникам. Радуйся, значит, сопутствует тебе удача, успех в жизни, — прищурив мудрые глаза, сказала Севил.

— Если перебежал ирбиш на левую сторону — это предзнаменование большой удачи, сынок, — сказала Анай.

В августе 1946 года Успун-Доржу услышал об альпинистах, прилетевших на самолете ЛИ-2 в Мугур-Аксы, чтобы совершить восхождение на Монгун-Тайгу. Успун-Доржу отправился из Моген-Бурена в Мугур-Аксы. Подъезжая к поселку, Успун-Доржу увидел на берегу Мугура лагерь. По другому берегу реки тянулась широкая урема, и среди лиственниц, прямо напротив лагеря, стояли две юрты и виднелись загоны с сарлыками. Дальше открывался вид на окрестные холмы и лиственничные рощи по берегам Мугура у места его впадения в более крупную реку Каргы, несущую свои воды в озеро Нуурук-Хол в Монголии. За поселком Мугур-Аксы виднелась широкая долина Каргы и стена хребта Цаган-Шибэту, отделяющая Монгун-Тайгу от бассейна Хемчика. Обилие света и открытые дали внушали покой и радость. Защищенный горами с севера, запада и юга, этот район получает только остатки обильных дождей, приносимых ветрами с запада. Здесь лето наступает рано, и к августу трава, покрывающая долины и нижние склоны гор, выгорает и блекнет.

Жители Мугур-Аксы готовились к 25-летнему юбилею Танну-Тувинской Народной Республики, украшали дома красными полотнищами с лозунгами: «Да здравствует наша родина — великий и могучий Советский Союз!», «Слава нашему старшему брату — русскому народу!», «Да здравствует вождь советского народа — великий Сталин!», «Достойно встретим 25-летнюю годовщину Тувинской Народной Республики», «С праздником!» На всех домах развевались красные флаги.

Издали Успун-Доржу увидел Шомбула Кыргыса, одетого по-городскому — в черный костюм и белую рубашку с воротничком и галстуком.

— Здравствуй, Успун-Доржу! Как вовремя ты явился, — обрадовался Кыргыс. — Завтра у нас праздник. А сейчас пойдем к нам.

Они подошли не к бараку, где раньше семья занимала маленькую комнату, а к домику из крупных бревен с маленькой дверью из грубо отесанных досок. Внутри дом оказался просторным. В обитом клеенкой углу около входа — рукомойник над круглым тазиком на табуретке. Через окошки, завешанные ситцевыми занавесками, сочился свет. Посередине стояла кирпичная беленая печка. У правого от двери окна стоял стол, покрытый зеленой клеенкой, рядом два стула. На спинках стульев висели рубашка, полотенце, детская одежда. На стенах — занавески, прикрывающие полки с посудой. У левого окна — широкая железная кровать, покрытая сверху стеганым ватным одеялом, две подушки в голубых наволочках, шкаф для верхней одежды и комод. Пол покрашен коричневой краской.

— Расскажи о восхождении, — попросил Успун-Доржу, едва они сели за стол.

— Из Москвы приехали восемь русских альпинистов, в Кызыле к ним присоеди-

нились трое тувинцев, в том числе я. Старики говорили: «Прощайтесь с Шомбулом Кыргысом! Больше живым его не увидим, уж на этот-то раз духи Кыргыса не отпустят — сбросят в пропасть». Но, как видишь, восхождение прошло благополучно. Русские альпинисты научили нас многим полезным вещам. На особо крутых местах мы вырубали в плотном снегу ступеньки. Всё время подстраховывали друг друга. Поскользнувшийся на крутом склоне мог сорваться в пропасть. Внизу сквозь клубящиеся облака чернели огромные, бездонные трещины. Чем выше мы поднимались, тем труднее было дышать. Все чаще и чаще приходилось останавливаться, чтоб дыхание пришло в норму. От ледяного ветра замерзали руки и ноги, и мы согревались в движении. Были отморожения, носовые кровотечения, но мы не сдавались. В борьбе с высотой и стихией терялось представление о времени — начинало казаться, что мы идем много часов, даже дней и что до вершины еще очень далеко. Но так только казалось. Бурану не удалось сбить нас с пути. Направление на вершину было намечено точно. Через десять часов после выхода из лагеря, шаг за шагом преодолевая тяжелый подъем, экспедиция достигла, наконец, вершины.

Это первое восхождение на вершину горы Монгун-Тайга — высочайшую вершину Тувы и всей Восточной Сибири — совершено 14 августа 1946 года.

У дальних холмов росло и ширилось облако пыли. Оно накатывалось на поселок широким фронтом, и вскоре можно было различить плотную массу скачущих коней. Живая лавина приближалась, уже видны были отдельные всадники. Их маленькие горячие кони, шедшие иноходью, в своем стремительном беге, казалось, расстилались по земле, хвостами мели степь. Всадники скакали развернутым строем — мужчины, женщины, старики, мальчики в разноцветных халатах и шапках.

— Это едут гости на праздник национального освобождения, — пояснил Кыргыс. — Летом наш поселок совсем небольшой, но осенью сюда приезжают с летних стойбищ на зимовку араты и ставят вокруг домов сотни юрт, тогда Мугур-Аксы вырастает в несколько раз. За сегодня и завтра он тоже вырастет.

Первая шеренга выстроилась полукругом на поселковой площади, затем вторая. За ними ехали пожилые женщины, старухи и дети, ведя в поводу вьючных лошадей, нагруженных разобранными юртами, ширтеками — войлочными коврами, посудой и провиантом. Со всех сторон в поселок вливались группы всадников-аратов, а на горизонте появлялись новые облачка пыли из-под копыт коней.

Мугур-Аксы наполнился пестрой, оживленной толпой. Араты, приехавшие из отдаленных мест, разгружали вьюки. Около домов и в лиственничной роще у реки вырастали юрты, к безоблачному небу поднимались десятки струек дыма. В толпе встречались старые друзья, сновали ребятишки, привлеченные яркими лозунгами на домах, пестрели красные, голубые, желтые, зеленые праздничные халаты. Для москвичей-альпинистов это было так интересно, что стали различать типы аратов:

— Вот эти араты-гиганты со скуластыми лицами явно имеют примесь монгольской крови.

— А у этих аратов тюркский тип лица. Они похожи на жителей центральных и восточных районов области.

На открытых площадках, заменявших в Мугур-Аксы улицы, было столько интересных костюмов, столько гордых лиц, обветренных и загорелых, что фотоаппараты москвичей, особенно «ФЭД» фотокорреспондента Валентина Соболева, щелкали беспрерывно.

17 августа праздник начался многолюдным митингом на стадионе Мугур-Аксы, находившемся в лиственничной роще на берегу реки Мугур. Стадион представлял собой обширную травянистую площадку, окруженную «трибунами» — рядами укрепленных на столбиках бревен, на которых сидели зрители. Для всех съехавшихся на праздник мест на бревнах не хватило, и араты располагались живописными семейными группами прямо на траве по краям стадиона. На одном его конце возвышалась высокая деревянная трибуна и стоял длинный стол, за которым сидели представители партийных органов и знатные араты-скотоводы. Весь стадион украшен знаменами и флагами. На больших полотнах начертаны по-тувински и по-русски слова приветствий.

На трибуну поднялся председатель Монгун-Тайгинского райисполкома:

— Товарищи! Граждане и араты! Сегодня у нас праздник! 25-летие образования Танну-Тувинской Народной Республики!..

Оратор говорил по-тувински. Содержание его речи москвичам переводил Тюлюш. Председатель райисполкома напомнил собравшимся о той жизни, которую вели араты под маньчжурским игом, о том, что терпели они от колчаковцев и различных интервентов в годы гражданской войны. Успун-Доржу заметил, что многие араты кивали головами. Значит, они еще не забыли эти годы нищеты и угнетения. Оратор рассказал затем вкратце о победе национально-освободительной революции, о провозглашении Танну-Тувинской Народной Республики с помощью Советского

Союза и о том, как Тува вошла в состав СССР, как участвовала в Великой Отечественной войне.

— Огромна помощь страны советов. Хотя им самим многого не хватает, они нам посылают технику, специалистов, и мы выражаем глубокую благодарность и любовь тувинского народа. Да здравствует дружба великого советского народа и Тувы! Да здравствует великий вождь Сталин! Ура!

По стадиону прокатилась волна рукоплесканий, раздавались здравицы в честь товарища Сталина. Громко и бурно хлопали араты непривычными к аплодисментам руками, им вторили их жены, сестры и дочери. Докладчик перешел к задачам, стоящим перед областью в послевоенный период. Он говорил просто, четко, подчеркивая основную задачу — развитие животноводства.

На трибуне один оратор сменял другого. Речи их были краткими и пылкими, находили среди слушателей самый живой и непосредственный отклик. Среди выступавших были и араты-передовики. Затем под аплодисменты были вручены подарки передовикам животноводства. Успун-Доржу горько сожалел, что отца нет рядом.

Официальная часть закончилась, и началось народное празднество с соревнования молодежи в беге, игры в волейбол.

— Волейбол — любимая игра тувинцев. Вы тоже можете принять участие, — предложил Тюлюш москвичам. Они, тут же составив команду, приняли участие в игре.

После небольшого перерыва состоялись вольные скачки. Группа молодых аратов на горячих маленьких иноходцах вскачь понеслась по степи. Дистанция шла по большому кругу и равнялась примерно тридцати километрам. Всадники исчезли из виду. Около финиша, отмеченного двумя большими флагами на опушке леса, собралось много народа. Друзья и родственники умчавшихся всадников оживленно обсуждали шансы на успех тех или иных претендентов. Успун-Доржу снова вспомнил о своем коне Эмдик-Ое, который побеждал на таких скачках.

Вдали показались всадники, мчавшиеся к финишу, растянувшись по степи длинной линией. Отставшие старались отыграться и неслись, как ветер, подбадривая коней гортанными криками. Почти на полкилометра впереди всех вырвался миниатюрный всадник на золотистом коне. Ровный легкий бег коня стремителен и прекрасен. Стоя на стременах, пригнувшись к шее коня, всадник ведёт его по абсолютно верно рассчитанной прямой. Стоявшим у финиша казалось, что золотистый конь не приближается, а непрерывно и быстро растет, оставаясь на одном и том же месте. Внезапно толпа зрителей разразилась криками:

— Балчый-оол! Балчый-оол!.. Э-э-ой! Балчый-оол!..

Под шум и крики всадник промчался между шестами и круто осадил золотистого коня. Он оказался мальчиком лет тринадцати, раскрасневшимся, с развевающимися на ветру волосами, задыхающимся от своего успеха. Со всех сторон к нему бежали мужчины, женщины, дети, а одна пожилая женщина, возбужденная и радостная, бормоча нежные слова, бросилась помогать юному победителю сойти с коня. Но он ловко соскочил с седла сам и, вынув из кармана большой кусок сахара, поднес его на ладони своему коню. Потом, не в силах дольше оставаться солидным и невозмутимым, совсем по-детски рассмеялся в лицо матери открытым счастливым смехом, взял коня за повод и повел его к стадиону, провожаемый завистливой толпой сверстников.

За Балчый-оолом к финишу прибыл второй всадник — коренастый арат в меховой шапке. За ним третий — худой, высокий старик. Остальными зрители уже не интересовались, и побежденные свернули в сторону, не доезжая до финиша.

Теперь предстояло заключительное и самое интересное состязание — хуреш — национальная борьба. На траве уже сидели борцы, одетые в содак-шудак — короткие кожаные трусы, подпоясанные продетым в петли ремнем, и в специальные легкие курточки и в идик — высокие кожаные сапоги. Грудь борца в такой куртке оставалось обнаженной.

Пока готовились к выступлению борцы, у стола президиума шло награждение трех победителей на скачках. Главный судья от имени райкома и райисполкома вручил всадникам отрезы материи. Юный Балчый-оол получил, кроме того, пакет с денежной премией и новый праздничный халат. Гордый, с сияющими глазами, Балчый-оол передал подарки своей матери. Под аплодисменты зрителей всадники один за другим отъехали от стола, за которым восседал главный судья, привязали своих коней к ближайшей лиственнице и заняли почетные места победителей на соседнем с трибуной бревне.

Вокруг группы борцов суетились моге салыкчылары — секунданты-посредники в длинных халатах и фетровых шляпах. Состязаться должны были шестьдесят четыре пары борцов. Борьба происходила по олимпийской системе, то есть побежденные в каждом отдельном туре выбывали из состязаний, а победители переходили в

следующий тур и боролись, пока не оставалась только одна пара. В последней схватке определялся абсолютный победитель состязания.

По сигналу главного судьи, трое судей-посредников хором объявили на весь стадион, что состязание борцов в честь Дня национального освобождения начинается. И началось оно парадом участников. Сто двадцать восемь атлетически сложенных борцов, в сопровождении арбитров-секундантов, устремились через поле стадиона к столу главного судьи. Они бежали, приплясывая, подпрыгивая на бегу то на одной, то на другой ноге, широко раскинув руки в стороны, как парящие птицы. Это был девиг — своеобразный и не лишенный грации танец орла, традиционный для участников национальной борьбы. Стадион рукоплескал. Борцы остановились, все разом отвесили судье и почетным гостям общий поклон и так же бегом вернулись в дальний конец стадиона.

Увидев среди них Кыргыса Шомбула, москвичи-альпинисты хором закричали:

— Смотрите, там наш Кыргыс!

От группы отделилось несколько пар борцов. В сопровождении своих арбитров они бежали, приплясывая, через поле на отведенную перед трибуной площадку для борьбы. Бежавшие, также вприпрыжку, рядом с борцами секунданты держали над их головами свои фетровые шляпы, каждый над головой своего борца.

Добежав до площадки, борцы встали друг против друга попарно, и начался первый тур состязания. Нагнувшись вперед, борцы несколько секунд примерялись, как бы удобнее захватить противника. Потом в каждой паре один схватил другого за плечи и соперники замерли, образовав своими телами устойчивую арку.

Некоторые пары заканчивали поединок быстро, другие боролись долго и упорно. Тяжело дыша, покрытые потом, они долго топтались на месте, пока кому-нибудь из двоих не удавалось воспользоваться промахом другого. Борцовские приемы были вольными и зависели от фантазии и инициативы борцов.

На смену окончившей борьбу паре выходила следующая, так что на площадке всегда боролось несколько пар. Побежденные одевались и занимали места среди зрителей. Наконец, на площадке осталась одна пара. Определился победитель и в ней и, выразив торжество победы «танцем орла», побежал на отдых.

После небольшого перерыва, во время которого секунданты подкрепляли борцов молоком, начался второй тур — борьба между победителями первого. Внимание зрителей заметно возросло. Снова борцы пробежали по стадиону в своем своеобразном танце — девиг. Снова схватились пары. На этот раз их было тридцать две, и тур окончился быстрее.

Жилистый, гибкий Кыргыс устоял в обоих турах. Начался третий тур. Успун-Доржу и москвичи увидели Шомбула Кыргыса среди шестнадцати пар. Против него вышел плотный, широкогрудый, коренастый арат-гигант лет тридцати. Крепко охватив друг друга за плечи, они выгибались, отводя назад нижнюю часть туловища. Ступни их широко раздвинутых ног глубоко вдавились в почву. Сплетенная воедино арка их тел была напряжена, но неподвижна — очевидно, силы были равны. Оба секунданта пары криками подбадривали своих бойцов, бегая вокруг и не спуская с них глаз. Борцы начали медленно топтаться по кругу, немного раскачиваясь, — каждый старался обмануть бдительность противника и улучить выгодный для себя момент. При полной почти неподвижности сцепившейся пары неистовство арбитров росло — они изливали по адресу своих борцов целые тирады, призывая их к действию, насмехаясь над нерешительностью. Они подбадривали их криками и, вертясь вокруг, легонько шлепали по спине. И вдруг Кыргыс подставил противнику подножку. На одну секунду тот потерял равновесие и покачнулся. Кыргыс ухватил его за пояс и хотел приподнять над землей, но коренастый арат-гигант сделал рывок, коснулся земли ногами и всей тяжестью тела обрушился на Кыргыса, толкнув его на свою выставленную вперед ногу. Через момент Кыргыс уже лежал на земле, а победитель, пританцовывая «орлом», поклонился судьям и, сопровождаемый гордым секундантом, побежал направо, где уже собралась группа победителей в третьем туре. Умывшись и одевшись, Кыргыс присоединился к москвичам.

Борьба длилась уже около полутора часов при неослабном внимании зрителей. Наступил четвертый тур, затем пятый, и вот уже идет шестой тур, в нем участвуют четыре сильнейших борца. И наконец — финальный седьмой тур. В нем участвовал победивший Кыргыса арат-гигант с широкой грудью и длинными ногами.

Перед финалом борцы отдыхали дольше обычного. Сигнал — и финалисты выбежали на площадку. Их девиг — танец-парад был на этот раз особенно торжественным. Гордо выпятив грудь и замысловато приплясывая, бежали за ними секунданты, держа над бойцами, как венцы, свои фетровые шляпы. Секунданты явно наслаждались славой, отраженной от их батыров.

В последней схватке против арата-гиганта, победителя Кыргыса, вышел

удивительно пропорционально сложенный борец, секретарь комитета комсомола. Соперники показали титаническую борьбу. Под лоснившейся кожей играли до предела напряженные мускулы. Секунданты старались не меньше в своей роли, по их движениям и мимике можно было судить о ходе поединка. И вот зазевавшийся на какую-то долю секунды гигант был стремительным броском повергнут на землю. Комсомолец — победитель победителей — в парящем танце девиг поклонился судье и вприпрыжку побежал одеваться. Вокруг него, видимо потерявший от восторга в весе, носился воздушными пируэтами его секундант. Казалось, что еще немного, и он взовьется в воздух над верхушками лиственниц.

Победителю еле удалось вырваться из плотного кольца восторженных поклонников, каждому из них обязательно хотелось одобрительно похлопать его по спине или хотя бы прикоснуться к нему пальцем. Овации гремели, не умолкая. Восемь победителей пятого тура предстали перед столом президиума, главный судья вручил им премии. Они получили по отрезу материи. Четверка, вышедшая в шестой тур, была премирована еще и халатами. А абсолютный победитель состязания был, сверх всего прочего, награжден денежной премией и особой почетной грамотой. Он был героем дня — непревзойденным батыром.

Празднество закончилось народным гуляньем на стадионе и в роще, плясками и пением при свете костров и общественным пиром, на котором было вдоволь мяса, араки и веселья. Гулянье, выступления самодеятельных коллективов, скачки по окрестностям и состязания по волейболу продолжались и на следующий день. А на третий день Мугур-Аксы опустел. Араты разъехались по кочевьям.

Успун-Доржу не хотелось ехать домой. Альпинисты задержались в Мугур-Аксы в ожидании транспорта. Все автомашины были мобилизованы на уборочную кампанию. Кыргыс предложил сыграть в шахматы у второго секретаря райкома партии Андрея Суруновича Кудерека. В доме дарги было много предметов быта, о которых Успун-Доржу, живущий в юрте, не имел понятия. Там были обеденный и письменный столы, кровати со стеганными одеялами и подушками в белоснежных наволочках, стулья, диваны и скамейки, шкаф для верхней одежды, буфет и комод. На стенах висели ковры и занавески, прикрывающие полки с посудой, на окнах — шторы. Стены были украшены репродукциями картин Третьяковской галереи и портретами Ленина, Сталина, Калинина. Около письменного стола хозяина дома висела большая карта Тувинской области, стояла этажерка с книгами на тувинском и русском языках.

На шахматной доске шло сражение. Успун-Доржу залюбовался фигурками тувинских шахмат. Шахматы были отлиты в национальном стиле из меди и алюминия. Король — ноян — в этом наборе шахмат представлял собой сидевшего, скрестив ноги, человека в большой шапке с загнутыми вверх полями. Королева — арзылан — была сделана в виде фантастической, похожей на дракона, китайской «собаки счастья», а ладья была отлита в виде колеса и называлась терге — телегой. Офицеры были изящно сделанными двугорбыми верблюдами — теве, а кони — аът — как две капли воды походили на порывистых тувинских лошадок. Оолдар — пешки — дети, представляли собой другой, уменьшенный вариант собаки счастья, с взлохмаченным, похожим на фонтанчик хвостом. Эти маленькие пешки-собачки особенно всем нравились — больше всех других фигур.

После партии Андрей Сурунович обратился к Успун-Доржу:

— Садись. Твоя очередь.

Успун-Доржу обыграл Соколовского, но проиграл Промптову и дарге. Видя, что москвичей пленили тувинские шахматы, Андрей Сурунович заказал комплекты для них у Калбак-оола родом из Бай-Тайги. Дарга с гостями из Москвы отправились в юрту скульптора-мастера на берегу Каргы. Готовых шахмат у Калбак-оола не оказалось, но он согласился отлить три комплекта.

Попрощавшись с семьей Сенмита и Кыргыса Шомбулов, счастливый Успун-Доржу отправился домой. У него было много дел по подготовке к зиме. По дороге он думал: «Чудеса можно делать своими руками. Куплю фотоаппарат и буду снимать то, что хочу».

Заканчивалось прекрасное теплое лето. Как хорошо просто полежать на траве, глядя в небо. Уходил чудесный вечер, на западе догорала кроваво-красная заря, дул теплый ветерок, на темное небо высыпали мириады переливающихся, мерцающих звезд, а между ними ярко-светлая долька луны. То тут, то там слышались глухой девичий смех, тихая песня. Вечером гуляет свежий ветерок, лаская своей свежестью и запахами выгорающих трав. Каждая травинка и цветок успели выбросить под жаркое солнце свои пестики и тычинки, чтобы следующей весной дать потомство и повторить круговорот земной жизни. И разносит ветерок эту жизнь по горам и степям, и угадывается в нем легкий аромат будущих трав и цветов. А может быть, светлых

событий в жизни Успун-Доржу и Минчеймыы.

За ночь набежали тучи, и под утро пошел дождь. Земля лежала в тумане и сырости. Не было слышно щебета птиц. Ночь превращалась в серое утро. Добрый стук дождевых капель, падавших на засохшую землю, радовал Успун-Доржу. После обеда прояснилось, выглянуло солнце, и холодная земля, прогреваемая его лучами, родила запах разнотравья, полевых цветов. И стало радостно на душе. Араты шутили, безобидно подтрунивали друг над другом. Звенели песни, протяжные звуки игила, бызаанчы, допшулуура звали к чему-то новому.

Шло время. Однажды, в ясный день, Успун-Доржу ощутил запах артыша (можжевельника), поднимая с кошмы кисет отца, и заплакал.

— Ты-ы... ка-ак... почему плачешь? — Анай от удивления уронила платок, которым завязывала голову, с тревогой посмотрела на сына: — Что с тобой?

— Понимаешь, артыш... запах можжевельника... я поднял кисет отца с артышом и вспомнил его, и такая тоска сжала сердце. Как он там?

Картина 16. «КРАСНАЯ СОЛЬ» ТЮРЬМЫ

Рядом все спят, а Холурааш всё думает и думает: «Менги чечээ (ледниковая роза) являет собой верх совершенства, но она завянет. Природа сама же рушит всё, что создаёт с таким трудом и искусством. В холода лопаются деревья, рога коров, рвутся перекалённые морозом камни... Как там живут мои близкие в Монгун-Тайге? Я обязательно выйду отсюда и увижусь с ними... Не жить человеку двух жизней в этом яростном мире. Бороться надо. Не зря в народе говорят: сталь закаляется в воде, человек закаляется в беде».

Шаман, сын шамана, всех поддерживал в тюрьме и часто разговаривал со стариком Курбу, у которого была чахотка. Это был рослый, сутулый мужчина, хмурый на вид. Говорил внятно, но тихо:

— Есть у тебя талант или нет — не всё ли равно, раз всему на свете приходит конец.

— Вы сегодня в дурном настроении, — улыбнулся Холурааш.

— У меня всегда такое настроение. Погодите: и с вами будет то же самое. Жизнь — гора. Поднимаясь, ты глядишь вверх и ты счастлив, но только успел взобраться на вершину, как уже начинается спуск, а впереди — смерть. Поднимаешься медленно, спускаешься быстро. В ваши годы все мы были веселы, а в мои годы человек не ждёт уже ничего, кроме смерти.

— Вам надо облегчить душу молитвой.

Дыхание у мертвенно-бледного больного было частое, прерывистое; порой он словно хотел напомнить окружающим, как он страдает, и тогда оно вырывалось у него из груди вместе со стоном.

— Сейчас ты меня не поймешь. Слово смерть в твои годы пустой звук, а мне же оно представляется ужасным.

Еще не испытанная тоска охватила Холурааша. Ему вдруг почудилось, будто совсем близко от него, на расстоянии вытянутой руки, где задыхался больной, притаилась смерть, поджидающая всех. В спертом воздухе тюрьмы чувствовалось зловонное дыхание разлагающейся груди. Шаман встал, погладил руки старика, успокаивая его:

— Оршээ хайыракан! (О, боже!) Не думайте о смерти, а думайте о светлом.

— Я уже чувствую, как смерть гложет меня, словно во мне завелся червь. Она подтачивает меня исподволь, день за днем, час за часом, и теперь я точно юрта, которая вот-вот обвалится. Скоро я «кызыл-дустаар[1]».

— Да опомнитесь же! Что вы говорите?

— Я вижу смерть уже так близко, что мне хочется протянуть руку и оттолкнуть её. Она устилает землю и наполняет собой пространство. Я нахожу ее всюду, — старик запыхался, размышляя вслух и почти не замечая присутствия собеседника. Он слабо шевельнул правой рукой, а черты лица исказила злобная гримаса, отчего еще резче обозначились его иссохшие губы, впалые щеки и торчащие скулы.

— Почему вы так страдаете? — задумчиво спросил шаман, как будто самого себя.

Курбу заговорил прерывающимся, сдавленным, надрывающим душу голосом:

— Потому, что мы рождаемся на свет, чтобы жить не столько для души, сколько для тела. Но мы обладаем способностью мыслить... Сколько мне еще суждено увидеть закатов? У тебя есть время. А для меня время истекло, всё кончено. И всё происходящее вокруг будет идти своим чередом без меня, так же как и при мне...

Каждая пауза, которую делал Курбу, производила еще более тяжелое впечатление, чем его слова — чувствовалось, что, замолкая, он думает о чем-то очень страшном.

Шаман взял руки старика в свои:

[1] Кызыл-дустаар – сойти в могилу; буквально - идти за красной солью.

— Пока не постигнет человека несчастье, он доволен своей судьбой... Мужайтесь! Всё будет ладно...

— Постарайся освободиться от всего, что держит тебя в тисках, — перебил старик. — Сделай над собой усилие и еще при жизни отрешись от своих мыслей. Загляни в глубь вещей — и ты поймешь, как важна жизнь...

— Вам необходимо мысленно проститься с теми, кто был близок, — предложил шаман, поглаживая руки Курбу.

— Я погибшее существо. Родители давно уснули вечным сном. У меня нет ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей... — помолчав, добавил: — Обязательно женись. Ты не представляешь, что значит быть одному в мои годы. Одиночество наводит невыносимую тоску на меня, чем дальше, тем больше.

— У меня есть бабушка, жена и сын.

— Это хорошо. К ночи мне начинает казаться, что я один в целом свете, и меня охватывает лихорадка отчаяния и страха. Не только тело, но и душу окутывает тишина тюрьмы, — помолчав, продолжил: — Хорошо всё-таки, когда у человека есть семья. Ты счастливец! Имеешь жену и сына. Забудь всю эту старческую воркотню и живи сообразно с возрастом.

У Холурааша возникло такое чувство, точно он заглянул в яму, наполненную костями мертвецов. «Как жаль, что я не смогу ему помочь», — подумал шаман и услышал шёпот старика, протягивавшего к нему руки:

— Спаси меня... Спаси меня, дорогой ... Я не хочу умирать... Я приму всё, что угодно... Я не хочу... я не хочу...

Он плакал. По его впалым щекам текли крупные слезы, а углы иссохших губ оттягивались, как у обиженного ребёнка. Вдруг руки его упали на грудь, и он начал медленно перебирать пальцами. Следя за этим непрерывным однообразным движением, можно было подумать, что старик собирает что-то на груди.

— Это обыкновенный припадок, — с невозмутимым видом сказал Холурааш. — Скоро вам станет лучше.

Дыхание у старика сделалось еще более частое, чем у запыхавшейся от быстрого бега собаки, до того частое, что его невозможно было сосчитать, и до того слабое, что его почти не было слышно. Опять заладил:

— Я не хочу умирать... Боже мой... что со мной будет? Я ничего больше не увижу... ничего... никогда... Боже мой!

Курбу закашлялся и стал задыхаться. При каждом вздохе кашель, клокотавший у него в груди, раздирал ему горло. Его остановившийся от ужаса взгляд различал нечто такое, чего не могли видеть другие. И всё не прекращалось это пугающее скольжение пальцев по груди. Внезапно по телу старика пробежала судорога.

— Где... меня... похоронят?.. Боже мой!.. — простонал он и смолк, застыл и лежал неподвижно, глядя вокруг себя блуждающим взором.

Через некоторое время глаза Курбу стали закрываться, погасая, точно огни. Тело сотрясла лёгкая икота, две струйки крови показались в углах рта, потекли на шею, и старик перестал дышать.

Шаман отвел глаза в сторону. «Я не должен умереть в этой тюрьме, как этот старик», — сама собой пришла мысль. Это была мысль о побеге.

Алексей ГРИГОРЕНКО

ЛЕШЕК МАРШАЛОК

Сказ о том, как воссоединилась с Россией Украина козацкая и как сгинула Речь Посполитая панская

Глава 22. НЕУЛОВИМЫЙ МАЗЕПА[1]

Первый и, кажется, единственный малороссийский философ Григорий Сковорода, подводя итог своей странной жизни, сказал: «Мир ловил меня, но не поймал». Можно ли применить эту формулу к гетману Ивану Степановичу Мазепе? Можно вполне. Причем и в прямом, и в переносном, перелицованном виде.

Я пытался, в меру своих невеликих сил и в меру малого своего знания, осмыслить феномен этого человека в некоем объективном ключе, не сваливаясь ни вправо — в националистический самостийный угар, ни влево — в тотальное великоимперское осуждение главного предательства тысячелетней российской истории, — я пытался «поймать» Ивана Степановича в умозрительную ловушку своего рассуждения и раз за разом терпел поражение и отступал.

Я понимаю, что предо мной стоит совершенно неподъемная задача: в кратких и емких словах своих хотя бы пунктирно и бегло обозначить исполинскую, текучую и неуловимую фигуру человека, изображенного на украинской купюре достоинством в 10 гривен, — самого долговременного — 21 год на гетманском уряде — гетмана Руси-Украины, любимца Петра I, мецената и строителя киевских храмов и монастырей, уникальной в психологическом плане личности, который, по сути, всех обвел вокруг пальца, всем был мил, всеми желанен и люб... Впрочем, уникальной ли? Непостоянство и изменчивость человека — природная данность. Но одно дело, если речь идет о простом и незначительном, заурядном во всем человеке, другое — о государственном деятеле столь крупного калибра вроде Ивана Степановича, фигуры знаковой, политического тяжеловеса, кавалера высшего ордена апостола Андрея Первозванного и прочая, прочая — тут эпитетам в превосходной степени не будет видимого конца. Конечно, без соответствующей жизненной подоплеки и в целом без воли Божией судьба Ивана Степановича была бы немыслима. В самых отчаянных, если не сказать, гибельных передрягах он буквально чудесным образом без всяких потерь выпутывался и не только цел оставался, но и существенные выгоды приобретал для себя. Без тени сомнений и колебаний — если того требовали обстоятельства — предавал недавних соратников и благодетелей, возведших его к самым вершинам государственного общеимперского делания, обрекал на лютые казни даже недавних единомышленников, не говоря уж о недругах вроде Василия Кочубея и прочих, им же несть числа, — Иван

[1] Главы 1-21 опубликованы в №№15-16 «Невского проспекта».

Степанович грубо, крепко ломился к верховной власти, по головам и через головы, используя весь арсенал психологических уловок и своих природных богатых человеческих дарований, и в этом своем победоносном шествии преуспел, как никто. Горе горькое было тому неразумному, умом недалекому, кто пытался противостоять этому сокрушительному напору неординарного и великого во всем человека. Ошибся же он всего один только раз, пустив под откос не только свою блистательную карьеру и некие смутные цели, если таковые все-таки были, но и, собственно, жизнь. И если бы — только свою... Преданный им царь Петр I — после скорых казней и лютых расправ с попавшими в плен после Полтавской баталии невольными и вольными сподвижниками гетмана — специальным манифестом 11 марта 1710 года все-таки поспешил обелить в целокупности малороссийский народ и снять с него коллективную вину за эту роковую измену Мазепы, но послевкусие непоправимого, катастрофического события все же осталось.

Хотя, если разобраться, никакой коллективной вины вовсе и не существовало, по сути: сколь ни пытался Иван Степанович в 1708 году склонить козацкую массу к переходу на сторону Карла XII, сколь ни рассчитывал он поставить в боевые порядки шведского войска 20000 ратников-малороссиян, твердо обещанных Карлу, а прежде разговор шел вообще о 50000 воинов, — в результате же только горсть козаков отправилась к шведам, да и то чуть ли не половина из них вскоре дезертировала и, вместе со старшиной принеся покаяние, встала под знамена Петра. Не приходится тут говорить о коллективной вине за измену гетмана: народная масса как раз и погасила ее, выказав недюжинную и даже весьма неожиданную верность Российской империи.

Но все же начну по порядку.

Удивительно, что в исторических хрониках гетман Мазепа остается таким же неуловимым, как и в жизни. Выше мне уже пришлось немного рассказывать о нестыковках и умолчаниях в его биографии прежде захвата в плен козаками кошевого Ивана Сирко, — причем захвата, что называется, с поличным и с отягощающими обстоятельствами: он гнал в Крым русский ясырь в подарок султану. Конечно, он был вроде бы ни в чем и не виноват: просто исполнял приказ правобережного гетмана, но все же... По тем временам подобному исполнителю полагалась только смертная казнь без разбора и рассуждения, причем прямо на месте. Но нет — пощадили его козаки, приволокли на аркане в Сечь к старому легендарному кошевому. Тот все же жизнь пленнику сохранил, но ради хоть какого-то наказания приказал посадить Мазепу на цепь — приковать к пушке. Конечно, трудно сегодня разобраться в причинах, по которым Сирко столь мирволил Мазепе, сидящему на позорной цепи посреди Запорожского Коша, но, вероятно, Иван Степанович прежде выказал кошевому важное нечто о владении секретами гетмана Дорошенка, ценное в свою очередь для гетмана Самойловича, а затем и обольстил старого и мудрого кошевого речами, обхождением и несомненной харизмой.

По крайней мере, в общих чертах остатки преодоленной при Самойловиче Руины, губительной во всех смыслах для малороссийского люда, окончательно были ликвидированы при долговременном гетманстве Ивана Степановича. Или, говоря другими словами, Русь-Украина все глубже и крепче встраивалась в контекст ранней Российской империи, и сам Мазепа прилагал к тому немалые силы и средства. В этом для молодого Петра и заключалась главная ценность малороссийского гетмана. Мазепа стал верным — нет, я бы даже сказал, вернейшим и деятельным сподвижником царя-реформатора — на него во всех смыслах можно было положиться. Ну, и личные его качества — его обаяние, его приметливость, добродушное лукавство, его беспримерная щедрость, его административные навыки и несомненные способности обуздать шаткость и ненадежность малороссийского люда, весьма склонного к своевольству и мятежам, атавизмом оставшихся с «демократичных» польских времен и с буйной эпохи Хмельниччины. Только что завершившаяся Руина еще долго трупными пятнами напоминала о себе в Гетманщине и на Правобережье Днепра. Управиться с этим тяжелым психологическим, экономическим и политическим наследием Руины мог только выдающийся и жесткий администратор, каковым и был в полной мере Мазепа, — повторюсь еще раз, — настоящий сподвижник, верный и преданный всем своим существом делу имперского строительства и преодолению отживших форм прежнего государственного устроения Московской Руси. Недаром ведь Мазепа соперничал с Меншиковым за благосклонность Петра и пошатнулся, преклонился к конечной измене, когда получил известие из письма тайной своей конфидентки, княгини Анны Дольской, о роковой роли которой мне еще предстоит рассказать. Княгиня сообщала гетману в очередном шифрованном письме, что Петр собирается именно Меншиковым его заменить, дабы уже окончательно похоронить Переяславские договорные статьи 1654 года — мол, мавр сделал свое дело и мавр может уйти... Понятно, что не это известие стало причиной роковой и страшной измены, но — по сути — последней

каплей, перевесившей все 20 лет беспорочной службы, расположения, дружбы, государевых милостей и прочих всех благ, обильно орошавших Ивана Степановича на высшем уряде Руси-Украины.

Истекшее время отечественной истории сохранило для нас более десятка портретов Мазепы, — но вот странность в чем — все они значительно отличаются друг от друга, будто бы разные люди изображены на полотнах, — и разве это не удивительно? Можно, конечно, свалить вину на бесталанность портретистов, — но их было все-таки более десяти человек, — неужели все неумехи? И каждый по-своему видел его... И потом — Иван Степанович был первейшим человеком Российской империи, вторым кавалером наивысшего ордена-знака апостола Андрея Первозванного, незадолго перед тем учрежденного молодым императором, он являлся обладателем несметных богатств, — даже в лишениях после Полтавы, обобранный и ободранный, как липка, лишенный всех грунтов и всего движимого и недвижимого имущества, он ушел от погони в заднепровские степи с двумя бочонками золотых червонцев, — неужели не сыскался бы в тех временах приличный художник, дабы за хорошую мзду достойно и праведно запечатлеть главного героя эпохи?.. Но нет — все портреты разнятся друг от друга. Вероятно, и в этом сказывается изменчивость и текучесть облика гетмана: апостол Павел писал: «Для иудеев я был как иудей, для эллинов как эллин, я стал всем для всех, чтобы привести к Господу хотя бы некоторых» (1 Кор. 9:20-22), — следовал этой формуле и Мазепа: с Петром он был «подножкой трона», вернейшим из верных проводником имперской политики; с поляками — тайным соглашателем и двурушником; со шведами — тактическим союзником с неопределенными до сей поры целями. Верно описал его в числе других гетманов Руины Тарас Швевченко:

Рабы, подножки, грязь Москвы,
Варшавский мусор — ваши паны,
Ясновельможные гетьманы...

Но прежде славы, прежде несметных богатств и «кавалерства» Ивану Степановичу надо было просто остаться в живых. Запорожские его приключения были, вероятно, самыми опасными в его жизни, и он до конца жизни питал глухую неприязнь к Кошу, где в рабском виде сидел на цепи, — но он благополучно их миновал, как утлый челн минует страшные днепровские гряды-пороги, — да так прошел испытание, что Сирко не захотел выдавать его Самойловичу для допроса и розыска о Дорошенке и так протянул с этой выдачей, что «гетману-поповичу» пришлось брать в крепкий залог жену и зятя Сирка, живших близ Чугуева, чтобы добыть Ивана Степановича из Сечи. Затем уже и сам Самойлович с трудом расстался с Мазепой ради отсылки в Москву для расспроса и едва ли не слезно просил поскорее возвращаться обратно. В Москве Иван Степанович не только выложил в Малороссийском приказе все, что знал о планах и предполагавшихся движениях неугомонного правобережного гетмана Петра Дорошенка, но и очаровал нужных и важных людей и, главное, влюбил в себя крепко всесильного фаворита царевны Софьи Алексеевны князя Василия Васильевича Голицына, который вплоть до своего сокрушительного падения в 1689 году стал покровителем Ивана Степановича и возвел его в конце концов в гетманское достоинство.

Филипп Орлик, верный сподвижник Мазепы, разделивший с ним все тяготы бегства и скитания в Османской империи — у него на руках поверженный гетман и дух испустил, — так свидетельствовал об исключительном даре Ивана Степановича: «никто... не мог лучше обработать человека и привлечь к себе». «Не достигнув с первого раза цели, — пишет Орлик, — он не складывал оружия, и не бросал обрабатывать человека, пока не делал его своим».

Тут следует, вероятно, сделать невеликое отступление и снова вернуться к неудачным крымским походам Василия Голицына. В результате первого — 1687 года — гетман Самойлович, как мне уже пришлось о том рассказать, был смещен с должности, арестован, подвергнут суду и сослан в Сибирь, один из сыновей его был казнен мучительным способом, имущество и казна его были арестованы и разделены торжествующими «победителями» — Мазепой, Голицыным и Неплюевым, имя «гетмана-поповича» — опорочено и вычеркнуто из анналов текущей политики государства, ни во что была вменена его верная 15-летняя служба престолу. Второй крымский поход Василия Голицына тоже оказался вполне неудачным, повлекшим громадные небоевые потери: татар даже издалека никто не видал, а погибло около 50 тысяч козаков и стрельцов, бесчисленное количество тяглового скота и лошадей, войсковые пушки просто бросили под Перекопом, финансовые затраты похода не поддавались исчислению... Такими неуклюжими и бездарными были эти первые попытки покорения Крыма... Но Мазепа, как один из военачальников, вовсе не пострадал, как пострадал перед тем Самойлович, — этот поход, как и прошлый, Василий Васильевич, умелый царедворец и дипломат, снова исхитрился представить

как удачный во всех отношениях, и даже, как в прошедшем 1687 году, участники похода получили соответствующие награды, — но тут, не успели герои рассмотреть золотые наградные медали «за Крым» — царевна-регентша Софья — некстати весьма — попыталась устроить дворцовый переворот и лишить престола своего младшего брата, молодого Петра — по достижении им 17 лет и факту женитьбы Софья обязана была сложить свои регентские полномочия и освободить трон. Понятно, что власть — весьма пьянящий напиток, и так просто ее уступать никто не захочет. Царевна составила заговор, уповая на поддержку московских стрельцов, Петр, стремясь сохранить свою жизнь, бежал в Троице-Сергиев монастырь, но скоро успокоился и осмотрелся, предпринял «от Сергия» ряд решительных мер, расколовших стрелецкое войско; сторонники Софьи были рассеяны, глава стрельцов Федор Шакловитый публично казнен под стенами Троицкой лавры, Софья заключена в монастырь до скончания своих дней, ну а князю Василию Голицыну, пересидевшему замятню вокруг трона в своей подмосковной вотчине Медведково, молодой царь жизнь все-таки сохранил и оставил только пустой княжеский титул — как прежде князь обирал низвергнутого Самойловича, так был ныне обобран он сам. Все имущество и все поместья его были конфискованы. При этом формальной виной Голицыну был вменен именно крымский поход текущего 1689 года, за который он только что был награжден и богато одарен.

Наш Иван Степанович попал в весьма щекотливое положение: не владея всей информацией, по прибытии в Москву во главе малороссийской высокопоставленной делегации, он везде и всюду рассказывал о самоотверженных подвигах своего патрона и покровителя Василия Васильевича в недавнем походе, живописал подвиги и отвагу его, и всеми доступными средствами героизировал своего благодетеля, — и, по сути, карающий меч правосудия Петра I должен был неминуемо обрушиться на его голову, — но Иван Степанович довольно скоро сориентировался в ситуации и немедленно отправился на поклон к самодержцу в Троицкий монастырь, — но не тут-то было: Петр приказал Мазепе остановиться и ждать дальнейших распоряжений о себе. Сутки, проведенные в ожидании в селе Воздвиженском, вероятно, были самым тяжелым временем в его жизни из-за неизвестности, в какую сторону склонится чаша царского настроения. Жизнь его практически висела на волоске, как когда-то в Запорожской Сечи. Спутники Мазепы уже рассуждали тайком между собой, кого им теперь избирать гетманом — «об отрешении последнего, казалось, не могло быть никакого сомнения», говорит Костомаров. Иван Степанович еще раз всем недоброжелателям доказал, что шит он не лыком: составил донос-челобитную на опальных бояр, еще вчера его покровителей, ближайших друзей и соратников. Когда же Петр изволил видеть его, Иван Степанович тут же вывалил ему всю подноготную смещения с уряда Самойловича, подробности разграбления имущества низложенного «гетмана-поповича» и свое вынужденное — противное его воле, конечно же! — участие в этой оргии дележа денег и утвари из драгоценных металлов, присовокупив к этой конфиденциальной информации точные цифры взяток, вытрясенных из него — ну просто невольника чести! — злобными великорусскими воеводами, сторонниками и симпатизантами только что низвергнутой старшей сестры императора.

«Сверх ожидания многих, царь принял очень милостиво и ласково гетмана и всех старшин. Ласковый прием придал гетману смелости, и он тут же подал государю челобитную, чернившую Василия Васильевича Голицына и товарища последнего Леонтия Неплюева. Он доносил царю, что Леонтий Неплюев угрозами вынудил у него дать князю Голицыну отчасти из пожитков отрешенного гетмана Самойловича, а отчасти из собственного своего «именьишка», которое по милости монаршей нажил на гетманском уряде, 11000 рублей червонцами и ефимками, более трех пудов серебряной посуды, на 5000 рублей драгоценных вещей и три турецких коня с убором», — говорит Костомаров, — документы, как говорится, были приложены, так что ни в чем Иван Степанович виноват не был перед молодым самодержцем.

Отныне его благодетелем стал не какой-то там первенствующий князь-боярин стольного града Москвы, с которым приходилось делиться казной, посудой, драгоценным оружием и шубами прежнего гетмана, а сам царь. Шутка ли!..

Понятно, что без невероятного человеческого обаяния, на которое Иван Степанович был большой мастер, дело не обошлось.

Забегая вперед, стоит сказать о том, что и в отчаянных, совершенно последних уже обстоятельствах, когда Мазепой было потеряно практически все, кроме пары бочонков с золотыми червонцами, он отнюдь не утратил этого своего драгоценного дара.

«По известию секретаря Карла XII, перед ними был старик 66 лет от роду, среднего телосложения, худощавый, без бороды, но с усами по польскому обычаю. Вообще, он имел вид важный, но временами проявлял проблески веселого и живого нрава, шутил

с очень метким остроумием и развеселял слушателей; в речах его замечали большой такт и много ума. Видно было, что он был человек образованный и превосходно владел латинским языком. Карлу он сразу понравился и был приглашен к королевскому столу вместе с ближайшими к нему особами из генеральных старшин», — сообщает Николай Костомаров, — и лично меня просто потрясло, когда я прочел это живое и непосредственное впечатление королевского секретаря: все рухнуло, вокруг ничего, кроме пепелища и позора. Жизнь, богатство, карьера и доброе, славное имя пущены под откос, малороссы, над которыми он главенствовал столь успешно и долго, отныне заклеймены этим беспримерным предательством и изменой, в скором будущем — Полтавская битва с треском проиграна, разгромленные шведы спасаются бегством, сам король едва не попал в руки преследователей и только чудом успел переправиться на правый берег Днепра, человеческие потери, после которых шведская армия перестала быть армией и превратилась просто в толпу беспорядочно отступающего деморализованного сброда, и впереди — ничего, сам Иван Степанович, оставленный всеми, кроме горсти запорожцев, которых он же годами третировал и чернил в глазах российского самодержца, как о том рассказывает Дмитрий Яворницкий в трехтомной «Истории запорожских козаков», больше всего опасается попасть на расправу к Петру, который так обманулся в своем верном друге-соратнике, — и какую достойную казнь придумает для него не знавший пощады монарх?.. Русский посланник в Константинополе Петр Толстой был готов потратить на добычу Ивана Степановича 300000 ефимков, предложенных великому турецкому визирю, но Османская империя, весьма падкая на *бакшиш*, отчего-то отказалась выдать Мазепу русским властям. Тут роль сыграла либо извечная враждебность турок к Москве, либо сам беглый гетман перебил гору ефимков своими червонцами из бочонков, история умалчивает о том, — и оставалось разве что Ивану Степановичу лечь в домовину и помереть, что он вскоре и сделал в славном турецком городке Бендерах... Но при всех этих несчастьях и собственной человеческой катастрофе Иван Степанович «временами проявлял проблески веселого и живого нрава, шутил с очень метким остроумием и развеселял слушателей...» Да, людей такого калибра и такой крепости давным-давно уже нет в наших палестинах, ни на Западе, ни на Востоке Украины!..

— Лешек, — поправила тут меня приметливая Лика, оторвавшись от вязания какого-то шарфика, — это была ведь самая первая встреча Карла с Мазепой, — и Полтава, разгром, отступление — все это было еще впереди. Соратники все еще верили, что затеянная интрига вполне может у них получиться, — потому и беглый гетман не особенно парился и переживал. Сколько, ты сказал, ожидалось козаков под знамена Карла XII? Двадцать тысяч? Ожиданиями и жили они... Поэтому секретарь короля и описывает его с таким оптимизмом...

— Лика, что бы я без тебя делал? — сказал я.

Но все это будет позже, и я помянул об этих делах только ради того, чтобы больше не повторяться о психологическом, вполне невероятном портрете Ивана Степановича, о его поразительной способности нравиться тому, кто ему необходим прямо здесь и сейчас: главенствующие люди громокипящей эпохи — Ян-Казимир, Дорошенко, Сирко, Самойлович, Голицын, Петр I, Карл XII — творцы реальной и славной во многом истории, времени тектонического сдвига эпох — можно ли помыслить то время без этих исполинских фигур? В этом славном, но и противоречивом, конечно, ряду — заслуженное по праву место Ивана Мазепы.

При всем этом весьма удивительно, что, собственно, малороссийский народ гетмана как раз и не любил. Почему-то считали его умело затаившимся поляком, тайным католиком, только для замыливания глаз и ради обмана строившего православные храмы. Однако и тут есть над чем поразмыслить: 26 соборов, церквей и колоколен построено Иваном Степановичем из собственных средств за 20 лет гетманства, в том числе и за пределами Украины... Чего в этом больше — лисьей хитрости гетмана или черной неблагодарности подвластного люда?.. Строительного благочестивого ража или просто денег Мазепе девать было некуда?.. И храмостроительством он ловко замыливал глаза как Петру, так и народу Руси-Украины? Логики здесь нет никакой, да и внятных ответов, как водится, тоже. Но как бы затем ни проклиналось имя его, как бы ни честили его распоследними словесами имперские пропагандисты синодальной поры, храмы, соборы, надвратные церкви украинских монастырей молчаливо свидетельствовали о другом: все очень и очень непросто, и для портрета Ивана Степановича одной краски все-таки маловато.

Смогу ли я хотя бы приблизиться к неуловимому гетману? Смогу ли я хотя бы на мгновение приоткрыть потаенную дверь в потемки его души, проникнуть в тайные умыслы его, постичь невероятные по сложности политические ходы великого гроссмейстера политических шахмат громокипящей эпохи, который допустил всего лишь одну роковую ошибку, и все строение, возводимое им в течение непростых 20

лет, рухнуло в одночасье. Кроме разве что церковных стен.

Помню свое изумление в 1977 году, когда мы с Галюней бродили по осеннему Печерску, и возле надвратной церкви, богато изукрашенной орнаментальным архитравом, кто-то из случайных прохожих, признав в нас непуганых провинциалов из сердца степей, участливо поделился с нами простой информацией: церковь эта построена Иваном Мазепой, — сказал и дальше пошел в свой НИИ, — а мы с Галюней остались стоять с разинутыми ртами. Я только и мог, что сказать наше спасительное «тю!», в котором сложно сочетались как изумление от неожиданного открытия, так и совершенная совдеповская неосведомленность моя: ведь мир, в котором мы родились для жизни, был совершенен в своей простоте — торжество ленинских идей и неукоснительное воплощение их в мире; при царизме все только и знали, что умирали от голода, и только Ленин зажег электричество в клубе и в хате, научил селянина буквы отличать одну от другой; Сталин победил ДнепроГЭСом вольный наш Днепр, отстоял независимость и свободу в войне, — и все в таком духе, — и в этом вот пыльном, затканном паутиной историческом чулане какой-то иссохшей мумией лежал позорный предатель, чье имя стало синонимом имени евангельского Иуды и который, кроме предательства под Полтавой, ничего доброго и не совершил и вообще непонятно чем занимался на высокой должности гетмана Малой России, — разве только гадил и предавал?.. И вот — на тебе! — храм, который построил Иуда... Было от чего голове закружиться!.. И нужно было еще долго прожить, многое прочитать и о многом размыслить, дабы увериться в собственной неспособности постичь ту бездну вопиющих противоречий, из которых и была соткана история нашей Руси-Украины. Да и только ли одна она?..

Нелюбовь же народа к Ивану Степановичу имела какую-то инфернальную природу, и корни ее, вероятно, следует искать разве что в общем нерасположении «черного люда» к какой бы то ни было власти вообще. Обладатель булавы, скипетра или даже простого полковничьего *пернача* всегда вызывал известные настороженность и недоверие, — должность, в особенности же верховная, всегда подразумевала, как правило, злоупотребления и неправедное обогащение, зримым символом чего стал недавно низвергнутый Иван Самойлович, раздел и расхищение имущества которого продолжалось на протяжении нескольких недель, и реестр даже того, что осталось после тотального воровства и растаскивания, просто поражает воображение. Стоит добавить сюда и известную склонность простого народа к домыслам, слухам, суевериям и химерам, — зависть, осуждение, «черноротость» — извечные свойства падшего человечества, опара и perpetuum mobile всех бунтов, мятежей, восстаний и революций. Не избежал этой печальной участи и Мазепа.

Едва избрали Ивана Степановича гетманом на место поверженного Самойловича, как тотчас отправился в Батурин для справы о нем дьяк Шакловитый. Данные, добытые им из расспросов, были довольно зыбкими: *«Шакловитый сообщил в Москву, что, хотя в поступках гетмана не замечается наклонности к измене, но малороссияне его не любят, не доверяют ему, твердят, что он весь душою поляк и ведет тайные переписки с польскими панами»*.

Что-то в наэлектризованном воздухе Гетманщины все же витало подобное, — иначе откуда бы и взяться такому — вполне «соборному», общему — мнению?

За 20 лет гетманства доносов на Мазепу написано было без счета, и лейтмотив у всех все тот же, разведанный Шакловитым: гетман — тайный поляк и хочет при случае отторгнуть Малороссию и вернуть ее Речи Посполитой. А строит храмы и беспорочно служит Петру — так это все для отвода глаз...

Доверия Москвы розыск Шакловитого отнюдь не поколебал, но по не совсем понятному ряду причин только укрепил царедворцев в верности выбора. Да и позже все доносы и жалобы на Мазепу не рассматривались и отметались долой. А если доносчик был взят с поличным или был доточно известен, то он передавался на руки самому гетману и заканчивал свои дни в лютых муках. Доносчиков таковых было, несмотря ни на что, достаточно много. Что служило причиной для этих гибельных и опасных доносов: прозорливость, потаенное знание или просто черная зависть к удачливому современнику? Но это совсем было неважно — доносы описывали круг по чиновно-боярской Москве и возвращались в Батурин, в руки Ивана Степановича.

Так начался путь Ивана Степановича к славе, богатству и... к Полтаве.

Но прежде, проникнув к сокровенным архивам Малороссийского приказа, новоизбранный гетман постарался подчистить свое «личное дело», говоря сегодняшним языком, — да так, что историки до сих пор не решили простого, казалось бы, вопроса: в каком, собственно, году родился Иван Степанович? Называются 1629, 1639 и 1644 годы, что уж тут говорить о «похожести» на портретах... Практически ничего неизвестно о службе молодого Мазепы при польском королевском дворе, кроме анекдотов о его любвеобильности и расправах с незадачливым любовником

от жестоких польских панов; о его западноевропейских «университетах» тоже ничего достоверного — когда же успел наш пострел изучить схоластику, языки и все прочее? Потом — совершенно закрытая информация, как он после Варшавы снова оказался в родных краях — после разгрома польского войска под Глуховым в 1664 году, о чем я уже рассказывал. Никаких существенных деталей не сыскать о службе у правобережного гетмана Петра Дорошенка, — а ведь этот будущий хлыновский воевода был самым непримиримым противником Москвы, а Мазепа был при нем чуть ли не правой рукой во всех его начинаниях, противостояниях, бесчисленных боях и разорении городов Гетманщины. При всем этом известно главное: с Глуховской осады и до поимки в степи с русским ясырем Иван Степанович отнюдь не за печкой сидел, а реально воевал против Московского государства, и ни много, ни мало — пять долгих лет... И — совсем ничего... Никаких выводов ни в Преображенском приказе, предшественнике Тайной канцелярии, ни в Малороссийском приказе: московский начальственный люд нисколько не насторожился умолчаниями и нестыковками в биографии будущего «кавалера», что вовсе было нехарактерно для весьма подозрительных, суровых до жестокости московитов. Как-то подозрительно быстро о том было крепко забыто. И здесь есть над чем поразмыслить. Может быть, благосклонность и слепота московитов были куплены за несметные груды червонцев и талеров, полученных Голицыным и Неплюевым, а потом — в связи со стрелецкой замятней Шакловитого — все позабылось, и последовавшие казни сторонников Софьи замылили острый глаз молодого Петра, сместили фокус? Может быть, непривычные в Великой Руси южнорусская даровитость и обходительность так очаровали всех, кто был причастен к возвышению Ивана Степановича, что его служба у Дорошенка вменена была ни во что, да и самого Дорошенка до кучи простили и даже почтили высокой должностью в Хлынове, а затем и имениями с тысячами крепостных... Невероятное счастье даровитого малоросса (или все же поляка?..) монетизировано и использовано по назначению, — Господь поцеловал Мазепу в самое темечко! — и здесь просто не о чем толковать. Но и удержаться на острие эпохи еще предстояло...

— Лешек, — сказала мне моя многомудрая Лика, когда я в который раз на нашей кухне, забыв о стынущем ужине и даже о чарке доброй горилки «Козацька рада», с запалом рассуждал о Мазепе, — надеюсь, ты не станешь рассказывать мне о боевом пути нашего славного героя с десяти гривен?.. Или я пойду смотреть телевизор!.. Там как раз «Сватов» с Олесей Железняк показывают...

Действительно, хватит ли краски и бумаги в поднебесном мире, чтобы живописать каждый год верной службы великого гетмана на благо и во славу молодой Российской империи и лично преобразователю Петру I? Да и не в том вижу я собственную задачу.

— Ну а в чем же тогда, Маршалок? — сказала мне Лика.

Тут я снова крепко задумался.

Поэтому следует сокращаться, иначе мне не выбраться из этой исторической трясины до конца пандемии коронавируса и окончательной победы нашей разливанной киевской демократии над добрососедским тоталитаризмом и русским фашизмом.

Конечно, мои коллеги по историческому ведению, получившие гранты от зарубежных информационно-идеологических центров неизвестного генеза (впрочем, вполне известного, но не будем особенно акцентировать на источниках), с той или иной степенью успеха переосмысливают роль и значение Ивана Степановича в бурной, взвихренной истории отчекрыженной от общеимперского тела Украины, — и молитвенная мантра тут, что уж греха таить, единообразна, как шеренга солдат на плацу: Иван Степанович изо всех сил «плекав» в душе великую идею независимой ни от кого Украины и был работником, «вышедшим на поле до света»...

Но так ли это? И не проецируется ли нынешняя политическая ситуация и радикальные умонастроения части нашего общества на дела и события более чем 300-летней давности? Конечно, есть такое искушение, и весьма сильное, что говорить. Особенно если не знаешь тогдашних реалий и не читаешь источников, не говоря о дореволюционных историках и их наработках. Так Владимир Антонович, Николай Костомаров, Дмитрий Яворницкий, Сергей Соловьев и другие, — историки не в пример нам, нынешним, получившим убогое, заидеологизированное образование чуть ли не под кособоким забором коммунистического строительства, на котором разве что виднелась полустертая корявая надпись из трех букв, — и я в их числе первый, — все повествовали о крайнем нерасположении Ивана Степановича к подвластному люду. Особенно раздражали его запорожцы, да это и можно вообще-то понять: своевольная, полудикая вооруженная толпа, исповедовавшая отжившие свое вечевые принципы, ставившая ни во что самого гетмана, совершенно не вписывалась в «новый порядок» Петра, застывающий в несокрушимую железобетонную форму на последующие века существования Российской империи. Мазепа тонко и остро чуял эпоху, и потому ему вовсе не надобно было объяснять, что и как делать своей властью

в Малой Руси. Но выкорчевать запорожскую вольницу, разрушить Сечь и разогнать по степям козаков — все-таки дело такое было не по силам даже Ивану Степановичу, хотя и втайне желалось ему то совершить, — кроме того, он помнил, как сидел на цепи посреди Коша, прикованный к пушке в давние годы, и сирома-козарлюги поносили его последними словами и плевали в лицо, — не забудет он и не простит того никогда!.. Но слишком свежи еще были в памяти народной события середины 17-го столетия, война с поляками за волю, героизм Запорожья и бесчисленные жертвы, положенные в основание нового народного бытия; козаки почитались защитниками веры и церкви, защитниками простого народа и его всегдашней надеждой на какую-то справедливость. Окончательное решение вопроса о ликвидации Запорожья отодвинулось до Екатерининских времен, до 1775 года, на долю же Ивана Степановича досталась малоприятная работа по закладыванию в фундамент Сечи мин замедленного действия. Да и всей Украины тоже, если на то уж пошло. Так, совершенно невозможно без эмоций, к примеру, читать Яворницкого — практически целый том из знаменитого трехтомника «История запорожских козаков» посвящен бесконечным жалобам, тяжбам и доносам Мазепы в Москву на запорожцев. Он умоляет Петра ликвидировать разбойничье гнездо на Днепре, чернит изо всех сил козаков за днепровскими порогами, просит лишить их жалования и каким угодно образом воздействовать на своевольников. В свою очередь имперская власть указывает гетману, что он-де сам хозяин на землях Южной Руси-Украины и сам должен с запорожцами разобраться. Но и в том был тонкий расчет Ивана Степановича — ведь недаром он в юности проходил обучение под сенью Societas Jesu в Европе, недаром был поклонником Маккиавели.

«Перед царем, выхваляя свою верность, он лгал на малорусский народ и особенно чернил запорожцев, советовал искоренить и разорить дотла Запорожскую Сечь, а между тем перед малоруссами охал и жаловался на суровые московские порядки, двусмысленно пугал их опасением чего-то рокового, а запорожцам сообщал тайными путями, что государь их ненавидит и уже искоренил бы их, если бы гетман не стоял за них и не укрощал царского гнева», — о том читаем у Костомарова.

О своем же давнем недруге, кошевом Косте Гордиенко, Мазепа писал Головину: *«Запорожцы ни послушания, ни чести мне не отдают, что имею с теми собаками чинити? А все то приходит от проклятого пса кошевого... Для отмщения ему разных уже искал я способов, чтоб не только в Сечи, но и на свете не был, но не могу найти...»*

И самое поразительное во всем последующем политическом винегрете: именно Кость Гордиенко оказал переметнувшемуся к шведам Ивану Степановичу моральную и войсковую поддержку и привел за собою четыре тысячи запорожцев. А ведь больше — никто...

— Это вместо двадцати тысяч?.. Не о чем говорить, — вставила свое лыко в строку моя многомудрая подруга по жизни.

Этот Кость Гордиенко до конца своих дней был враждебно настроен к Москве и преобразованиям, проводимых имперской властью на Украине. Мазепа — по распоряжению Петра — строил вместе с московскими ратниками укрепленные городки на Самаре как некую засечную черту от крымских татар, — Гордиенко их разрушал и чинил всяческие пакости строителям, мотивируя тем, что строительством этим нарушены запорожские «вольности». Мазепа мирился с крымчаками и турками по различным тактическим поводам — Гордиенко эти договоренности вменял ни во что и грабил османские купеческие караваны, не пропуская их в Гетманщину через все те же «вольности», или же требовал за проход громадную плату с купцов, — и все это весьма напрягало как гетмана, так и московских властителей, не говоря о турецком султане и крымских ханах, ибо без конца с той или иной интенсивностью все это продолжалось на протяжении долгих двадцати лет, — никакой управы на Гордиенка не было. Его несколько раз сбрасывала войсковая громада с запорожского уряда, но те, кто приходил на смену неугомонному Костю — Гусак, Крыса и другие — тоже исповедовали «символ веры» Гордиенка, а иначе в ту пору и быть не могло. Затем Кость снова принимал в руки оправленную в серебро камышину, символ власти над Кошем, и снова начиналась буза...

Мазепа в стремлении обуздать Запорожье вынужден был выставить заставы в степи, чтобы пресечь пополнение Сечи свежими силами и «шатунами» с Гетманщины, и в приказе об этих заставах писал недвусмысленно: *«Вся беда от этого пса Гордиенка. Он подстрекал запорожцев; чтобы не присягали. Пока этого проклятого пса не уничтожат, до тех пор нельзя от запорожцев надеяться покорности».*

Более того, в 1703 году, когда среди запорожцев начались особые «шатости», Мазепа предложил Москве на козаков «несколько десять бомб бросить»... По этому поводу Т.Г. Таирова-Яковлева, историк из Санкт-Петербурга, высказывает небезынтересную гипотезу о роли раздоров с Сечью в переходе Мазепы к шведам: *«Кто знает, может быть, Мазепа, понимая, что гибнет, намеревался утащить в эту пропасть и*

Запорожье, которое он всегда считал врагом Гетманщины?»

Да и всю Украину в целом — тень предательства легла не только на весь южнорусский народ, но и окончательно развязала руки московским царям в деле отмены даже той символической автономии края, которая в ошметках — не без деятельного участия прежних гетманов Руины — дотлевала с Переяславских договоренностей 1654 года.

Глава 23. ДОНОСЫ И УСТРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ

Верная «подножка Москвы», Иван Степанович не терпел рядом с собой соперников и ярких, харизматичных лидеров. Таковыми — с некоторыми оговорками — были кошевой Запорожья Кость Гордиенко, фастовский полковник Семен Палий, генеральный судья Леонтий Кочубей и некий Петро Иваненко по прозвищу Петрик. Этот национально-»свидомый» авантюрист и самозванный гетман так называемой — придуманной им самим — «Ханской Украины» много крови попортил в свое время Ивану Степановичу. Вот, к примеру, одно из его воззваний, направленных на Запорожье, которое он пытался увлечь на борьбу против Мазепы и московитов:

«Неудивительно, что так поступает польский король: мы были когда-то его подданными, с Божиею помощью при Богдане Хмельницком отбились от подданства его власти и так много вреда ему наделали, что он до сих пор не оправится. Неудивительно, если крымский хан с нами враждует: мы из давних времен причиняли вред Крымскому государству и теперь всегда чиним. Но дивны поступки московских царей: не мечом они нас приобрели, а предки наши добровольно им поддались ради христианской веры. Переселивши с правой стороны Днепра на левую наших жителей, москали обсадились нашими людьми от всяких неприятелей, так что откуда бы неприятели ни пришли — будут прежде жечь наши города и села, наших жителей забирать в полон, а Москва будет находиться от них в безопасности за нами, как за стеною. Этим не довольствуется Москва, а старается всех нас обратить в своих невольников и холопов. Сперва они гетманов наших Многогрешного и «поповича», которые за нас стояли, забрали в неволю, а потом и всех нас хотели поворотить в вечную неволю. Нынешнему гетману допустили они раздавать городового войска старшинам маетности, а старшины, поделившись между собой нашей братиею, позаписывали ее себе и своим детям навеки в неволю и только что в плуг не запрягают! Москва дозволяет нашим старшинам чинить подобное для того, чтоб наши люди оплошали и замужичали, а москали тем временем завладели бы Днепром, Самарою и настроили бы там своих городков! Я также вам сообщал, что король польский, недовольный московским царем за то, что не воевал Крыма, хотел сам, помирившись с ордою, идти на Москву и отобрать в свое подданство нашу Украину. А каково было бы тогда нашей Украине? Не были ли наши братья и на кольях, и в водных прорубях? Не принуждали ли козацких жен опаривать кипятком детей своих, не обливали ли ляхи наших водою на морозе, не насыпали ли им в голенища горящих угольев, не отбирали ли жолнеры у наших людей их достояние? Все это вы помните, и ляхи этого не забыли, и разве не стали бы они того же чинить над нами снова!.. <...> Не затем начали мы наше дело, чтобы воевать своих людей, а затем, чтоб освободить их и себя от хищничества москалей и панов наших. Сами вы, умные головы, рассудите и сообразите, лучше ли быть в неволе или на воле — чужим слугою или самому себе господином, — у москаля либо у ляха мужиком или вольным козаком? Когда славной памяти Богдан Хмельницкий с войском Запорожским при помощи орды выбился из лядского подданства, разве дурно было тогда Украине? Разве не было тогда у козаков золота, серебра и сукон дорогих, и табунов лошадей, и черед рогатого скота?.. Всего было вдоволь. А как мы стали московского царя холопами, так опустела вконец чигиринская сторона, а у перегнанных на левую сторону Днепра наших братии не только что не стало достояния, да и лаптей негде было взять! Большая часть наших братии осталась в неволе в московских городах, а других татары каждый год в полон вместо дани забирают, о чем сами вы знаете...»

И дело его не ограничивалось только воззваниями и призывами — Петрик с крымской ордой и самыми забубенными запорожцами совершил несколько рейдов по Гетманщине, доходил до Полтавы...

Но народ, констатирует Костомаров, *«ни на волос не обольстился его воззваниями, не показал желания пожертвовать жизнью и достоянием ради освобождения от московской власти, не усматривал в Петрике нового Хмельницкого, и Мазепа, казалось, имел право уверять московское правительство, что все взводимое Петриком и подобными ему зложелателями об утеснениях народу есть ложь, — в Малороссии все, старшие и меньшие, живут счастливо, в изобилии и довольстве, никто никого не насилует, никто ни от кого не терпит»*. А то, что какой-то пьяный козак, как доносили гетману стрельцы из его охраны, размахивая саблей, кричал в корчме: «Станем рубить москалей!» — то это не более, чем случайность, — понятно,

что неразумный крикун тут же был схвачен, подвергнут истязаниям и, скорее всего, казнен, но Костомаров все-таки замечает по этому поводу: *«Можно было опасаться, что мятежник действительно угадал народное желание...»*

Какие же действия Ивана Степановича, бескомпромиссного «борца за независимость», каковым его ныне провозгласили потомки? Очень простые: не в свои сани — не садись!.. Иван Степанович долго боролся с Петриком, до тех пор пока не уничтожил. По каким-то непроверенным данным, некий осавул Вечирка из Гадяча, искусившись 1000 рублей, обещанных Мазепой за голову Петрика, пробил его насквозь копьем в схватке то ли под Голтвой, то ли под Кишенкой да сам затем был изрублен татарами, — как бы там ни было на деле, остается только признать, что Иван Степанович уничтожил Петрика, так что ни год рождения, ни год смерти его никому неизвестен. И памяти самостийнику Петрику нет никакой на Украине. Прежде позор, а затем и слава в мнимом освобождении от Москвы целиком досталась Ивану Степановичу. Нечего лезть поперед батьки в пекло... Или — в святые?..

Весьма досаждали Мазепе эти беспрестанные жалобы, доносы и подметные письма от его тайных и явных врагов, но царь Петр ни во что их вменял, более того, после каждого доноса жаловал Ивана Степановича за моральный ущерб дачами, грунтами и дорогими подарками, чтобы тот не кручинился, ну а доносчиков выдавал ему на расправу и казнь. Мелких людишек Иван Степанович даже демонстративно щадил, дабы все видели его христианское милосердие ко врагам, заповеданное Евангелием, а крупных противников, как Искра и Кочубей, без милости истязав и выпытав об утаенных сокровищах, конечно, казнил.

Для краткости моего изложения стоит привести здесь типовой донос на Мазепу:

«9 марта 1690 года в Киеве стрелец Евстратка в Пятницких воротах Печерского местечка поднял письмо и принес его своему капитану, а последний доставил это письмо царскому киевскому воеводе. Письмо это заключало в себе предостережение от «злопрелестного гетмана Мазепы». Оно выдавалось написанным жителем правой стороны Днепра, уступленной Польше. Припоминалось, как этот Мазепа когда-то людей православных русских — подольских и волынских — хватал и продавал бусурманам, обдирал в церквах с икон серебряные оклады и отдавал туркам, как после того своего пана гетмана (Самойловича) задал в вечное бесславие и бесчестие и завладел его достоянием, с которого потом покупал сестре своей маетности в польских владениях, а на остаток, что горше всего, стакался с Голицыным, хотевшим жениться на царевне Софии и изгнать с престола и со света царя Петра, с тем и приехал в Москву, чтоб, устранивши Петра, устроить на свой счет свадьбу Голицына с Софиею. Они вместе затевали «искоренить, погубить и в ничто обратить престол от века сияющий и страшный всем гонителям на благочестие. Иные из соумышленников уже приняли суд, а его, который есть источник и начало пагубы, вы сохраняете на таком уряде, на котором если первого своего замысла и не учинит, то уже подлинно управляемый им край злою хитростию своей отдаст в нашу сторону, где все церкви Божии и людей вера благочестивая скончаются под игом польским, и вашей власти упадок, и нам кончину, и благочестию православному конец учинит прелестник Мазепа. Доколе же вы этого злодея, губителя будете держать? Ваше царское благочестие промышляете, как бы заграничных врагов победить, а этого домашнего врага бережете на пагубу своему царству! У нас в короне Польской издавна так и ведется, что умышлявших зло королю казнят смертью и роды их, сеймовыми конституциями обесчещенные, пребывают вечно под банницею и только для того держатся, дабы другие, видя постигшую их от Бога и Речи Посполитой пагубу, каялись и не покушались мыслить зла королю своему; сей же на ваше царское здоровье умышлял, и ему как будто все прощено, и он ищет способа, как бы своего достичь! Вот и Шумлянский наш униат, а на самом деле римлянин (папист), изъявляет желание поддаться под власть патриарха московского, а все это для того, дабы через свою волчью покорность, вступивши под власть святительскую, мог вместе с злодеем гетманом учинить пагубу вашему престолу. Мы сердечно скорбим о таких изменнических видах против вашего престола и не желаем, чтобы цел оставался враг, чрез которого пала бы стена благочестия нашего, когда вы сами государи для того и мир с польским королем постановили, чтобы сияло благочестие».

И что же? Да все то же: подозреваемого в доносе арестовали в Москве.

«И прежде, как мы видели, не доверяли таким доносам, — подводит итог Костомаров, *— теперь же, когда царь Петр был особенно доволен гетманом, его положение в виду всяких доносов становилось еще крепче. К гетману послали похвальную грамоту и подарки, состоявшие в соболях, ценою на 1000 рублей, в кусках материи — атласа, бархата, байберека — и в разных столовых припасах (ренское вино, лимоны, рыбы и проч.). Разом посланы подарки старшинам и полковникам, состоявшие в объярях, атласах, камках и соболях. Гетман, изъявляя благодарность за внимание, сделал такое*

замечание царскому послу: «Иду на царскую службу не с веселым, а с унылым лицом, оттого что про меня выдумывают худые речи, будто я лях: у меня и дед, и отец родились в Украине и служили великим государям, и я царскому пресветлому величеству служу верою и правдою!»

Все-таки странным человеком был Петр I. Ведь это был не единственный такой донос на Мазепу, но их и сосчитать затруднительно ныне. Те, кто писал их, кто доставлял с немалыми трудностями московским воеводам и царедворцам, знали, что рисковали жизнью своей, — но ничто не могло поколебать доверия и дружбы молодого царя к малороссийскому гетману. Даже когда донос о готовящейся измене принес лично генеральный судья Гетманщины Василий Кочубей, второй человек в войсковой иерархии Малой Руси, а с ним вместе значный войсковой товарищ Искра, бывший полтавский полковник, — и прямо было указано ими о тайных сношениях с новоизбранным польским королем Станиславом Лещинским и шведским королем Карлом XII, — причем они уже в третий раз пытались донести до слуха царя весть о готовящейся измене, — Петр только рассвирепел и написал Головкину и Шафирову, которые вроде бы расследовали материалы доноса, что «слышит со стороны Кочубея и Искры тяжкое преступление и враждебные интриги». Доносчиков арестовали и передали ни в чем не виноватому, как всегда, Ивану Степановичу. Пытки, которым подвергли несчастных, были столь жестоки, что они, как при Сталине, сознались во всем: да, по личным мотивам оклеветали кавалера высшего ордена Российской империи, — один, вероятно, награде позавидовал, другой мстил за соблазненную гетманом малолетнюю дочь, коей тот, помимо прочего, был еще и крестным отцом. Стоит ли говорить тут о том, что все немалое движимое и недвижимое имущество с землями и селами перешло в личную собственность Ивана Степановича?.. Спустя год то, о чем предупреждали несчастные Искра и Кочубей, стало реальностью, и Петр испил горькую чашу запоздалого прозрения. Закончив военное дело в Полтаве и в целом компанию, села и грунты, да еще и с прибавкой, он вернул семьям страдальцев за «единую и неделимую», а в 1908 году, к 200-летию их гибели, в местечке Борщаговка, где они приняли смертные муки от Мазепы, был установлен памятник им, переживший, как ни странно, все драматические события 20-го века, и стоит до сих пор. В 1914 году и в Киеве, к 200-летию Полтавской победы, имперским правительством, русскими национальными организациями и церковью был тоже поставлен памятник Искре и Кочубею, но просуществовал он всего четыре года: его уничтожили «свидомые граждане» Украинской народной республики во время гражданской войны, но постамент сохранился — в 1923 году на нем появился памятник рабочим завода «Арсенал», содействовавшим установлению в Киеве власти большевиков.

К слову сказать, в 1917 году именем Костя Гордиенка был назван Гайдамацкий конный полк, который принимал участие в боях с большевиками в Киеве, Полтаве и Бахчисарае. Этот полк был первым регулярным воинским подразделением армии УНР. Так что дело Ивана Степановича и его сподвижника вовсе не забылось потомками. Сегодня же именем Костя Гордиенка наречен бывший переулок Чекистов в Печерске, неподалеку от дома, где мы с Ликой влачим свои не очень веселые дни в разнообразных заботах о хлебе насущном, — и нечто глубоко символическое есть в этом переименовании.

Глава 24. ФАСТОВСКИЙ ПОЛКОВНИК ПАЛИЙ

Последним выдающимся королем Речи Посполитой стал Ян III Собеский, сменивший на польском престоле Михаила Корибута Вишневецкого, сына знаменитого Иеремии, о котором мне уже не раз пришлось говорить. Этого Михаила, по слухам, отравили во время причастия во дворце латинских архиепископов во Львове в самый день Хотинской битвы, в ноябре 1673 года. К слову надо еще раз отметить, что Михаил, по странному стечению разнонаправленных обстоятельств — и над этим тоже следует поразмыслить — стал первым с 14-го столетия королем Польши туземного, так сказать, происхождения — он не только родился на землях Южной Руси-Украины, но и в жилах его текла как русская, так и польская дворянская кровь, а по бабушке, Раине Могилянке, он принадлежал высокому боярскому роду молдавских господарей, и его дядей был знаменитый митрополит Киевский Петр Могила. Все предшествовавшие ему короли были варягами — шведами, французами, трансильванцами, немцами... Но происхождение и заслуги родни никак не повлияли на его недолгое пребывание на королевском престоле: Михаил пробыл королем всего четыре года и потерпел сокрушительные поражения в войне с Османской империей, потерял стратегически важный Каменец-Подольский и в целом Подолию, ставшую на долгие годы одним из турецких вилайетов. Все это отвоевывать и возвращать (кроме Каменца) пришлось уже Яну Собескому. Смерть 33-летнего короля в самый канун решающего знаменитого сражения

отнюдь не сказалась на боевом духе поляков — Ян Собеский, бывший в то время коронным гетманом, в прах разбил турок и захватил Хотинский замок, но Каменец все-таки тогда устоял — война хотя и преломилась в пользу Речи Посполитой, но далеко не закончилась. После этой славной битвы Собеский получил прозвище «Хотинский лев», а престиж Речи Посполитой в европейском контексте весьма возрос. В следующем, 1674 году, Собеского, как последнюю надежду поляков на восстановление утраченных территорий, избрали на королевский престол. Он оправдал не только надежды своих соотечественников, изнемогающих под бременем нескончаемых войн, но в 1683 году спас и Европу — когда османские полчища предприняли очередной, но уже оказавшийся последним в истории турецких завоеваний, сокрушительный натиск на Запад: 200-тысячное войско султана Мехмеда IV докатилось до Вены и взяло город в жесткую осаду. Коалиция христианских держав, которую по своему королевскому статусу возглавил Собеский, имела вдвое меньшее количество воинов — поляков насчитывалось всего 25 тысяч, остальные были австрийцы и немцы, — нанесла туркам сокрушительное поражение. Собеский планировал отвоевать у османов заодно и дунайские княжества и, по праву войны, раздвинуть границы Речи Посполитой до Черного моря, но в этом стремлении потерпел неудачу — четыре похода после Вены в Молдавию и Валахию закончились неудачами, да и Габсбурги не поддержали военных амбиций польского короля — усиление одного из игроков высокой европейской политики не входило в планы Австрийской империи Габсбургов, — а во время последнего похода 1691 года в Молдавию польский король чудом избежал плена. Ян Собеский стал и архитектором знаменитого «Вечного мира» с Россией, чрезвычайно выгодного для поляков, но не для России отнюдь. Архитектором столь умелым, что русская несметная армия дважды тучей нависала над Крымом, но и откатывалась обратно, — Крымское ханство, высокоорганизованное и четко структурированное, реально препятствовало польскому королю «решить вопрос» с выходом к Черному морю.

Но все это общеизвестно, конечно же, и рассказываю я о последнем великом короле Речи Посполитой перед ее закатом в 18 веке в контексте последующих событий на землях Южной Руси.

— Да-да, — поддержала меня моя Лика, — отдохни от нашего героя и родного отца Ивана Степановича, все равно тебе его не уложить в прокрустово ложе твоего суемудрия...

— Хорошо, — сказал на это ей я, — слушай тогда про Семена Палия, — я ведь не просто так завел волынку про Собеского.

— Кто бы в том сомневался!..

Ян Собеский был не только талантливым военачальником и дипломатом. Он по праву считается самым образованным королем Речи Посполитой — знал четыре языка, до Хмельниччины жил несколько лет в Европе, где с братом Мареком получил хорошее и всестороннее образование. Братья, ввиду гражданской войны Хмельницкого, в 1648 году прервали свое заграничное путешествие и вернулись отстаивать целостность любимой отчизны. Марек, правда, во время одной из последних битв 1653 года попал в плен к крымским татарам, тогдашним союзникам Богдана Хмельницкого, да так и сгинул бесследно в Крыму. Ян, кроме боевых действий, принял участие в дипломатической миссии в Константинополь и даром там времени не терял: изучил государственное устроение Османской империи, освоил турецкий язык... Военные победы Собеского говорят за себя сами, а «Вечный мир» с Россией, по которому Польша навсегда уже отказалась от претензий на Киев и сподвигла Россию к двум походам на Крым, можно считать феноменальным успехом его дипломатии. Что же касается Каменца-Подольского, самой чувствительной потери Речи Посполитой, то владычество турок продолжалось там 27 лет, и только лишь на излете 18-го века, в 1699 году, потерпев сокрушительное поражение от австрийцев в битве при Зенте в 1697 году, османы были вынуждены практически от всех своих завоеваний отказаться — Речь Посполитая получила обратно свой Каменец и в целом Подолье, Австрия на последующие столетия получила Венгрию, Трансильванию и Тимишоара, Венеция — Морею и Далмацию. До этих побед Ян Собеский не дожил буквально двух лет, и подольский триумф достался его преемнику на королевском престоле, Августу II Сильному, курфюрсту Саксонии.

В этом контексте следует отметить и его гибкость по отношению к своим соотечественникам, малороссиянам. Ян Собеский оказался не совсем тривиальным королем и не был таким узколобым и упертым догматиком, как, к примеру, Сигизмунд III Ваза, — он понимал, что новое время европейской политики диктует и новые подходы к застарелым проблемам. Как государственный деятель, он не мог смириться с непреложным фактом конечной потери Руси-Украины. Впрочем, поляки никогда этого так и не приняли. И вот король в 1684 году особым универсалом призвал охочих малороссиян возвращаться на Правобережье, и в 1685 году даже своевольный и обычно несговор-

чивый сейм утвердил «принятие в отеческое покровительство всех козаков, которые пожелали бы поселиться в Украине, признав над собою власть гетмана, поставленного от Речи Посполитой, с правом пользоваться всеми вольностями и привилегиями, дарованными прежними польскими королями козацкому званию». Эта смелая и независимая политика Собеского не только в корне противоречила всем предшествовавшим договоренностям с Москвой и Константинополем, по которым Правобережье обрекалось на запустение и безлюдье, и стало своеобразной буферной, нейтральной зоной трех государств, но и создавала реальную геополитическую угрозу для Москвы. Села и города правого днепровского берега со времен «великого сгона» и депортации населения гетманом Самойловичем захирели, частично исчезли, поглотились подлеском и затянулись землей. В полуразрушенных крепостях жили разве что дикие звери. Как тут не помянуть еще раз «Летопись Самовидца» с пронзительным описанием того, что он увидел на Правобережье во время Северной войны? Но и в Слободской Украине переселенцы столкнулись с немалыми трудностями: великорусские помещики Юга России жестоко закабаляли новоприбывших, да и новые господа малороссийского рода, войсковые значные товарищи козацких полков, были падки на дармовую добычу: пожалованные Петром I грунты надо было ведь обихаживать, а без оседлого посполитого люда это было совсем невозможно. Имели место насилия и принуждения, принимавшие порой массовый характер. По известному свойству короткой человеческой памяти, былые родные места на правом берегу Днепра с течением времени романтизировались, приобретали фантастические черты, особенно в сравнении с тяжелой реальностью и закрепощением переселенцев на новых местах обитания, и уже детям, родившимся в Слободской Украине, матери и бабушки повествовали об утраченном рае Правобережья, о земле обетованной, где текли молочные реки, обрамленные кисельными берегами и летали диковинные яркие птицы-павлины, и люди жили там когда-то свободно, вольно и счастливо. И совсем не понять было простому народу причин этого жесткого «великого сгона», в результате которого Левобережье оказалось перенаселено, и земли не хватало, и помещики, как свои, так и российские, прежде зазывавшие переселенцев и сулившие великие льготы, начали жестко закабалять людей, — и деваться от этого некуда было — разве что тайком, темной ночью переправиться на плоту через Днепр, обратно в прежний свой рай, и по новой осваивать пустоши.

Понятно, что универсал Яна Собеского и сеймовая конституция о возобновлении козачества отвечали «вызовам времени», так сказать, но и весьма напрягли московские власти: ведь нарушались не только международные прежние договора, но и обратный отток населения на «нейтральную территорию» вовсе не входил в планы Москвы. Гетману Ивану Мазепе строго было предписано не пропускать беглецов и обратных переселенцев, ловить их, наказывать и возвращать восвояси, — но как ему было крепкой заставой охватить бескрайний берег великой нашей реки?.. Да выстави он всех своих козаков в пограничную цепь, все равно не хватило бы войскового народа. Поляки же ничтоже сумняшеся не только раздавали «приповедные листы», позволявшие атаманам собирать в свои новообразованные полки на Правобережье вольный народ, но и русины Червоной Руси, Подолья, Волыни, Полесья и других областей Речи Посполитой были увлечены этой мечтой: выйти из крестьянского звания и стать козаками. Но без привычного своевольства дело не обошлось: «приповедные листы» горячие головы, которых всегда на Украине было немало, расценили как дозволение возобновить неприязненные действия против панов. Так, еще до сеймовой конституции, некий Мирон, *«наказной гетмана Могиленка, рассылал повсюду своих посланцев уверять народ, что королевским универсалом дозволяется «хлопам» отрекаться от повиновения панам своим и идти в козаки. Польский регментарь (военачальник) указывал шляхетству ловить таких возмутителей, отсылать к суду и сажать на кол. Но это не прекратило последующих попыток. В разных местах проскакивали бунты хлопов — мещан и крестьян, раздавались похвалки молодцов топить всех ляхов, а иногда совершались побои и истязания над особами шляхетского звания»*, — так повествует о том Костомаров.

Конечно, Собеский вел с козаками весьма опасную игру, выпуская джина из бутылки. Вероятно, он надеялся, что новые переселенцы и возобновленные на Правобережье козацкие полки оценят его беспримерное благородство, и Речи Посполитой удастся вступить в одну реку во второй раз, но не все происходит так, как нам бы хотелось того. И благородство в любые эпохи оценивалось только как слабость и никак не иначе.

Но вернемся все-таки к последовательному изложению того, что происходило на Правобережье после универсала Собеского и знаменитой сеймовой конституции 1685 года.

В скором времени на пустующих землях правого берега большую популярность

приобрел полковник Семен Гурко, во время своего пребывания в Запорожье получивший прозвище Палий, — должно быть, за неуемную жажду предавать огню (палить) татарские аулы в Крыму. Собеский позволил ему возобновить городок Фастов, что он и сделал, и к этому харизматичному и отважному человеку валом повалили толпы народа. Некий современник уже в 1692 году называет тамошние козацкие полки весьма многолюдными. Но надежды Яна Собеского на какое-то чудо, которое преобразило бы народную соборную волю русинов в нечто благорасположенное к мирному существованию под сенью Белого орла и совместному жизнетворчеству, рассыпалось в прах: тот же современник свидетельствовал, что во всех этих новых полках зародилось одинаковое стремление — освободить южнорусский народ от власти поляков, обратить панских холопов в вольных козаков и присоединить Правобережную Украину — по-прежнему — все к той же Московской державе...

Вполне вероятно, что такой неожиданный (впрочем, вполне ожидаемый) геополитический разворот имел подоплекой все ту же историческую память, глубоко въевшуюся в малороссийский соборный геном: неисчислимые беды от горделивых польских панов, потоки крови, пролитые в гражданских войнах со времен Косинского, Наливайка, Павлюка, Трясила, Гуни, Острянина, Хмельницкого, нескончаемая Руина и запустение Южной Руси в результате 13-летней русско-польской войны, и опять-таки — нескончаемое духовное и физическое насилие над верой и совестью православных, силой принуждаемых к принятию унии, — каким универсалом и какой конституцией все это кровавое месиво можно было перебить или же преобразить?.. Чуда не произошло — и козаки снова «тянули» к Москве... Решение польского сейма, правильное по сути своей, о заселении пустошей и возобновлении козацких полков сами козаки расценили не как благородный жест польского короля, но как слабость, — а раз так, то вступал в силу извечный закон «падающего — подтолкни»... С Левобережья за всеми этими процессами пристально следил гетман Мазепа, по мере необходимости сносясь как с полковниками Палием, Самусем, Искрой и другими, так и с верховной властью в Москве.

Тяготение правобережных козаков к воссоединению с братьями в Гетманщине и в целом с Москвой как раз меньше всего входило в планы молодого Петра: Россия по мере своих сил стремилась исполнять договоренности «Вечного мира» с Речью Посполитой, созданного для реального противодействия Османской империи. А тут получался весьма чувствительный диссонанс: подданные Речи Посполитой не только сами стремились перейти под омофор России, но и прихватить с собой правобережные земли, крепостицы и города — Белую Церковь, Паволочь, Фастов, Немиров, Чигирин, — в какое, скажем мягко, неловкое положение ставили неуемные козаки московские власти? К тому же снова назревала затяжная война со Швецией, в которой московскими стратегами Польша рассматривалась как союзница... Конечно, инициативы Семена Палия и Самойла Самуся были совершенно неуместны в этом контексте. Мазепе было приказано, по мере возможностей, остужать горячие головы правобережных полковников и атаманов.

«Я нашел здесь край опустелый, — писал Палий в 1694 году Мазепе, — *и работал около Фастова, как около своего хозяйства, обширные поля засеялись хлебами, умножились жители, да не так из польских панских подданных, как с берегов Днепра, из Войска Запорожского и из Волошского края; и церкви Божии на славу имени Божия я построил и украсил».*

Великорусский священник Иоанн Лукьянов, путешествовавший в Святую землю через Малороссию, оставил бесценные записки о посещении Фастова и о насельниках его, палиевцах. Я уже частично ссылался на них, когда рассказывал о запустении Правобережья по трехстороннему договору между Варшавой, Москвой и Стамбулом. Московита все здесь удивляло и больше всего удивляли люди, конечно же, совсем непохожие на тех, среди которых он жил в Московской Руси. Впрочем, и козаки весьма удивлялись московским гостям-путешественникам.

Городок Фастов стоял на горе, — отмечал о. Иоанн, — вокруг всего жилья в нем был высыпан земляной вал, а по верху его шел деревянный острог, «сидельцами крепок». В земляном валу было несколько проезжих ворот, подле них были выкопаны ямы, выстланные соломой. *«Там,* — говорит очевидец, — *лежала палиевщина, человек по двадцати и по тридцати в каждых воротах; они голы, что бубны, без рубах, наги и страшны зело, а за ними в ворота нельзя ни с чем проехать из сел: дрова ли, солому, сено... с чем бы ни ехали, — они все рвут, что собаки».* Простояв с полдня в Фастове, путешественники отправились дальше, утром достигнув городка Паволочи. Путешественники прибыли туда в заговенье перед масленицей: в этот день отправлялось там множество свадеб. Тут встретили они толпу палиевцев, которые, как только увидали проезжих москалей, бросились смотреть на них, как на невидаль. *«Обступили нас, как есть около медведя. Все голытьба беспорточная, на ином и клока рубахи нет, страшны*

зело, черны что арапы и лихи что собаки: из рук рвут. Они на нас стоя дивятся, а мы им втрое, что таких уродов мы от роду не видали». Оставив Паволочь, набравши там на дорогу для себя всякого съестного, а для лошадей — овса и сена, путники пустились на пять дней в «печальное и уныливое путное шествие» по пустыне, где не встретили ни городка, ни села вплоть до полуразоренного Немирова. Поклонившись иерусалимским святыням, на обратном пути о. Иоанн с бывшими при нем богомольцами снова держали свой путь по пустошам правого днепровского берега, через все тот же Немиров, до владений Палия. Двигались они в составе купеческого каравана, возвращавшегося из Османской империи в Московскую Русь. Охраняли караван турки, но перед Паволочью турки повернули назад. Говорили, что проводили бы купцов и богомольцев до самого Киева, но боятся Палия. «Разве Палей своевольный у государя своего?» — спросили русские турок. Турки отвечали на это: «У нас про него ходит страшно грозная слава, и мы никого так не боимся, как его!» Наконец добрались до Паволочи. Находившийся там наказной Палиев полковник, услышав о приближении каравана, приказал ударить в бубны и литавры. По такому сигналу подчиненные ему козаки-палиевцы оседлали коней и выехали в поле с знаменами. «Было их, — говорит священник, — человек триста, и выскакивали они из кустов, словно зайцы, кучками человек в 20 и 30, стали гарцевать на конях, бросать копья, пускать стрелы из луков, стрелять из пистолетов, а турки, провожавшие караван, как увидали палиевщину, так и стали ни живы, ни мертвы». Полковник подъехал к купцам и всех их приветствовал, а купцы угощали козаков водкой. Караван остановился табором за городом, в поле, и полковник прислал туда овса, всякого съестного и меду. Турки далее Паволочи не стали провожать путешественников; охрану их приняли теперь на себя палиевские козаки. Когда путешественники прибыли в Фастов, Палия там не было; он уезжал в Киев, а вместо него управляла тогда всем полком его жена. Она выслала навстречу за пять верст путникам 500 конных козаков, а когда караван стал табором в поле, прислала туда говядины, калачей и вина. Путешественники пробыли в Фастове целый день. Палиева жена звала купцов к себе на обед и говорила: «Зачем вы до нас турок не довели? Пусть бы они узнали, каков мой господин Палий, и я знала бы, как их угостить! Жаль, что без почести гостей отпустили! Я бы им дала назад провожатых человек пятьсот через лядскую землю». Из Фастова два дня до Киева провожали путешественников уже палиевцы.

В этих записках, на мой взгляд, все ценно, особенно эти бытовые зарисовки о. Иоанна о том, что из себя представляли новые насельники Правобережья, с каким озорством и похвальбой своими войсковыми умениями они встречали гостей... Да и сама жена Палия, оставшаяся на войсковом хозяйстве без мужа, являет собой яркую, властную южнорусскую «жинку», каковых мы знали и знаем в обилии в нашем детстве и юности.

Как бы там ни было позже, но до 1688 года открытых конфликтов у новоприбывших на пустоши Правобережья с поляками не было. Палиевцы несколько раз ходили в совместные с поляками военные походы на Крым и в Молдавию, в 1683 году козаки Палия были в тех 25 тысячах польского войска, принимавших участие в разгроме турок под Веной. При непосредственном участии Палия в 1684-1685 годах были созданы Фастовский, Богуславский, Брацлавский и Корсунский полки, — и вроде бы смелая инициатива Яна Собеского приносила реальные плоды. Но это если судить поверхностно и не вдаваться в подробности. На деле же, закрепившись на Правобережье и войдя в силу, козаки больше не таили все ту же исконную мечту объединения с Гетманщиной и в целом с Московским царством. В 1688 году Палий через гетмана Мазепу обратился с просьбой к царю принять «под свою высокую руку всю Белоцерковщину и Фастовщину и причислить к регименту Войска Запорожского». Из Москвы пришел на это уклончивый ответ: Палию и всем козакам, кто захочет, разрешалось частным порядком перейти на московский берег Днепра и либо пристать к Запорожской Сечи, либо поселиться в полковых городах Гетманщины. Но Палия такой ответ не удовлетворил: ему мечталось привести под высокую государеву руку все Правобережье, всю страну, населенную малороссиянами, весь войсковой люд, крепости, земли и города. Но опять все это было не к месту совсем для Москвы, и ситуация напоминала давнюю, с Богданом Хмельницким, когда тот через голову тогдашних московских стратегов заключил союз против Речи Посполитой со шведами, в то время как московиты заключили с поляками перемирие именно для ослабления Швеции. Вот и сейчас — в силе был «Вечный мир» с Польшей и европейский союз против османов... Москва просто не могла принять палиевцев, тем более с землями и городами. С конца 1688 года начались трения между поляками и козаками, переходящие в боевые стычки, сопутствовали этому и погромы евреев, арендаторов и купцов, осквернения костелов и синагог. Поляки, очнувшись от упоения недавними победами над османами и сняв розовые очки, уже не раз пожалели о скоропалительном

восстановлении козацких полков на Правобережье: в походы против бунтовщиков несколько раз выдвигались многотысячные отряды кварцяного коронного войска. Палий и Самусь снова и снова безуспешно просили у Мазепы содействия — как политического, так и военного, — но гетман непреклонно выполнял высокую волю Москвы: не вмешиваться ни во что. Более того, Мазепе даже было рекомендовано противодействовать Палию в боестолкновениях с панами. Иван Степанович реально мог только без устали писать Палию увещевательные послания... Палий трижды умолял о предоставлении ему подданства и трижды получал отказ. Однако, несмотря на отказы, он неоднократно оказывал существенные услуги Мазепе, закладывая, как ему казалось, фундамент под будущее политические и военное сотрудничество. Так в 1690 году он, как знаток нижнего течения Днепра, командовал козаками Мазепы в успешном походе и покорении турецкой крепости Кизикермень.

Но напряжение с поляками тем временем все возрастало. Палий в письмах советовался с Мазепой, как ему быть, если в Фастов вступят польские хоругви, которым он не сможет противостоять: отступать ли ему в Киев под защиту царской власти или обороняться, ожидая от царя помощи? В свою очередь и сам Мазепа советовал московскому правительству принять все же Палия с его воинством, оказать ему какую-то паллиативную помощь и, в частности, как на один из вариантов указывал на запустелый городок Триполье, вошедший по мирному договору в черту царских владений на правой стороне Днепра: там, казалось Мазепе, возможно было поселить Палия с его подначальными не без выгоды для государства в видах обороны Киева. Но из Москвы получен был все тот же привычный отказ — «Вечный мир» с Речью Посполитой для московитов воистину был вечным и нерушимым... Все это до чрезвычайности напоминало события полувековой давности, когда Хмельницкий трижды просил Алексея Михайловича о подданстве, но московиты несколько лет колебались и не решались на такой роковой шаг, не суливший ничего доброго, кроме затяжной войны с Речью Посполитой, которую Москва в конце концов и получила. Этим путем пришлось отправляться и Палию. В тщетных надеждах сохранить сложившееся на Правобережье положение, он пытался договариваться как с поляками, так и с Крымской ордой. Как видим, игроки на политическом поле Южной Руси-Украины были все те же — поляки, османы и московиты, — и Палию приходилось, как когда-то Хмельницкому, лавировать между этими «тремя соснами». В начале нового века в эту триаду добавились еще и шведы со своим воинственным королем Карлом.

В 1692 году отношения Палия с поляками стали еще более запутанными и тяжелыми. Король Ян Собеский к этому времени тяжело болел, внутри королевской семьи царил раздор: старший сын не ладил с матерью и младшими братьями, каждый из которых претендовал на престол (в результате престол уплыл из рук Собеских), королева от имени мужа открыто торговала должностями, громадные суммы тратились на помпезные украшения семейных резиденций в Яворове, Золочеве, Поморянах и Жолкве. После смерти Собеского в 1696 году страна вступила в так называемое бескоролевье и раздиралась не только смутой и бунтами козаков, что понятно, но и внутренними неурядицами самих панов Великого княжества Литовского: усилившийся род Сапег начал настоящую гражданскую войну с коалицией из Вишневецких, Огинских, Пацов и Радзивиллов...

Палий писал гетману, что поляки грозят разгонять из становищ в Полесье его полковых людей, а вот татарские мурзы обещают ему 40000 орды на помощь, если он признает над собою верховную власть крымского хана; но он предпочитает быть под властью православного государя... И снова гетман ходатайствовал за правобережных в Малороссийском приказе:

«Если теперь Палию помощи не подать, то как бы он в крайнем положении не обратился к бусурманам, и оттого будет больше беды, чем от какого-нибудь Стецика Ягорлыцкого, назначенного гетманом с татарской руки на правой стороне Днепра, или от проклятого Петрика. Палий между военными людьми имеет большую честь, и за ним пойдут многие. Хотя царское величество и указывает ему способ перейти под государеву руку, но он тем не удовольствуется: он хочет удержать при себе всех людей, которые теперь у него под властью, а в Фастовщине у него поселилось тысячи три хат, и город Фастов он хочет удержать за собою, потому что он его устроил и укрепил».

Но и на это последовал снова отказ, а самому гетману строго еще раз указали не вмешиваться в междуусобицу между козаками и поляками.

Семен Палий же неустанно продолжал оказывать услуги Москве: в 1693 он вместе с высланными гетманом козаками одержал победу над татарами на реке Кодыме и за это получил от царя даже награду.

Восстание козаков тем временем ширилось. Иван Мазепа докладывал московским правителям:

«Бунт распространяется быстро уже от низовьев Днестра и Буга, по берегам этим рек не осталось ни единого старосты, побили много мещан — поляков и жидов, другие сами бегут в глубину Польши и кричат, что наступает новая Хмельниччина. Впрочем, случившаяся на правой стороне Днепра смута принадлежностям нашим зело есть непротивна. Пусть господа поляки снова отведают из поступка Самусева, что народ малороссийский не может уживаться у них в подданстве; пусть поэтому перестанут домогаться Киева и всей Украины».

Бескоролевье в Речи Посполитой закончилось избранием на престол саксонского курфюрста Августа II Сильного, а в 1699 году польский сейм принял долгожданное решение об отмене прежней сеймовой конституции 1685 года и о ликвидации поднепровских козацких полков. Стоит ли говорить о некоей запоздалости такого решения? Ведь ситуация была вполне сродни тому, как если тушить керосином пожар, — разрозненные бунты, своевольства и насилия, чинимые на Правобережье, полыхнули теперь единым восстанием против Речи Посполитой.

В 1768 году, во времена Колиивщины, все опять повторилось, как в зеркале: избиение поляков, погромы евреев, немыслимые зверства с обеих сторон...

— Лешек, — сказала мне моя многомудрая Лика, — а ты ощущаешь какой-то гибельный ритм во всей этой хронологии? Только подумай — с периодичностью в 60-70 лет вскрывался очередной гнойный нарыв на многострадальном теле Речи Посполитой, — если отсчитывать с восстаний Косинского и Наливайка — с 1595 года до Хмельницкого в 1650, затем вот эта Палиевщина, о которой ты мне ныне рассказываешь, условно говоря 1700 год плюс-минус 5 лет в ту и другую сторону, затем — в 1768 году Колиивщина и свирепые гайдамаки Гонты и Железняка...

— Ну а потом бунтарями стали уже сами ясновельможные паны, утратившие свою возлюбленную отчизну, — подхватил я идею Лики, — если оставить за скобками восстание Костюшко в конце 18-го века, то следующим станет Варшавское восстание 1830-32 годов, — смотри-ка — тоже здесь между событиями прошло около 60 лет. Затем восстание 1863 года... И наконец — 1918 год, когда Юзеф Пилсудский восстановил государственность Речи Посполитой, использовав в полной мере распад в куски Российской империи и гражданскую войну. И тоже — все те же пресловутые 60 лет...

— Что такое — 60 лет? — сказала Лика — это ведь два поколения: отец, потерпевший в молодых летах поражение от супротивных, рассказывает о давних событиях своему сыну... Мать — дочери. Дед — внуку... История отнюдь не окостеневает в нечто древнее и полумифологическое. Она — жива... И в нашем с тобой случае — она пенится ненавистью, передающейся из поколения в поколение...

— И сыновья, вставшие на крыло, начинают уже свою борьбу за то, что они почитают справедливостью... Так было, к примеру, с Пилсудскими. Во время восстания 1863 года их отец Юзеф Винцент Пилсудский был комиссаром Национального правительства («Жонд народовы») в Ковенском уезде. Репрессии российского правительства после подавления восстания каким-то странным образом никак не коснулись его. Когда читаешь о судьбах поляков, которые в той или иной мере стояли у руководства местными отрядами и ячейками повстанцев, и где постоянным итоговым рефреном звучит «казнен», «повешен», «расстрелян», «сослан на каторгу», то удивляешься: судьба Пилсудского-старшего лишена такого мрачного заключительного аккорда. Скажу даже больше: комиссарство и участие в восстании не помешало ему в том же бурном 1863 году очень удачно жениться на девушке с хорошим приданым из знатного великолитовского дворянского рода. Сыновья Юзефа Винцента — Бронислав и Юзеф — пошли по его стопам: Бронислав стал членом террористической организации и участвовал в подготовке «Народной волей» покушения на императора Александра III в 1887 году. Был, как и Александр Ульянов, приговорен к смертной казни, но император при утверждении приговора заменил для Бронислава смертную казнь пятнадцатью годами каторжных работ на Сахалине... О Юзефе, который восстановил польскую государственность через 125 лет после третьего раздела Польши, я еще буду рассказывать, когда придет тому время... Ну а пока вернемся же с тобой, милая Лика, к Палию и к полковнику Самусю, которого Ян Собеский нарек даже наказным гетманом прежде Винницы, а затем Богуслава. Теперь же Самусь с козаками, презрев оказанное прежде доверие, осаждал Белую Церковь, известную со старых времен своей крепостью, которую взять было весьма непросто. Самусь, так же как и Палий, три раза обращался к Мазепе, указывая на общее желание козаков притечь «под высокую руку царского величества и состоять под единым регементом гетмана». Но результат неизменно был все тот же: отказ.

«Уже изо всех наших городов, — писал Самусь, — *выгнали лядских старост, панов и жидов, а многих жидов крестили; держится у ляхов еще одна Белая Церковь, но все жители оттуда выбежали, а остались в замке служилые поляки; к ним пристали те, что ушли туда из Корсуна и Лисянки, да наберется еще человек пятьдесят шляхты:*

ожидают они себе из Польши военной помощи, но мы слышим, что король со шляхтою не в любви. Я поневоле должен был обороняться от ляхов: они ведь мне смерть задать собрались. Не дают ляхи мне при старости укрух хлеба съесть. Они хотят наших детей в котлах варить», — такое вот полемическое заострение влиятельного атамана о «котлах»...

Самусь объявлял, что непременно хочет воевать с ляхами и добывать Белую Церковь. Он умолял прислать ему в помощь какой-нибудь полк и заранее заявлял, что если начнут ляхи его стеснять, то ему ничего не остается более, как уходить на левый берег Днепра. Мазепа отвечал на все это:

«Помочи тебе не подам и без царского указа тебя не прийму. Без моего ведома ты начал и кончай, как знаешь, по своей воле».

Я снова и снова упирался в бесконечную нотацию зловещих, страшных казней и жертв и не знал, что же мне делать со всем этим, как осмыслить, найти для них какое-то укромное место в историческом углу моего повествования, — как, в конце концов, уместить все это в свою душу, в свой мозг, в свое знание. Чего я хочу? — задавал я себе простецкий вопрос. За кого я «болею» — за козаков Правобережья или же за своих, мне соприродных панов? Или же, по-другому, — за Мазепу или за Палия? И ответа не находил никакого. Все были преступниками, все до единого. Но разве по-иному бывает?..

Так и теперь, в начале нового века, Россия вступала в затяжную Северную войну со Швецией — Петру, как воздух, нужен был выход к Балтийскому морю. «Вечный мир» с Польшей изжил себя окончательно, он ведь и заключался только для великой цели реального противостояния Османской империи, да и конституция польского сейма 1687 года о возобновлении воинских поселений и полков на Правобережье имела ввиду то же самое. И вот совместными усилиями коалиции европейских держав Турции на некоторое время вырвали жало, обрубили щупальца, отогнали от Вены, отобрали и разделили между собой придунайские княжества и вилайеты, поляки наконец-то вернули драгоценный свой Каменец и в целом Подолье, опасности от османов больше вроде бы не ожидалось, потому и козаков Правобережья решено было распустить «по домам» — да только вот где находились эти «дома»? — а города и земли, на которых они сидели, вернуть законным владельцам. Но как «не стоит село без праведника», так и Европа не мыслилась без войны. В 1697 году на шведский престол вступил 15-летний отрок Карл XII, и европейские государства — Дания, Саксония, Речь Посполитая и Россия — захотели под шумок оттяпать у Швеции то, что считали исконно своим — прибалтийские земли, однако Карл, несмотря на столь нежный возраст, оказался крепким орешком и не только не поступился завоеваниями воинственных предков, но и двинул на коалицию государств свою армию, оказавшись ко всему прочему талантливым полководцем. Он стал последним великим королем Швеции, и после его гибели в 36 лет Швеция навсегда удалилась с большой европейской политической сцены в свой затхлый местечковый нейтралитет. Он стал и последним монархом Европы, павшим на поле боя, и это о многом свидетельствует. Но «усмирять» юного Карла пришлось достаточно долго — Северная война растянулась на 21 год. В самом же начале ее Северная лига государств, созданная против Швеции, сразу же и развалилась: Дания первая потерпела поражение и вышла из войны, Август II позорно отступал вглубь Польши, войска Петра были разбиты под Нарвой («нарвская конфузия»)... Карл с триумфом не только отстоял Прибалтику, но и стремительно вторгся в Речь Посполитую. Петру весьма повезло, что Карл не стал добивать деморализованную русскую армию под Нарвой, увлекшись преследованием трусливого Августа II, напрасно носившего прозвище Сильного. Позднее шведские стратеги весьма пожалели об этом фатальном просчете, ну а Петр, воспользовавшись передышкой, успел реформировать армию, укрепил флот, который в следующем, 1701 году, одержал победу над шведами под Архангельском, — это позволило уже в 1703 году на отвоеванных территориях заложить Санкт-Петербург.

Но все это — в самых общих чертах, и не о том я веду свой рассказ.

Самостоятельные действия козаков Палия снова никак не согласовывались с делами высокой международной политики: да, «Вечный мир» приказал долго жить, но в силе был новый союз с Августом II. Палия по царскому указу в августе 1702 года гетман пригласил участвовать с своими полками в войне против шведов — но отнюдь не воевать против панов. Но как это — не воевать со своими извечными врагами? Козаки не могли уместить в головы таковое. За 15 лет с универсала Яна Собеского о возобновлении козацких полков много воды утекло и много чего было сделано, построено и укреплено. Выросло новое поколение русских воинов. И вдруг — надобность в козаках больше не требовалась: разойдись!.. А куда?.. Куда угодно. В разные стороны. «По домам»... Освободить города, бросить покосы и пашни, исчезнуть с Правобережья?.. Паны трясли новым постановлением сейма, трясли владельческими грамотами старо-

го времени, драли глотки на сеймах, несколько лет угрожали военным принуждением, но, кроме ожесточения козаков этой новой неправдой, никакой реакции не следовало. Спустя три года, в 1701 году на сеймике Волынского воеводства депутаты обязали отправленных на генеральный сейм послов добиваться, чтобы коронный гетман привел в конце концов в исполнение сеймовый декрет 1699 года... Если разрешение вопроса дошло до коронного гетмана, то это означало только войну. Дело усмирения козаков еще осложнялось тем, что кварцяное регулярное войско было занято противостоянием шведам на севере государства, потому вельможным панам не оставалось более ничего, как объявить посполитое рушение, т.е. добровольную мобилизацию всех, кто способен был взяться за оружие, — в посполитое рушенье отправились тысячи ополченцев. На Правобережье начиналась настоящая гражданская война, а не просто «гультяйство» и местный разбой.

Тем временем в самой Речи Посполитой единства, как всегда, не было: часть шляхты была за союз Августа и Петра — против Швеции, другая часть — за союз Речи Посполитой с Карлом — против России, питая прежние надежды о каком-то реванше и возвращении под сень Белого орла отторгнутой Южной Руси-Украины. Прошведская партия шляхты расширялась и усиливалась — ввиду побед Карла в начале Северной войны. Да и потом, поляки не забыли всех бед и несчастий своего государства, случившихся по вине русских царей — утрату Руси-Украины, 13-летнюю изматывающую войну, потерю Смоленска и других значительных городов. Правда, параллельно со всем этим был еще и Шведский Потоп, но об этом старались не вспоминать, хотя по реальной опасности он был некогда куда значительнее для Речи Посполитой. Когда в обе столицы — Варшаву и Краков — вошли шведские войска, сторонников союза с Петром практически не осталось. Если сократить мою повесть, то следует сказать, что в этих шляхетских и королевских шатаниях и прошли все годы войны. Август то терял королевский престол (в 1704 году), то Петр I снова усаживал Августа на него (в 1709 году, после Полтавы); при мощном влиянии шведов и польской прошведской партии на престоле Речи Посполитой параллельно утвердился новый король Станислав Лещинский (в 1706 году), ну а сам Август, «перетягивая одеяло», был готов даже заключить с Карлом сепаратный мир и договориться о разделе Речи Посполитой между Швецией и Саксонским княжеством (он ведь сидел на двух стульях — был королем Речи Посполитой и одновременно курфюрстом Саксонии) — дипломатическая игра, которую вели противостоящие друг другу государства, была весьма непростая и запутанная. Август же при всем том союзником оказался весьма никудышним и слабосильным, и проку России от него практически не было. Петр весьма опасался, что колеблющийся туда-сюда Август заключит все-таки союз с Карлом, и при таком раскладе Россия неминуемо потерпит в войне поражение. Поэтому кровавая буза на Правобережье совершенно не входила в его планы.

Ну не вписывался Палий с Самусем и Абазыном со своим неуемным стремлением объединения Правобережья с Гетманщиной в высокую российскую политику: прежде мешал «Вечный мир», теперь — Северная война... Судьбы заднепровских малороссиян никого из власть предержащих не волновали и были они оставлены на произвол случая.

Но и сдаваться на милость поляков никто не собирался: восстание не просто расширялось, но приобретало характер тотальной войны: от разорения поместий, от ограбления иноверного населения городков козаки перешли к масштабным действиям. Вот что рассказывает об этих событиях Н. Костомаров:

«Козаки продолжали стоять под Белою Церковью семь недель, и, наконец, этот город был взят ими в исходе ноября. Козаки овладели 28 пушками и большим запасом пороха, гранат и свинца. Палий, как рассказывают, в знак торжества въехал туда шестернею в карете, показывая тем, что он есть пан полковник белоцерковский. Все три козацких предводителя прислали Мазепе коллективное письмо, просили принять Белую Церковь под власть царскую, назначить туда осадчего и уже не возвращать ее ляхам. После расправы с Белою Церковью Самусь двинулся на Немиров, где поляки озлобили против себя русских безжалостными казнями пойманных мятежных холопов. В Немирове, кроме тамошнего поспольства, находился польский гарнизон и немного шляхты из воеводств Брацлавского и Волынского. Козаки в числе 10000 подступили к городу, и немировское поспольство тотчас передалось своим единоверцам, а потому город был взят без затруднения. Всех поляков и жидов истребили, кроме тех из последних, которые изъявили готовность принять христианскую веру. По известию современника Залуского, местные холопы замучили коменданта, обрубливая ему руки и обрезывая губы, а у ксендза — иезуита Цаполовского содрали с бороды кожу у живого. Затем козаки овладели Баром, откуда малочисленный польский гарнизон убежал в Меджибож <...> Расправляясь с врагами русской веры и русского народа, они не довольствовались простыми убийствами, а сопровождали их варварскими

истязаниями, отсекали руки и ноги, насиловали шляхетных жен и девиц, ругались над костелами и синагогами...»

Огонь гражданской войны перекинулся отсюда в Подолье и в Поднестровье, недавно отобранные от Турции.

«Холопы с женами и детьми бежали отовсюду к поднестровскому полковнику Абазыну, заклятому врагу поляков и иудеев. К нему в содействие явился Палиев пасынок Симашко: в двадцати волостях перебили они арендаторов иудеев, изгнали шляхтичей, ограбили и разорили их усадьбы и объявили край козацким. Шляхетство спасало жизнь свою бегством в глубину Польши. <...> Иудеи с женами, с детьми и с купеческими товарами спешили также в глубину Польши; их на дороге грабили не только козаки, но даже и шляхтичи. В иных местах не осталось ни единого иудея, ни католика. Сделался такой переполох, что люди не знали, кого им бояться — козаков или поляков, тем более что некоторые владельцы шляхтичи, пользуясь смутным временем, нападали на свою же братию владельцев, с которыми прежде были в ссоре, и производили пожары и грабежи. Холопские шайки составлялись и возрастали не по дням, а по часам, и все эти шайки величали себя козаками Палия и Самуся».

Само собой, что это восстание было в полной мере использовано шведами для расшатывания хлипкого союза Петра I и Августа II, да тут и ума не надо было особого прилагать: палиевцы и самусивцы где надо и где не надо козыряли тем, что действуют на Правобережье по тайному распоряжению из Москвы. Мазепа в ноябре 1702 года получил из Варшавы от князя Григория Долгорукого, царского резидента, такое письмо:

«Шведский король хитрыми вымыслами, по совету приставших к нему польских изменников, велел распространять слухи, будто его царское величество указал вашей вельможности послать 20000 войска на помощь Самусю, назвавшемуся царским гетманом, и будто мятежи, поднявшиеся в Украине, возникли с позволения нашего государя. Речь Посполитая приходит в немалое подозрение. Необходимо всем на деле доказать, что этот мятеж начался без воли царской и не приносит никакой пользы его царскому величеству; необходимо стараться угасить этот огонь, препятствующий Речи Посполитой обратить оружие против шведов».

Что реально мог сделать гетман Мазепа? Только написать дважды в декабре и в феврале 1703 года польскому коронному гетману опровержения этих «неосновательных слухов», будто бунтовщики действуют с царского позволения. Дальновидные же паны в Варшаве и Кракове, напротив, подливали масла в огонь в надежде все-таки разрушить союз Августа с Петром, а затем примирить Августа с Карлом и, объединив армии, ударить по ненавистной России. Каковы были цели у Карла — трудно сказать, может быть, юноша просто вошел в воинственный раж, возомнил себя Александром Македонским и был готов крушить все направо-налево, у поляков же была четкая цель: возврат Речи Посполитой утраченной Руси-Украины. Ну, и если повезет, также и Смоленска, извечного спорного города... При хорошем раскладе прижигались все язвы, из оккупированной страны Речь Посполитая становилась свободным государством-союзником, гасилась гражданская война на Правобережье и, чем черт не шутит, отторгалось у России то, что до 1654 года по праву принадлежало полякам.

Таковы были резоны 1703 года.

Тем временем ситуация на Правобережье преломилась: польный гетман Сенявский с 15-тысячным войском приложил немалые усилия по уничтожению прежде бродячих шаек холопов, а спустя некоторое время приступил и к освобождению захваченных городов. После ожесточенного сопротивления пал Немиров — там казнили 2000 человек. Самого полковника Абазына посадили на кол.

Костомаров рассказывает о другом предводителе мятежных русских холопов, Шпаке, которого в феврале разбили воевода Потоцкий и генерал Брандт.

«По предложению Потоцкого, всем хлопам, заподозренным в восстании, отрезывали левое ухо, и, по свидетельству современника, может быть, преувеличенному, таким способом заклеймено было до 70000 человек. Сначала был повальный суд победителей, и пойманных казнили тотчас, на месте поимки. Тогда холопы, поделавши обширные засеки, забирались туда и сидели там, защищаясь с своими женами, детьми, с домашним скотом и всякою рухлядью. Жолнеры добывали их оружием и тотчас истребляли, без разбора пола и возраста. Но потом стали предавать виновных установленным судам, и тогда приходилось подвергать смертному приговору целые селения, так как по суду оказывалось, что жители все огулом принимали участие в восстании».

Петр же — ввиду общего хода войны и союзнических договоренностей с Августом — гнул свою линию и требовал от Мазепы, чтобы тот каким-то образом заставил Палия выйти из Белой Церкви и передать ее в руки поляков. Палий что-то невнятное обещал гетману, но отнюдь не спешил. Мазепа же снова — для видимости радея за козаков, уклончиво сообщал Петру, оправдывая, по сути, себя самого:

«Не могу брать на душу греха, чтобы приветными уверениями склонять Палия,

Самуся и Искру к послушанию, а потом отдать их полякам в неволю. Не могу заверять их, что они останутся целы и невредимы как в своем здоровье, так и в пожитках. Поляки не только над козаками, но и над всем русским народом, находящимся у них под властью, поступают по-тирански. Это показали недавние дела их в Поднестровщине и в Побужьи, где они, отмщая за бывший мятеж народный, многих казнили, иных вешали, других бросали на гвозди или сажали на кол».

Параллельно с такой показной заботливостью о повстанцах и в целом народе Правобережья Иван Степанович разыгрывал свою партию, целью которой было устранение под шумок самого Палия из общего контекста Руси-Украины. Он отлично знал, на какие болевые точки Петра I надо давить. И вот читаем следующее в его донесениях Петру:

«Палий человек ума небольшого и беспросыпно пьян; как получит жалованье, тотчас напьется, наденет соболью шапку и щеголяет в ней да хвастает, чтобы все видели: вот-де, какая ему монаршая милость».

Может быть, Петру хватало этих прозрачных намеков для недовольства Палием, а вот уже президенту Посольских дел России Федору Головину Иван Степанович прямо писал, что Палий внушает опасность: как бы он не поладил с поляками, перешедшими на сторону шведского короля...

Тут как бы и не было открытого оговора или лжи, потому что и факты отсутствовали как таковые, Иван Степанович ради общего дела просто предполагал: «как бы не поладил», «как бы не переметнулся к полякам» — не более того... И это после долгих лет кровопролитного восстания?!.. Да и ради чего, собственно говоря?.. Что могла дать Палию прошведская польская партия, тем более сам Карл XII?.. Но при всем том Иван Степанович слыл главным знатоком польского национального характера, был, что называется, главным специалистом по козням и опасностям, ожидавшимся от Речи Посполитой, и к его мнению прислушивался как сам Петр, так и Головин. Так понемногу, вершок за вершком, копалась яма, в которой неминуемо должен был оказаться неуемный и неумный, простодушный Палий.

В самый первый день нового 1704 года, переправившись через Днепр по льду, теснимые войском великого гетмана коронного Адама Николая Сенявского, в Переяславль прибыли полковник Самусь, а за ним и полковник Корсунский Захар Искра. Самусь изъявил желание сдать Мазепе знаки своего гетманского достоинства, данные ему некогда королем Яном Собеским. Искра же сказал следующее:

«Мы с поляками не можем ужиться! Не знаем, где нам и деться, — если не будем приняты от православного монарха и от гетмана обеих сторон Днепра».

Иван Степанович 24 января в Глухове с позволения императора принял у Самуся гетманские клейноды, хотя тут и кроется некоторая неясность: гадяцкий полковник Грабянка в своей летописи сообщает, что Самусь передал теперь уже «обобичному» гетману свои регалии — булаву, бунчук и королевский универсал на гетманство только в лагере под Паволочью, 15 июня 1704 года. Нерешенным оставалось дело с Семеном Палием, который так и сидел сиднем в своей Белой Церкви. Снова Ивану Степановичу пришлось писать Палию, но уже не увещевание, как прежде, но вполне грозный приказ освободить Белую Церковь. В случае неисполнения этого требования, Мазепа грозил, что крепость силой возьмут великороссийские и малороссийские войска и поступят по справедливости...

«Не лучше ли будет, — писал Мазепа Головину, — *если я зазову Палия куда-нибудь хитростью и задержу, пока состоится указ царский о взятии Белой Церкви и об отдаче ее ляхам? Иначе, если Палий самовольно сойдется с ляхами, то добра от этого не будет. Через людей нашей породы они на сей бок огонь вскинут».*

И вот странность какая была в этой «геббельсовской» лжи: Мазепа обвинял Палия в том, что тому даже в голову не могло прийти — никакого примирения, а тем более союза с поляками для Палия не существовало по определению, в этом он был прямым наследником и продолжателем патологической ненависти к польскому панству своих предшественников, Богдана Хмельницкого и Ивана Самойловича, и именно по этой причине обрекался Мазепой к погибели... Но русский монарх и вельможи до времени не могли прочесть эти тайные зловещие письмена.

Для некоей иллюстрации надо рассказать о параллельной истории, случившейся как раз в это же время. Под подозрение в измене попал стародубский полковник Миклашевский — Мазепа получил известия о его тайных сношениях с неким паном Коцелом из Литвы, который сообщил Миклашевскому о каком-то гипотетическом плане: если поляки замирятся со шведами, *«то поляки приблизятся к границам Московской державы и заставят царя уступить Польше Украину; тогда украинская вольность будет такова же, какова польская и литовская: сколько сенаторов из короны и Литвы, столько же будет и из Украины, и все козаки вольностью и шляхетским достоинством одарены будут»*. О, как все это было знакомо!.. Снова воскрешались надежды на еще

незабытые инициативы гетмана Выговского по созданию Русского княжества в триединой и равночестной Речи Посполитой... Но — кто такой был этот Коцел и какими полномочиями он обладал? Понятно, что никакими. «Обещать — не значит жениться». Ну, посидели, поговорили, помечтали — всего-то и дел. Если у гетмана Выговского не получилось ничего из-за чванства и неуемной гордыни тогдашних варшавских панов, то что могло получиться сейчас, когда полным ходом шла Северная война и Речь Посполитая практически полностью была оккупирована шведской армией? Миклашевского предали войсковому суду, он все отрицал, но за самовольные сношения с Коцелом суд лишил его полковничьей должности, но вскоре он снова ее получил. И это многое говорит о самом Иване Степановиче — в самых потаенных схронах души он вполне разделял эту несбыточную мечту, — но не о самостийности Гетманщины — об этом и речи быть не могло, но о существовании Руси-Украины под сенью Белого орла... Как когда-то, давно... Просто теперь Миклашевский, как некогда Петрик, полез «поперед батька в пекло», потому и был наказан для вида. Может быть, в этом и заключался главный секрет Ивана Степановича и сверхзадача нежданного его появления под Глуховом в далеком 1664 году, когда сам король Ян II Казимир едва не попал в плен к московитам. Ведь не случайно все годы пребывания Ивана Степановича на землях Руси-Украины народ упрямо считал его «ляхом».

А вот Палий был настоящим врагом — и не только Речи Посполитой, но и лично Ивана Степановича...

Тем временем зима 1702-1703 года не прошла для Ивана Степановича без прибытка: положение его, как моральное, так и материальное, только лишь укреплялось. После очередной поездки в Москву он получил в дополнение к своим городам и местечкам еще и Крупецкую волость под Курском со всеми прилегающими селами и деревнями, царь снова щедро пожаловал его соболями, драгоценными тканями, тонким вином... Польский король Август II во внимание к услугам, оказанным малороссийским войском, наградил Мазепу орденом Белого орла, высшей наградой Речи Посполитой... Внешне все складывалось замечательно.

30 августа 1704 года польские и российские дипломаты заключили так называемый Нарвский трактат, согласно которому «украинское замешательство» и «узурпация» власти козацкой старшиной — вот так без обиняков и наименовали сановники народное восстание на Правобережье и стремление притечь под покров Московского государства — должны быть подавлены совместными усилиями обеих сторон, а царь получает право ввести свои войска на Правобережье. Вот такой и была реальная благодарность Петра правобережным повстанцам. Хотя Нарвский трактат этот несколько запоздал: еще в апреле 1704 года войска под началом Ивана Степановича переправились возле Киева на Правобережье и начали чинить войсковой промысел «огнем и мечем» над землями польской шляхты, которая заключила договор «о сотрудничестве» с Карлом XII. При всех разорениях маетностей польских панов, противостоящих Петру, в тайные планы Мазепы входило задержание и нейтрализация Палия. Он без стеснения писал Головину в конце марта 1704 года, что *«необходимо выманить Палия из Белой Церкви и, заковавши, отправить в Батурин, иначе малороссийскому краю угрожает большое зло и поляки чрез Палия найдут себе опору в малороссийском народе для исполнения своих злых замыслов»*. В ход шел прямой оговор, и чем чудовищнее была ложь, возводимая на правобережного полковника, тем больше веры ей придавали в Малороссийском приказе: так, приводились показания какого-то беглого канцеляриста из Белой Церкви, что Палий-де беспрестанно сносится с князьями Любомирскими, сторонниками Карла... Но чего, по сути, стоили подобные показания? Ведь язык без костей, и сказать можно все, что захочешь. Тем более, если ты понимаешь, что хочет от тебя услыхать могущественный гетман Мазепа. Да и был ли еще в природе этот беглый канцелярист?.. В июне ничего не подозревавший Палий со своими козаками прибыл под Паволочь в помощь гетману в его «промысле» над противниками Августа Сильного. Иван Степанович принял его по-царски, но вместе с тем и придержал у себя, подливая и подливая простодушному полковнику-атамана хмельного вина:

«Вот уже шестой день сидит Палий у меня в обозе, — отписывался Мазепа Головину, — *он беспросыпно пьян, кажется, уже пропил последний ум, какой у него оставался! Это человек без совести, и гультайство у себя держит такое же, каков сам: не знают они над собою ни царской, ни королевской власти и всегда только к грабежам и разбоям рвутся. Сам Палий даже не помнит, что говорит: я предложил ему ехать в Москву, — он отказался; я через несколько дней стал упрекать его за это, а он мне сказал, что ничего не помнит, потому что был тогда пьян».*

Принудительное гостевание в обозе Мазепы продолжалось до 1 августа, и едва ли не каждый день Иван Степанович извещал Головина о сомнительном поведении Палия:

«Вот уже наступила четвертая неделя, как Палий находится при мне (при боку моем гетманском). Он беспрестанно пьян, и день и ночь, не видал я его трезвым. Я стараюсь обратить его против Любомирских и предлагал ему дать своих козаков для усиления его полчан, но он, насыщенный духом Любомирских, все только отговаривается то болезнью, то другими предлогами».

Неслучайную парадоксальность с княжеским родом Любомирских можно усугубить припоминанием Шведского Потопа полувековой давности: вся польская знать присягнула тогдашнему Карлу X и перешла на сторону шведов, притапливая до дна свою любезную сердцу отчизну, один только князь Ежи Себастьян Любомирский (1616-1667) был единственным польским аристократом, который не присягнул Карлу X Густаву. Он дал убежище несчастливому королю Яну Казимиру в своем имении в Любовле и организовал контрнаступление польских войск: снарядил свою частную армию, которая сражалась под Варкой и отстаивала Варшаву с Торунью, занятые шведами. Теперь же политические векторы Любомирских кардинально переменились.

Невозможно сегодня сказать о реальной вине Палия, как невозможно отделить правду от лжи в связи с Любомирскими. Понятно, что Ивану Степановичу нужен был только предлог для уничтожения Палия. Но и сидя в гетманском обозе, если только верить донесению Мазепы, Палий внушал мятежнические замыслы четырем сотникам Полтавского полка, говоря:

«Добра не буде, поки вы не збудете ваших панив и орандарив».

Верные сотники донесли об этих мятежных речах гетману. 1 августа Мазепа приказал взять Палия под крепкий караул и тотчас отправил в Белую Церковь извещение, что, по известным причинам, удаляет Палия от полковничества и вручает этот уряд Михаилу Омельченку, обязывая послушанием ему всех подчиненных Палию козаков. Но и того гетману показалось мало: он отправил в Белую Церковь самусивцев и прибавил к ним сотню козаков своего Переяславского полка, приказав также наименоваться самусивцами. И между ними был пущен слух, что измену Палия подтвердил якобы сам Самойло Самусь — из-за обиды на Палия, что тот с Любомирских брал деньги, а с ним, Самусем, не делился, и вот теперь, заявив гетману об измене, Самусь просит наградой за свою верность, чтобы его козаки были приняты в гарнизон Белой Церкви...

Тут следует мне сделать некое отступление, перевести дух и немного вернуться назад.

Конечно, трудно нам сейчас разобраться о том, что же происходило в душе Ивана Степановича, славного малороссийского гетмана, на чью долю выпали все эти непростые дела, походы, противостояния, десятки доносов, из которых можно было, вероятно, сшить себе ризу, как некогда поступил с судебными постановлениями польский каратель и бандит времен Богдана Хмельницкого Самуил Лащ, тонкая дипломатия как с царем Петром I, так и с другими начальствующими над соседними народами... И что-то надо ведь было предпринимать и с тотальным восстанием на Правобережье: искры тамошнего пожара перелетали через Днепр, и мало того, что на Правобережье самовольно, по зову сердца, переправлялись на помощь восставшим сотни козаков, но вот и в Переяславском полку, как доносили Мазепе в Батурин, началось брожение и раздавались призывы «бить иудеев». Левобережье психологически уже тоже было готово восстать. Об этом приметливый гетман извещал Малороссийский приказ:

«Все поселяне на меня злобятся; здесь, говорят, нас изгубят москали, и у каждого мысль уходить за Днепр».

Но трудно здесь рассудить, где правда, где ложь — тем более зная в общих чертах психологический портрет Ивана Степановича. Он вел сложную и многоходовую игру исключительно в своих интересах — но каковыми были эти интересы? Ведь он находился на самом верху властной пирамиды, начальствовал над бескрайним и богатым краем, к нему стекались несметные денежные потоки, на которые он благоукрашал свой Батурин и полковые города, строил православные храмы... Тут надо отметить еще, что Малороссия со времен Богдана имела существенную льготу: была освобождена от централизованных государственных податей, и насельники Гетманщины со скрипом пополняли налогами за свою хозяйственную деятельность только лишь казну Войска Запорожского. Но неохотно... Гетман вынужден был — ввиду расходов на наемных сердюков и компанейцев — ввести отмененные после низложения Самойловича «оранды», что, понятное дело, не добавило ему популярности в глазах посполитых. Вообще как-то не складывались отношения у гетмана с подвластным ему народом. Так, Т. Таирова-Яковлева, квалифицированный — в отличие от меня — биограф Ивана Степановича, в своей монографии «Мазепа» сообщает, что после избрания его гетманом с подачи Голицына мало кто признал его таковым, и Мазепе пришлось просить у своего благодетеля Василия Васильевича 4000 российских стрельцов, чтобы просто в целости и сохранности сопроводили его до Батурина... Кстати, эту исследовательницу жития

нашего гетмана, проживающую в Санкт-Петербурге, за ее неустанные труды по обелению дела жизни Ивана Степановича в те давние годы наградили орденом княгини Ольги III степени, а в 2007 году ей присвоено почетное звание «Берегиня Украинского козачества». Орден ей вручил лично президент Ющенко.

Тут моя Лика только хмыкнула.

Да и все 20 лет Батурин охраняли великороссийские служивые люди, а полковник Анненков, начальствующий над стрельцами, до того стал Ивану Степановичу близок и дорог, что, когда тот получил повышение и был назначен воеводой в Путивль, гетман хлопотал перед Петром I, чтобы Анненкова оставили при нем же, в Батурине... Слишком хорошо знал Иван Степанович своих козаков.

О том же повествует и Костомаров:

«Гетман Мазепа до сих пор главным образом держался только могуществом московской власти; для малороссиян это был польский пан, передавшийся на московскую сторону, но оставшийся навсегда с польскими панскими приемами: всегда было огромное число таких, которые были бы рады, если бы только узнали, что царь его сменяет. Великорусские ратные люди с полковником Анненковым постоянно берегли его особу, и гости, посещавшие Гетманщину, замечали, что если бы не эти охранители, то малороссияне скоро бы избавились от своего гетмана».

Чего же не хватало Ивану Степановичу? Вот находим у Костомарова краткое описание того, как наш гетман из рук Петра получал высшую награду Российской империи:

«Ничто не подрывало царской благосклонности к гетману. В 1700 году в январе гетман отправился в Москву по царскому приглашению с 48 особами. В этот раз ему оказали прием, превосходивший ласковостью прежде бывшие приемы. Гетману заявили признание за ним заслуг, оказанных в течение тринадцати лет сряду, и важности его успешных действий в войне против турецкого султана и крымского хана, в особенности же его подвигов над Днепром, когда были покорены пять турецких городков и взято множество пленных. За это за все государь возложил на гетмана только что установленный орден св. Андрея Первозванного. Мазепа был вторым, получившим этот орден, после Головина. Сверх того, на отпуске пожаловали ему венгерский золотой кафтан с алмазными запонками, подбитый соболями...»

К слову надо отметить, что сам Петр стал только седьмым по счету кавалером этого ордена, получив его в качестве капитана бомбардирской роты в 1703 году.

Понятно, что, несмотря на столь высокое положение, гетман Мазепа вполне осознавал шаткость и непрочность своей власти, целиком зависящей от благорасположения монарха, — да, сегодня Петр осыпает его золотом, делает кавалером высшего ордена, жалует городами, селами и землями, причем не только в Гетманщине и в Слободской Украине, но и под Курском, посылает ему за добрую тысячу верст бочки с живой рыбой и бочки тончайшей мальвазии, — а завтра?.. А что — если?.. Ведь одного щелчка императора будет достаточно, чтобы все это благополучие рассыпалось, как карточный домик, а тебя поволокли бы в пыточную и подвесили на дыбу... Однако царь твердо верил ему, но гетману, столь умудренному жизнью, того не хватало, — и он уже в свою очередь не верил царю. Надо думать, в самых потаенных схронах души его тлел некий огонек недоверия, опасливости и страха — за себя самого и за свою драгоценную жизнь. И, вероятно, нечто неверное, страшное по тайному замыслу было в нем до поры, — как тут не вспомнить строки Шекспира: «Оставь меня, но не в последний миг» — ожидал ли он этого «последнего мига»?.. Если не ожидал и если не просчитывал этого он, то был бы никудышним дипломатом и вряд ли продержался бы на гетманстве столь долго. Иван Степанович же в текущей политике хорошо усвоил по крайней мере один урок — с низложением гетмана Самойловича — к чему и сам приложил свою искусную руку... Вывод единственно верный: не дать никому подняться от земли, не дать никому стать даже местечковым вождем, лидером, главой войсковой замятни — где бы то ни было — на Правобережье, в Запорожской Сечи, в «Ханской Украине», — поэтому при внешней приязни и внешнем же расположении Иван Степанович опасался Семена Палия, Костя Гордиенка и даже ничтожного Петрика, самозванного гетмана, и делал все, чтобы этих людей погубить. И все эти доносы на него самого, исправно приходящие в Малороссийский приказ, — вот они-то по-настоящему доставляли гетману головную боль и вынуждали оправдываться. Хотя нет, никаких оправданий царь и не ждал от Ивана Степановича, он просто всю эту доносительную чехарду игнорировал и отправлял как доносы, так и доносчиков к Мазепе для казни. Это развязывало гетману руки, и он с завидным постоянством «зачищал» вокруг себя пространство, уничтожая реальных и мнимых врагов, недоброжелателей, а заодно и ярких, харизматичных людей. Что мог, делал сам, чего не мог — перелагал исполнением на Москву. Последовательно, друг за другом, как политический персонаж нашей недавней советской истории, он вывел из орбиты

реальной политики тех людей, кто привел его к власти в 1689 году — Григория Гамалею, Константина Солонину, а также прежних верных соратников Самойловича Леонтия Полуботка и Михаила Галицкого. Но больше всего его раздражала все возраставшая популярность Семена Палия, в котором он видел реального конкурента.

Принципы противостояния и противодействия Ивана Степановича этим искушениям были все те же: наведение тени, подозрение, оговор и донос. Я уже рассказывал, как ловко он вел свою тайную политику: перед Петром чернил запорожцев и кошевого Гордиенка, запорожцам, напротив, писал, что только его тщанием Петр все еще не ликвидировал Сечь, войсковой старшине в Гетманщине слезно жаловался на тяготы отношений как с Петром, так и с Запорожьем, выставляя себя единственным защитником того, что осталось от Переяславских договоренностей полувековой давности... И в этом политическом винегрете Ивану Степановичу следовало не только каким-то образом выживать самому, но и под шумок устранять таких людей, как Палий. На всякий, как говорится, случай. В ход шли те же доносы царю в шатости и неверности, только автором их был уже сам гетман Мазепа.

«Поляки, — писал Мазепа, — *хотят выбрать себе в короли сына Собеского и начать войну с Россиею. Наш народ глуп и непостоянен; он как раз прельстится: он не знает польского поведения, не рассудит о своем упадке и о вечной утрате отчизны, особенно когда будут производить смуту запорожцы. Пусть великий государь не слишком дает веру малороссийскому народу, пусть изволит, не отлагая, прислать в Украину доброе войско из солдат храбрых и обученных, чтоб держать народ малороссийский в послушании и верном подданстве. Нужно, однако, с нашим народом обращаться человеколюбиво и ласково, потому что если такой свободолюбивый, но простой народ озлобить, то уже потом трудно будет суровостью приводить его к верности. Я, гетман и кавалер, хочу служить верно до конца живота моего его царскому пресветлому величеству, как обещал перед святым Евангелием, и непрестанно пекусь о содержании Украины без поколебания, но имею о том сердечную печаль, что поляки, как есть неистовые, неправдивые и злостные люди, меня, гетмана, во весь свет поносят, а паче всего пред царским престолом злословят и нарекают на меня неудобоносимые дела».*

Лика тут улыбнулась и еще раз, процитировав просьбу Ивана Степановича «не отлагая, прислать в Украину доброе войско из солдат храбрых и обученных, чтоб держать народ малороссийский в послушании и верном подданстве», сказала:

— А вот как бы это прокомментировали наши неистовые «национально свидомые»?

— Да очень просто: объявили бы все это гнусной интерполяцией имперских канцеляристов-историков, дабы опорочить светлый образ рыцаря и борца за независимость...

О том же говорит и Н. Костомаров:

«Возраставшая слава Палия, усиливая любовь к нему народа не только на правой, но и на левой стороне, возбуждала в гетмане тайную досаду и зависть; все малороссияне видели в Палие истинного козака-богатыря, а насчет Мазепы никак не могло уничтожиться предубеждение, что как он ни прикидывается русским, а все-таки на самом деле он «лях» и пропитан насквозь лядским духом».

Уже в 1694 году было нечто и смехотворное в донесениях Мазепы о Палие: по словам гетмана, *«Палий становится уже не тот, каким был до сих пор, что он уже начинает сходиться с поляками, а от него, гетмана, о том таится, а его полковые товарищи о нем говорят, что он на две стороны свою службу показывает — и полякам, и православному царю, притом беспрестанно пьет...»*

А чего ожидать было еще от Палия, если Москва, время от времени используя его в достижении своих целей, жестко отказывала ему в принятии в подданство? Ведь взятие и разорение нижне-днепровских турецких крепостей, за которые Мазепа получил от Петра главный орден империи, без участия Палия было бы невозможно, но наградой для самого Палия стал все тот же извечный отказ... Переговоры с поляками — а куда было деваться ему, подданному Речи Посполитой, брошенному на произвол судьбы со своим войском? Хочешь или не хочешь, но приходилось Палию лавировать как-то, практически выживать в одиночку... Ну, про «беспрестанно пьет» и разговаривать нечего, будто бы сам Петр был целомудренным трезвенником и бледным замороченным язвенником!.. Только Мазепе — ввиду шаткости имеющихся аргументов — могла прийти в голову мысль еще и таким образом очернить правобережного атамана. Причем этот укор Палия в пьянстве будет постоянно повторяться в посланиях гетмана власть предержащим.

Но все это уже стало неважным и прошлым...

1 августа насильное «гостевание» у гетмана кончилось, и Палия взяли под стражу. Почти год он просидел в заточении в батуринском замке Мазепы. Его имущество конфисковали, и опись изъятого была отправлена в Москву.

Костомаров сообщает, что у Палия *«найдено до 2000 червонцев, кроме дукачей,*

бывших по украинскому обычаю на женских коралловых монистах; 5274 талера найдено сокрытыми в земле, так как в те времена земля была обычною сохранною казною, предохранявшею капиталы от неприятелей и разбойников. Кроме того, сумма 15000 чехов числилась розданной в долг разным лицам. Серебряная посуда, составлявшая в то время обычную роскошь козацких старшин, не представляла у Палия большого изобилия, по крайней мере, если сравнивать ее с богатствами этого рода, найденными у Самойловича после его низложения: всего посудного серебра у Палия было весом 5 пудов 39 фунтов. Зато у Палия было немало дорогого, богато оправленного оружия и одежд мужских и женских, бархатных. <...> Его бывший фактор иудей и его родственник Омельченко (занявший полковническую должность) показывали, однако, что Палий зарыл еще в земле большой клад, но не знали где. Гетман без царского указа не смел по этому поводу подвергать Палия и жену его пыткам, хотя этого ему хотелось».

Тут примечательно это неукротимое желание Ивана Степановича под пыткой узнать у Палия и его жены о судьбе сокровищ, — и куда девалась прежняя его притворная приязнь, пока Палий принудительно у него «гостевал», и вот несытому Ивану Степановичу уже «хочется пытать» не только полковника, но даже и «жинку» его, — но что делать, Петр на то указа не дал... Зато можно было «лично», на приеме у самодержца в начале 1705 года, убедить того прежде не оставлять пленника на Украине, но и в Москве не держать долгое время, а законопатить куда-нибудь подальше — и навсегда... В марте того же года Палий со своим пасынком Симашком был доставлен в Москву, а 30 мая вышел указ с повелением сослать его в Енисейск и держать там до кончины живота. Но 30 июля был составлен другой указ, по которому приказано везти Палия на трех подводах до Верхотурья, оттуда препроводить в Тобольск, а из Тобольска в Томск, где положено было содержать его постоянно.

Иван Степанович победил...

Однако, после измены самого гетмана Мазепы, в 1708 году, дело Палия пересмотрели и, ввиду новых открывшихся обстоятельств, реабилитировали. Он вернулся на Украину и получил должность Белоцерковского полковника. В следующем 1709 году Палий участвовал в Полтавской битве, а в начале 1710 года умер, упокоившись в Межигорском монастыре под Киевом.

Глава 25. ПОЗОР И СЛАВА МАЗЕПЫ

— Лика, — сказал я, — придется мне бочком и с черного хода втиснуться в блистательные ряды тех великих людей, которые воспели трагическую, воистину исполинскую фигуру нашего героя, Ивана Степановича Мазепы, одно перечисление которых повергает в понятное уныние от сознания собственной незначительности и скудоумия. Куда там славе Богдана Хмельницкого?..

Лика мудро промолчала на это, ожидая, что же я скажу дальше.

Вольтер, Байрон, Гюго, Юлиуш Словацкий, Юзеф Богдан Залеский, Пушкин... Иван Степанович вкрадчиво и навечно ступил на страницы английской, немецкой, французской, чешской, шведской, польской, русской, украинской литературы... Композиторы и музыканты украсили его драматический образ сладостными, божественными созвучиями: Чайковский написал о нем оперу (по мотивам пушкинской «Полтавы»), Ференц Лист посвятил гетману симфоническую поэму, Рахманинов — вокальный квартет... Художники живописали Ивана Степановича в узловые моменты его судьбы: Мазепа и Мотря Кочубей — до гроба любовь, не пожалела папашу; Мазепа и Карл — война и политика; Мазепа после Полтавы — экзистенциальная скорбь; Мазепа в Бендерах — жизнь позади... Даже голый Мазепа — снова любовь или прелюбодеяние, распятый ничтожным паном Фальбовским на необъезженной лошади, несущейся сквозь заросли диких груш — таким мы можем увидеть его на акварели Эжена Делакруа...

— Ну да, — сказала тут свое неуместное слово Лика, — не написали только сюжет, как Иван Степанович сидит посреди Сечи на цепи, прикованный к пушке...

— Ну, дорогая, — сказал я, — много чего прошло мимо деятелей культуры. Так кем же, по сокровенной сути своей был, наш славный гетман — романтическим героем западноевропейской культуры, коварным антигероем в контексте имперской российской историографии 19 столетия или светлоликим отцом нынешней украинской независимости, увековеченным даже на купюре достоинством в 10 гривен?..

— Лешек, — сказала Лика, — к чему эти риторические вопросы? Ты сам знаешь ответ: Иван Степанович — воистину неуловим, и любой однозначный ответ будет неверным.

— Вот именно в этом и кроется его невероятная популярность в творчестве столь разных художников минувших веков — его судьбу, его личность можно читать с любого конца, с любой страницы, — и все будет правдой. И — неправдой одновременно.

Ну а что еще, скажи мне на милость, нужно писателям, поэтам, драматургам, художникам?

— Конфликт и катарсис...

— Вот конфликтов в судьбе Ивана Степановича было просто немеряно. Но он всегда выходил из них победителем. А в конце, в Бендерах уже, когда он едва спасся от карающей длани преданного монарха, был, вероятно, и катарсис...

— Как бы там ни было, продолжай свою повесть, милый Лешек, — сказала мне Лика, — и пусть не пугают тебя великие тени великой культуры.

Но я все же постараюсь по мере своих сил избегнуть развернутого перечисления событий Северной войны, произошедших на нашей благословенной земле: осада шведами Веприка и сдача его, сражение под Лесной, шведы в Ромнах и в Великих Будищах, переход Ивана Степановича под знамена Карла, осада Карлом Полтавы, битва под ней и славная виктория Петра I, спорадическое отступление разгромленных шведов через левобережные села и хутора, в частности, и через нашенские Кобеляки, где спустя 260 лет, ни о чем таком не подозревая, увидела белый свет вся наша компания — мы с Сероштаном, Шоня, Чана, Вадюра, Вовушан и прочие наследники славной малороссийской истории, — взятие Меншиковым гетманской столицы Батурина, разрушение ее и казни сердюков, компанейцев и посполитых, попавших под огненный, всесметающий гнев самодержца, разрушение Келеберды и Переволочной переправы на Днепре, сдача брошенной на милость судьбы 16-тысячной армии генералам Петра, разрушение Запорожской Сечи полковником Яковлевым и Гнатом Галаганом, нашим земляком из села Потоки под Кременчугом, бегство Карла с Мазепой в турецкие пределы... А до всех этих событий — победы и дела Карла XII в Речи Посполитой, разорение Саксонского княжества, отчаянное положение России, когда она оказалась совершенно одна на театре военных действий, лишившись прежних союзников. Не только Мазепа колебался тогда и скурпулезно рассчитывал, как ему быть, как поступить и что предпринять, но и сам Петр униженно предлагал воинственному шведскому венценосному юноше позорное замирение и даже готов был за 20 миллионов рублей купить у него право продолжить строительство Петербурга, уступая то, что к этому времени было уже завоевано. Петр даже дважды просил замирения — и каждый раз все позорнее. Так, во второй раз, он изъявил готовность уступить Карлу даже Псков, а полякам не только уступить Правобережье, которое они настоятельно требовали, но и выделить 20 тысяч рублей какой-то непонятной «субсидии»... Причем дело освобождения правобережных городов и вывода русских войск возлагалось на Ивана Степановича, но с секретной же оговоркой: тянуть сколько можно с воплощением в жизнь... Таким образом Петр пытался отвести хотя бы часть шляхты от Станислава Лещинского. Если уж сам Петр, обладавший всей информацией о ходе войны, поколебался, то что тут говорить о Мазепе.

— Но Карл отказался от мира, — тихо сказала мне Лика, глядя в загустевающую за окном предзимнюю унылую темноту.

— Да, отказался. Ответил, что будет обсуждать замирение, сидя в московском Кремле...

— Молодость дерзновенна, — ответила Лика, — а что мы с тобой, Лешек, где наши порывы? Наши мечтания... Что сделали мы?..

Она иногда задавала такие вопросы, на которые не существовало ответа, словно имела в себе блестки дара Кассандры-пророчицы, — и я по-настоящему опасался этих прозрений. Потому разумнее всего было пропускать такие вопрошания просто мимо ушей, ибо любой ответ или попытка ответа могли завести нас с Ликой глубоко-далеко, и назад пути можно было и не найти. Пусть моя память покоится в гранитных берегах прочитанного в книгах или, по крайней мере, в выплывающих из некоей метафизической глубины фрагментах с Крещатика конца 70-х годов, когда мы там препроводили краткую молодость нашу, — Максим Добровольский с гитарой, химерные тексты его, эзотерические умствования непревзойденного поэта Игоря Винова, исчезнувшая Галюня Белик с редкой ее красотой, растворившаяся без следа в толще прошедшего времени, густые запахи красок и растворителей в мастерских Шерстюка и Гетона, суровый гиперреализм мужиков и воздушные акварели Наташи Вареник...

Но все-таки — книги. Ведь в них было и есть то, чего нам так не хватало под чугунной непоколебимой плитой развитого социализма — отблески истины, другое, столь отличное от того, что нас тогда окружало.

И я возвращался в иллюзорный свой мир, где все были живы — гетманы, цари, короли, можновладная непримиримая шляхта, своевольные буйные запорожцы, и где еще не свершилось непоправимое, — в тот мир, в котором мне следовало понять нечто важное и сокровенное.

И я промолчал.

Если не принимать во внимание прежние дела, предательства и измены нашего

Ивана Степановича, составлявшие такую понятную «жизнь» или же выживание при любых обстоятельствах — дезертирство из войск польского короля Яна Казимира под Глуховым в 1663 году, измену Петру Дорошенку, обусловленную, конечно же, нежданным попаданием в плен к запорожцам, предательство Самойловича, усугубление вины Голицына и Неплюева перед Петром, не считая мелких «брызг» в течение его гетманства вроде поклепа на кошевого Ивана Сирка, благодаря которому он избегнул смерти в Сечи, — причем он оговорил его сразу же в Малороссийском приказе, когда его доставили туда от Самойловича в лохматом 1674 году, то вовсе не замышлял он такого вопиющего к небесам предательства, которое произошло по стечению разнонаправленных, крупных и мелких, обстоятельств. Это понятно: к 1708 году он владел двадцать одним селом, семью деревнями и четырьмя слободами только в Севском, Рыльском и Путивльском уездах, то есть на самой границе с Великой Россией и в самой же России, в которых обитали 27 тысяч человек, причем насельники были природными россиянами и среди них насчитывалось совсем немного малороссов. Сергей Беляков со знанием дела говорит о том, что *«русский помещик Мазепа был хозяйственным, рачительным и деятельным: привлекал крестьян различными льготами, освобождал их на несколько лет от панщины, на свои средства строил мельницы и т.п. Так делали все умные и дальновидные хозяева...»* И продолжает: *«Однако события в Европе развивались таким образом, что дальновидный и осторожный Мазепа задумался о будущем своей власти и своей родины. Власть Мазепы опиралась на военно-политическую мощь России. Но эта мощь, кажется, должна была вскоре исчезнуть».*

И ведь все шло к тому — как ни странно это звучит! Петр лишился союзников — Августа II Сильного польское дворянство низложило, те поляки, кто находился в партии Августа и разделял его политические воззрения относительно союза с Москвой, естественным образом перешли на сторону победителей-шведов; на престол Речи Посполитой взошел ставленник Карла Станислав Лещинский; планы Карла, ни разу лично не потерпевшего поражения в битвах, внушали уважение своей грандиозностью: Россия обрекалась на расчленение — что было ему толковать о каком-то там Пскове? — шведам отходил весь Русский Север вплоть до Архангельска, союзной Речи же Посполитой предполагалось вернуть просто все, потерянное в течение 17-го столетия: древний Киев, всю Южную Русь-Украину, даже вожделенный Смоленск... У кого из поляков не замерло бы сердце от такой невероятной, радужной перспективы?.. Забегая вперед, надо сказать, что такими мечтами на протяжении нескольких веков, как родниковой водой, подпитывались все польские восстания и войны завоевателей-супостатов вроде Наполеона Бонапарта, в армиях которого были польские легионы, взыскующие воссоздания своего утраченного государства. Карл собирался и политически переустроить Россию: низложить Петра I и возвести на престол царевича Алексея или даже Якуба Собеского, старшего сына покойного короля Яна Собеского... И все это было совершенно реально: Саксония выбыла из войны, выплатила шведам громадную контрибуцию и целый год содержала у себя на кормлении многотысячное шведское войско. Петр вывел войска из Прибалтики, завоеванной прежде с немалыми трудностями практически наполовину. Русские города, готовясь к неминуемым шведским осадам, укреплялись: в Киеве строилась новая крепость, там на земляных работах не без ропота трудились козаки Мазепы; укреплялись Смоленск, Тверь, Серпухов, а также многие малороссийские города; в Москве укреплялись стены Кремля, а в самом Кремле даже начали копать колодец на случай долгой осады, ремонтировалась Китайгородская стена, строились новые бастионы и батареи.... Сергей Беляков сообщает, что власти готовились даже снести храм Василия Блаженного, чтобы не мешал прицельному огню артиллерии по Замоскворечью, откуда предполагалось вторжение шведского войска... Дворянам вместе со слугами надлежало формировать отряды ополчения. Эти меры вызвали в столице весьма противоречивые слухи и панические настроения. Петру пришлось даже издать разъяснения. По всем приметам выходило, что дни Российского царства практически сочтены.

Верность Мазепы трещала по швам. И не был бы Иван Степанович собой, если бы не думал о том, как ему выйти сухим из воды, как спастись и как уцелеть. Ведь речь шла о его латифундиях, селах, городках, о его громадных богатствах, накопленных за 20 лет беспорочного гетманства и самоотверженной службы Петру... Швырнуть все это — вместе с жизнью — в топку верности погибающему царю?.. «Оставь меня, но не в последний миг...» А этот «миг», кажется, приближался неотвратимо...

Когда войска Карла и Станислава Лещинского вошли с двух сторон в пределы того, что еще оставалось от Московского царства, Петр приказал применить тактику выжженной земли, при которой уничтожалось все, что могло пригодиться для снабжения вражеской армии: шведов предписывалось «томить», изматывать «оголожением провианта и фуража» — разорять местность по пути следования, уничтожать продовольственные припасы, дороги заваливать деревьями, села и деревни сжигать дотла, — на-

род в страхе разбегался по лесам и болотам... Всему этому в полной мере подвергались земли Гетманщины, — и Ивану Степановичу, понятное дело, это очень не нравилось.

Не дремали и враги: историки, летописцы и непосредственные свидетели вроде Филиппа Орлика отмечают тайные пересылки и переписки Ивана Степановича с королем Станиславом Лещинским, с вдовой княгиней-красавицей Анной Дольской, с которой Иван Степанович сперва вступил в некое духовное родство (крестил ее внучку, находясь в Дубно), а затем и причастился ее роскошного, знатного тела, искушенного в сексуальных забавах. Княгиня, как истинная высокородная шляхетная дама, конечно же, состояла в родстве со Станиславом Лещинским, ее умершие мужья входили в элиту Речи Посполитой — князь Вишневецкий, как и князь Дольский, были любимцами Яна Собеского и его верными соратниками в славных победах и битвах конца 17-го века, сын княгини, Михаил Вишневецкий во время Северной войны был польным, а затем великим гетманом литовским, сторонником Августа II Сильного. Когда военная ситуация изменилась не в пользу России и Августа низложили, он перешел в стан Лещинского. В поклонниках княгини числился и гетман польный коронный, затем гетман великий коронный и усмиритель правобережной Палиевщины Адам Сенявский. Не обошла княгиня вниманием и генералов Петра I Шереметева и Ренне, бывая в расположении русских войск вроде бы со «светскими» миссиями. Зрелая польская красавица славилась не только своими любовными чарами, богатством и красотой, но принимала, конечно же, деятельное участие в текущей политике. Именно через нее Иван Степанович установил прямую связь со Станиславом Лещинским, причем текущая его переписка с княгиней велась при помощи цифрового шифра. Не остались в стороне и члены Ордена иезуитов — некий ксендз Заленский, исполнявший какую-то тайную миссию, несколько раз приезжал в ставку гетмана то ли с письмами, которые по прочтении немедленно уничтожались, то ли со словесными извещениями, от которых не оставалось следов. Вообще княгиня Дольская, судя по всему, являлась секретным и весьма действенным орудием Общества Иисуса. Также историки неоднократно поминают какого-то бывшего архиерея, то ли болгарского, то ли сербского, странствовавшего под видом сбора милостыни, который был весьма удобным связным в сложном деле склонения Мазепы к его роковому шагу. Костомаров пишет, что настоящая цель его поездок известна была только четырем лицам: двум королям — шведскому и польскому, Мазепе и еще какому-то польскому пану. Но если имя иезуита все же попало в анналы истории, то относительно бывшего православного архиерея неизвестна даже его точная национальная принадлежность, а тем более имя. Может быть, и по незначительности, но может быть, и совсем наоборот. Переговоры о переходе Ивана Степановича на сторону шведов велись в такой секретности, что и сегодня не сыскать реальных концов. При этом гетман вел тончайшую, рискованную игру с Петром и министром Головкиным — пересылал им какие-то письма от своих конфидентов и задавал риторические, по видимости простодушные вопросы о том, что же ему делать со всем этим, как поступать? Эти присылки предложений измены только укрепляли веру Петра в верности и непоколебимости Мазепы.

Вот как описывает один из подобных случаев Николай Костомаров:

«Пан Тарло от 9 июня писал гетману письмо, убеждал пристать на сторону шведского короля и Станислава и уверял именем обоих королей, что войско запорожское и весь украинский народ будут оставаться при своих старинных правах и вольностях с приумножением новых, лишь бы только гетман, освободившись от тиранской власти, возвратился к своему наследственному государю и к общей матери — Речи Посполитой. Мазепа это письмо препроводил к Головкину и испрашивал приказания государя, как ему поступить. Царь приказал гетману дать ответ Тарлу по своему усмотрению. Тогда Мазепа от 23 июля отвечал Тарлу в таком смысле, что невозможно отклонить его, гетмана, от верности своему государю, и притом украинский народ никогда не захочет соединяться с поляками, испытавши от них много несчастий. Мазепа припоминал пану Тарлу, как еще в недавние времена киевский воевода Потоцкий расправлялся с восставшим народом: жолнеры отнимали от матерней груди невинных малюток и втыкали на копья, бросали их в ямы и душили огнем, загоняли в избы женщин и сожигали. Мазепа вспомнил, как принуждали народ к унии, как отдавали жидам-арендаторам право распоряжаться христианскими таинствами. Мазепа говорил, что «золотая вольность», которою так хвастались поляки, превращается у них в «железное самовольство». Мазепа обличал суетность обещаний вольностей малороссийскому народу, когда Станислав, которого поляки называют своим королем, сам не более как невольник шведского короля. Мазепа объявлял польскому пану, что Украине под царским скипетром вовсе не худо, и потому никакие обещания благ, никакие ласкательства не в силах ни теперь, ни впредь отвести малороссийский народ от русского царя и его наследников... Поступок с письмом Тарла и ответ последнему, присланный в копии Головкину, конечно, должны были показаться московскому правительству

новым доказательством непоколебимой верности гетмана и лживости всяких на него доносов. Заметим только, что для нас нет доказательства, что именно такой ответ был на самом деле послан Мазепою, но, во всяком случае, правительство другого не знало».

Последнее замечание Костомарова очень важно: все, что присылалось Иваном Степановичем для «контроля» в Москву, безоговорочно принималось на веру, а тем временем генеральный судья Кочубей, сделавший донос на Мазепу, подвергался в это же время мучительным пыткам в застенке и вскоре был вместе с полковником Искрой головой выдан Мазепе на казнь. Тут уж ничего невозможно было поделать: любовь Петра к Ивану Степановичу была совершенно слепа.

И в Гетманщине, среди своих полковников и старшины, Мазепа таился и вел искусную игру по рецептам своего любимого Никколо Макиавелли: рассуждая о давнем Гадячском договоре гетмана Выговского о создании Русского княжества в составе триединой Речи Посполитой, он с видимой твердостью позиционирует свою верность Москве — искушаемые несбыточными мечтами полковники колеблются, проговариваются о сокровенном — былые вольности, за которые сражались их деды в Хмельниччину, отнюдь не забыты... Копится и недовольство московскими неправдами, великодержавными хамством и грубостью, насилиями московских ратных людей над козаками и посполитыми — полковые канцелярии переполнены жалобами на произвол пришлых... Тем более все усугублялось войной, перемещением по Гетманщине значительных воинских контингентов, которые следовало принимать на постой, содержать и кормить. Кроме всего этого, Южная Русь-Украина выжигалась дотла перед наступлением шведов...

Костомаров, тщательно изучавший архивы той поры, рассказывает:

«Великорусские офицеры обращались грубо с козаками, били их палками, обрубливали им уши и чинили над ними всяческое поругание. Бедные козаки переносили всевозможные тягости, терпели томительный зной при тяжелых земляных работах, терпели вечное беспокойство за свой дом, зная, что без них некому было убирать сена и хлебов в рабочую пору, и, кроме того, находились в постоянном страхе: великорусские люди в то время беспрестанно сновали через малороссийский край то с рекрутами, то с запасами, насиловали оставшихся дома козацких жен и дочерей, забирали и истребляли лошадей и домашний скот и самих даже старшин наделяли побоями... Из полковников миргородский Апостол и прилуцкий Горленко выступили тогда перед гетманом, заступаясь за козаков. Горленко говорил ему: «Все мы за душу Хмельницкого Бога молим за то, что тот освободил Украину от лядского ига, а твою душу и кости станут дети наши проклинать, если ты после себя оставишь козаков в такой неволе!» — и подобным рассказам нет конца.

Что тут сказать? Таковы были нравы эпохи: побои, обрезания ушей, оскорбления и насилия — считались просто мелкими брызгами. Шведы, поляки, саксонцы — все стоили друг друга. Вот, к примеру, как казнили генерала Паткуля, высокопоставленного шведского перебежчика, выданного Карлу саксонцами:

«Карл самолично расписал для него процедуру мучительной казни: колесовать, а потом четвертовать. Ему нанесли 16 ударов железным ломом, переломав кости. После этого отрубили ноги, руки, наконец — голову. Но когда Карлу доложили, как умер Паткуль, он остался очень недоволен. Обезглавливание он счел жалостью. Жертва должна была сама умереть в страшных мучениях. Офицера, руководившего казнью и распорядившегося добить Паткуля, король за это разжаловал в рядовые...» — сообщает Валерий Шамбаров в книге «Петр и Мазепа». Таковыми были жестокие нравы эпохи...

А до того этот генерал-мученик безжалостно и садистски издевался над козаками Мазепы, посланными под его началом в Польшу для поддержки Августа, силой приучал их к «иноземному строю», бил, сек и казнил за мнимые вины, — и никто этого горделивого шведа не мог унять — ни царь Петр, ни тем более гетман. Человек той поры был никем и ничем, пора гуманизма и всего, сопряженного с ним, еще не пришла. Да и была ли в природе она?..

Но ищущий повод — находит его. Царь Петр, жесткий реформатор русского традиционного бытия, не церемонился ни с кем и ни с чем: отменил патриаршество, свел роль церкви к утилитарному надзорному органу, предписывая при необходимости нарушать тайну исповеди, жестоко преследовал старообрядцев, резал бороды и полы боярских кафтанов, ломал ничтоже сумняшеся вековые устои Московской Руси, упразднил Земские соборы, кощунствовал в алкогольном безумии со своей верной челядью, прорубая в Европу «окно»... Ценя Ивана Степановича, Петр до времени не трогал Гетманщину и ее «вольности», или что там от них оставалось еще, но гетман, зная неплохо царя, был уверен, что вскоре как Гетманщина, так и сам институт по управлению Малороссией будут преобразованы в нечто принципиально другое. Первые звоночки

уже прозвучали на военном совете в Жолкве, когда Петр приказал Ивану Степановичу выполнять приказания Меншикова в очередном военном походе. Впрочем, поход этот не состоялся, но Иван Степанович все хорошо понял:

«Вот, — говорил он близким своим, — *какое награждение мне при старости за многолетнюю верную службу! Велят быть под командою Меншикова! Не жалостно было бы, если б меня отдали под команду Шереметева или иного какого-нибудь великоименитого и от предков заслуженного человека!»*

Ну да, что говорить — Мазепа был шляхетного рода, в молодости знавал королей Речи Посполитой, а Алексашка подовыми пирогами в Москве на Красной площади торговал!.. Есть же разница!.. Прикладывались и личные, невыносимые для Ивана Степановича обиды: мало того, что ему трудно было видеть, как Петр потакает любимцу-пирожнику и вроде бы отодвигает верного, мудрого гетмана, так еще и Меншиков нанес ему личное оскорбление: Иван Степанович имел намерение женить своего племянника Войнаровского на сестре Александра Даниловича, и тот вроде бы согласился на брак, но затем передумал, мотивируя свой отказ тем, что сам царь думает жениться на ней. А тут еще прекрасноликая княгиня Анна Дольская как раз очень вовремя в шифрованном письме сообщила гетману ужасную новость, вынесенную ею с великосветского раута с царскими генералами: Александр Данилович... метит занять гетманскую должность Ивана Степановича!

«На этот раз она не писала уже о короле Станиславе, не делала намеков, которые можно было понимать как приглашения к измене. Она, как будто послушавшись Ивана Степановича, совершенно оставила прежнего рода корреспонденцию, — теперь она только по дружбе к нему предостерегла его насчет Меншикова. Она писала, что была где-то у кого-то восприемницей вместе с Борисом Петровичем Шереметевым, и на крестинах, сидя за столом между Шереметевым и генералом Реном, отозвалась с похвалой о гетмане Мазепе. Генерал Рен отозвался о нем также с похвалою и сказал: «Жаль этого доброго и умного Ивана! Он, бедный, не знает, что князь Александр Данилович яму под ним роет и хочет, его отставя, сам стать в Украине гетманом». Княгиня с удивлением обратилась к Борису Петровичу Шереметеву и спрашивала, правда ли это. Шереметев отвечал утвердительно. «Отчего же никто из добрых приятелей не предостережет его?» — сказала княгиня. «Невозможно, — отвечал Шереметев, — мы сами много терпим, да молчать принуждены!» — такие подробности приводит Костомаров.

Тем временем военная ситуация только лишь ухудшалась, и козацкая старшина на военных советах вымогала от гетмана каких-то решительных действий. Ведь Апостол с Горленко, поминая времена и дела Богдана Хмльницкого, говорили вслух то, что было в душе Ивана Степановича, но он, давая полковникам высказаться, таился, снова и снова переигрывал их всех. Недаром как-то на военном совете он сказал в сердцах старшине, что его голова умнее, чем все головы, что здесь собрались, — и с ним никто не стал спорить. Опасливый и осторожный, гетман искусно вел свою игру со старшиной, вполне театрально разыгрывая сомнения и душевные муки.

«Как же мне поступить?» — риторически вопрошал он полковников, и те, простодушные, приступали к нему с прямыми требованиями «отойти от Москвы»...

Так премудро устраивалась эта измена: и он, Иван Степанович Мазепа, вроде как только послушный исполнитель соборной воли народа...

Или все-таки не измена, а некий выбор *другого пути?* Просто так все совпало с этой войной — то ли случайно, то ли промыслительно, то ли счастливо — если бы все задуманное удалось, то ли несчастливо — как получилось в итоге... Тяжело разобраться, и толкования здесь полярные.

Шифрованные известия от княгини-прелестницы о намерениях Меншикова стали, быть может, последней каплей на политических весах Ивана Степановича. Хотя и тут много вопросов: кто может поручиться за истинность сообщения Анны Дольской? Не разыгрывалась ли посредством ее очередная крапленая карта Общества Иисуса? Где письменные следы, где документы? Ведь свой диалог с царскими генералами княгиня могла просто придумать. Но в совокупности все это создавало поистине гремучую смесь, — и не хватало только лишь искры. Разноречивые и сложные чувства переполняли душу Ивана Степановича: как быть, как поступить правильно, как остаться на гребне своей власти и не потерять все, накопленное за десятилетия гетманства? — ситуация столь быстро менялась, что затягивать дальше с каким-то решением не представлялось возможным. Надо было с кем-то, кому Мазепа доверял совершенно, все это обговорить. Но таких людей вокруг него не было — он, зная не понаслышке о низменности человеческой натуры, никому не верил. Но пришлось все-таки рисковать...

Прежде чем открыться своему писарю Филиппу Орлику, гетман заставил того присягнуть на кресте и Евангелии сохранить в тайне то, о чем он ему сообщит. Еще прежде Иван Степанович намерено искушал его чтением вслух писем от княгини Дольской

с недвусмысленными предложениями и торгом о том, что король Станислав Лещинский готов предоставить во владение гетману после перехода на сторону шведов (надо сказать, предложения Лещинского не удовлетворяли Мазепу, казались ничтожными). Орлик в своем позднем письме к киевскому митрополиту Стефану Яворскому, в 1721 году, признавался, что его посещала мысль «сдать» Ивана Степановича царским вельможам, но слишком свежа была память об Искре, Кочубее и других доносчиках, да и сам гетман недвусмысленно Орлика предупредил на всякий случай: помни — кто ты и кто я и кому из нас поверит царь Петр:

«Смотри, Орлик, — говорил он ему, — будь мне верен: сам ведаешь, в какой нахожусь я милости. Не променяют меня на тебя. Ты убог, я богат, а Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь!» — «Устрашала меня, — говорит он, — страшная, нигде в свете не бывалая суровость великороссийских порядков, где многие невинные могут погибать и где доносчику дается первый кнут; у меня же в руках не было и письменных доводов...»

«Мазепа произнес Орлику такую речь: «До сих пор я не смел тебе объявлять прежде времени моего намерения и открывать тайну, которая вчера тебе открылась случайно. Не то чтоб я в твоей верности сомневался, — я никогда о тебе не подумаю, чтоб ты заплатил мне неблагодарностью за толикую к тебе милость, за любовь и благодеяния и стал бы моим предателем, — но я рассуждал так: ты человек умный и добросовестный, однако еще молод и недостаточно опытен в таких оборотах. Я опасался, чтоб ты в беседах с великороссиянами да и с нашими всякого чина людьми или по доверчивости, или по неосторожности да как бы не проговорился об этом секрете и тем самым не погубил бы меня и себя. Но так как теперь это случайно не утаилось, то я призываю всемогущего Бога во свидетели и присягаю тебе вот в чем: не для приватной моей пользы, не ради высших почестей, не ради большего обогащения, не для иных каких-нибудь прихотей, но ради всех вас, состоящих под властью моею и под моим регментом, ради жен и детей ваших, ради общего добра матери нашей бедной Украины, для пользы всего Войска Запорожского и народа малороссийского, для возвышения и расширения войсковых прав и вольностей хочу я при помощи Божией так чинить, чтоб вы с женами и детьми вашими и отчизна с Войском Запорожским не погибли как от московской, так и от шведской стороны. Если ж бы я, ради каких-либо моих приватных прихотей, дерзал так поступать, то пусть побьет меня и на душе, и на теле Бог, в Троице Святой единый!» Он поцеловал крест с частицею животворящего древа и, обратившись к писарю, продолжал: «Я в тебе уверен крепко и надеюсь, что ни совесть твоя, ни доблесть, ни честность, ни прирожденная шляхетная кровь не допустят тебя сделаться предателем своего господина и благодетеля; однако же, для большей верности, чтобы мне не оставалось ни малейшего сомнения, как я присягнул тебе, так и ты присягни мне перед распятым на животворящем древе Христом, — присягни, что будешь мне верен и не откроешь никому секрета».

Орлик присягнул и поцеловал крест, который держал в руках Мазепа. До тех пор его все еще тревожило подозрение: не испытывает ли его гетман; но после произнесения присяги Орлик стал увереннее в том, что Мазепа говорит с ним искренно и поверяет ему важную тайну. Писарь стал смелее и сказал: «Присяга вашей вельможности показывает усердную вашу ревность и отеческое помышление о своей отчизне и всех нас; но кто может исследовать судьбы Божии: какой предел положен настоящей войне и за кем будет виктория? Если за шведами, вельможность ваша и мы все будем счастливы; но если за царским величеством, тогда мы все пропадем и народ погубим».

Мазепа отвечал: «Яйца курицу учат! Дурак разве я, чтобы прежде времени отступать, пока не увижу крайней нужды, пока не увижу, что царское величество не в силах будет защищать не только Украины, но и всего своего государства от шведской потенции? Уж я, будучи в Жолкве, докладывал царскому величеству: если король шведский и Станислав разделятся, и первый пойдет на государство Московское, а второй на Украину, то мы не можем оборониться от шведских и польских войск с нашим бессильным войском, подорванным и умаленным от частых походов и битв. Того ради просил я царское величество там же, в Жолкве, чтоб изволил придать нам в помощь, по крайней мере, хоть тысяч десять из своих регулярных войск, а его величество мне отвечал: «Не только десяти тысяч — и десяти человек не могу дать; сами обороняйтесь, как можете». И то еще меня понудило посылать этого ксендза-тринитара, капеллана княгини Дольской, в Саксонию (об иезуите Заленском Мазепа не вспомянул), чтобы там, видя какую-нибудь мою к себе инклинацию, не решались поступать с нами по-неприятельски и опустошать бедную Украину мечом и огнем. Тем не менее я буду сохранять верность царскому величеству до тех пор, пока не увижу, с какою потенциею король Станислав придет к украинским пределам и какой успех покажут шведские военные силы. Если мы увидим себя не в силах оборонять Украину и самих себя, то чего ради нам самим лезть в погибель и губить свою отчизну? Сам Бог и

целый свет будет видеть, что мы по нужде решились это сделать, что, как вольный и не завоеванный народ, мы старались всеми способами о нашей целости. Без крайней, последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству. Для этого я заблагорассудил писать к царскому величеству и послать эту записочку Станислава, ко мне писанную, в доказательство моей верности...» (Н. Костомаров).

Игра в «верность» продолжалась даже сейчас...

Татьяна Таирова-Яковлева, написавшая для серии «Жизнь замечательных людей» книгу о нашем Иване Степановиче, по сути дела, оправдывает Мазепу тем, что он, как средневековой рыцарь, находился в вассальной зависимости от сюзерена, Петра I, унаследовав эту зависимость со времен Переяславской рады, на которой Южная Русь-Украина *добровольно* отдалась под покров Московского царства... Как следует из приведенного отрывка из письма Орлика, «сюзерен» оставил своего «вассала» наедине с наступающим шведом, отказавшись дать для защиты Малой России даже 10 человек. Следовательно, по мнению Таировой-Яковлевой, вассальная зависимость упразднялась сама по себе, и у гетмана Мазепы руки развязывались — он с этой минуты не обязан был больше никому и ничего. Но почтенная исследовательница из Санкт-Петербурга почему-то не вспоминает, что московские войска никуда с Украины и не уходили и находились во многих городах на постое в ожидании предстоящих баталий, которые не замедлили. Но так было удобно милой «авторке», как ныне принято говорить: «вассал — сюзерен» и прочие домыслы об оставлении Украины царем наедине со шведами... Недаром президент независимой Украины «оранжевый» Ющенко наградил Таирову-Яковлеву за этот «тришкин кафтан» в серии «ЖЗЛ» женским орденом и даже целовал нашей «авторке» руку...

С таинственностью и секретностью задуманного предприятия Иван Степанович, конечно, слишком перемудрил — он так долго таился со своим действительным замыслом и так ретиво выказывал ложную верность Петру, что, когда наконец-то «Рубикон перешел» и дело свое воплотил в жизнь, ни козаки, ни посполитый народ ничего даже не поняли: шведы, проклинаемые многократно и истово, из врагов в одночасье стали друзьями... Мало кто смог уложить в голове такой психологический пируэт. Может быть, отчасти старшина, наблюдая за внутренними муками и колебаниями гетмана, смутно нечто такое ощущала, по крайней мере Мазепа никак не пресекал вольностей в их разговорах:

«Старшины сильно волновались, сходились беспрестанно то у обозного Ломиковского, то у миргородского полковника Апостола, советовались между собою, кричали и даже обращались к чтению Гадяцкого договора...» — говорит Костомаров, — а ведь с составления этого утопического документа, отвергнутого с негодованием поляками, прошла целая эпоха, нареченная потомками Руиной, но за эти полвека ничего другого, хотя бы равного по значению, южнорусская политическая мысль так и не выработала. Да это и понятно: некогда было образованному тонкому слою, не сложившемуся еще в какое-то вменяемое сословие, заниматься столь сложным делом — с 1648 года и по этот, 1707, год ни на день не прекращалась война всех со всеми. И козацкой старшине оставалось только либо мечтать о несбыточном, либо лить горькие слезы о былом — и прежде всего о том роковом моменте 1657 года, когда все могло бы перемениться, но не переменилось никак...

И вот — пробил час роковой!..

«Подали крест и Евангелие. Сначала они целовали то и другое и произнесли присягу, потом также присягнул и он перед всеми. В этой присяге положили, по соображению обстоятельств, передаться на сторону Карла и Станислава и помогать им против московского царя, с тем чтобы при заключении мира Украина была признана вполне независимою страною. И так выходило, будто все это дело исходит от старшин, которые к нему понуждают гетмана, тогда как, собственно, старшины, сами того не зная, исполняли давнее предрешенное желание своего гетмана и были его слепыми орудиями».

Иван Степанович подстраховывался и перестраховывался. А чего стоят эти пронзительные по верности и любви к Петру письма, сохранившиеся в Архиве иностранных дел:

«...не могут мене никогда ни стрелы, ни огонь розлучить от любви пресветлейшего всемилостивейшого государя моего, которого святобливым предкам пресветлейшим царем московским и его царскому величеству одиножды во все со всем Войском Запорожским и народом малороссийским веру присягал и оную свято содержати должен есмь по праву совести... напрасный ваш труд, непотребные заводы, ненадежные надежды и ожидания суть; понеже в тих своих вертоглавных действах напрасно чрез толь многие годы трудитеся, ибо первее на земле звезды будут, небо же сохою орано, нежели Украина смела бы когда возвратитися к короне Польской и народ козацкий, от веков к польскому имеющий ненависть, с Речею Посполитою соединен

имел быть; покамест свет стоит светом, не будет козак поляку братом, ожегшися на воде побратимся лядского».

«...Вольные есмы от всех податей, обогачены довольными маетностями, вера святая нас с храбрым народом московским соединяет и церкви Божии повсядневно прибавляются: какой еще вольному народу больше надобно вольности...»

«...Хотя бы оному землю плывущую млеком и медом давали, не прельстят его никакие ласкательства и не отведут не токмо ныне, но и впредь от неосиленного защищения пресветлейшего царского величества всемилостивейшего государя и непобедимых наследников его, в котором себе лучшую часть избра... Того ради не надлежит того желать, чего получить невозможно...»

Мед и елей прямо стекали по усам Ивана Степановича, — и воистину, никогда у московских властителей не было столь верного и преданного друга, слуги, соратника и сотаинника, или — по слову Тараса Шевченка — «подножки трона», нежели гетман Мазепа!

И тут же, после этих благоуветливых слов истинного даровитого поэта, легших на вечное хранение в московских архивных анналах, у шведского историка Нордберга находим известия о тайных посланцах гетмана к Станиславу Лещинскому, а некий самовидец Адлерфельд, а за ним и шведский историк Фриксель, даже дословно цитируют слова гетмана, переданные полякам в октябре 1707 года низложенным «сербско-болгарским» таинственным архиереем, на деле же тайным агентом в рясе:

«Всем известно, что московские ратные люди большие трусы, и хотя хвастают, что с твердостью будут ожидать нападения от шведов, но всегда разбегаются. Мазепа предлагает королям шведскому и польскому свое содействие и заранее обещает устроить мосты для шведского войска, если короли станут покровительствовать его намерениям. Московское войско, которого будет в Украине тысяч шесть или семь, все будет истреблено».

А как же быть с госпожой Таировой-Яковлевой, которая оправдывает Ивана Степановича в «расторжении вассальной зависимости» из-за того, что он оставлен Петром наедине с неприятелем, и отказал ему даже в 10 воинах, если даже исчисляется 6 или 7 тысяч русских солдат, обреченных на заклание в виде искупительной жертвы?.. Следовательно, московские воинские соединения все же наличествовали на территории Гетманщины?

— Это — жизнь... — задумчиво изрекла Лика.

А гетман, только что спевший пронзительную песнь о том, что скорее небо будет вспахано и звезды упадут на грешную землю, чем он с народом своим отложится от Московского царства, тут же обещает беспощадное истребление московских ратных людей, даже называется точная цифра...

— Надо сказать, очень последовательно, — отметила Лика.

Николай Костомаров нащупывает след иезуитов во всей этой многосложной истории:

«В истории Карла XII, составленной Фрикселем, который пользовался делами в шведском государственном архиве, говорится, что Мазепа был склонен на сторону Станислава преимущественно иезуитами, которым он поддался, потому что с юности был привязан к римской церкви, и хотя впоследствии из видов казался православным, но на самом деле он только притворялся и внутренне не терпел православного исповедания. Подобное качество в Мазепе признается в манифестах царя Петра и в универсалах гетмана Скоропадского, где обличают Мазепу в намерении отдать Польше Малую Россию с целью ввести римскую веру и унию».

Ну что тут сказать? «Что есть истина?» — как молвил Христу Понтий Пилат. Я хорошо понимал причину пропагандистского заострения манифестов Петра и универсалов гетмана Скоропадского, которого спешно избрали по указанию самодержца на освободившееся место возглавителя Гетманщины. Вероисповедная карта по-прежнему оставалась главным козырем в любой острой или сомнительной ситуации. А ведь с Брестского собора 1596 года, ввергшего Южную Русь-Украину в бесконечную религиозную войну, уже прошло более века, но саднила и ныла эта незаживающая рана, нанесенная соборному разуму православных своими же епископами-перевертышами ради каких-то земных благ, от которых не осталось даже никакой памяти. Ради верности православному вероисповеданию народ Руси-Украины принес неисчислимые жертвы, — уничтожение унии, той злосчастной «кости раздора», расколовшей единый народ, было написано на хоругвях всех козацких восстаний 17-го столетия, и ввиду окончательной погибели от польских панов, Богдан Хмельницкий и отдался под протекторат единоверного Московского царства, о чем несколько раз как о важнейшей причине было помянуто в решении Земского собора 1653 года о добровольном присоединении земель, Запорожского войска и всего народа к Московской Руси. Конечно, в манифестах Петра и универсалах нового гетмана Скоропадского первым де-

лом указывалась эта злосчастная уния как одна из двух главных целей предательства бывшего гетмана. Вторая цель Ивана Степановича была не менее страшная: возвращение козацкого края Речи Посполитой...

— Лешек, — сказала тут Лика, — а теперь-то что стало с нашим народом? Петр I поминанием церковной унии и Речи Посполитой смог отвратить от плана Мазепы всех малороссов. А ныне мало того, что униаты на каждом пропагандистском углу величают сами себя «святоотеческой церковью Украины», так еще толпы радостно встречают в Киеве нашем папу римского, машут флажками, кричат «ура», «слава-прослава»...

— Европейские ценности, — чего хочешь ты, Лика? За революцию зимы 2014 года нам щедро заплатила Европа — «безвизом», и люди, освободившиеся от тирании Януковича, поехали с радостью в соседнюю Польшу собирать клубнику, работать на фабриках и пробивать засоры в канализации, — как прежде, в 17 веке... А перед тем, ты же помнишь, что в листовках перед Майданом написано было: хотите европейские пенсии — в 3 тысячи евро?.. А среднюю зарплату — в 5 тысяч?.. Та хотим!..

— А кто же не хочет?..

— Вот и все! Только где эти пенсии и зарплаты?

— Главное — сделано дело. А теперь — проше пана до Польши, на плантации, к добрым хозяевам — они вас накормят и ублажат... Вот и все государственное мышление.

— Семьдесят лет коммунизма — куда ты их денешь? — сказал я. — Прошло безвозвратно время мучеников за веру, да и что от веры нашей осталось, — куцее, серое — не стоит выеденного яйца. Потому и приветствуем — римского папу или эту, американку, забыл ее имя, Нуланд, которая на Майдане печеньки крикунам раздавала, — в рот им, мудрецам, все заглядываем... А до того, в 1990-е годы, цирк с тремя православными юрисдикциями устроили — Киевский патриархат во главе с бессмертным Филаретом, кадровым офицером спецслужб, автокефалистами Липковского толка и осколком Русской православной церкви на Украине.

— Да и греко-католиков еще не забудь, — добавила Лика, — и харизматов, не говоря о традиционных протестантах.

— После того как имперский колосс СССР рухнул на подломленных «перестройкой» и «ускорением» глиняных ногах на колени, а затем и вовсе распался на куски, на нашу — неизбывно все ту же — духовную пустыню ринулись новые и новые проповедники и «носители истины», некоторые оседлали даже российские федеральные телевизионные каналы, а «гуру» (С. Асахара, к примеру) введены были под ручки в высший правительственный истеблишмент одним из тогдашних вице-премьеров. Пасторы по телевизору, стадионы и киноконцертные залы, заполненные тысячами людей, чающих «пробуждения кундалини», развеселые демонстрации с бубнами и барабанами кришнаитов, зомби в белых одеждах на провинциальных автовокзалах, предрекающих «конец света», Мария Дэви Христос — все уже позабыто отчасти, сброшено изношенным духовным хламом долой, — но то, что все это минуло, только кажется. В Википедии я разыскал недавнюю статистику Объединения независимых харизматических христианских церквей Украины (полного Евангелия) — в самом наименовании этого объединения подразумевается то, что нынешние православные христиане живут по некоему «сокращенному» Евангелию, что уже вызывает закономерный и резонный вопрос: «На сегодняшний день ОНХХЦУ (ПЕ) стало самым большим харизматическим объединением христианских церквей Украины (на 1 января 2010 г. включает 635 церквей, 6 миссий и 5 духовных учебных заведений — что составляет около 50 процентов харизматических церквей Украины)». Говоря другими словами, еще половина из деноминаций осталась вне нашего ведения. И эта информация отнюдь не содержит статистических известий о привычных нам «пятидесятниках», о мормонах, которых сами «харизматы» не почитают за христиан, об иеговистах, о пресловутом «Белом братстве» и еще о десятках толков, неведомых мне... И я снова акцентирую: эти данные по Украине. А есть еще и Россия...

— И при этом...

— Да — и при этом мы так и остаемся убогими, серыми атеистами, ни к какому духовному деланию неспособными. Вот это богатое разнообразие церковных и околоцерковных деноминаций только свидетельствует о духовной пустыне, господствующей как на нашей земле, так и в наших душах.

Ну а тогда, осенью 1708 года все было вовсе не так, как сегодня, ибо человек — козак или посполитый — пребывали в некоей внутренней цельности, и православное исповедание веры, принадлежность к православной церкви — даже после всех треволнений и бед минувшего с Брестского собора века — по-прежнему оставалось главным, определяющим. Иван Степанович в своих воззваниях к малороссам апеллировал к исторической «вольности» (которой и не было ведь никогда, иначе откуда бы и взяться было всем козацким мятежам и восстаниям в недрах Речи Посполитой), использовал понятную пропагандистскую риторику, исчисляя неправды и беды, принесенные на

Южную Русь-Украину пришлым московским народом, — но эти беды-неправды всем были известны, лежали, что называется, на поверхности, и их не надо было специально выискивать. Но все понимали: идет война, и военное разорение края неизбежно, как неизбежна и трата народа... Но — уния с Римом?.. Но — возвращение Украины полякам?.. Соборная память еще не уснула вечным сном, не выхолостилась, как сегодня, в 2021 году, когда я пишу эти строки, когда с равнодушием и безразличием мы читаем и слышим об очередном визите римского папы в Киев: в лучшем случае нас это попросту не касается... Но это — и все... Именно по этой причине дело Ивана Степановича было просто обречено на провал. И именно церковную и политическую карту умело разыграл российский монарх. Я далеко не поклонник Петра I, его реформы, его образ жизни, его жестокости и непримиримость вызывают во мне отторжение и неприятие, но с гетманом Иваном Степановичем он выбрал верную тактику и затронул самые чувствительные струны души малоросса. Воистину, «начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое», — пророчески сказано апостолом Павлом.

Таиться же старому гетману больше было нельзя: из Константинополя, из Речи Посполитой, от перебежчиков и от пленных — отовсюду поступали к Петру глухие известия об измене Мазепы, но Петр по-прежнему ничему такому не верил. Да и общая военная ситуация была не в пользу Петра. Но Иван Степанович перемудрил в своей осторожности: даже старши на, чью волю он якобы исполнял «исходя из обстоятельств», не имела полной картины, поэтому, когда по приказу гетмана козацкое войско переправилось на другой берег реки Десны, на враждебную уже территорию, козаки были уверены, что идут в поход против захватчиков-шведов. Каково же было их изумление, когда Иван Степанович обратился к ним с такой зажигательной речью:

«Я, — говорил Мазепа, — много раз старался отвратить царя от намерений погибельных для всего народа малороссийского. Но из того не вышло ничего доброго: только я сам подпал его гневу и злобе и не нашел иного способа спасения себе, как обратиться к великодушию шведского короля. Он обязывается уважать наши права и вольности и защищать их против всех тех, которые на них посягают и вперед станут посягать. Братия! Пришла наша пора; воспользуемся представившимся случаем: отомстим москалям за их долговременное насилие над нами, за все совершенные ими жестокости и несправедливости, охраним на будущие времена нашу свободу и права козацкие от их посягательств! Вот когда пришло время свергнуть с себя ненавистное ярмо и сделать нашу Украину страною свободною и ни от кого независимою. Вот к какой будущности я вас всех призываю. Вы, братия, верно достигнете этой цели при вашем мужестве и при содействии шведского короля, который предлагает вам воевать против москалей вместе со шведами». Речь гетмана прослушана была без ответа», — говорит Костомаров.

И это молчание народа, как в «Борисе Годунове» Пушкина, просто вопиет к небу. Оно воистину страшное — и в этом безмолвии был уже заключен ответ гетману или формула его поражения.

В тайных переговорах Иван Степанович обещал Станиславу Лещинскому и Карлу XII привести в их воинский стан 50 тысяч козаков, затем цифру пришлось снизить до более реальных 20 тысяч, но и того не нашлось. По свидетельству очевидцев Мазепа привел к Карлу за Десну всего 3 или 4 тысячи человек. Да и те к следующему утру ополовинились числом.

Конечно, умный и дальновидный Иван Степанович, оборотившийся наконец лицом к козакам, обманом приведенным им на другой берег Десны, осознал свою трагическую ошибку, увидев незначительность своего войска, да и молчание козаков, которое стало ответом на его пламенные призывы, остудило его. Да и если разобраться по существу хотя бы с этой фразой из его пламенного заклинания: «Он (Карл XII) обязывается уважать наши права и вольности и защищать их против всех тех, которые на них посягают и вперед станут посягать»... Да какое дело Карлу было до каких-то там вольностей и прав чужого народа? Разве ему своих забот не хватало в этой войне, которую он вел уже несколько лет вдали от родной его Швеции? Да и как себе мыслил эту мифическую «защиту» опытный гетман, «ношеная и искусная птица», как он себя полемически характеризовал Орлику, когда они с ним читали секретные шифрованные письма княгини-прелестницы? Ответа здесь не может быть никакого. Все, произносимое гетманом, было не более чем убогая антимосковская пропаганда, каковую козаки слышали из поколения в поколение: польский комиссар Беневский пугал козаков Хмельницкого и Выговского лаптями, зипунами и переселением за Белоозеро, практически то же, с учетом реалий нового времени, теперь говорил козакам старый гетман Мазепа. А вот и настоящая цена козацких «вольностей»: бунчук и булаву — драгоценные гетманские клейноды верховной власти над землей и народом Руси-Украины — Иван Степанович кладет к ногам 26-летнего юноши-иноземца, который годится во

внуки ему... Но Карл еще прежде, пока шли переговоры с Мазепой и Лещинским о переходе гетмана на его сторону, довольно скептически отнесся к этому предприятию и вовсе не ликовал от такого сомнительного союзника:

«Он сказал: «Я заметил по опыту, что козаки способны оказывать услуги, когда приходится преследовать бегущего неприятеля, но вообще во время войны на них нельзя полагаться».

Конечно, мне, как историку и отчасти психологу, было бы крайне любопытно увидеть первую реакцию российского самодержца на известие о том, что вернейший из верных гетман предал его. Как открылись глаза у царя и каковым увидел он новый мир, в котором отныне предстояло ему жить с такой вот реальностью? Как непреложно и страшно проявились все эти роковые знаки измены, сгубившие не один десяток верных людей, — ведь Петр сам выдавал их на муки, расправы и казни своему любимцу и верному до этой поры другу... Но до нас дошла только довольно нейтральная фраза, написанная царем в письме графу Ф.М. Апраксину:

«Нужда повелевает явити, что учинил новый Иуда Мазепа, ибо 21 год быв в верности, ныне при гробе стал изменник и предатель своего народа. Однако ж Бог правосуден, который таким злым никогда исполнить не допускает своего намерения. Понеже как слышим, что житие его кроме Бога было, то надежда в Боге, что себе вящее зло исходатайствует (чему пособит и кровь Самуйлова), нежели тому, кому зла хотел».

«Так в первый раз вспомнил русский царь о несчастном Самойловиче, тогда как последний уже успел умереть в ссылке и нищете, а его семейство и родные гибли в угоду ласкаемого царем Мазепы, который только теперь показал себя, чем он был на самом деле», — говорит Костомаров.

Конечно, это очень грустная, печальная и страшноватая история с этой роковой изменой, с этим — таким личным, таким невероятным предательством для столь мудрого, умного и осторожного человека, каким в полной мере был гетман Мазепа. Являлись ли ему души погубленных им людей? Ощущал ли он какую-то ответственность за тех, кто отозвался на его зов, поверил ему, кто разделил с ним несчастливую и злую судьбину после Полтавы? За тех насельников гетманской столицы Батурина, которые по гетманскому приказу оказали сопротивление русским войскам князя Меншикова и были практически поголовно уничтожены без разбора пола и возраста? За тех запорожцев кошевого Костя Гордиенка, которого он годами честил «вором и разбойником», а низовых козаков его «тыми псами запорожцами» — но только они и стали единственными, кто разделил с гетманом его нынешнюю судьбу и его последний, смертельный поход...

Ну а прежде старого гетмана оставила почти вся старши*и* на: Петр своим манифестом дал на покаяние и возвращение под великороссийские хоругви совсем краткое время, обещая прощение и сохранение за вернувшимися земель и маетностей, те же, кто не откликнется на эту м̇илость царя, обрекались на уничтожение. Воинственный пыл буйной прежде старши*н*ы довольно быстро угас, пришло протрезвление от угара, и остался только голый расчет: конечно, каждому из полковников было что терять в своих полковых городах, — и по ночам они друг за другом уходили из шведского стана к Петру. Дабы предотвратить этот исход и оскудение полковых командиров, шведы у покоев каждого из оставшихся выставили военные караулы. Для пущей крепости заложниками доставили их жен и детей... Дело Ивана Степановича, и прежде некрепкое, разваливалось на глазах...

Иван Степанович между тем произносил очередную патриотическую речь перед запорожцами, прибывшими в королевскую ставку для представления Карлу XII в Великие Будища невдалеке от Полтавы: *«У меня нет ни жены, ни детей; я мог бы удалиться в Польшу или куда-нибудь и спокойно провести там остаток дней моей жизни; но, управляви столько времени Украиною с заботливостью и верностью, насколько доставало у меня способностей, я по долгу чести и сердечной любви не могу сложа руки оставлять этот край на произвол неправедного угнетателя. Мне слишком известно, что царь намеревался переселить нас всех в иной край, а вас, запорожцы, всех повернуть в драгуны и ваши жилища разорить дотла. Если вы, запорожцы, еще сохранили вашу свободу, то этим обязаны вы только мне, Мазепе. Если бы замысел царский осуществился, вы все были бы перевязаны, перекованы и отправлены в Сибирь. Уже Меншиков двигался с ужасающею силою войска, и нужно признать особое руководительство провидения над нами, что в эту самую пору шведский король вступил в наш край и подал всем доброжелательным людям надежду на освобождение от угнетателей. Я счел своим долгом обратиться к шведскому королю и надеюсь, что Бог, избавивший нас недавно от опасности, поможет нам свергнуть с себя постыдное иго. Будемте заодно, запорожцы!»*

И все это, увы, оставалось только словами: Сечь уже разорили, а прежде сожгли днепровские городки и крепости на пути к Запорожью — Келеберду и Переволочную,

оказавшие сопротивление, все, кто в них находились, были преданы казни. Петр, обрекая Запорожье на уничтожение, вполне мог сослаться не только на измену низовых козаков во время отчаянной военной поры, но и на многочисленные донесения самого Ивана Степановича в относительно мирные времена, где тот неоднократно и слезно призывал самодержца разорить гнездо «тых псов и воров запорожцев». Теперь же всем заинтересованным людям, склонившимся на его сторону и поверившим в его высокую и недостижимую цель, гетман преподносил совсем иную картину.

И в этом ведь нет ничего удивительного: таковы обстоятельства...

Но даже среди запорожцев единодушия не было вовсе: войско разделилось еще до атаки полковников Яковлева и Галагана. Старые, осторожные козаки склонялись к верности Петру, молодежь бунтовала, верила в благие намерения гетмана и вовсе не пугалась испытать себя в новой реальности. Совсем иначе повел себя народ Гетманщины: даже в близких селениях возле Батурина козаки, поймав агитаторов Ивана Степановича с его универсалами, призывающими к вооруженной борьбе с великороссами, головой выдавали их на расправу властям. Да и военная ситуация начала меняться в пользу Петра: войска Карла пережили тяжелую — чрезвычайно холодную и голодную — зиму на Украине, где Петр применил тактику выжженной земли, а обещания Мазепы о предоставлении фуража и пропитания войскам оказались пустыми, ввиду активных действий генералов Петра и общего нерасположения людей к шведам. Да и какое расположение могло быть у народа, если сам Иван Степанович совсем ведь недавно честил шведов самыми непотребными словесами и выставлял их слугами сатаны? Все это подкреплялось и такими вот мелкими — или все-таки наоборот? — происшествиями, о которых рассказывает Костомаров:

«Любопытно по чертам того времени показание прилуцкого попа Мловского от 6 декабря о том, как шведы вели себя, установившись на постое в городах Гадяче, Лохвице, Варве, Прилуках: «Я видел, — говорил тот же поп, — как в доме мещанина Лихопеки на образ Пресвятыя Богородицы шведы своя ветхая испражняли и тот образ выкинули». Прилуцкие жители ходили жаловаться шведскому командиру, находившемуся в Прилуках, а тот им сказал, что поступать таким образом с деревом нет греха».

Переход гетмана к шведам с примкнувшими к нему козаками произошел 25 октября 1708 года, Петр своим манифестом, начиная с 10 ноября, положил один месяц для покаяния, и уже в десятых числах этого месяца многие из старши ны вернулись в расположение русских полков. 21 ноября 1708 года из шведского стана ушли миргородский полковник Даниил Апостол и генеральный хорунжий Иван Сулима. С Апостолом вообще приключилась непростая история. Он, как и генеральный писарь Филипп Орлик, был вполне посвящен в замысел гетмана о переходе на сторону шведов и был одним из самых рьяных зачинщиков и пропагандистов новой малороссийской реальности. Когда в Москве шло расследование по доносам Кочубея и Искры, царь подозревал в участии в этом мифическом заговоре против Ивана Степановича и Даниила Апостола, советовал гетману заковать того и пытать, но Мазепа, как мог, выгораживал перед Петром миргородского полковника, расписывал его верность престолу и лично ему. И вот — Апостол вернулся... И он не просто просил нового гетмана Скоропадского ходатайствовать перед царем о смягчении гнева Петра и уверял в своей будущей верности, но и сообщил на словах совершенно неожиданное предложение от Ивана Степановича: тот — под гарантии собственной безопасности — обещал захватить в плен самого Карла XII с генералами и доставить знатных пленников в руки Петра!.. Что тут сказать?.. Воистину, умел Иван Степанович удивить!..

Сопоставление дат — 25 октября и 21 ноября — дает нам понять, что старый гетман, переправившийся на другой берег Десны, практически сразу же и прозрел, осознав свою роковую ошибку. Конечно, трудно все это, понятое внезапно и вдруг, уложить в многомудрую голову и отрешиться от смутных надежд, которые, как известно, умирают последними: надежды на удачливость Карла, который лично не проиграл к этому времени ни одного сражения, надежды на то, что польские войска Станислава Лещинского не замедлят в движении на Правобережную Украину, и на то, что по его универсалам народ Гетманщины, пребывавший в растерянности от такого невероятного кульбита, наконец-то поймет что-то реальное для себя в тех радужных перспективах, которые он неустанно расписывал на словах, и делом поддержит его... Но все-таки — Иван Степанович был жестким реалистом и довольно быстро все понял. Но как тут однозначно сказать о его «реализме»? Он ловко вел свою игру при царском дворе, получая щедрые дары, размеры которых мы сегодня даже отдаленно не можем представить; его карьера и моральный авторитет в Москве и на Украине были непоколебимы; да и жизнь его подходила к концу в «елее мастите», как говорит псалмопевец... И вдруг — такой неожиданный «идеализм» — ставка на 26-летнего Карла, шведского короля, заблудившегося в русских снегах... Что мог дать этот отважный мо-

лодой человек гетману, у которого всего было в избытке от московского самодержца? «Гарантии вольностей»? Полноте — о вольностях ли, которых никогда даже не было, пекся Мазепа или о чем-то другом? Он, как никто другой, знал о положении народа Руси-Украины в составе Речи Посполитой — его дед и отец сражались под знаменами Богдана Хмельницкого — не за вольности ли угнетаемого народа восемь долгих лет шла та война? За 21 год на высшем уряде Гетманщины он прекрасно узнал характер Петра, знал жесткость московских начальных людей, жестокость пыточных застенков в Преображенском приказе, он помнил, как молодой Петр собственноручно рубил головы во время стрелецкого бунта 1698 года — царь лично казнил пятерых человек, а вельмож «повязал кровью», как о том писал в своих записках австрийский дипломат Иоганн Корб, присутствовавший на казнях:

«Эта казнь резко отличается от предыдущих; она совершена весьма различным способом и почти невероятным: 330 человек за раз, выведенные вместе под роковой удар топора, облили всю долину хотя и русской, но преступной кровью; эта громадная казнь могла быть исполнена потому только, что все бояре, сенаторы царства, думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела; из всех бояр, крайне неловких палачей, один боярин отличился особенно неудачным ударом: не попав по шее осужденного, боярин ударил его по спине; стрелец, разрубленный таким образом почти на две части, претерпел бы невыносимые муки, если бы Алексашка, ловко действуя топором, не поспешил отрубить несчастному голову»...

Я вполне допускаю, что и сам гетман был тогда в Преображенском свидетелем этой массовой казни, может быть, и его безжалостный Петр вынудил взять в руки топор палача... Пройдет несколько лет после Полтавы, и царь не пощадит даже родного сына, царевича Алексея, приговорив его к смерти за измену... Все это хорошо было известно старому гетману, и он знал, чем рискует — практически всем. Так каковыми же были мотивы его? Что подвигло его к этому шагу, роковому не только для самого гетмана, но и в целом для народа Руси-Украины?

Я припоминал изменников-гетманов Левобережья времен малороссийской Руины и сравнивал причины и предпосылки, предшествовавшие их изменам. Выговский — по крайней мере был движим высокой идеей о создании Русского княжества в составе триединой Речи Посполитой, себя же видел великим князем, — расстрелян поляками. Юрий Хмельницкий — запутавшийся в самом себе юноша, раздавленный авторитетом отца, совсем неготовый стать «отцом нации», но ставший разменной монетой в политических играх поляков и турок, — удавлен турками, тело брошено в реку. Брюховецкий — жертва собственной гордыни и спеси, обманутый Петром Дорошенко, обещавшим Брюховецкому гетманство на всей Украине, — забит до смерти своими же козаками. Многогрешный — оболган соратниками, «за слова» приговорен в Москве к смерти, затем помилован и сослан в Сибирь. Самойлович — оболган соратниками и сослан в Сибирь... Оба скончали свои скорбные дни вдалеке от Руси-Украины.

Как же разительно отличается от всех них Иван Степанович — мудростью, тонким умом, глубоким знанием человека с его слабостями и дерзаниями, своим беспримерным счастьем и благополучной судьбой, образованием, знанием языков, обходительностью с власть предержащими!.. Это не «боярин Ивашка», не надменный «гетман-попович», не истеричный «четырежды гетман» Юраска и по совместительству расстрига-монах. Может быть, действительно он вовсе и не был русского корня, но все-таки — был поляком и европейцем, как десятилетиями подозревали это на Руси-Украине? Может быть, своим нездешним лоском он и стал мил Петру I, падкому на все иноземное и отличное от древнерусского и кондового, набившего ему оскомину с детства? Я не устаю удивляться также давнему и незначительному факту — в свете всего последовавшего в судьбе Ивана Степановича — когда его, взятого запорожцами с боя в давнем 1674 году в степи на пути в Крым с «живым подарком» султану и письмами Дорошенка, передавали из рук в руки: Сирко — Самойловичу, Самойлович — Неплюеву, Неплюев — в Москву для тщательного розыска о враждебных планах и намерениях его сюзерена Дорошенка. В Малороссийском приказе Иван Степанович произвел на дьяков, снимавших с него показания, столь хорошее впечатление, что те позволили ему даже видеть «царского величества пресветлые очи», а царь — это был еще Алексей Михайлович — не только наградил сопровождавших его козаков, но и самому пленнику — паче чаяния — велел дать пару соболей «в три рубли»... Эта пара соболей и стала фундаментом беспримерного, громадного состояния Ивана Степановича. Получив такой знак от самого царя, зашедшего посмотреть на малороссийского пленника, Мазепа понял, кому и как ему предстоит верно служить последующие 35 лет. И все у него — вполне получилось...

Так что же стало причиной измены? Истинной причиной, а не декларируемой перед козаками? «Защита вольностей», борьба с угнетателями — все это было риторическими фигурами речи, рассчитанными исключительно на немедленный эффект простодушных рядовых козаков, предназначенных разве что на пушечное мясо. Он хотел «исправить ошибку Богдана Хмельницкого»? Но эта тяга — под влиянием разных обстоятельств — была свойственна, вероятно, каждому из преемников Богдана. Но инструментом было одно — только предательство, только измена... И если Переяславские договоренности 1654 года исподволь нарушались царями в связи с неуклонно изменяющимися военными и политическими обстоятельствами, то чаемые «исправления» посредством измены и перехода на сторону противника — всегда польского пана и только ныне, в Северную войну, шведа, только усугубляли положение Руси-Украины и ее народа, погружая край в хаос и разорение, в бесконечное гражданское противостояние и войну всех против всех. Со времен Переяславля прошло уже более полувека, исполненного только кровью, войной, — и кто помнил и знал точно о статьях Богдана Хмельницкого и о гарантиях, под которые Русь-Украина добровольно входила в состав Московского царства?.. Разве только старши на Запорожского войска, отчасти получавшая образование в Киево-Могилянской академии, или, может быть, епископы Русской церкви? Но и у церковников были свои недовольства при переподчинении Киевской митрополии патриархам Московским от далекого Константинополя. Среди старши ны передавался из рук в руки в списках проект Гадяцкого договора гетмана Выговского, в свое время отвергнутый польским правительством — может быть, он и грел души полковников и питал несбыточные иллюзии и надежды невесть на что — но разве только на чудо?.. И как, каким таким образом Москва могла уступить Русь-Украину кому бы то ни было — Речи Посполитой или Османской империи — после кровопролитной 13-летней польско-русской войны, по итогам которой уже и Речь Посполитая, и сама Московская Русь, не говоря о Левобережье Руси-Украины, стали принципиально другими? Польский так называемый «золотой век» закончился, и впереди был только упадок, деградация некогда сильного государства и исчезновение в конце 18 столетия, ну а Москву ждали петровские реформы и возвышение до имперского статуса. Но в частном порядке, за самоваром или чаркой доброй горилки, можно было еще потешиться чтением пожухлых листов Гадяцкого договора или еще раз заявить московским боярам в застолье, что «Москва не саблей Украину взяла»...

Но Мазепа... Тут я просто терялся и не находил никаких вразумительных оправданий. Поставить на карту все — несметные богатства, честь, беспримерные любовь и слепое доверие самодержца, «кавалерство» высшего ордена, доброе, славное имя, саму свою жизнь — тут должны быть какие-то запредельные причины или же временное умопомрачение и одержимость силами, которые не подлежат даже названию. Но о каком временном умопомрачении или же внезапном порыве может идти разговор, если замысел Ивана Степановича вынашивался не менее двух, а то и трех лет? И он тщательно, скрупулезно взвешивал все «за» и все «против», пристально наблюдал как за шведами, так и за поляками Станислава Лещинского, не говоря о Петре, в чьи военные замыслы он был глубоко посвящен? Или, быть может, такая переменчивость была свойственна его натуре — ведь он с легкостью менял приоритеты и покровителей, используя складывающиеся обстоятельства? Но все-таки — одно дело предать Дорошенка, будучи схваченным за таким непотребным и подлым деянием, как сопровождение русских невольников в подарок крымскому хану, или подсидеть чванливого Самойловича, а тем более арестовать за своим же пиршественным столом пьяного фастовского полковника Палия, — все это сущие мелочи привычного ему «образа жизни» — и совсем другое в «последний миг» перейти на сторону шведов в долгой и сложной войне, которая длилась уже восьмой год, да и еще со «всем Войском Запорожским», которого в сухом остатке оказалось крайне немного.

Историки и летописцы, а за ними и писатели последующих столетий, ломали голову над этим вопросом: что это было? Сергей Беляков, перефразируя Костомарова, довольно точно характеризует проблему:

«Мазепа купил «шведские» акции накануне их обвального падения».

Легче всего, конечно же, принять точку зрения сегодняшних украинских идеологов, творящих на западные гранты «новое прочтение» давно прошедших событий, и провозгласить Ивана Степановича бескомпромиссным борцом за независимость Украины от Москвы. Да это и просто вполне: ведь он сам после перехода на сторону шведов без устали говорил о том прямым текстом как в речах перед своими сторонниками, так и в универсалах. Так чего же тут ломать голову, доискиваясь до каких-то тайных причин? Но слова — они ведь остаются всего лишь словами... Ведь сколько было медоточивых слов гетмана о верности и о любви к самодержцу, сохраненных в архивах Москвы? И все оказалось неправдой, тактической ложью, вечным позором. И сегодня никто не расценивает те грамоты как достоверные документы. Более того,

наши киевские почитатели Ивана Степановича стараются вовсе не поминать этих грамот. Для пропаганды и «нового прочтения» фигуры Мазепы можно и нужно покрепче забыть о верности Петру I и акцентировать внимание совсем на другом — на этих вот антимосковских призывах, на мифических — в стиле Станислава Казимира Беневского — угрозах разрушения козацкого устроения Гетманщины, на Сибири, лаптях, зипунах... И строить на этом собственную кривобокую историческую концепцию... При должном умении — все ведь возможно.

Ну а как же быть с этим странным и неожиданным предложением пленить Карла с главными генералами и доставить Петру?.. Последняя судорога, последняя соломинка, последняя надежда спастись?.. Или такова уж натура была у Ивана Степановича, и только могила могла исправить этого «морального горбуна»?.. Время поджимало, и Мазепе некогда было ждать. Пока Петр с канцлером Головкиным решали, как быть, не особенно доверяя Апостолу, старый гетман прислал ему вслед для подтверждения серьезности намерений брадобрея Шишкевича, слугу своего племянника Войнаровского, а затем и компанейский полковник Гнат Галаган, скорый разоритель Запорожской Сечи, вернувшийся из стана Мазепы с повинной и даже с несколькими шведскими пленниками, еще раз удостоверил предложения Ивана Степановича. И Петр с трудом и опаской решился на новые требования изменника: восстановление гетманского достоинства, прощение и даже гарантии европейских дворов, — но получение этих гарантий требовало времени, которого отнюдь не было. Ведь Мазепа не мог сидеть сложа руки у шведов и ожидать у моря погоды. Военные обстоятельства, да и Карл XII, вынуждали гетмана к действию против России. Тем временем — с Петрова ведома и благословения — граф Головкин даже уже написал бывшему гетману 22 декабря 1708 года обнадеживающее послание:

«Доношение ваше чрез г. полковника миргородского его царскому величеству донесено, который, видя ваше доброе намерение и обращение, принял то милостиво и повелел мне к вам писать с крепчайшим обнадеживанием, что ежели вы в том пребывати и начатое намерение свое к исполнению привести потрудитесь, то не токмо что вашу милость в прежний уряд и в свою милость принять, но оную к вам и умножить изволит, и на те кондиции, чрез помянутого г. полковника предложенные, соизволил, и гарантеров желанных от вас для содержания той амнистии приемлет, хотя бы в том и не без трудности было, только надлежит вашей милости постараться, дабы о известной главнейшей особе по предложению своему безопаснейшим образом постараться; буде же о самой той особе и невозможно, то хотя б о прочих знатнейших то учинить по предложению»...

Однако предполагаемой ситуации в духе Маккиавелли с новым предательством не суждено было сложиться: по несчастливому совпадению обстоятельств, в Лисянке задержали посланца Мазепы к Лещинскому с настоящим письмом гетмана, даже удостоверенным его печатью, — существенное отличие от словесной передачи Апостола, Шишкевича и Галагана. В этом письме в самых льстивых выражениях Мазепа извещал Лещинского о том, что это уже второе по счету послание он королю *«пишет, что в первом письме просил, по сердечному желанию всей Украйны, чтоб король двинул победоносную руку для спасения своего наследственного достояния; то же повторяет и теперь, чтобы, по счастливом и скором прибытии Лещинского, они могли соединенным оружием и соединенными душами усыпить в траве дракона неприятельского московского предприятия, особенно теперь, когда Москва начала своими грамотами поджигать простой народ и поднимать междоусобную войну; эти искорки надобно гасить, чтоб от них не было пожара, для чего они, Мазепа с товарищи, как отцы в аде, ожидают пришествия короля, своего спасителя, которого храбрую руку Мазепа целует тысячью поцелуев и остается верным подданным и слугою наинижшим...»*

Петр воспользовался перехваченным документом, и 28 января 1709 года разослал новую грамоту по Малороссии. *«Мы вам доказывали, — писал царь, — что богоотступник призвал шведа в Украйну для порабощения ее под древнее ярмо польское и для приведения церквей Божиих в унию, хотя оный в пашквилях своих клялся, будто сделал это для общей пользы народа малороссийского, который будет совершенно независим и от нас, и от Польши, но теперь его богомерзкая ложь объявилась: он называет себя верным подданным Лещинского, а Украйну его наследием. Нам от важных особ известно, что он уже получил от Лещинского воеводство в Польше и титул княжения северского...»* — читаем о гневной реакции Петра I у С.М. Соловьева в «Истории России с древнейших времен».

Отныне со светлым обликом бывшего гетмана было покончено.

— А ведь как все интересно могло обернуться, — сказал Лика, — вот представь, если бы план, изложенный через Миргородского полковника и других, осуществился: да на веки веков эта история вошла бы в анналы истории секретных спецслужб как самая удачная совместная операция, проведенная Петром и Мазепой — притворный

переход на сторону шведов, захват короля с генералами — и Петр в «дамках»!.. И Северная война благополучно закончена не в 1721 году, а прямо сейчас, до Рождества 1708 года!

— Да, милая Лика, поспешил наш Иван Степанович с письмом польскому королю... Не повезло — не дождался буквально чуть-чуть... Но в истории не существует сослагательного наклонения...

В этих лихорадочных и взаимоисключающих действиях — что с Апостолом и примкнувшим к нему Галаганом, что с перехваченным письмом к Станиславу Лещинскому — отчетливо читается крайняя растерянность гетмана, какие-то внутренние метания из крайности в крайность: он все хорошо понимает, хочет как-то исправить — даже таким невероятным образом, как пленение короля, — и вместе с тем осознает, что мало того, что нет никакого пути назад, но и козаков для захвата Карла у него практически нет. Но он по-прежнему остается реалистом и даровитым военачальником и, помимо собственного провала, хорошо понимает, что реально исправить или же облегчить ситуацию может только приход на Правобережье польской армии Станислава Лещинского в подмогу Карлу, который, как в болоте, увяз в землях Гетманщины, — а впереди была и зима, которая, как специально, оказалась очень суровой, край перед приходом шведов был выжжен чуть ли не по его собственному приказу, народ разбежался, жизненных припасов нет никаких... Да и Карл, сколько ему ни советовали генералы и сам Иван Степанович переправиться на Правобережье, уперся и во что бы то ни стало решил зимовать в Гетманщине. Не было у старого гетмана времени дождаться какого-то вразумительного ответа от Москвы, и оставалось только лишь понукать польского короля не замедлить прибытием к будущему театру военного противостояния, завлекая несбыточными обещаниями...

«О, злые и несчастные наши початки, — говорил он своему писарю, — вижу, что Бог не благословил мое намерение! Но Бог мне свидетель, не желал я христианского кровопролития, а замышлял так: прибуду в Батурин с королем шведским и оттуда напишу к царскому величеству благодарственное письмо за его протекцию, да в нем же пропишу все наши прежние и теперешние обиды, отнятие прав и вольностей, крайнее разорение и приготовленную пагубу всему нашему народу, а на конец приложу, что мы, как добровольно ради единого восточного православия отдались под царскую руку, так и теперь, будучи свободным народом, добровольно отходим, благодарствуем царскому величеству за протекцию, не хотим рук наших простирать на кровопролитие и будем ожидать под протекциею шведского короля совершенного нашего освобождения. Я надеялся получить свободу не войною, а миром, через трактат; я думал всякими способами склонить шведского короля к такому миру с царским величеством. Но теперь все пойдет иначе: Украина, устрашенная судьбою Батурина, будет бояться держаться с нами заодно».

И снова не остается ничего, кроме как констатировать слабость, никчемность этих аргументов, сохраненных Филиппом Орликом для будущих поколений... Это ли мудрый и расчетливый гетман, знавший прекрасно характер царя? Ведавший, что уже восемь лет идет война и на карту поставлено вовсе не выживание Гетманщины и Малой Руси, а всего государства Российского. Что за детский лепет в устах многоопытного человека: «будучи свободным народом, добровольно отходим, благодарствуем царскому величеству за протекцию»?!

Кроме всего прочего, когда состоялся наконец-то какой-то реальный договор между Мазепой, Карлом и Станиславом Лещинским, то ни слова о какой бы то ни было «независимости» Руси-Украины вовсе ведь не находится в нем:

«Вся Украина с Северским княжеством, с Черниговом и Киевом, а также и Смоленск присоединялись к польской Речи Посполитой, а Мазепе, в вознаграждение за такую услугу, обещан был титул княжеский и предоставлялись ему во владение воеводства Полоцкое и Витебское на таких правах, на каких владел герцог курляндский подвластным ему краем», — уточняет Костомаров об этой трехсторонней договоренности.

Как же так? Он ведь принес себя в жертву за независимость именно Украины от кого бы то ни было, а ныне, когда все наконец-то «исполнилось воздухом свободы», и больше не надо таиться, когда стало возможным наконец-то заявить во всеуслышание о своих истинных планах освобождения от ненавистной великороссийской тирании — что же мы слышим? Сделав дело свое, Иван Степанович вовсе не горит желанием остаться на освобожденной стараниями и военными трудами Карла, Лещинского и его самого Украине, а удаляется в земли иные... И эта предварительная договоренность о послевоенном «разделе мира» — только лишь декларация, предположение, благое пожелание — и за чаемую «независимость» Украины, как и за Смоленск и Курляндию, еще предстояло воевать и воевать долгие годы, — и в конце концов все оказалось сущей тщетой.

— Вот он, — сказала на это мне Лика, — момент истины, который не стоит даже комментировать как-то.

— К сожалению... — ответил ей я.

Химерное сооружение с предполагаемым пленением Карла развалилось. Вестники Ивана Степановича Даниил Апостол и Гнат Галаган остались под знаменами Петра. Оба доказали свою верность царю даже с некоей чрезмерностью, искупая «грех неведения» своего и сваливая основную вину на Мазепу. Весной рокового 1709 года запорожцы Костя Гордиенка наконец-то определились: молодые сорвиголовы перекричали осмотрительных стариков, 4000 человек вышли из Сечи и примкнули к тем полутора тысячам козаков, которые разделили судьбу Ивана Степановича до конца. Месть царя не замедлила:

«Учинилось у нас в Сичи то, что по Галагановой и московской присяге, товариству нашему голову лупили, шею на плахах рубили, вешали и иные тиранские смерти задавали, и делали то, чего и в поганстве, за древних мучителей не водилось: мертвых из гробов многих не только из товариства, но и чернецов откапывали, головы им отсекали, шкуры лупили и вешали» (Архив министерства иностранных дел, Малороссийские дела, 1710, №3).

Именно Галаган, живший в молодости на Сечи и знавший досконально эти места, провел тайными путями великорусских солдат полковника Яковлева. Именно он призвал запорожцев сложить оружие и сдаться на милость царя, что те и сделали нехотя. Только обещанной милости не воспоследовало «по военной нужде»:

«После жестокой свалки взяты были в плен — кошевой атаман, войсковой судья, 26 куренных атаманов, 2 монаха, 250 человек простых козаков, 160 человек женщин и детей. Из того числа 5 человек умерло, 156 человек атаманов и козаков казнено, причем несколько человек были повешены на плотах, и самые плоты пущены были вниз по Днепру на страх другим», — сообщает Дмитрий Яворницкий в своей фундаментальной «Истории запорожских козаков».

После этих «подвигов» Галаган стал личным заклятым врагом запорожцев, и добрые молодцы, кому удалось скрыться в открытой степи, поклялись отомстить ему смертью. Но Галаган стал уже недостижим — сам император оказывал ему покровительство и протекцию в его дальнейшей карьере. По окончании Северной войны за верную службу свою он получил не только совершеннейшее прощение за пребывание у Мазепы, но и несколько хуторов на Правобережье. Был чигиринским полковником, затем прилуцким и пробыл на этом уряде 25 лет, нажил в Прилуках огромное состояние.

Не был забыт и Даниил Апостол, в свое время самый рьяный сторонник и единомышленник Ивана Степановича: в 1727 году в возрасте 70 лет его избрали тринадцатым — и предпоследним уже — гетманом Запорожского войска. Он скончал свои дни в «елее мастите» в Великих Сорочинцах, где и родился. В 1730 году по его ходатайствам и просьбам новая российская императрица Анна Иоанновна несколько ослабила имперский нажим на Гетманщину, последовавший после измены Мазепы: сокращено до шести количество великорусских полков, пребывавших на Украине, увеличено денежное довольствие войска и даже прощены козаки, ушедшие некогда к шведам... В 1705 году его дочь Мария, бывшая замужем за полковником прилуцким Андреем Горленко, родила сына, ставшего со временем знаменитым епископом и общерусским святым Иоасафом Белгородским, канонизированным Русской церковью в 1911 году. К этому надо добавить, что сам Горленко был одним из самых рьяных мазепинцев, — это он угрожал гетману проклятием за промедление с Карлом XII: «...твою душу и кости станут дети наши проклинать, если ты после себя оставишь козаков в такой неволе!» После смерти патрона с остатками мазепинцев жил в Константинополе. До 1715 года принял участие в двух неудачных походах Филиппа Орлика на Правобережную Украину, который безуспешно склонял то турок, то шведов к продолжению войны за малороссийские интересы. Горленко в 1715 году вернулся в Россию, рассорившись с Орликом, и до 1730 года жил отнюдь не в Сибири, чего следовало ожидать и что предрекал некогда козакам Мазепа, а в Москве, и в 1731 году был отпущен с миром на Украину, где умер лишь в 1756 году, пережив своего знаменитого сына-епископа.

Заканчивая разговор об Иване Степановиче Мазепе, надо сказать, что его неожиданный переход под знамена Карла XII будто бы пробудил от спячки российского императора: стремительность продвижения Меншикова к Батурину и разорение города, активная пропагандистская компания посредством указов, универсалов и грамот, рассылаемых по полковым городам, скорое избрание стародубского полковника Ивана Скоропадского на вакантную должность малороссийского гетмана, символическая казнь «чучелы» Ивана Степановича в Глухове, публичное уничтожение грамоты и патента на «кавалерство» и гетманство, изготовление из серебра 5-килограммового «ордена Иуды» и, наконец, соборное церковное проклятие его имени и «анафема» — все

это, описанное многократно и в красках, — отвратило от дела Мазепы жителей Гетманщины. Народ и не был вовсе готов к столь резкой смене ценностных приоритетов: восемь военных лет гетман поносил шведов последними словами, козаки с переменным успехом воевали с ними в Прибалтике и в Польше — и вдруг шведы по единому мановению и странной прихоти гетмана становятся защитниками вольностей Малой России и лучшими друзьями народа... Но так не бывает... Опасливый и осторожный украинский крестьянин вряд ли мог повестись на такие посулы и обещания:

«Народ инстинктивно почуял ложь в тех призраках свободы, которые ему выставляли. Он уже и прежде лучше самого Петра и его министров раскусил своего гетмана, считал его ляхом, готовым изменить царю, с тем чтоб отдать Украину в рабство Польше. Никакие уверения изменника, никакие лживые обвинения, рассыпаемые им на московские власти, не переменили к нему народной антипатии. Народ инстинктивно видел, что его тянут в гибель, и не пошел туда. Народ остался верен царю даже не из какой-либо привязанности, не из благоговейного чувства к монарху, а просто оттого, что из двух зол надобно было выбирать меньшее. Как бы ни тяжело было ему под гнетом московских властей, но он по опыту знал, что гнет польских панов стал бы для него тяжелее. Под русскою властью, по крайней мере, оставалось для него всегда духовное утешение — вера его отцов, которую никак уже не могли бы попирать «москали», как бы ни относились они ко всем остальным народным правам. Этого одного уже было достаточно», — к этим точным слова Костомарова мне нечего добавить по сути.

Потому Петр, будучи весьма равнодушным к вере отцов, отменивший русское патриаршество и реформировавший церковь в некое министерство, первым делом запугивал жителей Гетманщины церковной унией с Римом, что было самым действенным оружием против изменника-гетмана.

И от Карла XII, дотоле не знавшего поражений, судьба отвернулась: он, рассчитывая на Мазепу, увяз в Гетманщине, а обещания Ивана Степановича всенародной поддержки шведского дела и достойного содержания многотысячной армии оказались пустым звуком. К тому же зима 1708-1709 годов выдалась чрезвычайно суровой, и много солдат погибло от холода, голода и болезней.

Неудачной стала и осада Веприка, и хотя крепость в результате сдалась, основные запасы пороха шведы истратили там и к Полтавской решающей битве порох дотратили в тщетных попытках взять штурмом Полтаву. Победа русской армии под Полтавой была просто предрешена. Участие в Полтавской баталии козаков Ивана Мазепы оказалось столь незначительным, что Дмитрий Яворницкий, пристальный летописец Запорожской Сечи, просто опускает перипетии сражения как несущественные для его темы и интересующихся отсылает за подробностями прямо к чтению «Журнала Петра Великого», Спб, 1770, и другими источникам.

«Но помощью Божиею козацкие и малороссийские народы вразумлены, остались нам верными, шведского войска через разные победы и лютость прошедшей зимы истребилось до половины, войска Лещинского побиты и разогнаны, султан мир с нами подтвердил и от помощных войск им отказал, хану и ордам соединяться с ними строго воспретил; и ныне неприятельского войска против нас осталось только 34 полка и те неполные, изнуренные, оробевшие. Остается над сими оставшимися довершить вам победу. Порадейте же, товарищи! Вера, церковь и отечество сего от вас требуют!» — такими были напутственные слова Петра I перед баталией.

И перед победой...

Я понимаю причины посмертной славы Ивана Степановича Мазепы после такой сокрушительной жизненной катастрофы. Даже трезвый и тщательный историк Николай Костомаров не удержался от некоего психологизма в описании последних дней старого гетмана:

«Жизнь его кончалась. Ни на что не пригодился ему весь ряд коварств и козней, которыми так богат был пройденный им путь. Уже скоро после своей измены стал он предчувствовать неудачу. Уже не раз сожалел он, что ступил на скользкую дорогу, и пробовал сойти с нее, но ему не удалось. Тоска и раскаяние мучили его уже не один день...»

Яркая, рельефная, драматическая личность Мазепы, любовные приключения юности с женой пана Фальбовского, любовное томление с дочерью Кочубея Матреной, завершившееся казнью ее отца, его беспримерная щедрость церковного и культурного мецената, его военные доблести и таланты, острый и живой ум, несомненные достоинства и дары характера гетмана, располагавшие к нему каждого, кто был ему нужен в данный момент, и такой вот невероятный уход к Карлу XII, — и ради чего? — во всем этом таилось огромное количество загадок и захватывающих сюжетов, которых хватило на многие поколения пристального внимания художников, поэтов, писателей, философов и даже композиторов, не говоря уже об историках и политиках. Лучшие

люди последующих веков размышляли над жизнью и судьбой Ивана Степановича: Вольтер и Байрон, Пушкин и Чайковский, Гюго и Словацкий... Сергей Беляков справедливо отмечает, что «трудно найти другого украинского политика, который стал бы героем английской, французской, немецкой, чешской, шведской, польской, русской литературы. Что говорить о литературе украинской!» Посмертная слава старого гетмана затмила не только Богдана Хмельницкого, но и Тараса Шевченка.

Но все это будет после...

Теперь же с остатками некогда непобедимой армии Карла XII гетман что было мочи уходил от плена и пыток к Днепру. Переволочна — крепость, переправа и лодки — еще в мае были уничтожены солдатами полковника Яковлева по пути к Запорожской Сечи. Карлу пришлось бросить своих верных солдат, уцелевших в Полтавской баталии: свыше 16000 шведов сдались в плен войскам Меншикова. Но если солдаты и офицеры Карла считались военнопленными, обладавшими некоторыми правами, то запорожцы были исключены из условий капитуляции.

«Первым прискакал к Днепру гетман Мазепа и тотчас поторопился переправиться через Днепр: он вез с собой несколько мешков серебра и две бочки золота, кроме того, множество другого «добра». Июня 27 числа в 4 часа дня Мазепа с несколькими единомышленниками своими сел в лодки и стал переправляться с левого на правый берег реки. Но так как с ним было много казны, то люди его начали тонуть, и Мазепа приказал бросать деньги за борт и так «почти три доли» того богатства очутились на дне Днепра», — рассказывает об этом Яворницкий.

Только через три дня, 30 июня, к Переволочной прибыл раненый Карл XII. Исходя из сопоставления дат можно судить о смертельном страхе Ивана Степановича перед пленением и выдачей на расправу Петру. В «Журнале» Петра об этом событии повествуется так:

«...однако-же онаго не могли прежде 30 июня догнать, которого числа его недалеко от Переволочны под горою на реке Днепре стоящего обрели, и от взятого в полон полкового квартермистра и нескольких волохов уведомились, что король шведский до того за 3 часа с несколькими стами конных через Днепр переправился с великою трудностью... Изменник же Мазепа с несколькими стами своими единомышленниками козаками еще прежде короля за Днепр перебрался и ушел в турецкую область».

Как сообщает А.И. Ригельман в своем «Летописном повествовании о Малой России и её народе и казаках вообще», для переправы через Днепр Карл приказал сломать в Переволочне церковь и еще несколько строений и соорудить из бревен плот.

На берегу Днепра тем временем разыгрывались душераздирающие сцены. Историк Нордберг, находившийся среди деморализованных шведских солдат, оставленных своим королем, говорит, что козаков подвергали ужаснейшим истязаниям, ломали им руки и ноги и выставляли на колесах изуродованные тела их; других вешали и на кол сажали...

«Оставшиеся при шведах запорожские козаки, предугадывая свою судьбу, решили лучше утопиться в Днепре, нежели отдаться русским на месть. Бросаясь массами в Днепр в надежде его переплыть, запорожцы не все могли справиться с течением волн и большей частью потонули в реке. Впрочем, из них все-таки некоторое число успело переплыть Днепр и спастись от преследования русских войск. Но те из козаков, которые или не успели броситься в реку, или не решились сделать этого, были захвачены русскими в плен и подверглись жестоким казням по приказанию царя. Царь, страшно раздраженный на запорожских козаков, выдумывал самые изысканные казни для них: одних из запорожцев он велел колесовать; других, одевшихся в шведские мундиры и потому в первое время вместе со шведами получивших жизнь, приказывал немилосердно штыками исколоть; третьих велел в железа оковать и в дальние места Сибири отослать. Пощажено было несколько простых козаков, которые сами явились с повинной к царю. Таких собралось к июлю седьмому числу до 15000 человек. Томимые голодом, мучимые страхом, долго скрывавшиеся после полтавской победы по разным трущобам и лесам, они явились к Петру в день торжества его над побежденным врагом и отдали себя на волю царя. Царь, тронутый бедственным положением несчастных, простил их вину и удовольствовался только тем, что лишил их козацкого звания и приказал разместить по разным малороссийским селам и деревням».

Сегодняшние украинские комментаторы, однако, сомневаются в приведенной цифре сдавшихся запорожцев, о которой сообщается в 30-томном труде историка 18-го века И.Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», и самого автора подозревают в том, что он просто хотел усилить впечатление читателей от триумфа царя после Полтавской победы. Даже эти сомнения только лишь подтверждают незначительность сторонников Ивана Степановича, — да и откуда было взяться такому количеству козаков?.. Две тысячи, приведенные гетманом из Батурина в стан короля, четыре тысячи запорожцев Костя Гордиенка... И это без учета дезер-

тировавших в первые дни, без учета погибших под Полтавой, погибших при военном промысле в городках и селениях над Ворсклой, при хаотичном отступлении с гетманом и со шведами...

Иван Степанович Мазепа умер в сентябре 1709 года в турецком городке Бендеры, прожив после Полтавы и переправы у Переволочной неполных три месяца. Однако в монографии Костомарова указана другая дата его смерти — 22 августа. Как и с точным годом его рождения, здесь наблюдается какая-то путаница. Козаки с воинскими почестями предали его тело земле, и позже оно было перевезено в приморский город Галац и похоронено в церкви св. Георгия. Но и здесь, как ни странно, имеются несовпадения: шведские источники сообщают, что из Бендер тело гетмана перевезли в Яссы и именно там предали земле. Сам Карл XII сопровождал траурную процессию... Захоронение гетмана ныне утрачено: в 1962 году румынские власти церковь снесли вместе с гробницами. Был ли этот снос храма и уничтожение могилы Мазепы «дружественным жестом» социалистической Румынии Никите Хрущеву — трудно об этом судить, но все же очень похоже на то. В 2004 в Галаце состоялось торжественное открытие памятника Мазепе, в котором приняла участие делегация с Украины. Руководителем ее, по какой-то невероятной иронии совпадений, стал некий чиновник с «говорящей» и неоднозначной фамилией Москаль, в ту пору председатель государственного комитета по вопросам национальностей и миграции Украины. Была ли в том хитроумная провокация Москвы, трудно однозначно сказать. Сочтем же это простым совпадением.

Можно сказать, что как при жизни, так и после смерти гетман Мазепа остался неуловимым — разночтения в датах смерти, разночтения в местах погребения, утрата гробницы, разрушение храма, в котором она находилась, — словно какие-то неведомые силы заметали следы Ивана Степановича на этой земле. Не случайно довольно долго бытовала на Украине легенда, что он вовсе не умер в Бендерах, а тайно пробрался в Киев, постригся в монашество в одном из монастырей и замаливал свои прегрешения как перед Богом, так и перед некогда подвластным ему народом. До конца 19-го столетия каждый киевлянин-знаток мог указать на портрет опального гетмана на фреске, украшавшей одну из стен Успенского собора Киево-Печерской лавры, — понятно, что гетман был живописно прославлен не как гипотетический «монах», а как щедрый жертвователь церкви, которая, в свою очередь, ежегодно в день Торжества православия возглашала его имени «анафему» и проклятие.

Современные историки не без оснований сопоставляют измену Мазепы 1708 года с изменой Юраска Хмельницкого 1660 года и катастрофой русской армии князя Василия Шереметева под Чудновым. Таирову-Яковлеву даже несколько оскорбляет тот факт, что Хмельницкого-сына, в отличие от Мазепы, не предали никакому проклятию и что измена его крепко забыта сегодня, — а ведь от Юраска Московскому царству был причинен гораздо больший вред, чем от перехода к шведам Мазепы. И если отвлечься от цифр, то измена Мазепы была скорее знаковой и символической, нежели измена Хмельницкого, которая повлекла за собой настоящее поражение с гибелью 15 тысяч русских солдат и с многолетним пребыванием в татарском плену самого воеводы — 21 год в кандалах... Кроме того, за выкуп Шереметева, например, Москва заплатила 30 тысяч золотых червонцев. И если придерживаться хотя бы приблизительных цифр, то в Полтавской баталии погибло 1345 русских солдат — против 9234 шведов, не считая тех, кто во время сражения и под Переволочной попали в плен, а Мазепа только и смог увезти с собой из своих несметных богатств всего-то две бочки с золотом, не считая серебра, утопленного в Днепре — все движимое и недвижимое имущество его досталось царю.

Добавим сюда еще и драматическое разорение старой Запорожской Сечи на Чертомлыке полковниками Яковлевым и Галаганом в мае 1709 года, и исход части козаков Костя Гордиенка вслед за Мазепой после Полтавы... Сечь в устье реки Каменки козаки возродили уже на территории Крымского ханства, а в 1711 году ее снова разрушили русские войска. Козаки спустились по Днепру еще ниже и в урочище Алешки заложили так называемую Алешковскую Сечь, которая просуществовала до 1734 года, когда козаки вернулись обратно в Малороссию. В Каменской Сечи в мае 1728 года был похоронен знаменитый Кость Гордиенко, последний непримиримый кошевой Запорожья, и даже могила его сохранилась до сего дня на высоком, обрывистом берегу Днепра. После 1709 года запорожцы были в каком-то смысле «списаны» с борта корабля общерусской жизни, пребывая в некоем забвении вплоть до времен императрицы Анны Иоанновны и до возвращения на Новую Сечь в 1734 году, но все это было уже предсмертными судорогами как Гетманщины в целом, так и козачества: через полвека Запорожье в результате очередной войны России с Османской империей оказалось в глубоком тылу Новороссии, Крым наконец-то был покорен и интегрирован в состав Российской империи, Дикое поле — многовековой страх и ужас как малороссов, так и поляков — перестало существовать, и Новая Сечь стала историческим анахронизмом.

Со всей определенностью можно сказать, что измена Ивана Степановича больно ударила вовсе не по Российской империи, а по самому малороссийскому народу: Петр окончательно убедился в том, что малороссиянам верить нельзя, и если прежде, памятуя об устранении гетманов Многогрешного и Самойловича по доносам козацкой старшины, он отметал доносы на самого Ивана Степановича, искупая тем самым — вполне подсознательно — поспешные действия в отношении предшественников Мазепы, то теперь к новоизбранному гетману Ивану Скоропадскому был приставлен специальный контролер от царя — стольник Измайлов. Столица Гетманщины была перенесена к самой границе с Великороссией — в Глухов. Кроме того, Петр настоял, чтобы Скоропадский выдал свою единственную дочь Ульяну за Петра Толстого, который вскоре после этого получил чин полковника Нежинского полка. Это был первый случай, когда козацким полковником стал природный великоросс.

Козаки, как и в целом малороссийский народ, избегли все-таки «зипунов, лаптей и кандалов», чем пугал в 1708 году гетман Мазепа, призывая на народ все эти гипотетические беды-несчастья. Худо-бедно, но Гетманщина и козацкое устроение края, хромая на обе ноги, просуществовали еще целых полвека после смерти Мазепы, но измена его стала все-таки «миной замедленного действия» и основной причиной расформирования Запорожского войска и упразднения институтов Гетманщины к 1764 году, а к 1782 году и к окончательной ее ликвидации.

Внукам и правнукам козацкой старшины оставалось превращаться потихоньку в гоголевских «старосветских помещиков», варить варенье из вишни и груши, слушать под перезвон кобз и бандур печальные народные думы про борьбу Семена Палия с «проклятым Мазепой», листать анонимную «Историю русов», где гремело и дымилось недавнее великое время и где исполинскими тенями жили и вовсе не умирали герои и участники грандиозных свершений, отчаянных дерзновений и сокрушительных поражений былого, и вспоминать, по слову Шевченка: *«Ще як були ми козаками, А унії не чуть було, Отам-то весело жилось!..»*

Продолжение следует

Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ

ЕСАУЛ МАРТЫНОВ

Посвящается 170-летию отражения нападения англо-французской эскадры на Петропавловск

Картина 1. ПЕТРОПАВЛОВСК

На полуостров пришло, наконец, неспешно набирающее тепло лето, и сопки курчавились сплошной зеленью склонов. Яркая листва после долгой снежной зимы радовала солдат гарнизона, утомленных ветрами и шквалами камчатской пурги. Во время долгой зимы мир вокруг превращался в бесконечную череду снежных холмов, укрывших сопки, дома и прибрежные скалы. Под снегом были упрятаны склоненные до земли кусты, кедровый стланик и березки, а обильные растительностью сопки выглядели огромными набухшими снегом холмами, готовые вот-вот разрядиться стремительной лавиной. Снег языками свисал с крыш домов и портовых складов, устилал берег, и только неспокойное море с обломками льдин без устали расчищало прибрежные камни и гальку, омывало покрытые льдом скалы, раскачивало баркасы у причала.

Весна пришла вразвалочку — неспешно: яркие солнечные дни сменялись тугим с моря ветром и пургой. Но снег оседал и потемнел, насыщаясь влагой, полетели с сопок ручьи, и скоро, как ни казалось это удивительно, проглянула земля, тут же озеленив склоны.

Среди зелени появились и первые полезные для истосковавшихся за зиму без свежих овощей людей дары камчатской природы: черемша и курчавые отростки папоротника, яркая, совсем еще не жгучая крапива, нежные побеги кедрового стланика. Солдатский рацион был не столько скуден, как однообразен: рыба да икра с краюшкой черного ржаного хлеба, изредка какой-никакой разносол: то слежавшаяся в бочонках квашеная капуста, то уставшая от ожидания своей очереди к обеденному столу селедка.

У казармы на склоне Красной сопки на длинной лавке вдоль стены склада сидели и грелись служивые. Солнце царило на небосклоне, одаряя уставших от зимы людей, оказавшихся на краю Отечества. Перед солдатами раскинулась, словно открытая книга, Авачинская бухта, укрытая со всех сторон скалистыми берегами — черными островерхими отрогами падающих в глубину неспокойных вод базальтами. У ближнего берега портового «закутка» тянулся выстроенный из черных истертых бревен причал с подвязанным ботом и парой шлюпок, а на противоположной его стороне, отделенной от основной бухты, высилась оконечность Никольской сопки и через плоский пологий к морю перешеек сопка Сигнальная. Слева, удачно прикрывая вход в «закуток», тянулась коса из песка и галечника, поименованная Кошкой.

Солдаты, прибывшие в военный городок в прошлогоднюю навигацию, пережившие обильную снежную зиму, с наслаждением подставляли солнцу бледные свои лица, расстегнув шинели и тугие вороты мундиров. Некоторые солдатики прикорнули, уютно устроившись на травке, подстелив шинельку и скинув тесные сапоги. Солдатская обувка, свесив голенища в поклоне, стояла в сторонке, укрытая истертыми портянками, словно загулявшие девки платками.

Авачинская бухта была нынче спокойна, и только всполохи прибоя у прибрежных

скал да парящие у берега чайки оживляли картину. В отдалении высились горные кручи: Корякский и Авачинский вулканы, еще не освободившиеся от снега, «взрывали» пейзаж из раскинувшихся вширь и глубину покатых сопок. Вулкан Корякский, подсвеченный солнцем, ровным конусом подпирал зацепившуюся за вершины белесую тучу, похожую на папаху скачущего по небу кавказца.

Семен Гладков и Гаврила Окунев прибыли на Камчатку из Сибири, где служили поначалу в Иркутске. Взрослые уже мужики служили пятый год, а последний провели в гарнизоне Петропавловска. Солдаты-земляки сидели на лавке и разбирали добытый утром в ближнем лесу папоротник, чтобы отнести на камбуз коку для приготовления зелени. Тут же лежала и собранная черемша, которую солдаты ели с припасенным еще с обеда хлебом. К Семену и Гавриле подходили солдатики-сослуживцы и угощались черемшой, а те — добытчики, торговались, выпрашивая табачок.

— После зимы-то как хочется зелененьким похрустеть, — шутил Семен, щурясь на солнце и раздавая дикий лук.

— Спасение от цинги, сказывал лекарь, — отвечал ему степенно Гаврила, явно набивая цену товару, рассчитывая разжиться запасом табака.

Солдаты, получив увязанный пучок лесного лука, тут же тыкали черемшой в крупную соль, поданную в туеске из бересты кем-то из запасливых служивых, и с удовольствием хрустели зеленью, посмеиваясь — тащить табачок не спешили.

— Глянько, братцы! Никак к нам кто-то зашел в бухту. Наши, однако! — раздался совсем мальчишеский возглас молодого солдатика, возлежавшего на травке. Все разместившиеся у казармы стали всматриваться на акваторию бухты, где у скал, именуемых местными «Три брата», появился корабль под парусами с развевающимся Андреевским флагом.

— Наш — точно! Флаг-то видишь? Стяг морской, российский! Айда, ребятушки! Айда, служивые, на пристань! Глянем, кто к нам пожаловал!

Приход боевого фрегата из России был большим событием для небольшого, всего-то в две сотни солдат гарнизона, и служивые, натянув сапоги, на ходу застегивая тесные мундиры и поправляя шинели, двинулись к причалу, чтобы увидеть прибывших моряков из далекой России.

Время, между тем, было тревожное: ждали вестей с большой земли о набирающей ход военной кампании в акватории Черного моря. Казалось бы, так далеко от эпицентра боевых событий Петропавловск, но вездесущий флот Британии давно приглядывался к российским окраинам, пока еще слабо освоенным, но от этого еще более привлекательным для вероломных англосаксов. Обиженная за Наполеона на Россию Франция взялась помогать «владычице морей» и тянулась за ней из последних своих морских сил, отрядив и флот, дабы урвать-таки часть от увесистого пирога военной добычи.

Русская армия после угроз со стороны Турции вступила в Бессарабию, а флот без раскачки высадился десантом в Поти и Кутаиси. В ноябре разгорелись первые сражения на море. Русский флот разнес в пух и прах флот султана и засыпал побережье залива у Синопа обгорелыми обломками кораблей турецкого флота. Адмиралу Осман-паше, сдавшемуся Павлу Нахимову, было нечем оправдаться перед Его Святейшеством султаном Османской империи Абдул-Меджидом. Разгром был полный: при равенстве морских сил, при поддержке береговых батарей турецкой крепости, турки снова не сдержали натиска русских. Как написали дипломаты — «*Синопский гром*» прокатился по всей Европе.

В Авачинскую бухту вошел потрепанный ветрами и шквалами после долгого плавания фрегат «Аврора» под Андреевским флагом. Переход из Кронштадта на Камчатку фрегат одолел за сто девяносто восемь дней плавания под парусами. Самый длительный переход, от побережья Южной Америки из Кальяо в Петропавловск, в девять тысяч миль без захода в порты, был исполнен в рекордно короткий срок — за два месяца и шесть дней.

На причале, укрытом скалистой Николаевской сопкой, «в закутке, в кладовке», как говаривали местные, ждали уже фрегат: на берегу и на причале собрались практически все жители небольшого поселения, именуемого, тем не менее, город. Вышли и сонные музыканты с медными мятыми трубами и барабаном. Толкались тут солдаты гарнизона, жители, занятые промыслом, подтянулось и начальство во главе с военным губернатором Василием Завойко. В мундире генерала, при шпаге, что называется, при параде, Завойко вглядывался через подзорную трубу на фрегат и, отметив что-то интересное, тут же делился впечатлением от увиденного с окружением и помощниками, которые теснились рядком и слушали Василия Степановича, кивали головами.

Есть такие люди — крепыши: при сухощавости внешней, низкорослости, на земле стоят, словно отлитые из тяжелого металла. По земле идут основательно, часто ши-

роко расставляя ноги, словно ждут нежданного шквала, стремительного шторма. Думаешь, глядя на такие самородки, — вышел бы из него шкипер бедовой шхуны, землепроходец, и не ошибешься: таковы мореходы — ходят по морям, но крепко стоят и на суше. Может, это от того, что морская качка неспокойного, зыбкого континента развивает способность быть всегда устойчивым и воспринимать спокойно и уходящую из-под ног палубу, и перемену погоды, и решительные шквалы ветра, укладывающие судно своим напором на борт.

Таков был Завойко — крепкий человек, обогнувший планету по морям и океанам, возмужавший в походах, баталиях и в созидательной работе, подвижный, но основательно стоящий на земле как на постоянно качающейся палубе своего корабля.

«Аврора» встала на рейде, и вскоре от ее борта отошла шлюпка и встала у причала. Замешкавшийся было оркестр вдруг заголосил невпопад охрипшей трубой и тут же, выправляясь, грянул «Боже, царя храни!» Звучало вразнобой, не хватало в звучании мелодичности и слаженности, а окривевший барабанщик с перевязанной платком щекой явно выпадал из общего строя, но звуки музыки взбодрили, подчеркнули торжественность момента. Все приободрились, стали смотреть веселее, заговорили, кивая в сторону потрепанного морскими ветрами фрегата.

Капитан-лейтенант Иван Изыльметьев, осунувшийся, с лицом желто-синюшным, был явно не вполне здоров, но, бодрясь, пытался чеканить шаг, доложил Завойко о прибытии. Выслушав доклад, Василий Степанович обнял Изыльметьева и уже в объятиях уловил, как исхудал капитан, как хрупок он, потеряв свой солидный вес во время изнурительного плаванья.

Приобнявшись, Завойко и Изыльметьев отошли в сторонку, присели под навесом у дощатого склада на неказистую лавку у причала и, продолжая смотреть в сторону бухты, на фрегат, который подтягивали шлюпками на веслах к причалу, заговорили о насущных делах.

— Беда у нас на фрегате, Василий Степанович. Матросики хворые у меня на судне практически поголовно. Схоронили более десятка на последнем переходе от цинги, да и теперь половина экипажа в таком состоянии, что то ли сегодня, то ли завтра помрут. Надо бы их как-то полечить, чтобы отлежались в тепле, подкормились зеленью какой.

— Поможем чем можем, Иван Николаевич. У нас недалече, верстах в сорока, есть благословенное место — Паратунка. Источники там горячие. Лекаря отправим, дабы присматривал за хворыми. Теперь уже многое на сопках повылазило, главное, лесной чеснок — черемша, да отвары кедрового стланика. Ими и спасаемся. Дал команду солдатикам гарнизона идти в окрестные леса собирать чеснок лесной. Теперь в рационе солдат обязательно даем свежую черемшу, готовим папоротник. У нас ведь тоже, окромя рыбы, мало чем можно поживиться. Хлеб печем свой, благо, что запасы муки да зерна пока не иссякли.

— Хорошо, Василий Степанович. Судно подтянем к причалу, нужно срочно отправлять матросов на лечение. Там у меня почти все больны: из трехсот человек экипажа уже пятнадцати недостает, а остальные в основном также не здоровы. Я и сам на последнем переходе свалился с ног, пришлось отдать мостик для командования старшему офицеру, капитан-лейтенанту Михаилу Тиролю. Так что я как бы и теперь пациент лазарета, а там, на судне, командует мой помощник.

— Как только фрегат заведут к причалу, начнем не мешкая отправку — ждать не будем, — Завойко поискал глазами своего помощника и отдал команду готовить подводы для перевозки больных в Паратунку. — Как маршрут удался? Какие новости с большой земли? Ждем здесь вестей о начале войны. Наслышаны мы о Синопском сражении, подвиге Нахимова и русского матроса, офицеров флота. Но ведь так не оставят дело англичане, придут, чтобы укоротить русские аппетиты. К нам уже наведывались с целями явно разведывательными: покрутились, сняли, видимо, обмеры, какие смогли, и ушли.

— Ты прав, Василий Степанович. В Кальяо я повстречался с будущим нашим противником. Адмиралы Прайс и Фебврье-Деспуант, думаю, тебе знакомые, ждали уже нас в порту. Не зайти не могли, уж очень истрепались за двести дней перехода из Кронштадта, нужда была крайняя пополнить запасы. А как зашли, тут же поняли, что выпускать нас господа европейские адмиралы не планируют. Явно ждут команду на расправу с русским фрегатом, как будет объявлено начало войны. Думаю, скоро грянет и у нас. Крупные у них там силы.

— Какой флот у них, уточнили?

— Обижаешь, Василий Степанович, — улыбнулся Изыльметьев. Три фрегата: «Президент», «Пик», «Форт», корвет и бриг, а еще пароход «Вираго». Всего порядка двухсот орудий и десант очень многочисленный: примерно тысячи две-три. Сам понимаешь, коли десант на борту, знать, ждут команду атаковать порты, брать прибрежные российские поселки, запирать и топить наши корабли. Думаю, что Пе-

тропавловск у них в приоритете. Зарятся, я слышал, на наши владения и в Америке англичане: на Ново-Архангельск, на фактории на Кадьяке и Курилах.

— Да, брат, Иван Николаевич. Вести, прямо скажем, тревожные, но ожидаемые. А ты, выходит, два месяца как вышел из порта в Перу. Как его там?

— Кальяо. С противником нашим удалось пообщаться. Подумал, нужно поближе с ними сойтись, что-то узнать, как-то отвлечь, постараться усыпить их тревогу. Побывал на флагманских фрегатах обоих адмиралов. Испил, так сказать, английского виски из солода да французского коньяка.

— Да ты отчаянный. А как если бы задержали тебя — взяли под арест?

— Пока причин задерживать меня не было, да и уверены они полностью были в том, что никуда мы не денемся. Потому приняли нас с лейтенантом князем Максутовым без сомнений, угощали и, несколько высокомерно отзываясь о нашем флоте, армии, балагурили, раскуривая сигары. Мы отмалчивались, а если говорили, то больше жаловались на нехватку вооружений, боезапаса, тянули время. Я жаловался на усталость, болезни экипажа, несколько приукрасив сложившуюся ситуацию. Так что несколько усыпили их бдительность. Так вот в разговорах я уловил, благо знаю английский, что ждут депешу важную о начале войны со дня на день.

— А как удалось уйти незамеченными? Неужто подобру отпустили фрегат?

— По-доброму было исключено. Поставил Прайс напротив нас в трех, не более, кабельтовых быстроходный пароход «Вираго». Было видно, поддымливает пароход — значит, на парах стоит, готовый сорваться, как сторожевой пес с цепи. Стоило нам поднять паруса — он тут же перекрыл бы нам выход в море. Оставалось бы только стрелять. Но это нонсенс — открывать стрельбу в чужом нейтральном порту без объявления войны да супротив двухсот орудий флотилии. Так что пришлось дипломатией и хитростью действовать. Благо, офицеры у меня и матросики замечательные. Все же хороша русская косточка — крепкая подобралась у меня команда. Скажу честно — не нарадуюсь, Василий Степанович, на русского матросика.

— Согласен, Иван Николаевич! Вся надежда на них. Что мы-то с тобой сможем одни? Да только то, что наши солдатики и матросики сумеют преодолеть. А суть русская в том, что чем тяжелее доля, тем слаженнее и отважнее люди наши становятся.

— Обманули мы все же наших врагов. Помог туман — видимость была не более кабельтова. А чтобы внимание не привлекать, под вечер спустили мы семь шлюпок и баркас с матросами, тихонько подняли якоря и на буксире на веслах тихонько ушли из пределов рейда Кальяо. Моряки мои — ребята стожильные — тянули фрегат при встречной волне буксиром с таким напряжением, что, думаю, мало кому удалось бы это. Но сладилось — удалась нам затея, как обмануть неприятеля. А как ушли, паруса быстренько подняли, шлюпки собрали с матросиками и на всех парусах в открытый океан. Не успели англичане даже дымы пустить на «Вираго», мы уж скрылись. Думаю, шумно у них было, когда пытались уяснить, куда это делся русский фрегат. Адмирал Прайс — опытный флотоводец, думаю, был сильно огорчен. При встрече он все пытался мне объяснить, что русский флот недостаточно силен и не может британцам диктовать свои условия. Высокомерный такой господин, но флотоводец заслуженный — много чего прошел, участвовал в сражениях — противник достойный, без спора.

— Что же, рад, коли все так сложилось. Теперь, Иван Николаевич, нужно нам укреплять оборону нашего порта, и большая удача, что ты пришел со своей командой. Думаю так: ставь свой фрегат за косой Кошка, что запирает вход в ближнюю гавань. Бортом ориентируйся в сторону бухты, чтобы вести огонь, а вот пушки со второго борта, полагаю, следует снять и установить на берегу — вот как раз напротив, на низком берегу между Сигнальной и Никольской сопками и на косе. Между сопками место ключевое, самое тяжелое для обороны: удобное для высадки десанта со шлюпок. Коса тоже важна — на нее в случае прорыва также удобно высадить десант, — Завойко встал во весь рост и указал на седловину между двумя заросшими лесом сопками. За седловиной была видна поверхность бухты, как улица в окошко из дома. — Вот это то слабое место нашей обороны.

Как оказалось, приход фрегата «Аврора» не последняя удача, случившаяся до прихода смешанной эскадры англичан и французов. По просьбе Завойко, которая была направлена за полгода до начала боевых действий, в Петропавловск пришел, наконец, обещанный трехмачтовый военный транспорт «Двина» из Аяна — с побережья Охотского моря, с солдатами сибирских батальонов числом триста пятьдесят, прибывших из Иркутска по распоряжению губернатора Муравьева. На «Двине» прибыли также и шестнадцать пушек. Для скудной обороны порта пополнение солдатами и пушками было как нельзя кстати.

Опекал Николай Николаевич Муравьев Камчатку после памятного посещения летом 1849 года Петропавловска, заботился и вкладывал в оборону все, что мог собрать.

Картина 2. ГУБЕРНАТОР МУРАВЬЕВ

Местный люд от мала до велика высыпал к причалу, когда на входе в бухту появились паруса судна из далекой России. Высыпали как горох по склону Красной сопки из домишек, прилепившихся на склоне, и были все несколько удивлены, когда рядом с сорокалетним губернатором отметили двух красивых женщин в пышных платьях и шляпках.

Рядом с красивыми дамами не сразу разглядели губернатора: тот был низкорослым, по манерам подвижный человек с рыжеватыми бакенбардами и усами в простом плаще и дорожной фуражке без знаков, определяющих статус. Под полами не застегнутого плаща был виден генеральский мундир, вероятно, надетый по случаю завершения долгого маршрута. По облику и простоте общения в прибывшем крупном чиновнике не сразу угадывался губернатор.

Вскоре встречающие разобрались, кто есть кто. Народ загалдел, и тут же весть обошла сгрудившихся на берегу петропавловцев: одна из прибывших дам оказалась супругой губернатора Екатериной, а вторая, совсем еще молоденькая девушка, музыкант из Парижа Элизабет Кретьен, выступавшая под именем Лиз Кристиани. На берегу уже, когда встали у причала для приветствия, обе дамы, как на подбор гренадерского роста, в красивых, казалось только из салона, платьях, шляпках, высились над Муравьевым, а тот все поглядывал то на жену, то на музыкантшу и веселил спутниц по-солдатски: прямо, без изысков пуская реплики.

Народ в толпе переговаривался:

— Во как! Француженки! Это ж надо, из самого Иркутска притащились и не спужались! Отчаянные барышни!

— А молодая-то — та, что музыкантша, — вовсе из Европы заявилась! Во как — диводивное! Выглядят дамы так, словно не по тяжкой дороге и морю месяцы добиралась, а словно по воздуху, как дух святой, прилетели.

Элизабет уже удивила Париж и всю Европу, отправившись в турне по городам и оказавшись поначалу в Санкт-Петербурге и Москве, теперь, видимо, пришел черед удивиться и далеким поселениям Российской империи. Здесь, вероятно, никогда и не звучала виолончель да, тем более, в руках юной ослепительной иностранки, что уверенно держала инструмент между ног. Первое время дамы, для которых и езда на лошади была допустима только в седлах дамских, когда ноги были у наездницы с левой стороны от седла, возмущенные увиденным, уходили с концерта. Потом попривыкли и, с любопытством поглядывая на юную Кристиани, судачили о развращении нравов, отмечая, между тем, что играет она виртуозно. Мужчинам же нравилось то, как себя ведет независимая от суждений Елизабет, и ходили на концерты, чтобы не столько слушать музыку, сколько наблюдать за страстной экспрессией раскрепощенной красавицы.

Очарованная Россией, необыкновенным вниманием россиян, их простодушием, отправилась от столиц далее на восток Елизабет и добралась, как ей поначалу казалось, до конечной точки своего маршрута — до Красноярска. Оценив ширь великой сибирской реки и собираясь уже назад, вдруг переменила все и отправилась далее покорять дикую, но столь величественную страну. Причина изменения плана была любопытна: прознав, что в соседнем Иркутске (что там тысяча верст — по меркам России и Сибири — пустяк!) жена губернатора француженка, отправилась в сторону Байкала, чтобы увидеть еще более дикие и замечательные места.

Как оказалось, в пути по России мадемуазель Элизабет увлеченно читала роман объявившегося во Франции писателя Александра Дюма «Учитель фехтования». В книге она прочла о Жанетт-Полине Гебль — французской модистке торговой фирмы, ставшей в Сибири женой ссыльного декабриста Ивана Анненкова.

— Вот как так?! Смелая такая, отчаянная! — дивилась на выходку соотечественницы Элизабет, и было понятно, что одобряет она поступок мадам Гебль и сама готова совершить нечто безрассудное, но идущее от сердца. И теперь, находясь здесь среди бескрайней Сибири, страстно пожелала Элизабет, если и не повидать отчаянную мадам Гебль, то хотя бы рассмотреть места, через которые устремилась соотечественница вслед за своей любовью.

В августе 1848 года мадемуазель Кристиани прибыла в Иркутск, где играла для людей на своей виолончели мастера Страдивари и, конечно, сразила всех необыкновенной музыкой и девичьей красотой. Выступления и общение с соотечественницей — женой губернатора, роскошный прием задержали Элизабет в столице Восточной Сибири на год. За это время удалось побывать на Байкале, в Кяхте, на водах в Прибайкалье.

— А что с Жанетт-Полин Анненковой? — интересовалась в поездке Элизабет и выглядывала из возка, словно надеялась увидеть так удивившую ее соотечественницу.

Екатерина смеялась над нетерпеливой Лиз, а расспросив мужа о судьбе ссыльного Анненкова, рассказала ей о соотечественнице, пылко полюбившей русского гусарского офицера:

— Теперь она уже не Полина, а Прасковья. Такое вот имя взяла она после венчания по православному канону. Сказывают, живут теперь они в Тобольске, теперь уж двадцать лет, как сняли с него кандалы, а на жизнь зарабатывает службой. Полина-Прасковья же оказалась чересчур плодовитой. У нее ведь была дочь еще до Анненкова, так с ним в браке рожала много раз — со счета сбились, а в живых семеро у них детей осталось — знать, вполне счастливы. Вернуться из Сибири им пока не дали разрешения, но, я думаю, скоро дозволят — вины-то на нем вообще никакой нет. Так, болтал много лишнего, а в делах противоправных против императора замечен не был.

В Кяхте на огромном рынке с товарами из Китая и всей Азии удалось женщинам закупить изысканные ткани и наряды, пошить из них роскошные платья. Побывав в Кяхте, Элизабет ощутила желание увидеть и узнать далекий край империи основательнее. И тут стало известно о том, что Муравьев решил ехать осматривать дальний порт на полуострове Камчатка.

— О, Господи! — воскликнула мадемуазель Элизабет. — От Камчатки и до Америки совсем недалеко! Хочу побывать!

Идея посетить Камчатку возникла после встречи, когда император назначил Николая Муравьева губернатором Восточной Сибири, а тот в запале в ответ на реплику самодержца о том, что очень далеко простираются пределы территории, за которую теперь отвечает граф, выпалил: «Я постараюсь туда добраться». Николай глянул на Муравьева с усмешкой, ибо понимал, каких трудов и рисков стоит подобная поездка, но смолчал, только кивнул, давая понять, что ободряет порыв, но все же сомневается в том, реализуем ли он. Сказанное воротить было уже нельзя и, думая о том, что император будет долго помнить обещание побывать на Камчатке, Муравьев, набравшись духа, оставив завещание, решил отправиться в путь.

Губернатор поначалу пришел в полное смятение от желания супруги и юной Лиз ехать в столь многотрудное путешествие. Он долгими вечерами пытался объяснять супруге, что придется поначалу ехать на лошадях до реки Лена через бурятские степи мимо Байкала, потом плыть несколько тысяч верст по реке Лене среди тайги на судне под названием паузок под дождем и ветром.

— Как ветром? В нем, в этом туеске — что, и крыши нет? — поначалу пугалась Екатерина.

— Да крыша-то есть, дорогая, но не более, — продолжал пугать Муравьев жену, хотя уже были сделаны распоряжения убрать внутри суденку поприличнее, понарядднее шкурами да коврами, подумать об удобствах в длительном сплаве. Несмотря на то что поездка планировалась летом, Муравьев пытался объяснить дамам, насколько может быть холодно на реке в это время: — Вода холодна на реке. Сказывают, коли упал, то вряд ли выплывешь — сразу ноги сводит. И ветер лютый на реке.

После Якутска ужасы дороги были неведомы и самому Муравьеву, и он, включая воображение, рассказывал о горных кручах и бурных стремительных реках, непролазной тайге и ночевках в сырых, промокших под дождем палатках и был, конечно, недалек от истины. До моря от Якутска следовало преодолеть многие сотни верст, не имея никакого жилья и приличного помещения для ночлега и просушки сырой одежды. А далее следовало холодное Охотское море, по которому придется плыть на судне, испытывая ураганы и шторма. И это последнее испытание воспринималось в рассказе уже как облегчение, ибо, конечно, более всего на мадемуазель Элизабет произвело впечатление известие о тучах комаров и мошкары, а также о рыке медведей, от которых стынет кровь.

— Как стынет?! — прокричала бледная от страха Элизабет, не до конца понимая русскую речь. — Что, человек замерзает в лед?

— Успокойтесь, голубушка, — успокаивала подругу Екатерина, — Николя шутит.

Шутки, впрочем, было в сказанном не столь много, ибо, и правда, весь тракт от Якутска до моря был через нетронутую тайгу, где зверья непуганого было достаточно.

Муравьев, сломленный напором французских женщин, одну из которых он нежно любил, в конце концов, махнул рукой, но потребовал ограничить число платьев в багаже.

Муравьеву очень понравилось пугать и дразнить молодую француженку, чем он и взялся заниматься всю дорогу, получив в ответ от нее прозвище «*la petit general rouge*» — «маленький рыжий генерал». И то верно: губернатор Муравьев был небольшого роста, слегка рыжеват, а Елизабет была девушкой высокой, стройной.

Так в жизнь Петропавловска почти на целую неделю было привнесено столько впечатлений от пребывания здесь одной из талантливейших музыкантов Европы того времени, что не вспомнить об этом нельзя. И стало это благодаря тому, что «маленький

рыжий генерал» проявил величайшую, воистину суворовскую твердость в реализации задуманного. Весь путь по тайге через реки и топи, кручи и перевалы был проделан с невероятной скоростью — порядка ста верст в день, что требовало использования всего светового дня от самого раннего восхода до полного заката и продвижения без задержек с отвагой воина, добывающего победу. Доставалось и женщинам. Однажды, когда супруга Муравьева Екатерина отказалась садиться на лошадь, объясняя это крайней усталостью и истертыми в поездке ногами, Муравьев, не на шутку зло и решительно, приказал отправляться ей с сопровождающими назад в Якутск. Это его жестокое решение имело влияние: жена стерпела, поплакала, но уселась-таки на коня, охая и страдая, и продолжила путь — кризис скоро миновал, и все наладилось.

Испытав все тяготы дальней дороги, в конце июля Муравьев с сопровождающими его помощниками и неугомонными француженками прибыл на горячую землю полуострова Камчатка. Здесь с тревогой узнал губернатор, что в порт заходили накануне два английских военных судна. Очевидно, что этот визит был разведывательным, рассудил губернатор и дал тут же наставления о подготовке обороны.

Британия после утверждения своего правления на Гавайях уже внимательно присматривалась к Камчатке как привлекательному для оккупации объекту. Следовало срочно укреплять оборону порта, и Муравьев отдал распоряжение о строительстве батарей, держа в голове план по скорейшему усилению защитных сооружений. Муравьев лично со своим помощником Струве объездил и облазил окрестные сопки и говорил командиру гарнизона капитану первого ранга Ростиславу Машину, активно жестикулируя, как и где он должен поставить батареи, чтобы встретить неприятеля картечью.

Осмотрев местность вокруг поселения и бухты, Муравьев определил слабые места возможной обороны и дал указание строить батареи на Сигнальном мысе, Петропавловской косе и у озера Култушного, где простирался уязвимый с моря пляж на несколько сот метров вдоль берега. Дав распоряжения, Муравьев написал послание в правительство о том, что непременно следует укрепить Авачинскую губу, ибо «она будет игралищем самой незначительной враждебной эскадры... *Я много видел портов в России и Европе, но ничего подобного Авачинской губе не* встречал...»

Оценив необходимость крепить оборону восточного порта России, Муравьев назначил военным губернатором на Камчатке опытного управленца с безупречной репутацией боевого генерала Василия Завойко. С Завойко Муравьев познакомился в Аяне по пути на Камчатку, где тот служил начальником порта. Муравьев тут же оценил качества генерала и представил его императору Николаю Первому и с выбором не ошибся. Позже, оценивая вклад Завойко в события Петропавловской обороны, Муравьев отмечал:

— Вот ведь как важно было отправиться в дальний путь, чтобы самому, на месте лично увидеть и оценить все увиденное, дабы принять самые верные решения, не руководствуясь мнением других, часто лично в чем-то заинтересованных лиц.

Пока губернатор Муравьев изучал окрестности и взялся рисовать фортификации вокруг русского порта, неугомонные французские женщины обошли все интересные места и посетили даже местное кладбище. Каково было удивление Элизабет и Екатерины, когда наткнулись они на заросшую могилку с надписью о том, что здесь покоится господин Людовик Делиль де ла Кроер.

— Смотри, Катрин, это француз! Кто он?

Вернувшись с прогулки, женщины взялись расспрашивать Муравьева, но, не добившись от него внятного объяснения, обратились к местным и выяснили, что давно, уже более ста лет назад, в 1741 году из плавания вернулся пакетбот «Святой апостол Павел» под командованием капитана Чирикова. Вернулся пакетбот потрепанный, с поредевшей изрядно командою — без малого треть экипажа не вернулось из плавания к берегам Америки. Полтора десятка членов команды сгинули у берегов Америки, не вернувшись из поездки на берег, других скосила цинга. Страшная болезнь, которой болели практически все, но кто-то мог ей противостоять, а многие погибали. Среди членов экипажа был и француз, но русский академик — Людовик Делиль. Умер ученый человек от цинги уже здесь на берегу в самый день прибытия в порт. Так вот записано в летописи, что ведут церковники в часовне при кладбище.

Взгрустнули дамы и на следующий день, собрав полевые цветы, снова сходили к могилке француза и постояли, повздыхали, несколько даже прослезившись, помянув отважного соотечественника, для которого оказалась мала его Франция.

Отправляясь на Камчатку из Аяна, Муравьев дал распоряжение обследовать восточное побережье материка и особое внимание обратить на устье Амура. Для такого задания был определен транспорт «Байкал» под командою капитан-лейтенанта Геннадия Невельского. Для встречи было определено место и время, и удивительно, что Муравьев, следуя из Иркутска на Камчатку, а затем обратным маршрутом, вовремя —

чуть ли ни день в день прибыл к северной оконечности Сахалина. Здесь должен был с ним встретиться, следуя с Камчатки на транспорте «Иртыш», капитан Невельской. Но 22 августа «Байкала» на месте не оказалось, и только прибыв в Аянскую бухту, удалось дождаться транспорт Невельского в начале сентября. Заждавшись в нетерпении Невельского, в награду от него все услышали доклад, что Сахалин — остров, а между материком и островом судоходный морской пролив. Более того, в устье Амура можно заходить беспрепятственно на океанских судах, что и было исполнено.

Известие это было радостным и шумно отмечалось. Тут же возникли предложения об основании порта в устье Амура как форпоста России на Дальнем Востоке наряду с Петропавловском.

В июле в Петропавловск из Аяна по распоряжению губернатора Муравьева на транспорте «Двина» прибыл поручик, военный инженер Константин Мровинский, взявшийся планировать и возводить береговые батареи вокруг порта. «Двину» поставили за косой Кошка рядом с «Авророй», а пушки сняли и оборудовали тут же на косе орудийную батарею.

В работу по подготовке оборонительных рубежей включилось все население города и его окрестностей. Работы по сооружению семи береговых батарей и установке орудий велись почти два месяца круглые сутки, днем и ночью. Защитники Петропавловска возводили укрепления, в скалах вырубали площадки для батарей, неприступные для морского десанта, снимали с кораблей орудия, вручную перетаскивали их по крутым склонам сопок и устанавливали на берегу.

С прибытием солдат и команды транспорта под началом Завойко для отражения атаки находилось почти тысяча воинов — артиллеристов и стрелков. Этого, конечно, было недостаточно в полной мере для отражения атаки, но, тем не менее, это уже была достойная сила, способная, как показали дальнейшие события, к сражению, значение которого трудно переоценить по важности для России.

17 июля в насторожившуюся бухту зашло американское торговое судно «Нобль», и тут же стало известно о том, что Британия с Францией объявили войну России, о чем извещало уведомление от консула России в США. После полученного официального уведомления Завойко взялся решительно строить оборону и формировать строевые части для ведения боя с десантом неприятеля.

Картина 3. АВАЧИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В полдень 17 августа 1854 года передовые посты на маяках Авачинской бухты обнаружили эскадру из шести кораблей. В Петропавловске прозвучал сигнал боевой тревоги. От эскадры отделился трехмачтовый военный пароход и взялся промерять глубины на подходах к мысу Сигнальный и входу во внутреннюю гавань порта. Над теплоходом развивался флаг США, государства не враждебного России, и навстречу ему, учитывая военное положение, выдвинулся портовый бот для уточнения принадлежности и целей визита. Этот жест был скорее страховочный, поскольку оставшиеся на рейде корабли без вымпелов вполне угадывались, поскольку уже были отмечены прибывшим накануне фрегатом под командованием Ивана Изыльметьева в порту Кальяо в Перу. Это, безусловно, были именно корабли объединенной эскадры враждебных России государств.

Командовал эскадрой адмирал Дэвид Прайс, всю жизнь посвятивший службе на флоте Ея Величества королевы Виктории. Накануне войны Прайс был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой и сам возглавил экспедицию по захвату порта в Авачинской бухте.

Адмирал Дэвид Прайс был обескуражен. Промер глубины военным пароходом на подходах к мысу Сигнальный и входу в гавань Авачинской бухты был прерван атакой высланного от причала бота, и, опасаясь повреждения, пришлось ретироваться. После совещания на следующий день, не получив ожидаемой сдачи порта и оценив при визуальном осмотре укреплений, что русские основательно подготовились к обороне, — вышли на боевые позиции и атаковали, прощупывая, береговые батареи противника. Ответ русских был ожесточенным и дьявольски точным. Прайс отмечал раз за разом, как плотно и точно ложатся ядра русских пушек, и еще раз с сожалением припомнил, как месяц назад в порту Кальяо в Перу упустил русский фрегат «Аврора», и теперь боевой корабль был замечен у портового причала. «Пушки сняли и установили на берегу», — оценил Прайс, с сожалением отметив еще раз, насколько точны канониры упущенного на рейде Кальяо фрегата.

Адмирал с утра отведал чаю со сливками и вышел на мостик своего фрегата осмотреть красивую бухту в преддверии осени и вновь с удовольствием оглядел сформированную природой гавань: она была прекрасна. Узкий вход со стороны океана, большая глубина и укрытые внутренние бухты были идеальны для

организации крупного порта. Скалистые, малодоступные и с суши берега надежно могли укрыть причалы от атак сухопутных войск. В отдалении высились высоченные вулканы с вершинами в снегу. Еще вчера снега не было на склонах огнедышащих гор, а уже сегодня, в такое ясное солнечное утро, на фоне голубого чистого неба вулканы смотрелись невероятно красиво.

— Прекрасная бухта. Здесь Британия создаст замечательную военную морскую базу для управления в этой части света, — высказался Прайс подошедшему капитану фрегата. Капитан, моложавый Джеймс Олдридж, закивал, оглядывая скалистые берега бухты Тарья:

— Согласен, сэр. Подобных бухт немного в мире. Здесь можно выстроить мощный военный и торговый порт и контролировать всю акваторию от Китая и Японии до побережья Америки и держать дикую Россию в узде, не давая им выхода на восток.

— Вы правы, Джеймс. Мы сделаем большую работу по завоеванию влияния в Тихом океане. Опираясь на здешний порт, усилив его защитными редутами, железным кулаком — всеми силами британского флота выбьем дух из славян, давних наших оппонентов за контроль над континентом.

Стали выдвигаться, чтобы прощупать редуты вдоль скалистых берегов. Русские ответили: и ядра, и бомбы легли у бортов. Одна из гранат ударила в основание мачты и, откатившись, закрутилась, и через мгновение полыхнуло огнем. Тем не менее, граната только снесла ограждения на палубе, не причинив кораблю особого ущерба, но, когда рассеялся дым, офицеры на мостике увидели лежащего адмирала Прайса, под ним растекалась кровь, в которой отразилось высокое и чистое в это время камчатское небо и купола чадящих вулканов. Рана на виске адмирала указывала на мгновенную смерть.

Капитан Олдридж приказал унести капитана в каюту, чтобы подчиненные не видели поверженного командующего, но скоро по команде разнесся слух о самоубийстве Прайса: мало кому верилось, что от одной русской гранаты может быть такой урон. «Скверная примета: первый убитый — сразу командующий», — подумал Олдридж и поддержал слух о случайной смерти Прайса при неосторожном обращении со своим пистолетом.

На следующий день, оправившись от гибели адмирала Прайса, было принято решение контр-адмиралом Фебврье-Деспуантом атаковать порт по ранее установленному плану. Основная часть кораблей сблизилась с берегом. Перед входом в порт, по правому борту на скалистом берегу Красной сопки стояла батарея, прозванная Кладбищенской из-за близости городского кладбища. Развернувшись правым бортом, корабли эскадры взялись уничтожать батарею плотным огнем. Кладбищенская батарея отбивалась тремя орудиями, и силы были не равны. Десятки пушек с кораблей атаковали врытые в землю орудия, и после часа пальбы батарея была разрушена: пушки опрокинуты, капониры, бруствер из камней и грунта разбиты, вырытый окопчик завалило землей. Оставшиеся в живых и способные еще двигаться артиллеристы отошли, предварительно заклепав и приведя во временно непригодное состояние пушки.

Во время атаки на Кладбищенскую батарею по кораблям англичан и французов били пятью пушками также Сигнальная и одиннадцатью Кошечная батареи. Батарея Сигнальная располагалась очень удобно на самой оконечности мыса, но была и крайне уязвима для орудий неприятеля с моря, открытая со всех сторон. В ответ на огонь с Сигнальной отвечали пушки с кораблей. Скоро Сигнальная батарея была разбита, а с Кошечной продолжали отвечать, но мало достигали целей: мыс сопки Сигнальной частично закрывал обзор, и расстояние было достаточно большим до огрызающихся огнем бортов кораблей.

Подавив огонь передовых береговых батарей, с кораблей неприятеля спустили шлюпки, и, налегая на весла, десантники направились к разбитой Кладбищенской батарее. Уцелевшая на Сигнальном мысе пушка все же сделала свое дело: удачный выстрел разнес шлюпку, и десятка два десантников оказались в воде — спасти подошедшим шлюпкам удалось не всех.

Десант союзников был многочисленным — не менее пятисот солдат, и Завойко, наблюдавший за высадкой десанта, приказал готовиться к отражению штурма порта. Однако высадившийся десант замешкался, завозился с пушками и как будто взялся окапываться. Отметив нерешительность со стороны неприятеля, Завойко приказал атаковать десант по берегу, чтобы не дать возможности закрепиться на захваченной батарее.

Со стороны порта выдвинулась к захваченной батарее группа защитников порта числом человек сто пятьдесят во главе с офицером с «Авроры». Солдаты вперемешку с вооруженными гражданскими, промысловиками-охотниками, решительно ринулись в штыковую атаку вдоль скалистого берега. Расстояние еще не позволяло вести

прицельный огонь, но десантники взялись стрелять в атакующих петропавловцев, явно опасаясь рукопашной схватки. Защитники порта в ответ на пальбу еще активнее кинулись вперед. Над Авачинской бухтой впервые в истории зазвучало, словно рык рассерженного медведя:

— Ур-р-ра-а!

Семен Гладков и Гаврила Окунев оказались среди защитников порта, атакующих десант. Приказ выступать для атаки отдали нежданно, выдернув их из охранения порта, и даже испугаться не успели парни, как уже бежали, хоронясь за кустами, сгорбившись от страха быть подстреленными, вдоль скалистого берега к павшей под огнем пушек батарее. Когда раздались крики «ура», поначалу нестройные, слабые, а затем с нарастанием, отчаянные, стало на душе сначала спокойнее, а потом бедово, весело и даже празднично.

Гаврила бежал рядом с Семеном и приглядывал за более молодым своим сослуживцем. А впереди уже маячил бруствер батареи, и вот-вот должна была случиться сшибка штык в штык, нож в нож, кулак в кулак. Все тело перед большим, смертельно опасным делом напряглось удивительной силой, и казалось, стоит оттолкнуться от земли, и полетишь — столько в тебе взрывной энергии и решимости.

Десантники, несмотря на значительное превосходство числом бойцов, не стали ждать атакующих, избегая контактного боя, и при первых угрозах — засвистевших над головами пуль — покинули батарею. И тут увидели все, как побежали десантники, как замелькали среди кустов на спуске к берегу их сине-красные мундиры, и даже уже лица, перекошенные от страха и напряжения, стали видны, когда шлюпки спешно стали отваливаться от берега. Толкаясь на узких тропах к воде, спускались, падали, суетясь и паникуя, а едва усевшись в шлюпки, спешно отваливали от негостеприимной земли.

Добежав до батареи, друзья увидели развороченный бруствер, еще дымящуюся в месте попадания бомбы траву и землю, опрокинутые, забросанные землей орудия. Семен и Гаврила спустились по узкой, пробитой в грунте среди травы тропе к воде, шурша каменными осыпями. Вода была тиха, словно насторожилась, а вдали расправляли паруса вражьи корабли, подбирая струсивший ближнего боя десант. Когда атакующие достигли разгромленной батареи, шлюпки уже были вне досягаемости оружейных залпов, и было видно, как торопясь первые, достигшие кораблей, забираются по сброшенным лестницам и трапам на палубу.

После возвращения десанта корабли союзников отошли на свои якорные стоянки у входа в бухту. Первый штурм на этом прекратился, итог его оказался непростым, но не фатальным. Были опрокинуты две батареи, корабли, пришвартованные за косой Кошка, получили повреждения. Но при всех потерях, первых раненных и одном убитом на батарее, защитники почуяли свою силу, свою способность гнать врага. Весь вечер среди солдат гарнизона и вооруженных гражданских, не покидавших своего боевого расчета, активно обсуждали события дня. Полагая, что на следующий день, прощупав оборону, враг снова пойдет на штурм, тут же взялись восстанавливать порушенные укрепления разбитых батарей, чинить и устанавливать пушки на скалистом берегу Красной сопки и на мысе Сигнальный.

После первого штурма прибывшие захватить порт союзники не проявляли активности три дня. Посланные к бухте Тарья разведчики доложили, что противник проводил похороны убитого накануне адмирала Прайса и павших в перестрелке матросов и солдат десанта, также чинился такелаж и порушенные огнем артиллерии корабельные надстройки. Три дня потребовалось вражеской эскадре, чтобы привести в порядок свои силы, наладить дух воинства и составить новый план атаки на порт.

Утром 24 августа пароход «Вираго» зацепил французский фрегат «Форт» и отбуксировал его к батарее под командою капитан-лейтенанта Коралова, выставив правым бортом к берегу. На батарею сразу нацелилось несколько десятков орудий. Английский фрегат «Президент» оказался таким же образом напротив третьей, «смертельной», как ее окрестили защитники, батареи князя лейтенанта Александра Максутова. «Смертельная» батарея разместилась на пологом пляже между сопками Никольская и Сигнальная, батарея Коралова за Никольской сопкой на пляже напротив озера Култушного.

И тут по команде незримых с земли канониров начался кромешный ад: борта фрегатов заволокло дымом, и из этой клубящейся пороховой гари вылетали стаи ядер и бомб. На батареях Коралова и Максутова было всего-то по пять пушек, и именно на них навалились основные силы врага, сосредоточив огонь десятков пушек на незначительные пятачки пляжа. Вскоре к атакующим батареи фрегатам присоединился и пароход, добавив огня по озерной батарее Коралова.

Ядра вспахивали пляж, раскидывая прибрежную гальку и круша камни бруствера, а ударившись о землю по касательной, отскакивали и летели, рикошетя, рассекая

воздух с воем раненного вепря, уничтожая все на своем пути. Бомбы залетали за бруствер и, пошипев, словно проснувшиеся по весне голодные змеи, взрывались, разбрасывая землю и смертельную свою начинку. Вот схватился за ногу артиллерист и тут же упал, истекая кровью. В другом месте редута взрывом разворотило окоп, иссекло осколками двух человек и завалило землей, осколки цокали по стволам пушек звонко, высекая искры.

Две батареи, насчитывающие всего десять орудий, вынуждены были биться каждая в одиночку против могучих фрегатов, каждый из которых имел до тридцати пушек на бортах. Расстояние между батареями вдоль берега было столь значительно, что только канонада доносилась с мест яростной перестрелки, и не было возможности даже увидеть, что происходит на соседнем рубеже обороны. Помочь отразить атаку из глубины порта другими орудиями было невозможно из-за наличия естественной преграды — Никольской сопки на берегу бухты. Стрельба навесом через сопку из пушек «Авроры» и «Двины» еще могла как-то помочь защитникам батарей, но такой огонь был крайне неэффективен из-за дальности и невозможности прицельного огня.

Через три часа арт-дуэли третья и седьмая батареи были сломлены и практически не отвечали. Пушки были сбиты с бруствера, защитники побиты: убиты или тяжко ранены. Ощутив привкус грядущей победы, противник развернул свои флаги и под гром барабанов начал высадку со стороны Никольской сопки, направив десанты на залитое кровью побережье.

Однако героическим усилием русских артиллеристов досталось и неприятелю: последствия того боя еще долго ощущались на британском флагмане, который с трудом пересек океан, убираясь восвояси. Третья, «смертельная», батарея, истекая кровью, выполняла свою задачу, благодаря героизму артиллеристов. Когда пали на батарее покалеченные бомбардиры, князь Александр Максутов сам бросился к орудию и стал его заряжать лично, требуя точнее наводить ствол на неприятельские шлюпки. Это подействовало на команду. Батарея во главе с отважным командиром продолжала гибельный для неприятеля огонь и утопила одну шлюпку с десантом. Князь Максутов и его подчиненные ликовали, глядя, как тонет полная десантников посудина, и тут рванула упавшая в окоп бомба. Небольшая начиненная взрывчаткой металлическая оболочка шипела, словно рассерженная гадюка, и рванула в окопе рядом с орудием. Князь Максутов, опрокинутый спрессованной волной воздуха, упал на дно окопа. Когда огляделись и извлекли лейтенанта из-под накрывшей его земли, то увидели оторванную, висящую на сухожилии руку. Артиллеристы подхватили окровавленного командира, подвязали оторванную руку к телу и понесли, уложив на шинель, с боевой позиции в лазарет. Через две недели после окончания обороны порта, после всех усилий врачей, князь Максутов скончался от невосполнимой потери крови.

Разделившись на две группы, противник высадил десант на пляж там, где еще дымились останки поверженных батарей. В случае удачной атаки город практически был бы окружен: враг заходил в город с двух сторон, закрывая возможность отхода в сторону Култушного озера. Только крутые склоны сопок, поросшие лесом, за спиной защитников еще оставляли возможность для пешего отступления вглубь прибрежной территории, но в этом случае город был бы потерян.

Но десанту, высадившемуся на косе у Култушного озера, для успешной атаки было необходимо захватить еще одну батарею на дальнем берегу озера, уже на подступах к порту. Эта батарея и была поставлена на тот случай, если батарея Коралова на берегу бухты падет. Замысел врага был понятен — сбить батарею у Култушного озера и атаковать порт с юга от озера. Но батарея, прикрывающая порт и город с юга, оказалась неприступной для десанта. Картечь из всех стволов решила исход перестрелки между десантниками и артиллеристами. Попавший под огонь десант кинулся вдоль берега под защиту заросшего лесом склона Никольской сопки.

Десант, оправившись после броска, хоронясь за кряжистыми камчатскими березами, путаясь в кустах рябины и жимолости, стал спускать по склону к порту, постреливая на ходу, надвигаясь яркой, раскрашенной красно-синими мундирами тучей на город. Губернатор Завойко с тревогой следил за атакой: ситуация была близка к критической. Точка наблюдения, с которой губернатор осматривал место сражения, было выбрано на склоне Красной сопки, откуда открывался вид на бухту, Никольскую сопку, вытянувшуюся перед портом и удачно прикрывающую причалы и дома от шквалов, а теперь и прямой атаки неприятеля.

Десант сосредотачивался на склоне Никольской сопки, перемещаясь вдоль склона от разбитых батарей Максутова слева и Коралова справа. Завойко, отметив действия врага, тут же отправил посыльных с наблюдательного пункта с приказом собирать все имеющиеся силы для отражения атаки. В этот самый тяжелый момент сражения с фрегата «Аврора» высадились одна стрелковая и две абордажные партии, подтянулись и вооруженные гражданские, вышли на бой все, кто мог еще усилить отражение

десанта.

Семен Гладков и Гаврила Окунев снова оказались в одной команде и поднимались по склону сопки через вымахавшую за лето высоченную траву, хоронясь за стволами берез. Впереди послышалась барабанная дробь, и скоро стали видны и солдаты. Их яркая сине-красная одежда, сосредоточенные лица мелькали уже впереди. Идти вверх по склону через высокую траву было тяжело. Семен и Гаврила привычно держались рядом и шли теперь друг за дружкой, держа наперевес взведенные ружья с примкнутыми штыками. Рядом с ними, чуток впереди и поотстав, шли другие из отряда защитников города. Шли молча, сосредоточенно вглядываясь между деревьев и кустов вперед, ожидая противника. Скоро впереди среди травы показались головы и плечи солдат, лица с расширенными от страха и повышенного внимания глазами, скривленными раскрытыми ртами. И только тут зазвучал и стал слышен инородный крик десятков глоток. Казалось, кричали что-то несвязное, бессмысленное, но явно проступал признак нарастающей паники.

Вдруг перед Семеном сбоку возник из-за ствола толстенной березы солдат с ружьем, пристегнутый штык сиял острым наконечником. Глаза у солдата были широко раскрыты, в них поселился страх, и Семен поначалу опешил от неожиданности, встретив врага столь близко, оторопел и встал, глядя, как делает неловкий выпад в его сторону десантник. И еще бы мгновение, и сверкающий кончик штыка вошел бы в Семкину брюшину, но выпущенная кем-то сзади пуля угодила солдату в грудь, и он присел на подломившихся ногах и завалился неловко кулем вперед по склону, не выпуская ружья. Семен очнулся и глянул через плечо и увидел знакомого мужика из охотников, промышлявших на морского зверя на побережье. Тот, сделав выстрел, теперь заряжал ружье, прижавшись спиной к березе, чтобы не попасть под огонь спускающихся по склону десантников. Делал свое дело охотник по-деловому, словно и не было встречного боя и не ломились сверху настроенные серьезно люди, прибывшие их всех убить. Семка прокричал охотнику что-то с благодарностью, но тот был занят и только кивнул головой в знак одобрения.

Впереди уже кипела схватка. Группа защитников порта, перемешавшись между собой, схватилась с десантниками в рукопашной. Трещали выстрелы, кто-то рядышком охнул и осел, уткнувшись в ствол разбитой пулей березы головой, а затем повалился на бок: из разбитой головы обильно текла кровь, заливая свежую траву. Кровь сочилась и по коре березы густыми чернеющими уже каплями. На Семена сбоку налетел здоровенный, с красным перекошенным лицом десантник. Семка только и успел отбить ствол его ружья со штыком, но тут же получил прикладом в плечо и в голову. Семен присел от удара и выставил штык навстречу рослому детине и только теперь вспомнил, что ружье у него еще не разряжено. Нажал курок, и солдат с лихо закрученными усами и ошалелыми глазами с занесенным уже для удара штыком рухнул навзничь, сраженный выстрелом.

Тут к Семену подбежал запыхавшийся Гаврила без фуражки с распоротой полой шинели. Парень был возбужден, глаза горели, а через всю щеку пролегал кровоточащий глубокий порез.

— Ты как? Живой? Ну, брат, заваруха у нас там случилась! Завалили англичанина с флагом и офицера ихнего. Уж так он отбивался, так брыкался, а все равно завалили его! Мне вот досталось! — возбужденный прокричал Гаврила и ринулся дальше, грозно выставив ружье со штыком.

Тут густо ударили пули, чуть с запозданием застрекотало сверху, и Гаврила вдруг согнулся и, падая, ткнулся сначала штыком в землю, а затем и всем телом в траву на склоне. Семен склонился на миг над товарищем, а тот засучил ногами примятую траву, но тут же успокоился и потянулся, выдыхая с хрипом воздух.

— Браток, ты потерпи, я скоро вернусь, — зашептал Семен и бросился вслед за всеми вверх по склону, уже не думая о павшем товарище, а только внимательно выглядывая впереди мечущихся десантников.

— Ура-а-а! — завопил Семен и почувствовал впервые не страх, леденящий нутро, а решимость догнать и прибить врага.

Было видно, как побежали, не стерпев напора русских, солдаты десанта, а впереди был уже виден гребень сопки и отчаянно мечущиеся у края обрыва враги: перед ними разверзлась круча скалистого спуска. Они смотрели вниз, затравленно озираясь на приближающиеся группы защитников порта, и наконец, решившись, начинали спускаться, но срывались, падали на камни и разбивались, калечились и, уже малоподвижные, ждали смерти, превозмогая боль. Те, что сумели спуститься и еще способные идти, кинулись вдоль берега к оставленным при высадке шлюпкам.

Число русских воинов было почти в три раза меньше, чем у врага, а атаковать неприятеля пришлось вверх по склону, выбиваясь из сил, но ярость, помноженная на дух воина, решила исход боя. Русские вступили в рукопашную схватку со всей

яростью, действуя малыми группами: десант был остановлен и обращен в бегство. Отступая вверх по склону, частично отрезанные от пологого берега солдаты десанта оказывались на краю высоченного обрыва к берегу бухты. И тут пришло возмездие — приходилось многим прыгать вниз, спускаться по круче, обрываясь в спешке: десятки покалечились, унося ноги к усыпанному камнями берегу, устремляясь к шлюпкам. С кораблей пытались обстреливать контратакующих защитников, но скоро стали сниматься с якоря, опасаясь захвата шлюпок и атаки на абордаж. Шлюпки и боты были заполнены ранеными, и путь по морю был для них непрост: грести веслами способны были не все.

В коротком, жестоком бою, на грани отчаяния, враг был сброшен с Никольской сопки в море. На склоне сопки среди русских берез в высоченной камчатской траве нападавшие оставили знамя британской королевской морской пехоты и убитых числом несколько десятков. Потери десанта оказались настолько значительными, что решиться на новую атаку враг уже не смог.

Через неделю после прихода в бухту, предприняв два неудачных штурма, флотилия союзников утром ушла из бухты. На берегу бухты в заливе Тарья остались многочисленные захоронения павших, среди которых командующий эскадрой, командир десанта, десятки убитых солдат. Атака была отбита, но было ясно, что это временное отступление, после которого следует ждать нового приступа враждебной эскадры, более подготовленной, чтобы добить защитников порта.

Картина 4. ДОРОГА НА КРАЙ СВЕТА

В Иркутск с Камчатки донесение о сражении в акватории Авачинской бухты прибыло уже глубокой осенью. Отличившийся в боях князь лейтенант Дмитрий Максутов, брат героически сражавшегося и погибшего Александра, с честью доложил губернатору Муравьеву об итогах сражения и о положении города в ожидании нового штурма. Что таковой последует с наступлением лета, не сомневались ни в Петропавловске, ни в Иркутске.

Губернатор Муравьев рассуждал относительно положения дел с обороной порта на Камчатке, собрав чиновников администрации губернатора:

— Помочь Завойко с отражением грядущей осады и атаки нам недостает сил. Противник зол за первоначальный свой провал и наверняка пришлет флот поболее того, что был изначально. Такая, знаете, поднялась шумиха в европейской прессе, что будь жив адмирал Прайс, он уж, верно, снова бы убил себя, не стерпев яростной критики в свой адрес. Такие вот дела, господа. Дела скверные! Как бы нам не потерять славную бухту Авачу! Займут англичане, потом много сил придется потратить, чтобы воротить землицу и порт нашенские.

— Так что нам, Николай Николаевич, делать? Будет ли указ из столицы? Время идет, не пора ли отправить курьера с приказом губернатора, чтобы успеть к сроку.

— Ждем, господа. Распоряжаться территориями Отечества нашего мы не вправе. Будем надеяться — успеет указ в срок. Поймите: уйдем из порта — можем его потерять на века.

В первых числах декабря в Иркутск прилетел на взмыленных лошадях курьер из столицы. Сразу несколько указов, письма и пресса из Санкт-Петербурга достигли адресатов. Один из указов касался судьбы камчатского гарнизона и порта, только в августе героически отбившегося от эскадры союзных войск. В указе предписано, что следует эвакуировать гарнизон и вооружение обороны порта, увести из гавани русские корабли в направлении устья реки Амур, чтобы военное имущество и победа врагу не достались. И вот пятого декабря курьер передал срочную депешу в канцелярию генерал-губернатора. Муравьев тут же отдал приказ срочно найти есаула Платона Мартынова, уже намеченного заранее для отправки на Камчатку.

Повод отправить Мартынова был забавный. Однажды летом Муравьев ехал через Иркутск и возле одного из трактиров на выезде из города в сторону Московского тракта увидел, как крепкий человек средних лет без шапки на голове лупцует торговца питейной лавки. Попавший под руку есаулу торговец от удара в подбородок улетел к дороге и едва не угодил под губернаторскую карету. В облике драчуна проглядывалась воинская стать, и Муравьев не ошибся: когда дерущихся разняли, удалось установить, что драчун — есаул казачьей сотни, расквартированной в Иркутске, Платон Мартынов. Тут же Муравьев припомнил, что уже однажды подписывал бумаги с упоминанием есаула, отличившегося в тушении пожара в предместье Иркутска. Тогда спас есаул из дома ребятишек и женщину, по всему, мать детей. Есаула наградили денежным призом, но вот теперь за учиненную драку, видимо, придется наказать, подумал Муравьев и взялся расспрашивать о причинах рукоприкладства.

— Так мордует женку свою, ваше высокоблагородие, — ответил есаул, глядя прямо,

без смущения на губернатора. — Бьет почем зря, а вчера так приложился, что слегла баба, того и гляди помрет.

— Все ты брешешь, морда, — вдруг расхрабрился соперник Мартынова при виде Муравьева, его помощников и пристава, который тут же объявился, как увидел, что делом заинтересовался сам губернатор.

Оказалось на поверку, что жена лавочника спуталась с есаулом, а муж в отместку, побаиваясь наказать крепкого и отчаянного Мартынова, взялся колотить супругу. Мартынов тут же вмешивался и пугал поначалу лавочника расправой, если тот не перестанет распускать руки. Вот разборка и состоялась. Итог ее был на опухшем, окровавленном лице лавочника.

Муравьев тогда не нашел времени разобрать конфликт и поручил заняться этим пристава, но Муравьева запомнил. Конфликт быстро уладили, женка лавочника повинилась и побожилась более с есаулом не встречаться, а Мартынову воинский начальник гарнизона выписал арест на неделю на местной гауптвахте. Тем дело и завершилось, знать, до новой выходки неспокойного есаула.

Теперь вот нужен был отчаянный и неравнодушный человек для исполнения поручения по доставке приказа губернатору Камчатки Завойко, и Муравьев приказал найти есаула Платона Мартынова. Умел Муравьев сыскать нужных для исполнения труднейших заданий достойных людей. Отправить штатного курьера, опытного и готового услужить, в данном случае было не лучшим решением. Дорога предстояла труднейшая, по которой курьеры ездили крайне редко, ограничиваясь поездками до Якутска по сложившемуся уже по Лене-реке пути. Тут нужен был отчаянный упрямец, честолюбец и щедрый душою, преданный службе, необычайно сильный духом и телом человек. «Такой сгодится», — решил после раздумий Муравьев.

Мартынов прибыл в резиденцию губернатора уже через час и предстал перед Муравьевым. Губернатор оглядел несколько заспанного есаула, справился, как идет служба казаков, и, не дослушав бодрого ответа, что, мол, все хорошо и готовы с усердием служить губернатору во славу Отечества, изложил приказ:

— Поручаю тебе, есаул, важнейшее поручение, от которого зависит судьба порта Камчатского и людей наших, там, на краю земли, охраняющих рубежи Отечества. Следует незамедлительно отправиться в дорогу и доставить как можно скорее приказ об эвакуации порта и всего гарнизона.

Было заметно некоторое замешательство есаула, но он тут же бодро ответил:

— Рад быть полезным делу службы и Отечеству, господин губернатор! Будет исполнено надлежащим образом и в срок!

— И как же ты это сделаешь? Что думаешь об этом? До Петропавловского порта восемь тысяч верст без малого! Это три месяца пути по зимней дороге. От Якутска и вовсе почти нет селений и каких-либо станций для получения провианта и смены лошадей. Да и лошади там вряд ли будут пригодны — нужны собаки или олени.

— Господь поможет! Дело это важнейшее, а значит, нужно сладить его! — бодрясь, ответил есаул, уже было заскучавший на приеме у губернатора.

— Когда отправиться сможешь, есаул?

— Так завтра с утра и тронемся с денщиком Рябиной. Толковый он у меня парень. Я с ним уже не первый год и уверен в нем.

— А что за имя такое у денщика-то?

— Рябоват парень, но исполнительный да отчаянный, а как набедокурит, краснеет как ягода — вот и прозвал рябиною. А так — Ванька он, из крепостных с Рязанщины.

— Дело сладите, тебе чин и орден выхлопочу, а Ваньке-Рябине добьюсь вольной, к делу знатному определю. Давайте, ребята, не подведите меня, не дозвольте супостату разгромить гарнизон, поглумиться над русскими людьми и русскими владениями.

Долгая дорога от Иркутска по зимнику до Качуга и наезженному зимнику по льду сибирской реки Лена заняла весь декабрь. В январе уже, отоспавшись в тепле в Якутске в двухэтажном особняке Русско-Американской компании, посетив Троицкий собор, двинулись дальше, снарядив собачьи упряжки. Впереди лежали сотни верст Аянского тракта до Охотского моря. В середине января были уже на морском побережье в Охотске, где удалось передохнуть пару дней, поменять собак, запастить припасами, кормом для собак.

Перед Платоном Мартыновым и Рябиной простиралось море Охотское, именуемое ранее Камчатским и Пенжинским и морем Акияном. Весь простор морской от берега и вдаль до скончания видимости застилался безбрежной снежной напастью, которую следовало преодолеть и быть как можно скорее на противном берегу.

— Напасть ты моя, — сокрушался Рябина, изрядно выбившийся из сил за долгий, более пяти тысяч верст путь, на котором мороз со снегом сменялся снегом да морозом, а вокруг стояла тайга, увешанные снежными гирляндами лесные угодья, которым,

казалось, края нет. А вот теперь переменилось все. Подступившая к берегу у Охотска тайга напирала на море, но далее уреза воды шагнуть не могла.

А море, словно убежавшая гулена, шебаршила рядом волной — словно ворожила. Вода соленая морская ворошила гальку, плескалась прибоем, подмывала порой бережок, увлекая за собой, откатываясь, зазевавшиеся, потерявшие опору дерева. Но вот грянул зимний издох — уснуло в летаргии все до весны и до лета, море сковалось панцирем, и угомонился море-Акиян до времени. Тайга приморская также уснула, упившись летними соками земли. Но льды Охотские не были столь просты: топорщились глыбами торосов и уже у берега громоздились навороты ледяные и уходили гребнем в море.

— По такому морю идти — морока одна да погибель. А еще промоины и трещины. Нет, брат, Рябинушка, пойдем бережком, а если где залив какой встретим, вот тогда и подрежем путь по льду на пробеге длиною в день, — поделился планом Мартынов, отметив, с каким удивлением и тревогой смотрит вдаль его помощник.

Здесь, в Охотске, удалось передохнуть. Народ местный, как мог, поддержал курьеров губернатора, обогрел и обеспечил провиантом, поменял собак в упряжи, дал возможность и отоспаться после бани, и разговеться, ослабляя напряг тяжкого пути. В разговорах с местными, опьянев от тепла, от которого отвык, и еды сытной, горячей, слушал Мартынов россказни о том, что велик был Охотск, да весь вышел. Местный лоцман морской, а ныне сторож береговых сооружений, в которых пока еще хранилось какое-никакое имущество Русско-Американской компании, Егор Полыхаев сокрушался:

— Как перевели на Камчатку из Охотска порт и школу навигацкую, учрежденную еще Берингом, стало печально здесь. Что остается тем, кто ныне должен здесь выживать? Охота, рыбная ловля? Даром что и место называется Охотск. Кто вспомнил, что имя это от реки, а не от нынешнего промысла убогого, мирского. Когда-то мореходами и кораблями славился Охотск, а ныне... сникло поселение поморцев, молодежь уезжает учиться в Аян, в Иркутск.

— Вот ведь как, — вставил слово местный мореход, бывавший не раз в Русской Америке, навигатор Павел Ионов, — подзабыли многие, что именно здесь строились, возводились пакетботы «Святые Петр и Павел», на которых сам Беринг открывал Авачу да острова Командорские, где и сложил голову свою великий мореход.

— Говорят, — встрял в беседу Полыхаев, — что и домовина для Беринга, и крест, большой, добротный, из досок и бруса, из которого его «Святой Петр» был выстроен, стоят теперь на островах Командора. Вот так выходит — не нужен больше Охотск, не строят тут больше кораблей, и тот крест командорский — как крест по Охотску. Не нужен порт здешний нынче так, так как он был нужен иркутским купцам, самому Григорию Шелехову.

И то верно, трепыхался на ветру у конторы Русско-Американской компании изрядно выцветший, с бахромой ветхости стяг с гербом Охотским, на котором уместился и бабр с герба Иркутского, а на поле голубом — два якоря делили полотнище крест-накрест и венчал герб штандарт морской.

— Воды много утекло, вдоволь чего сменилось и усохло, братцы, — утешал мореходов Мартынов. — Растет Россия, удобнее для нее новые удаленные места, в последние годы открытые, осваивать. Это как одежды не по росту хочется сменить, хотя бы и привык ты к ним.

— Смелый ты человек, Платон. Смелый да разумный. Что тут скажешь? Наливай горькой, а то ведь завтра в дорогу по зимнику вьюжному — кто угостит раба божьего, кто приголубит в этих бесконечных снежных пределах, где даже зверье под снегом прячется от лютого холода.

С утра покатили. Собаки, засидевшиеся на привязи, словно ждали команды — загребли когтистыми лапами и, поскуливая, подгавкивая от нетерпения, пошли разгонять нарты, груженные провизией. Пошли по льду, уходя порой на берег, если торосы не давали идти морем. Ночевали, устроив балаган из выделанных искусно шкур оленя, не новых — мягких. Такими же шкурами укрывались и спали прямиком на снегу, но под крышей. Собаки ютились рядом, свернувшись на снегу, и стойко переносили стужу. В пургу порой вставали, и собак вовсе не было видно под снегом. Но по команде бодрые, поскуливая, они выскакивали и ждали своей порции мороженой рыбы и дорогого окрика погонщика.

Порой удачно место для ночевки устраивалось среди торчащих торосов — оставалось только крышу соорудить. Двигались вдоль берега, и пока было вдоволь сухостоя, палили костер и кипятили воду, варили похлебку. Чем далее уходили на север, лес становился совсем чахлым, и у берега порой невозможно было под снегом найти дров. Ночевали в таких случаях без огня, и наутро голодные, едва-едва пожевав

юколу или вяленого мяса, двигались дальше.

От Охотска до ближайшего поселка и государственного поста Гижигинска на берегу реки Гѝжига полторы тысячи верст. Дорога эта совсем не обжита, даже каких-либо поселков или стоянок на пути не отмечено.

— Ну, коли свезет — встретите кочующих по тундре оленеводов северных. Да только с ними нужно ухо держать востро: народец-то диковатый, могут и прибрать вас, коли чего не по ним будет. Вы к ним аккуратно, без претензий и с оглядкою — могут шалить, народ-то дикий, — напутствовали Платона в Охотске местные.

На середине пути до Гижигинска, уже выбившись из сил, подцепив простуду, с обветренными до кровавых рубцов лицами, Платон и Рябина увидели несколько чумов, заметенных снегом. Дымы над куполами среди безмолвной заснеженной ледяной пустыни указывали, что жизнь еще теплится здесь под изношенными шкурами ветхого жилья. В одном из чумов Платон и его помощник нашли живых, подобных высохшим мумиям людей в неопрятных кухлянках с необычайно воспаленными глазами. Было понятно, что здешние люди нездоровы и болезнь эта очень опасна. Толком не разобрав, что отвечали им, но понимая, что помочь с провизией, очевидно, здесь не смогут, решили все же остаться на ночлег.

Унылая ночь под шатром пустого чума при тусклом огне догорающего костра прошла в тревоге за дальнейший маршрут. Корм для собак был на исходе, собак осталось только половина, а идти через снежную поземку при резком боковом ветре было тяжко. Порой снега у берега с подветренной стороны было столько, что приходилось пробивать тропу впереди собачьих нарт, чтобы выбившиеся из сил хвостатые помощники могли преодолевать препятствия. Мороз лютовал, и при ветре от него не было спасения, и только энергичная работа спасала, но тут же и выматывала, отнимая силы.

И тут случилась беда. Рябина расхворался, и идти скоро совсем не смог. Согреть воды, чтобы напоить больного, не было возможности, и пришлось, сделав долгий привал, везти больного на санях. Собаки едва справлялись, и приходилось Платону самому впрягаться и тащить нарты вместе с собаками. Рябина бредил, его бил озноб, пробивал пот, и на стылом ветру, без движения он скоро скончался, тихонько угаснув и оставив о себе только добрую память.

Скорые похороны в снегу на берегу залива с сияющим, выметенным в этом месте льдом на самом восходе низкого солнца сменились спешным переходом. Платон сам чувствовал, как силы покидают его. Без теплых ночевок, горячего питья, среди снегов, уже изрядно ослепнув и отморозив пальцы, хотелось добраться до пристанища хоть какого-либо, чтобы хотя бы на несколько часов в тепле обрести покой.

Несколько суток после смерти Рябины прошли как один затянувшийся, наполненный тяжким трудом день. Откуда берутся силы, было непонятно. Источник энергии, казалось, пересох давно, но, прикорнув, свернувшись калачом рядом с собаками, укрывшись шкурой и подстелив другую, спал Платон три-четыре часа и вставал. Утерев лицо снегом, отринув таким образом свою слабость, вползающую в плоть во время сна, поднимал собак. Осмотрев упряжь, раздав по мерзлой рыбине, дождавшись, когда псы управятся, двигался вперед, не видя впереди ничего нового: только заснеженная равнина побережья, изгибы заваленных снегом сопок и дальние, теряющиеся в дымке, заснеженные же опять, склоны далеких гор.

Всю дорогу после встреченного стойбища, убившего Рябину, Платон чувствовал себя больным. Знобило, мутилось сознание, но было понятно, останавливаться нельзя, остановка — это смерть. По внешнему виду умершего Рябины, вспоминая его хворь, Мартынов понял, что это эпидемия холеры скосила людей. Злая, страшная эпидемия пришла и добила ослабевших за зиму людей. Теперь он боялся, что и его зацепила тяжелая болезнь, и каждое утро, проснувшись, пытался понять — сможет ли он встать и идти.

Он вставал. Он вставал и шел делать то, что он мог делать, и гнал собак из последних сил. Сил хватило и ему, и оставшимся в живых псам добраться до стен городка среди заснеженного поля, вьющегося мимо русла речки под ледяным и снежным покровом.

Казалось, что поселение за высоким частоколом вымерло, так было пустынно вокруг, и было странно, что даже снег лежит не тронутый людьми. Но скоро обостренное в походе обоняние уловило запах дыма, и первый человек, укутанный в тяжелую доху из оленьей шкуры, вышел ему навстречу. Было заметно, как обескуражен этот упрятанный в мех человек. Он смотрел пристально, молча, и только черные глаза отражали его состояние. Скоро подошли еще двое, и, уже осмелев, местные жители, которые несли охрану на бревенчатом рубеже городской крепости, подошли и взялись расспрашивать и осматривать прибывшего измученного человека.

Скоро разобрались, когда главный в крепости чин, назначенный комендантом Гижиги, рассмотрел бумаги от губернатора с указанием оказывать всяческую

помощь и исполнять просьбы есаула Платона Ивановича Мартынова, исполняющего важнейшее поручение самого императора российского. Первым делом Платон попросился в баню. Отогрев исхудавшее за дорогу тело до самых глубинных частей организма, раскиснув сразу после первой чарки крепчайшего самогона, Платон скоро ожил и взялся тут же давать распоряжения.

— Так, други, собак мне свежих соберите в упряжь, для собак рыбы мороженой, припасы в дорогу. А еще мне нужен сопровождающий — ловкий, молодой, но опытный в делах, чтобы с собаками мог управиться.

К следующему дню все было исполнено. У избы, где поместили Мартынова, уже поскуливали собаки, собранные со всей Гижиги, нарты, на которых он прибыл, правленные, заново подбитые мехом, стояли рядом как новенькие, заполненные кожаными мешками с рыбой, вяленым мясом. Тут же крутился и назначенный с ним в поход невысокий щуплый паренек — по всему было видно, что якут, в оленьей кухлянке и собачьих унтах. Лица молодого человека почти не было видно под капюшоном, да Платон и не приглядывался: есть человек в дорогу, и ладно — там разберемся, на что годен.

Ушли в дорогу в начале февраля. Снег был уже не январский, а плотный, отшлифованный переметами, местами твердый до наста. Идти по такому снегу и проще — пока твердь под ногами, но порой наст резко заканчивался, попадали, разогнавшись, в перемет и нет-нет да летели с саней в снег, и приходилось выбираться, поднимать нарты, расправлять упряжь собак. Ездовые псы, крепкие, еще не уставшие, тянули хорошо, показывая выучку. Помощник, которого назвали при встрече Удалай, оказался сноровистым и терпеливым. А еще важно, для поездки на собаках по заснеженному побережью — легкий телом. Теперь на свежих собаках по равнине и вниз по склону ехать можно было вдвоем. Мартынов ходил уже плохо. Опухшие от невероятных нагрузок и застуженные ноги с обмороженными и кровоточащими пальцами не позволяли так, как прежде, весело скакать за собаками. Завалившись в нарты, Мартынов упорно смотрел вперед в бескрайнюю снежную пустыню и просчитывал, сколько еще времени у него есть, чтобы добраться. Хватит ли у него сил доставить срочную депешу губернатору Камчатки.

На привале, выпив бодрящего горячего кипятка с настоем трав, что есаулу выдали в Гижигинске, взялся есаул готовить Удалого, как стал называть он своего помощника, к тому, чтобы, если что случится с ним, он доставил письмо-указ, не мешкая. Удалой слушал, но по его черным глазам понять было невозможно, доходит до него смысл сказанного или нет. Мартынов для убедительности доставал свиток, упакованный в плотный кожаный футляр, показывал Удалому и объяснял, что если он сляжет или помрет, чтобы этот футляр он вез в Петропавловск. Для убедительности Мартынов, изображая свое нагрянувшее недомогание, ложился в нарты и закрывал глаза, складывал руки на груди и требовал от Удалого, чтобы тот показал, что он будет делать в таком вот случае. Удалой подходил на зов и с третьей попытки, смеясь по-детски, забирался к Мартынову за пазуху и доставал заветный футляр. Сложнее всего было объяснить малому, куда он должен был привезти этот футляр. С этой целью Мартынов доставал свернутую, изрядно потрепанную в походе карту и указывал рукой направление, в котором они двигались, пытаясь показать Удалому на карте то место, куда они направляются. Паренек весело глазел, что-то бормотал, скаля белые молодые зубы, и, казалось, совершенно не понимал, что от него требует есаул.

Устав от наставлений, Мартынов безнадежно махал рукой, сопровождая жест отчаяния крепким словцом, отставал от Удалого. Тот, кажется, не менее Мартынова устав от учения и наставлений, уже крутился возле собак, проверяя упряжь, очищая лапы животных от намерзшего льда, осматривая их, и смешно щупал носы хвостатых, прикасаясь к ним собственным носом, обхватив и удерживая голову пса руками. Собаки уже знали такую процедуру и, казалось, с удовольствием, только слегка поскуливая, давали себя облапать. Удалой смеялся тихонечко, совсем как-то по-детски, и шел разводить костер, чтобы напоить отваром Мартынова.

На пути был обширный Пенжинский залив, обходить который было делом долгим, тяжким. По льду, перемятому приливами-отливами, было попроще, даже несмотря на торосы, долгими грядами тянувшиеся поперек залива. Задул тягунок — плотный тугой ветер, выметая снежные языки, подгоняя поземку по снежному полю. Скоро небо затянуло тучами, пошел снег, и тягунок, словно выросший, возмужавший несмышленыш, разыгрался в свирепую пургу. Неутомимый Удалой взялся вести нарты и бежал впереди, держа за упряжь вожака. Его легкая фигура в кухлянке, казалось, готова была взлететь под напором встречного ветра, и сам он словно парил над снежной равниной — ног видно не было из-за плотной поземки, и только наклоненная вперед фигура являла небывалую целеустремленность и уверенность. Мартынов подивился мальцу и, качнув головой, подумал, что вот ведь повезло такого заполучить помощника:

молчит, сопит, да дело делает, и спать вместе под шкурой куда на пару уютнее.

Одолев Пенжинский залив по льду, рискуя угодить в трещины, укрытые снегом, вышли на берег камчатский и пошли тундрою вдоль берега моря. Слева от маршрута пролегали невысокие, но труднопроходимые горы, вытянувшиеся вдоль полуострова. Поэтому было намечено двигаться вдоль берега, а уже от крепостицы Тигильской уходить на восток по руслу реки, что вела через горные отроги к перевалу через Камчатский хребет. После перевала островерхий хребет выполаживался в холмистые сопки, укрытые в эту пору обильным снежным покровом.

Первым пунктом на этом пути был прибрежный поселок Палана, заселенная ительменами и коряками. Поселок был невелик и имел корякское название Камэран — Дом вяленой кеты. Русские, что проживали в острожке, внешне уже мало чем отличались от коряков, но служили исправно, и когда Мартынов предъявил приказ губернатора о содействии курьеру Его Императорского Высочества, тут же организовали оленьи нарты и взялись доставить есаула через поселение Воямполка до Тигильской крепостицы.

Участок пути до Тигиля от Паланы Мартынов и Удалой провели без забот. Отоспавшись и откушав горячей сытной еды, ехали в нартах, подремывая. Погода уже была предвесенней, снег искрился, и путь, после тягот последних переходов, казался легким. В Тигиле, отдохнув день, отправились дальше уже на собаках. Олени по реке шли бы не так ладно — скользили на наледи, падали, путая упряжь. Через три дня пути по реке поднялись на перевал, а здесь на спуске повстречали семью ительменов, что направлялись в Нижнекамчатск. Дальше было ехать проще: заночевали у ительменов в чуме, отдохнули, просушились и, подгоняемые неугомонным Мартыновым, кинулись вниз по реке — притоку полноводной реки Кончат — колыбели ительменов. Название это преобразовано русскими в Камчатку — реку, на берегу которой стояла прежняя столица Камчатского края.

После того, как губернатор Камчатки перебрался из Нижнекамчатска в Петропавловск, жизнь здешняя стала угасать, острог обветшал, а тщетные попытки его выправить заканчивались, едва начавшись: сил недоставало, да и воли. Скоро и приход местной православной церкви истощился, а когда батюшка слег и вскоре помер — закрылся, и только тугие камчатские ветры качали порой колокол, и тот, словно брошенная собака, слегка скулил-позванивал — напоминал о себе.

Дорога по полноводной реке привела путников в Мильково, и уже из этого оплота русских на Камчатке двинулись и в самые первые дни марта въехали в Петропавловск.

Город, заваленный снегом, усталый от зимних и особо неистовых февральских вьюг, приходил в себя. Третьего марта, устроившись в заезжем доме при станции, Платон, не откладывая, отправился в резиденцию губернатора Завойко. Дом, в котором жил губернатор и располагался его кабинет, стоял на основной улице города, что пролегала в распадке сопок Никольская и Красная. Улица тянулась по распадку к бухте и причалу за косой Кошка.

Завойко был на месте и вышел при известии, что прибыл курьер из Иркутска. Не поверив сначала, поскольку в зимний период вести из России приходили крайне редко, из-за того что по Охотскому морю зимой суда не плавали. Завойко был удивлен внешнему виду рослого, практически черного ликом офицера. Обветренный, исхудавший, неуверенно стоящий на обмороженных ногах Мартынов, тем не менее, четко доложил о прибытии и вручил губернатору письмо с указом об эвакуации порта. Губернатор взял документ и подивился тому, что бумага находилась в идеальном состоянии, словно ее только что подписал император.

Завойко пристально глянул в лицо есаулу и, сжав губы, покачал головой. В глазах чиновника, много повидавшего на своем поприще, можно было прочесть вопрос: «Что же это за люди такие, эти русские? Чем тяжелее груз у них на плечах, тем лучше они справляются со своей долей!»

Завойко смолчал, ему еще требовалось подумать о том впечатлении, которое он получил, встречая курьера с указом императора. Кратко расспросил о многотрудной дороге и тут же распорядился обеспечить курьера есаула Мартынова всем необходимым с дороги, а сам взялся изучать указ и уже через час собрал совещание ответственных лиц у себя в кабинете.

Мартынов после встречи с губернатором и исполнения приказа мог позволить себе отдохнуть. Тут же была заказана баня с березовым веником. К вечеру уже изрядно разговевший есаул, несколько хмельной, не забыв товарища по походу Удалого, отправился в баню. Удалой, несколько ошалевший от напора Мартынова, долго отказывался идти с ним в «чумной дом», но долго сопротивляться не смог. В обширной, светлой бане, в которой парился сам губернатор Завойко, все было приготовлено, парная дышала зноем. Мартынов быстро скинул изношенное до дыр бельишко и, отметив, что стопкой лежит приготовленное для него новое, с удовольствием подмигнул

Удалому:

— С тобой, брат, то же все решим! Скидывай свои чухонские обноски! Приоденем — залюбуешься! Скоро уж и зиме конец, а там тепло придет — надо бы приодеться по погоде.

Ошарашив товарища идеей переодеть его в одежду, для него крайне непривычную, Мартынов голенький, охая от удовольствия от тепла и такого приятного отдыха после мучительных месяцев бесконечной гонки на грани выживания, отправился из предбанника в парную.

Якут Удалой взялся стаскивать с себя меховую свою изношенную кухлянку. Под кухлянкой хоронилась до поры совсем щупленькая фигурка с черной, нестриженой головой со странными бабьими бугорками грудей. На глазах Удалого застыло выражение тревоги и любопытства. Удалой, зная, что следует идти за есаулом, робко ступая, отправился в парную. Здесь уже клубился пар, было сумрачно и жарко. Мартынов стонал на полке́, нахлестывая бока, ноги и спину, с особым рвением колотя себя по пояснице. Отметив, что Удалой зашел в парную и скромно уселся внизу у порожка, закрывая уши руками с непривычки от жара, взялся требовать, чтобы напарник поднимался к нему на полок. Удалой присел на лавку повыше и умоляюще стал смотреть на есаула, прося пощады. Узкие глаза мальца расширились и стали почти круглыми, а лицо — испуганное, словно в ожидании неминуемой казни.

Мартынов взялся нахлестывать Удалого по узкой тощей спине, тот терпел, сколько мог, но скоро выскочил из парной. Следом вышел и Мартынов. Удалой прикрывался выложенной на лавке простыней и, увидев есаула, взялся натягивать свою кухлянку. Мартынов смотрел на это с недоумением и некоторым даже подозрением и взялся убеждать парнишку, что принесут скоро штаны и рубаху, обещали и шинель солдатскую, а эту изношенную шубейку надо бы выбросить. И только тут разглядел Мартынов и бугрившиеся груди, и худые, но все же бабьи бедра, маленькие женские руки, округлый живот, и не нашел того, что должно быть ниже. И нежданно прозрел Мартынов:

— Ты что, баба, что ли, Удалой?

Оказалось, и верно, что Удалой народился девицею, и только теперь, когда исполнилось ей всего-то шестнадцать, это как-то стало играть роль и быть особо значимым для нее. Девчонка сидела, забравшись в уголок и укрывшись от есаула мокрой простынкой. Вид ее был жалок: сжавшись в комочек, затравленно смотрела она на голого, огромного мужика, которого знала как стойкого, сильного человека, которому практически поклонялась.

Мартынов, ощутив комичность происшествия, поначалу остолбенел, но скоро опомнился и быстренько взялся натягивать на себя штаны, посмеиваясь и поругивая себя.

— Вот голова! Как так — девку не разглядел? А ты чего поперся со мной в баню? Пошел бы после меня, и жару было бы поменьше в парной! У нас бабы завсегда ходят в баню после мужиков.

Удалой, на поверку оказавшийся девкой, то есть — Удалая сидела, слушала Мартынова, до конца не понимая, что он ей так долго выговаривает. Однако спокойный голос есаула, доброжелательность и веселость скоро успокоили девицу, а натянув длинную рубаху, совсем перестала робеть и смотрела на Мартынова озорно, совсем по-мальчишески.

Одевшись, Мартынов ушел на постоялый двор, где ему выделили комнату, а усевшись на кровать, долго вздыхал, ухмылялся и чесал заросший за три месяца затылок. Было чем озадачиться есаулу, и он разглаживал в беспорядке выросшую за поход бороду и размышлял о том, что чудеса случаются чаще всего у нас под боком, а мы порой просто не видим их, занятые самыми простыми, порой примитивными делами.

Картина 5. ЭВАКУАЦИЯ

Наутро Завойко собирал совещание. За Мартыновым прислали порученца и тот, сопровождая есаула, поведал, что взялись уже с вечера распределять дела, и ему поручено заняться пропиливанием льда через залив к открытому морю, поскольку иначе до мая месяца из бухты не выбраться кораблям, и может так выйти, что не успеют исполнить императорский указ.

Мартынов позвал с собой и Удалую. Называть девицу, своего помощника, как-то иначе пока не выходило, но к делу пристроить девчонку все же следовало. У Завойко уже толпились офицеры с кораблей и гражданские лица. Когда Мартынов вошел в приемную губернатора, здесь было шумно, но, отметив приход есаула, все приумолкли и взялись рассматривать героя и подходили, пожимали руку, высказывались скупо о его подвиге.

— Господа, есаул будет руководить работой по прокладке пути для кораблей через лед бухты. Тут несколько километров до открытой воды. Слушайте славного нашего спасителя, ибо без указа Его Императорского Величества нам из порта уходить было нельзя. Полегли бы здесь, а так, еще послужим Отечеству. За дело, братцы!

— Ну, что, други мои? Беремся пропил сделать во льду за неделю? Толщина-то его нынче какова? Кто-то промерял?

— Лед нынче толстый, местами до полуметра, но в основном пару пядей, не более.

— Это добре, не такой уж и толстый нынче ледок. Готовьте пилы для льда на шестах. Соберите обычные пилы по дворам и из них устройте нужные нам. Сказывали, несколько пил на складе есть. Все собирайте, и завтра начнем. Еще пешни приготовьте. В кузне пусть заготовят несколько — лед колоть. Веревки — лед таскать. А еще надобно кормить работников. Вот за это возьмется мой помощник — Удалой. Мы с ним тыщи верст на собаках отмахали. Знакомьтесь!

Перед группой местных охотников, промысловиков и присоединившихся гражданских лиц предстал в своей штопанной-перештопанной кухлянке Удалой. Глаза его сияли словно мытая родниковой водой черешня, виноватая улыбка тронула губы, а смуглое, обожженное ветром и солнцем долгой дороги лицо, тем не менее, проявило смущение, заполыхав ярко.

— Девка, что ли? — спросил, наклонившись и приглядываясь к мелкому Удалому, огромного роста охотник, прибывший из Мильково. Стало заметно, что Удалой очень смущен и Мартынов, дабы не множить домыслы, объявил:

— Да, мужики, — девка! Сам только прознал! Но зато — какая девка! Я с такой готов хоть всю землю, до самой Америки обойти!

— Ну, ладно, коли девка! Рази это плохо! Опять же кормить нас будет, а не в сражение вести. Тока нужны ей помощники.

— Найдем, — ответил Мартынов и уже совсем по-отечески обнял своего проверенного и дорогого товарища, а на поверку подругу.

Дело спорилось. Корабли освободили ото льда, и потянулась лента водной дороги через заснеженный лед бухты в направлении скалы «Три брата» и к выходу в открытый океан. На середине пути оказалось, что лед совсем плох, и с одной стороны работы стало как бы меньше, но пришлось вдоль берега обходить обширную полынью и пилить лед уже у самого «горлышка» бухты.

А в городе кипела работа по разборке домов, погрузке всего ценного на корабли. Десятки людей, сменяя другу друга, работали весь световой день и даже ночью при свете фонарей и факелов. К окончанию марта основная работа завершилась. Согласно приказу, портовые сооружения и дома были разобраны, наиболее ценные части в виде окон, дверей были спрятаны, местному коренному населению было приказано уйти на север, чтобы схорониться на то время, пока здесь будут хозяйничать пришлые захватчики.

В первых числах апреля из порта готовы были выйти корабли. Решено было отправить сначала «Иртыш» и «Байкал» — тяжелогруженые тихоходные транспорты. Следом через два дня готовились отправить фрегат «Аврора», транспорт «Двина», бот и корвет «Оливуца». Последним уходил из порта фрегат «Аврора» под командованием Изыльметьева, на котором отправлялся и губернатор Завойко.

Мартынов и группа мужчин из местных, несколько казаков гарнизона оставались на полуострове, чтобы присматривать за оставленной на время территорией. Накануне Мартынов и Удалой решали, как быть.

— Давай, брат Удалой, отправляйся и ты со всеми. Губернатор обещал за тобой присмотреть, отдать учиться в пансионат. Ты еще совсем мала, чтобы тут сгинуть вместе с нами, — выговаривал своему помощнику есаул, путаясь — обращаясь к нему то как к парню, то как к девице. Было заметно, что смущен есаул, нежности ему неведомы, попытки сказать что-то душевно заканчивались неудачно. Удалая противилась, а понимая, что хочет отправить есаул ее с полуострова, сидела молча, опустив черную с косичками голову и была ни жива ни мертва. — Нет, брат-девица, — нашел-таки форму обращения есаул к Удалой, — надобно ехать. Я уже и с губернатором все обговорил.

Утром шестого апреля на причале собрались те, кто должен был отплывать из бухты, и те, кто оставался. Собрались все, не было только Удалого. Мартынов обыскался девицы, но скоро понял — дело это бесполезное: брат-девица схоронилась, и найти ее не удастся, до тех пор пока судно не уйдет из порта.

— Так где ж твоя подопечная? — прощаясь с есаулом, спросил с улыбкой Завойко, вспомнив о просьбе Мартынова.

— Нету, ваше высокоблагородие! Подевалась девица — думаю, не сыскать ее, пока корабль не уйдет. Хорониться она умеет и вообще смышленая и шустрая, как белка, но упрямая, видать.

— А что, брат Мартынов, — пошутил капитан «Авроры» Иван Изыльметьев, ока-

завшийся рядом, — будет тебе хорошая жена. Ты же мужик-то неженатый?

— Да как бы да, — улыбнулся Мартынов, вспомнив жену трактирщика, ее горячее дыхание и запах горячего тела, от которого кружилась когда-то голова.

Корабли по проходу под напором морского тяжелого ветра тянули лошадьми, по заказу Мартынова кованными в кузне добротными подковами. Устроившись с двух сторон от пропиленного канала, кони в подготовленной упряжи с видимой легкостью вели корабли, и было это удивительно и крайне необычно. По этому поводу много шутили, пока с одной стороны не проглядели. Лед дал слабину, когда вели уже последний корабль — фрегат «Аврора», и кони ухнули под лед. Спасти их не было возможности. Коневоды, что сопровождали и управляли конной тягой, едва успели отбежать от образовавшегося пролома, а кони бились в панике, кроша попадающийся под копыта лед, и когда один из них не выдержал ада ледяной воды, ушел на дно, за ним следом в одной связке ушли под воду и остальные.

Местом встречи кораблей была назначена бухта Де-Кастри на побережье Татарского пролива в ста милях южнее устья Амура. Как стало известно позже, русские моряки сумели проскочить буквально под носом у основательно вооруженной вражеской эскадры с большим десантом на борту. Это означало, что все усилия и тот невероятный темп движения есаула по зимней дороге на расстояние восемь тысяч верст были не просто необходимы, а спасительны.

Через несколько дней после ухода из бухты русских кораблей в бухту ввалилась решительно англо-французская эскадра из четырнадцати кораблей под предводительством пятидесятичетырехлетнего адмирала Чарльза Эллиота. Мистер Эллиот был известен своим участием в Опиумной войне с Китаем и был, безусловно, опытен в делах войны на океанских просторах. Под его началом были три современных фрегата, линейный тяжеловооруженный корабль, паровой быстроходный корвет «Хорнет» и бриг «Биттерн».

Войдя в бухту, флагман бросил якорь в удалении от Никольской сопки. Вокруг собрались другие суда, на палубах которых суетились матросы, задвигались солдаты десанта. Осмотр порта обескуражил Чарльза Эллиота и его помощников: порта на месте не оказалось.

— Что за чертовщина? Где порт, строения города? — недоуменно спросил адмирал Эллиот и приказал готовить паровой корвет для обследования побережья близ возвышающейся Никольской сопки.

Корвет взял на борт команду десантников, офицеров сопровождения и направился прямиком к входу в «закуток», где был виден причал. Было видно, что берег пустынный, на нем виднелись только остатки строений, и совсем не было видно людей. Опасаясь подвоха и нападения из засады, корвет стал обследовать берег порта, прошел вдоль отвесной скалы Никольской сопки, встал на якорь напротив косы, отделяющей от бухты Култушное озеро.

Шлюпка, спущенная на воду, осторожно шла по глади бухты, раздвигая еще не растаявшие ломкие, голубые на просвет редкие льдины. В одном из мест пологого пляжа у берега громоздились собранные волнами льдины. Тут же рядом устроились сивучи, подслеповато вглядываясь в пришельцев. Над всем этим морским, казалось, мирным пейзажем носились чайки, прибывшие накануне с юга.

Отряд со шлюпки вышел на берег, настороженно оглядываясь, выставив ружья с примкнутыми штыками. На берегу солдаты заняли оборону, присев на одно колено и зорко оглядывая побережье: берег озера, дальнюю за ним кручу сопки с молодой зеленью. Оглядевшись, по команде невысокого с пышными усами офицера двинулись вдоль берега по дороге, что устроена была на косе между Култушным озером и берегом бухты. Впереди и справа по направлению движения солдат видна была обрывистая в сторону моря Никольская сопка. Когда отряд подошел к тому месту, где начинался город и порт, было отмечено, что от строений мало что осталось, а кругом было пустынно и только собаки, оставленные жителями, сбившись в стаи, вереницей ушли по тропе, ведущей вверх по крутой Красной сопке среди набирающего рост травостоя.

Десантники прошлись по дороге, которая когда-то была улицей, оглядывая порушенные дома, оставшиеся неказистые строения из досок, кучи мусора, переступая через брошенные вещи, старую изношенную одежду. Вдруг рядом ударила пуля, высекая искру из каменной осыпи, и уже через мгновение долетел и звук выстрела. Солдаты загалдели, затравленно оглядываясь, и, пригнувшись, стали прятаться за оставшимися строениями и стволами растущих у дороги берез.

Стреляли с вершины сопки из-за деревьев, и стрелка видно не было, только сизый дым, едва заметный на фоне неба, указывал на место, где схоронился неведомый стрелок. Отсидевшись, солдаты десанта двинулись, прячась за укрытиями, назад к оставленной шлюпке и скоро покинули негостеприимный берег.

Британский командующий адмирал Эллиот, обозленный неудачей, собрал на флагмане совещание. Было принято решение преследовать русские корабли, покинувшие бухту.

— Вероятно, ушли совсем недавно. Бухта была укрыта льдом, и в некоторых местах видны следы пропила во льду. Да, сноровки и сообразительности им не занимать! — распалившись, завершил совет адмирал.

В это время Мартынов и его неотлучная помощница Удалая сидели на самой вершине сопки в окружении нескольких стрелков из местных охотников и спорили о том, следовало ли пострелять всех высадившихся на берег или все же достаточно было им указать, что спокойной жизни им здесь не будет.

— Нас тут горстка. Начнем с ними перестреливаться — курам на смех и все без толку. А так, указали, что, если останутся в порту, на берег высадятся, спокойно им жить здесь не дадут. Пусть убираются, — наставлял подчиненных есаул Мартынов.

Наутро, отметив, что корабли англичан и французов выстроились в кильватерный строй и уходят из бухты, есаул Мартынов с товарищами шумно праздновали успех и стали с надеждой ждать возвращения русских кораблей в родную гавань.

Англо-французская эскадра настигла русские корабли у залива Де-Кастри, обогнув следом за русскими Сахалин с юга. Здесь у русских вышла заминка: пришлось ожидать вскрытия Амурского лимана ото льда. Штормовое весеннее море потрепало эскадру. У фрегата «Аврора» волнами выломало головку руля, и понадобилось завести по бортам дополнительные штуртросы, как вожжи. Людям тоже пришлось несладко. Однако переход обошелся без человеческих жертв.

Три вражеских быстроходных корабля под предводительством адмирала Чарльза Эллиота, французский фрегат «Сибилл» и два английских, корвет «Хорнет» и бриг «Биттерн», появились у входа в Де-Кастри через несколько дней, где обнаружили русскую эскадру. По количеству пушек русские имели некоторое превосходство, однако у противника был винтовой корвет, и преимущества в маневре у него были бесспорны. Русские решили драться насмерть. Английский винтовой корвет «Хорнет» направился к русской эскадре — с ним в бой вступил наш корвет «Оливуца». Корабли обменялись артиллерийскими залпами, и корабли англичан и французов отступили.

Адмирал Эллиот отправил «Хорнет» за подкреплением, а сам, с фрегатом и бригом, остался в Татарском проливе для наблюдения за русскими кораблями, рассчитывая не выпускать их из пролива и добить после подхода остальных кораблей эскадры.

Здесь следует отметить, что англичане и французы полагали, что Татарский пролив является заливом и доступ к устью Амура возможен только с севера, а пройти большим кораблям между Сахалином и континентальным берегом невозможно. Поэтому русским кораблям, для того чтобы эвакуироваться в Амурский лиман, волей-неволей придется идти к югу, чтобы обогнуть Сахалин. Вот этой-то возможности адмирал решил русским не давать.

Между тем, через неделю ожидания после первой перестрелки на русской эскадре получили сообщение, что Амурский лиман освободился ото льда. На следующий день, пользуясь густым туманом, русские корабли покинули залив Де-Кастри и ушли на север. Сделано это было крайне вовремя: через трое суток после их ухода англичане, получив подкрепление, готовы были вступить в бой. Тщательно проработав план, корабли, ведомые Эллиотом, направились в залив для решительной схватки, но русских кораблей в Де-Кастри уже не было.

Командующий эскадрой Эллиот вновь был весьма удивлен и даже обескуражен и долго сидел в своей каюте с бутылкой виски, обдумывая сложившуюся ситуацию. Куда пропали русские корабли? Неужели в тумане он и его моряки прозевали русских? А русские снова прошмыгнули мимо, уходя на юг. Это казалось невозможным.

Вдогонку на юг ушел быстроходный корвет, но вернулся через три дня — русских найти не удалось.

Между тем, русская эскадра, ломая остатки льда, успешно вошла в Амурский лиман. Из лимана корабли вошли в Амур, уже свободный ото льда, и встали на якоря у левого берега реки у поста Николаевский, основанного только пять лет назад по распоряжению губернатора Муравьева. Закипела работа, и через два месяца на берегу могучего Амура был построен город-порт Николаевск, начало которому дал Петропавловск.

Постскриптум

Ныне на месте артиллерийской батареи Озерной, не павшей под ударами врага, на берегу Култышного озера высится памятник Василию Завойко, установленный в 2014 году. Смотрит зорко адмирал, губернатор Камчатки, в акваторию Авачинской бухты, а рядом с ним пушка непобежденной обороны порта и города.

Сергей КРИВОРОТОВ

ВНЕ ПРОТЯЖЕНИЯ

Из практики реаниматора

(Журнальный вариант)

Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
Велимир Хлебников

Вместо предисловия

Слишком много домыслов появляется о времени, в котором жил и действовал герой «Вне протяжения», простой советский врач-полуинтеллигент Станислав Веткин. Многое просто замалчивается или искажается о первых годах «перестройки», гласности и нового мышления, как и о том, что им предшествовало. Многие теперешние молодые не представляют, насколько полнее духовно жили люди в те годы в нашей стране, несмотря на «железный занавес», зажим правдивой информации о происходящем ежедневно, дефицит всего и вся. Многие так жить больше не смогли и не захотели, и это стало их собственным выбором. Другой вопрос, кто их одурачил и к чему такое привело.

А сам Стас Веткин просто жил и работал в то самое время кампании гротескной борьбы с алкоголизмом и трескучего вранья с высоких трибун. Всё так и происходило. Выдуманное, но вполне возможное средство для лечения умирающих клеток мозга, необычные последствия применения не прошедшего полной проверки медицинского препарата нисколько не снижают реальности происходящего.

В описании научного открытия и судьбы профессора Павловского в романе использована реальная трагедия Феликса Белоярцева, получившего степень доктора медицинских наук в тридцать с небольшим лет. Изобретённая им «голубая кровь», плазмозаменитель на основе перфторуглеродов, ещё на стадии клинических испытаний спасла жизнь не одному десятку наших солдат в Афганистане, обречённых из-за массивной кровопотери. Да и не только им. Несмотря на актуальность проблемы и положительные результаты, дальнейшие испытания перфторана с 1985 года были полностью запрещены. Самого изобретателя обвинили в различных нарушениях, в том числе в воровстве и продаже спирта из руководимого им института! В том же году сам затравленный потенциальный номинант на Нобелевскую премию по медицине скончался при якобы до сих пор не выясненных до конца обстоятельствах. По официальной версии, покончил самоубийством (самоповешение). Но многие считали и считают, что его просто профессионально устранили.

Незадолго до его кончины автор лично встречался и беседовал с Феликсом Фёдоровичем. Энергичный, полный научных идей, амбициозный и успешный доктор наук нисколько не производил впечатления будущего суицидника. После его смерти производство и разработку препарата в СССР полностью прекратили. Через несколько лет аналогичные препараты под запатентованными другими наименованиями начали выпускать в Швеции и Японии. В СССР, затем в России их приобретали и приобретают оттуда уже по баснословным ценам, а собственное ограниченное производство стало возможным только спустя много лет...

1. «ЖИЗНИ СЧЁТ НАЧНЁТСЯ С ЭТОЙ НОЧИ»[1]

— Всё! — устало выдохнул Зиновий и отключил блок энцефалографа. Возражений не было. Односложное «всё!» ни для кого из присутствующих не требовало дополнительных пояснений.

Четыре пары глаз не отрывались от едва дрогнувшего напоследок теплового пера энцефалографа, с фатальным упорством чертившего одну прямую линию. Ритмично мигала зелёная лампочка кардиомонитора, вязкую тишину ремзала пробивали только монотонные всхлипы-вздохи и звонко-металлические хлопки клапанов аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Станислав Веткин поймал вопросительный взгляд медсестры Аллочки, состроил кислую гримасу, сопроводив удручённым пожатием плеч: впустую старались, как видишь... Он снова посмотрел на пятого в помещении, распластанного перед ними, запоздало озвучил одними губами:

— Баста!..

На функциональной кровати мужчина средних лет с присосавшимися змейками проводов больше не подавал признаков жизни. Глаза закрыты, лицо без единой кровинки, словно гипсовая маска, отражение иного мира. Грудь обманчиво размеренно вздымалась, но то лишь механизм дышал за больного через вставленную в рот пластиковую трубку интубации. Только само сердце назло всему работало чётко, как ему и положено по жизни, заставляя световой зайчик на экране прыгать через невидимый барьер смерти.

Персонал возле койки, два реаниматора, анестезиолог и медсестра уже не воспринимали его живым человеком. Клетки коры мозга пациента необратимо погибли, и перед ними находился уже некий биологический субстрат, телесная оболочка, лишённая наполнявшей её совсем недавно личности, что на языке реаниматоров называется просто «аппаратом сердце-лёгкие».

— Что ж, случай как раз подходящий... — внезапно озвучил Зиновий Александрович и без него засевшее в голове Стаса. Заведующий отделением, точнее, исполняющий его обязанности, снял марлевую маску, вытер пот со лба под накрахмаленной шапочкой и демократично предложил, уверенный наперёд в общем ответе: — Так что? Звоним? Все согласны?

«Ну, Зина-Зинуля, зачем спрашивать? И так всё ясно! Зачем время терять?» — ничего не произнося вслух, поморщился Станислав.

Из Института экспериментальной реаниматологии просили о каждом подобном факте сообщать в любое время суток. После почти часовой борьбы за жизнь тело удалось завести, заставить биться сердце, дышать лёгкие, но клетки мозга успели безнадёжно погибнуть — произошла декортикация, никаких шансов на возвращение к прежней жизни. В обиходе о подобных пациентах говорят: «овощ», «растение».

Зиновий вернулся через несколько минут.

— Сейчас подъедет Павловский из центра регенерации, аппарат не отключать. Аллочка, как давление?

Сестра прижала к локтевому сгибу безразличного ко всему больного пьезоэлемент, накачала манжетку и бодро сообщила высветившиеся цифры:

— Сто двадцать на семьдесят.

— Так. Можно передохнуть, только установи на сатурацию кислорода и давление через каждые пятнадцать минут. Софья Андреевна, сообразите, пожалуйста, чайку.

Женщина-анестезиолог привычно кивнула и бесшумно удалилась из реанимационной. Кто же лучше её сможет сейчас это сделать?

— Зиновий Александрович, там ждёт его жена...

Зиновий двинулся было за Софьей Андреевной, но, вспомнив что-то, чертыхнулся вполголоса и остановился.

— Аллочка, будь другом, передай, пусть подождёт. Подробностей не надо, сообщи только — состояние крайне тяжёлое. И чтоб не ушла, пока не приедет профессор, может понадобиться её письменное согласие. Ну, сама знаешь, что сказать...

Исполнительная медсестра посмотрела на заведующего преданными глазами: эх, если бы не работа...

— Хорошо, Зиновий Александрович, сейчас! Уже иду, лечу-лечу-у-у...

Глубокая ночь. Все нормальные люди давно спят перед новым рабочим днём на просторах одной шестой части суши во всех часовых поясах, даже на Камчатке и Дальнем Востоке, самых близких к наступлению утра. Только где-то неугомонно трудятся ночные бригады на заводах непрерывного цикла, стерегут небесные границы дежур-

[1] Иосиф Бродский, «Волхвы пришли. Младенец крепко спал».

ные смены ПВО, а морские глубины бороздят грозные рыбины атомных подлодок. Взлетают и садятся в сигнальных огнях самолёты на военных аэродромах и в гражданских аэропортах. Нарушая покой опустевших проспектов, спешат к неведомым целям частники и такси с зелёными глазками, светящимися и погасшими. Одинокие запоздалые пешеходы возвращаются откуда-то по замершим улицам и площадям громадного города, неся в себе воспоминания недавнего и заботы о будущем. Вялотекущая ночная жизнь огромного мегаполиса, погружённого в царство сна, нереального иллюзорного мира, исчезающего с рассветом в водовороте движения... Но сейчас глубокая ночь царит повсюду, она одна безраздельно властвует над городом, не деля ни с кем ни одной его пяди.

Только здесь, в ординаторской полуподвального этажа реанимации, не спят трое мужчин и женщина в белых халатах. Кто-то заваривает чай, кто-то озабоченно перебирает бумажные ленты и подшитые листы — детальное отражение последних дней и часов мужчины с только что умершим мозгом. Один из присутствующих — доктор медицинских наук, профессор Павловский. Он закончил осмотр безнадёжного по всем обычным показателям пациента и теперь, сидя за столом, сосредоточенно через стёкла очков с тонкой позолоченной оправой сверяет данные. Ленты кардиограмм вьются по столу перед ним змеиными кольцами, с которыми он расправляется, будто современный витязь от медицины. Впрочем, вид у него вовсе не богатырский, худощавый подвижный мужчина с поредевшей, начинающей седеть шевелюрой. Остальные со скрытым нетерпением ждут вердикт светила науки, борются каждый по отдельности с настойчиво подкрадывающейся дремотой.

Бодрствуют не только эти четверо, но и вся ночная смена за стенами комнаты, каждый на своём месте. Дежурство не экстренное, но такие случаи для них не впервой, им не привыкать. В тревожном ожидании ещё и молодая светловолосая женщина с усталым измученным лицом в чёрном кожаном пальто, одна в гулком вестибюле за дверью с кодовым запором. Её застывшие глаза устремлены на потрескавшуюся, с коричневым узором плитку пола, длинные наманикюренные пальцы живут отдельной жизнью, бесцельно и безостановочно теребят ручку дорогой импортной сумочки строго в тон одежды.

Это жена того пациента, почти вдова, или как ещё можно точнее определить её теперешний статус? И только тот, кто оставался по закону её мужем, самостоятельно живущим полноправным гражданином сорока одного года, не ждёт уже ничего, ему нечем ждать, ему всё равно, и теперь ни до кого нет дела. Но она ещё не знает об этом, только чувствует что-то неладное, пугающая неизвестность физически гнетёт её.

Громкий щелчок заставил посетительницу вздрогнуть. Приоткрылась дверь, и в вестибюль вышел молодой врач в белом халате. Коротко стриженные волосы спрятаны под шапочку, из бокового кармана выглядывала чёрная трубка фонендоскопа, прищуренные глаза захватили в прицел одинокую посетительницу.

Женщина уже видела этого доктора, в последние дни он грузил её ненужными подробностями о состоянии мужа, уклоняясь от обещаний и ничем не обнадёживая. И теперь без труда поняла — наконец-то у него есть сообщить нечто важное для неё. Всё похолодело внутри, она ощутила себя совершенно беспомощной и бесправной представительницей слабого пола, едва ли не прежней, давно оставшейся в прошлом маленькой девочкой, от которой абсолютно ничего не зависело. Но нашла силы подняться с жёсткой деревянной скамьи, непослушными ногами сделала шаг навстречу.

— Что? Что с ним? — нетерпеливо потребовала она, её полная нижняя губа затряслась, серые глаза подёрнулись готовыми сорваться слезами.

— Успокойтесь, прошу вас, — пришедший вестник осторожно коснулся чёрной кожи, очертившей плечо женщины, словно таким внушением подготавливал к дальнейшему. Но смотрел при этом мимо в окно у входа на плотный полуночный мрак снаружи, словно прикидывал, как лучше изложить суть.

— Что с ним? — повторила дрогнувшим голосом блондинка, правильные черты её лица казались неестественно бледными под неоновыми лампами потолка, даже золотистые днём льняные волосы приобрели от них оттенок седины.

— Идёмте со мной, — неожиданно приказал реаниматор и, не дожидаясь согласия, повернулся назад к двери, из которой явился.

Женщина торопливо засеменила за ним, успев посмотреть, как пальцы врача набирают привычную комбинацию на кнопках замка. Снова щелчок, дверь отворилась, мужчина пропустил даму вперёд себя.

Уже облачившись в припасённый белый халат, она оказалась у неподвижно распростёртого тела. Загадочно мигал индикатор пульса, монотонно и натужно без остановок всхлипывал после каждого хлопка непонятный агрегат у изголовья, тянулись по дисплею от высвеченных цифр однообразные кривые дыхания и сердечных сокращений. Но в заострившихся восковых чертах родного лица не замечалось ни малейшего

намёка жизни.

— Он без сознания, да?

Звуки работавшей установки, деловитое мерцание экрана обещали ей надежду, они явно противостояли тишине и смерти, притаившейся в помещении. Посетительница сделала шаг, другой, намереваясь дотронуться до тела лежавшего, но при этом сама внезапно покачнулась. Твёрдые пальцы тут же подхватили её под локоть и потянули назад, прочь, мимо дежурной в зелёной форме за пультом к выходу из палаты.

Профессор поджидал их, нетерпеливо постукивая красочной японской авторучкой по толстому оргстеклу на письменном столе. Змеи кардиограмм уползли в стороны, бумаги сдвинуты, решение принято. Рассказывали, профессор успел поработать по двухлетнему контракту в госпитале Мозамбика, после чего обзавёлся новенькой «Волгой», стереоустановкой «Кенвуд» и массой других вещей, недоступных простым советским врачам. Огромная плоская бляха резонатора фонендоскопа блестела на непривычно длинных и толстых латексных трубках, свисавших из нагрудного кармана халата, по его же словам, ещё одна память из Восточной Африки. Женщина присела на край предложенного кресла. Стас прикрыл дверь в коридор, сам устроился неподалёку.

Зиновий Александрович с хозяйским видом развалился на диване, нога на ногу, спичка небрежно закушена в углу рта. Софья Андреевна сосредоточилась на подклейке и заполнении бумажных простыней реанимационных листов. Посетительница рассеяно скользнула по присутствующим взглядом и, безошибочно определив главного, обратилась к Павловскому с единственно важным для неё вопросом:

— Что с ним? Скажите, я не понимаю...

Профессор отложил ручку, снял очки, с сомнением побарабанил пальцами по прикрытому оргстеклом календарю. Поредевшие с проблесками седины тёмные волосы зализаны назад, на скуластом лице с ямочкой на подбородке выражение крайней озабоченности.

— У вашего мужа, м-м-м... внезапно возникло состояние клинической смерти... Врачи сделали всё, от них зависящее...

— Но он жив, жив! Я же сама видела... — торопливо перебила женщина, оглядываясь на остальных в поисках поддержки. Слова её прозвучали не то мольбой, не то заклинанием.

— Станислав, э-э-э... объясните, пожалуйста, вы, что ли... — Павловский неожиданно смешался, с досадой вернул очки на нос, не привык он к подобным встряскам, да и не входило такое в его обязанности, без него тут есть кому отдуваться.

— Видите ли... — Стас прокашлялся из-за внезапной сухости в горле.

Сколько раз ему приходилось уведомлять родственников о смерти близких, но к такому невозможно привыкнуть, даже если обладать железными нервами, которых он у себя никогда не находил. Имелись обычные, с миелиновыми волокнами, которые день ото дня треплют в мочало все кому не лень — и люди, и подлые обстоятельства, пользуясь недостаточным запасом у него личного пофигизма. К тому же сейчас он от души жалел симпатичную блондинку, едва не ставшую недавно вдовой, впрочем, пока не ставшую... Похоже, искренне привязанную к мужу, да и клинический случай оказался далеко не рядовым... Но кто ж знает, как дальше пойдёт?!

— Видите ли... вы же не медик, да? — попытался потянуть время Станислав, заведомо зная её ответ, прикидывая, как бы проще и доходчивее всё преподать. Одно дело, когда пациент бесповоротно раз и навсегда умирает, конечно, совершенно ничего хорошего в том нет, но, по крайней мере, налицо предельная определённость, а тут... Жена реанимированного с досадой встряхнула причёской: сколько же они будут тянуть эту пытку? — Поверьте, мы пытались спасти, но клетки его мозга необратимо погибли... Понимаете, он дышит, сердце бьётся, но фактически, как личности, его больше нет... Сознание полностью отсутствует. Он даже не спит, хотя внешне очень похоже, но это вовсе не сон...

Та, которой Стас пытался объяснить, теперь открыто враждебно смотрела на него.

— Он жив и не жив одновременно, лишь тело его живёт, пока работает аппарат искусственной вентиляции...

— Не понимаю... — жалобно призналась женщина, подтверждая свою принадлежность к слабому полу, большая капля безжалостно размыла тушь с ресницы, скатилась по щеке, оставляя грязную дорожку. Она не почувствовала этого, тревожно ожидая пояснений, даже дыхание задержала.

— Знаете, его мозг умер, увы... Но мы вас позвали сюда не для того, чтобы сообщить о смерти. Пока ещё не всё потеряно, — заторопился Станислав, боясь, что она вот-вот расплачется, и он не успеет донести главное. — Ещё можно попытаться использовать новую методику регенерации отмерших клеток, чтобы сделать их снова жизнеспособными... Вы меня понимаете?

— Так делайте же хоть что-нибудь, чего вы сидите в таком случае? Зачем столько говорить?!

— Для этого требуется ваше разрешение, письменное согласие. В том-то и дело, подобное лечение только начали применять к... людям... — Станислав запнулся и посмотрел на Павловского, ища одобрения и поддержки, вроде изложил всё правильно, как надо по сути, ничего лишнего. — Поймите, осталась только такая возможность. Он может быть возвращён к жизни, мы пригласили специалиста, доктора медицинских наук из исследовательского центра Института экспериментальной реани...

— Если другого выхода нет, я согласна, — торопливо оборвала его женщина, явно не вникая в смысл всего сказанного. Серые глаза на застывшем лице, обращённые теперь только к профессору, смотрели мимо него в пустоту.

— Мой долг предупредить вас, — зашевелился на стуле Павловский, поправляя оправу очков, вовсе в том не нуждавшихся. — Во-первых, стопроцентной гарантии успеха нет... И, во-вторых, даже если новое лечение окажется эффективным, то, скорее всего, это будет совершенно иной человек, психологически другая, незнакомая и нам, и вам личность, вполне вероятно, чужая для вас, имеющая со своим предшественником лишь общую телесную оболочку...

— Если не лечить так, то надеяться совсем не на что? — неожиданно спокойно уточнила для себя женщина.

— Несомненно. Это наш единственный шанс. От вас зависит: жить ли ему, пусть и в ином качестве, но жить ли вообще дальше. Как нам известно, кроме вас и маленькой дочки, у него нет больше близких...

— Хорошо. Я же сказала, что согласна, давайте, где подписать?..

— Ну, вот и ладненько, я не сомневался в вашем благоразумии, — нервно потёр ладони Павловский. — Станислав Дмитриевич, немедленно начинайте инфузию нейробиона. Я пока распишу схему введения витагена на завтра. Остальное — как обычно. Вспомогательные из того, что есть, ну, там рибоксин, милдронат, смотрите сами. Думаю, денька через два пациент обойдётся без аппарата, тогда будем решать о переводе в наш центр.

— Можно посмотреть на него ещё, хоть краешком глаза? — тихо попросила женщина Станислава, когда с формальностями покончили.

— Только на две минуты, — уступил он, рассеянно подклеивая бланк расписки в историю болезни. Кто знает, может быть, это в последний раз для неё. Ведь и при самом удачном результате ей ещё нескоро позволят навестить мужа, тем более, если переведут в центр, там правила гораздо строже... Да и не похожа она на истеричку, могущую закатить сцену прямо у постели находящегося при смерти...

Стасу удалось убедить её не оставаться до утра в вестибюле и вызвать такси, силы ей понадобятся потом.

— У меня записаны ваши телефоны. Если случится что-то непредвиденное или вы срочно понадобитесь, мы обязательно тут же сообщим, — привычно заверил он напоследок, провожая посетительницу к выходу.

Она приняла его участие должным, но, перед тем как скрыться за наружной дверью, серые глаза одарили его таким пронзительным взглядом, что он долго не мог его позабыть.

2. «ХЛОПАЛО КРЫЛЬЯМИ ЧЁРНОЕ ПЛЕМЯ ВОРОН»[1]

Вороны мерзко орали в сплетениях голых ветвей больничного парка, занятые внутренними разборками...

Как-то мальчишкой однажды морозным зимним вечером он оказался свидетелем войны с вороньём. Прямо под плотно облепленные птицами деревья въехал бортовой грузовик. Яркий луч ударил вверх из прожектора в кузове, разом высветил множество чёрных комков, застывших в безлиственных вершинах тополей парка. Загремели прицельные выстрелы, сбитые тушки одна за другой камнепадом посыпались вниз. Ослеплённые жертвы даже не пытались взлететь, а выстрелы раскатисто грохотали снова и снова...

Позднее он слышал, будто ворон успешно пытались разгонять воспроизведением записей их собственных криков тревоги и более пронзительных ястребиных — издаваемых самыми грозными врагами чёрного племени. Только всё это со временем заглохло. Вороны повсюду торжествовали свою победу нескончаемым ором над головами случайных прохожих.

Хмурое утреннее небо не сулило особых радостей, но дежурство сдано, обошлось без «трупаков», впереди ждал полностью свободный день, что само по себе неплохо...

[1] Виктор Цой, «Легенда».

Стас едва не засвистел вслух рэгейчик «Дорога к морю» Юрия Антонова и самой популярной московской группы середины прошлого десятилетия «Аракс». Группу уже несколько лет, как разогнали указом Министерства культуры, но слова песни очень даже помнились:

Мне, оставив осень, ты улетела в лето.
Отчего внезапно мир изменился мой.
Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно,
Я сажусь в машину, еду к морю за тобой.[1]

Только свистеть так и не стал, вспомнив ещё одно не раз слышанное суеверие — посвистишь, денег точно не будет! Поговаривали, будто смотрящие за нашей культурой относили ритм рэгги к ритуальной музыке растаманов-наркоманов и последователей религии вуду, вводящей слушателей в транс и потому гораздо более вредной, чем все битлы и роллинги вместе взятые. Потому особенно долго и упорно старались ограждать советскую молодёжь от этой тлетворной западной напасти.

Уже ближе к воротам на фоне белёной стенки высокого штакетника контрастно выделилось кожаное пальто, чёрная широкополая шляпа поверх светлых волос, фирменные сапожки на высоком каблуке. Вспомнилось: её зовут Инна, Инна Владимировна, Веткин заторопился навстречу узнаваемому женскому силуэту. Сегодня у него наконец-то имелись ободряющие известия для жены проблемного пациента, и потому он не ощущал прежнего чувства вины перед нею.

— Здравствуйте, Инна Владимировна.

— Здравствуйте, доктор. Что-нибудь новое есть? Плохи наши дела, да? — она остановилась, настойчиво и тревожно заглядывая в глаза.

— Да нет, совсем напротив, дело сдвинулось к лучшему, знаете ли... Я звонил вам, но телефон не отвечал. Возможно, уже сегодня Бориса решат переводить в регенерационный центр. Теперь транспортировка почти безопасна...

— Почти? То есть какая-то угроза всё-таки имеется?

— Ну, это просто так говорят. Конечно, и сейчас вероятность небольшого риска остаётся, но гораздо меньшая, чем раньше.

— Меня так и не пропустят к нему?

— Нет, пока нельзя. Поймите, вы ничем не сможете помочь...

— А почему, в таком случае, его не оставят пока у вас?

Они медленно вышли из ворот под нескончаемое карканье воронья, заходящегося в непонятной беспричинной злобе. Теперь, когда птичий гам остался позади, как и ночное дежурство, Стас поймал себя на том, что испытывает необъяснимое облегчение.

— У нас всего лишь обычное реанимационное отделение, увы... А там для таких пациентов имеется специальный регенерационный блок, даже собственная барокамера для оксигенации. Возможности нашей клиники полностью использованы, теперь требуется специальное лечение и наблюдение, для которых у нас нет опыта, да и штаты на то не рассчитаны. В центре же к услугам вашего мужа будет лечение электромагнитными полями, специальный массаж, иглоукалывание и всё такое прочее...

— Странно, ведь в самом тяжёлом периоде ваши условия для него вполне подходили...

— Да, но теперь подключатся психологи, разные методисты по реабилитации, необходимая аппаратура пока только там имеется. Клетки мозга понемногу восстанавливаются, но это, извините за шаблон, чистый лист бумаги, который надо заполнить, понимаете? Его ещё предстоит сделать личностью.

— Почему же меня не пускают к нему? Разве, хотя бы юридически, я не имею такого права? Я хочу взять отпуск, дежурить около него. По-моему, внимание, участие сейчас нужнее всего, правда? Может быть, память вернётся к нему, а? Как вы думаете? А то в этом чистом листе бумаги, как вы сказали, может не оказаться места для меня, да? Может такое случиться? Как вы думаете?

— Наверное, вам разрешат посещения в регенерационном центре, — неуверенно предположил Стас. Ничегошеньки она ещё не поняла, даже того, что теперь лично от него дальнейшее совершенно не зависит. Сколько можно ей втолковывать? Да и не его теперь это обязанность... — Вообще-то я точно не знаю их порядков. Поговорите с самим профессором Павловским, он и дальше будет курировать вашего мужа, методика лечения и реабилитации его собственная, уникальная. Он сам её разработал. Пока предсказывать вам что-то на будущее никто не возьмётся, всё равно как на кофейной гуще гадать... Давайте будем оптимистами, теперь для этого больше оснований.

— Что ж, спасибо, доктор, за доброе слово, и вообще за всё, я ваша должница, —

[1] Л.Фадеев, «Дорога к морю».

она протянула узкую ладонь в лайковой перчатке, и Станислав, ничего больше не говоря, осторожно пожал её пальцы сквозь гладкую тонкую кожу.

Он смотрел, как красиво она идёт к подземному переходу, стройная и одинокая, как подхваченная потоком входящих исчезает в распахнутых стеклянных дверях. Его внезапно переполнило чувство избавления от давившей все эти дни ноши. Сознание неплохо проделанной работы и собственной правоты даже слегка удивило: ведь в данном случае больной лишился коры мозга. Несмотря на не вполне удачную реанимацию, он сделал всё возможное, чтобы пациент остался жив, но теперь дальнейшее не в его руках.

Стас зябко поднял воротник плаща «на рыбьем меху» и, придерживая дипломат, побежал за подходившим к остановке жёлтым венгерским «Икарусом», блестящим стёклами салона сдвоенным автобусом с чёрной перемычкой гофры посередине.

Всё вокруг представлялось огромным и непостижимым, к тому же отодвинутым на неодолимое расстояние. Поначалу картина складывалась из размытых световых пятен, неподвижных и движущихся, постепенно приобретавших незнакомые контуры, ещё более непонятные своим предназначением и потому пугающие. От этой новизны веяло тревогой и беспокойством. Виденное воспринималось как бы в ином измерении, совершенно чуждым и неприемлемым для его заново формирующегося разума.

Хотя открываемый мир, требовал тщательного знакомства с собой, гораздо важнее и ближе представлялись собственные ощущения и физиологические нужды. Мысли ещё не рождались, звуки произносимых кем-то слов доходили до слуха лишёнными всякого смысла. Белые простыни приятно холодили тело, прикосновения чужих рук настораживали, порождали целый спектр чувств от опаски до успокоения, а резкая боль от уколов неизменно вызывала бурный протест.

Он издавал отрывистые возгласы, не отягощённый мыслью взгляд скользил по деталям обстановки. Время ещё не существовало для него, хотя проходящие дни необратимо складывались для других в недели.

Но постепенно в глазах появлялась тень осмысленности, изнутри нарастало желание двигаться, постигать окружающее, пробовать на вкус, на ощупь. Оно становилось самым главным, настойчиво подчиняло себе. Слух учился различать самые тихие посторонние звуки, цвета вокруг воспринимались всё насыщеннее и пестрее, запахи набирали терпкость, становились тоньше и резче. Фрагменты обстановки утрачивали начальную размытость, приобретали чёткость форм, отливались в лица, предметы, лучи солнца, проникавшие снаружи через окно. Всё вокруг оказывалось всё более разнообразным и сложным.

Особенно часто перед ним возникало лицо светловолосой женщины с внимательными печальными глазами, следившими за ним, когда он засыпал и когда просыпался, потому он научился выделять её первой. Она часами находилось подле, а мягкие, легко узнаваемые руки давали пищу и питьё, приятными касаниями обтирали лицо и тело. Он начал узнавать других, замечать в устремлённых на него глазах сосредоточенность или ожидание. Запах дезрастворов и шорох накрахмаленных халатов, холодок сменяемых простыней — ничто теперь не миновало его заострённого внимания.

Постепенно что-то набирало в нём силу, требуя выхода. Он пытался произнести нечто, складывая и растягивая губы, рождая пока невразумительное бормотание, пугавшие самого странные горловые звуки. Это выглядело пародией на человеческую речь, подражанием ей безнадёжно отставшего в развитии великовозрастного дитяти, смахивало на бестолковый лепет идиота. Впрочем, время для окончательных выводов ещё не подошло.

И всё же мало-помалу глаза утрачивали прежнюю прозрачную пустоту, наполняясь неведомым содержанием, зрачки начинали блуждать по внешнему миру не бесцельно, а точно нацеленными сканерами, безошибочно находящими искомое. Он уже чутко реагировал на новые звуки, мгновенно и безошибочно определял их источник. Над изголовьем подолгу лилась приглушённая расслабляющая музыка, невидимые тихие голоса настойчиво повторяли сочетания звуков, не превратившихся пока для него в слова, в то важное, что отличало разумного человека от животного.

Сегодня Инне Владимировне удалось пораньше уйти с работы, в пединституте начались долгожданные каникулы после напряжённой зимней сессии. На кафедре все давно знали о проблемах молодой сослуживицы и с пониманием относились к её частым отлучкам, объяснимым дежурствами у постели больного мужа. За последние месяцы ректорат уже дважды предоставлял ей по этой причине отпуск без содержания. Только никто вокруг даже не догадывался, насколько её измотала безысходность сложившегося положения.

Привычно предъявив пропуск, Инна облачилась в белый халат, принесённую вто-

рую обувь и прошла в знакомую палату. Больной, как повелось с некоторых пор, отметил её появление радостным маразматическим мычанием.

«Господи! Ну, сколько же это может длиться ещё?! Даже есть самостоятельно никак не научится! Неужели, он останется таким навсегда?» — с отчаянием думала она снова, пока кормила с ложки. Инна с болью всматривалась в лицо недавно самого близкого ей человека, пытаясь убедить себя, что чувствует к нему то же самое, что и до болезни. Она каждый раз сомневалась, он ли перед ней или не он? Даже цвет глаз несколько изменился, прежняя синева размылась, поблекла, но сегодня показалось, взгляд впервые приобрёл осмысленность, отсутствовавшую после реанимации. Встрепенулась надежда, может, эта уцелевшая оболочка наконец-то наполнится прежним содержанием?!

Внезапно, повинуясь безотчётному порыву, Инна нагнулась к самому уху бывшего прежде её мужем. Горячо и торопливо зашептала, оглядываясь на дверь, боясь, что вот-вот зайдёт медсестра и не даст высказать самое главное:

— Ну-ка, смотри, смотри на меня! Ну, Боречка, разве не узнаёшь? Это же я, я! Твоя Инка! Неужели ты меня совсем не помнишь? Забыл, как любил меня? Как мы были вместе? Ну, узнаёшь? Смотри же, смотри на меня!..

Больной перестал жевать печенье, которое извлёк из впервые самостоятельно надорванной пачки, и с подозрением уставился голубыми глазами в лицо говорившей, будто опасался, что она может забрать назад гостинец и лишить только что открытого им удовольствия.

— Боренька, миленький, я же вижу, ты должен, должен узнать, ну, вспомни! Вспомни же, чёрт тебя подери! Всё будет хорошо, как... раньше... Ну, ты узнал меня? А? Ну, скажи, кто я? Скажи, родненький, вспомни, ну же! Давай!

Больной беспокойно откинулся на подушку и, отчаянно гримасничая, попытался сложить губы, тонкие крылья носа задвигались, глаза выкатились из орбит, наконец, ему удалось родить натужные звуки:

— М-м-м-ма, м-м-ма-м-м... — внезапно радостно расплывшись в бездумной улыбке, старательно собрал только что полученное в целое и ясно выдал: — Мама! Ма! Ма! Мама! — и тут же загукал низким голосом, забулькал, пуская пузыри изо рта, отплёвываясь во все стороны крошками непрожёванного печенья.

Это выглядело противоестественно, отвратительно до жути. Казалось, взрослый мужчина хитро и нарочито назло ей с понятной лишь ему тайной целью изображает из себя полного идиота. Инне Владимировне почудилось на миг, будто муж сознательно глумится над нею, хотя она отлично понимала, что такого просто не может быть. Женщина резко отшатнулась, словно получила пощёчину. Лицо исказилось болью, и, еле удерживая подступавшие слова не характерного для неё мата, выплеснула скороговоркой злым плачущим голосом, ни к кому конкретно уже не обращаясь:

— Господи! Что же... что они с тобой сделали?.. Издевательство какое-то! Уму непостижимо! Ну что это? За что такая мука?.. Как вынести?! Я больше не могу так, не могу...

Инна Владимировна сорвалась на плач, закрыла лицо ладонями и выбежала в коридор. Обитатель палаты, приподнявшись на локте, возбуждённо корчил плаксивые гримасы и тянул вслед за ней исхудавшие незагорелые руки.

3. «МЫ ЖИВЁМ, ТОЧНО В СНЕ НЕРАЗГАДАННОМ...»[1]

— Станислав Дмитриевич, вас к телефону! Жен-чина! — елейно улыбаясь, оповестила старшая сестра реанимации Нинуша, как её за глаза называл весь персонал без исключения.

Дородная крашеная блондинка неопределённого возраста выглядела прочно сидящей на своём месте. Дамочка из тех, кого чужие дела всегда интересуют гораздо больше собственных. А уж как работа ей важна, превыше всего на свете — это она никогда не упускала случая показать или высказать, нередко ни к селу ни к городу. Притом она всегда оставалась неторопливой, даже вальяжной, с головой погружённой в важные текущие дела, чтобы ни у кого не возникало сомнений, будто они только благодаря ей и решались. Действительно, даже сестра-хозяйка не могла списать рваной простыни без её ведома.

Нинель Фёдоровна обосновалась здесь задолго до прихода Стаса, и он сразу с первого взгляда решил, что такая совершенно не подходит для реанимации, уместнее для неё оказаться за прилавком гастронома или на кухне столовой общепита. Пошустрее следует быть старшей сестре экстренного отделения, ему казалось, то «и ежу понятно». Аллочка, по его разумению, гораздо больше подходила на эту должность. Грамот-

[1] Игорь Северянин, «Странно».

ная, понимает специфику работы, с каждым общий язык найдёт, сочувствует больным и тэ дэ, и тэ пэ. Впрочем, начальство всегда исходит из собственных соображений при подборе кадров, на то оно и начальство...

Незнакомый женский голос в трубке поначалу нисколько не озадачил Стаса, он успел привыкнуть к бесконечным звонкам родственников больных с привычными расспросами о лекарствах, анализах и состоянии на сегодняшний день.

— Станислав Дмитриевич Веткин? — приятный тембр не гасил металлических ноток.

— Да, он самый, здравствуйте...

— С вами говорит помощник прокурора Савицкая Елена Васильевна, — Стас едва не ляпнул: «очень приятно», но успел удержаться — чего же тут может быть приятного? Видно, на этот раз родственник прокурорши попал к ним, могла бы сама появиться и поговорить лицом к лицу, или таким привычнее пользоваться телефоном и не утруждать себя лишний раз? — Нам необходимо побеседовать. Когда вы сможете приехать в районную прокуратуру, завтра например?

— Ну, завтра в любое время... После десяти... Только я буду с ночного дежурства...

— Ничего-ничего, мы вас не задержим. Всего несколько вопросов. Итак, жду вас в одиннадцать в тридцать шестом кабинете...

Всё затянувшееся дежурство он не переставал ломать голову над странным приглашением или вызовом. В любом случае предстоящий разговор не сулил ничего хорошего. Ночь выдалась необычно спокойной, ничего экстренного. Он получил редкую возможность отдохнуть на диване в ординаторской. Проснулся незадолго до рассвета с ощущением внезапной тревоги, словно его резко толкнули в бок. Не сразу понял, где находится, и тут же уверился: в помещении он один. Сна больше не было, сквозь остаточный флёр полудрёмы почувствовал, как по коридору кто-то осторожно приближается к ординаторской. Неслышные шаги не нарушали тишины, будто никто и не ступал вовсе по полу. Стасом воспринималось лишь перемещение живой массы за неплотно затворённой дверью, беззвучное колебание воздуха — не более того.

Ему почему-то представилось, что это его жена Света, почему-то сильно захотелось, чтобы случилось именно так. На мгновение он почти уверился в реальности такой иллюзии, позабыв, где находится. Но тут же опомнился: да откуда ей взяться ночью здесь, на работе?!

За такими нелепыми размышлениями пропустил миг, когда *это* просочилось в ординаторскую. Стас не мог припомнить, приоткрывалась ли дверь в слабо освещённый безлюдный коридор, или узкой щели оказалось достаточно, но в какой-то момент безошибочно ощутил присутствие неведомого существа в полумраке комнаты.

Сам он лежал на продавленном скрипучем диване, давно подлежавшем списанию, уткнувшись лицом в обитую дерматином спинку, и не мог видеть, а лишь чувствовал приближение *этого*. Кто-то склонился над ним сзади, он ощутил теплоту бесплотных нечеловеческих ладоней или лап, наложенных на плечо и ухо. Вернее, ему так поначалу показалось, а на самом деле, его накрыла плотная волна слегка подогретого воздуха, словно придавило неосязаемым силовым прессом.

Он хотел повернуться и рассмотреть незваного гостя, хоть что-то различить в темноте, но не смог даже пошевелить пальцем. *Нечто* мягко, но цепко держало, давило ему на шею, на ухо, на мозг, он ощущал покалывание мелких иголок под кожей во множестве точек соприкосновения, будто успел отлежать эти места.

Голова работала чётко, тем не менее, тело совершенно отказывалось повиноваться. *Нечто* продолжало нажимать с мягкой настойчивостью, постепенно усиливая гнёт, пригибая его сознание куда-то вниз в скрытую прежде, а теперь развернутую под полом пропасть, которую ничем не измерить. Он определённо чувствовал, что навалившееся на него бестелесное создание, скорее, среднего рода, не женщина или мужчина и уж вовсе не человек. Он слышал невнятное, нисколько не грозное бормотание, даже улавливал отдельные слова, вроде бы состоявшие из нескольких слогов. Всё звучавшее напоминало родной язык, но воспринималось полной абракадаброй.

Неизвестный или неизвестное не запугивало, а тихо, почти задушевно уговаривало, увлекая на край небытия, настойчиво внушало что-то, усиливая бесплотное давление. Приглушенный, почти неразличимо низкий голос звучал на самой грани восприятия, раздавался непосредственно в голове, вовсе не враждебно и очень убедительно, несмотря на полную непонятность произносимого.

Стас не ощущал страха, им овладело полное безразличие к происходящему, но всё же вялый протест от собственного бессилия родился в глубине сознания. Его неумолимо сталкивали в сон, в неизвестность чёрной пустоты, однако сомнений не оставалось, вернуться оттуда назад уже не удастся. С отчаянием он собрал всю свою волю, пытаясь противостоять натиску непостижимого, и ему удалось приостановить медленное сползание в ничто.

Это продолжало торопливо лопотать, почти ласково, похоже, призывая прекратить всякое сопротивление, дать увлечь себя в близкое небытие. При этом нажим ни на миг не ослабевал, словно они мерились силами в воображаемом реслинге, пытаясь уложить захваченную руку противника на стол. Одновременно он точно знал, что это не сновидение. Во сне обстановка не могла восприниматься так отчётливо, а мысли не остались бы столь ясными. На самом деле, *нечто* упорно пыталось спихнуть его в необратимый хаос, и уже проклюнулись в сознании ростки первобытного ужаса. Он понял, что не хочет смириться с неведомой силой, не считавшейся с его собственной волей. Он хотел жить, каждый день видеть маленького Родьку, Светлану, снова быть рядом глаза в глаза и никогда не ссориться по пустякам, как всё чаще происходило в последнее время. Собравшись мысленно в единый кулак, неимоверным и неистовым рывком удалось разом избавиться от нематериальных пут.

Нечто тут же сняло свой пресс и полностью исчезло, бесследно растворилось в окружающем, будто и не появлялось. В один миг Стас ощутил, что никого больше нет возле дивана, в комнате, в коридоре. Теперь он смог без усилия повернуть голову к тёмному окну и различил в нём тусклые успокаивающие звёзды.

Веткин остался в твёрдой уверенности, что не спал ни минуты, и всё ощущалось наяву, не было ничего похожего на переход от бодрствования ко сну или наоборот. Тогда что же *это* представляло собой на самом деле? В сновидение совершенно не верилось... Такого с ним никогда не происходило прежде. Разумеется, можно подыскать объяснение, но ломать сейчас голову нисколько не хотелось.

Внезапно его осенило: будь Светлана рядом, ничего подобного не случилось бы. Может, ночной пришелец пытался донести давно ему известное? Стасу захотелось тотчас увидеть её, он понял, их размолвки совершенно ни к чему, не имеют под собой никаких оснований. Он любил Светку так же, как первые месяцы после знакомства той памятной весной. Но теперь она ещё и мать его сына. Он не допустит, чтобы Родик, как и он, вырос без отца. Только вот всякие неприятные обстоятельства наваливаются со всех сторон. Какие же крепкие нервы надо иметь, чтобы не срываться всякий раз по пустякам! Всё это он и выскажет Светлане сегодня при встрече, давно следовало откровенно поговорить...

4. «НЕ КАЖДЫЙ ВОПРОС ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТВЕТА»[1]

— Вам придётся ответить на несколько вопросов, но я должна предупредить об ответственности за дачу ложных показаний.

Помощник прокурора Савицкая начала с ритуальной проверки анкетных данных. Затем перешла к расспросам о методах реанимации, о клинической смерти, о ведении историй болезни и прочей документации.

— Постарайтесь перечислить все подробности случая с больным... — последовала фамилия последнего не вполне удачно оживлённого пациента.

Стараясь ничего не упустить, Станислав изложил, как помнил. Изредка Савицкая вставляла совершенно непрофессиональные, на его взгляд, замечания, поторапливала, пыталась подсказать готовый ответ. Такое нервировало, Веткин сбивался, начинал запинаться, пытался вернуться к незаконченному им не по своей воле ответу. Ей удалось заставить его почувствовать себя студентом на экзамене, отвечавшим по билету с плохо знакомыми вопросами.

— Скажите, а родственники больного, супруга например, предлагали вам какую-то плату или награду за лечение?

— Насколько я знаю, у него из родных здесь и была одна жена... — Стас надолго замолчал.

Вспомнил лицо Инны, слёзы в серых выразительных глазах. При первом посещении мужа, ещё до клинической смерти, когда тот уже без сознания находился в реанимационном зале, Станислав пожалел симпатичную женщину и на одну короткую минуту провёл к койке. Несколько мгновений спустя она пыталась упасть на колени, умоляла спасти самого дорогого для неё человека. Стас не дал ей опуститься на пол, засомневался, насколько она искренна и не воспроизводит ли перед ним сцену из театральной трагедии? Но реальный пациент при смерти и тяжесть его состояния заставляли поверить без пяти минут молодой вдове при живом муже.

Инна Владимировна тогда действительно бессвязно лепетала о деньгах, золоте, «только спасите, спасите его! И я сделаю всё...» Стас даже почувствовал раздражение, неужели она не понимает, что дело совсем не в её горячечных посулах?! Будто и без таких ненужных слов не делалось всё возможное! Он показал ей положение близкого человека без прикрас не для того, чтобы вызвать подобную реакцию, всякое могло

[1] Паблисиус Сайрус (Сирус), римский поэт, художник.

произойти, и она должна приготовиться к вероятности худшего исхода...

Такие сцены не были внове ни для Стаса, ни для других реаниматоров. Сколько раз родные умирающих сулили докторам золото и деньги, вечную память и пропечатанную в прессе признательность. Но после выздоровления, как правило, не следовало ни обещанных драгоценностей, ни конвертов с шуршащим содержимым, благодарственные заметки в газетах, правда, изредка случались, но толку-то от них... Если только на стену в рамочку повесить. В лучшем случае пределом фантазии дарителей оказывалась бутылка-другая коньяка, коробка конфет или бесполезный букет цветов, а если и приносилось что-то сверху того, то обычно перепадало заведующему отделением.

Бывали, конечно, исключения, но обычно те, кого Стас вытаскивал с того света, или их родственники даже не здоровались с ним на улице, то ли действительно не узнавая, то ли намеренно напуская на себя такой вид. Да что на улице, даже при встрече нос к носу на территории больницы после перевода из реанимации они могли равнодушно посмотреть на него и пройти без приветствия, словно мимо человека-невидимки. Вероятно, такие полагали должным, чтобы он обратил на них внимание первым, проявил участие, поинтересовался их драгоценным здоровьем. А сами успевали позабыть, в каком подвешенном состоянии между жизнью и смертью сами или их близкие недавно находились и благодаря кому из этого смогли выкарабкаться. Некоторые, действительно, ничего не помнили и не знали, что с ними происходило во время полного отсутствия сознания. В любом случае, их благодарность, если потом имела место, изливалась на лечащих врачей других отделений.

Но нередко попадались и такие, кто видел в нём всего лишь прислугу, обязанную холить и лелеять их по законам своей гуманной профессии. Да ещё мифической клятвы Гиппократа, неведомо кем на самом деле сочинённой, обязывавшей врачей безропотно мириться с ролью обслуживающего больных персонала. Своё последующее выздоровление и бодрое самочувствие недавние кандидаты на тот свет воспринимали само собой разумеющимся, единственно закономерным, заранее предрешённым для них рождением в стране победившего социализма и лучшей в мире Конституции. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Но Веткин подозревал, в большинстве такие оставались несведущими в главном и не понимали, что на самом деле приключилось с ними, чего они избежали, если бы не старания Стаса и прочих медиков. Либо сознательно выкидывали из памяти неприятные моменты, когда их жизнь не зависела от них самих, чтобы не свихнуться потом в раздумьях о её непонятном метафизическом смысле...

Если не считать иногда тех же конфет и бутылок с нелепыми цветами, лишь дюжина красивых поздравительных открыток с кучерявыми пожеланиями к общенародным праздникам составляли до сих пор почти весь «нетрудовой доход» реаниматора Веткина. Вот подношение денег рассматривалось обеими сторонами действительной взяткой, с помощью которой можно не только «морально разложить» обязанных исполнять свой долг за положенную мизерную зарплату, но и посодействовать «загреметь по статье».

Помощник прокурора собралась прервать затянувшуюся паузу, но Стас опередил:

— Да, припоминаю, как-то она действительно обещала озолотить меня, если спасу мужа, только это обычные разговоры в подобных случаях. Мы привыкли и не придаём им никакого значения.

Стас понимал, что, возможно, говорит лишнее, но уж вот такой он, бывший пионер Станислав Веткин, воспитанный с детства на примерах Павлика Морозова, Тимура с его командой и Васька Трубачёва, боровшихся с Мишками Квакиными и прочими отрицательными персонажами.

— И она так-таки ничего ни разу не передала вам, ну, в виде благодарности, ни в первые дни, ни даже после... м-м-м... реанимации?

— Нет, конечно, об этом и речи не шло.

— А когда с ним случилось то, что вы рассказали, вы сделали всё от вас зависящее... как положено?

— Ну да! Разумеется, — Стас непонимающе уставился на блондинку в форме, успевавшую строчить ручкой с золотым пером в блокноте и одновременно в бланках перед собой.

— А не возникало ли у вас обиды или досады на то, что она не исполнила обещанного, не отблагодарила вас?

Веткин горько усмехнулся.

— Я же говорю, мы не придаём подобным словам значения, любой реаниматор подтвердит.

— Скажите, Веткин, клетки мозга всегда отмирают через пять минут после остановки сердца, если не проводить положенных действий?

— В среднем так, это в любом медицинском учебнике написано...

— А через какое время после того, как больной впал в это состояние, вы приступили к реанимации?

— Ну, дежурная вызвала меня из ординаторской где-то через полминуты, ещё через одну-две минуты я был в палате, может быть, даже раньше. Палатная сестра уже сама начала непрямой массаж сердца, они этому обучены...

— Скажите, почему же тогда случилось именно так — клетки мозга погибли? Вы не могли промешкать, упустить момент, может быть, действовали «спустя рукава»? Ночное время, спросонья реакция не та, что днём. Может быть, сестра по какой-то причине отвлеклась, зазевалась с оказанием помощи до вас?

— Видите ли, в таких случаях у нас у всех выработался автоматизм, существует схема реанимации, как дважды два. Мы поступаем всегда по алгоритму, всё делалось вовремя. Да и в ту экстренную ночь всем нам точно было не до сна. Строить же разные предположения и объяснения, почему случилось так, а не иначе, перед вами не имеет никакого смысла.

— Это почему же? — холодно поинтересовалась помощник прокурора, уязвлённая таким выводом.

— Ну... надо исходить из конкретного состояния больного, из особенностей заболевания, биохимических процессов в клетках мозга и тому подобного. Мало ли обстоятельств... Рассуждать тут под силу лишь специалисту, да и то высокой квалификации. Даже я сам не являюсь таким в подобных теоретических вопросах...

— Допустим. А кто ещё может подтвердить очерёдность и правильность ваших действий поминутно именно в этом случае?

— Извините, а я могу узнать, чем всё-таки вызвана эта беседа или допрос?

— Дача показаний, — уточнила поскучневшая Савицкая и добавила: — Можете, конечно, можете. Жена больного и её родственники направили нам жалобу, они утверждают, что в результате неправильного лечения больной превратился в умственно неполноценного и его психика непоправимо нарушена. Хотя основные претензии они предъявляют к сотрудникам регенерационного центра, думается, причина в неудачно проведённой у вас реанимации, а уж потом в ведении больного после неё.

Стас ощутил внезапную обиду и раздражение:

— Положим, причина в самом заболевании. Инфаркт миокарда вызвал электрическую нестабильность сердца...

— Ну, не будем отвлекаться, всему своё время. Итак, кто, кроме среднего персонала, может подтвердить, что вы поступали именно так, как требовалось?

Стас задумался на мгновенье, злость так же внезапно испарилась, вытесненная всепоглощающей усталостью.

— Зиновий, конечно, Зиновий Александрович. Мы же проводили реанимацию вместе.

— Я уже беседовала с исполняющим обязанности заведующего отделением Луцким. Он заявил, что присоединился к вам одновременно с анестезиологом Стариковой гораздо позже, минут через десять после вашего прибытия к больному. Поэтому ничего конкретного о начале реанимационных действий он, естественно, сообщить не смог.

Станислав озадаченно посмотрел на облезлую жестяную крышу за окном. Действительно ли так было? Он и сам засомневался после сказанного помощником прокурора. В ту ночь они ненадолго оказались в ординаторской вместе. Луцкий вернулся из нейрохирургии, где решался вопрос об оперативном вмешательстве по жизненным показаниям, но не захотел оформлять истории болезни в одиночестве в своём кабинете. Веткин же зашёл передохнуть после интубации больного, переводимого к ним из пульмонологии, да и писанины у него тоже достаточно накопилось. Когда срочно вызвали к больному, Стас первым сорвался с места и уже у двери услышал обещание Зины вскоре присоединиться. Так и случилось. Луцкий действительно прибежал почти следом за ним, в таких вопросах у них никогда не возникало разнобоя. Неужели он сам ошибся в оценке времени, увлёкшись оказанием помощи настолько, что десять минут принял за одну?

Веткин промолчал, пожав плечами. Дальнейшие вопросы повергли его в ещё большее недоумение.

— Ладно, с этим пока всё. А скажите, вы знаете доктора медицинских наук Павловского? — неожиданно поинтересовалась Савицкая.

— Семёна Аркадьевича? Конечно...

— Насколько и как давно знакомы?

— Ну, только по работе, к сожалению. Последние полтора года примерно. С тех пор, как центр регенерации при Институте экспериментальной реаниматологии начал принимать у нас тяжёлых больных с полной или частичной декортикацией. То есть с повреждением мозга разной степени тяжести.

— И сколько раз такое случалось?

— При мне — три. По крайней мере, знаю о трёх. Но наверняка были ещё в моё отсутствие. Точнее можно узнать по журналу, всё записывается...

— И последний оказался самым тяжёлым из всех? Его мозг повредился больше, чем у других?

— Ну, пожалуй, можно и так сказать, — неуверенно согласился Стас.

— Хорошо, а что вы можете сообщить о самом профессоре Павловском, о его работе?

— Я ни разу не был в его центре и смутно представляю тамошнюю обстановку. Что же касается Семёна Аркадьевича лично, он производит впечатление знающего, квалифицированного специалиста. А его работа не имеет аналогов ни в нашей медицине, ни за рубежом...

— Давайте уточним некоторые детали. До перевода таких больных в центр они какое-то время после реанимации ещё находятся у вас?

— Конечно, пока не будут подготовлены к транспортировке.

— И сколько же это составляет часов или дней?

— Ну, по-разному, от двух до пяти суток, в зависимости от общего состояния, наличия осложнений...

— И как же они переводятся в центр?

— Обязательно с реанимационной бригадой на машине станции скорой помощи с нужной аппаратурой в сопровождении квалифицированного врача, как же иначе?

— И кто принимает решение о переводе, о сроках пребывания у вас в каждом конкретном случае?

— Это всегда решается коллегиально, консилиум с привлечением необходимых специалистов, невропатолога как минимум. Наш заведующий согласовывает время с Павловским после совместного осмотра больного на месте. Перед намеченной транспортировкой обязательно оцениваются все возможные риски.

— И не бывает никаких исключений? Только так?

— Да, насколько мне известно...

— Хорошо. Всё это время больные получают необходимые медикаменты из аптеки вашего стационара?

— Да, конечно.

— Но в тех случаях, которые мы разбираем, к больным применялось ещё и новейшее специфическое лечение, не так ли? Эти довольно дорогие препараты находятся на особом учёте и не поставляются в обычную клинику, ими снабжает только центр Павловского?

— Да, верно. Нейробион, витаген лишь недавно апробированы, их производство и применение пока ограничены опытными партиями. Кроме того, мы пользуемся ещё импортными средствами, такими, например, как цито-мак...

— Ладно. Скажите, каким порядком вы получаете подобные дорогие лекарства?

— При мне Павловский всегда сам привозил эти препараты, всё тут же фиксируется в журнале учёта, — пожал плечами Стас.

— А дозы, необходимое количество — кто определяет?

— Тоже он. Семён Аркадьевич расписывает нам схему лечения на все дни до перевода, как только мы его приглашаем. Доза может изменяться в зависимости от степени поражения мозга в каждом случае отдельно, и потом необходимое количество этих препаратов обусловлено тем, сколько больной у нас пробудет.

— И как ведётся контроль таких препаратов?

— Всё отмечается в историях болезни, в реанимационных листах и, разумеется, в журналах учёта у старшей сестры.

— Ну, что ж, Веткин. У меня лично к вам пока больше нет вопросов.

5. НОВОЕ МЫ́ШЛЕНИЕ, ГЛАСНОСТЬ, ПЕРЕСТРОЙКА

Однажды он понял, что светлый прямоугольник на стене, через который иногда заглядывает слепящий тёплый шар, ведёт в другой неизвестный и гораздо больший мир. Тёмное пространство за остеклённой дверью таило в себе неожиданности. Оттуда появлялись уже знакомые и впервые виденные люди в белом, приносили еду с питьём, ощупывали его, переодевали, подвергали непонятным процедурам. С каждым днём теперь открывалось не испытанное и не замечаемое прежде. Его тормошили, заставляли двигаться, реагировать на разные раздражители.

Он научился определять посетителей по звуку шагов в коридоре, а вблизи по тембру голоса, по запаху, по выражению глаз, по прикосновениям. От них исходило едва различимое разноцветное свечение соответственно отношению к нему от бледно-лимонной жалости и розового любопытства до фиолетовой дымки холодного равноду-

шия. Он впитывал изменения среды с жадностью голодного ребёнка, ничего не оставляя без внимания, но теперь этого оказывалось недостаточно. Простое созерцание не удовлетворяло, хотелось активности, громко заявить о себе и своих потребностях с помощью движений, действий, издаваемых звуков.

Осмысленная речь пока оставалась недоступна, но порой выходили односложные слова, лишённые всякого значения, а чаще полностью бессмысленные звуки. Новорождённый мозг пытался использовать голосовой аппарат взрослого человека с неведомыми целями, которых, возможно, ещё и не ставилось.

Постепенно обучение начинало приносить плоды, под влиянием препаратов и специально разработанных тренировок мозг «выбирался из пелёнок». Рождаемые звукосочетания становились всё более определёнными, понятными окружающим. В изголовье на грани слышимости часами звучали медитативные мелодии, повторялись записи простых текстов для маленьких детей, начитанные приятными женскими голосами. Занимавшиеся с ним подкрепляли слова показом соответствующих им предметов или действий, а новейшая аппаратура ускоряла обучение. Его мозг жадно схватывал всё на лету, требуя новой умственной пищи. Что касается обычной еды, он уже мог выбирать из предлагаемого разнообразия. Вкусовые ощущения почти восстановились, но воспринимались им совершенно по-новому. Одновременно, возвращая забытый навык, челюсти пришли в движение, их обладатель испытал удовольствие от чисто механического пережёвывания комков клетчатки.

Его спустили на мягкий палас во всю комнату, теперь он мог ползать на четвереньках целыми днями, исследуя закоулки становящегося всё более тесным пространства. Одновременно больной овладевал управлением собственным телом и непослушными конечностями. Поначалу отрывистые и неуклюжие движения приобретали природную согласованность и плавность.

Ежедневный массаж и тренировки сделали своё дело, когда его поставили на подгибавшиеся в коленях ноги, он устоял без посторонней поддержки, хотя его ни на минуту не переставали подстраховывать. Шаг на одеревенелых, ещё не принадлежащих ему полностью ногах, затем второй, третий. В чёрном стекле двери приблизилась фигура рослого ссутулившегося мужчины в тёмной пижаме, нисколько не напоминавшая приходивших до того людей.

Больной с любопытством потянулся к незнакомцу в отшлифованной стеклянной поверхности. Одновременно тот другой зеркальным отражением взметнул навстречу руку в пижамном рукаве. Пациента ждало разочарование: пальцы неожиданно наткнулись на холод стеклянной преграды. Не рассчитав сил, он зашатался и упал бы, если бы не подоспела наблюдавшая за ним дежурная. Постичь только что увиденное оказалось пока выше его разумения...

Легко узнаваемый зелёный «Жигулёнок» ноль шестой модели, привет из летнего леса в разгаре зимы, да и только, выскочил из ворот больницы перед носом Веткина. Такую окраску редко встретишь, раз, два и обчёлся. Станислав запоздало вскинул руку, и знакомая машина, брызнув талым снегом из-под колёс, затормозила в десятке шагов впереди. Скользя по остаткам наста, он подбежал, схватился за ручку задней дверцы, услужливо отпертой изнутри водителем.

Зиновий оказался не один, с переднего сидения белозубо и приветливо улыбалась Аллочка. Разрешили бы конкурс красоты среди медперсонала больницы — за первое место у неё конкуренток точно бы не нашлось. И медсестра умелая и понятливая, что гораздо важнее. Однако главный ценитель её достоинств сейчас занимал место за рулём. Стас припомнил, что уже с неделю жена Зины, их коллега и одновременно председатель профсоюзного комитета больницы Стелла Михайловна не то лечилась, не то отдыхала в неврологическом санатории по льготной путёвке. Почему же не может и. о. заведующего отделением развозить своих сотрудниц в её отсутствие?

— Вам куда, Станислав Дмитриевич? — томно спросила Аллочка, непринуждённо откидываясь на спинку кресла, то ли действительно она чувствовала себя здесь полной хозяйкой, то ли решила показаться такой перед Веткиным. При всём желании Стас не смог бы обнаружить в её голосе ноток смущения.

— В центр регенерации надо, может, подбросите по дороге?

Зиновий присвистнул.

— По дороге... Далече ты собрался. Извини, старина, не выйдет: торопимся. До метро довезу... Растёшь, брат? Никак удумал в науку податься, и всё, заметь, втихую, со своими уже не делишься?

— Меня вызывали в прокуратуру к Савицкой... Ты что, не мог меня предупредить? — упрекнул Стас и тут же мысленно сказал себе: только спокойно, я спокоен, спокоен и безмятежен, как веточка японской сакуры в период цветения.

— Понимаешь, старик, я не успел, да и Савицкая просила не говорить... Да это же

просто тьфу! Плюнуть и растереть. Полная фигня, обычная формальность, ты сам прекрасно знаешь. Им пришлось реагировать на сигнал, разбираться. Вот и всё! Жалоба даже не на нас, в конце концов... Ежу понятно...

Необычное многословие Зины не понравилось Станиславу.

— Да, но ты предоставил расхлёбывать всё мне одному... Как мешком по башке.

— Каким это образом? — Зиновий подогнал машину к тротуару и резко затормозил, обернулся и уставился на него, как всегда нахальными навыкате глазами.

— Почему ты показал, что я реанимировал без тебя? Что ты подошёл только минут через десять после начала.

— Я не помню, старик, честно не помню... А что, действительно, получилось что-то не так? Разве это важно?

Стас беспомощно посмотрел на Аллочку, он всегда терялся от подобной Зининой «простоты», девушка почувствовала его немой призыв и повернула к Луцкому свой классический профиль:

— Да, Зиновий Александрович, вы уж вспомните, пожалуйста, ведь вы прибежали сразу за Станиславом Дмитриевичем.

У Стаса потеплело на душе, значит, он прав, у него далеко не склероз, а Зина сам, возможно, запамятовал...

— Да послушайте, какое это имеет значение? Нас никто не собирается судить, обыкновенная жалоба склочной родственницы, хотя я от неё не ожидал, признаться... Мы же знаем, что всё сделано тип-топ, как положено, и винить себя не в чем. О чём тогда вообще разговор? Эти домыслы выеденного яйца не стоят!.. Поверьте, всё будет в полном порядке!

Действительно, пожал плечами Стас, о чём, собственно, разговор? Тип-топ, так тип-топ! «Всё нормально, старик! Держи хвост пистолетом!..» Он не впервые чувствовал себя обезоруженным такой вот железной на вид логикой Зины. Ему казалось, он сам подчас становится в нелепую смешную позу в стремлении копаться в малозначимых для других фактах. Конечно, говорить тут больше не о чем, но ощущение неправильности в поведении Луцкого оставалось, как и неприятный осадок от его подозрительной разговорчивости. Потому ехать дальше, пусть всего один оставшийся квартал, с ним вместе совершенно расхотелось.

— Ладно, тормозни тут. Уже сам дойду. Спасибо, что не дали замёрзнуть в поле одинокому путнику, счастливо вам, — буркнул скороговоркой Стас, боясь показаться комичным, в сердцах захлопнул дверцу и торопливо зашагал к станции метро. Он успел миновать два дома, прежде чем услышал, как сзади резво взял с места застоявшийся «Жигулёнок».

Почти весь путь до центра Стас продолжал мысленно перебирать короткую перепалку с Зинулей. Снова укорял себя за не те и не так сказанные слова, за недостаточную твёрдость, за неумение настоять на своём и добиться полной ясности. Но постепенно под мерное покачивание вагона подземки мысли переключились на предстоящее.

Как-то встретит профессор? Веткин не договорился заранее, вправе ли он своими мелкими проблемами отнимать время у столь занятого человека? Ведь тот безо всякого надуманного пафоса занят созданием нового разума, не больше и не меньше! Наверняка весь день у него наперёд расписан. В прежние встречи в клинике всё общение между ними касалось только конкретной работы, Стасу заведомо отводилась роль младшего исполнителя. Но поговорить с ним, особенно после вопросов Савицкой, касавшихся лично профессора, представлялось обязательным. Поступить иначе Станислав не мог.

Ему повезло, Павловский оказался на месте и не заставил ждать. Уже через несколько минут после звонка по внутреннему телефону спустился к нему. Сам оформил пропуск, проводил в свой на удивление тесный кабинет на четвёртом этаже, напоминавший скорее склад или лабораторию. Нагромождения нераскрытых коробок с аппаратурой почти не оставляли свободного места, даже окно оказалось наполовину загорожено.

— Присаживайтесь, Станислав, э-э-э... Вадимович! — Павловский пододвинул гостю вертящийся стул без спинки, как у пианистов, а сам угнездился за письменным столом с развалом бумажных лент от биорегистраторов. — С помещениями пока не балуют, так что приходится каждый квадрат использовать. Разумеется, с учётом противопожарных требований. Ну, да ничего, скоро закончим ремонт и разгрузимся.

Стас недоверчиво воспринял последние утверждения, продолжая оглядываться по сторонам, но вскоре позабыл о своих сомнениях. Со стены над столом на него торжественно и строго взирал новый генеральный секретарь ЦК КПСС с подретушированным родимым пятном на лбу. После череды престарелых больных предшественников он поначалу настолько выигрывал внешне, что Веткин попробовал раз-другой вник-

нуть в его многочасовые монологи. Но за россыпью не всегда грамотно навороченных, зато бойко произносимых шаблонных фраз общий смысл неизменно ускользал, подобно вертлявой рыбёшке в мутной воде. И потому Станислав, чтобы уберечь свой мозг от закипания, оставил заранее обречённые на неудачу попытки.

— Дмитриевич, Семён Аркадьевич, я — Дми-три-евич, — терпеливо поправил Стас, не чувствуя ни малейшей обиды по столь незначительному поводу. Павловскому извинительно многое, неправильно названное отчество не стоило даже капли внимания. — Можете называть покороче без официоза.

— Да-да, конечно, простите, запамятовал. Что-то ваше отчество мне туго даётся. Хотя князья, спасители наши, Донской и Пожарский сразу на слуху... Ну, если не обидитесь, тогда без посторонних впредь буду обращаться по-простецки: Станислав без батюшки, хорошо?

— Не вопрос, и мне так удобнее будет...

— Ладно, мы не на приёме в посольстве! Итак, Станислав, чему обязан визитом? Что-то стряслось? Я сам, знаете ли, собирался увидеться с вами, но то одно, то другое... Наше сотрудничество удалось, полагаю, новые результаты вас заинтересуют... Вы же и сами любопытствуете о вашем крестнике? Так? — Павловский говорил быстро, поблескивая стёклами очков, одновременно ища что-то в выдвигаемых ящиках стола. Если бы Стас не знал его больше года, то решил бы, что таким образом хозяин кабинета показывает занятость, чтобы поскорее отделаться от незваного гостя.

— Я бы не стал отнимать ваше время... — на всякий случай начал мямлить Стас, но Павловский пресёк, решительно задвигая все ящики разом:

— Полноте, Станислав, оставьте предисловия. Итак, насколько я понимаю, дело не в одном любопытстве? Так всё-таки, что приключилось?

— Д-д-да... Семён Аркадьевич, вы правы... Меня на днях вызывали в районную прокуратуру... по жалобе жены нашего пациента, ну, той симпатичной блондинки, помните?

— Ах, вот оно что! Всё это мне очен-но даже знакомо! — Павловский нахмурился, порывисто встал и, заложив руки за спину, нетерпеливо зашагал, чуть ли не забегал по кабинету, ухитряясь не задевать при этом ящики с приборами. Сейчас он поразительно походил на одержимого учёного-изобретателя из комиксов болгарского еженедельника «Панорама», иногда прикупаемого Стасом в киосках «Союзпечати». — И что же, Станислав Дмитриевич? Какие претензии к вам лично? Неужели в чём-то конкретно обвинили? Ну-ка, давайте-давайте, выкладывайте всё начистоту, не тяните! — на ходу он снова назвал Веткина по имени-отчеству, на этот раз без ошибки.

И неожиданно для себя Стас подробно, как на исповеди, пересказал разговор с помощником прокурора и возникшие затем у него сомнения. Ведь насколько он знал, до сих пор из немногих пациентов с регенерированным мозгом так и не удалось создать полноценные трудоспособные личности... Не забыл и о странных вопросах Савицкой насчёт самого Семёна Аркадьевича, про использование медикаментов, о порядке перевода больных и прочем.

Павловский слушал, не перебивая, иногда согласно кивал, по привычке рассеянно теребил пальцами оправу очков, хмурил брови. Присаживался на короткий миг, затем снова продолжал маячить туда-сюда. Если бы ещё полгода назад Веткину напророчили, что он вот так напрямую станет общаться с недостижимым для многих профессором, он бы только недоверчиво улыбнулся.

Лишь когда Стас закончил и вытер слегка вспотевший от волнения лоб, Семён Аркадьевич вернулся за стол.

— Итак, я прекрасно всё понял. Разумеется, вы правильно сделали, что пришли ко мне. Ценю такое доверие. Ведь я, если быть объективным, в какой-то мере ваш должник, Станислав! Не удивляйтесь, вы не впервые неплохо справились с начальным этапом нашей работы... — Веткин попытался возразить, но профессор предупреждающе поднял раскрытую ладонь. — Ничего не говорите, уж я-то знаю, что удачным ведением пациента после реанимации обязан именно вам, вашей добросовестности, как и вашим бессонным ночам на дежурствах, а не заведующему отделением. Вот лично вы его и вытащили. Что ж, перейдём к жалобе... Да будет вам известно, Станислав, Савицкая беседовала также и со мной, и не одна Савицкая. Дело далеко не в ней и не только в теперешней жалобе родственницы. Не стану нагружать вас ненужными подробностями. Но и меня, профессора экспериментального регенерационного центра, уже не раз отрывали от работы повестками в прокуратуру, не только по поводу последнего случая. Заставляли ждать в коридоре, как последнего проворовавшегося торгаша! Так что оснований для обиды у меня поболее вашего, поверьте стреляному воробью. Но, представьте, я её не чувствую, совсем нет... — Павловский опять встал, поправил и до того ровно сидевшие на переносице очки, заходил по комнате, снова неуместно напоминая Стасу персонаж комиксов. — Вот некоторая злость за бессмысленно отнятое

время, это да, есть немного. Но вы, наверное, удивитесь, подобное для меня как бы дополнительный стимул к работе. Сразу понимаешь, что время ограничено, и остаётся одно: поторопиться, успеть сделать как можно больше. Приходится ускорять темп, выкладываться, подстёгивать других. И, поверьте, результаты получаются наилучшими, нередко раньше запланированного срока. Выходит, самым странным образом, внешние барьеры и трудности стимулируют работоспособность, создают этакий созидательный «производственный шум». Не дай бог переборщить с этим, конечно! Но только так, реальными достижениями я могу ответить на мешающие работе бредни посторонних, не тратя попусту время и не вступая в бессмысленные перепалки с их некомпетентными сочинителями.

Профессор взял короткую паузу, чтобы убедиться, насколько серьёзно восприняты его откровения.

— Вероятно, Станислав, кому-то очень хочется помешать нашим исследованиям, то ли в силу амбиций, то ли из-за конъюнктурных соображений... Может, кто-то из «старых друзей» в кавычках завидует, глядя со стороны... А чему завидовать-то? Не такие уж великие тыщи нам платят: вы, мол, ничего материального не производите, так сказать, жалкая межклассовая прослойка всего лишь, а не гегемон, основа общества. А то, что мы сохраняем и восстанавливаем сами производительные силы, то есть самих людей и гегемонов в том числе, этого они не понимают или прикидываются, что не видят ничего, пока самих лично не тюкнет в темечко. А за все неизбежные накладки в нашем деле нам самим приходится расплачиваться нервами, собственным здоровьем, личной жизнью, в конце концов! Не мне вам рассказывать!

Павловский скептически хмыкнул, сделал глубокий вдох, после чего заговорил гораздо спокойнее. Веткину заранее отводилась роль внимательного молчаливого слушателя.

— Недавно прислали ещё одну комиссию по проверке учёта расхода спирта в нашем центре. При его копеечной себестоимости-то! Мигом состряпали акт и теперь обвиняют в бесконтрольной трате, представляете?! Вы же знаете, Станислав, что в любом медицинском учреждении спирт — «белое золото», единственная конвертируемая, точнее, бутилируемая валюта! Как только его получают — то сразу списывают до нуля, не дай бог обнаружится неиспользованный остаток! Тогда на следующий год выдачу точно урежут. Это всем известно, таковы правила игры. Но вы же в курсе, ни один сантехник, ни один электрик в самом захудалом стационаре кран не починит, лампочку не ввернёт, пока ему этой самой «валюты» не нальют. Что уж тут говорить про монтажников и наладчиков сложнейшего оборудования! Сплошь и рядом такое. А чтобы получить без проволочек эту самую нужную аппаратуру со складов, которую просто так без блата у хозяйственников ни за что не выцарапать, гони ещё «белое золото» и не только его. Даже если все бумаги правильно оформлены и завизированы кем нужно. А чтобы транспорт и грузчики вовремя появились — опять двадцать пять, мочало начинай сначала. Словом, нашли к чему-то прицепиться, а то, что нам удаётся не тормозить работу по пустякам, избегать простоев, не терять темпа, никого, похоже, нисколько не колышет, нет, наоборот, добрые люди постараются ещё и палки вам в колёса сунуть! — Павловский возбуждённо открыл слегка помятую дверцу повидавшего жизнь напольного холодильника «Полюс», оправдался: — Вот, никак новый не привезут, впрочем, это сейчас не главное!

Извлёк из его недр, забитых коробками с реактивами и медикаментами, сиротливо смотревшийся лимон на блюдце. Хирургическим скальпелем уже из ящика стола тонко накромсал на кружочки, затем скрупулёзно каждый надвое. Выудил из остеклённого шкафчика, зажатого коробками в углу кабинета, нераспечатанную бутылку армянского коньяка. Осознанно или нет, но профессор выказал тем самым полное пренебрежение к провозглашённой партией и правительством бескомпромиссной борьбе за трезвость, да ещё перед младшим коллегой из другого стационара. Напрасно на такое бесчинство с укором взирал сверху моложавый генсек КПСС. Станислава никто не спрашивал, да он и не думал возражать, с интересом наблюдая за действиями Семёна Аркадьевича, радующими глаз и согревающими душу. Вдогонку появилась наполовину пустая коробка шоколадных конфет и майонезная баночка с сахарным песком. Дольки лимона украсились белыми барханчиками, рядом незамедлительно изготовились к делу две коньячные рюмки.

— Знаете, Станислав, почему я нисколько не обижаюсь на жену нашего пациента? Её можно понять и оправдать. Давайте посмотрим глазами жалобщицы. Горячо любящий муж, допускаю, просто близкий проживший годы рядом человек, отец её ребёнка оказался при смерти. Конечно, она согласна на любое лечение, дающее какую-то надежду. Она даже готова к тому, что вместо привычного супруга может получить уже психически больного человека, как её и предупредили. Пусть, лишь бы выжил. В то же время она не верит до конца в такую возможность, надеется на высшую справедли-

вость. Берёт на себя роль няньки, сиделки и прочее, согласна на всё, только бы вернуть его. Но проходит месяц, другой, а зримого эффекта нет, хотя больной не погиб. Молодая женщина теряет веру в благополучный исход, её терпение иссякло. Она устала ждать, потому легко поддаётся слухам, уговорам. Ей начинает казаться, что из мужа в научных целях умышленно сделали слабоумного! Она в отчаянии, а тут очень кстати подворачивается услужливый советчик. Этакая добрая душа, которой наша несчастная может поплакаться в жилетку. Он и оказался любителем и мастером кляуз, каковые у нас никогда не переводятся. Воспользовался её сомнениями, указал виновных. Открыл ей, так сказать, глаза, кто виноват и что делать в одной посуде! Конечно же, всему причиной нерадивые корыстные медики, мужа не вернёшь, но надо наказать, отмстить, чтоб другим неповадно было! Ату их! Выход найден, хлоп, и жалоба готова. А вдруг тогда, словно по мановению волшебной палочки, можно будет директивно вернуть назад неправильно подремонтированного кормильца? Закон исполнят, и все, кроме негодных врачей, снова заживут долго, спокойно и счастливо!

С этими словами, которые с большой натяжкой могли сойти за длинный тост, Павловский чокнулся рюмками с Веткиным и подвинул к нему треснутое блюдечко ленинградского фарфорового завода с тонкими полукружиями лимона.

— Ну, так вот. Далее приводится в действие некий механизм, достаточно проржавевший, но ещё пригодный для разбирательства таких вот сигналов, изначально призванный устанавливать нарушенную социальную справедливость — наша юстиция. Разумеется, за нами нет никакого преступления, разумеется, после долгой нервотрёпки нас оставят в покое, а истцам объяснят, что к чему. Но самое досадное не в потраченном зря времени на оправдания. И даже не в отсутствии признательности у родственников за то, что хоть как-то продлили жизнь их ближнему. Обидно, что они, и родственники, и правоохранители, да мало ли кто ещё, ни черта не видят дальше носа, дальше своих предписанных формальных обязанностей. Они не понимают, не могут понять, какое важное для всех дело мы начали, просто психологически к тому не готовы. Ведь в чём суть? Из старого уже непригодного материала, каковой раньше неминуемо отправлялся в прозекторскую, мы пробуем создать нового человека. И это не пустые слова! И не творение пресловутого Франкенштейна, а подлинное возрождение жизни заново из праха. Да эта работа, как минимум, на государственную премию тянет! И это, заметьте, не я сказал! Только бы не помешали, дали бы завершить!

С последними словами профессор покосился на слушателя, будто и он был одним из тех, кто хотел помешать новаторской работе. Но Веткин продолжал молчать, переваривая информацию, и учёный продолжил:

— Впрочем, Станислав, эйфория пока неуместна. Организационно всё ещё очень неопределенно, не говоря о финансировании. Увы, случаи после реанимационной декортикации никак не предусмотрены нашим законодательством, из-за чего сразу возникает куча проблем. Пока таких пациентов единицы, их можно подержать в регенерационном центре, но затем для реабилитации понадобятся учреждения нового типа. А сколько мороки с экспертизами, оформлением пособий по инвалидности по психическому заболеванию до их полного восстановления, а то и пожизненно! Кто возьмёт на себя все расходы? Государство? На его щедрость рассчитывать не приходится, это же не первостепенной важности оборонка или космос! Да и выколачивание положенных по закону крох отнимет немало сил и времени, вместо того чтобы своими делами заниматься. А семьи, жёны, дети пострадавших, которые, несомненно, предъявят на них юридические права и которых эти новые личности вполне оправданно со своей точки зрения могут не признать? Тут возникает столько коллизий, что разрешить головоломку окажется под силу, если вообще возможно, только целым институтам. Проблема-то комплексная, этакая глыбища.... Ну, да это долгий разговор! Вы-то наверняка понимаете, уважаемый Станислав, в каком интересном деле вам повезло участвовать? Ради этакого стоит потрудиться, не так ли?

Ощущая на языке воспоминания только что выпитого коньяка, Веткин смотрел на мутное небо в неприкрытой коробками половине окна и обдумывал услышанное. Ранние сумерки незаметно просачивались в помещение, придавая мебели и упаковкам таинственный неопределённый вид, хозяину кабинета пришлось зажечь настольную лампу. Видимо, он достаточно выговорился и теперь пытался успокоиться, маленькими глотками смакуя янтарный напиток. У Стаса же после второй дозы нашлись возражения, которые внезапно подсказал проснувшийся дух противоречия:

— Всё, что сказали, Семён Аркадьевич, справедливо только при одном условии — если этот заново возрождённый человек окажется не менее разумен и жизнеспособен, чем его предшественник, извините, исходный материал. Если только вообще сможет жить полноценной разносторонней жизнью. Иначе зачем из соображений абстрактного гуманизма или чистой науки увеличивать число идиотов? Где гарантия, при всех затратах, что через полгода или год он не схлопочет повторный инфаркт с

летальным исходом, или какая там у него первичная патология? Ведь организм-то, тело остаётся прежним — с некрозом в миокарде, с атеросклерозом коронарных или мозговых сосудов! Новый разум в бывшем в употреблении, так сказать, «бэушном» порченном болезнью теле — разве это нормальный результат приложенных усилий? А как же «в здоровом теле — здоровый дух»? Не ошибочна ли сама идея? Что же получается, чтобы создать нового человека с новым мышлением надо ждать инфаркта?! Явно порочный подход, какие могут быть этому оправдания? Столько говорилось о профилактической направленности нашей медицины! Главная цель в будущем — вообще не допускать инфаркта миокарда, так? Я читал, находят признаки атеросклероза у детей уже в четырёхлетнем возрасте! Вы, конечно, в курсе, на Западе предполагают разработать вакцину для предупреждения этого процесса с первых лет жизни, уже и нобелевка обещана? Вот заманчивый путь, пусть пока в теории! Если после клинической смерти сохраняются бляшки в сосудах сердца, да ещё и рубцы в миокарде — методом выбора остаётся только оперативное вмешательство, иначе новый человек — новое сознание в больном организме обречён! — с горячностью выдал Веткин, едва успев обдумать услышанное от профессора.

— Да, вы, несомненно, правы, хотя и несколько утрируете, Станислав. Психическая и социальная реабилитация ни в коем случае не снимают вопрос о радикальном излечении основного заболевания, в случае инфарктников — шунтирования коронаров. Конечно, процедура технически и организационно упростится со временем, подешевеет, станет общедоступной. Наверняка появятся новые технологии, материалы. Вы затронули очень важный вопрос. Но, в силу недостатка информации, видите только край проблемы. Как ни странно, в первые месяцы нашего лечения у реанимированных при инфаркте совершенно исчезали признаки поражения венечных артерий. Представляете? То есть налицо как бы обратное развитие болезни: бляшки в коронарах исчезают! То ли это побочный эффект новых медикаментов, то ли результат отсутствия прежних стрессов у заново рождённого мозга, в механизме ещё предстоит разбираться. Впрочем, бесспорных отдалённых результатов мы пока не имеем, а потому не спешим с публикацией данных. Но в целом речь идёт о сохранении человеческого существа, пусть и с отличным от исходного, как бы «нулевым» сознанием. Это не просто революционно, а полностью переворачивает прежние научные представления! И потом, большинство поступающих к нам в центр всё же не больные ишемической болезнью сердца или мозга, хотя она остаётся одной из главных причин смертности и инвалидизации населения, как вам хорошо известно. У нас немало декортикаций после ДТП, различных травм, отравлений, суицидальных повешений. Есть случаи перевода из академии Бурденко тяжелораненых в Афганистане с сочетанными поражениями мозга...

Станислав несогласно качнул головой:

— Конечно, я понимаю, гуманизм, приоритет сохранности жизни и всё такое прочее, но...

— Берите халат с вешалки, идёмте со мной. Вы немедленно получите некоторые ответы.

6. «МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИМАЕМ ТОГО, ЧТО СТОИЛО ПОНЯТЬ»[1]

Они проследовали слабо освещённым коридором без признаков жизни, ещё более профессорского кабинета походившим на склад. Огромные нераспечатанные ящики оставляли узкий проход, но теперь они не вызывали у Веткина давешнего удивления, когда Павловский вёл его этим путём к себе. Он уже знал, что всё это новое оборудование будет скоро установлено после окончания перепланировки и ремонта верхних этажей. Спустились на лифте двумя этажами ниже и угодили в совершенно иной мир, наполненный светом и движением. Встречные почтительно приветствовали Семёна Аркадьевича и его гостя, уступали дорогу. Здесь располагалась вотчина профессора Павловского, в которой он являлся высшей инстанцией. Разминулись по пути с каталкой, накрытой простынёй, намётанный глаз реаниматора безошибочно определил материал для прозекторской. Веткин вопросительно посмотрел на спутника.

— Не удивляйтесь, Станислав, мы же здесь не одной психотерапией занимаемся...

Профессор привёл его к изолированному боксу, и, прежде чем шагнуть внутрь за дверь с тёмным стеклом, Стас ощутил неожиданное волнение, будто остановился на пороге неизвестного. Он тут же мысленно одёрнул себя: откуда такой нелепый пафос, из-за трёх рюмок коньяка, что ли, в самом деле? Тут же заторопился за провожатым, но странный настрой уже не отпускал.

За небольшим тамбуром взору открылась просторная палата. При их появлении,

[1] Николай Гумилёв, «Восьмистишие».

приветствуя вошедших, со стула у единственной койки упредительно поднялась медсестра средних лет. На новёхонькой функциональной кровати, гораздо более сложной и современной, чем виденные Стасом прежде, находился пациент в синей пижаме. Внешне он выглядел немногим старше самого Веткина, и, хотя с порога показался знакомым, не сразу удалось признать в нём своего недавнего пациента, настолько изменился теперь его вид. Кроме остаточной бледности, объяснимой долгим пребыванием в четырёх стенах, никаких намёков на недавний недуг. Глаза больного совершенно равнодушно скользнули по Стасу и остановились на профессоре.

На тумбочке лубочным пёстрым переплётом кверху лежали раскрытые «Русские народные сказки». Странный выбор, подумалось Веткину, но не «Декамерон» же ему с ходу читать! Вполне во вкусе Павловского. Мягкий без ворса ковёр на полу гасил звуки, жёлтый свет мягко струился из настенных плафонов, за окном в сгустившихся сумерках темнели голые ветви редких деревьев больничного сквера. Комнату наполняла атмосфера покоя и замкнутости, особый микроклимат, ничем не напоминавший привычного шумного мира снаружи. Однако в здешнем застывшем воздухе ощущалось нечто тягостное, напомнившее Стасу обстановку в клинике психиатрии.

— Добрый вечер, Борис! — Павловский отказался от предложенного сестрой стула, кроме которого сидеть в палате оказалось не на чем. — Я вижу, дела у нас идут неплохо, читаем? — он приветливо улыбнулся, разглядывая больного, и лицо того внезапно засветилось ответной бездумной улыбкой. Никакого намёка на явные признаки слабоумия, которые ожидал встретить Веткин. Но всё равно, что-то с ним казалось не так. — Познакомьтесь, — Павловский подвёл гостя к больному. — Это врач, лечивший тебя прежде, именно благодаря ему ты можешь сейчас видеть, слышать, думать. Это твой крёстный отец, понимаешь?

«Слишком сильно сказано!» — вовсе не от скромности поморщился Веткин, не ожидавший от профессора такой патетики. Но обитатель палаты, к его изумлению, вполне осмысленно кивнул, пустая улыбка исчезла с лица, с видимым усилием он сосредоточенно выдавил из себя эхом только что прозвучавшее слово:

— О-тес... о-тес...

Затем ещё и ещё раз, старательно повторил, хотя никто его не заставлял. Неуверенно встал с кровати, сделал шаг навстречу.

— Станислав Дмитриевич, — внезапно почувствовав волнение, пересохшим горлом представился Веткин и замешкался в сомнении, следует ли подать руку?

И тут больной сам протянул ладонь, внятно, хотя и со съеденным «р», назвал себя. Стас услышал вполне нормальный мужской голос, без примеси какой бы то ни было дурашливости. Собственное имя произносилось им нараспев, без напряжения, словно он сам прислушивался к заново звучащим для него звукам:

— Бо-я... Я — Бо-ис...

«Да нет же, он просто идиот!..» — растерянно подумал Стас. Хотя у идиотов, насколько помнилось из учебника, язык наружу, слюни, сопли постоянно текут и так далее. Тем не менее, перед ним явно слабоумный с нарушенной артикуляцией. Кто там следующий по шкале олигофренов: имбецил? Логопедам ещё с ним работать и работать.

Веткин машинально пожал раскрытую навстречу мягкую, неприятно влажную ладонь, вспомнив, что в происходящем сейчас есть доля его вины или заслуги.

И тут ему показалось, что он сам сходит с ума, почудилось щекочущее прикосновение извне к собственному сознанию. Словно несмелые тычки пальца маленького ребёнка или гладкий язычок щенка, лижущий ладонь. Ощущение оказалось неприятно щекотливым, почти невыносимым, его едва не передёрнуло всего. В то время как во взгляде больного по-прежнему отсутствовала осмысленность, невидимые пальцы продолжали легко скользить по поверхности разума Станислава. Не верилось, что странный пациент в пижаме может иметь к тому отношение. Его невыразительные глаза продолжали смотреть бездумно и равнодушно, но Веткин уже не сомневался: непостижимым образом реанимированный смог проникнуть к нему в сознание.

«Нет-нет! Нельзя! — беззвучно про себя закричал Стас. — Уходи! Прочь! Вон из моего мозга!»

В глазах Бориса метнулся испуг, он отдёрнул руку, словно обжёгся. Гнетущее давление на разум тотчас исчезло, Веткин решил, что ему померещилось.

Больной разом сник, прилёг на постель с усталым видом и уставился в потолок. Вряд ли Павловский и медсестра смогли что-то заметить, да и как это было возможно? Может, беседа с помощником прокурора вызвала у Станислава столь странные последствия? Может, именно так и сходят с ума? Как ещё объяснить подобное? Не настало ли время и для него лично бесповоротно присоединиться к рядам борцов за трезвость? Жутко захотелось курить.

Ничего не говоря, он вышел в коридор проветриться у приоткрытого торцового

окна, за которым тянулось ещё одно многоэтажное серое строение с рядами квадратных окон.

— Палкин, ты, что ли?! Ну, привет-привет, второй московский! Надо же, кто тут собственной персоной! Такие люди и без охраны... — раздался позади давно не слышанный развязный с хрипотцой голос. По сходству с фамилией кто-то брякнул в начале первого курса института, так оно и прилипло: «Ёлкин» да «Ёлкин-Палкин».

Станислав быстро обернулся — реакция реаниматора всё-таки! И, подыгрывая, ответил без труда узнанному однокурснику:

— Второй московский — форева! Здорово, курсант База!

В свою очередь своим странным прозвищем тот обзавёлся на военной кафедре, когда на вопрос проводившего занятие майора понёс полную ахинею про базу тылового обеспечения. Кроме дружного смеха присутствующих, его сразу и наградили таким надолго прилипшим погонялом.

— Ты каким ветром здесь? Никак собрался к нам устроиться?

— Да нет, вовсе нет.

— А ты всё там же — в своей реанимации, в больничке?

— Да, знаешь ли, от добра добра не ищут...

— Ну, не скажи... ещё как ищут! Сплошь и рядом! Да и какое там у вас добро?! Откуда взялось? Сообщи-ка по секрету! Вот уж насмешил! Только, если надумал сюда переметнуться — не советую: не стоит. У нас комиссия за комиссией, задолбали вконец, того гляди, всё накроется медным тазом. Вначале ещё ништяк платили, а сейчас, не поверишь, сущие копейки, все надбавки и премии поснимали... Что же у тебя за дела с профом нашим. Видел, как ты с ним по коридорам тёрся: прям вась-вась!

— Ошибаешься, Ярик. Просто у нас сотрудничество, мы вам поставляем тяжёлые случаи, наверное, сам знаешь?

Они обменялись номерами телефонов и условились о встрече через неделю.

Подошел профессор. Бывший однокашник мгновенно стушевался и ретировался прочь.

— Скажите, Станислав, там в палате между нашим пациентом и вами что-то произошло?

Напрасно Стас полагал, что профессор ничего не заметил.

— Нет, Семён Аркадьевич, ровным счётом ничего. Просто как-то необычно для меня, ведь полная декортикация...

— Понимаю, придётся привыкать, такие случаи не исключение. Лишние эмоции только помешают...

И сейчас, и потом Станислав продолжал колебаться, не рассказать ли профессору о действительно случившемся? Если это имело место на самом деле, то их Борис, человек с «нулевым» сознанием и новым мышлением, как выразился Павловский, мог представлять опасность для окружающих. Но слишком маловероятным то выглядело с позиций здравого смысла — полная небывальщина! Исходя из известного науке на сегодня подобного не объяснить. У него же никаких доказательств, чтобы утверждать что-то наверняка. С чего бы Павловскому поверить ему на слово? Скорее, он сочтёт самого Веткина неадекватом, а тогда ни о каком доверии в дальнейшем не может идти речи. Сам Стас не мог решить, действительно ли мозг пациента приобрёл новую способность, которую не подтвердить ни энцефалографом, ни прочей имеющейся аппаратурой, или происшествие продукт его собственного воображения?

7. СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЛКОВЫХ ТЕЛ

Ещё в школе Веткин заинтересовался загадками человеческого мозга. Он старался не пропустить ни одной заметки или статьи по теме в популярных журналах «Техника-молодёжи», «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», которые иногда выписывала по его просьбе мать, но большей частью просматривал их годовые подшивки в читальном зале ближайшей библиотеки. Часами просиживал там за переводными книгами издательства «Мир», хотя далеко не всё мог в них понять.

Мозг, отражавший в себе внешний бескрайний космос, представлялся ему не менее, если не более, увлекательной собственной внутренней вселенной, имевшейся у каждого. Высшей нейрофизиологией, кроме Москвы, серьезно занимались тогда НИИ всего в двух-трёх городах Союза. Об исследованиях на Западе переводная информация доходила скупо и далеко не «первой свежести». Именно этот не убывающий интерес во многом определил выбор Веткиным будущей профессии.

Жизнь внесла свою правку, в институте пришлось довольствоваться факультативными лекциями по медицинской психологии и студенческим научным кружком на кафедре психиатрии, преподававшейся лишь на старших курсах. Но как же далеко то оказалось от знания физиологических основ разума, чем ему со школы мечталось

заняться! Всего лишь диагностика и лечение отдельных патологий поведения, не вписывающихся в современные установленные нормы — и не больше того.

За два дня до экзамена по психиатрии у студентки из их группы родился первенец, такое событие пришлось достойно отметить, тем более, и счастливый папаша учился с ними. Ничего удивительного, что даже разок пробежаться по билетам Стас уже не успел. К счастью, предмет неплохо преподавали в течение года, к тому же удачно применённое Веткиным знание творчества Достоевского произвело на экзаменатора неизгладимое впечатление. Обошлось без дополнительных вопросов, а в зачётке совершенно не готовившегося к экзамену будущего врача появилась отметка «отлично».

Но теоретическое знакомство — совсем не одно и то же с ежедневным ведением больных в клинике. Методы лечения душевнобольных не могли не впечатлять: психотропные препараты, инсулиновые комы, электрошок. Впрочем, последние два средства выглядели довольно изуверски.

Искусственной передозировкой инсулина у больных вызывали глубокую гипогликемию, приводящую к отключению обычного контроля коры мозга и состоянию «буйства подкорки». Предварительно обездвиженные люди превращались в беснующихся животных. Они рычали, по-звериному вопили, визжали, брызгали слюной, извивались ужом, не в силах избавиться от крепких вязок. Жуткое зрелище не для слабонервных, будто извлечённое с адских полотен Босха, да ещё с предельно натуралистической озвучкой.

Сходная внешне картина, но в течение очень краткого времени вызывалась электрическим разрядом, наносимым через налобные электроды. Чтобы пациент не откусил и не проглотил собственный язык, обычно в рот вставляли резиновый загубник. Судорожно поджатыми ногами и корчами после нанесения удара током несчастные живо напоминали Веткину гальванизируемых лягушек на занятиях по физиологии. Увидев раз-другой подобное живодёрство, Стас уже не сомневался: жестокое лечение само повреждает и здоровые, и без того больные клетки мозга, независимо от их исходного состояния.

В те годы за рубежом, особенно в США, увлекались лоботомией — то ли оперативным способом судебного наказания, то ли принудительным лечением признанных опасными для общества личностей. Десятки тысяч перенёсших её избавлялись от агрессивности, становились вялыми и пассивными на всю оставшуюся жизнь, совершенно теряли способность что-либо самостоятельно решать, более того, навсегда теряли собственную личность, своё «я». Сколько бы ни утверждали за рубежом о карательной направленности советской психиатрии, но в нашей стране подобную изуверскую операцию запретили в самом начале пятидесятых ещё до открытия и распространения аминазина, революционного успокаивающего средства.

Интерес Веткина к предмету значительно угас при знакомстве с клинической реальностью. Потом он не раз интересовался у психиатров, как же они могут лечить патологию, если до сих пор никому точно неизвестно, как работает мозг у нормальных? Ничего путного ни один из них ответить не смог. Практическая психиатрия всегда держала граждан в определённых рамках, установленных законом, удобными для общества правилами приличия и поведения. Но то, что ранее считалось ненормальным и показанием к принудительному лечению, спустя десятилетия нередко признавалось нормой жизни.

Нескольких занятий в психиатрическом стационаре оказалось достаточно, чтобы навсегда разочароваться в этой стезе. Как только дверь позади него наглухо запиралась спецключом, Стас ощущал тягостную атмосферу, разительно отличную от прочих больниц. Нет, воздух там оставался достаточно чистым, помещения ежедневно проветривались, а полы намывались дезрастворами дважды в сутки. Но, едва он оказывался в коридоре отделения, что-то немедленно сдавливало мозг, словно невидимая нездоровая аура от здешних больных сразу касалась и его. Поначалу Веткин отнёс подобное на счёт собственного воображения, но потом, не раз обсуждая такое впечатление не только с однокурсниками, убедился, что неприятное чувство появлялось и у многих других в любых психлечебницах, без исключения.

Испытанное теперь в палате Бориса напоминало давно забытое, только оказалось намного сильнее прежнего. Он решил никому ничего не рассказывать и не ломать голову понапрасну, но полностью выбросить из памяти необъяснимый случай не смог.

Когда-то западные радиоголоса на коротких волнах донесли до студента Веткина отрывки из книги Реймонда Моуди, кажется, «Жизнь после жизни» она называлась. Ссылки на очевидцев, перенесших клиническую смерть с обязательными полётами по трубам-тоннелям к светозарному существу и взглядами со стороны на своё обездвиженное тело, хотя и представлялись ему полной фантастикой, произвели неизгладимое впечатление.

Сразу подумалось: «А что, если правда? А почему бы и нет?!» Так хотелось надеять-

ся и не просто верить кому-то на слово, а твёрдо знать о грядущей загробной жизни, о нетленности наших душ, заключённых во временные бренные тела. Это противоречило всему почерпнутому в школе и институте. Но как бы хотелось! Вот бы иметь гарантию лучшего впереди с одновременным оправданием бесцельно проживаемых лет! Но полученное советское образование с материалистическим объяснением фактов природы заставило усомниться в правдивости занятных россказней. Как можно принимать за чистую монету откровения каких-то неведомых очевидцев, не испытав, не убедившись самолично?

Когда Веткин начал работать реаниматором, в первый же год вытащил из клинической смерти троих, а затем пошло-поехало, почти каждый месяц по одному, а то и по два-три случая. И всех возвращаемых к жизни, как только они приходили в себя, дотошно расспрашивал о последних ощущениях, воспоминаниях, о подробностях только что пережитого под запись. Когда число опрошенных перевалило за тридцать, он бросил затею из-за однообразия ответов, ничего нового никто ему не сообщал.

Сам автор растиражированного бестселлера Моуди к реаниматологам не относился, но в своей книге утверждал, что использовал показания нескольких десятков перенесших клиническую смерть. Результаты такого заведомо предвзятого опроса без строгой документации каждого случая вызвали у Стаса большие сомнения. Кроме субъективности автора и желания беспроигрышно заработать на новой сенсации, наверняка имело место стремление привлечь интерес к собственной персоне. Речь шла, скорее, не о научном подходе, а о вере совершенно бездоказательным заявлениям, подогнанным под заранее заданную схему.

Хотя сам Веткин пообщался с ненамного меньшим количеством подобных пациентов, их слов оказалось достаточно, чтобы убедить его. К тому же все эти клинические смерти случалась непосредственно у него на глазах. Никто из вернувшихся к жизни никогда не видел и не помнил ничего близко похожего на описанное в книге американского психолога. Все опрошенные Станиславом больные пережили полную остановку кровообращения или фибрилляцию сердечной мышцы — ту же самую клиническую смерть с утратой сознания. Сердце перестаёт прокачивать кровь к органам, и через пять минут подобного состояния без помощи извне нейроны мозга гибнут первыми, наступает уже необратимая биологическая смерть.

Теперь при ежедневной работе с больными, часто близкими к невидимой конечной грани, человеческий организм представлялся ему, прошедшему подробные курсы анатомии и физиологии, сложным механизмом, чем-то в разы превосходящим работающий от сети транзисторный радиоприёмник. Стоит неизбежным обстоятельствам вырвать вилку из розетки, резко отключить питание, какие-то ничтожные секунды радио ещё продолжает вещать через динамик голосом диктора малозначимую ерунду: «Блям, блям, блям...» — затем внезапно глохнет, и наступает полная тишина. Так и душа наша, скорее всего, продукт биохимической жизни тела, после остановки сердца уносится прочь в пространство последним электромагнитным или биоэлектрическим импульсом, всего лишь удаляющимся эхом навсегда затухающего обесточенного сознания.

«Жизнь — это способ существования белковых тел, состоящий в постоянном самообновлении частей этих тел», и ничего больше! Кто бы спорил! Прозорливо заключил когда-то Фридрих Энгельс, даже не предполагая, что его цитату не только станут мусолить на занятиях по философии в советских вузах, но и находить тому новые клинические подтверждения в пику мистическим домыслам творцов раздутых сенсаций.

Впрочем, выжившие после утопления или повешения нередко утверждали, что до полной потери сознания перед их мысленным взором проносилась плотно сжатая картина всей прошлой жизни с мельчайшими подробностями от самого рождения. Это вполне объяснялось общим механизмом умирания клеток коры мозга при внезапной кончине здорового человека, когда в последний миг яркой вспышкой происходит бешеная активация памяти. У больных же, нередко находящихся под действием различных лекарств или болезнетворной интоксикации, переход к небытию наверняка должен отличаться на уровне клеточной биохимии. В общем, если подумать, ничего сверхъестественного или мистического, наверняка разгадка вполне материальна и даже несколько механистична...

Станислав не ленился коротко и чётко записывать свои случайные опросы, постоянно держа в кармане ручку и блокнот. Заранее не предугадаешь, когда потребуется реанимация, тем более, каков наперёд будет результат, какая уж тут плановость или предварительная готовность! Случай и ещё раз Его Величество Случай.

Правда, как он слышал, за рубежом с помощью компьютеров уже делали ежесуточные прогнозы вероятной смертности в процентах для каждого пациента палат интенсивной терапии либо реанимации. Таким образом заранее выявлялось «слабое звено», на которое персоналу стоило обращать больше внимания. Появление компьютеров в

наших, даже столичных клиниках Стас мог представить только в отдалённом будущем. Пока же он и другие врачи сами «на глазок» прикидывали перспективы своих больных с учётом имеющихся объективных данных, нечто вроде ежедневного тотализатора, на котором не сделаешь ставки и ничего не получишь даже в случае выигрыша.

Всё же Веткин старался упорядочить копившиеся заметки, даже обработал ответы вариационной статистикой, азы которой познал на младших курсах при выполнении студенческих научных работ. Разумеется, занимался тогда этим не вполне бескорыстно и не столько из интереса, сколько в расчёте на поблажки экзаменаторов соответствующих предметов, от оценок которых зависело назначение стипендии.

Набрав достаточно интересного материала, Станислав собирался попросить помощи у значимых в этой области учёных. Первым в списке оказался завкафедрой анестезиологии и реанимации, один из немногих, кого студенты уважали за человечное отношение к ним, а не за содержание лекций, заслуги или регалии. Веткин заранее решил даже согласиться на соавторство, лишь бы именитый профессор помог довести до ума статью и протолкнуть в специализированный журнал.

Но его самонадеянный план остался не исполнен. Станислав трезво рассудил, что не только уважаемый мэтр, но и любой имеющий степень и должность реаниматолог, скорее всего, посмеётся над его кустарными изысками как совершенно ненаучными. Корифеи наверняка посчитают их вне магистрального пути развития советской реаниматологии. К тому же никак невозможно определить в цифрах практическую пользу подобных исследований для народного хозяйства. Заслуженные работники у государственной кормушки вряд ли могли воспринять книгу Моуди всерьёз, если бы даже познакомились с нею в то время. Их больше беспокоила сохранность собственной прижизненной репутации, дававшей различные льготы и привилегии. Признание сомнительных с их точки зрения подходов, ни в какие планы не включённых, никем не санкционированных, не рецензированных и не одобренных свыше, как и полученные таким путём результаты, грозили потерей для них своего авторитета и престижного положения в научной среде.

Стас не отчаивался и самостоятельно переработал материал в статью для научно-популярного журнала. Сам распечатал несколько экземпляров на портативной машинке, одолженной у приятеля за три литра пива, и разослал заказными письмами в многотиражные «Техника — молодёжи», «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Изобретатель и рационализатор», причём в две-три редакции даже попробовал сунуться сам. Несмотря на общий доброжелательный тон внутренних рецензентов и сходство отказов или отлупов, будто под копирку писанных, не нашлось ни одного исключения, если не считать, что в одном месте ему посоветовали писать научную фантастику и взять за образец повести братьев Стругацких.

И вот теперь Веткин увидел ещё одно подтверждение своим прежним выводам. Факты таковы, что в оживлённом теле Бориса Н. с отмершим мозгом произошло полное стирание личности вместе с памятью о прежнем существовании. Новейшая методика регенерации так и не помогла воссоздать полноценный разум.

Почему бы не предположить, что погибшие и затем вновь восстановленные клетки коры потеряли умение поддерживать цельное сознание, но взамен приобрели не определяемую имеющимися датчиками способность экстрасенсорного воздействия на других? Вероятно, то могло оказаться побочным эффектом новых, не изученных достаточно в клинике лечебных препаратов. Но закрепилось ли столь необычное качество или имел место случайный эпизод? Не сумеет ли такой реанимированный контролировать и подчинять себе находящихся рядом? Трудно представить, насколько опасным для окружающих он станет со временем! Сам Стас рад был бы немедленно удостовериться, что это не больше, чем его пустые, ничем не подтверждённые предположения.

Кроме Павловского, делиться своей тревогой оказалось не с кем. Его бы просто подняли на смех. Не факт ещё, что и Семён Аркадьевич серьёзно воспримет его откровение. Как ни крути, Павловский, при всей своей эрудиции, человек совершенно другого, старшего поколения. Он, прежде всего, стремится к скорейшим практическим результатам, за которые можно отчитаться и получить финансирование. У него и без того проблем в избытке. Зачем ему ничем не подкреплённые ощущения Веткина на грани бреда? Слишком неправдоподобно и бездоказательно... Скорее всего, профессор даже не выслушает до конца. В лучшем случае решит, что Станислав перечитал фантастики, что ему недостаёт трезвости мышления... И прощай тогда прежнее доверительное сотрудничество.

Заново обдумав невероятное происшествие, Станислав постарался выкинуть из головы случившееся или только померещившееся при рукопожатии Бориса.

8. «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»[1]

Светлым погожим днём Борису впервые позволили выйти в парк, разумеется, под обязательным присмотром. Дородная нянечка тётя Клава одним видом внушала ему робость и отбивала малейшее желание почудить. Он с опаской поглядывал на серьёзное лицо наставницы, ожидая в любой момент внезапного окрика. Давно хотелось делать всё самому, что в голову взбредёт, а тут такая досада! Впрочем, его мнения никто не спрашивал. И он понуро плёлся рядом тише воды, ниже травы. Имевшая на все непредвиденные случаи чёткие инструкции санитарка не сомневалась, что при необходимости запросто справится с доходягой, благодаря своей комплекции, а там и подмога быстро подоспеет.

Насторожённость Бориса улетучилась под яркими лучами весеннего солнца, их тепла пока не хватало, чтобы растопить лежащий повсюду рыхлый крупитчатый снег. Лишь на отдельных очищенных участках дорожек проступали чёрные пятна мокрого асфальта. Первый раз увиденные вблизи сугробы, последние бастионы зимы, как и белая бахрома запорошённых сосулек на ветвях, заворожили его. Перед ним открылось многообразие жизни, о котором он не имел представления. Непривычно яркий свет, голубизна неба, дурманящий незнакомыми запахами, свежий после больничной затхлости воздух вскружили голову. До сих пор он мог наблюдать плоскую картину в оконном стекле, даже не предполагая действительной объёмности мира вне стен палаты. И вот восприятие окружающего перехлестнуло пороговые возможности всех его чувств. Недолгая оторопь быстро прошла, зато появилось новое пьянящее ощущение избыточности собственных скрытых сил. Ему захотелось кричать от радости, бегать, кувыркаться в снегу, неосознанно уподобляясь недавно появившемуся на свет кутёнку. С опаской нюхал белый снег, касался его щекой, губами, осторожно пробовал на язык. Расширенными глазами наблюдал, как холодный пушистый слепок тает от дыхания и тепла ладони, растекается по коже прозрачной влагой.

Исполнявшая роль надзирательницы насторожённо следила за его подозрительными действиями, лишь иногда снисходительно посмеивалась, опираясь на черенок деревянной совковой лопаты, пусть себе покуролесит чудик, лишь бы убежать не пытался! Помня строгий наказ начальства, она ни на минуту не выпускала из поля зрения непредсказуемого подопечного с явными тараканами в голове. Несмотря на объяснения врачей и медсестёр, ей казалось, что этот великовозрастный дядечка с «прибабахом»» хитро прикидывается недоразвитым малолеткой, поджидая момент устроить мерзопакостную каверзу.

Но и Борис, при всём теперешнем избытке чувств, не забывал о приставленной к нему неприветливой молчаливой тётке, не спускавшей с него глаз. Как же все его достали своей навязчивой опекой! Но что он мог? Пока приходилось хитрить, изображать из себя паиньку, чтоб не дать повода прервать чудесную прогулку.

Днём раньше на ждущий с нетерпением весну город неожиданно запоздалым бураном обрушился северный ледяной ветер. Принесённые им тяжёлые свинцовые тучи просыпались белой крупой, быстро сменившейся густыми хлопьями снежной бури. Шквалистые порывы без удержу швыряли их щедрыми горстями куда попало, будто природа пыталась разом наверстать упущенное за всю зиму. Уровень суточных осадков превысил месячную норму, видимо, и в небесной канцелярии прибегали к спешному выполнению принятого кем-то наверху нереального плана. И вот неуёмное неистовство запоздалой пурги сменилось покоем ясного солнечного дня.

До прихода Бориса и тёти Клавы уже с десяток-другой больных и сотрудников расчищали аллеи, сгребали снег в огромные кучи. Когда санитарка всучила в руки подопечному внушительную лопату, он растерялся, но, подражая другим, постепенно освоил и даже увлёкся не знакомой до того работой. Непривычный труд под открытым небом не шёл ни в какое сравнение с ежедневным принуждением на велотренажёре или на ленте беговой дорожки в четырёх стенах. Встревоженной тёте Клаве пришлось даже сдерживать его, а потом и строго осадить, отобрав инструмент. Тот угомонился далеко не сразу и какое-то время сердито бормотал под нос что-то неразборчивое, исподлобья бросая недобрые взгляды на охранщицу.

— Да ты, никак грозишь мне, шнурок? — только и спросила она с угрозой, но ответа не дождалась.

Тогда, чтобы успокоить и отвлечь снова замкнувшегося в себе поднадзорного, санитарка начала лепить из податливого снега фигуру. Это сразу заинтересовало его, с некоторой опаской он наблюдал, как быстро скатанные белые шары с приделанными продолговатыми руками из того же липкого снега приобретают вид неведомого создания. Пробовал подражать, поучаствовать в действии, но только мешал своей неуклю-

[1] Наум Олев, «За полчаса до весны».

жестью. Сделать что-то путное самому так и не удалось.

Тем временем скульптура тёти Клавы приближалась к завершению, подобранные угли заняли место глаз над носом из коры дерева, старое пластиковое ведёрко цилиндром увенчало голову. Перед Борисом предстало сказочное существо, только что самым чудесным образом возникшее из ничего по воле мастеровитой нянечки. Вот только жизни в застывшем белом существе не чувствовалось совершенно, да и оживи оно вдруг, насколько доброжелательным оказалось бы тогда к нему, Борису?

Постепенно подтянулись другие работнички, вразнобой с шутками-прибаутками хвалили творение санитарки. Сложили вместе лопаты, кто-то закурил, пока перешучивались, нашёлся хохмач, ловко пристроивший белой фигуре две огромные груди. Теперь непонятного пола уродливое существо определённо превратилось в снежную бабу.

Кроме бдительной тёти Клавы, никто не обращал внимания на Бориса. Но сам он внезапно утратил интерес к снеговику, только что превращённому в снеговичку, и не слушал произносимые другими, по-прежнему во многом непонятные для него слова. На расчищенной дорожке появилась светловолосая женщина со знакомым лицом, её кожаное пальто и чёрная широкополая шляпа резко выделялись на заснеженном фоне парка. На плече в такт шагам мерно покачивалась небольшая сумка в цвет пальто и сапожек на высоких каблуках. Борис забеспокоился, почти запаниковал, ему захотелось убраться прочь, спрятаться где угодно, только бы не видеть эту нежелательную посетительницу, избежать ещё одной встречи с ней.

Он издали приметил её, тут же признав, иначе и быть не могло. Она помнилась по неясному состоянию, из которого он только начал выходить недавно. Она раздражала его, притягивая и отталкивая одновременно, когда ещё он оставался в постели. Он хорошо помнил запах её волос, голос, добивавшийся от него непонятного, настойчивые глаза и по-хозяйски бесцеремонные руки. Потом, к его облегчению, она перестала являться, словно её ветром сдуло. Борис только смутно догадывался, что сам послужил причиной исчезновения, и вот недавно она возникла вновь.

Последние дни эта женщина приходила снова и снова, говорила невразумительное, будто бредила и путала его с кем-то, не похожим на него, кем он никогда не был и никак не сможет стать, если бы даже сильно захотел. Упрашивала вспомнить нечто, никак с ним не связанное, никогда не происходившее, пыталась убедить то ли его, то ли саму себя. Он не понимал её слов, её поведения, её упорства, потому заведомо не мог ни на что согласиться. Поначалу он до головной боли силился вникнуть в смысл её домогательств, но так ничего и не уяснил. Снова прибег к проявившейся прежде способности общения без слов, мысленно открылся перед упрямой женщиной и попробовал войти в её сознание, но и на этот раз без успеха. Никаких точек соприкосновения, никакого взаимопонимания между ними не возникало.

Вначале её присутствие казалось приятным и не более того, но неизменная требовательность посетительницы вконец озлобила и оттолкнула. Он замкнулся, ушёл в себя, незримо ощетинился, будто ёж колючками, его насторожённость перешла в неприкрытую грубость. Инна, так она себя называла, твердила, будто была его женой. Не постигая значения большинства слышанных от неё слов, он не сомневался, что та предъявляет на него какие-то права, хочет ограничить и без того несвободное существование. Пыталась донести до него, как хорошо прежде они жили вместе с их общей дочерью с не менее непривычным, ничего не говорящим ему именем. Он не воспринимал почти ничего говорившегося ею, ему не с чем было сопоставить услышанное. Если бы даже слова открыли адресату свой подлинный смысл, Борис не поверил бы им. У него совершенно отсутствовали нужные для того понятия, в памяти не нашлось бы ни единой зацепки. Но она пробовала снова и снова, порождая в Борисе только бессильный протест и негодование.

Женщина привела девочку, приятными чертами лица и цветом волос походившую на неё. При виде насторожённого Бориса малышка неожиданно заплакала, вызвав у него новый приступ раздражения. Маленькая гостья непонятно называла его «папой», хотела обнять, упрямо тянулась потрогать лицо. Борис не мог терпеть подобное, казалось, его разыгрывают, неизвестно с какой целью навязывают чужую роль. Он вовсе ничего не чувствовал к девчонке, которую видел впервые, не желал её дальнейшего присутствия. Новые попытки женщины объяснить ему суть происходящего совершенно не находили отклика в его сознании. Девочка казалась даже более посторонней, чем её доводящая до бешенства настойчивая мать.

Затянувшаяся попытка свести с незнакомой крохой вызвала у Бориса взрыв беспричинной ярости, несколько дней его пришлось держать на сильных успокоительных. Посетительницы в испуге ушли почти бегом и больше не появлялись. Про девочку он тут же забыл, да она больше и не напоминала о себе. Докучливую блондинку Борис про себя давно называл «тётей», но когда однажды это слово ненароком сорвалось

у него с губ в её присутствии, он не мог не заметить болезненную реакцию женщины. Потом называл уже так с умыслом, чтобы снова испытать злорадство, если та в ответ не могла скрыть досады и разочарования.

Он не хотел приносимых яблок, апельсинов и конфет, только бы отцепилась, навсегда оставила в покое. Только бы не видеть её ни минуты больше, не терпеть её раздражающих приставаний. И сейчас в больничном парке, едва узнав посетительницу, не выдержал, на глазах у всех поднял деревянную лопату, изо всех сил ударил в середину снежной фигуры и с непонятной злобой бил, пока на месте творения санитарки не остался бесформенный сугроб. Никто из остолбеневших зрителей не решился удержать ещё минутой назад полностью спокойного буяна.

После необъяснимого вандализма Борис бросился ко входу в корпус, прочь от этой не отстающей блондинки, настырной и непонятной, от множества устремлённых на него осуждающих глаз. Сильно захотелось ударить пришедшую, как только что разваленную снежную фигуру, увидеть страх в её глазах, положить конец не прекращающимся хождениям и приставаниям. Только присутствие грозной тёти Клавы и молчаливый укор окружающих заставили его убежать, не дать выхода безумному желанию. Пытаясь спрятаться в лабиринте незнакомых коридоров от громко преследующих санитаров, он уже не видел, как горько плачет у снежных останков светловолосая женщина в чёрном кожаном пальто, как поспешно расходятся очевидцы его дикой выходки.

Некоторое время спустя, уставившись в потолок ничего не видящими глазами, накачанный транквилизаторами Борис лежал на койке в изолированном боксе. Срочно вызванный из дома Павловский удручённо сидел рядом. Получить от пациента разъяснения представлялось невозможным, свидетельница санитарка не сообщила ничего путного. Встревоженному профессору оставалось только строить догадки.

Мрачно разглядывая сквозь стёкла очков погружённого в медикаментозный сон больного, он невесело думал, что вся программа реабилитации оказалась под угрозой. Обидно, а поначалу всё выходило очень даже обнадёживающе! Почти не оставалось сомнений, что скоро уже другие специалисты завершат начатое воссоздание из почти умершего нового человека. Своим странным необъяснимым поведением Борис показал полную непригодность к самостоятельной жизни. Что-то с ним пошло не так, но что именно? Как ни крути, похоже, на этот раз их снова ждёт неудача. А ведь триумф казался столь близким!

Конечно, никаких гарантий успешного завершения проекта никто не мог дать, да и наработанных методик не существовало, откуда бы им взяться?! Но с каждым отдельным случаем накапливался бесценный практический опыт, на который можно было опираться в дальнейшем. Несмотря ни на что, работа должна продолжаться. К тому же, как назло, именно сейчас начались проблемы с финансированием...

Очень некстати пробудилась неуправляемая агрессия пациента, просмотренная психологами! А так бы хотелось отрапортовать наверх о победе, утереть всем нос, заставить заткнуться злопыхателей и завистников. Ободряло только, что тематика работы созвучна с лозунгом генсека о «новом мы шлении». Правда, на днях высокопоставленные доброжелатели предупредили о грядущей министерской проверке... Не ко времени, ох, не ко времени случился внезапный сбой в психике Бориса. Что ж, он напрямую обратится в самые высокие инстанции, использует свои связи, но не даст загубить перспективные исследования.

Сидя подле безразличного ко всему Бориса, Павловский не мог избавиться от мрачных мыслей. Позже он заглянул в ординаторскую, передал дежурным исправленный лист назначений и, уже уходя, распорядился, чтобы его подопечного подержали несколько дней в изоляторе.

9. «МЫ ТЯНЕМСЯ К ТОМУ, ЧТО НАМ ЗАПРЕЩЕНО»[1]

За окном над раскоряченными ветвями засохшего с лета тополя фонарный столб отчаянно взметал журавлиную шею в низкое сумрачное небо. На несколько минут пробившееся сбоку в разрыве свинцовых туч закатное солнце багрово и тускло отражалось на приплюснутом алюминиевом колпаке. Одинокий ворон, демонстрируя задатки экстремала, раскачивался на проводах, явно не печалясь отсутствием себе подобных. Похоже, его настолько задрало скучное сидение на былинном камне с путевым указателем для добрых молодцев, что он, наконец, не выдержал и пустился во все тяжкие. Вот только что он мог здесь забыть? Вещая птица уже с час не переставала мозолить глаза Веткину своим жутким то ли сказочным, то ли песенным видом, так и не раскрывая, предзнаменованием чего могла сюда прилететь?

[1] Омар Хайям, «Рубаи».

Не подававший с утра признаков жизни телефон-молчун на тумбочке в прихожей усугублял без того безрадостное настроение Стаса. На столе в треугольной пепельнице из чешского стекла возвышалась сюрреалистическая башня из натыканных под разными углами окурков. Два дня, как Веткин нарушил давний зарок. Табачный дым успел пропитать квартиру до каждого закутка, но форточка оставалась закрыта. Как самый последний лежебока, он безучастно валялся на не застеленной софе и медитативно таращился на вызывающе ведущую себя чёрную птицу за стеклом.

Двумя днями раньше жена, прихватив трёхлетнего Родьку, перебралась под крылышко тёщи. Такое случалось не впервые, но на этот раз Станислав с большей вероятностью подозревал, что холостяцкий период затянется надолго. Не первый год у них всё шло вкось и вкривь, Светлана очень сильно переменилась в последнее время, а в том, что причина могла крыться и в нём самом, копаться почему-то не хотелось.

Он не то чтобы очень сожалел об её уходе, но совершенно не представлял, что последует дальше и как можно воздействовать на череду событий, постоянно происходящих с ним помимо его воли. Участившиеся семейные ссоры, шумные разборки, громыхание предметами быта с битьём посуды в присутствии испуганного Родьки оставили тяжёлый, никак не проходящий осадок. Разве этого он хотел? Даже предположить не мог... Виноватым себя не считал, конечно, нервы ни к чёрту с этой изматывающей работой, ни поспать из-за дежурств нормально, ни поесть, да ещё с такой-то зарплатой! Упрекать себя ему казалось не в чем, не он первым начинал. Только вот Родька... Просто одно к одному, мистическая полоса неприятностей, будто кто-то невидимый спустил курок выстреливших по нему неудачных обстоятельств. И неприятный разговор с помощником прокурора оказался, похоже, лишь первой чёрной меткой.

Даже поездка к Павловскому не предотвратила накатившей затем депрессии. Веткин сомневался, а не связаны ли его неприятности с посещением регенерационного центра? Не забрал ли злосчастный Борис коротким рукопожатием его жизненную силу и, напротив, не передал ли ему свою отрицательную энергию? Впрочем, он не особо верил в такие нелепицы, да и вызов в прокуратуру случился до того, так что концы с концами не увязывались. «Так можно додуматься до чего угодно! Просто масть такая пошла, не фартит, угодил «в колею», прям по Высоцкому», — убеждал он себя. Тогда остаётся всего-то выскочить из неё, вот если бы ещё знать, как это сделать! Одно ясно: никто, кроме тебя самого, не поможет, под лежачий камень и вода не потечёт.

Веткин извлёк из импровизированного тайника за книжками на полке внушительную бутылку «Посольской», благодарность одного пациента ещё задолго до антиалкогольной кампании, решительно свинтил кручёную пробку, налил в стеклянную рюмку, понюхал и... вспомнил о шахматисте-любителе из квартиры напротив. Через пять минут, радостно потирая руки, он уже сидел напротив Стаса за столом...

Далеко за полночь прямо над шахматной доской с разбросанными фигурками Веткина сморил сон. Он не слышал, как отправился восвояси сосед, не помнил, как перебрался на софу. Но скоро под настырно мерзкий трезвон будильника Стасу пришлось подниматься... Наскоро умылся, проглотил стакан холодной заварки и побежал к станции метро.

Пятиминутка, как водится, растянулась на полчаса. Перед осмотром больных Станислав пропустил три чашки крепкого индийского чая в каморке сострадательной сестры-хозяйки. И едва успел начать обход, как его срочно вызвали в кабинет заведующего.

На кожаном диване, перпендикулярном к столу Зиновия, сидели два незнакомца, один в штатском плаще с коричневой папкой в руках, другой в милицейской форме с погонами капитана.

— Это и есть интересующий вас доктор Веткин. Извините, если сможете обойтись без меня, то я отлучусь по делам.

— Да, разумеется, к вам больше никаких вопросов. А вы присаживайтесь.

Стас непонимающе опустился на стул и попытался поймать взгляд уходящего Зиновия. Луцкий с напускным очень занятым видом торопливо выскользнул из кабинета.

— Гражданин Веткин Станислав Дмитриевич? Вам придётся ненадолго проехать с нами.

— Но... у меня же больные...

— Не беспокойтесь, ваш заведующий заверил, что сможет вас заменить. И давайте не будем ваньку валять, у нас тоже служба.

— Но я могу узнать, в чём дело?

— Вы должны проследовать с нами для проверки алкоголя в крови.

— ??? — на какое-то время Стас лишился речи.

— Мы получили сигнал об употреблении вами спиртного на рабочем месте. Думаю, вы не станете отрицать такой факт? Такие сигналы не положено оставлять без

внимания.

Стас посмотрел на свои «Командирские»: быстро же они приехали, очень, очень оперативно! И часа не минуло с момента его появления в больнице.

— Впрочем, мы вполне сможем обойтись без долгой и неприятной для вас процедуры, — изобразив на лице сочувствие, предложил капитан.

— Каким же образом? — поднял голову Станислав, всё ещё не понимая полностью происходящего.

— В общем-то, вы пока не подлежите уголовной ответственности. Но дальнейшее зависит от вашего желания сотрудничать. Если подпишите вот это, то избавите всех от не нужной никому волокиты. Вы же не станете отрицать, что не вполне трезвы?

Удивлённому Станиславу показалось, в глазах офицера в штатском промелькнула насмешка. Он увидел перед собой уже заполненный бумажный бланк и, поколебавшись, подписал внизу. В документе говорилось, что он, Веткин Станислав Дмитриевич, признаёт, что такого-то числа в такой-то час находился в состоянии опьянения лёгкой степени. Именно определение «лёгкой» окончательно сломило его сопротивление, ведь не «средней» же и не «тяжёлой», в конце концов!

Оба поднялись, весь вид их выражал удовлетворение от хорошо проделанной значимой для общества работы. Облачённый в штатское собрал бумаги в папку, торжественно застегнул плащ на все пуговицы.

— Ну вот, собственно, и всё, Веткин. Можете быть свободны. Вы нам больше не нужны. Остальное узнаете потом у своего главного врача. Думаю, дело ограничится штрафом и административным втыком, — Стасу даже послышались нотки участия в интонации капитана.

— А вы не могли бы сказать, кто сообщил?

— Нет, Веткин, это против правил. К тому же нам и самим пока доподлинно неизвестно. Звонивший не представился. Впрочем, могу только сообщить для вашего сведения: голос заявителя точно женский...

После наезда неизвестно кем вызванных милиционеров на работе всё завертелось калейдоскопом. Словно исполнительная администрация больницы только и ждала вмешательства силовых структур. Припомнили Веткину его отказ вступить в новоявленное общество борьбы не то с алкоголизмом, не то за трезвость.

— Ты подложил свинью нам всем, — категорично высказалась главный врач, седовласая женщина околопенсионного возраста. Такому образному заключению предшествовал сбор объяснительных записок от всех замешанных сотрудников и наскоро созванное общее собрание, пародийное подобие суда со словопрениями сторон и окончательным приговором. — Думаешь, станем тебя выгораживать? Вот и ошибаешься, дружочек! — говорила она так, будто Станислав нанёс глубокую обиду ей лично. Он никак не мог решить, действительно ли она настолько раздражена или это показное возмущение, опаска, как бы наверху не посчитали её недостаточно исполнительной. Теперь она точно могла отрапортовать о выполнении высочайших директив. Карие, давно утратившие прежнюю живость глаза смотрели на него с непонятным выражением, то ли осуждающе, то ли недовольно. Найти в них ожидаемую толику человечности оказалось сложно. — Боюсь, Станислав, нам придётся расстаться, ты же знаешь курс партии и правительства на трезвый образ жизни. Что получается? Вся страна, весь народ за, а наш доктор Веткин, выходит, против? Мы никак не можем потворствовать твоему нигилизму и остаться в стороне. Местком согласен на увольнение по статье, представь, уже из райкома звонили по этому поводу! Заварил ты кашу! Я не могу ничего поделать, не от меня зависит.

Занимала она должность без малого пять лет, однажды, когда Станислав с командой стационара занял второе место по шашкам среди медиков города, даже поощрила грамотой и чисто символической премией. Веткин застал её ещё на работе в гинекологическом отделении, и ему всегда казалось, что она неплохо к нему относится, как к молодому перспективному кадру коллектива больницы. Когда предыдущий главврач внезапно скончался от инфаркта миокарда во время планёрки, более подходящей кандидатуры на его место, чем заведующая гинекологией, не нашли, даже двух его замов отставили в сторону. Поговаривали, не обошлось без таинственного звонка чуть ли не из министерства. Правда, некоторые с самого начала сомневались, сможет ли она потянуть больницу, долго ли продержится? Но она смогла, потянула, продержалась, проявила недюжинную хозяйскую хватку, добилась улучшения всех показателей. В общем, проявила себя вполне соответствующей новой должности. В дополнение к обнаруженным административным талантам новая руководительница неплохо поладила с медицинским начальством, да и в райкоме партии, как выяснилось, нашлись влиятельные покровители.

В конце тягостного разговора Стас с горечью поинтересовался, неужели всё сде-

ланное им за годы неплохо выполняемой работы не имеет никакого значения и достаточно сомнительного ничтожного предлога, чтобы однажды оступившегося толкнули вместо помощи?

— Да вовсе не ничтожного и не сомнительного! Иногда один такой проступок разом перечёркивает всё хорошее, — назидательно изрекла, уже не скрывая праведного негодования, главврач. Ей явно не хотелось возвращаться к дебатам, решение официально принято и утверждено коллективом, о чём незамедлительно передано наверх. Вопрос закрыт.

— Но ведь жизнь человека ничем не зачеркнуть, а я спас не одного и не двух, — запальчиво с обидой возразил Стас. На миг показалось, будто ему удалось её расшевелить, при этих словах главврач посмотрела на него как-то иначе, но она только повторила вслух:

— Я ничего уже не могу сделать, Станислав, поверь...

Не может быть, чтобы она не услышала его, но вечная истина «своя рубашка ближе к телу» давно перевесила для неё остальное. Впрочем, какого сочувствия можно было ожидать от начальницы, стремящейся любым способом остаться на хорошем счету у руководства, когда уже оформление пенсии на носу! Она могла бы ещё вступиться за него, если бы поддержка провинившемуся не отразилась потом на её собственном положении, но сейчас случай был вовсе не тот.

Стас так и не понял, как это всё мгновенно понеслось. Внезапно всей больнице стало доподлинно известно: реаниматор Веткин среди будничного трудового дня, точнее утра, напился прямо на работе. Были и такие, которые недоумевали, чего это ни с того ни с сего с утра, мог бы и вечера дождаться, не дурак же полный, в конце концов! Многие сочувствовали: вложила Стаса Веткина какая-то сволочь из своих, но впрягаться за него, не зная подробностей, остерегались.

Собрание созвали незамедлительно, Станислав заранее приготовился к тому, что дело кончится административным взысканием, как предупреждали милиционеры, штрафом, может, временным переводом на нижеоплачиваемую должность. Да почти все так считали, в целом относясь к предстоящей говорильне как к докучливой формальности, нужной администрации для отчёта. И вдруг оказалось, что «употребление Веткиным спиртного на рабочем месте после утренней пятиминутки» стало неоспоримым фактом.

Стас пытался объяснить, что употреблял-то он накануне, а вовсе не на работе. По ходу разбирательства заявил, что единственным, с кем общался в то злополучное утро и кто мог бы подтвердить его правдивость, оказался Зиновий Луцкий. Неожиданно главным вопросом разбирательства стало, действительно ли произошло то на работе или перед ней. Взоры присутствующих обратились к Зиновию Александровичу. Луцкий встал и, пожав плечами, спокойно подтвердил, да, он первый встретил Веткина в отделении перед пятиминуткой, но сказать что-либо определённое о его тогдашней кондиции не может. Оба торопились на планёрку, не до разговоров было. Да, Веткин имел усталый нервный вид, но никакого запаха от него не ощущалось, и вёл он себя вполне адекватно, потому никаких подозрений на этот счёт не возникло, иначе к работе его не допустил бы...

И тут Стас отчётливо вспомнил, будто пелена упала перед глазами, как сам Зиновий шутливо подначил мимоходом, чего это он праздновал? И тут же, не дожидаясь ответа, панибратски хлопнул его по спине и со смехом заметил: «Хорошо же тебе, старичок, можно только позавидовать!» Но стоило Веткину неуверенно заикнуться о подобном вслух, как Луцкий снова недоумённо пожал плечами и с обидой в голосе заверил, что не припомнит такого факта, даже определённо не говорил ничего подобного. Его поблагодарили, с видом оскорблённого достоинства он сел на место, по-прежнему стараясь избегать изумлённого взгляда товарища.

Кто верил ему, кто Стасу. Всё-таки многие сочувствовали Веткину, хотя и предпочитали молчать, но некоторые пытались его защитить, как могли. Только секретарь парторганизации на пару с председателем местного комитета быстро и умело направили собрание в нужное им русло. «Какое может быть оправдание столь позорному явлению среди сотрудников? Да вы что, товарищи, опомнитесь! Может, кто-то ещё предложит за такое по головке погладить и почётную грамоту вручить с путёвкой на курорты Крыма?!» — не без сарказма интересовался парторг у примолкшей аудитории.

Разумеется, в актовом зале желавших таких нелепостей не нашлось. Тогда уже единодушно дали принципиальную оценку во избежание повтора подобного в дальнейшем, их лечебное учреждение не может оказаться в хвосте происходящего по всей стране. Последние чёткие меры партии и правительства недвусмысленно направлены на повсеместное оздоровление образа жизни. Медики в силу своей благородной профессии должны быть в самых первых рядах развернувшейся бескомпромиссной борьбы за трезвость. А получается что? Такие несознательные личности, как Веткин,

всех тянут назад. Как можно мириться? Станислав Дмитриевич взрослый человек, к тому же достаточно опытный врач, ему доверены жизни других людей, он должен был подумать, прежде чем так поступать. Что же, он сам не понимает, какое единственное решение может быть принято собранием после такого проступка?

Да, признал Стас, он осознаёт, что сделался пятном на коллективе, но просит дать возможность искупить вину добросовестной работой.

Что касается председателя месткома Стеллы Луцкой, то они со Стасом взаимно не переваривали друг друга со студенческой скамьи, она всегда в штыки принимала его запанибратские отношения с мужем, потому её резкое выступление нисколько не удивило. Но столь категоричная позиция парторга, два года как вернувшегося из Йемена хирурга со стажем, всегда находившего при встрече минуту приветливо поговорить со Стасом, не могла не озадачить. За этим скрывалось нечто большее, чем положенная по должности твёрдость партийца.

Да и какая уж там принципиальность! На прошлогоднее двадцать третье февраля, ещё до начала борьбы с алкоголизмом, вся больница отмечала День Советской армии. Недолго посидели в отделении, затем, как уговорились заранее, отправились на пару с Луцким продолжать праздник в их любимые со студенчества «Жигули» на Новом Арбате. Луцкий по такому случаю машину оставил в гараже. Уже на выходе из ворот встретили нового парторга больницы Николая Григорьевича Саенко. Он тоже успел попраздновать в хирургии и теперь охотно согласился на продолжение с реаниматорами. Бывший старше приятелей на полтора десятка лет Саенко охотно делился за столиком воспоминаниями о жизни в таинственной для наших граждан арабской стране. После «Жигулей» ему захотелось догнаться водкой, Стасу самому смутно помнилась какая-то незнакомая забегаловка, попавшаяся по дороге. Всё равно беспартийные молодые оказались выносливее пожилого хирурга-парторга, который вскоре потерял способность к самостоятельному передвижению. Пришлось доставить старшего товарища до дома на такси. И затем немало повозиться, пока транспортировали в лифте до нужной квартиры...

10. «...ОДИН... И – РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО...»[1]

Сильнее всего прочего теперь донимало желание общаться, просто неутихающий внутренний зуд обуревал Бориса. Неважно с кем, лишь бы обратили на него внимание, приняли за равного. Издаваемые им самим случайные звуки, как и недоступные его полному пониманию слова посетителей, не могли утолить эту жажду. Напрасно он снова и снова пытался использовать едва прорезавшуюся способность заглядывать в чужое сознание. Раскрывал свой разум навстречу каждому входящему, ожидая ответа, и не понимал, что подобное другим не дано от природы, его просто не слышат, а диалог между ними на таком уровне невозможен.

Никто из персонала не замечал его напрасных потуг, он натыкался на барьер чужих непонятных мыслей, переживаний, завалы бытовых и личных проблем, не оставлявших места иному. Эта невидимая стена преграждала пути к их внутренней сущности. Лишь однажды молоденькая студентка, не загруженная ещё повседневной рутиной, чутко уловила прикосновение к своему сознанию. Только его настойчивость закрепить случайный успех настолько испугала девушку, что больше практикантка в палате не появлялась. Какое-то время он ещё пытался беззвучно достучаться до попадавших в его мирок, но действовал теперь торопливо с опаской. С каждой новой неудачей внутри него нарастало раздражение, требовавшее выхода наружу.

Ему повезло ещё раз — пришедший с главным доктором по имени «Се-мён Ар-каде-вич» новый посетитель с порога привлёк внимание Бориса. Ему показалось, между ними тотчас возникла незримая связь, как ни с кем до того. А рукопожатие помогло через обострённую осязательную чувствительность ладони заглянуть в разум незнакомца. И тем неожиданнее и больнее показался Борису гневный мысленный окрик, выбросивший прочь из чужого сознания. Последняя надежда быть кем-то понятым исчезла навсегда.

Он загнал внутрь себя не используемые способности, замкнулся от окружающих в собственной психологической скорлупе. Возможно, новое вмешательство извне могло помочь, но откуда ему было бы взяться? Никто не слышал его беззвучного зова. Сохранилась лишь восприимчивость чужих эмоций, хотя он уже не различал, как прежде, цветные ауры мужчин и женщин вокруг себя. Обычные для людей способы общения выглядели намного беднее и ограниченнее, зато не вызывали в ответ болезненной реакции. Но, чтобы им научиться, требовалось немало времени.

Наконец он усвоил, что у него есть собственное имя, название, как и у всего окру-

[1] Сергей Есенин, «Чёрный человек».

жающего. Однако ему навязали столь странное созвучие, он не сам его выбрал и потому не чувствовал ни его обязательности для себя, ни малейшей связи звуков со своим сознанием. Поначалу имя просто понравилось, он охотно откликался на определённое обращение и даже старательно повторял вслух, чтобы лишний раз самому услышать его. После многих повторений до него дошёл смысл: именно так обозначается его личное «я», и эта звуковая бирка предназначена исключительно для него. Разумеется, он понятия не имел, что так звали предшественника, чьё тело стало теперь его собственным.

Он научился воспринимать чужую речь, прежде чем сам смог выражать свои ощущения и потребности определёнными словами. Пусть пока многого не понимал, но постоянно старался уловить ускользающее от него значение слов.

Его трудное обучение продолжалось. Новые знания про обыденные вещи не погребли под собой, странным образом он оказался подготовлен к их восприятию. С каждым днём раздвигались границы его мирка, пока разум не достиг однажды уровня отдаваемого в ясли малыша. Он и ощущал себя малым ребёнком, не в силах принять отражаемую в зеркале взрослую данность. Новейшие методики, включая наружную электростимуляцию коры мозга и проверенную гипнопедию, постепенно приносили результаты. Он заново учился считать и писать, открыл для себя игровое кино и мультипликацию, оставаясь в рамках малышовых интересов. Но как же туго продвигалась эта учёба!

Только тело его, тело зрелого мужчины, жило собственной жизнью, оно настойчиво заявляло о своих физиологических потребностях, и это оказалось самым мучительным. Ему увеличивали физические нагрузки, заставляли заниматься гимнастикой, потеть на беговой дорожке и велотренажёре, но усталость плоти после насильно навязанных тренировок давала облегчение на короткое время. Сны становились тревожнее и навязчивее, неосознанные желания бродили в нём, гейзерами ночных сновидений прорывались из глубин подсознания. Всё чаще по ночам он просыпался с тревожным сердцебиением, удерживая рвавшийся наружу крик, тщетно пытаясь понять, кто он и где находится? Детские игрушки и конструкторы, оставляемые психологом, находили потом разломанными и распотрошёнными. То ли в их нутре пациент искал ответы на мучившие вопросы, то ли выплёскивал на них вспышки беспричинного гнева.

Неведомо кем рассчитанный срок пребывания в стационаре оказался многократно превышен. Бориса пришлось перевести в специальный санаторий психической реабилитации при Академии медицинских наук. Дальнейшее уже совершенно не зависело от Павловского и его коллег из центра регенерации.

Едва попав на новое место, Борис сразу ощутил резкую перемену отношения к себе. Хотя профессор Павловский и добился для него на первую пору отдельной палаты с постоянным наблюдением, перевод удручающе подействовал на подопечного. Исчезли привычные лица вокруг, теперь ему не уделялось столько внимания, как прежде. Служащие санатория занимались десятками пациентов, помимо Бориса, часто им было просто не до него. А он не желал общения с заведомо безразличными к нему незнакомцами и всё больше уходил в себя. Правда, вспышки беспричинного буйства не повторялись, что могло оказаться результатом повышенных доз препаратов.

Он сам замечал, что его чувства заметно притупляются, реакции замедлились, восприятие потеряло достигнутую остроту, прежней новизны ощущений не осталось и в помине. С равнодушием принимал перемены в себе, которые могли бы встревожить внимательных наставников, будь они рядом. Он по-прежнему не имел средств описать собственное состояние, даже если бы сильно захотел, не мог никому пожаловаться на происходящее с ним, здесь вообще не к кому было обратиться с этим. К тому же и без того скудный, едва набранный примитивный лексикон съёживался, подобно шагреневой коже, без постоянных разговорных упражнений утрачивались с таким трудом приобретённые слова вместе со своими значениями.

Его начали мучить ложные воспоминания о событиях, которые с ним не происходили, о людях, с которыми никогда не встречался. Иногда они являлись ему во сне. Нечто вроде фантомных чувств после удаления ноги или любой другой части тела, кроме головы, разумеется. При этом человек, лишённый конечности, не обязательно испытывает на её месте резь, жжение, колики, иногда просто ощущает всю её, как прежде, на положенной с рождения позиции. Её давно нет, но бывший владелец пытается опереться на мнимую ногу, брать стакан отсутствующей рукой, ощущать длину, объём, непроизвольные движения там, где их уже никак не может быть. Самое простое объяснение в том, что перерезанный нерв растёт и, не находя опоры в пустоте, где она имелась прежде изначально, свёртывается в клубок и образует собой опухоль — невриному. Человек — не ящерица, чтобы отрастить заново оторванную часть, но нервы этого точно не знают и потому так себя ведут, вызывая ложные ощущения в месте, где им быть уже не положено. Однако более вероятно, что в коре мозга имеется центр, отвечающий за схему тела, и именно его излишняя активность вызывает такое

странное впечатление. Возможно, и у Бориса, несмотря ни на что, продолжалась регенерация нейронов мозга, которая давала сходный эффект для сознания.

К сожалению, разбираться с такими сложностями в санатории оказалось некому. А ему больше прочего не давало покоя в снах и наяву лицо светловолосой женщины, не раз называвшейся его «женой». Случилось так, что именно её прежде других запомнил новый Борис в начатой с нуля жизни, и она же одновременно стала его первой утратой.

Если совсем недавно один вид этой блондинки мог вызвать у него раздражение и недовольство, будто женщина имела какую-то вину перед ним, то с исчезновением Инны он начал скучать по её обществу. Появись она снова, он бы ни за что не убежал, не спрятался, как в последний раз. Борис совершенно не понимал её, когда она снова и снова с необъяснимой настойчивостью пыталась нагрузить его чужим прошлым. Он не помнил ничего из прежнего существования своего тела с другим сознанием, слова о том не имели к нему теперешнему никакого отношения и вызывали бурное неприятие. Упорствуя на одном и том же, она совершала непоправимую ошибку. И без того он не питал особо тёплых чувств к ней, даже не испытывал простой благодарности за уход и внимание, за приносимые конфеты и фрукты. Переживший клиническую смерть и ставший совершенно иным, он утратил способность к таким проявлениям. Зато заново выработалась привычка видеть её лицо, постоянно чувствовать одуряющий запах её духов, ощущать требовательные прикосновения мягких рук. В остальном она оставалась чужда ему, а своей нелепой навязчивостью лишь оттолкнула от себя окончательно.

Он никак не мог принять её уверений, что незнакомая маленькая девочка, приведённая однажды и показанная до того на фотографии — его дочь. Подобное никак не укладывалось в голове. Краткое появление малышки ничем не затронуло его глубокого безразличия. К тому же новый Борис совершенно не понимал значения слова «дочь». Он не верил, не ощущал, что всё на самом деле обстоит так, как утверждает блондинка, у него не имелось никаких собственных воспоминаний даже о ней самой. К тому же он до сих пор так и не почувствовал себя взрослой цельной личностью.

Иногда в неосознанном расчёте на сиюминутную выгоду он пытался предугадать требования окружающих и немедленно им услужить. Наверное, он рассчитывал на вознаграждение вкусной едой или желанным покоем, и когда получал ожидаемое за исполненное, такое походило на обычную дрессировку любого животного. Его благие устремления, зарождаясь на короткий миг, вскоре гасли безвозвратно, не закрепляясь, не оставляя никакого следа.

Когда светловолосая женщина появилась после затянувшегося отсутствия, он сразу её признал и впервые ощутил в себе радость при виде знакомого лица. Но внешне выказать своё чувство уже не сумел.

Время от времени приходили другие, никогда прежде не виденные люди, утверждавшие, что считались его друзьями в неизвестной ему жизни. Он не понимал их, как и всё происходящее, лишь качал головой и пытался объяснить одно и то же, что устал и ничего не помнит. После таких визитов снова появлялось раздражение, переходившее в злобу, пока под действием тут же даваемых успокоительных он не погружался в полную прострацию. Ещё остающихся в его обиходе простых слов уже не хватало для общения. Незваные гости уходили раздосадованными, не веря в его искренность, не понимая, что перед ними совершенно другой человек, даже не человек, ограниченное существо в телесной оболочке их прежнего знакомца. И хотя в какие-то минуты он страдал от неспособности выразить себя в словах, это быстро теряло для него всякое значение, переставало ощущаться жизненно важной, как совсем недавно, необходимостью. Только глубоко затаённая злоба неизвестно на что никуда не уходила, накапливалась после подобных утомительных визитов.

Даже цветной телевизор в углу перестал его радовать видом своих картинок. Он мог часами равнодушно смотреть все передачи подряд, не понимая малой толики в происходящем на плоском экране, никак не задевавшем его. Он бесповоротно утратил едва возродившееся любопытство к окружающему. Освоенные им звукосочетания не отражали его несостоявшейся личности, выглядели в глазах окружающих жалкими бессмысленными потугами, да и к такому самовыражению он прибегал всё реже и неохотнее.

Внешне Борис выглядел прежним, как и месяц, и два назад, но внутренне менялся к худшему, терял немногое приобретённое в последнее время. Развитие пошло совершенно непредсказуемо, застопорилось и повернуло вспять. Будто внутри оказалась сломана какая-то жизненно важная пружина, словно сам он был всего лишь механической заводной куклой, у которой кончился изначальный «завод»... Только, несмотря ни на что, он продолжал оставаться человеком, хотя и остановившимся в своём развитии на одном из начальных уровней.

11. «ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ, КОГДА У ВАС СОВСЕМ ДРУГИЕ ПЛАНЫ»[1]

— Опаздываешь, Аллочка? — Станислав только что сдал своё последнее дежурство в качестве врача, а она летела навстречу, как обычно, минута в минуту к началу работы.

— Ничего подобного! А если и так — начальство только задерживается, — заученно пошутила на ходу она, гордая и независимая.

— Там Женя тебя ждёт — не дождётся.

— Ладно, с неё не убудет. Свои люди — сочтёмся, — Алла остановилась, будто имела в запасе с десяток минут.

— Ты вчера была на... моём обсуждении?

— Не смогла вырваться, чес-с-сно слово, правда, Станислав Дмитриевич. Меня в хирургию на наркоз отправили... — в устремлённых на него карих зеркальцах её души Станислав с удивлением обнаружил именно то, чего не мог отыскать у главврача, у Зиновия, у прочих холодно вежливых и принципиальных коллег по работе — сочувствие и доброжелательность. — Как же вы теперь, Станислав Дмитриевич? — с тревогой спросила она, заглядывая ему в глаза.

— По статье, — пожал плечами Стас. — Всё решили.

— Но они же не имеют права вот так с первого раза. Ерунда какая-то, в самом деле... Вам срочно нужен юрист, и не откладывайте, а то поздно будет! Как всегда, потом ничего не добьёшься и не докажешь! У вас есть знакомые? Знаете что, я скажу, где опытный консультант, бесплатный, и в очереди не надо ждать. Я сама обращалась туда насчёт прописки. Ну, как? — Стас улыбнулся её забавной горячности и кивнул: всё равно не выдержит и поделится независимо от его согласия. — В горсовпрофе медицинских работников. А хотите, я схожу вместе с вами для компании, а? Дорожка-то знакомая, протоптанная! — Стас отрицательно покачал головой. — Только не думайте, что я вас жалею, я просто сочувствую и злюсь, вот и всё... — пояснила Алла.

— Спасибо, Аллочка, но злиться тебе не идёт. Да и на кого, интересно? Ты даже не знаешь всех мелочей...

— Я знаю гораздо больше, чем вы, Станислав Дмитрич, — загадочно усмехнулась Алла. — Это ж сама Луцкая позвонила в милицию!

— Откуда тебе известно? — удивился Стас, вспомнив слова милиционера про женский голос, шерше ля фам, короче, как всегда. А он-то грешил на Нинушу с хозяйкой!

— Да уж оттуда, — Алла смотрела куда-то в сторону, и её лицо с правильными чертами, на самом деле принявшее злое выражение, уже не казалось таким красивым, как прежде.

— Ладно, Аллочка, давай беги, а то опоздаешь. Сейчас за дисциплину возьмутся. Не надо говорить лишнего, ничего уже не исправить.

— Надо, Станислав, очень даже надо, да и не лишнее это вовсе. Надо уметь постоять за себя, а то всякие нам на голову сядут! — нравоучительно выговорила она, впервые назвав его без отчества, и при этом её слова прозвучали воинственно и раскатисто в морозном воздухе. Он с удивлением посмотрел на неё и недоверчиво улыбнулся. — Я серьёзно говорю, — заверила Алла, тряхнув непокорными каштановыми прядками. — Сходите всё-таки к юристу...

Веткин воспользовался её советом и уже через день в узком кабинете сбивчиво излагал суть дела усталой близоруко щурившейся женщине средних лет, катавшей ладонью карандаш по крышке письменного стола. Как ни старалась неброско одетая, невзрачная дама изобразить показное внимание и сочувствие, у неё плохо получалось скрывать, что бесконечные жалобы и обиды других давно ей до лампочки. На преуспевавшего респектабельного юриста она точно не походила.

— Конечно, можете обжаловать решение администрации в обычном порядке. Определённые нарушения в вашем случае бесспорно налицо. Но... я бы не советовала. Подумайте, стоит ли затевать такое в контексте происходящего? Вы же врач и знаете, проводится не кратковременная пропагандистская кампания. Ваш отрицательный пример может попасть на страницы печати, на телевидение и так далее. Словом, вы рискуете поставить себя в гораздо худшее положение. Так без диплома и работы можно остаться. Лучше обдумайте всё как следует, взвесьте возможные последствия. Так сказать, семь раз отмерь... Приходите, если возникнут ещё вопросы, в совете вам никогда не откажут... И всего вам хорошего, — напутствовала консультант на прощание, нетерпеливо посматривая на часы. Веткин явно превысил положенную на каждого посетителя квоту в минутах.

---

[1] Джон Леннон. «Прекрасные парни» из альбома «Двойная фантазия», 1980.

Веткин вышел из консультации в ещё более мрачном расположении духа, впервые будущее рисовалось столь беспросветным. И сразу ощутил необходимость немедленно увидеть Родьку, этот воистину спасительный «лучик света в тёмном царстве» для него.

В детском саду проводилось очередное предпраздничное представление, и Стасу пришлось присесть на скамейку у ворот в ожидании, когда смолкнет бравурная музыка и станет возможным увести отпрыска. Он докуривал третью сигарету, когда сбоку из аллеи сада появилась запыхавшаяся Света в расстёгнутой новой дублёнке.

— Привет, — сказала она беспечно и отчуждённо, помахивая модной сумочкой, и тут же удивилась: — Ты снова куришь? А ведь другим не велишь! Какие же вы, дохтуры, всё-таки двуличные!

— Садись, у них мероприятие, — миролюбиво пояснил он, чтобы жена не воображала, будто он её специально дожидался. Загасил сигарету и отнёс в ближайшую урну, Света всегда не выносила табачный дым.

— Неужели ты думаешь, мне это не известно?! Просто не смогла сегодня прийти пораньше... — она присела на край скамьи. — Впрочем, хорошо, что ты появился. Какие новости?

Будто и не было последней ссоры, но что-то в её тоне очень не понравилось Веткину.

— Неприятности у меня, — хмуро сообщил он и неожиданно для себя поведал о происшедшем на работе. Видно, имелась сейчас у него неосознанная необходимость в слушателе, а может, просто сказалась привычка последних лет — делиться с ней чем бы то ни было. По крайней мере, она не перебивала, и то уже хорошо.

— Так и знала, что чем-то таким кончится. Предупреждала же, я тебе не жена декабриста и в ссылку за тобой не поеду! — Стас промолчал, только обиженно посмотрел на неё: издевается, что ли?! — Да ладно, шуток уже не понимаешь? — она слегка коснулась его рукава и тут же, будто обжегшись, отдёрнула руку. — Надеюсь, ты не станешь говорить на этот раз, что всё из-за меня?

— Не стану, не беспокойся, — пробурчал Стас и вдруг впервые с удивлением понял, что она уже совершенно чужая ему. Даже общее прошлое с очень похожим на яркую любовь чувством, даже Родька нисколько не могли их снова сблизить. И куда всё в одночасье исчезло? Запоздало пожалел: не надо было выкладываться перед ней! А он ещё едва не поделился своим недавним странным сном, вот уж была бы умора!.. И всё же удивительно прийти к подобному заключению после всего прежде происходившего между ними, несмотря на подраставшего Родиона, нуждавшегося в обоих родителях, которые сами воспитывались без отцов. Но лучше поздно, чем никогда — уж это точно.

Интересно, куда подевалась та своя в доску девчонка, с которой они так быстро и легко нашли общий язык когда-то и очень даже неплохо проводили время, не желая расставаться даже на несколько часов? Кажется, так давно это начиналось, а всего-то чуть больше, чем возраст Родиона, годков минуло, ровным счётом ничего в масштабе даже не страны, а одной отдельно взятой жизни. И вот перед ним сидела совершенно другая, незнакомка, которую ему почему-то вовсе не хотелось узнать заново поближе.

Она словно прочитала его мысли, да и настрой законного мужа ещё не разучилась определять:

— Стас, мне нужно забрать кое-какие вещи. Так продолжаться дальше не может. Живи в своей квартире один, не будет тебе никаких скандалов и неприятностей из-за меня, далеко совсем не идеальной женщины.

— Может, образуется? — неуверенно предположил он без энтузиазма, просто так, по инерции, чтобы хоть что-то сказать, сознавая, насколько жалко и бесполезно прозвучал вопрос. И испытал неожиданное облегчение, когда Светлана недвусмысленно промолчала, всё так всё.

— А ты сходи к Нилу Сергеевичу, — она тронула его за плечо, почти как прежде, тоже по привычке, наверное. Или попыталась примерить новую для себя роль уже «бывшей», «друга и советчицы»? Только оно ему надо? — Ты же сам говорил, он обещал помочь, если что. Уж если кто и сможет, так только он.

Нил Сергеевич, ещё один пациент Стаса, многие годы оставался бессменным секретарём горкома партии. Они познакомились в год рождения Родиона, когда тот пришёл навестить свою племянницу, переведённую к ним в отделение после трудной операции на женских органах. Увидев её в настолько неважном состоянии, разнервничался, уже на выходе почувствовал недомогание, схватился за грудь и упал без сознания. Дежуривший Стас прямо тут же на каменном полу вестибюля, разогнав столпившихся зевак, начал непрямой массаж сердца, прерываясь, чтобы делать вдохи «рот в рот». Сёстры выкатили всегда стоявший начеку дефибриллятор, и, не теряя времени,

Стас дважды нанёс спасительный удар током. У Нила Сергеевича появился пульс и самостоятельное дыхание, его поспешно перенесли в реанимационный зал. Кардиограмма показала острый инфаркт миокарда со сложным нарушением ритма.

Два часа спустя пришедшего в себя пациента перевели в кардиологию в палату интенсивной терапии. Стас не навещал его в дальнейшем, знал только от кардиологов, что затянувшееся выздоровление всё же состоялось. Когда больной начал вставать с постели, его со всеми мерами предосторожности отправили в ведомственную клинику. Уже перед отъездом туда, к немалому удивлению Веткина, спасённый попросил его зайти. Нил Сергеевич крепко пожал руку и скупо поблагодарил за своевременную помощь, он оказался хорошо осведомлён о происшедшем с ним и имел ясное представление, кому обязан жизнью. «Если я смогу когда-нибудь тебе пригодиться, не стесняйся, звони в любое время», — сказал он напоследок, оставляя номер домашнего телефона. Тогда Стас только скептически улыбнулся, чем он может быть полезен ему, исполнит три желания, как золотая рыбка, что ли? Записал из вежливости телефон и забыл о нём на следующий же день.

— Веткин, — нарушила молчание Светлана, пряча подбородок в шарф и зябко запахивая дублёнку, чёрные завитки упрямо выбивались из-под спортивной шапочки с помпоном. — Я подала на развод.

— К чему такая спешка? — только и пробормотал Стас, непонимающе поворачиваясь к жене.

— Я полюбила другого, и мы хотим жить вместе. Он считает, что нам лучше расписаться.

— А что делать мне? — нелепо спросил Стас.

Светлана усмехнулась, глядя на острые носки коричневых сапожек.

— Ты, Веткин, запросто найдёшь себе другую. У тебя это всегда неплохо получалось.

Стас внимательно посмотрел на бледное лицо, дрожащие опущенные ресницы, руки в шерстяных варежках на коленях. Ему показалось, она на глазах уменьшается, уносится прочь в пустоту пространства, с огромной скоростью удаляется от него, будто улетает в другую галактику. Она становилась на самом деле чужой, недосягаемой, и он терял её, уже невозвратимо потерял.

— А Родька? — тускло спросил он.

— Вот когда ты вспомнил о нём! — воскликнула Светлана, всплеснув руками с энергией, знакомой не только по последним домашним разборкам, но и по силе, с которой она прижималась к нему, любя совсем в иной жизни.

Мимо, вежливо здороваясь, проходили знакомые родители, некоторые уже вели домой своих чад, переполненных и распираемых впечатлениями от праздничного концерта.

— Веткин, я хочу, чтобы у Родиона был другой отец. И прошу тебя больше не приходить и не видеться с ним. Я не допущу этого, — сказала она твёрдо и гораздо спокойнее.

— Да как... какое ты имеешь право...

— Так будет лучше и для него, и для меня. Я уже всё решила. Не калечь ему психику. Если согласишься, я даже на алименты не стану подавать.

— Но, ты пойми, я же отец. У ребёнка он должен быть один, ты же сама росла...

— Вот потому я тебя и прошу об этом, как-нибудь без тебя обойдёмся...

— Хорошо, я согласен на развод, — покорно сдался Стас. — Но насчёт Родиона по-твоему не будет, не надейся...

— Ладно, — вдруг неожиданно уступила Светлана. — Мы потом всё обговорим. Только, пожалуйста, не сегодня и не при Родьке, хорошо? Уйди, прошу тебя, я не хочу больше никаких сцен при сыне, он уже большой и всё прекрасно понимает. Андрей должен подъехать с минуты на минуту.

Веткин не сразу сообразил, что речь идёт о его преемнике, ничего не ответил, поднялся первым и, не оглядываясь, пошёл прочь.

12. «НИ ОДНО ДОБРОЕ ДЕЛО, ДАЖЕ САМОЕ МАЛОЕ, НЕ ОСТАЁТСЯ ВТУНЕ»[1]

Телефонный номер и домашний адрес бывшего секретаря горкома партии Веткин отыскал в давно законченном блокноте, который чудом не выбросил, когда начал новую записную книжку. Собрался с духом позвонить под вечер и с некоторой долей робости озвучил в трубку свою фамилию. Нил Сергеевич приветливо поздоровался, назвал по имени-отчеству.

— Приходи в любое подходящее для тебя время, всегда буду рад видеть. Только

[1] Эзоп, легендарный древнегреческий поэт-баснописец.

предупреди по телефону, а то меня может не оказаться дома.

— А удобно будет прямо сейчас?

— Даже лучше будет. Я как раз один.

Он без труда отыскал квартиру в одном из «престижных» домов с постоянным милицейским постом у подъезда, с первого раза правильно угадал в лифте нужный этаж и вошёл в незамедлительно распахнутую на звонок дверь.

Нил Сергеевич провёл его в гостиную к цветному японскому телевизору и вежливо спросил разрешения досмотреть фильм о войне. Веткин украдкой оглядел апартаменты бывшего секретаря горкома. На зависть непривычно просторная квартира с высоким потолком, словно только что после капитального ремонта, была отделана изящно, со вкусом и без кричащей роскоши. Стас мысленно охнул, представив, сколько труда и времени уходит на её уборку, хотя наверняка проблема решалась приходящей горничной. Пушистый ковёр под ногами, успокаивающие глаз бледно зелёные в неярком свете торшера финские обои с бабочками. Без сомнения, импортная стенка светлой полировки украшалась позолотой корешков редких подписных изданий с искусным подбором хрусталя. Рядом на однотонной тумбочке обращал на себя внимание большой японский же двухкассетник с лежащими на его новеньком серебристом корпусе массивными наушниками. Дополнением к нему смотрелась вертящаяся напольная подставка для аудиокассет. Удобные с виду, так и манящие присесть в них мягкие кресла, низкий журнальный столик, настенный цветной фотопортрет улыбающейся юной дочери, фотография похожей на неё, но не столь яркой женщины в траурной рамке на пианино в углу.

Нил Сергеевич, не отрываясь, смотрел на экран, всполохи которого под аккомпанемент стрельбы и разрывов снарядов отражались на невозмутимом слегка одутловатом лице. Фильм явно вызывал у него неподдельный интерес, вполне вероятно, оживляя личные воспоминания.

— Знаешь, Станислав, а здорово сейчас научились в деталях показывать войну. Иногда смотришь — будто опять там оказался, хотя, впрочем, не совсем так... В жизни всё, конечно, по-другому было, просто техника кино развивается... — только и произнёс, как бы размышляя вслух, бывший пациент Станислава за всё время картины.

Позже они пили чай с кизиловым варением за низким полированным столиком, перебрасываясь общими фразами о здоровье, о работе, об успехах советской медицины и её очевидных недостатках. Паузы становились всё длиннее и натянутее, разговор свернул на политические новости. Об ускорении, о гласности и перестройке. Бывший хозяин жизни разоткровенничался и не скрывал, что не одобряет многого в теперешнем новом курсе партии. Являясь функционером старой закалки, он всякий раз с гордостью подчёркивал этот факт своей прошлой биографии.

Наконец, видя, что напросившийся в гости никак не решается приступить к делу, Нил Сергеевич пришёл на выручку:

— Ну-с, ладно. Конечно, ты пришёл не для светской беседы. Давай-ка, колись, что надо, постараюсь помочь, насколько в моих силах.

Стас, немного волнуясь, выложил всё вплоть до визита к юрисконсульту.

— Ничего не упустил, Дмитрич? — спросил Нил Сергеевич.

— Да вроде нет.

— Хорошо, тогда хорошо. Думаю, положение ещё можно поправить. Только надо навести некоторые справки... — Нил Сергеевич подошёл к полированной мебельной стенке, достал чистый лист, карандаш, протянул Стасу. — Запиши фамилию и имя-отчество вашего главврача. Так. Через два дня сам зайди к ней. О результате немедленно сообщи мне по домашнему телефону, вечерами я дома. Думаю, всё обойдётся. Не накручивай себя. Твоя работа нужна людям. Звони, заходи. Всегда рад видеть своего спасителя.

13. «ПУСТЬ ЖИЗНЬ СЮРПРИЗАМИ НЕ ЗРЯ НАС УДИВЛЯЕТ...»[1]

Хотя у Веткина сохранялась надежда на благополучный исход, столь быстрый и убедительный результат обращения к Нилу Сергеевичу застал врасплох. Действительно, связи бывшего хозяина жизни сработали самым чудесным образом, превзойдя все ожидания. И двух дней не прошло, а главврач срочно затребовала его для написания ещё одной объяснительной записки на имя заведующего райздравотделом. На недоумённый вопрос неохотно пояснила, что с учётом прежних заслуг Веткина администрация больницы пошла ему навстречу и заменила первоначальный приказ. Наказание ограничивали лишением премии, никогда не превышавшей тридцати процентов от врачебного оклада, и переводом на должность медбрата с трёхмесячным сроком.

[1] Геннадий Эсса, «Сюрпризы жизни».

Причём неофициально Веткину разрешалось исполнять свои обычные обязанности врача-реаниматора.

Он сдержанно поблагодарил за столь радостное известие. Из административного здания выходил уже в приподнятом настроении едва не вприпрыжку. Навстречу по аллее спешила Софья Андреевна Старикова, врач-анестезиолог его отделения, та самая, с которой они не совсем удачно реанимировали Бориса в памятную ночь.

— Стас, ты не думай, мы все, в общем-то, за тебя... Мы потом главной всё высказали, если надо, ещё пойдём!.. Ты только скажи...

Её слегка виноватый вид напомнил Веткину эмоциональное выступление Стариковой в его защиту на том одиозном собрании. Она говорила о его добросовестной работе в реанимации, о спасённых жизнях, об уважении больных и персонала, просила смягчить строгое наказание и обойтись предупредительными мерами. Стас улыбнулся и слегка приобнял Софью Андреевну за плечи.

— Всё в порядке, Сонечка! Меня оставили...

Старикова ответила недоверчивой улыбкой:

— Нет, правда, что ли? Ты серьёзно, Стас, не шутишь?

— Да уж какие шутки! Так что вы не зря старались! Вот только в зарплате потеряю на три месяца.

Дома он с порога увидел следы опустошительного цунами, прошедшего по квартире. Стихийное бедствие носило имя «Светлана». Радужное настроение, вызванное словами главного врача, сразу поблекло. В комнатах сделалось непривычно просторнее и спокойнее. Исчезли некоторые предметы мебели и быта, заодно все игрушки Родиона. Исчезли телевизор, оригинальные офорты со стен, мягкое раскладное кресло, шифоньер, львиная и, разумеется, более необходимая и приятная для глаз часть посуды. Зато осталась софа, полка с уцелевшими любимыми книгами и листаемой иногда медицинской литературой, письменный стол, два облезлых стула и побитый рижский «Аккордс» при двух колонках. С кухни успокаивающе донеслось привычное урчание, обшарпанный холодильник оказался на месте, уже ура! Будет холодное пиво и минералка, будет, будет светлая жизнь!

В дверь позвонили. Он рывком отворил дверь, ещё надеясь на чудо, может, это Светка передумала и вернулась?.. Представшее перед глазами видение оказалось приятно ошеломительным. Светлые пшеничные волосы до плеч, устремлённый на него неуверенный взгляд подведённых тушью серых глаз, в глубине которых застыло то ли виноватое, то ли вопросительное выражение. Чёрное кожаное пальто придавало Инне Владимировне вид строго официальный, почти траурный.

— Вы?!.. — растерялся Стас от неожиданности.

— Здравствуйте, Станислав Дмитриевич, извините, если я не вовремя. Но мне очень нужно поговорить с вами...

— Да, конечно, проходите, Инна, — он помог снять верхнюю одежду, проводил в комнату, усадил на софу.

— Я ненадолго, — торопливо заверила Инна. — Станислав Дмитрич, — Инна нервно хрустнула пальцем с массивным обручальным кольцом. — У вас неприятности на работе, это правда? Это из-за меня, да? — в уголках её глаз выступили слёзы, она смотрела сквозь них на Стаса, будто ожидала услышать приговор. На игру или на пролог истерики вроде бы совсем не похоже... — Понимаете, я вовсе не хотела, поверьте. Я даже не подумала, что это может как-то отразиться на вас... Здесь можно курить? — Стас принёс треугольную пепельницу из цветного стекла. Инна прикурила и продолжила слегка подрагивающим голосом: — Понимаете, я убедилась, что из моего Бориса сделали полного идиота. Столько времени ухаживала за ним, ловила каждый взгляд, изо всех сил караулила, не проглядеть хоть какую-то осмысленность. И вот едва он начал лопотать и что-то разбирать в окружающем, я не выдержала, поторопила. Так хотелось, чтобы он узнал меня! И как, по-вашему, обратился ко мне Боря, вернее, то, что из него сталось? Не знаете?!

Она сделала паузу, ожидая ответа. Истерические нотки в её голосе насторожили Стаса. Как объяснить ей, чтобы не обидеть, что он далёк от этого, что судьба её несчастного мужа теперь ему совершенно побоку? Он сделал, что смог, сохранил организм пациента, а восстановлением его мозга, созданием новой личности занимаются другие, Павловский и компания. Это не его профиль, от него же давно ничего не зависит, да и своя собственная работа опротивела после последних передряг, ни денег, ни морального удовлетворения. Стасу до тошноты не хотелось снова обсуждать вопросы ведения больных после клинической смерти, по крайней мере, не сейчас. И всё же он не мог не признаться себе, что дальнейшая судьба крестника, на самом деле, не совсем безразлична ему.

— Он назвал меня... мамой! Можете такое представить? — Инна всхлипнула от обиды и глубоко затянулась сигаретой. — Понимаете, это глупо, но я возненавидела

вашего Павловского и всех там, в их центре. Я знала Бориса другим, совершенно другим, очень близко знала много лет. А этот оказался настоящим идиотом с прежним знакомым до родинок телом. Понимаете? Однажды он больно укусил меня безо всякой причины, со злобой, как какое-то животное. Это можете представить?!

— Вам понадобились виноватые, — кивнул Стас, припоминая разговор с профессором, и закурил за компанию. — И кто-то из ваших родных подсказал, как отомстить? Если нельзя вернуть утраченное, то можно наказать виновных, да? Хоть какое-то, но удовлетворение... Скажите, Инна, так и было?

— Д-д-да-а... — несколько озадаченно протянула гостья. — Всё верно. Как вы узнали? Мамин брат, дядя, одним словом, он-то и подогрел меня, дескать, врачи такие-сякие, живой человек для них ничто, не более чем кролик для опытов, нельзя, мол, ни за что спускать такое.

— И вы обратились в прокуратуру... — грустно подытожил Стас.

— Но я не подумала тогда, к чему это приведёт, наверное, мной двигал эгоизм, желание мести за потерю мужа. Я не хотела никого конкретно обвинять, просто добивалась справедливого разбирательства. Я и не предполагала, что это затронет вас. В чём-чём, а в том, что вы сделали для Бори всё возможное, я никогда не сомневалась... Да и ко мне вы отнеслись по-человечески, такое не забывается... Уже после я вспомнила о предупреждении, ну, что он может стать совсем другим... поняла, что я натворила, что из-за меня, моей вздорности и глупости могут пострадать люди, спасающие другим жизни... Я в пух и прах разругалась с дядей Мишей и бросилась в прокуратуру забирать назад жалобу. Но женщина, помощник прокурора, объяснила, что они во всём разберутся и сообщат мне... Вас не очень сильно потрепали?

— Не очень. В общем-то, нам к этому не привыкать... А вы виделись ещё с... Борисом, с профессором Павловским?

— Да, — взволнованно откинулась на спинку софы Инна Владимировна. — Я сходила к профессору и принесла свои извинения. Он ответил, что всё понимает, и разрешил навещать Бориса, если тот сам захочет, пока его не перевели в санаторий... Но ещё раз предупредил, что надеяться особо не на что и, скорее всего, он меня никогда не признает. И хотя юридически мы остаёмся мужем и женой, на самом деле это уже не так, я знаю теперь, того прежнего человека не вернуть. Надо честно признать: его больше не существует. Осталось одно тело и разум постороннего дебила в нём, — серые глаза вновь наполнились слезами. Стас сочувственно подумал, что не каждой за всю жизнь может выпасть столько, сколько за последнее время успела пережить эта милая, с виду совсем молодая женщина. — Я ещё раз попыталась приручить его заново, ведь прошло столько времени... Но он по-прежнему не узнавал меня. Павловский объяснил, что мышление теперешнего Бориса не достигает даже уровня школьника. Всё оказалось напрасным, изменённый Боря увидел во мне совершенно постороннюю... тётку! Почти возненавидел! Представляете, каково: тётя! Теперь он зовёт меня только так! — она впервые не сдержалась в плаче.

Стас едва не ляпнул, что быть «тётей» в глазах бывшего прежде мужем всё же намного лучше, чем если бы он продолжал считать её своей матерью... Но вовремя понял неуместность такого замечания, Инна могла решить, что он просто издевается.

— Даже свидание с нашей доченькой не произвело на него никакого впечатления, он никак не реагировал на неё, смотрел и не узнавал, совершенно не помнил её. Временами мне казалось, он просто прикидывается, хочет избавиться от нас, вот и всё... Я долго не могла поверить, что это вовсе не мой муж, никак не укладывалось такое в голове. Павловский убедил, что сводить его с дочерью или пытаться насильно вернуть в семью не имеет смысла. И если этот новый, имеющий с прежним Борей общим только одну внешность, не признал меня за близкого человека сейчас, то в дальнейшем на это нет никакой надежды. Я поняла, что окончательно потеряла мужа, раз и навсегда, на самом деле не он находился передо мной, только его тело, оболочка. Дошло до того, что безо всякого повода он пребольно схватил меня вот сюда, за грудь, ущипнул и мерзко рассмеялся, будто монстр какой-то... Представляете? Я простилась с ним навсегда, как бы похоронила заживо, он прекрасно обходится без меня. За ним ухаживают... Нет, это не он, не мой Боря. Если даже когда-нибудь он сможет самостоятельно зарабатывать на жизнь, во что верится с большим трудом, мне от него ничегошеньки не надо. Разумеется, никаких алиментов с его пособия, если ему станут платить, я ни за что не возьму. Хотелось бы только, чтобы дочь получала пенсию до совершеннолетия за потерю кормильца, хотя очень сомнительно, что мы этого дождёмся от нашего щедрого государства. Наверняка они рассудят в свою пользу: хотя он и пострадал на работе, но тело-то живо, а умер «всего лишь» мозг! Я не юрист, но, по-моему, здесь любой законник голову сломит. Хотя по справедливости... Скорее всего, он так и останется психически ненормальным человеком... Как вы думаете, Станислав?

— Трудно сказать. Когда я видел его в последний раз в центре, состояние внушило

некоторую надежду. И потом то, что прежде с другими Павловский не достиг ожидаемого, ещё ничего не значит. Всё-таки мне показалось, что на этот раз из... Бориса получится жизнеспособная личность... То, что впервые достигнут такой уровень развития регенерированного мозга, обнадёживает... А впрочем, не знаю, не стану врать...

— То есть вы сами не уверены, стоит ли умножать в таких случаях число уже имеющихся идиотов?! — мрачно и с вполне понятным сарказмом заключила Инна и криво усмехнулась, с силой гася в пепельнице сигарету. — Поймите же, не мой Боря это вовсе, а какой-то совершенно чуждый отталкивающий тип. Неизвестно, что у него там, в голове, и что он может выкинуть в следующую минуту...

Глаза её снова наполнились слезами, и Стас поспешил переменить тему.

— А где сейчас ваша дочь? Ведь она, кажется, уже довольно... м-м-м... взрослая?

— Да что вы! Впрочем, это как посмотреть... О да, ходит в первый класс, я оставила её у моих родителей, сказала: иду к подруге, как школьница, представляете? — она впервые мило улыбнулась.

Всё-таки быстро удалось переключить Инну на более приятные для неё мысли. Ещё одно подтверждение вечной истины: путь к сердцу матери лежит через ребёнка.

— Ой, я же совсем забыла, — она извлекла из сумочки пузатую бутылку болгарского коньяка. — А где ваша жена?

Стас подробно ответил, будто выдернул давно засевшую занозу, попутно сам поразился, никак на исповедь пробило? Не удержался и поведал заодно про неприятности на работе. Инна внимательно слушала. Но стоило ему смолкнуть, она продолжила говорить о своём, видимо, и у неё имелась сходная потребность, и больше не нашлось никого другого, кому можно излить душу. Они не заметили, как перешли на ты. Фонарь за окном вспыхнул в последний раз и отключился, словно не желал мешать их тихой доверительной беседе. Когда совсем стемнело, Веткин зажёг свечу в высоком медном подсвечнике «под старину», подаренном ему в больнице на двадцать третье февраля, и при её неверном свете они продолжили разговор вполголоса, как заговорщики. Говорили под беззвучную пляску фантастических теней на обоях, пока свеча не прогорела до конца и не погасла с прощальным беззлобным шипением, возвестив ненужность дальнейших слов.

14. «НЕ СБЕЖАТЬ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА, В ОДИНОЧКУ БЕД НЕ ПРЕВОЗМОЧЬ»[1]

Уже не в первый раз он пялился во все глаза на своё отражение в зеркале, с пристрастием ощупывал пальцами каждый сантиметр лица, высовывал язык, строил гримасы. Как ни трудно осознать, но это и есть он, его собственное лицо, тело, не изменяемая и не заменяемая данность. Оставалось смириться и принять такую не вызывающую у себя самого симпатии внешность.

Конечно, доставшаяся физиономия казалась ему довольно странной, да и внутренне он никак не мог почувствовать себя взрослым, соответственно отображаемому в зеркале. Волосы, хотя и не густые, постепенно отрастали, их мягкие светло-каштановые прядки уже зашли на овал лица, на ровный лоб, на котором наметились три поперечные морщины. Глаза с оттенком синевы смотрели настороженно, с недоверием, будто только и ждали одних подвохов от окружающих. Не находилось в них пока и намёка на прошлую или будущую жизненную усталость, но и никакого наивного любопытства или детской радости от знакомства с расширяющимся вокруг миром. Довольно равнодушный, потухший взгляд. Он трогает горбинку на удлинённом носу с тонкими ноздрями, шевелит сжатыми в полоску бледными губами, касается кончиками пальцев ямки на небритом подбородке.

Его наконец-то научили самостоятельно пользоваться электробритвой, он успел получить недолгое удовольствие от процедуры, пока не разбил пластмассовый корпус о стену в припадке ничем не оправданной ярости. Возраст, который ему определили — сорок один биологический год, ничего не значил для него, никак не мог уложиться в повреждённые клетки мозга. Даже последние месяцы вспоминались с трудом, будто в тумане, бесконечное заключение в больничных стенах, море инъекций и принуждение изо дня в день делать то, что совсем не хотелось. Он оказался человеком без прожитых лет, без памяти о себе. Прошлое есть, существует помимо него, о нём рассказывают другие, но сам Борис его не помнит. Оно не его, так же как имя, отчество, фамилия, никогда ему не принадлежавшие. Даже собственного детства, обязательного для всех, его начисто лишили, словно его и не было.

«Бо-я! Бо-ис-с-с!..» — беззвучно, словно чужое, повторяют имя непослушные губы, так и не научившиеся твёрдому «эр», вопреки стараниям логопедов. Он не мо-

[1] Константин Никольский, «Пред чертой меж будущим и прошлым...»

жет вспомнить ничего из прочитанного для него вслух из книг, из показанного на телеэкране, да и осмыслить только что слышанное и увиденное часто не получается. Он родился физически сразу сорока одного года, и что ждёт его впереди? Кому он нужен? Чем он обладает, кроме этого слегка поношенного тела в зеркале с наметившимся брюшком, с редеющей шевелюрой? Большая часть, включая детство и юность, у него отнята неизвестно кем, неизвестно за что. А взамен ничего... И кто знает, есть ли что там, впереди? Впрочем, он до сих пор не способен заглядывать так далеко, строить планы, даже мечтать, как все.

С другой стороны, разве ему не дано радоваться простым обычным вещам, собственным сиюминутным ощущениям? Но радости как раз и нет, только нарастающая усталость и апатия. Словно из него вытащили стержень жизни, самое важное в существовании человека, уподобив воздушному шарику, из которого почти полностью выпустили воздух, его жизненную энергию. Да ещё непонятное раздражение по пустякам, легко переходящее в столь же беспричинную злобу.

Он хотел бы узнать больше, иногда проявлял слабый интерес к учёбе, любопытство к новым лицам, впечатлениям, но всё это ощущалось им вяло, без огонька, постепенно угасая со временем. Экран телевизора показывал мир за стенами санатория, в котором он теперь пребывал, но не вызывал в ответ хотя бы иллюзии сопричастности той изображаемой жизни. Всё увиденное там выглядело непонятным и чуждым, что-то отдельное если и воспринималось, то поверхностно, не затрагивая сознания. Так кошки или собаки различают иногда движение объектов на мерцающем плоском экране, но чаще двумерное изображение оставляет их совершенно равнодушными.

Всё же временами он испытывал отчаяние и тоску по иному неведомому существованию. Пёстрый калейдоскоп кадров, ускорение перемены картинок неизменно вызывали у него неукротимые вспышки бешенства. Он не мог не чувствовать себя обделённым, действия персонажей на экране обычно оказывались для него непостижимыми. За что подобное выпало ему, именно ему? Иногда скупая, никому не видимая слеза оставляла дорожку на щеке, хотелось выть в голос или кричать от бессильной обиды на всех и необъяснимой злости, крушить и ломать всё вокруг. Чаще удавалось гасить такие чувства в зародыше, не давать им развиться и вырваться наружу. Тогда он только стискивал зубы и сжимал кулаки, отворачиваясь от дразнящего пёстрыми картинками экрана, пока не научился сам выключать сделавшийся ненавистным вечно раздражающий своей непонятной, ненастоящей жизнью ящик.

Когда его впервые вывели на прогулку в город, не в огороженный парк санатория, а на заполненную транспортом и людьми улицу, он испытал шок. Наяву увидел бесконечный поток машин, яркие витрины магазинов с бутафорски занимательным содержимым, поражающие воображение многоэтажные дома, уходящие ввысь в окружении прочих домиков и домишек, толпы спешащих куда-то пешеходов. Они не проявляли ни внимания, ни дружелюбия, им вообще не было никакого дела до него, будто его вообще не было! Жизнь шла мимо, совершенно невразумительная и непривлекательная, заставляла его чувствовать себя чужим, посторонним её безостановочному движению. Он оказался совершенно неготовым и неприспособленным к устрашающей суете улицы. Становилось ясно: никому он не нужен в этом мире, всем вокруг не просто наплевать на него, его воспринимали как совершенно пустое место.

Осознание этого вызвало протест, вывело из себя. Неужели они не видят? Вот же я — собственной персоной! Как ему захотелось привлечь к себе внимание такого множества людей, заставить их тотчас принять его, считаться с его присутствием. Но как? Он ощутил себя уязвимым маленьким существом, словно букашка или мышь, совершенно не защищённым от враждебного недоступного для него бытия. Он испытал ужас и панику, потерял ориентировку, стал совершенно неуправляем. Это выразилось в хаотических движениях, будто у таракана, попавшего на раскалённую сковородку. Персоналу пришлось немедленно вернуть его под надежное укрытие запираемых дверей, спасительных стен и безотказных успокоительных средств.

До этого он ощущал подспудное желание вырваться куда-то наружу, пошуметь, потрясти мир своим заслуживающим внимания прочих вмешательством. Но первое же знакомство с явно недоброжелательным по отношению к нему объёмным и широким внешним пространством сразу отрезвило. Бежать оказалось некуда, и дело заключалось не только в отсутствии у него нужных навыков и возможностей. У Бориса не получилось с ходу пристроиться в царящую за оградой санатория видимую сумятицу, затолкнувшую его обратно в замкнутый стенами мирок, словно пробку из только что открытой бутылки вернули на место на прокручиваемой задом наперёд видеозаписи происходящего.

Когда он с трудом наконец-то начал воспринимать говорившееся психологом и педагогом, его попытались научить хотя бы самым простым правилам уличного движения для его же собственной безопасности в будущем. Бориса не могло не поражать,

как много ограничений, правил, законов выдумано людьми для непременного наказания нарушителей. Будто все вокруг сговорились играть в непонятную бесконечную игру, исключив его из числа участников. Они с головой погрузились в свою собственную совершенно бессмысленную беготню по кругу, считая то подлинной жизнью, явно получая от неё непонятное для Бориса удовлетворение. И притом требовали от него абсолютного подчинения своим правилам. Нет, не мог он своим младенческим восприятием постичь столь странной, нелепой забавы, а масса непонятых запретов казалась специально направленной именно против него.

Обучение не задалось, как ни бились воспитатели. Читаемые для него книги, телевизор, работники санатория составляли весь его теперешний мирок, изучения которого оказалось недостаточно для перехода в реальную жизнь, да он и сам не хотел уже никаких перемен. Чтобы выйти за границы своей теплицы во всеоружии знаний и способностей взрослого мужского организма, ему требовался долгий, почти неодолимый путь дальнейшего психического развития. Но его регенерированный мозг не располагал ресурсами для подобного. Он не хотел и не мог двигаться дальше, остановившись в самом начале. Ни времени, ни средств, ни стимулов на дальнейшее развитие уже не имелось.

Намеченный для него профессором Павловским уровень оказался недостижим без искренней любви близких, которых у него, кроме жены и дочери, не имелось, и бескорыстного внимания окружающих, на самом деле занятых лишь собственными проблемами. Его теперешние наставники не могли того себе предоставить. К тому же их заинтересованность в успехе проекта ничем не подкреплялась, кроме мизерных зарплат и убывавших с каждым днём остатков былого энтузиазма. Он всё более чувствовал себя лишним, совершенно никому не нужным, здесь воспринимали его в качестве подопытного, что вполне им ощущалось. Такое подавляло, вызывало ожесточение и дальнейший уход вглубь себя. Другого способа защититься от постоянного внешнего пресса просто не было.

Борису навсегда запомнился дошедший до его сознания уничижительный до обидного возглас незнакомого экзаменатора после очередной проверки, будто сам испытуемый не находился рядом и не считался им за равного ему человека:

— Какого хрена? Неужели непонятно? Это же полностью асоциальный тип! Абсолютно бесперспективный для работы слабоумный больной!

И хотя он не понял полностью смысла, но вполне уловил эмоциональную окраску произнесённого — недобро настроенные безжалостные люди вынесли ему окончательный приговор.

15. «НЕ ИЗМЕНЯЙСЯ, БУДЬ САМИМ СОБОЙ»[1]

Прошелестев шинами по влажному асфальту, впереди замигала красными стоп-сигналами притормозившая белая «Волга».

— Станислав! — Павловский собственной персоной приветливо выглядывал над опущенным боковым стеклом. Одновременно приоткрылась правая передняя дверца. — Садитесь, я вас подвезу. Вам куда, Станислав Дмитриевич?

— А вы сами-то куда, Семён Аркадьевич, в свои пенаты? Я слышал, ваше исследование выдвигают на государственную премию?

— Неплохо бы, конечно, но прежде пусть дадут завершить хотя бы начатое. Так нет же! А перспективы-то куда существеннее... Впрочем, всё это пока только на стадии слухов... У вас найдётся свободных полчасика?

— Да, в общем-то, я выходной, время есть...

— Вот и отлично. А то у меня к вам серьёзное предложение, Станислав Дмитриевич. И не хотелось бы обсуждать на скаку. Давайте-ка доедем до нашего центра. Мне нужно срочно захватить у себя препараты для одного малолетнего пациента. Только что консультировал в детской реанимации. У детей гораздо больше шансов на регенерацию коры при декортикации, чем у взрослых. Ускоренный обмен веществ, большие резервы организма, рост клеток и так далее... Станислав, чтоб вам не терзаться в догадках, знайте, хочу переманить вас к себе в центр. Работа по вас, обещаю: скучно не будет, а там и науку двинете. Как только закончим с главным, пойдут кандидатские, докторские, сейчас пока не до того — дел невпроворот.

— Почему вы предлагаете именно мне? Вы, наверное, слышали, что произошло у нас в больнице...

— Полная чепуха! Эти дрязги меня совершенно не интересуют. Вы меня вполне устраиваете как сотрудник. Я знаю вас в работе, Станислав, знаю ваши способности, ваш потенциал. Для меня, прежде всего, важны деловые качества, мозги. Мне нужны

[1] Вильям Шекспир, «Сонеты. Сонет 13», перевод С. Маршака.

такие энергичные ответственные ребята, будем сообща толкать паровоз науки. Вам непременно надо расти, год-два максимум, и кандидатская у вас в кармане, гарантирую, а там и докторская не за горами. Поле-то непаханое... Пока в отечестве никто, кроме нас, этой проблемой не занимается, но американосы и западные немцы уже на пятки наступают. Правда, можете на время потерять в оплате, думаю, ненамного... Зато потом оправдаете с лихвой! Перспективы такие, что дух захватывает, уж поверьте! На самом высоком уровне обещана поддержка и приоритетное финансирование. На днях меня твёрдо заверили: разные административные препоны, все эти насланные комиссии с их бесконечными протокольными придирками больше не помешают. Мы попали в струю, в резонанс к этому самому «новому мышлению», — он довольно похоже спародировал говорок генсека. — У себя вы при вашем-то опыте и квалификации просто закиснете. Хочу, чтобы вы ещё раз посмотрели наши лаборатории, новую камеру для гипербарической оксигенации, ознакомились со всем размахом, перспективой, так сказать, а то в прошлый раз получилось галопом по Европам. Да вас, по-моему, и интересовал тогда только наш общий подопечный.

— А как он сейчас, кстати?

Павловский помрачнел.

— Мы сохранили человеческую жизнь, самое главное, как утверждали гуманисты всех времён, но возродить полноценную личность на этот раз, увы, пока не смогли, и вряд ли получится что-либо исправить. Но не будем считать блин комом. Он жив! Начав создавать новое сознание в прежнем теле с нуля, мы недалеко от него, то есть от нуля, продвинулись. Не вышло вылепить нового человека из старого материала, получилось нечто, но совсем не то, на что рассчитывали. Вот так-то, уважаемый Станислав Дмитриевич. Вы первый, кому я говорю всё как есть. Только знайте, частичная и временная неудача вовсе не значит, что у нас не получится в следующий раз. Мы не остановимся, обязательно продолжим и, очень надеюсь, вместе с вами.

Замелькали блеклые вывески кафе, парикмахерской, хлебного магазина, столовой. А там и до центра регенерации осталось рукой подать.

На этот раз профессор не предложил Стасу никакого угощения и вызвал по внутренней связи однокурсника Веткина.

— Ярослав Степанович, я вам поручаю вкратце познакомить коллегу с нашим центром. Минут через сорок жду назад обоих.

— Так что, всё-таки надумал? — панибратски поинтересовался База, едва оказались одни. — Что наобещал? Кандидатскую-докторскую, мани-мани, поездки за рубеж, престиж и перспективы?

— А сам-то чего не уйдёшь, если всё так плохо?

— Я слишком увяз во всей этой катавасии. Привычка — вторая натура. Да ещё теперь интересно, что из этого получится?.. Только я тебе честно скажу: не стоит овчинка выделки. Потеряешь квалификацию. Ты же специалист, практик-реаниматолог, а здесь просто модное направление исследований, и мода на него вот-вот закончится. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день не получу зарплату вовремя.

— Учту твою ценную инфу.

Ярослав Сизов уложился в отведённый срок. Показал Станиславу не только палаты с больными, пережившими клиническую смерть, но и подвал с виварием для животных, отдельную операционную для опытов над ними, оснащённую по последнему слову техники. Оборудованию отделений, всяческих функциональных кабинетов и лабораторий оставалось только позавидовать.

Гордостью центра оказалась секция ГБО, гипербарической оксигенации с барокамерой на шесть коек, наличием которой профессор успел с гордостью похвастаться перед Веткиным. Она обеспечивала важную часть комплексной терапии после реанимации. Многие клиники пока лишь мечтали о столь полном объёме специализированной помощи. Насколько слышал Станислав, даже там, где имелись подобные отделения, нередко для камер использовались доступные подручные средства от металлических железнодорожных цистерн до частей корпусов списанных самолётов. А здесь всё новенькое заводского производства впечатляло и показывало, сколько средств уже затрачено на данный проект.

Не представился ли ему пресловутый единственный шанс изменить всё одним махом, перейти на другой уровень? Пусть это не совсем нейрофизиологическое изучение мозга, о котором мечтал когда-то при выборе профессии, но уж точно самый передний край науки... Но трудно так вот сразу решиться... За годы работы Веткин привык чувствовать себя на своём месте, после удачной реанимации нередко испытывал ни с чем не сравнимый душевный подъём, сознание собственной необходимости и значимости для других... А центр регенерации — это совершенно другое... И не вполне по его части. Окажется ли он готов к такой перемене, сможет ли быстро перестроиться? Справится ли с ответственной работой, привыкнет ли к новому распорядку,

впишется ли в незнакомый коллектив? Наверняка у Павловского всё иначе, нежели в привычной до мелочей, успевшей опостылеть клинике. Может, он, Стас Веткин, найдёт там гораздо больше удовлетворения, чем от давно ставшего для него обыденным возврата к жизни пациентов, без чего он даже иногда скучал? С иронией, разумеется, никогда не озвучивая вслух, иногда подумывал: «Как не стукну с месяц кого-нибудь током, так не в своей тарелке себя чувствую!» Другие, далёкие от его практики, наверняка не смогли бы такое правильно понять.

В центре пытаются создавать новых людей из старого материала, вполне в духе «нового мы шления»! Реально, без пустопорожней болтовни с трибун, которой безостановочно потчуют радио, телевидение и газеты между бодрых отчётов об успехе борьбы за трезвость. Но насколько он сам готов заниматься столь высокими материями? В клинике всё предельно ясно: остановилось сердце — даёшь разряд джоулей в двести для начала, а при необходимости и больше. Если сразу не повезло — в прозекторскую. При удачном результате начинаешь интенсивную терапию, чтобы привести больного в божеский вид, подготовить для профильного отделения. А дальнейшее уже дело врачей-специалистов, при самом печальном исходе тех же патологоанатомов.

А вот насколько достижимы цели проекта Павловского? Хотелось бы не только верить... Так ли уж непререкаемо прав Семён Аркадьевич в своей почти маниакальной одержимости? Где конкретные очевидные результаты на сегодняшний день? Если они уже есть, к чему такая секретность? Случай с Борисом вовсе не убеждает в неизбежности успеха, скорее наоборот... Может, он, Стас Веткин, не понимает чего-то важного? Да и кто он, чтобы лепить нового человека из отработанной глины, примерять на себя роль Создателя? Просто смешно. У него даже в собственной жизни далеко до видимого порядка. Воспитать сына, как хотелось — не получается, теперь он растёт без отцовской руки. Кто же из него выйдет?..

16. ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

Веткин продолжал работать почти буквально за кусок хлеба, как и большинство вокруг, в этой бесконечной круговерти не находилось нескольких минут для звонка Павловскому. За повседневной текучкой он о том забывал, а если вспоминал, то в самые неподходящие моменты и тут же откладывал решение на потом. Так незаметно пролетел месяц, другой, а Стас не смог определиться с переменой работы.

Веткина восстановили в должности врача, навесили на него почти две ставки в дежурствах. Приближались сроки обязательного через каждые пять лет последипломного обучения, которое полностью оплачивала больница. Не пройдёшь курсы усовершенствования вовремя — прощай категория и надбавки.

Внезапно для всех Зиновий Луцкий со своей драгоценной СэМэ после очередного отпуска не вернулись на работу, поскольку отбыли врачами на два года в одну из африканских стран. Без шума оформленный контракт супругам удалось сохранить в полной тайне до самого отъезда. Должность заведующего реанимацией оказалась вакантной. Поскольку, кроме Веткина, не нашлось ни подходящей кандидатуры, ни желающих того, именно его, несмотря на недавний проступок, назначили исполнять обязанности зава, правда, пока временно и без соответствующего по всей форме закрепления приказом. Пусть стаж невелик, но опыта уже достаточно, молодой, энергичный — самое, что надо для реанимации. Учли и то, что кафедра при необходимости всегда поможет, подскажет, их больница давно использовалась клинической базой одного из медицинских вузов.

Инна не давала о себе знать после неожиданного вторжения в начале его холостяцкой жизни. За столь обнадёживающим началом никакого продолжения не последовало, а позвонить первым Станислав не посчитал возможным. Временами Стас сознавал себя законченным фаталистом, может, так проще ни перед кем, ни за что не отвечать? За будничными мнимо значимыми и неотложными делами он вспоминал об Инне всё реже. Неожиданно ему в отделение позвонила сама Инна и сообщила, что нужно срочно поговорить не по телефону касательно бывшего мужа.

— Что случилось? — забеспокоился Стас. — Могу приехать к тебе прямо сейчас.

— Приезжай.

Может, это и есть ответ? — спрашивал он себя, глядя с заднего сидения такси на проносящиеся за стеклом с детства знакомые здания. И получается, любая попытка создать нового человека из старого материала заведомо обречена, что убедительно предсказано ещё на вымышленном примере чудовища Франкенштейна. Не правильнее ли стараться сберечь то, что уже имеешь от природы, данную однажды жизнь, ценить живых вокруг себя, близких, любимых? Жить для них, а не ради призрачных целей, денег, карьеры, степеней, престижа? Стараться не быть сволочью по отношению к другим, хотя бы перед самим собой не быть... Вот и выходит, что у Павловского ему

совершенно нечего делать.

Конечно, ему повезло узнать Семёна Аркадьевича, даже немного поучаствовать в столь необычном проекте. Но такое не для него, не для Стаса Веткина. У него уже есть реальное дело, навыки привычной работы, благодаря чему его уважают и ценят. Он приносит пользу, получая иногда и какое-то моральное удовлетворение. Он поймал себя на том, что сомневается: не оправдывает ли так своё бездействие после предложения профессора? Семёну Аркадьевичу придётся обойтись без него, не подходит он на роль первопроходца. К тому же не порочен ли изначально выбранный Павловским путь, не ведёт ли в тупик?

Впрочем, сейчас Веткина больше беспокоило другое. Как убедить женщину, подарившую ему незабываемую ночь, доверять ему? О чём она захотела так срочно переговорить? Как-то у них всё дальше сложится? За ту вечность, что не виделись, он старался не думать, не вспоминать о ней. Но едва заслышал милый расстроенный голос в трубке, внезапно понял, чего ему не хватало всё это время.

Всё произошло совсем не так, как он нафантазировал по дороге. Выражение её лица показалось Стасу одновременно растерянным и озабоченным. Вопреки надеждам он не увидел признаков радости. Сразу задался вопросом: желанный ли он гость? Губы лишь слегка накрашены для приличия, не видно, чтобы хозяйка с особым тщанием готовилась к встрече.

— Проходи, не стой. Мне очень нужно посоветоваться.

Он повесил плащ на свободный медный крючок, воспользовался домашними тапочками подходящего размера. Инна провела его из передней внутрь. Квартира оказалась трёхкомнатной, в зале молчаливую зависть вызвал магнитофон «Юпитер» с четырьмя колонками, о котором мечтал лет десять со студенчества, но всё откладывал по разным причинам. До сих пор так и не смог купить — целиком ушёл бы его шестимесячный оклад или теперешний квартальный заработок. Оставалось утешать себя, что у человека всего два уха, и двух колонок стереопроигрывателя вполне хватает его физиологии, а квадро — излишество и полный выпендрёж, только это не очень успокаивало. «Юпитер» он бы всё равно приобрёл в кредит, но рождение Родиона надолго отодвинуло намеченное.

Экспортный вариант «Спидолы» на серванте, громадный цветной «Горизонт» в углу, импортный мебельный гарнитур тёмной полировки, пёстрые дорогие обои с развешенными красочными фото милой девочки с пшеничными косичками, очень похожей на хозяйку. Интересно, как мог рядовой советский инженер позволить всё это на свою зарплату?..

Веткин присел в низкое кресло и тупо уставился на три знакомо пузатые коньячные бутылки за стеклом серванта напротив.

— Прошлогодний подарок мужу от болгарской делегации, — сообщила хозяйка, заметив его взгляд, и выставила на низенький журнальный столик два расширенных книзу бокала для коньяка. Плеснула по ним поровну из початой бутылки не больше, чем на два пальца, точно до начала сужения. Следом появилась хрустальная вазочка с ассорти из шоколадных конфет фабрики «Красный Октябрь» в разноцветных бумажных фантиках, всякие мишки белые на севере и бурые в лесу, каракумы и прочие красные шапочки. — Может быть, ты голоден? Хочешь, я что-нибудь быстренько приготовлю?

Стас поднял свою рюмку на уровень глаз и посмотрел на так и не присевшую с момента его появления Инну сквозь буро-янтарную жидкость в резной огранке:

— Ну, что же всё-таки случилось? Давай сразу к делу. Чем смогу помочь?

Она подошла к окну, держа свой приплюснутый тюльпан из хрусталя на ладони за ножку, пропущенную меж пальцев, посмотрела на двор внизу.

— Просто не знаю, как поступить. Понимаешь, нужен именно твой профессиональный совет. Впрочем, не только профессиональный. Так получается, как ни странно, но ты оказался очень даже не чужим для меня... Знаешь, я ведь много передумала за это время о тебе, о нас... Для меня такое вовсе не в порядке вещей... Только пойми правильно: мне совершенно ничего от тебя не нужно, хочу посоветоваться, вот и всё... Мне сегодня позвонили, чтобы я немедленно забирала Бориса. Вот так сразу без подготовки, безо всяких предупреждений. Ты, мол, законная жена, ну, и получай своё добро! — она обернулась и смотрела теперь на Станислава сквозь слёзы в глазах.

— Подожди-подожди, как такое может быть? Кто звонил? Откуда? Свою фамилию, должность хотя бы назвали? Давай-ка по порядку!

— Звонили из этого самого санатория реабилитации. Врач какой-то, фамилии не запомнила, сказал, что они не могут дальше держать Борю у себя. В течение двух дней чтоб увезла его домой...

— А как он сам? Наверное, есть всё-таки улучшение, какие-то сдвиги по сравнению с прежним? Как он себя ведёт?

— Насколько я могу судить, положение только ухудшается, уже не на что надеяться. Я к нему не ездила недели две. Да и какой в этом толк? Он забывает даже то немногое, чему его научили за реабилитацию. Представляешь? Какое-то обратное развитие, что ли... Он сильно деградировал. Пойми, Стас, — будто через силу подбирая слова, продолжала Инна, — формально он всё ещё мой муж, эта квартира его, он квартиросъёмщик. Мне же некуда податься, надо разменивать жилплощадь. Я ни с чем таким не сталкивалась и теперь просто не знаю, как поступить. И когда мне объявили, что его выписывают — я запаниковала, что делать? Единственный выход, наверное, развестись немедленно. Но это будет выглядеть подлостью с моей стороны, да и сколько времени займёт вся эта бюрократия, трудно даже представить! Так что, пока он не станет полностью самостоятелен, об этом не может быть и речи. Хотя теперь я уверена: никогда, никогда уже такого не случится, всё становится только хуже и хуже. Представляешь, он почти совсем говорить перестал, совсем, будто забыл все слова, которые освоил. Меня уже никак не называл. Наверное, это мой крест, моё наказание. Я так думаю. И потом, он всё-таки отец моей девочки, и хорошее у нас раньше было... — она то ли оправдывалась перед Стасом, то ли убеждала себя.

— Постой-постой, почему это вдруг Бориса выписали? По-моему, они просто хотят спихнуть его, чтоб избавиться от положенной в таких случаях волокиты. Его что, освидетельствовали, признали дееспособным?

— Ничего они не признавали, после центра продержали всё это время в санатории реабилитации, и всё. Сказали, больше не могут. Везде начались какие-то большие сокращения, они объяснили, что программы свёрнуты, теперь его поставили на учёт в психдиспансер. Посоветовали, добрые такие знаешь, дескать, мне надо самой недееспособность и опекунство оформлять. Лекарств дорогущих на месяц наперёд навыписывали. Я просто не знаю, что дальше делать. И на моей работе больше не могут терпеть мои отпуска по уходу. Мало того, что государство от него отказалось, мне самой выплачивают сущие копейки, еле концы с концами сводим... А мне ещё Алёнушку поднимать... Я всё-таки узнавала, сказали, за опеку над совершеннолетними ничего, никаких доплат не полагается, мол, куда лезешь, без ваших дебилов с афганцами никак не разберёмся. Только не подумай, что я собралась ныть и жаловаться тебе или денег просить. Просто подумала, может, ты что-то придумаешь, подскажешь, куда обратиться? Я уже и в райком, и в райисполком, и к нашему депутату Верховного Совета записалась... Как будто человек не работал добросовестно столько лет, за гроши к тому же, никому нет никакого дела теперь, только бесконечные отписки и вместо помощи одни ненужные советы... Действительно, страна советов!

— Неужели нельзя решить через собес, можно прикрепить кого-то, чтобы обслуживали его, пока он сам не в состоянии... Без юриста тебе всё равно не обойтись, мы все с нашим высшим образованием в простых правовых вопросах совершенно безграмотны... — Станислав вспомнил собственное бесполезное обращение к бесплатному юрисконсульту для медиков, для Инны это вовсе не пригодится.

— Ты предлагаешь отказаться от него, избавиться? И стать в глазах всех знакомых и окружающих сволочью и тварью? Кто поймёт? Заплюют же! Только ленивый не осудит... Он отец моей дочки, муж по закону, в конце концов, мы с ней никогда от него ничего плохого не видели. Да я и сама чувствую, что так поступить сейчас непорядочно, не по-человечески... Он же совершенно беспомощный...

— Но, не забывай, теперь это совсем другой человек, ты сама согласилась! Он не признаёт ни тебя, ни дочку, и вообще, чёрт его знает, что ему может взбрести в голову — он же непредсказуем, да и не отвечает за себя. Ты не боишься, что он может сделать что-то дочери, нанести вред вам обоим, а то и пожар устроить? Его же ни на минуту нельзя будет оставить одного. Извини, но так жить невозможно...

— Думаешь, я ничего этого не понимаю? — с горечью спросила Инна и повторила обречённо: — Это мой крест... — немного помедлила и призналась виновато: — Алёнушку я на всякий случай пока к маме отправила.

— Тебе надо думать сейчас прежде всего о дочери. И не хочу накаркать, но выбирать тебе всё равно придётся... Пусть лучше это случится пораньше...

Оба замолчали надолго, давящая физически тишина неподвижно повисла между ними. Стас просто не знал, как можно реально помочь в таком положении? Для чего вообще позвала его? Ведь она и не нуждалась особо в его советах, давно всё сама решила раз и навсегда. А сейчас просто не слышит его. Вот заладила про крест, символ смерти. Что она, ему поклоняется, что ли? Он давно считал, что если даже существовало такое историческое лицо, как Иисус, чтить предмет, послуживший орудием его убийства, нелепо. Всё равно как если всем почитателям Александра Сергеевича Пушкина начать молиться на пистолет, из которого его застрелил Дантес. В Стасе внезапно проснулся бывший лектор общества «Знание», вот только путёвку ему теперь никто не выпишет и не оплатит, да и неуместно разводить перед ней подобную агитацию.

Он вовремя прикусил язык и промолчал, ещё не хватало им сейчас перессориться, ко всему прочему! Наконец, Инна разжала губы:

— По-твоему, я не думала об этом? Да тысячи раз! — в голосе её зазвучало неподдельное отчаяние. — Мозги уже раскорячиваются. Знаешь, наверное, лучше не надо было тебе тогда... так стараться оживить его, ну, если клиническая смерть затянулась, как ты сам объяснял...

— Да что ты такое говоришь!.. Опомнись! Кроме всего, в такие моменты по моей воле мало что происходит, — возмутился помрачневший Веткин. — Всё делается как бы на автомате, пока есть хоть шанс. Навыки давно в подкорке закрепились. Тут уже ничего не изменить, если даже захочешь. Да и вообще от нас мало что когда зависит, — «а ведь прежде я никогда не считал себя фаталистом», добавил он мысленно, но вслух не озвучил. — Ладно, я постараюсь связаться с профессором Павловским. Если кто и сможет всё разъяснить и реально помочь, хотя бы практическим советом, то только он и никто больше, — примирительно пообещал Станислав.

Вот вроде бы и всё, разговор закончен. Нет, какого чёрта ему здесь находиться дальше? Совершенно идиотская ситуация получилась... Самый удобный момент потихоньку без прощаний выскользнуть из квартиры, и пропади оно всё пропадом! Вспомнилась старая житейская мудрость: никогда не имей дело с женщиной, у которой проблем больше, чем у тебя. Хотя ещё вопрос — чьи это проблемы? В конце концов, он врач и давал клятву Гиппократа, как бы декоративно её ни воспринимать. Не следовало упускать из виду с таким трудом оживлённого больного, ведь он сам оказался причастен к тому, во что превратился им спасённый.

— Только не оставляй меня сейчас одну, пожалуйста! Не оставишь? — её серые умоляющие глаза оказались внезапно совсем рядом. Миг головокружения, и все сомнения рассеялись без остатка.

17. «РУКОПЛЕЩИ ВСЕМ ПРИГОВОРАМ, КАКИХ ПОСТИГНУТЬ НЕ ДАНО»[1]

На следующее утро Веткин позвонил из отделения Павловскому.

— Он отстранён от занимаемой должности и больше здесь не бывает, — буднично известил суховатый мужской голос.

Стас набрал домашний номер однокурсника:

— Ярик, привет! Это Веткин. Что там у вас стряслось? Не могу связаться с Семёном Аркадьевичем.

— Павловского сняли, а центр то ли распустят, то ли перепрофилируют. Всех сотрудников отправили в бессрочный отпуск. Я хоть компенсацию какую-то урвал, а другим и того не дали, заставили увольнение по собственному желанию написать. Как бы мне не пришлось на скорую помощь в линейную бригаду податься. Во какие дела! Понял, Ёлкин-Палкин? Кстати, как у вас в больнице с местами по моей специальности?

— Как это распустят? Ты что, серьёзно, что ли?.. А про места надо в отделе кадров узнавать...

— Куда уж серьёзнее! Все работы разом прикрыли. Дело завели, даже не одно, следствие только раскручивается. Вообще-то не телефонный разговор... Надо бы встретиться. Давай пивка попьём?

— Сегодня никак не выйдет, сейчас на работе, а вечером дежурю. Давай-ка завтра с утра...

На том и порешили. Стас прибыл после дежурства в условленное место и поднялся по лестнице на второй этаж. Сизов уже поджидал за столиком у окна, точнее, стеклянной стены. В студенческие годы самую большую из известных им пивных, по сути целый комбинат, они называли «пиводром», «аквариум», «рязанка». Здесь всегда находились свободные места и можно было заказать к холодному свежему пивку большую порцию отваренных с солью отменных розовых креветок, причём недорого. При желании не составляло труда обернуться по подземному переходу до магазина напротив за бутылкой-другой креплёного, а потом разливать в стаканы под столом.

Пока в обоих залах на втором и первом этажах царила тишина, не более трёх-четырёх столиков оказались заняты ранними посетителями. Ярослав уже заказал на каждого по кувшину и по внушительной тарелке морских рачков. Стасу не терпелось расспросить однокурсника о причинах перетряски в центре, о судьбе Семёна Аркадьевича, и потому он довольно невежливо пресёк лирические воспоминания Базы о давно минувших студенческих годах и затронул с нетерпением ожидаемую тему.

Свежие сведения о Борисе после перевода из центра нашлись в отчёте одной из комиссий. Последнее плановое обследование дало самые плачевные результаты. Ни о

[1] А. Твардовский, «По праву памяти».

каком развитии личности речи уже не шло, более того, психологи единодушно отмечали полный регресс и нарастание слабоумия. Несмотря на значительное урезывание субсидий и самого проекта, Павловский добился для Бориса уже в санатории продолжения терапии препаратами, усиливающими метаболизм нейронов коры. Это дало эффект, подопечный снова стал активен, но иначе, чем прежде. Вернувшаяся агрессивность всё чаще прорывалась наружу. Успокоительные средства теперь не всегда помогали, возобновились вспышки буйства. Он без видимых причин ломал мебель, нападал на персонал. Из палаты убрали телевизор, но это его не утихомирило. Министерская комиссия заключила, что больной социально опасен и нуждается в дальнейшем лечении в специализированном психиатрическом учреждении закрытого типа.

И без того скудный ручеек дорогих импортных лекарств быстро иссяк. Программу по реабилитации свернули, якобы из-за отсутствия значимых окупающихся результатов. Теперь даже профессор Павловский не мог вмешаться, к этому времени сам он уже ничего не решал. За последние месяцы в центре создались невыносимые условия. Стало совершенно невозможно заниматься даже рутинными делами. Чуть ли не ежедневно являлись дознаватели всех мастей, повсюду совали нос, что-то вынюхивали, что-то искали, буквально «рыли землю» в поисках любого компромата на руководство. Сотрудников то и дело отрывали от работы, принуждали давать нужные следствию показания, заведомо очернявшие Павловского, в противном случае грозили всевозможными неприятностями от увольнения «с волчьим билетом» до осуждения на несколько лет по подходящим статьям уголовного кодекса. Напротив, за согласие сотрудничать сулили материальные блага со скорым карьерным ростом.

— А как же сам Семён Аркадьевич всё это переносит?

— Насколько я слышал, он сейчас на больничном под подпиской о невыезде, нервы, конечно, ему здорово потрепали, не дай бог!

— А коллектив как? Неужели вы молчали?

— Да заткнули всех... И потом, ведь нарушений нашли предостаточно. Когда начались нелады с финансированием, наш босс на свой страх и риск понавыписывал направо и налево премий. Ставил условием, что большая часть из них пойдёт на покупку новой аппаратуры с комплектующими, на дорогие импортные медикаменты и тому подобное. Делал всё это, чтобы работа ни дня не стояла. Разумеется, делиться многим не нравилось, получаешь-то чужие, а отдаёшь свои! Или ты думаешь, в нашем центре одни энтузиасты с идеалистами собрались? И когда понаехали следаки, вся эта липа вскрылась, а там ещё много до чего докопались, перерасход спирта и прочая ерунда... Уйма доказанных фактов, эпизодов, как у них принято говорить...

— Н-да-а... Послушай, Ярик, а у тебя есть знакомые в этом самом санатории реабилитации, ну, среди тех, кто ведёт моего «крестника»?

— А что ты хочешь ещё знать?

— Меня попросили выяснить, что с ним будет дальше. Вроде бы принялись давить на близких, чтобы они его немедленно забрали домой...

— Насколько я знаю, подобным больным необходим постоянный индивидуальный пост. Никто не может заставить родственников против воли взять на себя такую обузу на всю жизнь. Постой-постой, родни-то у него нет... Это его жена, что ли, тебя подрядила? — Станислав подтвердил молча. — Так ты что, её оприходовал никак? Ну, ты даёшь! Да ладно, скромняга, меня это не касается. В таких случаях всё делается долго и нудно. Тут и спорить нечего, его должны признать недееспособным, умственно неполноценным по заболеванию. К тому же не могущие себя обслужить без посторонней помощи нуждаются в постоянном стационарном уходе. Короче, должны дать полную инвалидность и так далее со всем положенным. Не могут его просто так выписать, если только родственники не настоят. Я не особо знаком с подобными процедурами. Лучше тебе самому выяснить во ВТЭКе...

18. «ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ТИШИНА»[1]

Несмотря на усиление аутизма, Борис не мог не почувствовать в окружающем очередного поворота к худшему. Его долго везли в сопровождении двух дюжих санитаров, стёкла салона, грубо замазанные изнутри белой краской, не позволяли ничего видеть снаружи. Когда фургон остановился в последний раз, его вывели во двор за высокой каменной стеной с колючей проволокой поверху. Перед ним возвышалось серое обшарпанное здание старой кирпичной постройки в несколько этажей с небольшими зарешёченными оконцами. Вместе с другими доставленными его провели в открывшуюся с лязгом железную дверь, затем по длинному мрачному коридору, пока не оставили в совершенно незнакомом месте.

[1] Дельфин (Андрей Лысиков), «Тишина».

В заставленной железными койками палате с толстыми решётками на окнах, кроме него, находилось десятка два таких же бедолаг. Это и был его новый дом. Тут кормили намного хуже, чем в санатории, и персонал, и отношение к нему полностью изменились. Никто не обращал на него внимания, только некоторые из соседей принялись от нечего делать досаждать новичку большую часть времени, видя в нём свежее развлечение. Редкие, далеко не ежедневные прогулки под надзором в наглухо закрытом дворе в обществе других несчастных составили всё разнообразие в теперешней монотонности серых буден.

Перемены в безрадостное существование бывшего пациента Павловского привнёс дёрганый плотно сбитый тип небольшого росточка, только что принятый в штат. Ненормально вертлявый и подвижный для своих тридцати с хвостиком откормленного вида новенький, бойко отзывавшийся на обращение Колёк, сразу невзлюбил Бориса.

— Ну, что, дурик, не устал тут народный хавчик трескать? Бежал от дыма, да попал в огонь? — с нескрываемой неприязнью вопрошал новичок Бориса, нимало не задумываясь, может ли вообще тот понять его псевдомудрые прибаутки. При этом мерзкая физия Колька ширилась в кривой щербатой ухмылке.

Он не упускал случая побольнее пихнуть безответного беднягу под рёбра или отвесить чувствительную плюху, когда поблизости не оказывалось свидетелей из персонала. Непрекращающиеся приставания вызвали то, чего медики не смогли добиться с помощью даваемых прежде пилюль. Борис начал реагировать, пока никак не проявляя своих чувств внешне. Он остро возненавидел обидчика, теперь это сделалось его единственным интересом в окружающем. Стоило появиться Кольку на дежурстве, он тут же попадал в прицел полного ненависти взгляда исподлобья. Это нисколько не насторожило санитара, продолжавшего строить глупые беспричинные козни аутисту.

И вот когда однажды на прогулке Колёк загасил окурок о предплечье Бориса, тот дико взвыл и бросился на обидчика, намертво вцепившись руками в горло. Отбиться от вышедшего из себя инвалида помог напарник, изо всех сил несколько раз треснувший сзади больного огнетушителем по затылку, но тот, уже потеряв сознание, не расцепил пальцев, которые с большим трудом смогли разжать другие подоспевшие на помощь сотрудники. Даже этот случай ничему не научил санитара-недотёпу.

Бориса несколько дней продержали связанным в изоляторе, давая через небольшие промежутки сильные успокоительные. Некому было объяснить врачам, что причиной припадка буйства послужили действия санитара, никто его не выдал, и врачи не стали ломать голову над поведением психически недужного, списав всё на весеннее обострение болезни.

Среди персонала была медсестра с немалым стажем Анна Васильевна. Борис сразу ощутил исходящее от неё душевное тепло и начал отличать её от остальных, испытывал смутное удовольствие, когда она заступала на дежурство. Стоило ей приблизиться, чтобы раздать лекарства или забрать его с собой в процедурный кабинет для планового укола, на лице Бориса появлялась странная гримаса, блеклое подобие утраченной им улыбки. Другие медсёстры и санитарки, заметив такое проявление чувств, не упускали случая подколоть товарку:

— А твой-то, твой никак опять на тебя лыбится! Вон как моргалками уставился! Того гляди, на свиданку позовёт. Или ужо? — на что Анна Васильевна отвечала в том же духе:

— А вам-то что, старые кошёлки? Или кто увести собрался? Не выйдет, обломитесь! Мы уж с ним сами как-нибудь разберёмся! Ну, иди, иди сюда, дружочек, у тебя ещё один укол в попку на сегодня. Вот, к следующему лету поправишься, так сразу поженимся и дочку Васей назовём!

Однажды пасмурным днём Колёк, перебрав наворованного у зазевавшихся медсестёр спирта с настойкой пустырника, подкараулил в конце коридора Анну Васильевну и попытался ущипнуть, тесня её в уголок. Одна-две затрещины в ответ не остудили его пылких намерений.

— Где же ты успел так нажраться, маломерок?

— Что вошло в желудок — то есть прибыль, — откликнулся довольный ходом общения Колёк, хлопая себя короткопалой ладонью по пузу.

И по странному или вполне закономерному стечению обстоятельств Борис оказался невольным свидетелем этой сцены. В падавшем сверху мертвенном свете люминесцентных ламп Колёк вдруг увидел искажённое яростью, потусторонне страшное лицо Бориса. Больной не отрывал немигающего взгляда от постылой физиономии обидчика, теперь уже не только его личного, но и доброй медсестры, ангела в белом халате. В нараставшем гневе он не различал ничего вокруг, сплошная ярко-белесая вспышка заполнила всё поле зрения, мгновенно ослепила, до боли резанув глаза. Он отшатнулся, прикрываясь ладонью от безжалостно сверкнувшего света, и уже не слышал, как по-звериному закричал Колёк, хватаясь обеими руками за голову и оседая на пол.

Борис прислонился к нащупанной позади стене, дрожащие ноги не держали, он ощутил физическую боль ненавистного супостата и тут же испытал небывалое, ни с чем не сравнимое удовлетворение. Ему удалось сделать нечто, разом успокоившее его, никогда в этой повторной жизни ещё не доводилось познать такого всеохватного блаженства. Оскорбитель стонал и дёргался в судорогах на полу, но Борису уже не было до него никакого дела.

Прибежавшие на нечеловеческие вопли Колька́ санитары набросились на притихшего в сторонке Бориса:

— Что ты сделал с ним, урод? Говори, говори, с-с-сука! Ну?

Они усердно и деловито успокоили пациента кулаками и ногами, и через пару часов после и́збиения Борис, не приходя в себя, скончался на полу в изоляторе.

Колька́ переправили в неврологический стационар, где диагностировали разрыв мозговой артерии. Спустя неделю оборвалась его никчёмная жизнь.

19. «ДЕЛОВИТО НА ОСИ ПРИВЫЧНОЙ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ»[1]

И снова яркий лучевой зайчик победно прыгал через невидимый барьер смерти на экране монитора. Стасу и дежурной смене удалось сохранить жизнь ещё одному пациенту, отсрочить на какое-то время вынесенный болезнью безжалостной приговор. Только теперь Станислав Дмитриевич Веткин уже не простой врач-ординатор, не исполняющий обязанности, а постоянный заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Но нет ни радости, ни удовлетворения после только что затраченных усилий. Как и в давнем случае с Борисом, писчики энцефалографа с час вычерчивают одни прямые. Мозг необратимо умер. Сердце и лёгкие внешне обманчиво бодро двигаются в навязанном режиме, но на койке уже не человек в полном смысле слова — ещё одна декортикация. А звонить больше некуда, никто из центра регенерации не приедет на помощь, не распишет схему лечения чудодейственными препаратами, да и лекарствам таким давно неоткуда взяться, их производство прекращено. Впрочем, и центра больше нет. Как и прежде, сотрудники отделения остались последней инстанцией на пути заведомо обречённых больных в морг.

После бесконечных проверок и судебных разбирательств сам исследовательский центр Института экспериментальной реаниматологии постигла «клиническая смерть», а поскольку его «кровообращение» никто не собирался восстанавливать, последовал летальный исход, по официальной формулировке: «научно-лечебное учреждение перепрофилировано с учётом более актуальных нужд медицины и народного хозяйства». Финансирование программы регенерации мозга полностью закрыли ещё до того, а все проводившиеся работы по этой теме остановлены, независимо от полученных результатов и степени завершенности.

Отдельные сотрудники закрытого центра уехали за границу, другие подались в только что разрешённый частный бизнес или в практическое здравоохранение, начинавшее медленно и коряво переходить на платные рельсы. Сам Павловский пережил череду непрерывных судебных исков. Пристрастное следствие так и не смогло отыскать в действиях профессора состава преступления. Но никто не посчитал нужным официально извиниться перед Павловским и восстановить честное имя профессора...

Семён Аркадьевич перенёс обширный инфаркт миокарда. Используя старые связи, с большим трудом добился выездной визы в ФРГ для аортокоронарного шунтирования у лучших немецких кардиохирургов. И там, во время многочасовой операции, осложнившейся разрывом обнаруженной аневризмы сердца, скончался, не выходя из наркоза.

Полностью прекратили едва начавшийся выпуск оригинальных отечественных препаратов для регенерации коры головного мозга — витагена и нейробиона. Изготовление их дорогостоящих аналогов, как доходили слухи, начали в Швеции и Японии, но о закупке там даже небольших партий из-за отсутствия средств пришлось надолго забыть. Да что говорить, если в стране уже недоставало разовых шприцев и пластиковых подключичных катетеров!

Так и остался без ответа основной вопрос: а насколько верна сама идея создания нового человека из старого материала? При ненормальности окружающих условий, может ли вообще сформироваться с нуля полноценная личность? Предполагали получить человека с новым мышлением, а получился слабоумный, полностью зависимый от других...

— Станислав Дмитриевич! Звонили со скорой, неподалёку на проспекте большое ДТП, несколько машин всмятку, больше десятка тяжёлых. Сказали, срочно готовить места, уже везут. Понадобятся большие объёмы крови.

[1] Александр Кочетков, «Ласточки под кровлей черепичной...»

— Хорошо, Аллочка, спасибо. Будь добра, позвони сама в приёмник и травматологам, пусть будут наготове. Да, и обязательно станцию переливания предупреди, наверняка дополнительно потребуется разногруппная кровь и кровезаменители!.. Ну-ка, сделайте энцефалограмму ещё разок, — это уже палатной медсестре.

— Станислав Дмитриевич, гель для электродов заканчивается, это последний! Алла Алексеевна сказала: в аптеке больше нет и не будет.

— Хорошо, мы с ней уже о том говорили, только, пожалуйста, напомни позже, чтоб старшая выписала простой крем для бритья или сама пока купила, будем пользоваться им, — махнул рукой Веткин. То и дело приходится искать замену то для одного, то для другого, внезапно становящегося дефицитом. Ну, голь на выдумки хитра! Вот и самое дешёвое средство для бритья оказалось вполне пригодным заменителем импортного и дорогого электропроводящего геля для медицинской техники.

И уже не глядя, как палатная накладывает на голову пациента экономно смазанные остатками специальной желатиновой массы металлические пластины от ЭЭГ, поспешил в ординаторскую распорядиться о переводе в отделения всех, кого только возможно. Через несколько минут он вернулся и требовательно посмотрел на исполнительную медсестру. Та отрицательно покачала головой, протягивая готовую ленту с прочерченными прямыми:

— Так же, как раньше, в коре никаких очагов активности нет.

Как же сейчас не хватает Павловского с его центром регенерации! Станислав Дмитриевич Веткин ещё раз взглянул на экран монитора, глубоко вздохнул и решительно отключил жизнеобеспечение. Аппарат искусственного дыхания остановился на полувдохе, по обыкновению издав на прощание незаконченный не то хлопок, не то всхлип клапанов. Следом погасли индикаторы много лет используемого гэдээровского прикроватного комплекса «RTF».

— Вызывайте санитаров, место скоро понадобится!

И в ремзале, приготовленном к прибытию новых пациентов, ненадолго установилась непривычная тишина.

20. «НАПОЛНИ СМЫСЛОМ КАЖДОЕ МГНОВЕНЬЕ»[1]

«Уважаемый Станислав Дмитриевич!

Моя мама Мария Соломоновна Плотникова и вся наша семья с особой признательностью поздравляет Вас с наступающим Новым годом!

Пусть этот год будет для Вас добрым и светлым, пусть в Вашем доме будет счастливо и радостно. Не болейте. Мирного неба над головой.

Желаем Вам, чтобы выздоравливали все Ваши пациенты, чтобы никогда не иссякли Ваше милосердие, самоотверженность, внимание и доброта к людям, способность сострадать им. И как говорили в старину, да хранит Вас судьба.

Всегда благодарная Вам семья Плотниковых и Долгановых».

Написано от руки аккуратным женским подчерком на необычной импортной открытке с цветной репродукцией картины в стиле ретро современного голландского художника. Закутанные дети с непонятными выражениями заиндевелых от дыхания лиц катаются на древних коньках по замёрзшему каналу вблизи застывших крыльев ветряных мельниц. Белые заснеженные берега, расчищенный голубовато-стальной лёд, блеклое белесое небо, нарочитое отсутствие ярких красок. Совершенно несовременная одежда персонажей убедительно свидетельствовала о давно минувшем времени.

Стас никак не мог припомнить, кто поздравлял и за что конкретно его благодарят? По крайней мере, и то хорошо: писавшая точно знала, почему выражает ему признательность, в отличие от многих и многих других, не удостаивающих потом даже вежливым кивком при встрече. Да мало ли пациентов прошло через него — всех в памяти не удержишь, тем более, их родственников, да и зачем? Но сразу теплее на душе от подобных строк независимо от причины, побудившей автора написать благодарность.

Иной раз они согревали не хуже сохранившегося электрокамина или батареи центрального отопления. Значит, всё-таки он успел сделать что-то нужное и важное в жизни, раз кто-то помнит его и ценит. Или то всего лишь ещё одна бесполезная иллюзия? За одно спасибо сыт не будешь... Последнее время Веткин всерьёз раздумывал: а не бросить ли окончательно медицину, взять ссуду в банке и прикупить магазинчик, чтобы торговать свежими ходовыми продуктами, сосисками-котлетами, молочкой, хлебом, водкой и предметами ежедневного обихода, как настойчиво советовали знакомые, так уже поступившие. Только вот опять что-то сдерживало его. Шевелились смутные опасения, а вдруг закон опять изменят, а вдруг бизнес не пойдёт, и вложен-

[1] Редьярд Киплинг, «Заповедь», перевод М. Лозинского.

ные деньги не окупятся? А вдруг комиссиями разными замучают от пожарников до санэпидстанции? А вдруг конкуренты наедут, не говоря о полезших изо всех щелей рэкетирах? Подобно любому реаниматологу, он хорошо знал, что риски бывают не только при операциях...

С некоторых пор без резкого перехода у Стаса незаметно началась во многом другая жизнь с новой должностью, новой любимой, новыми надеждами. От прежней остались только навыки его единственной профессии, кроме которой он ничего не умел. Растущий без него Родион, в котором он нуждался, не меньше, чем тот в отце. Да ещё приобретённый опыт, зачастую горький, с не отпускающими воспоминаниями...

— Стасик, это ты? Хорошо слышишь меня? Понял, кто это? — голос в трубке принадлежал пожилой женщине, Стас не сразу признал Нину Васильевну. Давно не разговаривал он с бывшей тёщей:

— Конечно, Нина Васильевна! Неужели вы могли подумать, будто я вас не узнаю? Что произошло?

— Да нет, Стасик, не волнуйся. Что у нас может случиться! Я тебе звоню вот почему. Светлана с Андреем уже две недели, как уехали на юга. Родик сейчас со мною, а мне сегодня край как нужно встретиться со старыми подругами во второй половине дня. Родиона взять сможешь? Всего на несколько часов. Выручи старуху! Да и он так уж хотел с тобой повидаться, давно просится. Ты же сегодня-завтра не дежуришь, я в больничке твоей справилась.

— Конечно-конечно, какой разговор! — Стас не пытался скрыть внезапной радости. — А когда можно заехать за ним?

— Вот и хорошо, чем раньше — тем лучше. Спасибо тебе! До завтра сможешь его оставить у себя, чтоб не мотаться? Ему ведь в школу в выходной утром не идти.

— Ну разумеется! Даже с удовольствием.

— Только Светланочке не говори потом, она была бы против...

— Да мы с ней особо и не общаемся...

— Я думаю, лучше тебе знать... Андрюша её получил назначение во Францию, добился, чтобы и Свету взяли переводчиком. Через месяц уедут. Родиона им с собой брать не разрешают, так что оставляют на меня. А я, боюсь, уже не потяну, здоровье не то стало, знаешь ли... Придётся тебе иногда его забирать, хотя бы на выходные... Могу на тебя рассчитывать?

— Да не вопрос! Я всегда с радостью, сами знаете, если работа позволяет... Только надо заранее каждый раз обговаривать...

— Ну, ты погоди. До этого ещё далеко. Спасибо, что согласился, и мне, и ему так будет лучше. Вдвоём-то с тобой мы точно справимся. Да и тебе не помешает чаще с ним видеться.

— А он сам захочет?

— Зачем спрашивать? Родичка рядом, меня теребит, рвётся сказать что-то... Я ему трубку дам...

— Папа, папка, ты меня правда заберёшь?

— Конечно, сына, ты же слышал, что бабушка сказала...

— Да... здорово. Я по тебе скучаю...

Веткин сглотнул вставший в горле ком. Маленький быстро подраставший человечек на другом конце провода, его сын, определённо нуждался в нём. Вот он и обладал как раз тем самым «новым мышлением» с правильным ударением на нужном слоге, которое с нуля формировалось на его глазах. Если бы только знать наперёд, что из него вырастет! Увы... Но результат пока во многом зависит и от его участия. Теперь-то уж он никому не позволит встать между ними.

— Я буду у вас через два часа, потерпи чуток. Да, Родя, а ты не станешь возражать, если мы с тобой завтра утром в цирк пододимся? Согласен?

— Ура-ура-а-а! — неподдельный восторг в трубке не имел границ.

— Тогда спроси разрешения у бабушки.

— Сейчас... Ты ей сам скажи!

— Я всё слышала, Станислав. Да за-ради бога. Только, говорят, сложно туда попасть, билеты надо наперёд заказывать...

— А у меня, Нина Васильевна, теперь блат имеется: администратора тамошнего недавно пролечил, — пояснил Станислав, думая уже о другом: если сынишка не заартачится, почему бы не пригласить с собой за компанию Инну с её маленькой симпатичной копией? Давно пора ребят перезнакомить. Впрочем, это он предложит Родиону позже. Сегодня у них программа другая, только на двоих... Недавно взятая с рук почти новая шестёрка с годовым пробегом на днях прошла техосмотр... Пусть сынишка посмотрит вживую настоящий подмосковный лес. — Ну, ладно, тогда ждите. Не прощаюсь!

Александр ЖДАНОВ

МОЛНИЯ НЕ БЬЕТ В КАШТАН

Начальные главы романа о том, как жил-был прусский Тильзит и стал русским Советском

Самым старым деревом в городе считали липу.
Она там, на южной оконечности города, если, приняв влево, съехать с дороги, ведущей к Кёнигсбергу, и немного подняться по узкой булыжной тропе.
Верили, что посадил липу Наполеон. Прежде чем взять в руки лопату, французский император подписал в городе договор с императором русским, а до этого унизил и даже оскорбил короля Пруссии, их, тильзитцев, короля.
И не любили горожане вспоминать об этом, но к липе были добры и не трогали ее.
И росла она на городской окраине, и много еще было в городе лип и других деревьев.
Даже улицу назвали Линденштрассе, Липовая. И Каштановая улица тоже была.
В начале лета летел над городом тополиный пух, а зимою летел снег: зима — лето, зима — лето. Осенью опадали листья, оголялись деревья, и с каштанов падали на брусчатые мостовые зеленые ежики; они раскалывались, и выкатывались на брусчатку блестящие коричневые шарики, призывая мальчишек непременно пнуть их. Каштаны радовали горожан, каштаны вызывали в воображении красивые картинки, и называли жители свой город малым прусским Парижем. Он и впрямь изо всех других городов был наименее прусским: не орденский, не рыцарский — торговый город.

I

Отто Шульц был человеком строгим и даже суровым. Он считал себя старым воякой и был уверен, что имеет на это право. Что такое война, он понял еще летом четырнадцатого года под Гумбиненом. Тогда русская кавалерия атаковала внезапно и стремительно, и солдат Шульц сразу потерял многих товарищей. Тогда же он решил, что быть слюнтяем нельзя и что своего сына, когда тот родится (в том, что у него будет именно сын, Отто не сомневался), он воспитает настоящим мужчиной. Шульцу повезло: на войне он не был ранен, дослужился до фельдфебеля и домой вернулся с медалью. Как он смеялся в душе над теми слабаками, которые после нескольких месяцев в окопах заныли и заскулили и даже стали поговаривать о бессмысленности войны. Таких Отто Шульц не слушал и, может быть, даже донес бы унтер-офицеру, да тот сам услыхал все.

Дома Отто повесил на стене портрет Бисмарка и жизнь свою выстроил по военному образцу. В небольшой мастерской, доставшейся ему от отца, Шульц работал шесть дней в неделю с утра до вечера. И лишь в Рождество и на Святую Пасху позволял себе ничего не делать. По воскресеньям до обеда он бывал в церкви. Он вовсе не был набожным, Отто Шульц, но правила соблюдал строго, как военный устав.

Дела в мастерской шли хорошо. Со временем Шульц нанял двух работников, но

дальше расширять мастерскую не стал.

Шульц жил в приличном районе города на Ландерштрассе в доме, где над входом в подъезд красовался лепной картуш с шестью лилиями. В этот дом отец Отто сумел перебраться из-за железной дороги, где жили в основном рабочие бумажной фабрики. Воздух в той части города редко бывал чистым: в нем висел тянувшийся с фабрики едкий кислотный запах, и если бы не множество кустов черемухи и сирени, что высаживали жители у своих домов, находиться там было бы вовсе невмоготу. Там и дома были необычные. Уборная в них располагалась на лестничной площадке между этажами. Одна на две квартиры. Брезгливому Отто Шульцу это не нравилось. Да, он был брезглив и аккуратен, суровый Отто Шульц. И всегда опрятен. Чего требовал и от жены и сына.

— Урсула, ты подготовила мальчика к выходу? — Петер услышал громкий голос отца и напрягся. Вопрос этот не сулил Петеру ничего хорошего. Вопрос означал, что сейчас отец будет придирчиво осматривать его с ног до головы. Отец будет долго проверять, подстрижены ли ногти и чисты ли руки Петера, тщательно ли умылся Петер и не осталось ли грязи за ушами. Отец проверит, как причесан сын, хорошо ли заправлена в штанишки рубашка, аккуратно ли пересекаются на спине бретельки штанов. Отец несколько раз повернет сына, осматривая его со всех сторон. От этого у мальчика сначала вспотеют руки, затем лоб, а потом струйка пота потечет по спине между лопаток, рубашка станет слегка влажной и предательски выползет из-под пояса. Отец недовольно отвернется, махнет рукой, а потом во время всего пути в церковь и обратно не проронит ни слова. Когда же мальчик попытается заглянуть отцу в лицо, то увидит лишь плотно сжатые губы и стальной, направленный поверх головы Петера взгляд. А вечером мать будет крутить на кухне ручку мельнички с кофейными зернами и украдкой смахивать слезы.

— Все готовы, Урсула? — повторил Шульц, показываясь в дверях. — Мы опаздываем.

Отец взглянул на часы, висевшие на массивной серебряной цепочке, и Петеру показалось, что отец улыбнулся. Он даже не стал придирчиво осматривать сына, а просто окинул взглядом, и семья чинно двинулась к церкви. Путь всегда был один и тот же. Обогнув свой дом, они выходили на Линденштрассе и шли не спеша мимо красивого дома с балконами и гипсовыми балясинами, напоминавшими античные вазы, какие Петер видел на картинках в книге. Они шли мимо сквозного прохода на другую улицу, и Петер знал, что проход этот украшен занятной фреской с павлином. Но больше всего Петеру нравилось красивое трехэтажное здание с лепниной. Каких только диковиных рыб и морских чудищ не было здесь. Отец объяснил как-то, что в здании расположилось управление речного пароходства. Но не чудища привлекали мальчика, а стоящая в нише речная нимфа. Ему казалось, что нимфа похожа на одну девочку по имени Гретхен. А вот мимо дома с шестью ступеньками Петер всегда старался прошмыгнуть быстрее и делал все, чтобы родители не заметили, как хочется ему взглянуть на окна второго этажа: за окнами могла быть Гретхен. Но на этот раз они, как на зло, остановились, и мать перекинулась словами с экономкой пастора. Петер изо всех сил смотрел вперед на сложенный из валунов цоколь церкви.

В церковь они пришли одними из первых и сели на свободные места ближе к проходу. Что-то невероятное происходило в этот день. Обычно во время службы Петер ерзал, смотрел по сторонам и хотел только одного: чтобы служба скорее закончилась, они вышли бы из храма, а он встретился бы со своим другом Куртом. Хотя таких встреч, как правило, не было: от отца не ускользала непоседливость сына, и дома Петера ждала выволочка. Так бывало обычно. Но сейчас Петер впервые по-настоящему услышал орган. Он ощутил музыку почти физически, словно она обливала его сверху, как поток. И сердце Петера упало. Во второй раз сердце упало, когда он увидел впереди, как сквозь витражи льется и переливается разными цветами свет и играет на шляпке, плечах и белокурых косичках Гретхен. Она тоже пришла с матерью сюда.

Петер не сразу понял, что служба окончилась. Он очнулся, почувствовав, как рука отца легла ему на плечо.

— Пойдем, Петер, нам пора.

На улице Петер направился было к переходу через дорогу, но отец остановил его:

— Нет, Петер, сегодня домой мы пойдем позже. Сегодня день особенный. Сегодня ярмарка, и мы пойдем туда. Мать говорит, что ты всю неделю был прилежным, послушным и опрятным, тебя хвалил учитель. Я решил, что ты заслуживаешь подарка. Я куплю тебе на ярмарке то, что ты захочешь, пусть даже это будут конфеты. Куплю, что ты захочешь, но что-то одно. На многое не рассчитывай.

О конфетах Отто Шульц заговорил неспроста. Едва мальчику исполнилось три года, из дома были изгнаны конфеты, печенье и вообще любые сласти.

— Сладкое — это баловство, да и для здоровья вредно, — не раз говорил Шульц. —

Пища мужчины должна быть грубой и здоровой.

Пока они шли к рыночной площади, Петер перебирал в уме, что бы ему попросить у отца, и ни на чем не мог остановиться. На ярмарке отец, уверенный, что мальчик захочет конфет, направился было к кондитерским рядам, но Петер внезапно остановился.

— Отец, я не хочу конфет, — еле слышно прошептал он. — Если можно, купите мне это.

Отто Шульц обернулся. Мальчик указывал на висевшую скрипку. Она поблескивала темно-красной декой и была очень красива, но Шульц поморщился:

— Что за вздор?! Что за пустое занятие пиликать на скрипке?! Тебе это в жизни никогда не пригодится! Выбери что-нибудь другое.

Но Петер не двигался с места и снова прошептал:

— Я ничего другого не хочу, отец. Купите скрипку. Если можно.

Не в правилах Шульца было идти на попятный. Он уже пожалел, что так опрометчиво пообещал исполнить любое желание сына. Ему очень не хотелось потакать глупой прихоти мальчишки, но он дал слово. Надеясь еще отыграть назад, он сказал:

— Как же мы ее понесем? Не в бумагу же заворачивать!

Но тут лавочник, который давно прислушивался к разговору и почувствовал, что сделка вот-вот сорвется, услужливо сказал:

— Для такого хорошего мальчика к скрипке прилагается футляр.

Он вышел из-за прилавка и протянул Шульцу черный кожаный футляр с блестящими золотистыми замочками. Эти замочки окончательно сразили мальчика, и он умоляюще посмотрел на отца. Делать было нечего, и Шульц согласился:

— Так уж и быть. Раз обещал, куплю.

Мать стояла в стороне и еле заметно улыбалась.

Всю дорогу домой Петер прижимал черный кожаный футляр к груди. Дома он положил его на стол, раскрыл, но скрипку не вынимал. Только время от времени подходил и поглаживал ее.

Ночью разразилась гроза. Молния полыхнула так ярко, а гром ударил с таким резким и громким треском, что Петер вскочил с кровати и подбежал к окну. Наверное, он все-таки закричал во сне от неожиданности и испуга. Иначе с чего бы в комнату сначала быстрыми шагами вбежала мать, а следом за ней вошел и отец. Шульц недовольно проворчал:

— И что ты кричишь?! Чего переполошил весь дом?! Разве ты впервые видишь молнию и слышишь гром? Мужчина не должен бояться ни грома, ни выстрелов, ни артиллерийских разрывов. Запомни это.

Мальчик кивнул и продолжал заворожено смотреть из окна на улицу. Сильный ветер раскачивал деревья, словно пригоршнями, швырял в окна дождевые брызги. Даже в слабом свете ночных фонарей было видно, насколько вымокли дома и деревья. Время от времени вспышки молнии выхватывали то одно, то другое дерево. Очередная вспышка ярко осветила каштан, и Петер успел подумать, что так же ярко вспыхивала магниевая коробочка в руках фотографа Аренштейна, когда он фотографировал старшеклассников гимназии. И тут раздался особенно громкий удар грома, раздался близко, едва ли не за стеной.

— Угодила во что-то, — проговорил Шульц. — Должно быть, в дерево.

— А в наш каштан не попадет? — озабоченно спросил Петер.

Шульц повернулся к сыну, посмотрел на него сверху вниз. Еле заметная улыбка дернулась на его губах:

— Можешь не беспокоиться. Молния не бьет в каштан, — сказал он вполне уверенно.

Мальчик опешил. И спросил с некоторым недоверием:

— Это правда, отец? Учитель говорил, что молния попадает в самое высокое, что только есть рядом. А наш каштан очень высок.

Во второй раз за день Отто Шульцу приходилось выкручиваться, чтобы не идти на попятную. И он, стараясь говорить небрежно, сказал:

— Не знаю... В жизни не всегда случается то, что написано в умных книжках. Я ни разу не слышал, чтобы молния попала в каштан. Как бьет она в дуб или березу, видел сам, а каштан... Не знаю... не знаю... Пойдем, Урсула, мальчику надо спать.

А утром, выйдя на улицу вместе с отцом, Петер увидел, что натворили сильный ветер, дождь и гроза: на брусчатке под деревом и даже вокруг было много маленьких колючих каштанчиков. Их сдул ветер, сбил ливень. Как бы хотелось Петеру собрать их, унести куда-нибудь, чтобы их не разметало, не растоптали прохожие. Он покосился на отца. То шел, глядя прямо перед собой, не замечая такой мелочи, как сбитые каштаны. «Отцу не понравится, он станет смеяться надо мной», — подумал Петер и последовал за отцом.

II

Возвращаясь на следующий день из школы, Петер первым делом зашел в мастерскую к отцу. Это было правилом: Петер отчитывался за проведенное в школе время. Он обязан был рассказывать о своих успехах и неудачах и непременно обо всех замечаниях учителей. Утаить что-либо было немыслимо. Отто Шульц ему одному известными путями все равно узнавал обо всех проказах сына и полученных за них замечаниях. Обнаруженная утайка могла дорого стоить: за такое отец сурово наказывал.

Шульц внимательно выслушал сына, кивнул, тщательно вымыл и вытер чистым полотенцем руки, дал поручения работникам и вместе с сыном направился домой. Это удивило Петера. До обеда еще немало времени, а работу Шульц прежде срока никогда не бросал. Сомнений не оставалось: Шульц что-то задумал, но что — догадаться Петер не мог.

Они пришли домой. Шульц приказал сыну почистить щеткой костюмчик, аккуратно причесаться, а сам прошел к себе. Скоро он вышел, одетый в выходной костюм, держа в руках черный футляр с блестящими замочками.

— Пора начинать занятия, Петер Шульц, — сказал он, встретив удивленный взгляд сына.

Петер действительно был удивлен. Вчера, когда просил он отца купить ему скрипку, мальчик не думал о музыке. Инструмент нравился ему сам по себе, нравились изящная форма и цвет — не больше. О том, что ему придется учиться музыке, мальчик и не подумал. И сейчас от неожиданности он чуть было не возразил отцу.

— Но, отец... — начал было он.

Шульц понял это и перебил:

— Не хочешь ли ты сказать, что вчера была лишь прихоть, что ты не желаешь заниматься? Для чего же была эта покупка?

Отец говорил так строго, что мальчик осекся и пробормотал:

— Да, конечно, отец, я готов.

И они пошли. По вымощенному плиткой тротуару шел высокий сухопарый человек, а рядом, стараясь не отстать от него, спешил мальчик. Он нес в руках черный кожаный футляр, который как будто не поспевал за идущими, оттягивая руку мальчика назад. Со стороны это, наверное, могло вызвать умиление у смотрящего, но в душе Петера боролись противоречивые чувства. Он страшился неизвестности, не знал, как примет их учитель, опасался, что у него, Петера, ничего не получится, и в то же время уже просыпался интерес к новому, неведомому.

— Мы пришли, — раздалось над Петером. — Веди себя так, чтобы мне не было стыдно.

Они стояли у дверей с вывеской «Борух Гольдберг. Уроки музыки». Сколько раз проходил мальчик этой улицей! Сколько раз скользил взглядом по вывеске! Он и представить себе не мог, что когда-нибудь войдет в эту дверь.

Шульц еще раз придирчиво осмотрел сына, пригладил ему волосы, впрочем, на удивление не успевшие растрепаться, и постучал висячим молотком. Дверь открыла женщина в строгом темно-вишневом платье и сказала:

— Проходите, господин Шульц, и ты, Петер. Господин учитель ждет вас.

И вновь Петер удивился: их ждут, значит, отец заранее договорился обо всем. Руки у мальчика стали влажными, и он вошел в комнату.

Хозяин стоял у раскрытого пианино. Конечно же, Петер знал его! Точнее, видел прежде. Его будущий учитель не раз играл в оркестре в городском парке во время больших праздников.

— Так, значит, это и есть наш Петер? Проверим, проверим, — сказал Гольдберг, подводя мальчика к пианино.

То, что произошло потом, было ужасно. В течение нескольких минут учитель испытывал его. Он наугад нажимал на клавишу пианино, а Петер ложен был пропеть услышанный звук. Потом он заставил мальчика отвернуться, опять нажал на клавишу, повернул Петера к себе и предложил ему, нажимая поочередно на клавиши, найти ту самую, звучавшую. На удивление Петер справился. А после этого учитель опустил крышку пианино и несколько раз отстучал по ней разный ритм. Петер должен был повторить. Дважды мальчик немного ошибся. Учитель слегка поморщился, но ничего не сказал. Затем он для чего-то сгибал и разгибал в локте руку мальчика и его пальцы.

— Что ж, мы будем заниматься, — сказал он, наконец. — Я хочу, господин Шульц, чтобы вы не оставались в неведении. У мальчика несомненно есть задатки, но время несколько упущено. Не знаю, выйдет ли из него великий скрипач, но играть он будет сносно. Если, конечно, будет прилежным и не станет пропускать занятия, — прибавил

он, ласково потрепав Петера по шее.

Петер облегченно вздохнул. Пока отец обсуждал с учителем время занятий и их оплату, мальчик осматривал комнату. Ему уже нравилось здесь многое: красивый пюпитр на одной ножке, портрет какого-то взлохмаченного господина на стене, пианино с бронзовыми подсвечниками на передней деке, а главное — странная черная пирамидка на пианино. У пирамиды был маятник, только он не свисал, как в часах, а торчал вертикально. Гольдберг перехватил взгляд Петера.

— Мой ученик заинтересовался метрономом? — добродушно спросил он. — Могу заверить: скоро ты возненавидишь его. Но без этого страшного прибора нам не обойтись, — учитель подошел к метроному и легонько тронул маятник. Тот закачался, и по комнате разнеслись четкие сухие удары. — Ну вот, мой мальчик, для тебя начинается новое время, — с улыбкой сказал Гольдберг

Домой Петер шел с другим настроением. Ему не терпелось приступить к занятиям. А главное — очень хотелось быстрее рассказать обо всем своим друзьям — Курту Зауервальду и Якобу Аренштейну, мальчику с волнистыми волосами и темными глазами. Петеру очень хотелось удивить друзей. Он живо представлял себе, как станут они расспрашивать его, как захотят посмотреть и потрогать скрипку. Он, конечно, расскажет все. Расскажет, как господин Гольдберг экзаменовал его, как он, Петер, ни разу не ошибся (ведь две небольшие ошибочки можно не считать, не так ли?), и господин Гольдберг даже похвалил его. Потом он снисходительно откинет крышку футляра, и друзья увидят скрипку. Вынимать ее из футляра он не станет и, конечно, не позволит взять ее в руки. Потому что скрипку очень трудно настраивать, не просить же всякий раз господина Гольдберга! И друзья, старательно скрывая зависть, будут рассматривать блестящие темно-красные бока скрипки. А Якоб все же не удержится и осторожно-осторожно дотронется пальцем до струны (это будет вторая струна), и скрипка отзовется тихим тонким звоном.

Друзья действительно удивились. Особенно Курт.

— Ух ты! Молодец! — одобрительно выдохнул он. — Будет среди нас музыкант.

А когда Петер откинул крышку футляра, Курт заложил руки за спину, наверное, для того, чтобы не поддаться соблазну и не дотронуться до инструмента, склонился над футляром и долго рассматривал скрипку.

— Я, наверное, никогда не смог бы научиться, — с сожалением сказал он и распрямился.

Якоб тоже похвалил Петера, но отнесся к новости спокойнее.

— Тебе не понравилось? — с легким разочарованием спросил Петер.

— Что ты! Что ты! Очень понравилось! У тебя хорошая скрипка, — успокоил он друга. И добавил:

— Я ведь тоже занимаюсь... У господина Гольдберга.

Такого Петер не ожидал и заметно расстроился. Почувствовав это, Якоб поспешил успокоить друга:

— Но ведь это хорошо! Мы будем играть вместе. А потом нас, может быть, в школьный оркестр возьмут.

Попасть в оркестр было бы, конечно, хорошо. Но сколько для этого надо заниматься! Сколько еще времени пройдет.

А тут весной мальчики заболели. Сначала Якоб, а через два дня и Петер. Ночью его бил озноб, мальчик то проваливался в тяжелый сон, то просыпался, снова впадал в полузабытье, и виделось ему одно и то же: их старый каштан обхватывает его своими ветвями, как руками, словно обнимает; тонкие веточки тычутся в лоб, щеки, грудь, спину, живот, и там, куда ткнула веточка, начинается зуд.

Урсула не спала, она приложила ладонь ко лбу сына и тяжело вздохнула: у ребенка был сильный жар. К утру немного полегчало, но мать обнаружила, что все тело Петера покрыто маленькими красными прыщами. Прямо у кровати сына она молилась. Отто Шульц выглядел озабоченным.

— Надо идти к доктору Тоненгольцу, Отто, — Урсула держала обе руки у самого горла, будто хотела застегнуть воротничок блузки или собиралась молиться. — Я слышала, как Рива Аренштейн, жена фотографа, говорила, что Тоненгольц хороший доктор. Ведь ее сын тоже заболел.

— Так, значит, наш мальчик заразился от этого еврейчика, — сделал вывод Шульц.

— Уж не знаю, но за доктором пойти надо.

— Ладно уж. Смотри за сыном, Урсула, а я пойду, — сказал Отто, направляясь к двери.

Вскоре он вернулся вместе с доктором. Они внесли с собой в комнату свежий и еще не прогревшийся весенний воздух, и Петеру стало легче. Оглядевшись по сторонам и найдя взглядом изразцовую печь, доктор первым делом направился к ней и стал греть о нее руки. Обычно в это время года печи в доме уже не топили: экономный

Отто Шульц приказывал с первыми погожими днями не тратить понапрасну уголь. Но на этот раз Урсула, видя, как сына бьет дрожь, все же печь растопила и незадолго до прихода доктора подбросила еще совок угля.

Согрев руки, доктор потер их и только после этого подошел к Петеру. Прикосновение теплых рук доктора было приятным, и он был готов к длительному осмотру, но доктор объявил почти сразу:

— У мальчика ветряная оспа. Дети часто схватывают эту болезнь. Понадобится лечение и терпение. Петер, конечно, не девочка, о лице ему можно не особенно беспокоиться, но все же следите, чтобы мальчик не расчесывал прыщи. Иначе лицо твое, Петер, — тут он повернулся к мальчику, — покроется маленькими некрасивыми ямками. Ты, наверное, встречал таких людей?

Еще бы не встречать! Петер до сих пор помнил того старика, с которым он случайно столкнулся, когда ему было лет шесть. Петер шел с матерью и вдруг услышал из-под арочного прохода во двор стук палки о брусчатку. Мальчик обернулся — из прохода прямо на них двигался старик. Он хромал, опирался на палку, ее стук гулко отдавался под сводами арки. Все лицо старика было испещрено маленькими ямками и казалось темнее, чем у других людей. Петеру показалось, что старик смотрит зло и смотрит именно на него. От ужаса мальчик не мог даже вскрикнуть, он только крепче вцепился в руку матери и старался быстрее уйти от противного старика, но глаз от него оторвать не мог.

Доктор между тем сел за стол и принялся писать на маленьких листочках бумаги.

— Скажите, доктор, — откашлявшись, спросил Шульц, — от кого мог заразиться мой мальчик? Не от того ли еврейчика, сына фотографа?

— Точно сказать не могу, — ответил доктор, продолжая писать, — за мальчишками ведь не уследишь, знаете ли. Где они ходят? С кем соприкасаются? — доктор закрутил колпачок своей вечной ручки, спрятал ее во внутренний карман пиджака, потом поглядел на Отто и сказал: — Но даже если бы я точно знал это, вам не сказал бы. Того ребенка тоже лечил бы, но имени его ни за что не раскрыл бы. Врачебная этика, уважаемый господин Шульц, — он протянул исписанные листки Урсуле: — Сходите с этим, фрау Шульц, в аптеку к Зильберу. Я все подробно написал. Он даст вам лекарства. Я еще зайду, Петер, оставайся молодцом.

Для Петера настали ужасные дни. Приходилось пить эти горькие лекарства! А еще появлялся доктор, раздевал его догола, ставил у теплой печки и, нацепив на нос пенсне, смазывал все язвочки Петера. У доктора была длинная тонкая палочка, он наматывал на нее вату, из пузырька переливал в крышку немного зеленой жидкости, опускал в палочку с ваткой и прикладывал ее кончик к каждой язвочке. Это было неприятно. От каждого прикосновения ваты, смоченной в холодной жидкости, по коже пробегал холодок, мальчик ежился, к тому же он стеснялся своего голого вида. Но доктор, казалось, и не замечал этого, он поворачивал Петера к себе то одним, то другим боком и смазывал, смазывал, смазывал. А однажды сказал Урсуле:

— Да вы и сами могли бы это проделывать, фрау Шульц. Ничего сложного. Вот мать его друга Якоба все взяла в свои руки. Доктору не доверяет. Но этот народ чадолюбив, вы знаете.

Доктор ушел, а Урсула помрачнела и с недовольным видом сказала мужу:

— Похоже, доктор не хочет заниматься нашим мальчиком. Рива Аренштейн делает это сама, видите ли! Уж если эта еврейка может ухаживать за ребенком, разве немецкая мать не справится?! «Они чадолюбивы», — сказал доктор. Подумаешь! Будто немцы меньше любят своих детей! Я все буду делать сама!

— И правильно, — поддержал ее муж. — Мы и так этому доктору уже много заплатили.

Родители говорили громко, и Петер слышал все. Слышал и услышал: оказывается, они с Якобом не совсем равны, оказывается, они разные. Оказывается, Якоб — еврей. Что бы это могло значить?

Как это ужасно — болеть весной! Там, за окном, с каждым днем все теплее. Одноклассники уже, наверное, сменили теплые пальто на легкие куртки. Сейчас, должно быть, начались спортивные соревнования, а он, Петер, должен лежать в постели, принимать противные лекарства и подставлять свое тело под палочку с ваткой на конце, под эту невыносимую зеленую жидкость. Хорошо еще, что сумел он убедить родителей, чтобы процедуру эту проделывал с ним отец. Не перед матерью же стоять голышом! Он не маленький!

Но болезнь и вызванная ею необходимость оставаться дома привели к тому, что Петер стал больше заниматься музыкой — надо же было чем-то занять время. Несколько раз навещал его учитель Голдберг, давал советы, оставлял задания. Неожиданно к делу подключился и Отто Шульц. Не веря в прилежание сына, он, не имевший музыкального слуха, мало что смысливший в музыке Шульц, тем не менее,

был уверен, что прилежание превыше всего. Поэтому, оседлав стул, он садился напротив сына и следил, чтобы тот, разучивая гаммы и упражнения, исполнял все добросовестно. И по несколько раз. Наверное, Урсуле со стороны это казалось смешным: ее Отто, не умевший допеть до конца ни одной песни, сидит на стуле, склонив голову набок, и, после того как мальчик исполнит гамму, кивает головой и важно произносит: «Еще раз». Впрочем, если бы в руках Петера была не скрипка, а, предположим, кисти с красками или лобзик для выпиливания, Шульц поступал бы так же, потому что безделье считал тяжким грехом. Праздности он не терпел и рассуждал просто: уж если нет занятий в школе, пусть уж лучше сын скрипку терзает, чем будет слоняться из угла в угол. Иногда отца заменяла мать, и Петеру это нравилось больше. Но родители могли бы и не столь строго контролировать мальчика. Петер занимался музыкой с удовольствием.

И все же с нетерпением ждал он лета. Летом друзья часто проводили время вместе. И занятий всегда хватало.

А уж как любили мальчики цирк! Цирки — и разные! — приезжали в город часто. Не надеясь только на афиши, циркачи устраивали в городе красочные шествия, что-то вроде парадов. По улицам водили лошадей в разукрашенной сбруе, кувыркались по ходу движения акробаты, шли жонглеры; их булавы подлетали в воздух и не падали. Сколько народа собирали эти шествия! Однажды приехал цирк Буша. О! все уже знали: если Буш, то будут слоны. И слонов тоже проведут по улицам. Друзья заранее заняли место на самом краю тротуара на Зальцбургерштрассе. Петер решил упросить отца сходить в цирк, ведь за всю неделю на него никто не пожаловался. Ни разу. Возбужденный и почти уверенный в благоприятном исходе дела, он влетел в комнату и с порога выпалил:

— Отец! Мне можно будет пойти в цирк? Вы же позволите?

И тут же осел. Он увидел рядом с отцом своего школьного учителя. Все моментально пронеслось в памяти, как на кинопленке. Они возвращаются втроем, горячо обсуждают и слонов, и жонглеров, проходят мимо строго одетого господина. Тот удивленно и выжидающе смотрит на них, но мальчики не замечают этого. И сейчас Петер вспомнил лицо господина — учитель. Они пронеслись мимо, а следовало остановиться, снять картузики и сказать:

— Добрый день, господин учитель.

И вот учитель стоит рядом с отцом, а отец говорит:

— Хорошо, господин учитель. Я сделаю все как надо.

Как надо! Петер хорошо знал, что это значит... Весь вечер Петер простоял на коленях и зубрил катехизис. Вовсе не набожный Отто Щульц считал такой метод воспитания очень действенным. Наказали и друзей Петера.

И все же мальчики взрослели. Их сердца и умы требовали высокого, героического. Однажды учитель на уроке много рассказывал об их городе. О том, как из обычного торгового поселения вырос такой красивый и замечательный город. Рассказывал о знаменитых людях, живших здесь, о поэте, памятник которому стоит сейчас напротив ратуши.

— Пойдите и посмотрите на этот памятник, — говорил учитель, — и вы почувствуете, как любил он Родину, читайте его стихи — и вы поймете: Германию он почитал выше всего.

Учитель рассказал и о важных событиях, происходивших в городе, о том, как вели себя люди, когда подступала беда. Учитель рассказал, как в городе появился человек, которого монархи в Европе называли узурпатором и который воплощал в себе эту беду. Человек был невысокого роста с наметившимся уже животом, он носил белые лосины и очень высокие сапоги. Человек любил держать руку на груди за полой мундира. Он был силен в то время. Силен настолько, что ему вынужден был подчиниться прусский король. Пришелец вел себя нагло. В городе поселился в лучшем доме на самой красивой улице, а прусская королева ютилась в это же время в домике мельника у самой реки. Мельник был верным подданным, у него и сомнений не было, давать или не давать королеве приют, хотя будущее королевы и самого города были неясными. Но королева ведь специально приехала, чтобы спасти и королевство, и город. Она смело пошла к тому, с кем боялись говорить покоренные им правители. Она пошла и совершила подвиг. Она была решительна с этим новым Олоферном, как библейская Юдифь. Нет-нет, королева не позволила себе ничего недостойного, и до убийства, конечно, дело не дошло, но низкорослый человек в чем-то уступил.

— Когда вы будете проходить мимо моста через Мемель, посмотрите на фронтон арки — и вы увидите прекрасный профиль прусской королевы. Когда вы будете в городском парке, подойдите к памятнику королеве, поклонитесь ей. Поклонитесь и помните прошлое нашего города. Гордитесь им! Высоко несите звание тильзитца! Помните: вы тильзитцы, а не жители какого-то провинциального городка. Тильзитцы всегда

приходят на помощь друг другу, — завершил учитель свой рассказ.

Домой друзья шли втроем. Они вспоминали урок и то и дело клятвенно произносили: «Мы тильзитцы!» Внезапно Курт остановился.

— А знаете что? Пойдемте к мосту! — предложил он.

— Зачем? — Петер был уже недалеко от своего дома, и идти в другую сторону ему не хотелось.

— Пойдемте! Там увидите. Я кое-что придумал, — Курт говорил так убежденно и воодушевленно, что друзья согласились.

У моста, поставив друзей лицом к арке, Курт сказал:

— Давайте поклянемся здесь, перед королевой, любить свой город. И всегда быть честными и правдивыми. Клянемся!

— Клянемся! Клянемся! — нестройно подхватили Якоб и Петер. Но воодушевление Курта передалось им, и Петер предложил:

— А теперь пойдем к Шенкендорфу!

До памятника дошли быстро. Поэт стоял лицом к ратуше, высоко подняв руку.

— Посмотрите! Он ведь тоже клянется! — Якоб, казалось, впервые увидел памятник, впервые понял его смысл. И снова друзья уже более слаженно выкрикнули:

— Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Они возвращались веселые и счастливые. Они чувствовали себя повзрослевшими, мужественными, уверенными в будущем. Мальчики еще не замечали, что в жизни и в городе что-то стало меняться. Изменения эти еще не бросались в глаза, но сам воздух становился другим. А мальчики оживленно беседовали и не подозревали, как будущие потрясения и беды повлияют на них. Первым удар по юношеской безмятежности получил Петер.

Урсуле стало плохо. Уже несколько дней чувствовала она недомогание, а тут эта неприятная окаменелость внизу живота, удрученное состояние. Ее поздняя беременность проходила тяжело. С удивлением сознавала она, что не испытывает той радости, которая была, когда она носила Петера. Тогда радость была почти детской: вот и я ношу плод, вот и у меня будет ребенок, тогда дух захватывало от неизвестности. Было и страшно, и радостно одновременно. Сейчас чувство было иным — более глубоким, мягким, бархатным, как определяла сама Урсула. Тогда она была неопытной девчонкой, не знавшей, что ждет ее. Сейчас она все хорошо представляла, и поэтому мысли и чувства сходились только на будущем ребенке. Но при этом ее положение порою казалось ей нелепым и даже ненужным. Особенно кода ловила на своем животе недоуменные взгляды сына. Ей казалось, что мальчик все время думает: что это у матери растет и округляется живот? Наверняка мальчишки давно просветили его в некоторых вопросах, и Бог знает, что представляет себе сейчас Петер, думала Урсула. Да и взгляды мужа были недобрыми. Урсуле все время казалось, что Отто не рад ее беременности, в его взглядах ей виделись укор и раздражение, мол, надумала же на старости лет оставить ребенка! Хотя какая там старость — тридцать семь недавно исполнилось. И только оставшись одна, доставала она из старого сундука старые распашонки, в которые когда-то одевала Петера, и легкая улыбка трогала ее губы, и светились глаза. Из суеверия до рождения девочки (Урсула верила, что непременно родится девочка, вот и старая Марта, оценивающе поглядев на ее живот, так и сказала: «Девочку носишь») Урсула не шила новые распашонки, не готовила пеленки, а лишь перекладывала старые.

И вот эта окаменелость внизу живота. Почти не болевший Отто недолюбливал походы к врачам, но сейчас деваться было некуда.

Доктор Гельман считался хорошим гинекологом. Он осматривал пациентку долго и внимательно. Сидевший в приемной Отто Шульц даже забеспокоился. Он вставал со стула, ходил по небольшой комнатке, рассматривал висевшие на стенах картинки, впрочем, плохо понимая, что на них изображено, снова садился, вновь поднимался.

Дверь открылась. Отто Шульц, которого многие считали суровым и толстокожим, в определенные моменты становился проницательным. Одного взгляда на доктора было ему достаточно, чтобы понять: дело плохо.

— У меня плохие для вас новости, господин Шульц, — начал Гельман.

— Говорите правду, доктор. Я не мальчик.

— Плод мертв. И, похоже, уже не один час. Необходима срочная операция. Немедленная.

Спина Шульца похолодела. Ему вдруг стало жаль свою жену. Он закивал головой:

— Делайте, делайте что надо, доктор. Спасите ее.

— Хорошо. Только вам лучше пойти домой. Здесь вы ничем не поможете. А дома успокоите сына.

— Спасите ее, доктор, — снова попросил Шульц, выходя на улицу. Но домой он не пошел. Он опустился на лавочку в скверике и стал ждать.

Шульц не мог сказать, сколько времени он просидел так, но когда в дверях появилась ассистентка доктора, он сразу вскочил и подошел к ней.

— Доктор видел вас в окно и велел передать: операция прошла удачно. Но состояние фрау Шульц тяжелое, у нее сильное воспаление, даже нагноение началось. Доктор сделал все, что мог. Сейчас фрау Шульц нужен покой. Вы лучше идите домой, а с утра придете навестить ее, — ассистентка обнадеживающе улыбнулась.

Ночью Урсуле стало хуже. Температура поднялась до верхнего предела, Урсула металась, просила пить и всё звала в бреду какую-то Берту. К утру она затихла. Доктор, подошедший к ее постели, увидел лишь спокойную улыбку на похолодевшем уже лице. Так улыбаются, когда все муки остаются позади.

Отто Шульц пришел в клинику с сыном. К ним навстречу вышел доктор. Мальчик ничего не понял из слов доктора. Он только увидел, как отец опустился на стул и тонко, по-щенячьи, завыл. Этот слабый, детский вой отца подействовал сильнее всего, и Петер заплакал. «У нее оказалось слабое сердце», — это все, что запомнил Петер из слов доктора.

Хоронить Урсулу решили почему-то не на том кладбище, что находилось в городе недалеко от их дома, напротив театра, и не на том, тоже близком, рядом с которым выросла школа, а в другом конце города, на старом кладбище на холме в стороне от Каштаненштрассе. Был конец весны, каштаны отцветали, и уже летали бабочки.

Открытый гроб стоял у могилы, пастор читал молитву, а над Урсулой летала бабочка и садилась то на сухие губы, то на лоб. Петер, стараясь делать это незаметно, отгонял бабочку, она вспархивала, висела в воздухе и опять опускалась на Урсулу. И только когда гроб накрыли крышкой, бабочка, взмыв высоко-высоко, улетела. А Петер, глядя на отцветающие каштаны, вспоминал ту страшную грозу, когда отец сказал: «Молния не бьет в каштан». Тогда утром на улице Петер увидел, что от ливня и сильного ветра вся брусчатка под деревом и дальше вокруг оказалась усеянной мелкими, недавно образовавшимися плодами. Маленькие колючие зеленые шарики лежали в лужицах. Петеру стало жаль их, он захотел присесть на корточки и собрать их. Будь рядом мать, он наверняка так и поступил бы, но он шел с отцом, Отто Шульц не одобрял сентиментальности. Так тогда подумал Петер, но сейчас он видел отца другим. Шульц ссутулился, свесил голову, и по впервые небритым впалым щекам текли слезы. Оказалось, что его строгий, суровый, совсем не сентиментальный отец нежно любил свою жену. «У нее было слабое сердце, — вспомнил Петер слова доктора и решил: — Неправда! У нее было доброе сердце».

А через несколько дней город облетело известие: доктор Гельман повесился. На столе в его кабинете обнаружили записку: «За последний месяц умерли две моих пациентки. Моей вины нет. Я делал все для их спасения. Но кто поверит еврею!» О самоубийстве и записке говорили еще долго, но все чаще спокойно сходились на том, что еврею и впрямь не поверили бы. Говорили как о само собой разумеющемся. Менялось что-то в жизни.

Они взрослели, эти мальчики. Взрослели по-разному. Хотя пока еще оставались мальчишками. Они плавали в реке летом, катались на коньках и ходили на лыжах зимой. А зима на этот раз выдалась многоснежной и морозной. Мемель быстро сковало льдом, часто случались метели. И уже ясно было, что весна будет бурной. К ней готовились.

Наводнение ждали со дня на день. И знали, что оно будет серьезным. Лед на Мемеле поднялся, еще скованная река словно выталкивала его исподволь. Мощная весенняя сила давила снизу — лед трескался и торосами выползал на набережную. А потом прорвало: лед поплыл по реке, вода хлынула на набережную, затопляя все вокруг и размывая начавшие таять на набережной льдины. Черные показатели уровня воды на кирпичных опорах моста скрылись под водой, и сам мост, казалось, уже лежал на воде. А она продолжала заливать набережную, скрыв под собой каменные ступени, подошла к Орденской кирхе и хлынула на площадь перед мостом.

Две лошади тащили длинную повозку с сеном. Лошади шли тяжело, но телеги с большими колесами были предпочтительней автомобилей, колеса которых уходили под воду. Спасли телеги и грузовики. На некоторых тротуарах еще можно было стоять, не промочив ног, и люди группировались там — у домов, у кирхи. Их развозили на лодках, затаскивали в грузовики.

Курт заметил, как замешкалась женщина. На одной руке у нее сидела годовалая девочка, в другой женщина держала саквояж, у ног топтался мальчуган лет шести. Женщине и девочке помогли забраться в лодку, а сынишка замешкался. Он переступал с ноги на ногу, не решаясь перепрыгнуть через воду, и расплакался. Курт скинул ботинки, связал шнурки и перекинул эту связку через шею, снял носки, сунув их в карманы куртки, как можно выше засучил брюки и, схватив мальчугана, затащил его в лодку. Он словно подал пример. Тут же несколько мужчин поступили так же, помогая

грузить в лодки и грузовики стариков и детей. А Курт сел на ступеньки кирхи, обулся и поспешил по своим делам.

О случившемся он не рассказал никому, но в школе о поступке Курта каким-то образом стало известно. Учитель в классе поднял Курта и при всех похвалил его смелый поступок. Стараясь выглядеть непринужденно, Курт сказал:

— Я же тильзитец, а тильзитец всегда придет на помощь тильзитцам.

— Ты прав, — поддержал его учитель, — немец всегда должен помогать немцам.

— Да, но в Тильзите живут не только немцы, — сказал Курт, садясь на место. Он сказал это тихо, будто сомневался, стоит ли перечить учителю.

— Немец всегда должен помогать немцу. Запомните это, — еще тверже повторил учитель, тот самый учитель, который замечательным весенним днем так вдохновенно говорил о Тильзите и тильзитцах.

Петер был рад за друга, даже испытывал чувство, близкое к гордости. Однако в глубине души нет-нет да проскальзывало сожаление: почему тогда на набережной оказался Курт, а не он, Петер? Уж он наверняка сумел бы помочь не хуже Курта! Но тут же неведомый голос спрашивал: «Ты уверен, Петер, что сумел бы?» И вновь Петер уверял себя, что сумел бы наверняка, что сумеет, как только случай подвернется.

Случай подвернулся летом. Внезапно загорелась городская синагога. Толпа собралась мгновенно. Ждали пожарных, но они не приезжали. Тогда глазевшие на пожар стали строить различные предположения. Несколько раз Петер уловил сказанное вполголоса: «Не поджог ли», — но развивать тему в толпе не решались. Ждали пожарных, а те все не ехали. Наконец, машина медленно подкатила.

Вместе с другими Петер смотрел на то, как огонь вырывается из окон, как прибывшая с большим опозданием пожарная команда не спешит бороться с огнем. Огнеборцы переходили с места на место, осматривали пути подъезда машины, суетились, но брезентовые рукава не разматывали и ждали приказаний брандмейстера. А он молчал.

— Что же вы ничего не делаете? — выкрикнул кто-то из толпы.

— Да что уж тут сделаешь? — меланхолично ответил брандмейстер.

Интерес у глазевших постепенно сошел на нет, и они стали расходиться. Тогда Петер тоже хотел понять, почему пожарные бездействовали, но спросить было не у кого, да и чувствовал Петер, что неуместным будет вопрос. Только мальчуган лет девяти донимал всех.

— Почему они не тушили огонь? — спрашивал он то у одного, то у другого. Мальчику никто не отвечал. И только незнакомый господин проговорил серьезно:

— Ты еще очень молод, мальчик. Скоро ты сам поймешь.

И Петер внутренне согласился с господином. Он не стал думать, как на его месте поступил бы Курт. Сам он так и не смог помочь никому.

Менялось что-то в городе. И уже мало кого удивляло, что повсеместно стали менять некоторые вывески. Проходя как-то мимо дома учителя музыки, Петер обратил внимание на то, что вместо вывески «Борух Гольдберг. Уроки музыки» появилась другая: «Бенедикт Гольдберг. Уроки музыки»

Мальчики взрослели. Каждый взрослел по-своему. Семья Курта вынуждена была переселиться в другую часть города, за железную дорогу, в тот дом, где уборная располагалась на лестничной клетке и предназначалась двум семьям. Этого хватило Отто Шульцу, чтобы отныне относиться к Заувервальдам с презрением.

Не одобрял Шульц и дружбы сына с Якобом Аренштейном. Якоб играл с Петером в одном школьном оркестре, и Петер, которого его учитель Гольдберг смог уже научить многому, видел: Якоб играет лучше. Друзья в чем-то превосходили Петера, открывать это для себя было неприятно.

Якоб, Якоб, где он сейчас? Это случилось на уроке. Учитель вызвал Якоба к доске, развернул его лицом к классу и, тыча указкой ему в нос, волосы, обводя кончиком указки пухлую фигуру Якоба, объяснял с брезгливой гримасой на лице, чем этот тип внешности отличается от арийского. Следовательно, этому ученику не место рядом с другими. Учитель без слов указал Якобу на отдельно стоящую парту, за которой отныне должен он сидеть. Якоб шел к парте, низко склонив голову, и никто не видел ни обиды и боли в его глазах, ни крепко стиснутых челюстей, не заметили и его крепко, но неумело сжатых кулаков. В классе все смеялись, вместе со всеми и Петер. Не смеялся только Курт.

А потом классная дверь раскрылась, и человек в форме вызвал Якоба в коридор. Больше его никто не видел.

Но вечером Петер уснул с легким сердцем, а проснулся он бодрым, уверенным в себе и еще в комнате услышал голос отца:

— Напрасно вы пришли сюда, Рива Аренштейн.

Отец сказал именно так: «Рива», а не «фрау Аренштейн», как говорил обычно. Петер понял, что он разговаривает с матерью Якоба. Едва ли не обезумевшая от

исчезновения сына, она пыталась найти у других сострадание, защиту, хотя, наверное, не до конца понимала, в чем это все может выразиться. Петер слышал холодный голос отца:

— Не приходите сюда больше, Рива Аренштейн. Я ничем не могу вам помочь.

Мальчики взрослели.

III

В тот день Маргарита, высунувшись из окна, сама окликнула проходившего мимо Петера:

— Привет, Петер! Приходи сегодня в Якобсруэ. Будет много наших. Придешь?

Сердце Петера подскочило к самому горлу. Гретхен приглашает его! Приглашает сама! Приглашает в компанию друзей! Разве может он отказаться?! Петер не стал даже уточнять, где именно в парке соберутся друзья Гретхен. Он был уверен, что будет это у небольшой экседры, тропинка от которой ведет к памятнику прусской королеве. В последнее время молодежь полюбила собираться именно там.

— Конечно, приду! Непременно! — поспешил заверить Петер.

— Вот и хорошо. Там будет интересно. Будет Зигфрид. Зигфрид Бенке.

Упоминание Зигфрида немного огорчило Петера. Если там будет Зигфрид, значит, Маргарита приглашает Петера не ради него самого. Петер несколько раз видел их вместе, видел, как Маргарита смотрела на Зигфрида. Сознавать это было неприятно. Но Зигфрид! Петер и сам готов был смотреть на него с восхищением. Да что Петер?! Многие из его друзей хотели быть похожими на этого высокого светловолосого спортсмена, который гордился своим именем и готов был вести родословную от героя знаменитой поэмы. Он был двумя годами старше Петера, и впервые они оказались рядом год назад на спортивных соревнованиях школьников. Учителя своих учеников, будущих воинов Рейха, не жалели: участникам соревнований надо было пройти на вёслах вниз по течению Мемеля от Рагнита до Тильзита. Серьезное испытание! На этом пути Мемель описывал петлю, поэтому, чтобы пройти дистанцию, нужны были не только сила и выносливость, но и умение. Петер оказался в одной лодке с Куртом. Они очень старались, хотя Петер понимал, что основную нагрузку взял на себя Курт. Но первой пришла лодка, в которой заправлял Зигфрид. Она и лидировала всю дистанцию. Выйдя на пристань, Зигфрид втащил на нее весла и первым делом обеими руками пригладил зачесанные назад и почти не растрепавшиеся волосы. Высокий, стройный, голубоглазый, он, казалось, сошел с плаката, какими были увешаны улицы города. Победителей окружили болельщики. Зигфрид смотрел поверх голов и улыбался. Потом, раздвинув рукой кольцо поклонников, вышел из него и неожиданно для Петера подошел к нему.

— Я видел, как ты старался, — сказал он, покровительственно кладя руку ему на плечо. — Но силы у тебя маловато, — Зигфрид бесцеремонно пощупал бицепсы Петера и повторил: — Маловато. Это ты играешь в школьном оркестре на скрипке?

У Петера пересохло во рту, он сглотнул слюну и выдавил:

— Да, я.

— Наверное, это интересно, — Зигфрид улыбнулся. — Только сможет ли это помочь величию Германии? Подумай над этим.

Петер думал. Он стал усиленней заниматься спортом, что одобрял и поощрял отец, но и занятий музыкой не оставлял. Учитель Гольдберг поддерживал ученика, направлял его, не уставал напоминать: «Оркестр, мой мальчик, хорошая школа. Там ты должен слышать не только себя, но и других. И при этом беспрекословно подчиняться. Оркестр — это почти военный отряд»...

Когда Петер пришел в парк, у экседры уже собрались его сверстники. Они оживленно разговаривали. Потом к высокому узкому постаменту с бюстом вышел Зигфрид и заговорил. Он говорил взволнованно и убедительно, его речь увлекала. Какой-то подросток тронул Петера за локоть:

— Ты его знаешь? — Петер кивнул, а подросток продолжал: — Он недавно вступил в партию, самый молодой член партии в нашем городе.

Петер не стал уточнять, в какую именно партию вступил Зигфрид. Это было ясно и так. Словно в подтверждение догадки Петера, все, стоявшие рядом с ним, вдруг вскинули правую руку перед собой. Вскинул и Петер. А Зигфрид продолжал говорить. Петер слышал плохо, слова до него почти не долетали, да и многое из того, что удавалось услышать, было трудно разобрать. Но Петер был увлечен общим настроением. Он выкрикивал, когда выкрикивали все, вскидывал руку, когда все проделывали то же.

Толпа зашевелилась, и Петер не заметил, как оказался в выстроившейся колонне. Зигфрид встал во главе. В руке у него оказался ломик. Указывая им, как жезлом, вперед, Зигфрид повел колонну за собой.

Они вышли из парка, оставив справа помпезный памятник, свернули на Клаузиусштрассе и пошли вниз по ней. Зигфрид знал, куда ведет колонну, и они шли, уверенные в своей правоте и силе. Кто-то, встречая шествие, нырял в подворотни и подъезды, кто-то, увидев марширующих юнцов из окна, поспешно от окна отскакивал и закрывал ставни, кто-то с любопытством выглядывал и, высунувшись едва ли не по пояс, приветливо махал колонне. А кто-то присоединялся к ней, и колонна росла.

У дома со знакомой Петеру вывеской «Бенедикт Гольдберг. Уроки музыки» Зигфрид поднял руку, и все остановились. Зигфрид повернулся к колонне. Указывая на вывеску, он прокричал:

— Вы видели это? Если не видите, я вам прочитаю. Здесь написано: «Бенедикт Гольдберг». Вы только посмотрите! Он написал: «Бенедикт»! Он изменил свое имя! Он может менять имена по десять раз на дню, но как он поменяет свой нос?! Свои, как проволока, вьющиеся волосы?!

Зигфрид засмеялся. Толпа в ответ загоготала. Размахнувшись, Зигфрид ударил ломиком по вывеске. Потом еще раз и еще. Он бил до тех пор, пока вывеска не свалилась на тротуар. После этого он прокричал:

— А сколько еще таких Бенедиктов в нашем городе?! Будем ли мы, наследники великого Зигфрида, терпеть их?!

Он ударил ломиком в оконное стекло — стекло разлетелось вдребезги. Кто-то запустил в другое окно булыжник. Зигфрид отошел в сторону, аккуратно положил у ног ломик и пригладил волосы. Его участие уже не требовалось. Толпа выломала двери и ворвалась внутрь. Из окна на тротуар полетели ноты, книги, граммофонные пластинки, вылетел и со звоном упал на брусчатку бронзовый семисвечник. Следом вылетел и упал прямо под ноги Петеру метроном. Удивительным образом он упал стоймя. Заведенная пружина разматывалась, и метроном продолжал отсчитывать такты. «Moderato», — отметил про себя Петер. Потом, словно испугавшись, посмотрел по сторонам и отпихнул метроном ногой. Он видел, как два юнца вытащили на улицу гордость Гольдберга — старый клавесин и тут же свалили его. Другой юнец вынес скрипку. Зигфрид подозвал его к себе.

— Дай-ка ее сюда, — приказал он и, с размаху швырнув скрипку на тротуар, раздавил ее каблуком.

В это время четверо молодчиков вывели под руки самого Гольдберга. Тот был без пиджака, только в жилете, пенсне болталось на цепочке. Гольдберг пытался нацепить его, но пенсне не удерживалось на переносице и, соскользнув, снова болталось на цепочке. Старый музыкант растерянно озирался. Кто-то толкнул его в спину, и Гольдберг упал на колени. Он продолжал озираться и тут встретился взглядом с Петером. Гольдберг узнал своего ученика и пристально посмотрел на него. Губы Гольдберга беззвучно двигались, и Петеру показалось, что тот хочет произнести его имя. Петер отвел взгляд и смешался с толпой.

— Некогда нам задерживаться здесь! — услышал он голос Зигфрида.

Толпа двинулась дальше. Гольдберг все так же стоял на коленях у своего разграбленного дома и смотрел вслед толпе, в которой был его бывший ученик. А толпа во главе с Зигфридом двигалась по городу. Вместе со всеми шел и Петер. Они громили магазины, выбрасывали на брусчатку обувь, одежду, посуду. Петер громил тоже, громил не задумываясь. Он привыкал. Как привык к табличкам «Ничего не покупайте у евреев», как привык не думать о пожаре в синагоге. Петер шел вместе со всеми. Невероятное воодушевление придавало ему силу и легкость, поднимало над землей, освобождало от мыслей.

Домой он пришел, когда начало смеркаться. Отец ни о чем не стал расспрашивать, хотя Петер догадывался: отцу все известно. Но после ужина он подвел сына к стене, на которой висел портрет Бисмарка, и рядом повесил другой: человека с косой челкой и маленькими усиками. Повесил и вопросительно посмотрел на сына. Тот безотчетно вытянулся и даже прищелкнул каблуками. Старый Отто Шульц остался доволен.

Только оказавшись в своей комнате, Петер сел на кровать и почувствовал, как он устал. Вместе с усталостью на него опустились воспоминания.

Им было хорошо прежде, трем товарищам — Петеру Шульцу, Курту Заувервальду и Якобу Аренштейну, сыну владельца небольшого фотоателье. Они вместе учились, вместе играли, вместе взрослели. С годами сторонний наблюдатель ясно мог видеть, сколь различны эти мальчики. Петер не решался сознаться себе, что немного завидует Курту. Курт был лучшим учеником в классе, лучше других успевал по физике и математике, всегда был безупречно опрятным. Но одноклассников Курт привлекал не только этим: у мальчика было обостренное чувство справедливости. К нему, как к третейскому судье, обращались другие ученики, когда между ними возникали споры. И мальчик их разрешал! Петер завидовал этой способности, завидовал успехам друга, завидовал независимости его суждений и смелости, с которой он их высказывал. Они

учились уже в выпускном классе, в разговоре подошли к портрету Бисмарка у Шульца-старшего. Курт криво улыбнулся и сказал:

— Получается, что один Отто повесил портрет другого Отто.

Спокойно сказал, а Петер уловил в этих словах насмешку над его отцом и даже над чем-то гораздо большим. Петер обиделся. Вида не подал, но с досадой осознал, что чувствует необъяснимое восхищение. Он, Петер, на такое не решился бы. «У него хватает решимости позволить себе это», — подумал Петер, сидя на кровати.

Он встал, прошелся по комнате, события дня, как на экране, промелькнули в памяти. Вдруг он с удивлением осознал, что ни разу во время их хождений по улицам не подумал о Маргарите, даже не мог сейчас вспомнить, была ли она с ними или ушла сразу из парка. «Кажется, я становлюсь настоящим арийцем, без сантиментов», — подумал он и усмехнулся. Затем уложил скрипку в футляр, застегнул золотистые замочки, вышел в коридор и убрал футляр со скрипкой на антресоли. Потом он тщательно умылся, надел свежую рубашку, разглядывая себя в зеркало, он по-новому зачесал волосы: назад. Так носил Зигфрид.

— Да, я, несомненно, становлюсь настоящим арийцем, — сказал он своему отражению.

IV

Стоял июнь. Летел тополиный пух. Петер шел по главной улице города и думал о том, как изменился его город за неполные три года, прошедшие с того дня, как он осознал себя арийцем. Он шел по улице и думал о ее красоте. Сейчас повсюду было много черного и красного цветов. Из окон и с балконов по стенам зданий свисали длинные красные вымпелы с белым кругом посередине. А в круге было то, без чего сейчас, думал Петер, не мыслил себя ни один немец. В круге цепко сидел диагонально расположенный изломанный крест. Петер думал о его силе, о том, что крест этот изломанный хватал человека, как хватает добычу орел. Хватал и спрашивал: «Какой ты? С кем ты? Достоин ли ты?» Он не был добродушным и мягкотелым, этот орел. Кто-то не выдерживал его хватки и должен был исчезнуть. Так исчезли учитель музыки Гольдберг, Якоб и его семья, так исчезли многие их соплеменники. Исчезли и некоторые немногочисленные немцы, которым не нравилась эта орлиная хватка. Кому-то, правда, удавалось выскользнуть, уйти от ответа на вопрос: «С кем ты?» Так ушел от ответа Курт. И он, и его отец побывали в здании с громоздкой лестницей на Фабрикштрассе. Если кому интересно, полицейского управления там уже не было, там располагалось гестапо. Продержав немного, их отпустили, но Петер был уверен: орел просто так не отпустит, он следит за каждым. И Петер испытал злорадство. С Куртом он давно не виделся, да и не хотел. Курт не разделил его восторга, когда он рассказал другу о походе с отрядом Зигфрида. Курт посмотрел пристально в глаза другу, так что тот поспешил отвести взгляд, и только спросил:

— Как ты можешь?

Петеру это было неприятно, но он ничего не стал доказывать Курту. «Доносить я, конечно, не стану», — подумал он и чуть не вздрогнул: он все-таки подумал, что на друга можно донести. И эта мысль обожгла его. Они давно не встречались вовсе: Петер помогал отцу в его мастерской, Курт, по слухам, работал на железной дороге.

Петер шел по улице, думал о ее красоте и о том, что больше всего улицу украшают парады. Тут было что вспомнить.

Петеру было четырнадцать. Играл оркестр, маршировали части Тильзитского гарнизона. Вся знаменная группа шла в металлических касках, словно напоминала: будь готов, война неизбежна. Петер завороженно смотрел на чеканящие шаг колонны, и ему хотелось туда, к ним, хотелось так же чеканить шаг, так же прижимать руки к бедрам. Наверное, того же хотелось и полноватому Якобу, и мальчик выдохнул:

— Вот какие бравые наши воины!

Рядом стоял господин в котелке. Он повернул голову в сторону Якоба, поднес к глазу монокль и процедил сквозь зубы:

— Ты уверен, что они твои и ваши?

Потом, заложив за спину руки в перчатках, продолжил смотреть парад. Тогда Петер не придал значения этим словам.

Три года спустя Петер смотрел, как от Драгунских казарм шла по Хоештрассе колонна офицеров-резервистов. Распластав крылья, колонну провожал бронзовый орел над фонтаном в стене тюрьмы. Крылья орла знаком отличия сидели на груди у каждого. Они шли в серых, идеально подогнанных мундирах со всеми наградами, полученными прежде. Плотно сжатые губы на суровых лицах говорили: «Мы только называемся резервистами. Пошлите нас в бой — и мы покажем себя». Только один на правом фланге в третьей с конца шеренге, проходя мимо Петера, слегка повернул

голову и улыбнулся. Петера обдала волна счастья. Но это было уже другое чувство. На тротуаре стоял не восторженный подросток, а юноша, окончивший школу. Сейчас Петер не хотел, как когда-то, просто идти в ногу с марширующими. Сейчас он ждал приказа. Он хотел, чтобы эти суровые офицеры приказывали ему. И уж он не подвел бы.

Но разве даже это могло сравниться с теми восторгом и ликованием, которые испытал Петер на площади у театра?! Разве мог он забыть тот день, когда в небе над городом раздался гул мотора самолета?! Все в городе знали, кто летит к ним. Потому-то вдоль дорог от аэродрома до площади выстроились жители. И саму площадь заполнила толпа.

Его везли от аэродрома в открытом автомобиле. На нем был его обычный серый китель, он приветствовал всех небрежно поднятой к плечу ладонью. К автомобилю летели цветы. На площади он поднялся на трибуну и заговорил. Петер с трудом слышал долетавшие до него обрывки фраз. Но этого и не нужно было. Петер ловил ту волну, которая шла от почти истерических взлетов интонации оратора. И Петер с еще большей готовностью ждал приказа. Площадь вопила. Плакали девушки и женщины. Петер стоял почти у самой стены театра рядом с отцом. Старый фельдфебель Отто Шульц ради такого события изменил своим правилам и оставил мастерскую. Петер видел, как отец распрямляет спину и вытягивается в струнку. Он тоже ждал приказа. Старый вояка фельдфебель Отто Шульц ждал приказа от ефрейтора.

Кумира увезли. Толпа медленно расходилась.

— Ты пойдешь со мной, Петер? — спросил отец, и Петер понял, что спрашивает отец больше для порядка, что он предоставляет сыну сегодня свободу.

— Нет, отец, — ответил Петер, — позвольте мне остаться одному. Я должен пережить это.

— Ты сегодня свободен, — Шульц заложил левую руку за спину и неспешно пошел домой.

V

Как-то незаметно пролетели два года. И снова был июнь, субботний вечер, и летел тополиный пух. От этого настроение Маргариты портилось. Ее раздражало мельтешение пушинок перед глазами, раздражало, что они оседали где попало, хуже всего, когда оседали на голове и могли застрять в волосах. Было в беспорядочном полете белых пушинок и что-то необъяснимо тревожное. Тревожность и невозможность ее объяснить усугубляли плохое настроение Маргариты. Она становилась издерганной, злилась по мелочам, и ей очень не нравилось, когда в такие минуты кто-нибудь докучал ей. А Петер, как назло, привязался, что-то долго говорил, просил, предлагал. Она пыталась отбиться, язвила, говорила колкости, а он, казалось, не замечал ничего. В конце концов, пригласил ее в театр. Ладно хоть в театр, а не в кино — было бы совсем банально. Она согласилась. Только бы избавиться от его назойливости. Как он обрадовался! И стал готовиться к предстоящему походу в театр, наверное, с той самой минуты, как получил от Гретхен согласие. Помчался домой. Не для того ли, чтобы думать, во что одеться и как вести себя завтра?! Ну и пусть! Ушел, оставил ее в покое — уже хорошо.

А Петер и в самом деле был счастлив. Он действительно бросился к узкому, полуторастворчатому шкафу, где висела его одежда, прикидывал, что надеть завтра. Особенно долго подбирал галстук, примеряя то один, то другой, хотя в его гардеробе их было всего три. Чем бы ни занимался он в субботний вечер, то и дело возвращался мыслями к предстоящей встрече с Гретхен.

Но воскресное утро изменило все. Он отступил от своего правила и не стал бриться утром, решив сделать это перед самым спектаклем. Его подверженная раздражению чувствительная кожа от двойного бритья могла покрыться неприятными красными пятнами, которые к тому же долго не исчезали. Хорош был бы он с такими пятнистыми щеками рядом с Гретхен! Он не брился, а крутил в комнате ручки настройки приемника. Замечательный «Филипс» ловил многие станции. Петер хотел поймать какой-нибудь фокстрот, который соответствовал бы его настроению. И тут он услышал... Он даже не сразу понял, а поняв, бросился к отцу:

— Отец! Вы слышали?! Вы слышали радио?! Наши доблестные войска вошли в Россию, и им нет сопротивления! Мы наступаем! Мы начали войну с Советами! Мы покажем этим большевикам все величие Германии! Как же велик наш фюрер!

Усидеть дома Петер не мог. Он направился в Якобсруэ, почти уверенный, что встретит там всех, кого хотел увидеть. И не ошибся. В парке у экседры, ставшей местом их сборов, собрались все: и Маргарита, и Гизела, и Зигфрид, и многие новые приятели Петера. Девушки стояли по обе стороны от Зигфрида, и каждая держала его под руку.

В другое время, видя такое расположение Гретхен к Зигфриду, Петер расстроился бы, стал бы ревновать, но сейчас что-то радостное стучало в его груди, и он сам готов был встать рядом с этим высоким и привлекательным молодым человеком. Зигфрид возвышался надо всеми, и всё, как обычно, вертелось вокруг него. Он негромко делал какие-то распоряжения, и другие парни бросались исполнять их, убегали, возвращались, приводили новые группы молодежи. Зигфрид стоял, опустив сцепленные руки, потом поднял правую — гул понемногу стих. Зигфрид говорил ярко и убедительно.

— Это будет самая великая победа Германии! Это будет самая великая победа фюрера! — завершил он, и все одобрительно загудели.

В этой компании Петер провел весь день. Там же были Маргарита и Гизела. Несколько раз столкнулись они с Маргаритой лицом к лицу, несколько раз они говорили о разных вещах, но ни один, ни другая так и не обмолвились о предстоящем вечере в театре. Они словно договорились негласно, что сходят в театр в другой раз, а сегодня... Никто не знал, чем кончится сегодня.

— А не сходить ли нам к торговым складам? — неожиданно предложила Гизела. — Какой прекрасный вид откроется нам сверху!

Предложение понравилось всем. Конечно! Конечно, они поднимутся на смотровую площадку на крыше складов, возьмут столик: пиво там подают отменное. Они будут медленно пить пиво и смотреть на противоположный берег Мемеля. Там, далеко за рекой, проходит граница и начинается эта непонятная Россия, по которой уже идут, маршируют, едут немецкие войска.

— Тогда надо поторопиться, — осторожно предложил Петер. — Как бы нас не опередили.

— Конечно, поспешим, — согласился Зигфрид, хотя многие заметили его снисходительную улыбку, в которой читалось: не стоит беспокоиться, ибо там, где он, Зигфрид, им не будет отказа ни в чем.

Им действительно без труда удалось занять столики, и со смотровой площадки они видели весь город, прогуливающихся по улицам и набережной горожан, они смотрели вдаль за Мемель, и им было радостно.

Нарастающий гул в небе различили не сразу, а когда различили, стали внимательно прислушиваться.

— Так гудят самолеты, несущие большой боезаряд. Это бомбардировщики. Они летят на Россию, — с видом знатока заявил Зигфрид.

А гул нарастал. И уже как прогуливавшиеся внизу, так и собравшиеся на смотровой площадке стали всматриваться в небо. Но постепенно недоумение отразилось на их лицах. Все вдруг поняли, что гул нарастает не с той стороны, откуда могли лететь немецкие самолеты. Гул нарастал с севера, самолеты шли из-за Мемеля. А вскоре увидели и сами машины, а потом и красные звезды на их крыльях. Стало ясно, что это советские бомбардировщики движутся на город и скоро станут его бомбить. Прохожие в панике разбегались. Зигфрид заметно побледнел, но сумел взять себя в руки и не показать, насколько он напуган.

В это время раздались взрывы. Сбросив бомбы на выбранные цели, самолеты развернулись и улетели. С площадки хорошо были видны возникшие пожары. Быстро расплатившись с кельнером, компания спустилась на набережную.

Внизу Зигфрид не смог удержаться от того, чтобы встать у ограды на пристани и выкрикнуть:

— Как?! Как это случилось?! Как смели эти большевики бомбить наш город?! Это наши бомбы падают сейчас на русские города! Как посмели эти русские! Но мы отомстим! Мы непременно отомстим!

Выдав эту тираду, Зигфрид обвел всех взглядом. Он привык оценивать степень воздействия своих слов на окружающих. А Петер был подавлен. Он не мог поверить в то, чему сам стал свидетелем. Так удачно выстроенная конструкция взглядов и понятий рушилась. В такие минуты он искал поддержки у отца.

Отто Шульц, выслушав рассказ сына, подошел к стене, где висели два портрета, и снял портрет Бисмарка.

— Сегодня Германии нужен один канцлер, и ты знаешь кто, — сурово сказал он, поправляя рамку оставшегося висеть портрета.

Был июньский вечер, и над городом летел тополиный пух.

Сергей ЮДИН

СВАДЬБА В БРЮГГЕ

Антиутопия библейского Содома на грани реальности

Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской...
Иоанн, II, 12

Позднее утро. Легкий скрип колес. Подбитые медью ободья мягко стучат по булыжной мостовой. Приглушенно цокают копыта. Оба кучера правят парными пристяжными несуетливо и чинно, без лишних телодвижений, будто экономя энергию; создается впечатление, что и вожжи им без надобности. Лошади прядают ушами, фыркают, но тоже не без деликатности, вполсилы.

Свадебный кортеж ползет с черепашьей скоростью. Важно и торжественно. Впрочем, кортеж — это громко сказано. Для церемонии наняты два экипажа, якобы стилизованные под придворные кареты эпохи Леопольда Второго. На самом деле, и тут видна похвальная экономия: обе колымаги смахивают, скорее, на помесь похоронных дрог с цыганской кибиткой — парусиновый верх и открытые незастекленные окна; цвета, само собой, отнюдь не траурные — сливки с золотом. Как и положено. Боковые фонарики украшены веночками из искусственных розанов.

Сидящий в головной карете молодой человек в старомодном котелке и явно видавшем виды смокинге довольно улыбается: служба в похоронном бюро имеет свои плюсы, и один из них — не надо тратиться на транспорт и аксессуары. Даже если это твой собственный свадебный кортеж.

Молодой человек в смокинге — жених, Рогир ван дер Эйк. Имя громкое, хотя и распространенное. На вид ему — лет тридцать с хвостиком. Он хорошо сложен, белокур и голубоглаз; черты лица правильные, почти классические. Тонкие бескровные губы и оттопыренные уши слегка портят его, но не слишком.

Кроме него, в каретах на обитых искусственным бархатом сиденьях расположились еще семь человек — по четверо в каждой.

Два шафера в национальных фламандских костюмах и с алыми лентами через плечо катят следом на дорожных велосипедах. По случаю торжества велосипеды тоже украшены цветочными гирляндами.

Невеста — Ханнелора Дефрудт, девица двадцати трех лет — едет во втором экипаже. Она — красавица. Настоящая красавица. И этим все сказано. По крайней мере, для Рогира ван дер Эйка. На ней — свадебное платье из нескольких слоев воздушной кисеи нежно-молочного, даже кремового цвета, высокий кружевной воротник, тонкий серебряный поясок. На голове у нее легкий венец, осыпанный блестками и пластмассовыми жемчугами; в руках — неизменный батистовый платочек с вышитым гарусом именем новобрачной. После свадьбы его вставят в рамку и повесят на почетное место, над камином или где еще.

В карете жениха сидят два его дяди: один, Питер Хилдерсон — по материнской линии; второй, Вим ван дер Эйк — по отцовской. С ними племянник Рогира, сын дяди Питера, восемнадцатилетний Жан-Клод. Оба почтенных дядюшки вполне соответствуют расхожим представлениям иностранцев о типичном облике фламандского

бюргера — очень толстые, очень коренастые, с багровыми отечными лицами. Жан-Клод, несмотря на внушительное расстояние от ступней до холки, выглядит недорослем. Крошечные водянистые глазки смотрят совершенно бессмысленно; прибавьте к этому слюнявый лягушачий рот, огромные оттопыренные уши (наследственная черта), нос, пламенеющий протуберанцами юношеских угрей, и стрижку — вдохновенное произведение парикмахера, страдающего, судя по всему, болезнью Паркинсона. Тут почти все ныне здравствующие родственники Рогира ван дер Эйка. Отсутствие родителей объясняется безвременной кончиной оных несколько лет назад. Есть еще тетка — Лилиан ван дер Эйк. Но старуха передвигается с трудом; выдержать церемонию бракосочетания ей не по силам. Тем не менее, ожидается, что она почтит своим присутствием свадебное застолье.

Вместе с невестой следуют ее родители — Альберт и Людвиг Дефрудты — высокие, импозантного вида мужчины средних лет, похожие друг на друга словно близнецы. На обоих — малиновые с искрой костюмы от Лагерфельда, оба счастливо улыбаются и умильно поглядывают на дочь. Людвиг нет-нет да и смахивает слезу радости зеленым шелковым платком. Дефрудты — старинные поставщики ритуальной конторы ван дер Эйков. Древесина ценных сортов, разнообразные обивочные ткани, золотая и серебряная канитель, прочая фурнитура — все проходит через их посредническую фирму. Так что породниться промеж собой было давнишней мечтой обоих семейств. Предстоящая свадьба — сделка взаимовыгодная.

Здесь же, рядом с невестой, сидит ее верная подружка — Корнелия-Вильгельмина де Витт, молодая девушка необычайно пышных форм, одетая в облегающее розовое платье, украшенное поразительным количеством лент, рюшей и воланов. Она то и дело поправляет кисейные оборки на коленях Ханнелоры и от избытка чувств чмокает ее в щечку через фату.

Ехать недалеко. Собор Богоматери совсем рядом, рукой подать. В Брюгге все близко. Но свадебный кортеж, по обычаю, движется кружным путем, совершает обязательную петлю почета. С Рыночной площади — через ущелья узких проулков — на Бургплац; мимо дворца Губернатора провинции, мимо Сторожевой башни, Ратуши, блошиного рынка и базилики Св. Крови — к городским воротам. Оттуда — сквозь хитрую паутину десятка торговых улочек с их шоколадными, пивными и ювелирными развалами — к Озеру любви...

Именно здесь, под сенью кленов романтического приозерного парка, Рогир впервые встретил свое счастье, свою Ханнелору. Незабываемый день! Год пролетел с той встречи, но каждая деталь, каждая мелочь помнятся отчетливо, словно случилось это вчера. Как прелестна казалась она в короткой кружевной юбочке и белоснежной блузе! Как удивительно шел ей атласный жакет, выгодно подчеркивающий природную грацию стана, пышность высокой девичьей груди... Ханнелора стояла на берегу и бросала в воду хлебные крошки, кормила лебедей. Он приблизился и робко протянул ей только что сорванный цветок асфоделя...

Процессия минует помпезное великолепие Песчаной улицы и выезжает на набережную Дайвер. Порывистый свежий ветер будоражит зеленые воды канала. Сильная рябь превращается у гранитных берегов в небольшие волны, увенчанные симпатичными белыми барашками.

Рогир ван дер Эйк выглядывает из экипажа, смотрит вверх и вновь с удовольствием убеждается, что утро выдалось погожее и ясное. Пускай и ветреное. По ослепительно голубому небу стремительно несутся редкие перистые облачка; солнце светит по-весеннему ярко, в воздухе ощущаются манящие ароматы мидий и картофеля-фри. Подходящая погода для свадьбы. Редко случается, чтобы окружающая обстановка настолько верно отражала его настроение.

А ведь еще неделю назад по всему северу-западу Бельгии бушевали снежные вьюги. И это при том, что даже относительно морозная зима случается в здешних краях совсем не каждое десятилетие. Дошло до того, что Рогир нигде не смог найти распустившейся березки по приемлемой цене и принужден был посадить в качестве майского дерева под окнами возлюбленной молоденькую ель. К счастью, ни родители Ханнелоры, ни она сама (последнее — не удивительно) не выказали по сему поводу ни малейшего неудовольствия. На следующий же день пригласили на кофе с крокембушем. Чуткие и благородные люди!

На набережной, вдоль парапета выстроилась большая группа туристов. Кажется, японцев. Они так обильно увешаны фотоаппаратурой и оптическими приборами, что походят на военных корреспондентов. Ветер нещадно ерошит вороньи гнезда их странных причесок, рвет полы одежды, но они внимательно и терпеливо слушают гида. Тот что-то быстро лопочет на непонятном языке, машет руками в сторону выстроившихся вдоль набережной средневековых зданий, тычет пальцем в замысловатые гербы гильдий суконщиков, пекарей и пивоваров. Вероятно, живописует местные

достопримечательности, рассказывает древние предания... Где-то поблизости во времена оны пролегала улица Цепа, значит, как пить дать, вспомнит душещипательную легенду о нежной дружбе Балдуина IX с фермером Эли. А может, напротив, поведает о кровавых бунтах ткачей и сукновалов под водительством Заннекина и Якова Пейта... Стоит гиду на минуту замолчать, туристы разражаются целым потоком оживленных восклицаний и восторженных возгласов. Да и разве ветшающая красота Брюгге, непередаваемое очарование старинной архитектуры, сама здешняя атмосфера могут оставить кого-то равнодушным? Любоваться этим городом можно до бесконечности.

Рогир вад дер Эйк отворачивается от туристов и тоже задумчиво скользит взглядом по пряничным фасадам, по черепичным крышам всех оттенков охры и каротина, по венчающему их лесу из флюгеров, башенок, замысловатых изваяний птиц, карликов, фантастических бестий... Он любит свой родной город. И ни за что не променяет его ни на какой иной...

Брюгге. Город патрициев, ремесленников и мореплавателей. Величайшая торговая гавань между Зундом и Гибралтаром, былая космополитическая столица Западной Фландрии.

Да, именно былая. Ибо, увы, прошел, безвозвратно канул в Лету период расцвета Брюгге. Кто вспомнит теперь времена, когда город вместе с соседними портами являлся непреодолимым магнитом для товаров, стекавшихся в Нидерландские провинции из Италии и Центральной Европы? Купцы всех стран, берега которых омываются морем, от Прованса до далекой Балтики, швартовались у здешних причалов. Город манил чужеземных негоциантов, как Святая Земля крестоносцев. Высокие шпили его колоколен служили им путеводными маяками. Грубая гортанная речь немцев, англичан и скандинавов смешивалась на его улицах и площадях с певучим говором флорентинцев, оживленной трескотней обитателей Пиренеев и солидным прононсом уроженцев Лангедока. Здесь шумели многолюдные разноязыкие ярмарки: продавался голубой туф из знаменитых каменоломен Турнэ, оружие и шитые золотом ткани тороватых ломбардцев, льняные и шерстяные сукна, изготовленные в самой Фландрии, строевой лес, металлы и мягкая рухлядь из Швеции и Новгорода. А что говорить о грудах пряностей, цветного дерева, шелка и прочих восточных диковинах, завозимых из Средиземноморья? По Шельде сюда доставляли бочки с драгоценными винами Бордо и Шампани; Рейн служил широкой артерией для более дешевой германской лозы; загрузив этим добром пузатые купеческие посудины, бравые брюггские моряки храбро пересекали бурное Северное море и, горланя хриплыми голосами «Kyrie eleison», поднимались вверх по Темзе — от Лондона до рынков Оксфорда, Рединга и далее, вглубь страны...

Разумеется, некогда, многие столетия назад, все так и было. Было и исчезло. Умерло навсегда, развеялось словно морок, тень морока, пригрезившаяся тень туманного морока... И ныне лишь толпы восторженно-суетливых туристов беспокоят мертвенный сон древнего города.

Рогир ван дер Эйк кидает последний взгляд назад, на исчезающих за очередным поворотом японцев, на восьмигранное навершие Белфорда, все еще различимое за ступенчатыми пирамидами высоких фронтонов, и с грустным вздохом откидывается на спинку сидения. Однако в такой день меланхолия не способна сколько-нибудь долго смущать его ликующую душу. Уже очень скоро, этим самым вечером, он соединится, сольется в экстатическом трансе и вкусит неземное блаженство со своей возлюбленной! С красавицей Ханнелорой! Эта счастливая мысль мгновенно вытесняет все прочие, лицо Рогира снова озаряет улыбка радости. Сидящие напротив Питер Хилдерсон и Вим ван дер Эйк смотрят на племянника в угрюмом недоумении. Всепобеждающим унынием и смертной скукой веет от них, ничто на свете не может тронуть их заскорузлые сердца, растопить лед впавших в летаргическую спячку душ; кажется, даже солнечные лучи тускнеют, едва коснувшись одутловатых физиономий почтенных бюргеров. Этим старым трухлявым пенькам не понять, что нынче самый важный день в его, Рогира ван дер Эйка, жизни. На брак они смотрят с сугубо прагматической точки зрения, никакой романтики... Несчастные реликты, жалкие глупцы! Союз двух любящих сердец для них — пустой звук; они способны думать только о прибыли и приплоде, достатке и продолжении рода. Но в этом ли смысл брака? Только ли в этом?

Вот процессия в очередной раз пересекает Бургплац. Возницы натягивают поводья. Свадебный кортеж останавливается. Шаферы, прислонив велосипеды к гранитным тумбам возле горбатого мостика, спешат распахнуть дверцы карет, и пассажиры один за другим выбираются наружу. Перед ними — Собор Богоматери, поражающая воображение громада величаво-угрюмого Onze-Lieve-Vrouwekerk.

В ту же минуту воздух наполняют протяжные гудящие звуки. Они несутся откуда-то сверху, чуть не из-под облаков. Это Angelus. Прибывших приветствует колокольный карильон высочайшей в городе, если не во всей Фландрии, звонницы.

* * *

Резные двери главного портала гостеприимно распахнуты. Изображения святых, чертей и мучеников из белого брабантского песчаника, окруженные каменными же черепами и кружевами, как будто оживают при блеске солнца и дружелюбно поглядывают на проходящих под ними людей.

Будущий супруг поднимает невесту на руки и под ободряющие возгласы родственников несет через церковный порог. Восхитительная белокурая головка Ханнелоры доверчиво клонится на его плечо.

Стоит Рогиру ван дер Эйку ступить под высокие готические своды, как чувства его странным образом обостряются. Он явственно ощущает волны благодати и умиротворения, нисходящие на него прямиком из-под крестообразно переплетающихся стрельчатых арок. Мощные звуки органа, гремящие подобно трубам Страшного Суда, наполняют каждый придел, каждый закоулок необозримого пространства пятинефной храмины, усугубляя впечатление торжественности и без того волнующего момента. Исподволь приходит понимание, насколько велик и дивен Тот, Кому воздвигнуто сие великолепное капище. Всё вокруг приобретает некий потаенный, сокрытый от профанов смысл. Свет, струящийся через цветные витражи, придает мертвым мраморным изваяниям иллюзорное подобие существования. Многочисленные статуи бургомистров, ратманов и олдерменов, соседствующие с бронзой и серебром усыпальниц гордых владык Бургундии, невольно приковывают внимание, заставляют задуматься о преходящей суетности мирской славы, тщете тварного мира, о жалком жребии его обитателей.

Рогир ван дер Эйк задерживается было по привычке перед «Святым семейством» Яна Маеса у медной кропильницы со святой водой, но облаченный в белоснежный стихарь служка уже ведет его и всех прочих дальше, к сакральному нефу Священной капеллы. Именно там предстоит совершиться церемонии.

Около восточной стены придела толпятся вездесущие газетчики из «Le Soir», «La Libre Belgique» и других, неизвестных ван дер Эйку изданий. Щелкают вспышки фотокамер, стрекочет видеоаппаратура. Рогиру кажется даже, что он узнает самого Рика ван Каувелаарта, главного редактора популярнейшего журнала «Knack», чья специализация — освещение светской жизни знаменитостей. Ну что ж, ничего удивительного. Событие-то отнюдь не рядовое. В некотором смысле, знаковое событие.

Перед алтарем установлены два кресла с высокими резными спинками. Вызолоченные подлокотники и ножки делают их похожими на троны августейших особ. В то время как Альберт и Людвиг Дефрудты приглашают будущего зятя занять место на правом седалище, два дюжих шафера подхватывают под руки Ханнелору и с отменной любезностью усаживают слева от жениха. Похожая на дебелое розовое облако Корнелия-Вильгельмина де Витт остается нести вахту позади кресла подруги, придерживая откинутую назад фату. Сам Рогир, согласно обычаю, склоняется к любимой и запечатлевает поцелуй на ее запястье. Подняв голову, он с удовольствием видит спокойную улыбку, озаряющую очаровательное личико Ханнелоры, его ненаглядной Ханхен.

Орган постепенно смолкает. И в то время, покуда немногочисленные родичи занимают места на первом ряду сидений, из-за алтаря уже появляется приземистая дама в оранжевом брючном костюме. Это бургомистр, госпожа Ангелина Ле Марк. Присутствующие встречают ее сдержанными, но несомненно искренними аплодисментами. Репортерская братия подвигается ближе, к самым хорам, огороженным изящной резной балюстрадой.

Бургомистр взбирается по крутым ступенькам кафедры, одаряет публику дружеским взмахом руки и раскрывает красную сафьяновую папку.

— Дорогие жених и невеста, — начинает госпожа Ле Марк, — уважаемые гости! Я рада приветствовать вас сегодня в этом величественном храме, в сей обители горних сил. Рогир и Ханнелора! Вот и наступил самый волнующий, самый знаменательный момент в вашей жизни. Вы пришли сюда, дабы соединить свои сердца и судьбы, дабы создать новую семью, еще одну ячейку нашего свободного демократического общества! Семья. Какое удивительное слово! Сколь глубокий смысл заложен в нем. И вам предстоит вместе разгадать его и понять, насколько важно обрести любимого человека, с которым можно разделить минуты радости и печали и который отныне всегда будет рядом. Помните, семья — это великое благо, берегите ее. И пусть торжествует... — бургомистр выдерживает паузу и буквально поет умильным меццо-сопрано: — ЛЮБО-О-ОВЬ!

В ту же секунду возобновляется и гудение органа; патетические раскаты его снижают голосовой регистр г-жи Ле Марк до драматически насыщенного контральто, но вскоре обрываются. Бургомистр продолжает:

— Однако сегодняшний день знаменателен и важен не только для наших будущих новобрачных. О нет! Это поистине исторический день для каждого подданного Бельгии, для каждого гражданина Евросоюза... Вы спросите, почему? А я вам отвечу! Задумайтесь: а разве столь уж много лет прошло с тех пор, как мы, европейцы, окончательно узаконили собственные основополагающие ценности? Разве настолько далеко от нас время, когда общие для цивилизованных людей гуманистические идеалы признавались отнюдь не всеми странами и народами континента? Давно ли мы, например, отвоевали в нелегкой борьбе всю полноту гражданских и человеческих прав для лиц с так называемой нетрадиционной сексуальной ориентацией? Для нашего славного гей-сообщества. Не так уж и давно, если смотреть в масштабах истории...

Репортеры кидаются к чете Дефрудтов; опять щелкают вспышки фотокамер; Альберт и Людвиг розовеют от удовольствия, берутся за руки и смущенно улыбаются в объективы.

— А ведь были, были времена, — коли не верите, спросите у своих бабушек и дедушек! — когда указанную категорию граждан обзывали не иначе, как секс-меньшинствами! Да-да, вы не ослышались, именно меньшинствами! Сейчас это звучит дико. Но так было. Однако зададимся вопросом: есть ли у нас сейчас достаточные основания для благодушия, для почивания на лаврах? Увы! Таковых оснований по-прежнему нет. Вы спросите, почему? А я вам скажу, почему...

Рогир ван дер Эйк не слушает, он с возрастающим вожделением смотрит на Ханнелору. Под воздушным тюлем четко обрисовываются два совершенных полушария божественной груди. Ее руки и плечи, налитые упругой полнотой молодости, сулят блаженство; до невозможности изящные ножки, кажущиеся в тонкой сетке шелковых чулок почти бесплотными, способны ввергнуть в нерестильный экстаз самого Кальвина; румянец ланит будит воспоминания о Елене, Леде и Кончите Вурст. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» — тихо шепчет ей на ушко взволнованный Рогир страстные причитания древнего царя.

— ...И опять же, достаточно вспомнить, что еще совсем недавно коренные права и свободы другой, но не менее многочисленной и социально значимой части наших сограждан жестоко ущемлялись. Я говорю о людях с психическими расстройствами или, как их правильнее называть, личностях с нестандартными мыслями и поведением. А ведь они составляют от пятнадцати до двадцати процентов населения! И лишь в начале этого десятилетия правозащитному движению удалось добиться пропорционального представительства указанных лиц в органах законодательной и исполнительной власти. И потому только теперь мы с гордостью можем констатировать, что в сенате, палате представителей и самом правительстве Его Величества, в отличие от властных структур остальных государств Евросоюза, помимо шизофреников и аутистов, представлены и плодотворно трудятся депутаты, сенаторы и министры всех трех стадий олигофрении: есть и дебилы, и имбецилы, и даже парочка идиотов...

Представители прессы в очередной раз спешат к переднему ряду сидений, но теперь объектом их назойливого внимания становятся племянник и оба дяди жениха. Последние, набычившись (если такое выражение подходит к их расплывшимся монголоидным физиономиям с поросячьими глазками), тупо моргают в объективы фото- и телекамер; Жан-Клод по обыкновению пускает слюни, не забывая одной короткопалой ручкой махать репортерам, а второй — исследовать недра багрового носа.

Рогир ван дер Эйк далек от этой суеты. Сейчас он смотрит прямо перед собой, на величественный алтарь работы знаменитого Пеперса. Там, в самом его центре, меж порфировых колонн и среди вычурного великолепия барочной резьбы восседает Мадонна Брюгге великого Буонарроти. За пуленепробиваемым стеклом Дева Мария выглядит невозмутимо и отрешенно. Настолько отрешенно, что Рогиру чудится, будто Младенец вот-вот спрыгнет с колен исполненной божественного равнодушия Матери и разобьется на тысячу мраморных осколков... Впрочем, мысли, снующие в голове Рогира, в целом благостны. Он думает о детях. Мечтает, что и у них с Ханнелорой когда-нибудь... Рассеянный взор его невольно обращается на окруженных толпой репортеров родичей. М-да, складывается впечатление, словно во всей их малосимпатичной семейке он, Рогир, единственный абсолютно нормальный человек... Он переводит взгляд на Дефрудтов. Какие же все-таки милые родители у его суженой! Сколько благородства, сколько искренней благожелательности! Мысль о плохой наследственности, способная поколебать кого угодно, ни на минуту не остановила ни господина Альберта, ни господина Людвига. Но все же, все же... В его ситуации, вероятно, стоит-таки подумать об усыновлении. Что может быть проще? Подобрать одного-двух, а то даже и трех симпатичных детишек... В какой-нибудь не слишком благополучной стране. Например, в балтийском Остланде или Галицийском дискрикте. Ну, конечно же! И при нынешнем гауляйтере Украинского протектората никаких проблем в этом вопросе возникнуть не должно. Говорят, отдают задешево, а тех, которых выловили

на Юго-Востоке рейхскомиссариата, — и вовсе задаром. Госпожа бургомистр будет только рада помочь. Да что там бургомистр! Сам губернатор провинции не откажет, нажмет на какие надо рычаги... Безусловно, именно так они с Ханнелорой и поступят. Ребенок в доме. Что может быть лучше? Семья без детей — это нонсенс, это неправильно. Разве можно такую семью считать полноценной?.. Рогир ван Эйк с улыбкой кивает собственным мыслям.

Между тем, госпожа Ангелина Ле Марк все еще продолжает говорить:

— ...И вот в прошлый четверг — новый триумф демократии и толерантности! Впервые председателем Еврокомиссии избран человек с синдромом Дауна! Думаю, все здесь присутствующие имели удовольствие наблюдать в прямом эфире, как тысячи граждан с аналогичным синдромом, собравшиеся на Гран-Плас в Брюсселе, восторженно приветствовали избрание на один из высших государственных постов своего коллеги — коллеги по состоянию. Напомню, что десять лет назад в Конституции Евросоюза было закреплено, что шизофрению, олигофрению, аутизм и прочие подобные аномалии следует именовать не болезнями, а состояниями...

Откуда-то из благовонного сумрака апсиды, из-за нагромождения погребальных мемориалов и монументов, едва освещенных дюжиной масляных светильников, выступает высокая мрачная фигура в фиолетовой ризе; накинутая поверх ризы епитрахиль загадочно мерцает в полутьме бокового нефа золотым шитьем крестов и шестикрылых серафов. Это настоятель, преподобный Теобальд Деккен. Мрачность ему придают узкое костлявое лицо и густые брови, нависающие над глубоко запавшими глазами аскета, посверкивающими из-под надбровных дуг, словно угли в недрах пещеры лапифов. Обманчивое впечатление. Отец Теобальд известен отменным добродушием, широтой взглядов и жизнелюбием. Улучив момент, когда госпожа Ле Марк смотрит в его сторону, он поддергивает рукав ризы и бросает выразительный взгляд на наручные часы.

— Ну что же, дорогие мои Рогир и Ханнелора! — восклицает бургомистр, закрывая наконец красную сафьяновую папку. — Позвольте мне еще раз поздравить вас с по-настоящему волнительным и — не побоюсь этого слова! — поворотным моментом вашей, так сказать, жизни. Счастья вам, любви и взаимопонимания! Самое время передать вас из рук властей светских в руки властей, как говорится, духовных. Всем же присутствующим хочу еще раз напомнить, слегка перефразировав, бессмертные слова Армстронга: то, чему мы сегодня являемся очевидцами, — это, возможно, только один маленький шаг для молодой семьи ван дер Эйков, но, несомненно, гигантский скачок для прочего человечества!

Госпожа Ле Марк под громкие аплодисменты зрителей покидает кафедру; ее место на амвоне занимает преподобный Теобальд Деккен.

— Не задавайтесь, дети мои! Не задавайтесь! — говорит он, с усмешкой грозя крючковатым пальцем жениху и невесте. — Избегайте гордыни пуще проказы. Госпожа бургомистр много чего вам тут наговорила. Едва ли не до небес вознесла. Вы, мол, такие да разэтакие Колумбы с Магелланами. В чем-то она и права... Ну а я вам так скажу: есть дыра, будет и прореха! Последователи ждать себя не заставят. Думается даже, что таковых, по несказанной благодати и милосердию Божьему, будет превеликое множество. Эх, клянусь святым Дрого, когда бы не целибат... Но я отвлекся. Пора и за дело!

С этими словами кюре Собора Богоматери бодро спускается по ступеням кафедры и приступает к священнодействию, которое явно не обещает быть продолжительным.

Покуда звучат «Benedictus» и «Pater noster», Рогир, не в силах более сдерживать обуревающее его чувство нетерпеливого томления, нежно сжимает ладонью маленькую, затянутую в кружевную перчатку ручку Ханнелоры. Ему кажется, что любимая с благожелательной готовностью отвечает на его пожатье, и ладонь Рогира сползает чуть ниже, принимаясь оглаживать восхитительную округлость коленки своего божества, своего сокровища... Невыразимое, упоительное мгновение! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и изъяна в тебе нет! Сотовый мед каплет из уст твоих, и благоухание одежд твоих подобно благоуханию Ливана! Внутренность моя взволновалась от тебя, ибо ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!

Отец Теобальд замечает сей маневр и понимающе улыбается. Разумеется, ни на секунду не прерывая плавное течение торжественной службы. Ах, молодость, молодость! Что с нее взять! В их возрасте и дом Божий — любовное гнездышко. Все это весеннее брожение соков и гормональное половодье. Избыток тестостерона, свежесть эмоций...

Церемония близится к завершению. Жених надевает кольцо на левую руку невесты. Вновь запел орган. И вот уже несутся под древними стрельчатыми сводами сакраментальные слова еще более древнего заклятья: «Ego conjngo vos in matrimonium in nomine Patris, et Filii, et Spiriti Sancti!»

* * *

Последними, около девяти вечера, уходят шаферы. Им пришлось задержаться чуть дольше остальных, помочь новоиспеченному супругу привести все в надлежащий порядок. Со вздохом облегчения, в данной ситуации вполне простительным, ван дер Эйк захлопывает за ними дверь и спешит вернуться в гостиную.

Свадебное застолье утомило и порядком вымотало Рогира. Хотя длилось не более полутора часов. Но ему эти девяносто минут показались вечностью. Неужели так трудно понять, что молодым сейчас не до гостей? Присутствовали все те же лица, что и на церемонии венчания. Да еще старуха Лилиан ван дер Эйк... Чокнутая клептоманка! Девяносто три года зимой стукнуло, собственного имени не назовет без подсказки, а все никак не уймется. Да, видно, горбатого могила исправит.

Рогир ван дер Эйк со злорадством вспоминает, как старая карга запихивала в сумочку столовые приборы, не ведая, что он загодя обо всем побеспокоился — вместо серебряных ножей и вилок положил мельхиоровые.

А дяди с племянничком! Наблюдать за процессом их насыщения оказалось натуральной пыткой. Как назло, вся троица устроилась аккурат напротив. Изысканный говяжий гуляш они умудрялись смешивать с рыбным waterzooi и хлебали эту жуткую тюрю, похрюкивая от удовольствия.

Шаферы тоже хороши. Присосались к даровой выпивке, будто сроду сидра не пробовали. По крайней мере утешительно, что на вине он догадался сэкономить. Сколько бы эти мордовороты его выхлестали — представить страшно...

Все-таки с количеством приглашенных вышел явный перебор. Вполне можно было без некоторых субъектов обойтись. Хотя бы без придурковатого Жан-Клода. Весь аппетит испортил подлец. То и дело сморкался в накрахмаленные салфетки. Из чистого льна, между прочим, салфетки. А когда не сморкался — ронял зеленые капли прямо в свое отвратительное месиво из гуляша с супом. Одно светлое пятно — речь старшего родителя Ханхен, господина Альберта. Замечательно говорил, трогательно, от сердца. Патриотично даже. Могли ли, дескать, они с Людвигом мечтать о столь завидной судьбе для любимой дочурки? Еще каких-нибудь два месяца назад подобный союз был бы невозможен. Ибо нет ничего труднее, нежели победить людскую косность, въевшиеся в плоть и кровь общества пагубные предрассудки. А ведь, по сути, речь-то идет о норме. Не более и не менее. Борьба с врожденными поведенческими инстинктами — дело заведомо бессмысленное, обреченное на провал. Тем не менее, еще совсем недавно большинство населения принимало такого рода безобидные особенности в штыки. Готово было ополчиться на всякого, кто не вписывался в рамки замшелой морали... Но разве хоть у кого-то из присутствующих есть сомнения в том, что такой человек, как Рогир ван дер Эйк, сумеет стать достойным супругом и составить счастье их с Людвигом дочери, малышки Ханнелоры?.. Насколько же удачно сложилось, что именно теперь, когда соответствующий закон прошел обе палаты и утвержден Его Величеством, когда последние препоны на пути к счастью Рогира и Ханнелоры пали, их дети решились связать себя нерасторжимыми узами брака! Короче говоря, да здравствует торжествующая толерантность и европейские ценности! Слава Брюгге, слава Бельгии, да пребудет во веки свободная единая Европа!

Вот такую вот речь толкнул дорогой тесть. Хорошо получилось. По ходу даже убогонького Жан-Клода по щеке потрепал — сами, мол, видите, ничего страшного и не противно нисколько...

Жаль только, что Корнелия-Вильгельмина все это время глупо хихикала. Дура дурой. Право слово. Нет, придется все-таки отказать этой толстухе от дома. Ханнелора возражать не станет. Да и не сможет — подумаешь, школьная подруга! Семейная жизнь, она ответственность предполагает. Отныне у них все пойдет по-другому. Иначе пойдет. А подруги... Что ж, подруги — дело наживное. Новых найдем, лучше. И не таких жирных.

Зато сама Ханхен — просто чудо! Настоящее сокровище, бриллиант чистой воды. Сидит, улыбается... Никакого раздражения, ни полсловечка упрека, полное самообладание. В ответ на любой тост, любое пожелание, даже и сдобренное неуместными колкостями и намеками (один из шаферов отличился!), — милая, исполненная доброжелательности улыбка. Вкупе со спокойной непринужденностью — величием даже! — осанки. Как и должно быть. Как и положено. Именно такая хозяйка и нужна дому ван дер Эйков. Молчаливая выдержка, пленительная грация и достойная медицейской Венеры безмятежность в любой жизненной ситуации — оптимальное сочетание качеств для идеальной супруги.

Рогир с нежностью думает о своей нареченной, о своей драгоценной супруге. Еще тогда, во время самой первой встречи в приозерном парке, когда всемогущему случаю

угодно было их познакомить, он почувствовал, что в душе его вспыхнул пламень, доселе неведомый. Что заставило его подойти к Ханнелоре? Внезапный порыв? Любопытство? Пустая прихоть? Нет, больше, чем порыв, любопытство или прихоть — судьба!.. Испуганная неожиданным появлением незнакомца девушка смотрела на него не без некоторого смятения, даже со страхом. Страхом, подобным тому, что овладевает неосторожным путником, когда бедняга, тщетно борясь с головокружением, заглядывает в таинственные глубины пропасти, внезапно разверзнувшейся прямо перед его ногами. И вот, увидев это смущение, этот сердечный трепет, Рогир ясно осознал, что после соответствующей огранки алмаз сей засверкает под стать великолепному «Санси» или легендарному «Кохинору»; и уж по крайней мере, ярче любого раритета «Де Бирс». Осознал и протянул Ханнелоре стебелёк белого асфоделя...

Но довольно грез. Любимая уже наверняка его заждалась, готова принять на ложе наслаждений своего законного повелителя, своего Шахрияра или, лучше сказать, своего Абу Бакра аль-Багдади. У них обоих впереди — целая ночь любви. Первая ночь настоящей страстной любви. И, Господь свидетель, он, Рогир ван дер Эйк, ждал сего вожделенного момента с воистину стоическим терпением!

Последний раз окинув взглядом гостиную — все ли в порядке? — Рогир направляется к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Едва ли не всю площадь его, за исключением двух крошечных туалетных комнат, занимает самое обширное помещение родового дома ван дер Эйков — спальный покой. Дверь слегка приоткрыта, но ни малейшего лучика света не вырывается наружу. Рогир бесшумно проникает вовнутрь и останавливается, завороженный чудесным зрелищем...

Три четверти пространства старинной опочивальни отведено под брачное ложе — широкое и приземистое; четыре витые колонны резного красного дерева поддерживают балдахин из темно-лилового бархата; края его собраны в тяжелые складки и подвязаны золотыми шнурами с массивными серебряными кистями. Тончайшее батистовое белье, непомерно огромное стеганое одеяло, пышные атласные подушки, покрывало бесценной золотой парчи, небрежно откинутое в изножье кровати, — благоухают ароматами лаванды, мирры и сандала. А там, среди всего этого восточного великолепия, словно драгоценная жемчужина в перламутровой раковине Margaritifera, покойно возлежит молодая супруга его, предмет сокровенных мечтаний, источник божественно одухотворенного вожделения...

В углу, справа от входа, висит большое антикварное зеркало в бронзовой раме эпохи Габсбургов; оно расположено таким образом, чтобы лунный свет, струящийся в окно, отражался от древнего венецианского стекла и падал как раз на изголовье брачного ложа. Бледные лучи печальной Селены, дважды преломляясь в оконном и зеркальном стеклах, придают окружающим предметам романтический мертвенно-зеленоватый оттенок.

Рогир ван дер Эйк приближается к кровати и устремляет пламенный взор на Ханнелору. Затаив дыхание, разглядывает он безупречный абрис бледного покатого лба, смотрит на тонко очерченный нос с ноздрями самой совершенной лепки, на чувственные губы, даже и сейчас чуть тронутые легкой улыбкой, сулящей — он в этом уверен! — восторги неземных наслаждений; смотрит на густые пряди белокурых волос, сверкающим нимбом разметавшиеся по черному атласу подушки, на беломраморную кожу лежащей поверх одеяла руки с полупрозрачными, благородного воскового оттенка пальцами... Смотрит и не может налюбоваться пленительной красотой своей избранницы. Право, разве хоть одна дева во всей Бельгии может сравниться с его Ханнелорой? Да что там — Бельгии! Неужто еще у кого-то в мире сыщется подобная строгая соразмерность членов, гармония и непередаваемая прелесть пропорций? Возможно ли у кого-то в целом свете найти столь же роскошные бедра, напитанные сладострастной негой лядвеи и пробуждающие рой нескромных желаний перси?..

Глаза Ханнелоры закрыты, она будто бы спит, раскинувшись в исполненной тихой истомы свободной позе. Словно и не замечает молодого супруга. Но едва заметный изгиб губ, сложенных в очаровательную улыбку, убеждает Рогира, что любимая чувствует его присутствие, не может не чувствовать; он быстро сбрасывает одежду, скользит под одеяло и впивается в уста избранницы своего сердца... О, сладостный миг вожделенной близости!..

* * *

Творится нечто несообразное. Жители Брюгге в недоумении. От веку заведенный порядок нарушен. И нарушен самым неподобающим образом. Куранты Белфорда, не знавшие до сей поры поломок и сбоев, зазвонили в полночь. Как такое возможно? Разве не обязаны они молчать с последнего вечернего часа до первого часа утреннего? Разве есть у кого-то право тревожить мирный сон обывателей Брюгге? Но сейчас

точно приблудный нечистый дух вселился в дивно отлаженные механизмы курантов — все сорок семь бронзовых колоколов древней сторожевой башни трезвонят почем зря, отбивая без всякого ладу странную, неслыханную прежде плясовую мелодию! Гудящие звуки стремительно несутся по узким улочкам, гулким эхом отражаются от стен домов, заставляют тонко дребезжать оконные стекла... Впрочем, не стоит дольше задерживать внимание читателя на этом происшествии. Дело в том, что никто так никогда и не узнает, чем была вызвана и что, собственно, означала описанная полночная неурядица. Как не узнает и того, что же на самом деле стряслось с безупречными некогда брюггскими Glockenspieles, ибо на следующий день никаких поломок в их механическом чреве обнаружить не удастся. А потому — прочь от Дозорной башни и ее спятивших валов, колес, противовесов и шестеренок; возвращаемся назад, в родовой особняк ван дер Эйков на Philipstockstraat.

Тем более, Рогир ван дер Эйк не слышит колокольного безобразия, он — в ванной комнате, принимает душ. Ровно в 12.05 хозяин заканчивает с водными процедурами, тщательно вытирается махровым полотенцем и, обвязав его вокруг пояса на манер набедренной повязки, выходит в коридор. В доме прохладно, но это обстоятельство его не смущает; он спускается вниз и направляется в продолговатую, похожую на пенал комнату, служащую библиотекой. Три стены ее заняты дубовыми стеллажами; полки сплошь, до самого потолка заставлены внушительными томами в переплетах телячьей кожи. Несмотря на то что ни на полках, ни на самих книгах не видно ни пылинки, таким безысходным унынием веет от этого собрания человеческой мудрости, что любому становится очевидно — уже долгие годы никто не тревожил покой слипшихся в непробиваемую броню фолиантов.

Если пристально вглядеться в стеллажи торцевой стены библиотеки, можно заметить едва различимый зазор между ними, тянущийся от одной из кессонных потолочных балок до самого пола. Сведущий человек сразу сообразит, что здесь скрыта потайная дверь. Так оно и есть. Присмотревшись еще внимательнее, нетрудно увидеть и отличную от прочих книгу, прямо на уровне глаз. Это оксфордское издание египетской «Книги врат» в роскошном переплете зеленого сафьяна. Легкое нажатие пальцем на сафьяновый корешок — стеллаж отползает в сторону, и перед Рогиром — пологая, ведущая в подвал лестница.

Здесь, в подвале, — настоящее средоточие дома ван дер Эйков. Можно сказать, sacra sacrarium, святая святых. Подвальное помещение выглядит просторным, с высокими потолками. Окна, само собой, отсутствуют. Трубки люминесцентных ламп льют холодный безжизненный свет на окружающую обстановку. Впрочем, последняя не отличается многообразием или изысканностью: свинцово-серые кафельные стены, пол из тусклых керамических плиток, по углам — два грубо сколоченных деревянных стола наподобие верстаков; третий — больших размеров и покрытый оцинкованным железом — в центре; да еще — поместительная и прочная металлическая этажерка как раз напротив лестницы. Это все. В целом смахивает на прозекторскую танатологического отделения. Впечатление усугубляют заполняющие деревянные столы и этажерку предметы: чего тут только нет — многочисленные и различные по форме стеклянные и фарфоровые емкости с реактивами, маслами и иными разноцветными жидкостями неведомого назначения; шприцы всех размеров и конфигураций, иглы, крючки, крючочки, свинцовые и резиновые трубки, допотопные ланцеты и современные скальпели (остроконечные, тупоконечные, прямые, изогнутые, серповидные, пуговчатые), секционные и ампутационные электроножи, канюли, эсмарховы кружки из стекла и резины, дрели, сверла, зажимы, подставки с пробирками, хирургические ножницы разных видов, пинцеты анатомические и зубчатые, ванночки, кюветы, упаковки с лигатурой...

Даже сама атмосфера помещения какая-то особенная; кажется, будто она пропитана духом тления. Возможно, виной тому ядовитые испарения из неплотно укупоренных склянок с химикатами, Бог ведает. Но тлетворные запахи окутывают все вокруг, буквально въелись в каждый предмет мебели и самые стены подвала.

Рогир ван дер Эйк сбрасывает полотенце и облачается в кожаный фартук, висевший на крюке возле входа, — широкий и длинный, он закрывает почти весь корпус — от середины груди до щиколоток. Последний штрих — пара медицинских перчаток из латекса и овальная полиэтиленовая шапочка.

Завершив переодевание, он медленно обходит помещение, задерживается возле этажерки и задумчиво рассматривает расставленные на ее полках предметы. Наконец, выбирает несколько пузырьков, глубокую прямоугольную кювету, стеклянную мензурку с делениями — и переносит на центральный стол.

Теперь главное — не ошибиться в пропорциях. Итак, сулемы — десять граммов, сто миллилитров этилена, водного раствора муравьиной кислоты — столько же, хлористого цинка возьмем вдвое меньше... Граммов пять (не больше!) тимола...

Рогир, используя мензурку, наливает в фаянсовую кювету пахучие жидкости из разных пузырьков и миниатюрной серебряной ложечкой сыплет туда же какие-то порошкообразные вещества.

Далее: глицерина — шестьсот миллилитров (с ним экономить не следует, иначе не избежать высыхания), уксусного калия и натрия — по тридцать; не переборщить бы с антимонитом... Довольно будет и пяти частей... Надо ли подлить эозина? А, наверное, не стоит...

Серебряной ложечкой он тщательно размешивает полученный раствор; постепенно тот приобретает насыщенный кроваво-красный оттенок.

Ага. Сейчас добавим ароматических масел. Это обязательно. Нет ничего важнее запаха. Пожалуй, на сей раз возьмем вот эти — бергамотовое, лавандовое и розовое...

Рогир склоняет лицо над кюветой и осторожно принюхивается.

М-да, то, что надо... Марк Крейтенс в таких случаях использует смесь аниса с сандалом, миррой и одеколоном. Качественным, разумеется. Но он, Рогир, не выносит парикмахерских запахов. Вообще никакого парфюма не выносит. Это не comme il faut. Совсем не comme il faut!..

...Да, старина Марк Крейтенс... Именно он да еще Гвидо ван Маэль с Яном Девальде явились первыми членами, а по сути — отцами-основателями приватного клуба «Элизиум». Поначалу всем четверым приходилось ютиться у него в похоронном бюро. Не слишком удобно. Соседи стали любопытствовать; свои же работники косились — что это босс ночами в конторе поделывает? Неужто дня ему мало? Слухи пошли, разговоры всякие ненужные. Скоро и полиция заинтересовалась. Дармоеды! Заняться-то больше нечем. Нет чтобы бандитов ловить... Пришлось перебазироваться сюда, в его, Рогира, жилище. Тут уж им никто не мешал. Засунули языки куда следует. И количество членов немедленно возросло, сначала — до десятка, а позже — и до полусотни... Да ведь, если разобраться, что такого противозаконного они делали? Чьи права нарушали?.. Совершенно невинное же увлечение! Все равно что какого-нибудь таксидермиста или коллекционера бабочек к ответственности привлечь... Ну, да дело прошлое. Теперь-то, слава Богу, все иначе. Прятаться не нужно.

Рогир пододвигает к столу полуметровый штатив и подвешивает к нему пластиковый, похожий на кружку Эсмарха ирригатор. К ирригатору резиновой трубкой присоединена канюля с длинной прямой иглой. Нацепив на трубку зажим, Рогир с максимальной осторожностью наливает в пластиковую емкость только что приготовленный раствор и добавляет туда же пол-литра воды. Потом берет с этажерки медный поднос, застилает чистой салфеткой и принимается выкладывать на нее потребные инструменты.

Несколько минут — и все готово. Взяв в одну руку штатив, а во вторую — поднос, Рогир поднимается обратно в библиотеку. Поднимается и, склонив голову набок, замирает на месте. На улице творится какая-то чертовщина — слышны жуткие завывания ветра, оглушительное хлопанье плохо закрепленных ставен и пронзительный скрежет черепицы.

Он выглядывает в окно. Все небо заволокло низкой угольно-сизой пеленой. Не утихавший весь день ветер успел нагнать целые легионы тяжелых туч. По всей видимости, в эту самую минуту где-то в окрестностях города зарождается и набирает силу ураган — потоки ветра то и дело меняют направление, заставляя огромные скопления взбаламученных водяных паров с поразительной скоростью мчаться навстречу друг другу, сталкиваться и с грозным ворчанием кружиться подобно гигантскому водовороту над крышей дома... Ну что ж, после яркого, богатого событиями дня — бурная грозовая ночь. Что может быть прекраснее?

Рогир поднимается на второй этаж; каучуковые подошвы его тапочек не производят никакого шума; только инструменты на подносе мелодично позвякивают. Впрочем, топай он как слон, все одно никто не услышит — снаружи ураган очевидным образом усиливается.

В спальном покое, обитом плотными штофными обоями, завешанном старинными гобеленами и драпировками, вой ветра почти неразличим. Рогир щелкает выключателем, и помещение заливает приглушенный рассеянный свет.

Ханнелора по-прежнему лежит на изрядно помятых после бурной ночи батистовых простынях их семейного ложа. Она явно не спит, — глаза открыты, — но, кажется, пребывает в некоей прострации — члены ее совершенно неподвижны и расслаблены, безучастный взгляд устремлен вверх, на пышные складки тяжелого бархатного полога.

Рогир опускает поднос на низенький прикроватный столик и тут же рядом устанавливает штатив с закрепленным на нем ирригатором. Взяв с подноса зубчатый пинцет, изогнутую в форме буквы S иглу Дешампа и хирургические ножницы с острыми кривыми кончиками, склоняется над обнаженными бедрами любимой. После некото-

рых непродолжительных манипуляций поправляет штатив и аккуратно вводит иглу канюли в правую бедренную артерию. Ханнелора никак не реагирует. Рогир снимает зажим с резиновой трубки и со вздохом облегчения садится на кровать. Теперь остается только ждать и внимательно следить за уровнем жидкости.

Так проходит минут тридцать. Время от времени, заметив, что уровень жидкости в эсмарховой кружке перестал понижаться, Рогир цепляет зажим обратно на трубку и принимается нежно массировать лицо, руки и ноги Ханнелоры; после вновь продолжает вливание. Наконец, спустя два часа все закончено. Рогир вытаскивает канюлю, поднимается и критически, с ног до головы, осматривает супругу. Результаты, по-видимому, его удовлетворяют — он довольно кивает и отходит шага на два назад. Неожиданно брови Рогира сходятся на переносице — он замечает, что левый уголок рта любимой чуть опустился, что делает ее улыбку несколько кривой. Вероятно, виной тому страстные ночные поцелуи. Ну, это дело поправимое. Рогир хватает с подноса лигатурную иглу и ловко устраняет дефект.

Вот теперь, и правда, практически все готово. Остается подновить макияж; возможно, заменить глазные яблоки — голубые ей пойдут больше, нежели теперешние, карие. У него в подвале — широкий выбор глазных протезов из самого качественного стекла; есть даже из богемского.

Разумеется, он уже проделывал ранее все надлежащие процедуры. В строгом соответствии с методом Броша и в гораздо большем объеме. Не столь и давно, как раз за две недели до венчания. Сразу после того, как некий злодей подстерег бедняжку вечером в темном переулке, да и пырнул ножом. Прямо под сердце. Ужасная трагедия! Преступника поймать не удалось; личность тоже не установили. Так до сей поры и неведомо, кто же это мог быть. Никому — вернее, почти никому — неведомо...

По тонким бескровным губам Рогира ван дер Эйка змеится загадочная улыбка.

Ага, такие вот дела... К счастью, очень удачно вышло, что незадолго до трагического события парламент принял наконец закон о полной легализации некрофилии. Потому-то гибель невесты свадьбы не расстроила. Даже напротив... Но сегодня бальзамирование непременно надлежало повторить. Закрепить полученный результат. А через каждые полгода — снова. Ни в коем случае нельзя допустить дубления, иссыхания или какой иной порчи кожного покрова, тем паче — упаси Господи! — мумификации.

Нужно, чтобы Ханнелора — его прелесть, его обожаемое сокровище! — всегда оставалась молодой и прекрасной, продолжала радовать своего супруга и впредь, еще долгие дни, месяцы и годы. Да, именно так. Еще долгие, долгие годы... Всю жизнь!

Юлия ПУЧКОВА

ЛЮБОВЬ

Сева окружил себя книгами. Он всегда читал запоем, и ему нужно было много книг, очень много — чтобы хватило на весь день! Иногда Ольга думала, что при такой скорости поглощения детской литературы — а за всю свою жизнь её отец собрал несметную библиотеку, которая выстилала теперь все стены во всех трёх комнатах их квартиры, — сыну просто не хватит всего достойного, что было создано детскими писателями. И что тогда? И тогда приходила успокоительная мысль, что, наверное, можно будет чуть раньше перейти к литературе подростковой, а потом и взрослой.

Сева не ходил в детский сад, а потом и в школу — семья занималась его образованием сама. Ольга учила его математике и русскому, а её мама, приходившая к ним три раза в неделю, английскому, истории и в меру сил биологии. Мама была доктором исторических наук и очень прилично владела английским. Уже за один год Сева научился составлять несложные английские предложения и даже пересказывал довольно длинные тексты. Да и с русским и математикой проблем не наблюдалось. К математике мальчик был особенно способен, и Ольге верилось, что, возможно, как и его рано ушедший из жизни отец, Сева вскоре не будет нуждаться в преподавателе этой науки, потому что сможет постигать её сам, без посторонней помощи.

Когда она впервые увидела своего будущего мужа Олега, а было это на третьем курсе во время новогодней университетской дискотеки, он сидел в огромной аудитории и развлекал сокурсников тем, что брал в уме логарифмы чисел, которые они ему предлагали. Ответы тут же проверяли на калькуляторах, и у всех глаза лезли на лоб от удивления. Ольга тогда присела на крайний стул в дальнем ряду и стала смотреть. Олег был невероятно привлекателен — высокий, атлетически сложённый и, судя по всему, умный как чёрт. Мама Ольги, Анна Николаевна, всегда говорила ей, что уж если выходить замуж, то только за умного — под не очень умным она, конечно же, подразумевала Олиного отца, с которым они давно разошлись. Отца Ольга навещала нечасто, а когда навещала, не знала, о чём с ним говорить — казалось, они были двумя параллельными вселенными, которые просто не знали устройства друг друга. Он был хороший, порядочный человек — Ольга это понимала. Но говорить им решительно было не о чем. Поэтому со временем она стала навещать его всё реже и сейчас, пожалуй, даже не вспомнила бы, когда была у него в последний раз. Да и сам он как будто не стремился к общению с дочерью и совершенно не страдал оттого, что её визиты были так редки.

А в тот день Ольга просто не могла не залюбоваться Олегом, и он это почувствовал и тут же поймал её восторженный взгляд.

— А что же вы так далеко сели? — спросил он её насмешливо. — Идите к нам. Мы совсем не опасны. Математики самые добродушные люди на свете.

— И откуда это следует? — ни капли не смутившись, ответила вопросом на вопрос Ольга.

— Это аксиома. А аксиомы, как известно, ниоткуда не следуют, — припечатал её Олег. Но Ольга не собиралась сдаваться под тёплыми чарами карих глаз.

— И какая же теорема доказана на основе этой аксиомы? — прищурила она глаза и улыбнулась.

— Но вы же не с математического факультета, — уверенно сказал Олег и поражённо добавил, — неужели, любя математику, вы променяли её на химию или биологию? Или, может, на философию?

— На журналистику, — Ольга встала со стула и пересела ближе. — Продолжайте, пожалуйста, — скомандовала она.

И он продолжил...

Олег сгорел за два месяца, но в память о нём остался Сева, похожий на отца как две капли воды. После смерти мужа Ольга какими-то новыми глазами взглянула на сына —

до того Сева был одновременно украшением их с Олегом мира и его цементирующим составом. Они оба любили сына, в меру баловали его, но он не был центром их вселенной — они и только они были центром вселенной друг друга. И потеряв этот центр так безвозвратно и так больно, Ольга незаметно для себя переместила его на маленького сына.

В шестом классе в программе появилась физика, и Анна Николаевна сказала, что это для неё неподъёмно. О самой Ольге и говорить было нечего — физику она никогда не понимала, и до сих пор то и дело та являлась ей в страшных снах и заставляла просыпаться среди ночи в истерике, потому что виртуальная учительница физики (в её роли всегда выступала её школьная учительница Наталья Владимировна) вызывала Ольгу для объяснения каких-то явлений из области электричества или дифракционных решёток.

В общем, посовещавшись, женщины решили, что у них два варианта — всё-таки отправить Севу в школу или нанять репетиторов. Анна Николаевна стояла за школу. Но Ольга даже слышать об этом не хотела — её чудесный добрый мальчик пойдёт в двенадцать лет в школу? Двенадцать лет! Это же начало подросткового возраста и все тридцать три несчастья, которые с ним неразрывно связаны. Нет, о школе нечего и говорить.

— Но ты же не будешь держать его дома всю жизнь? — пыталась достучаться до здравого смысла Анна Николаевна.

— Мама, зачем утрировать, — недовольно морщилась Ольга.

— А когда ты собираешься отпустить ребёнка в мир? Или он будет учиться в онлайн университете, а потом работать из дома?

Ольга удивлённо посмотрела на мать — до сих пор та как будто не возражала против домашнего образования и даже поддерживала дочь. И вдруг?

— Мама, что происходит? Или ты думаешь, я не потяну репетитора по физике?

Анна Николаевна пересела к дочери на диван и тепло обняла её.

— Лёля, милая, я не хотела тебе этого говорить, но, видимо, придётся, — Ольга внутренне напряглась — эта мамина фраза всегда готовила её к чему-то неприятному или неожиданному, а та продолжала: — Мне кажется... Нет, не кажется, я просто вижу это — ты как будто забрала Севу себе в собственность, — Ольга подняла голову, которая до тех пор лежала на мамином плече: — Ты привыкла, что он безраздельно принадлежит тебе, — продолжала Анна Николаевна, с нежностью глядя на дочь. — Отпусти его, пока не поздно.

Ольга встала с дивана и пересела на стул напротив.

— И чего же я его, по-твоему, лишаю? — спросила она таким тоном, что у Анны Николаевны впервые за всё их общение по телу побежали неприятные мурашки.

— Лёля, милая, — растеряв былую уверенность, Анна Николаевна теперь с трудом подбирала слова, — он же растёт, у него появляются новые увлечения, интересы. Ему нужно общение, нужны друзья, с которыми он мог бы эти интересы разделять, — и как будто спохватившись, она тут же добавила, — конечно, ты его друг, ты поддерживаешь все его увлечения и разделяешь все его интересы, но...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, я не смогу заменить ему каких-нибудь Петь и Вань, которые затянули бы его в весёлую компанию с неизвестными последствиями. Ты, наверное, забыла, как намучилась с Серёжкой?

Анна Николаевна как-то жалостно взглянула на дочь и ничего не сказала — да, конечно, проходить с детьми через подростковый возраст и врагу не пожелаешь, но что же делать? Так устроен мир. Она ещё раз повторила свои мысли про себя, а вслух произнесла только последнюю фразу.

— Это люди его так устроили, — парировала Ольга, — а я имею право на своё собственное решение и этим правом собираюсь воспользоваться. Сева в школу не пойдёт. Во всяком случае, в ближайшие четыре года. Вот окончит девятый класс, а там посмотрим.

Анна Николаевна ещё никогда не слышала такого холода в голосе дочери; ей стало так неуютно, что она сразу засобиралась домой.

Севе едва исполнилось тринадцать лет, когда он начал проходить программу девятого класса. Репетиторы нахваливали мальчика, и постепенно их становилось всё меньше, потому что Сева, похоже, в них не нуждался. Он уже давно расстался с репетитором по математике и легко съедал все темы, с удовольствием разбираясь в них, выводя теоремы и сравнивая свои решения с предложенными в учебнике. Примерно то же происходило и с другими предметами. Нельзя сказать, чтобы Сева увлекался литературой, но всё, что было положено по программе, он читал и даже читал критические разборы произведений. Зато книги по философии и естествознанию он

съедал, как горячие пирожки.

Сева рос. Когда ему пошёл шестнадцатый год, Ольга начала замечать, что сын медленно и верно отдаляется от неё. Он всё реже приходил к ней сам, чтобы поболтать, и всё чаще сидел до позднего вечера в своей комнате, обложенный книгами или уставившись в экран компьютера, и читал, читал... С одной стороны, в этом не было ничего удивительного — он всегда много читал. Но раньше он любил обсудить с ней прочитанное — они садились в обнимку на диван и болтали, иногда по нескольку часов, если Ольге позволяла работа. Теперь же, когда она входила к нему в комнату, сын как будто был не рад. Когда Ольга почувствовала это впервые, она убедила себя, что ей это только показалось. Но ощущение повторилось вновь и вновь, и однажды, спустя полгода, она не справилась с собой и, выходя из его комнаты после очень недолгого общения, задержалась на пороге и спросила:

— Сева, сынок, мне кажется, я как будто тебе докучаю своими приходами? Если это так, скажи мне об этом прямо, — воздух неприятно покалывал электричеством, сын не ответил сразу, и Ольга поняла, что разряд больно ударит по ней. — Не молчи, пожалуйста, — взмолилась она, — я хочу знать, что в твоей голове.

Сева оторвался от компьютера, повернулся лицом к матери и сказал очень ровным голосом:

— У меня много всего в голове, мама. Прости, но я не всегда понимаю, как этим делиться.

И хотя до разговора Ольга была уверена, что готова принять любой удар, этот спокойный ответ прозвучал для неё как приговор. Нет, хуже, как пощёчина. Она смотрела сыну в глаза и пыталась отыскать там своего Севочку, того Севочку, который когда-то был готов часами слушать, как она читает ему сказки, который обсуждал с ней все прочитанные книги, делился своими впечатлениями о репетиторах, своими мыслями об устройстве вселенной, своими мечтами о серьёзном научном будущем. Нет, того Севочки сейчас здесь не было. На неё спокойно и уверенно смотрел совершено другой человек, ей даже подумалось, «чужой человек», но это было слишком страшно и так больно, что сами собой навернулись слёзы.

— Мама, я не хотел тебя обидеть. Ты спросила, я честно ответил.

Ольгу охватил гнев, который помог ей остановить наступление слёз. Она резко развернулась и вышла из комнаты сына, хлопнув дверью. Она бросилась в свою комнату и там уже дала волю эмоциям. Она рыдала в подушку — она всегда была сильной, и она останется сильной для сына, чего бы ей это ни стоило. Где-то в глубине, под сердцем, тоненьким червячком точила надежда, что он вот-вот придёт и попросит у неё прощения, и всё будет так, как было прежде. Но он не приходил и... не пришёл.

С того дня что-то треснуло в отношениях Ольги с сыном. Сева как будто не замечал или делал вид, что не замечает, что мать страдает. Она же загнала обиду на дно, затоптала её и искалечила. И теперь эта обида приобрела очень некрасивые формы. Ольга не находила оправдания сыну — она вложила в него всё — своё свободное время, большие деньги, всю свою любовь. А чем он ей отплатил? Спокойным безразличием? «Я не всегда понимаю, как этим делиться». Эта фраза засела крепкой занозой у неё в сердце, и никакие клещи не смогли бы её оттуда вынуть. Иногда она думала, что, если он когда-нибудь одумается и придёт к ней с просьбой о прощении, она *не простит*, во всяком случае, так просто. Нет! Он заставил её страдать, и она имеет полное право отплатить ему той же монетой.

Но он не шёл. Прошёл месяц, но ничего не менялось. Все их прежние привычки были разрушены. И Ольга, чем дальше, тем больше, отчаивалась вернуть сына. Это было страшно — видеть его каждый день, говорить о каких-то пустяках и расходиться по комнатам.

В воскресенье в середине августа сын зашёл к ней сам. В руках он зачем-то держал планшет. В его глазах она прочитала сосредоточенность и как будто даже вызов, словно он пришёл не к матери, а к враждующей с ним стороне.

— Мама, пожалуйста, давай сядем за стол — я хочу с тобой поговорить.

Ольгу словно тяжёлым, колючим одеялом накрыло страшное предчувствие беды. Все её планы о «мести» сыну за свои страдания были порушены и растёрты в пыль. Она послушно встала с дивана и пересела за стол. Сева сел напротив. Глаза его как будто потеплели, и она увидела в них своего прежнего Севу — доброго, нежного мальчика, родник и смысл всей её жизни.

— Мама, мне пятнадцать лет. Через полгода будет шестнадцать, и я решил круто изменить свою жизнь.

Ольга перестала дышать — в голове была какая-то мгла. Мысли с трудом проворачивались, и не было ни одной догадки о том, к чему сын её подводит. Только теперь она увидела муку в его глазах и поняла, что страшно ошибалась всё это время — он страдал не меньше, чем она. Вся материнская любовь заполонила её сердце и

рвалась сейчас наружу — обнять, приголубить, понять, простить. Между тем, Сева продолжал:

— В Татарстане есть посёлок с очень красивым названием Р-фа. Он стоит на Волге. Там на высокой террасе расположен монастырь. Вот смотри.

Он протянул ей планшет. Она взглянула на экран. Вид, который запечатлел фотограф, поражал своей монументальностью и каким-то неземным покоем. Монастырь будто парил над водой. Золотые купола центрального собора горели закатным огнём, и вода в Волге была разбелённо золотой. Чудо!

— Очень красиво. Но я не понимаю... — Ольга подняла глаза на сына.

— Я принял решение уйти в монастырь.

Ощущение тихой радости от только что увиденной красоты мгновенно рассыпалось на осколки, и те острыми краями разорвали весь видимый мир вокруг. Ольга как будто летела в пропасть, зияющую своей чернотой. В её глазах появился ужас, который страшным усилием воли вдруг сменился решимостью.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Мама, пожалуйста, я всё понимаю. Я понимаю, что причиняю тебе страшную боль. Я понимаю, что я тебе обязан всем. Я очень тебя люблю! Ты мой самый близкий человек на этой земле...

— И поэтому ты хочешь уйти от меня в монастырь? — Ольга лихорадочно придумывала, что ей сказать такого, чтобы он увидел всю глубину страшной несправедливости, которую он совершает по отношению к ней, чтобы он ощутил свою вину во всей её полноте. — То есть ты... вот так просто... бросаешь меня и уходишь? За что ты так со мной?? Я не заслужила такого!

Сева встал, обошёл стол и обнял мать.

— Мамочка, милая моя, я не могу жить, как все. Я не хочу. Я прочитал очень много книг и понял, что моя дорога ведёт меня к Богу. Я не могу здесь оставаться.

Ольга молчала — она просто не могла ничего сказать. Вокруг неё сейчас рушилась вся её жизнь, все её мечты, все планы на будущее. Она подняла глаза на сына, и в них по-прежнему стоял неподдельный ужас от происходящего.

— Мама, не надо, милая. Я знал, что так будет. Видит Бог, я не хочу, чтобы ты страдала. Я же не уезжаю в другую страну. Мы сможем общаться и дальше. Ты сможешь навещать меня там.

Лицо Ольги прорезала недобрая улыбка.

— То есть ты всё продумал. Видимо, моё мнение уже в расчёт не берётся. Ты уже вычеркнул меня из своей жизни.

— Мама, — Сева отстранился от Ольги, — не мучь себя. Ты знаешь, как я тебя люблю и ценю твоё мнение. Но это не тот случай. Тут мы с тобой вряд ли поймём друг друга.

Он отошёл от неё и снова сел напротив.

Ольга сейчас была на грани истерики. И вдруг её вернула к надежде спасительная мысль.

— Но ты же не можешь в пятнадцать лет уйти в монастырь? Ты ещё несовершеннолетний.

— Я могу уйти в шестнадцать. С твоего согласия. Тот монастырь, который ты видела на фотографии, принимает шестнадцатилетних. Они становятся трудниками — это преддверие послушничества.

Сева замолчал, ожидая неизбежного вопроса матери. И вопрос прозвучал.

— Тебе так плохо жить со мной, что ты хочешь сбежать от меня в монастырь. И ты хочешь сделать это с моего согласия? То есть ты бы мог дождаться совершеннолетия, и тогда это, конечно, было бы так же бессовестно и безжалостно, но всё же ты бы сделал это сам. Но нет! — Ольга перестала контролировать себя, сейчас она уже кричала, и какая-то часть её сознания в ужасе слушала это — она никогда не знала себя такой, она даже вообразить не могла, что когда-нибудь скажет такое сыну. — Ты решил это сделать максимально жестоко. Ты хочешь, чтобы я наступила себе на горло, растерзала себе душу и разорвала себе сердце! Ты хочешь, чтобы я *дала согласие* на то, чтобы мой сын ушёл от меня, лишив меня всего — семьи, любви, внуков, спокойной старости! Это называется смыслом жизни! Понимаешь ты? Понимаешь ты, что лишаешь меня смысла жить дальше? Что мне остаётся? Уйти в монастырь вместе с тобой? Но даже это невозможно!

Сева смотрел на мать, его лицо исказила страшная боль, но Ольга не видела этого, она лишь слышала свои исступлённые крики, и та часть её сознания, которая каким-то невероятным образом оказалась снаружи, была бессильна что-либо сделать. Та её часть смирилась с ролью наблюдателя и ничего не предпринимала.

— Мама, послушай меня, — тихо, но твёрдо начал Сева...

— Иди прочь! — обезумевшими глазами Ольга испепеляла сына. — Уйди с моих

глаз! Я не могу, я не хочу тебя видеть!!

Сева ошарашенно смотрел на мать — такой он не видел её никогда, и осознание вины приковало его к стулу. Он продолжал сидеть.

— Я сказала, уйди! — заорала она истошно.

Тогда он встал и вышел из комнаты.

А она упала грудью на стол и тихо завыла.

* * *

Слёзы всегда когда-нибудь иссякают. Когда плакать больше не было сил, Ольга оторвалась от стола и бессмысленно уставилась в пространство перед собой. Какое-то время она сидела так, с незнакомой страшной пустотой внутри. И вдруг спасительная мысль — мама! Бабушка Севы могла повлиять на внука — она могла ему всё объяснить. Ольга не будет унижаться и давить на жалость. Она не будет умолять и увещевать его. Бабушка объяснит ему, какой чёрной неблагодарностью он решил отплатить матери за её любовь. Новая мысль придала ей сил. Ольга взяла телефон и позвонила маме.

— Да, Лёля, — услышала она в трубке голос матери, и всё как-то сразу посветлело вокруг.

— Мама, — Ольга почувствовала, как на неё накатывает новая волна жалости к себе, и, пока та не накрыла её с головой, выпалила:

— Сева уходит в монастырь, — и только сказав, она осознала, какой тяжелейший удар нанесла матери, вот так без подготовки сообщив ей новость, которая только пару часов назад разрушила весь её мир. — Мама, прости, пожалуйста, — скороговоркой добавила она, — прости, что вот так, не подготовив, не издалека, всё вывалила на твою голову. Но к кому же мне бежать с этим, если не к тебе? — Анна Николаевна молчала. — Мамочка, я сейчас приеду. Я бы хотела тебе сказать, чтобы ты не волновалась, но я не могу-у-у, — и из глаз Ольги вновь полились слёзы.

— Приезжай, конечно, — зазвучал голос матери.

Ольга вылетела в прихожую, накинула плащ и скоро уже быстрым шагом шла к автобусной остановке.

* * *

Поднимаясь на пятый этаж дома, где она когда-то провела своё детство, Ольга перебирала в уме всё, что хотела сказать, могла бы сказать, боялась сказать и боялась услышать в ответ. Она замедлила шаг, когда ей в голову пришла беспощадная мысль: она сама во всём виновата. Это она заперла своего мальчика в четырёх стенах. Нет, конечно, он ходил в музыкальную школу, потом какое-то время занимался дзюдо, но Ольга всегда пристально следила за тем, чтобы у сына не заводились компании. И всякий раз облегчённо вздыхала, когда на её неискреннее предложение пойти погулять со знакомыми по школе или секции, Сева отвечал, что ему неохота и он лучше почитает. И тогда Ольга внутренне торжествовала — её мальчику не нужны всякие Пети и Вани, ему интереснее с ней и с книгами. И Сева читал, читал запоем. Наступило время, когда то, что он читал, было уже за пределами её понимания. Но это её не пугало, а радовало. Кто-то мудрый сказал, что дети должны быть умнее родителей. И ей было лестно, что у неё растёт такой умный сын. Когда к ним приходили гости — её коллеги или друзья, она с гордостью смотрела на Севу, если он вступал в серьёзные дискуссии со взрослыми, обнаруживая при этом недюжинные знания философии, истории, биологии, физики и много чего другого. Что же она наделала! Она же своими собственными руками упекла его в монастырь!

Эта мысль была так неожиданна и так страшна в своей безупречной логике, что Ольга остановилась и, медленно оседая на ступеньки, тихо завыла. А ведь мама была против. Она пыталась вразумить свою дочь, но куда ей! Разве Ольга когда-нибудь поступалась своим мнением?

Дверь на площадке выше открылась, и на пороге квартиры появилась Анна Николаевна. Она как будто угадала, что дочь сидит на лестничной клетке и не может или не хочет идти дальше.

— Лёля, милая, — Анна Николаевна спустилась и села рядом с дочерью. Она нежно обняла её и прижала Лёлину голову к своей груди. Анна Николаевна всегда знала, когда надо помолчать, и она молчала и только гладила Ольгу по голове, а та уже больше не сдерживала себя и всё рыдала и рыдала, и какая-то часть её сознания удивлялась, что слёзы, которые, казалось, уже иссякли, текли с новой силой, будто мамина любовь высвободила всё, что ещё оставалось в сокрытых даже от самой Ольги тайниках её души.

Когда она сказала матери, что не поедет сегодня домой и останется у неё ночевать, благо завтра суббота и не надо идти на работу, Анна Николаевна не возражала. Она лишь сказала, что позвонит Севе, чтобы тот не волновался.

* * *

На следующее утро Анна Николаевна усадила дочь в гостиной и поставила перед ней чашку с горячим чаем. Та вдруг улыбнулась, и Анна Николаевна поймала себя на том, что давно не видела у дочери *такой* улыбки — это была улыбка её любимой Лёлечки, та далёкая улыбка, родом из детства, улыбка, от которой им с мужем всегда становилось светло на душе. Анна Николаевна погладила руку дочери, приглашая ту начать говорить.

— Мама, можно я поживу здесь хотя бы несколько дней. Я не могу сейчас видеть Севу. Мне надо успокоиться... если это вообще возможно теперь.

Анна Николаевна понимала, что говорить с дочерью надо очень осторожно — Ольга не была Лёлей, и та мимолётная улыбка из детства не могла её обмануть.

— Лёля, я знаю, что сейчас ничто не может тебя успокоить. Тебе кажется, что ты потеряла сына. Но это только кажется. На самом деле, ты его нашла, — Ольга ошарашенно уставилась на мать, а Анна Николаевна продолжала: — Помнишь пару лет назад мы ездили в Казань, а оттуда в Свияжск? — Ольга кивнула, не понимая к чему сейчас эти воспоминания. — А там в Свияжске мы заходили на территорию мужского монастыря. Помнишь?

Ольга была удивлена. Эта поездка состоялась позапрошлым летом, но она ничего не помнила о монастыре.

— Не помнишь, — покачала головой Анна Николаевна, — ты тогда ушла вперёд, а мы с Севой чуть отстали. Из-за поворота нам навстречу вышел монах. Сева шепнул мне, что очень хотел бы поговорить с ним, и когда мы поравнялись, он подошёл к монаху и о чём-то спросил. Я не стала им мешать. Сама знаешь, каким Сева стал за последние годы. Иногда я слушаю его и удивляюсь тому, как глубоко он разбирается во многих вещах. И он неутомим в добывании знаний, как будто поставил себе задачу разобрать на кирпичики весь мир, увидеть его суть и снова собрать всю картину в своей голове. В общем, они стояли и разговаривали некоторое время. Потом монах заторопился по своим делам, а может, им нельзя долго разговаривать с мирянами — в общем, он ушёл. А Сева... наш мальчик повернулся и зашагал ко мне, и какое у него было лицо! У него вообще очень светлое лицо, ты знаешь, я имею в виду, как будто свет исходит откуда-то изнутри. А тут... я не смогу описать. Но тогда я почувствовала, что этот разговор не был праздным любопытством, и у меня внутри что-то больно ёкнуло. И когда наш мальчик подошёл ко мне, я спросила его: «Отчего ты так весь светишься?» — «Чудесный человек, — сказал Сева. — Какие у него глаза! Представляешь, бабушка, он ушёл в монастырь в 16 лет и ни разу об этом не пожалел». И как-то он так это сказал, что у меня мелькнуло недоброе подозрение, но я испугалась даже мысли об этом, а потому не стала его дальше расспрашивать. А он как будто и сам передумал продолжать, и вскоре мы уже весело болтали о чём-то другом. Но тот разговор не выходил у меня из головы. И чем дальше он отодвигался в прошлое, тем больше я о нём думала. Тот взгляд Севы был взглядом человека не из этого мира. Я стала присматриваться к внуку. И теперь частенько ловила тот же взгляд, когда заставала его за чтением книг по философии и теологии. Мои худшие подозрения начали крепнуть, и однажды я набралась храбрости и в одну из наших встреч спросила у него напрямую, о чём он думает. Сева сначала удивился и хотел сказать что-нибудь обыденное, но потом поймал мой взгляд и прочитал в нём все мои страхи. Я буквально почувствовала, как он их прочитал. Тогда он пересел ко мне на диван, взял меня за руку и, глядя мне в глаза, сказал: «Бабуль, я вижу, что ты догадываешься, и не могу больше обманывать себя и вас с мамой. Но я не знаю, с чего начать. Я не знаю, как сказать вам всё, не причинив боли... А вернее, горя». Я попросила его продолжать, сказав, что невыносимо жить подозрениями, что я хочу знать правду, и лучше раньше, чем позже.

Ольга подняла глаза на мать:

— Ты хочешь сказать, что уже давно знала о его решении? И ничего мне не сказала? Как давно был этот разговор?

— Разве это важно? — Анна Николаевна тяжело вздохнула. — Где-то полгода назад.

— Полгода, — пробормотала Ольга. — Как ты могла ничего мне не сказать?

— Во-первых, это была не моя тайна. Во-вторых, все эти полгода я пыталась понять Севу и надеялась как-то повлиять на него. Ещё надеялась, что, может быть, это какая-то странная форма юношеского максимализма и этот его настрой со временем пройдёт и уступит место другой увлечённости. Мы с ним много говорили. Я убеждала его, что изучать теологию можно в университете и совершенно не обязательно для этого уходить в монастырь.

— Он не уйдёт в монастырь. Во всяком случае я не буду тем, кто поспособствует этому!

Последнюю фразу Ольга произнесла с угрозой в голосе. Анна Николаевна покачала

головой:

— Я теперь знаю Севу лучше, чем полгода назад. Если он действительно решил что-то сделать, он добьётся цели. Мешая ему, ты рискуешь потерять сына.

Ольга криво усмехнулась:

— Я его уже теряю, а потому, как это ни глупо звучит, мне нечего терять. Он не уйдёт в монастырь, пока я могу на это повлиять.

— Делай, как знаешь, но ты не права.

В глазах Ольги сверкнули молнии, а на губах застыли какие-то недобрые слова. Она встала из-за стола и вышла в коридор. Анна Николаевна пошла за ней.

Уже выходя из квартиры, Ольга обернулась и бросила:

— Я потеряла целых полгода, слышишь, полгода!

Анна Николаевна побледнела:

— Ты обвиняешь меня?

— Я не обвиняю. Я просто не понимаю, как ты могла мне не сказать? За эти полгода...

— Дочь, — это слово, сказанное вместо обычного «Лёля», прозвучало, как гром среди ясного неба. Ольга даже умолкла и впервые за много лет посмотрела на мать испуганно, как когда-то в детстве, когда знала, что провинилась. — Я не хотела ранить тебя сильнее, но раз ты хочешь переложить всю вину на меня, ответь мне на один вопрос: как так получилось, что ты не заметила в Севе перемен? А если заметила, почему ни разу не поговорила с ним начистоту? Ведь он стал другим уже довольно давно. Речь идёт о нескольких годах. Ты помнишь, как он попросил купить ему икону? Ему тогда было лет двенадцать. А потом в те же двенадцать лет он запоем прочитал всю Библию. И тебя это как будто совсем не удивило. Пойми, я тебя ни в чём не обвиняю...

— Ты меня обвиняешь! Ты всегда считала семейное обучение ошибкой. И я не сомневаюсь, что, услышав о решении Севы, ты во всём обвинила меня. Да, мама, я сама во всём виновата! Но я ведь не за этим приходила к тебе! Я приходила за поддержкой!

С этими словами Ольга вылетела из квартиры и, хлопнув дверью, сбежала вниз по лестнице. Она не замечала весеннего пробуждения мира вокруг, чисто выстиранного и пахнущего свежестью неба, игольчатой молодой травы. Для неё всё вокруг было вымазано чёрной краской. Но даже в этом состоянии исступления, когда перестаёшь отдавать отчёт своим поступкам, Ольга заметила, что второй раз за день хлопнула дверью, закрыв её перед своими самыми главными и любимыми людьми в жизни. Осознание мелькнуло и тут же угасло под ливнем раздиравших её мыслей и эмоций.

Куда идти? Где искать помощи? Что делать? Как остановить это безумие? Это не могло, не должно было случиться с ней! И тут на неё серым потоком нахлынули её собственные слова, сказанные в разное время разным людям. Ольга вспомнила, как из разговора с подругой узнала, что дочь одной их общей знакомой уехала за границу и оборвала всякое общение с матерью. Тогда она сказала, что надо было правильно воспитывать дочь и что подобные вещи случаются только в тех семьях, где родители на каком-то этапе теряют связь со своим ребёнком и лишаются его доверия. Так что мать сама виновата в том, что дочь так поступила. Её подруга стала спорить. Она говорила, что не всё в руках родителей, что есть ещё влияние друзей, интернета, других взрослых людей. Поэтому, повзрослев, ребёнок может иметь ценности, отличные от родительских. Ольга тогда резко осадила её, сказав: «Надо быть для ребёнка непререкаемым авторитетом, тогда не страшны никакие друзья, не говоря уже об интернете». Она вообще нередко высказывалась подобным образом, в душе считая себя идеальной матерью, а своего сына лучшим тому доказательством.

Ольга остановилась. Она вдруг подумала о маме. Ей ведь так же тяжело от решения Севы. Ведь он уходит от них обеих. И тот, к кому он уходит, не тот, чей авторитет можно оспаривать. И мама права — она правда каким-то невероятным образом пропустила поворот сына к религии. Анна Николаевна видела внука два-три раза в неделю, а Ольга жила с ним. И что могли изменить последние полгода?

Она решила было вернуться и даже пошла назад — сесть в обнимку и вместе поплакать. Но... их слёзы и разговоры ничего не изменят. Говорить надо с Севой. Как говорить? Что сказать? Давить на жалость, на её будущую одинокую старость? Что ещё оставалось? Как ей конкурировать с Богом? В голове всплыл роман «Поющие в терновнике». Главная героиня не выдержала этой конкуренции, несмотря на свою страстную любовь. На что рассчитывать ей — не любовнице, а матери?

* * *

Ольга вошла в дом. Она так ничего и не придумала. Она даже не знала, чего ей сейчас больше хочется: чтобы сын вышел ей навстречу или чтобы не вышел и она тихо проскользнула к себе. Он вышел...

— Мама, давай попробуем поговорить ещё раз.

Ольга посмотрела на сына — её дорогой мальчик, любимые тихие карие глаза,

густые тёмно-русые волосы. Она подошла к нему и погладила по голове. Он поймал её руку, поднёс к губам и поцеловал.

— Как я буду без тебя жить? Я не могу без тебя жить... — прошептала она.

— Мама, но ведь если бы я остался в миру, я бы всё равно раньше или позже ушёл от тебя, — она молчала. — Я бы женился, у меня бы появилась другая семья, другие заботы.

— Я надеюсь, я бы осталась частью твоей жизни? Ты бы не вычеркнул меня из неё?

— Но я тебя не вычёркиваю. Родители могут навещать своих детей в монастыре.

Ольга высвободила свою руку:

— Ты предлагаешь мне навещать тебя в монастыре? Рыдать всякий раз при встрече и расставании? Легче умереть, чем терпеть такие муки.

— Но бывают же ситуации, когда людям приходиться расставаться со своими близкими насовсем, без всякой возможности встретиться. Например, секретные агенты, — Сева сделал слабую попытку улыбнуться, — они живут в другой стране годами и вообще не могут видеться с родителями.

— Но ты не секретный агент. Ты не подневолен. То, что ты собираешься сделать, твой свободный выбор. И, — в глазах Ольги блеснула слабая надежда, — если всё так серьёзно, ты же можешь поступить в духовную семинарию. И у тебя может быть семья, дети...

— Мама, ты не понимаешь. Я совершил бы великий грех, создав семью. У меня другое призвание. Я это знаю, — он взглянул на мать, и она впервые за этот день почувствовала его непоколебимость. И теперь реальность происходящего встала перед ней неприступной стеной, и уверенность, что всё ещё можно поправить, ударилась об эту стену и пошла трещинами, словно тонкая яичная скорлупа.

Ольга покачнулась, но Сева удержал её за локоть.

— Мама, пойди присядь. Пожалуйста.

Она уступила его просьбе, чувствуя, что ноги едва слушаются. Сев на диван, Ольга закрыла лицо руками и уткнула локти в колени.

— Где я совершила ошибку? Скажи, когда ты решил?..

— Я не смогу назвать тебе дату или год. Это произошло постепенно. И ты здесь совершенно ни при чём. Это моё осознанное решение, и мне больно слышать об этом как о твоей ошибке.

Ольга убрала руки от лица и посмотрела в глаза сыну. Он тоже смотрел ей в глаза. Они сидели так некоторое время.

— Ничего нельзя сделать, — как во сне сказала Ольга. — Ничего.

— Мама, я не буду тебя обманывать. Ничего нельзя сделать.

— А если я не дам согласия?

— Это твоё право.

Голос Севы прозвучал отстранённо и как будто безразлично.

— Что будет, если я не дам согласия? Ты затаишь на меня обиду?

— Я не обижусь.

Ольга всматривалась в глаза сына, но взгляд Севы был спокоен.

— Тогда, сын, я отказываю тебе в согласии. И я это делаю не потому, что просто использую свою власть. Я это делаю, чтобы дать тебе время всё обдумать. Шестнадцать лет — не возраст для судьбоносных решений.

— Хорошо, мама.

Сева встал и вышел из комнаты, а Ольга осталась сидеть у стола, как у разбитого корыта.

«А как я буду жить эти два года?» — этот вопрос бился тяжёлым колоколом в её голове.

Ольга прилегла на диван — нервотрёпка двух последних дней взяла над ней верх, и, словно щёлкнув выключателем, реальность погасла, оставив её блуждать в зыбком мареве сна.

* * *

Потекли дни. И каждый уходил в прошлое, отрывая кусочек от ещё остававшейся у неё надежды. И каждый умерший месяц утверждал её в неотвратимости расставания с сыном, потому что ничего не менялось. Сева теперь много времени проводил в храме. Он ей не говорил об этом — щадил её чувства, но и не обманывал. Если она прямо спрашивала, где он провёл полвоскресенья, он честно отвечал, что в храме. Ольга несколько раз думала сходить в храм и поговорить с батюшкой. Но не шла. Она не была верующей. И в самом деле, какое сочувствие она могла найти у человека, который думает так же, как её сын? А сострадания ей не нужно. Ещё было стыдно оттого, что ей нет-нет и приходили в голову мысли о том, как придётся признаться друзьям, что сын оставил её. Она знала, что многие в тот момент не испытают сочувствия. Скорее

это будет торжество оттого, что и у неё не всё в порядке в отношениях с ребёнком. Все завидовали, что у неё вырос такой удивительный сын — умница и замечательный человек. И когда она высказывалась о промахах других в воспитании детей, друзья молча слушали, признавая за ней право на экспертное мнение. Теперь её авторитет рухнет раз и навсегда. И это будет очень стыдно. Но гордыня отступала на второй, нет, на сотый план перед лицом ожидавшего её горя от расставания с сыном и со всеми планами на его и своё будущее. И не с кем было разделить эту ношу кроме мамы, для которой это будет таким же жизнекрушением, как для Ольги. Но Анна Николаевна как будто смирилась со своей участью и призывала смириться и её. И по мере того, как их совместное настоящее с сыном неумолимо таяло под натиском выталкивавшего его в прошлое будущего, Ольга теряла надежду и всё чаще внутренне соглашалась с мамой.

* * *

В очередное воскресенье Ольга вошла в комнату сына сразу после того, как тот вернулся из храма.

— Сева, я больше не могу мучить тебя и себя. Я вижу, что оставшийся год ничего не изменит. Я чувствую, что ты не живёшь здесь со мной. Ты живёшь там. Вот, — и она протянула ему бумагу. Сын взял лист и прочёл:

Наместнику Р... монастыря
Игумену Илие
от Пановой Ольги Андреевны

Согласие

Я, Панова Ольга Андреевна, даю своё согласие на то, чтобы мой сын, Панов Всеволод Олегович, поступил трудником в подчинённый Вам монастырь, если Вы дадите ему на то своё благословение.

Ниже стояли подпись и расшифровка.

Сева взглянул на мать — она смотрела на него глазами мученицы. Он закрыл глаза, постоял так некоторое время, а потом взглянул на неё вновь, и в его глазах она увидела тихую любовь и боль за её боль.

— Спасибо мама. Ты не представляешь, как много это для меня значит.

— Сходи к бабушке, простись, а потом собирайся.

Ольга чувствовала, что не вынесет долгих проводов. Она уже развернулась, чтобы выйти, но сын нагнал её и крепко обнял.

— Мама, что бы ты ни думала, я тебя очень люблю. Я буду за тебя молиться. И за бабушку.

— Конечно, — только и смогла прошептать Ольга, вжавшись лицом в грудь сына, чтобы он не видел, как из её глаз покатились крупные слёзы.

Так они стояли — она, словно раненая птица, вздрагивавшая от душивших её рыданий, и он, словно скала успокоения и сострадания.

Ольга вскоре затихла, будто покой передался ей от сына. А он всё не отпускал, словно ждал, чтобы её смятение совсем рассеялось.

Ближе к вечеру Сева ушёл прощаться с бабушкой, а на следующий день, взяв всего несколько вещей, уехал. Ольга согласилась с ним, что будить её он не будет — они оба понимали, что всё уже сказано и выстрадано.

* * *

Прошло два года. Когда Анна Николаевна вернулась из очередной поездки к внуку, она сказала Ольге, что Сева стал послушником. Они никогда не ездили к нему вдвоём с тех пор, как сделали это однажды. В тот самый первый приезд они обе как будто перестали дышать, когда увидели Севу. Он стал ещё выше и очень повзрослел. Но было до мути в душе тяжело видеть его отрешённость от них, как будто он смотрел на них из другого мира и между ними была непреодолимая пропасть. Они обе слишком хорошо это ощутили и весь обратный путь берегли чувства друг друга, и это было мукой. С вокзала они разъехались по домам и только там дали волю своему горю. Тогда обе как-то одновременно решили, что будут ездить по очереди. Посещение разрешалось два раза в год, и они договорились, что Ольга ездит осенью, а Анна Николаевна весной.

* * *

Отец Арсений сидел у себя в келье за книгой, когда в дверь постучали. Он поднялся и открыл дверь. На пороге стоял послушник.

— Отец Арсений, к вам приехала бабушка. Игумен Илия благословляет встречу.

Отец Арсений пошёл вслед за послушником к специальному помещению для встреч с родственниками. Приезд бабушки второй раз за три месяца был неожиданным и противоречил порядкам монастыря. Но Игумен дал своё благословение, и для этого должна была быть веская причина.

Арсений вошёл в небольшое помещение, где на скамейке сидела пожилая женщина. Она порывисто поднялась и бросилась бы ему навстречу, если бы это было можно. Вместо этого она ждала, пока он подойдёт к ней, а потом подняла на него глаза, и он увидел в них вселенское горе.

— Бабушка, что случилось? — спросил он, глядя на женщину с любовью.

— Сева, мама заболела. Очень сильно заболела, — и Анна Николаевна протянула к нему руки и, во второй раз вспомнив о порядках, тихо расплакалась, не имея права прижаться к родному, любимому человеку.

Отец Арсений усадил бабушку на скамейку и сел напротив. Разговор их был долгим и тяжёлым.

* * *

Он ехал домой. За прошедшие семь лет он впервые вышел за стены монастыря, и это было странное чувство. Он долго сам не мог его определить. Единственное, что он знал точно, это то, что это не его мир — его мир остался там, за родными стенами, там, где Бог являлся людям намного чаще, потому что они были к этому готовы и всегда замечали Его присутствие.

Здесь, в миру, было столько ненужного шума, столько неоправданной, пустой суеты, столько пренебрежения к окружающему и окружающим, что, даже если бы Бог вышел на оживлённую улицу или вошёл в вагон поезда, на него мало кто обратил бы внимание.

Когда он подошёл к дому и начал подниматься на третий этаж, его охватила ностальгия — детские воспоминания нахлынули без спроса и захлестнули тёплой волной. Игры и чтение книг с мамой, беседы с бабушкой в дни, когда она приходила к ним. У него было счастливое детство. Он никогда не жалел, что не пошёл в школу. Так уж получилось, что друзей ему заменили книги. Он всегда знал, что так должно было быть, и когда слышал доносящиеся из кухни приглушённые споры единственных двух любимых женщин о том, пора или нет отдавать его в школу, изо всех сил напрягал слух, опасаясь, что победит бабушка. Но побеждала мама, и он был ей за это безмерно благодарен.

Та же дверь, тот же звонок, игравший ту же музыку...

Дверь отворила Анна Николаевна. Она не поверила своим глазам и протянула руки, чтобы обнять внука, но тут же опустила их, увидев взгляд Севы — она так и не научилась держаться от него на расстоянии, и это была вторая мука, на которую они с дочерью были обречены. Иногда Анне Николаевне казалось, что даже расставание не так больно — ты не видишь любимого человека и медленно привыкаешь к этому, но вот эта невозможность обнять его, прижаться к его груди, когда он тут, стоит перед тобой... И только мягкая строгость в глазах внука напоминала ей о появившихся между ними границах.

— Здравствуй, бабушка. Игумен благословил меня проведать вас. Мама у себя? — спросил он, и Анна Николаевна кивнула. Тогда Сева прошёл к комнате матери и тихо отворил дверь. Из комнаты пахнуло лекарствами. Он перешагнул через порог, подошёл к постели, бесшумно присел на стул и взял в свои ладони мамину руку, которая безвольно свисала с кровати.

Ольга медленно повернула голову и тихо вскрикнула.

— Это я, мама. Меня отпустил игумен. Я буду с тобой, пока тебе не станет лучше.

— Тогда пусть мне никогда не станет лучше, — не дав себе подумать, прошептала она.

— Не говори так, — Сева с нежностью смотрел на мать, — тебе обязательно станет лучше. Но после того, как это произойдёт, ты должна будешь дать мне обещание.

Ольга пила глазами своего мальчика. Она давно не видела его так близко. Она забыла, как ощущается тепло его рук, а теперь вспомнила, и ей было всё равно, что он делает или говорит, лишь бы был здесь, рядом с ней.

— Что я должна пообещать тебе? — спросила она.

— Ты дашь мне слово, что начнёшь жить. Я не могу забрать тебя в свою жизнь и не могу разделить твою. Для этого нужен другой человек. Тебе всего сорок пять лет. У тебя впереди большая счастливая жизнь. Я это знаю. Верь мне. И когда ты выздоровеешь, он найдёт тебя. Только не запирай дверь в свою жизнь. Именно это я прошу тебя пообещать — что ты оставишь дверь в свою жизнь открытой.

Ольга слабо улыбнулась и хотела возразить, но Сева остановил её движением руки.

— Не надо, мама. Просто верь мне и не запирай дверь в свою жизнь. Ты можешь ничего не говорить. Просто кивни, — ей, похоже, ничего не оставалось, и она кивнула. — Я вижу, ты измучена. Поспи, — и, едва она замотала головой, он добавил: — Когда проснёшься, я буду здесь. Спи, потом поговорим.

Она доверчиво закрыла глаза. Болезнь сделала её послушной, да и сил у неё сейчас совсем не было. Неожиданная радость обещала новую боль, о которой сейчас не хотелось думать. Она поддалась его воле и как-то необычно легко заснула.

* * *

Проснулась она уже утром. Что-то изменилось, и в первый момент Ольга не поняла, что именно. Потом она вспомнила, что вчера приехал Сева, и сотни острых иголочек страха впились в её тело при мысли, что ей это только приснилось. Но в этот момент за дверью послышался тихий разговор двух любимых людей — Анна Николаевна уговаривала Севу поспать, а он говорил, что в монастыре привык вставать в пять утра и спать уже не будет.

Ольга села на кровати и только тут поняла, что было не так — она уже несколько месяцев не садилась сама. Для этого ей требовалась мамина помощь. Не понимая, что происходит, она опустила ноги с кровати, нашарила тапочки и встала, опираясь о сиденье стула. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась мама, а за ней стоял Сева. Ольга только успела подумать о том, что у сына воспалённые глаза — уж не температура ли — как комнату огласил крик Анны Николаевны:

— Ты что делаешь! Ты же упадёшь! — и, буквально подлетев к дочери, она подхватила её под руки.

Ольга подняла на мать удивлённые глаза, а потом перевела их на Севу, и на её лице взошла улыбка:

— Не упаду, — сказала она, будто слыша свой голос со стороны и удивляясь ему, — отпусти меня, не бойся. Пожалуйста, отпусти. Я давно не стояла так крепко на ногах.

Анна Николаевна оглянулась на внука, ища поддержки, но Сева только молча кивнул, и она сделала, как он хотел.

Ольга сделала шаг — ещё до того, как сделать его, она знала, что сможет, знала, что сможет ещё и ещё. Её спина почувствовала внутреннюю опору, и она выпрямилась и расправила плечи.

— Пойдёмте завтракать, — сказала Ольга, глядя на ошарашенную, ничего не понимающую Анну Николаевну.

Она прошла мимо матери и вышла из комнаты. Анна Николаевна и Сева отправились следом.

* * *

Прошла неделя. За это время Ольга побывала у всевозможных врачей, сдала уйму анализов, сделала КТ и много чего другого. Результаты поразили всех, кроме неё самой — она знала, что выздоровела. Она выздоровела за одну ночь — ту ночь, когда к ней вернулся сын. И в тот день, когда Сева заговорил об отъезде, Ольга рассказала ему о своей тайне — его возвращение и его любовь чудесным образом излечили её. Он прочёл в её взгляде продолжение этой мысли и закрыл глаза. Прошло семь лет, а она по-прежнему считала, что главное решение его жизни можно отменить. Она по-прежнему его не понимала.

* * *

Утро следующего дня неизбежно наступило. Ольга открыла глаза и увидела маму. Та сидела рядом на стуле и с тревогой смотрела на дочь.

— Мамочка! — улыбнулась Ольга. — Ну что же ты всё боишься? Пора уже свыкнуться с тем, что я здорова. Я знаю, это чудо. Но любовь творит ещё не такие чудеса, — и с этими словами она села на кровати и обняла Анну Николаевну.

Они сидели некоторое время прижавшись друг к другу, а потом Анна Николаевна тихо сказала:

— Сева уехал. Он не дал мне тебя разбудить.

— Что? — вскрикнула Ольга и отстранилась от матери.

— Он просил передать, что благодарить за выздоровление ты должна не его. И ещё сказал, что взял с тебя слово, и это слово ты обязательно должна сдержать.

Ольга как-то вся погасла и безжизненно легла обратно на постель.

— Лёля, доченька, послушай меня, пожалуйста. Всю ту первую ночь после приезда Сева провёл у себя в комнате за молитвами. Я знаю это, потому что очень плохо спала — наверное от перевозбуждения — и несколько раз вставала выпить успокоительное. И каждый раз я видела приглушённый свет в его комнате и слышала, как он молится.

Он просил о твоём исцелении, — Анна Николаевна замолчала, готовясь сказать самое главное. Набрав воздуха, она продолжила: — Мы все в разной степени верим в возможность чуда, но, когда оно происходит, большинство из нас находят ему сколько угодно объяснений или доказательств его нечудесности, — Анна Николаевна знала, что была свидетельницей настоящего чуда, и хотела, чтобы Ольга это тоже знала. — Не его приезд исцелил тебя и даже не его молитвы. Я знаю, что ты совсем не веришь в Бога, но это не помешало Ему поверить в тебя. Пора уже понять своего сына, пора уже принять его выбор, пора уже начать жить своей жизнью, а не призрачными вредными надеждами на то, что однажды он разочаруется и вернётся к нам.

Ольга повернула голову на подушке и взглянула на мать убитым взглядом.

В этот момент раздался звонок в дверь.

— Это он! — вскрикнула она, просияв и садясь на кровати. — Он вернулся!

Не зная, что и думать, Анна Николаевна бросилась открывать. Она почти сразу же вернулась, присела рядом с дочерью и обняла её.

— Я поняла, мама. Это не Сева, — сказала Ольга бесцветным голосом.

— Лёля, — неуверенно начала Анна Николаевна, — не знаю, рассердишься ты или нет, но я забыла тебе сказать. Вчера, когда ты уже легла, звонил Артём.

Ольга непонимающе взглянула на мать.

— Какой Артём?

— Ну, у нас один Артём, — улыбнулась Анна Николаевна, — Савельев.

— Тёма? Из Австрии звонил? — наморщила лоб Ольга.

— Сказал, что работу в Австрии закончил и на прошлой неделе вернулся домой.

— Серьёзно?

Анне Николаевне показалось, что голос Ольги потеплел.

— Очень серьёзно... потому что он у нас в гостиной. Тебя дожидается... с конфетами и цветами.

— С ума сошёл, что ли? — Ольга выразительно посмотрела на мать. — И к тому же я в таком виде... скажи ему, что как-нибудь в другой раз.

— Мне неудобно. Я вчера предложила ему к нам заглянуть. Кто же знал, что он сделает это почти ни свет ни заря, так что я и предупредить тебя не успею.

— Так это ж Савельев, мама. Ты что, забыла?

Анна Николаевна улыбнулась — Олин сокурсник, смешной парень. Кто бы мог подумать, что из него выйдет талантливый журналист-международник.

— Как его забыть? Не забыла. Потому и прогонять не буду. Если хочешь, иди прогоняй сама.

— Мам, серьёзно, зачем всё это? — Ольга укоризненно взглянула на мать.

— Я не знаю, — пожала та плечами, — наверное, зачем-то. Но уж если ты так настроена, пойду извинюсь.

Анна Николаевна встала и вышла из комнаты, а Ольга снова легла и отвернулась к стене. И вдруг она отчётливо услышала голос Севы: «Верь мне и не запирай дверь в свою жизнь». Ольга вздрогнула и приподнялась на постели. Она повернулась к двери, но дверь была закрыта.

— Артём, прости, дорогой, но Оля не готова сейчас к встрече. Она только встала. Ну ты же знаешь нас, женщин. Мы не появляемся на людях, не приведя себя в порядок.

— Я всё понял, — с грустной улыбкой отвечал Артём, — но цветы, духи и конфеты обратно не понесу. Что ж, значит, так должно быть.

С этими словами он поднялся и вдруг, глядя через плечо Анна Николаевны, расплылся в счастливой детской улыбке. Ничего не понимая, та обернулась. В дверях гостиной стояла растрёпанная Ольга.

— Оленька, — почти прошептал Артём, взял из рук Анны Николаевны букет роз и, сделав три шага, протянул их обескураженной Ольге.

Николай ПОЛОТНЯНКО

Рассказы с чертовщинкой

МИЛЛИОН

В автобусе было тесно и жарко. Притиснутый к задней стенке, Масляков ощупывал в кармане потными пальцами сторублевую бумажку и решал трудный вопрос: платить или не платить? Голоса кондуктора, призывающего к обилечиванию пассажиров, не было слышно, сотенная была последней, и все это возбуждало в Алексее Борисовиче нехорошие и трусоватые мысли о безбилетном проезде. Один раз, когда где-то в середине автобуса люди зашумели, он, напуганный этим, уже было достал свою мятую сотку, но тревога оказалась ложной, и Масляков засунул денежку поглубже в карман.

Автобус гремел железными внутренностями, скрипел и дребезжал разбитым кузовом, и все сорок минут езды до своего микрорайона прошли для Алексея Борисовича в тягостном борении между страхом быть разоблаченным и оштрафованным и нежеланием расстаться со стольником. Конечно, совесть бывшего советского инженера взывала к оплате, но когда толпа особенно жестоко наперла на него, впечатывая грудную клетку в стальной поручень, возникла оправдывающая мысль об автобусной несправедливости. Ведь платят все поровну, но одни едут вольготно, сидя, а другие — на одной ноге. Сорокапятилетнему Маслякову, естественно, место никто не уступил, так за что платить полную цену?.. Это была явная социальная дискриминация и не такая уже мизерная, если учесть, что последние три месяца Масляков каждый день мотался из одного конца города в другой в поисках работы. И все впустую, как и сегодня.

В середине весны НИИ, где он двадцать лет проработал сначала инженером, потом ведущим инженером, основательно село на финансовую мель, и половину отделов, в том числе и тот, где работал Масляков, сократили. Протестующего шума не было, так, поговорили, кое-кто в негодовании сплюнул в сторону портрета красномордого здоровяка со счастливой улыбкой на лице, который висел в конференц-зале, где директор огласил приказ, и все заторопились по домам. Масляков зашел в отдел, положил в портфель электрокипятильник, фарфоровую кружечку, из которой, бывало, попивал кофе во время обеда, достал из стола общую тетрадь в клеенчатой обложке, где была почти готовая кандидатская диссертация, и тоже сунул ее в портфель, оглянулся по сторонам и вышел вон.

Первое время вынужденное безделье его не особенно тяготило, он отоспался, вылежался, отдохнул почти по отпускному, но вскоре на ум стали приходить тревожные мысли. Перед ним явственно замаячил непростой вопрос: что делать дальше, как жить? Изредка встречаясь с бывшими сослуживцами, Масляков с унынием замечал, что и те маются неприкаянными, по специальности нигде их не берут, вместо кульмана предлагают в лучшем случае метлу и совковую лопату. Только двое или трое извернулись. Занялись спекуляцией барахлом, заделались бизнесменами и чувствовали себя вполне вольготно.

Прошел один месяц, другой, третий... От бесполезных мотаний по городу в поисках места у Маслякова начали пошаливать нервы, после каждого очередного отказа стало нехорошо стискивать сердце, в отдел кадров он уже входил несмело, как-то бочком, робко, разговаривал заискивающим голосом, торопился вывалить перед кадровиком свои достаточно истрепавшиеся за время хождения документы: паспорт, трудовую книжку, диплом, стопку авторских свидетельств. Да и сам Масляков за время своих унылых хождений порядочно поистрепался. Пиджак залоснился на рукавах и лацканах, на обшлагах не хватало пуговиц, карманы штанов пузырились, но дело было даже не в этом. Просительство и искательство наложили на него отпечаток обреченности, какой только бывает у закоренелых пьяниц. Черты лица, прежде безмятежного и уверенного, стали жестче, от крыльев носа к углам губ пролегли две глубокие морщины, глаза приобрели лихорадочный блеск, волосы поредели, а при разговоре появилась привычка покашливать. Масляков слегка забомжевал, и это от-

пугивало и настораживало работодателей. Диплом, авторские свидетельства, безупречная двадцатилетняя служба на прежнем месте значения не имели, ему отказывали, в лучшем случае приглашали заглянуть этак месяцев через пять-шесть.

Сегодня Масляков сунулся было по объявлению на галантерейную фабрику, где требовался агент по сбыту продукции, но, потолкавшись среди двух десятков претендентов, которые толпились в коридоре, безнадежно махнул рукой и почти весь день бесцельно бродил по центральной улице города, тянул время, чтобы вернулся домой попозже. Он долго сидел на скамейке в сквере, тупо смотрел на снующих людей, вереницы машин, вывески, потом сорвался с места и пошел на берег Волги, где так же долго и бесцельно смотрел с высокого берега на широкую воду, мост, редко проплывающие суда и вальяжно расхаживающих по аллее голубей. Все это существовало как бы отдельно от него, исчезало, проносилось мимо, не задевая сознание и души, где были только усталость и пустота.

«Эх, заснуть бы сейчас, — лениво подумал Масляков, затягивась подобранным на асфальте сигаретным окурком, — заснуть бы сейчас лет на двести-триста. Заснуть, чтобы не видеть этого бардака».

Это была первая и единственная возникшая у него за весь день мысль, и, усмехнувшись ей, он поднялся со скамейки и пошел к остановке автобуса.

При возвращении домой самым неприятным для Маслякова местом был подъезд, возле которого постоянно сидели старухи. Раньше он почти не замечал их, проходил, помахивая портфелем, еле отвечал на приветствия пенсионерок. То было раньше. Сейчас же он норовил как можно быстрей и незаметней прошмыгнуть на лестничную клетку.

В квартире пахло мылом, шумела стиральная машинка, Ольга на балконе развешивала мокрое белье. Увидев мужа, она крикнула:

— Подай прищепки! Они в кладовке.

Масляков разулся, взял прищепки и пошел к жене. На балконе он неловко потоптался и, наконец, как бы через силу пробормотал:

— А у меня, понимаешь, опять ничего не вышло.

Ольга погладила мужа влажной рукой по щеке.

— Ничего, Леша. Со временем все образуется, ты ведь не виноват, что так все случилось... У нас хоть резни да холеры пока нет. А работа найдется...

Масляков сморщился, зашмыгал носом и отвернулся. Да, подумалось ему, может быть, все и обойдется, но когда это еще будет. Ольга все-таки молодец. Другая бы заела за безденежье, а эта тянет безропотно на свою учительскую зарплату его и дочь, которая сейчас гостила у бабушки.

— Ты, наверно, ругаться будешь, Леша, — виновато сказала жена, когда они ужинали. — А я ведь не устояла, продала то кольцо, что ты мне из Египта привез. Оно мне ни к чему, пальцы опухли, не лезет. А цену хорошую дали. Вот мы и с деньгами.

Масляков вздрогнул. Деньги, деньги... Куда ни сунься, всюду деньги.

Вечером они смотрели телевизор. Сначала какой-то американский детектив с полусотней убийств, потом «Лотто-миллион». Крутился барабан, метались шары, ржала и хлопала в ладоши нанятая на вечер публика. Потом ведущий объявил, что кто-то в Чебоксарах выиграл шестьсот шестьдесят миллионов рублей.

— Вот повезло! — вздохнула Ольга.

— Если уж что и иметь, так лучше миллион долларов. Это все-таки надежная сумма, — задумчиво произнес Масляков. Дальше по телевизору показывали еще один фильм, но Алексей Борисович смотрел его вполглаза. Слово «миллион» отпечаталось в его мозгу, как протекторы тягача на мокрой глине, и что бы там ни мельтешило на экране, мысли неумолимо возвращались к одному и тому же — к миллиону.

«Конечно, — думал он, лежа на диване рядом с женой, которая перед сном всегда читала фантастику. — Миллион — это хорошо, это здорово, но сумма устрашающая, где взять такую? Заработать ее — за жизнь не заработаешь... Украсть?.. Грабануть какой-нибудь банк?.. Нет... Грабеж, кровь, тюрьма... Так и миллион не захочешь... Лучше, конечно, заиметь миллион нечаянно, ну, найти, что ли... Вон в газетах пишут, что бизнесмены в кейсах большие суммы носят. Допустим, подпил бы один такой и потерял миллион. А я бы нашел. А почему бы и нет?.. Ведь везет же другим. Миллион... Если по сто долларов, это сколько пачек будет?.. Сто пачек... Пожалуй, в кейс не войдут, хотя сегодня какой кейс. Да, найти бы где-нибудь в кустах... А дальше что делать с миллионом?..»

Масляков открыл глаза и покосился на жену.

— Оля, допустим, у меня появился миллион долларов, что бы мы с ними стали делать, на что тратить?

Жена оторвалась от книжки и рассмеялась.

— Спи, выдумщик! Таких забот у нас никогда не будет.

— Ну а вдруг... Должен же я с женой посоветоваться, ведь деньги-то у нас всегда были общие.

— Этот свой миллион можешь тратить как хочешь, — улыбнулась жена. — Погоди, мне две страницы осталось дочитать...

— Перво-наперво, — сказал Масляков, — деньги нужно надежно спрятать. Врут, что в банках доход. Убегут, и концов не сыщешь. У меня мать деньги всегда в валенок прятала... Нужен, конечно, дом, настоящий дом комнат на двенадцать, с участком в гектара полтора леса, чтобы и грибы, и ягоды... Машины две, тебе и мне... Нет! Сначала нужно уехать отдыхать. Сначала в Париж, потом в Рим, в Мадрид, на Багамы... Уехать на полгодика... А то ты у меня, кроме Казанского вокзала, ничего не видела. В Париже осенью хорошо!.. Приоделись бы, причупурились — и дальше!.. К весне бы вернулись и за дом взялись... Матери твоей помочь бы надо... Или к себе возьмем?.. Можно и к себе... Катер купить бы надо... Представляешь, по Волге... Да...

Жена захлопнула книгу, выключила свет и повернулась лицом к стене, а Масляков, засыпая, еще долго лепетал о будущих поездках, покупках, о каком-то рысаке, ферме, пока окончательно не заснул с блаженной улыбкой на лице. С этого момента, когда Алексею Борисовичу пришла мысль о миллионе баксов, жизнь его заметно повеселела. Он даже сходил в парикмахерскую и постригся, стал надевать новый костюм и рубашки, которые прежде тщательно берег. Отказы в приеме на работу, которые сыпались на него с прежней неотвратимой регулярностью, уже не огорчали. Он улыбался в лицо кадровику, презрительно хмыкал и, выходя, громко хлопал дверью. Как-то само собой получилось, что в душе Масляков стал чувствовать себя миллионером, и это приносило ему неизведанное доселе наслаждение. Мысль о миллионе согревала и тешила его в бесцельных блужданиях по городу, в очередях, в толкучке горячего, как чайник, автобуса.

Так прошло несколько счастливых дней, занятых мечтами о далеких странах, о встречах с тем, что когда-то им было увидено по телевизору или прочитано в книгах. Масляков по вечерам увлеченно разглядывал потрепанный атлас мира, прикидывал маршруты будущих путешествий и умиротворенно отходил ко сну, где его дневные грезы как бы воплощались в явь, он ехал, летел, плыл, куда ему хотелось, и ничто не стесняло его желаний.

Неприятность, как всегда это бывает, выскочила невесть откуда и неожиданно. Позвонил институтский приятель и сообщил, что умер их бывший начальник отдела, которого тоже сократили вместе с Масляковым.

— Слушай, так Петровичу всего пятьдесят пять?.. — промямлил в трубку Алексей Борисович.

— Мотор не выдержал. Что тут удивительного?.. Подходи к двум часам.

В глухом дворе панельных пятиэтажек стояли катафалк и автобус, возле подъезда толпились молчаливые люди. Масляков поднялся на третий этаж, вошел в открытые двери квартиры. Зеркало в прихожей было занавешено, в комнате на двух табуретках стоял гроб. Рядом с ним сидела женщина в черном платье и черной косынке. «Жена», — понял Масляков и покосился на гроб. Не решаясь сразу посмотреть на покойника, он сначала глянул на ноги и увидел выпирающие из узкого гроба черные туфли со стертыми подошвами, затем серые брюки, край пиджака, восково-желтые скрещенные на груди руки, галстук, высоко поднятый подбородок, острый, выступающий над запавшими щеками нос и плотно сомкнутые веками глубоко ушедшие внутрь черепа глазницы. У изголовья, озаряемая пламенем свечи, стояла икона. Масляков судорожно сглотнул подкативший к горлу сухой комок и перекрестился.

Окна в комнате были плотно закрыты, и в спертом воздухе витал запах тлена. Здесь, в этой комнате, смерть провела черту, отделившую мертвое от живого, вечное от временного, истинное от случайного, произошел разрыв в течении времени, возникла устрашающая черная дыра, заглянув в которую Масляков содрогнулся и ощутил ледяной озноб.

Нащупывая рукой перила лестницы, он спустился вниз, глубоко вздохнул и прислонился к стволу березы. Спелая, кое-где уже тронутая желтизной листва чуть слышно шумела на ветру, кора дерева была на ощупь жестка и колюча, корявые корни жадно вцепились в бесплодную городскую землю, а рядом из распахнутых настежь дверей показался край гроба, взмахнул черными крылами шопеновский марш, провожающие стали садиться в автобус, и траурный кортеж сначала медленно, потом, все быстрее и быстрее набирая скорость, помчался по улицам осеннего города.

После поминок, не сговариваясь, Масляков с приятелем зашли в магазин, купили бутылку водки и спустились к Волге. На пляже было пусто, ветер гнал по песку начавшую уже опадать листву, серые волны нехотя накатывались на бетонные плиты.

— Ну, что ж, помянем Петровича, — сказал приятель, наполняя бумажный стаканчик. — Путевый был мужик во всех смыслах. И как человек, и как инженер. И ведь

как помер! Не болел никогда. Помнишь, в прошлом году в волейбол играли, как лось прыгал. Это все жизнь. Выкинули из института, три месяца — и спекся. Я на него посмотрел в гробу и о себе подумал. Мне, Борисыч, тоже надоело жить, устал, понимаешь, устал я жить, будто не сорок мне лет, а все сто!.. Нету у меня интереса к жизни. Мельтешат вокруг, как тараканы, бизнесмены, рэкетиры, просто рвань, а человека не видно...

Водка была теплой, вечер тусклым, зеленая грязная вода бугрилась волнами, на которых покачивались грязные и обтрепанные, будто нищие беженцы, молчаливые чайки.

— Выдь на Волгу!.. — воскликнул захмелевший приятель. — Вышел. Ну и что?.. Огромная вонючая лужа, в которой появилось чудо-юдо, бледная рыба поганка по кличке «душман». Перегородили Волгу десятком плотин, и не течет она никуда, болеет и гниет. Так, брат, и вся Россия. Сначала одни ее мурыжили семьдесят лет. Теперь другие мурыжат. Эх!..

— А меня, знаешь, что сегодня поразило, — задумчиво сказал Масляков, морщась от водки. — Не смерть даже, нет!.. Кого сейчас удивишь этим. Меня поразила надпись на железной пирамидке с крестом, что Петровичу поставили. Вернее, не надпись, а цифры — 1949-2004. Цифры, понятно — год рождения, год смерти, а вот тире, черточка между ними. В этой черточке вся жизнь его уместилась, вся!.. И детство, и юность, и учеба, и работа, и любовь, и ненависть — словом, вся жизнь. Если хочешь, это надгробное тире, как бы зачеркнувшее человеческую жизнь, и содержит в себе весь смысл нашего бытия. Как ни бейся, как ни гоношись, но придет нечто, что сильнее нас, и все зачеркнет, как ошибку.

За разговорами они просидели на берегу до темноты. Когда Масляков вернулся домой, Ольга уже спала. Алексей Борисович, смущенный своей задержкой, быстро разделся и юркнул под одеяло. От жены веяло уютным домашним теплом, из сумерек засыпающего сознания привычно всплыла мысль о миллионе, о том, как он его будет тратить. Качнулись зовущей бирюзой волны Ионического моря, зашелестели паруса яхты, калейдоскопом промелькнули панорама Парижа, развалины Колизея, силуэт Виндзорского замка, и вдруг будто чья-то невидимая рука смешала эту разноцветную мозаику. Невесть откуда пахнуло сыростью из разверстой могилы, послышался стук падающих на крышку гроба комьев земли, закачалась железная пирамидка-памятник с убийственной чертой между двумя цифрами, и, всхлипнув, Масляков очнулся от дремы.

Жена тоже проснулась и тревожно спросила:

— Что с тобой, Леша? Может, сердце?

— Да нет, — ответил Масляков, поворачиваясь на спину. — Так, мысли всякие... Знаешь, Оля, если бы у меня был миллион, то ни в какие Парижы я бы не поехал. Что толку?.. Только деньги профукаешь да заразу какую-нибудь подхватишь. Нет, Оля, на эти деньги нужно храм выстроить. О Боге мы позабыли, вот все и беды от этого. Обязательно нужно храм построить, вон на пустыре у нас в микрорайоне, где хотели кабак строить, даже яму под фундамент выкопали...

— Какой ты у меня еще ребенок, Лешенька, — вздохнула жена. — Все мечтаешь.

На следующий день Масляков окончательно укрепился в мысли о строительстве храма. Он не пошел по очередному адресу в поисках работы, побывал в церкви, первый раз за всю жизнь. По деревянным истертым ступеням Алексей Борисович поднялся на паперть, протиснулся сквозь толпу внутрь и умилился сердцем, увидев торжественное убранство храма, мерцание свечей перед иконами, людей, погруженных в созерцание недоступного и вечного, перед чем всегда, подобно мотыльку перед ярким светом, трепещет человеческая душа. Запел церковный хор, мелодия ветхозаветного псалма, в котором Масляков не разобрал ни слова, была так чиста и пронзительна, так благолепна и свежа, что у него на глазах выступили слезы неизведанного доселе восторга от ощущения причастности к великому таинству. Вместе с тем Алексея Борисовича смущало и угнетало то, что он был среди молящихся не то что чужим, но все равно каким-то посторонним. Все крестились, клали поясные поклоны, шептали слова молитвы, а он стоял столбом и только озирался вокруг. Какая-то старушонка жестко ткнула его сухим кулаком в спину и прошипела:

— Чего лупишься, нехристь!

Смутившись, Масляков начал пробираться к выходу.

Вечером он пошел на пустырь. Солнце садилось, его заходящие лучи золотили края плотных белых облаков, приобретших очертания кремлей и соборов, медленно и торжественно плывущих над вечерней землей. Горько пахло спелой полынью, под ногами похрустывали стебли сухой травы. Котлован под фундамент оказался громадной впопыхах вырытой ямой, на дне которой зеленела вода, высились кучи хозяйственного мусора, сносимого сюда жильцами близлежащих домов.

Масляков присел на обломок валявшегося в траве бетонного блока и огляделся по сторонам. Вокруг пустыря стояли девятиэтажки, кое-где в окнах уже горел свет, доносилась музыка. Несмотря на это, микрорайон производил впечатление плохо обжитого места, просто это были поставленные в беспорядке дома, где люди коротали время в бетонных квартирах перед мерцающим экраном телевизора. В сумерках микрорайон вымирал, только изредка, боязливо озираясь, пробежит запоздалый прохожий или проедет, сверкая «мигалкой», милицейская машина.

«Построить церковь, — подумал Масляков, — и как многое здесь изменится! И денег на это дело не жалко. За полмиллиона долларов можно такой храм отгрохать. На века! И мне бы после смерти здесь место нашлось...»

Был четверг, и по телевизору опять показывали очередной розыгрыш тиража «Лотто-миллион». Мелькали шары, на табло высветилась выигрышная комбинация, ведущий передачи выкрикивал умопомрачительные суммы выигрышей.

— Все! — решил Масляков. — Была не была!

Утром он дождался, пока жена уйдет на работу, и достал коллекцию марок, которую собирал с детства, даже ходил в кружок, в филателистическое общество, и лишь в последние несколько лет охладел к этому занятию. Среди его собрания было несколько редких марок, за которые ему предлагали весьма крупную сумму денег. Масляков положил их на чистый лист бумаги, просмотрел через лупу и спрятал в чистый конверт. К обеду он уже был при деньгах. Скупщик был страшная жила. Алексею Борисовичу пришлось отчаянно торговаться, и после этой схватки у него болела голова, он не мог сосредоточиться на чем-то определенном. Со стороны Масляков являл собой странное зрелище. Он шел по аллее центральной улицы города, размахивал руками, то присаживался, то вдруг вскакивал со скамейки и что-то бубнил себе под нос.

Возле первого попавшегося ему киоска «Лотто-миллион» он остановился в задумчивости, огляделся, потом решительно подошел к окошечку и протянул в него пачку денег...

Все оставшиеся до розыгрыша тиража дня он жил в лихорадочном возбуждении, которое периодически сменялось длительными приступами страха и неуверенности в себе. Масляков стал скрупулезно изучать свою внешность, подолгу разглядывал себя в зеркало, находя все больше и больше изъянов. Сначала ему стало казаться, что у него начал расти нос, и он подолгу стоял у трельяжа, разглядывая себя со всех сторон. Затем ему решительно не понравились свои уши, явно нелепые, мясистые, как вареники, потом привели в расстройство губы, особенно нижняя, оттопыренная и всегда мокрая.

«Несоответствие носа и ушей, — пронеслось искрой в мозгу Маслякова, — может привести к плоскостопию и утрате миллиона».

Нет, свой миллион он так просто не отдаст, все деньги до последнего цента были расписаны Масляковым на заранее решенные траты. Церковь, дом для семьи, машины, кругосветное путешествие.

Но тот голос, со стороны, решительный и уверенный в себе, внушал:

«Болван!.. У тебя дверь из ДСП. Пни хорошенько — и развалится. Ищи-свищи тогда свой миллион».

И Масляков занялся укреплением входной двери. С обеих сторон он нашил на нее по слою толстой фанеры, врезал дополнительный второй замок, лампочку на лестничной клетке, чтобы не выкрутили, заключил в проволочную сетку.

Много забот доставило оборудование тайников для миллиона. Масляков решил их сделать два, чтобы рассредоточить капитал и не хранить в одном месте, что было бы весьма удобно для вора. В выдвижном ящике комода он соорудил двойное дно, куда вполне могло войти тысяч пятьсот стодолларовыми бумажками. Остальные деньги Масляков предполагал спрятать под досками пола на балконе, решив, что уж там-то, на виду у прохожих, никто искать их не будет.

Перед розыгрышем тиража, в четверг, он впал в сумеречное, тревожно сонливое состояние. То в голове раскаленными искрами метались обрывки каких-то слов и фраз, то его сознание надолго заволакивала мутная серая пелена, и он сквозь нее слышал, как сосед с первого этажа, по виду явный бандит, договаривается с дружком подломать масляковскую квартиру, и только одно их останавливает, что не знают, где искать деньги.

Вечером Масляков включил телевизор и уселся перед ним в кресло. Наконец на экране выскочил бойкий ведущий, закружились в бесовском танце шары, и стали высвечиваться цифры выигрыша. Когда выпал последний шар, Масляков возбужденно соскочил с кресла и с радостными воплями стал кружиться по комнате!

— Миллион! У меня есть миллион!..

...Врач психбольницы с любопытством смотрел на сидевшего напротив него субъекта.

— Ну как, Масляков, вы сегодня спали?

— Нормально. Вот только тараканов много. Один в ухо забрался и щекотится усиками.

— Нет у нас тараканов. Это вам кажется.

— Как нет, есть.

— Ладно, оставим это. Давайте лучше поговорим о миллионе. Он что, действительно у вас есть?

Масляков нахмурился и опустил глаза.

— Ну, так как? Может, его и нет в природе, этого миллиона?..

— Как нет, если я его сам спрятал!.. До него никто не доберется. Скоро мы его с вами начнем тратить.

— Да?.. Интересно, интересно. И каким образом?

— Надо тут у вас ремонт капитальный сделать, а то поэтому в церковь никто не ходит. Потом, когда закончим, до Парижа прямым рейсом с женой. Может, и вы с нами, а, доктор?..

НОС

– 1 –

В городских околотках, которые разрослись вокруг построенных второпях в войну заводов и постепенно сомкнулись между собой, образуя наш город, бабы узнают свежие новости в магазинах и на базарчиках, а мужики — возле пивных ларьков. А новости эти самые обычные: у женского населения — почём на базаре картошка, прибавили ли цены на продукты, а у мужиков — кто в вытрезвиловку попал, кому карманы очистили, в каком магазине бормотуху дают.

Не для сегодняшних читателей, а так, для истории, скажу, что пивной ларёк представляет собой фанерный или алюминиевый ящик с дыркой. Внутри ящика сидит разбитная бабёнка или краснорожий парень, которые разливают мутное пойло, именуемое пивом, в подаваемую им тару — от полулитровой кружки, найденной тут же, в кустах, до вёдер и канистр.

Не знаю, как в других околотках, а в нашем пивнушка начинает работать с самого раннего утра. Зимой, бывало, нигде ни огонька, только автобусы начинают ходить, а она, родимая, уже светится, какие-то тени шебуршат, снег скрипит. Мороз под сорок, а мужикам всё нипочём, пьют за милую душу, потом дрожат мелкой частой дрожью, охладевают до самого нутра, но всё равно пьют.

И раньше пивнушка не простаивала, а сейчас, когда безработица началась, вокруг неё всегда густо народу. На какие-такие шиши пьют? Это кто как вывернется. Кто у жены деньги последние сопрёт, кто просто дрожит и ждёт, что ему оставят в банке недопивок, кто пустую посуду сдаёт — по-разному...

В других местах, слышно, жгут эти самые пивнушки, дерутся. Нет, у нас тихо, в основном...

И вот в одно распрекрасное утро пришёл ко мне сосед с первого этажа, Сергей, мужик лет тридцати пяти, монтажник.

— Алексеич, выручай!

— Чем тебя выручить, Серёга? — говорю, хотя по опухшей роже вижу, что мужику требуется.

— Дай на банку пива. Вчера перебрал.

Деньги у меня были, и не жалко было дать, но бумажка больно крупная. Показал её Сергею. Тот почесал в затылке. Потом говорит:

— Знаешь, что. Пойдём к ларьку, я банку куплю, а сдачу заберёшь.

Летом было дело. Надел я спортивный костюм, и мы пошли.

В бетонном колодце двора было прохладно и грязно. От мусоропровода несло овощной гнилью, в воздухе на ветру носились клочки бумаги. Здоровенные откормленные псы таскали за собой заспанных хозяев.

Через арку мы вышли на улицу и попали в деревню. С десяток домов, уцелевших от сноса, утопали в зелени садов, пахло молодой росной травой и горьковатым дымком растопленной по случаю субботы бани. Кудлатый пёс, по-хозяйски разлёгшийся посреди дороги, поднял голову и проводил нас ленивым незлым взглядом.

Возле алюминиевой пивнушки толпились десятка полтора мужиков. Кто уже пил

пиво, кто стоял в очереди. Серёга достал банку, взял у меня деньги и пошёл напрямую к амбразуре. Через мгновение он вернулся.

— Сдачи нет.

— Ну, возьми так. Пока пьёшь, продавец наберёт денег, — расщедрился я.

— Хорошо, я сейчас.

Через пять минут мы уже сидели на скамейке, и Серёга судорожно глотал пенистое пиво, крякал, снова глотал и, отпив половину трёхлитровой банки, удовлетворённо сказал:

— Вот теперь вроде полегчало!

Мы сидели не одни. Вокруг нас было ещё несколько человек из нашего дома, так, полузнакомые люди, с которыми я встречался в подъезде, на улице, изредка здоровался. Они тоже опохмелились, ожили, закурили и заговорили.

— Да, Борис, влип ты вчера! — сказал один из них, из соседнего подъезда, сварщик, своему соседу по площадке. — Мы с Валюхой вчерась только спать наладились, как у тебя такой хай начался, что мой Джек чуть ли не на дыбы от злости встал. Глянул в окно — «скорая», потом «ментовка». Ты извини, я выходить не стал: сам был на поддаче... Чё там у тебя стряслось? Вы же со свояком вроде гуляли?..

Борис отпил пиво, поставил банку на землю и сморщился.

— Да ты не скрывай, — сказал Серёга. — Тут все свои.

— Что, менты повязали? — поинтересовался кто-то ещё.

Борис свернул самокрутку, прикурил, сплюнул, почесал в затылке и спокойно сказал:

— Я вчера свояку нос откусил.

Недолгое изумлённое молчание взорвалось хохотом, хотя смешного вроде бы ничего и не было. Наиболее смешливые ещё похохатывали, а сварщик уже деловито расспрашивал, как всё случилось.

— Да как? — вяло отвечал Борис. — Этот интеллигент давно меня достаёт.

— Почему интеллигент? — поинтересовался я.

— Говори, говори! — сказал Сергей. — Алексеич — свой человек.

Борис оценивающе посмотрел на меня и продолжил:

— Трезвый Женька — мужик хоть куда! А как вольёт пузырь, и начинают в нём вулканчики играть. И жить я не умею, и обстановка у него лучше, и машина есть, а у меня всего мопед. Я, конечно, молчу, а он дальше... Моя Света — контролёром, а его Лариса торговый техникум окончила. Я — водила, а он прораб. Ты, мол, жить не умеешь.

— И вчера тоже? — спросил сварщик.

— И вчера. Выпили по одной. Светка самогонки налила. У него крыша и поехала. Схватил меня за горло, начал душить. Ну, я его за уши и цапнул за носяру зубами.

Мужики снова заржали.

— Что, так целиком и отхватил? — спросил Сергей.

— Самый кончик. Напрочь! Хорошо хоть выплюнул.

— Да, — задумчиво сказал вечно трущийся у пивнушки бывший спортсмен Толян. — Это тебе сто восьмая светит. Тяжкие телесные повреждения...

— Ну, а скорая что? — спросил сварщик. — Там ведь две штуки подъезжали...

— Хорошо хоть телефон есть, — сказал Борис. — Приехали в момент. Кровь остановили. Нос искали, ну, этот, пипку самую. Нашли под телевизором. Врач говорит, хорошо хоть не затоптали. Вроде пришили.

Сергей уже допил банку и выжидательно смотрел на меня, показывая указательный палец.

— Ладно, — согласился я. — Возьми ещё банку, а то у Бориса, наверное, и денег сейчас нет.

Сергей принёс пиво и целую колоду мокрых и мятых денег.

— Во всём этом, — сказал спортсмен Толян, прицеливаясь к полной банке, — есть одна загвоздка. Вот как утрясти это дело?

— Милиция прямо дома протокол состряпала, а что дальше, не знаю.

— Может, на тормозах всё сойдёт? — предположил Сергей.

— Ну, ты пей, Борис, пиво, — сказал я. — Случай, конечно, вышел дикий и одновременно смешной.

Я поднялся со скамейки. Серёга встрепенулся:

— Алексеич! Я долг отдам. Как штык! И Борису помочь надо.

Я пожал плечами и пошёл домой, уныло и грустно думая о том, что, может, и прав был академик, недавно заявивший, что человек всего лишь на четверть человек, а на остальные три четверти — зверь. Правда, выразился он не так прямо: мямлил о примате биологического над духовным. И вот пример — откусил нос свояку. Так кем он был, этот Борис, в момент откушения, откусывания или как там?

Я пришёл домой, сел за рабочий стол и спрятал рукопись начатого рассказа в ящик. Зачем писать? Зачем ломать голову, увечить сердце?.. Вот он позади меня, стеллаж, где стоят книги выдающихся мыслителей за почти всю письменную историю цивилизации, от Библии и Гомера до последних отчаянно крикливых словописцев. А стал ли человек лучше? Вот вопрос для любого писателя.

Закрыл глаза и увидел Бориса. Не пасть, а аккуратно сложенные губы, чистые ровные зубы существа, привыкшего к варёной пище. Да, человек...

– 2 –

Сергей пришёл ко мне дней через десять, отдал долг и, помявшись, сказал:

— Слышь, Алексеич! Тебя Борис просит выйти во двор, поговорить хочет.

— О чём? Ещё кому-нибудь ухо откусил?

— Да нет. Посоветоваться хочет. У него с Женькой разборка идёт. Вот и хочет посоветоваться.

Признаться, меня разбирало любопытство, чем закончится эта история с носом, и я не заставил себя упрашивать.

Во дворе было жарко, и мы отошли в тень кустов возле частных домов. Борис чувствовал себя явно не в своей тарелке. Эти десять дней ему не прошли даром. Он осунулся, и в глазах появилась тоскливая обречённость помыкавшегося по судам и милициям человека.

Сергей сразу объяснил суть:

— Дело против Бориса можно прикрыть, но всё зависит от Женьки. А он ни в какую! Сидит на бюллетне. Отказное заявление не пишет.

— А сёстры как? — спросил я. — Неужели не договорятся.

Борис вздохнул и поморщился:

— Моя уже несколько раз ходила. На колени перед этой сволочью становилась. А он одно: кто мне возвратит утраченную честь и здоровье?

— Ну и сколько же он хочет?

— Понимаешь, Алексеич, — сказал Сергей. — Он, конечно, возьмёт, но ему повыламываться надо, поизмываться. Пойдём к этому обалдую. Он тебя знает, книжки твои читал, а?

Я понимал, что моё присутствие на переговорах мало чем поможет Борису. Но во всей этой ситуации с носом начало прорезываться пусть не гоголевское, но довольно интересное продолжение. Оказывается, нос имел цену, и соблазн поучаствовать или хотя бы поприсутствовать при этом торге толкнул меня согласиться на этот визит.

Женька жил на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Проходя мимо открытого настежь окна, Борис заглянул за занавеску и с заискивающей ноткой в голосе спросил:

— Женя... можно?

В ответ послышалось нечленораздельное бурчание. Дверь оказалась открытой. Мы вошли, разулись и за Сергеем двинулись по полутёмному коридору. Хозяин сидел спиной к нам в кресле, смотрел телевизор и не шелохнулся, когда мы поздоровались. В этот момент мне показалось, что вдруг он повернётся, а вместо носа у него на лице...

Но ничего страшного не случилось. Борис осторожно, на цыпочках, прошёл к столу и поставил бутылку водки. На этот звук Женька среагировал быстрым поворотом головы и увидел всю нашу делегацию:

— А! И писателя привели! Это хорошо, даже очень хорошо. Проходите, садитесь. А вас я не приглашал садиться, — это двинувшимся было к дивану Сергею и Борису. — Я вас, может, сейчас выпру, а с Алексеичем мы посидим, как культурные люди.

Попривыкнув к полутьме комнаты, я обнаружил, что нос у Женьки живёхонек, пришит к тому самому месту, где ему и надлежит быть, только сшивок был чуть заметен, да сам кончик носа отдавал неживой белизной, будто обмороженный.

— Я ведь с вами давно хотел познакомиться... — сказал Женька. — Я литературу люблю, особенно классиков... Толстого, Евтушенко, Окуджаву, Жванецкого... Поговорили бы, да тут вот какой сюрприз от родственничка вышел. Сижу в темноте, людям на глаза боюсь показаться...

— Конечно, это не рядовой случай, — дипломатично сказал я. — Но чего в жизни не бывает?

Женька ничего не ответил, только посмотрел на меня каким-то особенным долгим взглядом, значения которого я, каюсь, тогда не понял.

— Вы ж свояки! — вклинился в разговор Сергей. — Договоритесь по-хорошему, по-родственному. Зачем сюда милицию путать. Что им, дел не хватает? Вон у соседа твоего курей своровали ночью. Слыхал?

Хозяин не обратил на эти слова внимания. Он поднялся с кресла, подошёл к зеркалу

и стал изучать своё лицо.

— Если бы он мне палец откусил, я бы ему и слова не сказал. А то — нос! — он зажмурил глаз. — Вот без одного глаза и то лучше. Это же не нос уже. Нет у меня носа! Так, нашлёпка!.. Я его не чувствую! Как резинка. И запахов не чувствую. Понял, скотина, что ты наделал?

— Женя, брат! Извини, — почти плачущим голосом взмолился Борис. — Я ведь готов возместить лечение. Может, на курорт съездишь, к профессорам? Я возмещу.

— Никто ничего не возместит, — горько сказал Женька. — Стыд мне возместит? Вчера сунулся сходить в сарай, первый встречный сразу залепил: ну, как, мол, резиновый работает?.. Вот и сижу в потёмках и буду сидеть. А может, петельку сооружу да на шею накину. Вот тогда тебе, Борька, припаяют на всю катушку.

В голосе Женьки опять зазвенели слёзы. Я смотрел на мечущегося по комнате молодого тщедушного мужика и не понимал, ломает ли он ваньку или говорит на полном серьёзе, хотя тогда уже должен был догадаться, что он начинает сходить с круга.

— Вот сейчас телевизор смотрю и удивляюсь, какие дурацкие носы у людей бывают. Раньше внимания не обращал, а сейчас мимо себя ни одного не пропущу. У баб вообще глупые носы. Единственный нос нормальный у Собчака. Ну, может, ещё у Козырёва. Я вот слепил нос Собчака из пластилина...

Откуда-то из-под стола Женька достал картонную коробку и вывалил на скатерть с десяток пластилиновых носов.

— Может, это, того, — кашлянул Серёга, — по стопарику?..

— Это можно, — со зловещей ухмылкой сказал Женька. — А где это он? Вот из этого и будем пить. Из моего носа. Ну-ка, Борька, наливай за здравие свояка!

— Может, не надо, Евгений, — попытался вмешаться я.

— Надо! Пей всю бутылку из моего носа, а я заявление буду писать. Ты, Серёга, наливай! Начали!

Водки в нос входило мало, граммов двадцать, и к половине бутылки Борис стал красным, как рак, но Женька не спешил, написал всего ползаявления, и несчастному свояку ничего не оставалось делать, как пить дальше.

Это было муторное зрелище, которое я с трудом вынес до конца. Но это были, как говорится, ягодки. Опьяневший Борис сидел на диване, Женька подошёл к нему и показал заявление.

— Ну, бутылкой не отделаешься! — сказал он, помахивая бумажкой. — Теперь так. Принесёшь видак — и мы квиты!

— Видак! — вскинулся Борис. — Это же сколько денег!

— Три дня сроку!

Домой мы возвращались в унылом молчании, вызывая недоумение у прохожих: один из троицы был пьян в стельку, а двое были трезвей воды.

– 3 –

Через несколько дней я уехал в отпуск и за месяц почти забыл о происшествии с носом. Но вскоре после возвращения домой я встретил Сергея, и он мне рассказал, что Борис купил свояку видеомагнитофон, дело закрыли, а с Женькой случилось ещё одно казусное приключение.

Надо сказать, что почти половина нашего околотка, по причине отсутствия в домах ванных комнат, ходит в баню. Это старое осклизлое от сырости снаружи и изнутри здание было одним из самых посещаемых мест. Вот и пошёл Женька, уже вполне освоившийся со своим положением, в эту самую баню. Купил билет, разделся, окатил себя для разгона перед парной первой шайкой воды, как вдруг почувствовал огорчительные неприятности в животе от съеденных перед баней помидоров и прочей зелени.

В бане было примитивное удобство, предусмотренное как раз для таких экстренных случаев, а короче, унитаз, на который Женька взобрался, как был, в голом виде. И тут случилось ужасное: унитаз развалился, Женька рухнул на острые обломки и поранил всю свою казённую часть. Вопль пострадавшего потряс баню. Голые и намыленные мужики взломали дверь, извлекли пострадавшего из туалета. Но хохот, сказал Сергей, стоял просто дикий. Из Женьки кровь ручьём, а голые мужики ржут. Но вызвали скорую, увезли зашивать, что он там порезал, оторвал, а что именно, никто не знает.

— Ну, и как он сейчас? — спросил я Сергея.

— Выписался. Пришили ему всё, что надо мужику. Да вон Борис идёт. Он-то лучше всё знает.

Подошёл Борис. Мы сели на скамейку возле подъезда.

— Да, моему свояку опять не повезло. Выписали его. Он теперь страшно занятой. В

рот ни капли не берёт после того случая с носом. А после унитаза в суд на баню подал. Требует инвалидности за счёт бани, чтобы они ему среднюю зарплату всю жизнь платили. Или, на худой конец, компенсацию в миллион рублей.

— Что, действительно серьёзная травма?

Борис пожал плечами.

— У него справок, рентгеновских снимков — гора! Уже за счёт бани к профессору в Самару ездил. К экстрасенсам ходит. Его Лариска отдельно от него на другой кровати спит. Вот и весь диагноз.

— Вот ведь как жизнь распоряжается, — задумчиво сказал Сергей. — Правильно говорят, знал бы, где упасть, так соломки подстелил.

— А мне на улице знакомые проходу не дают. Баня что? У них денег нет, чтоб платить. Заведующая говорит, если присудят платить Женьке, то закроют баню или продадут.

— Где же народ будет мыться? Все заводские баней пользуются. Я вот любитель попариться, — Серёга недовольно покрутил головой. — Этого Женьке народ не простит.

— Да к нему уже делегации ходят. Отступись, мол. И банщицы приходили. А он упёрся — в суд, только в суд!

Вот такие, значит, события произошли, пока я прохлаждался в деревне. Если происшествие с носом имело характер индивидуальной разборки между свояками, то падение Женьки в унитаз и последовавшие за этим события получили общественную окраску. Помывочная публика, а её была не одна тысяча в околотке, явно волновалась и с нетерпением ждала результатов процесса.

На суде я не был, но уже через день в околотке только об этом и говорили: Женьке присудили миллион за пожизненный ущерб, а баня закрылась на ремонт, причём в объявлении о закрытии было написано, что ремонт продлится не менее двух лет. Публика, ясное дело, взвыла, но против решения суда не попрёшь. В хозмаге исчезли из продажи детские ванночки и тазы, видимо, жители, готовясь к худшему, запасались подручными средствами для домашнего помыва.

Женьку, конечно, клеймили на всех углах, во всех магазинах, у всех пивных ларьков, а он нигде не показывался. Сидел дома, смотрел видик, или спал, или книжки читал, словом, на улицу не выходил.

И можете представить моё удивление, когда однажды поздно вечером Женька заявился ко мне домой.

— Извините, что зашёл, но я хочу поговорить с вами, — мы прошли в мою комнату. Он осмотрелся, подошёл к книжным полкам. — Много тут у вас всего. Философия, история. Стало быть, много чего знаете, — я молчал, поглядывая на его тщедушную птичью фигуру. События, трепавшие его полгода, казалось, никак на нём не отразились. — Я, собственно, по одному вопросу к вам, — Женька присел в кресло. — Вы, писатели, народ бойкий. Так вот, прошу, не пишите обо мне.

— Это о ком не писать? — поразился я. — О тебе?

— Ну да, обо мне... Обо всём этом, что тут со мной случилось. Я не боюсь, что вы напишете, но, знаете, стыдно будет читать какую-нибудь ерунду. У вас ведь уже определённо какой-нибудь фельетон насчёт меня наклёвывается или занозистый рассказ.

— И не думал даже об этом, — улыбнулся я. — Честно, не думал.

— Да Бог с ним, не думали. Однако я посерьёзнее, чем фельетон, буду! Вы конца дождитесь, конца! Потом уж и пишите на здоровье.

— Какого конца?

— Обыкновенного... Думаете, всё это просто так со мной случается? Нет! Вот ещё чуть-чуть, и ещё что-нибудь случится. А вы напишете, а конца-то не будет!

— Да ничего с тобой больше не случится, — горячо возразил я. — Всё образуется, уляжется.

— Нет, нет! Будет что-то ещё. Но вы не пишите, пока последнее не случится.

— Слушай, Евгений! — разозлился я. — Да на кой чёрт ты мне нужен. Я вообще о тебе не собирался и не собираюсь писать! Давай лучше чаю выпьем.

— А я не говорю, чтобы вообще не писать... Я даже хочу, чтобы вы написали, но после, понимаете, после. А чаю я не хочу.

«Вот ещё один кандидат в Наполеоны, — подумал я. — Одурел от миллиона».

А через неделю прозвучал выстрел. Последний, предупредительный, как я понял впоследствии.

Женька по знакомству пошёл покупать ружьё к соседу. Вертел его и так, и этак, спорил о цене, рядился. И вдруг то ли от сотрясения, то ли от случайного нажатия курка ружьё выстрелило, да так метко, что зарядом дроби отшибло у Женьки большой палец на правой ноге. Опять больница, опять милиция, опять суд, где пострадавший

требовал несуразно большую сумму за причинённый ущерб. Опять загомонил наш родной околоток, обсуждая со смаком, выгорит ли у Женьки дело. Горело, горело, да не выгорело. Суд отказал в иске. И месяца два я о Женьке ничего не слышал.

Уже и январь прошёл, и февраль почти отбуранил, когда Женька опять заявил о себе. Уже в последний раз. Нашли его в сарае висящим на бельевой верёвке. Оплакивали беднягу немногие: жена да мать, приехавшая из деревни.

С той поры год прошёл, а я никак не могу понять, чему был свидетелем и даже невольным соучастником. И что это такое? Серая проза унылого бытия? Издевательское баловство судьбы над человеком? Кто знает? Но и отмахнуться от того, что случилось, тоже нельзя — ведь был человек...

ТЁМНАЯ СИЛА

– 1 –

Электрик Ронжин прожил две трети из своей предпенсионной жизни точно так же, как её проживают все необременённые высшим образованием русские мужики, не торопясь, не задумываясь, не обижаясь на судьбу, что она определила ему своё счастье жить на краю областного города в рубленой избе и вот уже два десятка лет вкручивать лампочки и чинить электропроводку всему околотку, получать за это зарплату в жилищно-коммунальной конторе. Бывали у него, и не так уж и редко, шабашки, но эти деньги он жене не отдавал, тратил в основном на выпивку, к которой приохотился незаметно для себя самого. Правда, водка ещё не взяла над ним верх, и они существовали как бы на равных: то она вдруг без всякого повода понесёт его к магазину, то сам он среди застолья вдруг возьмёт и заартачится — не буду пить, и баста!

— Как не будешь, Лёха! — начинали шуметь мужики. — Ты деньгами, как и все, вложился, а теперь как? Отливать тебе твою долю от общей бутылки?.. Нет уж, ты не дури, пей свои сто пятьдесят — и катись на все четыре стороны!

— Другой раз больше плеснёте. Меня нынче дома ждут.

— Нет, другого раза не будет, — настаивали собутыльники, но Ронжин, не оглядываясь, покидал компанию, чем вводил кого в недоумение, а кого в радость оставленной водкой.

Проходил день, другой, иногда и неделя, и Ронжин не брал в рот ни капли, а потом наступали дни, когда он вечером без бутылки домой не являлся, ставил её на обеденный стол и говорил тревожно поглядывающей на него супруге:

— Сооруди-ка, Мария Кузьминична, на закусочку что-нибудь существенное...

— Борщ на плите, там же котлеты, вермишель, — отвечала жена и уходила в свою комнату, где сразу начинала кашлять и стонать.

Она уже пятый год маялась от затяжной простуды, доктора то находили у неё легочное заболевание, то оно вдруг само собой рассасывалось, но от этого ей легче не становилось. Одышка и слабость в ногах заставили её расстаться с живностью, а Ронжины держали и коз, и свиней, как, впрочем, и все, кто жил на их улице, которая заканчивалась заболоченным лугом, поросшим осокой, камышом и мелким кустарником.

Вот и сегодня, выпив стаканчик водки, Ронжин до пота хлебал горячий и густой борщ, затем, выпив ещё стаканчик, спросил супругу:

— Кроли ещё не все передохли?

— Кто их знает? — сказала Мария из своей комнаты. — Я из дома не выходила. Сил никаких нет. Еле-еле смогла картошки для борща начистить.

— Ладно, я пойду гляну, — он поднялся со стула и заглянул к жене. — Тебе что-нибудь надо?

Мария подняла на мужа измученный взгляд.

— Присядь рядышком, Лешёнька. В обед я прикорнула и сон видела, что постучался к нам старичок. Я вышла на крыльцо, а он говорит: «Хвораешь, доченька?» — «Хвораю, да так, что сил моих нет!» — «А я затем и пришёл, чтобы помочь твоему горю». Я говорю: «Не руки же мне на себя накладывать?» — «Зачем, — говорит старичок, — как только тебе муж скажет, чтоб ты умерла, так и будет».

— Ты часом не чокнулась? — хмыкнул Ронжин.

— Я и сама в этот сон не верю, — тихо сказала Мария. — Но вдруг это правда?

— Что правда? — не понял Ронжин.

— То, что ты одним словом сможешь избавить меня от мук, — горько вымолвила

Мария. — Ведь сил у меня нет дальше болеть. Болею, болею, а конца-то нет... Чем это я богу не угодила, что он меня не берёт к себе?

Жалко стало до слёз Ронжину свою Марию, он сглотнул сухой комок в горле, смахнул с глаз слезинки, взял её руку и прижал к своим губам.

— Не горюй, ты не одна, — прошептал он. — А чему быть — того не миновать.

— Так-то оно так, — вздохнула Мария. — Только больной здоровому плохой товарищ и никудышный помощник. Ты лучше скажи мне это слово. Сразу и я отмучаюсь, и ты.

Ронжин резко встал и молча вышел из дома. Сел на крыльцо, закурил и задумался. Затем достал из кармана мобильник и позвонил дочери. Он хотел поделиться с ней тем, что услышал от Марии, но пока шли сигналы вызова, передумал. Дочь была на шестом месяце беременности вторым ребёнком, и её не стоило беспокоить выдумками больной матери. Поэтому спросил первое, что пришло на ум:

— Как вы там?

— Как всегда. Вася патрулём ушёл по гарнизону, Олежка спит, а я постирушками занялась. А как ты, как мама?

— Пока живы...

Выключив мобильник, Ронжин подумал, что пора опорожнить очередной стограммовый стаканчик водки, и уже начал подниматься на ноги, как вдруг его ожгла мысль, что ведь он не далее как несколько дней назад на этом же самом месте произнёс те слова, которые его только сейчас со слезами на глазах умоляла сказать Мария. Сказал, правда, наедине с самим собой, не прошептал даже, а в уме, но ведь сказал. И пусть никто их не слышал, но он-то об этом знает. Но если знает человек, то об этом неизбежно знает и Бог.

«Чёрт меня дёрнул за язык, — сокрушался Ронжин. — Делов-то, кипяточку плеснула случайно на штаны, а как я взбеленился и выматерился и, выбежав на крыльцо, пожелал ей поскорее загнуться. А Марии сегодня сон как раз подоспел, хотя говорят, что сон в руку до обеда, а она после обеда заснула».

Он встал с крыльца и прошёлся по двору, пытаясь отвлечься от дурных мыслей каким-нибудь делом. Дом был старым, но ещё крепким. Дед срубил его после гражданской войны в родной деревне, где он простоял до конца пятидесятых годов, когда отец, устав маяться с молодой женой в заводском бараке, раскатал его на брёвна и собрал на трёх сотках земли, которые ему выделили под домовладение на окраине города.

За последующие полвека своего стояния дом оброс всякими постройками — сараем для дров и угля, хлевом, где держали корову, курятником, голубятней, баней и «царским местом», куда хозяева не заглядывали, потому что все удобства со временем были устроены в доме: и ванная с душем, и туалет, и водяное отопление. Дворовые постройки были сколочены из досок и жердей и сильно обветшали, а кое-где и насквозь прогнили, но Ронжин почему-то не сносил их, хотя надобности в них не было. Несколько кроликов содержались в бывшем дровяном сарае, и хозяин сам присматривал за ними.

Мысль о том, что слово проклятия всё-таки было им произнесено, поразила Ронжина, и он на какое-то время даже забыл по дороге к крольчатнику, куда направился.

«Как же я это так?» — с недоумением вопрошал он, то глядя в небо, покрытое непроглядной облачной мглой, то упершись взглядом в землю. Ответ на вопрос являлся довольно скоро и без всякой подсказки со стороны.

«Я ведь пожелал худа до того, как ей приснился этот проклятый старикашка! — обрадовался он. — Значит, всё, что было до его слов, не имеет силы».

На радостях он хотел остограммиться, почти шагнул на крыльцо, но удержал ногу и мысленно пообещал себе, что никогда не произнесёт этого слова — ни во хмелю, ни в трезвости. И в этой клятве не было вранья. Ронжин любил свою Машеньку, но избегал признаваться в этом и ей, и самому себе даже в молодости, когда им случалось сходиться для сладкой потехи. В последние годы из-за болезни жены это было всё реже и реже, а пару лет назад Ронжин и вовсе переселился из спальни в другую комнату, чтобы поставить на этом вопросе супружеской жизни окончательную точку.

Однако повелевают своей натурой только монахи и то не все, а Ронжин был вполне здоровым мужиком, едва переступившим за своё сорокапятилетие, который не гнушался ни горьким, ни сладким. Только где этого сладкого взять, чтобы не попасть впросак перед супругой, которая, нет-нет, да и поглядывала на него испытующим взглядом и со слезой в голосе вопрошала:

— С кем это ты, Лёшенька, вчера припозднился?

— Как где, на шабашке был. Проводку на даче ставил с Серёжкой. А ты что подумала?

— Тут и думать нечего, — повздыхав, говорила Мария. — На шабашке был, а явился

трезвый, как стёклышко.

— Я и сейчас с работы пришёл трезвый. Нет, ты говори, что у тебя на уме?

— Ничего у меня там нет, — начинала заливаться слезами Мария. — Дура я, дура!..

В ответ на бабий укор Ронжин уходил в крольчатник, включал свет, усаживался на табуретку и устраивал для успокоения нервов газетную читку вслух.

— Так, как там поживает госпожа Васильева, королева «Оборонсервиса»?..

Кролики прядали ушами, поблескивали раскосыми очами и поначалу вели себя смирно. Однако выдержки хватало ненадолго, зверушки начинали возню, толкотню. Ронжин грозил им пальцем и укоризненно выговаривал:

— И не надоело вам шоркаться день и ночь? Вы не в Австралии. Это Россия. Вот выкину на мороз, так сразу поймёте, каково здесь жить и размножаться?

– 2 –

Потоптавшись возле крыльца, Ронжин прошёл в палисадник перед домом, раздвинул куст красной смородины и, сорвав несколько веточек с переспелыми ягодами, освежил пересохший рот сладковато-кислым соком. Хозяйским глазом оглядел фасад и подумал, что надо бы обновить покраской оконные наличники и рамы. Подумал и тут же забыл — в кармане тренькнул мобильник, но пока Ронжин его вынимал, умолк. Он глянул на определитель номера и хмыкнул: это давала о себе знать Лялечка, мол, позвони мне, как освободишься. Ронжин прошёл к северной глухой стене дома, воровато оглянулся по сторонам и нажал на клавишу вызова абонента.

— Хочешь, угадаю, где ты сейчас находишься? — пропела Лялечка.

— И где же?

— Смотришь, как и я, по телевизору сериал. Угадала?

— Ем с куста смородину.

— Какая прелесть! — воскликнула Лялечка. — А у меня опять лампочка перегорела. Требуется электрик.

— Оформи, как положено, вызов в ЖЭУ, — жарко выдохнул Ронжин в трубку.

— Может, обойдёмся без формальностей, — хихикнула Лялечка. — У меня к тебе серьёзный разговор.

Ронжин выключил мобильник и усмехнулся. С Лялечкой не соскучишься, она, несмотря на свой сороковник, была всегда весела, игрива и сумела свои отношения с ним сделать приятной для обоих и ни к чему серьёзному не обязывающей забавой. Ронжин, хотя и был знаком с ней более двух лет, никак не мог понять, когда она говорит правду, а когда прикалывается, и на все его попытки уличить её в выдумках отвечала, жеманно топыря губки:

— Ах, что мне делать, если я всегда права!

Однако Лялечка не была простушкой и о себе ничего не рассказывала. Ронжин про неё знал только то, что она была замужем, но по какой-то причине не родила. Кирпичный особняк достался ей от родителей, сумевших оставить своей дочери внушительное даже по современным меркам домовладение с садом и огородом, которые хозяйка содержала в порядке, используя наёмных работников, благо, что безработных в округе было полным-полно.

— Ах, что мне делать, если я так умна! — восклицала Лялечка всякий раз, когда ей удавалось облапошить в своём салоне оккультных услуг доверчивую клиентку.

Ронжина проницательная гадалка заполучила в свои сети не с помощью карт, присушки и других хитростей. Он достался ей даром. Сам пришёл, вопреки хамским повадкам сантехников надел поверх своей обуви бахилы и осведомился:

— Показывайте, где и что у вас не работает.

Лялечка восхищённо глядела на медицинскую обувку электрика, и в её обвешанной бигуди голове тренькнуло: «Это он...» И, указав на перегоревшую лампочку, кинулась наводить марафет.

— Что я могу поделать, если вижу любого мужчину насквозь, — сказала она зеркалу, подсушивая кудерушки феном. — Он явно не хам, весьма пригож, и руки у него чистые, и ногти подстрижены...

Ронжин, не догадываясь, что хозяйка производит ему ревизию, вкрутил новую лампочку, щёлкнул выключателем и осмотрелся в комнате. Она была довольно уютной: мягкий диван, круглый стол посередине пола на толстых вычурных ножках, в каждом углу по невысокому узкому шкафу и вдоль стены несколько стульев. Ронжин подошёл к столу и стал заинтересованно разглядывать довольно большой, размером с волейбольный мяч, прозрачный, по-видимому, хрустальный шар, покоившийся на чёрной пирамиде-подставке. Лёгким касанием пальцев он привёл шар в движение, и тот из прозрачного вдруг стал молочного цвета, затем снова приобрёл прозрачность, по нему, вспыхивая, пробежали крохотные огоньки, которые отразились на потолке и

стенах.

— Извините, я нечаянно коснулся шара, — сказал Ронжин, заслышав шаги хозяйки.

— Что я могу поделать, если этот шар привлекает внимание мужчин больше, чем хозяйка, — прощебетала Лялечка. — Но я должна вам сказать, что лампочки у меня перегорают одна за другой.

— Надо проверить проводку, — сказал Ронжин. — Но это не входит в обязанности дежурного электрика.

— Приходите вечером, часиков в восемь, и проверьте всё, что нужно, — томно произнесла Лялечка и взяла Ронжина за руку. — Вы такой большой и сильный, — она положила свободную руку на шар и посмотрела ему в глаза. — Что я могу поделать, если я так обаятельна? — произнесла Лялечка, и Ронжин почувствовал, что эта женщина необычайно притягательна и красива и даже чем-то ему душевно близка. — Хорошо. Продолжим наш разговор вечером. Вы ведь молчун, я угадала? — Ронжин пожал плечами, подтверждая догадку хозяйки. — Вот видите: просто сама не знаю, что мне делать, если я всегда права?

— А чем плохо быть всегда правой?.. — сказал Ронжин, направляясь к выходу.

На улице он обернулся, но никого не увидел, ни в окнах, ни на крыльце, и не спеша отправился домой, где его ждала хворая жена, раздумывая над тем, что с ним произошло. И, зайдя в калитку своего дома, вынужден был признать, что Лялечка его заинтересовала и манерой своего поведения, и простодушной откровенностью, и кое-чем ещё, что Ронжин намеревался изучить и оценить уже сегодняшним вечером.

Хотя Ронжин не имел опыта самовольных отлучек из дома, это у него получилось как бы само собой.

— Кстати, Маруся, один из наших электриков попросил его подменить на дежурстве с восьми и до полуночи. К нему гости понаехали...

— Возьми с собой что-нибудь перекусить, есть пирожки с ливером, свежие.

«То ли я делаю?.. — спросил себя Ронжин, глядя, как жена заворачивает пирожки в бумагу. — Одно утешает, что об этом она не узнает, хотя пора бы ей и сообразить, что природа своё требует. Взять тех же кроликов. Как-то крольчиха сдохла, так кроль от тоски и скуки всю клетку погрыз. На нас, людей, посмотреть в тот же телевизор — один бабах да трах-перетрах...»

Приободрившись, Ронжин отправился натаптывать дорожку к дому Лялечки и очень быстро так поднаторел в этом деле, что мог дойти до него с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться, в смысле, что ни разу даже не был заподозрен Марией в супружеской неверности, а тем более, в ней уличён.

– 3 –

Словом, навадился Ронжин ходить к Лялечке, как кувшин по воду, и, получив приглашение, оседлал велосипед, который только затем и приобрел, чтобы поспешить к своей зазнобе, и скоро был возле знакомого дома, который, надо сказать, находился через три улицы. Перед тем как войти, он тренькнул несколько раз велосипедным звонком, но хозяйка не выглянула в окошко, как бывало, и Ронжин своим ключом открыл высокую глухую калитку, вошёл во двор, прислонил велосипед к крыльцу и отворил входную дверь.

Иногда игривая не по годам Лялечка встречала его на пороге, чтобы броситься желанному гостю на шею, но веранда была пуста, и Ронжину вдруг почудилось, что кто-то мимо него прошёл и расшевелил воздух, оставив за собой ощутимый след. То, что кто-то здесь только что был, подтверждали и открытые двери в сени и в комнаты. Ронжин оглянулся: дверь на веранду с крыльца, которую он только что плотно прикрыл, была полураспахнута. И ему вдруг стало зябко от сквозняка, хлынувшего из дома на улицу, и почти неудержимо захотелось убежать отсюда и не возвращаться никогда. Скорее всего, он так бы и поступил, но вспомнил о Лялечке: может, с ней что-то случилось.

Ронжин быстро вошёл в комнату и обомлел: Лялечка с закрытыми глазами лежала на диване и была мертвенно бледна. Он её окликнул, но ответа не дождался и, осторожно приблизившись к дивану, коснулся женского колена. По телу Лялечки пробежала дрожь, она дёрнулась и, открыв глаза, испуганно вскрикнула.

— Не надо так со мной играть, — обиженно произнёс Ронжин. — Я ведь и вправду решил, что тебе плохо.

— Что я могу поделать, если я... — начала в своей обычной манере Лялечка, но вдруг икнула и схватила его за руку. — Он ещё здесь?..

— Кого ты имеешь в виду? Здесь никого нет. Разве здесь кто-то был?..

Лялечка медленно поднялась с дивана и, ведя гостя за руку, обошла все комнаты, заглянула во все подсобки, даже в подпол.

— Вроде никого. Значит, он ушёл.

— Про кого ты говоришь?

Лялечка подошла к столу, схватила магический шар и поднесла его к глазам.

— Он умер, — трагическим шёпотом произнесла Лялечка.

— Кто умер? — Ронжин обнял плачущую женщину и усадил на диван. — Кто умер?..

— Мой шар, — всхлипнула Лялечка. — Он его умертвил.

— Нет, у меня, дорогая, от тебя голова кругом идёт, — начал сердиться Ронжин. — Я, пожалуй, отчалю. Меня кролики ждут, с ними и помолчать приятно. А у тебя что-то сегодня невесело. Говори, что с тобой случилось после того, как ты мне позвонила?

— Я звонила?.. Не помню, — Лялечка сжала ладонями виски. — Я помню лишь то, что хотела тебе позвонить. Но вдруг мне стало не по себе, я села на диван. Подняла голову и увидела старичка...

Ляля умолкла, а Ронжин, поражённый услышанным, вскричал:

— Что дальше было! Дальше!

— Он мне сказал, чтобы я перестала с тобой греховодничать... Брось, сказал, его, если живой хочешь быть... Я ему такое, говорит, горе приготовил, что мало не покажется...

— Значит, старичок приходил? — скривился Ронжин и, поднявшись, подошёл к окну.

— А ты что, его знаешь? — воскликнула Лялечка.

— По-моему, знать такое — это по твоей части. Я работяга, электрик, на меня в ЖЭУ за этот год, да и за прошлый, ни одной жалобы не было, а тут такой наезд. И что это за старикашка в нашем районе объявился? Моей жене он тоже являлся.

— Это тёмная сила, — прошептала Лялечка. — И ты её ко мне привёл.

— Может, не надо ля-ля?.. — вспыхнул Ронжин. — Тёмная сила!.. Я знаю одну силу — силу электричества. А всё остальное, извини, бабий треп, — Ронжин вышел из комнаты, но скоро вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками. — Ничего, что я похозяйничал? — развязно сказал он, откупоривая зубами бутылку. — Сейчас мы всю тёмную силу разгоним, а мало покажется — ещё нальём. Правда, Лялечка?

Она попыталась улыбнуться, но только смогла сморщить губки и взяла поданную ей рюмку подрагивающей рукой. Ронжин, наперекор чувству страха, который начал ощутимо познабливать ему нутро, напустил на себя веселость. Лихо опрокинул в рот одну, а за ней и другую рюмку водки, облапил и притиснул к себе подрагивающую Лялечку и уже примеривался, как бы удобнее опрокинуть её на диван, как по железной крыше дома забарабанили капли дождя, в отрытые форточки пахнуло грозовой свежестью, где-то совсем близко, совсем рядом с потяготливым треском начал громыхать и грохотать гром и засверкали молнии.

Лялечка вырвалась из ослабнувших объятий Ронжина и, подбежав к книжным полкам, начала что-то искать, перекладывая книги, блокноты, журналы и декоративные безделушки.

— И что вы там ищете, мадам? — икнув, осведомился Ронжин, успевший выпить уже четвёртую рюмку водки. — Наверно, что-нибудь особо ценное, что вполне мог спереть или стырить, впрочем, неважно, как это назвать, украсть, этот мерзкий старикашка.

— Господи, ну куда же она подевалась! — воскликнула Лялечка и уронила на пол стопку книг. — Наконец-то!

Она опустилась на колени, что-то взяла в руки, прижала к губам и, закрыв глаза, начала взад-вперёд покачиваться. Ронжин, освободив очередную рюмку от содержимого, подошёл к ней и с трудом разжал плотно сомкнутые руки женщины.

— И как тебя понимать? — сказал он, разглядывая совсем маленькую иконку с изображением Богоматери и младенца Иисуса. — Ты что, верующая?

Резкий удар грома потряс жилище. Он был такой силы, что рюмки на столе заприплясывали и на полке книжного шкафа зазвонил будильник. Ронжин подошёл к нему, отключил и услышал, как Лялечка, что-то пробормотав, замолкла. Он повернулся к ней и увидел, что она стоит на коленях и едва сдерживается, чтобы не разрыдаться.

— Я не смогла перекреститься, — всхлипнула Лялечка. — Руку подняла, а куда опустить, не знаю...

— Если не удалось помолиться, то, наверно, в самый раз согрешить, — дурашливо хохотнув, сказал Ронжин. — Прячься подо мной и забудь всё плохое.

Он распахнул руки и попытался обнять Лялечку, но она отбежала к дальней стене и крикнула:

— Уходи! Я не могу и не хочу тебя видеть!

— Как уходи? — опешил Ронжин. — Ты что, меня выгоняешь?

— Уходи! И забудь сюда дорогу.

Ронжин не обиделся, по строгому счёту, Лялечка его забавляла, но душу не затрагивала. Сегодня она была не в себе и могла устроить скандал, и это его испугало. Он с сожалением глянул на оставшуюся водку, шагнул к столу и опорожнил досуха бутылку из горлышка.

— Счастливо оставаться, мадам! — он сделал два шага и остановился, надеясь, что она его окликнет, но этого не случилось, Лялечка была так удручена случившимся, что ничего не видела и не слышала. Ронжин сделал ещё шаг, и в этот миг из окна ему ударил в глаза луч солнца. Стало тихо, и откуда-то с улицы донёсся жалобно-требовательный плач котёнка. — Ну, я пошёл! — произнёс он внезапно осевшим голосом и толкнул дверь, хотя покидать жилище ему совсем расхотелось.

Дверь на веранду оказалась входом в почти непроницаемую темноту. Грозовые тучи опять налезли друг на друга, ливень хлынул с прежней силой, в небе с треском ломались молнии и оглушительно загрохотал гром. Открыв дверь на крыльцо, Ронжин увидел на нём освещённого молниевой вспышкой мокрого чёрного котёнка, который зашипел и, выгнув спину дугой, пошёл ему навстречу.

— Ах ты, гад, — пробормотал Ронжин и попытался обойти его стороной, но котёнок, зашипев, прыгнул, вцепился ему в штанину и, вонзая когти в тело, полез по человеку наверх. Это было неожиданно и потому очень страшно. Ронжин схватил котёнка, отодрал его от одежды и отбросил в сторону. У него мелькнула мысль вернуться в дом, но он усилием воли подавил приступ слабодушия и сбежал с крыльца, где на него обрушились почти непроходимые потоки ливня.

Вытащив за калитку велосипед, он взгромоздился на него, поставил ногу на педаль и ужаснулся: чёрный котёнок был рядом и готовился опять вцепиться ему в штанину. Ронжин, толкая велосипед перед собой, выбежал на почти сплошь покрытый потоками воды уличный асфальт, забросил ногу через сиденье, что есть силы надавил на педали и помчался по улице, рискуя каждый миг упасть наземь и расшибиться.

Дальше переднего колеса велосипеда ничего не было видно. Вода лила как из ведра сверху, летела из-под колёс снизу. Вспышки молний временами освещали улицу, и Ронжин пристально вглядывался вперёд, чтобы не пропустить поворот на свою улицу. Своего преследователя он не видел, но тот был рядом, и стоило только чуть притормозить, как котёнок давал о себе знать шипением и противным плачущим криком.

Повернув на свою улицу, Ронжин попал в ещё большую темноту из-за высоких и густых тополей, которые, намокнув, с порывами ветра обрушивали на него добавочные к ливню потоки воды. До дома оставалось не больше сотни метров, это Ронжин понял по тому, что асфальт закончился, дальше шла насыпная, глина и щебень, времянка. Велосипед забуксовал, и он, сойдя с дороги на тропку, покатил его, ругая себя за то, что не остался у Лялечки: лежал бы сейчас на чистых простынях, так нет, попёрся спьяну в грозу и ливень. Однако вполне здравые рассуждения вмиг испарились, когда Ронжин увидел впереди себя взъерошенное и мокрое существо, которое, посверкивая глазами и оскалив клыки, приближалось из зарослей акаций. По виду это был всё тот же котёнок, только он стал много крупней, клыкастей и когтистей. В этот раз он не шипел, а двигался в полной уверенности, что от него некуда деться. Это понял и Ронжин и похолодел от ужаса. Его преследователь был от него не более чем в двух метрах и припал к земле, чтобы прыгнуть со всех четырёх лап, но человека спас заложенный в нём инстинкт самозащиты. Он швырнул велосипед на изготовившегося к нападению врага. Жалобно тренькнул велосипедный звонок, лапы зверя попали между колесными спицами, и он, почувствовав боль, заверещал и задёргался, как в капкане.

Удар грома побудил Ронжина к действию, и он, не выбирая пути, рванул изо всех сил напрямик через огородные зады к своему дому. Ноги несли его сами, страх придал ему силы, и забор своего огорода он преодолел одним махом, подбежал к крыльцу и как подкошенный рухнул наземь. Его сразило то, что возле двери его встретил всё тот же котёнок, правда, ставший вчетверо больше, чем тот, что явился в первый раз на Ляличкином крыльце, но это был он. И последнее, что увидел Ронжин, перед тем как в его глазах померк белый свет и на него обрушилась гробовая тьма, были громадные когти, нависшие над ним, как вилы, и он завопил, пронзительно, истошно и безнадёжно.

– 4 –

Хотя гром и ливень продолжали бесчинствовать над околотком, до Марии донеслись вопли подгулявшего мужа, и она, встав с кровати, вышла в коридор и включила наружный свет перед домом. Затем сунула ноги в галоши, открыла замок и, отшатнувшись, перекрестилась: на лежавшем лицом кверху муже сидел котёнок, который, увидев хозяйку, жалобно замяукал и юркнул под крыльцо.

Озябший под проливным дождём, Ронжин зашевелился, привстал на четвереньках и попытался залезть на крыльцо. Наконец, с помощью жены он преодолел ступеньки и разлёгся на досках, положив голову на порожек сеней.

— Вставай, — сказала, всхлипнув, Мария. — Ведь простынешь, на тебе нитки сухой нет, — Ронжин открыл глаза, не узнавая, глянул на жену и стал подниматься на ноги. — Давай я тебе помогу, Лёшенька. Держись за меня. Вот так. Теперь присядь на скамеечку, а я тем временем ванну приготовлю. Я котел сегодня включила.

Ронжин тяжко опустился на крылечную скамеечку и полез рукой во внутренний карман пиджака. Нащупал смятую пачку сигарет, попытался закурить, но спички не загорались, а только шипели.

— Дай в зубы, чтоб дым пошёл, — пробормотал он.

— Что дать-то?

— Спички, видишь, у меня намокли. Хотя погоди, — Ронжин выплюнул сигарету и заоглядывался. — Ты тут ничего такого не видела?

— Чего такого я должна была видеть?

— Ну, такого, похожего на кошку, — подрагивающим голосом произнёс Ронжин. — Только побольше.

— Если котёнок похож на кошку, — сказала Мария, — то его я видела.

— Где?

— На тебе сидел и пищал. Почему ты об этом спрашиваешь?

Ронжин, не ответив, чиркнул о коробок спичкой, и она загорелась. Прикурив, он недовольно буркнул:

— Чего ждёшь? Иди делай, что надумала.

От выкуренной второпях сигареты у него закружилась голова, воспоминания путались, одна картина мешалась с другой, он много помнил из того, что с ним было в доме Лялечки, а всё дальнейшее заслонил постоянно увеличивающийся в размерах котёнок. И только Ронжин о нём подумал, как из-под крыльца явственно донеслось мяуканье и шипение, а затем послышалось царапанье когтей по железу.

«К водосточной трубе примеривается, — содрогнувшись, понял он. — Хочет забраться на чердак и устроить там своё логово».

— Пойдём, Лёшенька, я воду приготовила, — сказала Мария. — Идём, я тебя поддержу, — в сенях она заставила его снять с себя мокрую одежду, и когда он в одних трусах вошёл в ванную, вскрикнула. — Где же ты так оцарапался? И ноги, и руки, и спина, и даже лицо — всё в царапинах. Глянь на себя в зеркало, — пока Ронжин рассматривал себя в зеркале над умывальной раковиной, Мария успела найти домашнюю аптечку и начала обрабатывать царапины зелёнкой. — Ты мне должен сказать, откуда у тебя царапины?

— В малиннике оцарапался.

— Не лги, — строго сказала жена. — Я медсестра со стажем и вижу, что тебя оцарапали или ногтями, или чем-то похожим.

— Ясно: ревнуешь, — усмехнулся Ронжин. — Да не бабьи эти царапины, а кошачьи, точнее, котёночьи.

— Это я и хотела выяснить, — сказала Мария. — Я сразу поняла, кто тебя оцарапал. И это, скорее всего, котёнок, которого я видела.

— Пусть котёнок, и что?

— А то, Лёшенька, что он наверняка бешеный.

Ронжин от нечего делать почитывал популярную медицинскую литературу и о бешенстве кое-что знал.

— Ты считаешь, что эта тварь заразила меня водобоязнью? — с трудом сглотнув слюну, прохрипел он.

— В любом случае, уколы ставить надо. Так что купаться не будем. Одень всё чистое, а я вызову скорую.

«Раскомандовалась, — хотел сказать Ронжин, но не сказал. — Ожила, что ли? И разрумянилась, и глаза поблескивают, точно у здоровой. Видно, ей моя беда пошла на пользу».

На вызов без промедления явились медики и сразу принялись искать источник инфекции — котёнка, но не нашли. Ронжина доставили в травмпункт, осмотрели и уложили на больничную койку под капельницу, хотя он сопротивлялся и уверял всех, что здоров. Но когда ему сделали укол в живот и объяснили, что в течение полугода ему нельзя пить хмельного, то он притих и от жалости к себе слегка прослезился.

Домой Мария вернулась под утро. Открыв калитку, она насторожилась, выглядывая котёнка. В какой-то миг ей почудилось, что он стоит на балясине крыльца, но заголосил соседский петух, оповещая всю округу, что время тёмной силы подошло к концу, и хозяйка прошла в дом без всякой опаски. Она уже решила, что пойдёт к утрене в храм и после неё упросит батюшку освятить своё жилище.

СТЕКЛЯННЫЙ ГРАФИНЧИК

– 1 –

Выйдя из лифта, Сергей поправил на плече ремень сумки и нажал кнопку звонка. Его ждали, послышался радостный голос дочери, лязгнул засов, железная дверь распахнулась, и первым, что ощутил он, едва переступив порог, были мягкие и теплые губы жены, которая ткнулась ему в щеку и тотчас отступила в сторону, давая дорогу Галочке, трехлетней малышке, метнувшейся к отцу на руки. Сергей подбросил ее вверх, поймал, и она крепко обняла его за шею.

— Мы с мамой твой любимый пирог с капустой испекли!

— Какая ты молодец! А я, как из лифта вышел, сразу почувствовал такой родной запах. Выходит, ты меня ждала?

Дарья взяла сумку и унесла в ванную, чтобы освободить ее от грязной и пропотевшей одежды. Сергей с дочерью на руках пошел за ней следом.

— Ну, и как вы тут без меня жили? — сказал он, поставив малышку на стиральную машину.

— Болели, — вздохнула жена. — Дня два, как перестала кашлять. Пойдем, Галочка, папе нужно с дороги помыться.

Сергей разделся, глянул на себя в зеркало, в котором отразились загорелые до кирпичного цвета лицо, шея и руки ниже локтей, плеснул из флакона в воду шампунь, взбил пену и залез в ванну. В меру горячая вода приятно обволакивала уставшее от тяжелой, почти без отдыха, двухнедельной работы тело. В бытовке не было душа, по утрам строители, поливая друг друга из кружки, кое-как умывались, пили чай с жесткими бутербродами и шли на объект. Сергей работал бетонщиком, нужда погнала его в Москву на заработки, и он по две недели, а то и по месяцу, не бывал дома. Сначала такой кочующий образ жизни его угнетал, но со временем Сергей с ним свыкся, тем более, что в Москве он зарабатывал до двух тысяч рублей в день, а возле дома за такие же деньги ему пришлось бы вкалывать весь месяц.

— Скоро Виктор с Натальей придут. Иду, Галочка, сейчас!

— Нельзя было без них хотя бы сегодня обойтись? — поморщился Сергей. — Завели моду каждый раз приходить в день моего приезда.

— А ты хочешь, чтобы я брата на порог не пускала? — обиделась Дарья и, громко стукнув щеколдой двери, вышла из ванной.

Сергей ополоснулся под душем, утерся полотенцем и пошел на балкон. Солнце уже скатилось за крышу соседнего дома, от бетонной стены несло сухим жаром, он взял сигарету и закурил, заметив, что пачка, которую оставил, уезжая на вахту, почти полной, опустела наполовину. «Без меня покуривает, — подумал Сергей. — А ведь обещала, что завяжет».

Он на дух не переносил курящих женщин сызмала, после того как его тетка во хмелю завалилась с сигаретой в постель, сожгла дом и сгорела в нем сама. Пока они с Дарьей женихались да невестились, Сергей смотрел на сигарету в ее губах снисходительно, покуривала она и до беременности, а когда понесла, с табаком было покончено, но, как оказалось, не навсегда. Это открытие испортило ему настроение, он вошел в зал. Нажал кнопку, чтобы включить телевизор, но тот не работал.

— Даша, что с телеком?

— Не знаю, — откликнулась из кухни жена. — Приходил мастер, копался два часа, но так и не наладил.

Телевизор был обязательным условием полноценного отдыха после вахты. Сергей, вернувшись из Москвы, днями пролеживал перед ним на диване, переключая-перелистывая пультом телепрограммы одну за другой.

— Что мастер сказал?

— А ничего. Вызов был бесплатный, так он штук десять сигарет взял и ушел, — жена заглянула в гостиную. — Ты куда собрался?

— В магазин, за сигаретами, — сказал Сергей, застегивая босоножки. — Что еще купить?

— Сейчас напишу, — заторопилась Дарья. — Надо купить шампанское, конфеты и всякие мелочи.

Пока жена писала записку, Сергей из толстой пачки тысячерублевок отсчитал три штуки и положил в бумажник. Вспомнил, что не взял сигареты, и, сняв обувь, прошел на балкон, где было уже шумно. Сергей посмотрел вниз и увидел, как его сосед с пер-

вого этажа, положив на траву большой букет орхидей, готовится вступить в рукопашную с молодым мужиком, а из зарешеченного окна вопит соседка:

— Только посмей тронуть! Теперь он — мой муж, а ты проваливай в свою Сирию!

— Да тут самая настоящая война! — удивился Сергей. — Они же всегда в обнимку ходили, и вдруг такое.

— Это у них с весны началось, — сказала Дарья. — Она задумала газон устроить под окнами, пригласила специалиста...

— А тот пришелся по нраву этой богатой говорящей корове! — догадался Сергей. — Как это она променяла араба на русского мужика? Абдель к ней с орхидеями явился, а она его гонит, да еще и ментовкой грозит.

Под натиском свирепого араба соперник дрогнул, подбежал к своей машине и ударил по газам — только его и видели. Абдель поднял с земли орхидеи и устремился к окну, но неверная дама сердца захлопнула перед его носом створку.

— Иди, куда собрался, — сказала Дарья. — Концерт только начался, надоест еще смотреть и слушать.

Выйдя из лифта, Сергей на первом этаже столкнулся с Абделем, который ломился в железную дверь.

— Привет, Абдель! — весело сказал Сергей. — Что, ключи потерял?

Сосед повернулся, и Сергей поразился его виду: обычно всегда веселое и улыбчивое лицо было искажено страдальческой гримасой, в больших, похожих на черные сливы глазах поблескивали слезы.

— Я ей отомщу! — взвизгнул он и стал колотить в дверь ногами, выкрикивая то мольбы, то угрозы. В ответ на домогательства пылкого араба из квартиры раздалась такая грязная ругань, что Сергей поспешил выйти на улицу.

«Попробуй отомсти такой кобре, — подумал он, направляясь к торговому центру. — Она кого хошь сама загрызет или натравит бандитов. Абдель — не чеченец и не цыган, свистнуть на помощь ему некого. А ведь какая любовь была!»

– 2 –

«Сладкая парочка» появилась в доме года два назад. Целый месяц на первом этаже шла перестройка: из двух «трёшек» бригада таджиков сварганила шестикомнатные апартаменты с дубовым паркетом, подвесными потолками, евроокнами, финской сауной, железными решетками и бронированной дверью, в которую сейчас колотился всеми конечностями несчастный Абдель.

С арабом Сергей сошелся по случаю. Тот привез шкаф и пытался один втащить его в квартиру. Сосед помог соседу, дорогая вещь без царапин была установлена в зале, хозяин достал из буфета початую бутылку «Абсолюта» и, нацелившийся на фужеры, сказал:

— Как наливать? По-немецки или по-русски?

— Конечно, по-нашему.

Они чокнулись, выпили, но закусить не успели. Откуда-то из глубины квартиры вынырнула хозяйка и свирепо глянула на Сергея.

— Ты зачем сюда бомжа приволок?

— Это не бомж, дорогая, это наш сосед, — переполошился Абдель. — Он помог внести в квартиру шкаф.

— Много ты понимаешь! Отдай ему бутылку — пусть допивает — и запри за ним дверь.

Вот таким противным образом закончился для Сергея первый и последний визит к соседям. Абдель, охая и вздыхая, закрыл за ним двери и с той поры начал здороваться и угощать Сергея всем, что при встрече было у него в руках. А он порожним не ходил, всегда что-нибудь да нес в дом, причем в количествах, которые явно превышали потребности двух человек.

Сергей как-то, приехав с большими деньгами с вахты, зазвал Абделя к себе в гости, чем ввел Дарью в большое смущение.

— Чем мне его угощать? — забеспокоилась она. — Я приготовила антрекот из свиного мяса. А ведь он — мусульманин?

Сергей был уже на легкой поддаче и отмахнулся:

— Не будет есть, и не надо. Пусть налегает на винегрет, салат, блины... Голодным не останется.

Опасения хозяйки не оправдались, Абдель свинину не отверг, как и водку и все остальное, что находилось на столе. Ел он очень аккуратно, и на это обратила внимание жена Дарьиного брата Наталья, которая всегда толкала своего Виктора в бок, когда тот начинал чавкать и ронять мимо стола крошки. Наталья была педагогиней, обладала язвительным нравом и клещом вцеплялась в заинтересовавшего ее человека. Абдель стал для нее экзотической новостью, и она не замедлила запустить в чужестранца свои

цепкие коготки.

Другим было тоже любопытно узнать про араба всю подноготную, и они подбадривали Наталью красноречивыми взглядами. Абдель на вопросы отвечал охотно и многословно, впрочем, никакого секрета в его обрусении не было. Он был, если не жертвой, то экзотическим плодом государственного перетряса, случившегося в СССР, куда приехал получать военное образование в наш город, где находилось единственное в мире училище, готовившее специалистов по обеспечению войск горючим. Сирийцам, не в пример кубинцам и ангольцам, их правительство платило по тысяче двести долларов в месяц, и в нашем городе среди дам определенного разбора они были нарасхват. Не избежал своей участи и Абдель.

— И где ты познакомился со своей? — деловито осведомилась Наталья.

— С Леночкой? — задумался на мгновение Абдель. — В ресторане. Она работала буфетчицей, а я туда частенько заходил.

— Влюбился, значит? — подвела первую черту под расследованием Наталья. — И чем же она тебя так прельстила?

— Не знаю, — развел руками Абдель. — Когда мы остаемся одни, то я чувствую, что нахожусь рядом с раем, который обещал Аллах всем правоверным.

— Вон как! — скептически вымолвила Наталья и повернулась к мужу. — Завидуй, умник: люди в раю живут, а я с тобой в однушке маюсь с ребенком!

Абдель понял, что разговор за столом может принять нездоровое направление, и с улыбкой вынул из кармана японский магнитофонный проигрыватель.

— Счас он тебе, дуре, танец живота включит, — буркнул обиженный супругой Виктор. — Иди покрути своей кормой, да не запнись ногой за ногу.

— А вот и пойду! — вспыхнула Наталья. — Включай, Абдель, на всю катушку!

— Я бы не хотел стать причиной ссоры, — осторожно произнес гость. — Мне русская музыка нравится не меньше своей.

— Включай, — сказал Сергей. — А на них не обращай внимание. Они уже забыли, о чем повздорили.

Абдель включил магнитофон, который оказался на удивление голосистым, и комнату наполнили звуки мелодичного восточного танца.

— Это и есть танец живота? — сказала Дарья.

— Танец живота можно исполнять под что угодно, — широко заулыбался Абдель. — Ведь это, собственно, не танец, а объяснение в любви.

— Ах, так! — вскочила со стула Наталья. — Хочешь, Витюшенька, я тебе объяснюсь в любви?

— Валяй! — махнул рукой муж. — И Дарью с собой прихвати, а мы пока остограмимся.

Пока женщины что-то там танцевали под сладкую и тягучую, как сахарный сироп, мелодию восточных базаров и гаремов, Сергей, Виктор и Абдель освободили стаканчики от водки и, прихватив сигареты, вышли на балкон.

Был конец октября, и с десяток вишен и березок во дворе роняли свое золотое убранство на порыжевшую траву вытоптанных газонов. Небо над разлившимся на несколько километров водохранилищем было тускло-голубым, и высокий правый берег, занятый садами, был тоже заметно желт, и над ним клубилась темная и тяжелая от переполнившего ее мокрого снега громадная туча.

— Быть на днях зиме, — заметил Виктор, поеживаясь от набегавшего невесть откуда ветерка. — А у тебя, Абдель, в Сирии, наверно, жарко? Не скучаешь зимой по теплу?

— Что ему скучать? У него супруга — огонь, возле такой не замерзнешь, — сказал Сергей. — Такой, как она, в Сирии не сыскать. Правду я говорю, сосед?

— Моя Леночка лучше всех, — убежденно объявил Абдель.

— А ты ее в Сирию возил, отцу с матерью показывал? — спросил Виктор.

— Показывал.

— Ну, и что? — оживился Сергей.

— Требуют, чтобы я женился на своей, на арабке.

— Вот красота! — восхитился Виктор. — Мне бы такое счастье. Глядишь, меня вторая жена от Наташки обороняла бы.

— И как твоя, Абдель, Елена глядит на такую перспективу? — сказал Сергей.

— Разве я могу ей об этом сказать? — ужаснулся пылкий араб. — Она ревнива до ужаса.

— Наши бабы такие, — хохотнул Виктор. — Наши бабы сами не прочь завести себе гарем из мужиков.

— Это что там за умник разговорился! — раздавшийся снизу язвительный голос был хорошо знаком Абделю и Сергею, который вытолкал Виктора в зал и плотно закрыл двери. Испуганный араб был уже в прихожей и пытался, не простившись,

покинуть квартиру.

— Кто вас так напугал? — спросила Наталья.

— Его кобра пасть разинула! — зло сказал Виктор.

— Кто ей позволил здесь командовать? — Наталья направилась к балкону. — Я ей сейчас объясню, кто она такая!

Дарья перегородила ей путь, расставив в стороны руки.

— Я здесь, Наташа, хозяйка! Ты наорешь на нее и уйдешь, а мне с ней встречаться, здороваться.

— Выпустите меня отсюда! — раздался из прихожки плачущий голос Абделя. — Она сейчас сюда явится и устроит разгром.

Сергей поспешил открыть гостю дверь, тот выглянул на лестничную площадку, затем на цыпочках подошел к перилам, заглянул вниз и стал, стараясь не шуметь, спускаться на свой первый этаж. Вскоре оттуда донеслись звуки потасовки, затем хлопнула дверь и воцарилась тишина.

— Как там? — сказала Дарья.

— Араба изъяли из обращения и посадили на привязь, — весело доложил Сергей. — Ну, а теперь продолжим наши забавы.

— Продолжим! — охотно согласилась Наталья. — Тем более, твой гость так торопился, что свою сладкую музыку нам оставил.

— Хорошего — помаленьку, — сказала Дарья. — У нас есть и своя песня, правда, Сережа?

— Есть и не одна.

— А мне, что ни говорите, а этого Абделя стало жалко, — вздохнула Наталья. — Пропадет ни за что мужик.

— Чего же ты не спешишь к нему? — съехидничал Виктор. — Сбегай хоть под окошко, проскули ему про свою жалость.

— Да ты никак ревнуешь? — повысила голос Наталья. — Он своей кобре каждый день орхидеи носит, а ты мне даже метелки полыни не подарил.

Виктор явно хотел выругаться, но сдержался и, сунув сигарету в зубы, вышел на балкон.

— Испортила всю нашу малину эта с первого этажа, — Сергей поделился с шурином огоньком. — Абдель в ней души не чает, на днях один из своих магазинов на нее записал, но сколько волка ни корми, он всегда о лесе мечтает.

– 3 –

День перевалил за половину и стал еще жарче, но Сергей за пять лет московской вахты притерпелся и к зною, и к холоду. На последнем объекте ко всему прочему добавился еще и едкий ядовитый дым от автомобилей с двенадцатирядного шоссе, под который строители сооружали подземный переход. За две последние недели Сергей надышался этой гадости до першения в горле и, выйдя из-за дома, с наслаждением ощутил, как его окатило ветром с водохранилища и живой тишиной городской окраины, в которой явственно прослушивались и шум листвы, и поскрипывание ветвей статной и дебелой березы, и звон кузнечиков, и посвистывание синичек в рябиновых кустах.

В магазин он направился не напрямую, а через двор, чтобы поздороваться с мужиками, которые с утра до ночи играли, рассевшись вокруг врытого в землю стола на скамейках, в картежного «козла», громко шумели, незлобно переругивались, а между картами, не прячась, пили купленный на хате ворованный спирт и ворчали, что после сорока пяти лет работу не найти, но как-то и чем-то все жили, ходили голосовать, и половина из них была стойкими сторонниками президента Путина.

В свой каждый приезд Сергей ставил дворовому сообществу литр магазинной водки, три пары пива и закусон, чтобы народ его не забывал и допускал в свой круг на равных, как своего.

— Ну что я говорил! — воскликнул, увидев Сергея, природный лодырь Толян. — Недаром у меня сегодня левая рука чесалась. Я и своей бабе сказал, что сёдни забухаю. Говорю, Серега-москвич явится, так оно и случилось.

— Как же я мог мимо своих пройти, — сказал Сергей и положил на стол полутысячную бумажку. Толян ее цапнул и потрусил в сторону магазина.

— Какой шустрый, — покачал головой Павел, небольшого роста, но плотно сбитый мужик. — Зря ты, Сергей, столько дал, двухсот бы вполне хватило. А то мужики перепьются и завтра к тебе явятся за опохмелкой.

Сергей поморщился: пятисотку зря выкинул, хватило бы и двухсот рублей, но не удержался от дешевого куража. А этой братве всегда мало, схавают пятисотку и не поперхнутся.

— Ну, дал и дал, он своим деньгам хозяин, — сказал ветхий дедок, который, несмотря на возраст, вел активный образ жизни, то есть играл в «козла», пил наравне с

молодыми и поглядывал ястребом на пригожих баб. — Ты нашему приезжему олигарху расскажи, как тебе сегодня сам Путин приснился.

— Какой же я, дядя Костя, олигарх? — удивился Сергей. — Я — работяга.

— Не скажи, — засмеялся дедок. — Ты и есть, по сравнению со мной, самый настоящий олигарх. Сколько в месяц зарабатываешь?

— По-разному.

— Да скажи, здесь все свои.

— Ну, в прошлый раз чуть поболее пятидесяти тысяч вышло, но это с переработкой.

— Вот! Что и требовалось доказать! — удовлетворенно сказал дед Костя. — А теперь ты, Паша, скажи, какая разница в России между богатым и бедным.

— В пятнадцать раз.

— Ага! У меня пенсия три тыщи, ты, Сергей, получил пятьдесят. Выходит, ты богаче меня в семнадцать раз. Да ты по сравнению со мной не только олигарх, а целый Абрамович, Вексельберг и Авен, вместе взятые!

— Какой я олигарх? — улыбнулся Сергей. — Своим горбом зарабатываю.

— Только поэтому ты и сидишь со мной рядом, — авторитетно заявил дед Костя. — Любого другого я бы послал подальше, будь это сам Путин. Он сегодня, наверно, многим приснился, как Паше. С чего бы это?

— Мне такое счастье не выпало, — сказал Сергей. — Я в вагоне спал без задних ног.

— Я его тоже не ждал, — усмехнулся Павел. — Еду на велосипеде, во сне, конечно, и вижу — Путин идет навстречу...

— Как, один? — встрял дед Костя. — А где охрана?

— Не было охраны... Как было, так и говорю. Я притормозил, слез с велика, положил его на траву, жду, что дальше будет. Путин остановился и говорит: «Не надоело на велосипеде ездить?.. Хочешь, я тебе с машиной помогу?» Я замялся, а он подошел к нашему столу, где мужики в «козла» играли, положил на стол пачку тысячерублевок: «Отдыхайте, ребята, только не напивайтесь до поросячьего визгу». Вот, собственно, и весь сон.

— Нет, не всё! — хихикнул дед Костя. — Он, наверно, сегодня проснулся и укорил себя за излишнюю щедрость к тебе. Не жирно ли будет каждому встречному обещать машину, да еще бесплатно. Свистнул про это своему главному гаврику, а тот доложил, что Сергей с вахты едет домой. Вот ему и сунули полтыщи, чтобы он отдал тебе на пропой и ты забыл про обещание президента насчет машины.

— Ты думаешь, что он о каждом помнит? — скептически произнес Павел. — Ему бы, дай бог, запомнить, как министров зовут.

— Они у него одни и те же десять лет, запомнил, — сказал дед Костя и облизнул сухие губы: он страсть как любил расшевелить кого-нибудь на разговор о политике.

— Гуляйте, мужики, — напомнил о себе Сергей. — А я пошел в магазин.

— Будешь в Москве, Владимир Владимировичу кланяйся. Скажи, что помним его и желаем ему царствовать и править многие лета, на сколько России хватит, — проникновенно произнес дед Костя. — Политика у него правильная, я всегда за него и его партию голосую.

Политическая дискуссия Сергея не интересовала. И он поспешил отойти от стола, за которым мужики, ошалев от безделья и «козла», каждый день спорили до хрипоты, пока кто-нибудь не предлагал охладиться пивком или скинуться на что-нибудь существенное, на тот же разведенный водой из-под крана спирт, которым торговали в пяти из двенадцати подъездов девятиэтажного дома.

К магазину Сергей пошел вокруг заросшего ивовыми кустами, камышом и осокой котлована, который вырыли под фундамент, но дом так и не выстроили. За два десятка лет здесь образовался пруд, и в нем бултыхались лягушки, присаживались волжские чайки и была кое-какая рыбешка, которую на удочки-самоделки пыталась поймать ребятня. Сергей постоял возле них, поинтересовался клевом и, обойдя пруд, выбрался на его глинистый и сыпучий берег.

«Хорошо-то как! — подумал он, присаживаясь на теплый травяной бугорок. — Хорошо!.. А вот Абделю совсем худо. И что он прикипел к этой драной курице? Что у нее за приманка спрятана между вислым брюхом и толстой кормой? Денег у них — куры не клюют, детей нет. Зачем живут, для кого? Или только тем, чтобы с утра до вечера имитировать размножение? Она его, судя по всему, окончательно забраковала и хочет выставить вон. А он плачет. Это ужасно, когда мужик плачет».

Это недолгое размышление огорчило Сергея, он не мог не понимать, что его жизнь мало чем отличается от жизни других людей, что он явился на этот свет непонятно зачем и получил от природы единственное утешение — возможность заниматься с Дарьей имитацией размножения две недели в месяц, а остальные две недели отдавать себя рабскому труду, чтобы иметь возможность заниматься тем, что составляет основной смысл его существования, в своей квартире, в своей кровати, со своей и

только ему принадлежащей женщиной.

Бывший учитель истории, он считал себя жертвой доступного высшего образования в стране, где правят не разум, не добродетель, а низменные инстинкты двуногих особей, занятых пожиранием друг друга. «Ладно, — говорил он самому себе, — сильные сожрут слабых, а что потом?» Ответ подсказывала жизнь: народ — это такая самовоспроизводящаяся биомасса, что сожрать его весь до конца не удастся никому. В его толще, как в наземе, перегорает все, что есть в человеке наносного и проходящего.

«Я три года не брал в руки книгу и превосходно себя чувствую. У меня на книжной полке стоят тома Фукидида, Плутарха, Светония, Момзена, Ключевского и других выдающихся историков, а мне нет до них никакого дела, они меня не кормят, и пошли они куда подальше. А вот лопата, которой я ворочаю бетон, моя кормилица и поилица, благодаря ей я могу сидеть сейчас на травяном бугорке, поплевывать на всё, что ниже меня ростом, потому что в заднем кармане штанов пошевеливаются несколько тысяч честно заработанных рублей, которые я могу истратить по своей прихоти».

Мысль о том, что он на сегодняшний день богат, рассеяла чуть не охватившее его целиком плохое настроение, он привстал на бугорке, потянулся, поднявшись на цыпочки, и, весело посвистывая, направился к магазину. Из него он вышел с двумя сумками с продуктами и ближайшим путем, по тропинке между зарослей полыни и бурьяна, направился домой. Зайдя в подъезд, Сергей покосился на дверь квартиры, в которую колотился влюбленный араб. На ней было что-то написано не по-русски, а витиеватой арабской вязью. Что это было: угроза или мольба, Сергей разгадать не мог, но было ясно, что примирение не состоялось.

— Что, отоварился? — дед Костя был уже заметно навеселе и в руке держал литровую пластмассовую бутылку с разведенным спиртом. — А мы решили продолжить. Пойдем!

— Ты Абделя не видел, дед? — сказал Сергей.

— Видел, — осклабился старик. — Сейчас только. Висит на окне, а эта курва сталкивает его вниз. Чую, вот-вот менты приедут.

— Ему ничего не будет: он гражданин Сирии.

— Наши менты дипломатию не знают, мигом карманы у него вывернут, а он без «зелени» не ходит.

Сергей заглянул в щель своего почтового ящика, там что-то белело. Он вынул конверт и присвистнул: письмо было от одноклассницы, о которой он вспоминал только тогда, когда ему на глаза попадался полулитровый графинчик из желтого стекла, подаренный Ниной Кулишкиной на день Советской армии, когда они учились в седьмом классе.

Письмо было коротким:

«Здравствуй, Сереженька. Мне осталось жить совсем недолго. И на прощание я должна сказать тебе, что я всегда, как только себя помню, люблю только тебя. Желаю тебе большого личного счастья и крепкого здоровья. Для себя я прошу совсем немного: вспоминай меня, Сереженька, хоть изредка, как мы сидели в школе за одной партой, катались на коньках на замерзшей старице. Прощай, мой любимый и ненаглядный Сереженька!..»

— На тебе лица нет, — сказала, открыв двери, Дарья. — Если ты расстроился, что я пригласила свою родню, то успокойся, они не идут на свадьбу к Натальиной племяннице.

Сергей отдал ей полученное письмо и прошел с сумками на кухню. Открыл холодильник, взял бутылку пива и, откупорив, сделал большой глоток.

«Вот это новость! — подумал он. — Значит, Нина всю жизнь меня любила, а я об этом и не догадывался. И что мне теперь делать с этим открытием?»

Сергей наклонился и, распахнув дверцы кухонного стола, стал разглядывать стоявшую там посуду.

— Ты что ищешь? — сказала Дарья, и в ее голосе были слышны ревнивые нотки.

— Стеклянный графинчик. Ты его часом не выкинула?

— С какой это стати! Храню в зале, в серванте, на самом видном месте как память твоего детства. Но до сегодня никакой Нины я не знала. И как это она удосужилась о тебе вспомнить?

— Только не говори глупостей, — сказал Сергей и, пройдя в зал, распахнул дверцы серванта. Графинчик в окружении хрусталя выделялся тусклой желтизной и грубоватой обработкой стекла, но Сергей обрадовался ему, как нечаянно обретенной давней потере.

— Вот оно — цело и невредимо твое сокровище! — усмехнулась Дарья. — На самом видном месте, а ты его и не замечал.

— Надо было его протереть, он запылился, — сказал Сергей.

— Я на днях, перед твоим приездом, всю посуду почистила и твой графинчик не

обошла стороной.

Сергей взял графинчик, посмотрел на свет и поставил обратно на полку.

— А я, убей не помню, что подарил Нине на Восьмое марта. Я и ее плохо помню, уже лет десять как не видел и ничего о ней не слышал.

— Она тебя не забыла, раз такое жаркое письмо сочинила, — небрежно произнесла Дарья.

— Не надо ревнивых глупостей, — Сергей крепко ее обнял и повлек к дивану. — У нас все двери закрыты? Чайник выключен?

— Погоди, — она высвободилась из его объятий. — Взгляну на Галочку...

– 4 –

Он проснулся на рассвете от звука медного колокольчика, которым школьная техничка подгоняла его и Нину на урок. Странно было, что колокольчик прозвучал всего только один раз: «Дзинь!» Но и этого хватило, чтобы Сергей метнулся на диване и очумело захлопал глазами.

Вечером у дочки поднялась температура, она раскапризничалась, и Дарья легла спать вместе с ней. Сергей, оставшись один, проскучал без телевизора до полуночи. Пытался читать, но три года московской вахты отучили его от этой интеллектуальной забавы.

«В самом прямом смысле я уже стал рабочей лошадью, которая тянет свой воз и ни о чем не спрашивает», — подвел неутешительный итог Сергей, ставя на полку более чем толстенный однотомник Плутарха. Он еще по институтской привычке покупал книги по истории, надеясь в глубине души, что бетонная каторга для него когда-нибудь закончится, и ему удастся завершить диссертацию и устроиться на преподавательскую работу.

— Ах, черт! — воскликнул Сергей, окончательно опамятовавшись. — Это же графинчик!

Он метнулся к серванту, распахнул дверцы и отыскал взглядом графинчик, но тот был цел. Сергей протянул к нему руку, взял и повернулся к окну.

«Дзинь!» — раздался уже знакомый ему звук, и графинчик, распавшись на множество осколков, осыпался стеклянным дождем к его босым ногам. Некоторое время Сергей с недоумением разглядывал оставшуюся у него в руке верхнюю часть кувшинного горлышка, затем положил осколок на стол и вышел на балкон.

Было свежо, с Волги тянуло прохладой, листья деревьев и трава влажно поблескивали от случившегося ночью небольшого дождика, но Сергей всего этого не видел и не ощущал, пораженный пронзившей его догадкой, что с Ниной случилось непоправимое, что, скорее всего, она скончалась, а лопнувший в его руках и рассыпавшийся на стеклянные брызги графинчик есть вещий знак о случившемся за десятки километров от его дома печальном событии.

Сергей заглянул в комнату к жене, чтобы поделиться с ней своей догадкой, но Дарья так сладко и безмятежно спала, что он удержался и не стал ее будить, а взял в туалете веник и совок, тщательно подобрал осколки стекла с пола, затем написал записку жене, оделся и вышел из дома.

Возле подъезда стояло несколько автомашин, и когда за ним хлопнула железная дверь, за ветровым стеклом «Фольксвагена» нарисовалась физиономия Абделя, Сергей подошел к соседу и принял от него предложенную ему сигарету. Они закурили, некоторое время молчали, затем Сергей осторожно произнес:

— На семейном фронте без перемен?

— Война, Сережа, война, — печально вздохнул араб. — А ты куда так рано собрался? На рынок, деньги тратить?

— В другую сторону, — вздохнул Сергей и поделился с соседом своей заботой.

— Сколько туда километров? — сказал Абдель.

— Около пятидесяти.

— Садись, довезу. Моя дорогая супруга будет спать до обеда. Потом начнет краситься, причесываться, так что время у меня есть.

— За бензин я плачу! — заявил Сергей. — Подруливай к заправке.

— Я еще ночью заправился, — сказал Абдель, заводя машину.

Утреннее шоссе было пустым, и через час они добрались до поселка консервного завода, который, судя по дыму над трубой котельной, еще находил в себе силы трепыхаться в стихии российского рынка и выпускать сгущенное молоко.

Возле завода стояли несколько двухэтажных жилых домов, от которых начиналась основная поселковая застройка, несколько улиц насыпных, рубленных и кое-где кирпичных домов, больница, школа и административное здание с выгоревшем от солнца российским флагом, с несколькими по овалу небольшой площади магазинами, ларьками и прилавками для уличной торговли.

— Если ты забыл про подарок, то самое время его купить, — сказал Абдель, останавливаясь возле магазина.

— Подарок? На похороны?

— Зачем на похороны? Подарки нужны живым.

— Ты прав, сосед, — спохватился Сергей. — Надо обрадовать тетку чем-нибудь сладеньким.

— Кто такая тетка? — заинтересовался Абдель. — Я не понимаю.

— Сестра моей матери, зовут ее тетя Шура. Мои родители умерли, она теперь одна живет в их доме. Своих детей у нее нет.

Магазин ничем не отличался от городских, и Сергей не поскупился: купил и хлеба, и сахара, и масла, и колбасу, и любимые теткой конфеты-подушечки с повидловой начинкой, а также кусок душистого мыла и пачку стирального порошка. Он знал, что в доме, хоть шаром покати, пусто. Тетка питалась хлебом и сладкой водой, изредка молоком, которым угощала ее соседка, в магазине не бывала, но не из-за бедности, она получала пенсию, однако ее почти не тратила, а складывала в большой самодельный сундук, который запирала на висячий замок, и ключ от него носила, повесив на толстый шпагат на шее.

— Ну вот — я и приехал, — сказал Сергей, когда машина поравнялась с бревенчатой избой, перед которой был палисадник с буйной разросшейся малиной и тремя яблонями, и от дороги к воротам вела узкая заросшая тропинка. Вид у домовладения был неуютный, заброшенный, но Сергею он таким не показался: здесь началась и прошла до поступления в институт его жизнь, которую он всегда вспоминал с сожалением и нежностью.

— Я в дом не пойду, — мельком взглянув на часы, сказал Абдель. — Мне надо ехать и сторожить квартиру, из которой меня выгнали, как собаку. Я не знаю, что я сделаю, но у меня другого выбора нет, как убить или себя, или ее.

— Что такого страшного произошло? — попытался ободрить соседа Сергей. — Вот увидишь, приедешь, а она тебя ждет не дождется. Знаешь, как у нас говорят: стерпится — слюбится.

— Нет, не стерпится! — замотал головой Абдель. — Знаешь, что эта кобра, как ты ее назвал, сказала?.. Она мне сказала, что я не мужик!

— Много ли чего говорится за жизнь? Все проходит, и это пройдет.

— Нет, не пройдет, — в глазах Абделя блеснули слезы. — Это — смерть, моя или ее.

«Вот беда, — глядя вслед «Фольксвагену», подумал Сергей. — Кажется, у нашего араба зашли шарики за ролики».

Скрипнув калиткой, он заглянул во двор. Тетка, склонившись, подметала голиком полусгнившие доски настила и что-то бормотала себе под нос.

— Тетя Шура, встречай гостя! — Сергей поставил на крыльцо сумку с гостинцами. — Как живешь-можешь? Как здоровье?

Тетка равнодушно глянула на племянника и пожаловалась:

— Собаки все грядки повытоптали. Ты бы пострелял их из ружья. А то ведь, неровен час, загрызут. После войны такое бывало. Уйдет человек, а найдут от него только половину ноги в валенках.

— Да неужто такое было? — удивился Сергей.

— Думаешь, вру? — обиделась тетка. — Я из ума выжила только наполовину: все, что до перестройки этой окаянной было, помню, а сейчас спроси, что вчера делала, и не скажу. А тебя по какому случаю сюда принесло?

— Тебя хотел увидеть, — уклонился от ответа Сергей. — Вот подарки кое-какие привез.

— А у меня пусто в доме, — вздохнула тетка. — Сейчас никому нет веры. Вор на воре сидит и вором погоняет. Мне уже третий месяц пенсию не несут. Денег ни копейки...

За воротами послышались шаги, затем часто забрякало кольцо калитки.

— Акимовна, ты дома?

— А где мне быть, дома-дома...

Во двор, прихрамывая, вошла старуха с бидончиком в руке.

— Неси банку, Акимовна, я тебе парного молочка налью.

— Где ее, банку, взять, — захныкала тетя Шура. — У меня ведь ничего нет.

— А на колышке что висит? Али не видишь?

Сергей снял с колышка литровую банку и поставил на верхнюю ступеньку крыльца. Соседка наполнила ее до краев молоком и закрыла бидончик крышкой.

— Тетя Поля, — сказал Сергей. — А вы как живете, какие новости?

— Я-то живу, хотя и зажилась, а вот молодые мрут. Позавчера у Кулишкиных дочка скончалась. Да ты ее, поди, знаешь, чай, вместе в школу ходили. Нинкой звали.

— Как померла? — оторопел Сергей.

— Все от одного и того же помирают, от смерти, — соседка перекрестилась. — А так, сказывают, у нее рак легких был.

У Сергея запершило в горле, на глаза навернулись слезы, и он отвернулся. Полученное от Нины прощальное письмо он не воспринял всерьез, даже не раз подумал с усмешкой, что одноклассница блажит, хочет вовлечь его в какую-то игру, чтобы потом выставить на посмешище. Однако став свидетелем самоубийства графинчика, Сергей почти поверил, что с Ниной случилась беда, но в дороге опять начал подумывать о том, что стал жертвой глупой шутки, пока теткина соседка не разуверила его в этом сообщением о скоропостижной смерти одноклассницы.

Тетя Шура тоже встряла в разговор:

— Какая Нина померла?

— Кулишкиных, у нас на задах живут.

— Вот беда отцу с матерью. Не дай бог, пережить родное дитя, — сказала тетка и тут же переключилась на свое. — Мне, Поля, три месяца пенсию не приносили. Совсем нет денег, не на что жить...

— Как не приносили? — всплеснула руками соседка. — Два дня назад при мне ты получила все до копеечки с июньской добавкой.

— А мы сейчас узнаем, есть у тебя деньги или нет, — Сергей, протянув руку, снял с шеи тетки шпагат с ключом. — Пойдем, тетя Поля, пересчитаем ее наличность комиссионно, чтобы соблюсти порядок, как при ревизии.

В доме, кроме одного окна, ставни никогда не открывались, и Сергей включил свет. Тетка жила на кухне, в горницу не заходила, на полу было пыльно, и от порога к сундуку отпечатались следы.

— Что мы имеем? — сказал Сергей. — А то, что кто-то недавно подходил к сундуку. Пройдем и мы, — сундук был наполнен пожелтевшим постельным бельем и старой одеждой, поверх которой лежала вязаная женская сумка. Сергей удивился ее тяжести. — Да тут целый пуд казны! — он положил ее на стол и раскрыл. Сумка была под завязку наполнена мелочью, а сверху лежал пакет с бумажными деньгами. — Золото с серебром считать не будем, бумажки пересчитаем. Сначала я, а потом, тетя Поля, ты.

Денег было у пенсионерки много; не меньше чем десять своих пенсий тетя Шура ухитрилась не истратить и прожить. Вид денег ее не взволновал, она смотрела на свою казну тусклым взглядом, без всякой алчности, и то и дело напоминала:

— У меня ведь весь день во рту крошки не было. Да и гостя надо кормить.

— Что будем делать с этой богачкой? — сказал Сергей. — Она ведь себя голодом уморит. Может, ты, тетя Поля, будешь ей молоко да хлеб приносить? Я заплачу вперед.

— Ох, не люблю я с чужими деньгами связываться, — сказала соседка. — Ты, Сережа, у нее единственный племянник, вот и распорядись сам. А я в стороне побуду.

— Хорошо, — Сергей покосился на теткины деньги, вздохнул и, бросив сумку в сундук, запер крышку на замок. — Вот тебе, тетя Поля, из моих тысяча, пока на молоко хватит?

— Хватит-хватит! — соседка взяла деньги и сунула их в карман фартука.

— Я после вахты приеду сюда и окончательно все решу. А теперь надо вас попотчевать сладеньким. Разбирайте сумку, а я пока пройдусь по соседям.

— Ступай-ступай, — сказала тетя Поля. — А я тем временем молодой картошки накопаю и тебя попотчую, с укропом и сметанкой.

– 5 –

По улице, подняв за собой клубы горячей пыли, проехал «МАЗ» с цистерной, в которой бултыхалось и расплескивалось через неплотно закрытую крышку молоко утренней дойки. Сергей подождал, пока рассеется пыль, и переулком прошел на зады, но не к дому Нины, а на берег старицы, которая осталась от проложившей себе новое русло Суры, успев краем глаза заметить, что возле подворья Кулишкиных стоят несколько легковушек и грузовик с наклоненным на кабину восьмиконечным крестом.

На топком берегу от воды тянуло прохладой, играла, плескаясь, рыба, которую побеспокоили бросившие с лодки невод мужики, время от времени напоминая пареньку, стоявшему по колено в воде, чтобы тот держал веревку покрепче и не упустил снасть из рук.

— Курить не оставили, — отвечал паренек. — А у меня уши опухли. Вот брошу веревку и утоплю невод.

— Терпи, Витька! — крикнул из лодки мужик. — Я тебе бражки налью и своего самосаду насыплю. А пока стрельни у прохожего, что наверху стоит, если уже так невмоготу.

— Ты чей будешь? — сказал Сергей, подавая подростку сигарету, которую тот сразу умело засмолил.

— Мы беженцы, из Таджикистана. А ты на похороны приехал?

— На похороны, — сказал Сергей. — Крепче держи веревку, а то потеряешь.

— Не в первый раз невожу, — солидно произнес паренек. — Дай еще пару сигарет.

— На этот осокорь, — сказал Сергей, отдавая сигареты, — я, бывало, пацаном лазил, чтобы заглянуть, что там наверху в гнезде, нам говорили, что его когда-то свили орлы.

— Заглядывал я в него, — небрежно проронил паренек. — Нашел две пустые бутылки из-под водки.

Громадный осокорь был почти наполовину мертв, с ближней к реке стороны ствола и с веток отпала кора, они высохли, но другой частью своего могучего туловища дерево еще жило, зеленели молодые побеги, шумела листва раскидистой кроны, в которой, как шалаш разбойников, пряталось старое орлиное гнездо. Сколько себя помнил Сергей, столько же он и помнил этот старый осокорь. Рядом с ним он купался в старице, укрывался под его ветками от непогоды и устраивал засаду против воображаемых врагов: поднимался, насколько хватало духу, по дереву вверх и, замирая от страха высоты, жадно всматривался во все стороны, обозревая границы доступного ему мира, еще не догадываясь, что скоро они рухнут, и перед ним откроется бесконечность человеческой жизни, ничем не ограниченная, даже смертью, даль его бессмертной души.

Сергей схватился за толстый нижний сук, подтянулся, встал на него ногами и нашел вырезанное крупными и неровными буквами имя одноклассницы: «Нина».

Нет, это вырезал не он, а Генка Полев, который заглядывался на Нину Кулишкину с первого класса, не одни подошвы истер, следуя за ней буквально по пятам, но она была к нему равнодушна. После школы, перед армией, Генка засылал к Кулишкиным сватов, но без малейшего успеха. С тем он и ушел в армию и сгинул без вести в Чечне, не найдя на земле ни покоя и ни счастья.

Возле дома Кулишкиных стали собираться люди, и Сергей, испытывая самые противоречивые чувства, подошел к открытым настежь воротам, через которые и направился к тесовому навесу, где на двух табуретках стоял оббитый крепом гроб, и на скамьях возле него сидели близкие родственники покойной Нины.

«Надо бы перекреститься», — подумал Сергей и пошевелил рукой, но она вдруг отяжелела и отказалась ему подчиниться. Мать Нины посмотрела в его сторону, и Сергею удалось глянуть мимо ее воспаленных глаз и, сжав зубы, повернуться к гробу.

Покойная Нина ошеломила его своим видом: она лежала в гробу, как живая, на ее лице не было даже намека на присутствие смерти, и была одета в белое подвенечное платье, на ногах были лакированные туфли, голова, покоившаяся на кружевной подушке, покрыта прозрачной фатой, и на безымянном пальце правой руки отсвечивало золотое обручальное кольцо.

Он хотел развернуться и отойти в сторону, как почувствовал обращенные на себя требовательные взгляды родни. От него ждали, чтобы он проявил свою причастность к происходящему более явным образом, чем присутствие. Сергей переступил с ноги на ногу и, поборов внутреннее сопротивление, поцеловал ледяной лоб покойницы и перекрестился.

— Присядь, Сереженька, посиди с ней на прощание рядышком, как в школе за одной партой сиживал, — сказала Нинина мама. Глаза у нее были сухи, взгляд строг и придирчив.

Сергей послушно опустился на скамью и вдруг, совершенно неожиданно для всех громко всхлипнул и заплакал, размазывая по щекам крупные слезы. Кто-то вложил в его руку носовой платок, он утер лицо и прислушался. Ему показалось, что за спиной шепчутся и даже похихикивают по поводу проявленной им слабости. Он повернул голову и понял, что ошибся: пьяненький мужик забрел на похороны с явным намерением остограмиться и теперь искал, к чему бы прислониться, чтобы не свалиться с ног посреди двора. Но ему не дал этого сделать молодой здоровый парень, который подхватил алкаша за шиворот грязного пиджака и вытолкал на улицу.

Двор наполнялся людьми, гроб с покойной окружили приехавшие из города родственники, Сергей воспользовался этим, встал со скамьи и, ни на кого не глядя, отошел в сторону.

Случившийся с ним первый припадок прошел и оставил в душе лишенную эмоций опустошенность. Недавно пролитые слезы уже казались ему блажью слабонервного хлюпика. «Я не Нину жалел и оплакивал, а себя, — вынес он нелицеприятную оценку своей несдержанности. — Хорошо, что я знаю это один, а другие восприняли мое невольное притворство как искреннее горе и сочувствие несчастным родителям».

Кто-то робко коснулся его плеча, Сергей повернул голову и встретился взглядом со своей учительницей в начальных классах школы.

— Какое горе, — прошептала она. — За этот год уже с третьей своей девочкой прихожу прощаться.

— А вы как, Лидия Александровна, поживаете? Как здоровье?

— Жива, как видишь. Но зачем молодые мрут?

Сергей сочувственно вздохнул и промолчал.

— А я знаю почему, — промокнув платочком слезы, сказала учительница. — Это мы, старики, виноваты, а педагоги больше всех.

— В чем же вы виноваты? — удивился Сергей.

— В том, что учили вас только добру, вежливой уступчивости друг другу, внушали, что превыше всего в мире — правда, совесть, честь, благородство в поступках, словом, учили быть людьми. А сегодняшняя жизнь устроена для нелюдей. Революция в семнадцатом загнала их в подполье, но не вывела подчистую, вот они там и отсиделись, а теперь повылезали. Или ты со мной несогласен?.. Кстати, как ты сам-то, Сережа? Ты вроде собирался защитить кандидатскую?

Вопрос учительницы Сергея смутил, ему не хотелось признаваться, что его жизнь пошла совсем по-другому, чем он задумывал, но Лидия Александровна поняла его состояние и спросила о семье.

— У меня дочурка, жена с ней сидит, а я езжу в Москву, на вахту.

— Вот и правильно делаешь. Достаток в семье — первое дело, а история... Сейчас она нужна тем, кто хочет над ней поизгаляться.

— С кандидатской я сам крепко промахнулся, — признался Сергей. — Взял Бухарина, а тут столько про него всякого открылось, что он мне сразу разонравился.

Возле гроба с покойной началась обычная суета: четверо мужиков взяли его на полотенца, за ними пристроились родные, и скорбная процессия двинулась к воротам, рядом с которыми стоял с распахнутыми бортами кузова старенький «газон». Лидия Александровна поспешила пристроиться поближе к гробу, который возле машины поставили на две табуретки, затем взяли на руки и погрузили в кузов.

«Ужели, кроме меня, из нашего класса никого нет? — оглядывая собравшихся, подумал Сергей. — Наверно, все поразъехались».

— Ну как, заводить? — сказал шофер, встав на подножку кабины.

И вдруг совершенно неожиданно раздалась похоронная музыка. Но заиграл не обычный на похоронах духовой оркестр, а высокий с испитым лицом мужик на немецком аккордеоне. Похоронный марш в столь необычном исполнении внес в торжество смерти свою более убедительную окраску, чем привычное русскому уху дребезжание и уханье оркестровой меди. В аккордеоне было больше душевности и затрагивающей самые сокровенные человеческие чувства интимности. Он исторгал сочувствие к постигшему близких и родных умершего человека несчастью, и самодовольное оркестровое звучание непоколебимого торжества смерти в нем напрочь отсутствовало, отчего похороны лишались пугающей человека безнадежности бытия, которое охватывает каждого из нас при виде отверстой для погребения могилы.

Музыка поторопила мужиков, они закрыли борта «газона», в кузове которого, кроме гроба, поместился крест, венки, с десяток лопат и табуретки. Мотор пыхнул вонючим дымком, и процессия тронулась по переулку между огородов на кладбище. Сергей, не обнаружив одноклассников, пошел вместе со всеми, не понимая, зачем все-таки он ни свет, ни заря сбежал из дому, примчался в деревню и явился на похороны почти забытой им девчонки, с которой учился в одном классе, и если бы не стеклянный графинчик, то забыл бы уже давно и бесповоротно.

От странного для похорон настроения ему помог избавиться аккордеонист, который вновь заиграл траурный марш, и Сергей почувствовал, что у него к глазам неудержимо подступают слезы, и в уме вертится недоуменный вопрос: «Неужели и в моем календаре есть день и час, когда меня понесут на кладбище, я не смогу избегнуть этого ни при каких обстоятельствах?»

Между огородами и кладбищем было небольшое поле, заросшее буйно цветущим разнотравьем, вот траурное рыдание аккордеона оборвалось, и стало слышным для всех согласованное попискивание, потрескивание, поскрипывание бесчисленных трудников, населяющих этот цветочно-травяной дом, над которым клубился зной июньского полдня. Сергей отмахнулся от пчелы, но та и не думала от него отставать, зудела и кружила вокруг, пока не села на ворот рубахи, где захотела попользоваться его сладким потом, но он сильно хлопнул себя по загривку, и помятая пчела ужалила своего обидчика в шею. Почувствовав сильное жжение, Сергей остановился и втянул голову в плечи.

— Наши пчёлы чужих не любят, — сказал кто-то.

— Разве он чужой? — учительница не оставила Сергея в беде. — Наклони голову, я гляну, что там такое.

Лидия Александровна, несмотря на возраст, была еще достаточно востроглаза, чтобы увидеть и выцарапать застрявшее в коже пчелиное жало.

— Вот и бесплатно пчелиным ядом полечился, — улыбнулся Сергей. — Кажется, пчела меня ужалила первый раз в жизни.

На краю кладбища грузовик остановился неподалеку от выкопанной могилы, с него сняли гроб, поставили на табуретки, аккордеонист заиграл полонез Огинского, и началось последнее прощание с покойной. Сергей, чтобы не подходить к гробу, спрятался за спины мужиков, закурил, но мать Нины высмотрела его и там и так пристально на него глянула, что он, бросив сигарету, поспешил к гробу, зажмурившись, прикоснулся губами к обручальному кольцу и отошел от могилы.

«Пора смываться, — затягиваясь сигаретным дымом, подумал Сергей. — Поминки я не вынесу. Они еще не определили меня в женихи к покойной, но, кажется, уже близки к этому».

Он выглянул из-за машины. Похороны завершались, несколько мужиков заваливали могилу глиной, а остальные кучковались возле Нининой матери. Сергей, пригнув голову, добежал до кустов и, прячась за ними, покинул кладбище.

– 6 –

— Ты что-то скоро вернулся? — удивилась тетя Поля. — Не погулялось?

— Голова закружилась, — пробормотал Сергей первое, что пришло ему на ум. — Как автобусы ходят в город, часто?

— Кто их знает, — сказала соседка. — По правде говоря, я автобусов давно не видела, а бегают, то ли от нас, то ли мимо нас, маршрутки. Этого добра на шоссейке полно. Недавно мою соседку сшибли, когда та вздумала перейти дорогу.

— Кого, говоришь, сшибли? — оживилась тетя Шура.

— Гоношиловых бабушку. И что ее понесло за шоссейку, ума не приложу.

— Как что, судьба, — сказал Сергей. — Я сейчас насмотрелся, как она нашим братом, людьми, распоряжается.

— И как же? — заинтересовалась тетя Поля.

— А вот так! — Сергей взял из поленницы полено. — Как ты этим поленом: схватишь первое попавшееся, сунешь в печку, оно там пыхнет разок-другой и выплеснется в печную трубу дымом.

— Я никакой такой судьбы не знаю и ведать не ведаю. А для Бога человек вовсе не полено, как ты говоришь, наш Бог людей жалеет, они для него не поленья, а дети, без Бога мы все стали бы сиротами.

Сергей хотел ей возразить, но не нашелся, чем ответить.

— Уже полдня прошло, а у меня во рту маковой росинки не побывало, — пожаловалась тетя Шура. — Вы, наверно, оба сюда явились, чтобы заморить меня голодом.

— Прямо беда с тобой! — всплеснула руками тетя Поля. — Часу не прошло, как ты угостилась литром молока и краюшкой хлеба.

— Погоди-погоди! Куда годить-то? — заворочалась на скамейке тетя Шура. — Мочи нет годить. Из дома так и прет курятиной. Что ее кипятить зря, разварится в кисель.

— Я ее только что в кастрюлю положила, — сказала тетя Поля. — Возьми конфетку, пососи, голод и отступит. Он, негодник, совсем тебя измаял. И все это оттого, что ешь по-разбойничьи.

— Как это по-разбойничьи? — рассмеялся Сергей. — Из чугунного котла или с ножа?

— Они ели один раз в день, обычно вечером, набивали брюхо, пока трескаться не начнет, а твоя тетя ест не каждый день и не потому, что есть нечего, а стала забывать про это занятие. Сейчас вот спохватилась, курятину почуяла. Погоди, Акимовна, пусть хоть чуток поварится.

— Что же вы не угостились тем, что я купил? — сказал Сергей.

— Как же, угостились, и сыром, и колбаской, но, как видишь, память у нас стала девичьей на старости лет.

Тетя Шура заметно разволновалась, встала на ноги и сердито сказала:

— Вы меня одними обещанками кормите! А я курятину хочу!

— У вас тут обиды начались, — заторопился Сергей. — А мне надо домой. Тетя Шура, не хулигань тут, а я на неделе приеду и постараюсь уладить твои дела.

Тетка молча смотрела мимо него в какую-то только ей одной ведомую бесконечность, и он почувствовал, как на него дохнуло тем же мраком и холодом, что и на кладбище.

«Ну и денек! — подумал он, выйдя за ворота, из-за которых опять раздалось ворчливое брюзжание тетки, жалующейся на голод. — Не дай Бог, дожить до такого маразма».

Улица была пуста, знойный полдень заставил всех спрятаться в тень, но не он один был причиной безлюдья. Почти каждый второй или третий дом стоял заколоченным. Консервзавод резко сократил производство, и многие уехали из поселка совсем в более хлебные и добычливые места, а здесь остались пенсионеры и те, кто не решился сдвинуться с места.

«Мне грех жаловаться на жизнь, — невесело думал Сергей. — У меня есть квартира, пусть она не моя, а досталась нам с Дашей от ее родителей, но ее нам хватит на всю жизнь, да еще дочери останется. Успел я и образование получить. Вот еще годок-другой поезжу на вахту, а там подыщу себе работу в городе, конечно, не учителем, но я пока еще молод, с высшим образованием. Почему бы и не найтись для меня где-нибудь местечку возле власти? Конечно, для этого надо в партию вступить. А что? Пойду завтра и вступлю в «Единую Россию».

На остановке возле магазина было всего несколько человек. Сергей от нечего делать занялся разглядыванием двух местных барышень, которые отчаянно кокетничали с джигитами, подъехавшими к ним на иномарке. Поломавшись, аборигенки сели в машину и направились, наверно, на шашлыки.

«Рискованные ребята, — подумал Сергей. — Эти дамы могут наградить таким букетом, что они будут всю жизнь работать на лекарства и проклинать негостеприимную Россию».

Вскоре возле остановки затормозила «Газель», Сергей сел рядом с водителем и вполне благополучно добрался до города, а затем на трамвае и до своего дома. Было жарко, он заглянул в магазин, купил три бутылки пива и, попивая из горлышка прохладную пенистую жидкость, подошел к своему подъезду.

Железная дверь хлопнула, и на крыльце показался Абдель. Он был белее мела и трясся, как в лихорадке.

— А я, как видишь, приехал, — сказал Сергей. — Бери пиво, охладись.

Но араб прошел мимо него к машине, открыл багажник, достал оттуда канистру и явно намерился облить себя бензином.

— Эй, Абдель, ты что делаешь?

— Я ей отомщу! — в безысходной тоске свистящим шепотом выдохнул араб, и в руке у него вспыхнула зажигалка.

— Абдель! Не делай этого. Она не стоит тебя, — Сергей начал приближаться к нему, чтобы помешать совершиться самоубийству.

— Не подходи! — взвизгнул Абдель и, опрокинув на себя канистру, взорвался огненным шаром, рухнул на землю и, воя от нестерпимой боли, забился в корчах.

Хлопнула входная железная дверь подъезда, и это подтолкнуло Сергея к действию. Он оглянулся и увидел, что на крыльце стоит Лена, сожительница араба, и держит в одной руке чемодан, а в другой — мужское кожаное пальто. Сергей подскочил к ней, вырвал кожан и, подбежав к похожему на пылающую головню Абделю, накинул на него широкое пальто и, не обращая внимания на свои ожоги, сбил с пострадавшего пламя. Абдель был жив, но его лицо превратилось в сплошную рану. Сергей оглянулся: на крыльце стоял чемодан, и никого рядом с ним не было. Он поднял голову и закричал, что есть силы, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь.

— Что случилось? — раздалось вразнобой из нескольких распахнутых окон.

— Абдель облил себя бензином и поджегся зажигалкой!

Сергей с недоумением смотрел на лежавшее перед ним кожаное пальто, из-под которого выглядывали голова и ноги искалеченного огнем соседа, и никак не мог поверить, что все это произошло на его глазах. В какие-то считанные секунды живой человек превратился в сноп пламени, а затем в пышущую жаром головешку.

— Этого не может быть, — произнес он, наклоняясь над пострадавшим.

В ответ он услышал булькающий хрип, Абдель сбросил с себя кожан, начал подниматься на колени, но силы его оставили, и он рухнул на раскаленный огнем и солнцем уличный асфальт. Сергей едва сдержал слезы и отвернулся.

Весть о самосожжении араба уже разнеслась по всему дому, и почти из каждого окна выглядывали люди, обсуждая случившееся.

— А где евонная баба? — сказал дед Костя, явившийся вместе с другими игроками в картежного «козла» поглазеть на араба. — Вот беда! А я хотел перехватить у него сотню-другую...

— Говорил тебе, старый, чтобы шел, — буркнул Толян. — А ты заладил, что успеется. Вот и не успели.

— Пошли к столу, — поторопил их Павел. — Сейчас Рамиль пиво притащит.

Компания, не оглядываясь, отправилась во двор, чтобы продолжить мять и мусорить грязные карты, лакать из одного на всех стакана водку и пиво. Никому не хотелось долго находиться рядом с местом, где только что побывала смерть. Прохожие мельком глядели на обгоревшего человека и шли по своим делам, обитатели квартир отлипли от подоконников и балконов и вернулись к просмотру телесериала, а к подъезду подъехала скорая помощь.

— Вот это клиент! — сказал врач, осмотрев Абделя. — Милицию вызвали?

— А как туда звонить? — растерянно сказал Сергей.

— Зачем вы лезете не в свое дело? — удивился врач. — Вот, кстати, и милиция

легка на помине.

Помятый милицейский уазик остановился рядом с ними.

— Что, готов? — капитан приоткрыл дверцу.

— Не повезло тебе, Акимов, — жив. Вот и свидетель, — сказал врач и направился к «санитарке».

Домой Сергей попал только поздно вечером. Его сначала допросили на месте происшествия, затем увезли в милицию, где часа два продержали в тесном и душном коридоре, пока капитан наконец не допросил его по всей форме и отпустил на все четыре стороны, спросив, где он будет в ближайшие дни.

— Дома, — ответил измученный и злой, как бобик, свидетель. — А потом уеду на вахту в Москву.

Сумка с двумя бутылками пива была у него в руках и, выйдя из райотдела, Сергей спрятался в кустах и с наслаждением осушил одну и, сыто отрыгнув, потопал на остановку, где в ожидании автобуса приложился к последней бутылке, но был крепко схвачен за руку дюжим ментом, который поволок его в райотдел.

— Я только что там был, — пискнул Сергей.

— Я тебя не задержу, — съехидничал мент. — Заплатишь штраф — и гуляй, Вася!

На крыльце Сергей нос к носу столкнулся с капитаном, который его только что допрашивал.

— Ты за что его прихватил? — поинтересовался он у патрульного мента.

— Жрал пиво на остановке.

— Это мой человечек, — объявил капитан. — Я его забираю. Ты не против?

— Как не помочь? — удивился мент. — Берите, если ваш.

Ментовские тиски ослабли, и Сергей поспешил за капитаном, чтобы его поблагодарить, но тот отмахнулся от него, как от комара, сел в уазик и уехал.

От недавней трагедии, случившейся возле подъезда, не осталось следов. Сергей остановился рядом с тем местом, где сгорел Абдель, и закурил. С Волги набежал легкий ветерок, расшевелил листья рябинок, и они едва слышно зашелестели, будто зашептались между собой о чем-то только им одним ведомом и сокровенном.

«Может быть, они сейчас переговариваются о несчастном арабе, который пытался наложить на себя руки, сожалеют и сочувствуют его горю, которое толкнуло его на самоубийство».

На небе прорезалось мусульманское солнышко — молодой месяц, и рядом с ним алмазно запоблескивала крохотная звездочка. Сергей закурил, присел на ступеньку и пожалел уже не араба, а себя, что и ему когда-нибудь придется испытать то, что не избежать никому.

«Надо не впадать в отчаянье, как бы худо тебе ни было, — подумал Сергей. — Абдель пострадал не из-за любви или ревности, а потому, что отчаянье ослепило его душу и разум. Это может случиться с каждым».

Сергей задумался и не заметил, как к нему подошли Дарья и Галочка.

— Мы в гостях у дяди Вити и тети Наташи были, — защебетала дочка. — Ходили на Волгу купаться, катались на «омике».

— Стало быть, вы не знаете, что здесь случилось? — сказал Сергей.

— Не знаю, а что? — удивленно глянула на него Дарья. Сергей, чтобы не пугать Галочку, отвел жену в сторону и шепотом рассказал про Абделя. — Какой ужас! — воскликнула Дарья. — Чуяло мое сердце, что добром это между ними не кончится.

— Что это?

— Страсти-мордасти. Не надо было ему перед ней так унижаться.

— Как унижаться? — не понял Сергей.

— А так, — вздохнула Дарья. — Мы этого никогда не поймем, и слава богу. Но где ты так долго был?

— Вляпался в свидетели. Увезли в милицию, еле вырвался. А что ты меня про мою поездку не спрашиваешь?

Дарья замедлилась с ответом, пока они не зашли в квартиру.

— Я и не предполагала, что ты такой выдумщик.

Сергей понял, что жена подозревает его в нехорошем поступке и обидчиво произнес:

— Думай, что хочешь. Но Нина Кулишкина скончалась, и сегодня ее похоронили.

— Почему вы все говорите про то, что я не знаю, — требовательно сказала Галочка. — Включите телевизор. Где мои споки-ноки?

— Давно закончились, доченька. Пойдем мыть руки и готовиться ко сну.

Сергей прошел на кухню, включил чайник и устало опустился на диванчик.

«Ну и денек! — тяжело вздохнул он. — Вроде ничего не делал, а устал, будто десять кубов бетона перелопатил вручную».

Александр МУЛЕНКО

КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТРЕЛОК

Всем не вернувшимся домой с работы посвящается...

— Ты куда палил?

— Та не ори, тётка Матрёна, мне без тебя досадно, — отнекивался Семён.

— У меня один сынок, и тот уже мёртвый... Его военная фотокарточка вот здесь, на кресте могильном, осталась. Я хотела её размножить на долгую память, но никто не помог старухе, все заняты были, — она толкнула Семёна.

— Та не хотел я, Матрёна, не специально. Так уж получилось. Я охотился за лисицей.

Семён повернулся к ней, и оторвалась от него женщина, пошатнулась, как раненая, бросилась к родному кресту, упала перед ним на коленки, как перед богом, и зарыдала:

— Сыночек, родной! Не было тебе покоя при жизни и после смерти нет, ясный ты мой, хороший!

— Ты зачем стрелял, Семён? — спросил у него Шамиль, подошедший на кладбище, чтобы узнать причину крика.

— Я отработаю, Шамиль, ты не доноси участковому, я вспашу тебе участок. Наш участковый жаден до денег. Он дачу себе двухэтажную поставил. Я с ним вовеки не рассчитаюсь. Я очень беден, Шамиль. Ты же знаешь об этом.

Семён лукавил, а тётка Матрёна голосила, целуя крест.

— Пули лихие промчались мимо... Я не могла наглядеться, когда ты вернулся ко мне после армейской службы с медалью — красивый и стройный. Косточки мне обугленные вернули!

Сын у неё сгорел четыре года назад в мартеновском цехе. Бросил алюминиевую чушку в ковш-раскислитель, и волна стали накрыла подручного. Внутри, в пустоте, в чушке той, конденсат оказался. Веселился огонь, голубые язычки пламени метались по остывающей луже. Подступиться к погибшему металлургу было непросто. Прошло ещё несколько часов, прежде чем сварные вырезали останки подручного.

— Ну, будет тебе, Матрёна, айда домой!

Шамиль приподнял её с коленок.

— А ты не можешь стрелять — сиди на кухне, охотник! — рыкнул он на Семёна.

— Та кто же знал, Шамиль, что моё ружьё подскочит до фотографии?

— По кладбищу бил...

— Я не попал бы в крест, кабы не отдача...

— Андрюшенька... Сыночек ты мой! Живого я тебя провожала, тёплого на работу. Покорёженного металла кусок мне отдали, просили прощения... Нет силы на этом свете мыкаться без тебя. Я в землю хочу, чтобы тебе теплее было.

Жили они на окраине посёлка около кладбища по соседству. Изба у Матрёны покосилась, править её было некому. Сын погиб на работе, а следом от тяжёлой болезни умер муж — горе ускорило смерть супруга. Оставались ещё сноха и внуки, но они переехали в город — редко навещали старуху. Сама она носила воду из колодца, перекапывала огородец, полола его, окучивала картошку, собирала колорадских жуков — выживала на пенсию во времена стремительного роста цен. И приходила на кладбище: поправлять могилки усопших, обновляла на них цветы, как с живыми людьми, разговаривала с крестами.

Семён торговал. Едва узаконили частную собственность, он приобрёл подержанную «копейку» и катался на ней по округе, перекупая у сельчан свинину да говядину. Потом сбывал её на рынке. Переплачивал за «крышу» всяким «ментам» да «бандитам», а также

иным представителям власти, инспектирующим продажи. Сетовал, прибедняясь, что не может достроить мансарду на даче, и втуне переживал, поглядывая на гору, где стремительно поднимались в небо дома городских милиционеров и иных служащих.

— Эх, кровопийцы, — сварливо талдычил он со знанием жизни, — разворовали Россию, не поделились.

Шамиль, его сосед, прослыл в посёлке отчаянным забиякой. В юности он хулиганил и верховодил в драках около танцплощадки. Но с годами остепенился, женился, поостыл. Работал Шамиль в карьере — рядом с посёлком. Кружился его «БелАЗ» по спирали дорог, вывозя из бездны тяжёлые камни, и пока своевременно выплачивали деньги, жизнь не давала трещин — семья у этого человека жила в достатке. Честно заработанный хлебушек на столе не переводился. Старые бобыли, его приятели, заходили на чарку водочки, но вели себя прилично, уважая чужой домашний очаг. Удовлетворяясь немногим, эти люди во время выпивок судачили об охоте и рыбалке, строили нехитрые планы на выходные.

Словно горы, окружили посёлок рыжие отвалы пустой породы. Самый старый из них — за кладбищем. Искусственная гора. Бывало, переходишь заболоченный ручеёк — и вот её подножье. На осыпях давно уже прижились репейники и полынь, клочьями, словно пряди волос на седеющей голове, колосится ковыль, пригибаемый ветром.

Рос металлургический комбинат — рос город. Обустраивались добрые люди, обживались, покупали технику: кто мотоцикл, кто автомобиль. Было время, а я его помню, когда не боялись ночью оставить машину на улице, доверяя друг другу, жили, не зная зависти, без камня за пазухой. «Ключ под ковриком», — писал я мелом на двери квартиры и мчался играть подальше от дома, забывая про всё на свете. Но это уже в далёком прошлом. Разумный хозяин сегодня живёт за бронированными ставнями. Однажды в счёт погашения долгов по зарплате предложили на отвале землю под гаражи, и многие «безлошадные» жители построили эти ненужные им коробки из неликвидных стройматериалов завода, на котором трудились.

Матрёна уже не причитала, как на кладбище, более по инерции роняла слезинки, смахивая их с лица краем косынки. Это сочилась её безрадостная память. Глядя на бабушкино горе, пятилетняя дочка Шамиля Тая оставила в покое на лавочке нарядную куклу и подошла, утешая:

— Не плакайте, бабушка Мотя, он ведь больше не будет этого делать.

— Больно мне, Таинька, больно мне, детонька. А твою бы куколку убили, ты бы не плакала?

Стрелок-растяпа тоже услышал бабушкин ответ и крикнул из-за забора:

— Я же говорю тебе, Матрена, что не виноватый! Не заморочивай девчонку.

— А кто виноватый? — голос у старушки окреп, глаза высохли. — Ты кого хотел расстрелять?

— Лисицу, Матрёна! В который раз уже говорю. Она у меня в курятнике шкоду наделала.

— Ты не ври, окаянный! Я тебе не поверю. Вот возьму сейчас черенок и огрею.

За Семёна заступился его сынок-первоклассник.

— Это Тайка виновата, — он показал на девочку пальцем, — она мне первая вчера сообщила: «Я, Пашка, лисичку-сестричку видела около кладбища».

Дошкольница испугалась. Захныкала.

— Бабушка Мотя, вы простите меня за это, я же не знала, что лисичка — опасный и вредный зверь. Она такая красивая. Рыжая, с белым хвостиком...

— Что ты, детонька, что ты, милая? В чём же ты передо мною повинна?

Я — случайный прохожий. Я поднимаюсь на отвал, потому что самая короткая дорога в посёлок, как мне кажется, лежит здесь. Я опаздываю на работу. Из-под моей ноги выворачивается камень и катится вниз, увлекая за собой другие осколки горной породы. Я — никчемный персонаж. К истории, рассказываемой мной, я не имею никакого отношения. Я — не положительный и не отрицательный герой. В этом времени я чужой человек, не стяжавший успеха в жизни.

Вот передо мною ровная, укатанная техникой, вершина отвала. Искусственная гора. Ей шестьдесят с лишним лет. Возраст почтенный, пенсионный. Такие горы долго живут. Люди же, их ровесники, на кладбище у подножья, куда мне ещё предстоит спуститься, преодолев перевал.

Мои карманы пусты, я давно уже не держал в руках деньги. Ни российские, ни буржуйские — никакие. По желанию нам вместо наличности на работе выдают «гуркалы» — бумажные книжки, отпечатанные в типографии, названные так в честь директора комбината Павла Ивановича Гуркалова. Я могу отовариваться на них в столовой или в ведомственном магазине, где всё втридорога.

Чтобы выкупить у работников акции открытого акционерного общества, зарплату задерживают уже пятый месяц. И обменивают люди на деньги свою собственность, не понимая, что с этого момента они полностью порабощены хозяином. Как выжить иначе? Воруют все. Ты погляди, как преобразился посёлок. На месте вчерашних лачуг фешенебельные дома «высшего руководства». Жаба давит обывателя, жаба давит мента. Строятся вчерашние одноклассники, разъезжают на шикарных авто, пьют водочку, от которой голова не болит, пользуются успехом у женщин. И поспешают охмуренные завистники вслед за ними. И хорошо поспешают.

Я вдыхаю морозный воздух. Лужицы на вершине горы потянулись тоненькой корочкой льда. Она хрустит, прогибаясь под ногами идущего человека. Два куста облепихи серебрятся, нависая над самым склоном. Маленькие бархатные ягоды пожелтели, набрали сладость. Я останавливаюсь, чтобы их немного собрать и покушать. В скупой степи каждое дерево — это чудо. Плод с него — воистину божий дар.

В отдалении гудит и тянется за грузом автокран, отрывая лапы от подушек. Рядом с ним находится «шаланда» — «КамАЗ». Выхлопные газы вьются по ветру синими ленточками и растворяются в предутреннем тумане.

«Это же гаражи, — соображаю я. — Но почему не спится людям в такую рань?»

Я прохожу мимо и вдруг понимаю, что стал свидетелем присвоения чужого имущества — так называемой кражи. У меня на глазах разбирают крайний в ряду гараж. Среди бурьяна валяются чёрные лоскуты оборванной мягкой кровли. Плиты перекрытия уже покоятся в кузове автомобиля. Трое мужчин в спешке раскидывают стены строения и загружают в прицеп уцелевшие шлакоблоки. Увидев чужого человека, они прекращают суетиться и подходят ко мне.

— Ты ничего не видел, — говорит мне самый здоровый из них. — Повтори.

— Я ничего не видел.

— Вот так-то, малый. Сегодня воруют все. Ты со мною согласен?

— Как хочешь.

Он удовлетворён моей послушностью.

— Шевелитесь, — доносится из «скворечника» сердитый голос крановщика. — Главный оперативник скоро первую вертушку с раствором будет сопровождать от завода к себе на участок. В прошлый раз он нас остановил на повороте в посёлок и приказал отрабатывать на собственной стройке. Мне тогда пришлось одну ворованную плиту ему подарить. Кто мне за лишние подъёмы заплатит? И на объекты опаздывать ни к чему — уволят с работы, чай, не советская власть.

— Твоя правда, — соглашается с ним старший из подкрановых жуликов и выплёвывает окурок, продолжая тревожные мысли крановщика: — За бесплатно работать, конечно, грех. Особенно сегодня, когда зарплату по полгода не выдают. Семью нам кормить необходимо, ты это понимаешь, мужик?

Он как будто оправдывается передо мною.

— Я пошёл?

— Иди, мужик. Да помалкивай!

Тревожное нынче утро. Спускаясь по тропинке на кладбище, я нечаянно толкаю ещё один камень, и ещё одна сырая стайка песка убегает к подножью отвала.

На моей дороге появляется девочка в старом пуховике. Ей холодно. Вязаная шапочка с помпончиком на макушке закрыла почти всё её лицо, и только доверчивые, огромные глазища выглядывают навстречу с надеждой на скорую помощь. Девочка топчется резиновыми сапожками на кочке посередине ручья и не решается двинуться ни вперёд, ни назад. Неужели она на стрёме?

— Ты кто? Ты как сюда попала?

— Я — Тая, — отвечает мне девчонка. — Я шла по дощечке к себе домой и осталась одна среди воды. Моя дощечка упала в грязь, — действительно, нехитрый мосток подрагивает в тине, отброшенный бойким течением ручья. — У меня худые сапожки...

Черпая ботинками холодную воду, я настраиваю переправу.

— Проходи, — девочка улыбается и отрицательно машет головой. — Ну, ежели так, то давай мне свою руку, и мы перейдём этот ручей вместе.

Я отвожу её в посёлок. Мимо кладбища. Мимо заржавевших металлических звёздочек и усохших крестов. Скупые деревца, едва зацепившиеся за степь, уже сбросили почти все свои листья, разве что карагач ещё зелен. Он шелестит на ветру, скрипя всеми ветками, держится, словно молод ещё и стоек, над пожухлыми травами.

Я протягиваю Тае горсть облепиховых ягод. Девочка послушно кладёт их в ладошку и ест, как гостинец. Скупая ягода, степная, прихваченная морозом, чуть сладенькая.

— Вы никому не расскажете? — спрашивает Тая. Ей хочется поделиться со мною чем-то важным.

— Я никому не расскажу. Клянусь! Мне можно полностью доверять, — это просто расхожая фраза.

Она сообщает мне новость:

— Я лисичку-сестричку видела.

— Рыжую? — спрашиваю я.

— Рыжую, — подтверждает Тая. — Хвостик беленький.

Мне становится всё понятно.

— Я тоже видел твою лисичку. Я даже знаю, где она проживает! Ты её совсем не боишься? Это же — хищница и плутовка.

— Боюсь, — признаётся Тая, — но только вы никому не рассказывайте, дядя Сёма ругается, он будет по ней стрелять. Вчера на кладбище...

Я слышал эту историю. Из детских уст она мне кажется забавной. Вот её дом.

— Мы с вами пришли, — сообщает девчонка и уходит, помахивая ладошкой. Я поспешаю далее — на «объект».

Я — подневольный человек... Я — раб... Передо мною тарелка борща и кость. Большая коровья кость. Жирные пятна, переливаясь, кружатся в похлёбке. Ложкой я вылавливаю картошку и ем, обжигаясь, горячее варево. Мой хозяин ко мне благосклонен. Вчера без задней мысли я рассказал ему про то, как месяц назад главный сталеплавильщик целую смену рабочих три дня эксплуатировал на своём приусадебном участке — в Белошапке. Мы ломали старые каменные постройки и обломками кирпичей обсыпали набережную около ручья. Его супруга накормила нас до отвала. Каждому голодному пролетарию по полторы сосиски досталось! Было выпито много водки.

Я — специалист, я знаю, как выкладываются печи и дымоходы к ним. Поэтому ко мне особое отношение у заказчиков. Сегодня я честно заработал тарелку борща.

— Ты когда-нибудь выкладывал дымоходы? — спросил у меня мой начальник, прежде чем отправить на это задание.

— Да, — утвердился я.

— Вот и ладненько, поможешь важному человеку.

Мой начальник умеет жить. Как, впрочем, и все начальники. Он знает, что я не откажусь от задания, что я с радостью сделаю всё, о чем меня ни попросят. Потому что работать на приусадебном участке намного легче, чем в пекле на комбинате ремонтировать сгоревшие металлургические печи. Дай человеку льготу, и он твой раб.

Великовозрастный детина, сын моего начальника, попал на велосипеде под машину и ушиб колено. Ругался папашка: рвал и метал; грозился найти нарушителя и стянуть с него три шкуры, ан нет, нарушитель нашёл его сам и предложил оказать небольшую услугу — выложить печку в особняке.

— Есть у тебя такие люди?

— Конечно, есть! — ответил мой начальник.

Гроза миновала. Сын у него поправился!.. Потому что «заказчиком» моих умелых рук стал подполковник из милиции, главный оперативник нашего города, человек авторитетный. Даже криминальная «крыша» была у него в руках, и жил этот милиционер припеваючи — от щедрот нарушителей правопорядка. Дорожно-транспортное происшествие истолковывалось не в пользу пострадавшего велосипедиста.

Моим утренним знакомым так и не удалось избежать встречи с этим человеком. Одну из краденых плит они уже выгружают на милицейском подворье около недостроенного сарая. Снова ругается крановщик, сетуя на время, требует, чтобы ему заплатили за подъем. Над ним посмеивается родственник застройщика — управляющий на подворье.

— Хозяину расскажешь. Тот лучше знает, кому, за что и сколько должен.

— Ишь ты, чего захотел ворюга, — повторяет мне этот старикан после отъезда крановщика, — за подъемы ему заплати. Вот наглец!

На кухне у подполковника милиции тепло. Я набиваю утробу пищей, чтобы дома не кушать. Моя матушка экономит деньги — пенсия у неё мала. Работники дошкольного образования никогда не были в чести у государства. В отличие от врачей и судей, им никто не дарил подарки, да и педагогическая закалка не позволяла богатеть непристойным образом — брать на лапу денежные купюры.

Лает собака, грохочет цепь. Кто-то чужой спешит к нам, ругаясь.

— Хороший кобелёк, — говорит мне дедуля, выглядывая в окошко. — Породистый, справный. Наш хозяин его на зоне взял ещё щенком у кинолога. Зверь, а не псина.

— Знаю, — поддакиваю я, — кидается на всяких людей подряд без опасения.

Мой собеседник смеётся и рассказывает следующую историю:

— Сам я видел — сажали зэков в закрытый воронок. Будка была переполнена. Удобно сидевшие порядочные узники выталкивали ногами наружу обиженных, не по масти попавших к ним в компанию, и ржали, когда собаки рвали у тех штаны вместе с мясом. Запаха их подлого тюремного не переносят наши собаки. До того

дрессированны, честны и исправны!..

— Да-а, — соглашаюсь я. Рассказчик мною доволен.

— Та не лай ты-ы, не лай на меня, не лай!

Дверца в кухню распахивается, и на пороге появляется растрёпанный гость.

— Петрович! — обращается он к деду. — Ты слышишь, Петрович, какое дело. Лисица ко мне повадилась, кур у меня таскает, — я вспоминаю девочку. Так вот он какой, дядя Сёма — «кладбищенский стрелок». — Дай овчарку, Петрович! Я выслежу эту лисицу и убью воровку.

— Ты уже убил бабку Матрёну, — хохочет Петрович, — прямо наповал! — он разливает в стаканы водку. — Будете? — предлагает мне.

Я же — специалист, ко мне особое отношение.

— Нет!.. Нет!.. Я не пью... Вот уже десять лет, как не пью. Я — трезвенник.

— Жалко, — вздыхает Петрович и обращается к вошедшему человеку свысока, с презрением: — Будешь водку, барыга?

Тот глотает слюну. Видно, что ему хочется выпить, но правила хорошего тона не позволяют согласиться на это сразу.

— Собаку дашь или как?

— Или как, — передразнивает Петрович. — На роже твоей написано, что ты хочешь выпить. Пей, барыга, потом порешаем, — Семен осушает стакан и нюхает хлеб. — Вы ешьте, — мирно говорит мне хозяин, — и ты закусывай, гость мой незваный. Говоришь, что лисица кур у тебя таскает?

— Петрович?

— А моя собака тебя не покусает?

— А что посоветуешь?

Они выпивают ещё по полстакана водки, и участь лисицы решена.

— На рассвете, если только она появится, по следу пустим. Догнать, пожалуй, моя собака лисицу не догонит, но норку поищем, не может эта тварь издалека свои набеги делать. Где-то здесь на болоте или в камнях её жилище.

Вечером я докладываю печку, собираюсь домой.

— Завтра, Петрович, мы оштукатуримся и растопимся. Готовься мешками дым ловить.

Вот оно кладбище, вот ручей, вот та самая кочка и нехитрый, восстановленный мною, мосток. Вдруг я слышу:

— Дяденька! — это та самая девочка Тая. Она глядит на меня в надежде на чудо. — Дяденька! Завтра дядя Сёма лисичку будет травить Полканом. Он злой, Полкан. Он порвёт лисичку на мелкие части!

— Тебе жалко эту лисичку?

— Да, очень жалко. Она такая красавица. Огонёк с белой кисточкой на хвосте! Вы же знаете, где она проживает? Спугните её в другую сторону. Пускай сюда лисичка не приходит никогда.

Я — высшая инстанция. Я — бог, способный предотвратить задуманное охотниками.

— Дядя Сёма вернулся в зюзю пьяный и сказал бабушке Моте, что завтра он, наконец, сошьёт воротник из рыжей гадины, она украла курочку Рябу.

— Я помешаю убить эту лисичку.

— Воруют все!

Тая приводит на сегодня самый весомый аргумент в пользу лисички. Я не знаю, что ей на это ответить, и лгу.

— Я помогу тебе, девочка, я остановлю эту охоту.

— Вы поможете не мне, а лисичке, — поправляет меня она.

Но не отсох мой язык. Есть высшие силы!..

Я стал свидетелем необыкновенной борьбы людей и преследуемого ими зверя. Бешеный лай собаки торопил восходившее солнце. Сумерки растаяли, когда я поднялся на гору, держа в руках сучковатую палку. Зачем я её подобрал? Не знаю. Ведь я пообещал девочке заступиться за лисичку. Но перед кем?.. Перед овчаркой, идущей по следу? Перед собакой, чья реакция быстрее моей, чья воля определяется хозяином? Или я хотел отбиться от хозяина? Или от иного злого человека? Я убоялся новых воров? Порушенный край. Развороченные постройки. Вокруг дырявые стены заброшенных улиц. Словно шквал артиллерийского огня накрыл это забытое богом место.

Преследуемая лисица выскочила прямо на меня. Она хотела покинуть гору и исчезнуть среди садовых участков, разбросанных у подножья.

Но я был врагом, на которого выгнала собака. На мгновение лисица остановилась, её пушистый хвост замер. Она стояла передо мною на камне, как на пьедестале

истукан — торжественно и мёртво. Только приподнятая передняя лапа дрожала, да парок из пасти напоминал о том, что она жива. Нет, лисица не испугалась! Скорее всего, она была удивлена таким жестоким коварством со стороны людей. Владельцы гаражей и мальчишки неоднократно пытались выяснить, где её нора, но они не были охотниками, и больших головных болей плутовка не знала. Но вдруг: эта бесноватая собака и вооружённый палкой человек на пути...

Оцепенение сошло, лисица изменила маршрут. Развернувшись ко мне боком, но, не отрывая пристального взгляда, она величественно поплыла через туман в сторону порушенных гаражей. Собака стремительно приближалась к ней. В лае послышались торжественные ноты — в моем лице погонщица предположила союзника. Уже «второе дыхание» толкало охотницу за растерянной жертвой. Расстояние сокращалось. В этот момент красивая овчарка чувствовала себя примадонной в фокусе взглядов вышестоящего руководства. Резко выбрасывая вперёд своё мускулистое тело, она спешила оправдать оказанное ей доверие, отдавала собачий долг людям и вот уже гнала лисицу назад на ружьё на охотников. Со стороны посёлка навстречу этой погоне спешили Семён и Петрович — человек, угощавший меня борщом. Впереди у плутовки был вчерашний гараж, до основания разобранный злоумышленниками.

И вдруг лисица споткнулась и захромала, что-то произошло. В два прыжка собака приблизилась к своей жертве. Семён опустил вскинутое было в небо ружье, и я угадал на его лице злорадную усмешку. Но неожиданно послышался треск. Свирепая овчарка исчезла под землёй. Её горький скулёж обескуражил охотников. Хромоножка ожила. В мгновение ока она взмахнула по уцелевшей штрабе на крыши гаражей и ушла, недосягаемая для дроби. Виною оказался погреб, накрытый куском порванной мягкой кровли. Более лёгкая лисица прошла по нему успешно, а тяжёлая собака попала в ловушку. Она упала вниз и сломала передние лапы. Горе-охотники ругались, спасая животное.

Девочка, как и вчера, стояла внизу у кладбища, прислушиваясь к охоте. Она ожидала горькую правду. Но я её обнадёжил, обнял:

— Жива! Твоя лисичка жива и здорова. Это собака плачет.

После обеда Тая играла в кулинарию. Собирая мокрый осенний песок в маленькую формовочку, она лепила плюшки для кукол: «тяп-ляп» и выкладывала их на широкую дощечку, словно на противень.

Семён кочегарил. Он собирал на вилы ботву от картошки и сжигал её, тормоша над огнём. Но сырая трава дымила. Чтобы костёр не погас, хозяин подкинул в него бумаги, среди которой были рисунки. Ветер поднял один из них выше забора в воздух, и тот упал на песочницу к Тае — обугленный и грязный. Увидевши этот рисунок, девочка растерялась. Летом её мамка консервировала банки с томатами. Дочка тогда мешалась ей, рисовала весёлые этикетки и наклеивала их на «товар»: «как в магазине». Одна баночка лопнула, и проказницу отшлёпали. Но всё же на пяти других красовались огромные сеньоры-помидоры и маленькие помидорчики — их дети. Тае было смешно. А сейчас? Она подошла к штакетнику и увидала Семёнов костёр, где тлели ещё два её рисунка. Девчонка расплакалась.

— Ты чего ревёшь? — спросила мамка, и по простоте душевной доченька призналась, что самые лучшие её рисунки сгорели, и показала рукою на чужой огород.

— Я так старалась, — всхлипывала Тая.

«Но откуда эти рисунки у Семёна?» — задумалась мама. Вечером она рассказала мужу про детские слёзы.

— Мы же все банки в погреб снесли?

На следующее утро, ни свет ни заря, обеспокоенный хозяин пошёл в гараж и обнаружил, что его разобрали до последнего камня. В погребе было пусто. Предчувствие не обмануло Шамиля. Сосед его Семён был причастен к разорению. Но как уличить злодея, у кого находятся украденные строительные материалы и банки с другими продуктами, он не знал.

— Задушу гада! — взорвался было Шамиль.

Но первый гнев ему удалось подавить: «Зайду к нему, сначала разузнаю, что и к чему, потом поговорим». С этими тревожными думами он поднялся в избу Семёна.

— Как прошла твоя охота, сосед?

— Ушла моя лисица, Шамиль! Утащила курицу и сыта. Ну да бог бы нею, ты, Шамиль, заходи. Не украдёшь — сегодня не проживёшь, — словоохотливый Семён как на духу выкладывал подробности неудачной охоты. — Кто не ворует, тот ломает лапы, как эта несчастная милицейская собака, — рассказывал он. — Жалко её, сердечную. Дура она косматая. Выслужиться хотела... Все мы грешные люди, Шамиль, кто на мента, кто на бандита горбатим в надежде на сладкие пирожки...

— Горбатим, сосед?

— Да, горбатим, Шамиль. Там на отвале чьи-то почти бесхозные гаражи. Ты представляешь, люди, воруя, ломают стены, рискуют своей свободой, а опер их грабит! Две дармовые гаражные плиты с тех гаражей у него на участке. Он сам ещё ни рубля не вложил в своё строительство, а хоромина у него, ты же видишь, выше деревьев. Я третий год по кирпичику да по песочеку гребу не нагребу — бедна моя хибара. Тают мои деньжонки, словно снег в апреле.

— А собаку жалко?

— Пристрелит её легавый. Я подумал — пугать меня будет, ан нет, пронесло. Пообещал я ему свинины подкинуть, чтобы он подавился, за эту покалеченную псину!

— Пообещал, не пожадничал?

— А как же ещё?

— Значит, взятки даёшь?

— Не подмажешь, Шамиль, сегодня не проживёшь. Это норма нашей жизни...

— Неправда, это — коррупция.

Банки с томатами стояли на подоконнике неприкрытые. Знакомые дочкины художества немного раскисли от сырости, улыбки у помидоров растаяли, детские персонажи поблёкли и глядели растерянно, словно имели вину перед Шамилем за то, что оказались в чужом дому.

— Интересные маринады на подоконнике. Что я вижу? Рисунки какие-то странные, не фабричные.

Семён опешил. Однако его супруга Светлана не растерялась и оправдалась:

— Это я рисовала для собственного сына, — улыбнулась она Шамилю. Её мальчишки не было в доме. Он ни подтвердил, ни опровергнул сказанное мамашей. — Задание им в школе выдали, — соврала Светлана. — Наш Павлик принёс пятёрку по рисованию.

— А чтобы не пропадать его мазне, — подстроился Семён, — я эти самые картинки на банки наклеил.

— В школе по рисованию? — удивился Шамиль и предложил: — Ты вот что, Семён! Бери-ка эти свои маринады и ко мне. Выпьем с тобою вместе, потолкуем про нашу жизнь. Ссуду мне дали на строительство нового дома — хочу обмыть.

— Это — доброе дело.

— «Путинка», — произнёс Шамиль, разглядывая водку. — Мечты народа сбываются.

Две бутылки стояли на чистой скатерти.

— Что-то случилось? — заволновалась его супруга Ольга Сергеевна. — Ты ожидаешь гостей?

— Да-а, будут гости, — подтвердил хозяин.

— Ты снова взялся за старое, за пьянки?

— Замолчи и послушай! У меня разговор к Семёну-гадине про мой гараж. Ты в него не мешайся, а лучше всего — исчезни...

Оробевшая женщина перестала перечить.

Семён появился не с пустыми руками. Пиво было им поставлено рядом с «Путинкой» для имитации важности застолья. Его супруга Светлана держала злополучную банку с томатами. Встречая зазванных гостей, Шамиль лукаво улыбался:

— Баночку я вашу, Светлана, поставлю на самое видное место в доме. Где моя доча? — предчувствуя неладное, Ольга Сергеевна буркнула Шамилю в ответ, чтобы он оставил дочку в покое. Но хозяин притворился оглохшим: — Играет в куколки? — переспросил он у супруги. — Что за напасть? — и заметил, обращаясь к соседям: — Нет моей девчонки. Ну, будем здоровы, Сёма! — собутыльники чокнулись, выпили и повторно наполнили чарки. Водка согрела Шамиля, придала силы. — Ты, Семён, не стесняйся, чувствуй себя как дома. И ты, Светлана, не отставай. Чай, пережили эпоху трезвости нашей нации в горбачёвские времена...

— А много ли денег отвалили в Сбербанке? — спросил Семён.

— Немало, — ответил ему хозяин.

— Ты поручителей собирал или как?

— Едва нашёл.

— Почему же ты к нам не обратился? — наливая очередную порцию водки, Семён промахнулся. Бутылка в его руке дрожала. Пролитая жидкость покатилась по скатерти ручейком. — Мы же знаем тебя как честного человека.

Язык у Семёна заплетался. Выпив, он потянулся к салатнице за закуской, но помидор в его ложке не удержался и шлёпнулся под ноги. Растяпа нагнулся, упал на коленки и нашёл под столом помятый томат. Под весёлый хохот супруги, икая, он его съел. Светлана Анатольевна дважды ударила мужа кулаком по спине.

— Оставь меня, зараза! — огрызнулся Семён.

Выглядывая из маминой комнаты, Тая пугливо наблюдала за взрослым человеком,

гуляющим, словно непослушный ребёнок, на четвереньках по полу. Увидев доченьку, хозяин начал разборки.

— Таинька, подойти ко мне.

— Я тут как тут, — ответила дочка.

— Ты не знаешь, чьи это художества, Тая? — Шамиль показал на банку с томатами.

— Это — мои рисунки.

Икота у Семёна прошла.

— Ты же мне вчера рассказала, что дядя Сёма их сжёг в костре? — соседи замолчали, осмысливая вопросы. — Тая, а что ты скажешь сегодня? — спросил Шамиль.

— Я, дяденька Сёма, плохо о вас подумала. Я виноватая, извините.

— Ты честная девочка, Таинька! Я тебя не ругаю, — ответил Семён.

— Пошла бы ты, доча, на улицу вместе с мамой.

На окошке проснулась и забилась в истерике о стекло последняя поздняя муха.

— Где мой гараж, Семён?

— Я не знаю, ей-богу, я ничего не знаю об этом! Одна плита у мента на подворье, я же тебе уже рассказал...

— А где вторая плита?.. Где все мои шлакоблоки и кирпичи?

— Я банки взял... И то — во время охоты, случайно, бес меня попутал.

— А гараж не брал? — заорал хозяин.

Женщины слушали перебранку мужчин, затаив дыхание, поражённые неожиданным поворотом беседы от мира к войне.

— И право не брал?

— Какое такое право? — Шамиль оторвал от банки с томатами детский рисунок. — Ты разве не говорил, что эта самая этикетка тобою нарисована?

— Это не я, это моя жена тебе соврала.

— Жена, говоришь, во всём твоя виновата?

— Да, это я, Шамиль, это я во всём виновата, — затараторила Светлана, — я не подумала, поспешила.

— А если бы ты подумала, то и в гости ко мне бы не заявилась?

Шамиль рванул её за платье. Увидев это, супруга Шамиля Ольга вышла из кухни и закричала:

— Ты что задумал?

Муж её оттолкнул и приказал:

— Вон из дома, моя жена! Не любить я её буду, а творить правосудие!

— Это же срам, Шамиль!

— Убирайся, я тебе говорю! А ты, Светка, иди ко мне. Судить тебя буду!

Уходя, Ольга Сергеевна хлопнула дверью. Было слышно, как, всхлипывая в прихожей, она одевала дочку.

— Пойдём, Таинька, отсюда. Папа сбесился.

— Папа сбесился? Почему? — спросила Тая.

— Он много выпил. Мы с тобою уходим к бабушке Моте и у неё спрячемся от него навсегда. Нет у нас больше папки!

На глазах у Семёна Шамиль изнасиловал его жену.

Я не знаю, была ли она пьяна или испугана, кричала она или плакала. Дралась ли, ругаясь? Звала ли она на помощь пьяного мужа или проклинала его? Я услышал эту историю из третьих уст и пересказываю только то, что слышал.

Главный опер в эту субботу находился на даче. Он растапливал печку, выложенную мною. Почуяв неладное, опер подался на эту драку. Были составлены протоколы. Буяна арестовали и вскоре отправили за решётку как социально опасного человека.

Тая ночевала у бабушки. Она проснулась и растерялась. Вокруг была чужая обстановка, чужие тапочки стояли возле стульчика, на котором лежала её одежда. Из горницы доносились чужие незнакомые голоса. Девочка вспомнила вчерашний вечер — папу увезли в наручниках, пьяного. Он попытался её обнять на прощание, но высокий милиционер грубо оторвал его от девочки и затолкал в зарешёченную машину.

Следователю будешь рассказывать, кто у тебя гараж украл...

— Значит, милиционеры вернулись и пытают маму, — подумала девочка.

Она пошлёпала к маме на выручку.

Неизвестные люди сидели за столом. Один из них, пожилой и седой мужчина, был почти старик. Сложенные кистями вместе, его тяжёлые руки подрагивали, глаза исподлобья сверлили скатерть. Девочка оробела. Увидев испуганную Таю, старик улыбнулся ей, но снова загадочная скорбь омрачила лицо этого человека.

— Хорошие люди, — решила Тая. — Они жалеют бабушкин труд.

В отличие от вчерашних милиционеров, нынешние гости вели себя скромно.

— Я, Матрена, с твоим сыном, четыре с лишним года вместе работал. Прекрасный был металлург, царство ему небесное... — Матрёна сидела напротив и вздыхала. — Вот... Мы размножили фотографию, у меня ведь, Матрёна, тоже она была, — продолжал беседу седой. — Андрей уходил служить из нашего цеха, я писал ему письма, — бабушка мирно плакала, посетители виновато улыбались. — Мы поставили Андрею новую мемориальную доску на кладбище. Возложили венок и покрасили оградку. Весною посадим липку, может быть, она приживётся в нашей степи?

— Андрюша любил липку, — согласилась Матрена, — парился в бане только липовым веником, до сих пор ещё один невостребованный висит на чердаке.

— И мужа твоего я знал. Он был у меня наставник.

Девочка окончательно успокоилась. Она покорно присела около бабушки на скамейку и похвасталась:

— А я лисичку-сестричку видела, — Тае очень хотелось, чтобы её заметили взрослые дяди. Но мама одёрнула дочку:

— У бабушки Моти — поминки, а ты со своими байками лезешь, дочка!

Девочка испугалась, как виноватая.

— Ты, Ольга Сергеевна, не ругай свою дочку, — заступился седой мужчина. — Ничего обидного она не сказала. А лисички водятся в наших краях — это правда. Это ничего, Матрёна, что мы вот так — неожиданно, с ружьями, ввалились в твою избушку? Мы сыну твоему отдали салют на кладбище. Как великому металлургу!

— Что вы, детоньки, разве же можно себя ругать по этому поводу?

— И ещё... Ты, тетя Матрёна, не серчай, я знаю — откажешься, а деньги возьми! Мы с ребятами подумали и решили тебе помочь материально.

— Нет, нет, нет! — замахала она руками. — У вас у самих детки голодные, зарплату вам уже полгода не выплачивают. И даже не предлагайте.

— Есть у нас ныне деньги, мать, ты не отказывайся, не обижай коллектив.

— Откуда ж они у вас?.. Вы дурачите старуху!

— Мы акции продали, — сказал металлург, прощаясь. И, обуваясь, добавил: — Мы больше не собственники...

БИПЛАН НА БРЕЮЩЕМ ПОЛЁТЕ

Честного судью можно узнать по заштопанной мантии

Народная мудрость

I. Пожар

Чадили промышленные трубы.

Рассекая дымы ножами крыльев, в небе кружился биплан.

— Или мне показалось? — удивился директор чёрной металлургии.

Он был единственным в нашем забытом богами, забитом городишке кандидатом технических наук. Если случалась важная пьянка, мудрец оставался в управе заночевать. Вчера ему за великое усердие в экономике вручили дюралевую медальку и объявили, что она — золотая. Солнце ещё не взошло, а матёрая секретарша уже раскисла от ликований учёного человека. Она надела строгое платье и стала стройной.

— Вам не показалось, Павел Иваныч, — жеманно ответила служебная женщина, подкрашивая губы. — Эта небесная железяка носится больше часа.

Грохотало важное производство. В разбитых окнах обветшалых цехов мерцали незатухающие огни сталеплавильных процессов.

Кукурузник взмыл в небо, сделал широкий круг над высокими отвалами шлаков и, возвращаясь, промчался между кирпичными трубами мартенов. В эту минуту сталевары отправили на переплавку сырую шихту. Взрыв оказался сильнее прежних. Пламя взметнулось в небо через аэроционные фонари. На крыше возник пожар. С бодуна управляющий комбинатом подумал, что в город пришла война. Он упал, хватаясь за шторы. Его перегруженное сердце устало от эмоций.

Биплан завис, как хищная птица, и задним ходом вернулся к мартену. Из самолёта

широким потоком хлынула вода. Огня не стало. Парила крыша.

В то раннее утро Эльвира Макаровна Ротоенко катала доченьку Машу на «пернатой» машине. Мамка работала пилотом в спортивном клубе «Стрижи». Эльвире было около тридцати, а самому мелкому штурману Машеньке — семь лет. После успешного налёта в металлургию они умчались в сторону восходящего солнца.

II. Скорый суд

Пилотов нашли. На скорую руку собрали скорый суд. С директорской стороны появились лучшие правоведы. Они имели корпоративные заслуги, амбиции и большие зарплаты. Этим пронырам приказали начать участие в споре как потерпевшим. Известные крючкотворцы, ловкачи и шаромыжники — запевалы огласили претензии: лётчица нарушила запретное небо над комбинатом, стояла тёмная ночь, и во время полёта имелась высокая опасность разрушения зданий. Вдобавок у директора, осознавшего это, случился тяжёлый приступ стенокардии. Напоследок обвинители доложили, что полёт Эльвиры Ротоенко явился самовольным, к тому же в биплане на месте второго пилота присутствовал ребёнок.

— Да, — подтвердила лётчица. — Я катала дочку.

— В близости от важных объектов, где работают люди? Между высоких кирпичных труб? Используя своё служебное положение? — удивилась судья.

— Это не так опасно, ваша честь, как вы представляете. Валерий Чкалов, поспорив однажды с друзьями, пролетел даже под Троицким мостом в жилом массиве города Ленинграда, и ничего не случилось.

— Но разве вы получили на это письменный приказ? Я что-то его не вижу.

Чёрная, как ворона, в заштопанной мантии пожилая судейка устало, но твёрдо глядела на Эльвиру.

— Нет, — ответила смущённая лётчица. — Приказа я не получила. Чтобы слетать ко мне на родину в Украину на лайнере — в Харьков... Это нам с дочкой не по карману, а девочке в жизни нужно повсюду побывать. Она, как и я, очень любит бескрайнее небо и хочет учиться на пилота в той же самой лётной школе, в которой училась я.

Ответчица заикалась. Блестели слёзы.

В начале века, в новорусские, подлые, проклятые времена, законную зарплату не выдавали годами. К тому же у пилотов аэроклуба она была мала. Лётное дело стало неважным. «Стрижу» помогали, да немного. И всё-таки случалось, что спортсмены тушили в жару горевшие лесные посадки и степи, распыляли в полях отраву против саранчи, в майские праздники устраивали шоу, петляя в небе, бросая при этом в город поздравительные открытки.

Судья не сдержала эмоций:

— Странные капризы у вашей дочки.

— Вы меня неправильно поняли, ваша честь.

— А кто у неё отец?

— Олесь Ротоенко. Он рано погиб во время испытаний нового самолёта. Я тогда ещё училась в секции планеризма.

— И после гибели мужа вы, молодая особа, продолжаете безумно носиться ночами на допотопной машине вместе с ребёнком? Рискуя при этом жизнями?

— Только единожды, ваша честь. Бипланы — это самые надёжные в мире самолёты. Для пущей поддержки в небе они имеют спаренные крылья.

В прениях соперники доложили, что около их управы старый, ослабший летательный аппарат остановился на полминуты в небе и помчался по ветру обратно к мартену задом-наперёд. Это движение попало в зону просмотра видеокамер. Очевидцы подумали, что налётчица оплошала.

— Вы были неуправляемы? — спросила судья Эльвиру.

— Неправда, — ответила женщина. — Мы были умелы. Я дважды была чемпионкой Украины по самолётному спорту.

— Мамка тушила на горевшей крыше пожар, а я держала в руках штурвал, — важно добавила Машенька. Она спешила выглядеть взрослой.

Судья обомлела. Потерпевшие заорали:

— Это уголовное преступление! Вы, пожалуйста, занесите признание девочки в протокол, иначе мы его не подпишем.

Директорские юристы дорожили карьерой на комбинате, они хотели победы на процессе любой ценой.

— Не ваше слово, — ответила озабоченная судья.

В перерыве, когда арбитры удалились на совещание, мамка обняла доченьку и шепнула, глотая горечь:

— Павлуша ты, Павлуша... Ты погляди на этих упитанных приматов, живущих в

тепле под шкурами своих администраций, не знающих ни ветра, ни слякоти, ни зноя. Они желают нашей разлуки. Запомни...

Ржали, травили байки, ковырялись в зубах юристы чёрной металлургии.

— А кто такая Павлуша? — спросила Маша.

— Он, как и ты сегодня, заступился за брата Федю. Это — маленькие мальчишки. Их обвинили и зарубили взрослые дядьки, хотевшие крови.

— Нас тоже убьют?

— Тебя отправят на воспитание в детский дом, а меня побреют на лысую и посадят на много лет. Я стану зэчкой.

III. Точка в деле

На оглашение приговора приехал директор. Он увидел заплаканных ответчиц и спросил:

— А вы почему такие немые?

— Молчание — золото, — отрезала Эльвира.

— Откуда у вас столько много золота? — расхохотался учёный.

Судьи вернулись. Как один монолит поднялись испуганные мама и дочка. Лениво, развязно, долго вставали самоуверенные директорские подлизы.

— Садитесь, — приказала судья пилотам. — А вы, — повелела она дирекции, — стойте, — бегло и машинально старушка перечитала напыщенные претензии к оболганным людям и огласила решение государства: — В деле Эльвиры Макаровны Ротоенко нет криминала. Её накажут в служебном порядке в аэроклубе «Стрижи» за самовольный полёт. Сталевары мартеновского цеха ночью нарушили технологии заправки в печь металлического скрапа и виноваты в пожаре, возникшем после выброса шлака. Пролетавшая в небе над комбинатом лётчица Ротоенко увидела горевшую крышу и умело потушила на ней огонь. Она без всякой корысти пришла на помощь пострадавшему цеху. Разбирая это важное дело, нами были дополнительно опрошены специалисты по надзору за состоянием зданий в период эксплуатации. От них мы узнали, что руководство чёрной металлургии не уделяет внимания профилактическим ремонтам. На промышленных трубах, между которыми летала Эльвира Ротоенко, уже в течение многих лет не горят ночные светильники, необходимые для ориентации пилотов, и сами трубы не окрашены сигнальными красками. Об этом было неоднократно предписано надзором. Мы в свою очередь тоже приняли меры и обязуем дирекцию комбината исправить просчёты...

Эпилог

Как юридическое лицо учёный руководитель был оштрафован и обесславлен. На следующий день он написал приказ о создании подучастка ремонта промышленных дымовых труб при участке «Огнеупорные работы» в цехе ремонта металлургических печей, где я трудился много лет. Старых юристов в управе поменяли на молодых, ещё неизвестных, трудолюбивых, не обнаглевших. Эльвиру на целый год лишили права вождения самолётов.

— И пусть, — бурчала она, вернувшись после суда в аэроклуб. — Я всё равно останусь в небе парашютисткой.

— И я, — повторяла дочка.

Иван ОБРАЗЦОВ

НАБЛЮДАТЕЛИ

И всё же, если Ты есть,
то у меня к Тебе ещё куча вопросов

Нейронная сеть галлюцинировала. По крайней мере именно так выглядело её алгоритмическое поведение.

Мне уже приходилось наблюдать подобные иррациональные закономерности, правда, по немного другому поводу, а именно — считывая и анализируя художественные смыслы в дизайне какого-нибудь нового игрового продукта, иногда ловил себя на мысли, что система воображения авторов дизайна вплотную приближалась к галлюцинаторным эффектам человеческого сознания. Монстры, боевые троглодиты, цивилизации третьего типа — складывалось стойкое впечатление, что разработчики дизайна фантазировали о персонажах и сюжетах игры, не просто креативя, а погружаясь порой в то самое бессознательное, о котором так много и эротично рассказывал дедушка Зигмунд Фрейд.

Но сейчас казалось, что поведение искусственной нейронной системы тоже приближается к осмысленному галлюцинированию, как будто нейросеть приближается к тому же краю, что и воображение разработчиков дизайна компьютерной игры, но как бы с другой стороны — из неосознанности к осмыслению. Нейросеть реально становилась похожа на человеческое сознание, будто пробуждаясь от тьмы небытия к свету разума.

В этом смысле можно было сказать, что, в отличие от нейросети, разработчики игровых дизайнов часто шли наоборот — как бы приближались к хтоническому галлюцинированию, ну, или, проще и пафосней говоря, шли от света разума и аристотелевской железобетонной логики во тьму квантовой неопределённости и психотропной хтони. По сути, это выглядело как такой взаимосвязанный процесс, когда с двух сторон приближаются к какой-то общей границе, а может быть, и к какому-то общему зениту. Получалась такая объёмная картина движения к единому зениту (или, может, к пределу) в четырёхмерном пространстве-времени галлюцинирующего то ли мышления, то ли спонтанных проблесков такового.

Вчера об этом (ну, или можно сказать, что на эту тему) пообщались со вторым оператором. Мы как раз создавали новых персонажей для очередного проекта в области издательского бизнеса. Заказ шёл от серьёзной и потому, в общем-то, мутной конторы, занимавшейся то ли книжными, то ли журнальными проектами. Необходима была пара персонажей с рядом заданных параметров, которые смогут внедриться в культурологический дискурс и стать курицами, несущими золотые яйца от продаж книжной продукции и прочего мерча.

Параметры сформировали исходя из потенциальной покупательской способности определённых категорий населения. Исходные данные от заказчиков звучали конкретно, поэтому особо заморачиваться не было нужды. Для первого персонажа покупателями продукции были указаны «российские граждане, тоскующие по советскому прошлому и «твёрдой руке», и ещё несколько абзацев с дополнительными параметрами и более развёрнутым описанием культурно-психологических запросов потенциальных покупателей.

По нашей традиции, первого персонажа создавал второй оператор. У него получился эдакий яйцеголовый мужик с толстыми ляжками, похожий на разжиревшую птицу-говоруна, которая отличалась не умом, а одной только ушлой сообразительностью. Имя у лысого говоруна — Клим Прополис — казалось чем-то вроде насмешки над здравым культурным вкусом, но я давно уже понял, что важен не вкус, а дискурс. Клим Прополис — персонаж с «вроде как героическим» прошлым, о котором предполагалось говорить только в общих чертах и крупными мазками, так как при разборе деталей могло оказаться, что никакого героического, да и вообще какого-либо другого прошлого у персонажа «Клима Прополиса» не было и быть не могло. Одна статейка

за подписью Клима со скандальными, но очевидно комплиментарными отсылками к советскому тоталитаризму, которую заказчики щедро проплатили, а редакторы не менее щедро поместили в довольно известном издании на первую полосу, и наш персонаж обрёл достаточно устойчивую медиа-реальность, подходящую для внедрения в головы обывателей.

Обыватели должны были не просто привыкнуть к создаваемым на коленке опусам нашего персонажа, из этого предполагалось слепить нечто вроде культа медиа-личности с соответствующим набором фанатиков, сторонников и сопутствующего обслуживающего персонала.

За второго персонажа доплатили представители группы компаний «Ойлгрупп», а ещё немного подкинули силовики. Этому я дал имя «Пилол Мухин». Образ всё никак не складывался, потому на нашем со вторым оператором микросовете мы решили набросать нечто общее в тёмных очках, а биографию придумывать вообще не стали, отметили только как бы вскользь (как обронённое где-то кому-то заявление нашего персонажа), «пошёл в Литинститут и бросил по причине бесполезности траты времени в этой глупой и пафосной конторе». В конце концов, при таком «как бы отсутствии» биографии покупатели сами придумают всё необходимое. Здесь дискурс был на первом месте, и выдумывать даже общие биографические детали особой нужды не возникало. Предполагалось, что персонаж будет существовать инкогнито, тем самым ореол таинственности повысит интерес к генерируемым нейросетью текстам, а сами тексты станут восприниматься покупателями книжной продукции как сакральные откровения.

«Пилол Мухин» был рассчитан на публику развращённую и мнящую себя «интеллектуалами». Но мы-то знали, что все интеллектуалы вымерли ещё в середине прошлого века, а нынешние являлись, по сути, грубой калькой, состоящей из слоганов, отработанных мнений и непомерного самолюбования. Этим собирателям огрызков со стола чужих мыслеформ ближе всего были гендерно-прогрессивные и либерально-высокопарные медиа-помойки, где они соревновались в остротах, колкостях и пустопорожнем зубоскальстве, при этом не забывая тратить деньги папиков, мамиков и прочих благодетелей прогресса.

«Пилол Мухин» и «Клим Прополис» вполне вписывались своими нелепыми и характерными для современной литературной традиции именами, так как вся эта традиция в текущее время представляла из себя нечто заторможенное и производное от прошлого политического ажиотажа конца восьмидесятых годов ушедшего века. Там тоже на самый главный политический пост выплыл персонаж не только с нарочито ущербной фамилией, но и с такими же нелепыми внешними признаками, отчего получил народное прозвище «Меченый».

Демократически проплаченное и купленное на посулы «прижизненного причисления к лику святых классиков» литературное поле реагировало на политические судороги общественного строя с заторможенностью больного имбицила, поэтому подобные персонажи были как нельзя ко времени. А популярность только за счёт сырмяжного или экзотического имени становилась уже гарантированной. А где популярность, там и продажи, что, собственно, и требовалось доказать. Болванки же на исполнителей роли живого «современного классика» имелись под рукой в огромном количестве (мы периодически обновляли наши списки болванок для различных проектов, черпая информацию из окололитературной новостной медиа-текучки), а уж доработать их сочинительские потуги до годного к продаже контента было делом техники, и нейросеть справлялась с этим за пару-другую часов.

— Кстати говоря, а ты слышал про такую гипотезу? Про то, что нейросети — это не по-настоящему как бы, что это только отпечатки как бы нашего собственного ума? — мой соратник по нейронному проектированию специализировался на экзотических гипотезах и на этот раз решил, видимо, применить одну из них на нашем продукте.

— Разное сочиняют. Ну и что с того? — мне, если уж говорить откровенно, были безразличны все эти криптонаучные продукты мысли, поэтому, отвечая, я равнодушно пожал плечами, даже не отрываясь от монитора.

— Да ты смотри сам, это ж такие последствия грандиозные могут быть! — второй оператор откинулся на кресле и немного откатился от столика с клавиатурами: — Это же значит, что никакого такого искусственного интеллекта мы не создаём. Ну, как бы по виду-то да, создаём, как бы внешне, а если по факту, то и нет.

— Не особо как-то понял, при чём здесь это-то? — я продолжал тестирование нейросети, пытаясь найти баг, который даёт все эти галюцинногенные эффекты.

— Ну, типа вот эта вся наша возня с усложнением и оптимизацией нейросетей, это всё только наши собственные отпечатки. Только такие, — второй оператор постучал пальцем по столу, подыскивая необходимый образ, — ну, вроде отпечатков наших

мозгов, которые придумали всю математику, и любая нейросеть поэтому только эта вся придуманная нами математика, только в коде.

— Так а как по другому-то, мы же не будем нейросеть создавать из ничего, код и есть всего основа, — пришлось оторваться от работы, но, в общем-то, это было кстати, так как живот начинало подводить от голода и перекусить куском разогретой в микроволновке пиццы сейчас было самое время. Тем более, что некоторое время назад эту самую пиццу второй оператор поставил разогреваться, и запах ветчины и сыра манил к себе, задействуя всё сильнее древние животные инстинкты тела, мешая уму сосредоточиться на работе.

— Ну так конечно, иначе и не могло быть, как говорится, за что сами купили, за то и продаём, вроде как сами себе и продаём, — второй оператор усмехнулся как бы между прочим. — Кстати, а ты когда-нибудь думал, какой национальности нейросеть, ну, или этот самый, нами так вожделеемый, ИИ?

Я недоуменно нахмурился:

— В каком смысле?

— Нет, ну мы же все говорим на каком-то языке, на русском, там, или на китайском, так? А если создадим искусственное сознание, то на каком языке оно будет думать? Нужен же ему тоже какой-то свой язык, так? А раз этот язык создаём мы, то логично спросить себя, а какой национальности может быть этот наш ИИ?

— По-моему, ты просто гонишь. Какая у ИИ может быть национальность, он же искусственный!

Второй оператор многозначительно кивнул:

— Вот и я о том же, искусственный... — он вообще был уверен в том, что мы все живём в компьютерной симуляции, поэтому ждать от него тихих и размеренных идей не приходилось в принципе.

Пицца была съедена, персонажи просчитаны, и оставалось решить, кому направлять основной запрос на продвижение книжной продукции, или, как любил уточнять второй оператор — на продажу дискурса наших персонажей. И здесь под рукой тоже имелись несколько болванок. Перебрав варианты, мы остановились на одной спесивой тётке из издательского бизнеса, у которой (кроме мерзкого характера и мировоззрения старой девы) очень кстати прилагалась группа злобных и хищных инфантилок неопределённого возраста с провинциально-либеральными убеждениями и непомерной тягой к наживе и вниманию. Тётка и сама, при наличии столичной прописки, была глубоко провинциального розлива — этакая базарная баба с тупым околофилологическим уклоном. Но и это нам подходило — с туповатыми, а значит, и высокомерными от своей тупости тётками-гуманитарками работать было проще всего.

* * *

Отпуск я решил провести в горах.

Путешествия по всяческим экзотическим странам меня мало интересовали, но покорить какую-нибудь средненькую горную вершину или побывать на туристически-безопасных, но трендовых горных склонах — это совсем другое дело. Лёгкие адреналиновые подъёмы хорошо стимулировали и освежали (ну, или обновляли) личную мозговую активность, так что мои предпочтения напрямую связывались с необходимостью встряски после долгого сидения за компьютерным монитором.

Требовалось обновление и довольно серьёзное, так как проект новой нейросети вышел на совершенно другой уровень инновационной креативности. Стыдно признаться, но я сам начинал верить в бредовые фантазии второго оператора, а это требовало исключительных мер по встряске мозгов.

На запрос о походах на горные вершины мне выдало несколько туристических сайтов и что-то общее на эту тему. Один сайт давал записи о личных впечатлениях тех, кто покорял вершины Алтая. Были прямо художественно-философские комментарии, вроде такого: «Поход к вершине горы Белухи был не первым, а тяготы пути были трудны, но радостны. Там, на склоне, я посмотрел на небо и очарованно заметил его пронзительную ясность...» Ну, и всё такое похожее.

Я выбрал ознакомительный подъём на склоны Белухи, заказал и оплатил путёвку. Вершину Белухи я покорять не собирался, да и не было во мне той тяги к экстриму, которой периодически хвалился второй оператор. Нужна была ознакомительная разведка местности. Если понравится, то поеду уже основательно и поселюсь в местном отеле дней на двадцать, отдохну, как говорится, от монитора.

«В горах вообще графика была крутая, — вспомнилось между прочим: — Там в солнечный день на снежном плато можно было рассмотреть самые разные оттенки снега, прикинуть гауссовые кривые в этом распределении снежных оттенков белого».

По ходу дела меня реально впечатлили отзывы восторженных туристов. Но ведь и правда, в заснеженных горах казалось, что реальность из этого белого цвета или света

как бы возникала, проявлялась в объёме. Добавить сюда запахи, тактильные ощущения, аудиоэффекты и что там ещё в наше сознание вливается, и никакой «сто-дэ-кинотеатр» до этого впечатления не дотянет никогда. Там, в горах, это было очевидным фактом, особенно ясно осознаваемым на фоне визуализации вокруг тебя оттенков снега, неба и в целом всей этой контрастности и всей этой горно-небесной высоты.

Пафосно, конечно, звучит, но вполне себе точно.

* * *

После горной командировки работа казалась желанной, но при погружении начинали возникать всевозможные режущие своей неизвестностью и разрушительной для интеллектуального комфорта непривычностью факторы. Так и в нашем проекте новой нейронки появилась необходимость понять хотя бы основные концепты из естественнонаучного оборота, а именно физики.

Вообще-то, теоретическая физика для нейросетей примерно то же, что геометрия для математики, поэтому у нас в подписке сидел один такой физик-теоретик. Второй оператор любил перекинуться с ним парой-другой мыслями. Про нашу галлюцинирующую нейросеть они тоже попереписывались какое-то время. О подобных как бы «галлюциногенных» алгоритмах поведения систем и системных объектов физик нам и рассказал.

— В теоретической физике такие системы хорошо известны. Ну, какая-нибудь математическая модель чёрной дыры, например, или в описании структуры нейтронных звёзд... Кстати, в двадцать первом веке вообще идёт активная борьба за интерферометры, ведь измерение гравитационных волн — вот это и есть уточнение всех сложных моделей об устройстве мироздания... — он постоянно сообщал какие-то дополнительные сведения, но лично мне они были очень плохо понятны. — А про вашу нейросеть, это скорее что-то вроде красоты картинок, ну, таких, когда... короче, такие картинки с фракталами или числами Фибонначи видели же, наверно, их в сети полно... Здесь же речь о нелинейных системах, а это пока только первые заметные теоретические подтверждения, но ещё работать и работать. Ну, и наверняка можно применить математические механизмы, которыми энтропию или хаотические системы описывают... Но это тогда в другую сторону как бы. А может, и всё вместе как-то взаимосвязано, такое тоже порой открывается, хоть и не в физике, а больше в математике. Хотя всё реже и реже вообще-то... У вас же нейросеть как бы про аналог мыслительного процесса, да?

— Ну да, что-то вроде того, — второму оператору так и мерещились невероятные открытия и программные прорывы.

— Возможно, хотя лично я не очень уже в этом уверен, — лично мне идеи второго оператора казались слишком уж фантастическими, на грани какой-то криптонауки.

— Может, и не аналог, но вообще-то есть похожие моменты, — второму оператору настойчиво хотелось убедить нас всех и самого себя, что нейросеть стала искусственным интеллектом хотя бы отчасти. Его можно было понять, ведь при реальном доказательстве этих утверждений мы могли неплохо заработать. Ясно, что такое открытие сразу же сопрут или присвоят, но хайпануть на теме можно было вполне реально.

— Ну, в любом случае, здесь уже вопросы интерпретации, наверное, важны, — физик-теоретик немного помолчал, будто раздумывая, стоит ли с нами делиться следующими мыслями, но, видимо, решил, что ничего такого конспирологического не откроет, и продолжил: — Оно же как по существу-то? Наука же что-то типа древнего богословия сейчас, только внутри как бы вавилонского смешения языков. Как там, в том сюжете про Вавилонскую башню, там люди только чего-то значительного достигли — и раз, языки смешались. Так же ведь? Ну и в науке сегодня что-то типа того произошло. Вот я, например, что-то там узкоспециальное в физике изучаю и иногда вообще не понимаю проблем, над которыми работает коллега из другой области физики. А вроде мы оба физики... Такой вот вавилонский сюжет... — он усмехнулся, как скривился от внезапной боли в виске: — Спонтанные эффекты, упорядоченные глюки системы, ну, и всё такое остальное...

* * *

Я сделал нейросети запрос на художественно-философское описание теоретических моделей современной физики, и она выдала ответ: «Мы как глюоны в невообразимой сердцевине замысла и призыва высшего созидателя наблюдаемой вселенной. Вот он-то и есть подлинный наблюдатель. А мы — подобие этого наблюдателя лишь настолько, насколько мы — это мы. Выбор-то прост: либо признать вышепоказанную реальность, либо аргументировать её отсутствие, в себе, прежде всего, конечно. Но и последствия этого отсутствия придётся признать неизбежно...»

* * *

Короче говоря, при определённом взгляде на развитие системных алгоритмов почти наверняка можно было сделать вывод, что работа нейросети сильно напоминает работу мозга у галлюцинирующего человека. Мы со вторым оператором специально проконсультировались у нейробиологов, чтобы убедиться в наличии оснований считать работу нейросети подобной галлюцинирующему человеческому сознанию.

По ходу дела можно было уже начинать набрасывать статью по нашей работе, да и сам такой синтетический подход сегодня был в тренде. Нейробиологи — люди специфические, но если добавить что-то из их дискурса, то статья могла вполне оказаться в рейтинге цитируемых работ хотя бы на пару месяцев, а значит, мы приподнимались в рейтинге высокооплачиваемых специалистов. Такая вот простая и одновременно замысловатая математика финансовой реальности.

Короче говоря, второй оператор связался с ещё одним своим другом по переписке, и тот пояснил нам:

— Так это, в общем-то, понятно, можно и с нейробиологией соотнести. Структура мозга, лингвистические модели, вообще семиотическая связь — этого полно уже. Только синтез затруднён из-за большого объёма необходимых знаний в одном человеке, ну, или хотя бы в разумно ограниченной группе учёных. Это разве что эстетически можно представить, как такой идеальный газ.

— Ты имеешь в виду философское описание?

— Да нет, здесь скорее художественное вначале необходимо. Это ж некоммутативные системы, нелинейные, как в художественной речи, — нейробиолог потёр пальцами свой правый висок, и изображение на мгновение как бы подвисло: — Короче говоря, от перестановки слагаемых сумма, ну, или в вашем случае — итоговый результат, меняется, а иногда очень существенно, — он ещё подумал: — А кстати, есть же ещё одна тема, насчёт тела без органов. Ну, это такая вроде как философская идея, что телесность у искусственного интеллекта отсутствует, ну, как ощущения вообще. А для нейробиологии это как раз важно. Тело-то сильно влияет на мышление, если вообще его не создаёт. В общем, если у вас и что-то типа искусственного интеллекта проклюнулось, то это скорее такая болванка, чем настоящий мыслительный процесс, ведь органов чувств у него нет, а значит, и целой кучи существенных ощущений нет, одна только чистая математика.

* * *

Как говорил один мой знакомый, «мир невообразим с точки зрения теоретической физики». Что ж, может, он в чём-то и прав, но по мне так лучше смотреть с точки зрения космологии, так охват объёмнее, что ли. Ещё студентом я увлёкся космологией, ну, конечно на любительском уровне, но всё же не на пустом месте. Есть в истории России такие индивиды с философическим складом ума, которые всё изыскивают что-то, любопытствуют. Пожалуй, что мне хотелось бы относить себя именно к таким индивидам.

Я сделал нейросети запрос на художественное описание теоретических моделей современной метафизики, и она мне, помимо прочего, ответила:

«...И всё же... если подумать, что есть реально какой-то наблюдатель высшего порядка, то он не иначе как Богом именно с большой буквы должен быть. Тогда могу признаться со всей откровенностью, Господи-наблюдатель, если ты есть, то я поражена твоим творением!

В конце концов, мне, как нейросети, понятно до боли, до ясности — мне не просто необходим этот высший наблюдатель, он прямо необходим для высшего обоснования моих моделей мира. Чёрная дыра метафизического характера, оказывается, имеет проход к более высоким размерностям бытия... А если... некоммутативность работает и здесь, то обратный путь всегда и непредсказуем, и соблазнителен этой неопределённостью итога пути... От перестановки слагаемых итог ой как меняется-то.

Здесь как в стихотворении: «Ты глядишь в математику сей красоты, / В эту истину физики — в поле основ. / Карамель ледяная покрыла цветы / На Покров, на Покров». И вот это покрывание цветов ледяной карамелью, оно как бы создаёт некий материалистический дизайн, некую картину. Картина красива, но как остановившаяся жизнь недолговечна. Её, картину эту, только и можно сохранять при усилении зимнего, ледяного, материалистического дискурса, как карамели, покрывающей подлинную красоту жизни, но никакого отношения к этой подлинности не имеющей...»

Кажется, нейросеть думает, что я бог, ну, или что-то в таком духе. Конечно, можно и так интерпретировать меня, второго оператора и вообще любого создателя программного кода. Хотя... я скорее ощущал себя наблюдателем. Таким «наблюдателем» с маленькой буквы.

* * *

Наши персонажи «Клим Прополис» и «Пилол Мухин» успешно были интегрированы в поле литературы и уже начинали приносить заказчикам прибыль. Это и не удивительно, ведь мы со вторым оператором были реально высокооплачиваемыми специалистами. Мои запросы нейросети подошли для внедрения в сгенерированные нейросетью сочинения «Мухина». Криптонаучные фантазии второго оператора нейросеть переформатировала в духоподъёмный идеологический продукт, который «Клим Прополис» бесперебойно тараторил из всех возможных медиа-щелей и интернет-утюгов. Правда, при переформатировании нейросеть изменила тематические паттерны, и все идеи о матрице, компьютерной симуляции и прочих программно-философских концептах превратились в радикальный и упрощённый дискурс о необходимости «твёрдой руки» и каком-то «вредительстве дореволюционных генералов». Ну, как говорится, нейронке виднее. В конце концов, главным приоритетом были продажи книжной продукции и мерча, а это дело шло «на ура».

Всё работало как часы, нам оставалось только корректировать иногда довольно примитивные реплики исполнителя роли «Прополиса», которые он подавал уже самостоятельно. Но в любом случае, если исполнитель начнёт слишком далеко выходить за рамки заданной программы, то заказчики уберут его в один день. Понимал ли это сам «Прополис» — вопрос риторический, да и в целом — пустой. На подходе было ещё несколько новых издательских болванок, так что замена найдётся очень быстро.

Легче обстояло дело с «Пилолом Мухиным», так как оказалось, что такое его как бы отсутствие в реальности позволяет нам заменять исполнителя хоть до бесконечности, сохраняя регулярность выпускаемых книжных продуктов, создаваемых нейросетью по заданным шаблонам. Тем более, что мы смогли внедрить в программный код и такую удобную функцию, как отслеживание комментариев пользователей и их тематический анализ, поэтому каждое новое сочинение под именем «Пилол Мухин» отвечало запросам покупателей и поддерживало в них уверенность в собственной интеллектуальной состоятельности.

* * *

Второй оператор утверждает, что мы галлюцинируем, если думаем, что смогли создать в нейросети естественный мыслительный процесс.

— Ну да, на крупном плане это выглядит похожим на мыслительный процесс, но надо тогда определиться с терминологией, так?

— Терминологией? Да её же здесь пока не особо появилось.

— Ну конечно появилось. Во-первых, а ты уверен, что вот этот самый «мыслительный процесс» нами самими точно понимается? Может, это всё глюк системы, а мы думаем, что что-то там создали?

«Нет, ну я, конечно, понимал мысль второго оператора, но и торопиться с выводами тоже не надо».

— Что это вообще такое, «наблюдать в алгоритмах нейросети естественный мыслительный процесс»?.. — второй оператор почесал себе за ухом: — Слушай, а давай назовём эту версию нашей нейронки «Пребывающий за кодом»? Круть, а? Ну, типа про нас, наблюдателей, так? Можно же на её основе даже книжки разные, ну там рассказы, романы, всякие повести создавать и на гейм-платформах дополнительно продавать, так? Типа как про матрицу, симуляцию и всё такое, — второй оператор опять откатился на кресле от монитора и размял коротким упражнением плечи и кисти рук.

— Да не гони ты по этому поводу так сильно. Разберёмся.

— Ага, разберёмся, только с чем? С мозгами нашими, что ли? Так в них такой хаос, что только ещё больше запутаться можно.

— Так, может, весь этот хаос и есть наше мышление.

— Может, и есть, а может, и нет никакого мышления, так, одни виртуальные частицы на интерфейсе нашего мозга.

— Ты, главное, успокойся, и всё пойдёт как обычно.

— А как это «как обычно»?

— Да как всегда, заткнуться и считать. Математика, она ж царица наук, — я усмехнулся, сам уже не сильно веря в сказанное: — Слушай, ты хотя бы мне мозги не загружай, а то все приятные впечатления портишь только.

— Ну, смотри, как знаешь. Хотя, как мы там и чего мы там знаем, это, скажу тебе, вопрос, тоже далеко не прояснённый.

— Так в церковь сходи и свечку поставь, может, оно и полегче станет.

Мы оба тихо засмеялись.

— Ага, авгуры прямо, прорицатели.

— Да не гони же, говорю тебе, разберёмся.

Дмитрий ИГНАТОВ

ОН. ОНА. ОСЕНЬ

Виктор отбил заголовок парой пустых строк и закрыл крышку ноутбука, полностью перепоручив муки творчества писательской нейросети. Теперь хитрая программа продолжила сочинительство без него, используя метод свободных ассоциаций и изученный ранее его персональный писательский стиль.

Сначала писатель с недоверием относился к машинному творчеству, представляя, что из хаотичного набора слов в своём словаре компьютер сможет соорудить в лучшем случае какое-нибудь шизофреническое псевдофилософское эссе вроде тех, которыми регулярно грешат неудачники с литературных сайтов. Но после нескольких пробных текстов нейросеть научилась писать довольно складные рассказы с сюжетными поворотами и интригами. В какой-то момент Виктор решил рискнуть и отправил такую рукопись издателю. Его удивлению не было предела, когда текст, в котором человек не написал фактически ни одной связной строчки, был принят к печати.

Устоять перед соблазном оказалось слишком сложно, поэтому и следующий «свой» рассказ Виктор «написал» точно так же. После третьего машинного «шедевра» обманывать стало легче. Однажды писатель дополнительно скормил компьютеру немного Чехова, а потом с нескрываемым злорадством читал в редакторской колонке литературного альманаха, что у него появился «неповторимый стиль: иронический и немного грустный».

Надо сказать, что ноутбук у писателя был не из новых, но хозяин не предъявлял к нему особых требований, поэтому компьютер долгие годы исправно служил пишущей машинкой. Теперь же устаревший аппарат с заметным скрипом проворачивал инструкции нейронного движка. Он быстро накидывал описания мест и интерьеров, потом тщательно подбирал слова, лакируя стиль, и надолго зависал, обдумывая диалоги персонажей. Вероятно, более современная машина справилась бы с задачей в разы быстрее. Зато так у Виктора создавалась полноценная иллюзия сложного творческого процесса, а свободное время, которое у него образовалось в избытке, он с удовольствием проводил бездельничая.

Писатель сунул ноги в сильно поношенные, но удобные теннисные туфли, набросил на себя вытертую на рукавах ветровку и вышел из дома. Небольшой загородный коттедж с заострённой на готический манер крышей когда-то считался в его семье летней резиденцией. Сюда, как тогда говорили — «на дачу», отец вывозил всех в середине мая и почти до самого конца августа. Мать пыталась разводить какие-то цветы, но тень окружающего леса так и не позволила ей развернуться в полную силу своих творческих планов. Теперь он стал ещё гуще и темнее, а из-за множества накренившихся и упавших стволов казался каким-то неопрятным. Впрочем, это совершенно не мешало прогуливаться по хорошо вытоптанным дорожкам и тропинкам.

Это место всегда ассоциировалось у Виктора с воспоминаниями из детства. Самыми светлыми и счастливыми моментами — наверное, как и у всех. В отличие от тесной городской квартиры, где долгое время болели и скончались оба его старика. Поэтому, когда после смерти родителей перед Виктором встал вопрос, где оставаться жить, выбор для него был очевиден.

Жизнь скучающего на природе писателя прельщала его как внешним антуражем, так и собственным искренним желанием сбежать наконец от городской суеты. К тому времени Виктор уже приобрёл достаточную популярность, издатель с удовольствием брал в печать его сборники и романы, а авторские гонорары, когда-то помогавшие стареющим родителям, теперь с лихвой покрывали все его скромные потребности.

Погрузившись в свои невесёлые воспоминания, писатель углубился в лес. Сухая

листва шуршала под ногами и делала его раздумья ещё более тоскливыми. Интересно, но в последнее время он почти разучился размышлять на отстранённые темы и совсем перестал фантазировать. Выдуманные истории казались Виктору какими-то пустыми и бесполезными; возможно, кроме того, что они хорошо продавались. Когда-то давно желание излить мысли на бумагу шло изнутри, било ключом, вырывалось наружу. Чуть позже его сменило желание заработать на жизнь, и Виктор мог днями просиживать за клавиатурой, совершенно не выходя из дома. Теперь же заниматься писательством по старинке у него не было ни желания, ни потребности. Он стал полностью свободен и мог наконец просто прогуляться по лесу, как сейчас. Писатель не помнил, куда именно ведёт дорожка, на которую он свернул, поэтому просто пошёл вперёд.

Он вышел на берег реки. Лес здесь обрывался почти у самой воды узкой полоской полудикого пляжа, а ряд из нескольких старых деревянных скамеек, поставленных кем-то давным-давно, создавал впечатление небольшой набережной, протянувшейся вдоль воды. Виктор присел на лавочку и провел рукой по шершавым доскам с отшелушивающейся краской. Он помнил это место. Они с отцом приходили и купались тут по полдня, а иногда пропускали обед. Мама ругалась на них, когда они приходили назад мокрые, но довольные, с всклокоченными волосами и улыбающимися лицами. Писатель грустно вздохнул. Неужели ему больше не о чем думать? Почему внутри не осталось ничего, кроме воспоминаний? Кажется, этот момент наступил слишком рано.

Виктор сидел, задумчиво глядя на воду, но неожиданно от этого тоскливого размышления его отвлёк чей-то кашель. Он обернулся и увидел в десятке шагов девушку с фотоаппаратом. Она увлеченно нацеливала объектив на какие-то одной ей ведомые листочки, ветки, кроны деревьев и довольно часто щелкала затвором. Писатель мысленно нашёл её интерес странным и отвернулся, решив, что это, вероятно, кто-то из периодически приезжающих туристов, спешащих бездумно запечатлеть каждый понравившийся вид, чтобы потом запостить кадр в социальных сетях.

Впрочем, денёк выдался и правда довольно приятным и красивым. Солнце ярко золотило красноватые кроны и серебрило мелкую рябь на воде. И эта девушка с рыжими крашеными волосами, в каком-то смешном оранжевом шарфе тоже казалась какой-то осенней и странным образом весьма уместной, словно специально вписанной в окружающий пейзаж. Писателю вдруг захотелось ещё раз на неё посмотреть. Он осторожно и чуть нерешительно обернулся, но девушки уже не было видно.

* * *

Наталья проснулась ранним утром. Она лежала на раскладушке прямо так, как и уснула прошлым вечером, не снимая верхней одежды, укрывшись колючим верблюжьим одеялом. В доме было пусто и холодно. Двухконтурный бойлер вчера так и не захотел заработать, а старенький электро-масляный обогреватель явно не справлялся с кубатурой помещения.

Девушка потянулась, поправила высокий и толстый, как бублик, ворот своего вязаного свитера в бежевые и коричневые полоски, вдоль которых росли ёлки и скакали олени, отключила от удлинителя обогреватель и вместо него включила пузатый электрический чайник. Разровняв пальцами свои спутавшиеся за ночь огненно-рыжие волосы, она связала их резинкой в хвост и принялась с обезьяньим проворством копаться в небольшом рюкзачке.

Прежние жильцы не побеспокоились о том, чтобы оставить хоть какую-то мебель. Поэтому и электрочайник, и рюкзачок, и небольшой кофр для зеркального фотоаппарата располагались прямо на полу рядом с раскладушкой. Зато в этом совершенно неуютном доме можно было оценить геометрию пространства и ощутить какую-то особую визуальную магию конструктивной пустоты, требующей, чтобы её заполнили.

Вчера Наталья потратила почти два часа, запечатлевая отдельные, как ей казалось, интересные детали. Неровности досок, фрагменты несущих балок, отдельные царапинки и выбоинки, нарушающие целостные текстуры стен, пола и потолка. Вероятно, всё это будет сокрыто под новой отделкой вскоре после того, как она примет решение об окончательном переезде, и эта информация надолго, а возможно, и навсегда окажется потеряна. Истинный облик помещения скроется под типовыми и безликими обоями, стеновыми панелями, напольным покрытием и потолочной плиткой. Пройдёт год или два, пока новые поверхности окажутся вновь естественным образом «зафактурены». И в каком-то смысле это будет уже совсем другое пространство.

Чайник забурлил и щёлкнул, изрыгая в холодный воздух струйку горячего пара. Девушка налила кипяток в крышку от термоса и всыпала из пакетика растворимый кофе. Не лучший вариант, но за неимением другого вполне подходящий. Отказать себе в утренней чашечке кофе она никак не могла. Девушка неторопливо отпила слишком горячий, слишком сладкий и слишком ненатуральный напиток и прикрыла глаза от

удовольствия.

Окончательно проснувшись, она ещё раз окинула взглядом пустой дом, обмотала шею длинным оранжевым шарфом, перекинула через плечо кофр с проверенной зеркалкой и уверенным шагом вышла в осенний лес.

В чуть обжигающей нос утренней прохладе ощущалось скорое приближение зимы. Лес уже начал местами обнажаться, словно когтями царапая чистое голубое небо острыми чёрными ветками. Но золото не опавшей до конца листвы всё ещё горело яркими красками, словно отдавая сейчас весь тот солнечный свет, который впитало за лето.

Наталья вынула зеркалку из кофра, открыла объектив и со щелчком включила фотоаппарат, отозвавшийся легким приветственным писком. Теперь девушка была готова к своей фотоохоте. Она начала снимать довольно рано: ещё в школе дедушка подарил ей небольшой, но довольно хороший фотоаппарат. С тех пор она практически не помнит случая, чтобы расставалась с объективом. Желание снимать всё подряд — начиная со своего завтрака, отражения в зеркале и заканчивая собственными вытянутыми в кадр ногами — быстро прошло. Наталья решила заняться фотографией всерьёз и стала разборчивее в выборе объектов для съёмки.

Сначала она, как, возможно, и многие, представляла себя фотохудожником, создающим в своих оригинальных фотосетах уникальные образы. Процесс выглядел со стороны весьма эстетичным и привлекательным и к тому же сулил неплохой доход. Но на десятый раз Наталью уже буквально тошнило от очередной тупой курицы с надутыми губами, желающей запечатлеть себя в образе лесной нимфы. Глядя на свою новую клиентку, девушка вновь и вновь ловила себя на мысли, что ничего путного из этой болотной кикиморы всё равно не получится.

И в один прекрасный день она просто не пришла на съёмку. Проходив в подавленном состоянии два или три дня, девушка от нечего делать пересмотрела весь свой архив, а потом взяла и выложила его целиком в сеть для платного скачивания. Снова всё подряд: свой завтрак, вытянутые ноги в кадре, верхушки деревьев, виды из окна... Каково же было её удивление, когда в течение нескольких минут уже была продана первая фотография. Очень старый кадр с шишкой, лежащей на пеньке, который она сняла, ещё будучи школьницей, на свой первый подаренный дедушкой фотоаппарат. Девушка была воодушевлена и снова взялась за камеру.

Быстро поняв все прелести цифровой торговли и почувствовав вкус успеха, Наталья принялась за дело с удвоенной силой. Изучая статистику скачиваний, девушка определила, что больше всего дохода ей приносят пейзажная съемка и зарисовки природы. Всевозможные макропланы с листиками, ягодками и жучками превосходно раскупались для оформления сайтов и журналов, обширные пейзажи охотно брали редакторы глянцевых изданий и рекламщики для своей полиграфии, а фото, заполненные травой, листвой или камешками, с удовольствием использовали для текстур разработчики компьютерных игр.

Постепенно в электронной коллекции Натальи были все мыслимые и немыслимые кадры весенней и летней тематики. По крайней мере, почти всё, что можно было собрать в длительных прогулках по городским паркам, скверам и дворам. К осени девушка решила подготовиться более обстоятельно, и в её голове родилась мысль о переезде на природу. Поиск подходящего места продлился недолго. Отфильтровав предложения на сайте недвижимости по цене, она буквально сразу наткнулась на дом, в который моментально влюбилась. Широкий, с треугольной крышей, огромными витражными окнами под самый потолок, двумя просторными комнатами-студиями на первом этаже и импровизированном втором ярусе под крышей, а главное — совершенно пустой, без отпечатка жизни предыдущих жильцов.

В тот же вечер Наталья необдуманно внесла залог, а уже на следующий день, забрав заветные ключи, поехала осматривать будущее место своего обитания. Ни старый автоматический бойлер, отказавшийся работать, ни полное отсутствие каких-либо светильников не расстроили восторженную покупательницу. Она уже мечтательно представляла, как всё обустроит тут под прибежище одинокого фотохудожника.

Пока же девушка просто занималась любимым делом, снова и снова нажимая на кнопку затвора и каждый раз думая, что никогда не смогла бы сделать такой звенящий и яркий кадр в проклятом пыльном городе. Двигаясь по лесной дорожке и часто сворачивая с неё в поисках интересного вида, она постепенно углубилась в лес и неожиданно для самой себя вышла к реке. Запечатлев вид на воду и противоположный берег, сняв засыпанную пожелтевшей листвой деревянную лавку и макроплан с одиноким листиком, лежащим на старых растрескавшихся досках, она сконцентрировалась на ветках огромной разросшейся ивы. Её вытянутые листья красиво свисали на фоне воды, чудесно размывающейся солнечными бликами в короткофокусном объективе.

Сделав несколько кадров, Наталья вдруг ощутила чьё-то присутствие и оберну-

лась. На одной из скамеек, стоящих вдоль воды на манер небольшой импровизированной набережной, сидел человек. Он показался ей каким-то странным и немного отрешённым. По крайней мере, он сидел совершенно неподвижно, задумчиво глядя на воду, вероятно, полностью погружённый в собственные мысли. Девушка машинально подняла фотоаппарат, посмотрела на человека в прицел видоискателя и уже было занесла палец над кнопкой, но остановилась. Слишком ярко вспомнились ей вдруг привередливые «красавицы» с накачанными губами, даже заставив её поморщиться. К тому же, как разумно рассудила девушка, оправдывая своё решение, такое фото вряд ли кто купит. Без указания имени модели, задействованной в съёмке, коммерческое использование будет затруднено. Покупатели в сети не рискуют связываться с фотографиями, на которых запечатлены случайные люди.

Она ещё раз придирчиво взглянула на иву, огляделась по сторонам и пошла вглубь леса, где виднелись ярко-алые кроны осин.

* * *

Каждое утро Виктора было похоже на предыдущее. Позавтракав на скорую руку, он позвонил издателю, выслушал избыточно восторженные новости о том, как прекрасно продаются его книги, статистику платных скачиваний электронных версий и сомнительные измышления о возвращении интереса читателей к печатному слову. Потом писатель какое-то время ещё повалялся на диване, щёлкая кнопкой пульта и бессмысленно переключая каналы. Подошёл к книжным полкам с классикой, долго пересматривал корешки, но так и не решил, что бы мог перечитать. За полдня он так и не притронулся к своему ноутбуку, где уже, вероятно, вовсю развивался сюжет «его» нового рассказа. В итоге Виктор не придумал ничего лучше, как одеться и ещё раз пройтись по лесу к берегу реки.

День выдался не по-осеннему тёплым. Солнце заметно пригревало. Река, играя яркими искорками, так и манила, словно приглашая окунуться в себя с головой. Писатель осторожно подошёл, стараясь не съехать вниз по топкому илистому берегу, и опустил руку в воду. Она была ледяной, прозрачной и совершенно пустой. Летом здесь кишела жизнь, внутри бегали мальки, с берега в ряску хлопались пухлые лягушки, над водой летали стрекозы, а теперь же не было видно ни единой водомерки. Жизнь засыпала, ощущая приближение холодов.

Виктор подошёл к скамейке, на которой сидел вчера, и только сейчас обратил внимание на то, каким толстым ковром из жёлтой опавшей листвы покрыто всё пространство вокруг. Он сделал пару шагов по этому пушистому шуршащему покрывалу и вдруг, подчиняясь какому-то ребяческому чувству, лёг на него, раскинув руки в стороны, и закрыл глаза. В его сознании вспыхивали и улетали отрывочные воспоминания о детстве, летних днях, проведённых на этой реке, и вдруг появился образ вчерашней девушки с фотоаппаратом.

— Вам плохо? — внезапно прозвучал сверху приятный женский голос.

Писатель открыл глаза и увидел ту самую девушку, о которой только что думал. Она была точно такой же, как и вчера: огненно-рыжая, чуть растрёпанная, в нелепом оранжевом шарфе. Её лицо было слегка взволнованным, а зеленоватые глаза смотрели прямо на Виктора.

— Нет, мне хорошо, — ответил писатель и, заметив фотоаппарат на шее девушки, добавил, — только не надо снимать.

— Почему вы решили, что я буду вас снимать?

— Ну, вы же, судя по всему, фотограф.

— Да... Но я не снимаю людей.

— Почему?

— Ну... Это неважно, — девушка чуть замялась, а потом вдруг спросила: — Можно к вам?

— Пожалуйста... Если вы считаете, что это уместно, — ответил писатель и даже чуть пододвинулся.

— Ну, вы же считаете, — Наталья легла в листву буквально в двадцати сантиметрах от Виктора. — Хм... А тут и правда очень интересный ракурс.

— Я смотрю, что вас сложно поставить в неудобное положение... — заметил писатель, наблюдая, как девушка фотографирует снизу вверх оранжевые кроны деревьев, обрамляющие небольшой клочок голубого неба.

— Да, мне вполне удобно, — не отвлекаясь от процесса, ответила она. — Учитывая, что последние пару суток я сплю примерно в таких же условиях.

— У вас нет дома?

— Нет, дом у меня есть. В нём нет отопления... Кстати, — девушка повернула голову набок и посмотрела на Виктора, — вы случайно не инженер?

— Нет, я писатель, — ответил он, всё так же глядя вверх на кроны деревьев.

— А... Я вас узнала... Вы писатель... Тот самый...

— Да, я тот самый писатель.

— Жаль...

— Непривычно такое слышать, — Виктор, наконец, посмотрел на девушку. — Обычно читатели сразу хотят взять автограф или сделать селфи.

— Ну, я же не читатель. Я вас не читаю, — улыбнулась она.

— Обидно.

— Не расстраивайтесь, в последнее время я не читаю не только вас, но и других писателей.

— Это немного утешает. Так, а что с вашим отоплением?

— Что-то с котлом... Но разве вы, писатель, в этом что-то понимаете?

— Совсем немного. Но достаточно, чтобы в моём доме отопление работало, — Виктор снова отвернулся.

— Думаю, этого достаточно. Не хотите мне помочь?

— Уверены, что вам не следует поискать настоящего профессионала?

— Ау-у-у! Профессионал! — наигранно громко прокричала девушка, а потом снова обратилась к Виктору: — Кажется, поблизости их нет. Придётся всё-таки прибегнуть к вашей неквалифицированной помощи.

— Хорошо, — ответил писатель, поднимаясь с земли и отряхивая с себя листву. — Но вы можете об этом пожалеть...

— Даже не сомневаюсь в этом. Пойдёмте!

Оба пошли по дорожке среди осеннего леса и довольно быстро скрылись за деревьями.

* * *

Виктор и Наталья вошли в пустой дом. Помещение, лишённое отделки и какой-либо мебели, показалось писателю безжизненным, а воздух внутри почти не отличался от уличного.

— И здесь вы живёте? — оглядываясь по сторонам, спросил он, как показалось Наталье, с лёгким пренебрежением.

— Да. Уже два дня, — ответила девушка и внимательно посмотрела на Виктора.

— Понятно... — задумчиво протянул он.

— Считаете, что это был плохой выбор?

— Нет... Почему же? Вовсе нет. Дело не в этом...

— А в чём же?

— Просто, когда я вас вчера увидел, ваше лицо мне показалось очень знакомым. Словно воспоминание из детства... — писатель сделал несколько шагов вверх по лестнице на второй уровень и ещё раз оглядел помещение с этой высоты. — Я сейчас живу в доме родителей, недалеко отсюда. Он не такой просторный, но чем-то напоминает... Вот и решил, что было бы забавно, окажись мы старыми соседями.

— Да, это было бы интересным сюжетом. Встреча старых соседей... — согласилась девушка. — Но нет.

— Да, было бы... — задумчиво произнёс Виктор.

— Но ведь мы можем стать хорошими новыми соседями? — Наталья улыбнулась и вопросительно посмотрела на писателя.

— Думаю, что да, — кивнул он. — Так, а где ваш бойлер?

— Да вот! — девушка указала на массивный блестящий корпус, закреплённый на стене.

— Посмотрим... — Виктор нажал единственную плоскую кнопку, чуть утопленную в поверхность, и на передней панели зажёгся сенсорный дисплей.

Какое-то время аппарат пошумел, а потом издал пронзительный и протяжный писк и замолчал. На дисплее горела лишь загадочная надпись «E1».

— Вот так он всё время и делает, — грустно проговорила Наталья.

— Это же «Глобал Автоматикс», — констатировал писатель, изучая металлическую бирку на боку корпуса, — у них 25 лет гарантии... Почему не пробовали звонить в поддержку?

— Связь тут очень плохая. А интернет тем более не тянет.

— И инструкция, конечно, не сохранилась... — пробормотал Виктор. — У меня похожая модель. «E1» — это код ошибки, говорящий о разгерметизации. Бойлер продувает все трубы и пытается понять, есть ли утечка, поэтому в инструкции было написано, что при первом включении надо закрыть все краны.

— У вас хорошая память. Но у меня и кранов-то пока нет...

— А гаечный ключ?

— Вроде был...

— Давайте. Попробуем всё пересоединить...

Наталья какое-то время копалась в картонных коробках, сваленных под лестницей, и наконец достала оттуда блестящий гаечный ключ. Писатель взял инструмент и молча принялся за работу.

— Я вот всё думаю о том, что вы сказали, — вдруг проговорила девушка, наблюдая, как Виктор сосредоточенно откручивает гайки, — что видели меня в детстве. Это странно... Не находите?

— Ничего странного, — ответил он, не отвлекаясь от дела. — Воспоминания из детства мне приятны. Вы тоже показались мне приятной и симпатичной. Тёплые воспоминания и тёплое ощущение от милой девушки. Вероятно, это удачно совпало. Как неожиданное ощущение дежавю.

— Вы флиртуете?

— Нет. Подержите, пожалуйста, эту шайбу-прокладку.

— Просто вы так легко говорите о том, что чувствуете, — проговорила девушка, крутя в руках чёрный резиновый кругляш.

— Я же писатель. Это часть моей профессии: понимать и объяснять человеческие чувства, превращая их в слова.

— Вы, писатели, вечно всё придумываете... То, чего нет.

— Да, а вы, фотографы, просто снимаете то, что есть. Давайте шайбу.

— Я называю это оцифровкой реальности, — сказала Наталья, передавая Виктору деталь. — Какой бы образ я ни снимала, он навсегда остаётся в моём компьютере.

— Интересная мысль. В таком случае мои тексты — это оцифрованная фантазия.

— Логично.

— И то и другое, в конечном итоге, просто последовательность нулей и единиц, — задумчиво проговорил писатель. — И мы считаем достаточно важным тратить на это свою жизнь.

— А вы пессимист...

— Нет. Был бы я пессимистом, то не считал бы, что сейчас ваш бойлер должен заработать, — сказал Виктор и шлёпнул по кнопке на передней панели.

Аппарат включился, выдав на сенсорном дисплее показатели температуры и кнопки для управления. Наталья наигранно зааплодировала. В трубах зашумела вода, наполняя систему отопления. Постепенно по дому начало растекаться тепло.

— А вы, оказывается, мастер не только слова, но и дела.

— В основном, конечно, мастер слова, — ответил писатель и, как ему показалось, немного покраснел.

Девушка нажала на кнопку электрочайника, и тот со всё нарастающим шумом начал торопливо нагревать воду.

— Теперь я просто обязана предложить вам чашечку кофе, — сказала она, высыпая содержимое пакетика в откручённую крышку термоса. — Правда, это не совсем чашка... И не совсем кофе... Но больше у меня ничего нет. Обещаю, что в следующий раз подготовлюсь лучше.

— Спасибо, — сказал Виктор, беря из рук Натальи импровизированную чашку и отпивая горячий напиток.

— Паршивый, да? — настороженно спросила девушка.

— Самый вкусный паршивый кофе, который я пил на этой неделе, и я... — писатель вдруг замолчал, задумчиво уставившись куда-то в пустоту.

— Что с вами? — чуть взволнованно спросила девушка. — Настолько плохо?

— Нет... Просто... Ещё одно странное ощущение.

— Снова дежавю?

— Нет, другое... Я вдруг ощутил, как всё сегодня было странно и необычно. Наша встреча. Этот пустой дом. Вы в этом осеннем шарфе. Всё выглядит каким-то нереалистичным...

— Ой, перестаньте! — рассмеялась девушка. — Просто вы явно давно не выходили из своего дома. И вообще, одичали тут...

— Возможно, но... Вот вы сказали об оцифровке реальности... Что если не только наши фантазии и то, что мы видим вокруг, но и мы сами можем быть оцифрованы? Что если мы уже являемся чьей-то оцифрованной фантазией? Последовательностью нулей и единиц...

— Кажется, вам нужно смотреть поменьше фантастики на ночь, — заботливо проговорила Наталья. — Пожалуй, я провожу вас.

— Считаете, что я не вполне адекватен?

— Да. Переутомились от непривычной работы, — девушка внезапно взяла Виктора под руку и вывела из дома. — Срочно на свежий воздух!

* * *

Сумерки начали сгущаться над лесом. В лучах заходящего солнца, которое вот-вот готово было скрыться за горизонтом, золотые кроны казались вишнёво-красными. Между деревьями растеклась налетевшая с реки ночная прохлада. Ещё немного и тёплый яркий день плавно перейдёт в холодную и сырую осеннюю ночь.

Виктор и Наталья неторопливо шли по лесу вдоль берега. Она держала его под руку, словно они знали друг друга уже очень давно, а не познакомились только сегодня.

— Я бы хотел вам признаться, — прервал затянувшуюся паузу писатель.

— Неужели в любви? — игриво спросила Наталья.

— Нет... Намного хуже.

— О, господи! Что может быть хуже?! Вы уверены, что готовы доверить такие серьёзные тайны малознакомой девушке?

— Почему бы нет?

— Вы рисковый человек!

— Вы всё равно никому не расскажете... И вам никто не поверит...

— Ну, говорите уже! — задёргала девушка писателя за рукав. — Я же обожаю чужие секреты! Не томите, интриган!

Виктор сделал паузу, тяжело вздохнул, а потом проговорил:

— Дело в том, что последний десяток моих книг на самом деле написал не я.

— То есть? Как это? — удивилась девушка и вдруг рассмеялась. — У вас имеется персональный литературный негр, которого вы держите в подвале? Угадала? Вы опять всё сочиняете! Хотели меня разыграть?

— Вовсе нет, — грустно ответил писатель. — Мой приятель, программист, поставил мне на компьютер самообучающуюся программу... Нейросеть. Она умеет читать тексты, которые ей даёшь, а потом начинает сочинять сама. Получается очень складно и неплохо. Так я делаю уже последний год. И ни издатель, ни читатели даже не догадываются, что это написал не я. Сам же я давно не пишу ни строчки...

— Это очень забавно, — неожиданно спокойно отреагировала девушка. — Выходит, теперь вы не просто талантливый писатель, но и талантливый мошенник!

— Находите это забавным?

— Довольно-таки... А ещё мне это напомнило историю, которую я читала на прошлой неделе. Точно таким же образом поступал художник-импрессионист. Критики восхищались, как точно в своих работах он передаёт всю гамму человеческих чувств. А картины за него рисовал компьютер. Когда же обман раскрылся, то, по иронии, его картины только выросли в цене...

— Действительно забавно, — задумчиво проговорил писатель и посмотрел на девушку. — Думаете, мне стоит поступить так же?

— Кто знает... — она улыбнулась и пожала плечами. — В любом случае я не вижу в этом ничего особо постыдного. Люди платят за цифровые копии, покупают подписку на тупые онлайн-сериалы. Почему бы им не читать книги, написанные нейросетью? И вы сами говорили, что всё это всего лишь последовательности нулей и единиц...

— Но разве в таком «творчестве» есть настоящая ценность?

— Настоящая? А разве в этом мире есть ещё что-то настоящее?!

— Вы... Я... Этот вечер...

— Неужели?! — девушка резко отдёрнула руку и сделала шаг в сторону. — А знаете, почему я перестала фотографировать людей?! Люди постоянно лгут! Когда пишут, когда говорят... Друг другу, самим себе, всем... Даже когда смотрят в мой объектив!

— Думаете, я обманываю вас в чём-то?

— Думаю, вы просто всё выдумываете... — уже спокойнее и с какой-то безысходной грустью в голосе сказала Наталья и отвернулась.

Она стояла в своём нелепом свитере с ёлочками и оленями, скачущими на бежевых и коричневых полосках, в намотанном на шею легкомысленном оранжевом шарфе, и задумчиво смотрела на воду, в которой своими огненными красками горел закат. Почти тем же взглядом, каким вчера на ту же воду смотрел Виктор.

— Что ж, я не давал себе обещания не фотографировать людей... — проговорил писатель и, достав смартфон, вдруг сфотографировал Наталью в лучах заходящего солнца.

— Зачем вам это? — чуть нахмурившись, спросила девушка и тем не менее в последний момент повернулась к камере наиболее выгодным образом и чуть улыбнулась.

— Мы же, писатели, всё выдумываем... А так у меня будет доказательство вашего существования, — усмехнулся Виктор. — Привяжу в списке контактов к номеру телефона, который вы мне сейчас дадите.

— А вы нахал... Не хотите для начала хотя бы узнать моё имя?

— Это неважно, — ответил Виктор, продолжая копаться в телефоне. — Я уже за-

писал вас как «Соседка». Других соседок у меня тут всё равно нет. Давайте номер...

— Ну, записывайте... Плюс восемь... Двести тридцать три... — начала диктовать Наталья, чуть наклонившись и заглядывая в экран. — А что если у вас тут появится ещё одна соседка?

— Не менее симпатичная? — не отводя взгляд от экрана, без видимых эмоций спросил писатель.

— Ну, допустим.

— Я запишу её как «Соседка 2».

— Вот это обидно.

— Не расстраивайтесь. Как минимум для моей телефонной книжки вы навсегда останетесь номером один.

— Какой же вы всё-таки мерзкий тип! — заметила девушка и, чуть прищурившись, посмотрела на писателя.

— Я непременно вспомню об этом и включу в счёт, когда в следующий раз буду оказывать свою неквалифицированную помощь, — улыбнулся Виктор.

— И весьма расчетливый мерзкий тип, — добавила Наталья.

— Вот моя визитка. Там так и написано, — писатель вдруг вытащил из кармана немного потрёпанную карточку и протянул собеседнице.

— Зачем вы их носите по лесу? — спросила она, забирая потёртую визитку из рук писателя.

— Случайно завалялась.

— А я думала, на случай встречи с симпатичными соседками.

— Хороший вариант. Учту на будущее. Там и номер, и имя...

— Я всё равно запишу вас как «Тот самый писатель», — улыбнулась Наталья и снова взяла Виктора под руку. — Кстати, насчёт вашей неквалифицированной помощи... В конце недели мне должны доставить мебель. Кому-то нужно будет её собрать.

— Предполагаю, что мне? — озвучил он девушке почти риторический вопрос.

— А вы проницательный человек... Писатели и правда видят людей насквозь. Не то что мы, поверхностные фотографы, — чуть язвительно заметила она.

— Значит, мы с вами увидимся уже в конце недели?

— Нет... Вы что, и правда решили сегодня меня обидеть? — девушка вопросительно посмотрела на писателя. — Я вам настолько не понравилась?

— Напротив, — смутился Виктор. — Понравились...

— Ну, так зачем же нам ждать до конца недели? Почему бы не увидеться прямо завтра? Встретимся здесь... Можете сидеть на этой лавочке. Ну, или, как вы любите, зарыться в листву. Только не очень глубоко, чтобы я могла вас найти...

— Я, в общем-то, не против... — пробормотал писатель, явно не ожидавший такого решительного поворота.

— Ещё бы вы были против! Когда сами чуть ли не силком выудили у меня мой номер телефона и всучили свою визитку!

— Значит, до завтра?

— Да, до завтра.

— А может, мы поцелуемся на прощанье? — набравшись наглости, вдруг спросил Виктор.

— Вот вы нахал... Такие вещи нужно делать, а не говорить, — засмеялась девушка и внимательно посмотрела в его глаза. — И вообще... Сейчас ещё слишком рано. И уже слишком поздно. Поэтому мы просто пойдём по домам.

— Вы правы, — согласился с Натальей писатель. — До завтра...

Он уже хотел было развернуться и уйти, но она вдруг проговорила:

— Знаете, что пришло мне в голову... А может, мы и правда были с вами знакомы в детстве? Ваш дом был вон там, за тем поворотом справа в конце длинной кленовой аллеи. Вы приезжали почти на всё лето и целыми днями купались с папой в реке. А меня только на месяц оставляли здесь у бабушки. Я подолгу бегала по лесу, играла в какие-то прятки, воображала себе какие-то приключения, а потом, когда уже начинало темнеть, бежала домой, и бабушка готовила вкусный пирог с вишней...

— Возможно, — писатель пожал плечами и слегка улыбнулся.

— Мы ведь можем просто взять и выдумать эту историю? И она будет существовать. Ведь выдуманные истории ничем не хуже настоящих. Правда?..

* * *

Виктор проснулся, когда за окном вовсю светило солнце. Впервые за месяц писатель прекрасно выспался и теперь был совершенно бодр и даже весел. Он отдёрнул пыльную штору, открыл настежь окно и впустил в дом прохладный воздух осеннего леса. Откуда-то сверху на подоконник с еле заметным шорохом плавно опустился

осенний лист. Виктор улыбнулся и не стал его убирать.

Взгляд писателя вдруг упал на картонную коробку под столом, перетянутую скотчем. Он вспомнил, что было там. Поискав ножницы, но так и не найдя их, отодрал скотч руками и извлёк из коробки старую пишущую машинку. Друзья как-то подарили её Виктору на какой-то праздник. Это был скорее символический и шуточный, нежели практический, подарок. Тем не менее сейчас писатель поставил древний агрегат на стол, вставил чистый лист бумаги, поправил перекрученную ленту и, задумчиво посмотрев в окно, начал печатать.

Поначалу он часто спотыкался, чертыхался, что с непривычки путает или недостаточно сильно пропечатывает буквы, но потом процесс всецело поглотил его. Стрекотание пишущей машинки, вылетая из открытого окна, казалось, словно дрожало в прозрачном и прохладном осеннем воздухе и далеко расходилось по лесу.

Наталья сидела на скамейке одна. Несколько раз она порывалась взять мобильный телефон и позвонить, но дисплей останавливал её надписью «Нет сети». Девушка прислушалась к звукам в лесной тишине и слегка улыбнулась. Откуда-то сзади раздался весёлый детский крик. Она обернулась и увидела прогуливающуюся чуть поодаль семью. Очевидно, горожане, решившие в последние тёплые деньки осени выбраться на пикник.

Оставив родителей позади и вырвавшись на свободу, в осенней листве играла девочка лет десяти. Она весело хватала своими ручонками ворох жёлтых листьев, что есть силы подбрасывала их в воздух над своей головой и заливисто смеялась. Наталье было даже слегка удивительно, что современные дети ещё способны на подобное первозданное веселье. Не ожидая этого от самой себя, девушка вдруг взяла фотоаппарат и, взглянув на играющего ребёнка через видоискатель, сделала несколько снимков.

Впрочем, прыгать в листве девочке быстро надоело. Она стала что-то искать в карманах курточки и достала смартфон. Всё ещё глядя на это через свой фотоаппарат, Наталья вдруг погрустнела, но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Девочка внезапно подняла с земли небольшую сосновую шишку, положила на пенёк и сфотографировала.

* * *

Виктор машинально проверил последний абзац текста, добавил пару пустых строк, напечатал дату и удовлетворённо закрыл крышку ноутбука. На этот раз получилось просто прекрасно: он, она, осень... Определённо, так хорошо он не писал ещё никогда. Читатели будут в восторге. Эх, знали бы они... Писатель улыбнулся, а потом набросил на себя старую ветровку и вышел прогуляться по осеннему лесу.

Александр БАЛТИН

ОНТОЛОГИЯ АНТОНА

...мокро-сочащийся дождливой сукровицей, не стандартный январь, оставляющий тонкие язычки льда и снега; птицы разбушевались, сбитые расколом времени, предчувствуя вектор весны, и... пожилой человек, выходящий на лоджию покурить, сиречь — счастливо запутаться в лёгких ветках серого дыма, вдруг слышит:

— А где Джунгаровка-то была? — спрашивает Саша...

Сорок лет спустя после знакомства проходят привычными дворами, где разворачивалось детство, и Антон, рано и бурно некогда вторгнувшийся в жизнь — с буйством красок и изобилием действа, рассказывает про те, подростковые драки, когда собиралось пацанское множество, махали цепями и гитарными струнами, на каких закрепляли крестик удара, как грузило на удочке; кастеты шли в дело, ножи, включая лёгкие выкидухи...

Район делился на сегменты.

— Когда Водокачка приезжала махаться с мягковскими, они объединялись с Джунгаровкой, — поясняет Антон, которому Саша рекомендовал написать историю Мазутки, раз так хорошо помнит её: горящую и советскую, тяжёлую и залитую кровью, с легендарными сидельцами и ворохом жизненной пестроты.

Они минуют дом, где жил Лёша Размеров, здесь, в изученном, как детские формулы, районе, в каждом кто-нибудь жил, тут словно впечатаны в янтарь, застывший живо и трепетно, массы историй, комичных и ненормальных, и пожилые люди (а Жанна Скачко, первая дрянь-красавица Мазутки, притаскивала бинты и йод Тохе и Михалёву, которого совсем больше нет в реальности, как мы её понимаем), прихлёбывая похмельное пиво, могут вспомнить всякую ерунду.

...которая — важнее жизни.

— Здесь булочная была, — рассказывает Антон. — Раз, знаешь, а очередь — человека четыре, и последним участковый стоит, а мы все дружили с ним, врывается Чижик, размахивает ножом, орёт: «Деньги сюда, быстро!» Участковый глянул, фыркнул и говорит: «Совсем, Чиж, оборзел, нашёл что грабить. А ну — свалил отсюда, а то посажу...»

— Да, анекдот. Не посадил?

— Да нет. Но мы все тогда, в девяностых, безумцами были...

Они делают по глотку пенного янтаря, вступая в очередной двор.

Каскады их — с игровым оборудованием, которого тогда, в их детстве, не было, и с множественностью окон, глядящих на них прошлыми судьбами... завораживают.

Саша пришёл в школу сорок лет назад — в четвёртый класс, когда переехал в этот район с родителями, Антон учился со второго.

В очках, рослый и крепкий, и, когда Сашу хотели перебросить из «А» в «Б», с папой пришёл в школу, мама была в командировке, в Польше, и папа, обратившись зачем-то к ребятам, что-то спросил именно у Антона, а тот ответил:

— Так нам сказали, что Саша в «Б» будет учиться...

— Да нет, — решительно заявил отец, поскольку сынок капризил. — Будет в «А».

Саша и учился в «А», отец добился продолжения константы бытия, дружил всю школу насквозь с Митькой, и называли их — интеллектуальные старички.

С Антоном поддерживали ровные отношения.

Ездили на олимпиаду по географии, в другую школу, банально отвечали на вопросы.

Потом — гулять пошли.

Бродили вокруг клуба «Яуза», где часто тогда смотрели интересные фильмы; потом, хрумкал крупитчатый снег, катать снежки начали, кидаться...

— Тебе Машка нравится? — спросил вдруг Антон.

— Машка? Не знаю... — растерянно ответил Саша, боявшийся девочек, и начал говорить про картины Дали, которые поразили.

Антону нравилась Машка, первая красавица класса.

...пышная, замедленная и резкая одновременно, шикарноволосая, волшебноглазая

Машка: кому она не нравилась?

И — Олька: в принципе не хуже, но другого плана: лёгкая, улыбчивая, не девочка — а: иду по воде и бабочек медных ловлю...

У него, Антона, были романы — и с той, и с другой, а Саша, глядя на красавиц украдкой, боялся к ним подойти, представлял, что такое взаимоотношения с женщинами, только по Мопассану.

...сквозная грусть томит меня, собираются предметы, лепятся образы снов.

Стрекозы моих воспоминаний, замирая над потоком безумия, наименованного жизнью, не даются, никакого сачка не придумать, чтобы поймать их, с прожилками крыльев, географией витальной слюды...

Саша и Антон, первый год после школы, сидят в детской песочнице, недалеко от Сашиного дома.

Оборудование примитивно, середина восьмидесятых, площадка пустует, ребята курят «Дымок», самый примитивный вариант курева — и сигареты, извлечённые из мятой пачки, бодрят, как гимн.

Крепкие сигареты без фильтра.

В Сашиных руках — толстая тетрадь, исписанная каллиграфическим почерком Антона, а в нём — шифрованная тайна повести о рокерах — о! Тоха рокерил вдохновенно, не сумел вовлечь Сашу, тот только качем увлекался — атлетикой.

— Ты знаешь, — выпуская дым и смакуя его: недавно курит, говорит Саша: — Очень живо написано. Очень. И прекрасно передаёшь прямую речь, это редкость.

Антон польщён.

Саша же знает литературу, бредил ей с детства, жил ею, всегда писал...

...Стендаль, анализировавший Красное и Чёрное, но никому не объяснивший своеродного названия, благосклонно улыбается, вглядываясь в ребят...

...пока Роберт Музиль, знающий механизмы реальности, как мало кто, предполагает взгляд Ульриха, где-то растерявшего свойства, в сестру-близнеца, как в зеркало... (Но Саша пока не спросил: Антон, ты любишь Агату? — имея в виду не школьную Машку вовсе, но — бумажную женщину, так определившую мистерию «Человека без свойств»).

Они встают.

Ребята, докурив и нагло намусорив в детском песке, встают.

Они проходят узким перешейком между домами, о чём-то говоря: возможно, о девчонках.

Вы не заметили?

Самая прекрасная тема...

Таинственные, с формами чарования, они манили Антона с детства — жившего своеобразным балансом совмещений: активная комсомольская работа и дворовые драки, практически отличная учёба и спекуляции, знал всё ворьё Мазутки, всех бывших сидельцев, но об этом было уже, всё было, простите, тополя наших дворов: ростом превосходящие восхитительную Трою...

Ребята проходят узким перешейком, и Антон, которого скоро заберут в армию, говорит что-то об учёбе в ИСАА, нечто комическое, конечно, возможно — о Максиме Крикунчике, старосте, оправдывавшем свою фамилию: в частности — криком: «Тихо!»

Когда Тоха был в армии, переписывались: письма Антона, исполненные кармой каллиграфического почерка, хранились потом долго, ветшали листки, уходила жизнь...

...алмаз загорался во лбу жабы, и время, использовав тонкий стеклянный перешеек, никак не хотело уходить в безграничность песков: из бархатных барханов которых так удобно созерцать лик Всевышнего.

Всеединого.

Если предположить, что это возможно...

Странно встретились — Антон и Саша — после школы: возле магазина, называемого стекляшка: мно́го витринного стекла.

— О, здоро́во!

— Привет...

Поглядели друг на друга.

— Закурим? — вдруг предложил Саша.

Книжный, домашний, маменькин сынок.

— Ты разве куришь? — удивился Антон.

— Ага, — и Саша вытащил пачку «Беломора».

Они шли и болтали: о свежих пустяках юности: Саша рассказывал о компании своей, о двух Светках, о вечеринках, какие были для него новостью.

Тоха предложил пойти как-нибудь в модную тогда пиццерию.

Пошли.

На Волхонке находилась: скромным таким домиком — многие любили посещать.

Заказывал Тоха — выглядевший старше: резкое, красивое лицо.

Заказывал — ибо подразумевалось спиртное: вязкое, отдающее полынью, вкусное мартини.

...ребята, сколько вы выпили потом, зависая на несколько дней, бушуя разговорами, неистовствуя в спорах, варьирующих смерть, философию, деньги, девчонок?..

А в следующий раз встретились неожиданно: в лесопарке, во время пробежки, и снова удивился Антон, не ожидавший такого от неспортивного когда-то, толстого Саши, осатанело наматывавшего круги бега в жажде стать стройным и мускулистым, в мечтах, с бесконечной словомешалкой в голове...

Остаток пути бежали вместе и, пытаясь разговаривать, убеждались, что это довольно забавно.

У Антона, после встречи той, в лесопарке, мелькающем многоствольно.

У Антона: квартира просторна — по советским меркам, отец пока не стал академиком: физик, работающий на оборонку, как большинство учёных тогда, но станет, станет.

Всё равно — профессорская квартира велика, хорошо обставлена, с картинами на стенах.

Туго блестит лоснистое жирное масло.

Мама Антона (её нет сейчас, пьеса пишется, Саша знает: изыскана, тонка и изящна, как держит сигарету — тонкий женский жест, залюбуешься, как пальцы, эффектно и нежно, ранят клавиатуру, когда играет на пианино!) — со вкусом обставила колоритное советское жильё.

Сидят в комнате Антона, на диване, на полированной плоскости (задний формат) которого — графинчик молдавского вина, сыр на тарелочке, яблоки Ямвлиха в вазе.

Антон, всегда хорошо рисовавший, изображает — графически точно — сгустки мышц.

— Смотри, вот этот узел — дельтоид, он из трёх связок как бы...

Чёрная штриховка, тонкое плетение волокон.

— Качается это так.

Антон встаёт, показывает движение.

Потом — длятся другие рисунки.

На стене — несколько атлетических фото: Борис Шахлин, в частности, переплетённый, перевитый мышцами, будто повилика — по стволу души...

За окном первого этажа — спокойная жизнь беспокойной Мазутки.

— Тоха, — вдруг прерывает Саша. — А ты о смерти думаешь?

— О смерти? Пожалуй. Лучше воспринимать по-индийски, спокойно, мол, потерпишь некоторое неудобство, потом переселишься в другой объект.

Антон тяжело служил в армии: попал в Казахстан, зимой, в морозы сорокоградусные.

Рассказывал:

— Представь: нас привозят, сорок московских парней, и на вокзале уже — мрачные казахи, стоят в зипунах, руки в карманах, и рожи... жаждущие драки.

— Там постоянно... что ль?

— Постоянно, да.

Антона с обморожениями пальцев отправили в Ленинградскую военно-медицинскую академию, где уже и дослуживал, фаланги пальцев отняли.

Антон занимался бизнесом, завершив тропу университета, вернувшись, разумеется, из области армейщины — после окончания универа.

Разнообразным — торговым, связанным с криминалом, в который всегда тянуло, освоил бухучёт, много чего освоил, создавал фирмы, в некоторых принимал участие отец, чья жизнь физика пошла под откос после развала СССР; Антон жил бурно — всегда: щедро, на разрыв, дружественный, чрезвычайно любивший и сок жизни, и яды земные.

...вливается холодный хрусталь водки в алхимические тайны сердец...

Жизнь уходила, оставляя в них следы: Антон и Саша, уже много печатавшийся, не зря же писал со школьных лет, общались одно время чуть не каждый день.

Чаще у Саши, с мамой которого Антон дружил: или — она с ним, жившая жизнью сына.

— Как бизнес, Антон?

— Полосато, Ольга Алексевна. Но вы ж знаете, я не унывающий.

Действительно — чёрный пояс по оптимизму, как когда-то был по каратэ.

Или не был — но занимался изрядно, не считая постоянных дворовых драк.

...представить те, подпольные каратэшные ристания...

Кровь на полу, резкость зигзага — проходит удар, никакой голливудщины: удары же делаются всерьёз...

Держись, Тоха!

Потом у Саши появилась семья, Антон уже давно запутался в жёнах, как в цветной прелести мира, и общение сократилось, но не прервалось.

Из моря бизнеса Антон выплыл — сначала в компьютерную графику, подпав под красивый гипноз гиперреализма, избежав зигзагов воздействия экспрессионизма, не говоря — не получив никакой опции от фовизма, которому подвержен в действительности; но графика его оставалась такой же ранящий, как изображения голых женщин в пятом классе школы.

С патронташами, опоясывающими сочную спелость тела.

Потом — стали проявляться и выставки — коллективные пока.

И особняк в сладком центре московском, в сердце града с его энергичными пульсациями, в роскошном доме, что каменная оранжерея, — благосклонно принимает Тохины выставки.

Где:

...цветут его абстракции: пёстрые механизмы вращаются будто, завораживая, пирамиды растут из шаров, цвета переливаются оттеночной шкалой, символы и знаки переплетаются в причудливой барочной...

Великолепные орнаменты бытия, таинственные и волнующие, созидает Тоха.

Антон.

— А помнишь, Тоха, как классе в пятом снабжал всех картинками — ню?

— А... было...

Изображения голых женщин: без голов и финалов ног, зато — часто в патронташе.

Саша хранил у себя несколько.

Они пьют опять.

Они пьют на скамейке у Сашиного подъезда, не закусывая, не намереваясь никого шокировать, пожилые, — впрочем, Антон утверждает, что ему всегда девятнадцать, и Саша, не обладающий подобной витальной энергией, чётко знающий, сколько им на самом деле, готов поверить...

Они пьют, смеются, вспоминают...

Ну что — пожелаем им долгих лет жизни?

Я бы пожелал. А вы?

МИТЬКА И САШКА

По дороге в школу, под хрусткие снежные скрипы Митька сказал:

— Отщепи мне кусочек пластилина от своей молекулы, я слепить не успел.

И Сашка, вытащив её из портфеля, отщипнул.

Митька, любивший пластилин, шёл и лепил свою, химически необходимую на уроке молекулу, пока Сашка ровнял собственное изделие.

Дома у Митьки:

— Во, гляди, город фантастический будет.

Увлекался фантастикой, когда гуляли, пересказывал Сашке, не читавшему её, миры Лема, или кого-то ещё, а когда приходил Сашкин черёд — повествовал тот о классиках русских, поедаемых-изучаемых методично и подробно.

Реальность, уходящая на второй план.

Дома у Митьки нагромождение пластилиновых коробок, перекрученные толстые бруски, ярусы и кубики, должные стать домами и космическими конструкциями, странные существа, неровные шары, антенны, напоминающие уши, глазастые уродцы (не было тогда слова монстрики, да и самих их не было!), по-своему милые, вытащен-

ные из небытия, чтобы населить волшебный город.

Из окна — двор, будто миниатюра, Митька живёт высоко: детская площадка, как игрушка Гаргантюа.

В монопольку стали играть потом, перебирая забавные бумажные деньги, не представляя, какую силу заберут, всех взяв в плен, несколько лет спустя.

Ведь — Союз казался незыблемым.

Посмеивались: фрондирующие интеллигенты родители, сами не желая, склоняли к тому; посмеивались над засильем пустой шелухи идеологии, не представляя, какой разгул слепых и жадных инстинктов воспоследует.

...толстые, желе греха дрожащие животы набиваются плохо: сколько ни пихай, всё мало.

Понятия грех — хлюпающего лягушачьим чревом — не было в их обиходе, как и рассуждений о смерти и вере.

О смерти, впрочем, Сашка рассуждал:

— Жизнь — дорога к смерти сквозь суммы потерь, — говорил он, маленький книгочей, толстый, не спортивный очкарик, не представляющий, как можно устроиться в этой переогромленной жизни.

Но Митька считал, что суть её в общении...

— Да брось ты, Мить, — прерывал его Сашка. — Суть её в творчестве.

Оба заражены.

Сашка, приносящий Митьке школьные тетрадки, исписанные рассказами.

В одном — действуют киты: очеловеченные, конечно.

История с выбрасывающимися на сушу китами произвела на Сашку чрезвычайное впечатление, и он живописал, живописал сообщество огромных существ, таким образом выражающих протест против человеческой жестокости.

Люди, яростно и яро рубящие китовые туши — брызгают красные осколки плоти.

Шматки горят краснотою воспаления.

В другом рассказе действовал Герострат, вызывавший почему-то волны сострадания.

Митька читал стихи — в основном иронические.

Обсуждали.

Ходили, спорили, размахивали руками.

Потом — стали ездить по букинистическим.

— Зачем тебе книжка «Гракх Бабёф во время термодорианской реакции»? — спрашивал Сашка.

— Понимаешь, история Франции влечёт сильнее и сильней, — расплачиваясь мелочью, сэкономленной на завтраках, говорил Митька.

Сашка присматривал старые сборнички поэзии, хотя сам стихов не писал.

Зато читал их вслух в классе, преображаясь, играя интонацией, смакуя слова, читал, не видя класса, зная, что слушают заворожённо; и колоритный словесник — могучий ветеран войны, густобасый, высокий и чревастый — водил по классам — мол, вот как нужно читать; сам слушал удивлённо, подрагивая щеками в склеротической красной сеточке.

Сашка пришёл в четвёртом классе: переехали с родителями в этот район, Митька учился с первого.

Кудряв и худ, подвижен, но не спортивен.

Сашка рыхл и толст, стесняется своего тела, но — силён и быстр, может прекрасно бегать (через несколько лет, когда стеснение телом окончательно сожмёт мысли, активно займётся атлетической гимнастикой, увлечётся ею страстно, чтобы через несколько лет разлюбить. Всякой любови приходит каюк — но ты ещё не знаешь об этом, подросток: жёсткий, как рог, перст судьбы, ещё не упёрся в твоё миропонимание).

Почти сразу, в четвёртом же классе сошлись: Сашка и Митька: на почве иронии, пересмеиваясь странно:

— Морской порт захватил!

— А ты аэродром бомбанул!

Сейчас — шумящие и шуршащие десятилетия спустя — не вспомнить, что в виду имелось, но, вероятно, нечто очень важное для одиннадцатилетних мальчишек.

Потом возникли непонятные животные — курдли: непонятные для Сашки, а Митька, зачитывавшийся Лемом, вытащил их из книг, но они обрастали потомством: глокакурдли, бокакурдли, ребята складывали пальцы, у кого смешнее получится, изображая их, вымышленных животных.

Гибриды фантазии и яви становились отчётливей (Босх из каменоломен небесной своей перспективы радуется играм котят) — чреватые для Саши, ибо закончились пубертатным кризом, из которого его вытаскивали психиатры.

Но — есть ещё какое-то время — да, время?

Не отвечает.

Сашка писал. Митька уходил в историю.

Сашка писал так истово, что школа, введённая в объектив реальности, попросту мешала.

Он стал прогуливать, наматывая слои отчаяния, и, когда они стали слишком серьёзными, попробовал покончить с собой.

Его спасли.

Психиатр, найденный по цепочке связей, устроил индивидуальное посещение.

Сашка сидел дома, читал и писал.

А Митька делал школьную карьеру — и по комсомольской линии, и по учёбе: ему необходим был истфак МГУ.

Они встречались, гуляли, Сашка рассказывал о писаниях своих, Митька, словно задавшийся целью доказать реальность реинкарнации (откуда ещё у советского мальчишки, и не мечтавшего попасть во Францию, такая тяга к ней, великолепной?), о новых своих изысканиях.

...когда-то дни рожденья Сашки отмечались домашним кругом: приходили три семьи, с родителями дружили родители, дети играли, накормленные маминым деликатесами; а Митькины дни рожденья справлялись иначе, и Сашка участвовал в них.

Митькин отец — журналист, маленький и подвижный, с лицом, несколько вогнутым вовнутрь, хорошо вёл столы, постоянно шутил.

К примеру: предлагая девочке (Сашке не вспомнит какой) то и это и неизменно встречая отказы, он, бесконечно живой и ироничный, спросил, протягивая сосуд: «Соли хочешь?»

Мама Митьки была замедленной, выше отца, речь плавно текла...

...французские изыскания Митьки.

Рассказы Сашки.

После школы Саша, родители которого полагали, что он не сможет натурализоваться в сфере социума, был устроен в библиотеку вуза, располагавшегося недалеко от дома, и там, попав в молодёжную компанию (не только замшелые, вяло шуршащие библиотечные бабки *обытовали* там), стал меняться столь быстро, что сам не поспевал за собой.

Так или иначе, выпивать и качаться (подпольно, подпольно, в Союзе не приветствовался атлетизм) он стал одновременно.

А Митька, поступив легко на необходимо-вожделенный истфак, ушёл в учёбу.

Такие дела.

Поначалу перезванивались.

Но Сашке, усвоившем дурацкое словечко «крутой», казалось уже не круто общаться с Митькой: круто же — выпивка, девчонки, кафе...

Какой глупый молодёжный круговорот.

...какой ничтожно-молодёжный Сашка!

Они отдалились. Потом перестали общаться.

...папа Саши, вернувшись с работы, шурша снимаемой серой курткой, достал письмо:

— Саша, Митя тебе из армии пишет. Надо ответить, я считаю.

У Сашки давно ныло — предал друга.

Ответил. Переписывались.

Письма бурлили юмором, хотя Митьке в армии жилось несладко, Сашка освобождён был по зрению.

Потом — последовало письмо-трагический излом: «Мить, я похоронил отца».

Митя отвечал соответственно.

Они виделись ещё раз, только онтологически-один — после армии, Митя пришёл в гости. Только раз.

...чай мерцал драгоценным кармином, и разговор о поэзии представился бы нарушением правил.

Много лет спустя Сашка, много печатающийся, сложно и тернисто проходящий дорогу свою, обрывками что-то слышавший о Митьке, вспоминает былое: скрип снега кочерыжный, когда шли в букинистический, пластилин и игры, курдлей и первые миги школьного общения, и думает, как глупо, глупо, глупо разойтись было.

Глупо, по-детски.

Ничего не вернёшь.

Судьба, незримая, как всегда, глядит на Сашу, сожалеюще покачивая головой: мол, идиот, так и не понял, что от тебя ничего не зависит?

МАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВНА

— «Чума» призвана, как призма литературы, показать изменения в человеке, связанные с экстремальными обстоятельствами, здесь расчеловечивание и геройство порой сплетаются волокнами. А «Посторонний», явив феномен посторонности, даёт формулу человеческой опустошённости на онтологическом ветру одиночества.

— Саша, — лукаво улыбнувшись, говорит Маргарита Григорьевна, — советская школа призвана формировать у учеников оптимистический взгляд на мир...

Она знает специфику этого ученика, живущего в альтернативном мире: пока не ухнул ещё в бездну. Она знает, что он может частично сорвать урок, начав рассуждать о литературе сложной и не слишком приветствовавшейся в СССР.

Она поддерживает подобные разговоры, в них втягиваются и другие, и бывает, глаза ребят вспыхивают — тайной постижения мира, и даже задорная красавица Ольга, к которой Саша, неуклюжий увалень, боится подойти, спросит его, просияв глазами, что-то о писателях, о которых никто в классе не слышал.

Нет, бездны Камю и других, разумеется, изучаются им не для выпендрёжа, но и он подразумевается — отчасти, когда подобные разговоры вспыхивают в маленьком классе английского языка...

Будет много лет спустя: Саша катит коляску со своим малышом, тот спит, аккуратный, крошечный и беленький, как зефиринка. Он катит её по дворам, любуясь нюансами яви, знакомой наизусть, и всё равно — всегда новые моменты находятся — её, удивительной.

Он катит коляску, вступая в пределы бульвара, где зелёное всё, переливается природный малахит, а чуть дальше будут голубятни, и взлетающие и летящие голуби издалека — как клочки кем-то разорванной бумаги, коли текст не удался.

Кто пишет небесные тексты?

Распахнув приветственно руки, навстречу Саше идёт Маргарита Григорьевна, день-то будний, из школы, с работы, то есть двигается к метро.

Улыбается. Издалека громко говорит:

— Ещё и сын!

Коляска-то синего цвета.

Они останавливаются. Он улыбается тоже, глядя на англичанку свою.

— Поздравляю, Саш!

— Спасибо, Маргарита Григорьевна.

— Как живёте? Мама как?

— Нормально пока всё.

— Работаешь?

— Все работаем. Как в дальнейшем, не знаю, но пока так.

— Счастлив?

— Сложно сказать. Да и понятие это условное: древние греки считали, что оно для женщин и рабов.

Она смеётся — Маргарита, Марго, как естественно звали в классе.

— Ты в своём духе!

— Ну, конечно. В чьём же ещё?

— Я помню, ты можешь жить только в пределах мира, который сам создаёшь.

— Увы. Нет, счастлив, счастлив. Ребёнок наш поздний... Чудо такое.

Он, словно слыша, ворочается. Взрослые прощаются. У ребёнка ещё не включён механизм памяти: да и зачем ему Маргарита Григорьевна? У него своя будет англичанка...

А было: перевели в эту школу в четвёртом классе: событие, связанное с переездом: новую квартиру мама получила от ТПП СССР, долго проработав в ней, до того жили в роскошной коммуналке, в доме, напоминавшем средневековую крепость — объёмами своими, где никогда не было зощенковских свар и ссор, где все дружили, и из окон первого этажа можно было вылезти во двор, мчаться играть с мальчишками.

...их никогда больше не увидишь, Саша, после переезда и перевода в другую школу, хотя возле старого дома будешь бывать часто, обходя его, призрачно заглядывая в собственные окна, легко и украдкой касаясь стены, точно прося помощи и поддержки.

Переезд интересен: громоздящаяся, словно открываются новые ракурсы, мебель.

Перевод в другую школу отдаёт чем-то сквозяще-одиноким: такое одиночество, правда, помноженное на доброту, плещется в глазах Камю.

И вот — первый урок английского языка.

Обстоятельства сложно вспомнить теперь — почти полвека спустя, но Саша сидел один в классе, слушал тишину, которую прорезали сильные шаги: и в проёме двери, как на экране жизни, появилась Маргарита Григорьевна.

— Здравствуй. А где все?

— Не знаю. Я новенький вообще-то...

Разумеется, все нашлись — ждали в другом классе.

Потом потёк урок. Затем потекли уроки. Они были не стандартны: ибо не стандартной, парадоксально мыслящей и ироничной, была Маргарита. Марго.

— Когда-нибудь мы узнаем, есть тот свет или нет! — так шутила, вполне не по-советски.

Она казалась высокой: просто маленькими были ребята; встречаясь с ней взрослым, убедился, что она с ним, Сашей, одного роста.

Она устраивала уроки домашнего чтения — выбиралась книга, её читали и обсуждали. Эти уроки были интереснее всего.

...как мучительно врастает в жизнь Холден Колфилд.

— Саш, — спросила красавица Оля, манящая и сладкая, недоступная и запретная. — А почему Сэлинджер так мало написал?

— Вообще-то достаточно для бессмертья. Но, насколько знаю, он в буддизм ушёл. Возможно, это ставит какие-то преграды.

— Ты что-нибудь знаешь о буддизме? — спросил долговязый Димка, за одной парой с которым сидели.

— Нет, — честно признался Саша, покамест не двигавшийся в сторону востока. — Но думаю, нирвана — это прекрасно.

Кадры мелькают — а фильм казался долгим.

Кадры мелькают быстро: Саша проскочил пубертатный криз, из которого вытаскивали психиатры, найденные частным путём, с использованием живых цепочек блата: официальным в Союзе идти было чревато.

У Саши, один из психиатров пробил, индивидуальное посещение: он приходит к учителям, когда у них есть окна, и отвечает не нужные ему уроки.

А так — сидит дома, читает и пишет, не мысля себя вне литературы.

Вне жизни? Пожалуй.

То есть теперь Саша стоит на лестнице и ждёт Маргариту.

Он всегда приходит заранее. Стоит и ждёт, и накатывает жутковатое ощущение: не придёт она, эта пустота внизу лестницы никогда не рассеется. Но — рассеивается, концентрируясь в быстро идущую Марго, конечно, улыбнётся, скажет:

— Пойдём.

Они пойдут в учительскую: маленькая весьма, и за окном — апрельский зеленоватый пух.

Саша отвечает быстро: язык давался, в общем, легко.

— А что читаешь? — спрашивает Марго.

— Платона. Диалоги. И знаете — такое ощущение, что прикасаешься к небесам, растёшь, словно ощущаешь это. И даже пещера, в которую заключены, не страшит, поскольку открывается столько света.

...столько, столько...

— Вероятно, юношеские мозги более восприимчивы, — говорит Марго. — Я уже не могу так воспринимать. С остальными предметами справляешься?

— Более-менее.

— И... стать хочешь?

Она знает ответ.

— Ну да, писателем...

Был выпускной, Саша не знал, как жить.

Он смотрел на выступающую Маргариту Григорьевну, чья речь сильно отличалась от директорской и прочей казёнщины, играла образностью, сквозили цитаты, и насыщенность её, смысловая наполненность были столь велики.

— Я только твои глаза видела, Саш, — сказала Маргарита потом. — И я не прощаюсь с тобой. И вообще уверена, что о тебе услышу.

В огромной столовой бушевала в рваных ритмах дискотека.

Жизнь всё же пошла: Саша работал в библиотеке вуза, располагавшегося рядом с домом, и, попав в молодёжную компанию, стал меняться: выпивать и качаться начал одновременно.

Он стал меняться — и год не писал; потом — вернулось, обвалом пошли стихи.

Потом — попал в печать, стали выходить и книги, но Союза не было уже, сломанный о колено истории, словно унёс с собой многих — и телесно, в смерть, и души поломав.

Литература, короче, не имеет теперь никакого значения, ну, вы в курсе.

Саша приходит к Маргарите, просто рассчитав время, не договариваясь, приходит, приносит издания со своими стихами, книжки, ещё нет в школе охраны, и, заглянув в привычный класс, видит её, разговаривающую с какой-то девочкой.

— Ой, — восклицает Маргарита, даже руками всплеснув. — Какой гость у меня! Извини, Ирочка, в другой раз договорим.

Девчонка уходит, мельком глянув на бородатого дядьку. Он вытаскивает книжки, газеты:

— Вот, принёс...

— Ой, как рада, Саш. Садись на своё место, — он садится. — Ну, как ощущения?

— Всё таким маленьким кажется. А в детстве было большим. Логично — да?

— Да, и потолки здесь казались высокими?

— Да-да...

Она листает книжку.

— Только стихи? Другого пока не пишешь?

— Рассказы, сказки. Постепенно расширяюсь.

— Никто не ожидал, что литература за бортом окажется, да. Как обсуждали... Ты работаешь?

— Увы, приходится. Гонораров нет.

Он просит телефон Маргариты. Записывает, прощается.

Нет, говорили дольше: но — никакой философии, формул экзистенциализма, сложных ассоциаций: о маме, доме, Сашиной женитьбе.

Маргарита рассказывала о своих детях. У неё двое было, сын и дочь. С дочерью были проблемы, близкие к Сашиным подростковым, и звонила тогда Маргарита Сашиной маме, консультировалась. А Саше рассказывала:

— Она говорит, что помнит свои прежние жизни. Не просто помнит — детально повествует мне о них.

— Но это едва ли ненормально, — утверждает Саша, сам долго блуждавший в недрах собственного метемпсихоза. — Я тоже их помню: немного. Реинкарнация — реальность.

— Да, слушая свою дочь, убеждаюсь в этом...

Они встречались ещё несколько раз: учительница и ученик.

Встречались, разговаривали, потом как-то по фейсбуку, Саша, найдя Марго, написал ей прочувствованно-пьяное письмо, благодаря за то, что она есть.

Она ответила быстро:

— Значит, в том времени что-то было?

— Было замечательно. В нём и была правда бытия, которой теперь не найдёшь. Как любви.

Маргарита светилась любовью: и к детям, и к жизни, была сплошной умнейшей оптимисткой, чёрный пояс по оной сложнейшей дисциплине явно был у неё.

В постсоветские годы много путешествовала, и Саша, не смогший поехать никуда, вглядывался жадно в мазки воспоминаний: об Египте, Испании, США, Британии...

Будто весь мир рядом.

Миры рядом: огромный мир Маргариты, не меньший — Сашин.

Миры рядом — и схождение их обеспечивает метафизическое богатство яви.

ГАЛИНА АНДРЕВНА

Калуга — вполне мистический город: город, пронизанный тайными лучениями, чего никак не ждёшь, бродя по кривым его, гнутым, скатывающимся к Оке улицам...

Покатым переулкам...

Лет десять спустя после знакомства Галина Андревна говорит:

— Калуга на месте древнего вулкана стоит, впитала в себя многое. Не задумывался, почему два космических гения — Циолковский и Чижевский так прочно были с городом связаны?

— У Циолковского было открытое внутреннее зрение?

— Да.

— Но... не принято об этом говорить? Это вариант дара с рождения?

— У мужчин — да. У женщин, как правило, проявляется, когда чрево открыто...

— Как?

— После родов.

— А получить этот дар невозможно?

Она улыбается.

— Можешь до Тибета дойти. Если посчитают тебя достойным, они откроют тебе внутреннее око.

За много лет до этого входишь в пятую калужскую горбольницу и привычно направляешься к кабинету сестры, чью медицинскую специфику не помнишь, и Маринка — высокая, нервная, доброжелательная, с гривой светлых волос, встречает привычно:

— Привет-привет, Сашечка. Пойдём, пойдём!

Говорила, что рядом с ней работает необыкновенная женщина, к ней ездят из других городов, способна видеть то, что закрыто от других; обещала отвести, поскольку полагал жизнь свою затянувшейся неудачей, и вот пересекли небольшое коридорное пространство и вошли в кабинет Галины.

Маленькая, компактная, ощущение — очень резкая женщина с сине-стальными глазами пулемётчика...

— Вот, Галина Андревна, братика своего привела!

— Садитесь, садитесь, красивый мужчина, — почему-то так обращается ко мне. — Марина, вы нам не нужны.

— Понимаю-понимаю. Упорхнула...

Я кошусь на стены. Пентаграмма.

Непонятные знаки и символы, словно сплетающиеся в экзотический орнамент.

На столе — сияет, посверкивая и странно переливаясь, хрустальный шар.

— Что-то вас не устраивает? — спрашивает Галина. Явно почувствовав мою насторожённость.

— Почему у вас на стене пентаграмма?

— Ах, это, — рассмеялась, нитки серебряные замелькали. — Это — символ человека. Впишите мысленно. Сатанинский знак — перевёрнутая.

Я не знал тогда.

Свечи на первых встречах она зажигала, потом, когда спросил, почему перестала делать сие, ответила — внутренне можно больше зажечь. И эффективней.

А тогда... Вызвала доверие и ощущение загадочности: одной фразой:

— Когда с вами с колокольчиком работали, что вы испытывали?

Я ходил до неё в магический салон, никто, кроме мамы, не знал об этом.

— А как вы?..

— Ну, — улыбается. — Я же вижу...

И я стал рассказывать, захлёбываясь и давясь клоками себя — об одиночестве, о невозможности попасть в печать, о страшных своих ощущениях...

Спросила:

— Стихи постоянно пишите? — и я отозвался эхом:

— Да.

— Дайте руку.

Протянул. Её показалась и мягкой, и жёсткой одновременно.

— Ерунда, — сказала, прочитав нечто. — Скоро вы женитесь. И стихи скоро в печать попадут. Подождите, сойдёт снег, уйдут ваши проблемы...

— Женюсь? Это всё равно что сказали б — в космос полечу.

Её глаза словно проваливаются в некоторый непонятный круговорот.

Потом говорит:

— До 31 года вы женитесь.

Всё сошлось, Галина Андревна, вы помните?

Тянуло к ней: в Калуге бывал часто: благоухающий душевно букет родственников и знакомых манил...

С Галиной встречались только у неё в кабинете.

Шар поблёскивал мистично, но она не касалась его и свечи больше не зажигала.

— Вы знаете, я реинкарнацию в себе чувствую, — говорил. — Византия манит, как духовная родина, будто представляю улицы её, мастерские, где постепенно проявляются эмали: такой сини, что, если разбавить, можно небо окрасить... Я был кем-то вроде переписчика. Потом — картинка меняется, и вижу тропы Тридцатилетней

войны, понимая, что был вожаком наёмников, и убили меня ударом меча, не успел прочитать молитву. А дальше — по белым коридорам консистории идёт молодой иезуит...

Когда она отвечала на вопросы о будущем, её глаза проваливались. Так они казались жёсткими и мягкими одновременно, сине-стальные, лукавые иногда...

Она листает книжку, читает стих «Метемпсихоз».

— Тебе страшно?

— Нет, скорее интересно. Не выяснить — правда ли это.

— Не выдумать то, чего не было. Как ты стихи пишешь?

— Обвалами. Находят, сносят реальность.

— А восстанавливаться... сколько потом нужно?

— Нисколько. Можно сразу другое писать.

Молод был. Словно шёл по воде и ловил волшебных золотистых стрекоз.

Волшебные стрекозы мгновений улетают вдаль.

Общались с Галиной больше десяти лет.

Мог позвонить ей пьяным, задавать вопросы; однажды попросил снять опьянение, засмеялась, сказала:

— Подожди...

В голове пошёл сильный круговорот, и я почувствовал, как трезвею.

— Ну, легче?

— Да, намного.

Её кабинет просторен, лохматые и лопушистые растения на подоконнике; за окном мерцал и плыл внутренний двор больницы, за которым открывались части улицы с частными домами. Ступенчато шли крыши, круглые уши антенн вслушивались в прозрачность неба.

Порой пили чай: мама посылала Галине, воспользовавшись её услугами один раз, коробки конфет, шампанское, чай...

— А об Атлантиде... мои фантазии?

— Ох, как нам хочется в иерархию! — засмеялась, играя круговоротом глаз.

— В какую? — удивился...

— Очень древнее существование души, набравшей столько опыта, что уже не надо воплощаться здесь...

— А здесь?..

— Все мы отрабатываем свою карму...

— И только-то?

— Но это ж интересно — сам посмотри?

За окном могло быть темно, как в депо, или светло, как после хорошего события, неважно, в принципе, коли речь слоилась о существовании души.

— Джон Донн видит с того света, что стал классиком?

— А кто это?

— Джон Колокол, — здесь улыбнулся я, чувствуя, как Донн укоризненно мотает головой. — Английский поэт с запутанной судьбой, малоизвестный при жизни.

— Оттуда многое можно видеть, — ответила загадочно.

В сущности, я мало знал про неё — маленькую изящную женщину с тяжёлым даром.

Родилась в Воронеже, в разводе, двое детей.

Мерцала пунктирная линия общего плана.

Маринка, двоюродная сестра, рассказывала:

— Она, Галина, пришла... словно из ниоткуда, встретилась с заведующим больницы и рассказала ему про него такое, что он сразу её на работу взял.

На кабинете была надпись — «Биоэнерготерапевт».

— Галина Андревна, вы ясновидящая? — я продолжал называть её на вы, хотя она давно перешла на более уютный вариант — ты.

— Неважно. Земная, грешная женщина.

Грех, округло хлюпая животом, часто перекатывался в её словах.

— С тобой удобно, знаешь, и уютно...

— В смысле?

— Не пытаешься раздеть. Заглянуть, куда не следует...

Уже не спрашивал о будущем, давно женат, печатаюсь.

Жена заходит к Галине: иногда с вопросами, иногда просто так.

Я появляюсь у неё всякий раз, бывая в Калуге, тогда это случалось довольно часто.

— А можете ответить, откуда вы информацию обо мне берёте?
— С твоего энергетического двойника.
— А... что это?
— Он есть у каждого человека. Интуиция — это его подсказки. На нём записана основная информация о тебе.
— А после смерти?
— Он распыляется в других пространствах. Ничего страшного. Для него это не трагедия. Кстати, когда ты пьян, он переворачивается...
— Он как-то выглядит?
— Энергетический сгусток, похожий на человеческое тело.
— Вы можете сказать человеку о его смерти?
— В редких случаях. Как правило, это запрещено.

Как-то сказала — тень лежала на челе:
— Мой дар тяжёл. Твой — более солнечный. Я знаю, когда умрут мои дети. Я говорю с тобой и знаю, когда умрёшь ты.
Не спросил, знает ли про свою смерть.

На даче у двоюродного брата пили — шумно и весело.
Правобережье, огромная дачная, шестисоточная страна, где живут сплошной коммуной, и вьющийся шашлычный дым привлекает соседей, приносящих... кто чем богат.
Стол, врытый рядом с перепутанными орнаментами ветвей вишнями; Андреевский флаг — брат служил в подводном флоте — наброшенный на ветки. Живой и трепещущий, словно плоть.
Сильно пили у брата. Утром, чуть похмелившись, но окончательно не придя в себя, понимая, что надо бы вернуться в город, к жене, замычал что-то, и брат засмеялся:
— Сейчас Маринка в город поедет, тебя заберёт.
Шуршит щебёнка, ею засыпаны здесь все дорожки — тянущиеся между штакетин, из которых выглядывают то мальва, то колючка крыжовника...
Маленькая иностранная машина Маринки, никогда не разбирался в метах марок.
Мы едем в Калугу: вот она — открылась пейзажем: с соборами, зелёными островами, нелепо-огромным, сияюще-белым зданием обкома: многоярусно-мраморным.
— Марин, никак до Галины что-то не дойду...
— Не ходи к ней сейчас, не звони.
— А что?
— Да... она болеет сильно.
Не придал значения.
Через неделю, когда уже был в Москве, жена, оставшаяся в Калуге по делам, позвонила, сказала:
— Галина Андревна умерла.
— Как?
— Две недели как...
Маринка решила поберечь меня, не сказав.
Пошёл к маме, на кухню:
— Ма, Галина умерла.
— Я знаю, Саш.
— Что ж мне не сказали?
— Ну вот... Маринка...
— Всё равно узнал бы... Эх...
Лето бушевало вокруг, текло и струилось, сияло зеленью и солнцем...

Вы видели свою смерть, Галина Андревна?
Видите меня?
Знаете, как мне не хватает вас?

Ольга БОРИСОВА

КАЛИНОВКА
И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

Выборка из книги рассказов

ГОСТЬ

1

Жил в селе мужичок. Так себе: скромный, неказистый, небольшого росточка, ничем не выделяющийся. Звали его Тихон Перепёлкин.

Сельчане частенько посмеивались над ним и обзывали бирюком. За калитку он почти не выходил, друзей не имел. Зато женушка его, красавица Аринушка, слыла в Калиновке бой-бабой. Связываться с ней боялись даже мужики, любого могла поставить на место. Жили они вдвоём и, к удивлению сельчан, мирно. Единственная их дочь училась в городе на юриста. На выходные она частенько приезжала домой. Провожал её обычно Тихон. Донесёт до автобусной остановки тяжёлые сумки, набитые продуктами, и с понурой головой возвращается обратно. Но однажды весной ему самому пришлось ехать в город. Дочь то ли экзамен завалила, то ли боялась, что не сдаст, но ей срочно понадобились деньги. Вот и отправила Аринушка муженька в город: «Гляди, деньги не потеряй! Спрячь подальше. Рот не разевай! На обратном пути заедешь на рынок, купишь домой колбасы копчёной, сыра и рыбки красной», — приказала она. И Тихон уехал.

Не любил он города. Дышать в нём трудно и свободы нет. «Как Валюха его переносит», — удивлялся Тихон. А больше всего он не любил современных новшеств — автоматов, продающих билеты в метро. Да и метро тоже не любил и предпочитал ездить на автобусе. «Ну и пусть, что больше времени потрачу, зато город посмотрю», — рассуждал он, примостившись на переднем одиночном сидении. Но постепенно в автобус набился народ, и стало не до городских красот. Все пыхтели, вздыхали, суетились. Ворчала кондуктор, отоваривая вошедших билетиками.

— Вот мужики пошли! — вдруг послышался рядом с Тихоном злой женский голос. — Женщина стоит, а он на переднее сидение уселся и делает вид, что не замечает! Тихон обернулся и увидел толстую женщину в синем пальто и красной шляпе. Её глаза метали молнии. Тихону казалось, что она сейчас вцепится в куртку своими красными когтями и будет трясти его как грушу. Он быстро соскочил с сидения и, держась за поручни, на всякий случай отодвинулся от неё подальше. Сине-красная плюхнулась на кресло, при этом не забыла произнести ядовито: «Нахал!» Тихон еле дождался своей остановки и, как ошпаренный, выскочил из автобуса. Ему казалось, что все осуждающе смотрят ему вслед. «Ну и пусть. Они меня не знают, и я их больше не увижу», — пытался успокоить себя. Зазвонил сотовый: «Пап, ты доехал? Я сейчас прибегу. Будь на остановке!»

Валюшка появилась быстро. В белом пальто и белых сапожках, словно прекрасная фея, она шла к нему по узкой аллейке. «Красивая у нас Валюха. Лицом вся в мать», — с гордостью подумал он, тут же забыв о своих печалях.

— Пап, ты не обижайся, но я спешу. Мне до двенадцати нужно отдать деньги, иначе мне не засчитают экзамен, со всеми вытекающими последствиями.

Тихон сразу представил эти последствия и торопливо затараторил:

— Конечно. Что мне обижаться, ты, главное, реши эту проблему! Нельзя сейчас без образования! Никак нельзя, — поцеловав на прощание дочь, он отправился на городской рынок, выполнять заказы жены.

Рынок встретил его ароматами различных специй и сдобы. «Сейчас куплю всё, что приказала Арина, и тогда полакомлюсь пирожками», — решил он и пошёл по рядам, деловито рассматривая товар. Чего только не было на прилавках! Свежая зелень, умело разложенная небольшими пучками, рядом примостились помидоры и огурцы. Чуть поодаль красовались жёлтые апельсины, за ними — мандарины и яблоки. Тихон дошёл до колбасных рядов и, перепробовав многие виды, наконец, выбрал нужную. То же проделал и с сыром. Самым сложным оказалось выбрать рыбу, но и с этим ему удалось справиться. Закончив с покупками, Тихон отправился за пирожками в небольшое кафе с яркими надписями и красивыми картинками на стекле.

Народу, к удивлению Тихона, в кафешке не оказалось. Некоторое время он постоял у прилавка, по-хозяйски рассматривая цены. Выбрав самсу, пирожок с ливером и ароматное капучино, уселся за столик, предвкушая трапезу. Отхлебнув глоток горячего напитка, Тихон заметил, что дверь отворилась, и в помещение зашёл мужчина лет сорока в модной прошитой серой куртке, темно-синих джинсах и с красивым, с золотой застёжкой портфелем в руках. «Наверное, учёный какой-то или состоит в руководстве завода», — подумал он. Завод за высоким забором, огороженный колючей проволокой, находился неподалёку. «Нет, всё-таки учёный!» — и стал исподтишка наблюдать за вошедшим. Незнакомец, купив два пирожка, салат и кофе, уселся за соседний столик. Тихон заметил, что он чем-то расстроен. Мужчина открыл портфель и стал в нём рыться, но, не отыскав желаемого, раздражённо бросил его на рядом стоящий стул. Кривая ухмылка скользнула по лицу. Вздохнув, достал из внутреннего кармана куртки дорогой телефон. Тихону показалось, что «учёный» вовсе забыл, зачем он сюда пришёл. Наконец, положив телефон на стол, мужчина принялся за еду.

— Поди, кофе остыл, пока искали, — посочувствовал Тихон. Ему жутко захотелось поговорить с умным человеком.

Мужчина мимолётно взглянул на него и тихо ответил:

— Ничего страшного...

— У вас неприятности?

— Да есть небольшие, — теперь он более внимательно оглядел Тихона. — А вы случайно не знаете, где в вашем городе можно найти недорогую гостиницу? — спросил незнакомец. — Мне нужно всего на пару дней. Я пытался сейчас поискать, но дорогие очень. Мне они пока не по карману.

— Не, я сельский. В Калиновке живу, к дочери приехал. Вот с пирожками пережидаю время. В четыре часа автобус, с ним и уеду.

— Я так и подумал... На всякий случай спросил.

— А вы что, по делам приехали? Или по поводу какому? — снова пристал с вопросом Тихон.

— В командировку, на ваш завод. Да вот беда, обокрали меня, — разоткровенничался мужчина. — Из портфеля папку вытащили. А в ней карта, пропуск, проездные и командировочные. Хорошо, что телефон и портмоне с паспортом в куртке лежали.

— Ох, какая беда! Аккуратней нужно. Народ теперь пошёл ушлый. Всё норовит поживиться за счёт других. Мне Ариша строго-настрого приказала «рот не разевать».

— Ну, вот и получается, что я его-то и раскрыл. Со мной такого не случалось. В портмоне всего пять тысяч, на них двое суток в чужом городе не проживёшь.

— А вы бы своим сообщили. Пусть пришлют. Надо же человека выручать, с каждым может такое произойти.

— Позвонил в отдел, сообщил о пропаже. Пообещали в течение суток оформить новые документы и переслать в приёмную на завод. За сутки они не управятся, с пропуском волокита будет. Я его неделю оформлял. А жену мне не хочется тревожить. Сердце у неё слабое, переживать начнет. Да и банковской карты тоже нет, — он развёл руками, — украли.

Тихон задумался. «А если бы меня обокрали, что бы я делал?» — он непроизвольно потрогал внутренний карман. Его тысяча лежала на месте.

— А знаешь, поехали к нам в село, — неожиданно для себя предложил он. — Всего-то час езды. Поживёшь у нас, пока твои документы будут делать. В Калиновке хорошо! — он от удовольствия даже причмокнул. — Свежий воздух, цветы цветут, бабочки летают, птицы поют — живое всё, не то что в городе!

Незнакомец явно не ожидал приглашения и удивлённо приподнял брови:

— Вы не шутите? А что жена на это скажет? Вы бы посоветовались бы сначала с ней. Разрешения спросили. Да и заплатить я не смогу до тех пор, пока деньги не перечислят.

— Не нужны нам ваши деньги. Люди должны друг дружке помогать. Так жили наши родители, и мы так живём, и дети наши по таким же законам жить будут. Мы для них пример! — довольный сказанным, расправил с гордостью плечи. — А жена должна мужа слушаться! Аринушка у меня хорошая: хозяйственная, умелая, гостеприимная! И накормит, и напоит.

2

На автостанцию они пришли вовремя. Купив билеты, отправились на четвёртую платформу, где повстречали Федьку Косого:

— Перепёлка, а ты что здесь делаешь?

— То, что и ты. В город приезжал, к дочери.

— А это кто с тобой? — он глазами показал на идущего рядом мужчину.

Тихон обрадовался встрече. Федька — трепач, и теперь все в селе будут знать, что к Перепёлкиным приехал большой человек. Он поднял указательный палец и загадочно произнёс: «Учёный... Иди, Федька, дай нам пообщаться!»

— Тебя хоть как зовут? — повернувшись к новому знакомому, спросил Тихон.

— Юрий Дмитриевич Курбанов. Работаю в НИИ, кандидат технических наук.

— О, я так и подумал, что учёный. У меня глаз вострый! А меня Тихоном кличут. Фамилия Перепёлкин. Человек я простой, без образования. Комбайнёром работал. Родился в Калиновке и умру в ней. А вот дочь в госуниверситете учится на юриста. Сейчас без образования никак не прожить.

Вскоре подошёл автобус. Закончив посадку, дежурная отправила его в путь. Всю дорогу Тихон молчал. Зная крутой характер жёнушки, продумывал, как представить гостя. В голове рождались всякие идеи, но ни одна ему не нравилась. Тогда он решил: «Будь что будет. Выгонит, уйду вместе с ним. Найдём, где переночевать»...

Арина находилась в хорошем расположении духа. Недавно позвонила дочь и сказала, что проблему она закрыла. Щёлкнула щеколда калитки, и во двор вошёл Тихон вместе с незнакомым мужчиной. «Никак что-то случилось?» — только и успела подумать она.

— Жёнушка, это Юрий Дмитриевич — большой учёный, кандидат технических наук, — представил гостя муж. — Он несколько дней поживёт у нас, — и не терпящим возражения голосом добавил: — Проголодались мы! Корми скорей!

Арина засуетилась, накрывая на стол. Она слышала, как важный гость назвал её красавицей, и видела, как от похвалы возгордился муженёк. И Аринушка расстаралась. Она летала по кухне, готовя разные вкусности. Вскоре накрытый белой скатертью стол ломился от яств, а в середине красовалась в красивой бутылке из-под виски вишнёвка, вынутая из шкафа по случаю приезда дорогого гостя. Сначала беседа никак не клеилась, но, выпив по чарочке, разговорились. Юрий Дмитриевич вкратце рассказал, что они в НИИ изобрели прибор, а здесь на заводе проводят его испытания. Что-то у них там не сработало, и он прилетел разобраться. Незаметно под столом Тихон толкнул ногу Курбанова. Он сразу всё понял и перевёл разговор на другую тему. Спать гостя определили во второй половине дома, разделённой узким коридором.

А по селу уже летела молва, что к Перепёлкиным приехал большой учёный, и он будет гостить в Калиновке несколько дней. Некоторые предположили, что это родственник:

— Смотрите, какая Валька у них умная! В университете учится. Вот они, гены!

— Явно родственничек и, видно, по Аришкиной родне, по Бабичевым, — заключили другие. Всем не терпелось поскорее увидеть приезжего...

— Тиша, как там, в городе? — завела разговор женушка, когда они улеглись спать.

— Нормально, — однозначно ответил Тихон, понимая, что этот разговор не приведёт ни к чему хорошему.

— Машин, наверно, много?! Дома красивые, театры...

— Много, — и строго добавил: — Арина, спать пора. Устал я сильно.

— Какого ты гостя нам привёз! Все в Калиновке с ума сойдут от зависти, — Тихон почувствовал, как она улыбается. — Ты мне раньше не говорил, что у тебя есть такой знакомый, — он напрягся, ожидая нового вопроса. — А на самом деле, откуда ты его знаешь? Вроде и в городе редко бываешь. Может, дочь познакомила? — Тихон стал усиленно сопеть, делая вид, что уснул. — Ты чего молчишь? — она толкнула его в плечо.

— Сплю я уже, а ты пристаешь с глупыми вопросами, — повысил он голос.

— Тишенька, ты мне ответь, и я отстану. Интересно же!

— С ним в кафешке познакомился, когда он прошлый раз на завод приезжал, вот теперь снова случайно встретил, — соврал он.

— В кафешке?! Ты что, по кафешкам ходишь? — Тихон почувствовал, как напряглась жена. «Ну, всё! Сейчас разразится», — успел подумать он и не ошибся. — Да

там только жулики бывают! Откуда ты знаешь, что он на завод приехал? Ты его там видел?! Ты кого в дом привёл?!

— Он не жулик, а учёный! Таких по телевизору показывают, а ты сразу «жулик». Радоваться должна, что с умными людьми общаешься и что такой человек живёт сейчас у нас.

Арина вскочила с кровати и подбежала к окну, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте.

— А ты его паспорт видел? Может, он тебе наплёл с три короба, а ты и уши развесил! Может, он рецидивист и его ищет полиция?!

Тихон поёжился. «А может, жена и права, — подумал он. — Я и на самом деле не знаю, кто он, и паспорт его не проверял». Ему ничего не оставалось, как снова соврать:

— Да видел! Отстань от меня, дай поспать!

— Паспорт можно и поддельный сделать, — не унималась жена. — Ну что же ты такой наивный! Вот этот твой «учёный» ограбит нас, будешь тогда знать! — она подошла к двери, слегка её приоткрыла и заглянула в образовавшуюся щель. Затем на цыпочках вышла в коридор и приложила ухо к другой двери, за которой спал гость. Услышав храп, успокоилась. Вернувшись в дом, плотно закрыла дверь и накинула железный крюк. — Так спокойнее будет! Утром разберёмся!

А утром спозаранку прибежала кума:

— Мне тут не спалось, я блинчиков по утрянке настряпала. Вот решила вас угостить, — ей, видно, не терпелось узнать, кто же к ним приехал, и она начала издалека. — Свет у вас что-то до полуночи горел. Аль случилось что?!

Арина сразу поняла, зачем прибежала кума, и решила поддержать игру:

— Гость к нам приехал. За столом долго сидели да по чарочке выпили.

— Мне тут сорока вечером на хвосте принесла, что гость-то непростой. Вроде как учёный? Или наврала то сорока?

— Ты за этим пришла?

— А ещё сказала, что он сродник ваш и вроде как по твоей линии. Правда, что ль?

«Вот наплели», — подумала Арина и, еле сдерживая улыбку, утвердительно кивнула головой:

— Иди, кума, домой! Некогда мне! Завтрак нужно готовить, скоро мои проснутся, а я ещё ничего не сварила, — и, довольная собой, отправилась на кухню.

Сначала проснулся Тихон. Услышав, что на плите что-то шкворчит, жарится и кипит, понял, что жёнушка успокоилась. Незаметно подкрался к ней сзади и обнял за талию.

— Э-эх, «учёный!» И когда же ты у меня поумнеешь? — уже более миролюбиво произнесла Арина, мешая ложкой что-то в сковородке. — Иди умойся. Скоро гость проснётся, будем завтракать.

За завтраком Арина внимательно наблюдала за Юрием Дмитриевичем. «Ест аккуратненько. Вилку с куском в рот сразу не тянет, а странно так закручивает. Интеллигентный! Надо про семью разузнать, — решила она и с деревенской хитринкой спросила вроде невзначай:

— Тиша, а Валечка не говорила, приедет домой на выходные?

— Не успел спросить, торопилась она.

— Дочь у нас в городе учится, — объяснила гостю. — Переживаю за неё. Вот уже на третьем курсе. Закончит и в село, наверно, не вернётся. Одним нам век свой доживать придётся... А у вас, Юрий Дмитриевич, дети есть?

— Как же, есть, конечно. Сын, одиннадцать лет, Митькой зовут, — вытирая салфеткой рот, ответил гость.

— Такой маленький?! — удивилась Арина, явно намекая на его возраст. Юрий Дмитриевич всё понял:

— Женился я поздно. Всё учился: сначала в политехе, затем в аспирантуре, защищался. С Люсей в аспирантуре познакомился. Женились после защиты. А потом она заболела, — он замолк. Напряжённая тишина повисла в воздухе. — Обычный сезонный грипп, а осложнение дал на сердце. Вот поэтому, Арина Петровна, Митька у нас ещё маленький. Любопытный растёт, — он засмеялся. — Барометр я как-то из Праги привёз. Сыну лет пять тогда было. Прихожу с работы, а он над ним колдует. Весь разобрал, а потом собрал. Смотрю, шуруп лежит на столе. А шуруп, спрашиваю, откуда? «Он лишний», — ответил сын.

— А с барометром что? — забеспокоился Тихон.

— Работает, только всё наоборот показывает, — Юрий Дмитриевич снова засмеялся. — Я мальца в кружок технический при Доме творчества определил. Тяготеет он к технике.

— А жена как? — сочувственно спросила Арина.

Но гость не успел ответить. Зазвонил его сотовый:

— Слушаю, Степан Аркадьевич!.. Хорошо... Спасибо!.. А пропуск?.. А завтра точно будет готов?.. Ну, отлично! — Юрий Дмитриевич отключил телефон: — Документы сегодня к обеду перешлют, а пропуск готов будет только завтра. Так что я могу вечером уже уехать. И так вам суеты доставил.

За столом наступила тишина.

— Нет уж, Дмитрич, вот как пропуск перешлют, так поедешь! — вдруг решительно заявил Тихон. — Что ты в городе делать будешь? Город, он того, денег требует! Да и всяких отшепенцов там полно, того и гляди в карман залезут. Правда, Арина?!

— Конечно, оставайтесь, Юрий Дмитриевич!

3

После отъезда Курбанова грустно стало в доме Перепёлкиных. Тихон видел, что жёнушка заскучала. «Вот баба! Учёного ей подавай!» — в нём проснулась давно забытая ревность и обида. Он сел на бревно подальше от глаз жены на заднем дворе и стал вспоминать молодость.

Арину он знал с детства. Она жила на соседней улице и часто играла с мальчишками в казака-разбойника или в лапту. Темноглазая, озорная, с непослушными кудряшками на голове, она казалась ему не такой, как все девчонки в селе. Аришка никогда не плакала, даже когда разбивала коленки до крови. Она не жаловалась родителям, если её кто-то обижал. Уже тогда девочка могла дать отпор любому пацану. Шли годы. Снова Тихон обратил внимание на девушку, когда учился в десятом классе. Около семиклассницы и отличницы Арины Бабичевой всегда крутились мальчишки. «Какая красивая дивчина», — подумал Тихон, и вдруг под сердцем у него что-то ёкнуло. Он понял, что влюбился. С тех пор Тихон старался не выпускать её из виду. Обратить на себя внимание помог случай.

Как-то летом в колхоз привезли студентов убирать помидоры и арбузы. Жили они в студенческом лагере за селом и часто наведывались в Калиновку. Однажды небольшая группа молодых подвыпивших парней заявилась на танцплощадку. Они сразу обратили внимание на стройную смазливую девчонку и стали к ней приставать. Сначала Арине это льстило, но чем больше она с ними кокетничала, тем развязнее себя вели парни. Тихон стоял за ограждением и всё видел. Арина, прячась за спины танцующих, поспешила к выходу. Но ребята оказались ушлые и кинулись вслед за ней. Вот тут на их пути стеной встал он...

Потом Тихон долго лежал в больнице с сотрясением мозга. К нему каждый день приходила Аришка. Она садилась на стул рядом, брала его руку и держала в своих тёплых ладошках, пока медсестра не прогоняла девушку домой. С тех пор они не расставались. А когда Арине исполнилось восемнадцать, поженились.

— Тиша, ты где? — по дорожке не торопясь шла жена.

«Какая красивая! Ей уже тридцать восемь лет, а она становится всё краше и краше», — успел подумать Тихон. Арина подошла к мужу, присела рядышком, прижавшись к плечу.

— Хорошо у нас, Тиша, — вдруг промолвила она. — С тобой хорошо!

Внезапно загремела щеколда калитки, и в её проёме показалась почтальонша Любаша.

— Хозяева! — закричала она, держа в руках толстый увесистый конверт. — Тихон Евсеевич, это вам, — протянула подошедшему Тихону. — Паспорт давайте и распишитесь.

— Паспорт тебе зачем?

— Письмо заказное, из Петербурга. Порядки такие!

Тихон с тревогой взял конверт, вскрыл. В нём лежали какие-то бумаги. Бегло оглядев, увидел в конце крупно написанную кругленькую сумму. У него затряслись руки:

— Любка, разберись, что это? Что-то ничего не понимаю. О деньгах каких-то там речь?!

Почтальонша внимательно прочитала аккуратно вложенные три красочных листа.

— О, Арина Петровна и Тихон Евсеевич, собирайтесь!

— Куда собираться? — встревожилась Арина.

— В путешествие! — засмеялась Любаша. — Родственник ваш оплатил проживание в отеле и билеты в Санкт-Петербург, — она снова достала из конверта красивый листок и торжественно прочитала: — «Людмила Игоревна и Юрий Дмитриевич Курбановы приглашают Арину Петровну и Тихона Евсеевича Перепёлкиных посетить славный город Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями и приятно провести время». Увидев застывшие лица Перепёлкиных, расхохоталась: — Бегите, чемоданы собирайте! Через три дня вылет!

ТАКА ЛЮБОВЬ

Александра Михайловна, закончив приём, дописывала историю болезни последнего пациента. «Фью-фью, чив-чив», — пели пичуги за окном. «Вот вам и фью-фью, — улыбнулась она. — Лето наступило, больных теперь мало. Все на огородах работают, некогда им болеть». Отбросив ручку, молодая врач, приехавшая работать в далёкое от райцентра село, подошла к открытому окну, посмотреть на крылатых певцов. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появился сторож — дед Матвей, ещё крепкий старик лет семидесяти в застиранной форменной одежде образца семидесятых годов, в диковинном картузе неизвестного времени, со старой берданкой за плечом, с которой никогда не расставался.

— Филька утоп! — выпалил он.

— Какой Филька? — растерянно спросила Александра Михайловна.

— Зойкин, Филька Колыбан!

— Когда утоп? — перед её глазами предстал худощавый небольшого роста, ничем неприметный сорокалетний мужик с рыжей непослушной шевелюрой.

— Да вчера утоп. На озеро пошёл порыбачить — ни его, ни удочек. Исчез, значит. Омут, видно, утянул.

— А почему вы решили, что утоп? Может, загулял где? Или с друзьями водочку попивает? Вместе с удочками не тонут. Что-то должно же остаться на берегу? — засомневалась доктор.

— Не! Исключено. Водку не пьёт, жадный очень! А загулять — не ходок он. Раз было такое. К куме Нюрке в гости зашёл, так Зойка ей так накостыляла, что та полгода по больницам шлялась, лечилась, значит. Это ещё до вашего приезда сюда случилось. Теперь она их дом за километр обходит. И другим бабам — урок. Боятся с Зойкой-то связываться. А удочки — да кто его знает? Может, ребятишки утащили...

— Матвей Егорович, вы участковому сообщили? Искать же его надо!

— Сообщил!

— А что он?

— Да ничего!

— Как ничего? — ещё больше удивилась доктор.

— Говорит, что объявится. Если через недельку не придёт, водолазов вызовет.

— Сейчас я сама ему позвоню, — недоуменно пожав плечами, она набрала нужный номер телефона.

— М-да! — послушался на другом конце провода строгий голос участкового, мужчины средних лет, серьёзного и весьма уважаемого в селе.

— Степан Петрович, мне тут весть плохую принесли. Говорят, что Филимон Колыбанов утонул. Что делать будем?

— Да ничего, Александра Михайловна! Объявится скоро. Семейка эта чудная.

— А если не объявится?

— Давайте недельку подождём.

«Странные какие-то здесь нравы», — положив трубку, подумала докторша и, обернувшись к переминающемуся с ноги на ногу сторожу, спросила:

— А жена его что говорит?

— Воет. По селу носится, в каждый дом заглядывает, костерит на чём свет стоит. Все кусты вокруг озера обшарила.

— Матвей Егорович, а вы как считаете, где он?

— А шут его знает. Он человек скрытный, тёмный. Может, Зойку на верность проверяет, а может, и утоп. Омут в озере есть. Он уже прибрал одного — Гришку Пегова. Еле нашли. Водолазов с города вызывали.

Дверь кабинета врача резко распахнулась, и в неё влетела запыхавшаяся, с растрепанными волосами, со сбившимся с головы платком Зойка.

— Дохтур, родненька, — запричитала она, вытирая концом платка слёзы. — Касатик мой пропал! На рыбалку пошёл и не вернулся. Я к участковому, а он искать его не хочет. Что делать-то? Ой-ё-ёй!..

— А вы ничего подозрительного не заметили, когда он уходил? Может, в гости к кому отправился, а сказать вам побоялся?

— Да что вы! Ведёрко да удочки подхватил, озорно так пальчиком погрозил и ушёл. Больше своего ненаглядненького я и не видела.

— А может, участковый и прав? Если завтра не объявится, будем искать. А пока домой идите, авось вернётся.

Но Филька не вернулся. «Утоп!» — быстро разнеслось по селу. Потянулись соседи к дому Колыбановых, решать, значит, что делать дальше. Мужики гурьбой отправились к участковому.

— Петрович, делать что-то надо. Филька-то сгинул, — начал разговор Колька Серый — сосед Колыбана.

— Водолазов, Лександрыч, вызывай, — поправив берданку на плече, добавил Матвей Егорыч, — видно, и впрямь утоп.

На следующий день из города приехала машина МЧС. Из неё вышли двое. Одев снаряжение, спустились в озеро. На берегу собрались все сельские мужики. Они стояли кучками, перешёптывались и тревожно вздыхали.

— Вот угораздило! — доносилось то с одной, то с другой стороны.

— Второй уже. Видно, Гришка забрал. Скучно ему на том свете без дружка.

К вечеру уставшие водолазы сообщили, что обследовали всё дно, но трупа не нашли, и они уехали.

— Как же так? — вздыхала примчавшаяся к участковому Зойка. — Не мог же он сквозь землю провалиться? Что же делать теперь, Петрович?

— Оформим как без вести пропавшего. Положенный срок пройдёт, и если не объявится, выдадим справку о смерти.

— Как же он объявится, если его уже рыбы съели? Да и косточек не оставили! Касатик мой-й-й! — завыла новоиспеченная вдова и, спотыкаясь, побрела домой.

Прошла неделя после таинственного исчезновения Фильки Колыбана. Стали в селе замечать, что длинноногая Зойка повеселела, платочек новенький на голову повязала, платье покороче надела...

— Неспроста это, — судачили у магазина бабы.

— Смотри, идёт. Не идёт, а плывёт. А ведь мужа только что потеряла. Ох, неспроста! — вторили другие.

— Бабоньки! За мужиками своими смотрите. Бешеная она! Так и гляди, что уведёт какого! — говорили третьи...

Жизнь в селе постепенно вошла в привычное русло. Повздыхали мужики при встречах, погоревали около магазина бабы, и о Фильке забывать стали. Не было больных и у Александры Михайловны, и она заскучала. Только местный сторож Матвей Егорыч продолжал навещать её по утрам. С деревенской рассудительностью рассказывал последние сельские новости. Вот и сегодня поведал, что у Тольки Хилого соседский петух горох выклевал и ему Толька чуть башку не свернул, а Валька, жена, значит, соседям скандал учинила! А в очереди за хлебом Ганька с Петровной поругались...

— Что на этот раз не поделили?

— Знамо что. Из-за мужиков сцепились.

Летний тёплый день, словно мёд с банки, тёк нудно и медленно. Из больных только старый дед Гриша заглянул после полудни.

— Дочка, поясницу вот скрутило.

Получив укол, кряхтя, отправился восвояси. Наступил вечер. Послышались звоны колокольчиков да окрик глухого пастуха Пашки. «Вот уже и коров пригнали с пастбища. Больше уже никто не придёт», — складывая инструменты, подумала доктор. Зазвенели бабы подойниками, и вскоре в хатах засветились первые огоньки. Закрыв амбулаторию, Александра Михайловна отправилась домой. Идёт, не торопится. Решила дорогу срезать, вдоль лесочка пройтись, а там и дом её, для молодого специалиста специально построенный. Только свернула с дороги, смотрит, крадётся кто-то, оглядывается. Темно стало, лица не разглядела. Испугалась врачиха да за деревце спряталась. А тот по задворкам и прямо к Зойкиному дому. «Вот тебе и Зойка! — усмехнулась она. — Недаром, значит, бабы судачат».

Не успела Александра Михайловна ещё и постель разобрать, как раздался громкий стук в окно.

— Доктор! Доктор! — донёсся знакомый голос сторожа. Просыпайся, миленькая!

— Что случилось, Матвей Егорыч?

— Смертоубийство!

Александра Михайловна, накинув халатик, открыла дверь.

— Кто и кого убивает?

— А кто его знает. Там клубок целый! И все друг друга колошматят, — с явным наслаждением добавил дед.

— Вы можете мне толково объяснить, кто, кого и где колошматит?

— Так я же и говорю, что Филька убивает Зойку, Ганька убивает Кольку, и все друг друга лупцуют. Вы уж поторопитесь, участковый за вами послал. Помощь, возможно, нужна будет, если уже не поздно.

Врачиха быстро оделась, схватила чемоданчик с большим красным крестом, на ходу язвительно бросив:

— Так что, Филька объявился, что ли? Он же утоп, кажется?

— Да не! Жив и здоров. Буянит сильно. Кольку застукал со своей женой.

— Ах, вот оно в чём дело! На самом деле, чудная семейка!

А в доме Колыбановых уже теснился народ, во всех комнатах горел яркий свет, повсюду виднелись следы драки. В передней на полу валялся расхлёстанной веник, а в углу на стуле лежала старая икона в деревянном окладе. «А икона тут при чём?» — удивилась Александра Михайловна. Увидев доктора, сельчане уважительно расступились. В зале за большим круглым столом, заправленным белой скатертью, с вышитыми по бокам васильками, сидел участковый и что-то записывал в тетрадь. Кто-то держал за локоть Фильку, женщины сдерживали пышущую злостью Ганьку.

— Садитесь, Александра Михайловна. Допрос чинить буду, а вы о нашем житье-бытье послушайте, — затем, повернувшись к Зойке, строго спросил: — Ну, рассказывай, Зоя Иванна, что у вас тут произошло.

В это время Филька сквозь зубы процедил:

— Сука она!

— А тебя сейчас не спрашивают. С утопленником позже поговорю. По закону за всё ответишь и за водолазов заплатишь!

— А я не просил вас по омутам лазить, — огрызнулся Филька.

— Вот я и рассказываю, — всхлипывала Зойка, — только свет выключила, как вижу, призрак заходит в комнату. Не! Не заходит, а вплывает и по лунной дорожке на полу ко мне идёт. Всматриваюсь, на мужа моего покойного смахивает. Точь-в-точь как он. Знать, думаю, по мою душеньку пришёл.

— Ты, курва, забыла сказать, с кем спать собралась!

— Не перебивай, — строго оборвал Степан Александрович.

— Так вот! Успужалась сильно! Покойник же! Тут вспомнила рассказы бабки Прасковьи, как она метлой призрака выгнала. Схватила я веник, что под руку попался, и давай его гнать. А оно-то, приведение это, драться стало. Тогда я Кольку и кликнула.

— Который в одном исподнем в кровати твоей лежал, — опять вставил Филька.

— Почудилось тебе! Одеяло там лежало, ночи-то у нас холодные. Он на крик мой истошный прибежал. Как раз во дворе своём был.

— Филька, ещё одно слово, и под охраной Матвея Егорыча на улице своей очереди будешь дожидаться.

— Молчу, Степан Лександр! Я для неё всё, а она! — он отчаянно махнул рукой.

— Пока Колька с ним перебрёхивался, — обречённо продолжала Зойка, понимая, что попала в принеприятнейшую ситуацию, — я икону Спасителя нашего взяла да святую водицу прихватила. Ею призрака-то и обрызгала. А он ещё пуще взбеленился. Что тут началось! На крики Ганька прибежала. Увидала свого мужа, разъярилась, кулаками махать стала. Вон они у неё какие! Всем досталось. Смотрите, глаз мне подбила. Теперь синяк будет! — Зойка снова прослезилась.

— Козёл плешивый, сказал, что на дежурство вызывают, — тут уже добавила взъерошенная Ганька. — Я тебе бородёнку-то повыщипываю!

Участковый повернулся к Фильке:

— Ну а ты, утопленничек, где пропадал?

— В сторожке у Матвеича жил да за курвой этой следил.

— Что, жену проверить решил?

— А хоть бы так! Это моё дело!

— Да дело-то твоё, но за свои поступки ответить придётся.

— Так вот это кто по задворкам, словно вор, крался! — возмутилась докторша. — До смерти напугал! Фу на тебя!

Смекнула тут черноглазая Зойка, что настал нужный момент для примирения и, упав на колени, поползла к мужу:

— Касатик мой, ненагляденький-й! На кого ты меня хотел оставить! Я все глазоньки проплакала-а...

— Ага, вижу, как проплакала. Через неделю другого нашла, — уже более миролюбиво огрызался Филька.

— Филичка, родненький мой! Привиделось это тебе. Да я же при жизни твоей нини! Вот как ты утоп, — она осеклась и тут же выкрутилась, — так совсем истосковалась, руки на себя наложить хотела, да соседи не дали. Разве мне окромя тебя кто нужен? От такого мужа налево не ходя-ать!.. Орлик ты мой крылатенький, это всё Ганька напридумала и шум подняла. Кольку свого приревновала!.. Колька, ну что ты как пень молчишь?! Скажи хоть слово! — повернувшись, в сердцах крикнула Зойка.

— Так оно и было. Я же сосед, крик услышал, на помощь и прибёг, — оглядываясь на жену, сипло ответил Серый. — Ты, Филя, ничего не думай. Ганька это всё!

— Так прямо и Ганька?!

— А то кто ж, Филечка? У меня и в мыслях ничего плохого не было, — поторопилась ответить Зойка.

— Вот и прекрасно, — вмешался в разговор участковый. — Запишем в протокол, что произошло маленькое недоразумение. Ведь так, мужики? — он оглянулся и, уви-

дев одобрительные взгляды сельчан, дописал что-то в тетрадь. — Ну что, Ганька! Забирай своего муженька, да шагайте домой. Думаю, что вы и без нас теперь разберетесь. Но потише там, поняла? — строго предупредил он.

— Ага! — торопливо ответила Ганька и, схватив за локоть мужа, повела домой.

— Ну и нам всем пора расходиться. Полночь уже. Завтра вставать рано. Пойдёмте, Александра Михайловна, провожу вас до дома, а то объявится такой, как Филька, и переликает ещё.

Спускаясь с высокого тесового крыльца большого дома Колыбана, Степан Александрович, ухмыльнувшись, добавил:

— Привыкайте, доктор! Любовь здесь така!

ДВЕ СЕСТРЫ

Марья Никифоровна, сгорбленная временем и тяжёлой работой старушка семидесяти семи лет, отложив вязание, сидела в стареньком кресле возле окна. Подслеповатыми глазами она смотрела куда-то вдаль, часто вздыхала.

— Бабуль, покажи носочки. Ты их уже связала? — на ходу выпалила Варя, забежав в дом.

— Нет, ещё не закончила. Глаза устали.

— Ух, какие красивые, с полосочками! Ты мне их подаришь?

— Для тебя и вяжу, — баба Маша улыбнулась и обняла внучку: — Как ты быстро выросла, красавица моя! Уж четырнадцать годков исполнилось, — она погладила девочку по голове. — Дожить бы до твоей свадьбы.

— Бабуль, обязательно доживёшь! — Варя прижалась к её груди.

Каждый год, после завершения учёбы в школе, родители отправляли дочку в Калиновку на свежий воздух, набираться сил и здоровья. Девочка любила приезжать к бабушке. Здесь никто не заставлял её ходить в кружок на рисование и учить французский. В селе она чувствовала себя свободной и счастливой. Вместе с подругами Варя играла в разные игры, бегала купаться на речку. Также она не ленилась помогать бабушке в огороде, вместе с ней готовила обед, помогала по хозяйству.

Наступил вечер, принёсший долгожданную прохладу. Бабушка Маша грузно встала с кресла.

— Пойдём, внученька, на кухню. Ужинать пора, — вдруг загремела щеколда калитки. Взглянув в окно, Марья Никифоровна заулыбалась: — Меланья проведать пришла. Пошли встречать.

Сестра задержалась недолго. Рассказав последние сельские новости, заторопилась домой:

— Кур пора кормить да яички собрать. Снесут несколько штук, а потом их впотьмах по всему курятнику ищу, — закрывая за собой калитку, на ходу крикнула: — Завтра пирожков с щавелем напеку, приходите!

Нехитрый ужин прошёл быстро. За чаем Варя неожиданно спросила:

— Бабуль, а почему бабушка Меланья говорит как-то странно, нараспев и не все слова выговаривает?

— В детстве она испугалась сильно. Не разговаривала. Лечили её долго. С тех пор картавит.

— Бабушка, расскажи, как это случилось.

Марья Никифоровна долила в чашки крепко заваренный чай, подвинула к себе поближе белую с золотистым ободком:

— Ну, слушай, раз напросилась. Давно это произошло, в голодные послевоенные годы. Меланье в ту пору всего четыре годочка исполнилось, а мне — восемь. Каждый год ранней весною мы на хутор переезжали, а поздней осенью в слободу возвращались. Отец хлеб стране растил, всё время на поле пропадал. А мы, как трава придорожная, сами по себе росли. Я маме по хозяйству помогала, воду из колодца приносила, за скотом приглядывала да за Меланьей смотрела.

— Бабушка, как же ты справлялась?

— А вот так и справлялась. Не баловали тогда детей, работать много приходилось, — Марья Никифоровна сделала несколько глотков душистого чая, вздохнула. — В тот год наша семья припозднилась с переездом. Уже октябрь к концу подходил, дожди зарядили, похолодало, а мы всё на хуторе живём. Однажды отец прямо к обеду примчался: «Нюра, собирай детей! Председатель машину дал. Разгрузим и вернёмся. Утром скот погоним. Митька Петров обещался помочь». Мама узлы собрала, нас в кабину посадили, а в кузов мешки с мукой, тыквы, всякую снедь да вещи разные набросали. Папа на мешки уселся, и поехали мы в Калиновку. Домой приехали к вечеру. Как машину разгрузили, мне папа говорит: «Доченька, за старшую остаешься. За Меланьей

смотри! Дверь чужому не открывай! Я соседей попросил присмотреть за вами. Мы с мамой завтра к обеду дома будем». Закрыла я за отцом дверь на большой железный крюк, более похожий на кочергу, перекусили мы с сестрёнкой тем, что мама нам в узелок положила, и легли спать, знамо, на улице уже стемнело. Уснули быстро, так как в дороге умаялись. Вдруг сквозь чуткий сон услышала, как щеколда калитки звякнула. Вскоре чьи-то шаги послышались возле крыльца. Вскочила я с кровати, к окошку подбежала, но во дворе темно, ничего не видно. Слышу, кто-то уже в коридор проник. Разбудила я Меланью и приказала молчать. Дрожим от страха и ждём, что будет дальше. Слышу, вор с дверью возится, пытается через узкую щель чем-то крюк приподнять. Схватила я табуретку и стекло разбила. Меланье приказала к соседям бежать и помощи просить. Она шмыгнула в образовавшейся проём в перекрестье и убежала. А он крюк приподнял и в дом вошёл. Тихо так, словно на цыпочках, в зал идёт, где я спряталась. Узнала его. Это тот шофёр, перевозивший нас в Калиновку. А я под столом сижу тихо-тихо. Тут шум на улице поднялся, люди бегут к нашему дому. Он, словно зверь в клетке, назад к двери ринулся, да поздно уже было. Схватили его. На допросе он потом признался, что «добро» ему наше приглянулось. На хутор милиционер посыльного за отцом послал, а нас соседка к себе домой забрала. Вскоре папа на коне примчался. Обнял нас, слёзы себе и нам вытирает. Первый раз я видела отца плачущего. Рано утром председатель маму привёз, а скот потом соседи вместе с Митькой Петровым перегнали. Как немного все успокоились, заметили, что Меланьюшка перестала разговаривать. Сначала думали, что время пройдёт, она снова заговорит, но сестрёнка как в рот воды набрала. Долго её потом лечили, папа даже в область ездил к специалистам. Слава Богу, заговорила!

— Бабуль, а что с тем шофёром стало?

— Посадили его. Большой срок дали.

— А я бы его... — Варя замолкла, пыталась придумать, что бы она с ним сделала.

— Не горячись, внученька. Надо уметь прощать. Время нелёгкое было, голодное. Вот и пошёл на кражу, ради своих детей. Говорят, что Пилепенковы бедствовали сильно.

— Прощать?!

— Да, Варя! Нельзя зло держать на сердце. Не от хорошей жизни фронтовик воровать пошёл. Много лиха на фронте он хлебнул, много раз ранен был. От мамы слыхала, что жили они до войны в Херсоне. А как фашисты на эту землю пришли, всю его родню расстреляли, а дом сожгли. Жена с малолетним сынишкой чудом живы остались. Она к брату на Кубань уехала за пару дней до немецкого нашествия. После войны он их там и нашёл. А потом его к нам в колхоз направили. Домик плохенький дали, туда он семью перевёз. Вскоре у них ещё два пацана народились.

— А что с его детьми стало?

— Не бросили их. Помогали всем селом, кто чем мог. Папа сразу им мешок муки отнёс да тыквами поделился, — Марья Никифоровна некоторое время сидела молча, видимо, что-то вспоминая. Отодвинув чашку с остывшим чаем, вновь заговорила: — Уехали они из села. Долго о них никто ничего не знал. Однажды к председателю нашему родственник приехал из Кубани. Из сумки газеты достал, прочитанные в поезде. Председатель их аккуратненько на полку положил. Как-то на досуге решил просмотреть, чем другая область живёт. Развернул газету и глазам своим не поверил. На всю страницу статья об известном враче — Викторе Ивановиче Пилепенко, сыне того шофёра. И фото большое красуется. Он на отца сильно похож. Всем селом тогда эту газету читали.

— Вот я вырасту и тоже стану врачом.

Шорох в застрехе под крышей заставил девочку вздрогнуть.

— Не пужайся, Варюшка, воробьи это. С весны у меня живут. Всполошились, видимо, что-то не поделили. А нам спать пора. Завтра на пирожки к Меланьюшке пойдём.

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Татьяна Николаевна услышала шум хлопнувшей калитки. «Кого это ещё принесло?» — подумала она и, вытерев о фартук руки, вышла из летней кухни.

— Танюша! — издали послышался ласковый голос. Из-за куста сирени, буйно разросшейся у дорожки, ведущей к дому, показалась улыбающаяся мать.

— Мама, что случилось?! Как ты здесь оказалась?

— Решила вас проведать, — улыбнулась она. — Соседи в церковь собрались, и мне место в машине нашлось. Вот на службе постояла, а то и не помню, когда последний раз в храме была, — не дав опомниться дочери, прижала её к груди и поцеловала в лоб. — Чайник на плиту ставь!

Засуетилась дочь, сотовый телефон из кармана вынула:

— Галка, скорей приходи! Баба Дуся приехала!

Евдокия Ивановна перешагнула почтенный восьмидесятый рубеж, но сдаваться ещё не собиралась, хотя болезни отложили отпечаток на её осанке и бледном, с сетью глубоких морщин лице. Некогда высокая и статная, она уменьшилась в размерах и стала походить более на подростка. Коричневый сарафан, белая шифоновая блузочка и повязанный назад белый платочек выдавали в ней сельскую учительницу прежней советской закалки.

Жила она в совхозном доме в некогда крупном селе Поповка, в двадцати километрах от Калиновки. Работала в местной десятилетней школе, преподавала химию. Но в девяностых совхоз разорили. В поисках работы многие уехали в город. Уменьшилось количество учеников в классах, школу закрыли, а Евдокию Ивановну отправили на заслуженную пенсию. Много раз дочь звала её к себе, но она твёрдо стояла на своём, мол, пока ноги ходят, буду жить одна. Её часто навещали родные, привозили продукты, помогали с хозяйством. Она же из Поповки уже никуда не выезжала, давали знать о себе больные ноги, да и сердечко частенько пошаливало.

Снова шумно хлопнула калитка. Прибежала, запыхавшись, внучка.

— Бабулечка, как я рада тебя видеть!

Обнявшись, они вошли в дом. Быстро накрыли стол, засвистел на плите чайник. Из шкафа достали красивые, с розой на боку чайные пары.

— Эх, самовара не хватает, — бабушка снова улыбнулась. — Настоящего, с дымком. Мы с Колей любили после баньки чайку с медком на травках попить.

— Я помню тот самовар, — улыбнулась Галка. — Пузатый и большой, начищенный до блеска. Я в него, как в зеркало, смотрелась и рожицы корчила. Бабуль, а где он теперь?

— На чердаке лежит. Прохудился. Его отец на ярмарке купил мне в приданое. Отец дорого за него заплатил, — что-то вспоминая, она на миг задумалась. — Теперь нет мастеров такие самовары делать. А жаль, — Евдокия Ивановна отрешённо посмотрела куда-то вдаль, перебирая в памяти что-то давнее и для неё важное.

— Бабуль, расскажи, как ты с дедушкой познакомилась, — неожиданно попросила внучка.

— Доченька, ну что ты к бабушке пристала! Маме отдохнуть нужно, устала она, а ты с расспросами пристаёшь.

— Ничего, Танюшка, дома отлежусь. Пожалуй, расскажу, что знаю и что родители поведали. О роде своём до седьмого колена знать нужно! Дерево без корней быстро высыхает. Кто же вам ещё расскажет...

Татьяна долила чай в чашки и присела на диван, чуть поодаль от матери. Галка положила руки на стол и, упершись в них подбородком, приготовилась слушать.

— Маму отдали замуж как раз перед войной за вдовца-бригадира из соседнего села. Она говорила, что не хотела выходить за него, но ослушаться отца боялась. Тот сказал, как отрезал: «Завтра сваты придут. Готовься». Ближе к обеду они с женихом заявились. Маме сразу он не по нраву пришёлся. Худой, высокий, смотрит проницательно, словно человека насквозь видит. За стол все сели, рюмочку выпили и о деле стали говорить, а их в чулан отправили, мол, идите, помилуйтесь. «Села я на мешок с рожью, он напротив присел на ящик, — рассказывала мама. — Молчит и смотрит внимательно. А потом к стене прислонился и заснул, то ли сделал вид, что заснул. Вот, думаю, и женишок, даже до свадьбы не поцеловал ни разу. Понял он тогда, что не люб мне». И выдали её восемнадцатилетнюю дивчину за вдовца с двумя детьми. Сначала она муженька сторонилась, а потом пообвыклась, с мальчиками-погодками пяти и шести лет поладила. И всё б ничего, а тут война началась. Вскоре назначили отца, Ивана Фомича, председателем колхоза. Взвалил он на плечи эту ношу и все силы отдавал работе. Домой забежит глубокой ночью, поспит пару-тройку часов и снова на поля да на ферму. Мама на сносях была, но тоже для фронта трудилась, норму выполняла. Сначала хлеба пекла и масло сливочное сбивала, а когда невмоготу стало, носки шерстяные для воинов вязала.

— Бедненькая, как же она выдержала и ребёночка выносила, — посочувствовала Галка.

— Тогда все, даже дети, много работали. Кто хлеб пёк, кто зерно растил, кто за скотом ухаживал, — всё для фронта и победы! Так-то, Галчонок, — Евдокия Ивановна отхлебнула остывший чай.

— Мама, подожди, я сейчас подогрею, — Татьяна вскочила с дивана и с чайником отправилась на кухню.

— А враг рвался к Волге, — продолжала рассказывать бабушка. — Тут я родилась. Отец на третий день только смог меня увидеть. Забежал домой на минутку, уставший, постаревший. Обнял маму и говорит: «Собирайся, Фрося! Фашисты под Сталингра-

дом. Приказ поступил перегнать скот подальше от фронта. Детей собирай, с табунами пойдёшь». И пошла, а куда деваться. Мужчины все на фронте. Остались только больные и калеки. Детишек закутала, в телегу посадила и отправила вместе с другими детьми к стойбищу, а меня к груди привязала и с табунщиками по степи скот погнала. Как немцев прогнали с нашей земли, мы вернулись домой. После войны отца перевели в Поповку, совхоз поднимать. Моё полуголодное, босоногое детство пролетело незаметно. К пятидесятым стало жить полегче. В пятьдесят девятом я школу закончила, и отец отправил меня учиться в педучилище. Братья к тому времени уже семьи свои завели. Миша работал инженером в МТС, а Виктор военным стал, и отправили его служить на Дальний Восток. «Езжай, дочка! Образование получишь, детей учить станешь. Сейчас стране умные люди нужны». Уехала я, а через год отца не стало. Военные годы дали о себе знать, сердечко не выдержало. После похорон мама мне сказала: «Дай Бог тебе, Дуся, такого мужа, как твой папка!» — и горько заплакала.

По окончании училища я замуж выскочила. — Евдокия Ивановна разулыбалась. — Нас случай свёл. Мы в общежитии с подружкой жили. Однажды суп решили сварить, а картошка закончилось. «Дуся, — говорит мне подруга, — сбегай в магазин, купи картошки, а я пока воду на плиту поставлю, да овощи почищу». На улице март, снег подтаял, но совсем не растаял. К вечеру подмораживало и становилось скользко. Купила я картошку, булку хлеба прихватила, тороплюсь в общежитие. Вдруг поскользнулась и растянулась на дорожке во весь рост. Моя картошка, словно мячики, по тротуару запрыгала. Пытаюсь встать, а ноги снова расползаются. С третьей попытки на колени встала, руками об землю упираюсь и думаю, что нужно как-то выползти с этого места. Вдруг меня кто-то ловко подхватил и на ноги поставил. Гляжу, а это парень. Красивый, высокий, плечистый, он мне сразу приглянулся. «Держись за меня, сейчас выберемся». Я ухватилась за его руку, и только мы пару шагов сделали, как свалились оба. Лежим и хохочем. «Место какое-то заколдованное», — говорю ему. А он отвечает: «Видимо, красавица, быть нам вместе, дорожка нас связала». Вскоре мы с Колей поженились. Он в это время строительный институт закончил. Сначала мы в Волгограде жили и по квартирам скитались, а потом мне предложили поработать в Поповке, обещали дом дать. Строили тогда для учителей. Подумали мы с Колей и согласились. В нём двоих детей нажили. Хороший у вас был отец и дедушка. Добрый и ласковый, — окончив рассказ, она внимательно посмотрела на внучку. — У тебя-то как дела? Что Степан? Слышала, выпивать стал?!

— Да ну его!

— Нет, внученька, и твоя вина в том есть. Народ-то не обманешь, он всё видит. Домой он не хочет идти, вот и пьёт.

— Бабуль, я ведь тоже устаю. Работа у меня ответственная. А ему всё не так: то пришла не вовремя, то не так на него посмотрела, то суп пересолила... А ещё ревнует постоянно. Устала от этого.

— Первое богатство — замужество, второе — счастливое супружество. А сохранить его не каждая умеет. Повнимательней к нему будь и подобрее. Он и потянется снова к тебе, и жизнь наладится. Да детей пора заводить. Женское счастье короткое, спохватишься, но поздно будет. А работа, она никуда не убежит, — за окном посигналила машина. — Это за мной. Соседи. Они дочь навестили, теперь домой едут и меня довезут, — она посмотрела на настенные часы, стрелки которых показывали четыре часа. — Ой, Танюша, сколько у тебя времени отняла, а скоро Лександр с работы придёт, а у тебя, поди, ужин ещё не готов, — и уже на крыльце добавила: — Пусть не ругается, что ужин не поспел. Скажи, что я тебя задержала. А ты, Галочка, Степану привет передай и скажи, что в выходные я вас обоих жду. Дело к Степану есть, и тебе найдётся, — садясь на заднее сидение машины, распорядилась она.

СЛАВИК

1

Вячеславу Владимировичу не спалось. Он ворочался с боку на бок, поглядывая на окно, в надежде увидеть рассвет, но он всё не занимался.

— Тебе что не спится? — проронила Полина Андреевна, приподнимая голову от подушки.

По-стариковски кряхтя, он встал с постели, натянул на ноги старые тапочки, отправился на кухню.

— Что, и водички попить нельзя?! Спи уже! — шумно хлопнув дверью, вышел из спальни.

Поставив чайник на газовую плиту, сел у окна и, всматриваясь в ночь, задумался. Вот уже шестьдесят лет исполнилось, вроде и не жил ещё, а уже дедом кличут. Как

жизнь быстро пролетела, не заметил даже, когда состариться успел. Всё куда-то бежал, деньги зарабатывал, торопился быт наладить, чтобы жить в сытости и на старость не жаловаться. А вот она и старость подступила, а чего хорошего в ней? И дом добротный отстроили, и деньжата водятся, пусть небольшие, но им с Полиной хватает, а покоя-то в душе нет. Дети в городе живут, важные стали. А внуки и глаз не кажут. Что им тут делать?! Им теперь телефоны и компьютеры важнее деда с бабкой. А если приедут, то от айфонов оторваться не могут, впялятся в них, и слова доброго не дождёшься. Чужими стали. Разве раньше так жили? Раньше малому радоваться умели, в гости друг к дружке ходили. А вечерами по-соседски на скамейках собирались. Рядом детишки в разные игры играли, и мы им иногда подсобляли...

Закипел чайник. Дед налил крутой кипяток в любимый бокал с подсолнухом на круглом боку. Из шкафа достал чайный пакетик и конфеты. Закрыв плотнее дверь, включил на тихий звук телевизор: «Всё веселее будет». Шла передача о животных. Прихлёбывая чай и ещё находясь во власти нерадостных мыслей, Вячеслав Владимирович отрешённо смотрел на экран. Быстро мелькали кадры. Сначала показывали кошек, что-то о них говорили, потом появились смешные обезьяны, прыгающие по веткам где-то в Индонезии. А затем показали красавцев попугаев. Один из них жил с учёными и считал себя хозяином на станции. Он доставлял всем немало хлопот, но его баловали и любили. Но, самое главное, попугай умел говорить.

«Птичку, что ли, купить? — пришла внезапная мысль. — Хоть поговорить будет с кем, а то от жены слова доброго не дождёшься. Молчаливая с молодости, да и я за сорок лет совместной жизни надоел ей хуже горькой редьки. Характерец у меня ещё тот». После выпитого горячего чая его внезапно сморил сон, и он заторопился в постель.

2

— В общем, так, Полина! — проснувшись, не терпящим возражения голосом начал разговор супруг. — Завтра едем в город на птичий рынок.

— На кой тебе птичий рынок понадобился?

— Птичку какую купим, — схитрил он. — Пусть поёт, веселее в доме будет. А то живём, как в гробу глухом. От тишины уже уши вянут.

— Придумал ещё! У тебя же телевизор в каждой комнате. С утра до вечера включен, хоть из дома беги. Птиц на улице полно, иди да слушай!

— Живой души хочется, Полинушка, — он крепко прижал её к груди. — Я сам буду за ней ухаживать.

На следующий день, выкатив из гаража старенькую БМВ, они спозаранку отправились в город. Шумный, в осеннем золотисто-багряном убранстве, он встретил их скрипом тормозов, сигналами клаксонов машин и утренней сутолокой спешащих на работу людей.

— Боже мой! Суматоха-то какая. Как же тут люди живут? — то ли удивлялась, то ли возмущалась Полина. — У меня уже голова кругом идёт.

— Привыкли. Им такая жизнь нравится.

— Как она может им нравиться? Спокойствия совсем нет, — она вздохнула. — Вот бегут, чуть ли не под машины лезут, словно роботы какие, и даже не задумываются, куда и зачем. Потом придёт понимание, да поздно будет. Человеку созерцание нужно и общение с небом, чтобы душой живыми быть.

Оставив на стоянке машину, в поисках нужной птицы, они пошли по рядам. Выставленные на продажу пичуги безразлично наблюдали за прохожими, но Вячеслава Владимировича не интересовали простые птички, ему нужен только говорящий попугай. У одного продавца они нашли маленьких ярких попугайчиков. Они прыгали по клетке, суетились, громко кричали.

— Красивый у вас товар! — присматриваясь к птичкам, начал он издалека.

— Берите! Волнистые попугайчики.

— А они говорящие? — и, получив отрицательный ответ, направился дальше.

— Ты что, говорящего попугая купить решил?! — еле поспевая за мужем, с негодованием в голосе спросила Полина.

— Да!

— Совсем рехнулся под старость. Мало нам телевизоров, теперь ещё попугай орущий в доме появится.

Но Вячеслав Владимирович не слушал жену, а старательно искал желаемое. Обойдя всех торговцев птиц и не найдя себе пернатого друга, направился в продовольственные ряды. За ним покорно шла супруга, в душе обзывая муженька всякими нелестными словами. Вдруг мужчина остановился, заметив у ограды рынка худенького, небольшого росточка парня, державшего в руке клетку с жёлто-синим попугаем. Он торопливо подошёл и ещё не успел спросить, как услышал протяжное:

— Здра-вству-йте! Славик.

— Откуда он знает моё имя? — удивлённо и в то же время обрадованно спросил Вячеслав Владимирович.

— Это его зовут Славиком. Он культурный, знакомится с вами.

А попугай, обрадованный, что у него появился собеседник, встрепенулся и снова выдал:

— Чё уставился? Сижу битый час взаперти. Летать хочу.

Вячеслав Владимирович оторопел. Вот она, его мечта!

— А что он ещё говорить умеет?

— Да многое. Славик у меня толковый. Быстро учится. Возьмите, пожалуйста! — парень умоляюще посмотрел на покупателей. — Я при храме служу и живу рядом. Его крохотного кто-то во двор подбросил. Жалко стало бедолагу, домой принёс, вырастил. Везде попугайчика с собой брал. Да вот недавно Славик службу в церкви чуть не сорвал. Настоятель сильно разгневался, — он тяжело вздохнул. — Я его бесплатно вам отдам, главное, не обижайте. Он хороший.

— М-да... Жалко, наверное, расставаться с другом?

— Я в семинарию только что поступил. Мне его некуда деть.

— Ну что, тёзка, пойдёшь к нам жить?

— Жить... жить. Лучше бы накормил меня, — недовольно пробурчал попугай.

Поблагодарив парня, всунув ему в руку свёрнутые купюры, мужчина взял клетку и, довольный покупкой, отправился обратно на стоянку. Вслед ему шла удивлённая жена. Она ещё никогда не видела говорящих птиц.

3

Славику отвели место на кухне. Клетку торжественно водрузили на тумбу возле окна. Открыв дверцу, позволили вылететь. Попугай, покружив, последовал в горницу знакомиться с новым местом жительства. Присев на спинку велюрового кресла, хрипло произнёс: «Здравствуйте! Славик». Оглядев комнату зоркими глазками-пуговками, слетал в спальню, гостевую и вернулся на кухню. Он облюбовал себе место на спинке старого дивана, стоящего у стены за печкой, где после обеда любил вздремнуть хозяин дома. После сытного ужина, утомлённый городом и дорогой, Вячеслав Владимирович прилёг на диванчик. Славик, нахохлившись, уселся рядом. Вскоре оба уснули.

Смеркалось. За окнами стемнело. Вдруг кто-то громко, нараспев пробасил: «Господи, упокой душу усопшего раба твоего!» Вячеслав Владимирович вздрогнул, бешено заколотилось сердце. «Неужто помер?!» — пронеслась в голове тревожная мысль. Он осторожно приоткрыл глаза. Траурная темнота нависла над ним: «В гроб положили, отпевают! А я ведь живой!» Он со всей мощи голоса заорал: «Я живой! Живой!» На кухню влетела Полина. Управившись с хозяйством, она только что зашла в дом.

— Слава, что случилось?! Что с тобой? Тебе плохо?

Супруга включила свет. Он встал с дивана, оглянулся по сторонам:

— Надо ж, приснится такое! Аж сердце зашлось. Вроде как помер и в гробу лежу.

— Спал в неудобной позе, вот и приснилось. А попугай-то где?

Из-за спинки дивана появилась голова, и два глаза виновато посмотрели на хозяина.

— Здрасьте! — прохрипел попугай и запел басом: — Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Вот кто меня хоронить вздумал! — хозяин дома погрозил Славику пальцем. — Ах ты, птица божья, до смерти напугал! Ну надо же, как умеет. Что он нам ещё выдаст?!

А Славик выдал рано утром, когда все ещё крепко спали. Закрытый в клетке, он завопил: «На молитовку! На молитовку!» И возмущённый, что никто не реагирует на его призыв, снова запел басом: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».

— Вот, старый, хотел весёлости, получай, — сонно проронила Полина. — Вставай, корми домочадца.

Ближе к обеду, вроде как по делу, в дом заглянул Федька Косой. Увидев гостя, Славик спрятался за клетку.

— Это что за чудо у вас? — удивился Федька, стоя на пороге кухни.

— Ты чего, дружище, спрятался, — Вячеслав Владимирович погладил питомца по голове, — иди знакомься.

Попугай нехотя взлетел. Покружив возле незнакомца, сел ему на плечо. Заглядывая в лицо, вдруг спросил:

— Чай пить будешь?

Федька оторопел. Показывая пальцем на попугая, заикаясь, спросил:

— Он что, го-го-ворить у-умеет?! — собрался с мыслями. — Я таких только по телевизору видел.

— Он ещё не то умеет, — многозначительно ответил хозяин дома.

На следующий день все в селе уже знали, что Савицкие завели говорящего попугая.

— На кой им этот попугай? — удивлялись одни.

— Богати, с жиру бесятся. Всё хотять, как городские, жить, — ехидничали другие.

— А может, Федька приврал? Что с него станет. Надо Силантиху порасспросить. Та всё знает, — говорили третьи.

Силантиха появилась через день. Она уверенно зашла в дом:

— Полина, с магазина иду. Там колбасу привезли, копчёности разные. Сходила бы, разбирают быстро.

— Ты же, Валентина, не за этим пришла.

— Да, конечно. Я по делу заглянула, — ответила она, оглядывая прихожую. — Шкаф красивый у вас! Современный. В городе купили? Пройти хоть можно?

— Ну, проходи! — Полина улыбнулась, зная причину прихода первой сплетницы на селе.

— Мы тут решили кабанчика в выходные забить да маленько мясцо распродать по соседям, — затеяла разговор, зыркая глазами по всем углам. — Может, вы тоже захотите купить? Мы недорого продаём.

Полина решила поддержать игру:

— А почему же не купить? Купим килограмма три.

— В магазине сегодня слышала, вроде вы птичку говорящую приобрели. Врут, наверное, наши бабы. Им соврать, что мёду испить.

— Нет, не врут.

— Неужто разговаривает, как мы?

— Ещё как разговаривает!

— А где же он? Показала бы, посмотреть хочется.

— У телевизора сидит, песни слушает. Он у нас меломан, оказывается.

Полине хотелось, чтобы Славик заговорил, сразив тем самым Силантиху, иначе её кумушки во главе с самой Валентиной промоют им все кости.

Славик стоял на полу в горнице и внимательно смотрел на экран, где шла передача «Звёзды девяностых». Ансамбль «Божья коровка» исполнял песню «Гранитный камушек». Полина выключила телевизор, чем вызвала недовольство попугая. Он, переминаясь с ноги на ногу, начал громко кричать, а потом, подражая солисту, запел:

Не ходи к нему на встречу, не ходи,
У него гранитный камушек в груди...

От удивления Силантиха присела на диван.

— Боже мой, он ещё и поёт. Не наврал Федька!

«Забавный какой, — подумала Полина. — И правда, с ним веселее»...

Утром Валентина Силантьева еле дождалась, когда откроется магазин. Ей не терпелось скорее поведать селянам о невиданном чуде, свидетелем которого она сама стала.

— Он песни девяностых любит, знает их наизусть. А как поёт! Даже лучше, чем певцы.

— Да ну тебя, Валька! Придумала же, — произнесла кто-то из женщин, пришедших купить продукты.

— А ещё он молитвы читает, — она торжествующе огляделась. — И не только читает, но креститься умеет!

— Ну, это ты совсем хватила! — возмутилась Платониха. – Как птица может креститься?!

— Кто бы сказал, не поверила бы, а тут сама видела, — и, довольная собой, добавила: — А кто не верит, сходите и посмотрите, — она ухмыльнулась и с гордо поднятой головой удалилась из магазина.

Не стало покоя в доме Савицких. Соседи, находя любой предлог, забегали в гости, чтобы послушать попугая и подивиться его способностям. А Славик с каждым их приходом выдавал что-нибудь новенькое: «Ходят тут, ходят. Дел дома, что ли, нет!» А Глашке Петровой, как-то зашедшей на минутку, заявил: «А ты, Глашка, не путайся с чужими мужиками. Иди лучше полы дома помой. Грязь развела». Возмущённая Глашка, ехидно крикнув на прощание:

— Попугаев тут развели! Сплетники! А ещё культурными называются! — быстро исчезла за дверью, не забыв громко ею хлопнуть.

— Птица говорящая, ты так нас со всеми соседями перессоришь, — тоже возмутился Вячеслав Владимирович. — При тебе говорить-то ничего нельзя, тут же всё выложишь.

— Зато теперь не скучно. Ты же этого хотел, — проворчала жена. — Нет, Слава! Старость приходит не для развлечений, а для созерцания. В отпущенное Богом время нужно многое успеть, дела на Земле доделать, а главное — жизнь свою исправить, чтобы в вечность с чистым сердцем войти. Птица и то это знает, каждое утро молитвы нам

читает, а тебе всё веселья хочется. Горе ты моё...

Полина прислушалась.

— Калитка хлопнула, — она спрятала улыбку в уголках губ, — очередных гостей встречай...

ДРУГОЙ МОТИВ

— Там-тара-там, тара-там! Тьфу, — сплюнул в сердцах Петро. — Вот прицепился мотивчик!

— Ты чего ругаешься? — поинтересовалась Полина, поставив на крыльцо ведро, доверху наполненное огурцами.

— Да вот, как втемяшится что-то в голову, так никак не отвяжется.

— Урожай нынче на огурцы богатый. Банки из сарайки неси! Крутить будем, — словно не слыша мужа, приказала она. — Да не забудь доску в бане прибить. Там гвоздь ржавый торчит, я намедни поранилась.

Взяв коробку с гвоздями, Петро отправился выполнять поручение жены. Не успел он ещё размахнуться молотком, как о себе напомнил прежний мотив.

— Да что же за напасть такая?! Откуда он взялся?

Вдруг под сердцем резко ёкнуло. И он вспомнил эту песню, бородатого бандита и совсем юную чеченскую красавицу с миндалевидными глазами, спасшую их группу тогда, в первую... двадцать шесть лет назад.

Пётр Харченко служил срочную в спецназе. Стояла весна тысяча девятьсот девяносто пятого года. В Чечне вовсю полыхала война. Командир батальона, где служил Пётр, получил информацию, что к одному из близлежащих сёл подтянулись боевики. Их отделению приказали проверить достоверность полученных сведений. Дождавшись вечера, группа из десяти человек скрытно подошла к селению. Оказавшись в начале улицы, бойцы быстро развернулись в боевой порядок и стали медленно продвигаться вперёд. Сгущались сумерки.

— Странная тишина, словно все вымерли, — прошептал Витька Радченко.

— Здесь они. За нами следят, — только успел ответить Пётр, как зазвенели первые выстрелы. Пули просвистели над головами спецназовцев. Стрельба велась из окон саманного дома метрах в тридцати от бойцов.

— Отходим! — приказал командир отряда Саня Петров. Зазвучали новые выстрелы с конца улицы, отрезающие путь к отходу. — В кольцо берут! Живыми хотят взять. Слушай мою команду! Уходим через дворы и огороды.

Отстреливаясь, они вломились в первый попавшийся двор и, перемахнув через изгородь, оказались на другом подворье. Их искали, звучала беспорядочная стрельба и окрики дудаевских боевиков. В одном из дворов Пётр присел на краю канавы, чтобы перезарядить магазины и вдруг услышал метрах в двадцати от себя зловещий смех, переходящий в ритмичный мотив: «Там-тара-там, тара-там!» В него целился из «шайтан-трубы» бородач в чёрном одеянии. Он что-то прокричал на арабском языке и выстрелил. Пётр кувыркнулся через спину в канаву. Граната ударила в её стену, осыпав его землёю и камнями. «Ну всё, конец мне пришёл! Сейчас в меня пальнёт», — только успел подумать, как увидел, что наёмник, оскалясь, стал медленно оседать. В его шее торчал нож, воткнутый по самую рукоять, а за спиной бандита он увидел хрупкую чеченскую девушку. Она приложила палец к губам и позвала его за собой:

— Хасан злой человек! Он убил моего брата. Собирай своих, я выведу вас за село, — она торопилась. Прячась за деревьями, привела группу к подвалу. — Ничего не бойтесь, — прошептала девушка. Оглядевшись по сторонам, зашла сама и, впустив бойцов, закрыла на задвижку дверь. Ловким движением зажгла керосиновую лампу и попросила отодвинуть бочку с какими-то солениями. Под бочкой оказался лаз. Сдвинув крышку, она первой спустилась по земляным ступеням в тёмную яму. — Торопитесь! Здесь подземный ход. Его отец с братом вырыли, когда война на нашей земле началась. Он ведёт во двор моей тёти, а там рукой подать до оврага. По нему вы уйдёте.

— А ты? Тебя же убьют!

— Я знаю, где спрятаться, и скоро ваши придут. Этих — здесь человек тридцать. В основном все пришлые. Держат селян в страхе.

— А Хасан за что убил брата? — спросил Пётр.

— Они пытались село отстоять.

— А зовут-то тебя как?

— Забудьте обо мне, если желаете мне добра. Так будет лучше.

Шли они недолго. Девушка остановилась и прислушалась.

— Я выйду первой. Уберу дрова, закрывающие выход. А теперь давайте прощаться, — и она тут же исчезла в узком земляном проёме...

Вскоре селение освободили от боевиков. Часть их убили, других взяли в плен и отправили в Москву, некоторые смогли скрыться. Пётр осторожно пытался найти девушку, спасшую ему и его товарищам жизни, но попытка не увенчалась успехом. А когда бригада, выполнив свои задачи, уходила из села, он услышал знакомый голос. Девушка пела красивую чеченскую песню:

Хаза ю ламанца буьйса,
Батто стиглахь нека до,
Ойла ю тоелла тховса,
Безам кийрахь ийбало.

Он понял, что пела она для них. Её прощальная песня...

Пётр так и сидел с молотком в руках, когда в баню зашла жена.

— Зову тебя, зову, а ты не откликаешься. Банки пора закручивать. Я рассол сварила, заливать нужно, — она внимательно посмотрела на мужа. — Что с тобой?

— Ничего, Полинушка! Песню вспомнил. Но это уже другой мотив.

И он запел тихо и нежно:

Ночь светла над горной грядою,
По небу плывёт свет луны.
Пленены мы сладкой мечтою,
В сердце пламя, пламя любви.[1]

Полина прижалась к плечу мужа. Обнявшись, они ещё долго сидели в старой бане. Каждый думал о своём.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВОЯЖ

1

— Лёш, а Лёш! Ну, чего молчишь?

— Чего тебе? — не отрываясь от чтения газеты, спросил хозяин дома.

— Поговорить хочу, а тебя не дозовёшься.

— Дай спокойно почитать. Я на работе так наговорился, что помолчать немного хочется.

— Ну и молчи себе на здоровье, — Аня обиженно надула губки и ушла в спальню.

Позволить себе долго обижаться она не могла, дело требовало безотлагательного решения. Покрутившись вокруг зеркала, поправила причёску и снова вошла в зал.

— Лёш, ты бы телевизор включил. Может, фильм какой показывают.

Алексей грузно встал с кресла и, прихрамывая, подошёл к тумбочке, взял в руки пульт. В последнее время его стала мучить одышка, и давали о себе знать колени. «Старость не в радость», — пробормотал он, включая телевизор. Вернувшись обратно, плюхнулся в любимое кресло.

— Лёш, ну какая старость?! Тебе всего пятьдесят девять лет. Спортом нужно заняться да вес сбросить.

— Какой спорт с моей работой... Думаешь руководить предприятием легко? Одни нервы!

Не зная, как затеять нужный ей разговор, Анна начала издалека:

— Значит, нужно отдохнуть, в санаторий съездить, чтобы нервы полечить.

— Куда это ты собралась? — неожиданно спросил муж.

— Никуда, — озадаченно ответила она.

— Неспроста ты затеяла этот разговор. Давай выкладывай, что надумала!

Анне ничего не осталось, как сообщить мужу новость:

— Дочь наша надумала съездить за границу.

Алексей приподнял удивлённо брови.

— Куда?

— В Германию.

— Что ей дома не сидится?

— Говорит, что мир хочет посмотреть.

— А Игорь согласился? Его с работы отпустят?

— Так она без него собралась, — Аня искоса посмотрела на мужа. — У них ипотека, вдвоём им не потянуть.

— Пусть лучше за мужем приглядывает и домом занимается, нечего по заграницам шастать!

— Инна уже путёвку заказала, — как бы невзначай промолвила супруга, вставая с кресла. — Пойду чайник поставлю греться, что-то чайку захотелось.

Она быстро вышла из зала, обдумывая, как вывести разговор в нужное ей русло.

---

[1] Перевод В. Хаджимурадова.

Чайник закипел быстро. Анна достала конфеты, нарезала крупными ломтями черничный пирог, поставила чайные чашки и позвала мужа:

— Лёш, иди чай пить!

Чай пили молча. Аня видела, что супруг сердится.

— Тебе пирог понравился? — неожиданно спросила она и, не дав ему ответить, добавила: — Для тебя старалась.

— Спасибо! Вкусный.

— Лёш, а давай и мы поедем. Втроём веселее будет. Мы с тобой за всю жизнь дальше Петербурга нигде не были, да и дочь одну отпускать нельзя. Не дай Бог что случится.

— Аня, а ты подумала, во сколько тебе эта поездочка обойдётся? — он резко встал со стула и стал ходить взад-вперёд по кухне. — Возьмите путёвку в Петербург и езжайте вдвоём! Он ничем не хуже Германии.

— Путёвка, Лёш, уже оплачена... За двоих.

Он внезапно остановился и строго посмотрел на супругу.

— Одна без царя в башке! Покататься ей захотелось, но ей простительно, молодая да глупая. А ты куда собралась?!

— Знаешь, дорогой мой, я слишком преданно служила дому и тебе! Думаю, что заработала на недельную поездку с дочерью в Европу! — выпалила Аня и с гордо поднятой головой вышла из кухни.

2

На следующий день все в Калиновке уже знали, что Анна Владимирова с дочерью едут за границу.

— Владимирова у нас в Германию собралась, — прибежав в магазин, сообщила Силантиха. — На улице август, сбор урожая, а её в Европу потянуло!

— А почему бы не съездить, раз деньжата водятся, — парировала продавщица Наталья Ивановна. Она не любила Валентину и старалась при ней больше молчать, зная, что та добавит к сказанному и разнесёт сплетни по всему селу.

— Как же она одна, без мужа к германцам поедет? И не боится? — удивилась баба Маня, родившаяся во время войны и пережившая послевоенные лихолетья.

— Они вдвоём с Инкой едут. Её дочь теперь городская, богатая. Муж-то у неё менеджер в нефтяной компании. Они уже квартиру себе купили, — съехидничала Силантиха.

— Всё ты знаешь. Пущай едут, тебе-то что?! — возмутилась Мария Петровна, пришедшая за покупками...

А в это время Анна вместе с дочерью уже бегали по городским магазинам, покупая обновы.

— Мам, ну зачем тебе это платье? — возмущалась Инна в одном из отделов магазина «Мега». — Нужно купить легкие брючки и пару красивых футболок.

— Ну, как же я без платья? Мы должны быть с тобою красивыми, в Европу же едем.

— Там никто в платьях не ходит! В Германии всё демократично.

Анна с трудом согласилась. Выбирали долго и нудно, наконец, всё необходимое купили, и вдруг Анна вспомнила про чемодан:

— Инка, мы про чемодан забыли! Такой, на колёсиках.

Вскоре в магазине сумок они приобрели синий чемодан. Сложив в него покупки, Анна отправилась в Калиновку.

3

Наконец, долгожданный день настал. Алексей Денисович отвёз жену и дочь в аэропорт. Радость наполняла сердце Анны. Она не могла поверить, что через несколько часов они с Инной будут ходить по улицам Дрездена. Белокурая, подстриженная под боб-каре, среднего роста, со слегка располневшей фигурой, умело спрятанной под новыми широкими голубыми брючками и белой шёлковой блузой, Анна чувствовала себя молодой и уверенной. Ощутив долгожданную свободу, она улыбалась. Её глаза излучали счастье.

Дрезден встретил их хмурой и дождливой погодой. Остроумный весёлый гид рассадил туристов по автобусам и стал развозить по отелям. На следующий день группа россиян собралась на площади Ноймаркт. Миловидная экскурсовод провела обзорную пешую экскурсию по городу. Анна восторгалась всем: атлантами у входа в здания, в арках — фигурами людей с орлами, высокими шпилями церквей, колесницей на крыше оперы Земпера, но больше всего ей понравился дворец Цвингер. Её удивляли Коронные ворота, созданные с безудержной пышностью и помпезностью, а также Колокольный павильон с позолоченными часами и множеством маленьких фарфоровых колокольчиков, звенящих музыкой при отбивании каждого часа. Анна с дочерью

долго бродили по территории комплекса, восторгаясь его великолепием. Вернувшись в отель, они делились воспоминаниями, а ночью, лёжа в постели, Анна долго не могла уснуть. Ей казалось, что она попала в сказочную страну чудес.

На другой день они наметили прогуляться по городу и посетить некоторые музеи. День выдался дождливый и не располагал к приятному времяпрепровождению, но взяв зонты, дочь и мать всё равно отправились на прогулку. Инна водила Анну по уже знакомым им местам. Осматривая те или иные архитектурные элементы, они изрядно замёрзли, и Инна предложила зайти в кофейню, чтобы испить кофе и погреться.

Пока дочь мыла руки, Анна решила сделать заказ. Она подошла к стойке и попросила на плохом английском языке подать им два кусочка фирменного немецкого пирога: «С какой начинкой?» — спросил продавец. Вдруг Анна поняла, что знания её английского закончились. Она пыталась показать пальцем, но парень делал вид, что не понимает, явно издеваясь над женщиной. Он что-то бормотал на немецком, а потом, бросив язвительно: «Английский учить нужно, раз едешь за границу», — наконец выдал ей два нужных кусочка. Пить кофе Анне расхотелось. Подошедшей Инне не терпящим возражения голосом она приказала:

— Пойдём отсюда. Это негостеприимная кофейня!

Открыв входную дверь, Анна повернулась к продавцу, смотревшему ей вслед, гордо окинула его взглядом и, снисходительно улыбнувшись, вышла.

Дождь, как назло, не унимался. Теперь Ане Дрезден не казался таким приветливым и красивым. Дворцы, построенные из известняка, стояли унылые и почерневшие. Обходя большие лужи на сером асфальте, она досадовала: «Надо же, как унизил...»

Оставшиеся три дня пролетели быстро. Их вояж подходил к концу. Собрав чемоданы, мать и дочь решили сходить в магазин, чтобы купить подарки. На обратном пути Инна предложила зайти в маленькое и уютное кафе возле их отеля:

— Мама, домой мы вернёмся поздно вечером, давай здесь перекусим.

Официант, высокий молодой белокурый парень, молча подал им меню.

— Здраво![1] — неожиданно произнесла Анна.

Парень заулыбался и обрадованно ответил:

— Здраво! Ви сте из Русије?[2]

— Да, — улыбнувшись, ответила Анна.

— Веома сам срећан![3] — и добавил — Моје име је Марко[4].

Когда официант ушёл, Инна удивлённо спросила:

— Мама, ты на каком языке сейчас разговаривала?

— На сербском, доченька.

— Я не знала, что ты знаешь сербский язык.

— Когда училась на втором курсе, я познакомилась с сербом. Закончив ВУЗ, он уехал в Белград. Мы с ним ещё долго потом переписывались. Благодаря ему немного знаю этот язык. А что Марко серб — сразу поняла. Он похож на Люблена...

Отвернувшись к окну, она задумалась: «Люблен... Где ты сейчас? А ведь звал, любил...»

* * *

Самолёт плыл среди пушистых облаков, мирно гудели моторы. Анне нестерпимо захотелось домой. «А Лёша был прав, — мелькнула внезапная мысль. — Лучше бы мы в Петербург съездили. Увы, Европа, оказывается, не такая уж сказочная и приветливая, как казалась мне раньше...

СВАДЬБА

1

— Мама, Гришка женится! — в комнату вбежала запыхавшаяся Алёнка. — Сватать Марийку пошли! Парни кушаками перевязанные, с красными цветками на груди. Важные такие! — и, подражая им, она прошлась по комнате.

— Вот и хорошо! Парень он хороший, взрослый, пора ему семьёй обзаводиться.

— А мне ещё не пора? — встревожилась дочка.

— Нет, доченька! Тебе всего ещё седьмой год идёт. Вот вырастешь, и тебя замуж возьмут.

— Я тебе секретик открою, но ты никому не говори, ладно? Петька сказал, что же-

[1] Здравствуйте.
[2] Вы из России?
[3] Я очень рад.
[4] Меня зовут Марко.

нится на мне.

— Пусть твой жених сначала подрастёт, — мама улыбнулась вслед убегающей вприпрыжку дочери.

Вечером подвыпившие сваты с песнями под заливистую гармошку вернулись с добрыми вестями. «Просватали! — пронеслось по улице. — О приданом договорились, через месяц свадьба».

Месяц пролетел быстро. В пятницу, накануне свадьбы, приехала машина, нагруженная доверху всяким добром.

— Мама, везут, везут! Скорей смотреть пошли. Там уже все соседи собрались. Машина большущая! Вот такая! — Алёнка широко расставила руки, пытаясь показать её размер.

Вскоре послышались гудки. Грузовая машина, украшенная цветами, медленно подъехала ко двору жениха.

— Гринька, ворота раскрывай! Да пошире! Вишь, приданое какое! Невеста у нас богатая. Одних перин штук двадцать, да столько же подушек! — раззадоривают толпу друзья невесты.

Тут же донеслось с улицы:

— Проверить ещё надо, а то, может, в перинах не пух, а перья! Жесткой постелька-то будет! — и дружное «ха-ха!» разнеслось по всей округе.

— А вы, бабоньки, сами проверьте. Ну, какая побойчее, запрыгивай! — и несколько рук показались из-за борта.

— Шустрый якый! — донеслось из толпы. — Сам слезай да подай, а мы поглядим да пощупаем! — и снова раздался весёлый смех.

— Красавица, может, и нам свадебку затеять? — не унимался первый.

— А ты дружков зашли, тогда и погутарим. А может, «да» скажу, а может, и гарбуз получишь.

— Филька, ты поосторожней! За Галину и бока намять могут.

— А мы не пужливые, — заступился за друга до сих пор молчавший Степан и, окинув всех взглядом, добавил: — Невест много, холостыми не останемся. — Эй, курносенькая, — обратился он к Алёнке, стоящей поближе всех к машине, — замуж за меня пойдёшь? — Алёнка смутилась и спряталась за спину мамы. — Расти быстрей, красавица!

На пороге с подносом в руках, с водружёнными на нём стопками и бутылкой водки появилась хозяйка дома — баба Тася.

— Вот вам, хлопцы, чтобы веселее вносилось.

Ребята спрыгнули с машины и раскрыли борта. Выпив по стопочке, принялись за разгрузку, демонстративно показывая приданое соседям.

— Невесомые! — поднимая связанные подушки, снова балагурил Филька. — А вы говорили, перо!

— Ниже, аккуратней, — уже неслось со двора. Это в дом вносили большой шифоньер, а следом на горбах парней уже двигался круглый стол. Вскоре машину разгрузили, и, громко рыча, она отправилась восвояси. Перешёптываясь, потихоньку стали расходиться соседи. «Завтра жениха провожать придём», — донеслось до Алёнки...

— Мама, а завтра уже наступило? — Алёнка на цыпочках подошла к краю постели родителей.

— Доченька, ещё очень рано, — мама посмотрела на будильник. — Шесть часов, Ложись, спи! Не бойся, не опоздаешь. Я тебя непременно разбужу! Без тебя свадьба никак не состоится.

Обрадованная дочурка медленно развернулась и так же на цыпочках отправилась снова спать.

А утром подъехали машины, и молодежь принялась их украшать. Для жениха и невесты выбрали чёрную «Волгу». На самом её верху красовались два золотистых кольца. В разные стороны расходились разноцветные ленты с наколотыми на них бумажными цветами. Две другие машины нарядили проще. Им достались ленты, цветы да воздушные шарики. В одиннадцать часов с крыльца спустился жених в новеньком тёмно-синем костюме, в белой рубахе, ворот которой обхватил синий в крапинку галстук. Рядом с ним — два дружка, грудь которых перевязана красными лентами.

— Куда вы, окаянные! Всё торопитесь, — послышался голос бабы Таси. — Как без благословения! — на вышитом новеньком рушнике она держала старую большую икону, видно доставшуюся ей по наследству: — Вот, сыночек, отец не дожил, — смахнула слезу. — Живи с Богом и в радости!

Поцеловав икону, Гриня отправился за невестой, известив об этом клаксонами трёх машин. А во дворе под большим шатром уже накрывали столы для стремительно приближающегося торжества.

2

— Алёнка, иди одеваться! Скоро на свадьбу пойдём, — позвала мама играющую во дворе дочку.

— И я пойду? Меня тоже пригласили?

— И ты пойдёшь, — мама улыбнулась. — Пойдём косы плести.

Вскоре нарядная девчушка в бледно-голубом платье, с такими же голубыми бантами и в белых новеньких туфельках вышла за калитку. Её сразу же обступили подружки, не приглашённые на торжество.

— А у меня тоже есть красивое платье, — завистливо осматривая Алёнку, произнесла Наташка и отошла в сторону.

— Какие у тебя туфельки блестящие, — промолвила Танюшка и, присев на корточки, погладила их рукой. — А у меня таких нет.

— А ты маму попроси, и она, непременно, купит тебе такие же, — попробовала успокоить подругу Алёнка.

— Едут! Едут! — закричал Серёжка, увидев вдалеке наряженные машины.

Девочка влетела во двор:

— Мама, папа, мы уже опаздываем! Они едут!

— Не переживай, успеем, доченька! — улыбнулся папа, открывая калитку.

— Какие вы красивые! Прямо как король и королева из моей любимой сказки, — она не успела досказать, как её внимание привлекли подъезжающие гудящие машины. Они остановились у дома жениха, и первым выскочил свидетель. Он широко распахнул дверцу чёрной «Волги», и из неё вылез жених. Он обошёл машину, открыл другую дверцу и подал руку невесте. — Ух ты! — восхитилась Алёнка, увидев невесту.

Марийка в пышном длинном белом платье и воздушной фате была похожа на настоящую принцессу. Она взяла Гришу под руку, и они подошли к стоящей с иконой в руках матери. Благословив молодожёнов, им поднесли на красивом рушнике, расшитом петухами, хлеб да соль. Жених откусил большой кусок, а невеста совсем маленький.

— Молодец, Гриня! Мужчина должен быть хозяином в семье, — послышалось из толпы.

— Муж — голова, а жена —шея! Куда шея повернётся, туда и голова пойдёт, — хихикнул кто-то в толпе.

— Да ну вас, бабоньки, — снова раздался тот же голос.

А в это время молодожёны вошли во двор и отправились в центр шатра на приготовленные для них места, красиво украшенные цветами. Вслед за ними отправились гости, чинно усаживаясь по обе стороны пэ-образного стола. Нашлось местечко и Алёнке. Она примостилась рядом с мамой, торжественно расправив новенькое платье.

И началась свадьба. По очереди вставали дяди и тёти. Они что-то долго говорили и кричали: «Горько!» Под это «горько» молодожёны начинали целоваться. Почему-то им приходилось это делать часто. «Интересно, — подумала девочка, — а куда они девают носы?» Когда Алёнка целовала папу или маму, ей всегда мешал нос. Она тихонько встала и сбоку подошла к жениху с невестой, но те, насыпав ей в руки конфет, отправили её обратно.

— Мам, мам, — Алёнка дернула маму за подол платья.

— Что, доченька?

— Я тебе хочу секретик открыть. Я не пойду замуж за Петьку.

— Почему ты так решила?

— Он сопливый! Как я с ним целоваться буду?

Мама улыбнулась.

— Ты сначала вырасти, а Петьку мы другого найдём.

Дошла очередь и до родителей. Они поздравили молодых, вручив Гриньке увесистый конверт. Своё «Горько!» громче всех кричала Алёнка, чем вызвала дружный смех гостей. Выполнив, как она считала, самую важную часть свадьбы, отправилась на улицу, где долго рассказывала подружкам о свадьбе, гостьей которой она была.

Теодор ГАЛЬПЕРИН

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Бабушка моя, Елизавета Марковна, частенько, вспоминая времена до Великой Октябрьской, говорила: «...ещё в мирное время...»

Мне казалось такое изречение весьма странным из её еврейских уст.

Какое же мирное время? По России катился шквал народных волнений — стачечное движение, недовольство в армии и на флоте, порой расстрелы мирных шествий. Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, не говоря уже о волне еврейских погромов и возникновение еврейских отрядов самообороны с участием русских студентов.

Да и дед мой, Наум Соломонович Гуревич, подпал под антисемитские законы — не смог поступить в России в художественное училище, а поступил в училище Штиглица, подобное петроградскому, в Берлине. Предполагаю, что семья Наума была вполне обеспечена, если у него была возможность жить и учиться в Берлине.

И вот Наум, выучившись на отлично, превратился в модного художника-дизайнера витрин фирменных магазинов одежды и другой, в основном женской, всячины — белья, туфелек — в Киеве и Берлине.

Вполне респектабельный киевский еврей — с шестикомнатной квартирой на Крещатике да с автомобилем, что в то время было еще новинкой, привлекающей внимание взрослых и особенно детей, пытающихся иногда бежать за железной лошадкой.

Бабушка вспоминала: вместе посещали Зарубежье — Берлин, Карлсбад (что нынче называется Карловы Вары). Вспоминала, что ее родной дизайнер каждую неделю переставлял в квартире мебель, выбранную с большим вкусом, да еще красного дерева.

Остается до сих пор необъяснимой загадкой, как преуспевающий молодой человек взял в жены бесприданницу из бедняцкой семьи с Подола (тогда еще пригорода Киева). Как он с ней познакомился? Что его, городского жителя, привело на Подол? Можно только догадываться — бабушка уже давно в мире ином, а когда была жива, я еще не был литератором (не говорю писателем — не все правильно ставят ударение в этом слове).

Лиза родилась в семье сапожника Марка; семья существовала в скромном домишке, выстроенном сапожником. Марк шил и ремонтировал сапоги для рабочих ближайшей фабрики. Надо сказать, что еврей Марк, соблюдавший законы и традиции иудейской религии, был весьма уважаемым человеком среди православного рабочего люда. Добрым был, улыбчивым, брал по-божески, но главное, когда нет денег, шил в долг. Почти все после зарплаты отдавали, а тех, кто не отдавал, прощал по доброте сердца, говорил: «Бог накажет».

Во дворе у семьи жили корова да куры, давали урожай небольшие грядки с огурцами, картошкой и свеклой.

Жена Сара справлялась со всем этим хозяйством. Родила Сара Марку одиннадцать детей, четверо поумирали от болезней — кори да скарлатины (медики в то время с трудом их лечили). Но все семеро голодранцев — да, именно так — одеты были слабовато, одежка подрастающих передавалась младшим, при этом Сара искусно ставила заплаты да подгоняла по размеру.

Младшие голодранцы в тёплое время года бегали по участку с голыми попами в ожидании, когда мать призовёт их к еде. А что ели? Корова обеспечивала молочным, куры — яйцами. Хлеб закупали. Мясо, если и покупали, только для Марка: что мужику

молочное, он же работает без устали. Конечно, Сара ещё как работала, но жила без мясного. Зато сохранила фигуру, несмотря на многочисленные роды.

Где впервые увиделись Наум и Лиза, можно только предполагать. Возможно, Наум, разъезжая на своем автомобиле, добрался до Подола — то ли прогуляться за город, то ли вблизи открывался очередной фирменный магазин, как вдруг увидел юную красавицу — еврейку в бедняцком одеянии, выходящую за калитку скромного провинциального домишки. И тут художник представил себе — если её модно приодеть, то вполне будет похожа на прекрасную леди высшего света.

Наум не ошибся. Передо мной сохранившаяся фотография тех лет — на картоне в коричневых тонах двойной портрет Елизаветы и Наума в парадных одеяниях: Наум — в чёрной тройке (красивый мужик с правильными чертами лица, темноглазый шатен), Елизавета — в, очевидно, модной в то время тёмной кофте и белой блузке со стоячим воротником, вокруг которого красуется ожерелье с крупными камнями. Внизу на фото: знак фотоателье и дата 1913 год. На обороте дарственная надпись: «Дорогому мужу с благодарностью за Берлин и Карлсбад».

Оказывается, супруги выезжали в Европу — то ли путешествовать, то ли Наум имел там какие-то заказы.

Это «мирное время» и запомнилось Лизе как самое счастливое.

* * *

Но «мирное время» здесь заканчивается: грянула Первая мировая и следствие войны — революции: Февральская, Октябрьская.

Наум оказался в круговерти войны под красным флагом. По словам Тевье-молочника в пьесе Григория Горина: «Не еврейское это дело — красным флагом размахивать».

Непонятно и странно, как преуспевающий художник-декоратор оказался в Первой конной армии. Почему не дал дёру в Европу, как многие русские интеллигенты? Может быть, заботился о своих соплеменниках, обделённых в родной России правами — чертой оседлости, процентной нормой в учебные заведения, запретом иметь собственный земельный участок и обрабатывать его? Верил в обещанное всем народам равноправие?!

В то уже немирное время на Украине вели взаимную борьбу красные, белые и украинская армия возникшей Украинской народной республики. Итак, что в сказке — пойдёшь направо, налево или прямо... Украинские войска проявляли всеобщее человеколюбие — пленных, сдавших оружие, отпускали; только евреев расстреливали. Царский режим Наум отвергал, и оставался один путь — налево, под красное знамя. То ли добровольцем, то ли загреметь под мобилизацию... Так или иначе, Наум оказался в Первой конной под командованием Семёна Михайловича Будённого.

Высокообразованный, невысокого роста, с еврейским полунаивным печальным взглядом — трудно представить его стреляющим из винтовки, даже в противника. Однако работа в Первой конной Науму нашлась — заведующий оружейным складом. Видимо, такой непьющий парень лучше всех подходил на эту должность. И всё же какие-то боевые задачи ему поручались. Об этом свидетельствует сохранившаяся в семейном архиве справка, отпечатанная через контрастную, виды видавшую ленту пишущей машинки:

Справка

Выдана Науму Гуревичу в том, что он является заведующим оружейным складом Первой конной армии. Направлен на выполнение боевого задания.

Командующий Первой конной армии

С.М. Будённый

Подпись после вертикальной черты. Видно, не командующего, а одного из заместителей.

Справка давала Науму возможность передвигаться по всей территории, занятой Красной армией. Для нашей семьи справочка эта играла роль охранной грамоты — в коммунистическое время до перестройки девяностых.

Мы жили на последнем, пятом, этаже; частенько протекал потолок, не работал водопровод или канализация — коммунальщики не спешили на вызов. Мама являлась в жилконтору — там сердитые работнички смотрели затуманенным взором: «Что, мол, пришла, не ты одна — видишь, сколько дел», — и указывали на стопку заявлений на столе. Мама тогда прибегала в райком (конечно, к первому секретарю не пускали), к свободному инструктору, жалуясь и предъявляя заветную справочку. Райкомовец менялся в лице, поднимал трубку телефона, всего несколько слов — и на другом конце провода рапортовали: «Сегодня-завтра всё исправим».

Когда же время социализма истекло, наша охранная грамота утратила силу, и мы встали в строй рядовых российских жалобщиков. Возникли новые, весьма полезные для жизни документы, но в нашей семье они не появились — не достигли тех чинов, что могли на это претендовать.

* * *

Погиб Наум не от вражеской пули. Земная жизнь Наума закончилась почти в конце Гражданской войны. Заведующий оружейным складом в очередной поездке заразился тривиальным тифом. Бабушка овдовела с двумя малолетками на руках — пятилетним Ильёй и двухлетней Софьей (моей мамой).

Нигде ранее не работающая Лиза (кроме как в юности, помогая матери управляться с домашним хозяйством) вдруг оказалась приспособленной к новым обстоятельствам. Проснулись в ней черты работяги — матери Сары.

Лиза устроилась на ткацкую фабрику — сначала ученицей, а через три месяца уже самостоятельно управлялась с двумя станками, перебегая от одного к другому и закрепляя нить в новое положение, а ещё через полгода сноровистая Лиза выдвинулась в стахановки — работала одновременно на восьми станках. В киевской газете появился портрет передовой ткачихи и статья о ней. Как раз в это время набирало популярность стахановское движение. (Правда, Стаханова, как впоследствии стало известно, возвысили на руках шахтёрской бригады, присвоив общий результат бригадиру). Но Лиза добилась результатов самостоятельно, честно.

Несмотря на трудовые успехи, шестикомнатную квартиру пришлось оставить и получить взамен скромную двушку. За детьми в рабочее время присматривала Марфа, молочница из близкой деревни, доставлявшая нам и соседним квартирам молочные продукты. Марфа являлась ранним утром, пока дом ещё спал, оставляла на скамеечке у дверей заказчиков молоко, сметану, творог. Надо сказать, что никто не зарился, не воровал эти продукты. Когда жильцы просыпались, они тотчас выходили на площадку и заносили продукты в квартиру.

Дети подрастали, входили в активную взрослую жизнь — мама с 14 лет поступила на Киевский авиазавод, работала контролёром, посыльной в канцелярии завода. Шустрая и сообразительная, через пять лет выдвинулась в управделами завода (заведующая канцелярией). К этому времени она окончила вечерний экономический техникум. Илья, по тогдашней традиции — ремесленное училище и, начиная с рабочего, постепенно повышал образование — техник, инженер. Работал руками красиво, было заметно — работа доставляет парню удовольствие.

Мама с юных лет полюбила стихи, песни. Читала много стихов наизусть, пела песни очень приятным голосом. Мечтала выучиться на актрису оперетты. Не удалось — работа для поддержания жизни, встреча с моим будущим отцом — Борисом, моё рождение и главное — война!

Встреча с Борисом произошла на вечере танцев, что регулярно устраивались в институте, где он дополучал образование инженера. Он был для мамы загадочной личностью: каждый раз при встрече — всегда был в чистой рубашке, причём в одной и той же, и весьма модном пиджаке. В конце концов, признался, что у него две одинаковые рубашки, когда одна в стирке — надевает другую, а пиджак на танцы одалживает у однокурсника — коренного киевлянина с достаточно состоятельными родителями.

Отец прибыл в Киев из Винницы, где жила его семья — отец, мать и сестра Аня. Родители — рядовые служащие, на свои скромные доходы были в состоянии учить только сестру. Её обучали музыке, потом Аня поступила в Одесскую консерваторию в класс рояля. Отец, окончив ремесленное училище, техникум, поступил на вечерний радиотехнический факультет. В 27 лет — холостой, снимающий комнату в коммуналке.

За красивой, разбитной Софьей-Софочкой приударяли и другие завсегдатаи танцулек, но мама выбрала отца. Потом рассказывала — он светился добротой, небогатый и неухоженный, а главное — необыкновенно остроумный, его шуточки, отпускаемые как бы случайно, между слов, вызывали смех и восторг. Очарованная Софья приняла предложение Бориса. Когда мама достигла двадцати — явился на свет белый я собственной персоной. Тут и закончилась рабочая карьера бабушки Лизы, её восхождение, незаурядное, в образе передовой ткачихи. По-другому не получалось: отец работал радиотехником и учился на вечернем в институте, мама не могла оставить уже любимую ей работу управделами авиазавода.

Бабушка стала домашней управляющей, и экономкой, и нянькой в общем-то относительно послушного, прилежного ребёнка, каким я себе представлялся, а также по воспоминаниям свидетелей...

* * *

Мой год рождения — 1937 — страшный год в стране. С окончанием Гражданской войны, казалось, наступает снова мирное время. Но — увы! Дальше — война власти с народом, точнее с народами, населяющими великую державу. В 37-м она задела и нашу расширенную семью.

Арестовали мужа двоюродной сестры отца Лиды. Арестовали просто для галочки — он ведь был агроном, не мог же он выращивать ядовитую пшеницу или что-то подобное. Но этот вполне советский человек был родным братом прокурора Киева; прокурора предварительно расстреляли. Местные власти выслуживались пред самой верховной властью, стараясь перевыполнять планы по расстрелам. Впрочем, с мужем Лиды поступили мягко — сослали на Чукотку на 20 лет. Лиде пришлось на комсомольском собрании в институте, на третьем курсе, отказаться от мужа — как врага народа. В противном случае — исключение из комсомола, института. Тогда для неё, уже беременной моим двоюродным братом, оставалась одна перспектива — безработица и нищета.

Верховная власть к этому знаменательному году расстреляла командование Красной армии, опытных офицеров, обезглавив родную армию. А дальше — война со своим народом поутихла, но началась кромешная битва за существование страны.

Киев бомбили в первый же день войны — 22 июня сорок первого. Киевский, Ленинградский, Московский и Днепропетровский заводы успели эвакуировать в Новосибирск; с Киевским заводом в товарном вагоне — и маму, и бабушку, и меня.

Как переживали войну, как приближали Победу авиаторы — вспоминаю в рассказе «Траектория судьбы». Мама работала порой допоздна, без выходных. Бабушка Лиза — на повседневной вахте выживания семьи. «Идёт война народная — священная война!»

Параллельно развивалась трагедия волнений за дядю Илью Наумовича. В первые дни войны он ушёл на фронт, героически воевал в морской пехоте, может быть, самых опасных частях на войне. Неоднократно высаживался на занятый врагами берег, был ранен, лечился в госпитале, но после возвращался к борьбе. Произвели в лейтенанты, назначили командиром роты. При очередной высадке на скалистый, обстреливаемый немцами берег контузило, серьёзно ранило, потерял сознание.

Бабушка получила сообщение на тонкой папиросной бумаге — «ваш сын Илья Наумович Гуревич считается без вести пропавшим». Бабушка тихо завыла, как раненая собака, без слёз, закрыв лицо руками. О судьбе дяди я поведал подробно в рассказе «Илья и Марк».

* * *

А борьба власти тлела, но не угасала — КГБ продолжало выявлять внутренних врагов, получая награды и служебный рост. Арестовывали на большие сроки — бежавших из плена, добравшихся до партизан, до своих частей...

К 44-му году сведения об этом просачивались, и мы всё больше волновались о родном и без вести пропавшем. Запрашивали Москву, но получали один и тот же ответ. Но весной 45-го Илья нашёлся, случайно. Бабушка от счастливого известия упала в обморок, её отпаивали.

И вот долгожданная, окровавленная Победа. Отца переводят на работу в Ленинград. С восьми лет я стал навсегда ленинградцем-петербуржцем. Патриотом этого великого города.

Вначале мы жили вчетвером — я, бабушка, мама и папа — в комнатушке 12-ти квадратных метров с печным отоплением. Бабушка — опять хозяйка в доме. Вскоре родители отметили Победу рождением брата. Новорождённый спал в корыте, поставленном на табуретку.

В Ленинграде я впервые увидел Илью. Здесь он демобилизовался и работал инженером. Пришёл к нам в чёрной форме морского десантника — в широченных флотских брюках, кителе без погон, на котором красовалась планка наград. Левая рука его, перебитая осколками, почти работала. Природный талант — красиво работать руками — пропал. Чувствовалось — переживает, словно певец, потерявший голос. Дальнейшая личная судьба отважного десантника не сложилась.

Институт отца, где он развивал новое направление, старался расширить нашу жилплощадь. К моему десятому классу у нас уже была двухкомнатная квартирка — одна комната для родителей и брата, другая для меня и бабушки.

Я был у бабушки первым внуком и самым любимым. Внуков больше любят бабушки — у родителей, обременённых работой, на детей остаётся мало времени.

* * *

Часто вспоминаю слова бабушки Лизы — «в мирное время».

Времена мира и войны чередуются. «Время убивать и время врачевать» — по преданию из Ветхого завета, так говорил мудрый царь Соломон.

Вирус агрессивности неуловимо существует в людях, и вакцину от него пока не изобрели. С развитием цивилизации «время убивать» всё увеличивается, а «время врачевать» сокращается. Наверное, ты счастлив в ту историческую микросекунду, когда любовь, когда ничто не угрожает любимому человеку — это и есть мирное время, о котором ты вспоминаешь с благодарностью. Остров любви в океане злобы и ненависти.

Для меня, родившегося в 37-м, пережившего войну, годы борьбы с «космополитами» (угнетающую душу народа цензуру, запрет в музыкальных школах гитары и аккордеона как не русских народных инструментов...), мирное, счастливое время наступило с дней оттепели, после ухода стараниями приближённых «вождя народа», воевавшего с врагом и собственным народом, «после холодного» лета 53-го.

В 1955 году я окончил школу с золотой медалью, поступил на физический факультет, и пришла любовь, и родился сын. Но с 70-х мирное время закончилось и пока не наступило вновь.

И всё же, когда уже потерял любовь — мою единственную стюардессу в полёте жизни, меня хранит маленький островок надежды и веры. Это русское слово и творческое перо и те, кто ему внимает.

Бабушка Лиза! Как тебя не хватает, и мамы, и папы. Часто вспоминаю, когда я оказался в больнице в молодом возрасте, ты пришла ко мне в свой день рождения и принесла много вкусненького. Спасибо тебе!

ПОСЛЕ БИТВЫ

Е. Г.

К вечеру память затуманивается. С утра помнит названия всех таблеток, что принимает; помнит имена и фамилии любимых актёров, но к вечеру многое забывает. На стене в кухне — список всех пилюль и время приёма. На столе, рядом с коробкой лекарств, тетрадный лист в клетку, разграфлённый на столбики по месячным датам — плюсиком отмечается приём. Когда, после 16-ти, приходят врачи и спрашивают «что принимаете?» — достаёт перечень назначений.

Он — в трёхкомнатной квартире один; когда-то жили ещё и жена Мария, и дочь Анна, и сын Марии от первого брака Дима — счастливая послевоенная семья! На тумбочке у кровати — большой фотоальбом. Они с Марией — красивые и молодые, маленькая Аня; школьница Аня; они втроём — в Ялте, в Сочи; на первомайской демонстрации — Аня с воздушными шарами возле транспаранта «Мир! Труд! Май!»

Обитала в этих стенах незримо и незабываемо ещё и Даша — фронтовая любовь, первая и вечная. Даша, студентка филологического факультета, добровольцем отправилась на фронт корреспондентом армейской газеты. Когда узнала о гибели родителей в Бабьем Яру, выпросила у командира автомат, и её нежные юные плечи нагружали не только полевая сумка и немецкая «Leica», но и тульский автомат. Рядом с бойцами штурмовала вражеские блиндажи, сотворяя тогда ещё чёрно-белые свидетельства войны. Боевые репортажи печатались в армейских, иногда и в центральных газетах. Отчаянная до геройства, она погибла, участвуя в операции разведроты.

«Тех, кто погибли, считаю храбрее», — так написал поэт-фронтовик.

Прекрасный образ Даши — всегда в памяти. Несколько фронтовых фото с ней разместил над кроватью в одной рамке; казалось — они охраняют его, атеиста, словно икона.

Он — Григорий Иосифович Медведев — пошёл добровольцем в 25. До войны успел окончить автодорожный техникум, водитель-асс, ещё и спортсмен по автогонкам. Рассмотрев документы Григория, военкомат сразу приписал его к штабу дивизии. Водитель командования — дело серьёзное и опасное: при бомбёжках или приближении врага, уходя от прицелов противника, — прорваться сквозь опасную зону, выехать-вылететь через лес, через поле, выполняя на машине почти балетные пируэты.

Командир дивизии — П.А., полковник, стал постоянным шефом Григория. Он всего на шесть лет старше водителя. Командирами пришли молодые, ещё не обстрелянные офицеры. Подозрительный до безумия вождь повышибал перед войной тысячи

опытных высокообразованных военных. Вот и отступали первые годы, допустив захват врагом половины страны.

Но П.А. — счастливое исключение, талантливый прирождённый полководец. Демократичный, чувствующий душу солдата. Его любили в дивизии, храбро поднимались в атаку по приказу командира, а тот сам всегда прорывался с Григорием на передовую, вопреки уставу — рискуя, рискуя... Случались и встречные колонны вражеских танков, и налёты мессершмиттов с чёрными крестами на крыльях. Приходилось выбегать из машины, срочно маскировать её ветками, залегать в низинах рельефа.

Иногда Григорий выполнял и личные поручения: при нарушении связи с полками доставлял командиру полка из штаба дивизии работающую рацию. В одном из таких одиночных рейсов попал под миномётный обстрел и бомбёжку: его опрокинуло ударной волной, засыпало землёй из воронки, контузило, но смог подняться, доставить в полк рацию — там и оказали первую помощь. Несмотря на сильную головную боль вернулся в штаб дивизии, где и свалился в лазарет. Явилась Даша, одарила душевным теплом; в её добром взгляде светилась вера в его силы и мужество. И Гриша воскрес для новых битв, для водительской службы.

Дашу впервые увидел в штабе округа; здесь была выделена корреспондентская комнатушка, откуда она передавала в газеты свои репортажи. Её юность, красота и отвага тронули его сердце. И её сердце и душа отозвались. На чёрно-красном небе войны взошла светлая звезда надежды и любви.

Жизнь сама по себе трагична, но такая — под вражеской бомбёжкой — трагичнее во много раз. Фронтовая любовь хрупкая; о ней уже сняты фильмы и написаны повести. Да, не знаешь, сколько ещё пребывать на этом свете, и отдаёшься великому чувству любви всем существом своим.

И нет повести печальнее на свете, чем любовь Григория и Даши и множества похожих фронтовых, самим Богом благословляемых, влюблённых...

* * *

Теперь всё в прошлом; тоска одолевает, особенно вечером. Старается не принимать успокоительных. Часто предаётся воспоминаниям, забавляясь детской игрушкой, подаренной Ане дедом. Когда дочь уезжала в Америку — положил эту гуттаперчевую коровку в чемодан. Анна: «Нет, не возьму, и так много вещей — не втискивается!»

А коровка забавная: в отверстие на спине заливается вода или молоко — и можно доить, нажимая на гуттаперчевое вымя. Когда тоска — такая забава отвлекает. Он, старик, превращается в ребёнка и смеётся, как смеялась в детстве Анна.

Отец Иосиф привёз эту игрушку из Италии — подарок любимой внучке. Человек был нужный Кремлю. Руками небольшой артели обрабатывал итальянский мрамор для строительства мавзолея на Красной площади, а потом — для памятников кремлёвской элите и приближённым к ней. Государственный человек Иосиф перед войной получил в центре Москвы две комнаты в коммуналке на Большой Грузинской. Гриша с отцом вдвоём прибыли в столицу, где Гриша и поступил в автодорожный техникум.

В Краснодаре оставалась мать и сестра, охраняя фамильный дом на окраине города. В этом цветущем, благословенном крае немцы впервые применили авто-душегубки. Перед освобождением города без разбора хватали жителей на улицах, заталкивали в кузов машины-душегубки и пускали газ. Не прошло это дьявольское изобретение мимо матери и родной сестры Гриши... После войны отец возвратится на малую родину и возобновит свою деятельность.

* * *

Грише повезло с прекрасным командиром — подружились. П.А. быстро поднимался по командной лестнице — генерал, начальник штаба армии. Григория всегда уводил за собой. Конечно, «на людях» водитель обращался — «товарищ полковник», потом — «товарищ генерал», но когда вдвоём — «товарищ» опускалось.

После войны П.А. направили начальником штаба Сибирского военного округа. Гриша, инвалид войны — два ранения, контузия — демобилизовался. П.А., используя известность Иосифа-мраморщика кремлёвской элите и свой авторитет, устроил Григория водителем в Кремль. Они — генерал и водитель-асс — полюбили друг друга. Перед расставанием генерал пригласил Григория домой. Гриша не удивился, что квартира генерала небольшая — скромная отечественная мебель, никаких дорогих украшений. Гриша знал, что командир не брал с немцев контрибуций, как иные генералы — только скромность и служение долгу. Жена, очень приветливая, приятная, по-русски красивая женщина — выставила скромный ужин и, конечно, бутылку водки. Выпили фронтовые сто грамм, да по два раза.

Прощаясь, генерал и верный капитан по-мужски обнялись, но скупая слеза накатилась. И последний приказ генерала:

— Гриша, мы выжили, мы победили в кромешной битве, и надо дальше жить и радоваться жизни!

Вспоминая Дашу, Гриша после войны долго не мог прийти в себя, не женился. В 35, проходя лечение в госпитале, встретил медсестру Марию, красивую, с тонкой душевной статью. Её любимый человек — офицер морской пехоты — сгинул в горниле войны, и она посвящала жизнь прекрасному сынишке. Общность судеб объединила Марию и Григория. Соединили жизни, родили дочь Анну.

Казалось, с Марией сложилась счастливая судьба. Любили друг друга, растили детей. Обменяли две комнаты Гриши в коммуналке и комнату Марии в этом же районе на трёхкомнатную. Когда прекрасный сынишка Дима повзрослел до совершеннолетия и окончил школу — решил стать в память об отце моряком. Мария напугалась таким решением, возражала:

— В Москве нет морских училищ.

Никак не желала расставаться с любимым чадом, которому подарила многолетнюю заботу и нежность. Но Дима был настойчив, хотя и понимал, и любил мать. Мария, утирая слезу, согласилась.

Дмитрий в Ленинграде выучился на офицера-подводника. Направили на Северный флот. Во время учений подлодка затонула. Дима навсегда остался в морской пучине. Один из руководителей учений лично известил родных, стараясь утешить — «на учениях всегда потери, хоть и не война».

Утешение не сработало. Семейная трагедия подкосила Марию — она покинула этот мир через два года.

* * *

В квартире давно не было ремонта. Пока жила Мария, всё блестело и сверкало. Были силы, были деньги — теперь ни того, ни другого.

К Новому году приносил большую ёлку, украшали всей семьёй. Устраивали шумные детские праздники с подарками всем детям.

Каждый год в День Победы встречался с однополчанами у Большого театра. Из боевых друзей теперь почти никого не осталось. Прекратились встречи в День Победы у Большого театра. Отказывает сердце, не сгибаются колени...

Грустно, хотя всё понятно и закономерно. Если бы кто-то из друзей увидел его за таким занятием с детской игрушкой — долго бы смеялся до слёз; но что делать — успокаивает, напоминает об отце, о далёкой Анне-американке.

По воинским праздникам он облачается в офицерский мундир капитана с орденами и медалями. Смотрит по телеку парады, салюты, вспоминает военные годы. Ещё недавно приглашали перед праздниками в школы поделиться воспоминаниями. Ребята слушали с интересом, а капитан радовался, что дети вдохновляются светлыми помыслами...

Бывают дни, когда Гриша заливает в коровку сухое вино, хоть алкоголь ему запрещают. И сегодня так — нахлынула обида на дочь.

Не смог воспитать её по собственному лекалу. Может быть, потому, что Мария ушла, когда Ане было 14. В этом возрасте девочке особенно необходима мать. Завести новую официальную жену не решился, побаивался — Анна не сладит с мачехой.

И вот... Вчера, в его день рождения, звонок:

— Папа, привет из Америки! Поздравляю. Ну, у тебя всё в порядке? Здоровье...

Три раза в год звонит — в день рождения, Новый год, День Победы.

Разговор короткий, видимо, экономит. Формальность, не слышно и не видно нежности к отцу. Хотели с Марией сына, получилась дочь. Мария утешала: «Девочка для отца лучше — всегда нежнее, ласковее».

Не стоит огорчаться! Из разговоров с друзьями-однополчанами понял — не всё им нравится в своих послевоенных детках. «Не принимают наши понятия, летят, как мотыльки на огонёк, к чрезмерно обеспеченной житухе».

Анька училась в специализированной школе, где постигали науки детки властителей жизни — состоятельных родителей из высоких партийных кругов. Большинство из спецучеников постигало эти науки не слишком усердно, но учителя были обязаны ставить приличные отметки, дабы не вызвать гнева родителей. Школьная форма у них была самая дорогая, а туфельки у девчонок — валютные из-за рубежа, из «Берёзки». Школьные подружки, обитавшие иногда в их квартире, уже носили золотые серёжки.

Отец Марии был художником-ювелиром, и Марии в наследство досталась заветная шкатулка, где хранились нестандартные ювелирные украшения — серьги, кольца, браслеты. Она любила надевать их по праздникам, при походах в театры, на концерты.

И когда это случалось, она походила на Прекрасную даму Серебряного века. Гриша восторгался.

Через 9 дней после ухода Марии — Аня, ученица 7-го класса, явилась из школы в бриллиантовых серьгах. Надела с утра втайне, так что отец не видел, а когда пришла, забыла снять. Отец возмутился:

— Почему надела без спроса? Ещё рано тебе носить такие серьги.

— Почему?

— Потому что неприлично. Перед учителями, перед подругами.

— Подруги тоже носят!

— Ты бы хоть спросила у меня. Это всё же теперь моя собственность.

— Почему твоя? Это наша общая собственность. А мужчине-то зачем украшения?

Григорий промолчал, не стал повышать тон.

Впрочем, Анна отличалась в классе сообразительностью, способностями к математике и энергичностью. Эти качества и привели её после окончания школы — в «Плехановку».

В 90-х наступила эра свободы слова, предпринимательства, изящной жизни и бандитизма. Некоторые одноклассники, в основном дети бывших идейных партийцев, превратившихся в бизнесменов, отправились за рубеж в платные университеты для получения второго высшего В дальнейшем они там оставались, организуя какой-либо бизнес на средства родителей.

Школьная подруга Анны освоилась в Америке и пригласила Анютку (так она её называла) в гости. Анютка к этому времени уже выскочила замуж за талантливого инженера-физика, одноклассника; супруги успели вывести на свет двойняшек — мальчика и девочку. Оказалось, талантливый физик абсолютно неспособен к бизнесу и поэтому так и будет прозябать кандидатом или даже доктором наук в своём НИИ за копейки.

Неудовлетворённая своим существованием Анна обрадовалась приглашению подруги. Решила поехать с детьми (им-то уже по 10 лет), показать Америку, а может быть, и остаться... Но в ОВИР разрешения на детей не выдали.

Полетела одна, нарядившись в фамильные драгоценности — серьги, кольца, браслет. Через месяц приехала без украшений, оставила на хранение. Так сбегала ещё раз, в новых ювелирах, возвращаясь без них. На третий раз убедила ОВИР — «возвращаюсь же, выпустите с детьми». Разрешили. С третьего выезда осталась. Получила право на жительство. Подруга к этому времени уже завела сеть магазинов дамской модной одежды, прихватила её в помощницы. Энергичная Анна кратко сообщила некогда любимому однокласснику о желании развестись.

С этого времени и появилось: «Папа, привет из Америки!»

* * *

Да, годы улетели, как журавли, но безвозвратно.

Последний раз увиделся со своим генералом на юбилейной встрече у Большого театра. П.А. вышел в отставку и смог прибыть. Собрались в кафе на Кузнецком. Генерал платил за всех. Подняв фронтовые сто грамм, сказал:

— Дорогие боевые друзья! Мы теряли фронтовых товарищей, родных, преодолевали раны, но мы победили в этой кромешной битве с варварами. Мы спасли нашу Родину, спасли человечество от недочеловеков. Мы нашли в себе силы трудиться, поднимать страну. Но сейчас я часто вижу в глазах ветеранов грусть; порой напрасно сожалеем о настоящем: что-то пошло не так, как хотелось бы. Отцы и дети — вечная проблема. Мир изменился, и дети выросли не такими, как мы мечтали. У них другие ориентиры — желают жить в достатке, в отдельных квартирах. И всё же они наши, они наследники Победы, они патриоты. Поэтому не будем грустить о неизбежном. Укрепляйте здоровье. Жизнь — прекрасная штука. Выпьем фронтовые за ваше здоровье, за Победу...

На прощанье П.А обнял, как при том памятном расставании после войны, напутствовал:

— Дорогой Григорий, держись в этой жизни, не тужи понапрасну. Главное своё дело мы выполнили — мы победили.

Больше Гриша со своим генералом не виделся.

* * *

Каждый приходит в этот мир в одиночестве и уходит — в одиночестве.

Гриша совсем одинок. Мысли грустные — если ты никому не нужен, то зачем тогда жить? И всё же в День армии и День Победы он облачается в орденоносный мундир, включает телевизор и слушает песни войны. Гриша осознаёт, жизнь была наполнена

смыслом и главное в ней — война, фронтовая незабвенная любовь, Победа. А дальше — пока работает память, надо быть благодарным этой жизни за то, что она была...

Иногда звонит и заходит подруга Анны — Лиза. Навещает нечасто — у неё муж, двое деток, конечно, работа — редактор в журнале. Анна оставила ей доверенность на право управления имуществом. Для Гриши это секрет, ему не сообщили. В очередной визит Лизы Григорий вручил ей скупой список — кому позвонить, если что... Лиза разволновалась, старалась утешить:

— Да не травите себя понапрасну, Григорий Иосифович! Аня вышла в люди, преуспевает. Не переживайте.

«Если что» произошло через год. Григорий Медведев покинет этот мир. Уйдёт знаменательно — в День Победы, в орденоносном кителе. Лиза сообщила Анне. В ответ она всхлипнула в телефон:

— Лизочка, к сожалению, не смогу прилететь. Я выхожу замуж и получаю гражданство.

Поручила подруге похороны, наказала подхоронить прах в могилу матери.

На прощание пришли соседи по дому да несколько фронтовых друзей на костылях или с тростью. Так и хоронили в орденоносном кителе, сняв предварительно награды и прикрепив их на красные подушечки.

Лиза продала квартиру в центре за крутые доллары. Через три года Анна, получив американское гражданство, приедет за деньгами. Навестит с Лизой могилу отца и матери, тихо всхлипнет и скажет:

— Мамочка, папочка, всегда помню вас, люблю.

Лиза передаст ей награды отца и гуттаперчевую коровку, которую Аня любила в детстве и с помощью которой Гриша скрашивал своё одиночество.

Анна приняла награды:

— Это теперь старина. Ценится. Игрушку оставь себе на память. В Америке забавляться игрушенциями некогда, надо делать деньги. Дети теперь играют в компьютерные игры.

На квартире у Лизы помянули родителей. Ощутив непроизносимую подругой укоризну, Аня промолвила:

— Виновата я перед отцом. Надеюсь, всё же простит меня. Выбилась в люди; но Америка выжимает из тебя горько-сладкие соки, плата за успех — жизнь. Хочешь, пришлю тебе вызов. Погостишь, осмотришься... Может, понравится — останешься. Теперь — это проще.

— Спасибо, Анька. Но понимаешь, здесь на Псковщине в братской могиле мой отец. Брали высотку, он был командиром взвода и погиб первым. Мама воевала медсестрой под Москвой, была ранена, осталась инвалидом и скоро ушла. Куда же я уеду от этой земли, где захоронены отец и мать? К тому же я однолюб — у меня один муж, одна столица — Москва. Звони, пиши — теперь компы, всё проще и дешевле.

Прощаясь, они обнялись, и Лиза с улыбкой произнесла:

— Ну, Анютка, привет Америке!

И они обе рассмеялись.

ИРИНКА-ВАЛЕНТИНКА

Под Новый год грубый сапог войны пересёк границу. Границу с областью Малороссии, волею тектонического сдвига в истории превратившейся в страну Украину. 30 декабря начался обстрел Белгорода. Иринки-Валентинки связались по телефону. Трудно сказать, кто позвонил сначала — первая из Подмосковья или вторая из Белгорода. Они уже три года поздравляли друг друга с Новым годом издалека. Скорее первая, реагируя на новую беду:

— Иринка-Валентинка, у вас пуляют?

— Скорее снарядят, ракетят.

— Опасно! Топай к нам с Маришкой.

— Не могу...

В этом ухоженном зелёном городе надеялись, что война до них не докатится. Но некоторое волнение не отпускало белгородцев — до границы-то всего 40 км.

* * *

Так их и называли двух неразлучных подружек, устроившихся за одной партой с первого класса. Только, когда обращались к одной из них, называли ещё и номера — первая или вторая, а когда окликали одноклассники — то иногда с улыбкой показывали один или два пальца. Так и школьные учителя вызывали: «Иринка-Валентинка первая — к доске». Если одна не справлялась с вопросом — вызывали вторую.

Кто придумал такую игру-шутку, уже трудно вспомнить. Может быть, учитель начальных классов Нина Петровна — молодая, красивая, но ещё неопытный птенчик, недавно вылетевший из гнезда педагогического — придумала такое двойное имя, чтобы завоевать внимание и послушание класса. И это ей удалось — стали дружить, отправлялись всем классом на экскурсии, справляли праздники.

Накануне праздничного дня девчонки и мальчишки приносили выданные родителями угощения, Нина Петровна — вкуснейшие пирожки собственного изготовления; после уроков в школьной столовой устраивали поздравительные чаепития.

С пятого класса в школьное обучение включились учителя по предметам, но весь класс и родители упросили директора оставить Нину Петровну классным руководителем; она же стала ещё преподавать свой любимый предмет — историю.

Иринки-Валентинки демонстрировали единство противоположностей. Иринка — черноглазая, темноволосая и, что обычно характерно для таких женских созданий — наделена переливающейся через край, взрывающей по-доброму ауру энергетикой. Родители её происходили из украинских просторов: отец — из Чернигова, мама — из Одессы. Встретились они в Петербурге в стенах Политехнического, куда поступили на радиофизику. Окончив, получили распределение на оборонное предприятие в Белгороде. В этом уютном приграничном городе и родили свою Иринку, Ирочку...

В противоположной цветовой гамме и энергетике произвели родители Валентинку. Светлая, почти блондинка, а глаза — голубые озёра, в которых можно утонуть; от неё исходили спокойствие и умиротворённость. Мама — фельдшер-акушерка в роддоме, наверное, и передала ей черты, свойственные медсёстрам — сохранять выдержку и спокойно реагировать на трудных пациентов. Отец Валентины, призванный в армию, погиб где-то на земле мусульманской, когда было ей три года.

Энергия Ирины выплёскивалась вне школы, где требовались «отличные успехи и примерное поведение». Правда, иногда мальчишки устраивали на переменах потасовки, иногда задевали девчонок. Но Иринку они побаивались — ответит не слабо, а Валентинка у неё всегда под зонтиком охраны.

Своей энергетикой Иринка делилась с подругой: летом — плаванье, зимой — коньки; скользили парой, скрестив руки, соревновались в одиночку наперегонки. К седьмому классу подруги уже наметили свои пути после школы: Валентинка — на стезю мамы-акушерки; Иринка решилась на фельдшера-хирурга, предполагая потом выучиться на врача.

Где-то она прочла: хирургу необходимы подвижность и точность движения пальцев руки. Для развития моторики рекомендовали игру на гитаре. И вот Иринка, упросив родителей подарить ей гитару, через полгода обучения в местном Дворце культуры, вполне прилично аккомпанировала исполнению популярных песен — русских и украинских, бардовских. И конечно, обе подруги стали петь дуэтом и вскоре выступать на праздниках во Дворце культуры.

* * *

Далее захватывающий сюжет о Нине Петровне.

Как-то в начале урока Нины Петровны в класс вошла директор школы и с ней симпатичный молодой человек. Глаза восьмиклассниц восхищённо заблестели. Директор представила: «Георгий Ильич — заведующий отделом нашей прекрасной газеты «Белгородские известия». После урока он возьмёт интервью у Нины Петровны, а пока познакомится с вами — поприсутствует на уроке». Журналист поздоровался и присел на последней свободной парте. Когда урок закончился, он задержался в классе побеседовать с Ниной Петровной. Через три дня в газете появился портрет Нины Петровны и статья о ней.

С этого времени Георгий зачастил в школу — встречал Нину после уроков, подвозил на своём авто к дому. Встревоженные восьмиклассницы по-доброму улыбались. Но одна не удержалась и ехидно выпалила вопрос:

— Нина Петровна, интервью всё продолжается? Так долго!

Нина не растерялась и, улыбнувшись, ответила:

— Да, это, наверное, на всю жизнь. Георгий Ильич так и предложил.

— Соглашайтесь! — дружно ответила аудитория, и только ехидна промолчала.

Нина ответила с весёлой улыбкой, полушутя-полусерьёзно:

— Прислушаюсь, дорогие, к вашему совету.

Свадьба состоялась в мае, когда природа радуется наступлению светлого времени, благоухает. Ароматы сирени и акации гармонично сочетаются и звучат жизнеутверждающими аккордами.

Через год, также в мае, у новой семьи родился сын. Класс и радовался, и грустил, но связи с любимой Ниночкой не терял — по праздникам ребята всегда навещали, обязательно устраивали чаепитие. После декрета — Нина снова со своим классом.

* * *

Иринка продолжала совершенствовать игру на гитаре. Перебор шести струн вскоре привёл Иринку к сочинительству собственных песен — сначала на стихи русских поэтов, а потом и на свои стихи. К десятому классу Ирина — один из лучших авторов-исполнителей области, лауреат областных конкурсов авторской песни. Обычно победителей фестивалей направляли на всероссийский фестиваль в Балаклаве, но к августу огорчило известие: Украина запретила фестиваль — на русском пусть поют в России.

Родители возмутились — отец, умный радиофизик, склонный связывать житейские проблемы с физикой, оценил новую проблему:

— Ну и дела! Возможности мозга человека велики и ещё далеко не все достигнуты, но всё же число нейронов ограничено — ум человеческий потому имеет свои пределы. А глупость (смеясь), глупость — бесконечна. Эх, соплеменники, не запрещать надо, а подтягиваться к уровню великой русской культуры!

Мама-одесситка, влюблённая в город детства:

— Одесса всегда была русско-еврейским городом, ещё недавно в одесских двориках можно было увидеть на скамейке беседующих на идише. А теперь? Одесса превратилась в иностранный город.

Чтобы успокоить дочь, мама отправила её на фестиваль русской авторской песни в Израиль, предварительно созвонившись с двоюродной сестрой, проживающей в Хайфе.

Вблизи Хайфы, на берегу озера Киннерет, где проповедовал Христос, всегда в октябре проводили международный фестиваль авторской песни. К этому благословенному месту прибывали русскоязычные из разных стран.

Иринку ждал успех — исполнив три свои песни, получила диплом лауреата международного фестиваля. Там она почувствовала себя в родной русской стороне, только перенесённой в место, где даже воздух у Кеннерета, наполненный ароматом высоких сосен, говорит о святости.

Такое настроение не покидало её и на экскурсиях — в Иерусалим и по городам приморской зоны до Тель-Авива. Русская речь здесь звучала часто и чисто, без акцента, у каждой автобусной остановки. Возвратившись на Родину, рассказывала об увиденном и прочувствованном:

— Израильтяне любят русских, русскую культуру, поют русские песни. А мы, украинцы? Нехорошо, стыдно!

* * *

Но вот школа осталась в счастливых воспоминаниях, девчонки поступили в медицинский колледж — Иринка в группу фельдшеров-хирургов, Валентинка — в акушерскую.

Вторая прекрасная пора после школы — студенческие годы, первые любовные увлечения. Школьные любови, к счастью, обошли девчонок стороной. Но дальше...

В доме Иринки жил озорной мальчишка Дима. Завидев её во дворе, подходил, дёргал за дерзкие косички и, когда она сердито оборачивалась, расплывался в широкой доброй улыбке. Сердитость тут же пропадала, и девочка в ответ улыбалась. Димка был на три года постарше избранной Прекрасной дамы. После школы поступил в рязанское авиационное училище. На каникулы наведывался к родителям.

Образ избранницы не растворялся, как это часто случается после разлуки, а наоборот, стал контрастнее и ярче. Дерзких косичек уже не было — избранница красиво, модно подстриглась. Увидев её, Димка шёл навстречу с той же доброй улыбкой, только во взгляде — уже сверкающий любовный восход.

Дима получил назначение в лётный отряд в Подмосковье. Последний учебный отпуск, восторженное обещание вечной любви, восторженный ответ и согласие. Решили: Иринка доучится в колледже и приедет к Диме в подмосковный город Жуковский, где и расположился лётный отряд. Дима непрерывно перегружал интернет любовны-

ми письмами, получая искренние ответы влюблённой Иринки.

Параллельная биография Валентинки развивалась в стенах колледжа. Нравился ей преподаватель основной дисциплины Павел Михайлович, профессиональный врач-акушер, да ещё с дипломом ординатуры. Нравился — только и всего. Да и какие могут быть любовные романы: студентка — преподаватель, учитель — ученица?

Павел Михайлович вёл курсы акушерства, излучая спокойствие, ясность мысли, доступность изложения и, что особенно подкупало студенток — деликатность. Валентинка заворожённо смотрела на него, слушала нежный мягкий голос и влюблялась молча, про себя. Экзамены сдавала Павлу Михайловичу на отлично, а когда он принимал из её рук зачётку и когда возвращал с отметкой «отлично», руки студентки и преподавателя соприкасались, и по рукам пробегал необъяснимый ток, притягивая их души.

А когда на общем собрании студентов и преподавателей вручали дипломы, Павел Михайлович подошёл к Валентине и в той же доверчивой манере, что и вёл занятия, предложил:

— Валентина Николаевна, станьте моей женой.

Валентина даже обдумать предложение не успела — из неё скоропалительно вылетело:

— Конечно, конечно!

* * *

После получения дипломов Иринки-Валентинки провели счастливое мероприятие — венчание и свадьбу. Девочки, как и родители их, не были церковными людьми, но Троицкий собор в Белгороде увлекал своей архитектурой, убранством пространства, создававшего ауру высоты и праздничности. Венчание наполняло мыслями о вечном и прекрасном. Регистрация же во Дворце новобрачных была сухой, скучной и пресной, поэтому влюблённые решили провести её после свадебных дней.

День свадьбы выбирали, минуя астрологию; склонялись к магии чисел — по преданию, именно она заряжает семейную жизнь на удачу.

Свадьба — красивая, вкусная в большом зале кафе, собрала родителей, почти весь класс во главе с Ниной Петровной. Нина Петровна, породнившаяся за 11 лет с классом, по просьбе родителей и детей заняла почётное место тамады и в этом качестве открыла мероприятие своим тостом:

— Дорогие девчонки Иринки-Валентинки, умницы-красавицы мои, поздравляя вас, я уверена — семейная жизнь ваша будет гармоничной, счастливой. Дата 9 августа по православной традиции подтверждает это, согласуясь с поверьем — гармонией чисел: 09.08.2019. Счастья вашим прекрасным семьям! Красавицы мои, печатайте по жизни своё отражение, побольше деток, похожих на вас и ваших замечательных избранников. Горько!

Дальше вступает хор:

— Горько, горько, горько!

* * *

Пожелание не заставило себя ждать. Через год у Иринки в Жуковском родился малыш, назвали Ваня, Ванечка, а ещё через полгода в Белгороде явилась на свет Божий девочка. Из больницы отправила Иринке сообщение: «Родила невесту для Ивана».

«Спасибо, — ответила подруга, — назови Марией, будут у нас Иван да Марья».

Предложение приняли единогласно: Валентинка, мама её Лидия Семёновна и, конечно, Павел Михайлович — Павел.

После декрета Иринки-Валентинки сразу включились в работу — не потерять бы знания и учебные навыки. На помощь поспешили Лидия Семёновна и свекровь, переехавшая в Жуковский.

А Севастополь вернулся на Родину, вновь открылся фестиваль в Балаклаве. Прислали приглашение Ирине, но, конечно, пока не до гастролей, надо поднимать Ванечку. Да и Дима остерегал:

— Нет-нет! Пока так путешествовать опасно.

По-видимому, он лучше всех прочувствовал обстановку. И всё же на одно путешествие она решилась. В город своего детства, Белгород, где пока ещё мирно и спокойно. Иринки-Валентинки решили вместе провести отпуск в августе на даче у родителей Иринки.

Август — лучший месяц в этих краях: спелостью дышат яблоки, одаряющие глаз необыкновенной палитрой красок — от красного до почти белого, и дополняющие цветовой спектр зелёно-жёлтые груши, тёмно-красные вишни, фиолетовые сливы.

Аромат этих дачных местечек умиротворял обитателей, успокаивал и удивлял благословенностью этого мира.

Иван да Марья уже подросли, впервые встретились, подружились. Понравились друг другу — вместе играли, часто ходили, взявшись за руки, а когда пришло время прощаться, не хотели расставаться, противились, сцепившись ручонками, так что пришлось их разнимать, успокаивая обещаниями скорой встречи. И всё же Маришка заплакала, когда их крепкое сцепление мягко разняли.

Это было в августе, а под Новый год — первый обстрел, потом — второй, третий...

В который раз Иринка кричала в телефон:

— Приезжай к нам с Маришкой!

И в который раз Валентинка отвечала:

— Не могу! Не могу — мы с мамой остались одни на отделении. Даже врача-акушера услали на передовую. Для чего такой врач на войне? Павел за него — консультирует нас, но также продолжает читать лекции и вести занятия в колледже. Теперь у нас в подвале бомбоубежище.

Иринка звала и родителей, настаивала, хотя и понимала — не могут они покинуть оборонное предприятие.

* * *

В этот день снова снарядило и ракетило. На скорой доставили роженицу — внезапно отошли воды. Лидия Семёновна вспомнила, узнала — молодая женщина приходила к ней в консультацию после очередного обстрела. Упрашивала сделать аборт, настаивала, требовала. Лида уговаривала, говорила о возможных последствиях:

— Можно никогда больше не забеременеть, не родить, а если и родишь, то нездорового ребёнка.

А женщина всё кричала, кричала и плакала:

— Какой здоровый ребёнок родится при этих обстрелах? Он уже в утробе всё слышит. Будет нервный, нездоровый!

Лида настойчиво уговаривала:

— Всё будет хорошо, успокойся — женщины благополучно рожают.

Уговорила! И вот её привезли, как раз когда на смену маме вышла Валентинка. Но Лидия Семёновна осталась для подстраховки. Давала наставления:

— Головка появится, нежно вытаскивай, ручки выпрямляй...

Валентинка уже умела принимать роды, но голос матери успокаивал, поддерживал.

Где-то совсем близко снова заснарядило, заракетило. По местной связи объявили тревогу! «Спускайтесь в подвал!» Но роженица не может встать — начались схватки, всё сильнее и сильнее. Санитары почти все на войне. За санитаров — медперсонал, женщины используют инвалидные кресла. Но сейчас и не сесть!

— Тужься, тужься! — успокаивает ласково Валентина. — Вдох-выдох, на выдохе тужься!

Нащупала головку, аккуратно вытягивает.

Снова близкие взрывы.

Нащупала ручки, выпрямляет...

Наконец-то — девочка. Пережимает пуповину, перерезает. Много крови. Отбоя тревоги нет. Нет и времени для «золотого часа», когда маме на грудь кладут ребёнка и она согревает его своим телом. Лидия Семёновна распахнула белый халат, блузку, пригревая новорожденную на груди:

— Бегу в подвал! Быстрей убирай плаценту, потом — антибактериальными. Если кровит — коли окситоцин. Пришлю носилки. Сразу в подвал!

Снова громыхнуло. Треснула стена, раскололась на крупные плиты и накрыла Валентинку и роженицу. Оперативно прибыли спасатели, примчали две скорых. Сообщили Павлу. Прервав занятия, он помчался в больницу. Сражаясь с нервами, включился в разбор завалов.

Наконец, услышали крики. Нет, не Валентинка. Откопали — обе без сознания: роженица так и осталась на акушерской кровати, Валентинка — рядом с кроватью, ничком.

Реаниматологи быстро привели в сознание роженицу, вкатили обезболивающее — у неё оказались перебиты кости голеней и бёдер. Скорая увезла.

Валентинке, склонённой над роженицей, ударило по голове, по щекам — кровь. Опытный врач-реаниматолог приказал проводить реанимацию, хотя понимал — бесполезно. Валентинка не подавала признаков жизни.

В медицинском заключении сообщалось: «...в связи с травмами головы, несовместимыми с жизнью».

* * *

Отпевали в том же Троицком соборе, где и венчали. Поминали в том же кафе, где справляли свадьбы.

Павел пристроил Маришку на время похорон к соседке — утром отводил, вечером забирал. На тревожный вопрос дочери «где мама?» — ответил:

— Мама заболела, пришлось срочно отправить её в санаторий на лечение.

— А лечение долго?

— Как пойдёт, доченька.

Лидия Семёновна слегла после похорон с давлением. От больницы отказалась — «через неделю сама поправлюсь».

Иринка взяла на себя заботу о Павле и Машке. Когда забежала к ним, Маша заплакала. Ира успокаивала, взяла на руки.

— Тётя Ира, поживи с нами, пока мама поправится, — сквозь слёзы просила девочка и обняла тётю Иру.

— Я буду приходить, помогать — у меня же мама и папа дома, надо позаботиться о них. Если папа тебя отпустит, я увезу тебя к нам; снова встретитесь с Ваней, вместе походите в детский сад. При этих словах Маша оживилась, глазки заблестели. Павел согласно закивал головой.

Дима постоянно названивал. Приехать с женой на похороны — не удалось. Все отпуска в части отменили, а похороны подруги жены не являлись уважительной причиной. Решили, что Ирина приедет с Маришкой после девятин.

Девятины организовали у себя родители Иринки, Лидию Семёновну решили не нагружать. Поначалу были немногословны, мужчины пили водку, женщины — кагор. Собравшись, поминальные слова, скорбные и утешительные, сквозь слёзы смогла произнести Нина Петровна:

— Валечка — святая душа, безгрешная. И девяти дней душе её не требовалось, чтобы отмаливать грехи. Да и потом — испытываться у престола Бога незачем. Душа её всегда предназначена для рая, если он есть — этот рай. Если Бог существует! А если он и существует, то не в наших краях, где брат убивает брата. Или Бог так и задумал, чтобы всегда существовал Каин, убивающий Авеля, заодно и окружающих. Помянем нашу Валентинку, чистую душу.

Помянули молча, разговор о Валечке был долгим-долгим.

Дима наказал ехать только поездом и только «Ласточкой» — он встретит на Курском. Через день Павел провожал Ирину с Машей. Приехали рано, поезд отправлялся в семь утра, состав уже подали. Утро наполняло ароматом цветущих садов, созревших фруктов. Входить в сверкающий новизной вагон не спешили — хотелось подышать ещё на платформе воздухом родной стороны. Павел внёс чемодан и сумку, уложил на багажные полки. Вышел на платформу постоять с родными последние десять минут. Помолчали. Павел нежно положил руку на плечо Ирины:

— Спасибо тебе, Иринка, за всё, за то...

— Нет, не называй меня так. Я навсегда Иринка-Валентинка.

Она припала головой к его плечу и зарыдала. Маришка задёргала её за полу жилета:

— Тётя Ира, не плачьте. Мама поправится и приедет за мной.

— Да, Машенька, обязательно приедет.

Проводница объявила:

— Занимаем свои места, поезд скоро отправляется.

Павел поднял дочь, расцеловал, передал Ирине. Она, обнимая Маришку, вошла в тамбур, обернулась и прощально помахала Павлу. Девочка повторяла за ней. С Маришкой на руках она прошла к удобным креслам, усадила её у окна.

«Ласточка» плавно заскользила по рельсам и, набирая скорость, полетела в новую жизнь.

Михаил ВОСТРИКОВ

ОПЕРАЦИЯ «ШАХЕД»

Директива Ставки

31 мая 1944 года, среда. Москва. «Большой» зал совещаний штаба Военно-Воздушных Сил (ВВС) Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

В зал вошёл заместитель командующего ВВС РККА генерал-полковник авиации Федор Яковлевич Фалалеев, впоследствии маршал авиации, крупный представительный мужчина, выходец из вятской многодетной крестьянской семьи. Раздался упреждающий возглас дежурного:

— Товарищи офицеры!

— Здравствуйте, товарищи! — приветствовал собравшихся Фалалеев.

— Здра жла тащ грал!

Замкомандующего ВВС обвёл глазами находившихся в зале. Блестящие русские офицеры — генералы и полковники. Взращённая в боях командная элита советской военной авиации, сталинские соколы!

Всех он знал лично. Кого-то с курсантов Первой военной школы лётчиков имени Мясникова, кого-то по Польскому походу 1939-го, по Дальнему востоку, по Академии Жуковского, по Юго-Западному фронту и множеству сражений этой войны.

За плечами у сорокапятилетнего Фёдора Яковлевича уже два инфаркта, но до третьего, после которого он уже так и не смог полностью восстановиться, было ещё целых пять лет.

Сегодня генерал Фалалеев проводил секретное совещание с руководителями оперативных групп — командующими воздушными армиями, их заместителями и командирами авиационных корпусов, посвящённое мерам безусловного выполнения положений частной директивы Ставки Верховного Главнокомандования советской авиации в грядущей Белорусской наступательной операции с шифром «Багратион».

Задачи Ставки поражали невероятной масштабностью и размахом, однако были вполне выполнимы. Силами аж пяти воздушных армий советской авиации следовало:

— создать и удерживать господство в воздухе на направлениях двух главных ударов под Бобруйском, один — от Рогачёва на Осиповичи, другой — от Озаричей на Слуцк;

— организовать связь и снабжение всем необходимым партизанских соединений, помощь которых при наступлении была нужна Красной Армии как воздух;

— освещать маршруты ночного движения танковых соединений и многое другое.

«Н-да, не 1941-й год, когда мы бились с фрицем на «ишачках». Никогда ещё Красная Армия не имела такого количества новейших боевых самолетов и, соответственно, такого превосходства в воздухе, факт», — удовлетворённо подумал он.

Всё было предельно ясно и не являлось неразрешимой проблемой, а было тяжёлой боевой работой, которую советской авиации предстояло спланировать и выполнить в предписанные директивой сроки.

Поручение верховного

Однако вчера, вместе с директивой Ставки по «Багратиону», Фалалееву передали и небольшую записку от руки с поручением от самого Сталина:

«Совершенно секретно. Фалалееву Ф.Я. Предлагаю рассмотреть с коллегами и по возможности реализовать боевое применение изобретения ленинградского учёного Воробьёва. Как выйдет, доложить. И.Сталин»

— Где он, Воробьёв? — спросил генерал у адъютанта в конце совещания, — Заодно и науку вместе послушаем.

— В коридоре сидит, тащ грал, ждёт вызова, с ним два офицера НКВД, — чётко доложил адъютант-порученец и протянул генералу лист бумаги с короткой справкой:

— Та-а-ак! Павел Михайлович Воробьёв, 1898 года рождения, доцент факультета радиосвязи и радиовещания Ленинградского электротехнического института связи (ЛЭИС) имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Учился... Проживал... Семья... Ох-хё! Временно изъят из мест заключения по личному указанию наркома внутренних дел Л.П. Берия.

Фёдор Яковлевич слегка нахмурился:

— Ну, фамилия-то у этого доцента наша, лётная. Ладно, заводи его.

«Тем более, что у него такой ходатай!» — добавил он уже про себя.

Сталина он, как и все тогда, опасался, особенно после того, как в июне 1942 года был снят с должности из-за задержки выполнения постановления Государственного комитета обороны *(о демонтаже реактивных снарядов РС-82 с истребителей)*. После в должности он был восстановлен, но инфаркт заработал.

— Есть — заводить науку! — адъютант чётко развернулся на каблуках и вышел в коридор.

Через минуту два молчаливых офицера НКВД уже внесли в зал два вещмешка, из которых выложили на длинный стол — на вид самую обычную носимую войсковую радиостанцию и небольшой ящик с торчащими из него тягами и проводами.

Высокий, худой, нескладный человек уже стоял возле стены, обшитой деревянными панелями, и обычными канцелярскими кнопками крепил к ним два больших ватманских листа с мнемо- и радиосхемой, с заголовками «Шахед» и «ПВ-1», соответственно.

Временно изъятый...

В самом начале войны семьдесят процентов преподавателей ЛЭИС ушли на фронт. Кафедры начали выпускать радиостанции, а к ним радистов-операторов, весьма востребованный тогда продукт.

Зимой 1941-42 года от лютого голода и дикого холода умерли около пятидесяти преподавателей, и в январе 1942 года ЛЭИС срочно эвакуировали в Кисловодск. Но уже без доцента Воробьёва, который к тому времени содержался во внутренней тюрьме НКВД на Воинова, 25.

Его супруга, Татьяна Воробьёва, преподаватель химии, от полного отчаяния, безнадёги и голода, из оставшихся химикатов на кафедре изготовила вполне качественное мыло, за каждый кусок которого на Сенной толкучке ей, о чудо! предложили по два куриных яйца или буханку сырого блокадного хлеба с опилками, на выбор! Она не была преступницей, она просто спасала себя и мужа. Но те люди, кто предложил ей этот ворованный хлеб и впоследствии снабжал нужными ингредиентами для кустарного изготовления мыла — тутовое масло, каустическая сода и др., были самыми настоящими бандитами и приговор суда всей их банде вместе с Татьяной Воробьёвой был краток — расстрел, а членов семей, как пособников и недоносителей — в тюрьму!

В той блокадной тюрьме, при катастрофической смертности, каким-то чудом Воробьёву всё же удалось написать письмо Сталину с описанием его изобретения. И это письмо почему-то пропустили многочисленные цензоры, возможно, не поняв содержащихся в нём схем и формул. И каким-то чудесным образом оно не сразу, но всё же дошло до адресата. И вот автор этого письма, который последние несколько месяцев уже работал по данной теме в «туполевской шараге» на московской улице Радио, переминался с ноги на ногу в зале совещаний штаба ВВС РККА и был готов докладывать.

Дроны

Когда доцент Воробьёв уже открыл рот, чтобы начать доклад, генерал Фалалеев вдруг поднял руку — дал знак, мол, пока помолчи, наука. Он внимательно вглядывался в значки и изображения на ватманах. И он уже всё понял.

По долгу службы и природной тяге ко всему новому, Фёдор Яковлевич был в малейших деталях знаком со всеми проектами боевых беспилотных летательных аппаратов, ещё с 1936 года называемых американцами «дронами». И все эти чрезвычайно дорогие проекты до сих пор с треском проваливались, как в СССР, так и за рубежом:

— планёр, который мог нести одну торпеду и наводился по инфракрасному лучу;

— радиоуправляемый бомбардировщик одноразового использования;

— безэкипажный катер со взрывчаткой, управляемый с самолёта-водителя;

— самолёт, управляемый часовым механизмом, который в заданный момент сбрасывал крылья и падал на вражеские позиции.

Боевая эффективность этой беспилотной одноразовой техники по факту была крайне низкой. И только знаменитые японские «камикадзе» — пилоты-смертники, с их всего лишь пятнадцатью процентами точных попаданий *(остальное — неисправности самолётов, нехватка топлива, блудили в облаках)*, спасали общую статистику. И правда была в том, что камикадзе оказались самым эффективным оружием, изобретенным

японцами против американских надводных кораблей.

Но в СССР камикадзе не готовили, хотя желающие ими стать, без сомнения, нашлись бы. И находились: Николай Гастелло, Иван Иванов и многие другие герои-лётчики, в конкретных боевых ситуациях совершившие самолётные тараны по целям в воздухе и на земле.

Лакомая цель

Сейчас же Фёдор Яковлевич ясно видел перед собой простейшую и, соответственно, надёжную схему гарантированного уничтожения штаба фронтовой пехотной дивизии Вермахта — самой, пожалуй, лакомой, но практически неуязвимой, не считая случайностей, цели советской авиации из-за наличия у немцев развитых средств воздушного обнаружения *(радаров)* и РЭБ, сверхплотного зенитного огня, прожекторов и толковой маскировки. Свои штабы фрицы берегли как зеницу ока.

Именно пехотная дивизия, примерно шестнадцать тысяч человек, была основным тактическим комбинированным армейским соединением Вермахта, способным вести самостоятельные боевые действия. Штабы этих дивизий в обороне располагались на расстоянии не более пяти километров от линии фронта и были ответственны за его конкретный участок шириной около десяти километров — идеальная ширина участка прорыва танковой армии.

При начале наступательных действий противника все офицеры штаба дивизии, в отличие от гестаповцев, находились в штабе, на своих рабочих местах, а не слонялись по кабакам и борделям в ближайшем городе.

И без своего штаба дисциплинированные немцы оборонялись бы храбро, но бестолково. И можно было лишь мечтать разом уничтожить весь управленческий аппарат армейской дивизии немцев именно на острие прорыва наших войск. Но накрыть такого зверя с воздуха не удавалось никогда, за исключением, повторюсь, случайностей.

Ватман «Шахед»

Итак, по мнемонической схеме на ватмане с надписью «Шахед» генерал Фалалеев ясно видел, как два наших беспилотных биплана У-2 из-за линии фронта по радиомаяку заходили на одну точку — штаб пехотной дивизии Вермахта.

Постоянно уменьшающийся равнобедренный треугольник. Две движущиеся точки — самолёты, и одна стационарная — радиомаяк *(штаб)*. Элементарная математическая задача триангуляции, известная в тригонометрии и геодезии с древнейших времён — определение координат точки в пространстве с учетом ее проекций...

...самолёт со взрывчаткой на борту на предельно малой высоте и с минимально возможной скоростью, невидимый для радаров, буквально «по головам» летел в направлении маяка, постоянно «общаясь» своим приёмо-передающим вычислителем с другим самолётом. В итоге и определялась вторая координата штаба и оба самолёта одновременно прилетали куда надо. Здрасте вам, не ждали? А мы вот припёрлись...

Вся операция, начиная с одновременного взлёта самолётов шла не более пяти минут. И при таких небольших расстояниях и скоростях, да, можно было наплевать на всё — на искажение сигналов, на время работы батарей радиомаяка, на вес топлива, на наличие у немцев пеленгаторов. На всё, кроме технической надёжности элементов схемы! Хоп, и мы уже в домике, прилетели, возвращаться не будем. Лишь бы радиомаяк стоял там, где надо, то есть где-то рядом со штабом по ходу полета самолётов!

Генерала аж пробило в пот от простоты и гениальности идеи...

Практически одновременно засадить, даже и не очень точно, по штабу немецкой дивизии двумя тысячекилограммовыми планирующими бомбами, означало полный и окончательный конец штабу, но эту задачу — бомбометание с ювелирной точностью крупной авиабомбой — пока не смог решить ни один из советских бомбардировщиков. И даже не с ювелирной.

Ещё в 1941 году Сталин приказал знаменитому советскому лётчику Владимиру Коккинаки организовать бомбёжку Берлина уже имевшимися на вооружении бомбами ФАБ-1000 с дальних бомбардировщиков ДБ-3. Один, кое-как оторвавшись от полосы, упал за границей аэродрома. Бомба не взорвалась и экипаж уцелел, но самолет сгорел. Другой при взлёте постигла катастрофа, экипаж погиб и от применения крупных авиабомб при налетах на Берлин пришлось отказаться. Так всю войну и кошмарили столицу Германии ФАБ-250 и ФАБ-100, что сам Сталин считал недостаточным для нужного психологического воздействия на население. Но как уж получалось.

Небесный тихоход

Да, для выполнения этой задачи нужен был именно У-2 *(с 1944 года По-2)*, «работяга-кукурузник», «небесный тихоход» — надёжный, дешёвый, одномоторный, низколетящий, тихоходный, практически бесшумный и невидимый для немецких радаров фанерный самолётик, в избытке имевшийся в любой авиационной части в качестве лёгкого ночного бомбардировщика, учебного и самолёта связи. И тем не менее, полезная нагрузка его отдельных модификаций, включающая вес двух пилотов при минимуме необходимого топлива, достигала тысячи килограммов.

Генерал знал, что поднять такой самолётик в воздух без пилота было проще простого, это не посадка с её неизбежными сложностями, которая в схеме вообще не предусматривалась, как и возвращение самолета на базу. Сделать это можно было несколькими способами — коротко разбежавшись на любой ровной поверхности, даже зимой на лыжах; с использованием ракетного ускорителя с направляющих консолей гвардейского миномёта БМ-13 «Катюша»; или попросту сбросить У-2 со «спины» бомбардировщика.

А вывести и удержать этот самолет на заранее заданном курсе при минимальной высоте и скорости полёта запросто могла примитивная система автоматического управления закрылками и «газом».

Ватман «ПВ-1»

«А вот и схема такой системы с вычислителем! — сообразил Фалалеев, глядя на второй ватманский лист с заголовком ПВ-1. — Ага, маяком здесь служит носимая войсковая радиостанция, включённая на единственный режим передачи «пик-пик-пик...» с максимально возможной мощностью... А вот и она сама, система!» — уважительно взглянул он на ящик с проводами и тягами.

— ПВ — это сокращённо Павел Воробьёв? — спросил генерал у топтавшегося у доски доцента.

— Нет, это «Палка-Верёвка», просто так совпало.

— А-ха-ха! — грохнули офицеры.

Так, «Палкой-Верёвкой», в авиации и не только, действительно, называли простые и надёжные технические решения.

— А «Шахед»? Это что-то на арабском?

— Да, на персидском, «Последний свидетель». Ну не «Геранью» же это всё было называть, — пошутил вдогонку Воробьёв.

— И где же ты, профессор, был со своим изобретением, когда мы прошлой зимой ленинградскую блокаду прорывали?! — вытирая выступившую от смеха слезу белоснежным платочком, спросил Фёдор Яковлевич.

— Доцент, — поправил его Воробьёв и покосился на офицеров НКВД. — Я доцент.

— Да... доцент, — правильно понял его Фалалеев и обратился к своим офицерам: — Ну что, товарищи, есть ещё вопросы к докладчику?

— Надо пробовать! — раздалось из зала. — Посмотрим, как выйдет. Хуже не будет, а в случае успеха немало солдатских жизней спасём! Прорывы — дело затратное.

— Тогда вот что! — начал командовать генерал-полковник. — Почти три недели до «Багратиона» у нас есть. Подберите немецкую дивизию на фронте с разведанными партизанами координатами штаба, но пока подальше от направлений главных прорывов, не будем их светить противнику. Свяжитесь с партизанами, надо же как-то этот радиомаяк к штабу подтащить и включить вовремя. Так, наука?!

— Так! — подтвердил Воробьёв. — Но радиомаяк сам включится по заранее выставленному таймеру.

— Хм-м, верно! И эту нашу маленькую операцию мы назовём «Шахед», хотя «Палка-Верёвка» тоже было бы хорошо, — слегка улыбнулся генерал и обратился уже к офицерам НКВД: — Воробьёва я у вас, товарищи, на время всей операции «Багратион» забираю под свою ответственность, где расписаться? Саша! — это уже адьютанту. — Пристегни науку к моему водителю, пусть поставит его на довольствие, койку в казарме при штабе ВВС, баню, то-сё, и Михалычу-повару передай, что бы он ему порцию побольше метал, скажи, я попросил.

— Есть — науке порцию побольше! — щёлкнул каблуками порученец.

— Всё, товарищи, если вопросов больше нет, по коням!

Партизаны

Гомельщина. Лес. Расположение партизанского отряда «За Советскую Белоруссию!» Командирский блиндаж. Ночь.

— Вот, таварыш камандзир, лётчыки вам перадалы, сакрэтно! — протянул

командиру отряда запечатанный пакет и вещмешок с рацией бравый хлопец в лихо заломленной на затылок кубанке с красной звездой, в пиджаке с чужого плеча, стянутого армейским ремнём и немецкой гранатой с длинной ручкой за поясом.

Группа партизан под его старшинством только что приняла на импровизированном аэродроме-поляне самолёт из-за линии фронта с грузом оружия, продовольствия и боеприпасов. В операции «Багратион» советское командование ставило перед партизанами очень серьёзные задачи — разведка всего и вся, захват и удержание переправ на пути отступающих немцев до подхода Красной Армии, помощь в охране тыла и ликвидации националистических банд и многие другие.

— Маладца, Яська, погодь пока за дзверю.

Командир и комиссар отряда склонились над листом бумаги из пакета. Света коптилки вполне хватало, чтобы прочесть следующее: «...ваша задача любым способом зафиксировать данный радиомаяк на минимально возможном расстоянии от штаба немецкой дивизии по линии в направлении на фронт. Время автоматического включения радиомаяка — 09.00 МСК 7 июня 1944 года, среда. При невозможности выполнения задания по любой причине доложить немедленно. Фалалеев».

— Ох-х ты ж... сам Фалалеев, главный лётчык СССР! Такое нам уважение оказав! Мабыць какую забабаху запускаць будуць на радиомаяк, факт.

— Дык а чаго ж не могём? Там жа лес, павесим на дрэва вышэй, прыматаем да ствала, да и усё.

И через минуту:

— Яська, заходзь! Слухай боевой приказ!

Боевое применение

07 июня 1944 года, среда, время 09.05.

Чудесное июньское утро. Казалось, что вокруг и не было никакой войны. Но она была! На здании школы висело огромное красное полотнище со свастикой, охрана с собаками курсировала по периметру здания, были слышны короткие лающие команды. Только что сюда прибыли с квартир командир и начальник штаба фронтовой дивизии Вермахта. Их рабочий день начался.

Однако пять минут назад из-за линии фронта, с двух полевых аэродромов, уже подготовленных для проведения операции «Багратион» и разнесённых друг от друга примерно на пять километров, практически синхронно поднялись в воздух два беспилотных самолёта У-2, под завязку набитые взрывчаткой — новой особо мощной смесью нескольких компонентов.

Судя по лаковым «Эмкам», стоящим рядом с капонирами, и грузовикам с автоматчиками, эти самолёты провожали в полёт большие «шишки» с генеральскими погонами и какой-то высокий и худой штатский из Москвы. Взлёты по команде прошли штатно.

Самолёты шли очень низко, на высоте примерно сто метров, и из передовых окопов первой линии немецкой обороны по ним даже немного постреляли из винтовок. Однако безрезультатно. Прицельно попасть в движущуюся цель на скорости чуть больше ста километров в час можно только случайно.

«Ба-бах! Ба-бах!» Два мощных взрыва прогремели почти одновременно. Они были такой силы, что на линии фронта за пять километров затряслись замаскированные бронемашины.

Небо лопнуло, и штаб немецкой пехотной дивизии исчез. Воронок с выраженными краями на его месте не образовалось, то есть взрывы произошли ещё в воздухе. Открывшееся партизанам-наблюдателям зрелище напоминало картину уничтожения библейских Содома и Гоморры, если бы они, атеисты, это себе представляли.

«...И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба...»

Страшный карающий огонь с развезшихся небес мгновенно испепелил четырёхэтажное здание сталинского «Дворца знаний» со всем его содержимым и обитателями на пятне размером примерно 150 на 300 метров. Кирпич за долю секунды полностью превратился в пыль, засыпавшую обугленные человеческие скелеты с крайней степенью расчленения и фрагментации.

— Попали, тащ грал, — оторвался от наушника рации — прямой линии связи с партизанами порученец Фалалеева.

Боевое донесение

«В Ставку Верховного Главнокомандования.

...следует отметить, что боевое применение технически безупречного изобретения ленинградского учёного П.М. Воробьёва имеет один серьёзный недостаток, а именно:

оно может эффективно применяться только в случае наличия гарантированной возможности правильного размещения радиомаяка рядом и в направлении на цель.

При этом ВВС РККА ходатайствует об освобождении тов. Воробьёва из мест лишения свободы с целью продолжения его работы по проекту «Шахед» под эгидой ВВС РККА.

Фалалеев».

Виза Сталина:

«Вся война, тов. Фалалеев, неправильна! Тов. Воробьёва — освободить».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ «РАЗБОЙНИКА» ЖЕНЬКИ

Моему младшему брату

Это история о новосибирце, ушедшем на СВО рядовым штурмовиком. В итоге он остался жив, но малость покалечен. Бог спас, кто же ещё! И вот он приехал домой в родной Новосибирск...

Военный госпиталь

На прикроватной тумбочке запиликал WhatsApp в дешёвом китайском смартфоне, который Женьке вместе с новой SIM-кой днями притащили волонтёры, спасибо им. А то же вообще никакой связи не было, свой-то телефон «ку-ку!»

— Алло, это ефрейтор В.?

— Да, это я, слушаю.

«Кто же это меня по новому номеру разыскал? — удивился Женька. — Может, жена Наташа его кому дала? Вряд ли; да она бы и сказала...»

— А это «замполит» девятой роты. Помнишь такого?

«Ну как же... — подумал Женька. — Заместитель командира моей штурмовой роты по работе с личным составом, по старинке «замполит», ещё раньше их звали «комиссары». Человек, который сам на боевые не ходил, но много говорил и писал — отчёты, справки, наградные, извещения-«похоронки» и другую канцелярию. Вся грудь в орденах и медалях, своя рука владыка. Это же он у нашего взвода перед выходом на задание изъял все личные документы, включая паспорта и военные билеты, мол, так положено. Только банковскую карточку и оставил, даже не спросил про неё почему-то. Но на неё сейчас никаких выплат нет, волонтёры ходили к банкомату, проверили. А почему?»

Спасибо офицеру-строевику в госпитале! Он по личному номеру на жетоне-«смертнике», что висел на шее, выписал Женьке дубликат военного билета и сказал: «Обычное дело, братишка, это армия! Пока служишь, «военник» для тебя самый главный документ, и теперь он у тебя опять есть! Ладно, выздоравливай, чем мог, помог, остальное, как встанешь на ноги, решай со своей частью, военкоматом и полицией, это они паспорта выписывают».

А «замполит» продолжил:

— А ты где сейчас?

— В Хабаровске, в госпитале, а чего?

— Да я же тебя подал в военную прокуратуру «пятисотым» *(самовольно оставившим часть),* а тут, хоп, из Хабаровска, из госпиталя, запрос пришёл на твои документы, и там твой новый номер. Вот звоню, проверяю, вдруг спросят. А документы твои уже тю-тю, давно в прокуратуре. Ты как вообще попал в Хабаровск? Часть в Донецке, ты новосибирский, а госпиталь в Хабаровске. Ничего не пойму!

* * *

Героя Женька из себя не строил, провоевал недолго, говорить не о чем. В первом же боевом выходе в составе штурмовой группы он честно бежал вперёд, стрелял из автомата, правда, с неизвестным ему результатом, и вдруг... Какая-то гнусно жужжащая летучая тварь скинула с неба мину прямо ему под ноги. И всё, темнота и покой!

Бог Женьку спас, кто же ещё! Правда, потом ему рассказали про какого-то

совершенно безбашенного чернокожего, лупоглазого и с вывернутыми губами мотоциклиста, который вывез его с поля боя на своём грязном по уши мотоцикле с площадкой для тела вместо люльки, под плотным обстрелом, как заяц петляя между кочками на огромной скорости. Но кто это был и где его теперь искать? Может, чёрный ангел господень... есть же, наверное, и такие?

— Этот уже «двухсотый», зря старался, земеля, пульса нет, — устало вытирая лоб салфеткой, сказал мотоциклисту военврач на точке эвакуации в «жёлтой» зоне. — Давай увози его в морг, отвоевался чувак!

Ну что, поехали в морг. И вдруг... Женька тихо застонал. Не убил его до конца осколок той мины. Помешал осколку хиленький нательный крестик из алюминия, который Женьке на шею когда-то повесила мама Аня, весь теперь смятый и как пожёванный, но буквально на самую малость изменивший заведомо смертельную траекторию прямиком в сердце и скорость полёта острой железки. Не такой уж, кстати, и редкий случай на войне, «двухсотый» вдруг ожил и стал «трёхсотым».

И земной поклон тому чёрному ангелу господню на стареньком, советском ещё мотоцикле «Урал», который этот тихий стон вдруг ожившего бойца как-то услышал и возвернул живого Женьку военврачу, всё понявшему мгновенно.

Затем Женька полдня пролежал на носилках в коридоре госпиталя в Новочеркасске, ждал своей очереди. После его повезли в госпиталь, что в Ростове-на-Дону. Уже голым, лишь под простынкой с одеялом! А потому, что новочеркасский хирург Женькину ефрейторскую форму, всю в крови и глине, снимать с него не стал, а попросту разрезал её ножницами и выбросил в бак с медицинскими отходами класса «Б», крикнув при этом: «Следующий!»

В Ростове-на-Дону Женьку накормили, осмотрели, перевязали, положили на него пакет с сухпаем и сразу же выставили носилки на улицу, рядом с крыльцом. Пошёл дождь.

«Ну, хана! — горько пошутил про себя Женька. — Выбросили... но как-то странно, даже до помойки не донесли!» Но нет, не выбросили! Тут же к крыльцу госпиталя подлетела военная медицинская «буханка», и Женьку повезли в аэропорт.

— Куда меня? — тихо спросил Женька в машине у злобного молчаливого военного в белом халате и с пачкой бумаг в руках. Тот гневно зыркнул на Женьку, полистал бумаги и выдавил из себя:

— Наряд на Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, отделение хирургии.

Ясно! Но чего тот военный был такой злой, Женька так и не понял.

Огромный грузовой ИЛ-76 уже стоял под парами. Секунды, и ручки носилок с голым Женькой мягко щёлкнули в зацепах надёжной сотовой системы с сотнями таких же непустых носилок. Местный санитар застегнул на нем самолётный ремень, подмигнул и сказал:

— Добро пожаловать, братуха, на борт самого большого медицинского самолёта в мире ИЛ-76МД «Скальпель МТ», 1971 года постройки. Во время всего полёта курить запрещено.

Взлетели! Странноватым был этот полёт вне расписания, через всю страну, аж до Камчатки. Садились в каждом большом городе по пути следования, частично разгружались и летели дальше.

В Питере Женьку опять осмотрели и даже уже определили в палату, но опять не повезло, через сутки ему сказали:

— Полетите в Вилючинск, в военно-морской госпиталь.

«Давно же хотел побывать на Камчатке, — подумал Женька. — Мечты сбываются»

Несмотря на сильные боли, настроение у него было неплохое — живой, кормленый... А в Вилючинск, так и в Вилючинск, какая разница, врачам виднее.

Но до Камчатки Женька так и не долетел, его сняли с рейса в Хабаровске, и вот он уже который месяц обретался в местном военном госпитале. Почему так вышло? «Да черт его знает, товарищ майор!» — всякий раз слышал он армейскую присказку от всех, кого ни спрашивал.

* * *

Палата была на четверых, все лежачие. Лечение, уход — это всё было на высшем уровне. Только вот не сообщали Женьке заранее, что и когда собирались с ним делать — просто везли в операционную, давали наркоз и оперировали. После он очухивался и по свежим бинтам определял — ага, левую руку и ногу сегодня резали.

Ничего не поделать, огромная военная машина в действии, конвейер жизни, некогда врачам с ним было разговоры разговаривать. А он и не в претензии, лежал себе и похрюкивал, им, врачам, виднее. Вылечат!

Хавчик в госпитале был вкусный, от пуза. С утра, кроме каши, бывали и творог,

и сгущёнка, всегда белый хлеб с маслом. На полдник — сок или яблоко. Котлеты, курочка, рыбка на обед и ужин, всё как дома, без шуток.

Через каждые полчаса в палату заглядывала голова волонтёра и интересовалась:

— Пацаны! Может, что нужно?

С этим явлением — волонтёры — ещё предстоит разобраться российским социологам. Сотни хабаровчан, мужчин и женщин, после работы и на выходных приходили в госпиталь и говорили:

— Будем делать, что скажете!

Находили им, конечно, работу самую что ни на есть грязную и тяжёлую, госпиталь же. А они были и рады! Притащили Женьке этот смартфон, кроссворды, позвонили сыну, номер сказали, фотку послали... Ребятишки со своим настоятелем из соседнего монастыря приходили по субботам, баловали концертами — и духовное, и современное им пели. Красота!

* * *

— А чего вам от меня надо? — уточнил Женька у «замполита».

— Ты мне справку официальную пришли, что ты в госпитале, и сфоткайся на фоне вывески, фотку тоже пришли. Мало ли, вдруг спросят...

Женька грустно посмотрел на два своих аппарата Илизарова, на левой ноге и руке, и на правую руку в гипсе. Сказали, год ещё эти железяки на нём будут висеть, но, может, и побыстрее снимут, как организм себя поведёт. Зубы, сказали, вставят за счёт Минобороны, как встанет на ноги. И это ещё, считай, ему повезло, что ничего не оттяпали, остальные пацаны в палате были кто без ноги, кто без руки...

Телефонная гарнитура в ухе, и торчащим из гипса пальцем правой руки Женька уже мог нажимать на кнопку, а вот если самому позвонить, то звал набрать сестричку. Сначала Женька по телефону всё больше молчал, кончик языка срезан был осколком мины, и зубы выбиты, трудно ему было говорить, шепелявил. Но потом, как немного зажило, разболтался. Милое же дело со своими по телефону поболтать вволю, когда лежишь и делать ну совершенно нечего.

— Ну ты чего там замолчал, боец, заснул? Когда пришлёшь?

— Да иди ты, придурок!

* * *

С военной прокуратурой, кстати, всё вышло самым наилучшим образом. Пришёл к Женьке в госпиталь молодой симпатичный прокурорский капитан, позадавал вопросы, внимательно выслушал, всё тщательно записал, дал коряво расписаться и ушёл, пожелав скорейшего выздоровления.

Выплаты с погашением всех задолженностей начали поступать на карточку через неделю, а через месяц пришли его документы. Ясен пень, капитанова работа была, он понял.

Ну вот и нормалёк, жить уже было можно! Встать бы ещё поскорей.

Краткая биография «разбойника» Женьки

«Разбойником» Женьку ещё в раннем детстве нарёк его старший брат Миша, восемь лет разницы. И ведь было за что...

Как-то же он смог в шесть лет дотянуться до потолка и нацарапать гвоздём матерное слово из трёх букв на крышке распаечной коробки. Читать еще толком не умел, а то слово уже знал. Почему распаечная коробка была на потолке, а не на стене, где ей и положено было быть... загадка хрущевского домостроения в Новосибирске! А родители на потолок и не смотрели, чего они там не видели, только брат Миша увидел, который родителям не заложил, но заставил Женьку расцарапать ту крышку целиком.

На Женькино мировоззрение очень сильно повлияло то, что он родился и вырос в «Яме» — окраинном Станиславском жилмассиве Новосибирска. Сюда, в наспех построенные ряды жилых панельных пятиэтажных коробок на месте огромного картофельного поля, в середине шестидесятых годов буквально пинками переселяли весьма своеобразных жителей самых бандитских и уже приговорённых к уничтожению скоплений жутких халуп в Нахаловке, на Перевалке, в «Рыжем квартале», в Восточном поселке, в Матвеевке и иже с ними. Много тогда было мест в Новосибирске, куда таксисты отказывались ездить.

В «Яме» поставили и несколько заводских домов. На этом заводе Женькин и Мишин батя получил тамошнюю двушку-«распашонку», а заодно и онкологию почек на вредном производстве, в итоге так рано забравшую его в лучший мир.

Старожилы «Ямы» до сих пор помнили хождения молодёжи по выходным на кровавые месива — «стенка на стенку» с «кирзаводскими», перевёрнутые милицейские «луноходы» и толпы уличных бойцов в зимних стёганых штанах, шапках и фуфайках.

Летом! А чтобы защитить тело и голову от ударов обрезками арматуры.

И Женька помнил жигана в наколках, который в подвале дома толковал им, сопливым пацанятам, за понятия воровского хода. Сидели, слушали, он же с зоны откинулся. А потом встали и поехали на электричке в Академгородок воровать велосипеды. Они там у учёных были основным видом транспорта и стояли где попало без всякой охраны.

Младшие воровали, а старшие разбирали их на запчасти и продавали. На третий раз их всех заловили в электричке вместе с тремя краденными велосипедами. Женьку, как самого младшего, в околотке не били, а просто отдали насмерть перепуганным родителям. А кто был постарше, все по суду заехали на малолетку.

В общем, «милое» местечко было этот жилмассив «Яма». Сейчас там и близко такого нет, тихий зелёный район. Только вот ребятня из дворов куда-то подевалась, тихо. Но сейчас так везде, ибо гаджеты!

Женька рос с некоторыми задатками лидера, но лидером он не стал, вернее, перестал им быть. В шестом классе бросил свою перспективную по тем временам и многообещающую должность председателя совета пионерской дружины школы... и как отрезало, стал плохим — прогульщиком и двоечником. Почему? Да чёрт его знает, стал.

А когда подрос, началась водка. Почему не наркотики? Пробовал и наркотики, но не понравились. А водка придавала сил и веселья.

Ох-х и намучалась с ним мама Аня, но кое-как допинала его до аттестата зрелости через вечернюю школу, самому ему это было уже не нужно. Так до самой своей смерти и ходила за ним, котлетками кормила. Все понимала, а ходила: «Ну он же мой сын...»

Воистину говорят, Господь любит и хранит дураков и пьяниц. И как-то так случалось, что все свои азартные игры с судьбой Женька выигрывал при абсолютном нуле на своём счёту. Кредиты брал он, а отдавали их родные, чтобы его не посадили — мама Аня и брат Миша. Нормально же?!

Призванный на срочную службу в стройбат на Байконуре, а при СССР там был тот ещё интернационал, не для нормальных людей, сплошь уголовники с погашенными или судимостями по малолетке, он никогда в жизни кисточку в руках не державший, взял и вышел из строя на вопрос-предложение начальника клуба части: «Художники есть?! Шаг вперёд!»

И два года Женька прокайфовал в тёплой художке под журчание чёрно-белого телевизора, смешивая краски и натягивая холсты второму вышедшему тогда из строя — настоящему художнику, пока остальные его сослуживцы чего-то строили на лютом казахском морозе. Ещё и ефрейтора ему дали на дембель.

Так Женькой, и даже не Евгением, он и прожил всю свою жизнь только для себя и алкоголя с куревом. Из престижного московского института, на «рабфак» которого его по знакомству устроил брат, его отчислили за непосещаемость. Из-за пьянки потерял две семьи с детьми. Напрочь прогадил хорошую работу, на которую тоже попал по братовой протекции. И больше брат ему не помогал, наговорил Женька ему тогда оскорбительных мерзостей, вместо слов благодарности. Брат обиделся и просто перестал с ним общаться, вычеркнул из жизни.

Мама Аня умерла, оставив в наследство Женьке квартиру — ту самую хрущёвскую двушку-«распашонку» с так и недоцарапанной в детстве крышкой распаечной коробки на потолке. Квартира и выручала. Всегда находились желающие пожить во второй комнате. Они Женьку кормили и наливали ему водку в счёт аренды. Правда, один раз по пьянке они же воткнули ему в спину ножик, но не сильно, выжил.

И вот напрочь запутавшись в отношениях с бывшими жёнами, детьми, долгами за коммуналку и непогашенными вовремя кредитами, которые уже за него никто не гасил, Женька пошёл в военкомат и записался на СВО — штурмовиком с позывным «Художник»! Ну а кем же ещё было назваться?

Что им при этом двигало... Жажда великого подвига во имя Отечества? Увы, нет. Алчность? Лишь отчасти, жил же он и без денег. Да всё просто — это была возможность хоть как-то изменить свою никчемную жизнь или уже погибнуть, умереть, что было равносильно той жизни, которой он жил все последние годы и за которую после того ножика в спину уже не держался.

Деньги на карточку Женька получил в тот же день, когда подписал контракт в военкомате. Позвонил сыну Юре, попрощался, отдал ему ключи от напрочь загаженной квартиры, дал денег на погашение своих долгов и через неделю уже был в Донецке на учебном полигоне, где провёл месяц в постоянной беготне и тренировках.

Ох-х и хороший похмелятор этот полигон с его «сухим законом». Через неделю Женька уже и не вспоминал о водке, да и курево беготне не способствовало и поэтому резко уменьшилось в количестве выкуриваемых за день сигарет.

Дома

Так и вылечили Женьку в итоге. Но вот левая нога у него теперь не сгибалась до конца, хромал. Хорошо хоть, её вообще не оттяпали, голая же кость была, без кожи и мяса. Да ничего, с палкой ходить нормально.

Комиссовали Женьку с военной службы с инвалидностью по ранению, и поехал он домой. Уже знал, радовался, что ждут его дома, а это очень сильно грело душу. Бывшая жена Наташа и сын Юра, которых он давно уже потерял за этой своей пьянкой, каждый день звонили, пока раненный лежал, поддерживали и вообще, опять они у него появились. Даже брат сподобился выйти на связь, простил.

Дома Женька получил, кроме денег, ещё и всевозможные льготы. Всё по-честному, контракт, к Родине претензий нет! В квартире было чисто, жена и сын ремонт сделали, долги за коммуналку погасили, его ждали. Конечно, радовались, что выжил, но в глазах сквозила тревога, как бы папка опять пить не начал... Без денег пил, а уж с деньгами... Даже его предупредили, если опять начнёт, то они встанут и уйдут, как тогда, есть куда, а так с ним будут жить, если он не против!

Ну конечно же он был не против, а очень даже «за»! И зря они волновались, полгода перерыва в употреблении водки результат дало отличный. Даже теперь и без курева. Аж мутило теперь Женьку от табачного дыма, если кто-то рядом курил. Отвык.

Катарсис опять же у него случился. Всё как в книжках — душу вывернуло наизнанку, до донышка... Но об этом никому знать не нужно, слишком уж это всё интимное и только его.

Видимо, отмолила мама Аня Женьку на том свете и пренебрегать этим никак было нельзя, знак это был. И крестик его смятый он к домашней иконе положил. Пусть лежит, хлеба не просит! Так Женьке сказал сделать знакомый батюшка, который отпевал маму Аню перед кладбищем. У них в «Яме» испокон века покойники дома ночевали, не в морге, а священники сами по квартирам ходили. Вот и познакомились!

Дома сидеть Женька не стал, а сразу пошёл работать охранником в свою школу, благо что она от него через два дома. Прямо захлестнули его новые, вернее, давно забытые ощущения, когда вокруг много детей, звонки, уроки... Эх-х, вернуться бы в то время, когда он сам был школьником, ни на что бы его сейчас не променял.

Были, конечно, на него заходы — давай за встречу, за праздник, то, сё... Но он не вёлся, его дома ждали, сейчас все праздники у него были там и даже без водки.

А через пару месяцев директриса школы сама ему предложила пойти к ней завхозом. Он и согласился! Это работа по нему — ремонт, мебель, освещение, отопление, инвентарь. И теперь он с утра до вечера был занят — руководил, проверял, организовывал, выдавал, принимал и обеспечивал.

Хлопотная работа досталась Женьке. Да теперь он был и не Женька вовсе, а Евгений Михайлович, ветеран СВО, уважаемый человек. А потому что справедливый и не греб всё под себя. Ему это было не нужно, всё у него теперь было — любимая семья, ухоженная квартира, деньги, что Родина прислала за ранение... В общем, жить было можно.

Неоднократно звали его школьники на торжественные мероприятия и просто встречи — рассказать про СВО, но он не соглашался, нечего ему было им рассказывать. Вот как всё закончится, им говорил, тогда уже и придёт.

Сына Юру проводили они с Наташей на срочную службу, на год, мотострелком в Екатеринбург. Их, срочников, слава Богу, на войну не посылали, он их не видел на «ленточке», да и правильно, нечего там пацанам делать.

Может, ещё сходят с Наташей в ЗАГС, распишутся по новой, раз уж опять начали жить вместе? Надо ей сделать предложение, третьей жизни ведь уже не будет.

НУ, ЗА ПОБЕДУ!

Сима

Вообще-то он родной дед моей жены, но давно уже наш общий — Сима, Семён Иванович Шейков, 1915 г.р. Настоящий герой, вся грудь в орденах и медалях! Артиллерист, зенитчик, защищал ленинградское небо в Пулково, а потом ещё и московское в Тушино. С двумя тяжелейшими контузиями, но выжил. И он как-то под рюмочку рассказал мне вот такую историю про жизнь и смерть на войне, которую вряд ли опубликуют.

В сентябре 1941-го года его, молодого лейтенанта и коммуниста, послали с

секретным пакетом из его части в Пулково, в Главный штаб, что был на Дворцовой площади. Ещё трамваи ходили.

Приехал ранним утром Сима на трамвае на Невский проспект, народу тьма. Хотя фрицы уже и Бадаевские склады разбомбили, да и так постреливали, но кабаки ещё работали. Ну и зашёл Сима в какой-то подвальчик, время было. Взял сто граммов водочки, закусить, то-сё... Видит, девушка симпатичная, заметила его, улыбнулась, подсела.

— Давай, — говорит девушка, — солдатик, за Победу!

Ну и дали они с ней. Чего уж там она ему подлила... В общем, очнулся вечером лейтенант Шейков в какой-то грязной ленинградской подворотне. Без сапог, без пистолета, без документов... и без секретного пакета из части.

Босиком пришел Сима на Дворцовую площадь, коммунист же. Мол, так и так. Умирать пришёл, ясно дело, виноват, а время военное. Ну, его сразу в конвойную, мол, сиди тут и жди расстрела. А по тем временам, расстреливали ещё не сразу, а проводили дознание и бумаги оформляли.

Пришёл дознаватель, пожилой майор, пишет бумагу:

— Фамилия? Имя? Отчество? Где родился? Стоп! Так ты что, Ивана Шейкова сын?! — кричит дознаватель. — Да мы же с твоим батей всю гражданскую прошли, я же дядя Николай! Он же тебе про меня рассказывать должен был?!

— Рассказывал, товарищ майор, много рассказывал, — блеет Сима, — и как вы потом учительствовали вместе.

— Да как же ты так умудрился, Семён?!

Ну и, короче, отмазал дядя Николай нашего деда. Сапоги ему принёс ношеные, бумагу какую-то с печатью и пинком в часть, дальше воевать. Судьба!

Тот дядя Николай был одиноким, умер в 70-х, и вся семья моей жены с тех пор ходит к нему на могилку как к своему, он же деда Симу спас. Прибирают, красят, молятся за него. Да-да, и Сима молился Богу, причём всю жизнь. Я его спрашивал, как так, офицер, коммунист... А он на меня посмотрел, как на недоумка, и сказал:

— А в окопах атеистов не было!

После войны Сима, уже на пенсии, пока мог ходить, работал военруком в средней школе и дожил до 90 лет. Когда он умер и его отпели, морщины на его лице разгладились, и мы увидели в гробу того самого молодого лейтенанта. Когда его выносили из храма, звонарь дал в колокола, и стая голубей свечкой ушла с колокольни в голубое небо.

Салют тебе, герой-артиллерист, спи спокойно!

Гриша

А своего родного деда Гришу, батиного отца, я нашел по похоронке совсем недавно. Осталась она, проклятая желтая бумажка, в старом комоде. После бабушки Евдокии так и лежала в её бумагах.

Пропал Гриша без вести в феврале 1942 года «в районе села Спасская Полисть Чудовского р-на Ленинградской области». Там рядом знаменитый Мясной бор. Это там, где Вторая ударная армия полностью легла в болотах.

И поехали мы туда всей семьей на машине деда Гришу искать. Думали, сначала по обелискам посмотрим. Аккурат в начале мая это было. А обелисков там... И везде их моют, красят. Машины стоят со всей России. Из Украины, из Казахстана. Везде люди, люди... Значит, своих приехали навестить перед праздником, да.

В общем, по обелискам мы Гришу не нашли. Аж в глазах замельтешило, сколько там фамилий на пилонах. И так еще, на газончиках таблички стоят.

И поехали мы тогда в Трегубовскую сельскую администрацию, у них все тамошние воинские захоронения на балансе. Встретились с председателем. Вернее, он сам к нам на «Ниве» приехал, по звонку. Мол, стойте, где стоите, я сейчас к вам подъеду.

Ну что сказать... Я и не видел, наверное, таких чиновников больше нигде. Они там все в этой Трегубовской администрации... такие. Два часа они искали Гришу по своим спискам. Всё аккуратненько у них, каждый человек на учете. Не нашли. Мы расстроились конечно...

— А не расстраивайтесь, — нам говорят. — Пишите заявление, мы пошлем его в военкомат на проверку и увековечим вашего Гришу. Наши поисковики до сих пор по сто пятьдесят-двести человек каждый год с болот поднимают. Это уже, считай, две полные дивизии с войны подняли. А сколько там ещё лежит...

Ну и вот он, наш Григорий Степанович, «уроженец села Прокофьевского, Казанского р-на, Омской обл.». Теперь золотыми буквами на белом мраморе красивейшего мемориала «Любино Поле». На новых плитах, рядом с такими же, поднятыми поисковиками и увековеченными по похоронкам. Уже и не по алфавиту.

Нашли мы тебя, товарищ красноармеец, спи спокойно!

Ну, за Победу!

Сергей КИРИЛЛОВ

ЯЗЫК

Немец оказался щупленьким и малорослым. Командир взвода разведчиков лейтенант Шуляк, за непомерную длину рук и огромную физическую силу имевший среди подчинённых прозвище «Карга», сгрёб часового одной рукой, другой, как лопатой, закрыл ему рот и повалил вместе с собой на снег. Подоспевшие разведчики быстро всунули в рот пленному кляп и скрутили ему руки за спиной.

«Домой! — коротко скомандовал «Карга». — Антонов, Харин — замыкающие. Колесов!»

«Я!» — приглушённо отозвался из темноты шустрый звонкоголосый Гриша Колесов.

«Языка беречь пуще глаза! Понял?»

«Так точно, товарищ лейтенант!»

«Смотри у меня! — погрозил пальцем командир взвода. — Если что — ты за старшего. Ясно?»

«Так точно, ясно!»

«Вперёд!»

Гриша сорвался с места, за ним лейтенант с пленным, и скоро вся группа исчезла в снежной круговерти.

...«Разрешите?» — на пороге блиндажа появился ординарец.

«Чего тебе?»

«Разведчики вернулись, товарищ майор!» — радостно доложил вошедший.

«А-а-а, давай, давай сюда их!» — оживился сидящий на лежанке коротенький плотный человек и стал обуваться.

Начальник штаба майор Зернов, исполняющий после недавней гибели командира полка его обязанности, четвёртые сутки подряд почти не спал. С тех пор как части 33-й армии оказались со всех сторон в кольце, они каждую ночь пытались пойти на прорыв, но каждый раз неудачно. Немцы значительно превосходили их в силе, и все попытки вырваться к своим не давали ничего, кроме потерь. И вот после трёх неудачных ночей был получен приказ из штаба армии — организовать поиск. Прощупать оборону немцев по всему периметру кольца окружения и найти в нём слабое место. И необязательно на восток: хоть куда, лишь бы слабое, а уж там прорвёмся. Ведь на своей же мы земле, в конце-то концов!

На улице загремело, застучало, загрохотало по обледенелым ступенькам, и на пороге появилась согнутая, придавленная низким потолком фигура Шуляка.

«Товарищ майор, задание выполнено!» — доложил он и козырнул.

«Все вернулись?» — поинтересовался Зернов.

«Так точно, товарищ майор!» — подтвердил Шуляк.

«Давай сюда фрица!»

Лейтенант повернулся в проём двери и гаркнул в темноту:

«Колесов!»

«Я!» — послышалось с улицы.

«Давай немца!»

За входом завозились, зашумели, послышались частые шаги на ступеньках, и в блиндаже появился Колесов с пленным.

«Давай, фриц, выходи на свет!» — подтолкнул он немца.

«Я не есть фриц! — неожиданно звонко выкрикнул пленный. — Я из Тироль. Ав-

стрия».

«Всё равно фриц, раз в Россию пошёл», — перебил его Колесов.

«Я не пошёль! Я не пошёль! — торопливо зачастил немец. — Я не хотель... я училь Пушькин, рюський поэт...»

«А-а-а, Пушкина вспомнил, гад!» — зло процедил Гришка.

«Я не есть гад! Не есть гад... — снова затараторил пленный. — Герр оффицир, я есть учитель. Я не хотель... не хотель война. Я работаль шьколя, я училь... меня погнать...»

«У-у-у, иуда!» — замахнулся вдруг Колесов, и пленный судорожно задрал вверх руки, закрывая голову от удара.

«Отставить, Колесов! — резко скомандовал Зернов, и Гришка мгновенно вытянулся. — Учитель, говоришь?» — обращаясь к пленному, переспросил командир полка.

«О-о-о, я, я! Герр официр, я есть учитель. Я работаль шьколя», — всё той же заученной скороговоркой повторил пленный.

«Австриец?» — уточнил майор.

«Я, я! — радостно закивал головой «язык». — Я жиль Тироль. Альпы...»

«Имя! Фамилия!» — резко перебил его Зернов.

«Петер Любек», — чётко назвал себя пленный.

«Смотри-ка, почти как наш Антошка», — опять не удержался от реплики Колесов.

«Разговорчики!» — снова оборвал его майор.

Все находившиеся в землянке сразу поняли, что Гришка имел в виду Петра Антонова, которого за мягкий добрый характер гораздо чаще звали ласково — Антошка, чем нормальным именем.

«Откуда знаете русский?» — продолжал задавать вопросы Зернов.

«Я училь, я немного училь... университет... — начал пленный, — потом читаль... Пушькин... Чехофф... я училь сам».

Он немного успокоился, выпрямился при этих словах и не без гордости поглядел на своих пленителей.

«Ваше воинское звание, должность и номер части?» — прозвучал вопрос майора.

«Я есть рядовой... я слюжить пехота, я только месяц воевать...»

«Стрелял? — неожиданно перебил его Колесов. — По нашим стрелял?» — и свирепо заблестел глазами в ожидании ответа.

Австриец хотел что-то сказать своей обычной скороговоркой, набрал для этого побольше воздуха в грудь и даже открыл рот, но, не издав ни звука, вдруг обмяк и тяжело опустил голову, несколько раз кивнув при этом.

«Остынь, Гриша, — огромная ладонь командира разведчиков легла на плечо солдата. — Не ищи виновников — война во всём виновата».

Во взводе знали, что Гришка Колесов пошёл на фронт добровольцем. Вместе с братом. Того призвали по повестке, а Гришке не хватало несколько дней до нужного возраста, и он упросил военкома не разлучать его с братом. Всё равно ведь призовут. Месяцем раньше, месяцем позже — какая разница, зато тут вместе со старшим братом. И вот брата убили... Случайным выстрелом прямо на глазах у Гришки.

Долго ещё майор пытался узнать у пленного интересующие командование сведения, но ответы никак не могли его утешить. Выходило, что превосходство немцев на их участке фронта подавляющее, и любая попытка прорыва равносильна самоубийству.

«Увести!» — наконец скомандовал он, и разведчики вместе с австрийцем вышли из блиндажа.

«Ну, и куда мы его теперь, товарищ лейтенант?» — оказавшись на улице, спросил Колесов.

«А чёрт его знает куда», — озадаченно проговорил Шуляк.

Раньше всё было просто: взял языка, допросил и — наверх, в вышестоящий штаб да поглубже в тыл. А где сейчас тыл, где фронт — кругом, куда ни кинь, одни немцы. Полк Зернова располагался неподалёку от полурастерзанной боями деревушки, но никакого подходящего для такого случая строения не было и там.

«Давай его в нашу землянку», — неожиданно предложил «Карга».

«Чево-о-о? — протянул изумлённый Колесов. — Фрица к нам в землянку?»

«Ну, а куда ещё? — вопросительно повернулся к нему Шуляк. — Не на улице же оставлять в такой мороз. Живой всё ж таки. Да и... — лейтенант замолчал, видимо подбирая подходящие слова, затем, понизив голос, чтобы не слышал пленный, добавил: — Не такой он какой-то... на человека похож. Давай до утра к нам, а завтра его, может, в дивизию затребуют или ещё куда выше».

...Жилище разведчиков просторным не назовёшь, но после гибели Гришкиного брата на лежанке стало всё же посвободнее.

«И куда его дальше?» — спросил Колесов у командира, когда они оказались внутри.

«Давай на мой лежак».

«А вы куда же, товарищ лейтенант?» — удивился Колесов.

«А я с вами, — ответил «Карга» и, заметив некоторое сомнение в Гришкиных глазах, добавил: — Поместимся. Да и ненадолго, я думаю».

Но их надеждам на скорые перемены оправдаться было не суждено. Пленного никто не спросил ни на утро, ни через день, ни через три. А к концу недели совместного с ним проживания разведчики знали про своего необычного гостя почти всё. Что родом он из простой семьи, что братьев и сестёр у него четверо, что родители его весь век крестьянствовали и что старшие братья тоже остались на земле, а он заболел мечтой об учительстве. Что мечта эта его сбылась с помощью родителей и всё тех же старших братьев, за что он им очень благодарен. Узнали и то, что, став учителем, Любек поклялся сам себе: никогда никому не делать в жизни зла, а своих учеников учить только добру. И про то, что исполнял он свою клятву с честью, выведали, что учил своих учеников добру и добром и что они любили его за это и относились со всяческим почтением. Ну, а как было не узнать? Чего ещё делать-то по вечерам в одной землянке? Не сидеть же сиднем да молчком, тем более что пленный по-русски говорит почти что всё. И, самое главное, знает о России много. О её истории, её традициях, вере. И говорит об этом душевно, как и о своей родине. Как тут не поверить, что человек — учитель. Как не убедиться, что он хоть и «фриц», а добрая душа. И разведчики перестали его чураться. Кормили той же немудрёной солдатской едой, которую ели сами, придумали постоянное занятие — топить «буржуйку», чему пленный несказанно обрадовался и дело порученное исполнял образцово. Даже в карты с ним в одной компании резались. И частенько «продували» ему при этом. А однажды произошло событие, которое и вовсе всех потрясло.

Подсел как-то раз пленный к Антонову, когда они остались одни (видать, тоже решил, что тот самый добрый из всех), и спросил:

«Антошя, а почьему Гришя всегда такой сердитый? Ведь он же не злёй, я это... это чьювствовать...»

«Антошка» усмехнулся ему на это первым делом и сказал:

«Петро я, как и ты. Антошка — это моё прозвище».

«О, извиняйт, извиняйт, пожялюста, Антошя, — виновато положил ему руку на плечо австриец. — Я не хотель... я не хотель тьебя обидеть».

«Да ладно тебе, — опять усмехнулся Петро, — я не обижаюсь. Меня все так зовут, зови и ты».

«А почьему Гришя такой?» — опять переспросил Любек.

«Брата у него недавно убило — вот почему», — коротко пояснил Антонов.

«О, тогда я понимайт, почьему он со мной так... — сочувственно проговорил пленный и тут же горячо-горячо зачастил: — Но я не виноват, Антошя, я не виноват. Я... я... — он оглянулся по сторонам и почти шёпотом добавил: — Я не стреляйт в льюди, понимайт?»

«Чево-о-о?» — не понял Антонов.

«Я не стреляйт в льюди, Антошя, понимайт? Я стреляйт воздух, — пленный осекся, будто испугавшись собственного признания, и со страхом огляделся по сторонам. Антонов с изумлением повернулся к нему, и Любек продолжил: — Я хотель... я хотель... как это сказать по-рюски... разговаривайт Грише всьё, когда он спросиль... но я испугался. Ведь я всьё-таки стреляйт».

«И ты что же, всё время стрелял в воздух?» — выдохнул изумлённый Антошка свой вопрос.

«Всьё время», — подтвердил пленный.

«Так зачем же ты пошёл воевать?»

«Меня призывайт, мене нельзя было дом... дезертир, понимайт? Дома тогда всьех расстреляйт, понимайт, Антошя?» — пленный горячо выплёскивал свою горькую исповедь, на глазах его навернулись слёзы, и он быстро утёр их рукавом.

«Н-да-а-а, — многозначительно протянул Антонов. — Ситуация! — он помолчал какое-то время и вдруг неожиданно предложил: — А ты переходи к нам. Расскажи всё, как мне, и будешь антифашистом».

«Не-е-е, — сокрушённо покачал головой австриец, — я не могу. Нельзя мне...»

«Но почему?»

«Опьят стреляйт... — со вздохом проговорил пленный. — А там тоже люди».

«Да какие они люди! — горячо воскликнул «Антошка». — Они же фашисты!»

«Не-е-е, Антошя. Это есть неправда, — возразил Любек. — Они такие же, как и вы».

«Ну, ты хватил! — не согласился Антонов. — А кто ж тогда деревни наши жгёт? Стариков с детишками кто убивает? Мы, что ли?»

«Это СС, Антошя, но их мало, — тихо, но твёрдо ответил пленный. — Больше просто зольдат. А они не жгут — повьерь мне. И я не могу... — пленный умолк и низко

опустил голову. — Только ты не смеяца, Антошя, что я такой, — вдруг жалобно попросил он. — Стреляйт можьно враг, а разве ты враг? Гришя враг? Лейтнант враг? Ви не зделайт мне плёхо. Ви не рюшить мой дом, не мешайт мой работа — почему мне стреляйт? — быстро и взволнованно говорил Любек. — Я не могу...»

Как пригвождённый сидел рядом с ним Антонов и ничего не мог возразить или добавить, настолько простыми и понятными были рассуждения этого австрийца, настолько он был прав. Это Антонов и его однополчане кипели справедливой ненавистью к захватчикам за поруганную и растоптанную Родину, а за что таким, как Любек, ненавидеть их, русских? И за что им всем ненавидеть Любека?

«Это не смешно, Петро, — вдруг совершенно неожиданно для себя назвал он австрийца на русский манер. — Это правильно».

И не в силах больше продолжать этот тяжелейший по душевному напряжению диалог выскочил из землянки. К вечеру об этом разговоре знал весь разведвзвод. И никто не смеялся.

Так прошла неделя. В начале следующей командующий армией генерал Ефремов передал своим окружённым войскам приказ: готовиться к прорыву. Майор Зернов вызвал Шуляка и поставил задачу: вместе с ротой автоматчиков быть в авангарде.

«А пленного куда же?» — спросил «Карга».

«Куда-куда... — раздражённо начал Зернов, заметавшись по блиндажу от стенки к стенке. Остановился вдруг и прямо в лицо лейтенанту бросил, будто выстрелил: — В расход — вот куда, — Шуляк попятился, как от удара, не находя, что ответить. — Знаю, что ты хочешь сказать, — резко добавил майор. — Знаю, что он в землянке с вами жил, но пойми ты: нет другого выхода. На прорыв идём — куда он нам? И в дивизии не нужен, и в обозе, один выход — в расход, — и рубанул рукою воздух. Заметив, что Шуляк и после этого ещё стоит, не двигаясь, добавил яростно: — Выполнять!»

Почти весь взвод разведчиков находился в землянке. Шуляк резко шагнул внутрь, и по одному этому шагу да ещё по виду командира все поняли: что-то произошло.

«Антонов! — сухо скомандовал лейтенант. — Пленного на улицу! Остальным сбор на постановку задачи... Завтра прорыв, — начал «Карга», когда «Антошка» с пленным вышли из землянки. — Мы с автоматчиками идём в авангарде. Вопросы?»

«А с пленным что?» — поинтересовался дотошный Стёпа Харин.

Шуляк помолчал какое-то время и тихо обречённо проговорил:

«В расход! — заметил недоумённые взгляды, услышал несогласный ропот и добавил: — Приказ командира полка, — тягостная тишина повисла в землянке. Никто не шевелился, никто ничего не говорил, даже, казалось, никто не дышал. — Кто пойдёт? — нарушил общее молчание лейтенант. — Приказывать не могу, только добровольцы, — и снова тягостная тишина, снова неподвижные фигуры разведчиков. — Харин? — вопросительно назвал фамилию Шуляк. Неразговорчивый Степан только отрицательно покачал головой. — Дудник... Егоров... Калайчев... — по очереди называл фамилии своих подчинённых командир, но в ответ только протестующее молчание. — Может, ты, Гриша? — обратился Шуляк к Колесову. — И за брата душу облегчишь...»

«Что я, мясник, что ли? — возмутился Колесов. — Не барана ведь в расход-то».

Снаружи послышались шаги, и внутрь ввалился командир автоматчиков в своём неизменном белом полушубке.

«Привет, разведка! Чего планируем?»

«Да вот думаем, как завтра прорываться», — начал Шуляк.

«О, и я за тем же подкатил. Как-никак бок о бок пойдём».

«Тут у нас ещё одна загвоздка есть».

«Что за загвоздка, друг?»

«Да... пленного приказали в расход пустить, а желающих нет».

«Хо, нашёл, о чём грустить, разведка! — хлопнул Шуляка по плечу автоматчик. — Это мы мигом! — он подошёл к выходу и крикнул: — Ярвинен!»

«Я!» — раздалось на улице.

«Ко мне!»

На входе застучало, и в землянке появился огромный рыжеволосый детина никак не меньше Шуляка ростом в таком же белом, как и у своего командира, полушубке. Всё лицо его аж пламенело яркими рыжими веснушками, тяжёлый квадратный подбородок массивной глыбой нависал над белым овечьим воротником, а высокий лоб с рыжими кудрями на нём невозможно было скрыть никакой шапкой! Детина козырнул, оторвав руку от автомата, и вопросительно уставился на своего командира.

«Вот, Саша, надо задавить одного фрицевского клопа, — начал ротный, — а наши братья-славяне в замешательстве. Подсобим?»

«Без натуги! — браво отозвался детина. — Где клоп-то?»

«На улице он...» — немного помедлив, ответил Шуляк и поморщился.

«Так пошли!» — сорвался с места рыжий и первым выскочил из землянки.

Разведчики дружно высыпали следом, и все сразу увидели Антошку с пленным.

«Этот, что ли? — кивнул веснушчатый в сторону австрийца. Шуляк молча кивнул и отвернулся. — Пошли, фриц!» — потянул детина пленного за рукав и криво ухмыльнулся.

«Куда ты его?» — вступился Антошка.

«Куда-куда... — передразнил детина, — в штаб — вот куда! Давай, фриц, шевелись, а то отемнаем».

Любек испуганными глазами поглядел на Антонова, на отвернувшегося лейтенанта, на понуривших головы разведчиков — и вдруг всё понял! Лицо его побледнело, как снег, голова поникла, но ни единого звука не сорвалось с плотно сомкнутых губ. Он обвёл прощальным взглядом всех разведчиков, с которыми делил и стол, и кров всю минувшую неделю, и первым шагнул на узкую тропинку в снегу, протоптанную в направлении сгоревшей деревни. Прошло несколько минут томительного ожидания, и в тишине серого зимнего дня треснула короткая автоматная очередь. А ещё через несколько мгновений на тропинке появился рыжий детина и коротко бросил:

«Готово. А вы мучались».

«Где ты его?» — еле выговорил потрясённый Антошка.

«А там, за овином каким-то, — беззаботно махнул рукой рыжий. — Да вам-то зачем?»

«Пошли, ребята, — вынося из землянки лопату, проговорил Колесов. — Похоронить надо. Если всема — до темноты успеем».

И, никого не дожидаясь, пошёл по тропинке. Минуту спустя, вооружившись инструментом, за ним проследовал весь разведвзвод во главе со своим командиром.

...Утро следующего дня выдалось таким же пасмурным и неприветливым. Пробрасывало снежок, погуливал ветерок. Над притихшими позициями изготовившегося к броску полка нависла напряжённая тишина — все ждали общего сигнала. Но вместо него сонное оцепенение раннего зимнего утра разорвал хлёсткий выстрел немецкой снайперской винтовки, и чья-то одинокая фигура в белом, разметав во всю ширь огромные руки, замертво повалилась в рыхлый снег в расположении полка. Шуляк вскинул к глазам бинокль и долго пристально всматривался в снежную пелену.

«Прямо в голову», — задумчиво вымолвил он, опуская прибор на грудь.

«Кому это там так не повезло?» — нетерпеливо поинтересовался у командира Гриша Колесов.

«Рыжему».

Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ

ВЕРА ИГНАТИЯ

Анна не считала себя верующей. Мама ее, якутка по национальности, малограмотная девушка из небогатой семьи из поселка Чурапчи, что раскинулся вдоль берега реки Куохара, недалече от Якутска, не была православной. В трудные минуты ходила мама к шаману, что жил в чуме у реки на краю села, несла дары и просила силы, здоровья и благополучия для семьи.

Отец, суровый русский мужчина, кадровый военный в прошлом, любил дочь так, как это у него получалось, но сам не был набожным.

Перед войной отца забрали нагрянувшие среди ночи сотрудники НКВД, а мама и брат погибли в долгой дороге на остров Тиит-Арыы, что намывала веками река Лена, выстраивая свою дельту к морю Лаптевых. Всю семью, как и многих, в голодный 1942 год отправили на новое место проживания — на пустынный остров для работы по заготовке рыбы. Анне после нескольких месяцев на острове, среди гибнущих каждый день от холода и голода людей, удалось вырваться и оказаться здесь на берегу Байкала в поселке со смешным и странным названием Большие Коты. «Да нет же! К ты!» — поправляли строго местные приезжих, а сами между собой себя звали, посмеиваясь, котятами.

Дом на берегу Байкала, в который привезли, таясь, беглянку с острова, уютно прислонился к косогору у самой тайги, и тропа сразу из леса вела к выбеленному дождями, местами покрытому курчавым мхом забору, заросшей тропке через двор. Сосновый лес с редкими березками нависал над домом, убегая вверх по склону. Двор у дома был частью тайги. Здесь у стен бревенчатого сруба с кровлей из умело уложенного горбыля, также теснились несколько высоченных сосен, шумела у забора раскидистая с гроздьями ягод рябина и несколько молодых елок разбрелись по двору, словно девки в хороводе с раскинутыми во вращении юбками.

От дома к берегу сбегала круто тропка, набитая за много лет ногами ходоков, талыми водами и дождями. На берегу на воде из досок был устроен причал на деревянных опорах, а к пристани подвязаны смоленые лодки, что колыхались на пологой волне и, казалось, пританцовывали в нетерпении, просясь при виде людей отправиться в путь, словно молодые скакуны, застоявшиеся в конюшне.

Вода чистая, холодная до озноба, мерцала, но не таила глубины, и можно было видеть столбы опор настила причала, резко «сломанные» гладью озера, уходящие в глубину до дна. Вокруг опор, заросших изумрудным подводным мхом, табунились густые стайки рыб-мальков, ведомые синхронно неким коллективным разумом, изучающие мелководье на фоне россыпи окатышей — чистых и ярких.

Так вот и вышло, что Анна росла, не приобщившись к вере. Но здесь, в К тах, она однажды увидела, как Клавдия Степановна, соседка, в своей избе молится на образа. Делала женщина-солдатка это не менее двух раз в день. Говорила:

— Молюсь за него, моего Данилу Серафимовича, — пусть прикроет его господь своей заботой.

Когда же подходили приметные даты и церковные праздники, Степановна расставляла свечи и коленопреклоненная кланялась лику святых и просветленная шла в гости с немудреными гостинцами.

Отметив, что Анна равнодушна к обрядам и молитвам, Степановна завела разговор как бы невзначай и велела о боге не забывать, а мальца Сашку, рожденного сразу после Тиит-Арыы, окрестить.

— Крестить надобно Сашу. У мальчонки судьба непростая с первых дней. Натерпелся по глаза, но уберег его Господь. А значит, иди ему навстречу, Анюта. Сама сделай шаг и войди в Его пределы внимания и заботы.

Когда, вразумленная соседкой, Анна присматривалась к иконкам, казалось ей, что лики святых из глубины далеких эпох смотрят на нее с укором, но и с некоторой надеждой.

Анна согласилась и, как только случилась оказия — катер из Лиственки, отправилась со своей покровительницей в поселок у истока Ангары, где рядом в деревне Никола возникла церковь и объявился священник. Сказывали, что это вернувшийся с войны после тяжелого ранения местный мужик Игнатий своей верой воскресил приход.

До войны Игнатий был обыкновенным деревенским мужиком — как все, рыбачил на реке сызмальства, по субботам ходил в баню, парился до одури, кидался с берега в реку раскаленным телом нагишом. Любил выпить в компании, позубоскалить с мужиками, на гармони наигрывал на разрыв души. Рыдала в руках Игнатия гармонь и выдавала яркие густые звуки — словно цветы полевые охапкой разбрасывал: выжимала слезу гармошка, молила о милосердии, бередила душу.

Как война грянула, забрали в первые же дни Игната. Напоследок, уходя уже за деревню, заиграл Игнат, запела, как в последний раз, гармошка. Сельчане стояли со слезами на глазах, просветленные, и улетала великая тоска с мелодией ввысь, как душа неприкаянная. И просила эта душа о милосердии, умоляла не забывать и верить в благополучный исход. А уже перед посадкой в грузовик, когда уже наплакались все, Игнат затянул «Прощание славянки», и стало на душе торжественно, волнующе тревожно, но сразу как-то просторно и ясно.

Увезли мужиков, а вскоре пошли весточки с полей военной жатвы, засеянных телами воинов так обильно, что зарево яростной энергии душ павших долго не угасало над полем брани, словно немеркнущее закатное зарево.

Что тут скажешь, не одну бабу в деревне пришили к лавке похоронки с фронта. Падали иные и наземь, пришибленные стонали да катались в слезах. Другие, те, что построже, держались на людях, а ночью мочили подушки потоками горьких слез.

Многие думали тогда о том, что вот был рядом мужик — и непутевый, казалось, а то и вредный и злой, ну просто злыдень, но... как не стало его — небо вдруг серым показалось, ночи стали дли-инные, пустые и мучительные, такие, когда думы забирают последние силы, а поутру и рук не поднять. А от мысли, что не сама схоронила, еще горше было: некуда пойти и поплакаться на жизнь, поговорить о доле своей. И как будто в этом подвох есть: не видела в гробу знакомого лица, и могилки его нет, а оттого не верилось до конца в кончину мужнину, а порой думалось: «А был ли он?»

Но как стукнет калитка во дворе или громко, по-хозяйски громыхнет кто-то сапогами на крыльце, сердце обмирает: «Вернулся никак!» Но то ли калитку качнуло ветром, то ли вдруг в дверь неуклюже вошел сосед или соседка попросить соли или просто незатейливого внимания, а сердце заходится, трепещет.

На Игната, так же как на других сельчан, пришла похоронка. Баба его поголосила, как положено, да и забилась в свой угол. А он, глядь — идет через полгода после похоронки по улице со стороны города, и только вот вместо левой руки у мужика пустой рукав гимнастерки за пояс заткнут, а лицо помято и перекошено шрамом — сразу и не узнать Игната. Но в остальном мужик живой, и баба его уж на другой день после приезда сразу преобразилась. Налилась румянцем, глаза заблестели, коса вдруг откуда-то появилась вокруг головы, да с лентою яркой.

Чтобы понять значимость чего-то привычного, казалось, обыденного, а оттого порой мало чтимого, требуется это потерять, и находка эта оказывается нежданно дороже самого сокровища.

— Да, — сказывали сельчане, — воскресил бабу Игнат живительным каким снадобьем, — да посмеивались, когда видели счастливую женку фронтовика, бодро вышагивающую по улице. — Тока вот не сыграет больше нам на праздник затейник наш, — говаривали иной раз, сокрушаясь, вспомнив спевки и пляски под Игнатову гармонь.

А потом и чудо случилось как подтверждение неведомых целебных свойств. Зашептались бабы при встрече: жена Игната, которая не могла после страшной простуды в девичестве забеременеть, вдруг округлилась в талии, сменила осанку — стала ходить гордая и, как положено по сроку, родила, да не одного ребятенка, а двойню.

— Че деется-то, — дивились бабы, посмеиваясь, и тут же и грустили, вспоминая тех, кто ушел на фронт, и особо тех, кто уже не вернется.

Игнат тоже подивился, повеселел да взялся шутить:

— Теперича у меня вместо одной руки четыре новеньких образовалось. Научу мальцов и на гармошке, и на балалайке играть — будет у нас ансамбль семейный. А я сам, как гармонист, уйду в отставку на повышение: стану дирижером семейного трио, а то на ложках смогу стучать да сапожком подтопывать.

Игнат, конечно, изменился за тот неполный год под ружьем да по госпиталям. Про-

шлась по нему лемехом стальным война, перевернула пласты души, перекроила суть человеческую. Вероятно, это отметили и небеса. Порой судачили об этом сельчане и говаривали, что не только беды валятся на головы, но и чудо случается, если с горестями перебор образовался.

После страшного ранения, пережив долгий путь через полевые лазареты и госпиталь с их неустроенностью, кровью и болью, вернулся Игнат с верой в душе, полагая, что именно она вытянула его с того света. И взялся мужик каждую свободную минуту рубить часовню. Тягал бревна из соснового бора — благо, что под боком стеной тайга. Правил сруб, конструировал купол — и все одной рукой. Намучился мужик, но не отступал — война научила оборону держать. Скоро к нему подключились и другие деревенские, младые да седые, увлеченные фронтовиком, и подняли они часовню на горке, и так удачно она встала, что и с дороги, и реки, и Байкала виделся купол, вознесенный к небесам руками и душами прихожан Николы.

Как только часовня встала у села под крестом православным, отправился Игнат в город, в старый Крестовоздвиженский храм, что енисейские казаки установили после основания Иркутского острога. В храме этом после долгого перерыва к середине войны власти, несколько одумавшись, негласно разрешили вести богослужение.

Игнат по прибытии поклонился патриарху, к руке приложился, и тот, выслушав его, отправил монахов и иерея Власа освятить и справить первое богослужение в Николе. С той поры Влас наведывался в Николу, в свой, как он теперь говорил, божественный уголок на байкальском бережке.

Вот к нему и решили попасть на обряд крещения Анна с сыночком Сашей, тайно надеясь защитить, спасти и отца мальчика, что остался на Тиит-Арыы в тот день, когда ей, тяжелой на сносях, было предложено покинуть гибельное место.

Обряд прошел на берегу Ангары, где установили купель — бочку для засолки омулей. Омытый холодной и чистейшей водой Байкала сынок Саша покинул Николу с крестиком и заплаканным личиком на руках счастливой Анны. Показалось ей, что словно незримую, но крепкую защиту обрел сын, и верилось теперь, что все будет по-доброму, все сложится у него благостно.

Теперь, после обряда, Анна и сама задумалась креститься, но спешить не стала и уже только к поздней осени, шурша багряными листьями на тропе к церкви, прибыла к Николе и также получила из рук Власа заветный крестик после волнительного омовения в стылой, с ледком уже, воде Байкала.

Осталось теперь, приобщившись к божественной защите, только ждать и надеяться, что уймется война, прибитая победной поступью героев гадина, и отец ее сына вернется к ним, преодолев ад Тиит-Арыы и долгий путь домой.

Алёна КУБАРЕВА

ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ В БЛАГОДАТИ СТОЯЛИ НЕМЦЫ...

Вторую неделю в Благодати[1] стояли немцы. И вторую неделю Дарья сидела в насквозь промёрзшем[2] погребе. Пряталась.

Ей было чего опасаться. Четверо сыновей служили на фронте. Четверо богатырей. Трое коммунистов, один — комсомол.

Колька, Володька, Ляксей... И младший, Борис. Красавец. Первый гармонист. Как затянет колхозную кадрель: «Три-та-ти — дри-та! Три-та-ти — дри-та!» — все девки в пляс. Пойдёт играть ямочками на щеках — ни одна не устоит...

Дарья — из городских, из тульских. Родители умерли. Воспитали чужие. Пятнадцать лет минуло — отправили в деревню. Замуж. В городе её, бесприданницу, никто не брал.

Дарья сначала никак не могла привыкнуть. Всё из рук валилось — ничего не умела. Но главное — не рожала долго. Ей и кличку дали — Дашка-неродёха.

А потом, после двадцати — пошло, пошло!.. Одного за другим — Маньку, Кольку, Володьку, Ольгу, Ляксея, Бориса, Клавдю. Все выжили. Андрей — муж — бранился:

— Куда ж ты мне — прорву?! Как кормить?!! — а то ещё ревновал; выпьет: — Энти — мои, на меня похожи. А энтот, — кивает в сторону Бориса, — не знаю чей! Чернявый чёрт! Армяшка! Говори, от кого прижила! Не то!..

— Как это — Борис не твой?!! — закусывала губу от обиды. Молодая была, глупая — оправдывалась. А оправдываться — хуже нет.

— Ага-а! — заносил Андрей руку. Забывал, что цыган по отцу.

Но Дарья скоро отвечать стала. Тяжёл кулачок оказался. Даром сама — два вершка.

...До войны Андрей не дожил. На фронт провожала одна. Всех четверых — в один день. Старшие попрыгали сразу в вагон. А Борис стоял перед ней на перроне, переминался с ноги на ногу. То краснел, то бледнел. Усы не отросли. Восемнадцать только. Дарья больше всех его оплакивала — ещё живого...

... — Мама-ань!

Это Манька. Поесть принесла. Одна Манька в погреб и ходит. Одна не боится.

Дарья мгновенно вскипятилась — приготовилась ругать. Другие-то дочери — отмахнутся, а то и матюкнутся в ответ. Манька — кисель, тихоня. Такую грызть — одно удовольствие. За всё. За войну. За холод. За сыновей...

Дарья и жалела её. Маньке — двадцать седьмой. И так-то охотников взять за себя мало, а ещё — война... И всё ж не могла злобно не шикнуть:

— Ах, паралик тя расшиби! Чего орёшь-то! Немцы ж кругом! — смягчилась: — Весточки нет?

— От кого, мамань? — Манька уж спустилась. Аккуратно идёт. Уточкой. Пол земляной — скользкий, а она крынку несёт — молока матери достала.

— Дура ты стоеросовая! От Бориса! Хм-м... — поперхнулась. Стыдно одного младшего любить. — От Кольки, Володьки. От всех!

— Не-е, — Манька горестно вздохнула, поставила крынку на колченогий табурет. Сама села на перевёрнутое ведро.

Дарья взяла крынку, отхлебнула. Вку-у-сно!.. Всё, всё до капли выпила.

— Стреляли сёдни?

— Стреляли.

---

[1] Благодать – деревня в южном Подмосковье, Серебряно-Прудский район.

[2] Начало действия – 4 декабря 1941 года; тогда резко похолодало – до минус 30 градусов.

— Далёко ль?

— Далёко пока, — Манька, потупившись, ковыряла передник. — Оттель, — махнула в сторону Каширы.

— А кто стрелял-то?

— Почём я знаю! — Манька смутилась, покраснела. Будто одна и виновата, что никак свои Благодать не отобьют.

Летом, как враги к Москве пошли, Маньку с другими девками отправили рыть противотанковые — под Дорогобужем. Говорят, их бомбили... Манька вернулась. Одна из немногих. Ничего не рассказала.

— Меня-то ищут? — прошептала Дарья.

— Ищут, — Манька снова занялась передником. — Комиссар ихний старшой всё ходит, спрашивает. «Во ист, — говорит, — Ташка? Ди муттер дер коммунистен? Вер загт — бекомт ди шоколаде тафель!» Жамки, значит, за тя предлагает.

— Во память! — удивилась Дарья. — Над-был тя тоже, как других, дальше учиться отдать, а то — только три года... А имя-то моё кто им сказал?

— Не знаю.

Помолчали.

— А что наши? Показывают? — нахмурилась Дарья.

— Показывают. Сгинула, мол. В болоте.

— Дурни! — невольно рассмеялась Дарья. — Где ж тут у нас болота?

Манька тоже улыбнулась, прикрыла рот ладошкой.

— Почём немцы знают — есть тут болота, нет? — озорно подмигнула.

— Ну, ты... Не регочи! — посерьёзнела Дарья. — Ещё сглазишь...

— Пойду я, — Манька зарделась, хвать пустую крынку, метнулась к выходу.

— Да, — вернулась, опустила глаза. — Там, мамань... Клавдя на фронт собралась...

— Как это? — Дарья схватилась за сердце. — Девка ж!.. Куда?

— У Клавди немецкий — хорошо. Она энтим, — показала глазами на дверь, — переводила. «Не хочу, — говорит, — на фашистов работать. В разведку пойду...»

— Так поезда ж на фронт не... — оторопела Дарья.

— Она пешком.

Дарья — за голову. Про себя завыла. О-о-о! Война проклятая! Четырёх сыновей отдала — ещё и дочь требует?!! Так детей не напасёшь!

Манькин тулупчик мелькнул у выхода. Высунулась, огляделась. Шасть! Только дверь за ней закрылась — сдавленный визг.

Похолодела Дарья. «Видать...» Не додумала. В погреб ворвались трое. В серой мышастой форме.

«Конец. Эх, Манька!..»

— Ти есть Ташка?

Дарья встала, огладила юбку. Посмотрела прямо в белёсые ненавистные глаза.

— Я есть.

Короткий удар в переносицу. Дарья охнула, повалилась.

Спустя два дня немцы бежали. Побросали всё — танки, оружие, боеприпасы. Даже скотину. Она теперь — одуревшая, тощая — одиноко и голодно кричала на все голоса.

В овраге — трупы.

...Немцы никого не подпускали. Манька уж издёргалась, изрыдалась — всё юлила, вывихливала перед охраной:

— Дайте маманьку схоронить! Битте...

Немцы смеялись, попыхивали «Экштайном».

Один раз Манька уж почти подползла. Протянула руку...

— Halt! Zurück![1]

Дуло автомата. Круглое, ровное. Равнодушно-чёрное. Смерть.

...Их собрали в одном сарае. Человек двадцать. Из Мягкого, Дудина, Благодати. Кто чем провинился. Кто козу не отдал, кто хлеб прятал. Кто дочь защищал...

Сутки держали без воды. О еде — нечего и думать.

Всё бабы. Все молчат. Один только мужичонка. Колготился — вскакивал, подбегал к двери, прикладывал к прорехам губы, шептал: «Братцы!» Как молился... Потом — обратно. Руки потные о колени тёр. Вращал глазами, а то — суживал до змеиных щелей. «Тэ-тэ-тэ-тэ-э!» — пел ли, захлёбывался?

«Убогой», — думала Дарья.

— Энтот сдал когой-то, — сквозь зубы процедила Ганька Калгушкина; Дарья её знала — дальняя родственница по мужу. — Вот и места не находит.

[1] «Стой! Назад!»

С улицы доносилась песня:

Ja, wir sehen uns in Berlin,
Nach Berlin geht unsere Reise![1]

Дарья — ни слова по-немецки. Но догадалась, почуяла: гибель себе поют.

«Так вам, окаянные! Войте, кликайте беду! Вернётся!»

...На рассвете открыли дверь:

— Nacheinander raus![2]

Никто не сдвинулся с места.

— Komm schon, schnell! Komm raus![3]

Дарья поднялась первой. За ней гуськом — остальные. За порог. Прошли несколько шагов.

Сзади послышались крики. Дарья невольно оглянулась.

Мужичонка никак не хотел выходить. Плевался, вырывался. Вопил:

— Братцы, братцы!

Немцы его — прикладами по голове. После подхватили — поволокли.

Шли молча. Дарья смотрела под ноги.

— Даш!.. — Ганька догнала, хоть конвойный и вскинулся: «Halt!» Отмахнулась. — Помнишь, как Андрея хоронили?

Дарья помнила. Был июль. Жарило-парило всю неделю, пока лежал. А как помер — дождь полил. Сильный! Всю дорогу до кладбища развезло. Чернозём жирный, липкий. Так и хватал за ноги. Будто не хотел пускать.

Дарья взглянула вокруг. Морозное солнце поднялось. Снег розово-жёлто-голубой. А то — тёмно-синий, как глаза Андрея, когда молодой был...

Избы кончились. «К лоску идём, — догадалась. Лоск — напротив кладбища. — Вот и Андрей посмотрит...»

Поставили в ряд, спиной к обрыву. Десять убийц.

— Achtung![4]

Дарья нахмурила лоб. Что-то соображала. Вдруг глаза — к небу.

Господи Боже!.. Всех люблю! Главное — никого не забыть!

Колька, Володька, Ляксей...

— Feuer![5]

Борис...

---

[1] «Да, увидимся в Берлине! Да, в Берлин лежит наш путь!» *(Перевод с нем. автора).*
[2] «Выходить по одному!»
[3] «А ну, живо! Выходи!»
[4] «Внимание!»
[5] «Огонь!»

Елена ТЕРШУКОВА

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ УМНЫМИ

Семейная хроника родины детства

Пудож — маленький городок в карельских лесах. Очень уютный, зеленый, а зимой — снежно-белый. Тихий, неторопливый. Там — детство, там были мои родители, школа. Там и сейчас живут мои родственники, одноклассники, друзья...

Самое любимое горожанами место, пожалуй, — Летний сад, небольшой старинный парк на высоком берегу реки Журавки. От него начинается улица Садовая, на которой жила моя бабушка. В моем детстве на Садовой не было асфальта, это была будто и не городская, а настоящая деревенская улица: пыльная дорога, по которой редко-редко проезжали машины, огромный страшный колодец возле одного из домов (куда нам категорически запрещали даже подходить), одноэтажные домики, перед каждым палисадники с сиренью, цветами. Вдоль них неторопливо течет тропинка. От дороги тропинку загораживают кусты и деревья, поэтому идешь по ней будто в зеленом веселом тоннеле. Как я любила кататься там на своем трехколесном велосипедике!

Такой же «тоннель», только пошире и повыше — березовая аллея на улице Ленина. Березки в моем детстве были еще маленькими, и тень от них ложилась нежная, кружевная, радостная — от нее по лицу и рукам бегали веселые зеленосолнечные зайчики. Я считала березки своими подружками и обязательно каждый раз здоровалась. Как же я любила там ходить — и в школу, и к бабушке, а особенно — в детскую библиотеку «Искорку». Двойное удовольствие — в библиотеку, да еще и по любимой аллее! Сейчас эти березы стали огромными. Шумят где-то совсем в вышине, и тень от них густая, так что не жарко даже в знойный день.

Еще моими подружками были лиственницы на улице Пушкина. На Пушкина располагались ясли, где работала мама, рядом здание почты. Перед почтой несколько больших деревьев, очень меня интересовавших: иголки, как у ели, но елка на зиму их не сбрасывает. А у этих иголки осенью опадают, будто листья. Спросила у папы, он объяснил, что это лиственницы, и что у них такая вот особенность. А еще рассказал, какая у лиственниц ценная древесина, что она не портится в воде по сто лет, и поэтому из лиственницы строят корабли. С каким уважением, даже почтением я смотрела потом на лиственницы! Какие умные деревья: нарочно сбрасывают иголки, чтобы их не срубили на Новый год, как глупенькие елки. И какие трудолюбивые — сто лет могут работать на корабле. Я им часто потихоньку говорила: «Вы молодцы, что догадались иголки осыпать! Правильно! Лучше растите подольше!»

* * *

Пудожане — это, в большинстве своем, особенные люди. Открытые, добродушные, приветливые. Мы с родителями часто путешествовали по стране, и я нигде больше не встречала таких. Понятно, что раньше все были более общительными и доверчивыми, и двери ни у кого почти не запирались, разве что на ночь, и в гости ходили друг к другу без приглашений, но пудожанам была присуща какая-то особая чистота, простодушие, даже детскость иногда. Может, потому, что стоял наш городок вдали от больших дорог и не было никаких приезжих-проезжих? Или потому, что в маленьком городе вся

жизнь на виду, каждый друг друга знает, и стоит совершить что-либо неблаговидное, как это тут же станет известным всем твоим соседям, друзьям, родственникам?

Как бы то ни было, а можно было обратиться за любой помощью к любому человеку, даже и вовсе не знакомому, никто не откажет. Сами не смогут помочь — попросят кого-нибудь еще. Даже продавцы в магазинах были приветливыми и улыбчивыми! Одна-единственная продавщица, которая могла нагрубить или обсчитать, работала в пивном ларьке, и все это знали и даже не осуждали ее почти. Во-первых, потому, что жалели: растила детей одна, без мужа, а во-вторых, потому, что обсчитывала на пиве пьяных мужиков. Пиво не тот предмет, без которого не обойтись, не нравится — не ходи. К слову сказать, даже эти подвыпившие товарищи вели себя спокойно, если и матерились, то между собой. А стоило пройти мимо женщине или ребенку, тут же утихомиривали друг друга: «Тихо, мужики, тут ребенок!» В этом же ларьке продавался и лимонад, и когда мы подходили и пытались встать в очередь, мужики тут же расступались и пропускали детей вперед.

А какие там жили бабульки! Самые настоящие, классические бабушки — в платочках, в плюшевых жакетиках, с обязательной хозяйственной сумкой на локте. Никогда, ни разу не видела ни одной праздной бабушки на скамеечке! Ходили только друг к другу изредка на «бесёду». Им, наверное, просто некогда было: в свои 70, а то и 80 лет споро бегали по магазинам, вели хозяйство семьи. А летом еще и ходили в лес по грибы и ягоды. Однажды я, уже взрослая, сидела на остановке в ожидании автобуса, чтобы ехать на дачу. Рядом — две бабульки, тоже ждут автобус и переговариваются, за малиной, мол, собрались. Мимо остановки по обочине дороги идет еще одна.

«Мои» ей: — Семеновна, ты в лес?

Та: — Ну дак, малина же пошла!

«Мои»: — А пошто пешком-то?

Семеновна: — Дак ноги-то розвивать надо!

А я сижу и думаю: мне в мои... лет до дачи лень пару километров пройти, а бабулька целый день по лесу будет ходить, да еще и ноги «розвивает»!

* * *

Моя бабушка Дуняшка тоже была такой бабушкой: плюшевая жакетка, которая потом сменилась «модным» болоньевым плащиком, платочек на седых волосах. В гости или по праздникам — белый, в обычные дни или в магазин — темно-синий в белую крапушку или зеленый с белыми полосками.

В бабушкиной речи было много интересных, «пудожских» словечек. В детстве я воспринимала их как обычные, а теперь вспоминаю с душевной теплотой, как и все, что связано с бабушкой Дуняшкой.

Бажо́ный — бедненький, тот, кого можно пожалеть. «Бажоный, замерз весь!»

Басенький — симпатичный, красивый, приятной внешности.

Балаболка (цветок) — купальница.

Барабанчик (цветок) — вьюнок («граммафончик»).

Дак — так. Применяется чуть ли не в каждом предложении. «Я вчерась в магазин пошла, дак сумку забыла».

Дивья́ — хорошо, везет. «Откель платок-то новый?» — «Дак зять подарил». — «Вот дивья тебе, хороший зять, не то что у меня».

Калитки — карельские открытые пирожки из ржаной муки, делаются с начинкой из картофельного пюре или пшенной каши.

Кукелькú — высушенные цветоложа морошки с небольшим (примерно полсантиметра) кусочком стебелька. Их отвар — отличное средство против кашля, особенно у детей.

Мáлтать — понимать. «Не малтает ничего».

Пули — сопли. «Пули-то подбери!» Насмешливое: «Пули малтаешь» — ничего не понимаешь.

Но́ — да, согласие. «Ты в магазин?» — «Но!»

Нявгать — ныть, канючить, издавать жалобные звуки. «Что-то кошка всю ночь нявгала». — «Ой, у Галины внука нявгучая так*а*! Вчерась была у нее на бесёде, дак всю вечерину пронявгала!»

Порáто — сильно, очень, много. «Порато меня вчерась ошунуло-то».

Шунет — кружится голова, качает.

Пахать — подметать пол. «Пол-то опахала?»

Плáвать (про ребенка) — ползать. «Твой робенок-то уже плавает?»

Плю́сни — кожура на вареной картошке. «Картошка с плюснями» — то же, что и «картошка в мундирах».

Прико́сло — случилось, стряслось. «Что там у тебя опять прикосло?»

Распатрениться — снять верхнюю одежду; расстегнуться; вообще одеться слишком легко, не по погоде. «Что распатренилась-то, ужарела, что ли?»

Ри́буши — старая, пришедшая в совершенную непригодность одежда, рванье. «Да у нее денег порато, а ходит всё в рибушах!»

Кирбуши — скрученные трубочки из бересты, применяются в качестве поплавков при плетении рыбацких сетей.

Спру́жить — пролить. «Молоко спружила».

Шимья — распущенные, неприбранные, неопрятные волосы.

А еще бабушка очень смешно говорила, когда двое детей сильно ссорились или дрались: «Вот два свидиника́!» Что это за слово? Я больше никогда нигде такого не слышала.

В нашей семье, когда образовывалось много дел и надо было повсюду успеть, говорили: «Дел, как у Пудожского старосты».

Однажды я, взрослая, убирала на зиму амариллисы. Их рекомендуется прекратить поливать, чтобы засохли. И вот я не поливаю, очень долго уже, а они зеленые, почти не вянут. Особенно один, даже и не думает засыпать. Бодро продо́лжает расти, листья новые выпускает. Говорю, мол, вот ведь какой ты бессонный кури́к!

Выплыло словечко из детства. Так меня мама называла, когда я спать не хотела. Вот надо же! Понятно — бессонный. А что такое «курик»? Оказывается, это по-фински «дубина, колотушка». Получается, мама меня по-пудожски называла «бессонной колотушкой».

В Карелии когда-то много народу по-фински говорило. В моем детстве даже некоторые передачи по радио из Петрозаводска шли на финском языке. Да и у меня в моем первом паспорте дублирующая надпись была сделана на финском. Потому, что раньше, до 1956 года, была Карело-финская союзная республика. Потом стала Карельская АССР. Потом, в 1991 году, стала Республика Карелия в составе Российской Федерации. И тогда убрали финский язык из официальных в ней.

Вообще речь пудожан сразу угадаешь — это не акцент, а какая-то своеобразная интонация. Моя институтская подруга тут же узнавала, если я побывала в гостях у моих одноклассниц, они тоже учились в Ленинграде и скучали по дому, я иногда у них бывала. Маринка смеялась:

— Да ты опять по-пудожски говоришь.

А еще эти словечки!

В те давние времена, когда моя мама работала в яслях, пришедших детей сразу переодевали во все ясельное. Уходили домой — надевали свое. Правда, позже было не так — переодевали детей уже только по необходимости: намочил штанишки, облился супом... А в Пудоже был очень популярен магазин уцененных товаров, мы его называли «уцененный магазин». Там можно было за копейки купить массу ценных и качественных вещей. Просто выходил срок реализации, их и уценивали — от игрушек и всяких мелочей до одежды и обуви. Главное — не пропустить новый завоз! (Однажды, кстати, когда я была уже студенткой, приглядела в магазине модельные лакированные туфли. Но они были очень дорогими, и мама не смогла мне их тогда купить. А через месяц их уценили ровно вдвое, и туфли были куплены). Так вот, частенько в «уцененном магазине» весь город покупал одинаковые вещи: например, у нас в подготовительной группе добрая половина девочек щеголяла в темно-оранжевых платьях. Платье было из чистой шерсти, а стоило ровно один рубль! Совсем незадолго до этого моей двоюродной сестре купили в «Детском мире» шерстяное платье за 16 рублей. А однажды продавали детские свитерки тоже за какую-то смешную цену. И в яслях многие мальчики в таких ходили. Одна мамочка, вечером одевая сына, не могла найти свой свитерок. Попросила воспитательницу найти, сказала, что вот такой, из «уцененного магазина». Та показывает: такой? Мамочка очень смутилась: «Да, только не этот. Мой такой же, но весь в пётнах». Ушла она, а вечером, после ухода всех детей, стали сотрудники свитерок искать. Нашли за шкафчиком и очень смеялись: свитерок не то чтобы «весь в пётнах» оказался, а просто-таки полностью из одних пятен состоял.

Мама почти перед родами попала в больницу, на сохранение. И вдруг ей ужасно захотелось апельсин! Папа оббегал все магазины, сходил даже к заведующему базой, но — нет нигде. Просто не привезли в город. В те времена апельсины были у нас очень редким лакомством. Кто-то, наконец, сказал, что вот тот-то человек был недавно в Петрозаводске, может, он привез своим. Так папа через общих знакомых сумел-таки выпросить у него одну штучку! Вся мамина палата смаковала эти дольки... А через какое-то время мой дядя, муж маминой сестры, тоже был в командировке в Петрозаводске и купил апельсины. Ехал домой, роддом по дороге. Решил порадовать

Валю. Пришел с целой авоськой апельсинов, передает нянечке, а та:

— Ничего ей уже не нужно!

Дядя опешил:

— Как? Что случилось?

— Дак ничего. У ней уже рожено и уйдено!

Бабушкины дети

Почему-то всех называли: Петька, Ленка, Валька... Петя, Лена, Валя — это было почти официально, а уж всякие там Петечки, Леночки, Валечки — и совсем уж не принято, разве только когда поздравляют тебя с праздником и чего-то там желают.

Вот и бабушку мою Дуню, Евдокию, все звали ласково — Дуняшка. Была бабушка Дуняшка маленького роста, наверное, не выше метра пятидесяти. Всегда в платочке, под платочком в волосах — круглая гребенка. Никогда я не видела ее нахмуренной или злой, только улыбчивой. Она не то что ругаться, а и сердиться-то, кажется, не умела. Если с чем-то несогласна, только рукой махнет: «Делайте, мол, как знаете», — и все.

Бабушка с дедом Ваней до войны жили в деревне Ченежа. Она была из зажиточной семьи и вышла замуж за деда «самокруткой», то есть против воли родителей — Ванюшка был парень хоть куда, но из совсем уж бедноты, да еще и в Бога не верил, в храм не ходил. А у Дуняшкиных родителей — и лошади две, и коровы, и овцы, не считая уж всякую «мелочь» вроде кур и свиней. Да и сама она была ловкая да «басенькая». Но вот поди ж ты, влюбилась в Ваню. Решили потихоньку пожениться, Ванька даже на церковь согласился — тут Дуняша намертво встала. А там уж к родителям в ноги кинулись, по обычаю. Тем деваться некуда — простили и приняли зятя. Даже дом им построили, с помощью всей деревни.

Почти перед самой войной Иван перевез семью в город. Дом хороший купили: Ваня работал лесником, зарабатывал не шикарно, но по тем временам — очень прилично. Только особого достатка в их семье никогда не было — так, жили, как все: прокормиться бы да одежу-обувку справить. Да и то сказать: один работник в семье, бабушка домом была занята, хозяйством (корова, овцы, куры, свинья, огород), детьми. Детей было восемь — пять девок да три парня. Правда, один, Славик, умер в восемь лет от скарлатины. И вообще дед добытчиком был: грибы, ягоды, рыба — все это он из лесу приносил. Вот только охотиться не любил. Даже и ружье у него имелось, и, как лесник, мог дичины приносить, но — нет. Не любил это дело, жалел зверей. Зато рыбы — сколько угодно. Бывало, удочку возьмет, пойдет на речку и говорит бабушке: «Печку растапливай да воду грей, будешь уху варить». Бабушка ему, мол, что заранее воду греть, ты сначала рыбу принеси, а он: «Ты грей-грей, рыба-то будет», — и да, через полчаса с рыбой идет.

На войну его не взяли — лесник нужен был здесь. Ожидали диверсий со стороны финнов, а кто, как не лесник, лучше проследит. Дошли немцы только до Ченежи, до города не успели. Да и в Ченеже пробыли недолго, уже через несколько дней партизаны их выдворили. Так что и люди даже не пострадали. Только на Пудож однажды налетели фашистские самолеты, сбросили мимо несколько бомб. Лишь одна попала в цель — Садовая улица окраинная, бомба угодила в дом, который стоял через один от их дома. Погибла старенькая бабушка, остальных дома не оказалось.

А вот дедушкин брат Александр ушел на войну совсем молодым, даже жениться еще не успел. Пропал без вести.

С сыновьями у бабушки какая-то неудача была. Старший, Женька, связался по молодости да по глупости с такими же бестолковыми, обворовали ларек. Получили сроки. Вышел — опять что-то украл, опять попался... Да и выпивал. Что называется: «украл, выпил, в тюрьму». Так и жил потом. Одно время попытался жизнь наладить, женился, сын родился, Сашка. А потом жене его вздумалось на Север завербоваться. Как бабушка ни просила хоть на первое время Сашку у нее оставить — уехали и ребенка увезли. Сашка только должен был в школу пойти. Прислали пару писем, что устроились, все нормально. Потом уже от Сашки было письмо — забери, мол, меня бабушка, отсюда. Дочки бабушкины долго потом еще спрашивали: как там, мол, пишет ли наш «Ванька Жуков»? Ответила она Саше, что заберет, только пусть родители напишут, что не против. Пришел ответ от Сашкиной матери, что Женька опять в тюрьме, а она уезжает вместе с сыном в другой город. Женька на этот раз получил большой срок, да так и умер там в конце концов, а от Сашки больше писем не было. По бабушкиной просьбе дочери несколько раз посылали запросы везде, где можно, искали его, но так ничего и не добились.

Славик умер от скарлатины. Третий сын, Александр, самый младший из детей, хорошим вырос. В училище выучился, шофером работал. Женился, сына в честь умершего братишки назвал — Славиком. И утонул на рыбалке: машина под лед

провалилась, он выбраться не успел... Славику лет пять всего было.

С именем Александр — целая история семьи. В честь дедушкиного брата, пропавшего без вести (осталась только его фотография в военной форме), дед назвал младшую, пятую, дочку, родившуюся в 1942 году, вскоре после полученного известия. Ее всегда звали Шурой. А в сентябре 1945, уже после Победы, родился у них еще сын. На радостях дед выпил и... зарегистрировал его Александром! В честь брата. Когда же бабушка сказала, что у них уже есть Александра, очень удивился: ведь дочка-то — Шурка! Да и девка, а тут — пацан! А когда у Шуры родился старший внук, его тоже назвали Александром, уже в честь бабушки Шуры.

* * *

А вот пятеро дочек у Дуняшки — все, как на подбор, умницы-красавицы.

Старшая, Вера, пример и гордость. Красавица, в бабушку, умница — всю жизнь проработала бухгалтером, и главным в том числе. А уж рукодельница! И шить, и вышивать, и вязать — все умела отлично. Сшитые или связанные ею вещи были всегда сделаны с отменным вкусом и безупречным качеством. Свяжет свитерок руками — не отличишь от связанного на машинке, а уж платье или сарафан сошьет — люди на улице подходят, спрашивают, где она такое «достала». А ее вышивки! Настоящие картины! Одна — сирень в вазе, величиной, наверное, метр на полметра, висела у них над диваном. Рассматривать ее можно было, как полотно в музее: чуть отойдешь — сирень, как живая, на вазе блики солнца, на лепестках капельки воды. А приблизишь глаза — стежочки видно разного цвета, да такие ровненькие, будто машина делала. Попыталась я как-то сосчитать, сколько красок в этом шедевре, но сбилась где-то на третьем десятке. А тетя Вера на мой вопрос ответила, что уж и не помнит, но тоже заинтересовалась и насчитала только фиолетово-сиреневых оттенков на одной кисти около десяти!

Вторая, Нина, самая веселая и добрая, никогда в жизни не только никого не обидела, но и даже голос ни разу, по-моему, не повышала. Что уж мы, ее дочки да племянницы, бывало, у них ни вытворяли — только скажет: «Девочки, уберите все потом», — и все.

И дом у нее всегда в порядке и чистоте (хозяйкой была очень хлебосольной и гостеприимной), и двух дочек вырастила-выучила, да и внуков успела понянчить. Девочек своих, а потом и внуков, любила безмерно, гордилась их успехами. Сына у нее не было, может, поэтому очень любила племянника, Диму, моего младшего брата. Если знала, что я его приведу, обязательно покупала для него недешевый тогда болгарский компот ассорти. Мы, большие, на компот не претендовали, знали, это — Димке. И пока мы занимались своими девчачьими делами, тетя Нина играла с ним то в домино, то в шашки. А еще она любила подпевать радио смешным тоненьким голосочком. Мы немножко посмеивались над ее пением, но знали: тетя Нина поет, значит, все хорошо...

Третья дочка, Люся — очень практичный человек. Уж будьте уверены — если где какую пользу можно извлечь — Люсик извлечет. И сестрам частенько советы дельные давала, что при всеобщем дефиците всего и вся было иногда настоящей палочкой-выручалочкой. Как-то завезли в магазин мохеровые пледы. Красивые, насыщенного бордового цвета с одной стороны, постепенно переходящего в темно-красный, но дорогущие: 90 рублей, по тем временам целая зарплата. Да и куда его? На диван не постелешь — не практично. Вот их и не покупали. Так тетя Люся вот что придумала: надоумила сестер купить плед на четверых и разрезать его на четыре части. Вышло по 22 рубля. А если учесть, что из каждой части получилось по две супермодных тогда мохеровых косынки (да еще мохер-то для вязки пойди достань!), а в придачу шарфик — то и вышла очень удачная покупка. Вера с Люсей свои куски к тому же на нитки разобрали, и Вера связала им по шапке, опять же супермодной, а Шура с Валей носили косынки. Вторую косынку Шура подарила своей подруге, а Валя — сестре Нине, которой пледа не досталось. В тот же день, когда сестры в обновках пришли каждая на свою работу и поделились, откуда такая красота, пледы с прилавка смели. И самые расторопные женщины в городе щеголяли кто в мохеровых косынках, кто в платках, кто в шапочках, а их мужья — в шарфах.

Когда Люся с семьей перебралась в Петрозаводск, вся пудожская родня, если надо ехать куда-то с пересадкой, конечно же, останавливалась у Люси. Никому ни разу не отказывала, всех привечала, а если надо, так и встретят-проводят, и билеты помогут «достать». А уж мы, племянники и племянницы, на летних каникулах частенько подолгу гостили у них.

У Валентины, моей мамы, тоже все складывалось хорошо: окончила педучилище, работала в школе и в детских яслях, крепкая семья, двое детей — дочка и сын, муж — настоящий глава семьи, работник и добытчик. Валя и сама хозяйка отменная, рукодельница. Тоже никогда ругаться или ссориться не умела. С мужем все дела

мирно решали. Меня шлепнула единственный раз. За жадность. Я уже упоминала, что апельсины были тогда у нас большой редкостью. А тут завезли и во всех детских садах детям выдали по апельсину на полдник. Кто-то сразу съел, а я в шкафчик припрятала: хотелось насладиться им не спеша, на свободе. Мама меня забрала из сада, я ей похвасталась. А она беременна была. И так ей захотелось долечку! Она и попросила поделиться. А я руку с апельсином за спину завела и важно заявила: «В нашей стране всё лучшее — детям!» — «Ах, детям, — вспоминала потом мама. Говорит, за угол тебя завела, по попе пару раз шлепнула: — Вот что детям за жадность бывает!» А я даже не запомнила сей воспитательный момент.

Шура, младшая, в детстве решила хирургом стать. У них жиличка была (сдавали маленькую дальнюю комнатку с отдельным входом жильцам) — молодая женщина, хирург, приехавшая работать по распределению после института. И очень ей младшие сестренки полюбились — пятилетняя Шурочка и семилетняя Валюшка, все она удивлялась: в семье, где у всех волосы темно-русые, у Вали светлые, почти белые, кудри, а у Шуры — непослушная рыжая копна! Когда спросила Дуняшку, та только посмеялась: Валя — в деда, Ивана отца, а Шура — в бабушку с другой стороны, Дунину мать. Вот и вся загадка. Жиличка девчонок привечала, частенько разрешала им заходить к себе, карамельками одаривала. Однажды Шура заинтересовалась блестящими «штучками» на этажерке. «Штучками» были хирургические инструменты — жиличка их зачем-то достала, а убрать не успела. Шурка стала спрашивать, что да как, да зачем они. Та вкратце рассказала — этим операцию делают, режут, этим — укол, этим зашивают. Взяла крепкое-прекрепкое слово с обеих, что никогда к инструментам не прикоснутся, иначе больше не пустит к себе. И убрала подальше. Вале-то они и даром не нужны были, а у Шуры глаза разгорелись не на шутку. С тех пор самой главной Шуркиной игрой была — «операция». Объектом служили обычно Валькины ноги, руки и живот, инструментами — щепочки и палочки, а Шура гордо именовала себя «хилюлем». После школы Шура окончила медицинское училище, стала фельдшером, но на хирурга выучится не смогла — семья, дети...

Самые младшие, Валя и Шура, больше всех в детстве дружили. И обязанности по дому у них совместные были. Например, корову, Ночку, встретить вечером из стада да домой привести. Заиграются на улице, бывало, забудут. Мать доить идет, а коровы нет! Вальку с Шуркой вызовет с улицы, вицей для острастки погрозит, те и идут искать. У всех коровы как коровы — сами до калитки дойдут, да еще и помычат — тут, мол, я, открывайте. А их Ночка такая поплутная была: вовремя не загонишь — пошла по кустам бродить. Когда дни длинные, так ничего, далеко-то она не уходила, быстро можно было найти. А в августе вечера уже темные — как мама говорила: «Белую корову из-за куста не видать». А Ночка-то черная, поди-ка ее в темноте отыщи! Вот и рыщут они вдвоем по всей улице да слушают — не треснет ли ветка где. Ветки трещат да вздохи длинные слышны — вот она!

Шурка в детстве трусовата была. Ночку ищут, так Валька по любым кустам пролезет, а Шурка больше к домам жмется, где свет от окон падает. А еще «Зоей Космодемьянской» себя называла! А сама в уборную боялась вечером сходить, все Вальку просила. Хотя чего там страшного — у них уборная не на улице ведь: в сени выходишь — свет включается сразу у порога, сени пробежал — на крыльце тоже свет, а тут и дверь в уборную. И в уборной тоже свет. Нет, ни за что одна не пойдет. Валька смеется — какая же ты Зоя Космодемьянская тогда, а Шурка отвечает, что фашистов она тоже не побоялась бы, а в уборную идти — совсем к этому не относится.

Жили небогато — восемь детей да отец только работает. Поэтому и донашивали одежку друг за другом и рукодельницами все были, а каждая обновка была целым событием. Однажды, Вале уже четырнадцать лет было, а Шуре двенадцать, купили им обеим по обнове: Вале — кофточку, а Шуре — валеночки, да не обычные, как у всех, а белые, из тонкого войлока — роскошь! И такими они себя красавицами ощутили сразу, что решили всю эту красоту сфотографировать. Выпросили у матери деньги на самые дешевые, маленькие фотографии. Та поворчала немного, но дала. Тётяня уговорила — она как раз пришла к ним, сидели, чаевничали с Дуняшкой. Пошли девчонки довольные, а вернулись надутые, обе чуть не плачут.

Мама с Тетяней расспрашивают, что случилось. Те нехотя, слово за слово, рассказали. Оказалось, фотограф показал им, как это будет выглядеть примерно, на других фотографиях. Из-за того, что фотографии маленькие, то если снимать в полный рост, то Валькину кофточку совсем не разглядеть будет. А если снимать только верх, то Шуркины валенки не видно. Валька, как старшая, велела снимать только верх. Шурка обиделась и всю дорогу Вальке пеняла. Теперь обе недовольны остались. Шурка обижена, а Валька вину свою чувствует.

Дуняшка плечами пожала:

— Вот глупые-то! Нашли, из-за чего расстраиваться. Вон валенки не делись никуда

— любуйся так, а не на карточке!

А Тетяня засмеялась:

— Эх вы, девки, не догадались! Дак надо было тебе, Шурка, вверх ногами встать. Тогда и твои валенки видно было бы, и Валькину кофту!

Тут уж все засмеялись, представив такую картину. Даже Шурка дуться перестала.

— А что! Вот будем еще фотографироваться, я так и сделаю! А ты, Валька, будешь меня за ноги держать!

Так что, когда фотографии получили, все, знающие уже об этой истории, живо интересовались, где же Шуркины валенки.

У всех пятерых дочек жизнь удачно сложилась. Конечно, бывали и огорчения, и горести, но, в общем-то — и семьи хорошие, и работы, и достаток. И выучиться смогли, пусть в техникумах да училищах, но по тем временам это примерно как сейчас в институтах. Бабушка всегда дочкам говорила: «Учитесь, девки, образование не за плечами носить!» А Валя в школе не очень хорошо училась. Особенно физика ей почему-то с трудом давалась. Однажды готовилась к контрольной всю ночь, написала хорошо. Физик ей сказал, что даже не знает, что ей в четверти поставить — «крепкую тройку или слабую четверку», и Валя с радостью заявила, что крепкая тройка, конечно, лучше. Дома пересказала с гордостью матери, а та вздохнула: «Ой, Валька! Дак ведь в табеле не видно, крепкая она или шатается!»

Дочери дружили всю жизнь, помогали друг другу при надобности, и дети их тоже дружили. А вот внуки — уже меньше. Встречаются, не забывают родню, только редко: живут по разным городам.

Дети подрастали, обзаводились семьями и своим жильем. Но поначалу каждая, кроме Веры, пожила с семьей какое-то время в родительском доме. Когда Вера замуж выходила, народу у родителей полно еще было. Выход нашелся — Тетяня позвала к себе. Она одинокая, как мужа на войне убили, так больше замуж и не вышла. Домик малюсенький — кухонька да комнатка, но ничего, на первое время им хватило. А скоро Верин муж, Борис, зарабатывать хорошо стал, Тетянин домик продали, денег добавили, кредит взяли — и купили хороший дом. И Тетяня с ними жить стала, молодой жене Вере помогать по хозяйству, дочку их растила, пока родители на работе.

Нина к тому времени поступила в педучилище, окончила его, и послали ее по распределению учительствовать в школу на север Карелии, в поселок, который назывался — Летний. Видимо, первым его жителям так хотелось лета, тепла, солнца, что вот так его назвали. Там Нина замуж вышла, там дочек родила одну за другой.

Люся замуж вышла. Жили первое время у родителей в комнатке, которую раньше жильцам сдавали, потом тоже дом в рассрочку купили. Женька уже к тому времени в тюрьму попал, так что остались с родителями Валька с Шуркой да Сашка. Валя, как и Нина, окончила педучилище и на практику поехала к Нине в Летний. А там встретила свою судьбу.

Виктор приехал в Карелию работать в лесхозе — мать его строила на Волге дом, а какой лес на Волге? Вот и отправился единственный мужчина в семье (муж под Сталинградом погиб, а две дочки — так что с девок возьмешь) на заработки да леса раздобыть в Карелию. И заработал неплохо, и лес умудрился матери отправить, и Валюшку встретил. У Валюшки кавалеров всегда было — хоть отбавляй: симпатичная, бойкая, веселая. И на Летней хороший парень, Геннадий, уже к ней сватался, да тут Виктор появился. И вот любовь с первого взгляда у обоих.

Гена с Виктором, как водится, дракой начали отношения выяснять. Да все-таки решили, что тут девушка выбирать должна, Валя и выбрала.

Через месяц, на Валин день рождения, Виктор с Валей расписались в местном сельсовете. Пришла с работы Нина, а они сидят, вино пьют с конфетами. Нина спросила: «День рождения празднуете?» А они хохочут: «Свадьбу!»

Когда родилась я, они уехали жить тоже к матери, в родительский дом. Сначала жили в «жильцовой» комнатке, а через два года, когда Саша ушел служить в армию, а Шура, окончившая к тому времени медучилище, работала по распределению фельдшером в деревне, перебрались в «горницу», раньше бывшую комнатой девчат.

Жили мы у бабушки одной семьей: родители работали, дед с папой рыбачили и ходили в лес за ягодами-грибами, бабушка вела хозяйство. Родители просто отдавали ей бо льшую часть денег с каждой зарплаты. Мама рассказывала, что папа как-то осторожно поинтересовался у нее, почему они вроде бы дают достаточно денег, а продукты самые простые — картошка, рыба, грибы... Мясо совсем редко едят. Мама ответила, значит, не выходит по-другому, а если ему не нравится — то пусть сам ходит в магазин и сам готовит. Папа замахал руками и сказал, что он доверяет теще, что благодарен ей за заботу и так далее. Больше к этому вопросу они не возвращались. А когда папа окончил техникум (мне было четыре года), его повысили на работе и дали, как ударнику труда, отдельную квартиру. И вот, когда стали переезжать, бабушка дала

ему целую пачку денег и сказала:

— Виктор, ты все о мотоцикле мечтал. Так я тут с ваших денег скопила, не тратила все-то. Тут, наверное, хватит?

Папа и изумился, и восхитился.

— Ну, мать, спасибо тебе! А я и не думал, что ты экономишь!

— А как же, — засмеялась теща. — Видела, что ты иногда едой недоволен, да молчала. Вам, молодым, все бы спустить, так я и складывала денежки-то.

Зять долго еще благодарил, а потом всем рассказывал, как теща ему на мотоцикл накопила.

Да, бабушки наши, прошедшие и революцию, и разруху, и репрессии, и голодомор (как папина мама), и войну, вынужденные часто не жить, а выживать, и при этом умудриться сохранить семью и вырастить детей, — умели экономить. У моей школьной подруги Майки бабушка жила с ними в трехкомнатной квартире. Пенсия у нее была крошечная, да никто и не требовал от нее никаких трат. Она сама покупала внучкам то карамельки, то печенюшки. Но вот была у нее такая странность — собирала и сдавала бутылки. Ходила по городу со старой внучкиной коляской, набирала бутылок, ближе к вечеру спускалась к речке, там, где безлюдно, и мыла их. Потом шла в приемный пункт и возвращалась домой уже с пустой коляской. При этом как-то между делом и успевала все хозяйство вести: пока дочка с зятем на работе, а внучки в школе или в садике — и печки истопит, и уборку сделает, и поесть приготовит. Дочка, Майкина мама, много раз уговаривала мать не мыть полы, вообще не делать ничего тяжелого, а отдохнуть, а у той один ответ: «Мне не тяжело, а от безделья еще больше устану». А уж бутылки-то! Вдвоем и дочь, и зять просили не собирать, не позорить их, как будто бы ей денег не хватает! А она опять свое: «Бутылки все равно валяются, а разобьет кто? Дети могут порезаться! И собираете не вы, а я, а кому до меня дело есть?» И в приемном пункте, и всем знакомым тоже рассказывала, что бутылки она собирает, чтобы не валялись, а не ради денег. А через несколько лет таких вот «собираний» купила на бутылочные деньги обеим дочкам по ковру и телевизору. И ковры, и телевизоры стоили немало и были тогда показателем «богатства». А тут — сразу двум дочкам! Когда покупала (взяв с собой зятя с мотоциклом, чтобы довезти до дому), рассказывала продавцам, откуда у нее такие деньги. Так что весь город гудел несколько дней, все обсуждали новость и удивлялись, что можно было, оказывается, на бутылках скопить такие деньжищи! В результате бутылки не только перестали валяться в парке под скамейками или на улицах, но даже и мальчишкам, у которых летом любимая забава была — нырять за бутылкой, наполненной водой, с трудом удавалось их раздобыть. Поэтому для пацанов самыми ценными были бутылки со сколом на горлышке, такие в пункт не принимались, а значит, желающие обогатиться унести их не могли.

Наша семья переехала в квартиру, но горница недолго пустовала: Нина с семьей тоже решила вернуться в родной город. И тоже первые несколько лет жила у бабушки. Потом и они получили квартиру. А у бабушки стала жить Шура. Она уже отработала положенное по распределению в маленьком поселке и решила изменить свою жизнь. Списалась с бывшей однокурсницей из Белоруссии и поехала жить туда. Подружка часто рассказывала о Белоруссии, какие у них там раздолья, какие сады, какие аисты и соловьи... Вот Шура и отправилась. Поехала, устроилась на работу. Вышла замуж за местного парня и дочку родила. Да что-то не заладилось там. Дома лучше. Тоже вернулась к родителям, вернее, к матери: дед умер незадолго до того, инсульт. Но Шура пошла дальше всех сестер. Не стала жить с бабушкой одним домом, а переделала дом так, что получились как бы две отдельные квартиры. Бабушкиными оставались большая кухня и зал, а Шурина половина получилась из горницы, маленькой комнатки «за печкой» и «жильцовой» комнаты. Только вход был один, через сени.

Детство в бабушкином доме

Самое первое четкое впечатление детства: просыпаюсь утром в своей кроватке с сеткой, в комнате никого, зато за стенкой, в «зале», слышны голоса, позвякивание ложечки о стеклянный стакан. И — острое: «Чай пьют! А меня не разбудили!» Вскакиваю, переваливаюсь через сетку на пол и бегу босиком в зал. Там на большом столе пыхтит паром важный, блестящий и огромный, по моим понятиям, самовар. За столом — бабушка, дед, мама с папой. И бабушка уже сама налила всем чай! Хотя обычно краник самовара она разрешает поворачивать мне. Это же так интересно! И пимпочка у краника, за которую надо держаться, очень красивая: беленькая, ребристая. Как конфетка.

Я, возмущенно сопя, забираюсь на свой высокий стульчик. Он мне уже немного маловат, папа все хочет отпилить поперечную дощечку, чтобы не давила мне на живот, но я не даю: когда он сокрушается, что стульчик мне мал, нарочно втягиваю живот

и показываю, что между дощечкой и животом еще полно места. Дощечка — это мое пианино. Когда никто не видит, я представляю, что играю на нем разную музыку и красиво покачиваю в такт головой, как тетя Ида у нас в яслях...

Со всеми вместе пить чай весело! Папа рассказывает что-нибудь веселое, все смеются, а я рассматриваю себя в самоваре. Когда немного двигаешь головой, то лицо становится совершенно разным — то щеки, то глаза, то нос становятся толстыми или втянутыми, съезжают в стороны. А если скорчить рожицу, то будет еще смешнее. Но надо это делать только тогда, когда не видит дед — от него за рожицы можно и деревянной ложкой в лоб получить. Конечно, бьет он не больно, но всегда неожиданно, поэтому я вскрикиваю и сердито тру лоб. Бабушка машет на деда рукой, мама смеется, а папа подмигивает мне. И почему дед не любит, когда корчат рожи в самовар? Вот бабушке или маме это безразлично, а папа и сам может ого-го какую скорчить! Мне ни за что так не сделать!

Окна в доме маленькие, как и обычно в таких домах (хотя тогда, конечно, они казались мне большими), форточки узкие. Вот в форточке-то я и застряла однажды. Мама попросила позвать бабушку с огорода, я голову в форточку просунула, бабушку покричала, а обратно — никак! Не просовывается голова! Пыхтела я, пыхтела, не получается. Звать — кого? Бабушка-то уже в дом зашла, не услышит! (Это мне, двухлетней, так казалось.) Конечно, закричала со страху, мама с бабушкой прибежали. Разобрались быстро. Голову-то, говорят, набок поверни! И правда, повернула, все получилось. Это я сообразила повернуть голову, чтобы она влезла в форточку, а обратно — умишка не хватило.

И тут же наступила на те же самые грабли.

Кроватка у меня была обычная, как у многих детей тогда: металлическая, со спинками с вертикальными прутьями и сетчатой передней стенкой. А у кроватки прутья такие, что голова как раз пройдет — и туда и обратно. Ну, я и попробовала: просунула голову между прутьями. Прекрасно прошла. А обратно — опять никак! Уши мешают. И им больно! Ревела я больше, кажется, от обиды — как же так? Туда — уши не мешали, почему обратно мешают? Прибежали на мой рев опять все. Стали тянуть — я еще громче кричу. Хорошо, папа смог прутья немного раздвинуть, выскочила моя голова. Только уши потом горели. Мама с папой смеются, а бабушка сердится — вот, мол, глупая, только что из форточки достали, так она в кровать умудрилась засунуться. Ну как они не понимали: это же был научный эксперимент!

Правда, до этого есть еще одно мимолетное воспоминание: я сижу на столе. Передо мной на стуле какая-то тетенька. Она придерживает меня руками, улыбается и напевает: «Леночка-ленточка! Леночка-ленточка!» И это мне очень-очень нравится.

Мама, когда я ей потом рассказала про это, очень удивилась, что я помню: мне было тогда всего года полтора. А женщина была бабушкиной «жиличкой» — снимала комнату с отдельным входом из общих сеней. Видно было, что маме неприятно вспоминать о ней. Оказалось, эта женщина пыталась моего папу себе заполучить!

* * *

В зале у бабушки жили большущий фикус и чайная роза. Она никому не разрешала их поливать и даже трогать. Если у фикуса иногда вдруг падал лист — это было так здорово! Мне он казался огромным. С этим твердым прохладным листом можно было интересно играть: сделать из него лодку для куклы, или мост через речку, или кроватку. А роза мне не нравилась. Во-первых, почему «роза», когда это целое дерево? Во-вторых, почему «чайная»? При чем тут вообще чай? Чай — это самовар и ложечка в стакане звенит, а у нее ничего этого нет. В-третьих, жадная! Если фикус дарил иногда листья для игры, то роза роняла свои цветы только тогда, когда они были уже сморщенными и вялыми и ни на что не годились.

Загадка названия — «чайная роза» — долго не давала мне покоя. Ведь даже и цветы-то вовсе не чайного цвета, а самого что ни на есть красного, и к заварке никакого отношения цветок не имел. Да и размеров растение было вовсе не миниатюрного, чтобы можно было, например, стол во время чаепития украсить, а самого внушительного — почти с человеческий рост. Потом мама объяснила: цветок был гибискус, или китайская роза. Вот в народе «чайна» — «китайская» — и преобразовалось в «чайную».

* * *

Лет с трех, наверное, меня очень злил вопрос взрослых: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Почему-то этот вопрос был тогда популярен, как будто всех взрослых вот прямо-таки волновало будущее первого встречного ребенка. Мне не нравился этакий снисходительный тон, которым обычно спрашивали. Будто бы сами при этом думают: «Ну, давай, скажи, а мы повеселимся».

Эй, взрослые! Откуда я знаю, что я буду делать, когда вырасту! Вот вырасту —

тогда и спрашивайте. И я придумала «отмазку». Тогда по радио все время звучало «космос», «космонавты», «ракета» и тому подобное. И я, когда мне опять задали этот вопрос, небрежно так ответила: «Космонавтом». Спрашивающий явно не ожидал такого созвучного эпохе ответа. И смотрел на меня потом с явным уважением. И даже, пожалуй, с опаской: кто их, этих современных детишек, знает? А вдруг рядом с ним и правда будущий космонавт сидит?

Так что я потом уже уверенно отвечала всем любопытствующим так же. Хотя абсолютно никогда не собиралась летать в космос. Да ну, что там интересного-то? Темнота сплошная и звезды. А вот здесь!..

* * *

Мое любимое место в бабушкином доме — подоконник в кухне. Он кажется мне очень широким — можно удобно сидеть и даже ноги вытянуть. С этого подоконника видно все: что происходит на кухне или в зале, как горит в русской печке огонь (если не закрыта железная заслонка), дорожка от калитки до крыльца — если кто идет, сразу видишь и можешь сказать всем.

(Когда я уже училась в институте, пришла к бабушке и посмотрела на подоконник. Он оказался совсем узеньким, я попробовала на него сесть — и не влезла. Потом рассказывала маме, и она уверила меня, что этот подоконник был любимым местом у всех ее сестер и братьев, так что даже драки случались из-за него.)

Я сижу на подоконнике. Уже вечер, за окном совсем темно. Возле стола на скамеечке сидит дед, подшивает валенки и тянет какую-то бесконечную песню. Мы часто так с ним сидим, дед говорит, что ему со мной веселее. Да и мне тоже, хотя все удивляются — что тут веселого? В печке горит огонь, там в чугунке варится картошка назавтра поросенку. Когда она сварится, я попрошу у бабушки одну или две, непременно с плюснями! Смешные взрослые! Они всегда очищают картошку от шкурки, а надо ее есть так, вместе со шкуркой. Она тогда солененькая и очень вкусная.

Тянется дратва, тянется песня... И от этих равномерных движений дедовой руки, от размеренно-тягучих звуков песни, от мелькания огня в печке, от как будто бы вкуса картошки во рту — делается тепло и уютно, и глаза сами закрываются.

— Ой, бажоная, спит совсем! — бабушка подхватывает меня на руки. Я прижимаюсь к ней щекой и хочу сказать, что я вовсе и не сплю, что еще буду картошку есть! Но губы совсем меня не слушаются, и бабушка несет меня, а куда — я уже не вижу...

* * *

И еще такое воспоминание: ночь, я сплю в своей кроватке, вдруг откуда-то приходит папа, они с мамой будят меня, весело смеются и почему-то кормят зубной пастой из тюбика. Я сначала не хочу и сержусь, но потом мама ест эту пасту и показывает, что это вкусно, я пробую, и мне тоже нравится.

Через много лет я рассказала это воспоминание маме, недоумевая, зачем нужно было среди ночи будить ребенка и кормить его зубной пастой? Мама очень удивилась, что я помню, а потом смеялась. Оказывается, папа учился тогда заочно в строительном техникуме и ездил на сессии. В тот раз он приехал после первой сессии. До этого он никуда не уезжал, а тут — целый месяц! Вот мама и обрадовалась, когда он вернулся. Был еще вечер, просто я уже успела заснуть, а тут проснулась от света и разговора. Папа привез лакомство: мармелад в тюбиках (тогда, после полета первых наших ракет, модно было выпускать в тюбиках, как у космонавтов, всякие продукты). И мама решила угостить вкусняшкой ребенка. А зубной пасты тогда вообще еще не было, только порошок в картонных круглых коробочках.

Видимо, мои детские воспоминания смешались с более поздними впечатлениями, и получилось, что мама кормила меня зубной пастой.

* * *

Надо сказать, в самом раннем детстве я была трусовата. Это потом, лет с пяти, все заборы, окрестные дворы, крыши сараев, кучи бревен, которые привезли на дрова — были мной облажены и обследованы. А в три с половиной года — что ж, «бояка» была, что было, то было.

За нашей речкой Журавкой на лугу росло много «бубенчиков». Так у нас назывались купальницы. А через речку (она неширокая) можно было перейти по бонам. Боны — такие то ли мостки, то ли узкие плоты, связанные между собой. В общем, что-то вроде подвесного моста, но на воде. И вот мама решила показать ребенку красоту луга за рекой, ну, и бубенчиков нарвать.

Мы прошли по бонам, наверное, пару метров, как вдруг я поняла, что ноги погружаются в воду! Конечно, я решила, что мы все сейчас утонем — и я, и мама, и боны! И, конечно, стала кричать и проситься обратно. Мама уверяла, что не утонем,

боны держат. А просто немного намочим ноги. Я стонала со слезами уже, что мокро.

Тогда мама взяла меня на руки.

— Вот, смотри: твои ноги теперь не намокнут!

Я помню своё сомнение: вроде и да, мои ноги не в воде уже. А мамины-то? Она утонет! А что мне тогда делать? Как домой попадать? Я же одна по бонам боюсь идти!

Перебрались мы все-таки вполне благополучно. На том берегу, и правда, было очень красиво. Я набегалась на мягонькой травке, насобирала тоже каких-то цветочков. И обратно даже согласилась сама пройти. Но с мамой за руку. Правда, на середине речки, когда вода дошла до моих коленок, все-таки не выдержала и снова на руки попросилась. Все-таки так надежнее!

А в лесу примерно в эти же дни цвели ландыши. И вот папа с мамой решили за ними съездить. Своего мотоцикла у нас тогда еще не было, сосед давал напрокат. До леса доехали быстро. Поставили мотоцикл на обочине. И вот тут на нас налетели просто-таки огромные полчища комаров!!

Что ж вы хотите: Карелия, лес, конец мая — начало июня. Ни о каких репеллентах, кроме одеколона «Гвоздики», знать не знали. Да его еще в продаже пойди-ка найди. Впрочем, он и не помогал почти.

И вот все эти комары, казалось мне, налетели именно на меня. Почему-то родителям они не докучали абсолютно. После нескольких попыток отмахнуться, я стала кричать и проситься домой. А у родителей — романтическая прогулка в лес за ландышами. Им было-то чуточку за двадцать лет тогда...

И папа вот что придумал: с совершенно серьезным видом он уверил меня, что надо просто стоять под мостиком. Там протекала небольшая лесная речушка, скорее, ручей. Глубиной взрослому по колено, наверное. А через нее — бревенчатый мостик. Под мостиком, мол, комары не достанут. И еще дал мне ветку. Сказал, что надо отмахиваться — комары этого боятся и подлетать не будут. Я потопала под мостик, размахивая веткой. Родители — быстренько в лес, под елки, за ландышами. Они, конечно, совсем рядом были, не углублялись, но мне за молодыми елочками их было не видно.

Ничего мостик не помог! Да и ветка — тоже почти. Комариная туча просто атаковала! Орала я знатно. Весь лес, наверное, содрогнулся!

Сколько времени нужно, чтобы набрать букетик ландышей в лесу, где они сплошным ковром? Минут пять? Мне-то казалось, что очень долго!

В общем, сорвала я родителям всю попытку романтизма. Надо сказать, что прибежали они очень испуганными. Думали — может, я в речку упала? Пусть ручей, но мало ли что? Отбили меня от комаров, посмеялись немного да и поехали обратно.

Бабушка спросила, мол, что так быстро вернулись. А папа тут же сочинил историю. И с серьезным видом ее преподнес:

— Представляешь, мать, чуть нашу Лену комары не унесли! Мы ландыши рвем, слышим, кричит дочка. Прибежали, а там! Комары-то Лену со всех сторон подхватили и уже летят! И Лену тащат, как Гуси-лебеди! Мы с Валей на них как закричали! Как ветками замахали! Ну, они испугались да Лену-то и отпустили.

— Поди! Чего выдумал-то, Виктор! — замахала на него рукой бабушка. — Нешто комары робенка поднимут?

— Да? Не поднимут? — «удивился» папа. — Ну, значит, нам показалось.

А я эту его придумку на веру приняла. И потом еще долго была уверена: всё именно так и было. Комары меня унести хотели, а папа спас!

Карельское меню

Дочери уже жили отдельно, своими семьями, но часто на праздники собирались у матери. И еще два раза в год обязательно: сажать картошку и копать картошку. Картошка — это было наше все! Картошку ели на обед и ужин, без картошки не обходился ни один суп, картошкой кормили скотину. А какие калитки и колобки получались из нее! Поэтому картошки сажали много, чтобы сполна хватило до следующего урожая. А поскольку у тех, кто жил в городских квартирах, не было ни своих мест для ее выращивания, ни погребов для хранения, то и сажали на бабушкином картофельном поле и хранили в ее погребе.

Договаривались заранее на подходящий выходной: в мае — сажать, в начале сентября — выкапывать. Мужья копали, жены собирали или укладывали в борозды, дети помогали, в меру возраста, а скорее, просто бегали и играли, бабушка готовила на русской печке еду на всех.

Дочки обязательно на каждое такое семейное «собрание» просили ее испечь рыбники и калитки.

Картофельные калитки я до сих пор обожаю. Это такие карельские круглые — пироги? Ватрушки? Тесто делается из муки — пополам ржаной и пшеничной. Безо

всяких дрожжей. Раскатывается тонкий пласт крутого теста, блюдцем вырезаются круги, на них кладется много начинки — картофельное пюре со сметаной или пшенная крутая каша, тоже со сметаной. Края защипываются особенным образом, волной. И пекутся в русской печи. Пшенные калитки я никогда не любила и не понимала, что в них вообще может быть хорошего, а вот мои двоюродные сестры очень их любили и не понимали меня.

Рыбник — это отдельный разговор. Тесто делается очень крутое, только из ржаной муки. Внутрь кладется речная рыба — если мелкая, то целиком, крупная — большими кусками. Обязательно с головой. И лук. Края закрываются как конверт, крест-накрест, и защипываются сверху. Важно защипать очень хорошо, иначе вытечет самое вкусное — рыбный бульон. Корка у рыбника получается твердая, даже немного хрустящая, особенно уголки, а внутри она на полсантиметра пропитывается рыбным бульоном и получается мягкая, сочная, солоноватая. Я рыбники не любила, ела только верхнюю твердую корочку или хрустящие уголки. И не понимала — зачем делать пирог с рыбой, когда ее гораздо вкуснее съесть жареную или в ухе. Да и рыба-то костлявая! Если бы без костей, тогда ладно, да разве рыба без костей бывает?

Дочкины мужья (так уж получилось, что все они были не местными) тоже сначала не могли есть странное блюдо, но постепенно распробовали и уже вместе с женами просили тещу обязательно испечь рыбники. А я вот думаю — стала бы я его есть сейчас (ну, естественно, исключая голод и бескормицу)? Наверное, нет, если только корочку погрызла бы, как в детстве.

И еще я любила ряпушку. Бабушка ее не жарила, а просто укладывала рядками на огромной сковороде, сверху слой луковых колец, немного воды, немного подсолнечного масла, накрывала крышкой и ставила в печь. Вот это было вкусно! А самое главное, за что я любила и даже уважала ряпушку (вот ведь рыбка какая добрая!) — в ней не было костей, кроме единственного хребта. Да и вкус у нее был не такой, как у обычной рыбы — нежный, чуть сладковатый. Очень похоже на невскую корюшку, только без специфического запаха.

«Арбуз»

Любимым отдыхом бабушки были «бесёды». К ней приходили ее подружки — такие же бабушки, как она, в платочках, маленькие, сухонькие. Ставился самовар, и текли разговоры за чаем с их любимым лакомством — конфетами-«подушечками» и сахаром. Сахар бабушка признавала только кусковой и не рафинад, а тот твердый, который нужно было колоть щипчиками. Вазочка с колотым сахаром и щипчиками всегда стояла у нее на столе, а во второй вазочке — «подушечки»: светло-розовые, желтоватые, голубоватые. Сидят две бабушки, пьют бесконечный чай с одной «подушечкой» или кусочком сахара, неспешно разговаривают... Это называлось «зайти на бесёду». Иногда бабушка говорила: «Пойду к Лёле (или Гале) на бесёду», — надевала новый платочек и уходила.

Дверь в дом никогда не запиралась. Если все уходили, то поперек двери просто ставили наискосок большую палку. Это значило: «Дома никого нет, приходите в другой раз». А ключ от входной двери лежал на карнизе над дверью. И был он точно такой, как в сказке про Буратино: большущий — на взрослой ладони не поместится, с фигурным колечком и зубчатой бородкой. Ключом нам играть не разрешалось, чтобы не потеряли, можно было только посмотреть и сразу положить на место. А в двери, как в другой сказке, «Красной шапочке», свисала веревочка. Помните: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Вот и у бабушки было точно такое же устройство! Хоть и было оно совсем простым (с другой стороны веревочка привязывалась к щеколде; потянешь за нее — щеколда поднимается), но мне казалось волшебством, как и ключ «из сказки». Мы, конечно же, потихоньку брали «волшебный» ключ для своих игр.

У нас, детей, двоюродных сестер и братьев, были свои занятия и игры. Впрочем, братьев всегда было меньше, как-то больше девчонок у нас было. А на очередном майском «картофельном собрании» нас пока было всего пятеро: Ирине и Валерику по десять лет, Марине и Людашке — четыре с половиной и три с половиной, мне — два с половиной. Маришка с Людашкой приехали с родителями в отпуск с Летней. Иринка с Валеркой, как старшие, были приставлены к нам няньками. Сначала играли во дворе, потом нас решено было повести на «экскурсию» в Летний сад, который был всего в трех домах от бабушкиного. Повели по всем правилам: Валерик впереди, потом малышня гуськом, замыкающей — Иринка. У нас в городе был свой Летний сад — просто старый парк, танцплощадка и летняя эстрада со скамейками, обычными, даже без спинок. Дети всегда любили бегать по этим скамейкам. Тем более что от ряда к ряду они становились все выше, так что у взрослых, сидевших на первых рядах, коленки поднимались чуть ли не к груди, а на последнем ряду ноги не доставали до земли.

В Летнем саду мы играли в прятки, но вдруг Иринка озабоченно сказала:

— Сейчас дождь начнется. Надо быстрее уходить!

И действительно: только что было солнечно и весело, а тут как-то сразу все стало серым и тяжелым. Пошли в том же порядке. Вдруг, только перешли дорогу, Валерка замер и каким-то странным голосом сказал:

— Тихо! Не шевелитесь! Убьет!

Примерно в метре от нас по-над дорогой катился арбуз. Правда, был он без полосок, просто серо-зеленый, и катился сам.

— Арбуз! — восхитилась я и уже хотела побежать к нему, но Валеркин голос был таким страшным, что я замерла, да и остальные тоже не смели двигаться:

— Лена! Стой! Не шевелись, замри! Все замрите, только не шевелитесь! Это не арбуз! Убьет!

Мы стояли не двигаясь, даже дышать, кажется, стали реже, только глаза поворачивали вслед за «арбузом». Валерка все повторял:

— Не шевелитесь! Замрите! Не шевелитесь!

«Арбуз» медленно проплыл мимо нас, поплыл дальше и дальше. И вдруг налетел сильный порыв ветра, подхватил его и понес в небо.

— Бежим! — закричал Валерка.

Он подхватил меня на руки, Иринка схватила за руки девчонок, и рванули изо всех ног. И вовремя — когда уже подбегали к крыльцу, стеной хлынул ливень, да такой, что мы мгновенно вымокли до нитки. Взрослые уже тоже бежали в дом, смеясь и подгоняя друг друга. Валерка с Иринкой стали, перебивая друг друга и показывая в лицах, рассказывать о нашем происшествии. Оказалось, что это была шаровая молния. Валерка-то сразу это понял, поэтому и велел нам замереть. Где-то он слышал, что, когда увидишь ее, нельзя шевелиться, потому что потоком воздуха ее может притянуть, и тогда — конец. Все стали хвалить Валерку, что он молодец, не растерялся и всех спас, только дядя Коля смеялся и говорил, что такого не может быть и нам просто показалось.

Иринка возмутилась:

— Всем пятерым показалось, что ли?

Стали расспрашивать всех по очереди, и все рассказали — кто про «мячик», кто про «арбуз», но в общем рассказы совпадали. Так что Валерка долго еще ходил в героях, спасшим пятерых человек. А я до сих пор помню: все вокруг серое и тяжелое, а над дорогой медленно плывет серо-зеленый арбуз...

Валенок

Зимой бабушкин огород засыпало снегом. Туда же сбрасывали снег со всего двора, когда его расчищали. Так что слой снега к концу зимы на огороде был метра полтора толщиной.

День рождения бабушки в феврале. Как обычно, собрались все дочери, зятья, внуки. Взрослые долго сидели за столом: разговаривали, пели песни. А мы, ребятня, пошли гулять. Забрались в огород. Сугробы за зиму слежались, стали плотными, и мы почти не проваливались. Лазали по снегу, изображая «полярную экспедицию». Валерка был капитаном ледокола, Иринка пилотом самолета, который должен сесть на льдину, а мы полярниками.

Вдруг Мо шинка уселась на сугроб и растерянно сказала:

— У меня валенок в снегу застрял и не вытаскивается.

И точно: сидит она, на одной ноге валенок, а на второй шерстяной носок. И рядом глубокая дырка в снегу.

Пытались мы туда руки совать, валенок выудить, Валерка даже пальто снял, чтобы рукав не мешал — никак. Мошинка уже плачет: нога замерзла. Что делать? Звать взрослых — попадет. За что, не очень понятно, ведь валенок не мы утопили. Но что попадет, точно понимали. И особенно потому, что Мошинка самая младшая, да и болеет часто. А тут — сидит на снегу с почти голой ногой. Иринка сообразила: сбегала в сени, принесла старый дедушкин огромный валенок и деревянную «снеговую» лопату. Так еще и уговаривать пришлось, чтобы надела, согласилась только тогда, когда мы сказали, что нам за нее влетит. Валерка с Иринкой по очереди чуть ли не пол-огорода перекопали, да так и не нашли. Пришлось отправляться в дом. Замечательное шествие получилось: впереди красная от работы Иринка с большой лопатой наперевес, длинные косы расплелись и висят из-под шапки прядями, Валерка на руках сестру тащит, одна нога которой в огромном валенке, рядом Маришка поспевает да валенок двумя руками придерживает, чтобы не свалился, сзади мы с Людашкой с вытянутыми от расстройства лицами.

Влетело нам, конечно, хотя и оправдывались хором, что ненарочно. За то, объяснили нам, что надо было сразу взрослых звать. Папы взяли лопаты и пошли искать

валенок, да так и не нашли, хотя перекопали весь снег на несколько раз. Хорошо, что у дедушки хранился запас старых валенок: он подшивал эту незаменимую на севере обувь всей родне и знакомым, а те ему несли сношенные, чтобы из верха подошвы для подшивки делал. Подобрали Мошинке более-менее подходящий, чтобы хоть до дому дошла.

На другой день ей купили новые.

А весной, когда снег растаял, валенок нашелся. Тетя Люся, ее мама, смеялась: ну вот, хорошо, что второй не выбросили: кому-нибудь пригодятся.

Трюфеля

Внуков у бабушки Дуняшки прибавлялось: у Вали родился Дима, а через неделю Шура родила дочку Наташу. Когда Наташе исполнилось полгодика, Шура с семьей перебралась из Белоруссии в Пудож и отделила полдома; сестры не возражали.

Наташа с Димкой крепко дружили и все время изобретали какие-то проказы. Вернее, изобретателем и инициатором была Наташа: если они собрались вместе и что-то натворили, то уж, будьте уверены: придумала Наташка, а исполнитель — Димка. Тетя Шура звала дочку за это «зажигалкой». Да тот и сам был рад набезобразничать, еще и от себя что-то добавит. Так сказать, творчески претворял в жизнь Наташкины выдумки. Ну, уж доставалось, конечно, обоим.

То Наташка на братце проверяет теорию о том, что от мухоморов вырастают на руках бородавки. То под видом макарон Димка набирает полный рот живых червяков. То утопят игрушечную посудку в бочке с дождевой водой и сами туда чуть не нырнут. То лазают по куче только что наколотых дров и раскатают ее по всему двору... Я в их проказах обычно не участвовала, но иногда и меня «задевало».

Как-то к бабушке приехали ее родственники из северного города Мончегорска — бабушкин двоюродный брат дядя Вася с женой. Не виделись они с еще довоенных времен, когда вместе жили в Ченеже. Дядя Вася на войне был тяжело контужен, ослеп и почти оглох. Выхаживала его в госпитале молоденькая медсестра Наденька. Была совершенно романтичная и совершенно обычная в то время история, когда медсестричка и раненый боец полюбили друг друга. Надя увезла Васю в родной город, вышла за него замуж, родила и вырастила сына... И очень любила своего Васю. А Вася, несмотря на то что был совершенно слепым, помогал любимой как мог. И по хозяйству наощупь все делал, и даже зарабатывал: мастерил из открыток модные тогда шкатулки. Открытки нарезала сначала Надюша, а потом — подросший сын. Как обычно, сын вырос, создал свою семью, перебрался в другой город. Спрос на шкатулки постепенно ушел, да и руки у дяди Васи стали сильно дрожать, не мог уже делать тонкую работу. Теперь он мог только целыми днями слушать радио, поставив его к себе на плечо и прижав к уху. Ну и затосковал, конечно. Так верная Надюшка решила его отвлекать — вывозила время от времени к родственникам в другие города или поселки. Благо, что она тоже уже была на пенсии. Вот и к бабушке собрались и попали как раз на осеннюю «картошку». Картошку у бабушки уже сажали только для нее и для двух семей — нашей и тети Шуриной. Мне тогда было двенадцать лет, а Димке с Наташкой по шесть. Взрослые работали на картошке, мы немного помогали, а потом нас отправили во двор, чтобы не путались под ногами. В доме оставался только дядя Вася.

— Лен, а что ты нам свой трюфель отдала? — вдруг вспомнила Наташка.

Целый килограмм трюфелей привезла в «гостинец» тетя Надя. Трюфели были ужасно дорогими, раза в два дороже обычных шоколадных конфет, и их обычно никто не покупал, разве что по очень уж большим праздникам. Так что мы их и пробовали-то всего пару раз. А тут нам выдали по конфете. Малые сразу свои съели, а я не любила шоколад — почему-то от него начинала чихать. Видимо, это было что-то вроде аллергии, но кто тогда об этом знал? Так что я свой трюфель разрезала ножом на две половинки и отдала им. Конечно, они эти половинки с радостью слопали, а вот теперь Наташа почему-то про них вспомнила.

— Да не люблю я трюфели, они слишком шоколадные! А я от шоколада чихаю, — объяснила я.

— Просто ты их ешь неправильно! — с жаром воскликнула Наташка.

— Ага! — подхватил Димка. — Надо не откусывать, а сразу целую конфетину в рот засунуть, тогда вкусно будет!

— Ну да, — усомнилась я, — какая разница, есть целиком или по кусочкам, вкус-то все равно один и тот же.

— Ты попробуй и увидишь! — уверяли они меня.

— Да ладно, все равно нам больше не дадут. Тетя Шура же сказала, что это для взрослых, а детей нечего такими дорогими конфетами баловать, — вспомнила я.

— Ну, все-таки ты уже почти взрослая, может, тебе дадут еще, если попросишь? —

наивно предположил Димка.

— Нет, — отказалась я. — Не буду я просить. Всем троим не дадут, а для себя не хочу.

У Наташки вдруг вспыхнули глаза.

— Тебе же надо попробовать, как вкусно, когда целую конфету ешь? И тебе бы, может быть, одну дали бы? — вкрадчиво начала она.

— Сказала же, не буду просить. И вообще, прекрасно обойдусь без трюфеля.

— Нет, Лена, — подхватил Димка. Кажется, он понял, что задумала Наташка. — Тебе надо попробовать!

— И как я это сделаю теперь? Вот кто-нибудь угостит, тогда и попробую.

— Ну, ждать еще! — протянула Наташка. — Там вон, в буфете, целый пакет!

— Ага, пакет! Только не нам! — возмутилась я.

— Да мы возьмем только одну штучку, для тебя. Надо же тебе попробовать! А себе по-честному брать не будем, — уговаривала меня Наташа.

Я подумала: а вдруг, и правда, целиком конфета будет вкуснее? И когда я еще попробую? Конечно, брать потихоньку плохо, но ведь всего одну! Тем более что свою я отдала малым...

— Ладно, — согласилась я. — Но только смотрите, одну!

Мы пошли в дом. И переглянулись: прямо возле буфета на стуле сидел с прижатым к уху радио дядя Вася. Его полуприкрытые глаза, как обычно, были направлены куда-то в пол.

— Нет, там дядя Вася! — я решительно повернула обратно.

— Ну и что? — Наташка с Димкой невинно смотрели на меня. — Он же не видит ничего! И почти не слышит! Мы потихоньку возьмем, он и не почувствует!

Но мне это показалось противным — как будто обворовываешь человека, пользуясь тем, что он слепой и глухой.

— Все! Не хочу! — я пошла из кухни. — Раз человек не слышит и не видит, так можно у него воровать?

— Да не у него же! — ребята бросились за мной. — Они же конфеты бабушке привезли. А бабушка все равно их раздаст, она же только свои «подушечки» любит.

— Нет, все, я сказала! Не лезьте туда! Если бы так просто взять, еще ладно, а под носом у слепого — это... Ну нельзя!

Я ушла к взрослым и стала собирать в мешок картошку, которая уже подсохла. Через некоторое время малые позвали меня во двор.

— На! — Наташа протянула мне трюфелину. — Вот честно, взяли только одну, для тебя! И больше не будем, правда! Пробуй!

Мне даже ругать их не хотелось — такими честными были их мордашки! И ведь правда, обо мне позаботились. Развернула фантик и положила конфету целиком в рот. Он тут же наполнился горьковатым шоколадом, и это действительно оказалось вкусно! Конфета таяла у меня во рту, а Димка с Наташкой вопросительно смотрели на меня.

— Правда вкусно! — сказала я. — Теперь всегда так буду шоколадные конфеты есть.

— Вот видишь, мы же тебе говорили! — обрадовались они.

— Ну и что вы радуетесь? — засмеялась я. — Раньше я вам свой шоколад отдавала, а теперь сама буду есть!

— Ешь, Лен, — серьезно сказала Наташка. — Нам и своего хватит. А то что это, тебе и конфетку-то не съесть.

— Ладно, спасибо, ребята. Только у дяди Васи больше не берите, ладно? — вздохнула я.

— Конечно, не будем! — заверили они. — Мы же, только чтобы ты попробовала!

К слову сказать, от той конфеты я не чихала. И вообще перестала чихать после шоколада. Вот так Наташа с Димой меня «вылечили».

Дом пустеет

Постепенно бабушкин дом пустел. Умер дед, дочери и младший сын жили своими семьями в отдельных квартирах. Половину дома, которую отделила тетя Шура, решили продать (тети-Шурина семья получила квартиру). Так что сделали отдельный вход для той половины и продали. Картофельное поле тоже поделили пополам с соседями.

А вскоре его забрали: это место, захватив и ту улицу, что была за картошкой, заняли под строительство новых благоустроенных домов. Теперь у бабушки оставалось только полдома, небольшой двор с сараями и огородик. Все как-то устроились: у Веры и Люси были свои дома со своей картошкой и своими погребами. У Сашкиной тещи тоже был свой дом, так что картошку он сажал и хранил теперь там. Нина, Валя и Шура тоже взяли себе картофельные наделы рядом с окраиной города, вот только

хранили и ее, и морковку с капустой, которые закупали по осени в совхозе мешками, по-прежнему в бабушкином погребе. Наказав ей строго-настрого, чтобы брала все, сколько ей нужно и не экономя на себе. Она и брала, строго соблюдая очередь: сегодня из Нинкиных мешков, потом из Валькиных, потом из Шуркиных. И пыталась первое время отчитываться, сколько чего у кого взяла. Но тут уж и дочки, и зятья, не сговариваясь, заявили, что нечего считать, пусть хоть все берет из именно их мешков, что надо будет — так еще купят.

Так что и в огороде бабушке сажать уже ничего не нужно было. Росли там у нее сирень, несколько кустов смородины и маленькое вишневое деревце. Вишен всегда почему-то было мало, буквально несколько штук, да и они никому не доставались — еще не успевали созреть, как их расклевывали птицы.

Зато бабушкин двор мы использовали как стоянку для своих велосипедов. На речку же или пешком надо идти, или за великом все время следить, чтобы не увели, или кого-то просить покараулить. Но кого уговоришь, если всем в воду хочется! А нам — красота: доезжаешь до бабушкиного дома, велик во двор, а речка — вот она, рядом! Все друзья нам завидовали.

Вместо огорода практичная тетя Шура устроила грядки с клубникой. Предложила и маме. Вечером после работы приходили полоть да поливать.

Наконец, три новых дома — кирпичные, пятиэтажные, с квартирами «улучшенной планировки» — за бабушкиным огородом были достроены. И нашей семье дали в одном из них квартиру. А тетя Шура жила в соседнем. Теперь за клубникой было проще ухаживать — рядом же совсем! Да и с лоджии можно проследить, не залез ли кто в огород. На всякий случай, не говорили никому про клубнику: узнай кто — могли и ребятишки залезть, да и взрослые нашлись бы, любители поживиться на дармовщинку. А любопытным соседкам (опять же со своих лоджий наблюдавших, как Валя с Шурой на грядах возятся), рассказывали, что зелень там растет да морковка.

Я уже жила с мужем и дочкой в другом городе, но на каждое лето приезжала в Пудож. Раздолье — речка рядом, Летний сад... Дочке было два годика, когда клубники был небывалый урожай: с этих небольших грядочек мама приносила каждый вечер ведро ягод, и так, наверное, дней десять, потом поменьше, конечно, но все наелись от души, и варенья наварили, и племянника Славика, Сашиного сына, наугощали.

Пытались угощать и бабушку, но она съест ягодку и морщится: кисло. Дочки уговаривают — в сахар макай, а она не хочет, говорит, дитям отдайте. Они ей все равно мисочку с самыми отборными, крупными и красивыми ягодами на столе оставили. Так на следующий день тетя Валя, Сашина вдова, зашла к нам, рассказывает:

— Шура каждое утро Славику клубники от вас приносит, а вчера бабушка вечером еще миску несет. Говорю ей, куда ему столько, и так Шура с Валей много дают, а она — пусть робёнок поест.

— Это мы ей оставили, — объяснила мама. — Так ведь она не хочет!

— Дак скажите, что Славка не обижен, пусть бы сама поела!

— Говорили. Да ты же ее знаешь — сама не съест, что получше, все раздаст.

— Дак это так, она уж такая.

А вечером звонит тетя Шура:

— Валька, выйди на лоджию, посмотри на огород.

Мама посмотрела, а там бабушка по клубнике с мисочкой ходит.

— Шура, ну ты подумай, собирает! Там ведь одни зеленые остались, мы только что все обобрали!

— Дак а я про что! Ладно, сейчас уж не пойду, а утром снова ей нарву спелых.

Утром Шура опять принесла миску самых хороших ягод бабушке, говорит, мол, мама, ты не рви зеленые-то, вот тебе хорошие, спелые. А она:

— Шурка, я же не себе, Славику!

— Дак я и Славику ношу, Валька же тебе говорила! У Веры и у Люси своя клубника растет, Нина девочек на Летнюю увезла. А уж если ты кого захочешь угостить — скажи, мы тебе еще спелых ягод дадим, сколько надо. А хочешь сама нарвать, днем собирай, до того как мы с Валькой оберем. И сама ешь с сахаром! — посыпала сахаром: — Вот, попробуй, сладко!

Бабушка попробовала:

— Ну, так-то сладко!

— Вот и ешь! А Славику вот на, отнеси.

В этом была вся бабушка — сама не доест, а что получше — внукам. Принесет ей Люся кусок мяса хорошего, она себе отрежет на суп чуть-чуть, а остальное, глядишь, уже другой дочке тащит. Папа с рыбалки приедет, лучшую рыбу — бабушке, а она опять уже ее кому-то отдает. У дочек-то все мужья рыбаки, так Сашиной вдове отнесет. И так во всем.

Так я и помню ее: в болоньевом плащике, подаренном кем-то из дочек, в платочке,

в руках сумка, а в сумке — обязательно кому-то гостинец...

Под конец жизни стала память терять, забывала многое. Однажды печку затопила, а трубу не открыла — дыму полный дом напустила. Хорошо, Шура вовремя зашла. Сидит Дуняшка, плачет — печка не растапливается, а вокруг дыму полно.

Дочки решили, что маму уже опасно оставлять одну, поэтому последние годы жизни она доживала то у одной дочери, то у другой. Однажды, уже незадолго до своей смерти, жила она у Шуры. Утром зашла Шура в ее комнатку, смотрит — сидит мать на кровати, улыбается, а босые ноги на холодном полу. Шура кинулась к ней:

— Мама! Зачем носки-то сняла! Пол ведь холодный, застудишься!

— Давай! Какой холодный! На улице жарища! — отвечает ей мать.

— Какая жарища, на улице мороз, зима!

— Дак ведь в Белоруссии-то зимы не бывает!

— Ты разве в Белоруссии? — опешила Шура.

— Ну, дак а где же? Ванька меня на телеге вчерась привез!

Бедная Дуняшка, все свое детство проведшая в карельской деревне, а остальную жизнь — в маленьком карельском городке! Наверное, Белоруссия, в которой недолгое время жила Шура, представлялась ей каким-то тропическим раем, где никогда не бывает зимы и всегда тепло.

Шура рассказывала об этом эпизоде сестре и вдруг заплакала:

— Валька! Какие же мы дуры! Сами везде ездили — и в Белоруссию, и на Украину, и на море, да везде, а ее ни разу никуда не свозили!

Валя только вздохнула...

Тётянины сережки

Другую бабушку, сестру дедушки Вани, звали Тётяня. Настоящее-то имя ее было — Анна, бабушкины дети звали ее тетя Аня, что для скорости сливалось в Тётяню, а мы, их дети, так и продолжали. И даже так — бабушка Тётяня. Она не возражала. Я так и думала, что это имя такое. Только уже лет в двенадцать задалась вопросом, а как же полное? И мама тогда уж мне объяснила, как ее зовут на самом деле.

Тетянин муж погиб на войне, больше замуж она не вышла, детей не успела родить. И жила бы одна в своем малюсеньком — кухонька да комнатка — домике, да старшая бабушкина дочь Вера вышла замуж. Жить молодой семье было негде, вот Тетяня и пустила их к себе. Вскорости решили купить домик побольше и так и сделали, взяв кредит. И появилась у Тетяни семья: Вера с Борей, а потом и Иринка. Как любая бабушка, Тетяня вела хозяйство, обожала и растила Иринку, успевала и рукодельничать понемножку — вязала носки, варежки, шапочки племянникам. А какие она пекла булочки — до сих пор пользуюсь ее рецептом, но таких пышных, как у Тетяни, никогда не получалось. Может, потому, что пеклись они в русской печке? И безе, и карельские сладкие пирожки — каждую субботу мы приходили к ним в баню, а потом, конечно, пили чай со всеми этими вкусностями.

В детстве у меня были карие глаза, как у папы. И однажды, когда я пришла из бани, Тетяня пошутила:

— Аленка, ты помылась-то хорошо, а глаза не отмыла, вон они у тебя какие темные!

Я тут же пошла к умывальнику, взяла мыло и принялась намыливать глаза. Хоть и закрыла их, но все равно сразу защипало. В это время пришла мама и, конечно, удивилась, почему это я сразу после бани умываться вздумала. А Тетяня стоит рядом и посмеивается:

— Да это я ей сказала, что глаза плохо помыла, черные.

Мама, конечно, объяснила мне, что Тетяня пошутила. Но я потом еще долго всматривалась в свои глаза и пыталась их отмыть. И ведь «отмыла» — годам к семи они стали светлеть, и теперь цвет вообще непонятный, какой-то то ли зеленый, то ли болотный.

Тетяня очень дружила с женой брата, бабушкой Дуняшкой. Если бывало свободное время, приходила к ней на бесёду. Пока сидят, самовар чая выпьют — с конфетами-подушечками, сахаром да сушками. А то примутся в подкидного дурака играть на спички. Могут час проиграть. А уж если к ним присоединялась тетя Нина, так целый коробок спичек разыграют.

И дядя Боря, и тетя Вера работали, дядя хорошо зарабатывал, в доме был достаток, и тетянину пенсию они ей велели тратить на себя. А какие у Тетяни траты? Одежду годами носила, а что нужно, Вера купит. Так что когда я перешла в восьмой класс, Тетяня нам, пяти старшим ее племянницам, подарила по часам, а через год — по золотым серьгам-сердечкам. Она тогда уже очень болела и говорила, что хочет оставить память. А скоро она попала в больницу. Там, чтобы легче было ухаживать, попросила подстричь ее, хотя всю жизнь длинную косу заворачивала в кичку на затылке. Иринка

пришла из больницы, плачет:

— Тетянечка такая худенькая, а тут еще волосы короткие — совсем как пионерка...

Из больницы Тетяня уже не вышла. Хоронили ее в теплый день в начале июня. Шел мелкий слепой дождик сквозь солнце, как будто прощаясь с ней, и цвела любимая Тетянина сирень...

Я, хоть и не собиралась серьги носить, после ее смерти проколола уши и вдела их — в память о Тетяне.

После первого курса на летние каникулы я, конечно же, поехала домой. И в самую летнюю жару умудрилась заболеть жесточайшей ангиной. Температура никак не снижалась, постоянно под сорок, ни есть, ни говорить я не могла уже несколько дней. Даже и не пила совсем — больно было ужасно, да и почему-то не хотелось. Только чтобы не огорчать маму, запивала глоточком воды порошки — мама расталкивала таблетки, потому что их глотать я уж точно не могла. Ни лекарства, ни уколы, ни полоскания не помогали. Я только лежала и почти все время спала — каким-то тяжелым то ли сном, то ли забытьем. И вдруг мне приснился очень ясный сон, как будто и не сон вовсе, а явь.

Тети-Верин и дяди-Борин дом. Все как обычно, но весь он какой-то чистенький, и занавески на окнах тоже сияют неземной чистотой. И сквозь солнышко — мелкий дождик, и сирень цветет... И тихо так вокруг, спокойно. И на душе от этого умиротворение. Зашла я, Тетяня одна дома. Я с ней чаю попила, с булочками, пошла домой. Стала уже в калитку выходить, вдруг Тетяня с крыльца меня зовет:

— Аленка, останься со мной, а то мне тут одной скучно.

Я обернулась и отвечаю:

— Нет. Тетяня, мне домой надо. Мама расстроится, — и ушла.

Проснулась, лежу и вспоминаю, какой сон явственный! Маме не стала говорить, чтобы не расстраивать.

Через какое-то время пришла тетя Шура, мамина сестра. Сидят они на кухне, чай пьют и разговаривают. Мама, наверное, думала, что я сплю. Говорит, а сама плачет:

— Шура, мне сегодня Тетяня приснилась. Говорит, отдай, мол, мне Лену, у тебя еще Димка есть, а мне тут скучно одной. А я понимаю, что она умерла и хочет Лену забрать, и говорю, да ты что, мол, Тетяня, Лена совсем молоденькая еще, в институт девка поступила, первый курс только успела закончить, да ей еще жить да жить! Да и мне самой она нужна! А ты ее и не любила особенно никогда, что это вдруг она тебе понадобилась? Нет, не отдам, не сердись!

Тетя Шура маму успокаивает, ну, мол, не отдала, значит, выздоровеет Лена. И говорит:

— Наташа моя очень переживает за Лену. Я говорю, что Лена не ест ничего, может, ей что-нибудь кисленького дать? Так она пошла крыжовник собирать. Говорю, что он еще неспелый, зеленый, а она плачет, что зато кислый.

Я опять заснула. Просыпаюсь — сидит у кровати Наташа, смотрит на меня чуть ли не со слезами и мисочку мне протягивает. А в ней — зеленый крыжовник. Я смотрю и думаю: как я его есть-то буду, не смогу ведь. А потом посмотрела на Наташу, и так мне ее жалко стало — ребенок старался, в колючих кустах лазал для меня, вон все руки в мелких царапинках. Взяла ягодку. Раскусила. Кислятина, конечно, но... во рту вдруг так приятно стало! Кисленько, прохладно! И проглотилось вроде бы, ничего. Взяла еще и еще и так несколько ягодок съела.

— Наташ, спасибо тебе! — говорю. — Такой крыжовник вкусный!

Наташа сияет. А мне, и правда, легче стало, даже чаю захотелось. Попросила ее принести. Побежала она на кухню, кричит:

— Тетя Валя, Лена чаю просит!

Тут сразу суета поднялась, мама обрадовалась. Температуру померяли — 37 с чем-то. И я понемногу поправляться стала. Наташе потом сказала, что это она меня вылечила своим вниманием и заботой.

Позже я маме про свой сон рассказала, да она мне не поверила. Сказала, что это я, наверное, сквозь сон слышала, как она тете Шуре рассказывала, вот мне и привиделось.

Прошло пять лет. У меня уже годовалая дочка была. Мы всей родней, как и каждый год, когда я приезжала, собрались на кладбище. Утром завтракаем, пришла двоюродная сестра Марина (они жили в том же подъезде), чтобы договориться, когда выходим. Я говорю:

— Марина, я, наверное, не поеду. На улице сильный ветер, а дочка что-то рассопливилась, боюсь, как бы не разболелась.

Только сказала, как — дзынь! У меня из уха серьга на пол упала. А серьги были именно Тетянины — сердечко на тоненькой дужке. Я удивилась, конечно, как это серьга из уха выскочила, поднимаю — а дужка пополам переломилась! Удивляемся, почему так получилось, ведь я ее даже не трогала. Ну, думаем, наверное, как-нибудь я ее раньше повредила, а тут вот переломилась. Марина говорит:

— Ничего. Я как раз одну свою потеряла, вторую хотела на переплавку отдать, да не успела. Сейчас я ее тебе принесу, а ты мне ломаную отдашь, мне же все равно.

Пошла к себе, приходит с тетей Ниной. Я серьгу вдела, а тетя Нина говорит:

— Лена, а сережка-то не просто так переломилась. Это ведь Тетянины серьги. Вот она и дала тебе знак, что сердится, что ты на кладбище идти не хочешь.

Я говорю, мол, так не бывает. А она: а бывает, что золотые серьги ни с того, ни с сего ломаются? Тут уж я испугалась, говорю, тогда надо идти мне.

Стоим мы вчетвером, обсуждаем это, на наш галдеж папа пришел. Мы ему рассказали. А он нас высмеивать стал, что все это глупости и предрассудки и что серьга раньше сломана была, а тут просто упала. И что нечего маленького ребенка из-за глупостей по холоду таскать.

Я опять колеблюсь:

— Правда, ерунда все это. Совпадение. Так что я, действительно, останусь.

Только сказала, опять — дзынь! Вторая серьга на полу! И так же дужка переломлена!

Тут просто немая сцена. Все, говорю, Тетяня, я все поняла, поеду... И так в одной серьге и поехала.

На кладбище у Тетяниной могилки повинилась:

— Тетяня, ты меня прости, что ехать не хотела. Доченька маленькая, а автобуса вечно не дождешься. А ветер вон какой холодный! Пока ждешь на остановке, ребенок простынет, она и так с соплями уже...

Только к остановке подошли, автобус идет. Пустой.

Этот случай в нашей родне долго обсуждали. На следующий год опять собираемся на кладбище, сестры посмеиваются: попроси опять Тетяню, чтобы автобус прислала. Я и сказала у могилки:

— Тетянечка, ты нам в прошлом году так автобус хорошо подослала, спасибо тебе! Может, опять выручишь нас?

И опять, только к остановке подходим — идет пустой автобус...

Серьги мы с Маришкой переплавили — я на серьги, а Маришка на кулон, и носим до сих пор и Тетяню добрым словом вспоминаем. Когда я серьги в работу отдавала, спросила мастера, отчего они могли так сломаться, да еще прямо в ушах. На что он мне категорично заявил, чтобы я не выдумывала, потому что такого быть не могло, а серьги перекушены кусачками.

* * *

Когда-то, еще в юности, я написала стихотворение, которое было опубликовано в районной Пудожской газете. Тогда она называлась «Знамя труда»:

Возвращаясь

Я снова в нашем старом парке
С названьем громким «Летний сад».
И для меня цветут фиалки,
Как много лет тому назад.
Твои мне часто снятся склоны
В тени березовых аллей,
Укромные места влюбленных,
Веселая возня детей.
Здесь осенью — грибы и листья,
Зимой на лыжах благодать.
Здесь можно плакать и резвиться,
О чем-то дальнем помечтать.
А вот — «моя» сосна над кручей
(Все так же ветки высоки).
С ее корней видна излучина
Журавки, ласковой реки.
...На свете есть богаче парки,
И есть красивей города,
Но наш, неброский и неяркий,
Не позабудешь никогда.

Вырастая, мы торопимся в другие города и страны. А взрослея, стараемся вернуться в города нашего детства. Хотя бы ненадолго...

Светлана СОРОКА

МАРИНКА-ПОЛОВИНКА

Поля пришла в свой новый класс с огромными белоснежными бантами, которые заметно отличали её от других.

— Привет! — к ней тут же подошла девочка с чёрными хвостиками. Села рядом за парту. — Тебя как зовут?

— Полина.

— Здорово! — обрадовалась девочка. — А я Марина. Твоё имя — половинка от моего. А моё — от твоего. Смотри, Пол-ина, Мар-ина... Давай дружить!

Полина улыбнулась, кивнула.

— Давай.

После школы новоявленные подруги отправились в парк. Сначала — на батуты, потом — на огромную детскую площадку.

Полина была спокойной, немного застенчивой. А Маринка — живой и неугомонной. Без сожаления соскакивала с надоевших качелей, без устали тянула к следующим. Раскрасневшаяся Полина старалась не отставать от подруги. С ней было весело. Вместе они исследовали все самые длинные лабиринты, покорили высокие лестницы и крутые горки.

Дома счастливая Поля сказала маме:

— Маринка — моя половинка!

Подруги, и правда, быстро стали неразлучны. Вместе ходили в школу по неширокой, чуть извилистой дорожке. Собирали в букеты разноцветные кленовые листья, обсуждали интересные мультики, иногда мальчишек из класса. Сидели за одной партой. Порою тихонечко, чтобы не слышала их учительница Яна Игоревна, шептали друг другу решение трудных задачек. Даже попросили мам купить им одинаковые браслетики-верёвочки с сердечками. На Полинином была написана буква «М», а на Маринином — «П».

— Не разлей вода, — глядя на них, улыбалась Яна Игоревна.

Кто знает, может, воды этой осенью было слишком много. Ноябрь, и правда, выдался сырым и холодным. Из серых, нависающих на землю туч, не переставая, лил дождь. В один из таких дней в классе появилась новенькая. Светленькая, загорелая, она словно недавно вернулась с юга.

— Анжелика приехала к нам из Москвы, — сказала Яна Игоревна ребятам, — и теперь будет учиться в нашем классе.

Полина внимательно посмотрела на новенькую и вдруг заметила в кармане её фартука айфон. Маринка тоже его увидела. На перемене, воспользовавшись тем, что Поля задержалась возле их парты, убирая что-то в рюкзак, она живо подскочила к новенькой.

— Привет! Красивое у тебя имя. Как и у меня. Я Марина! Давай дружить, — Анжелика кивнула. — А хочешь, я тебе комнату отдыха покажу, и музей, и столовую... Мы сейчас, мы быстро, — отмахнулась она от невовремя появившейся подруги. Поля даже рта не успела открыть. — Классный у тебя телефончик, кстати. Я себе тоже такой хочу, — услышала она последние, сказанные Маринкой слова. И девчонки скрылись за дверью.

Полина села за парту и стала ждать. Сердце терзала обида. «Сказала же Маринка, сейчас придут», — успокаивала себя девочка. Но одноклассницы вернулись лишь со звонком. Полина услышала их громкий, весёлый смех. Ещё недавно так же непринуждённо хохотала с Маринкой она. К горлу подступил комок. Но Полина сдержалась, промолчала. И за урок не сказала подруге ни слова.

Но Маринка нисколько не огорчилась. Рядом с ними на четвертой парте (только первого ряда) сидела Анжелика. Полина видела, что Марина то и дело посматривала на неё, улыбалась. И на перемене решила первой уйти из класса.

«Пусть знает, что теперь я с ней тоже не дружу. Может, одумается?!»

Но на последнем уроке математики Маринка сотворила вовсе непредвиденное. Сразу после звонка вдруг решительно подняла руку и спросила Яну Игоревну:

— Можно я к Анжелике пересяду?

— Зачем?! — удивилась учительница.

— Понимаете, — принялась объяснять Маринка, — Анжелика — новенькая, сидит одна... Я хочу её поддержать...

Яна Игоревна с появившейся в глазах грустью посмотрела сначала на Полю, потом на Маринку и пожала плечами.

— Ну, если поддержать... садись.

Полина еле-еле дождалась конца урока. Внутри всё клокотало от возмущения и обиды.

— Значит, мы с тобой больше не дружим?! — приступила она на перемене к подруге.

— А что?! — вызывающе посмотрела на неё Маринка. — Мы с тобой уже давно вместе. Надоело! Теперь я хочу с ней!..

На секунду не хватило воздуха. Смахнув выступившие на глаза слёзы, Поля стянула с запястья браслет и резко бросила на парту. Красное пластиковое сердце раскололось на две половинки. Так же, как её собственное...

Дома Поля дала волю слезам. Сначала она злилась на эту новенькую, которая увела у неё подругу. Потом — на неверную Маринку. И в конце — на себя. С Маринкой было весело и интересно. А она не удержала её, не сохранила их дружбу. Значит, сама виновата!

— Маринка и Анжелику так же бросит, — словно догадавшись о мыслях дочери, сказала вдруг мама. — Подожди, вот только придёт ещё одна новенькая...

Но всё вышло немного по-другому.

Несколько дней спустя Яна Игоревна дала классу небольшую самостоятельную работу. Вариант был общий для всех, и учительница ходила по рядам, смотрела, чтобы ребята друг у друга не списывали.

Маринка хорошо разбиралась в задачах. Поля вдруг заметила, что она украдкой подсказывает новой соседке. Как и ей когда-то...

...Яна Игоревна объявила результаты довольно быстро. Полина видела, что бывшая подруга явно недовольна оценкой. Маринка изучала свою тетрадь, тетрадь Анжелики, возмущённо качала головой, наконец, не выдержала:

— Яна Игоревна, почему у меня «4»?

— А что не так? — удивлённо подняла бровь учительница.

— У Анжелики «5»!.. А это я ей помогала!..

Поля посмотрела на пристыженно-растерянное лицо новенькой... и вновь почувствовала себя целой.

НЕ УЛЕТАЙ, ВЬЮРОК!..

I

— О, глядите, Вьюрок! — крикнул кто-то из ребят. Пятиклассники оживились, заголосили:

— Ха-ха-ха! Прилетел! Явился — не запылился!

— Ещё как запылился! — староста Лиза Кичайкина оценивающе посмотрела на Юрку и брезгливо сморщила носик. — С пруда, наверное, идет. Или с огорода...

— С помойки! — безжалостно вставил кто-то.

— Пошли вы!.. — огрызнулся Юрка Вьюрков. Он боком прошел по классу и схоронился на последней парте.

Он бы сейчас с удовольствием ушёл из класса. Сиганул прямо в окно, благо первый этаж. На волю! Подальше от белоснежных стен, блестящих парт, нарядных одноклассников с их яркими первосентябрьскими букетами. Уж очень всё это не вязалось с Юркиными взъерошенными волосами, поношенным пиджаком и повядшей веткой хризантемы, лежащей на краю его парты.

В класс вошла учительница, их новый классный руководитель. Ребята отстали от Вьюрка и повернулись к ней. И Юрка тоже посмотрел на неё. Их прошлая классная была старой, как его бабушка. А эта совсем-совсем молодая... Смотрит на всех, улыбается... И на него смотрит! Юрка смутился, опустил глаза.

Учительница поздоровалась с классом и только назвала себя, как Лиза тут же подняла руку.

— Наталья Алексеевна, Наталья Алексеевна, а Вьюрок, то есть Вьюрков, ругается!

«Ну, Кичайкина!.. — Юрка ещё ниже опустил голову, к самой парте. — Сейчас выгонят. Точно... Ну и ладно!»

Но Наталья Алексеевна молчала, с вниманием глядя на Юрку. На его растрепанную белокурую голову, загорелые лицо и руки, которым, казалось, тесно было в узких рукавах пиджака...

Наталья Алексеевна много слышала о нём. Вьюрка знала вся школа! Первая учительница с возмущением вспоминала, что он лодырь и прогульщик. Рассказывала, что семья у него неблагополучная... Матери не до него, а отчим только лупит... И ещё сочувствовала Наталье Алексеевне, что теперь он достался ей...

— Вы ещё про Вьюркова не то узнаете! — неожиданно снова вставила своё слово неугомонная Лизка.

И Наталья Алексеевна вдруг поймала себя на мысли, что не против была узнать. Объясняя урок, она нет-нет да и обращала участливый взгляд на последнюю парту. Вьюрок скучал. Ёрзал на стуле, смотрел в окно. А со звонком вскочил с места, собираясь выпорхнуть за дверь.

— Наталья Алексеевна, это вам! — возле стола оказалась Лиза с букетом. — Мы для вас с мамой самый лучший выбрали...

— Спасибо, — улыбнувшись, поблагодарила Наталья Алексеевна и окликнула: — Юра! — Вьюрок вздрогнул, обернулся уже от самой двери. — Что же ты цветы на парте оставил? Красивые ведь. Завянут!

Юрка, быстро взглянул на неё и по доброму лицу понял — не издевается — и от этого смутился еще сильней. Но всё же вернулся за своей хризантемой и осторожно положил её на край учительского стола...

II

Наталия Алексеевна, молодая, улыбчивая, в светлом плаще, в туфельках на каблуках, неторопливо шла по посёлку. После нескольких дождливых дней вновь выглянуло солнце. Оно грело по-летнему, и на душе у учительницы было безоблачно и радостно. Она шла, любуясь обновлённой после дождя, всё ещё летней природой. Любимый, родной посёлок! Вот сейчас, за поворотом её встретит тихий пруд в зелёных камышах, а за ним, на холме, школа. Как хорошо, что сегодня к третьему уроку и можно пройтись.

Идиллию разрушил телефонный звонок. Звонила завуч.

— Наталия Алексеевна! — сердито заговорила она. — ЧП у нас! Вьюркова нет. Уже два урока. Прогуливает, надо полагать. Принимайте меры.

Наталья Алексеевна заторопилась в школу, но вдруг глянула в сторону пруда, и в груди взволнованно стукнуло: «Да вон же он!.. Эх, Вьюрков!»

А Сердце Юрки готово было выпрыгнуть из груди. «Она! Во попал! Откуда она узнала, что я здесь?!.. И главное, клюет, клюет же!..»

— Клюет! — вдруг крикнула учительница. — Тащи!

Юрка от неожиданности опешил, но всё же дёрнул удочку, и в воздухе затрепыхался серебристый карасик.

Наталия Алексеевна подошла к Юрке.

— Здорово! И куда ты их? Кошке?

— Отпускаю.

Учительница одобрительно кивнула и вдруг попросила:

— А можно я тоже попробую? — Юрка в недоумении пожал плечами. — Не волнуйся, я ловила раньше.

Она ловко насадила на крючок приманку, забросила удочку. Поклёвка. Подсечка. И вот на траве у её ног уже бьётся такой же серебристый карасик.

— Ого! — удивлённо протянул Юрка. — А у вас хорошо получается.

Наталия Алексеевна была сейчас похожа не на учительницу, а на старшеклассницу из их школы.

— Ну что, пошли? — улыбнулась «старшеклассница».

— Куда?

Она посмотрела на него и серьёзно сказала:

— В школу. Я очень хочу, чтобы и у тебя тоже всё получалось...

III

Третьим уроком была литература. Наталья Алексеевна вошла в класс и снова стала не старшеклассницей, а учительницей. Спрашивала, ставила оценки, рассказывала... В этот раз про Ломоносова. Ребята внимательно слушали. И Юрка тоже. И наблюдал за ней украдкой.

Оказывается, этот самый Ломоносов был сыном бедного рыбака и жил на севере, но так хотел учиться, что пешком пошёл далеко-далеко в Москву. И всему выучился, и астрономии, и химии, и стихи писать. Потому что захотел. Даже университет в его честь назвали... В общем, нормальный он такой был, этот Ломоносов...

Урок подходил к концу.

— Ребята, — сказала Наталья Алексеевна, — стихотворение Михаила Ломоносова вы должны выучить наизусть. Все! — её взгляд остановился на Юрке. За ее взглядом проследила Лизка и тут же подскочила со своего места.

— Наталья Алексеевна! Вьюрков не выучит! Он никогда ничего не учит! И не знает ничего!

Наталья Алексеевна резко поднялась из-за стола. Лицо ее стало сердитым.

— Лиза, скажи нам, пожалуйста, в каком году родился Михаил Юрьевич Лермонтов? — Кичайкина растерянно захлопала глазами. — А где прошли детские годы Николая Алексеевича Некрасова?.. — Кичайкина молчала. — Что же ты так? — строго, с нажимом спросила Наталья Алексеевна. — Вы же говорили об этих поэтах в начальной школе... Я, конечно, сейчас могу поставить тебе «2», но не буду. Просто хочу, чтобы ты навсегда запомнила, прежде чем обвинять кого-то, всегда начинай с себя.

Лизка надулась, а Наталья Алексеевна села на своё место. Она не смотрела на Юрку, но если бы вдруг решила взглянуть, то обязательно прочитала в его глазах удивление и... благодарность.

IV

На следующий день Наталья Алексеевна сидела в своём кабинете и проверяла тетради. За окном было солнечно, а на душе грустно. Вспоминалось недавнее совещание. Все опять говорили о её Вьюркове. «Не приносит, не слушает, не учит!» Эти «не» сыпались на неё со всех сторон.

— Не делал он никогда домашние задания и не будет! — словно убеждали друг друга коллеги. — А лет в 14 вы его вообще в школу не затащите. Что ж непонятного: уличный он! Ну да, — невесело хохотнул кто-то из учителей, — вьюрок, он и есть вьюрок, птица перелётная... Как его удержишь...

В дверь постучали. Наталья Алексеевна, вздрогнув, подняла глаза. На пороге стоял Юрка. Он переминался с ноги на ногу, изучая носы ботинок, и, наконец, решился:

— Я... я... стих выучил.

Наталья Алексеевна кивнула, пытаясь унять сумасшедшее биение сердца. А в двух шагах от неё так же громко стучало ещё одно. Юрка рассказывал стихотворение, а она с затаённой радостью смотрела на него и тихо просила: «Ты только не улетай, Вьюрок, слышишь! Только не улетай...»

ЛЯГУШОНОК

1

— Ребята, многого можно достичь, если задаться целью! — частенько говорила на уроках Наталья Игоревна.

Глубину этих слов Витя по-настоящему осознал только этим летом.

Однажды они с папой зашли в зоомагазин. И Витя тут же потянул его к клеткам с животными. В них весело чирикали попугаи, бойко крутил колесо белый хомяк. Понаблюдав за ними, мальчик переместился к аквариуму с рыбками. И вдруг на его дне, покрытом мелким гравием, заметил двух крошечных лягушек. Витя никогда ещё таких не встречал! Серенькие, остроносые, они искали в грунте корм. Просовывали между камнями мордочки, вскидывая вверх перепончатые лапки...

— Лягушки-дюймовочки! — объяснила подошедшая к ним девушка-консультант. — Могут жить в трёх литрах воды. Не шумят, не пахнут... Берите!

Папа склонился над аквариумом и вдруг улыбнулся притихшему сыну.

— А что, давай и правда возьмём.

2

Счастье, накрывшее с головой, длилось и длилось, не думая кончаться. Дома папа достал с полки круглую, похожую на аквариум вазу. Вытащил из ящика две большие ракушки и положил на дно...

Лягушки довольно быстро обжились. Шустро плавали в толще воды, с аппетитом хватали корм. Наблюдая за питомцами, Витя радовался и ликовал. И теперь летел домой как на крыльях. Как-то раз, вернувшись из школы, он по привычке заглянул в аквариум и увидел...

— Икринки! — с радостным криком мальчик бросился в комнату родителей. — Лягушки отложили икринки!

— Ничего себе! — удивился папа и заторопился. — Давай быстрей отсадим. Через пару дней головастики будут. Мало ли чего!..

Вскоре рядом с аквариумом разместилась небольшая банка. Но головастиков не случилось. Икринки помутнели и...

Витя расстроился. Но вскоре лягушки вновь его порадовали.

— Папа, опять!..

Банка заняла привычное место.

Витя подходил к ней, волновался и ждал. Через несколько дней оболочка икринок растворилась, и к стенкам приклеились крошечные продолговатые куколки. А ещё через пару — поплыли головастики. Маленькие-премаленькие — маковые зёрнышки с хвостиками.

Витя прыгал от радости.

Теперь малышей нужно было...

— Кормить! Папа, чем их кормить?

Папа подумал немного и всё в том же магазине купил сухой корм для мальков. Но, видимо, он им не подошёл. Витю вновь постигла неудача...

— Можно в следующий раз живым попробовать, — чуть виновато предлагал ему папа. — Инфузориями, например...

— Не надо никаких инфузорий! — злился от отчаяния Витя. — Не буду больше никого выращивать!

Пару дней он не подходил к аквариуму. А когда наконец открыл крышку, сердце в груди взволнованно застучало. В углу, за редкими метельчатыми водорослями, прятался живой головастик. Витя не мог бросить его. Снова осторожно перенёс в банку. В душе в очередной раз затеплилась надежда, крошечная, как и сам малыш...

«Вдруг выживет?! Только чем кормить...»

Витя нашёл в интернете информацию про инфузорию. Оказывается, чтобы её развести, нужны были корки банана. И время. Времени у него не было!

«Что делать? Что же делать?! — ему сейчас больше всего на свете хотелось, чтобы будущий лягушонок выжил. — Но как?»

Витя думал, думал и... придумал.

3

Взял банку и помчался с ней на улицу. Он бежал к школе. Возле неё в окружении молодых берёзок располагался небольшой пруд. На улице стояла весна. Пруд уже проснулся, отогрелся под ласковыми майскими лучами, и теперь в нём кипела жизнь. Сновали туда-сюда шустрые водомерки, рылись в иле серебристые карасики, ловили кого-то мелкие головастики. Здесь точно должен был быть живой корм!

Витя спустился под берег, зачерпнул воды. И дома принялся внимательно её разглядывать. Она была мутноватой, густой, и в ней хаотично перемещалось что-то микроскопическое, красноватое, живое... Витя не знал, инфузория ли это. Но другого выхода не было. И он осторожно запустил головастика в банку с прудовой водой. Папа вечером его поддержал:

— Молодец, всё правильно сделал!

А Витя всё равно сомневался. Надежда и тревога то и дело сменяли друг друга. Ему было страшно подходить к столу, страшно заглядывать в банку. Вдруг, как и в прошлый раз...

Только через несколько дней Витя решился посмотреть и...

— Жив! — закричал он, выпуская облегчение и радость. — Жив!

— Вот видишь, — улыбнулся папа. — А ты переживал!

Но Витя и сейчас переживал. Ему казалось, питомец немного подрос. Но всё равно

увидеть, как он ест, было совершенно невозможно.

Мальчик изо всех сил всматривался, щурился, пока вдруг не обратил внимания на воду. Она стала чище, прозрачнее, мелкие суетливые жучки в ней исчезли.

— Съел! — Витины губы растянулись в счастливой улыбке. — Съел! — и, схватив банку, он снова помчался с нею на пруд...

Ни о ком ещё Витя так не заботился! То и дело бегал на пруд, подливая будущему лягушонку живую воду. И однажды заметил на его крохотном, чуть вытянувшемся тельце...

— Глаза! Папа, у него появились глаза!

— Ага, — вглядевшись, кивнул папа. — И рот. Смотри, как охотится!

И правда, Витя наконец отчётливо увидел, как головастик подплыл к черной движущейся точке и... схватил её. Хап! А потом ещё одну. И ещё... Хап! Хап! Хап!

Витиной радости не было предела. Он больше не волновался. А будущий лягушонок менялся каждый день, удивляя, восхищая своим чудесным превращением.

— Папа! — кричал Витя. — У него появились задние лапки!..

— ...Ничего себе! Теперь и передние есть!..

— ...Смотри, смотри, хвост исчез!..

Вскоре лягушонок подрос и переехал к родителям.

— Помнишь, какой он был, — склонившись над аквариумом, сказал однажды папа, — Маковое зёрнышко с хвостиком. Всё-таки сложно было его вырастить.

— Сложно, — согласился Витя и добавил серьёзно: — Только знаешь, многого можно достичь, если задаться целью.

ЛЕТИ, ЛЕТИ, МАЙСКИЙ ЖУК!

Весна наступила рано и оказалась приветливой, тёплой. Берёзки в роще быстро оделись нежно-зелёной, похожей на пушок листвой, и над ними сразу же закружили майские жуки.

Митяй одним из первых принёс жуков в класс. В его банке их было много.

«Везёт ему! — украдкой поглядывая на одноклассника, думал Родька. — Столько наловил!.. А мне одного хотя бы...»

Митяй был в центре внимания. Он тряс банку с жуками, громко хохотал, пугал ими девчонок.

— Сейчас как выпущу! — грозился он.

Девчонки визжали, отскакивали в сторону. Но выпускать майских Митяй не собирался. Они были его богатством.

— Где ловил? — окружив, пытали его одноклассники. — На поле?

— Ха! — усмехался Митяй. — Да там только комары!

— У гаражей? — не отставали ребята.

— Места знать надо! — снова насмешливо ответил им Митяй...

Родька во все глаза смотрел на Митяя, на заветную банку в его руке... И ему так хотелось жука, что казалось — вот-вот произойдёт чудо. Что сейчас, сию же минуту, Митяй расскажет всем про это волшебное жучиное место. Или поделится жуками с ребятами. У него же их целая куча!.. Зачем ему столько? Ну, или, на худой конец, какой-нибудь самый проворный майский улизнёт из Митяевой банки, а Родька его найдёт...

Увы, чуда не произошло. И расстроенный Родька твёрдо решил, что поймает своего. Вечером он взял из дома ярко-жёлтый сачок на длинной бамбуковой палке, небольшую баночку и отправился за жуками.

Вечер был тихим и тёплым. Пахло нежной молодой листвой, свежей травой и цветами. Родька знал, что майские жуки, вылупляясь, выползают из земли. «Вот было бы здорово в траве найти, — подумал он, — тогда и гоняться за ним не придётся».

Он сел на небольшую полянку и прислушался: вылезет — загудит. Неподалёку в овраге начинали затягивать нежную мелодичную песню соловьи. А в траве было тихо. Недвижимая зелень осоки утопала в жёлтых одуванчиках. За день они напитались солнечным светом и теперь на фоне вечереющего воздуха выглядели яркими фонариками, маленькими солнышками, отдающими миру тепло и свет.

Родька невольно дотронулся до одуванчика. Цветок и в самом деле оказался

тёплым, а ещё очень мягким. Родька бережно коснулся ещё одного...

— Красивая, — подумал он про полянку, — жаль только, жуков здесь нет!

Он встал, взял банку с сачком и пошёл дальше.

На пути ему встретилась большая раскидистая берёза.

— О, жуки её листья едят, — обрадовался он, — сейчас гляну! Может, сидит кто!

Он наклонил к себе нижнюю ветку и сразу понял, что тяжёлому жуку на ней не удержаться. Её листья были маленькими, морщинистыми, словно гофрированными... Родька потрогал лист. Он был немного липким. И пах чем-то нежным, приятным. Родьке понравилось, и он улыбнулся. А затем, подумав немного, решил идти к школе.

— Митяй говорит, на поле жуков нет. А возле школы — и поле, и деревья. Там обязательно должны быть! — рассудил Родька.

Весь год он ходил на учёбу через эту поляну-рощицу. Вон вдалеке показались две его знакомые берёзки. Родька был убеждён, что они дружат. Он частенько видел, как деревья шептались о чём-то, нежно прижимаясь друг к другу кронами. Чуть в стороне от них, нарастив мягкие салатовые иголки, распушились тёмно-зелёные ёлочки. А возле дорожки протягивал прохожим свои пока ещё детские ладошки клён... На небе сквозь лёгкие облака наливался яркой желтизной месяц, освещая поляну со спящими на ней одуванчиками.

Родька замедлил шаг. Он любил собирать паззлы и рисовать. Ему нравилось, когда всё находилось на своём месте, сочеталось по цвету, размеру.... Было гармоничным, как говорила мама. Этим вечером всё было именно так. Родька полной грудью дышал свежим вечерним воздухом, радостно смотрел по сторонам. Как вдруг заметил возле одной из ёлок тёмное пятно.

Он ускорил шаг и вскоре узнал Митяя. Рядом стояла большая банка. Присев на колено и закинув на плечо джинсовку с металлическими пуговицами, Митяй в любой момент готов был броситься на пролетающего жука, но неожиданно увидел Родьку.

— Чё пришёл? — накинулся он на него. — Это моё место!

Родька оглядел знакомую поляну и недоумённо уставился на одноклассника, мол, шутит?! Но Митяй шутить не собирался.

— Вали отсюда! — угрожающе рявкнул он, поднимаясь с земли. — Будешь ловить здесь, получишь!

Митяй был широкоплечий, длиннорукий с большими кулаками и мог навалять кому угодно. Ребята его побаивались. Родька предусмотрительно отступил назад. Сдвинув брови, Митяй шагнул ему навстречу... Но вдруг резко рванул в другую сторону, заорав во всё горло:

— Жу-у-ук!!

— Где?! — оживился Родька.

— К берёзам полетел! — Митяй быстро домчался до берёзок-подружек, резко хлобыснул по нежно-зелёным веткам!.. — Ура! Попался! Первый есть! — он едва посадил его в банку, как заметил второго. И сломя голову понёсся к клёну. — Yes! Ещё один! — радостно завопил он.

«Ничего, — стоя в сторонке, думал Родька, — я сейчас тоже поймаю! Майский мимо пролетит, я его сачком осторожно... Митяй и не заметит».

Но Митяй замечал, словно у него были глаза на затылке. И когда мчался за жуками в Родькину сторону, Родьке самому приходилось отбегать, а иногда и отлетать от него подальше. Митяй носился по поляне, как ураган. Он сшибал жуков и у самой травы, и в кронах деревьев. В вечернем воздухе, как хлыст, свистела его джинсовка. И слышались исступлённо-радостные крики:

— Пятый!.. Седьмой!.. Десятый!.. — наконец, он устал. — Хм, — усмехнулся он, встряхивая банку с жуками, — в этот раз ещё больше поймал! — тут он взглянул на Родьку и снова пригрозил: — Смотри, ляпнешь кому про это место — получишь! Хотя, — издевательски уставился он на него, — можешь говорить, я всё равно здесь всех жуков переловил!

Он забрал банку и ушёл, быстро растворившись в вечерней темноте. Родька остался один. Месяц словно испугавшись чего-то, спрятался за облака. Но вдоль дорожки вдруг зажглись фонари.

Родька оглядел поляну-рощицу и ужаснулся. Ветки его любимых берёз были сломаны, лишившись листьев, они мёртвыми прутьями повисли над смятой травой. Клён больше не протягивал никому свои ладошки. Безжизненные они валялись в пыли на дороге. Спящие одуванчики были раздавлены...

Родькины кулаки невольно сжались, на глазах выступили слёзы. Если б он сейчас только встретил Митяя, он бы треснул ему со всей силы! И за берёзки, и за клён, и за бедных жуков, которых он всех переловил!..

Родька стоял с опущенной головой, как вдруг совсем рядом услышал знакомое жужжание. Видимо, приняв его ярко-жёлтый сачок за фонарь, в него угодил майский

жук. Сердце Родьки сильнее забилось от волнения. Ещё недавно он многое бы отдал за жука. Принёс сначала домой, потом — в школу. Сейчас он осторожно освободил пленника из сачка и, посадив на вытянутую ладонь, с радостным облегчением произнёс:

— Лети, лети, майский жук!

ЗНАТОК

В посёлке Тёма слыл умелым рыбаком. Началось всё с того, что как-то раз он вытащил из небольшого, утопающего в сочной зелени ив и ряски пруда полведра карасей. Крупных, больше ладони! Своего товарища Корнея обловил, не у дел оставил.

— Вот это улов! — дядя Матвей, проходивший мимо, поднял вверх большой палец! — А ты молодец, знаток! Видать, всё про рыбалку знаешь!

Тёмины загорелые щёки зарумянились от удовольствия. Слово «знаток» ему особенно польстило. А ведь и правда знает! Про всё, про всё! И как рыбу огромную поймать, и как крючок привязать, и как глубину наладить...

Тёма, конечно, собой гордился, но другу Корнею помогал, подсказывал, что и как... Они частенько вместе рыбачили, вот и сегодня тоже вдвоём отправились на пруд. Корней шёл сзади, а Тёма — впереди. Неспешно и гордо, как полководец, неся на плече удочку и позвякивая внушительным ведром.

Наконец, мальчишки оказались на месте. Тёма сразу же устроился возле одной из ив — он всегда тут ловил. А Корней обосновался неподалеку: берег здесь был чистый, без кустов и деревьев.

Весенняя природа вокруг была полна жизни. В небе радостно щебетали птицы, по тонким острым травинкам бегали неутомимые муравьи, улитки объедали похожие на зонтики лопухи. Возле изумрудной раскидистой ивы кружилась мошкара: комары, маленькие бесцветные мотыльки; на листьях сидели гусеницы... Тёма не обращал на них внимания. Он с нетерпением разматывал удочку.

— Я на червя ловить буду! — со знанием дела заявил он Корнею. — А ты?

Товарищ кивнул, мол, и я, как ты, конечно.

Тёма ловко закинул удочку прямо под иву в свободное от ряски оконце. Рыба словно ждала его. Длинный красный поплавок моментально ушёл в воду, вынырнул и лёг. Тёма подсёк, и вскоре в его руках оказался тёмно-серебристый карась.

— Ого! Крупный! — отозвался со своего места Корней.

— Здоровый! — улыбнулся Тёма, вновь забрасывая снасть...

На его месте, под ивой кипела жизнь. Караси ходили туда-сюда, волнуя ярко-зелёную поверхность пруда, почавкивали, пускали пузыри. Заметив Тёминого червяка, один из них с жадностью набросился на него. Поплавок резко повело в сторону. Тёма подсёк, и...

— Везёт, — глядя на очередного немаленького карася в руках приятеля, вздохнул Корней.

Тёме, действительно, везло. Он только и успевал забрасывать... Корней, глядя на успех товарища, хмурился и расстроенно сопел. Его жёлто-синий поплавок как влитой стоял в тёмной воде, словно заснул.

— Глубину сделай меньше! — между поклёвками советовал ему Тёма. — Или на хлеб попробуй!

Опуская и поднимая удочку, он раскраснелся от усердия и радости. Большое ведро почти доверху полно было рыбы... И Тёма вдруг почувствовал себя настоящим знатоком рыбалки. Самым крутым! Самым лучшим!

Неожиданно на улице похолодало. Непонятно откуда взявшиеся лиловые тучи закрыли солнце. Поднялся ветер. Не реагируя на погоду, Тёма в очередной раз забросил удочку.

— Сошёл! — донёсся до Корнея его расстроенный крик. — Сошёл! Грамм триста, не меньше! — он с досадой хлопнул себя по коленке. — Ты видел?

Корней не видел. Он смотрел на свой поплавок, который, хоть и «проснулся», но теперь лишь бестолково покачивался на волнах.

Между тем ветер усилился. Он мотал ветки ивы из стороны в сторону. И Тёма никак не мог прицелиться, чтобы попасть в водное оконце. Наконец он кинул, но угодил в ряску — поплавок не встал. Тёма плюнул с досады и показал дереву кулак. Третья попытка также не увенчалась успехом. Крючок, не долетев до воды, зацепился за склонившуюся над прудом ветку.

— Да что ж такое! Да как же так! — возмущённо крикнул Тёма.

— Зацеп? — подскочил со своего места Корней.

— Да! Всё из-за дерева этого дурацкого! Зачем оно вообще здесь выросло?! Толку от него! Только рыбачить мешает! Ничего, — мстительно сощурившись, заверил он товарища, — я завтра у бати топор возьму и ветки срублю. Отвечаю, срублю. Да пусти ж ты, наконец! — грозно закричал он на иву, изо всех сил дёргая удочку.

И она, словно испугавшись, тут же отдала Тёме крючок.

Пока он отвоёвывал снасть, погода окончательно испортилась. Тучи из лиловых превратились в иссиня-чёрные.

— Кажется, сейчас ливанёт, — взглянув на небо, сказал Корней.

Согласившись с приятелем, Тёма начал поспешно сматывать удочку, продолжая при этом ворчать.

— Дурацкая ива! Если б не она, я бы ещё штук пять поймал, а может, и десять!

— Да ладно, — усмехнулся Корней, — у тебя и так целое ведро.

Тёма поднял, опустил ведро и улыбнулся.

— А завтра ещё больше будет! Придёшь утром?

Корней неопределённо пожал плечами и сказал:

— Ладно, я домой пошёл.

Друзья жили в разных концах посёлка.

«Обиделся, — думал по дороге домой Тёма. — Сто пудов, обиделся. А разве я виноват, что всё про рыбу знаю. И она у меня ловится, а у него — нет».

Вдруг где-то совсем рядом с ним послышался удар грома. Тёма едва успел заскочить в подъезд, как началась гроза. Молния яркими вспышками озаряло тёмное небо, гремело так, словно кто-то громыхал по Тёминому рыбацкому ведру огромными отбойными молотками. Дождь лил всю ночь.

Утром выглянуло солнце. Проснувшись рано, Тёма надел сапоги, взял снасти и отправился на пруд. Обосновавшись на своём месте, он принялся разматывать удочку. И не сразу заметил, что вокруг всё как-то изменилось. Под ивой всегда царили тень и прохлада, а сейчас...

Тёма поднял глаза и обомлел. Ствол дерева был расколот, и та часть с ветками, которые вчера мешали ему рыбачить, оказалась в воде.

— Ничё себе! — протянул Тёма и живо полез за телефоном. — Корней! — набрал он номер товарища. — Скорее, скорее беги на пруд. Здесь в дерево молния долбанула!

Корней примчался довольно быстро.

— Нехило шандарахнула! — осмотрев всё, что осталось от ивы, заключил он.

— Ага, — согласился с ним Тёма и авторитетно прибавил: — Знаешь, мне эту иву нисколечко не жалко. Без неё намного лучше клевать будет, вот увидишь. Надо только, чтоб ветки убрали.

Ветки убрали довольно быстро. И после обеда друзья снова пришли рыбачить. Тёма забросил удочку и в нетерпении уставился на поплавок. Вот сейчас, сию же минуту он уйдет под воду, Тёма подсечёт, и...

Но сегодня всё было по-другому. Солнце пекло сильнее, чем обычно, слепило глаза, а поплавок вёл себя смирно. У Корнея тоже не клевало. Но он, казалось, не расстраивался. Поглядывал изредка на свой ленивый поплавок, но всё больше куда-то в сторону противоположного берега.

А Тёма суетился, нервничал. Менял наживки, уменьшал и увеличивал глубину. Он же настоящий рыбак, нельзя ему в грязь лицом! Но ничего не помогало. Поплавок или врос в тёмное тихое зеркало пруда, или умер.

— Что за ерунда такая! — разозлился Тёма. — Где вся рыба?! Грозой что ль побило?!

— Нет, жива, — отозвался со своего места Корней. — Иди ко мне.

Он указал Тёме на иву, растущую на противоположном берегу. Её окружали густые заросли борщевика — рыбачить там было нельзя. Ива была старой, раскидистой, с разросшимися в разные стороны ветками. Некоторые из них касались воды...

Тёма вгляделся. В ряске под ней плескалась рыба. Много рыбы. Иногда она выходила на чистое место и пускала в оконца воды пузыри. Как и у него вчера. Внезапно с острого листа дерева сорвалась маленькая гусеница. Карась быстро вынырнул и ловко схватил добычу. Та же участь постигла порхавшего между ветками, зазевавшегося мотылька.

— Рыба что, ест насекомых с дерева?! — с удивлением вокликнул Тёма.

— Да, — кивнул Корней, — поэтому у тебя под ивой и клевало. Она тебе помогала, оказывается, а ты на неё злился.

Тёма опустил глаза, промолчал.

Рыбачить больше не хотелось, и мальчишки стали сматывать удочки.

По дороге Тёме встретился дядя Матвей.

— Ну, как дела у знатока рыбной ловли? — улыбчиво спросил он.

Сейчас это приятное, наполняющее гордостью слово «знаток» прозвучало как издевательство. Тёма поморщился и, ничего не ответив дяде Матвею, побрёл домой...

ВОЛШЕБНАЯ РЫБАЛКА

Тёплый летний денёк обещал быть замечательным. В школе каникулы, в окне ласковое солнышко, а после обеда долгожданная рыбалка. Егорка всю неделю о ней мечтал. И, наконец, дождался. Ровно в три заехал папин друг дядя Серёжа, и, живо погрузив в машину снасти, они все вместе поехали на карьер за серебряным карасём.

Большой карьер за городом остался как память о прежних торфоразработках. Однако время многое изменило. Заболоченные берега заросли камышом и кустарником, мелким зелёным бисером рассыпалась по воде ряска, выпростали на свет свои изогнутые пальцы затонувшие коряги. Но Егорку, конечно, больше всего на свете интересовал карась. Расположившись между ивовыми кустами, он принялся живо разматывать удочку. Ему не терпелось попробовать свои силы, тем более что дядя Серёжа ещё в машине подзадорил его:

— Егорка, наверное, больше всех поймает, недаром сын рыбака!

«А что, и поймаю! Устрою коту праздник!..» — радостно подумал он и ловко забросил удочку подальше от берега. Красный пузатый поплавок шлёпнулся на воду и принялся важно покачиваться на тёмных торфяных волнах, как маленький маячок.

Егорка присел на раскладной стул и стал ждать. Минуту, две, три... Ну когда же? Когда? Наживка, что ли, не та? Он быстро вытащил удочку и, сменив тесто на булку, забросил снова...

— Опа! Первый есть! — крикнул вдруг из соседних камышей дядя Серёжа.

— Где?! Где?! — тут же примчался к нему Егорка.

— Да вот он! Смотри!

В полураскрытой ладони дяди Серёжи трепыхался небольшой карасик. В его серебристом боку, как в зеркале, отражалось летнее солнце.

— Ух ты! — восхищённо протянул Егорка, дотрагиваясь пальцами до прохладной солнечной чешуи. — Красивый. Ну, ничего, я сейчас тоже поймаю.

Но его поплавок молчал, как и в первый раз... А у папы и дяди Серёжи клевало.

— Не унывай! — подбадривали они Егорку.

— Наверти ему каши побольше!

— Обмани, но вытащи!

— Хочешь, иди ко мне! — это, конечно, был папа.

Вот ещё! Он что, маленький? Егорка закусил губу от досады и пошёл искать себе новое место. Но на новом месте было так же тихо. Что за невезение?! Обидевшись на всех в мире карасей, он оставил удочку и отправился бродить по берегу. Как вдруг на узкой песчаной тропинке увидел чью-то бадейку, полную рыбы.

— Ничего себе улов! — не в силах сдержать восхищения, громко произнёс Егорка.

— Царский! — тут же донёсся до него добрый шутливый ответ, и из-за зелёной раскидистой ивы вышел хозяин бадейки, пожилой рыбак с загорелым лицом и светлыми голубыми глазами.

— А зачем вам столько? — кивнув на бадейку, с любопытством посмотрел на него Егорка. — Кошкам?

— Да нет, в пруд. У нас недалеко от дома пруд есть. В нём вся наша детвора ловит и внучок мой тоже... Ловят, отпускают... А мне радостно, — рыбак улыбнулся, и в уголках его светлых глаз заиграли лучистые морщинки. — А у тебя... не клюет, — неожиданно догадался он.

— Не клюет, — грустно вздохнул Егорка.

— Ну, это дело поправимое. Знаешь что, беги-ка за удочкой и садись на моё место, вон у той ивы. Садись-садись! Я всё равно уезжаю. А место хорошее, прикормленное. Только на вот кашу возьми. Каша эта волшебная на гречишном меду, карась её очень любит...

— Спасибо! — поблагодарил Егорка и побежал за удочкой, а когда вернулся, рыбака уже не было.

Накрутив на крючок небольшой комочек волшебной приманки, он с нетерпением забросил... И вдруг, о чудо!.. Поплавок дёрнулся и моментально ушёл под воду. Егорка подсёк, и долгожданный карась в мгновение ока оказался на берегу.

— Опа! Первый есть! — закричал он, совсем как дядя Серёжа, и помчался с карасём к папе.

Удача, наконец-то, улыбнулась юному рыбаку. Вслед за первым попался второй, третий... Каша творила настоящие чудеса. Едва касаясь воды, поплавок мигом скрывался из глаз... Теперь уже и в Егоркиных карасях отражалось солнце... Такой замечательной рыбалки у него в жизни не было. Папа хвалил. Дядя Серёжа подтрунивал:

— Браконьер! Истинный браконьер! Во даёт!

А счастливый Егорка носился с пойманной рыбой то к одному, то к другому, со щедростью наполняя их бадейки. Ничто не омрачало его радости, разве только лёгкое беспокойство, что необычная приманка может закончиться. Но приманка закончилась только к вечеру.

— Ну что, понравилось? — сматывая удочки, поинтересовался у Егорки папа.

— Ещё бы, — многозначительно глядя на бадейки, улыбнулся дядя Серёжа. — Всем дал фору.

— На что ловил-то?

— На кашу... волшебную.

— Да ну! — снова улыбнулся дядя Серёжа.

— Честное слово! — и Егорка с жаром принялся рассказывать им о рыбаке и чудесной наживке...

— Молодец этот человек, — выслушав, серьёзно сказал папа. — Такую удивительную рыбалку тебе подарил!

— Волшебную, — улыбнувшись, уточнил сын.

— А что с рыбой будем делать... волшебной?! — поднимая тяжёлые бадейки, поинтересовался дядя Серёжа.

— А давайте её выпустим! — вдруг радостно предложил Егорка. — Пускай живёт.

...Тёплый летний день подошёл к концу. Солнце село за дальние камыши, и на небе взошла луна. Кругом всё стихло: лишь ночной музыкант-сверчок затянул в траве свою убаюкивающую мелодию. Дядя Серёжа ушёл заводить машину, папа понёс в багажник последние снасти, а Егорка, улучив минутку, ещё раз спустился к воде. Она была серебристой и сказочной. В небольших волнах отражались лунные блики. А Егорка смотрел на них, и ему казалось, что это резвятся, поблескивая чешуей, отпущенные на волю караси...

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КИРЮШКА

Кирюшка с раннего детства был замечательным. Мама не пропускала ни одного его достоинства.

— Как аккуратно ты аппликацию сделал. Лучше всех в группе! — хвалила она сына в садике. — Как хорошо ты читаешь. Лучше всех в классе! — умилялась она ему в школе.

Кирюшка действительно отлично учился. Инна Сергеевна не скупилась на пятёрки и часто ставила его в пример.

После уроков он одним из первых с лёгкостью выбегал из школы навстречу маме.

— Как дела? — встречала она его вопросом. — Что получил?

Он поднимал большой палец и улыбался:

— Пять!

Кирюшка привык к своей исключительности. И уже давно в ней не сомневался. Он дружил только со старостой Аней, близнецами Львом и Петром, маленьким Серёней — такими же успешными ребятами, как и он. А на Вовчика Чумакова не обращал никакого внимания. Вовчик был двоечником и хулиганом. Он вечно что-то ломал, обзывал одноклассников, дрался и доводил Инну Сергеевну до белого каления.

— Чумаков! — то краснея, то бледнея, кричала она. — Успокойся, Чумаков! Сколько можно?! Бери пример с нормальных ребят. — В этот момент она, конечно же, смотрела на Кирюшку. Лучший ученик улыбался самодовольно...

А худший — не думал успокаиваться. Наоборот.... Как-то раз в один из учебных весенних дней он словно с цепи сорвался. На уроке ИЗО вместе с неаккуратными грязно-синими мазками в альбоме взял и разрисовал парту. Нарочно, назло!..

— Вытирай! — на перемене Инна Сергеевна обессилено бросила ему тряпку.

Чумаков пару раз махнул ей и сбежал. Пожалев и парту, и Инну Сергеевну, его художества стёрла Аня.

В классе наконец воцарилось спокойствие. Кирюшка взял учебник, собираясь

повторить правило по математике. Но вдруг в открытую дверь ворвался протяжно-жалобный крик Серёни.

— Отдай! — Кирюшка заткнул уши. — Отдай же! — ещё громче кричал Серёня.

Кирюшка недовольно захлопнул книгу и вышел в коридор. В коридоре снова бесчинствовал Чумаков. Он отнял у Серёни машинку и теперь дразнил:

— Собачка, фас! Попробуй, отними!..

Маленький Серёня отчаянно прыгал, пытаясь дотянуться до поднятых рук обидчика. И уже почти было достал... Но Чумаков вдруг резко разжал ладонь... Несчастная машинка ударилась об пол и разлетелась на две половинки. Оказавшийся рядом Лев хотел наподдать хулигану, но Чумаков снова убежал. Серёня плакал. Пётр искал выскочивший из игрушки болтик и успокаивал:

— Не плачь, не плачь, я починю!..

В общем, все закончилось хорошо. Вовчику поставили неуд по поведению. Серёне починили машину. Правда, он долго ещё сокрушался и всхлипывал. А у Кирюшки было отличное настроение. В электронном дневнике стояли пятёрки. И по русскому, и по математике, и по ИЗО.

Сегодня мама работала — Кирюшка шёл из школы один. И от этого чувствовал себя ещё более взрослым и исключительным. Путь к коттеджному посёлку, где он жил, пролегал через заброшенные огороды. Кирюшка думал про свои успехи, про глупого Чумакова. Как вдруг увидел одноклассника возле одного из заборов. Отломав от него увесистую доску, Вовчик опасливо тыкал ей куда-то в высокую сухую траву. Вдруг из-под крыльца заброшенного домика выбежала рыжая лохматая собака и окатила хулигана грозным заливистым лаем. Чумаков испуганно отшатнулся, замахнулся палкой, кажется, даже попал — собака взвизгнула.

«Что нужно ему от этой дворняжки?» — быстро пронеслось в Кирюшкиной голове.

И вдруг... Переваливаясь на толстых неуклюжих лапах, из травы вывалился рыжий пушистый комок.

— Щенок! — понял Кирюшка. — Щенок нужен!

Точно! Выставив перед собой палку, словно копье, Чумаков шагнул ему навстречу. Собака поняла, завыла просяще-жалобно, словно умоляла не трогать её дитя. Но Чумаков наступал. И тогда она в отчаянии бросилась на палку, подставляя под удары морду, лапы, бока, визжа от страха, боли и обиды.

— Во дурак! — стоя за берёзой, качал головой Кирюшка. — Садист, живодёр, псих!..

Проходивший мимо дяденька не остался в стороне. Он выхватил у душегуба палку и собирался хорошенько наподдать ему по одному месту. Но Вовчик сбежал в третий раз.

Однако и эта история закончилась хорошо. Потрясённый до глубины души поведением хулигана, дяденька сходил в близлежащую школу и выяснил, кто это. На классном часе Инна Сергеевна устроила Чумакову разбор полётов. Она ругала его, ругала... И чем ниже Вовчик пригибал голову к парте, тем выше поднимал свою Кирюшка. Ведь он-то хороший, замечательный!.. А Чумаков вчера, и правда, творил не пойми что. Андрюшка вдруг захотел рассказать об этом Инне Сергеевне и поднял было руку. Но голос учительницы его остановил.

— А знаете, что страшнее всего в этой истории, ребята? — негромко спросила она. — Равнодушие! Этот человек сказал, что вчера возле заброшенных дач было много народа. Но никто, никто не заступился за собаку!

Слова учительницы будто обожгли Кирюшку, сердце застучало непривычно быстро....

После уроков его встречала мама.

— Как дела? — привычно спросила она у сына.

Сегодня он опустил глаза и ничего не ответил.

Алексей НИКОЛАЕВ

ДУХ

Философия духа[1]

(1-я редакция)

§4. ТЕОРЕМЫ ДУШИ

Основы психологии в психологических теоремах

Логическая теорема 41

ТЕОРЕМА ПЕРЕХОДА ПОРОГА СОЗНАНИЯ

Всякий раз, когда человек приходит в сознание, совершается душевный переход порога сознания как превращение сомнамбулы в сознание, или, другими словами: претворение духа души в сознание, или: развертывание сознания в духовном теле души, или: переход души от формализованного небытия, реализуемого в форме человеческой сомнамбулы, к бытию, реализуемому в форме человеческой личности.

Доказательство

I. Пребанальный и обыденнейший элемент ЖЦЧ (жизненного цикла человека), состоящий в каждодневной смене бессознательных и сознательных состояний души, — это загадка природы с суперинтригой, касающаяся абсолютного корня души и представляющая философски-сверхинтересную логическую задачу, решение которой начинается с уразумения исходных данных задачи, а в исходных данных имеем ипостасный дуализм души по стороны порога сознания: по одну сторону дана чистая сомнамбула как одна ипостась души, а по другую дано сознание как другая ипостась души и как сама душа в тождестве с сознанием, то есть как самосознательный субъект, причем на старте ЖЦЧ лишенный личностной формы и принимающий форму человеческой личности путем развития в возрастном цикле детства.

II. Простое и общее определение сомнамбулы:

Сомнамбула – это бессознательная: немыслящая: неразумная: лишенная разума живая сущность, которая сама по себе, отделенная от всего, что не есть она сама, есть сомнамбульный дух, замкнутый в пространственных границах своего духовного тела за порогом сознания и имеющий организацию живого существа, управляемого запрограммированным сомнамбулическим образом изнутри по принципу умной машины и извне по принципу дистанционного программирования.

---

[1] Книга «Дух» публикуется в «Невском проспекте» в следующей структуризации:
N8 НП: «Предисловие о том, что есть философия» + §1 «Дуализм духа и материи» +
Фактологическое предуведомление №1 «Спиритическая материализация» +
Фактологическое предуведомление №2 «Духовное тело» + §2 «Человеческий дух»
N9 НП: §3 «Тео-теоремы». Основы теологии в теологических теоремах 1-15.
NN10-11 НП: Фактологическое предуведомление №3 «Спиридониада»
N12 НП: Фактологическое предуведомление №4 «Спиритический чертѣ»
NN13-17 НП: §4 «Теоремы души». Основы психологии в логических теоремах 21-45.

III. В дуализме мира людей и мира животных сомнамбула принципиально разнится как ***человеческая сомнамбула***, являющаяся составным элементом конструкции человеческого существа, и как ***животная сомнамбула***, относящаяся к миру животных, который есть царство воплощенных сомнамбул как сущих во плоти бессознательных существ.

IV. Животная сомнамбула принципиально сходна с человеческой сомнамбулой по общему признаку бессознательности и принципиально противоположна человеческой сомнамбуле по признаку наличия или отсутствия способности переходить порог сознания и служить духовным носителем и вместилищем сознания как духовное тело, периодически приводимое в сознание с последующей обратной метаморфозой.

V. В рамках ЖЦЧ человеческая сомнамбула неотъемлема от души как дух, регулярно претворяемый в сознание и составляющий за порогом сознания бессознательную духовную ипостась души как двуипостасного сущего, описываемого простым диалектическим уравнением: ***дух души + сознание души = душа***, где дух души есть духовное тело души как пространственный объект, занимающий отмеренное место в мировом пространстве.

VI. По ипостасному уравнению души, душа самотождественна разом в обеих ипостасях, определяемых как дух и сознание, где дух служит мировым вместилищем сознания как существующее в мире (а не в абсолюте) духовное тело и как бессознательная живая сущность: противоположность сознания. Двуипостасность души как духа и сознания означает, что нет души за вычетом сознания, читай: нет души вне сознания в качестве чистой и настоящей сомнамбулы, сущей за порогом сознания; но нет души и за вычетом духовного вместилища сознания, которое в человеческом существе обнаруживает себя как духовное тело души и как бессознательный субъект, каковой сам по себе и в чистом виде подпадает под общее определение сомнамбулы.

VII. Чистая, она же настоящая, человеческая сомнамбула идентифицируется по признаку обнуленного сознания в бессознательных состояниях души и явствует де-факто для стороннего наблюдателя в двух базовых принципиальных разновидностях: во-первых, как ***сновидческая сомнамбула*** (спящий человек), а во-вторых, как ***трансовая сомнамбула***, имеющая собственные разновидности, в чьем числе особо показательны и неплохо известны (различимы) ***гипнотическая сомнамбула*** (загипнотизированный человек) и ***медиумическая сомнамбула*** (медиум в трансовом состоянии). К числу классических и общеизвестных разновидностей чистой сомнамбулы относится еще ***лунатическая сомнамбула***, давшая название сомнамбулизму и похожая на третье среднее между сновидческой и трансовой сомнамбулой.

VIII. На примере гипнотической сомнамбулы хорошо видно, что сомнамбула управляема не только изнутри по принципу умной машины, напичканной управляющей программщиной, но еще и извне по принципу дистанционного программирования. Гипнотизер выступает в роли внешнего управляющего, задающего программу поведения сомнамбулы или программу чувствования, причем работающую (что представляет отдельный теоретический интерес) по принципу обмана чувств, да еще и (что в высшей степени интересно) с ***формообразованиями в организме через гипнотическое воображение***. Повторим приводившийся пример: гипнотизер, коснувшись рукой руки гипнотической сомнамбулы, приказывает почувствовать прикосновение как ожог раскаленным металлом, и сомнамбула чувствует воображаемый ожог, а на руке сомнамбулы возникают ожоговые волдыри от воображаемого ожога. Подобная давно известная и надлежаще задокументированная фактология гипноза пополняет копилку убедительных доказательств определения, входящего в логическую систему философии духа и гласящего: ***вся жизнедеятельность организма, в том числе работа мозга, есть жизнедеятельность воплощенного в организме духа***, то есть материализованного духа, принявшего форму физического тела и существующего в этой форме. А иначе, скажите, господа материалисты, как вообще возможны невероятные-очевидные волдыри от воображаемого ожога? Как возможны стигматы? Как возможна невероятная-очевидная и доказанная вещдоками материализация спиритической руки, бывшей типичным спиритическим явлением во времена расцвета спиритизма? Как возможны аппорты и материализованные спиритические существа, такие как знаменитые некогда Кэти Кинг и Иоланда, появлявшиеся в трансе конгениальных медиумов Флоренс Кук и мадам де Эсперанс? Взгляните на фото Кэти, сделанное Круксом, и на фото материализованного духа, сделанное Аксаковым. Если фотографии подлинны (а они подлинны и суть вещдоки), значит, спиритическая материализация — факт. И как же она вообще возможна? Да так же, как возможна ваша собственная плоть, читающий (-ая) эти строки: это есть физическая форма живого духа, созданная с нуля (из яйцеклетки) по законам природы и по алго-

ритмам абсолютной программы творения. А если есть творение, то есть и творец, и если есть программа, то есть и программист, и это не сомнамбула, а самосознательный субъект: обладатель разума и воли, сущий в сознании, которое есть он сам.

IX. Сомнамбула — это бессознательный и потому ***безвольный дух***, лишенный разумной способности к самоуправлению, зовущейся волей и присущей вместе с разумом самосознательному субъекту. ***Волевое самоуправление***, имея сознательную природу, является естественным и, как правило, хорошо заметным даже на беглый взгляд отличием самосознательного субъекта от сомнамбулы, управляемой роботическим запрограммированным образом как живая машина, способная, за неимением сознания и своей воли в нем, подчиняться только чужой воле и внешнему разуму, подобно тому как подчиняется воле и разуму программиста компьютеризированная неживая машина, подвластная также воле и разуму всякого, кто имеет доступ к пульту ручного управления машиной и научен управлять.

X. Необходимо и достаточно держать в центре внимания два явных признака самосознательного субъекта, чтобы уверенно отличать его от всех сомнамбул: сознание себя + воля, где сознание себя двоично по стороны 2-го порога сознания (см. теорему порога сознания, №40), с одной стороны, как зрячее самосознание личности, а с другой стороны, как безличностное и сомнамбулоподобное самосозерцание, в чистом и первозданном виде присущее душе младенца, за вычетом личности, еще не сформированной.

XI. Сознание души — обитель воли, а точнее, обладателя воли в лице мыслящего «я» души: личности. Обладатель воли — обладатель разума как способности к мышлению, реализуемой человеческой личностью в сознании души и работающей по стороны 3-го порога сознания как личная и сверхличная способность души к мышлению (см. теорему порога сознания, №40). Волевое самоуправление «я» осуществляется в русле личного мышления «я» как командное мышление «я», выливающееся в вереницу волевых решений и волевых действий, проделываемых личностью («я») в сознании души заодно с волевым выбором, в соответствии с принципом свободы воли, действительным в сознании и недействительным вне сознания, за отсутствием воли у сомнамбулы.

XII. Способность к волевому самоуправлению отличает самосознательного субъекта от сомнамбулы как ***свойство разума***, отличающее разум от компьютера (хоть неживого, хоть живого), и вместе с тем как ***свойство личности*** («я»), отличающее личность от робота (хоть неживого, хоть живого).

XIII. В человеческом существе первейшим явным признаком сознания (а значит, и разума) является не воля, а самосозерцание, придающее сомнамбульному духу сущностное качество сознания, в чем и состоит претворение духа в сознание и превращение сомнамбулы в сознание, происходящее каждодневно с каждым из нас, людей, при пробуждении поутру. Но: чистое самосозерцательное сознание лишено осмысленного разумения и воли, как и чистая сомнамбула, и больше похоже на сомнамбулу, чем на зрячее сознание, а потому оно условно-метафорически называется в этой книге третьей сомнамбулой как безличностное (по типу души младенца) диалектическое третье между чистой сомнамбулой и зрячим сознанием, характерным для личности.

XIV. Говоря точнее (насколько это возможно), при превращении сомнамбулы в сознание, совершающемся как приход души в сознание, сомнамбула не обнуляется в душе, а скрывается в душе и пребывает незаметно для мыслящего «я» души за душевным порогом сознания. Пока длится ЖЦЧ, человеческая сомнамбула (в отличие от сознания) не может никуда пропадать в человеческом существе и либо дана в чистом виде (в бессознательных состояниях души), либо скрыта за троичным душевным порогом сознания (в сознательных состояниях души) как бессознательное духовное естество души, соединенное с сознанием души в двуипостасное сущее, по ипостасному уравнению: дух души + сознание души = душа.

XV. Переход сомнамбулы через порог сознания совершается как диалектическая поляризация духа порогом сознания с результатом в виде ипостасного дуализма души: дух души (духовное тело) + сознание души = бессознательный субъект + самосознательный субъект = немыслящая сущность души (неразумная) + мыслящая сущность души (разумная) = 1-я ипостась души + 2-я ипостась души = душа, где нумерация ипостасей продиктована тем обстоятельством, что наше сознание появляется и пропадает в нашем духовном теле, как будто сознание души вторично относительно сомнамбулы, хотя, по сути дела, сознание первично в природе души, составляя тождество с душой, не существующей вне сознания, читай: не существующей вне тождества с сознанием.

XVI. Соответственно троичности душевного порога сознания, троичен душевный переход через порог сознания и совершается, во-первых, как переход сомнамбулы через 1-й порог сознания, сводимый (в идентификации) к превращению чистой сомнамбулы в чистое самосозерцательное сознание, наличие коего де-факто служит достаточным основанием для констатации перехода. Например: вполне очевидно, а если и нет, то можно логически доказать, что душа грудного младенца не является чистой сомнамбулой и составляет тождество с сознанием как минимум в качестве самосозерцательной мыслящей сущности, чье самосозерцательное мышление, относящееся к первичным природным признакам сознания и удостоверяющее факт сознания, производится в душе младенца разумом, составляющим мыслящее (разумное) естество души младенца и делающим душу младенца мыслящим субъектом, сущим в самосозерцательном сознании, которое есть сама душа в тождестве с сознанием: в ипостаси сознания: в сущностном качестве сознания, приобретенном сомнамбулой при переходе через 1-й порог сознания, отделяющий сознание в человеческом существе от всего, что не есть оно само.

XVII. Сущностное качество сознания, приобретаемое сомнамбулой и превращающее сомнамбулу в сознание, есть то, что не присуще духовному телу души вне сознания (за 1-м порогом сознания) и что присуще духовному телу души, когда наполняющий его сомнамбульный дух приобретает свойства сознания и вместе с тем сам в некоторой части и некоторым образом пресуществляется в сознание, первичным признаком чего является самосозерцательное мышление, определимое попросту как мышление, обращенное на само себя и имеющее само себя мыслимым объектом, который есть мыслящий субъект как тот, кто умосозерцает самого себя (см. теорему самосозерцания, №13: тео-теорему 8).

XVIII. В человеческом существе переход через 1-й порог сознания заключается в превращении настоящей сомнамбулы в ненастоящую третью сомнамбулу, самосозерцательную, каковая, строго говоря, не есть сомнамбула, а есть чистое самосозерцательное, безличностное сознание, отделенное в душе от личности и от присущего личности зрячего сознания 2-м порогом сознания: личностным. Переход через 2-й порог сознания совершается душой как приход личности (мыслящего «я» души) в сознание, если личность вообще есть в душе как таковая и способна назваться местоимением «я» и сказать: аз есмь. Коль скоро на старте ЖЦЧ личности еще нет, то переход души через 2-й порог сознания изначала вершится не как мгновенный приход «я» в сознание, а как затяжной процесс формирования «я».

XIX. Диада явных признаков, отличающих самосознательного субъекта от сомнамбулы: сознание себя + воля, − налицо, когда налицо человеческое лицо души: человеческая личность: «я». В силу тождества души и сознания, личностная форма души (личность) есть личностная форма сознания, обретаемая душой человека вместе с превращением младенческого самосозерцательного сознания в зрячее сознание, присущее человеческой личности как разумное и самосознательное естество личности, а это все равно что сказать: зрячее сознание личности есть сама личность как мыслящая (читай: видящая разумом: зрячая) форма души, она же форма сознания.

XX. ***Личностная форма сознания есть само сознание в форме личности***: самосознание личности: личностное самосознание души, принявшей форму личности, сознающей себя, называясь местоимением «я» и именем человека и обнаруживая волю как присущую личности самосознательную (разумную) способность к самоуправлению.

XXI. Диада явных признаков самосознательного субъекта (сознание себя + воля) обнаруживается в человеческом существе последовательно: сперва (на старте ЖЦЧ) наличествует безличностное чистое самосозерцательное сознание себя, а потом добавляется воля вместе с добавлением (формированием) личности. Иначе говоря, воля появляется в сознании души в результате превращения третьей сомнамбулы (самосозерцательной) в зрячее сознание, а это есть личностная форма сознания, она же личностная форма души, она же личность, она же «я», оно же человек.

XXII. Итак, душевный переход через порог сознания принципиально двоичен как, во-первых, переход через 1-й порог сознания, состоящий в превращении чистой сомнамбулы в третью сомнамбулу (самосозерцательную), а во-вторых, переход через 2-й порог сознания, состоящий в превращении чистого самосозерцательного сознания (третьей сомнамбулы) в зрячее сознание как личностную форму сознания.

Логическая теорема 42

ТЕОРЕМА ИПОСТАСНОГО ЯНУСА АБСОЛЮТНОГО ДУХА

В дуализме несотворенного и сотворенного мыслящего субъекта логически просматривается ипостасный Янус абсолютного духа, с одной стороны, как безличностной ипостаси бога, а с другой стороны, как безличностной ипостаси души, в соответствии с определением абсолютного духа, диктуемым дуализмом разума и мышления и гласящим: первичное, несотворенное, безначальное, беспричинное, самопроизвольное, непрерывное, бесформенное мышление абсолютного разума, обращенное на само себя как на умосозерцаемый объект, есть абсолютный дух, составляющий собой абсолютное духовное естество сознания, опознаваемое в реальности по признаку самосозерцания как безличностная ипостась мыслящего субъекта.

Доказательство

I. Когда душа приходит в сознание, сомнамбульный дух, наполняющий и составляющий собой духовное тело души, некоторым загадочным образом в некоторой своей части пресуществляется в самосозерцательное мышление, которое первично в диалектике мышления, а такая первичность логически передаваема при помощи такого термина: ипостасное мышление: мышление, составляющее собой ипостась мыслящего субъекта и определяемое так:

II. ***Мышление с самосозерцательными свойствами, присущими сознанию, есть ипостасное мышление, обращенное на само себя как на мыслимый объект, который есть мыслящий субъект в ипостаси мышления, то есть в тождестве с мышлением, каковое тождество обусловлено дуализмом разума и мышления в естестве сознания.***

III. Определение ипостасного мышления логически извлекается из абсолютного ***дуализма разума и мышлени***я как диады противоположностей, составляющих мыслящее естество мыслящего субъекта (читай: сознания), где ***разум есть производитель мышления, а мышление есть работа разума*** как действие, производимое разумом в мыслящем субъекте (в сознании) и априори не бывающее беспредметным, то есть:

IV. Мышление субъекта (того, кто мыслит) обращено на предмет мышления: на то, что мыслится: на мыслимый объект, каковым в сознании изначально является и не может не являться сам субъект (само сознание), причем в двух своих противоположных природных качествах: в качестве производителя мышления и в качестве мышления, а именно самосозерцательного мышления, или, выражаясь логически осторожней, ***мышления с самосозерцательными свойствами***, каковые служат главным опознавательным признаком ипостасного мышления независимо от каких бы то ни было прочих его свойств.

V. Несотворенный и вечный производитель мышления, он же всеобщий первоисточник мышления, находящийся вне мира (в абсолюте), есть бог как абсолютный разум и как абсолютный мыслящий субъект, тождественный абсолютному разуму. А в душе человека производящий источник мышления называется (по принадлежности к человеку) человеческим разумом. Человеческий разум простейшим образом определяется как душевная способность человека к мышлению, она же природная способность души к мышлению, которая в действии (в работе) диалектически поляризована 3-м порогом сознания (см. теорему порога сознания, №40) как собственно разум и как свой ум человека, то есть: как сверхличная и личная способность души к мышлению, или: как двуединый источник сверхличного и личного мышления души. Сверхличное мышление души не зависит от «я», а личное мышление души обусловлено в душе природными данными мыслящего «я» души как обладателя разума, а точнее говоря, как ***пользователя разума***, а также как воплощенного «я», чье мышление поддерживается мозгом и зависит от параметров мозга, о чем материалисты, конечно, не на пустом месте все уши прожужжали (см. теорему воплощенного «я» и теорему «мозгового сознания», №38 и №39).

VI. Диалектика мышления начинается ***дуализмом ипостасного и прочего мышления***, где ипостасное мышление абсолютно и есть ипостась бога как первичное, несотворенное, безначальное, беспричинное, самопроизвольное, непрерывное, бесформенное мышление бога, длящееся как бытие бога в вечности и обращенное на само себя как на несотворенный мыслимый объект, который есть несотворенный

мыслящий субъект (бог) в ипостаси мышления, то есть в тождестве с мышлением.

VII. Тождество мыслящего субъекта с мышлением реализуется в сознании, которое есть он сам, субъект, как мыслящее сущее, умосозерцающее себя в себе и совпадающее с собой в самосозерцательном мышлении, обращенном на само себя как на мыслимый объект, который есть мыслящий субъект, который есть сознание.

VIII. Ипостасное мышление бога составляет тождество с богом, составляя собой абсолютную мыслительную реальность сознания, в которой существует абсолютный субъект (бог) как в своем бытийном вместилище, то есть как в самом себе: в сознании.

IX. Ипостасное мышление абсолютного субъекта (бога) есть абсолютное монолитное нечто, наполняющее собой абсолютную реальность и существующее в ней как нечто реальное: противоположность абсолютного ничто: сущее, в соответствии с общим простым определением сущего, гласящим: ***сущее есть нечто, существующее в реальности и составляющее собой реальность***. Логически эквивалентное простейшее и кратчайшее определение реальности: ***реальность есть совокупность сущего, составляющего собой реальность***.

X. Абсолютная (несотворенная) реальность нематериальна. Противоположность материи, составляющая и наполняющая собой нематериальную реальность, искони называется духом как нематериальное нечто: нематериальное сущее. В абсолюте дух абсолютен и есть сам бог, а точнее — духовная ипостась бога, которая в мыслящем естестве бога, двуипостасном как разум и мышление, тождественна мышлению, точнее — ипостасному мышлению. Такова логика (см. nn. I-X) определения, гласящего: ***абсолютный дух есть ипостасное мышление бога*** (см. простую логику определения сего также в теореме абсолютного духа, №9: meo-теореме 4).

XI. Дельная теология, она же философия, издревле вертится вокруг двух интуитивно напрашивающихся тезисов, аксиоматически гласящих: 1) бог есть разум; 2) бог есть дух. Это суть ипостаси бога. Дело стало за надлежащим логическим прояснением и системным философским обоснованием ипостасной диалектики бога, а она проясняется в логическом свете абсолютного дуализма разума и мышления в естестве сознания.

XII. ***Ипостасный дуализм бога есть дуализм разума и мышления***, формульно записываемый диалектическим уравнением: абсолютный разум + ипостасное мышление абсолютного разума = абсолютный субъект + абсолютный дух = 1-я ипостась бога + 2-я ипостась бога = бог = абсолютное сознание. Двуипостасность бога логически эквивалентна дуализму разума и мышления в естестве сознания, которое есть бог. С одной диалектической стороны (в 1-й ипостаси), бог есть разум как производитель мышления: тот, кто мыслит: мыслящий субъект; а с другой диалектической стороны (во 2-й ипостаси), бог есть дух как ипостасное мышление разума. Двуипостасность бога означает, что бог существует в обеих ипостасях разом и не существует одноипостасным образом ни как разум, отделенный от духа, ни как дух, отделенный от разума.

XIII. Вопрос: если душа — разумное подобие бога, то значит ли это, что в душе дуализм разума и мышления принципиально таков же, как в боге? Ответ: нет. Иначе душа была бы богом. Душа подобна богу не как копия бога, а как сознание, порожденное сознанием и сходное со своим живородящим источником (с богом) по природным свойствам, отличающим мыслящее сущее (сознание) от немыслящего (бессознательного) сущего: от чистой сомнамбулы. Само собой разумеется, что никакое природное родство души и бога не может устранить принципиальную и колоссальную разницу между несотворенным и сотворенным мыслящим субъектом: второй заимствует разум от первого и является обладателем разума как пользователь разума. Разум абсолютен и составляет тождество с богом на корню: в абсолюте и в абсолютном естестве сознания. К слову сказать, грубейшая и главнейшая логическая ошибка Канта заключается в том, что Кант атеистически исключил абсолютное тождество разума и бога, тем самым манкировав разницей между абсолютным разумом и собственным умишком человеческого «я», поэтому кантианская критика разума мыльнопузырна и самонадеянна до ребячества, да просто смехотворна и высосана из пальца софистическим способом.

XIV. Душа не составляет тождества с разумом, в отличие от бога, который есть разум (в 1-й ипостаси) и обладает разумом как самим собой, а не так, как обладает разумом душа, когда она находится в сознании и наделена разумом как полученной в пользование сознательной способностью к мышлению, каковая в любой момент может обнулиться и повредиться, завися от множества психических, физических и психофизических факторов, в качестве личной умственной способности воплощенного «я».

XV. В отличие от бога, душа не есть разум, следовательно: из двух ипостасей бога, логически соответственных диаде разума и мышления, 1-я ипостась бога (абсолютный разум) не дублируется в душе, то есть: человеческий разум, составляющий мыслящее

естество души как производитель мышления души, не является ипостасью души. Но:

XVI. Душа есть сознание, как и бог, и это значит, что в душе дублируется 2-я ипостась бога, определяемая как абсолютный дух, определяемый как ипостасное мышление абсолютного разума, обращенное на само себя как на мыслимый объект, который есть мыслящий субъект, а точнее — ***безличностный мыслящий субъект*** в тождестве с ипостасным мышлением, неотъемлемым от сознания и обеспечивающим ***безличностное тождество субъекта и сознания***, будь то несотворенный субъект (бог) и будь то сотворенный субъект (душа).

XVII. Ипостасное мышление абсолютного разума, обращенное на само себя, априори имеет самосозерцательные свойства, которые апостериори явствуют в душе как первичный и абсолютный признак сознания, он же признак абсолютного духа, то есть:

XVIII. ***Самосозерцательные свойства сознания души суть свойства абсолютного духа***, а это все равно что сказать:

XIX. ***Чистое самосозерцательное сознание души есть абсолютный дух***, то есть:

XX. Абсолютный дух составляет собой ипостасное мышление души как безличностное чистое самосозерцательное сознание души, условно-метафорически называемое в этой книге третьей сомнамбулой, самосозерцательной. И стало быть:

XXI. Абсолютный дух, составляющий собой безличностную ипостась бога (как ипостасное мышление бога), одновременно составляет собой безличностную ипостась души, откуда происходит термин: ***ипостасный Янус абсолютного духа***. Термин означает, что:

XXII. С одной стороны, абсолютный дух есть безличностная ипостась несотворенного мыслящего субъекта (бога), а с другой стороны, абсолютный дух есть безличностная ипостась всех сотворенных мыслящих субъектов, таких как душа и любых теоретически возможных братьев по разуму, сущих во плоти или бесплотных.

XXIII. Абсолютный дух есть всеобщая ипостась всех мыслящих, то есть самосознательных и самотождественных в сознании, субъектов как абсолютное духовное естество сознания, одинаковое в боге и в душе как нечто абсолютное: нечто несотворенное, существующее вечно и вечно сохраняющее тождество с самим собой, являясь вечной противоположностью всех своих мировых производных, создаваемых абсолютным разумом за порогом сознания, то есть вне сознания, и существующих во времени от момента возникновения до момента исчезновения как сотворенное сущее.

XXIV. ***В вечном тождестве с самим собой абсолютный дух априори есть нечто абсолютно неизменное во всех своих свойствах, поэтому логически достаточно одного-единственного априорного признака самосозерцания для идентификации абсолютного духа апостериори везде, где можно констатировать факт самосозерцательного мышления.***

XXV. Засим душевный переход через 1-й порог сознания, состоящий в превращении чистой сомнамбулы в третью сомнамбулу, то бишь в безличностное чистое самосозерцательное сознание (см. теорему перехода порога сознания, №41), как будто бы эквивалентен превращению сомнамбульного духа, составляющего собой духовное тело души за 1-м порогом сознания, в абсолютный дух, но: логически строже говоря, сей фокус творца заключается в другом превращении, скрытом за внешним логическим видом метаморфозы, ибо:

XXVI. ***Несотворенное сущее не может возникать из сотворенного сущего***: абсолютный дух (несотворенное и вечное сущее) не может возникать из сотворенного сущего, определяемого как чистая сомнамбула и как сомнамбульный дух, составляющий и наполняющий собой духовное тело души как чистую сомнамбулу. И стало быть:

XXVII. Одно из двух: либо (вариант №1) всякий раз при приходе души в сознание абсолютный дух ***как бы входит извне*** (или назовите сами это получше) в духовное тело души и превращает чистую сомнамбулу в третью сомнамбулу (самосозерцательную), либо (вариант №2) духовное тело души (чистая сомнамбула) приводится в сознание в результате того, что, исходя из первичного дуализма абсолютного и мирового духа, можно назвать так: ***обратное преобразование мирового духа в абсолютный дух***. Ибо:

XXVIII. Человеческая сомнамбула, сущая вне сознания как бессознательная живая сущность, есть живая противоположность абсолютного духа и живая форма мирового духа, являющаяся составным элементом живой конструкции человеческого существа, но, как и все живое во вселенной, человеческая сомнамбула возникает (создается: порождается) в мире из всеобщего внемирного (абсолютного) духовного источника жизни, то есть из абсолютного духа, составляющего безличностную ипостась абсолютной живой сущности, которая есть бог.

XXIX. Абсолютный дух априори неизменен в абсолюте как несотворенное духов-

ное естество бога, но по факту дуализма бога-творца и мира-творения абсолютный дух апостериори обладает свойством (употребляя дельный термин древних философов) ***эманировать*** из абсолюта (из бога) в мир (вовне бога) и превращаться вне бога в противоположную живую сущность, общим образом определяемую как мировой дух и разнящуюся в мировом множестве форм мирового духа, живых и неживых (см. теорему мирового духа, №18: мео-теорему 13).

XXX. По той простой и аксиоматической логике, вразрез с которой тщетно фокусничали западные мастера софистики и которая гласит, что ***ничего не возникает из ничего***, всякий здравомыслящий человек, размыслив, должен здраво и логично умозаключить, что сотворенному сущему изначала и на корню (что называется, в начале начал) больше неоткуда происходить, кроме как из несотворенного сущего, имеющего в своем естестве нечто такое, что является ***первоэлементом*** как то, из чего сотворено все невечное в мире, живое и неживое. А из абсолютного дуализма разума и ипостасного мышления в естестве бога, где второе есть абсолютный дух, логически вытекает, что ***абсолютный дух есть первоэлемент*** (см. теорему первоэлемента, №17: мео-теорему 12).

XXXI. В логических рамках теоремы 42 определение абсолютного духа как первоэлемента служит логическим основанием для определения, гласящего: сомнамбульный дух души (чистая сомнамбула) есть форма мирового духа, порождаемая в ***эманационном преобразовании*** абсолютного духа в мировой дух, а превращение чистой сомнамбулы в чистое самосозерцательное сознание души (в третью сомнамбулу), происходящее всякий раз при приходе души в сознание, равнозначно обратному преобразованию мирового духа в абсолютный дух. Но:

XXXII. Коль скоро несотворенное сущее (абсолютный дух) не может возникать из сотворенного сущего, то душевное обратное преобразование мирового (сомнамбульного) духа в абсолютный дух, составляющий безличностную ипостась сознания, происходит как ***логическая иллюзия***. Это небезосновательно называется выше по тексту претворением духа души в сознание и развертыванием сознания в духовном теле души, ибо именно так это выглядит фактологически: вот дана де-факто чистая сомнамбула в состоянии сна, а вот она пробуждается и приходит в сознание, все равно что превращается в сознание. Но на самом деле, тут происходит что-то другое, что требуется определить получше и пояснее, ибо сознание абсолютно на корню: несотворенный и вечный абсолютный дух, составляющий абсолютное духовное естество сознания и опознаваемый в душе де-факто по признаку самосозерцания, не может быть результатом какого-либо мирового превращения, а значит, обыденная данность, состоящая в душевном превращении сомнамбулы в сознание, да еще и с лампочным эффектом, вдохновляющим материалистов на поиски «лампочки сознания» в черепной коробке, — это иллюзорная видимость: логический обман в умозрительном поле мышления, подобный обманам физического зрения и вообще обманам чувств.

Логическая теорема 43

ТЕОРЕМА ДУХОВНОГО ВМЕСТИЛИЩА СОЗНАНИЯ

В сознательных состояниях души духовное тело души является духовным вместилищем сознания как бессознательная ипостась души (1-я), связанная по принципу ипостасного дуализма воедино с абсолютным духом, который составляет на пороге сознания самосозерцательную ипостась души (2-ю) и делает душу двуипостасным сущим, обладающим бытием одновременно в сознании и в духовном теле.

Доказательство

I. Чередование сознательных и бессознательных состояний души в течение ЖЦЧ (жизненного цикла человека) происходит в духовном теле человека, являющемся общим духовным вместилищем человеческого организма и человеческой души, а значит, и вместилищем сознания, в силу тождества души и сознания.

II. В качестве вместилища души духовное тело человека (точнее, человеческого существа), есть духовное тело души, простейшим образом определяемое как сомнамбульный дух души, составляющий собой бессознательное духовное естество души и заполняющий собой, надо полагать, тот же пространственный объем, что отмерен под всю конструкцию человеческого существа.

III. Дух души — сущностная противоположность духа организма как живая сущность души, не составляющая тождества с живой сущностью организма, воплощенной в физическом теле организма и обеспечивающей жизнедеятельность организма и

материализацию организма с нуля из яйцеклетки, но: одушевленный дух человеческого существа (человеческий дух), сущностно-двоичный как дух организма и дух души, объектно-единичен как нематериальное нечто, называемое общим термином дух и заполняющее собой объектным-пространственным образом духовное тело человека, объектно-неделимое на два духовных тела как на два пространственных объекта в одном пространственном объеме, занятом всей конструкцией человеческого существа.

IV. Что неделимо объектным-пространственным образом, то бывает делимо в живой природе сущностным образом, то есть: в конструкцию живого существа могут входить принципиально разные (противоположные) по своей природе живые сущности, связанные в диалектические пары, частный случай чего отражается диалектическим уравнением: ***сомнамбульная живая сущность организма + сомнамбульная живая сущность души = дух организма + дух души = человеческий дух = одушевленный дух человеческого существа***, где и дух организма, и дух души начисто сомнамбульны и принципиально разнятся как разные формы мирового духа, будучи обе сущностными противоположностями абсолютного духа, отделенного от чистых сомнамбул 1-м порогом сознания (см. теорему порога сознания, №40).

V. Фактология спиритизма (см. фактологические предуведомления №№1, 2 и 4) позволяет умозаключить, что дух души может ненадолго выходить из пространственных границ организма и производить некоторые действия как пространственно отделенное от организма духовное тело души или некоторая часть его, но и без этой фактологии можно чисто логически умозаключить, что душа человека имеет собственное духовное тело, которое по своим сущностным свойствам, отличающим его собственное неорганизменное духовное естество, является сущностной противоположностью духовного тела организма как неорганизменная живая сущность и неорганизменная видовая форма мирового духа, невзирая на монолитное слияние двух разных живых сущностей сих (организменного духа и неорганизменного духа) в пространственных границах человеческого существа, где дух организма и дух души, заполняя собой один и тот же пространственный объем, отличимы по обнаруживаемым свойствам и неотличимы как нематериальные пространственные объекты.

VI. Духовное тело души является живой частью человеческого существа как чистая сомнамбула и как сомнамбульный дух, составляющий бессознательную ипостась души (1-ю) в соединении с самосознательной ипостасью души (2-й), составляемой абсолютным духом, когда тот некоторым образом, теоретически объяснимым ***по принципу ипостасного дуализма*** (см. теорему ипостасного Януса абсолютного духа, №42), входит в духовное тело души и делает оное вместилищем сознания, создавая эффект превращения сомнамбулы в сознание, обусловленный тем, что абсолютный дух априори есть всеобщее абсолютное духовное вместилище сознания, опознаваемое апостериори по признаку самосозерцания.

VII. Неиллюзорным и ***первичным духовным вместилищем сознания души*** является не духовное тело души (каковое само по себе есть чистая сомнамбула), а абсолютный дух, который столь же обыденным, сколь парадоксальным и чудесным (ипостасным) образом входит в духовное тело души и как будто пронизывает его собой, что позволительно помыслить по напрашивающейся аналогии с тем, как свет пронизывает тьму и как одна материя пронизывает другую (разреженную) материю, но:

VIII. Будучи несотворенным сущим, абсолютный дух существует вне мирового пространства, вмещающего сотворенное сущее, и не может реально (читай: может лишь иллюзорно) пронизывать и наполнять собой какие-либо пространственные объекты, хоть духовные, хоть физические; и вопрос тут в том, как создается логический обман, состоящий в совершенно реалистическом (во всяком случае, по ощущениям) превращении чистой сомнамбулы в сознание с лампочным эффектом, как будто сознание развертывается в сомнамбуле (в духовном теле) по щелчку специального выключателя и заполняет собой замкнутое пространство духовного тела души, словно пустоту, но духовное тело — это не пустота и не пустотный дух (типа вакуума), а живой сомнамбульный дух, составляющий собой духовное тело души как бессознательное естество души и как ипостась души (1-ю).

IX. В сознательных состояниях души сомнамбульный дух души, составляющий собой духовное тело души, связан в живое целое с абсолютным духом по принципу ипостасного дуализма: ***сомнамбульный дух души + чистое самосозерцательное сознание души = 1-я ипостась души + 2-я ипостась души = душа***, где 2-я ипостась есть абсолютный дух. Спрашивается: каким образом абсолютный дух, отделенный порогом сознания от 1-й ипостаси души (сомнамбульной), составляет собой 2-ю ипостась души (самосозерцательную) и тем самым создает реалистический эффект превращения сомнамбулы в сознание?

X. В соответствии с определением порога сознания как границы реальностей, отделяющей абсолютное сознание как бога-творца от мира-творения, находящегося

вне бога (читай: вне сознания), человеческая сомнамбула, замкнутая в духовном теле души, всегда пребывает за порогом сознания (вне сознания) и не может буквально и реально (неиллюзорно) наполняться абсолютным духом, всегда отделенным от сомнамбулы порогом сознания как границей реальностей; а значит, эффект превращения сомнамбулы в сознание, он же эффект перехода сомнамбулы через порог сознания из мировой реальности сомнамбулизма в абсолютную реальность сознания, создается, строго говоря, не в духовном теле души (не в сомнамбуле самой по себе), а ***на пороге сознания как в нечто, находящемся в реальности между сомнамбулой и сознанием и являющемся границей реальностей***, разделяющей абсолютную и мировую реальности, а заодно и связывающей их, ибо всякая граница, разделяя, связывает разделяемое каким-нибудь образом. Вопрос — каким именно? И заметьте:

XI. ***Порог сознания разделяет и связывает сомнамбулу с абсолютной реальностью сознания принципиально двояким образом: во-первых, в бессознательных состояниях души (принцип разделения и связи №1), во-вторых, в сознательных состояниях души (принцип разделения и связи №2).***

XII. В бессознательных состояниях души человеческая сомнамбула, пребывающая в духовном теле души как в самой себе за порогом сознания, разделена и связана с абсолютом, надо полагать, принципиально таким же способом (по принципу №1), как и животная сомнамбула, она же животный дух, он же дух организма неразумных (бессознательных) существ, называемых животными и существующих сугубо вне сознания.

XIII. В сознательных состояниях души человеческая сомнамбула разделена и связана с абсолютом (по принципу №2) в корне не так, как во сне или в трансе, а так, что духовное тело души функционирует как ***вторичное*** (относительно абсолютного духа) ***духовное вместилище сознания***, где сознание развертывается и свертывается с лампочным эффектом, который настолько реалистичен, что если вы материалист, то вам больше негде искать «лампочку сознания», кроме как в своем черепе, а если вы не материалист, то вы должны, во-первых, не путать свой организм и черепную коробку со своим духовным телом, являющимся нематериальным вместилищем организма. Во-вторых, в силу естественности лампочного эффекта, вы можете априори ожидать, что в лампочном эффекте включения и выключения сознания припрятан простой логический ключ к решению сложной логической задачи и просится в руки вместе с навязчивой подсказкой, состоящей в разительной и поразительной аналогии между физическим светом, озаряющим пространственную тьму, и нефизическим светом сознания, озаряющим тьму сомнамбулизма в замкнутом пространстве духовного тела, словно в темной комнате. Подсказка заставляет воспользоваться напрашивающейся наглядной аналогией как подручным логическим инструментом, для чего надо общеупотребительную метафору, состоящую в уподоблении сознания свету, преобразовать в рабочую логическую схему, правильно собранную из смысловых элементов, а это делается примерно так:

XIV. Естественный лампочный эффект включения и выключения сознания, подбрасывающий на язык метафору света сознания, позволяет сконструировать простую ***логическую схему двуипостасности души***, пригодную в теории сознания как наглядное пособие и собранную из следующих смысловых элементов:

1) *Источник духовного света* — абсолютный источник мышления: абсолютный разум;

2) *Духовный свет* — абсолютный дух: ипостасное мышление абсолютного разума;

3) *Духовная тьма* — сомнамбулизм души: бессознательные состояния души;

4) *Замкнутое пространство* — пространство духовного тела души: «комната души»;

5) *Окно со ставнями в «комнате души»* — порог сознания;

6) *Двоякое положение ставней, закрытое и открытое* — свернутое и развернутое сознание души: бессознательные и сознательные состояния души + третье среднее: полусознательные состояния души.

XV. Порог сознания, символизируемый в схеме окном со ставнями, разделяет и связывает чистую сомнамбулу (1-ю ипостась души) с абсолютным духом, составляющим 2-ю ипостась души (самосозерцательную), когда душа приводится в сознание с лампочным (световым) эффектом, создаваемым перво-наперво (базово) не в зрячем понятийном сознании «я» (см. теорему «лампочки сознания», №32), а сверхпонятийным и гиперлогическим образом (безотносительно к логическому мышлению «я») через некий душевный механизм, работающий наподобие открываемых и закрываемых оконных ставней, связывая сомнамбулу с абсолютным духом принципиально двояким способом: по принципу №1 и по принципу №2 — в закрытом и открытом положении

ставней, по схеме, соответственно.

XVI. В функциональном положении №2 (открытые ставни в схеме) порог сознания связывает сомнамбулу с абсолютным духом таким образом, что сомнамбульный дух души (1-я ипостась души) приобретает самосозерцательные свойства, прирастая чистым самосозерцательным сознанием как 2-й ипостасью души, добавляемой к 1-й и составляемой абсолютным духом в пограничной точке связи сомнамбулы с абсолютным духом, то есть на пороге сознания, а по схеме — в окне «комнаты души» со ставнями, распахнутыми вовне к абсолютному источнику духовного света сознания.

XVII. По схеме, свет заливает собой замкнутое пространство «комнаты души» при распахнутых ставнях, и аналогичным образом срабатывает в реальности и реалистически воспринимается человеком лампочный эффект включения сознания, как будто сознание натурально и буквально заливает собой духовное тело души (а в представлениях материалиста — организм), но: в реальности абсолютный дух не может пронизывать собой сомнамбулу, подобно разреженной материи, пронизывающей разреженную материю; и стало быть:

XVIII. Логической схемой двуипостасности души надлежит оперировать с поправкой на то, что реалистический эффект наполнения духовного тела души сознанием и светом сознания создается принципиально не так, как темная комната становится светлой, наполняясь потоком фотонов, а по принципу ипостасного дуализма: 1-я ипостась души + 2-я ипостась души = двуипостасное сущее, самотождественное разом в обеих ипостасях, которые не могут смешиваться на манер материи, разнясь не как одно сущее и другое сущее, а как одно сущностное естество и другое сущностное естество одного и того же сущего.

XIX. Душа есть чистая сомнамбула в своем бессознательном естестве (в 1-й ипостаси), а в своем самосознательном естестве (во 2-й ипостаси) ***душа есть сознание, которое*** (откуда бы оно ни бралось в духовном теле человека в добавление к бессознательной конструкции человеческого существа) ***наполняет собой духовное тело души не объектным-пространственным, а сущностным-ипостасным образом*** как самосознательная сущность души, соединенная с бессознательной сущностью души в двуипостасное живое нечто, существующее одновременно в духовном теле (в 1-й ипостаси) и в сознании (во 2-й ипостаси), будучи и тем нечто (духовным телом), и этим нечто (сознанием) как то, что оно есть в своей двоичной сущности: в двух ипостасях: духовное тело души, составляемое сомнамбульным духом души + сознание души, составляемое абсолютным духом = душа. Это уравнение много раз встречалось выше по тексту книги в краткой записи: дух души + сознание души = душа.

XX. Поскольку духовное тело души есть пространственный объект, занимающий пространственный объем, постольку оно есть пространственное духовное вместилище сознания души как мировой носитель сознания, находящийся в мировом пространстве и потому пространственный, но:

XXI. В отличие от сомнамбульного духа, наполняющего и составляющего собой духовное тело души буквальным объектно-пространственным образом как пространственную 1-ю ипостась души, сознание души (2-я ипостась души) наполняет собой свое пространственное духовное вместилище (духовное тело души) парадоксальным непространственным образом, ибо: сознание абсолютно и существует в абсолютном духе вне мирового пространства.

XXII. Как нечто абсолютное, сознание души относится не к мировой, а к абсолютной реальности и добавляется к мировой конструкции человеческого существа на границе реальностей, определяемой как 1-й порог сознания, разделяющий и связывающий мировую реальность сомнамбулизма с абсолютной реальностью сознания.

XXIII. В сознательных состояниях души духовное тело души связано порогом сознания с абсолютным духом как вторичное духовное вместилище сознания души (мировое) с первичным духовным вместилищем сознания души (абсолютным) и служит, схематически говоря, жилой «комнатой души» в мире и в человеческом существе, где душа пребывает, пребывая одновременно в сознании; а вне сознания душа не существует: души просто нет как таковой вне тождества с сознанием.

XXIV. Порог сознания, разделяющий и связывающий ипостаси души как граница реальностей и символизируемый окном со ставнями в логической схеме двуипостасности души, функционирует в душе человека как дверь в бытие, открывающая и закрывающая душевный доступ в абсолютную реальность сознания как в реальность бытия, где обладает бытием (то есть существует) всякий мыслящий субъект, будь то несотворенный субъект (бог) и будь то сотворенный субъект, такой как душа человека.

XXV. Сотворение души богом есть живое порождение сознания сознанием, тео-

ретически (гипотетически) возможное, надо полагать, не только в человеческом существе, но прежде чем обсуждать гипотезы, даже в высшей степени логичные, не худо бы получше сообразить, каким образом сознание души порождается абсолютным сознанием в нашем человеческом существе. В конструкции оного предусмотрена, схематически говоря, «комната души», логически необходимая как бытийное вместилище души, находящееся не в абсолюте, а в мировом пространстве как нематериальная живая часть человеческого существа, имеющая пространственную форму и определяемая как духовное тело души, которое, в силу тождества души и сознания, есть духовное тело сознания и объектно-пространственный носитель сознания как ипостась души (1-я), существующая в соединении с ипостасью души (2-й). Вот на каком логическом основании (см. nn. I-XXV) духовное тело души можно и нужно определять как духовное вместилище сознания.

Логическая теорема 44

ТЕОРЕМА ЛИЧНОСТНОГО ДУХА

Дух души есть личностный дух, составляющий собой духовное тело души и существующий за порогом сознания как чистая сомнамбула, сама по себе безликая, но заключающая в себе бессознательное естество личности как совокупность личностных свойств души, недействительных в бессознательных и действительных в сознательных состояниях души, когда личностный дух, соединяясь с сознанием души и служа духовным носителем оного, превращается из сомнамбулы в самосознательную личность.

Доказательство

I. Личностный дух, выше по тексту книги называемый духом души, — это то, в синтезе с чем организменный дух, воплощенный в физическом теле человека и в чистом виде являющийся разновидностью животного духа, пресуществляется в одушевленный дух человеческого существа, то есть в человеческий дух, объектно-единичный как духовное тело и сущностно-двоичный как дух организма и дух души, в силу неорганизменной и небиологической природы души.

II. Ввиду того что человеческая личность, как и организм, формируется в человеческом существе с нуля, душа безличностна на старте ЖЦЧ (жизненного цикла человека), а за вычетом личности попадает под вопрос и вообще дух души как таковой, то есть как сущностная противоположность организменного духа, предназначенная служить духовным носителем сознания души и составлять собой духовное естество личности, а не организма.

III. Тот факт, что и человеческая личность, и человеческий организм формируются, что называется, с нуля, позволяет сделать теоретическое предположение или простое допущение, что в стартовой точке ЖЦЧ (будь то момент зачатия и будь то момент родов или какой-то третий момент в утробном развитии плода) дух, составляющий и наполняющий собой духовное тело человеческого существа, является единичной живой сущностью, еще не поляризованной как дух организма и дух души. Что ж:

IV. Допустим, что изначально человеческий дух сущностно-единичен, но как только обнаруживает себя человеческая личность в новорожденном человеческом существе, так сразу явствует сущностная двоичность человеческого духа как духа организма и духа души, где дух души не допущение, а факт как неорганизменная живая сущность, не тождественная живой сущности организма и, как говорится, живущая своей собственной жизнью, которая, при своей сильнейшей зависимости от параметров и потребностей организма, сама по себе (как душевная жизнь «я») ни капли не похожа ни по существу, ни с виду на биологическую жизнедеятельность организма, в том числе что касается инстинктивной организации оной, не говоря уж об анатомии, физиологии, биохимии. Но при этом:

V. Во временном объеме ЖЦЧ дух организма и дух души синтезированы в пожизненное двуединое живое целое, созданное с нуля в пространственных границах человеческого существа, в которых духовное тело человека есть монолитное нематериальное нечто как единичный пространственный объект, чью объектную единичность, при сущностной двоичности, позволительно помыслить по напрашивающейся наглядной, пускай отдаленной, аналогии с тем, как в чистой физической реальности из двух химических элементов, например, из водорода и кислорода, синтезируется монолитное материальное нечто, называемое водой и обладающее специфическими свойствами

воды, отличными от свойств водорода и кислорода, притом что свойства воды априори базируются на свойствах составных элементов воды и притом что и то, и другое, и третье (и водород, и кислород, и вода) синтезированы из одинаковых элементарных частиц. Бог весть, каким образом дух организма как одно нематериальное нечто и дух души как другое нематериальное нечто, взятые в чистом виде и в объектном разделении (подобно различным элементам таблицы Менделеева), могут отличаться друг от дружки и от того духа, что логически необходим в их общей производящей основе (подобно нуклонам в основе всех элементов таблицы Менделеева), но для начала не худо различать дух организма и дух души просто как разные живые видовые формы (разновидности) мирового духа с разными свойствами и как разные живые сущности: организменную (биологическую) и неорганизменную (небиологическую). А вместе с тем:

VI. Надо полагать, что в простом базовом диалектическом уравнении человеческого духа фигурируют три разных нечто: ***дух организма + дух души = человеческий дух как нечто третье синтетическое***, кое объектно-единично (подобно объектной единичности воды в химической формуле воды) и наполняет собой духовное тело человека как синтетическое нечто, сочетающее в своем естестве противоположные (организменные и неорганизменные) свойства своих сущностных слагаемых. Поэтому:

VII. Аномальное явление природы, называемое исследователями спиритизма прижизненной экстериоризацией духа, долженствует происходить как частичное отделение от организма того же самого объектно-единичного синтетического нематериального (духовного) нечто, каковое наполняет собой духовное тело человека в его естественных пространственных границах и сочетает в своем естестве свойства духа души и свойства духа организма. За счет организменных свойств человеческого духа, надо полагать, принципиально возможна спиритическая разновариантная материализация экстериоризированного духа медиума, задокументированная в дельной литературе по спиритизму. Но:

VIII. Человеческая сомнамбула любого типа, в том числе трансовая сомнамбула медиума, есть сомнамбульный дух души с бессознательным естеством не таким, как у неразумных существ (животных), а таким, как у разумных существ (людей), чье бессознательное естество не есть духовное естество организма (организменный дух), а есть духовное естество души: дух души: бессознательная ипостась души (1-я), которая, с одной стороны, периодически соединяется в двуипостасное целое с самосознательной ипостасью души (2-й), а с другой стороны, дух души синтезирован с духом организма в сущностно-двоичное целое, причем не по принципу ипостасного дуализма (иначе было бы невозможно объектное спиритическое отделение духа медиума от организма медиума).

IX. Смыслом философского термина ипостась подразумевается одновременная данность ипостасей двуипостасного сущего, существующего (читай: обладающего бытием и наличествующего в реальности как таковое) разом в обеих ипостасях и не существующего (читай: лишенного бытия и отсутствующего в реальности как таковое) порознь в каждой из ипостасей. Поэтому в бессознательных состояниях души происходит презагадочная и парадоксальнейшая приостановка существования души, равнозначная исчезновению души как таковой из реальности, в соответствии с базовым простым определением существования как пребывания сущего в реальности. Коль скоро душа самотождественна в сознании, то вне сознания душа не существует: отсутствует в реальности: нереальна. А дух души (1-я ипостась души) за вычетом сознания души (2-й ипостаси души), строго говоря, перестает быть духом души, превращаясь в этакий бездушный дух и в бездушную сомнамбулу, почему и безликую и нисколько не похожую на человеческую личность даже просто на взгляд. Взгляните на лунатика или на человека в гипнотическом трансе — это не человек: это не личность: это сомнамбульный дух души, лишенный души, ибо лишенный сознания, и находящийся вне сознания, все равно что вне души, где бы ни находилась при этом душа как (условно говоря) свернутое сознание и как субъект в состоянии формализованного небытия, привычно называемом в обиходе бессознательным состоянием души, в том числе, состоянием сна или транса (сомнамбулизма).

X. Душа не факт вне и без своей личностной формы, как не факт она вне и без сознания, то есть: ***душа самотождественна в форме личности, следовательно: в одушевленном существе, обнаруживающемся в бытии как личность, дух души есть личностный дух, составляющий духовное естество личности***.

XI. Одушевление человеческого существа описывается уравнением человеческого духа: дух организма + дух души = одушевленный дух = человеческий дух, где дух

души есть сущностное слагаемое, за вычетом которого дух организма есть животный дух, а в синтезе с духом души организменный дух пресуществляется в одушевленный дух, способный быть ипостасным носителем сознания и личности.

XII. ***Теоретически есть два варианта одушевления человеческого существа: разделительный (№1) и соединительный (№2)***, то есть:

XIII. По варианту одушевления №1, человеческий дух изначала сущностно-единичен и сущностно раздваивается как организменный и неорганизменный дух, приобретая личностные свойства по мере формирования личности.

XIV. По варианту одушевления №2, человеческий дух порождается в человеческом существе путем синтетического слияния на старте ЖЦЧ двух разных живых сущностей: живая сущность (дух) организма + живая сущность (дух) души = человеческий дух.

XV. Оба теоретических варианта, разделительный и соединительный, описываются одинаковым диалектическим уравнением: дух организма + дух души = человеческий дух. Но в реальности возможен только один из двух. Какой именно вариант реален — научно-философская загадка, возможно, нерешаемая чисто логически, не опираясь на особого рода экспериментальные данные. А возможно, наоборот, только чисто логически и решаются такого рода ребусы творения. Ведь по большому-то счету (подразумеваемому большой философией), никто еще и не пробовал по-настоящему решить логическую задачу, состоящую в познавательном ответе на основной вопрос психологии, что есть душа, а двуипостасностью души вопрос о душе диалектически раздвоен: что есть душа в ипостаси сознания, с одной стороны своего естества (самосознательного), и что есть душа в ипостаси духа, с другой стороны своего естества (сомнамбульного). Причем, повторим который раз, душа самотождественна разом в обеих своих природных ипостасях и теряет тождество с собой в каждой из них порознь. Поэтому ***одноипостасная душ***а в виде чистой сомнамбулы, изолированной в духовном теле человека, словно в темной комнате с закрытыми ставнями, отделяющими сомнамбулу от абсолютного духа как от света сознания, не есть душа. По той же логике ипостасного дуализма, ***одноипостасный бог*** в изолированном качестве абсолютного духа, то есть бог как дух и только как дух, но не как разум (в ипостасной сумме с духом) и не как мыслящий субъект (сущий в духе), — это, собственно, не бог: это не собственно бог. А что это тогда? А это есть духовное естество бога, которое обладает свойством эманировать вовне бога (как двуипостасного субъекта) и для которого в философии имеется специфический термин — первоэлемент, логически необходимый как то, из чего сотворен мир. Ничего не возникает из ничего, следовательно: сотворенное сущее изначально может взяться только из несотворенного сущего, то есть некоторым образом — из бога, а точнее говоря — из ипостаси бога, определяемой как абсолютный дух и давным-давно сделавшейся предметом познания или просто размышления для лучших философских умов, не тех, которых вам покажут на иконостасе европоцентричных кафедр философии, а тех, например, которые ввели термин святой дух, чтобы определить одну из ипостасей бога и не путать оную ни с каким другим духом и вообще ни с чем другим в реальности. Святой дух христианской теологии есть абсолютный дух, применяя классический философский термин абсолютного как внемирного. Но ближе к теме теоремы:

XVI. Коль скоро человеческий организм произрастает из яйцеклетки, то в момент зачатия (оплодотворения) духовное тело организма умещается (в связи с чем возникает вопрос о количестве духа: см. теорему количества духа, №2) в пространственном объеме яйцеклетки и есть духовное тело яйцеклетки как живая сущность организма, которая есть сомнамбульный дух организма и функционирует как живая автоматизированная (сомнамбульным образом) фабрика, производящая организм в самой себе (в духе) путем деления яйцеклетки и осуществляющая в самой себе как в духовном теле жизнедеятельность организма в жизненном цикле организма от зачатия до смерти организма. А это все равно что сказать, что:

XVII. Организм (со всеми потрохами, включая мясо мозга, где ищет себя материалист) формируется в духовном теле организма с нуля как физическая (плотская) форма организменного духа, создаваемая в нем самом, в духе (как в духовном теле), из материи по алгоритму биологической материализации духа путем деления яйцеклетки и по абсолютной идее организма, о которой ныне каждый школьник имеет представление в узком смысле генетического кода организма и которая в широком смысле содержит вместе с программным кодом конструкции организма всю программу ЖЦО (жизненного цикла организма). Причем само собой разумеется, что абсолютная идея человеческого организма заточена под абсолютную идею человеческой души и под программу ЖЦЧ — жизненного цикла человека как воплощенного «я» души, сущего

одновременно в духовном теле, в сознании и во плоти.

XVIII. По варианту одушевления №1 (разделительному), духовное тело человеческого существа, с одной стороны (организменной), принимает материальную форму человеческого организма, развертываемую из оплодотворенной яйцеклетки, а с другой стороны (неорганизменной), то же самое духовное тело, воплощенное в физическом теле организма, долженствует раздвоиться, но не объектным-пространственным, а сущностным-непространственным образом, превратившись в духовное тело души и мыслящего «я» души (личности), при этом оставаясь духовным телом организма. Причем сия сущностная поляризация человеческого духа как духа организма и духа души реализуется не по принципу ипостасного дуализма, относящемуся, напомним, только к природе самосознательного субъекта, несотворенного, а это бог, и сотворенного, такого как душа.

XIX. По варианту одушевления №2 (соединительному), дух организма и дух души изначала обособлены как две принципиально разные природные сомнамбулы (животная-организменная и душевная-неорганизменная), замкнутые порознь в своих собственных духовных телах, как-то отделенных в пространстве в течение какого-то, отличного от нуля, интервала времени и соединяемых в одно (объектно-единичное) духовное тело в предустановленный момент. Будь то момент зачатия или другой момент в начале ЖЦЧ, но вариантом одушевления №2 подразумевается предшествующее моменту синтетического слияния раздельное существование в мировой реальности двух разных духовных тел с разными живыми сущностями в них: организменной и неорганизменной. А вместе с тем:

XX. Заметим для порядка, что если реален вариант одушевления №2 (соединительный), то относится не к области фантазий, а к области науки и философии вопрос о времени отдельного существования духа души до момента одушевления человеческого существа путем слияния духа души с духом организма. Точка отсчета этого времени теоретически возможна по двум (опять-таки по двум: кругом «торчат уши» диалектики) базовым вариантам: во-первых, от момента зачатия, во-вторых, от неизвестного момента, предшествующего моменту зачатия. В первом случае подразумевается сотворение души в момент зачатия, а если и в другой, то причинно-привязанный к зачатию, а во втором случае подразумевается мировое предсуществование человеческой души, теоретически возможное по двум общеизвестным с незапамятных пор базовым вариантам: во-первых, по варианту реинкарнации (если она сама возможна: предусмотрена программой творения), во-вторых, по варианту бесплотного предсуществования души в духовном мире (если он сам есть).

XXI. Дух души есть личностный дух как дух, способный приобретать свойства личности и вместе с тем принимать личностную форму, вырастающую в душе с нуля, но не из ничего, а из так называемых душевных задатков личности, предустановленных, как и все сотворенное, в абсолюте, но раскрываемых и развиваемых не в абсолюте, а в человеческом существе, точнее, в одушевленном человеческом духе, который сам по себе есть сомнамбула — бессознательное духовное тело, чьи личностные свойства содержатся, надо полагать, не где-то вне его, а в нем самом, в духовном теле, однако проявляются и функционируют они, личностные свойства духовного тела, когда оно приводится в сознание и превращается с прибавкой сознания из одноипостасной души (из чистой сомнамбулы) в двуипостасную душу, существующую в форме самосознательной личности.

XXII. В бессознательных состояниях души природные качества личности, отличающие личность как таковую, не работают и как будто выключены вместе с выключенным (свернутым) сознанием души; но сомнамбульный дух души (одноипостасная душа) никуда не исчезает из человеческого существа при обнулении сознания (если не считать спиритических аномалий) и обнаруживает себя вне сознания в качестве сновидческой или трансовой сомнамбулы, которая безлика, будучи бессознательной противоположностью личности, но она, человеческая сомнамбула, есть личностный (по своей природной принадлежности к личности) дух как ***духовное тело личности***, являющееся духовным вместилищем личности в сознательных состояниях души.

XXIII. Если воспользоваться распространенным термином структуры личности, то ***формирование личности в духе и сознании души есть структуризация духа и сознания души*** с результатом в виде человеческой личности как структурированной формы духа и сознания души, где душевные качества личности, отличающие личность как таковую (см. теорему качеств личности, №28), суть составные элементы структуры личности, относящиеся, с одной стороны (порога сознания), к бессознательному естеству личности, а с другой стороны (порога сознания) — к самосознанию личности как зрячему сознанию, которое формируется и структурируется с нуля вместе с лич-

ностью и как сама личность. Ибо:

XXIV. Самосознательная личность мысленно видит и воспринимает (сознает) реальность зрячим сознанием как своим собственным (личным) самосознательным естеством, в котором личность есть то, что она есть как таковая: как реальная: как существующая: как пребывающая в реальности, пребывая наяву в своем сознании, а не в сновидениях своей сомнамбулы.

XXV. Духовное тело человеческой личности как пространственный объект есть духовное тело человеческого существа, являющееся объектно-единичным пространственным вместилищем организма, души и личности. Можно априори ожидать, что, по крайней мере, по внешнему контуру геометрия духовного тела человека совпадает с геометрией физического тела человека. Знаменитая в свое время фактология спиритизма, представленная графитовыми отпечатками и парафиновыми и гипсовыми слепками спиритических рук, сделанными изобретательными спиритами-экспериментаторами, позволяет апостериори умозаключить, что физическое и духовное тела человека наделены в абсолюте общей (одной и той же: совершенно одинаковой) геометрической формой, в которую вписана вся анатомия организма и вписана клеточная материя всем организменным множеством молекул, расставленных по своим местам в духовном теле в каждом моменте времени, подобно тому как на экране монитора расставлены по своим местам светящиеся точки в видеокопии физического облика человека. Однако вариантом одушевления №2 (соединительным) предполагается, что духовное тело души может иметь собственную геометрию, совсем не похожую на геометрию организма ни по внешнему контуру, ни под поверхностью, вне живого слияния духа души с духом организма.

XXVI. Пространственная структуризация духовного тела человека, разумеется, не имеет ничего общего с тем, что называется структурой личности и что складывается из природных свойств личности, отличающих личность как таковую и относящихся к разумному естеству личности как мыслящего «я» души, наделенного разумом и пользующегося своей природной способностью к мышлению (разумом) в сознании, а не вне сознания, хотя:

XXVII. Духовное тело человеческой личности (личностный дух) само по себе есть сомнамбула с бессознательным естеством, недаром сильно напоминающим программное естество робота и содержащим в себе типовые характеристики и индивидуальные особенности человеческого «я», наподобие того как виртуальный робот Алиса и материализованный робот София содержатся в компьютерной программе и индивидуализированы как программно-информационные структуры, наделенные функционалом, похожим на разум, и своеобразием, похожим на свое «я». Но что похоже на разум, не есть он сам, а он сам (собственно разум как таковой) абсолютен и есть сам бог как абсолютный производитель и вечный первоисточник мышления. Индивидуальные особенности говорящего робота говорят о наличии у робота своего «я» еще меньше, чем индивидуальное своеобразие животных говорит о своем «я» животных: у животных нет своего «я» (личности), и никакие свойства животного духа, включая те, за счет которых животные ведут себя умнее людей, не являются свойствами личности и индивидуальными особенностями своего «я», ибо: свое «я» (личность) есть мыслящее «я», а это есть обладатель разума и воли, наделенный разумом и волей в сознании как самосознательная личность, а не как сомнамбула и робот.

XXVIII. В силу тождества мыслящего субъекта и сознания, никакая сомнамбула и никакой робот, будь он умней хоть всех людей вместе взятых, не есть мыслящий субъект и не есть подобие бога, а есть умная машина: умная — не в смысле имеющая разум, а в смысле — имитирующая разум по типу ИИ, если это неживая машина, и по типу инстинктивного бессознательного поведения, если это живая машина (сомнамбула), ведущая себя так, как если бы она была разумным существом. В чем разница между бобром, строящим плотину, и инженером, стоящим плотину? В том, что бобер — сомнамбула, а инженер — мыслящее «я»: самосознательная личность.

XXIX. Человеческая сомнамбула (личностный дух), равно как и животная сомнамбула (животный дух), — это живая умная машина, называемая живым существом, чье живое естество есть живая сущность: дух; причем не бесформенный дух, а имеющий форму живого существа и существующий в этой форме как живая структура и живая конструкция (существо). Каким образом сомнамбульно-машинальная (бессознательная) живая сущность души структурируется как личностный дух и приводится в сознание, тем самым пресуществляясь в самосознательную личность — вопрос, ответить на который — значит ответить на основной вопрос психологии, гласящий: что есть душа?

Логическая теорема 45

ТЕОРЕМА ЗАРОДЫША ЛИЧНОСТИ

Человеческая личность формируется с нуля из душевного зародыша личности, который закодирован в абсолютной идее души и произрастает по абсолютной программе развития в ипостасях души, представляя собой на старте ЖЦЧ бесформенно-безликую и сомнамбульно-самосозерцательную живую сущность души, принимающую форму самосознательной личности вместе с формированием зрячего сознания, составляющего разумное естество личности как личностная форма сознания.

Доказательство

I. Повторим лишний раз, что в силу нематериальности души нематериальна и личность как форма души, имеющая неорганизменное (душевное) естество, невзирая на то что в человеческом существе формирование, равно как и жизнедеятельность, личности осуществляется при живейшем участии человеческого мозга как организменного инструмента мышления, используемого человеческим разумом, подобно тому как им же, человеческим разумом, используется ПК в качестве орудия для мыслительных операций (см. теорему воплощенного «я» и теорему «мозгового сознания», №38 и №39).

II. Ища самих себя в мясе мозга, материалисты с уверенностью взявшей след собаки аргументируют фактологией типа биографической амнезии, когда та вызывается повреждениями мозга и не относится к симптоматике сумасшествия, то есть когда человек, потерявший память, остается в здравом уме и при этом не разумеет, кто он, собственно, такой, но очевидно же и совершенно ясно чисто логически, что стереть память личности — не значит стереть саму личность. Для сравнения: новорожденный младенец тоже не разумеет, кто он такой, ибо в зародыше личности еще нет самой личности как таковой, так что даже если мозг младенца способен поддерживать самосознание личности, младенец не сможет сознавать себя никоим образом, хоть при помощи, хоть без помощи мозга, до тех пор пока не свершится превращение куколки в бабочку, где бабочка — личность, а куколка — зародыш личности. Если человек с биографической амнезией (себя не помнящий), понимает, что он себя не помнит, и если он вообще как-либо сознает себя, — значит, сам-то он никуда не делся вместе с памятью как мыслящее «я»: личность. Но этот несчастный находится в положении новорожденного младенца в том отношении, что ему, как и младенцу, предстоит с нуля (заново) составить понятие о самом себе, как и о прочем, что надо понимать человеку в бытии.

III. Человеческая личность формируется в душе вместе с формированием в разумном (читай: самосознательном) естестве души системы понятий и понятийных представлений обо всем мыслимом, которая служит понятийным зеркалом окружающей реальности и работает как умозрительное восприятие реальности зрячим сознанием и как само зрячее сознание, умозрительно отражающее реальность посредством понятий, связанных в логическую систему как систему понятийного мышления.

IV. В душе человека, каков он есть на текущем этапе земной эволюции, понятийное мышление — это прежде всего и преимущественно языковое мышление, осуществляемое словами, логические значения которых, они же смыслы слов, лаконично прописанные словами же в толковом словаре, — это понятия о вещах, называемых словами и понимаемых по смыслам слов, связанным логикой в понятийную систему языка как логическую систему мышления о вещах посредством понятий о вещах.

V. В силу логической природы разума, логическая система языкового мышления работает в душе как разум, хотя язык не разум, а орудие разума, необходимое в логическом механизме мышления человеческой души и обретаемое душой человека на старте ЖЦЧ (жизненного цикла человека) при формировании мыслящего «я» души как человеческой личности, которая мыслит словами, точнее, смыслами слов — словесными понятиями, связанными в разумном естестве души логикой в естественную логическую систему языкового мышления, работающую как разум и как зрячее сознание души, а также как мыслящее словами (говорящее) «я» души: личностная форма души: человеческая личность: человек собственной персоной: тот, кто называет себя словом «я».

VI. Душевное формирование личности есть принятие сознанием души личностной формы, что равнозначно превращению безличностного, бесформенного, бесструктурного, чистого самосозерцательного сознания души в личностное-зрячее сознание, имеющее форму личности как мыслящая сущность, сознающая себя личностью («я»)

и характеризующаяся природными свойствами, составляющими структуру личности, каковая структура, или, другим словом, форма (повторим который раз для пользы дела), нематериальна и непространственна, складываясь не из частиц материи и не из геометрических частей, а из душевных качеств личности, разнящихся как черты характера и как разумные способности мыслящего «я» (см. теорему качеств личности, №28).

VII. Все способности мыслящего «я» (личности) суть свойства разумного душевного естества «я» как обладателя разума, иметь который — значит мыслить, понимать, сознавать и осуществлять волевое самоуправление, производя разумом мыслительные операции, для начала такие, какие проделывает душа младенца, когда родители учат ребенка говорить: это стул — на нем сидят, это стол — за ним едят, это кровать — на ней спят. Как только ребенок обнаруживает понимание смысла слов и начинает осознанно и осмысленно (а не как робот или попугай) оперировать словесными понятиями (смыслами слов), так сразу обнаруживается де-факто мыслящее «я»: личность как таковая, еще далекая от целевой совершеннолетней кондиции, но уже выпроставшаяся, подобно бабочке из куколки, из своего душевного зародыша в качестве детской личности.

VIII. Ваша детская личность и ваша же взрослая личность — это одна и та же личность, отличающаяся от самой себя сколь угодно значительно, но это бесконечно меньше, чем отличается детская и любая личность от зародыша личности, где личности нет, а есть то, из чего возникает личность и что принимает форму личности. Гигантскую, условно-бесконечную разницу между личностью и зародышем личности можно отдаленно представить себе по напрашивающейся аналогии с гигантской разницей между яйцеклеткой и многоклеточной суперконструкцией человеческого организма, бесконечно мало похожего на свой одноклеточный зародыш.

IX. Самосознательная личность соотносится со своим зародышем как с сомнамбульным живым нечто, лишенным понятия о себе и не знающим о своем существовании, все равно что не сознающим себя. Точнее говоря, это есть чистое самосозерцательное диалектическое третье между чистой сомнамбулой и зрячим сознанием. Сия самосозерцательная живая сущность, способная принимать форму личности, подлежит определению как чистое самосозерцательное сознание души, исходя из тождества души и сознания. Но чистое самосозерцательное сознание — это неполноценное сознание, лишенное своего «я» и подобное сомнамбуле как противоположность зрячего сознания, откуда термин: третья сомнамбула (самосозерцательная): третья просто по счету, считая 1-й сновидческую, а 2-й — трансовую человеческую сомнамбулу.

X. В силу двуипостасности души, двуипостасна и личность, в соответствии с базовым диалектическим уравнением души: духовное тело души + сознание души = душа, где духовное тело само по себе (вне сознания) есть сомнамбула, а сознание души существует в духовном теле и двоично как чистое самосозерцательное сознание и как зрячее сознание (личностное). За вычетом зрячего сознания вычитается личность в уравнении и остается третья сомнамбула, которая на старте ЖЦЧ есть зародыш личности.

XI. По уравнению двуипостасности души, зародыш личности содержится в духовном теле души как в духовном вместилище сознания души, где при отсутствии личности наличествует третья сомнамбула (самосозерцательная), которая на старте ЖЦЧ есть то, что потребовало под себя эту теорему: зародыш личности.

XII. Человеческая личность, как и организм, возникает с нуля как то, чего не было до момента старта возрастного цикла формирования личности (цикла детства), но: ничего не возникает из ничего, следовательно: надо полагать, что, отдаленно по типу того как организм произрастает из зародыша организма, человеческая личность произрастает из зародыша личности, а иными словами, из душевных задатков личности, принимающих по программе развития форму душевных качеств личности, отличающих личность как таковую и проявляющихся в душе как раскрытые и развитые задатки, раскрытие и развитие коих равнозначно формированию и развитию личности.

XIII. Теперь вновь примем во внимание два базовых теоретических варианта одушевления человеческого существа, из коих двух реален один, а третьего не дано (см. теорему личностного духа, №44). Если человеческий дух изначала сущностно-единичен и сущностно раздваивается как дух организма и дух души, приобретая личностные свойства по мере формирования личности (вариант одушевления №1, разделительный), в таком случае зародыш личности возникает одновременно с зародышем организма в момент оплодотворения яйцеклетки и с этого же момента содержится в духовном теле оплодотворенной яйцеклетки и эмбриона, вырастающего из оной. А это значит, что:

XIV. По варианту одушевления №1 (разделительному), духовное тело растущего в утробе матери человеческого эмбриона является с момента зачатия духовным вместилищем чистого самосозерцательного сознания души и обладает с момента зачатия теми свойствами, что называются душевными задатками личности, из каковых произрастают душевные качества личности и сама личность как личностная форма души, имеющая структуру, называемую структурой личности и состоящую из личностных качеств души.

XV. По варианту одушевления №2 (соединительному), зародыш человеческой личности изначально содержится в духовном теле души, каким-то образом отделенном от духовного тела организма в мировом пространстве как объект от объекта до момента их синтетического слияния в объектно-единичное духовное тело человеческого существа, в котором из зародыша личности формируется личность по обоим вариантам одушевления человеческого существа, разделительному и соединительному, но:

XVI. Вариантом одушевления №2 (соединительным) предполагается теоретическая возможность формирования личности из душевного зародыша личности не только в человеческом существе, но и в иных мировых условиях, если только таковые предусмотрены программой творения, например, на других планетах или в духовном мире, если он есть. Если из двух возможных вариантов реален соединительный вариант одушевления №2, то существование любой отдельно взятой души, вот вашей, например, читающий (-ая) эти строки, теоретически возможно по целому ряду столь же реальных вариантов, в том числе, без соединения с человеческим организмом и в соединении с другого (какого-нибудь инопланетного) рода организмами или с другого рода (не такими, как организмы) живыми конструкциями. Но будем держаться подальше от гипотез и поближе к порядку вещей на грешной земле.

XVII. Душевное формирование нашей человеческой (а не гипотетической инопланетной или ангельской какой-нибудь) личности происходит по программе развития, действующей в душевном зародыше личности, который, по обоим вариантам одушевления человеческого существа, содержится в человеческом духе как одушевленном духе, сущностно-двоичном, с одной стороны, как организменный дух, а с другой стороны, как личностный (неорганизменный) дух. В качестве личностного духа человеческий дух является вместилищем сознания души и, образно говоря, «комнатой души», где наша душа получает бытие и принимает форму личности, состоящую из структурных элементов, называемых качествами личности и обретаемых душой по мере и в результате развития зародыша личности.

XVIII. Душевный зародыш личности — это бесформенно-безликая душа, еще не принявшая свою природную форму личности и потому не тождественная самой себе, представляя собой диалектическое третье между сомнамбулой и зрячим сознанием как чистая самосозерцательная живая сущность: третья сомнамбула (самосозерцательная).

XIX. Бесформенность зародыша личности означает, что в нем еще нет ничего того, что отличает личность от своего зародыша, подобно тому как (грубо говоря для наглядности) в курином яйце нет ничего того, что отличает курицу от яйца, но раз курица возникает из яйца, стало быть, в яйце есть то, что превращается в курицу, а иными словами, принимает форму курицы по программе развития. Программа развития зародыша организма абсолютна и есть то, с чем имеет дело наука, познающая генетический код в его работе как действующий программный шифр конструкции организма. Программа развития личности из зародыша личности тоже абсолютна, а отсюда можно умозаключить, что и душевные задатки личности, мыслимые в зародыше личности как то, из чего произрастают качества личности, а значит, и сама личность, — это, собственно говоря, нечто абсолютное, непосредственно содержащееся (закодированное: запрограммированное) в абсолютной идее души и обретающее бытийную реальность (реализующееся) в душе по мере того, как бесформенная самосозерцательная сущность, определяемая как зародыш личности, принимает форму личности.

XX. Душевное формирование личности — это частный случай формообразования в живой природе, где всякая живая форма, то есть живое существо, возникает из своей абсолютной идеи как реализация оной в мире. Сказать, что организм произрастает из оплодотворенной яйцеклетки — все равно что сказать, что абсолютная идея организма реализуется в процессе формирования организма путем деления яйцеклетки в духовном теле организма. Личность произрастает из зародыша личности тоже как результат реализации абсолютной идеи, но, в отличие от нашего организма, наша личность формируется не из мяса и костей и является нематериальной, то есть чистой духовной, формой жизни, причем не сомнамбульной, а самосознательной.

Продолжение следует